Л. В. ЧЕРЕПНИН

ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА

В XIV-XV ВЕКАХ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

Л. В. ЧЕРЕПНИН

ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В XIV-XV ВЕКАХ

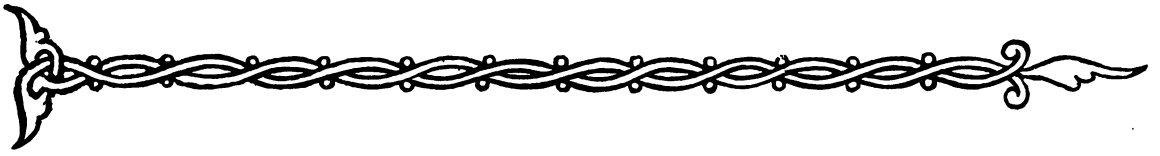
ОЧЕРКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РУСИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА
1960

Монография Л. В. Черепнина представляет собой исследование, посвященное одному из важнейших, но недостаточно изученных вопросов истории России феодального периода — проблеме ликвидации феодальной раздробленности и образования единого Русского государства. Ее основная задача—показать с позиций марксистско-ленинской теории на примере России общие закономерности образования централизованных государств и выяснить конкретные особенности этого процесса в России.

В первых главах работы после обстоятельного историографического обзора дается анализ социально-экономических явлений, подготовлявших объединение Руси и создание централизованного государства. Здесь рассматривается развитие производительных сил в сельском хозяйстве, рост феодального землевладения, эволюция форм феодальной собственности на землю и видов феодальной ренты. Большое внимание уделено положению различных категорий русского крестьянства, формам его эксплуатации землевладельцами и государством и борьбе крестьян с феодально-крепостническим гнетом. Подробно прослежены роль русских городов в процессе создания централизованного государства и участие горожан в народных движениях и политической борьбе этого времени.

В последующих главах автор рассматривает процесс политического объединения русских земель вокруг Москвы как центра складывающегося единого государства и формирование централизованного аппарата власти. Особое внимание уделено классовой борьбе крестьян и горожан в различных княжествах в XIV—XV вв., а также освободительной борьбе русского народа против татаро-монгольского ига, против наступления литовских феодалов и других иноземных захватчиков.



ВВЕДЕНИЕ

Образование централизованного государства на Руси — процесс длительный и сложный. Он начался в конце XIII в. и отчетливо проявился к началу XIV в. С этого времени и ведется изложение в настоящей монографии. Одной из граней процесса образования Русского централизованного государства, весьма существенной и во многих отношениях решающей, являются 80-е годы XV в. Если до этого для Руси была характерна политическая раздробленность, в условиях которой происходило постепенное объединение русских земель и нарастали предпосылки для создания централизованного государственного аппарата, то для периода, наступившего с 80-х годов XV в., имеются все основания говорить о Русском централизованном государстве как уже существующем. Завершение процесса складывания единой государственной территории и политической централизации, оформление единой системы управления, происходившие в конце XV и на протяжении XVI в., мы должны изучать уже в рамках истории централизованного государства.

В чем же заключается то качественно новое, что отличает государственное устройство Руси, начиная с 80-х годов XV в., от политического строя более раннего времени? Каковы же те признаки централизованного государства, которые позволяют утверждать его существование (хотя еще в самой начальной, зародышевой форме) именно с указанного рубежа?

Прежде всего к 80-м годам XV в. была ликвидирована политическая независимость ряда важнейших русских княжеств и феодальных республик. Объединение в составе Русского централизованного государства земель московских, суздальско-нижегородских, ростовских, ярославских, тверских, новгородских, частично рязанских и других означало не только образование единой государственной территории, но и начало перестройки всей политической системы на Руси. Это объединение означало становление

монархии централизованного типа, оно сопровождалось ломкой государственного аппарата в утративших свою самостоятельность частях Руси, ранее представлявших собой в большей или меньшей степени независимые государственные образования. Конечно, темпы, методы, формы, степень этой ломки были различны в каждом отдельном случае. И при всем том, если до 80-х годов XV в. взаимоотношения московской великокняжеской власти с князьями тверскими, рязанскими, с Новгородом и т. д. регулировались специальными договорами, не всегда отражавшими реальное соотношение сил, но всегда предполагавшими, что речь идет о соглашениях между правительствами отдельных русских земель, то с указанного времени эти земли уже рассматриваются как части единого государства. Они входят в общую административную систему, подчиняющуюся (хотя и в слабой еще мере) центральному аппарату в Москве и властям, присылаемым из Москвы. Если до 80-х годов XV в. политическое единство Руси осуществлялось в виде союза отдельных земель во главе со своими правительствами под верховным главенством великого князя (сначала владимирского, затем московского), то с этого времени политическое единство тех же земель означает их включение в единое государство с одним центральным правительством.

Ликвидация раздробленности и формирование централизованной монархии были связаны также с перестройкой и изживанием типичной для периода феодального раздробления Руси так называемой «удельной» системы на территории самого Московского княжества, явившегося основным территориальным ядром единого Русского государства и центром политического объединения страны. Изживание этой системы выражалось в предельном сокращении великими московскими князьями территории уделов, уничтожении ряда удельных княжеств, лишении удельных князей значительной части государственных прав в пределах их княжений, превращении их в служилых вотчинников. Процесс ликвидации «удельных» порядков занял длительное время, растянулся даже на вторую половину XVI в., но переломным моментом в этом процессе являются 80-е годы XV в.

Для объединенного государства характерны новые формы аппарата центрального и местного управления. Именно с 80-х годов XV в. наблюдается реорганизация административной системы, существовавшей в период феодальной раздробленности. В качестве постоянного центрального государственного органа при великом князе оформляется боярская Дума с более или менее устойчивым составом членов. С усложнением государственных функций их выполнением начинают ведать специально выделяемые великим князем и боярской Думой дьяки. Тем самым закладываются основы приказной системы управления, которая развивается уже позднее, в XVI в. Усиливается контроль со стороны великокняжеской власти за деятельностью провинциальных административных органов — наместников и волостелей. Урезывались

иммунитетные привилегии землевладельцев, лишавшихся права суда по наиболее важным делам (об убийстве, разбое и т. д.) над населением принадлежавших им вотчин. Указанные судебные функции, принадлежавшие ранее землевладельцам, передавались великим князем наместникам, управлявшим в провинциальных городах, или же специально назначаемым для этих целей боярам в Москве.

Образование централизованного государства сопровождалось кодификацией феодального права в общерусском масштабе. В 80-х годах XV в. московским правительством был проведен пересмотр законодательных актов, сложившихся в отдельных феодальных центрах, в целях их приспособления к новым государственным потребностям. Тогда же начались подготовительные работы по составлению Судебника централизованного государства, который был утвержден боярской Думой в 1497—1498 гг.

В 80-х годах подверглись реорганизации и вооруженные силы государства. Была ликвидирована «вольность» боярской службы. Бояре и «слуги вольные» потеряли право «отъезда» от великого князя. Боярский вассалитет в отношении последнего перешел в подданство. Из бывших «вольных слуг» великокняжеского «двора», из контингента «дворов» ранее самостоятельных великих и удельных князей и из числа боярских «послужильцев» (военных слуг-холопов) сформировались ряды служилого дворянства. Сложившаяся к этому времени на Руси новая форма феодальной собственности на землю — поместная система — составила материальную основу укрепления дворянской армии.

В связи с процессом государственной централизации подверглась изменениям и организация финансов. Были урезаны привилегии крупных феодалов. Обязательные трудовые работы, выполнявшиеся в княжеском хозяйстве крестьянами, принадлежавшими землевладельцам разных категорий (светским и духовным), были переведены на денежные повинности, получившие значение общегосударственных налогов. Начали в общегосударственном масштабе производиться переписи тяглого населения.

Все это говорит о том, что 80-е годы XV в. были важной гранью в процессе складывания централизованного государства в России. В это же время произошло освобождение Руси от татаро-монгольского ига, что имело большое значение для всей дальнейшей истории Русского государства.

* * *

Одновременно с созданием Русского централизованного государства такой же процесс происходил в ряде стран Западной Европы. Людовик XI, Генрих Тюдор VII, Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская, при которых образовались централизованные государства во Франции, в Англии и Испании, были современниками князя Ивана III, правление которого явилось

решающей вехой на пути государственной централизации Руси. К тому же времени сложилась централизованная монархия в Швеции. Процессы государственной централизации наблюдались в XV в. и в ряде стран Азии. Монархиями централизованного типа были королевство Чосон в Корее и Минская империя в Китае.

Было много общего в условиях образования централизованных государств в XV в. в отдельных странах Запада и Востока. Возникновение этой новой формы политической надстройки, во-первых, вызывалось экономическим развитием той или иной страны, в результате которого в той или иной степени преодолевалась хозяйственная замкнутость ее отдельных районов, а во-вторых, усилением классовой борьбы крестьян и горожан, ответом на которую являлась реорганизация государственного аппарата. Достаточно вспомнить такие крестьянские войны, предшествовавшие появлению централизованных государств, как Жакерия во Франции (XIV в.), восстание Уота Тайлера в Англии (XIV в.), восстание Дэн Мао-ци в Китае (XV в.) и др.

Централизованные монархии выковывались в ходе острых феодальных войн, в которых королевская власть, поддерживаемая связанным с ней дворянством и обычно горожанами, заинтересованными в ликвидации политической раздробленности, преодолевала сопротивление сепаратистских кругов феодалов, противившихся делу централизации. Укрепление королевской власти в Англии произошло в XV в. в результате длительной борьбы двух феодальных группировок (война «Алой и Белой Розы»), возглавленных — одна династией Ланкастеров, другая — герцогами Йоркскими. Затяжная война между «старой» и «новой» партиями (между феодальной знатью и служилым дворянством) шла в XIV—XV вв. в Корее. Удельный вес горожан в феодальных войнах был неодинаков. Все зависело от степени развития городов и их общей роли в экономике и политической жизни данной страны. Но опыт истории показывает, что в большинстве стран и Востока и Запада город представлял собой важный фактор процесса государственной централизации.

В ряде стран образование централизованных государств совершалось в тесной связи с национально-освободительной борьбой. Так было в России, страдавшей двести с лишним лет под гнетом Золотой орды. Так было в Китае и Корее, подвергшихся татаро-монгольскому завоеванию и восстановивших свою национальную и политическую независимость в конце XIV в., почти одновременно с знаменательной победой русского народа над войсками золотоордынского хана Мамая в 1380 г. На западе Европы, во Франции, территориальное объединение страны и создание централизованного государства последовали после победы французского народа над английскими захватчиками в так называемой Столетней войне.

Образование централизованных государств было явлением прогрессивным, ибо с их возникновением создавались более благо-

приятные условия для экономического развития, культурного роста, повышения обороноспособности, борьбы за независимость. В то же время государственная централизация, как правило, покупалась ценой дальнейшего ухудшения положения трудовых народных масс.

Однако тенденция к государственной централизации побеждала далеко не всюду. В ряде стран этому мешали специфические условия их социально-экономического и политического развития. Япония после десятилетней феодальной войны в конце XV в., известной под именем «Смуты годов Онин», вернулась к политической раздробленности. Не было должных предпосылок для государственной централизации в условиях жизни оседлых и кочевых народов Средней Азии.

В ряде стран созданию централизованных государств препятствовала внешняя агрессия. Так, ряд славянских стран Балканского полуострова и народы Закавказья сделались объектом турецких завоеваний.

Централизованные государства в XV в. возникали как государства феодальные, поскольку феодальный способ производства в это время еще сохранял свое господство. Лишь в отношении некоторых стран того времени (например, Англии) можно говорить о появлении элементов капитализма в промышленности. При этом степень развитости капиталистических отношений далеко не всегда определяла степень государственной централизации. Достаточно указать на то, что в Италии, стране экономически наиболее развитой из всех западноевропейских стран, единое централизованное государство в рассматриваемое время не возникло. К этому же времени не была ликвидирована и даже усилилась политическая раздробленность в Германии.

* * *

Несмотря на общие для ряда стран закономерности процесса образования централизованных государств, этот процесс в России имел некоторые существенные особенности. Главная особенность заключалась в том, что Россия в это время не только еще не вступила в ту стадию позднего феодализма, на которой уже намечаются признаки его будущего разложения, но в ней продолжалось поступательное развитие и укрепление феодального способа производства, его распространение вширь и вглубь. Возникновение централизованного государства в России было связано с ростом и укреплением крепостничества в масштабе всей страны. Ведущей социальной силой в процессе складывания единого Русского государства был класс землевладельцев: на более раннем этапе — главным образом боярство, на более позднем — дворянство.

Второй особенностью процесса образования централизованного государства в России являлось более слабое по сравнению

со странами Западной Европы развитие городов. Страна сохраняла аграрный в основном облик, и роль города в ее экономике была менее заметной, чем на Западе. Самый уровень развития городов в России XV в. был ниже, чем городов западноевропейских. Причин этому много: и незавершенность процесса феодализации на территории всей страны, и замедленность экономического развития в условиях татаро-монгольского ига, и оторванность от морских торговых путей, и т. д. И тем не менее без выяснения участия города и горожан в процессе формирования Русского централизованного государства понять этот процесс нельзя.

Третью особенность процесса формирования Русского централизованного государства составляло активное воздействие на этот процесс со стороны политической надстройки. Это воздействие объясняется в свою очередь тремя причинами: 1) сравнительно слабым уровнем экономических связей между различными районами громадной по территории страны; 2) поступательным развитием крепостничества, требовавшим вмешательства сильной власти, чтобы помочь господствующему классу удержать в подчинении закрепощенные и закрепощаемые народные массы; 3) внешней опасностью, грозившей России с нескольких сторон (от Золотой орды и от возникших в результате ее распада татарских ханств, от Литовского государства, Ливонского ордена и Швеции) и требовавшей активного строительства вооруженных сил.

* * *

Проблемой Русского централизованного государства занимались много и дореволюционные исследователи, которые накопили большой материал и сделали ряд серьезных наблюдений, и советские ученые, пересмотревшие достижения буржуазных историков с позиций марксистско-ленинской методологии и поставившие ряд новых, интересных и важных проблем. Но в советской исторической литературе нет еще работы, которая ставила бы своей задачей осветить проблему образования Русского централизованного государства в целом. Подобная попытка и делается в настоящей книге.

Книга состоит из шести глав. Первая из них посвящена историографии вопроса. Во второй главе рассматриваются предпосылки образования централизованного государства на Руси в области аграрных отношений, в третьей — предпосылки этого процесса в области товарно-денежных отношений, ремесла, торговли, города. Автор не ставил своей задачей в двух последних главах полностью осветить социально-экономическое развитие Руси в XIV—XV вв.; он останавливался лишь на тех явлениях, которые помогают понять причины государственной централизации. Кроме анализа социально-экономических процессов, эти главы содержат также попытку выяснить отношение крестьян и горожан к вели-

кокняжеской власти и к проводимой последней политике централизации.

В следующих трех главах по этапам рассматривается ход политического объединения русских земель и создание нового, централизованного государственного аппарата. В этой части монографии поставлены три основные задачи: 1) выявить те социальные силы, которые на разных этапах содействовали или противодействовали объединению территории Северо-Восточной Руси и централизации власти; 2) показать на конкретном материале влияние классовой борьбы на создание централизованного государства на Руси; 3) проследить отражение процесса политического объединения и государственной централизации в общественной мысли.

В книге исследуется процесс формирования Русского централизованного государства в рамках феодальной раздробленности XIV—XV вв. В ряде случаев автор расширяет рамки своего исследования, выходя за пределы указанной грани и касаясь явлений конца XV— начала XVI в. Это объясняется, во-первых, состоянием сохранившихся источников, недостаток которых часто заставляет восполнять на основе более поздних данных пробелы, имеющиеся в наших сведениях о более ранних явлениях; во-вторых, тем, что в развитии отдельных сторон государственной централизации не было полной синхронности.

Данная работа не касается проблем внешней политики Руси, поскольку они достаточно изучены в книге К. В. Базилевича[1].

Автор сознает, что его книга далеко не исчерпывает всех вопросов темы, оставляет много пробелов и темных мест. Он рассматривает свою книгу только как некоторый итог того, что сделано до сих пор в области изучения проблемы формирования Русского централизованного государства, и как призыв к дальнейшему исследованию этой проблемы.

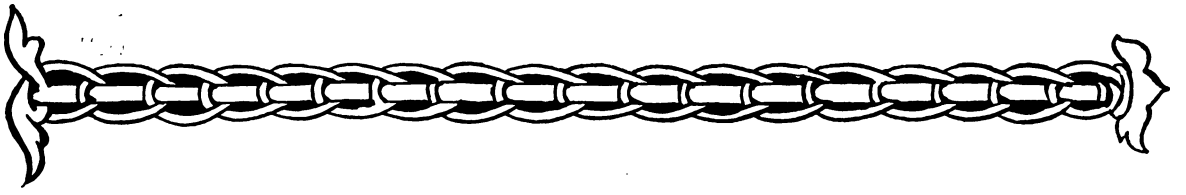
Автор приносит большую благодарность всем товарищам, оказавшим ему помощь в подготовке настоящей монографии.

---

[1] *К. В. Базилевич*, Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая половина XV века, М., 1952.

Глава I

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА



§ 1. Феодальная историография конца XV—XVII в.

Попытки осмыслить ход объединения русских земель в одно централизованное государство делались с момента его возникновения. Феодальную историографию до XVIII в. отличают: 1) провиденциализм как система философского (богословского) мышления, утверждающего подчиненность человеческих действий божественному предначертанию; 2) интерес к истории государства, воплощаемого в личностях отдельных правителей, как основных деятелей исторического процесса, — интерес, вытекающий из классовых основ идеологии феодалов, для которых народные массы не являются субъектом истории.

В общерусском летописном своде конца XV в. проводятся три основные для феодальной историографии идеи образования единого государства на Руси. Они характерны для тех представителей господствующего класса, которые были заинтересованы в ликвидации политической раздробленности.

Первая идея обосновывала непрерывность и преемственность власти русских князей, правивших сначала в Киеве, затем во Владимире, наконец, в Москве. Автор свода связывает этапы эволюции великокняжеской власти со сменой государственных центров Руси: Киев — Владимир-на-Клязьме — Москва. Так, под 1169 г., после описания похода Андрея Боголюбского на Киев, в своде указано: «В се же лето наста княженье Володимерьское князем Андреем Юрьевичем...». Особо отмечено в памятнике время правления «великих князеи володимерьских и новогородских и всеа Руси от великого князя Ивана Даниловича...» (Калиты)[1].

Второй идеей надо считать представление о вотчинном характере московского единодержавия. Образование единого Русского

---

[1] «Полное собрание русских летописей» (далее—ПСРЛ), т. XXV, М.—Л., 1949, стр.. 81, 287.

государства, согласно концепции свода, — результат собирания московскими князьями своих наследственных владений («отчин»), подчинение их своей «воле». Например, о включении Новгорода в состав единого Русского государства говорится, что Иван III «...отчину свою Великы Новгород привел в всю свою волю и учинился на нем государем, как и на Москве»[1]. Это — применение к явлениям политической жизни характерных для господствующего класса представлений о феодальной собственности на землю.

Третьей важной идеей общерусского свода конца XV в. является мысль о том, что образование на Руси единого государства связано с борьбой против иноземных захватчиков. В памятнике указаны два наиболее важных, с точки зрения составителя, акта этой борьбы: поход в 1380 г. русского войска под руководством Дмитрия Донского против татарских полчищ Мамая и походы Ивана III на Новгород в 70-х годах XV в. Последние, согласно концепции летописного свода, вызваны изменой новгородцев, их обращением за помощью в Литву. Как Дмитрий Донской пошел войной «на безбожного Мамая», так и Иван III двинул свои силы на новгородцев, «яко на иноязычник и на отступник православиа»[2]. Отсюда ясно, что в сознании составителя летописного свода конца XV в. задачи объединения русских земель связывались с их освобождением от татаро-монгольского ига, от власти Литвы, а борьба с Золотой ордой и Литвой расценивалась как борьба православной веры со всеми ее противниками.

Эти идеи общерусского летописного свода конца XV в. повторены в Воскресенской летописи — памятнике 40-х годов XVI в.[3]

Вопрос об образовании единого Русского государства трактуется не только в летописных сводах. В конце XV в., в княжение Ивана III, было создано произведение, излагавшее официально признанную московской великокняжеской властью концепцию политической истории Руси. Это — так называемое «Сказание о князьях владимирских»[4]. В этом памятнике речь идет о происхождении власти русских князей, которые расцениваются как преемники древнеримских кесарей и византийских импера-

---

[1] ПСРЛ, т. XXV, стр. 322.

[2] Там же, стр. 287—288.

[3] ПСРЛ, т. VII, СПб., 1856; т. VIII, СПб., 1859.

[4] В недавно вышедшей работе Р. П. Дмитриевой доказывается, что «Сказание о князьях владимирских» возникло в первой четверти XVI в. (*Р. П. Дмитриева*, Сказание о князьях владимирских, М.—Л., 1955). Мне представляются убедительными соображения А. А. Зимина о том, что первая редакция памятника была составлена около 1498 г., в связи с коронацией внука Ивана III—Дмитрия Ивановича (см. рецензию А. А. Зимина на указ. книгу Р. П. Дмитриевой в журн. «Исторический архив», 1956, № 3, стр. 235—238). Вслед за А. А. Зиминым я считаю, что наиболее ранняя редакция «Сказания» сохранилась в списке из собрания Чудова монастыря, хранящегося в Государственном Историческом музее в Москве (этот список напечатан в указ. книге Р. П. Дмитриевой, стр. 196—200).

торов. Согласно «Сказанию», римский кесарь Август, который «пооблада всею вселенною», якобы совершил раздел своих владений, передав часть их («Прусскую землю») своему «сроднику» Прусу. Потомком Пруса, а следовательно, представителем «рода римска царя Августа», был Рюрик, призванный на княжение в Новгород и ставший родоначальником русских князей[1]. Так генеалогически «Сказание» связывает династию, княжившую на Руси, с родом римского императора Августа, делая отсюда соответствующий политический вывод: Русское государство преемственно восприняло от древней Римской империи ту роль, которую она когда-то играла на всемирно-исторической арене.

Эта преемственность, по мысли «Сказания», выразились также и в получении русскими князьями от римских кесарей знаков царского достоинства как внешнего свидетельства полноты власти русских князей и независимости от других государств. Эти знаки, как утверждает автор «Сказания», были добыты киевским князем Владимиром Всеволодовичем (XII в.), совершившим поход на Царьград. В дальнейшем царским венцом, переданным Владимиру Всеволодовичу византийским императором Константином Мономахом, стали венчаться «на великое княжение русское» «великии князи владимирстии»[2].

Значительный интерес в качестве памятников феодальной историографии представляют хронографы. Хронограф редакции 1512 г., пытаясь осветить ход мировой истории с позиций ортодоксального православия, рассматривает исторический процесс как смену царств, имевших мировое значение (Израиль, Греческое царство, государство Египетских Птолемеев, Римская империя, Византия). Возвышение и гибель этих царств вследствие божественного предначертания составляют содержание всемирно-исторического процесса. В Хронографе проводится идея, что с падением под турецким натиском православных «благочестивых царствий» («Греческого», «Серпьского» и многих иных) единственным центром православия осталась Русская земля, которая «растет, и младеет, и возвышается»[3].

Таким образом, расценивая с религиозно-богословских позиций образование и расширение единого Русского государства в конце XV — начале XVI в. как факт всемирно-исторического значения, автор Хронографа подчеркивает идею преемственности: Русь наследовала от Византии роль защитницы православной веры во всем мире. В то же время возвышение единого Русского государства, согласно общей концепции Хронографа, это конечное звено в длинной цепи мировой истории, предыдущие звенья которой (ранее существовавшие царства) рассыпались.

---

[1] *Р. П. Дмитриева*, указ. соч., стр. 196—197.
[2] Там же, стр. 199.
[3] ПСРЛ, т. XXII, СПб., 1911, стр. 440.

Идеология Хронографа и хронографический прием рассмотрения материала русской истории (на фоне всемирно-исторических событий) нашли отражение в интересном памятнике феодальной историографии — Никоновском летописном своде (40—50-е годы XVI в.). Специальные статьи этого свода в соответствии с общими представлениями, типичными для феодальной эпохи, воплощающими исторический процесс в лицах князей и царей, содержат генеалогию «князей русских» (от Рюрика до Ивана III). Эта генеалогия дается на полотне всемирной истории: перечисляются цари иудейские, египетские (Птолемеи), римские, византийские. Для летописца, ревнителя православия, главное в цепи всемирно-исторических событий — падение Византии и выдвижение на ее место в роли мировой православной державы Руси. Отсюда и его особое внимание к «царям, царствующим в Константинеграде», среди которых были «православнии же и еретици»[1].

В первой половине XVI в. старец псковского Елеазарова монастыря Филофей в своих «Посланиях» великим князьям Василию III, Ивану IV и великокняжескому дьяку в Пскове М. Г. Мисюрю Мунехину развил далее на религиозной основе теорию всемирно-исторического значения Русского государства: «Москва — третий Рим». Два Рима — древний и новый (т. е. Константинополь) пали вследствие измены православию. Остался незыблемым третий Рим, Москва, — твердыня православия. Русское царство — это последнее мировое государство, его появление на всемирно-исторической арене означает наивысший этап исторического развития человечества, а русский царь — единственный и богом избранный христианский царь на земле. «Блюдый же, внемли, благочестивый царю, — обращался Филофей к Василию III, — яко вся християнская царства снидошася в твое едино, два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти, и уже твое хрестьянское царство инем... не останется...»[2].

Классовый смысл исторической концепции «Москва — третий Рим» заключался в укреплении позиций великокняжеской (царской) власти как власти, поставленной божественным промыслом; в освящении авторитетом церкви борьбы со всеми проявлениями вольномыслия; в идеологической пропаганде международного значения Русского централизованного государства.

В развитии феодальной историографии по вопросу об образовании единого Русского государства определенную роль сыграла «Книга степенная царского родословия» — памятник 60-х годов XVI в. Это произведение содержит историю самодержавия на Руси, витиевато изложенную в виде биографий ряда великих

---

[1] ПСРЛ, т. IX, СПб., 1862, стр. XV—XX.

[2] *В. Малинин*, Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания, Киев, 1901, стр. 524; Приложения, стр. 55—56; *Н. Н. Масленникова*, Присоединение Пскова к Русскому централизованному государству, Л., 1955, стр. 151—157.

московских князей и доведенную до царствования Ивана Грозного. Согласно концепции Степенной книги, история самодержавия неотделима от истории православия[1].

Центрами самодержавного властвования на разных этапах русской истории, по мнению автора Степенной книги, последовательно выступали Киев, Владимир-на-Клязьме, Москва.

Образование Русского государства с центром в Москве знаменует собой, согласно концепции Степенной книги, третий этап русской истории. Уже в княжение Юрия Долгорукого (XII в.) определяется роль Москвы как преемницы Владимира-на-Клязьме и Киева. «Сий великий князь Георгий Владимеричь в богоспасаемом граде Москве господьствуя, обновляя в нем первоначальственное скипетродержание благочестиваго царствия...»[2]. Князю Даниилу Александровичу (конец XIII — начало XIV в.) было предопределено стать родоначальником московских царей и пересадить на московскую почву самодержавие, зародившееся в Киеве и расцветшее во Владимире-на-Клязьме[3]. Расцвет самодержавия, по мнению автора Степенной книги, падает на княжение Ивана III и царствование Ивана IV[4].

Так в Степенной книге принимает законченный характер концепция феодальной историографии, трактующая складывание централизованного государства на Руси как процесс укрепления самодержавия, являющегося якобы исконным фактом русской истории, освященного провидением и исторической традицией.

Апологетом самодержавия был царь Иван Васильевич Грозный. В послании к князю А. М. Курбскому он изображает историю в России самодержавия (как власти, установленной богом), воплощая эту историю в лицах ряда древнерусских князей: Владимира Святославича (X — начало XI в.), Владимира Мономаха (XII в.), Александра Невского (XIII в.), Дмитрия Донского (XIV в.), Ивана III и Василия III (XV—XVI вв.). Деятельность каждого из названных князей, по мысли Ивана Грозного, знаменует определенный этап в развитии самодержавия. Он отмечает принятие Русью христианства во времена Владимира Святославича, передачу на Русь из Византии знаков царского достоинства в княжение Владимира Мономаха, победы, одержанные над ливонскими рыцарями («над безбожными немцы») Александром Невским и над татаро-монгольскими полчищами Мамая («над безбожными агаряны») Дмитрием Донским. Далее Грозный упоминает об историческом возмездии, постигшем татаро-монгольских завоевателей в княжение Ивана III («мстителя неправдам») за их вторжение на Русь в XIII в., и о завершении собирания основных русских земель во времена Василия III («закосненным прародителствия

---

[1] ПСРЛ, т. XXI, СПб., 1908—1913, стр. 5.
[2] Там же, стр. 191.
[3] Там же, стр. 296.
[4] Там же, стр. 527 и др.

землям обретателя...»)[1]. Таким образом, единое государство на Руси, согласно концепции Ивана Грозного, создалось в конце XV — начале XVI в. вследствие божественного предопределения, сохранившего в течение веков в целости самодержавие, освященное авторитетом православия («сего православия истинного Российского царствия самодержавство...»). Исполнителями божественной воли на земле выступают, по Грозному, русские князья, добивающиеся политического единства страны путем собирания своих «отчинных» владений и разгрома иноземных захватчиков.

Несколько иное решение, чем у Ивана Грозного, нашел вопрос о едином Русском государстве у его политического противника и оппонента — князя А. М. Курбского, который не отрицал необходимости объединения Руси, но считал, что ранее самостоятельные великие и удельные князья должны были при этом сохранить свои прежние привилегии и пользоваться государственной властью наряду с великим князем московским. В произведениях А. М. Курбского также господствует идея провиденциализма. Но наряду с этим в системе его взглядов уже значительное место занимает представление о роли в историческом процессе естественных свойств людей, оказывающих влияние друг на друга и на историческое развитие в целом. С этих философских позиций А. М. Курбский обосновывает свой взгляд на создание единого Русского государства как на процесс, связанный с уничтожением московскими князьями всех своих противников из числа других русских князей. Страсть к такому уничтожению была, по А. М. Курбскому, природным, наследственным качеством, присущим представителям московского княжеского дома. Московские князья «...обыкли тела своего (т. е. тела представителей княжеского же рода) ясти и крове братии своей пити». Такой установлен у них «издавна обычай». Ссылаясь на свидетельства «летописцов русских», А. М. Курбский приводит в Послании к Ивану Грозному факт убийства в Орде князем Юрием Даниловичем московским князя Михаила Ярославича тверского как первое проявление кровожадной политики московских князей. Преступление Юрия Даниловича, по мысли А. М. Курбского, послужило началом дальнейших злодеяний московских князей, проливавших кровь своих братьев, владевших другими княжествами[2].

Столкновение двух концепций феодальной историографии по вопросу о Русском централизованном государстве (Ивана Грозного и А. М. Курбского), возникших в условиях острой внутриклассовой борьбы, сопровождавшей процесс ликвидации политической раздробленности, нашло отражение и в последующей

---

[1] «Послания Ивана Грозного», М.—Л., 1951, стр. 10.

[2] «Русская историческая библиотека» (далее—РИБ), т. XXXI, СПб., 1914, стр. 133.

дворянской и буржуазной исторической литературе. Ее различные представители, защищая монархию, по-разному (то положительно, то отрицательно) оценивали политику московских великих князей.

Особый отпечаток на феодальную историографию наложили события начала XVII в.: крестьянская война и борьба русского народа с иностранными интервентами. Историки и публицисты из среды господствующего класса, извлекшие урок из этих событий, особенно подчеркивают необходимость единства и крепости Русского государства. Они имеют в виду прекращение смут в лагере феодалов и классовой борьбы как условие, которое даст возможность стране противостоять польско-шведской интервенции. В свете этих политических настроений писатели начала XVII в. яркими красками рисуют силу и могущество Русского государства конца XV и XVI в., противопоставляя прошлое настоящему. В этих исторических воспоминаниях используются все элементы господствующей концепции образования единого государства на Руси: теория «Москва — третий Рим», версия о родстве династии русских царей с династией римских императоров, утверждение о божественном происхождении и исконном существовании самодержавия на Руси и т. д. Келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын в специальной главе своей «Истории в память предыдущим родом...», именуемой «Сказание вкратце о разорении царьствующаго града Москвы...», вспоминает, как в прошлом «царствующий сей град Москва, паче же реку Новый Рим», «...растяше и возвышашеся и от многих государств поклоняем, богатством же и славою и многонародным множеством и превеликим пространством, не токмо в Росии, но и во многих ближних и далних государствах прославляем и удивляем бысть...»[1].

Дьяк Иван Тимофеев, начиная свой «Временник» с описания царствования Ивана Грозного, вспоминает его деда Ивана III — «...инорога бывша во бранех, паче же во благочестиих над всеми пресветлыми...», а затем излагает официально признанную генеалогию московских великих князей; «не бо точию от Рюрика начало имяху о нем, но от самого Августа цесаря римскаго и обладателя вселенною, влечахуся во своя роды, яко день днесь...». У Тимофеева встречается мысль и о том, что образование единого Русского государства произошло в результате собирания русских земель великими московскими князьями. Иван IV для него «...по отцы отвсюдный вторособиратель всеа Руския земли, державных самодержавнее...»[2]

И. М. Катырев-Ростовский, идя в своей «Повести» в известной мере за Степенной книгой, считал, что Русское государство с центром в Москве было основано князем Даниилом Александро-

---

[1] «Сказание Авраамия Палицына», М.—Л., 1955, стр. 212.
[2] «Временник Ивана Тимофеева», М.—Л., 1951, стр. 10—11, 150.

вичем (конец XIII в.), передавшим его своим потомкам. «Царство Московское, его же именуют от давных век Великая Росия, той же град Москву постави великый князь Данил и царствова в нем сам, и дети его, и внучата, и вся степень его доседе...»[1]

В XVII в. в России складывались предпосылки абсолютизма. Идеология русской абсолютистской монархии нашла выражение в составленной в конце 60-х годов XVII в. дьяком Ф. А. Грибоедовым «Истории, сиречь повести или сказании вкратце, о благочестивно державствующих и свято поживших боговенчанных царей и великих князей, иже в Рустей земли богоугодно державствующих...»[2] Это сочинение воспроизводит концепцию истории самодержавия на Руси, изложенную в Степенной книге и продолженную до середины XVII в.

Основные черты самодержавия, выступающие в более ранних исторических трудах (богоустановленность великокняжеско-царской власти, нерушимость исторической традиции, определившие наследственность великокняжеско-царского сана в пределах одного рода), дополняются в книге Ф. А. Грибоедова еще одним новым моментом, получившим особое политическое звучание в условиях русской действительности XVII века — века «бунташного», века беспрестанных народных восстаний. Этим третьим признаком самодержавия является его якобы исконная близость к народу. Самодержавие, по Ф. А. Грибоедову, держится волей божией, которая выражается в голосе народа, признающего своих властителей[3].

С подобных идеологических позиций Ф. А. Грибоедов излагает и историю создания на Руси в XIV—XV вв. единого государства. Воплощая этот процесс в личностях отдельных князей—«самодержавцев», он совсем не останавливается на их конкретных действиях. Каждый из этих князей интересует автора лишь постольку, поскольку он занимает определенное порядковое место («степень») на генеалогической лестнице, идущей от «боговенчанного, великого и равноапостольного князя Владимира Святославича», в свою очередь возводящего свою генеалогию к римскому кесарю Августу[4]. Такая система исторического изложения соответствует пониманию Ф. А. Грибоедовым процесса образования на Руси единого государства как восстановления московскими князьями старинной вотчины, дарованной богом князьям киевским. Даниила Александровича московского, пишет Ф. А. Грибоедов, «избра бог и возрасти, и поручено быть ему наследие, богоснабдимое державство преименитаго града Москвы»[5].

---

[1] РИБ, т. XIII, изд. 2 доп., СПб., 1909, стр. 559—560, 625—626.

[2] «Федора Грибоедова История о царях и великих князьях земли Русской», сообщение С. Ф. Платонова и В. В. Майкова, СПб., 1896, стр. 1.

[3] Там же, стр. 18.

[4] Там же, стр. 6.

[5] Там же, стр. 19.

В памятнике конца XVII в. — «Синопсисе» (особенно в позднейших его редакциях) мы встречаемся со старой версией о Москве как третьем центре самодержавия в России (первыми двумя такими центрами считаются Киев и Владимир-на-Клязьме), причем эта версия обрастает рядом легендарных подробностей, имеющих определенную политическую тенденцию. Слово «Москва» производится от имени Мосоха (шестого сына Афета — сына библейского героя Ноя). От Мосоха, согласно «Синопсису», произошла «вся Русь, или Россия». Процветание Москвы началось после того, как при Иване Калите туда была перенесена великокняжеская столица из Владимира-на-Клязьме. «И тако величеством славы престола княжения, от Владимира града перенесенного, богоспасаемый град Москва прославися...» и «на высочайший степень самодержавного царствия востече...». В Москву переселился из Киева митрополит. Московский великий князь Дмитрий Иванович Донской одержал победу над татаро-монгольскими полчищами: «их поганую силу... победи и Мамая царя татарского на главу порази...»[1]

Как убедительно выяснил И. П. Еремин, «Синопсис» представляет собой памятник определенного целевого назначения. В нем пропагандировалась идея воссоединения в составе Русского централизованного государства всей Украины, как Левобережной, так и Правобережной[2]. Историческим обоснованием этой идеи являются развиваемые в «Синопсисе» положения об общем происхождении от Мосоха русских и украинцев, о непосредственной связи самодержавия московских царей с самодержавием киевских князей и общности их территориальных владений, о роли Москвы как исторически выдвинувшегося центра всего «российского народа», пошедшего от Мосоха (свидетельством чего служит воспринятое от имени последнего название этого города).

XVII веком заканчивается так называемый «летописный период» русской историографии — тот период, когда летописные своды являлись ведущими памятниками исторической мысли. Правда, уже на протяжении XVI—XVII вв. это их значение все более падает и переходит к другим произведениям (повестям, сказаниям и т. д.). На протяжении времени с конца XV до конца XVII в. феодальная историография выработала довольно целостную историческую концепцию образования на Руси единого государства. Этот процесс рассматривается как часть общего процесса развития на Руси самодержавия, а последнее представляется как последовательная передача власти по наследству (на вотчинных началах и с соблюдением старейшинства) в пределах дома «Рюриковичей».

---

[1] «Синопсис или краткое описание о начале славенского народа», СПб., 1746, стр. 14—15, 120.

[2] *И. П. Еремин*, К истории общественной мысли на Украине второй половины XVII в. («Труды Отдела древне-русской литературы» (далее— Труды ОДРЛ), т. X, М.—Л., 1954, стр. 212 и сл.).

При периодизации развития русского самодержавия русские книжники исходили из представления о последовательной смене трех политических центров Руси (Киев — Владимир-на-Клязьме — Москва). Образование централизованного государства связывалось с третьим историческим этапом, причем различие между государством этого времени, с одной стороны, и древней Русью — с другой, не выявлялось, напротив, подчеркивалась общность начал политического строя со времени первых русских князей и до XVII в. как строя самодержавного.

К феодальной историографии XV—XVII вв. относится зарождение идеи о трех элементах централизованного государства: самодержавия как формы власти, православия как его идеологической основы и народности в смысле этническом (подчеркивание его русского характера) и социальном (утверждение о его близости интересам всего народа). Эта трехчленная формула служила правительству идеологическим орудием во внутренней политике — в борьбе за централизацию, в разгроме боярской оппозиции, а главное — в подавлении народного сопротивления. Та же официальная формула получила распространение и на международной арене: ею обосновывалась борьба за национальную независимость Руси, облекавшаяся религиозным покровом. Она фигурировала в дипломатических переговорах с другими странами русского правительства, ставившего в своих внешнеполитических актах знак равенства между народом и государством, между православием и народностью. Несмотря на классовый смысл идей самодержавия, православия и народности, выработанных феодальной историографией, отражавшей интересы господствующего класса, они имели в то время известное (конечно, относительное) прогрессивное значение, ибо идеологически выражали тенденцию к преодолению политической раздробленности внутри страны, к возвращению исконных русских территорий, захваченных иноземными завоевателями, к политической консолидации русской народности как этнического целого в составе независимого государства.

Образование централизованного государства феодальная историография конца XV—XVII в. вставляла в рамки всемирно-исторического процесса, который в свою очередь представлялся ей в виде смены империй. Расценивая Русское единое государство как третье из самых могущественных царств, имевших всемирно-историческое значение, как третий Рим, подводя под это утверждение основы генеалогического характера (о преемственности власти римского императора Августа и московских князей и царей), феодальные историографы идеологически обосновывали задачи внутренней и внешней политики русского правительства, направленные к укреплению централизованной феодальной монархии и усилению ее международного авторитета.

§ 2. Дворянская историография XVIII—начала XIX в. Исторические взгляды дворянских революционеров

XVIII столетие — важный этап в развитии историографии как в странах Западной Европы, так и в России. История как наука постепенно приобретает самостоятельное значение, все более отделяясь от литературы и публицистики. Расширяется источниковедческий фундамент исторических трудов. В XVIII в. в России был опубликован ряд памятников исторического прошлого (летописи, актовый материал, документы, касающиеся дипломатических сношений, и т. д.). Религиозно-церковная точка зрения на исторические явления все более вытесняется попытками их рационалистического объяснения. Все эти новые явления в области историографии нашли отражение и в трактовке дворянскими историками XVIII в. проблемы складывания Русского централизованного государства.

По своей классовой сущности взгляды дворянских историков XVIII в. на характер и пути образования единого государства на Руси не отличались от взглядов летописцев и книжников конца XV—XVII в. Это взгляды представителей феодального лагеря. Из летописной историографии заимствовали дворянские историки и многие элементы концепции: сведение процесса образования Русского централизованного государства к истории самодержавия, периодизацию этого процесса, его общую оценку.

Все же у дворянских историков XVIII в. было много нового по сравнению с их предшественниками в самом подходе к проблеме складывания Русского централизованного государства. Для дворянской историографии XVIII в. со свойственным ей рационалистическим мировоззрением характерно представление о «естественном законе» (начале, заложенном в самой природе человека) как предпосылке устройства общества и государства. Возникновение государства, с этой точки зрения, есть стеснение воли, свойственной природе людей, но стеснение, полезность которого подсказывается их собственным природным разумом («неволя... по своей воле»). Отсюда представление о том, что государство возникает на основе «естественного закона», сочетается в дворянской историографии XVIII в. с идеей о добровольном договоре людей с носителями власти как начальном моменте в жизни государства. Теория «естественного закона» и добровольного договора применительно к объяснению истории государства (особенно четко раскрытая в России В. Н. Татищевым[1]) пришла на смену теории провиденциализма, свойственной более раннему периоду феодальной историографии.

---

[1] *В. Н. Татищев*, Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ («Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете», кн. I, отд. I, М., 1887, стр. 128, 135, 140—141).

Наряду с рационалистическим подходом к вопросу о государстве, для дворянской историографии XVIII в. характерно большое внимание к структуре власти в феодальной монархии, к проблеме взаимоотношения монарха и дворянской аристократии. Это объясняется тем интересом, который различные группировки господствующего класса XVIII в. проявляли к путям развития абсолютизма в России. Одно политическое направление ратовало за укрепление абсолютистской монархии, опирающейся на широкие круги дворянства и обеспечивающей интересы формирующейся буржуазии. Другое направление исходило в своих политических предположениях из стремления обеспечить достаточно полное участие в государственной жизни России родовитой аристократии. В историографической оценке образования Русского централизованного государства одно из этих течений дворянской политической мысли нашло выражение в трудах В. Н. Татищева, другое — в трудах М. М. Щербатова. Собственно говоря, в этих двух исторических концепциях повторилась (в новых условиях XVIII в.) та политическая борьба в феодальном лагере, которая в XVI в. породила две точки зрения на процесс складывания Русского централизованного государства — Ивана Грозного и А. М. Курбского.

Дворянский историк второй четверти XVIII в. В. Н. Татищев, являясь представителем господствующего класса — русского «шляхетства», осознающего себя как привилегированное сословие, и подходя к осмысливанию исторического процесса с рационалистических позиций, лучшей формой государственного устройства считает самодержавие: просвещенный монарх, по его мнению, должен обеспечить стране все возможности поступательного развития. С этой точки зрения В. Н. Татищев рассматривал прошлое России, находя, что с крепостью самодержавия связаны лучшие периоды ее истории, а упадок самодержавия сопровождался несчастьями для страны. История России началась, по В. Н. Татищеву, с установления самодержавия. Уже Рюрик «самовластие утвердил, которое до кончины Мстислава Петра (сына Владимира Мономаха. — *Л. Ч.*), от его дел великим именованного, ненарушимо содержалось...»[1].

После смерти Мстислава (вторая четверть XII в.) великие князья потеряли свое значение, удельные, напротив, приобрели большую силу. Ослабление власти великого князя облегчило установление над Русью татаро-монгольского ига. «Чрез то самодержавство сила и честь русских государей угасла». Последствия этого были плачевными для Руси. Литовские князья стали захватывать русские земли; в Новгороде, Пскове, Полоцке образовались «собственные демократические правительства» (так называет В. Н. Татищев боярские республики), угасли «духов-

---

[1] *В. Н. Татищев*, История Российская с самых древнейших времен, кн. I, ч. 2, М., 1769, стр. 542.

ные науки», народ погряз в суеверии. Все это продолжалось около 150 лет[1].

Восстановителем самодержавия на Руси, по В. Н. Татищеву, явился Иван III. Свергнув татарскую власть, он «паки совершенную монархию восставил, и о наследии престола единому сыну, учиня закон, собором утвердил...». Преемники Ивана III — Василий III и Иван IV довершили его дело, вернули земли, захваченные Литвой и татарскими ханами, расширили пределы государства. Только «бунты и измены» «некоторых безпутных вельмож» помешали Ивану IV удержать за Россией «завоеванную Ливонию и часть не малую Литвы»[2].

Изучение процесса ликвидации политической раздробленности на Руси, по мысли В. Н. Татищева, должно убедить в том, «сколь монаршеское правление государству нашему прочих полезнее, чрез которое богатство, сила и слава государева умножается, а через прочия умаляется и гибнет»[3]. В соответствии со своим классовым дворянским мировоззрением В. Н. Татищев полагал, что движущей силой истории является государство (в форме монархии).

Представитель крупной русской аристократии — князь М. М. Щербатов также сводит русский исторический процесс преимущественно к развитию самодержавия. Следуя летописной традиции, он видит основную линию общественной эволюции России в перемещении столицы государства из Киева во Владимир-на-Клязьме[4], затем — в Москву[5]. В соответствии с этим он, как и составитель Степенной книги, ведет единый счет великим князьям — киевским, владимирским, московским.

Воспринятая М. М. Щербатовым из летописной историографии идея собирания московскими князьями своих вотчинных земель получает в его концепции своеобразное преломление. Сторонник монархии такого типа, в которой значительную роль играет аристократия, М. М. Щербатов переносил этот политический идеал и в прошлое. Ему казался наиболее совершенным строй, при котором великий князь правит при содействии подчиненных ему князей. Поэтому, положительно расценивая объединение Руси, М. М. Щербатов не одобряет политику князей, сурово расправлявшихся со своими противниками, считая это проявлением честолюбия. Когда Россия находилась во «всегдашних смущениях и междоусобных бранях.., — пишет М. М. Щербатов, — главные попечения князей, которые не хотели чрез честолюбие свое в конечное разрушение Россию привести, состояло употреблять всевозможные способы, дабы основательными поставленными договорами

---

[1] *В. Н. Татищев*, История Российская, кн. I, ч. 2, стр. 542—544.

[2] Там же, стр. 544.

[3] Там же, стр. 545.

[4] *М. М. Щербатов*, История Российская от древнейших времен, т. III, кн. VII, СПб., 1817, стр. 217.

[5] *М. М. Щербатов*, указ. соч., т. III, кн. VIII, СПб., 1817, стр. 331.

брани и вражды предупредить»[1]. Относясь, вообще говоря, весьма положительно к Дмитрию Донскому, М. М. Щербатов недоброжелательно отзывается о насильственном подчинении им других князей. По мнению М. М. Щербатова, сооружение в 1367 г. в Москве каменных укреплений «произвело в великом князе мысли честолюбия и самовластия... Оградя каменною стеною град свой», Дмитрий Донской разрушал «ту крепость, которая есть превышающая все, то есть поверенность своих союзников и добрую веру, нарушение коих во всю жизнь его ему безпокойства наносило; он стал требовать, чтобы все *российские* князья ему безпрекословно повиновались, на желающих же содержать свои правы зачал разные нападения делать»[2].

Ставя процесс объединения русских земель в связь с освобождением Руси от татаро-монгольского ига, М. М. Щербатов полагает, что это освобождение в значительной мере было следствием мирной политики ряда московских князей, своею покорностью татаро-монгольским ханам усыпивших их бдительность, приостановивших их нападения и давших тем самым возможность окрепнуть своей стране. Иван Калита «во всю свою жизнь за главный предмет себе имел исполнять волю *татарскую* и слепо во всем им повиновался»[3]. И даже Дмитрий Донской, по М. М. Щербатову, поставив перед собой цель «избавиться от ига татарского», действовал весьма осмотрительно («поступок свой умерял») и поэтому татарами «любим и почитаем был...»[4]

Временем образования единого государства на Руси М. М. Щербатов считает княжение Ивана III, отмечая два основных момента в его политике: ликвидацию независимости ряда русских княжеств и освобождение от подданства татарским ханам. Ко времени вокняжения Ивана III, «с одной стороны, татары брали еще дань на России и частыми своими набегами ее опустошали», «с другой стороны, Россия, быв еще разделена на многие княжества, всегда семена междоусобия в себе вмещала». Иван III «первый почти свободился» от зависимости от «татар Большия орды», «покорил себе великие княжения Новогородское и Тверское и лишил не оружием и силою, но давая другие награждения, удельных князей их уделов и прав, которые к престолу великого княжения присоединил...»[5]

Процесс образования Русского централизованного государства, по мнению М. М. Щербатова, поучителен в двух отношениях. Во-первых, ликвидация самостоятельности отдельных князей производилась в основном мирными средствами: Иван III действовал «без великих кровопролитий, предпочитая всегда наименование мудрого в правительстве государя наименованию непо-

---

[1] *М. М. Щербатов*, указ. соч., т. III, кн. VII, стр. 227.
[2] *М. М. Щербатов*, указ. соч., т. IV, кн. IX, СПб., 1781, стр. 25.
[3] *М. М. Щербатов*, указ. соч., т. III, кн. VIII, стр. 371.
[4] *М. М. Щербатоз*, указ. соч., т. IV, кн. IX, стр. 236.
[5] *М. М. Щербатов*, указ. соч., т. IV, кн.X, СПб., 1783, стр. 363—365.

бедимого»[1]. Такая тактика кажется наиболее правильной М. М. Щербатову — стороннику политической системы, при которой монарх выступает в союзе с аристократией. Во-вторых, М. М. Щербатов полагает, что пример истории Новгорода доказывает преимущество самодержавия как формы государственного строя перед республикой.

Для исторических воззрений М. М. Щербатова характерно представление (восходящее еще к А. М. Курбскому, но выступающее в новой оболочке рационалистических понятий) о воздействии человеческих свойств (добродетелей и пороков) на общественное развитие. Объясняя действия ряда московских князей честолюбием, стремлением к самовластию, он ищет причины падения Новгородской республики в «развратности нравов» ее правителей и т. д. В этом сказалось стремление дворянского историка в условиях разложения крепостничества и подъема антифеодального движения найти такие черты человеческого характера, которые могли бы служить опорой феодального строя и крепостнического государства.

Важным явлением в развитии дворянской исторической науки было издание в начале XIX в. многотомного труда Н. М. Карамзина «История государства Российского». Обладавшая большими достоинствами в литературном отношении, снабженная обширными выдержками из источников, часто впервые вводимых в научный оборот, «История» Н. М. Карамзина способствовала повышению интереса к русскому прошлому. Но, появившаяся непосредственно после Великой французской буржуазной революции, в условиях кризиса крепостнической системы в России, «История» Карамзина проникнута консервативно-охранительным характером. Исторический процесс Н. М. Карамзин делает объектом познания не для того, чтобы на основе его изучения раскрыть какие-то объективные предпосылки для изменения сложившихся общественно-политических отношений. Напротив, исторический опыт используется им в целях обоснования реакционной идеи о тщетности какой бы то ни было попытки ломки существующего строя, в целях призыва к примирению с настоящим, оправданию его и самоутешению мыслью о том, что в мире нет ничего совершенного.

Исторический процесс автор видит в укреплении самодержавия, успехи которого воплощаются в деятельности отдельных князей и царей. Они являются, по Н. М. Карамзину, подлинными творцами истории. Развитие самодержавия в России автор рисует на широком всемирно-историческом фоне. Монархический режим для Н. М. Карамзина — исконный факт русской истории. Его успехи связаны с благосостоянием Руси, периоды его упадка вызвали большие беды для страны. Киевская Русь, «рожденная, возвеличенная единовластием, не уступала в силе и в граж-

[1] *М. М. Щербатов*, указ. соч., т. IV, кн. X, стр. 365.

данском образовании первейшим европейским державам, основанным на развалинах Западной империи народами германскими». Но затем наступило время политического раздробления Руси, исчезло единовластие. «...Разделение нашего отечества и междоусобные войны, истощив его силы, задержали россиян и в успехах гражданского образования: мы стояли или двигались медленно, когда Европа стремилась к просвещению». В XIII в. Россия уже отставала «от держав западных в государственном образовании». Татаро-монгольское нашествие явилось причиной дальнейшего культурного отставания России от западноевропейских стран. «Сень варварства, омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу...», «Россия, терзаемая монголами, напрягала силы свои единственно для того, чтобы не исчезнуть, нам было не до просвещения...»[1].

Спасти Россию, по мнению Н. М. Карамзина, могло только восстановление в ней монархии. «Если Рим спасался диктатором в случае великих опасностей, то Россия, обширный труп после нашествия Батыева, могла ли иным способом оживиться и воскреснуть в величии?». Н. М. Карамзин считает, что движущей силой истории являются лишь носители власти, а народ — их слепое орудие. «Народ и в самом уничижении ободряется и совершает великое, но служа только орудием, движимый, одушевляемый силой правителей». Исходя из этой реакционной мысли, Н. М. Карамзин делает и другой вывод столь же реакционного характера: татаро-монгольское иго принесло Руси не только зло, но и благо, ибо благодаря ему исчезло все, «что имело вид свободы и древних гражданских прав» (вече, должность тысяцкого и т. д.)[2]. Этим было облегчено восстановление монархии.

Центром «государственного возрождения» Руси стала Москва. Там «созрела мысль благодетельного единодержавия», которое окончательно укрепилось при Иване III. «Отселе история наша, — пишет Н. М. Карамзин, — приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки княжеские, но деяния царства, приобретающего независимость и величие. Разновластие исчезает вместе с нашим подданством; образуется держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предполагают ей знаменитое место в их системе политической»[3].

В изображении Н. М. Карамзина Иван III выступает подлинным героем как русской, так и мировой истории. Фигуру этого князя Н. М. Карамзин рисует на широком фоне событий всемирно-исторического значения, свидетельствующих с его точки зрения о закате феодализма в Западной Европе и укреплении в ряде стран национальных монархий. «...Иоанн явился на феатре политиче-

[1] *Н. М. Карамзин*, История государства Российского, т. V, СПб., 1892, стр. 226—228.

[2] Там же, стр. 230—232.

[3] *Н. М. Карамзин*, указ. соч., т. VI, СПб., 1892, стр. 4.

ском в то время, когда новая государственная система... возникла в целой Европе на развалинах системы феодальной или поместной...». Если до Ивана III Россия «около трех веков находилась вне круга европейской политической деятельности», то Иван III «сделался одним из знаменитейших государей в Европе»[1].

Дворянские историки XVIII — начала XIX в., несмотря на всю узость, классовую ограниченность, а иногда и прямую реакционность их концепций, в которых содержание исторического процесса сводилось к самодовлеющей деятельности политической надстройки, а история изображалась как цепь деяний князей и царей, роль народных масс в истории игнорировалась как и обусловленность политических отношений явлениями социально-экономической жизни, внесли известный вклад в изучение вопроса об образовании Русского централизованного государства.

Заслуга дворянской историографии XVIII—начала XIX в. заключается в восстановлении (по летописям и актам) ряда конкретных фактов преимущественно политической истории Руси XIV—XV вв.; в постановке проблемы отсталости Руси от ряда стран Западной Европы в связи с татаро-монгольским нашествием на русские земли и их завоеванием; в показе прогрессивности ликвидации политической раздробленности Руси; в уяснении связи между процессом образования Русского централизованного государства и борьбой русского народа с иноземными захватчиками; в попытке раскрыть международное значение этих явлений. Всемирно-исторический аспект рассмотрения дворянской историографией XVIII в. истории России и, в частности, образования Русского централизованного государства отличен от угла зрения книжников конца XV—XVII в. с их представлением о смене (руководимой рукою провидения) мировых империй.

В конце XVIII — начале XIX в. в России все более проявлялась тормозящая роль крепостнической системы для развития страны; самодержавие все более становилось реакционной силой. Формировалась антикрепостническая идеология. Нарождалась революционная историография.

Представители первого (дворянского) этапа революционного движения, выступая с критикой самодержавия, переносили свое отрицательное отношение к нему на оценку Русского государства XV—XVI вв. Это было положительным фактом в развитии русской исторической мысли, знаменовавшим борьбу ее революционного направления с консервативно-охранительными концепциями официальной историографии, рассматривавшей феодальную монархию как основной прогрессивный фактор исторического развития. Дворянские революционеры отмечали тяжелые последствия политики государственной централизации для народных интересов, подчеркивая при этом роль народа (в широком значении всесословного общества) не как объекта, а как субъекта исто-

[1] *Н. М. Карамзин*, указ. соч., т. VI, стр. 216, 218.

рического процесса. Но устремление внимания главным образом к отрицательным сторонам образования централизованного государства на Руси, с одной стороны, не позволяло дворянским революционерам видеть различия политического строя феодальной монархии на отдельных ее этапах. С другой стороны, излишне идеализировались и наделялись демократическим содержанием порядки древней Руси, периода политической раздробленности, например строй Новгородской феодальной республики.

Образованием Русского централизованного государства интересовался первый дворянский революционер А. Н. Радищев, хотя он и не посвятил этой проблеме какого-либо специального труда.

Глашатай гражданской «вольности», борец против крепостничества и самодержавия, подходивший к изучению прошлого своей страны с революционных позиций, А. Н. Радищев искал в древней и средневековой истории России примеров народного правления. В противоположность официальной дворянской историографии, доказывавшей, как правило, исконность самодержавия в России, А. Н. Радищев считал общественный строй древней Руси демократическим. Показателем этого, по мнению А. Н. Радищева, являются вечевые собрания. Он делает специальную выписку из так называемой Иоакимовской летописи, приведенной в «Истории» В. Н. Татищева, доказывая, что «народные собрания» были на Руси «во употреблении»[1]. Статью Г. Ф. Миллера «Краткое известие о начале Новгорода и о происхождении российского народа, о новгородских князьях и знатнейших оного города случаях»[2]. А. Н. Радищев использует для обоснования положения, что на вечевых «зборищах основалась наипаче вольность народа»[3]. В «Сокращенном повествовании о приобретении Сибири» (1791—1796) А. Н. Радищев высказывает мысль о том, что демократические порядки, подобные новгородским (классовой сущности Новгородской феодальной республики А. Н. Радищев не понимал), были издавна свойственны всем восточным славянам: «...вечевой колокол, палладиум вольности новгородской, и собрание народа, об общих нуждах судящего, кажется быть нечто в России древнее, и роду славянскому сосущественно, с того может быть даже времени, одно, как славяне начали жить в городах; другое, когда христианский закон перенесен в Россию и при церквах колокола возвешены»[4].

Полемизируя с В. Н. Татищевым, доказывавшим наследственность княжеской власти в древней Руси, А. Н. Радищев, напротив,

---

[1] *А. Н. Радищев*, Полное собрание сочинений, т. III, М.—Л., 1952, стр. 34.

[2] «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», 1761 года. В Санкт-Петербурге при Академии наук, июль, стр 3—50; август, стр. 99—158; сентябрь, стр. 195—240; октябрь, стр. 221—223.

[3] *А. Н. Радищев*, указ. соч., т. III, стр. 36.

[4] *А. Н. Радищев*, указ. соч., т. II, М.—Л., 1941, стр. 145.

утверждал, что древнерусские князья были выборными: «...сие, как думаю, было, как у других народов, что князей выбирали из княжеской фамилии»[1].

«Вольности», господствовавшей в древней Руси, был нанесен удар татаро-монгольским нашествием. Политику московских князей, направленную к образованию Русского централизованного государства, А. Н. Радищев рассматривает, во-первых, в плане ее значения для борьбы с татаро-монгольским игом, и, во-вторых, с точки зрения ее роли в ликвидации самостоятельности отдельных русских земель. Связь в понимании А. Н. Радищева этих двух сторон московской политики выступает в ряде его выписок из «Истории» В. Н. Татищева[2].

Мероприятия московских князей по укреплению безопасности от внешних врагов А. Н. Радищев считал прогрессивными. Он отмечал, например, такие факты: «Дмитрий Иванович Донской построил Кремль»; «При царе Иване Васильевиче (Иване III. — *Л. Ч.*) начали лить пушки»[3]. Но ликвидацию на Руси политической раздробленности А. Н. Радищев расценивал как подавление народной «вольности» и укрепление деспотизма и поэтому не одобрял действий великокняжеской власти по включению в состав единого государства ранее независимых русских земель. Эти взгляды А. Н. Радищева ярко выражены в замечательных по силе гражданского пафоса строках его книги «Путешествие из Петербурга в Москву», посвященных падению независимости Великого Новгорода. А. Н. Радищев говорит о политике в отношении Новгорода «царя Ивана Васильевича», воплощая в его личности и действиях образы двух исторических лиц: великого князя Ивана III и царя Ивана IV Грозного. Политику эту А. Н. Радищев рисует как деспотическую, вызванную борьбой Новгородской республики, как органа народовластия, с самодержавием московских царей. «Уязвленный сопротивлением сея республики, сей гордый, зверский, но умный властитель хотел ее раззорить до основания». А. Н. Радищев как бы судит посмертно «царя Ивана Васильевича». Он задает вопрос, какое право имел царь «свирепствовать» в Новгороде, «присвоять» его себе, и отвечает: «Но на что право, когда действует сила?», когда деспотизм нарушает «право народов»[4]. Таким образом, процесс образования централизованного государства на Руси А. Н. Радищев расценивает под углом зрения наступления режима деспотизма и бесправия на общественно-политический строй, основанный на народоправстве.

Декабрист Н. М. Муравьев в своей записке «Мысли об «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина» (1818) дает некоторые оценки и тому периоду в истории Руси, когда она

---

[1] *А. Н. Радищев*, указ. соч., т. III, стр. 38—39.
[2] Там же, стр. 34—35.
[3] Там же, стр. 33.
[4] *А. Н. Радищев*, указ. соч., т. I, М.—Л., 1938, стр. 263.

находилась под татаро-монгольским игом и когда шел процесс политического объединения русских земель.

Н. М. Муравьев подвергает критике реакционный тезис Н. М. Карамзина о том, что знание истории должно способствовать примирению «с несовершенством видимого порядка вещей, как *обыкновенным* явлением во всех веках...». Объективно этот тезис означал, что не следует стремиться к изменению существующего социального и политического строя, как бы он ни был плох. Н. М. Муравьев со своей стороны высказывает прямо противоположную мысль: не примирение с политической и социальной несправедливостью, а борьба с ней — вот стимул движения вперед. «Конечно, несовершенство есть неразлучный товарищ всего земного», но это не значит, что история должна «погружать нас в нравственный сон квиетизма», — пишет Н. М. Муравьев. «Не мир, но *брань вечная* должна существовать между злом и благом». И далее, подтверждая свои высказывания историческими примерами, Н. М. Муравьев указывает, что нельзя примириться «с несовершенствами времен порабощенной России, когда целый народ мог привыкнуть к губительной мысли «*необходимости*»» (имеется в виду время татаро-монгольского владычества над Русью). «Еще унизительнее, — продолжает Н. М. Муравьев, — для нравственности народной эпоха *возрождения* нашего, рабская хитрость Иоанна Калиты; далее холодная жестокость Иоанна III, лицемерие Василия и ужасы Иоанна IV»[1]. У Н. М. Муравьева морально-психологические сентенции часто преобладают над социальным и политическим анализом исторических явлений. Но эти сентенции служат обоснованию передовой, хотя выраженной в идеалистической форме, идеи о борьбе свободы и деспотизма как критерия для оценки ведущих линий истории.

Интересный отзыв о шестом томе «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, где описывается княжение Ивана III, имеется в дневниковой записи Н. И. Тургенева. Основная мысль этой записи сводится к тому, что хотя политика Ивана III, направленная к государственной централизации, и содействовала укреплению Руси и завоеванию ею авторитета на международной арене, но достигалось это ценою установления в стране страшного деспотизма и угнетения народа. «Конечно, приятно, — пишет Н. И. Тургенев, — в особенности с начала, видеть успехи единовластия. Но не знаю, вместе с сим Россия приемлет какой-то вид мрачный, покрывается трауром: она восстает из своего уничижения, но встает заклейменная знаками рабства и деспотизма, доказывающими, чего она лишилась и что приобрела»[2].

---

[1] «Записки Никиты Муравьева. Мысли об «Истории государства Российского» Н. А. Карамзина» («Литературное наследство», т. 59, М., 1954, стр. 585).

[2] «Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816—1824 годы», т. III («Архив братьев Тургеневых», вып. 5, Пг., 1921, стр. 123).

Н. И. Тургенев считает, что в период политической раздробленности Руси было больше условий для развития общества, чем после образования единого государства. Характеризуя самодержавную Россию, Н. И. Тургенев пишет: «как Мемнон, стоит она неподвижная и льдяная, нечувствительная к частной судьбе детей своих, ее столь любящих, так ей преданных»[1].

Конечно, в этом высказывании больше гражданского пафоса и чувства, чем исторического анализа. Но при всем том ясно, что историческая оценка роли русского самодержавия представителями дворянско-революционной историографии (относившими его возникновение к моменту создания централизованного государства) коренным образом отличалась от той оценки, которую дал самодержавию с консервативно-охранительных позиций Н. М. Карамзин. Н. И. Тургенев отмечает, что Н. М. Карамзин, «побеждая размышлением систематическим порывы своей души благородной», стремится представить царствование Ивана Васильевича «выгодным и даже щастливым для России и скрыть и рабство подданных и укореняющийся деспотизм правительства»[2]. Позиции Н. М. Карамзина — «историографа», размышляющего над историей, — Н. И. Тургенев противопоставляет позицию, которую занимает он сам — человек, руководящийся при изучении исторического прошлого чувствами любви и ненависти, причем источником этих чувств является революционное восприятие исторических деятелей и событий. Именно так надо понимать слова Н. И. Тургенева: «Я вижу в царствовании Иоанна щастливую эпоху для независимости и внешнего величия России, благодетельную даже для России, по причине уничтожения уделов; с благоговением благодарю его как государя, но не люблю его как человека, не люблю как русскаго, так, как я люблю Мономаха»[3].

Конечно, Н. И. Тургеневу было чуждо диалектическое понимание процесса образования централизованного государства на Руси как явления, объективно прогрессивного (поскольку с ликвидацией раздробленности создавались более благоприятные условия для экономического и культурного развития страны) и в то же время неизбежно подчиняющегося законам развития классового общества и поэтому связанного с ростом крепостничества и усилением аппарата угнетения. Н. И. Тургенев, говоря об итогах государственной централизации на Руси, подводит их в виде математического баланса, ставя вопрос: что же Россия оказалась в проигрыше или в выигрыше? Самое важное, что этот вопрос решается с точки зрения судьбы «вольности», т. е. гражданских прав общества, классовую структуру которого декабристы еще не были в состоянии правильно раскрыть, но в интересах которого

---

[1] «Дневники и письма Н. И. Тургенева», т. III, стр. 123.
[2] Там же.
[3] Там же.

вели борьбу с самодержавием. В княжение Ивана III, — говорит Н. И. Тургенев,—«Россия достала свою независимость, но сыны ее утратили личную свободу надолго, надолго, может быть навсегда. История ее с сего времени принимает вид строгих анналов самодержавного правительства; мы видим Россию важною, великою в отношении к Германии, Франции и другим иностранным государствам. История России для нас исчезает. Прежде мы ее имели, хотя и нещастную, теперь не имеем: вольность народа послужила основанием, на котором самодержавие воздвигло Колосс Российский! — Мы много выиграли, но много, много потеряли»[1]. Идея о том, что образование централизованного государства было куплено тяжелой для русского народа ценой, явилась большим прогрессом в исторической науке.

Ряд интересных высказываний по русской истории имеется в работе декабриста М. А. Фонвизина «Обозрение проявлений политической жизни в России»[2], представляющей собой отклик на книгу Энно и Шеншо «История России»[3]. М. А. Фонвизин возражает Н. М. Карамзину и другим историкам, которые «везде стараются выставлять превосходство самодержавия и восхваляют какую-то блаженную патриархальность, в которой неограниченный монарх, как нежный чадолюбивый отец, дышит только одним желанием осчастливить своих подданных»[4]. М. А. Фонвизин выступает как борец против самодержавия и сторонник «политической свободы».

Его историческая концепция заключается в утверждении, что до образования централизованного государства «все русские были вольные люди», «крепостное рабство землевладельцев» в России не существовало, во всей силе были «муниципальные учреждения и вольности», образец которых можно найти в Новгороде, Пскове, Вятке[5].

Татаро-монгольское нашествие еще не уничтожило «общинный быт русских городов». Но оно оказало влияние на утверждение на Руси самодержавия. Русские князья (Иван Калита и другие), «пресмыкаясь в Орде», «возвращались оттуда грозными, суровыми повелителями и на подданных вымещали свое унижение». Постепенно «во всех русских городах общинная свобода заменилась княжеским произволом». Дмитрий Донской в Москве «своею властию установил смертную казнь и отнял у народа право избрания тысяцких» и прочих «общинных чиновников». «В том же духе дей-

---

[1] «Дневники и письма Н. И. Тургенева», т. III, стр. 123.

[2] *М. А. Фонвизин*, Обозрение проявлений политической жизни в России («Общественные движения в России в первую половину XIX века», т. I, сост. В. И. Семевский, В. Богучарский и П. Е. Щеголев, СПб., 1905, стр. 97—202).

[3] «Histoire de Russie», par M. M. Esneaux et Chennechot, 5 vol., Paris, 1835.

[4] *М. А. Фонвизин*, указ. соч., стр. 101.

[5] Там же.

ствовали его преемники — Василий I и Василий II». На Руси утвердилось единовластие, которое «не замедлило превратиться в самовластие». Великий князь Иван III стал уже «государем самовластным». Он и его сын Василий II, «покорив оружием Новгород, Псков и Хлынов, уничтожили их общинные права и вольности и увезли в Москву, как трофеи, колокола, созывавшие на вече свободных граждан Новгорода и Пскова». Но «дух свободы» продолжал жить в народе[1].

Труды дворянских революционеров конца XVIII—начала XIX в. (хотя и не являвшихся исследователями-профессионалами) представляют собой серьезный этап в развитии русской исторической мысли[2]. Они имеют несомненное значение и для изучения проблемы складывания Русского централизованного государства. В официальную трактовку, нашедшую законченное выражение в консервативно-охранительной концепции Н. М. Карамзина с его апологией самодержавия, была внесена новая революционная струя попыткой рассмотреть процесс создания единого государства на Руси в конце XV — начале XVI в. под углом зрения борьбы деспотизма и гражданской «вольности». В этой попытке было много упрощенного и неисторического. Целый ряд явлений древней Руси получил неверную идеализированную оценку. Как проявления гражданской «вольности» расценивались иногда выступления удельных князей против московской великокняжеской власти, сопротивление московским князьям Новгородской феодальной республики и т. д. Но при всем том был очень важен отказ от точки зрения на монархический строй как исконное для Руси явление, соответствующее духу русского народа, а на Русское государство XV—XVI вв. как на «восстановленную» древнерусскую (киевскую) монархию. Ценность представляла мысль о том, что возникновение централизованного государства не только явилось результатом победы «единовластия» над «разно»- или «много»-властием, но было связано с ростом угнетения народа. Плодотворным надо признать внимание к деятельности вечевых собраний, хотя дворянские революционеры не достигли их правильного понимания.

Значительное место в исторических концепциях дворянско-революционной историографии заняла борьба Руси за свою независимость с внешними захватчиками, прежде всего с татаро-монгольскими завоевателями. Наконец, заслугой дворянских революционеров было их стремление подойти к деятельности московских князей не только с точки зрения ее положительных итогов в деле объединения Руси, но указать также и теневые стороны этой деятельности — использование поддержки Золотой орды в своих междоусобицах и в укреплении власти над народом,

---

[1] *М. А. Фонвизин*, указ. соч., стр. 103—104.

[2] Об этом см. *С. С. Волк*, Исторические взгляды декабристов, М.—Л., 1958.

стеснение городских вольностей и т. д. При этом, поскольку для дворянских революционеров самодержавие всегда, на всех этапах его существования было явлением отрицательным, в нарисованных ими портретах московских князей преобладали черные краски, и это не всегда давало правильное представление об их исторической роли.

§ 3. Дворянская и буржуазная историография периода кризиса крепостнической системы (до 60-х годов XIX в. включительно)

Критика декабристами с революционных позиций консервативной исторической концепции Н. М. Карамзина убедительно показала, что в этой концепции, построенной на фундаменте наиболее полно подобранных источников, обработанных достаточно совершенными для того времени методами исследовательской техники, проявился идейный кризис дворянской исторической науки. В условиях разложения крепостничества и становления капиталистических отношений развивается буржуазная историография, либеральная по своему политическому направлению. Она отражала идеологию той части буржуазии и обуржуазившихся помещиков, которая видела путь дальнейшего общественно-политического развития в мирных реформах и усовершенствовании монархии.

Исходные предпосылки буржуазно-либеральных и дворянских историков в изучении истории России отличаются известной близостью. Основное внимание русской буржуазной историографии обращено на развитие государства. Но буржуазные историки уже не удовлетворяются прямолинейной и страдающей известным примитивизмом концепцией Н. М. Карамзина, согласно которой единовластие выступает как решающий фактор исторического процесса уже на заре русской истории. Буржуазно-либеральные историки, делая основным объектом своего изучения Русское государство, рассматривают его как известный итог развития народа (в этническом смысле), как результат выделения из семьи и рода человеческой личности, которая находит в государстве наиболее полные условия для самоопределения. Приход на смену союзам, основанным на кровных связях, на смену отдельным местным политическим объединениям единого государства буржуазно-либеральная историография расценивает как показатель прогрессирующего роста народа, сумевшего найти в идее государственной организации гармоническое сочетание запросов и нужд всех сословий и отдельной личности. Объективно подобные взгляды выражали классовые интересы либеральной русской буржуазии, защищавшей идею союза с монархией на основе известного переустройства путем реформы (без революции) общественного

строя и политической системы, их приспособления к развивающимся капиталистическим отношениям. Если для Н. М. Карамзина история России — это пример несовершенства любого общественно-политического порядка и в то же время свидетельство того, что самодержавие как форма политического строя наиболее отвечает интересам народа, то для представителей буржуазной историографии история должна показать, как государство выкристаллизовывалось в процессе развития общества, как оно одержало победу над более примитивными формами человеческой организации и в каком направлении, следовательно, пойдет его дальнейшее совершенствование.

Если дворянская историография, рассматривавшая историю самодержавия в России начиная с Киевской Руси, часто не улавливала различий между раннефеодальной древнерусской монархией и централизованной монархией XVI в., то для буржуазных историков первой половины XIX в. характерна точка зрения, что до политического объединения русских земель государство, строго говоря, на Руси вообще не существовало.

Для дворянской историографии показательны при изучении истории России обращение к параллелям из истории других стран и народов, постановка вопроса о взаимодействии развития России и Западной Европы. Н. М. Карамзин доказывал силу и крепость русского самодержавия, в частности, тем, что оно завоевало авторитет на международной арене. Сравнительно-исторические параллели занимают большое место и в буржуазной историографии. Но в ней вопрос ставится уже в более широком смысле— о направлении путей, по которым совершается развитие России и западноевропейских стран, о сопоставлении и противопоставлении этих путей. Вопрос этот решался по-разному различными историками; некоторые из них обращали внимание на близость явлений русского и западноевропейского средневековья, но наибольшее распространение в буржуазной историографии получила идея своеобразия, самобытности русского исторического процесса. Иногда эта идея развивалась на фоне противопоставления истории стран Западной Европы и Азии, причем причину своеобразия русского исторического процесса исследователи усматривали в том, что Россия занимала промежуточное географическое положение между «Западом» и «Востоком». И в данном случае изучение прошлого было тесно связано с осмысливанием представителями либеральной буржуазии и помещичьего дворянства современной им действительности и их взглядами на политическое будущее России. Отрицая путь революционного переустройства общества, деятели различных направлений буржуазно-либерального и помещичье-дворянского толка расходились по вопросу о том, в какой мере должен быть использован опыт западноевропейских стран в отмене крепостнических порядков, в проведении реформ по переустройству государственного аппарата русской монархии, каковы пределы этих реформ, в какой

мере и что следует сохранить из порядков, сложившихся в России к первой половине XIX в.

При изучении истории государства в буржуазной историографии в значительной мере еще сохраняется персонификация исторического прошлого, которая была присуща Н. М. Карамзину и его предшественникам. Однако буржуазная историография уже в гораздо большей степени проявляет внимание к *процессам* общественного развития, выдвигая в качестве определяющих его условий такие факторы, как географическая среда, колонизация, торговые связи и т. д.

Надо отметить расширение источниковедческого фундамента буржуазной исторической науки, издание памятников летописания, законодательного и актового материала и т. д. Особенно следует подчеркнуть большую роль в развитии науки тех публикаций, которые осуществлялись возникшей во второй четверти XIX в. Археографической комиссией.

Один из ранних представителей буржуазной историографии— Н. А. Полевой в своей концепции русского исторического процесса исходит из предпосылки о том, что до второй половины XV в., до свержения монгольского ига, Русского государства не существовало. По его мнению, до указанного времени можно говорить только об истории русского народа (в этническом смысле). Согласно периодизации русской истории, предложенной Н. А. Полевым, образование «одного Русского государства» открывает четвертый период в истории русского народа[1]. В первый период этой истории (IX — середина XI в.) на Руси господствовал феодализм (Н. А. Полевой понимает его в чисто политическом плане, как отсутствие единовластия), принесенный варяжскими князьями и выразившийся в образовании системы соподчиненных и независимых княжений[2]. Следует отметить, что Н. А. Полевой был одним из немногих буржуазных историков, признававших наличие в России в средние века феодализма. Второй период истории Руси (со второй половины XI в. до нашествия татаро-монголов) Н. А. Полевой определяет как время господства «*феодализма семейного*», или «*системы уделов*, обладаемых членами одного семейства под властию старшего в роде». «Самобытный мир феодализма варяжского», говорит автор, перешел «в удельную систему»[3]. Третий период русской истории, по Н. А. Полевому, охватывает время от татаро-монгольского нашествия до княжения Ивана III. Это время постепенного «восстановления» «из малых *русских княжеств*» «великого *Российского государства*»[4]. Указанный период Н. А. Полевой делит в свою очередь на два этапа, грань между которыми кладет княжение Ивана Калиты,

[1] См. *Н. А. Полевой*, История русского народа, т. I, М., 1829, стр. XLI, XLIII.

[2] См. там же, стр. XLII, 275.

[3] *Н. А. Полевой*, указ. соч., т. II, М., 1830, стр. 38, 40.

[4] *Н. А. Полевой*, указ. соч., т. I, стр. XLIII; т. IV, М., 1833, стр. 9.

когда произошло «основание самобытности *Московского княжества*»[1].

Образование единого Русского государства Н. А. Полевой рассматривает на фоне событий всемирной истории, расценивая русское средневековье как своего рода синтез тех явлений, которые имели место в Западной Европе, с одной стороны, в Азии— с другой. В понимании Н. А. Полевого, своеобразие истории России определялось в значительной мере тем, что она занимала «обширное пространство *между Европою и Азиею*» и поэтому «переходила свой особенный средний век, время феодализма и вольных городов, по подобию Европы, но по образцу Азии»[2].

В числе факторов, содействовавших образованию Русского централизованного государства, Н. А. Полевой важнейшее значение придает борьбе с татаро-монгольским завоеванием. Русское единое государство, — указывает Н. А. Полевой,—возникает в результате «противодействия» Руси «оглушающему удару Азии». Борьбу русского народа за свержение татаро-монгольского ига Н. А. Полевой сопоставляет с крестовыми походами западноевропейских рыцарей, усматривая в обоих этих исторических событиях выполнение христианами предназначенной им провидением роли дать отпор неверным[3]. В данном случае автор использует точку зрения летописных сводов для доказательства мессианистской роли России на Востоке. В условиях обострения «Восточного вопроса» в XIX в. эта мысль служила идейному оправданию внешней политики правительства Николая I. Еще в большей мере это можно сказать о дальнейших выводах Н. А. Полевого.

«Возрождение Руси» в результате свержения татаро-монгольского ига, возникновение Русского централизованного государства расцениваются Н. А. Полевым с точки зрения перехода к русскому народу византийского идейно-политического наследства. Русь сумела оказать сопротивление «неверным», Византия не смогла этого сделать, но, умирая, завещала Руси «православную веру, Царьград и тип восточноевропейского образования»[4]. Так сложившаяся в конце XV — начале XVI в. доктрина «Москва— третий Рим» ставится автором на службу пропаганды завоевательной политики русского царизма на Ближнем Востоке. Надо сказать, что реакционные идеи Полевого используются и современной буржуазной зарубежной историографией, стремящейся доказать вопреки историческим фактам агрессивный характер внешней политики Русского централизованного государства, проводившейся под лозунгом «Москва — третий Рим».

Выше говорилось уже об идейной близости буржуазной и дворянской историографии. В трудах другого историка первой

---

[1] *Н. А. Полевой*, указ. соч., т. IV, стр. 10.
[2] *Н. А. Полевой*, указ. соч., т. V, М., 1833, стр. 10.
[3] Там же, стр. 11, 12.
[4] Там же, стр. 13.

половины XIX в. — М. П. Погодина многое (с точки зрения их идейного содержания) восходит к дворянско-монархической концепции Н. М. Карамзина. Но М. П. Погодин не обладал ни той широтой кругозора и культурой, ни той начитанностью в разновременных источниках, ни тем литературным талантом, которые отличали Н. М. Карамзина. М. П. Погодина следует рассматривать как эпигона дворянской историографии, реакционера по своим политическим взглядам, сторонника официальной теории самодержавия, православия и народности, человека, не давшего чего-либо крупного в научном отношении, хотя и разработавшего ряд специальных вопросов, писателя плодовитого, но мало оригинального.

В трудах М. П. Погодина получила обоснование концепция о своеобразии исторического развития России. Черты этого своеобразия М. П. Погодин видит, во-первых, в том, что западноевропейские государства возникли в результате завоевания, Русское государство — в результате добровольного призвания славянскими племенами варягов. Во-вторых, на Западе, говорит М. П. Погодин, христианство распространилось из Рима, на Руси — из Константинополя, в силу чего в России «духовенство подчиняется государям, в то время как на Западе оно вяжет и решит их». Следствием завоевания было упрочение в ряде европейских стран «феодализма с происшедшим от него рыцарством», а Русское государство «осталось во владении одного семейства, разделившегося на многие отрасли»[1]. «Ослабление феодализма и усиление монархической власти» явились на Западе Европы результатом крестовых походов, на Руси — следствием татаро-монгольского ига[2].

Все эти черты своеобразия русской истории, по мнению М. П. Погодина, определили близость в России власти и сословий. Русский «чиновный боярин» сам отказался от сословных привилегий в виде системы местничества, Россия не знала выступлений, подобных действиям «черни бастильской в минуту зверского неистовства», в России не действовали лица, подобные Гракху, Мирабо, Руссо и др. Отсюда и реакционная политическая программа М. П. Погодина, который в своих взглядах на настоящее и будущее русского народа исходит из мысли, что «российская история может сделаться охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия, самою верною и надежною»[3].

Рассматривая исторический процесс, М. П. Погодин в духе старой феодально-клерикальной историографии оставляет в нем место для действий ряда необъяснимых случайностей, которые воспринимаются как нечто чудесное, как плод вмешательства в судьбы человеческие провидения. Воздействием таких случайностей М. П. Погодин объясняет и причины возникновения центра-

[1] *М. П. Погодин*, Историко-критические отрывки, кн. 1, М., 1846, стр. 6. (Лекция «Взгляд на русскую историю», 1832 г.)

[2] Там же, стр. 7.

[3] Там же, стр. 8, 16.

лизованного государства на Руси, вследствие чего решение данного вопроса получается весьма упрощенное. Утверждение на Руси «единовластия» происходило, по М. П. Погодину, просто и легко: «все роды удельных князей вымерли или обмелели», «и Москва должна была только что прибрать их наследства к своим рукам». Целые княжества «покорились» московским князьям, «повинуясь силе какого-то естественного тяготения»[1]. Говоря о роли Москвы в качестве центра единого Русского государства, М. П. Погодин не знает, чему более удивляться: естественному ли ходу вещей, «в котором одно изтекало, кажется, из другого, или тем неожиданным посторонним событиям, которыми заботливо отклонялись все опасности, нещастья...»[2]. Падение татаро-монгольского ига М. П. Погодин объясняет так: «Слабые *оковы* монгольские свалились с наших рук сами собою»[3]. Историческая концепция Погодина свидетельствует о полном крахе в тот период дворянской историографии, об ее неспособности к объяснению исторических явлений.

В 1834 г. появилась статья Н. В. Станкевича «О причинах постепенного возвышения Москвы до смерти Иоанна III»[4]. Значение этой статьи заключается в том, что она надолго привлекла внимание исследователей, занимавшихся проблемой образования Русского централизованного государства, к одному специальному вопросу, ставшему как бы основным, к вопросу о факторах, способствовавших выдвижению Москвы в качестве государственного центра. Ссылаясь на труды Геерена и Гизо, автор высказывает мысль о том, что политическое значение народа определяется «*централизацией*», его объединением «в одно неразрывное *целое*»[5]. Это — общее место русской буржуазной историографии, считавшей, что условием целостности народа является его формирование в государство как организацию якобы общенародную. Далее автор указывает, что для достижения «политической целости» на первых порах необходимо преобладание какого-либо города над остальными частями страны. Для наблюдателя важно подметить «первый момент сего преобладания» и тем самым получить возможность изучить «все степени гражданской жизни, от первых ее следов до значительного развития», проследить, «как разнородные части общества совокупляются в одно гармоническое целое», уловить «первое биение сердца в живом политическом теле». Таким образом, по мысли Н. В. Станкевича, история «постепенного возвышения Москвы» есть ключ к истории государственной централизации страны. С возвышением Москвы «тесно и неразрывно

---

[1] *М. П. Погодин*, указ. соч., кн. 1, стр. 11.

[2] Там же, стр. 152 (статья «О Москве», 1837 г.)

[3] Там же, стр. 28 (статья «Очерк русской истории», 1832 г.)

[4] *Н. Станкевич*, О причинах постепенного возвышения Москвы до смерти Иоанна III («Ученые записки» Московского университета, ч. 5, М., 1834, стр. 29—55, 247—279).

[5] Там же, стр. 32.

соединен ход России к политическому существованию»[1]. Так произошло сужение большой проблемы создания единого государства и сведение ее к вопросу о роли в этом процессе Москвы и Московского княжества.

Н. В. Станкевич называет четыре причины возвышения Москвы. В качестве первой он отмечает выгодное положение Москвы в центре других княжеств, что давало московским князьям возможность, «приобщая к себе независимые владения», постепенно превращать «*центр в окружность*». Второй причиной автор считает татаро-монгольское нашествие. Оно уничтожило «принципат» Владимира[2], который перестал быть местопребыванием великих князей; монгольские ханы поддерживали московских князей, последние обогащались от сбора дани с удельных княжеств для передачи в Золотую орду; наконец, со временем московские князья, окрепнув, возглавили борьбу с Ордой. «Вот каким образом чуждое варварское иго было одною из важнейших причин, способствовавших возрастанию нашей древней столицы», — пишет Н. В. Станкевич[3]. Третьей причиной возвышения Москвы явилось, по Н. В. Станкевичу, то, что она сделалась местопребыванием митрополитов, которые «влияние свое на народ употребляли в пользу князей» и стали «орудием князей для утверждения их могущества». Наконец, на четвертое место в ряде причин возвышения Москвы автор ставит политику московских князей, направленную к «расширению границ и приобретению политической значительности»[4].

Конечно, Н. В. Станкевич значительно глубже подошел к вопросу о причинах возвышения Москвы, чем его предшественники, отметив не единичные моменты, а совокупность условий, определивших историческую роль этого центра: географический фактор, внешнеполитические события, значение деятельности церкви, характер политики великокняжеской власти. Но, несмотря на то, что предложенная Н. В. Станкевичем для объяснения поставленной проблемы четырехчленная формула вошла (с известными модификациями) в последующую историографию, она все же не раскрывала этой проблемы, ибо из поля его зрения почти полностью выпадали явления социально-экономического характера. Явно неверное решение со стороны Н. В. Станкевича получил такой важный вопрос, как влияние на историю Руси татаро-монгольского завоевания, расцениваемое автором в положительном плане[5].

---

[1] *Н. Станкевич*, указ. соч., стр. 34—35.
[2] Там же, стр. 46, 49.
[3] Там же, стр. 55.
[4] Там же, стр. 249, 255, 278.
[5] Той же темы, что и статья Н. В. Станкевича, касается опубликованная в 1851 г. работа студента Петербургского университета В. Вешнякова «О причинах возвышения Московского княжества». Эта работа не содержит нового материала и представляет собой шаг назад в решении этой проблемы.

Общая концепция русского исторического процесса в буржуазно-либеральной историографии этого времени наиболее полно разработана в трудах представителей так называемой государственной школы — К. Д. Кавелина, Б. Н. Чичерина и особенно в исследованиях С. М. Соловьева. Концепция эта имела определенное политическое значение. Она по существу давала с позиций буржуазии, выступавшей в союзе с царизмом, историческое обоснование процесса развития феодальной монархии, долженствующей мирным путем (без революционных потрясений) перерасти в монархию буржуазную как высший идеал государства.

К. Д. Кавелин рассматривает историческое развитие России под углом зрения борьбы двух начал: «кровного» — «семейного» и «государственного». Из «кровного союза» постепенно выходит личность, которая «ставит себя выше семьи» и отрицает «кровные отношения» во имя «идеи» государства. Появление государства было «началом самостоятельного действия личности», «началом гражданского, юридического, на мысли и нравственных интересах, а не на одном родстве основанного, общественного быта».

Переломным моментом в процессе перехода от «кровных отношений» к государственным было «уничтожение удельной системы» и политическое объединение русских земель. При этом в истории образования единого Русского государства К. Д. Кавелин считает главным не уничтожение независимости отдельных княжеств. Это было «делом возрастающей силы». Гораздо важнее для К. Д. Кавелина другое: то, что при разделе территорий между представителями княжеской линии, укрепившейся в Москве, постепенно увеличивалась доля, принадлежащая великому князю. Это обстоятельство К. Д. Кавелин считает актом сознания: «держава, ее нераздельность и сила поставлены выше семьи»[1]. Образование единого государства, по мысли К. Д. Кавелина, стало возможным в результате победы «идеи» государственного строительства в связи с тем, что личность сбрасывает с себя семейные оковы.

Следовательно, согласно идеалистической концепции К. Д. Кавелина, возникновение Русского централизованного государства было результатом целеустремленной политики московских князей, и в этом отношении его взгляды совпадают с взглядами дворянских историков. Но действия московских князей, по К. Д. Кавелину (и в этом его отличие от дворянской историографии), определяются осознанным и сознательно проводимым в жизнь *идеалом* государства. Так либеральная буржуазия искала в прошлом подтверждения своим политическим идеалам, якобы характерным для национального сознания и осуществляемым отдельными мыслящими представителями общества.

---

[1] *К. Д. Кавелин*, Взгляд на юридический быт древней России («Собрание сочинений», т. I, СПб., 1904, стр. 44—45). Работа издана в 1846 г.

Для концепции К. Д. Кавелина показательно также представление о полной противоположности исторического развития России и стран Западной Европы («...ни одной черты сходной, и много противоположных»)[1]. Применительно к периоду политического объединения русских земель это означало отрицание существования на Руси феодальных отношений.

В исторических взглядах К. Д. Кавелина много общего с взглядами другого представителя «государственной школы» Б. Н. Чичерина. Согласно теории Б. Н. Чичерина, человечество проходит в своем развитии три ступени, для которых характерны следующие формы общежития: «союз кровный», «союз гражданский», «союз государственный». Кровный союз основывается «на сознании естественного происхождения». Гражданский союз вырастает «из столкновений и отношений личностей, вращающихся в своей частной сфере»; общественные связи на этой ступени истории возникают из вотчинного права землевладельцев, из свободного договора между людьми или из порабощения одних лиц другими. «Высшей формой общежития», «высшим проявлением народности в общественной сфере»,—говорит Б. Н. Чичерин,—является государство. В государстве *народность*, главный признак которой составляет язык, «собирается в единое тело, получает единое *отечество*, становится *народом*», а верховная власть «служит представительницею высшей воли общественной...»[2]. Таким образом, государство, с точки зрения Б. Н. Чичерина, — это орган надклассовый, всесословный, выражающий всенародную волю. Образование государства — показатель уровня народного самосознания. Подобное понимание государства типично для либерально-буржуазной историографии.

Процесс образования централизованного государства на Руси Б. Н. Чичерин рассматривает (на материале духовных и договорных княжеских грамот XIV—XVI вв.) как смену союза гражданского союзом государственным. Применяя к объяснению этого процесса гегелевскую диалектику, он делает вывод, что «внутреннее противоречие одной жизненной формы влечет к установлению новой, высшей формы», из анархии возникает порядок, «который все частности сдерживает в своем единстве». Конкретно это выражалось в том, что каждый князь раздробленной Руси стремился усилиться за счет своих соседей, а расширив свои владения, делил их, как вотчинник, между наследниками. Так продолжалось до тех пор, пока князья стали понимать, что сохранить могущество княжества можно, лишь усиливая одного наследника за счет других. Тот из князей, кто получал большую долю наследства, стал покорять других. «Этим путем начали собираться раздробленные массы, и создалось, наконец, единое тело, с единым главою, кото-

---

[1] *К. Д. Кавелин*, указ. соч., стр. 6.

[2] *Б. Н. Чичерин*, Опыты по истории русского права, М., 1858, стр. 366—369.

рый, сделавшись единодержавцем, мало-помалу снял с себя прежний тип вотчинника и стал сознавать себя государем»[1].

Несмотря на идеалистический характер и ярко выраженную классовую сущность концепций К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина, проявляющуюся в апологии буржуазного государства; несмотря на догматизм мышления названных авторов, в силу которого они переносили в прошлое понятия современного им общества, переживавшего кризис крепостнического строя; несмотря на антиисторичность подхода к государству, которое по существу отождествлялось с понятием централизованной политической системы, эти концепции в известной мере отражают поступательное развитие буржуазной историографии. Особенно важна была попытка связать возникновение единого государства на Руси с исторически обусловленной сменой общественно-политических форм, их борьбой между собой. И хотя эта смена трактовалась как результат претворения в жизнь абстрактных понятий, а в реальной действительности авторы обращали главное внимание на политический строй (и еще у́же—на междукняжеские отношения) и правовые нормы, тем не менее это был новый подход к вопросу по сравнению с дворянской историографией. Но в то же время необходимо иметь в виду, что концепции образования Русского централизованного государства, разработанные Кавелиным и Чичериным, отражают общие политические взгляды русских либералов—противников революции. В этом реакционный смысл их концепций. Недаром В. И. Ленин видел в Кавелине одного «из отвратительнейших типов либерального хамства...»[2].

Наибольшими достижениями русская буржуазная историография того времени обязана С. М. Соловьеву (идейно близкому к представителям «государственной школы»). С. М. Соловьев в результате многолетнего упорного труда в архивах собрал громадный, ранее в значительной своей части неизвестный исследователям материал, а на основе его обработки попытался дать целостную схему русского исторического процесса.

Уже в своей первой диссертации «Об отношениях Новгорода к великим князьям» С. М. Соловьев выступил с концепцией, согласной которой политическое развитие Руси до конца XV в. представляло собой постепенную смену порядков, определявшихся родственными междукняжескими взаимоотношениями, порядками государственными, основанными на началах подданства народа княжеской власти. Первоначально русские князья, пишет С. М. Соловьев, «смотрели на себя как на членов одного семейства и на области Русские—как на нераздельную собственность этого семейства, причем старшие владели областями лучшими». Для собирания русских земель в одно целое и для приобретения государственного единства необходимо было ослабление родственных

---

[1] *Б. Н. Чичерин*, указ. соч., стр. 336.
[2] *В. И. Ленин*, Соч., т. 18, стр. 13.

связей среди князей, «отчуждение родов и линий княжеских друг от друга». Это могло произойти только тогда, «когда понятия собственности, наследственности владения начали господствовать над понятиями семейными, когда родовые отношения князей между собою заменились отношениями их как правителей к своим подданным, когда земля, область, город привязали к себе князя тесными узами собственности, сделали его оседлым»[1].

«Оседлость» князей, по С. М. Соловьеву, началась в Северо-Восточной, Владимиро-Суздальской Руси. Там зародились и новые государственные порядки. Для их утверждения Северо-Восточной Руси надо было «освободиться на время от России Южной, где старый быт господствовал и откуда являлись на север непобедимые князья с угрозою задавить новорожденное государство». Этому «освобождению» помогло татаро-монгольское нашествие. «Старая» (т. е. Киевская) Русь, «испепеленная татарами, поддалась князьям литовским и потеряла свой прежний быт»[2]. А во Владимиро-Суздальской Руси со времени Андрея Боголюбского началась борьба «между старым порядком вещей и новым»[3]. Она проявилась в соперничестве «старых» городов (где существовало «вечевое народовластие», а княжеская власть была слаба, ибо из-за господства родовых отношений князья беспрерывно сменялись) и городов «новых», где укреплялись постоянные княжеские линии. Окончательное торжество «нового порядка вещей над старым обозначилось борьбою Новгорода с Москвою» и торжеством последней в конце XV в.[4]

Многое в схеме С. М. Соловьева восходит к старой дворянской историографии (например, мысль об изменении направления исторического развития в связи с перемещением политических центров Руси). Идеи, которые внесены в эту схему С. М. Соловьевым как представителем буржуазной историографии (например, идея борьбы государственных и родовых начал), в их конкретном применении часто неправильно отражают историческую действительность (например, утверждение, что в Киевской Руси князья не были «оседлыми»). В соответствии с общими теоретическими представлениями, характерными для буржуазной «государственной школы» историографии, С. М. Соловьев неправильно мыслит государство как организацию, объединяющую весь народ на общих для него началах, и понятие государства ограничивает формальными признаками государства централизованного. Наконец, междукняжеские отношения для С. М. Соловьева—это не обычная тема исторического исследования. Это—одно из главных проявлений общественной жизни, своего рода ключ к пониманию исторического

---

[1] *С. М. Соловьев*, Об отношении Новгорода к великим князьям, М., 1846, стр. 21.
[2] Там же, стр. 97.
[3] Там же, стр. 22.
[4] Там же, стр. 16.

процесса, ибо С. М. Соловьев не видит подлинных его творцов—трудовых народных масс.

И при всем том даже в этой ранней монографии С. М. Соловьева давалось новое понимание проблемы образования Русского централизованного государства. Его возникновение выводилось из длительной борьбы старых общественных отношений с новыми, в конкретных формах сведенной к соперничеству «старых» (вечевых) и «новых» (княжеских) городов. Плодотворной была мысль об «узах собственности», связывавших князей с землей, хотя эта связь понималась упрощенно, идеалистически, как переход к «оседлости» княжеских линий, в связи с тем, что получило преобладание понятие о наследственности княжеских владений.

Концепция С. М. Соловьева нашла дальнейшее развитие в его второй диссертации: «История отношений между князьями Рюрикова дома». Автор утверждает здесь, как и в книге «Об отношениях Новгорода к великим князьям», что «новый» политический порядок, устанавливавшийся в Северо-Восточной Руси, в отличие от Руси Киевской был основан на понятии о собственности, вследствие чего «все северные князья были собственниками». Отсюда тот «хозяйственный характер, господствующая мысль о приобретении и сбережении, избежание решительных мер, которые отличают большинство северных князей, и преимущественно князей московских, от Даниила до Иоанна III, последнего князя—хозяина и первого государя»[1].

В знаменитом обобщающем труде С. М. Соловьева «История России с древнейших времен» поставлена задача рассмотреть историю нашей страны как органический процесс внутреннего развития[2]. При этом С. М. Соловьев обосновывает необходимость раскрытия исторической закономерности (понимаемой идеалистически).

Главным в процессе исторического развития Руси С. М. Соловьев считает в этом многотомном труде (так же, как и в своих монографиях) «переход родовых княжеских отношений в государственные»[3]. Но большое значение в качестве факторов, влиявших на направление и характер исторического процесса, С. М. Соловьев придавал природе страны. Непосредственное соприкосновение Восточноевропейской равнины со степями Средней Азии предопределило многовековую борьбу восточных славян с кочевниками. Обширность страны и ее малонаселенность явились условием мирной колонизации.

Из этих общих предпосылок С. М. Соловьев исходит в изучении причин и хода складывания Русского государства. При этом он различает два типа государств, из которых одни образовались

---

[1] *С. М. Соловьев*, История отношений между русскими князьями Рюрикова дома, М., 1847, стр. 333.

[2] См. *С. М. Соловьев*, История России с древнейших времен, кн. I, СПб. (б. г.), стр. 1.

[3] Там же, стр. 4.

«неорганически», в результате завоевания, другие—«органически», в процессе «внутреннего возрастания и укрепления». Для Русского государства, по С. М. Соловьеву, характерен второй путь развития: оно «при самом рождении своем является в громадных размерах», обусловленных природою. Пользуясь «удобством водяных путей во всех направлениях», «новое государство», т. е. Киевская Русь (вернее прообраз государства, ибо победа государственного начала на Руси, по С. М. Соловьеву, происходит позднее), быстро охватило ряд племен и «наметило громадную для себя область», но последняя была пустынна, еще «нужно было все населить, все устроить, все создать». И тогда на Руси произошло то, что бывает во всех «органически образованных государствах»: «страна как будто бы разделилась на части, находящиеся под властию разных владетелей», связанных, однако, друг с другом.

С. М. Соловьев намечает два типа «владельческих отношений», из которых один характерен для государств германских (феодализм), другой—для государств славянских (родовые междукняжеские отношения). При феодализме зависимость вассала от сюзерена возникает «из первоначальной зависимости членов дружины к вождю». На Руси (где, по С. М. Соловьеву, феодализма не было) «связью между частями государства служило родовое отношение владельца каждой части к владельцам других частей и к самому старшему из них». Это отношение было основано на «происхождении всех владельцев от одного общего родоначальника» и на том, что «старший стол переходил постоянно во владение к старшему в целом роде княжеском». Феодализму на Западе и родовым княжеским отношениям на Востоке,—замечает С. М. Соловьев,—«бесспорно принадлежала опека над новорожденными европейскими обществами в опасный период их младенчества».

В дальнейшем на Руси «стало заметно образовываться крепкое государственное средоточие», родовые княжеские отношения должны были уступить место единовластию. Это было связано с отливом «жизненных сил» с юго-запада к северо-востоку, в область Верхней Волги: «народонаселение движется в этом направлении—и вместе с ним идет история». Здесь «начинается борьба нового порядка вещей со старым, государственных отношений с родовыми, и оканчивается торжеством первых над последними». «Северо-Восточная Русь собирается в одно целое»[1].

Перед нами целостная, продуманная схема исторического процесса, в которой период политического объединения страны и создания централизованного государства занимает место, принадлежащее ему в силу закономерности общественного развития (так, как ее понимает автор, выдвинувший идею «органического» образования государства). В этой схеме уделяется значительное внимание таким факторам общественного развития, как природа страны,

---

[1] *С. М. Соловьев*, История России с древнейших времен, кн. I, стр. 1341—1344.

ее колонизация, борьба народа с кочевниками и т. д. Исторические труды С. М. Соловьева—это одно из наиболее выдающихся завоеваний буржуазной историографии. В то же время ограниченность буржуазной методологии автора не позволила ему выйти за пределы рассмотрения государства как правового понятия, лишенного классового содержания. Его попытка выявить преемство форм по существу свелась к изучению изменения форм политической организации в отрыве от истории народа, от его экономической и социальной жизни. Естественно, что такая попытка и не могла привести к раскрытию как общих объективных закономерностей, так и своеобразия развития отдельных стран.

С. М. Соловьев еще раз попытался изложить общие основы своего понимания истории России в тринадцатом томе своего фундаментального труда, в главе «Россия перед эпохою преобразований»—там, где он подводит итоги изучению допетровского времени. Здесь все многообразие исторических явлений им в конечном итоге выводится из географического фактора. С. М. Соловьев приходит к выводу, что «в истории распространения европейской цивилизации» наблюдается «постепенное движение от запада к востоку, по указанию природы, ибо на западе сосредоточиваются самые благоприятные условия для ранних успехов цивилизации», которые «постепенно ослабевают, чем далее на восток»[1].

С. М. Соловьев подчеркивает, что движение русской истории с юго-запада на северо-восток было движением из стран лучших в худшие, в условия менее благоприятные. В Северо-Восточной Руси немногочисленное население было разбросано на громадном пространстве; здесь не было «разделения занятий», отсутствовали «большие города», сообщение между отдельными областями было слабое, население не обладало сознанием общих интересов. «Раздробленные таким образом части» могли быть «стянуты» лишь «правительственною централизациею». «Централизация,—указывает С. М. Соловьев,—восполняет недостаток внутренней связи, условливается этим недостатком и, разумеется, благодетельна и необходима, ибо без нее все бы распалось и разбрелось: это хирургическая повязка на больном теле, страдающем потерею внутренней связи, внутренней сплоченности»[2].

Итак, выдвинув тезис о возникновении на Руси государственности в результате «*внутреннего*», «*органического*» развития, С. М. Соловьев в конечном итоге объясняет образование Русского централизованного государства отсутствием достаточных *внутренних* предпосылок для дальнейшего *органического* роста общества. Централизация выступает как извне принесенная сила, сплачивающая народ и дающая ему возможность развиваться как единое целое. Таково буржуазное понимание природы государства.

---

[1] *С. М. Соловьев*, История России с древнейших времен, кн. III, СПб. (б. г.), стр. 626.

[2] Там же, стр. 643, 645.

Выход «Истории России с древнейших времен» вызвал резкую критику со стороны славянофилов. В статье «По поводу VII тома Истории России г. Соловьева» (1858) К. С. Аксаков писал, что «в «Истории России» автор не заметил одного: русского народа». «Русского народа,—продолжал К. С. Аксаков,—не заметил и Карамзин; но в то время этого далеко нельзя было так и требовать, как в наше время; к тому же Карамзин назвал свою историю «Историею государства Российского». Так же и «История России» С. М. Соловьева,—указывает рецензент,—«может совершенно справедливо быть названа тоже историею Российского государства, не более; Земли, народа—читатель не найдет в ней». Но даже история государства как такового «не может быть удовлетворительна», если «она не замечает Земли, народа»[1].

Эти справедливые замечания, бесспорно, указывают на самое слабое место исследований С. М. Соловьева. Но теоретические позиции рецензента, с которых он критикует труд С. М. Соловьева, оказываются еще более слабыми, чем позиции автора критикуемого труда. Как известно, разногласия между славянофилами и так называемыми западниками (к которым примыкали и К. Д. Кавелин, и С. М. Соловьев) не были разногласиями, отражавшими принципиальную противоположность идеологий. И те и другие враждебно относились к революционному движению, и те и другие были сторонниками проведения известных реформ, которые содействовали бы развитию в России буржуазных отношений. Идейные расхождения славянофилов с «западниками» были расхождениями в пределах одного лагеря. В противоположность «западникам», настаивавшим на том, что в дальнейшем политический строй России должен приближаться к политическим отношениям в западноевропейских буржуазных странах, славянофилы были сторонниками сохранения патриархальной, преимущественно допетровской старины, в которой они видели полную гармонию интересов государства и народа («Земли»). Стремясь укрепить роль помещиков в деревне при консервации там патриархальных отношений, славянофилы идеализировали общину как исконное начало в жизни русского народа. Выступая за уважение к национальным традициям, придавая своим выступлениям патриотический характер, славянофилы по существу сводили эти традиции к реакционному лозунгу (самодержавие, православие и народность), характеризующему якобы русское национальное самосознание.

С этих политических позиций и критикует К. С. Аксаков С. М. Соловьева, упрекая его, что он не показал в своей «Истории» русского народа как носителя этих трех начал. С этих же позиций дает К. С. Аксаков свою собственную историческую концепцию, в частности подходит к решению проблемы образования Русского централизованного государства. В статье «Об основных началах

---

[1] *К. С. Аксаков*, Полное собрание сочинений, т. I, Сочинения исторические, М., 1861, стр. 253—254.

русской истории» К. С. Аксаков говорит о разных путях развития государств в России и в странах Западной Европы. «Все европейские государства основаны завоеванием», Русское государство возникло в результате «*добровольного призвания* власти». Поэтому в основе западноевропейских государств лежат «*насилие, рабство и вражда*», Русское государство построено на началах «*добровольности, свободы и мира*». Для России характерен «союз народа с властию». Отношения народа («Земли») и государства в России держатся на «взаимной доверенности»[1].

В статье «Несколько слов о русской истории, возбужденных историею г. Соловьева (по поводу I тома)» (1851) К. С. Аксаков предлагает свою периодизацию русского исторического процесса. Эта периодизация не нова. Следуя давней (еще летописной) традиции, К. С. Аксаков указывает, что «русскую историю лучше разделять, как она сама себя разделила, т. е. по столицам». Но автор подводит под такой принцип периодизации идеологическое обоснование в соответствии со своими общими политическими взглядами. Он считает, что «русская столица вовсе не то, что столица в других государствах», в русской столице нет «деспотического значения», нет «ничего централизирующего»; зато в ней «выражается мысль эпохи», «в столицах сознает себя исторически народ»[2].

В течение трех периодов истории России («Киевского», «Владимирского», «Московского») существовали общины, «соединенные в земском отношении единством веры православной, а также и единством народным быта и языка». Политическое единство сначала строилось на кровном родстве князей. «Москва первая задумала единство государственное и начала уничтожение отдельных княжеств». При этом политика московских князей не затрагивала общин, которые «были довольны, когда падали между ними государственные перегородки». Так постепенно Москва соединила всю Русскую землю в одну «Великую общину»[3].

Историческая схема К. С. Аксакова—монархическая. В его концепции народ как субъект истории по существу отсутствует (и в этом отношении справедливый упрек, брошенный автором С. М. Соловьеву, вполне может быть отнесен и к нему самому). Нельзя назвать историей народа упоминание его в качестве «Земли», постоянно действующей рука об руку с «государством», «властью», шествующей в союзе с монархией.

Сопоставляя между собой две концепции помещичье-буржуазной либеральной историографии по вопросу об образовании Русского централизованного государства—концепцию «государственной школы» и славянофильскую, надо сказать, что именно первая, при всей ее методологической ограниченности, отражала поступательное развитие исторической мысли. При всей общности классовых основ мировоззрения К. С. Аксакова, с одной стороны, и

[1] *К. С. Аксаков*, указ. соч., т. I, стр. 8, 10, 11.
[2] Там же, стр. 44.
[3] Там же, стр. 45—47.

С. М. Соловьева—с другой, исторические построения последнего отличаются диалектичностью (в идеалистическом понимании диалектики); он (отрицая революционные перевороты) обращает внимание на борьбу старого и нового (пусть главным образом в сфере правовых понятий, а не социальных отношений). Построение К. С. Аксакова статично, в нем нет движения и нет никакой борьбы. Историческая миссия русского народа, по К. С. Аксакову, состоит в том, чтобы пронести на протяжении веков незыблемым якобы дорогое ему монархическое начало. Монархическая концепция К. С. Аксакова приближается к концепции Н. М. Карамзина, но последний воплощает ее в действиях исторических лиц, доводит до читателя в виде занимательного рассказа о прошлом, в то время как у первого те же идеи выступают в виде голой схемы, своего рода скелета, с которым не вяжется представление о динамике общественного развития. В ограниченных рамках помещичье-буржуазной либеральной исторической науки исследования С. М. Соловьева содержали прогрессивные тенденции, которых нет у К. С. Аксакова, несмотря на его призыв к изучению истории народа. По своим взглядам К. С. Аксаков мало отличался от представителя официальной охранительной идеологии М. П. Погодина.

В середине XIX в. в русской историографии зарождается интерес к истории отдельных русских земель, вошедших в состав единого централизованного государства. При этом в работах, посвященных этой истории, проявляется своеобразный областной патриотизм, выражавшийся в стремлении подчеркнуть роль той или иной местности в общерусском историческом процессе.

Так, в книге Д. И. Иловайского «История Рязанского княжества» мелькает мысль о том, что во второй половине XIV в. Рязань становилась одним из центров объединения русских земель, причем этим она была обязана политике рязанского великого князя Олега Ивановича. «На Олеге очень ясно отразились современные ему княжеские стремления к собиранию волостей»,—пишет Д. И. Иловайский. «Видя, как два главные центра, в Северо-Восточной и Юго-Западной России, притягивают к себе соседние волости, он хочет уничтожить эту силу тяготения и стремится инстинктивно создать третий пункт на берегах Оки, около которого могли бы сгруппироваться юго-восточные пределы». Правда, автор подчеркивает, что для проведения подобной политики у Олега не было под ногами «твердой исторической почвы», а при таких условиях «отдельная личность, как бы она ни была высоко поставлена, не может создать что-нибудь крепкое, живучее...»[1].

Давая сравнительную оценку тем идеям, которые были выдвинуты представителями дворянской и буржуазной (имея в виду либеральное крыло) историографии (до 60-х годов XIX в. включительно) для уяснения процесса образования Русского централи-

---

[1] *Д. И. Иловайский*, История Рязанского княжества, М., 1858, стр. 196.

зованного государства, необходимо отметить прежде всего поступательный ход исторической мысли. Если дворянские исследователи при решении данной проблемы интересовались в значительной мере историей княжеской династии, то буржуазная историческая наука, сохраняя этот интерес, во главу угла выдвигает эволюцию государства как определенной системы политических отношений. Если дворянская историография рассматривала образование на Руси единого государства как один из этапов на пути перенесения русских столиц, то буржуазные исследователи ставят эту смену столиц в связь с общим процессом движения цивилизации с Запада на Восток. Если для дворянских историков самодержавие является рычагом исторического развития, двигающим вперед народ, то для буржуазной историографии общество выступает творцом идеи государства, воплощающейся затем, в период создания централизованной государственной системы, в жизнь. В буржуазной историографии получили значительно большее обоснование такие факторы формирования государства, как внешняя среда, торговые связи, колонизация и т. д.

Таким образом, буржуазно-либеральные историки уже ближе, чем дворянские, подходили к пониманию закономерного характера общественного развития. И тем не менее, будучи не в силах раскрыть общие исторические закономерности, они не могли установить их и для периода создания централизованного государства на Руси. Препятствием к этому являлись: идеалистический склад мировоззрения буржуазных авторов; скованность их мышления абстрактными юридическими категориями, за которыми они не умели различать реальных классовых интересов, порождаемых материальными условиями жизни. Русские буржуазные исследователи изучаемого времени интересовались борьбой исторических сил в период формирования единого государства, но не видели в ней классового содержания. Противники революционного переустройства существующего строя, они и в прошлом устанавливали лишь эволюционные ряды явлений.

§ 4. Труды революционных демократов

С революционно-демократическим пониманием истории выступили В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский. В своих трудах они использовали все те завоевания дворянской и буржуазной исторической науки в области подбора, анализа, критики исторических источников, установления проверенных исторических фактов, которые были сделаны к их времени. Будучи хорошо знакомы с современными им философскими системами, они освоили те идеи, которые были положены лучшими представителями буржуазно-либеральной исторической мысли (и прежде всего С. М. Соловьевым) в основу объяснения русского исторического процесса и, в частности, процесса политической централи-

зации (смена родовых начал государственными, роль географического фактора и колонизации страны). Но они во многом переработали выводы дворянско-буржуазной историографии той поры с позиций своего революционного мировоззрения. Они подвергли острой критике либеральную концепцию русской истории.

Продолжая традиции революционного подхода к истории, заложенные А. Н. Радищевым и декабристами, объективно отражавшего буржуазную идеологию, революционные демократы связывали изучение прошлого, и особенно вопроса о создании на Руси централизованной государственной системы, с той борьбой против самодержавия и крепостничества, которая была делом их жизни. По сравнению с А. Н. Радищевым и декабристами революционные демократы более глубоко подходили к объяснению основных явлений русской истории, в частности процесса складывания единого русского государства. Деятели второго этапа революционного движения—революционные демократы—подошли уже к решению той задачи (хотя и не решили ее), которая была еще недоступна А. Н. Радищеву и декабристам,—к показу роли трудовых народных масс в истории. Подошли они и к материалистическому миропониманию (хотя и не все одинаково, но все непоследовательно, причем преимущественно применительно к явлениям природы, а не общественной жизни).

Во взглядах В. Г. Белинского по вопросу об образовании Русского централизованного государства много противоречивого. Многие мысли он воспринял от дворянской и буржуазно-либеральной историографии, не сумев сбросить их идеалистическую оболочку. Но с рядом идей он выступил как новатор—представитель революционно-демократического направления в науке[1].

Уже в «Литературных мечтаниях» (1834) В. Г. Белинский указал на сковывающие начала в жизни русского народа: церковное влияние Византии, татаро-монгольское иго, самодержавие[2]. В то же время В. Г. Белинский проводил в своих трудах (в соответствии с выводами лучших представителей дворянско-буржуазной историографии его времени) мысль о прогрессивности процесса государственной централизации. В рецензии (1836) на «Русскую историю для первоначального чтения» Н. А. Полевого В. Г. Белинский, давая характеристику Ивану III, пытается найти в нем черты одновременно и крупного государственного деятеля, при котором Русское государство добилось независимости от Орды, и в то же время правителя, устанавливавшего на Руси порядки восточной деспотии[3].

В рецензии (1839) на исторические романы И. И. Лажечникова «Ледяной дом» и «Басурман» В. Г. Белинский высказывает несколь-

[1] См. *В. Е. Иллерицкий*, Исторические взгляды В. Г. Белинского, М., 1953.

[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. I, М., 1953, стр. 37.

[3] *В. Г. Белинский*, указ. соч., т. II, М., 1953, стр. 110.

ко общих мыслей по вопросу о характере политической раздробленности и последующей государственной централизации на Руси. Сущность исторического процесса в период раздробленности (в «период уделов») автор расценивает как процесс освоения населением территории России. Русский народ («великан-младенец») «путем раздробления разбрасывался в длину и ширину и захватывал себе побольше места на божьем свете, чтоб было где ему развернуться и поразгуляться, когда придет его время...». По существу здесь в поэтической форме ставится вопрос о колонизации страны как основном факторе «удельного» времени.

Условием, способствовавшим образованию Русского централизованного государства, В. Г. Белинский считает то сплочение русского народа, которое последовало в результате татаро-монгольского ига. «Внешняя сила» в виде власти Золотой орды «должна была сдавить Русь; спаять ее же кровию, пробудив в ней чувство единоверия и единокровности». Это высказывание отличается, конечно, в корне от мысли Н. М. Карамзина о положительном воздействии татаро-монголов на процесс государственной централизации на Руси. Речь идет о другом: чужеземное господство заставило русский народ глубже осознать свои национальные интересы.

Процесс государственной централизации автор связывает с укреплением самодержавия. Великого князя Ивана III («могучего Иоанна III») В. Г. Белинский изображает как «первого царя русского», «замыслившего идею единовластия и самодержавия», «сокрушившего представителей издыхавшего удельничества...»[1].

Ряд соображений по вопросу об образовании Русского централизованного государства содержится в статьях В. Г. Белинского о народной поэзии (1841). Здесь он прежде всего в соответствии с распространенным в буржуазной историографии его времени взглядом противопоставляет русскую «удельную систему» феодализму западноевропейского средневековья. «В феодализме,— по мнению В. Г. Белинского,—заключалась идея, удельная система, по-видимому, была случайностью, порождением естественных, патриархальных понятий о праве наследства»[2]. Происхождение «удельной системы» В. Г. Белинский видит в разделах князьями недвижимого имущества между детьми. «Удельная система была точь-в-точь то же самое, что теперь помещицкая система: отец-помещик, умирая, разделяет поровну своих крестьян между своими сыновьями». «Удельная система»,—считает В. Г. Белинский,— это «самая естественная и простодушная из всех систем в мире». Междоусобные войны возникали лишь в результате «личных несогласий князей». Значение «удельной системы» В. Г. Белинский видит в том, что она «принесла внешнюю пользу России, сделавшись причиною ее внешнего расширения»[3].

---

[1] *В. Г. Белинский*, указ. соч., т. III, М., 1953, стр. 7—23.
[2] *В. Г. Белинский*, указ. соч., т. V, М., 1954, стр. 345.
[3] Там же, стр. 346—347.

Оценивая значение статей В. Г. Белинского о народной поэзии для изучения проблемы Русского централизованного государства, следует сказать, что при общем идеалистическом подходе к историческим явлениям и нечеткости выводов в этих статьях были высказаны очень интересные и новые мысли. Таково, например, сопоставление «помещицкой» и «удельной» «систем», которое, будучи доведено до логического конца, должно было бы привести автора к выводу о наличии в то время на Руси того, что лежит в основе помещичьего права, т. е. несвободного состояния крестьянства.

В статье 1841 г., посвященной времени Петра I, В. Г. Белинский ставит проблему формирования русской национальности, определяя ее как «совокупность всех духовных сил народа»[1]. Большое значение автор придает влиянию на национальность географических условий, в которых она развивалась. Различая «народы горные» и «долинные» и относя русский народ к числу последних, В. Г. Белинский останавливается на складывании русского национального характера под влиянием природы страны в разные периоды его истории, в частности в период объединения русских земель вокруг Москвы. Отметив, что «колыбель» России из Новгорода через Владимир перешла в Москву, автор художественно изображает воздействие природы страны на русскую национальность и воспитание черт ее характера. «Суровое небо увидели ее младенческие очи, разгульные вьюги пели ей колыбельные песни, и жестокие морозы закалили ее тело здоровьем и крепостию»[2].

Подчеркивая величие и могущество русского народа, В. Г. Белинский в подтверждение этому приводит ряд фактов русской истории, в числе которых фигурируют и «быстрая централизация Московского царства», «и мамаевское побоище», «и свержение татарского ига». Желая показать далее, что в России не было недостатка в «характерах и умах государственных и ратных», В. Г. Белинский называет среди выдающихся исторических деятелей прошлого Ивана Калиту, Семена Гордого, Дмитрия Донского, Ивана III[3].

Считая образование централизованной государственной системы явлением положительным, В. Г. Белинский, отрицательно оценивал роль Новгородского государства в истории Руси, находя, что «это была не республика, а «вольница», в ней не было свободы гражданской, а была дерзкая вольность холопей, как-то отделавшихся от своих господ». «От создания мира не было более бестолковой и карикатурной республики»,—пишет В. Г. Белинский. «Она возникла, как возникает дерзость раба, который видит, что его господин болен изнурительной лихорадкой и уже не в силах справиться с ним как должно; она исчезла, как исчезает дерзость этого раба, когда его господин выздоравливает». Ликвидацию новгородской независимости В. Г. Белинский считает делом «необ-

---

[1] *В. Г. Белинский*, указ. соч., т. V, стр. 125.
[2] Там же.
[3] Там же стр. 134.

ходимым», «оправдывающимся не только политикою, но и нравственностию». По словам В. Г. Белинского, Иван III и Иван Грозный «не завоевывали, но усмиряли Новгород, как свою взбунтовавшуюся отчину»[1].

Взгляды В. Г. Белинского на Новгородскую республику были известной реакцией на идеализацию ее как носительницу начал демократии. Именно этим объясняется его резко отрицательная оценка Новгородского государства.

Постепенно В. Г. Белинский все более вырабатывал целостный взгляд на русский исторический процесс, все более подходил к проблеме его членения на определенные периоды, отличающиеся своими специфическими чертами. Эта проблема выдвинута им в рецензии (1841) на «Историю России в рассказах для детей» А. Ишимовой[2] и нашла дальнейшую разработку в его рецензии (1843) на «Историю Малороссии» Н. Маркевича[3]. Здесь В. Г. Белинский набрасывает «план» русской истории, как он ему представляется. Время от вокняжения Владимира Святославича (X в.) до татаро-монгольского нашествия на Русь В. Г. Белинский называет «удельным периодом». Основное его содержание автор видит, как и раньше, в расселении русского народа по территории своей страны. Политическая централизация тогда отсутствовала: «Русь, в период уделов, расширялась, а не централизовалась». Строго говоря, В. Г. Белинский отрицал для времени до татаро-монгольского нашествия наличие на Руси не только централизованного государства, но и государства вообще. Он писал, что «... Киев, а потом Владимир были больше по имени, чем в сущности, великокняжескими столицами: титло великого князя более льстило честолюбию претендентов, чем доставляло им действительную власть и силу».

Если в этих утверждениях В. Г. Белинского и можно обнаружить известную близость к взглядам историков «государственной школы», то новой и прогрессивной была мысль В. Г. Белинского (правда, не доведенная им до логического конца) о социальном неравенстве как основе, на которой возникали общественно-политические отношения «удельного периода». «Помещичье право было душою удельного периода, и князья тогда были—род помещиков, произошедших из одного дома; бояре их—род домашних людей, а простой народ—крестьяне».

Началом централизации Руси, по В. Г. Белинскому, был «татарский период», продолжившийся до княжения Ивана III. Это время характеризуется двумя основными явлениями. Во-первых, происходит постепенная ликвидация раздробленности и зарождение самодержавия: «удельные княжества ослабевают по мере возвышения Москвы, счастливо выдерживающей свои споры и с Рязанью и с Тверью»; «великий князь постепенно становится из

---

[1] *В. Г. Белинский*, указ. соч., т. V, стр. 139—140.
[2] Там же, стр. 484—486.
[3] *В. Г. Белинский*, указ. соч., т. VII, М., 1955, стр. 44—65.

помещика государем, и самодержавие сменяет патриархально-помещичье право». Во-вторых, под влиянием татаро-монгольского ига наблюдается «искажение нравов русско-славянского племени...».

В качестве следующего периода русской истории В. Г. Белинский выделяет время от княжения Ивана III до начала XVII в. («междуцарствия»), когда завершается «падение уделов» и идет «укрепление самодержавия»[1].

Плодотворная идея о «помещичьем праве» как явлении, характерном уже для «удельного периода», намечала верное направление изучения истории формирования централизованного государства в связи с развитием крепостничества. Правда, В. Г. Белинский, оставаясь под воздействием представлений буржуазной историографии своего времени не пошел в таком направлении. Отсюда его противопоставление самодержавия и «патриархально-помещичьего права» как двух прежде всего политических систем, без раскрытия их социальных основ. Однако само это противопоставление подчинялось передовой мысли о том, что политическая централизация сопровождалась установлением для народа более деспотического режима, чем те патриархальные отношения, которые были у него с князьями «удельного» времени, являвшимися еще не государями, а просто помещиками. Этот режим в известной мере воспроизводил, по В. Г. Белинскому, восточный деспотизм, и народ поддался ему в силу «искажения нравов» в результате татаро-монгольского ига.

В десятой статье об А. С. Пушкине (1845), посвященной анализу его произведения «Борис Годунов»[2], В. Г. Белинский снова обращается к проблеме образования Русского централизованного государства. Здесь он более подробно излагает мысль о том, что большую роль в указанном процессе сыграло нашествие на Русь татаро-монголов. «С одной стороны, их жестокое и позорное иго гибельно подействовало на нравственную сторону русского племени, а с другой—было для него благодетельно, потому что чувством общей опасности и общего страдания связало разъединенные русские княжества и способствовало развитию государственной централизации через преобладание московского княжения над всеми другими». При этом В. Г. Белинский подчеркивает, что достигнутое на Руси политическое единство было «более внешнее, нежели внутреннее». Другими словами, по В. Г. Белинскому, централизованная государственная система была порождена необходимостью преодолеть внешнюю опасность, но она не отвечала потребности внутреннего роста народа. Здесь неверная мысль о внешнем факторе как причине образования на Руси единого государства используется как аргумент для доказательства верной и передовой идеи о том, что государственная машина по своей классовой направленности не содействовала внутреннему сплочению народа.

---

[1] *В. Г. Белинский*, указ. соч., т. VII, стр. 505—534.
[2] Там же.

По мнению В. Г. Белинского, образование Русского централизованного государства произошло без серьезной внутренней политической борьбы. «Идея самодержавного единства Московского царства, в лице Иоанна III торжествующая над умирающею удельною системою, встретила в своем безусловно победоносном шествии не противников сильных и ожесточенных, на все готовых, а разве несколько бессильных и жалких жертв». Это было, конечно, ошибочное утверждение; В. Г. Белинский недооценивал силу политических конфликтов, сопровождавших ликвидацию политической раздробленности.

Характеристику единодержавия, установленного на Руси в конце XV—начале XVI в., В. Г. Белинский дает не совсем четко, но, несомненно, связывая ее с политической критикой самодержавия. Иван III,—пишет автор,—«был творцом неподвижной крепости Московского царства, положив в его основу идею восточного абсолютизма, столь благодетельного для абстрактного единства созданной им новой державы»[1].

Очень важно, что В. Г. Белинский попытался выявить классовый антагонизм в русском обществе в период образования централизованного государства. Удельные князья «выродились в простую боярщину, которая перед престолом была покорна наравне с народом, но которая стала между престолом и народом не как посредник, а как непроницаемая ограда, разделившая царя с народом»[2]. Здесь с революционно-демократических позиций подчеркнут отрыв власти от народа, хотя и не раскрыты классовые основы политики царизма. «Боярщина» (т. е. класс помещиков-крепостников) выступает как сила, разъединяющая царя и народ.

В этой же статье В. Г. Белинский высказывает мысль, что гениальные люди порождаются народом, а их деятельность оставляет яркий след в жизни народа. «Явление гения—эпоха в жизни народа. Гения уже нет, а народ долго еще живет в формах жизни, им созданной, долго—до нового гения. Так Московское царство, возникшее силою обстоятельств при Иоанне Калите и утвержденное гением Иоанна III, жило до Петра Великого»[3]. Вопрос о роли личности применительно к проблеме образования Русского централизованного государства не нашел у В. Г. Белинского определенного решения. Но важна мысль, что «Московское царство» возникло «силою обстоятельств», т. е. независимо от воли князей, и лишь «утверждено», т. е. политически оформлено, Иваном III. Это был тезис противоположный прежде всего дворянской, а в известной мере и буржуазно-либеральной историографии.

В конце своей жизни В. Г. Белинский снова вернулся к проблеме формирования русской народности в связи с процессом складывания Русского централизованного государства. В статье

---

[1] *В. Г. Белинский*, указ. соч., т. VII, стр. 506—507.
[2] Там же, стр. 507.
[3] Там же, стр. 516.

«Взгляд на русскую литературу 1846 года» В. Г. Белинский в опровержение утверждения славянофилов, что русскому народу присуще смирение, приводил факты, относящиеся ко времени политической раздробленности Руси и образования Русского централизованного государства. «Удельный период наш отличается скорее гордынею и драчливостию, нежели смирением»,—писал он. Установление татаро-монгольского ига на Руси не было результатом проявленного русским народом непротивления, а явилось следствием отсутствия политического единства страны. «Татарам поддались мы совсем не от смирения (что было бы для нас не честью, а бесчестием, как и для всякого другого народа), а по бессилию, вследствие разделения наших сил родовым, кровным началом, положенным в основание правительственной системы того времени». В. Г. Белинский подчеркивал далее активность московских князей в проведении политики, направленной к созданию единого государства и к ликвидации зависимости от Золотой орды. «Иоанн Калита был хитер, а не смирен; Симеон даже прозван был «гордым», а эти князья были первоначальниками силы Московского государства. Дмитрий Донской мечом, а не смирением предсказал татарам конец их владычества над Русью. Иоанны III и IV, оба прозванные «грозными», не отличались смирением»[1]. На решение Белинским проблемы формирования русской народности оказала известное влияние концепция К. Д. Кавелина и С. М. Соловьева, построенная на предпосылке о постепенной смене на Руси родовых отношений государственными. Но отличает Белинского от представителей «государственной школы» стремление подчеркнуть, что политическая слабость страны не могла сковать народных сил, направленных на борьбу за освобождение Родины от власти захватчиков.

Итак, в трудах В. Г. Белинского были по-новому поставлены некоторые существенные вопросы истории Русского централизованного государства. Подчеркивая его прогрессивное значение, он в то же время отмечал отрицательные стороны самодержавия. Формирование Русского централизованного государства В. Г. Белинский связывал со складыванием русской народности, а в выработке черт русского национального характера придавал большую роль борьбе с татаро-монгольским игом. Он подчеркнул силу народного патриотизма. Он поднял вопрос о взаимоотношении «помещичьего права» и самодержавия. При всей ограниченности методологии В. Г. Белинского и неверности ряда его утверждений, отмеченные моменты обогащали понимание проблемы Русского централизованного государства.

К рассмотрению с революционно-демократических позиций этой проблемы подошел и А. И. Герцен.

В большой работе «О развитии революционных идей в России» (1855) А. И. Герцен излагает свои взгляды по целому ряду вопросов русской истории. Он отмечает известную прогрессивность

[1] *В. Г. Белинский*, указ. соч., т. X, М., 1956, стр. 24.

процесса образования Русского централизованного государства, способствовавшего преодолению политической раздробленности и свержению татаро-монгольского ига. «Необходимость централизации была очевидна: без нее нельзя было бы ни свергнуть монгольское иго, ни спасти единство государства»[1]. В то же время автор подчеркивает, что государственная централизация была достигнута потому, что в жертву ей приносились интересы народа. «Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни». Москва, по А. И. Герцену, потому-то и стала центром политического объединения русских земель, что она представляла собой «молодой город, без преданий, без обычаев»; «народный элемент» не мог быть здесь силен, «это-то и привязывало более всего князей к Москве»[2].

Автор считает, что «московское самодержавие» не было для России «единственным средством спасения». Страна могла пойти по одному из двух возможных путей: она «могла быть спасена или развитием общинных учреждений или самодержавием одного лица». В XV в. оставался нерешенным еще вопрос, «который из двух принципов народной и политической жизни одержит верх: князь или община». Выразителем одного «принципа» была Москва, другого—Новгород[3]. Победа осталась за Москвой, и это привело к утверждению «неограниченной монархии», «ставшей удручающею от того веса, который она приобрела под сенью ханской власти». Объединение русских земель сопровождалось подавлением московскими князьями всякого сопротивления «с кровавым зверством»[4]. В оценке Новгородской республики А. И. Герцен следовал за декабристами, а не за В. Г. Белинским.

За декабристами следовал А. И. Герцен, давая отрицательные характеристики московских князей. «Типом государя той эпохи» он считает Ивана Калиту, «политичного, плутоватого, лукавого, ловкого, старавшегося заручиться покровительством монголов своим чрезвычайным смирением перед ними и в то же время захватывавшего все и пользовавшегося всем, что могло увеличить его власть»[5].

Однако автор указывает, что русский народ, придавленный самодержавием и «византизмом», насаждаемым духовенством, которое хотело сделать из России «государство немое, повинующееся вере слепой», не был побежден. «Потеряв свои права в городах, он их сохранил в глубине сельских общин»[6].

Вопрос об образовании Русского централизованного государства А. И. Герцен поднимает позднее в статье «Старый мир

---

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке, т. VI, Пг., 1917, стр. 318.
[2] Там же, стр. 317.
[3] Там же, стр. 318.
[4] Там же, стр. 319.
[5] Там же, стр. 317.
[6] Там же, стр. 319—320.

в Россия» (1854). Он говорит о Москве как центре политического объединения русских земель. «Около XIV столетия в России образуется средоточие, около которого тяготеют и кристаллизуются все разнородные части государства, это средоточие—Москва. Со времени ее появления, как центра, она становится столицей всего славянского населения»[1]. Факт образования централизованного государства А. И. Герцен и здесь расценивал как явление, знаменующее упрочение деспотизма. Свое отрицательное отношение к самодержавию он переносил и на историческое прошлое. «В Москве образовалось византийское и восточное самовластье царей. Москва уничтожила все независимое старой Руси, все вольности народные. Все это было принесено на жертву идее *государства*»[2]. В качестве примера подавления московским самодержавием свободных общин А. И. Герцен приводит присоединение Новгорода к Москве в 1478 г.: «Новгород, великая и вольная весь, был живым упреком едва родившейся столице царей; Москва, с кровавой жестокостью и без малейшего угрызения совести, задушила своего противника»[3].

Образование централизованного государства А. И. Герцен считал насилием над естественными склонностями русского народа. «Славянские народы,—писал он,—собственно, не любят ни государства, ни централизации. Они любят жить в разбросанных общинах, удаляясь как можно больше от всякого вмешательства со стороны правительства»[4].

Как уже говорилось, концепция А. И. Герцена ближе к построениям декабристов, чем В. Г. Белинского. А. И. Герцен в большей мере, чем В. Г. Белинский, наделял государство прошлого чертами современного ему самодержавия. Революционный пафос, вызывавший ненависть к самодержавию, заставлял его иногда забывать об исторической перспективе. Тезис декабристов о борьбе на протяжении всей русской истории вольности с деспотизмом А. И. Герцен дополнил мыслью (отвечавшей его политическому мировоззрению) о роли русской общины (которую А. И. Герцен идеализировал, не замечая шедшего в ней процесса разложения) с ее антигосударственными и антицентрализаторскими тенденциями. Отсюда воявилось искусственное построение А. И. Герцена, утверждающее позможность двух путей развития русского общества в XIV—XV вв.: «московского», ведшего к неограниченной монархии, и «новгородского», который должен был привести к торжеству общинной демократии.

При всем том громадной заслугой А. И. Герцена является попытка осветить светом революционного мировоззрения такую теоретически острую и сложную проблему, как создание централизованного государства, подойти к ее решению с точки зрения инте-

[1] *А. И. Герцен*, указ. соч., т. VIII, Пг., 1917, стр. 32.
[2] Там же, стр. 32—33.
[3] Там же.
[4] Там же, стр. 45.

ресов широких народных масс, для которых создание централизованного государства означало усиление гнета, рост крепостничества.

Революционное понимание русского исторического процесса развито в трудах Н. А. Добролюбова и Н. Г. Чернышевского, в которых имеется много интересных мыслей и по вопросу о Русском централизованном государстве. Свою концепцию русской истории Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский разрабатывали в борьбе с реакционной дворянской и буржуазно-либеральной историографией. Вместе с тем они отмечали то положительное, что могла дать в то время развивавшаяся буржуазная наука.

Из буржуазных историков середины XIX в. Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский особенно высоко ценили С. М. Соловьева. Н. А. Добролюбов в рецензии на «Учебную книгу русской истории» С. М. Соловьева[1] говорит, что автором верно рассказаны факты, что «связь их показана очень ясно, сделана оценка внутреннего смысла явлений, обращено большое внимание на внутреннее состояние общества в данную эпоху». Таким образом, этот труд по мнению Н. А. Добролюбова, ценен и по фактическому материалу и потому, что в нем дано обобщение конкретных данных. В то же время Н. А. Добролюбов отмечал наличие в «Учебной книге» С. М. Соловьева многих ненужных деталей из истории междукняжеских отношений («подробностей удельной кутерьмы»), незнание которых не составит «решительно никакого пробела в исторических знаниях человека»[2]. Н. Г. Чернышевский в рецензии (1854) на четвертый том «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева (посвященный княжению Василия I и Василия II)[3] отмечает прежде всего достоинство всех вышедших томов этого обобщающего труда как «важнейшего приобретения нашей исторической науки в течение последних пятнадцати лет». Затем он выдвигает некоторые возражения С. М. Соловьеву, главным из которых является возражение против защищавшегося автором тезиса о роли колонизации как «важнейшего» факта древнерусской истории. По мнению Н. Г. Чернышевского, в изучаемое время (до XV в. включительно) «колонизация происходила слабо и медленно, не оказывая большого влияния ни на характер жителей, ни на общественные отношения»[4]. «...Добровольное стремление населения с юга на север, с запада на восток» не было «сильным»[5].

Переходя к историческим взглядам Н. А. Добролюбова и Н. Г. Чернышевского, прежде всего следует указать на то, что они, не будучи историками-профессионалами, в то же время знакомились

---

[1] *С. М. Соловьев*, Учебная книга русской истории, вып. I, М., 1859.
[2] *Н. А. Добролюбов*, Полное собрание сочинений, т. IV, М., 1937, стр. 329.
[3] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, М., 1949, стр. 399—405.
[4] Там же, стр. 401.
[5] Там же, стр. 402.

с русской историей не только по литературе, но в ряде случаев по первоисточникам.

В статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858) Н. А. Добролюбов останавливается на источниках по истории объединения русских земель и борьбе русского народа с татаро-монгольским игом в XIV—XV вв. Он рассматривает «Задонщину», псковские летописи, описания путешествий русских людей и т. д.[1] Интересна попытка Н. А. Добролюбова раскрыть в памятниках письменности этого времени борьбу различных политических тенденций. Так, например, он отмечает, что одна из повестей о присоединении Пскова к Москве, составленная в Москве, «восхваляет подвиги московского воинства, приходя в негодование от своеволия псковитян». «Другая повесть принадлежит псковичу и смотрит на дело с другой стороны: обвиняет московского наместника в притеснениях, князя—в вероломстве и сожалеет об утрате вольности». Самое интересное в данной статье Н. А. Добролюбова—это стремление найти в литературных произведениях проявления идеологической борьбы народа (вернее, широких слоев русского общества) против насилия: «...литературные интересы теперь уже так расширились, что в письменности может даже отражаться мнение большинства народа (в противность покоряющей его силе)»[2].

Во взглядах Н. А. Добролюбова на образование Русского централизованного государства особенно важным является то, что он уже подходил к пониманию связи этого процесса с процессом закрепощения крестьян. В 1859 г. Н. А. Добролюбов выступил с критическим разбором статьи Ю. Г. Жуковского «Общественные отношения России с точки зрения исторической науки права». Как доказывает Н. А. Добролюбов, статья эта «представляет собственно очерк истории крепостных отношений в России и указание на их значение в жизни русского народа». Смысл статьи, по Н. А. Добролюбову, сводится к тому, что «*на этом праве или на этих отношениях выросла веками вся общественная организация России, вся ее цивилизация и государственность*»[3].

Н. А. Добролюбов соглашается с Ю. Г. Жуковским в том, что политическая централизация на Руси была связана с ростом крепостничества. «Ограничения перехода видны во многих договорах московских князей; срок перехода определен в XV в., в Судебнике Иоанна III; меры закрепления являются с конца XVI в.»[4]. Но Н. А. Добролюбов считает нужным подчеркнуть, что «социальная почва «централизации» подготовлялась единственно в интересах центральной власти, а никак не в выгодах земства, и что общественная жизнь России на крепостных основаниях сложилась принудительно только вследствие отсутствия союзной силы в

[1] *Н. А. Добролюбов*, указ. соч., т. I, М., 1934, стр. 224.
[2] Там же, стр. 224.
[3] *Н. А. Добролюбов*, указ. соч., т. II, М., 1935, стр. 485.
[4] Там же, стр. 486.

народе». «Центральная власть действовала единственно в своих интересах», и вряд ли народ может быть «*обязанным* централизации за что-нибудь»[1].

Хотя Н. А. Добролюбов и выводил крепостничество из политических мероприятий государственной власти, хотя он и отрывал историю формирования централизованного государства от развития социально-экономических отношений, считая централизацию лишь продуктом правительственной политики, но ценна была его попытка показать основы централизованного государства (правда еще не с точки зрения подлинно научного понимания классовой структуры общества), как органа угнетения народа. Добролюбов (как и Герцен) подходил здесь к проблеме образования централизованного государства с точки зрения интересов народа, в то время как концепция либералов отражала интересы господствующего класса и правительства.

С революционно-демократических позиций рассматривал процесс образования централизованного государства в России и Н. Г. Чернышевский. Особенно большое значение для выработки им понимания этого процесса имела критика буржуазно-либеральной концепции Б. Н. Чичерина. Н. Г. Чернышевский вначале благожелательно встретил выступления Б. Н. Чичерина в печати, считая его человеком большого таланта и эрудиции. Но чем более в трудах Б. Н. Чичерина проявлялась платформа либерала, стремившегося к сотрудничеству с царизмом, тем резче и непримиримее становилось отношение к нему Н. Г. Чернышевского. В рецензии (1856) на книгу Б. Н. Чичерина «Областные учреждения в России в XVII веке»[2] Н. Г. Чернышевский ставит вопрос о том, что следует различать понятия «государство» и «централизация». Централизацию вовсе не нужно рассматривать как непременный элемент сильного организованного государства, указывает он. «В Англии и Северной Америке централизации нет; а государства эти и сильны и благоустроены». «Централизация,—пишет Н. Г. Чернышевский,—является необходимою формою только там, где существует партикуляризм, где части одного и того же народа готовы жертвовать областному интересу национальным единством».

Переходя к русской истории, Н. Г. Чернышевский подчеркивает, что характерным ее признаком было «сознание национального единства», которое «всегда имело решительный перевес над провинциальными стремлениями...». С этой точки зрения Н. Г. Чернышевский рассматривает развитие в России форм государства. «Распадение Руси на уделы, по его мнению, было часто следствием дележа между князьями», но не «следствием стремлений самого русского народа». «Удельная разрозненность не оставила никаких следов в понятиях народа, потому что никогда не имела корней в его сердце: народ только подчинялся семейным распоряжениям

[1] *Н. А. Добролюбов*, указ. соч., т. II, стр. 488.
[2] *Н. Г. Чернышевский*, указ. соч., т. III, М., 1947, стр. 568—584

князей». Процесс ликвидации раздробленности Н. Г. Чернышевский объясняет стремлением русского народа к национальной консолидации, столь сильно выраженным, что политическое объединение не сопровождалось какой-либо борьбой: «Как только присоединяется тот или другой удел к Москве, дело кончено: тверитянин, рязанец—такой же истый подданный московского царства, как и самый коренной москвич; он не только не стремится отторгнуться от Москвы, даже не помнит, был ли он когда в разрозненности от других московских областей: он знает только одно—что он русский».

При «такой силе национального чувства государственное единство,—по мнению Н. Г. Чернышевского,—ни мало не нуждалось в поддержке централизациею управления». Централизация проводилась государственной властью не в интересах политического единства страны (которое было достигнуто благодаря тяге народа к национальному объединению), а в собственных интересах, в целях укрепления аппарата насилия («стремление власти к расширению своих границ...»)[1].

Конечно, в рассматриваемой работе имеется ряд утверждений, которые являются плодом идеалистического подхода Н. Г. Чернышевского к объяснению исторических явлений. К таким утверждениям относятся тезисы о политической раздробленности Руси как следствии земельных разделов князей или об объединении русских земель как результате тяги русского народа к консолидации в одну национальность; о том, что силы национального чувства достаточно для государственной целостности. Противоречит фактам вывод о мирном характере процесса ликвидации раздробленности на Руси. Но бесспорно передовой и разрушающей каноны либеральной историографии была ярко раскрытая Н. Г. Чернышевским идея о том, что национальное единство народа, как этнического целого, и централизация государственного аппарата—это явления не совпадающие, а разнородные, ибо государственный аппарат по своей классовой сущности (еще далеко не раскрытой Чернышевским) направлен против народных масс.

К той же теме (на материале истории Франции) Н. Г. Чернышевский возвращается в рецензии (1857) на статью Б. Н. Чичерина «Новейшие публицисты» (посвященную книге Токвиля «L'ancien régime»). Рецензент упрекает Б. Н. Чичерина в том, что он преувеличивает положительные стороны централизации, в то время как «едва ли предмет его сочувствия заслуживает особенного сочувствия». «Стремления горожан,—пишет Н. Г. Чернышевский,—были основаны на началах более высоких, нежели стремления, одушевлявшие представителей централизации во Франции... Можно сильно сомневаться в том, до какой степени Ришелье и Мазарини были благодетели Франции». С другой стороны, «можно сильно сомневаться и в том, что торжество Этьена Марселя» (свя-

[1] *Н. Г. Чернышевский*, указ. соч., т. III, стр. 570—571.

занного с Жакерией) «было бы гибелью для Франции». «Жанна д'Арк вышла не из круга тех людей, которые хлопотали о централизации»[1].

Но, подчеркивая все отрицательные стороны централизации, Н. Г. Чернышевский отмечает и ее известное положительное значение. И с этой точки зрения он полемизирует с Токвилем, «который из нелюбви к централизации без разбора восхищается всем, что только боролось против этого принципа, не разбирая того, что если горожане были во сто раз лучше централизаторов, то централизаторы были в тысячу раз лучше феодалов».

В этой работе Н. Г. Чернышевский дал уже более всестороннее и объективное рассмотрение процесса государственной централизации (в той форме, в которой он совершался во Франции), подчеркнув и его относительную прогрессивность и классовую направленность. Хотя подлинное научное понимание причин и характера классовой борьбы было еще недоступно Н. Г. Чернышевскому, исключительный интерес представляет его мысль о прогрессивности крестьянских восстаний при феодализме, подавляемых органами централизованного государства как антинародной силы.

Близко подошел к пониманию классовых основ образования национальных монархий Н. Г. Чернышевский в статье «Г. Чичерин как публицист» (1859). Возражая против тезиса, защищавшегося Б. Н. Чичериным в книге «Очерки Англии и Франции» (1858), о том, что достижение политического единства было благодеянием для французской нации, Н. Г. Чернышевский пишет: «О, если завоевывать области и по возможности увеличивать свои владения значит быть благодетелем, то почему же не предполагать, что Атилла и Батый были представителями благодетельнейшего принципа: они хотели доставить всему европейскому человечеству то благо, которым обязаны были французы Филиппу Прекрасному, Людовику XI и другим собирателям земли французской»[2].

Следует лишь отметить, что в этой полемике с Б. Н. Чичериным, Н. Г. Чернышевский допускает смешение национальных государств с государствами, возникающими на основе завоеваний и подчиняющими силой оружия ряд племен и народностей.

Подробно вопроса о Русском централизованном государстве Н. Г. Чернышевский касается в статье: «Непочтительность к авторитетам» (1861)[3]. Возражая тем, кто доказывает полезность централизации, поскольку она «дала великорусскому племени государственное единство и освободила восточную половину нынешней России от татар», Н. Г. Чернышевский пытается вначале ответить на вопрос: отчего произошло «раздробление Восточной России на мелкие государства и чем оно поддерживалось»? Он считает, что раздробленность была вызвана не географическими условиями и не отсутствием у русского народа сознания этнической общности.

[1] *Н. Г. Чернышевский*, указ. соч., т. IV, М., 1948, стр. 822—824.
[2] *Н. Г. Чернышевский*, указ. соч., т. V, М., 1950, стр. 662.
[3] *Н. Г. Чернышевский*, указ. соч., т. VII, М., 1950, стр. 685—706.

Причинами раздробления Руси были: во-первых, малочисленность населения, жившего «рассеяно»; во-вторых, его «грубость», неспособность к установлению «таких форм администрации, которыми удобно соединялись бы области, далекие одна от другой...».

Отсюда Н. Г. Чернышевский делает вывод, что «прекратиться раздробление великорусского племени» могло в результате его «размножения» («чтобы не оставалось слишком обширных пустынь между его частями») и развития «хотя некоторой цивилизации». Ни тому, ни другому централизация содействовать не могла. Люди «размножались» «силою естественного закона». Развитие цивилизации «задерживалось соседством хищнических азиатских орд: печенегов, татар». Но с усилением русского народа (по мере роста его численности) и с ослаблением кочевников «по внутреннему закону их собственной жизни» (упадок «силы в номадах на земледельческой местности») условий для роста цивилизации становилось больше. Татаро-монголы были побеждены «собственным одряхлением и размножением русского населения, фактами, происходившими совершенно независимо от централизации». Н. Г. Чернышевский считает, что падение татаро-монгольского ига произошло «не от борьбы с великоруссами». Значение Куликовской битвы, по его мнению, преувеличено: она падает на то время, когда «татары совершенно уже охилели». Нашествие Мамая было «предсмертною конвульсиею умирающего зверя».

Далее Н. Г. Чернышевский возражает против утверждения о том, что централизация была «нивелирующею силою, действовавшею в демократическом направлении против аристократии». Он подчеркивает тесную связь между процессом образования Русского централизованного государства и ростом крепостничества. Централизация «создала поместную систему, т. е. иерархию более или менее крупных поземельных владельцев,—иерархию чисто феодальную». Централизация «поставила массу населения в крепостное отношение к феодалам, созданным поместною системою». «Феодальное сословие» с возникновением централизованного государства было превращено «в аристократию более новой формы, чрез постепенное расширение и упрочение поместных прав и, наконец, чрез признание поместий вотчинами»[1].

В этой статье очень хорошо проявились и сильные стороны Н. Г. Чернышевского как историка, и его методологическая ограниченность. Объяснения Н. Г. Чернышевским причин установления, а затем ликвидации политической раздробленности на Руси в теоретическом отношении не шли дальше обычных утверждений буржуазной историографии того времени. Только вместо географического фактора (С. М. Соловьев) он в качестве решающих причин централизации выдвигал рост населения и распространение цивилизации. Оригинальной и новой была мысль Н. Г. Чернышевского о том, что в двух обществах—оседлом славянском и в обществе

[1] *Н. Г. Чернышевский*, указ. соч., т. VII, стр. 703—705.

кочевников, попавших в условия земледельческой страны, действуют два разных закона, направляющих их развитие в противоположные стороны. И хотя Н. Г. Чернышевский недооценивал значение народной борьбы в низвержении татаро-монгольского ига, эта недооценка объясняется его стремлением прежде всего понять законы общественной эволюции. Очень ценны и проникнуты революционным пониманием исторического процесса высказывания Н. Г. Чернышевского о крепостническом характере политики Русского централизованного государства и о связи между развитием крепостнических отношений и изменением форм собственности.

В «Рассказе о Крымской войне (по Кинглеку)», написанном в Петропавловской крепости (1862—1863), Н. Г. Чернышевский, давая небольшие экскурсы из истории России, указывает на отличия русского средневековья от западноевропейского. «Средневековое распадение стран на мелкие владения приняло в Западной Европе форму феодализма,—феодализм имел для каждого светского владения особую местную династию». В России «точно такое же распадение имело другую форму—форму раздробления государства по вотчинному праву (в смешении с республиканским вечевым началом, которое постепенно было подавлено вотчинным)...». Это «вотчинное право» заключалось в том, что каждый из сыновей умирающего князя получал свою долю недвижимого имущества. Отсюда—бесконечные княжеские усобицы[1].

Итак, Н. Г. Чернышевский глубже и острее, чем другие историки революционно-демократического направления, отметил, что с образованием централизованного государства усилилось крепостничество, а ответом на это явились крестьянские восстания; что проводимая властью политика централизации имела антидемократический характер; что национальное единство не означало единства интересов власти и народа. Но Н. Г. Чернышевский не смог раскрыть сущности процесса формирования централизованного государства как процесса объективно закономерного, а считал укрепление централизованной системы результатом мероприятий, предпринятых правительством. Непонимание подлинных социально-экономических предпосылок образования централизованного государства привело Н. Г. Чернышевского к противопоставлению «феодалов» и «централизаторов», феодального и «вотчинного» права, к утверждению, что крепостнический режим есть порождение централизованной государственной системы.

Оценивая в целом взгляды революционных демократов на процесс образования Русского централизованного государства, надо признать их главной заслугой то, что либеральному пониманию этого процесса они противопоставили свое новое понимание, критерием которого явились интересы народа, как активной прогрессивной силы истории.

---

[1] *Н. Г. Чернышевский*, указ. соч., т. X, М., 1951, стр. 324—325.

§ 5. Буржуазная историография второй половины XIX в.

Во второй половине XIX в. проблема централизованного государства продолжала занимать одно из ведущих мест в буржуазно-либеральной историографии. Наметилось несколько направлений в изучении этой проблемы. Одно из них нашло выражение в работах Н. И. Костомарова, которые представляют собой шаг назад по сравнению с трудами С. М. Соловьева—наиболее крупным явлением буржуазной исторической мысли 50—70-х годов XIX в. Для Н. И. Костомарова характерен отказ от попыток подойти к проблеме образования централизованного государства с точки зрения раскрытия внутренней обусловленности этого процесса (хотя бы в области чисто политических отношений, которую рассматривал С. М. Соловьев). Он ищет причину создания централизованного государства во внешнеполитическом факторе—в татаро-монгольском завоевании русских земель.

Причастный в молодости к революционному движению, Н. И. Костомаров был знаком с революционно-демократической историографией. Из нее он воспринял, по-видимому, критическое отношение к самодержавию, выразившееся, в частности, в отрицательных характеристиках отдельных русских князей XIV—XV вв. Но в целом идеология Н. И. Костомарова была буржуазно-либеральной, и поэтому его критика тех или иных исторических лиц, стоявших у власти, давалась не с революционно-демократических позиций, а имела характер либеральной оппозиции. Мало того, через славянофильскую литературу в мировоззрение Н. И. Костомарова проникает реакционная идея о народном характере русской монархии.

Свою общую концепцию образования на Руси единого государства Н. И. Костомаров изложил в статье «Начало единодержавия в древней Руси»[1]. Основная мысль автора заключается в том, что до татаро-монгольского завоевания Русь представляла собой «федерацию земель». «В удельно-вечевом строе этого периода не было никаких признаков, которые приводили бы необходимо к единодержавному порядку». Татаро-монгольское нашествие явилось толчком к объединению русских земель и созданию единого Русского государства в форме монархии. Если раньше «над Русью не было единого господина», то теперь он явился: страна сделалась военною добычею хана, «все русские от князя до холопа стали его рабами без исключения». В таком «рабстве» Русь «нашла свое единство, до которого не додумалась в период свободы».

Татаро-монгольские ханы, по мнению Н. И. Костомарова, создали в Русской земле феодализм, а под феодализмом автор понимает такой политический строй, при котором «весь край находится в руках владетелей, образующих из себя низшие и выс-

---

[1] *Н. И. Костомаров*, Начало единодержавия в древней Руси («Исторические монографии и исследования Н. Костомарова», т. XII, СПб., 1872, стр. 3—152).

шие ступени с известного рода подчиненностью низших высшим и с верховным главою выше всех». Верховным главой Руси был золотоордынский хан, ему подчинялись русские князья, ставшие «из правителей земель вотчинниками земель». Будучи «произведением татарского завоевания», феодализм на Руси продолжался до тех пор, пока была сильна Орда[1]. Когда же Орда начала разлагаться, ханская власть стала слабеть, «верховным государем и собственником Русской земли» постепенно сделался «старейший» русский князь. В результате борьбы «монархизма с феодализмом» образовалось «государство с единодержавным главою». Окончательное установление монархического самодержавного принципа относится ко времени Ивана Грозного, выдержавшего борьбу с «княжеско-боярской оппозицией». Торжество единодержавия Н. И. Костомаров объясняет тем, что «за него было народное чувство», что оно добилось «уважения к себе народной громады»[2].

Итак, федерация «земель» до установления на Руси владычества Золотой орды; феодализм как политическая система, введенная на Руси после ее завоевания татаро-монголами; единодержавие, укрепившееся в результате разгрома феодализма и опиравшееся на сочувствие «народной громады»,—вот концепция русской политической истории, предложенная Н. И. Костомаровым. В ней нет никаких новых мыслей и прогрессивных идей. Перед нами скорее попятное движение в сторону от тех завоеваний буржуазной теоретической мысли, которые были сделаны ко времени Н. И. Костомарова.

Проблемы централизованного государства Н. И. Костомаров касается и в «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Эту работу нельзя назвать научно-исследовательским трудом. Это—собрание биографий ряда исторических лиц (без ссылок на источники и с весьма вольным их изложением), представляющее нечто среднее между научно-популярными очерками и рассказами беллетристического характера. Несколько очерков («Московские князья братья Даниловичи», «Великий князь Дмитрий Иванович Донской», «Великий князь и государь Иван Васильевич», «Московский государь великий князь Василий Иванович»)[3] посвящены представителям великокняжеской власти XIV—начала XVI в. Значительную часть этих статей составляет простой пересказ политической жизни князей, заимствованный из летописных памятников. Процесс образования Русского централизованного государства Н. И. Костомаров сводит здесь в значительной мере к вопросу о соперничестве русских земель и укрепившихся в них княжеских линий, добивавшихся политического первенства.

---

[1] *Н. И. Костомаров*, Начало единодержавия в древней Руси, стр. 67, 69, 87, 94.

[2] Там же, стр. 69, 94, 105, 146, 148, 151.

[3] *Н. И. Костомаров*, Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, т. I, изд. 2, СПб., 1880, стр. 173—197, 208—238, 245—317, 349—379.

Возвышение Москвы автор объясняет (в соответствии со своими историческими взглядами) вначале поддержкой Золотой орды, оказываемой московским князьям («Первенство Москвы, которому начало положили братья Даниловичи, опиралось главным образом на покровительство могущественного хана»)[1], в дальнейшем— успешными действиями московских бояр.

Характеристики, даваемые Н. И. Костомаровым московским князьям, в большинстве своем отрицательны. Автор рисует их или людьми вообще бездарными, или же лицами, лишенными широкого политического кругозора, но расчетливыми, осторожными в своих действиях, скопидомами и приобретателями, именно в силу этих черт своего характера часто добивавшимися успеха[2].

Образование централизованного государства Н. И. Костомаров расценивает как победу деспотизма над началами «земской свободы», которая, по его мнению, характерна для периода политической раздробленности. В «Русской истории» в большей мере, чем в статье «Начало единодержавия в древней Руси», Н. И. Костомаров вскрывает отрицательную роль самодержавия. Его оценка Н. И. Костомаровым внешне иногда как будто совпадает с высказываниями В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского. Но принципиальное отличие Н. И. Костомарова от революционных демократов заключается в том, что он подходил к самодержавию не как борец с ним, а как либерал, ищущий путей его улучшения.

Русское централизованное государство Н. И. Костомаров рисует как неподвижный организм, в котором отсутствует тенденция к прогрессу; это государство «без задатков самоулучшения, без способов и твердого стремления к прочному народному благосостоянию» просуществовало два века (до Петра I), «верное образцу, созданному Иваном III, хотя и дополняемое новыми формами в том же духе, но застылое и закаменелое в своих главных основаниях, представлявших смесь азиатского деспотизма с византийскими, выжившими свое время, преданиями»[3]. Таким образом, критика самодержавия, понимаемого как явление бесклассовое, сочетается у Н. И. Костомарова с неисторическим к нему подходом, с попыткой найти его в сложившемся виде уже в конце XV в., в отрицании его дальнейшей эволюции.

Своеобразное преломление славянофильских взглядов в трактовке проблемы ликвидации политической раздробленности представляет собой построение И. Е. Забелина. В своей статье «Взгляд на развитие московского единодержавия» он высказывает точку зрения, согласно которой образование на Руси единого государства отвечало народным интересам. «Развитие московского единодержавия в сущности есть развитие народного единства»,—пишет автор. Основу государственного единства И. Е. Забелин ищет «в посадских

[1] *Н. И. Костомаров*, Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, т. I, стр. 208.
[2] Там же, стр. 211, 255.
[3] Там же, стр. 317.

промышленных началах народной жизни, постоянно требовавших мира и тишины». Народ не имел возможности думать о каких-либо правах и вольностях, ему приходилось думать «только о насущном хлебе, да о безопасности от сильных людей». Вследствие этого народ «тянул к Москве, под защиту власти, не оставлявшей без должного возмездия в особенности земских обид».

Московский князь Иван Калита «первый высоко поднял знамя народного устройства», провозгласив «заветное слово, чтобы жить всем, как один человек». Со времени его княжения как «явный плод княжеских забот о всенародном добре и благе» наступили «долголетний земский мир и тишина». Вследствие этого вокруг Москвы собралась «народная *твердь*», которая «стала расти не по дням, а по часам, и не более как через 50 лет была уже способна одержать достославную победу над самими татарами». Начался «прогрессивный ход... русской истории». «Всенародное множество» «все теснее и все плотнее сосредоточивалось около Москвы», рассматривая в качестве своего знамени «самовластительного государя»[1].

С одной стороны, как будто надо положительно расценить стремление И. Е. Забелина в поисках основы общественных изменений обратиться к народу как творцу истории, изучить интересы и запросы посадского мира. Однако эта сама по себе здоровая и плодотворная мысль получала ложное преломление и по существу выливалась в идею официальной народности, обосновавшую рост единодержавия на «народной тверди».

Не отличалась творческим характером и концепция В. И. Сергеевича. В первом томе его труда «Русские юридические древности» несколько страниц посвящены вопросу о «возникновении Московского государства». Основное внимание автора обращено на деятельность московских князей. В. И. Сергеевич полемизирует с теми историками, которые считали Ивана Калиту «собирателем Русской земли», «основателем единовластия и государственного могущества Москвы». По мнению В. И. Сергеевича, Иван Калита, напротив, выступает в качестве «самого решительного проводника взгляда на княжение как на частную собственность князя, со всеми его противогосударственными последствиями...». Об этом свидетельствует произведенный Иваном Калитой раздел между своими наследниками территории Московского княжества. «Отсутствию государственной точки зрения», говорит В.И. Сергеевич, соответствуют и отношения Ивана Калиты к Золотой орде: «он раболепный слуга ханов, по их приказанию воюющий против русских городов»[2]. Процесс образования Московского государства, по В. И. Сергеевичу, является одновременно процессом «освобождения московской территории от тех пут, которыми она была

---

[1] *И. Е. Забелин*, Взгляд на развитие московского единодержавия («Исторический вестник», т. IV, 1881, стр. 233—269, 489—523, 735—782). См. *его же*, История города Москвы, ч. I, М., 1905.

[2] *В. И. Сергеевич*, Русские юридические древности, т. I, изд. 2, СПб., 1902, стр. 49—83.

связана завещанием Калиты». «Основателем нового порядка вещей» был, по В. И. Сергеевичу, великий московский князь Дмитрий Иванович Донской. Но его «новаторство» проявилось только в установлении «единонаследия» применительно к территории великого Владимирского княжения. Что касается остальной территории, то, согласно «практике отца и деда», он ее делит между сыновьями. В лице Ивана III «великое княжение получило искусного продолжателя дела, начатого Донским». Он не только расширил территорию формирующегося государства, но установил неотчуждаемость уделов (при отсутствии у удельных князей сыновей их владения присоединялись к великому княжению). Политика Ивана III окончательно «обезвредила» удельных князей.

Таким образом, В. И. Сергеевич подходит к проблеме образования единого государства с очень узкой точки зрения, рассматривая лишь постепенную победу идеи «единонаследия», прокладывающей путь независимо от политики отдельных московских князей[1].

В книге М. А. Дьяконова «Власть московских государей» ставится вопрос о формировании в России в XIV—XVI вв. идеологии самодержавия как показателе «развития национального русского политического самосознания»[2]. Подобная постановка вопроса, при которой идея самодержавной власти выступает в качестве признака национального самосознания, имела тенденциозно монархическую направленность. Но, анализируя памятники древнерусской публицистики, М. А. Дьяконов сделал ряд полезных наблюдений относительно политической истории времени формирования Русского централизованного государства, в частности относительно перестройки взаимоотношений московских князей с их слугами в процессе ликвидации раздробленности.

Поступательная линия развития буржуазно-либеральной историографии идет от С. М. Соловьева к наиболее выдающемуся и талантливому русскому буржуазному историку второй половины XIX в. В. О. Ключевскому. В. О. Ключевский значительно расширил источниковедческую базу своих исследований по сравнению с С. М. Соловьевым (использовав, например, монастырские копийные книги, писцовые книги и другие документы), усовершенствовал приемы исследовательской техники. В. О. Ключевский в значительно большей мере, чем С. М. Соловьев, обратил внимание на социально-экономические процессы, в частности на процесс крестьянского закрепощения в России. Он подошел к историческому материалу с новыми по сравнению с С. М. Соловьевым теоретическими понятиями, наиболее важным из которых было понятие (хотя

---

[1] *В. И. Сергеевич*, Русские юридические древности, т. I, изд. 2, стр. 62, 67, 74, 80, 81. См. также *его же*, Древности русского права, т. I, изд. 3, СПб., 1909, стр. 56—87; *его же*, Как и из чего образовалась территория Московского государства? («Новь», 1886, т. VIII, № 5, стр. 176—194; № 7, стр. 310—325).

[2] *М. А. Дьяконов*, Власть московских государей. Очерки из истории политических идей древней Руси до конца XVI века, СПб., 1889, стр. V.

и даваемое в буржуазно-либеральном аспекте) «общественных классов».

В своей докторской диссертации «Боярская дума древней Руси» В. О. Ключевский выдвигает задачу изучения истории этого «правительственного учреждения» в связи с «историей общества». Это уже была важная и прогрессивная идея. Автор считает большим недостатком ряда трудов, посвященных развитию государственного аппарата, то, что они оставляли «в тени общественные классы и интересы», которые за этим аппаратом «скрывались» и через него «действовали»[1]. Подход к изучению исторического развития с новым понятием «общественные классы», как уже отмечалось, был для буржуазной историографии большим шагом вперед. В то же время нельзя не заметить, что это понятие у Ключевского выглядит весьма аморфно и не только не ведет к раскрытию классовых антагонизмов, но, напротив, стирает их. Так, для Ключевского боярская Дума является «показателем общественных классов», руководивших в данное время народным трудом. Весьма далек В. О. Ключевский и от представления о классовой сущности государства, которое для него является «охранителем общего земского блага». Выражение «национальное» государство, указывающее на момент этнический, на национальность как этническое целое, равнозначно для В. О. Ключевского термину «народное» государство, подчеркивающему момент социально-политический: орган, защищающий интересы всего народа[2].

Русское национальное (народное) государство, по мнению В. О. Ключевского, выросло из того «удельного порядка», который сложился в Северо-Восточной Руси в XIII-XIV вв., когда с упадком Киевской Руси туда хлынула народная колонизация и переместился центр исторического развития. «Зерном народного Русского государства» стало одно из удельных княжеств, «вотчина» князей—потомков Даниила Александровича московского[3]. Превращение Московского княжества в Великорусское государство произошло при Иване III и его ближайших преемниках, ибо к этому времени пределы Московского княжества, «доселе определявшиеся случайными успехами князей собирателей», «встретились наконец с границами народности, незаметно образовавшейся сложным процессом колонизации на север и юг от Верхней Волги». Политическое оформление великорусской народности, «среди удельного дробления остававшейся явлением этнографическим», и есть, по В. О. Ключевскому, то основное, что характеризует образование единого национального (народного) государства[4]. Кроме того, В. О. Ключевский обращает внимание на складывание «плотного обществен-

---

[1] *В. О. Ключевский*, Боярская дума древней Руси. Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества, М., 1881, стр. 9, см. также стр. 13.

[2] Там же, стр. 137, 302, 307.

[3] Там же, стр. 137.

[4] Там же, стр. 302—303.

ного класса», «господствующего класса московского общества»— боярства[1].

В.О. Ключевским было сделано очень много интересных наблюдений относительно внутренней структуры княжеской, боярской, монастырской вотчины. Тем самым он гораздо ближе, чем С. М. Соловьев, подошел к выяснению социально-экономических предпосылок образования Русского централизованного государства. Но правильного решения этой проблемы с позиций буржуазной методологии он дать не мог. Идеалистическим было его представление о том, что образование централизованного государства явилось результатом сочетания усилий народа по колонизации страны и усилий князей по собиранию земли. При всей яркости воплощения этой формулы в изображении исторического процесса, воспринимаемом почти в зрительных художественных образах, такая формула давала и научно, и политически неверную ориентацию, подчеркивая якобы народный характер государства на Руси в период ликвидации раздробленности.

В «Курсе русской истории» изучение вопроса о политическом объединении Руси В. О. Ключевский начинает с выяснения причин, определивших роль Москвы как политического центра складывавшегося единого государства[2]. Идя в известной мере за своими предшественниками, он указывает на две такие причины: во-первых,— это выгодное географическое положение Москвы в центре Северо-Восточной Руси, на перекрестке сухопутных и речных путей, определившее ее населенность, сделавшее ее центром колонизации и этнографическим центром Великороссии, а также транзитным пунктом (что способствовало экономическому росту края). Вторая причина быстрого развития Москвы определялась, по В. О. Ключевскому, генеалогическим положением ее князей, занимавших одно из низших мест на лестнице междукняжеских отношений, не рассчитывавших добиться лучшего положения, зависевшего «от очереди старшинства».

В целях повышения своего благосостояния московские князья действовали сначала как «беззастенчивые хищники»—захватчики чужих территорий, а затем—как «скопидомные домовитые устроители своего удела». Но деятельность «москворецкого князька», «мелкого хищника», из-за угла подстерегавшего своих соседей», в конечном итоге привела к «политическому объединению Великороссии»[3]. Постепенно московским князьям удалось расширить территорию своего княжества, добиться прав на великое княжение, возглавить борьбу с татаро-монгольским игом, сделать Москву церковным центром, местопребыванием митрополитов. «Территориальный и национальный рост Московского княжества» сопровождался усилением власти старшего из московских князей («великого») над остальными.

---

[1] *В. О. Ключевский*, Боярская дума древней Руси, стр. 234, 268.

[2] *В. О. Ключевский*, Сочинения, т. II. Курс русской истории, ч. 2, М., 1957, стр. 5—53.

[3] Там же, стр. 13, 14, 27.

При этом В. О. Ключевский подчеркивает, что нет оснований говорить об особых выдающихся качествах и талантах московских князей. Напротив, они представляются «довольно бледными фигурами», они «отличаются замечательно устойчивой посредственностью—не выше и не ниже среднего уровня»;—это «князья без всякого блеска, без признаков как героического, так и нравственного величия». Их успехи объясняются упорным проведением «наследственной политики», «фамильного предания», скопидомством «по мелочам, понемногу»[1].

Образование единого Великорусского государства В. О. Ключевский объясняет тем, что «фамильный своекорыстный интерес московских князей» встретился с «народными нуждами и стремлениями». Сложившаяся к середине XV в. великорусская народность чувствовала «потребность в политическом сосредоточении своих неустроенных сил, в твердом государственном порядке, чтобы выйти из удельной неурядицы и татарского порабощения»[2]. Завершение территориального собирания Северо-Восточной Руси Москвой превратило Московское княжество в национальное Великорусское государство[3].

«Курс» В. О. Ключевского—это большое достижение исследовательской мысли и лекторского мастерства ученого. Яркость исторических образов, созданных В. О. Ключевским с большой силой художественного таланта, увлекает и захватывает читателя настолько, что это подчас мешает понять ошибочность самой идеи, положенной в основу создаваемого образа.

Во второй половине XIX в. и в начале XX в. появился целый ряд работ, посвященных истории отдельных русских земель и княжеств в период политической раздробленности. Хотя в этих работах затрагивались вопросы преимущественно политической истории, а проблемы социально-экономического порядка освещались в меньшей степени, многие из них имели большое научное значение и способствовали выяснению предпосылок создания единого государства на Руси[4].

Подводя итоги развитию буржуазной историографии второй половины XIX в. в области изучения проблемы складывания Рус-

[1] *В. О. Ключевский*, Сочинения, т. II. Курс русской истории, ч. 2, стр. 28, 49, 51.

[2] Там же, стр. 46—47.

[3] Там же, стр. 28—29.

[4] Из работ, представляющих интерес содержащимися в них конкретно-историческими данными и авторскими наблюдениями, отметим следующие: *В. С. Борзаковский*, История Тверского княжества, СПб., 1876; *П. В. Голубовский*, История Смоленской земли до начала XV в., Киев, 1895; *Д. А. Корсаков*, Меря и Ростовское княжество (Очерки из истории Ростово-Суздальской земли), Казань, 1872; *А. И. Никитский*, История экономического быта Великого Новгорода, М., 1893; *его же*, Очерк внутренней истории Пскова, СПб., 1873. Гораздо менее интересна небольшая книжка П. В. Полежаева «Московское княжество в первой половине XIV века» (СПб., 1878), которая вносит мало нового в рассмотрение проблемы образования Русского централизованного государства по сравнению с предшествующей буржуазной историографией.

ского централизованного государства, следует прежде всего отметить, что конкретно-историческая сторона этой проблемы получает более углубленное рассмотрение. Появляются специальные работы по истории отдельных княжеств, больше внимания, чем ранее, исследователи уделяют вопросам экономического развития Руси XIV—XV вв. и т. д. Совершенствуется источниковедческая база, на которой строятся монографии, затрагивающие вопросы истории формирования единого государства на Руси. Расширяется круг опубликованных памятников письменности—актов и летописных сводов. Появляются источниковедческие работы (например, о памятниках летописания[1]). При написании истории отдельных русских земель и княжеств в научный оборот вводятся археологические материалы. Полезной книгой справочного характера является работа А. В. Экземплярского «Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период», содержащая сведения о деятельности всех известных представителей княжеских фамилий, правивших в различных русских землях в XIII—XV вв.[2]

Очень важно, что в трудах наиболее крупного представителя русской буржуазной историографии второй половины XIX в. В. О. Ключевского концепция образования Русского централизованного государства, в свое время развитая С. М. Соловьевым, обогатилась новыми идеями. Среди них наиболее существенное значение имела идея «общественных классов», позволившая более глубоко раскрыть характер социально-экономических отношений в период ликвидации на Руси политической раздробленности и формирования объединенного государства.

При всем том необходимо подчеркнуть, что с течением времени все более обнаруживалась теоретическая ограниченность, идейная слабость, политическая консервативность русской буржуазной историографии. Эти черты буржуазной исторической мысли проявились даже в трудах ее наиболее даровитого представителя, каким был В. О. Ключевский. В. О. Ключевский говорил об «общественных классах», не раскрывая их борьбы между собой, для него понятие народности государства было равнозначно понятию надклассовости. Еще более явственно вскрылась идейная слабость буржуазной историографии в построениях Н. И. Костомарова, заменившего предложенный С. М. Соловьевым для объяснения процесса складывания Русского централизованного государства принцип «органического развития» факторами внешнего порядка, а критику самодержавия, почерпнутую в трудах революционных демократов, повернувшего в буржуазно-либеральное русло. О том, что буржуазная историография постепенно исчерпывала свои возможно-

---

[1] См., например, *М. И. Сухомлинов*, О древней русской летописи как памятнике литературном, 1856; *К. Н. Бестужев-Рюмин*, О составе русских летописей до конца XIV в., СПб., 1868; *И. А. Тихомиров*, Обозрение состава московских летописных сводов, СПб., 1895.

[2] *А. В. Экземплярский*, Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г., т. I—II, СПб., 1889—1891

сти дальнейшего теоретического роста и объективно оказывалась на идеологической службе у царизма, свидетельствовали и неославянофильская попытка И. Е. Забелина возвести на почве «народной тверди» здание самодержавия, и концепция В. И. Сергеевича, лишь несколько обновившего точку зрения Б. Н. Чичерина (сведя при этом на нет ее диалектический характер) о борьбе государственных и частновладельческих начал в период ликвидации на Руси политической раздробленности. Приближался кризис буржуазной историографии.

§ 6. Основоположники марксизма-ленинизма об образовании централизованных государств

Вершиной науки об истории общества явился марксизм-ленинизм. Основоположники марксизма-ленинизма—К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин—раскрыли основные законы общественной жизни. Своими трудами они нанесли сокрушительный удар буржуазным теориям, объявляющим государство надклассовой силой и отрывающим его развитие от развития базиса. Они показали ложность концепций буржуазных историков, считавших основной функцией государства функцию внешнюю и при этом затушевывавших ее классовое содержание. Марксистско-ленинское учение дало возможность рассматривать эволюцию феодального государства в тесной связи с развитием базиса, с историей классовых отношений.

Основоположниками марксизма дана подлинно научная разработка проблемы централизованных государств. Очень важно, что они поставили эту проблему в широком плане мировой истории. Рассматривая процесс создания централизованных государств в странах Западной Европы, Маркс и Энгельс указывали, что он представляет собой явление закономерное в жизни развитого феодального общества. Возникновение централизованных государств было обусловлено социально-экономическими причинами. Эти причины надо искать в развитии производительных сил, эволюции форм собственности, взаимоотношении отдельных классов, характере классовой борьбы. В совместной работе Маркса и Энгельса «Немецкая идеология» (1845—1846) выяснено, что «главной формой собственности в феодальную эпоху была, с одной стороны, земельная собственность, вместе с прикованным к ней трудом крепостных, а с другой—собственный труд при наличии мелкого капитала, господствующего над трудом подмастерьев». Эта характеристика дает ключ к пониманию истории как города, так и деревни во времена средневековья. Структура обоих видов собственности «обусловливалась ограниченными отношениями производства—слабой и примитивной обработкой земли и ремесленным типом промышленности»[1]. Разделение труда было незначительно. При таких

[1] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Сочинения, изд. 2, т. 3, стр. 23.

условиях не могло быть и политического единства. Царила раздробленность. Необходимыми условиями политического объединения страны и образования национальных государств служили углубление общественного разделения труда, рост городов, возникновение связей между ними, переход «от местной ограниченности к нации...»[1] Выявляя социально-экономические предпосылки государственной централизации в процессе эволюции феодального общества, Маркс и Энгельс находят их в той линии развития, по которой шло формирование буржуазных отношений. Происходит обособление торговли от производства, образование особого класса купцов; из объединений жителей отдельных городов «весьма постепенно» возникает «*класс* горожан», горожане отрываются «от феодальных связей...»[2].

Это длительный и сложный процесс. Маркс и Энгельс подчеркивают, что «лишь постепенно» формируется буржуазия; она развивается «вместе с условиями своего существования, снова распадаясь в зависимости от разделения труда на различные группы...»[3]. Этот процесс дает возможность понять и закономерности политической истории. Формирование централизованных национальных государств совершалось на феодальном базисе. «Объединение более обширных областей в феодальные королевства,—читаем в «Немецкой идеологии»,—являлось потребностью как для земельного дворянства, так и для городов. Поэтому во главе организации господствующего класса—дворянства—повсюду стоял монарх»[4]. Тенденция же развития централизованных государств по пути их превращения в абсолютные монархии, характеризовавшиеся наиболее законченной формой политической централизации, знаменовала постепенное разрушение феодальной системы.

В статье «Морализирующая критика и критизирующая мораль» (1847) Маркс обосновывает тезис о том, что «*абсолютная монархия* возникает в переходные периоды, когда старые феодальные сословия приходят в упадок, а из средневекового сословия горожан формируется современный класс буржуазии, и когда ни одна из борющихся сторон не взяла еще верх над другой»[5]. Здесь же Маркс подчеркивает ту роль, которую сыграло централизованное государство в форме абсолютной монархии в «разрушении» феодальных сословий[6]. Маркс пишет, что «цивилизаторская деятельность» абсолютной монархии состояла в том, чтобы «*централизовать*», уничтожая феодальные перегородки[7].

Такую же картину длительного процесса образования централизованных государств в форме абсолютных монархий нарисовал

---

[1] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Сочинения, т. 3, стр. 49—50.
[2] Там же, стр. 52—53.
[3] Там же, стр. 53.
[4] Там же, стр. 24.
[5] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Сочинения, т. 4, стр. 306.
[6] Там же, стр. 308.
[7] Там же.

Энгельс в статье «Конституционный вопрос в Германии» (1847). Он доказывает, что «феодальная система» (как политический строй, соответствующий «безраздельному господству дворянства») «везде приходила в упадок в той мере, в какой земледелие переставало быть решающей отраслью производства страны», возникали города и «образовывался класс, занимающийся промышленностью...»—«класс *мелких буржуа*»[1]. В результате компромисса между дворянством и мелкими буржуа «управление передается третьему классу—бюрократии». С развитием мировой торговли и крупной промышленности из рядов мелких буржуа выходит буржуазия, стремящаяся к политическому господству[2]. Энгельс раскрывает широкую историческую перспективу, показывая, как возникновение городов оказывает влияние на политическую надстройку феодального общества, как на феодальном базисе и при господстве дворянства возникает национальное государство, в котором наряду с дворянами известную роль (не равную роли дворянства)[3] играют горожане, как с развитием абсолютизма наблюдается упадок феодальной системы и рост буржуазных отношений.

Большой интерес представляет рукописный отрывок Энгельса, опубликованный под редакционным заголовком «О разложении феодализма и возникновении национальных государств». В этой работе Энгельс останавливается на характеристике средневекового общества в конце XV в., когда в ряде стран Европы происходило формирование централизованных государств. Он указывает на те новые явления социально-экономической жизни, которые подготовили этот процесс. Энгельс говорит о развитии средневекового ремесла, накоплении первых капиталов, росте потребности «в торговых сношениях городов друг с другом и с остальным миром...» Выдвигаются «городские бюргеры»; они «стали уже более необходимы обществу, чем феодальное дворянство», они «стали классом, который олицетворял собой дальнейшее развитие производства и обмена, образования, социальных и политических учреждений». У бюргеров-ремесленников «хватило силы совершить переворот в феодальном обществе», который привел к ликвидации раздробленности и политическому объединению ряда европейских стран в национальные государства.

Энгельс специально говорит при этом, что государственное объединение происходило еще в условиях феодализма. Земледелие было еще «главной отраслью производства, в нем была занята громадная масса населения». Свободных крестьян было ничтожное количество. Все «успехи производства и обмена» имели «очень ограниченный характер». Производство, скованное «формами чисто цехового ремесла», сохраняло феодальный характер. Торговля

---

[1] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Сочинения, т. 4, стр. 46—47.
[2] Там же, стр. 47—48.
[3] См. там же, стр. 47.

происходила «в пределах европейских вод и не распространялась дальше левантийских прибрежных городов...»[1].

Далее Энгельс останавливается на вопросе о роли товарно-денежных отношений, называя деньги могучим оружием против феодализма, говоря о переводе крестьян с барщины и натурального оброка на денежную ренту, но оговариваясь при этом, что «в большинстве случаев в деревне продолжало существовать старинное грубое натуральное хозяйство...»[2].

Наконец, Энгельс указывает на формирование национальностей, развивающихся в нации, как условие образования национальных государств.

В XV в. «феодальная система» (характеризовавшаяся наличием раздробленности) находилась «в полном упадке». Преодоление раздробленности отвечало национальным интересам европейских стран. И в городе, и в деревне «среди населения увеличилось количество таких элементов, которые прежде всего требовали, чтобы был положен конец бесконечным бессмысленным войнам, чтобы прекращены были раздоры феодалов, приводившие к тому, что внутри страны шла непрерывная война даже и в тех случаях, когда в стране был внешний враг, чтобы прекратилось это состояние непрерывного и совершенно бесцельного опустошения, которое неизменно продолжало существовать в течение всего средневековья»[3]. По словам Энгельса, «тенденция к созданию национальных государств» явилась «одним из существеннейших рычагов прогресса в средние века»[4].

Централизованные государства складывались в форме феодальных монархий. Королевская власть явилась «представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации в противоположность раздроблению на бунтующие вассальные государства»[5].

Подводя итоги государственной централизации в странах Европы во второй половине XV в., Энгельс указывает, что там повсюду (кроме Италии и Германии) восторжествовала королевская власть. Он называет при этом Испанию, Португалию, Англию, Францию, Скандинавские страны, Польшу, наконец Россию, где «покорение удельных князей шло рука об руку с освобождением от татарского ига, что было окончательно закреплено Иваном III»[6].

Образование централизованных государств совершалось на феодальной базе. Энгельс подчеркивает, что произошла «победа над феодализмом» (т. е. феодальной раздробленностью) королевской

---

[1] *Ф. Энгельс*, О разложении феодализма и возникновении национальных государств (в книге: *Ф. Энгельс*, Крестьянская война в Германии, М., 1952, стр. 153—154).

[2] Там же, стр. 154—155.

[3] Там же, стр. 156.

[4] Там же, стр. 157.

[5] Там же, стр. 158.

[6] Там же, стр. 163.

власти, но не бюргерства, ибо мелкие буржуа не могут свергнуть дворян или даже стать им равными[1]. Новые явления в жизни средневекового общества лишь постепенно приводили к замене «феодального отношения» буржуазным[2].

В рукописном отрывке «Заметки о Германии» Энгельс поставил вопрос о роли политической надстройки в преодолении раздробленности и в централизации. Он указывает, что во Франции и Испании «существовала экономическая раздробленность», потом она была «преодолена с помощью насилия». Франция сплотилась в национальное государство «благодаря династической власти, которая постепенно втягивала нацию в свою орбиту». Англия «консолидировалась в результате войны Роз, истребившей высшую знать». Наконец, и Германия могла бы быть «также централизована», «несмотря на отсутствие экономических связей», если бы не стремление ее государей к мировому господству, не завоевательные походы и не «система свободного избрания императора», помешавшая династической императорской власти сделаться «воплощением нации...»[3]. Отсюда видно, какое большое значение придавал Энгельс действию политической надстройки в ликвидации раздробленности.

В трудах основоположников марксизма выяснены и специфические условия образования централизованных государств в отдельных странах Европы. Так, в статье «Начало конца Австрии» (1848) Энгельс отмечал отсталый характер развития Австрии, где долго сохранялись «феодализм, патриархальщина и рабски покорное мещанство, охраняемые отеческой дубинкой...»[4] В то время как ряд европейских стран «одна за другой высвобождались из феодального варварства» и там развивалась промышленность, торговля, росли города, горожане «приобретали политический вес», ряд стран, расположенных по Верхнему Дунаю, оставался «убежищем варварства и феодализма». Но и там должно было сложиться централизованное монархическое государство, ибо этого требовали интересы обороны. Таким государством явилась монархия Габсбургов, многонациональное государство, объединившее «дюжину народностей»[5]. Таким образом, Энгельсом был выдвинут вопрос об особенностях образования некоторых восточноевропейских государств и о значении внешнеполитического фактора в этом процессе.

Теория Маркса и Энгельса получила дальнейшее творческое развитие в трудах В. И. Ленина. Проблему образования Русского

---

[1] *Ф. Энгельс*, О разложении феодализма и возникновении национальных государств, стр. 162; *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Сочинения, т., 4 стр. 47.

[2] *Ф. Энгельс*, О разложении феодализма и возникновении национальных государств, стр. 155.

[3] *Ф. Энгельс*, Заметки о Германии (в книге: *Ф. Энгельс*, Крестьянская война в Германии, М., 1952, стр. 165—166).

[4] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Сочинения, т. 4, стр. 471.

[5] Там же, стр. 472—473.

национального централизованного государства Ленин поставил в своем труде «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» Ленин показал неверность утверждения Н. К. Михайловского, что «национальные связи, это —продолжение и обобщение связей родовых!» По словам Ленина, «если можно было говорить о родовом быте в древней Руси, то несомненно, что уже в средние века, в эпоху московского царства, этих родовых связей уже не существовало, т. е. государство основывалось на союзах совсем не родовых, а местных: помещики и монастыри принимали к себе крестьян из различных мест, и общины, составлявшиеся таким образом, были чисто территориальными союзами»[1]. В этом тезисе, направленном непосредственно против взглядов Михайловского, по существу заключалась критика всей буржуазно-либеральной историографии с ее концепцией о смене в XV—XVI вв. в России родовых отношений государственными.

Далее Ленин поставил вопрос о характере общественно-политического строя России «в эпоху московского царства» до начала XVII в. Он отметил, что в государстве того времени сохранились еще многие пережитки раздробленности; «...о национальных связях в собственном смысле слова едва ли можно было говорить в то время: государство распадалось на отдельные «земли», частью даже княжества, сохранявшие живые следы прежней автономии, особенности в управлении, иногда свои особые войска (местные бояре ходили на войну со своими полками), особые таможенные границы и т. д.». Наличие сильных остатков политической раздробленности объясняется тем, что еще не созрели необходимые для их ликвидации социально-экономические предпосылки. Такие предпосылки появляются лишь начиная с XVII в. «Только новый период русской истории (примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое»[2].

С XVII в. можно говорить о постепенном преодолении изолированности отдельных районов в составе Русского государства, что «вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих национальных связей было ничем иным как созданием связей буржуазных»[3].

Итак, Русское централизованное государство создалось в период господства феодализма, когда отдельные области в значительной степени сохраняли хозяйственную замкнутость, что определяло и незавершенность политической централизации. Формирование всероссийского рынка и буржуазных связей, сопровождавшееся складыванием русской нации и содействовавшее ликвидации эко-

[1] *В. И. Ленин*, Соч., т. 1, стр. 137.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 137—138.

номической раздробленности, было связано с изменениями централизованного государства на пути его эволюции в направлении к абсолютизму[1].

Труды основоположников марксизма-ленинизма легли в основу работ И. В. Сталина по национальному вопросу. В статье «Марксизм и национальный вопрос» И. В. Сталин поднял проблему взаимосвязи процессов формирования в странах Западной Европы наций и их превращения в «самостоятельные национальные государства». Главной чертой этих процессов было то, что они завершались «при победоносном шествии торжествующего над феодальной раздробленностью капитализма». В то же время И. В. Сталин указал на «своеобразный способ» образования централизованных монархий на востоке Европы—в Австро-Венгрии, России, где они складывались «в условиях неликвидированного еще феодализма, в условиях слабо развитого капитализма...», причем в виде многонациональных государств. В России в силу неразвитости буржуазии процесс создания многонационального централизованного государства возглавила исторически сложившаяся сильная дворянская военная бюрократия[2].

В «Тезисах к X съезду РКП(б)» 1921 г. и в докладе на съезде И. В. Сталина «Об очередных задачах партии в национальном вопросе» ракрыта мысль о роли внешней опасности в создании централизованных государств на востоке Европы. Там «образование централизованных государств, ускоренное потребностями самообороны (нашествие турок, монголов и пр.), произошло раньше ликвидации феодализма...»[3].

Выводы основоположников и теоретиков марксизма-ленинизма заложили прочные методологические основы изучения проблемы складывания централизованного государства в России.

§ 7. Кризис буржуазной историографии в период империализма

Период конца XIX—начала XX в., когда Россия уже вступила в последнюю стадию капиталистического развития—империализм, явился вместе с тем временем кризиса буржуазной исторической науки. В это время на исторической арене активно выступает пролетариат. Рабочее движение соединяется с социализмом. Россия становится родиной ленинизма. Буржуазным концепциям общественного развития, защищавшим мировоззрение умирающего класса, был нанесен удар марксистско-ленинской теорией, выражавшей идеологию восходящего общественного класса—пролетариата, обобщившей с позиций исторического материализма итоги социально-экономической истории России и опыт классовой борьбы.

[1] См. *В. И. Ленин*, Соч., т. 17, стр. 47.
[2] *И. В. Сталин*, Соч., т. 2, стр. 303—304.
[3] *И. В. Сталин*, Соч., т. 5, стр. 15, 34.

Главной чертой кризиса буржуазной исторической науки явился отказ от познания закономерного характера общественного развития. Уход от идеи исторической закономерности принимал разные формы—и в этом сложность кризиса буржуазной науки. Среди ряда буржуазных историков наблюдалось стремление отойти от постановки и разрешения проблем общеисторического значения путем разработки узко специальной тематики. Появляются работы чисто описательного и формально-источниковедческого характера. В то же время развитие буржуазной теории идет под флагом воинствующего идеализма. В буржуазной историографии получили распространение крайне идеалистические течения, отрицавшие закономерность исторических явлений и возможность познания законов истории. Некоторым буржуазным концепциям было присуще отвлечение от действительной исторической жизни и создание идеально-типических построений, не отражавших реальных процессов. Империалистические интересы и тенденции русской буржуазии находили отражение в области историографии и в виде крайнего шовинизма, и в виде космополитических концепций исторического прошлого.

Идейный кризис буржуазной исторической мысли не означал однако, что в это время в области историографии наблюдался полный застой и не было никакого движения вперед. Даже в том идейном тупике, в который зашла буржуазная историческая наука, продолжалось ее развитие. Происходила разработка новых архивных материалов, накопление новых фактов, совершенствование исследовательской техники. Введение в научный оборот новых материалов всегда предполагает какой-то угол зрения, под которым они преподносятся, какую-то концепцию, представляющую собой их обобщение, даже при сознательном отказе от такового. Буржуазные историки периода империализма давали в целом неправильное представление об историческом процессе. Но в преподносимых ими, в общем неверных, концепциях отдельные стороны этого процесса могли находить и находили близкое к истине освещение. Это объясняется тем, что и буржуазные построения вырастали из наблюдений над реальными фактами исторической действительности, препарируемыми под углом зрения классового сознания. И при всей тенденциозности и односторонности того или иного буржуазного исследователя его восприятие отдельных явлений прошлого могло приближаться и приближалось к познанию каких-то моментов объективно реального исторического развития. Наконец, происходило размежевание в среде буржуазных историков, и лучшие из них, даже оставаясь в целом на позициях буржуазной методологии, в своих исследованиях делали наблюдения чисто стихийного характера, прокладывающие пути к научному пониманию исторической закономерности.

Эпигоном «государственной школы» буржуазной историографии был П. Н. Милюков. Говоря в своих «Очерках по истории русской культуры» об образовании Русского централизованного госу-

дарства, он исходит из мысли о ведущей роли государства в историческом развитии и о подчинении его политики военным нуждам. «Русская государственная организация» складывается, по мнению П. Н. Милюкова, не в результате «органического, внутреннего роста общественной жизни», появление ее вызывается «*внешними* потребностями, насущными и неотложными: потребностями самозащиты и самосохранения». П. Н. Милюков определяет Русское государство как «продукт экономической неразвитости», оно возникает «на самой скудной материальной основе», но именно в силу этого становится «сильным» и «всемогущим». Для того чтобы объяснить, как это получилось, П. Н. Милюков оперирует категориями долженствования: Русское государство «должно было сделаться всемогущим», ибо ему необходимо было использовать все средства и все силы населения для защиты собственного существования. Если этих сил и средств не хватало, «надо было даже их вызвать, создать...»[1]. В связи с этим П. Н. Милюков выдвигает тезис, согласно которому в России «исторический процесс шел как раз обратным порядком» по сравнению со странами Западной Европы— «сверху вниз». Государству принадлежала «руководящая роль в процессе исторического домостроительства»[2].

Временем, когда создалось на Руси единое государство, П. Н. Милюков считает XIV—XV вв. Русское государство конца XV в. П. Н. Милюков представляет в виде военного лагеря, а центр этого государства—Москву считает «настоящим военным станом, главным штабом армии, опирающейся на русский север и действующей на три фланга—на юг, на восток и на запад»[3].

Это военное государство в своих целях распоряжается сложившимися к этому времени социальными элементами, пользуясь ими как «неорганической массой, сырым материалом» для возведения «своей собственной постройки». Так произошло превращение «вольного удельного землевладельца в крепостного служилого человека». В то же время государство заплатило последнему за службу «землей, населенной крестьянами», причем обязанности крестьян в отношении помещиков считались «особым видом службы государству»[4].

Наконец, государству П. Н. Милюков приписывает и ведущую роль в выработке национального самосознания. Политическая идеология московской государственной программы скоро становится достоянием «народного сознания»[5].

Политический смысл концепции П. Н. Милюкова заключается в стремлении доказать на опыте истории неразвитость и искусственность экономики России, насажденной государством; невоз-

---

[1] *П. Н. Милюков*, Очерки по истории русской культуры, ч. 1, изд. 3, СПб., 1898, стр. 117.

[2] Там же, стр. 116.

[3] Там же, стр. 118.

[4] Там же, стр. 169, 170, 198.

[5] *П. Н. Милюков*, указ. соч., ч. 3, вып. I, изд. 3, СПб., 1909, стр. 29.

можность революции ввиду отсутствия сложившихся классов и подчинения всех социальных сил общегосударственным нуждам; неизбежность сохранения царизма как политической силы, совершенно необходимой в условиях слабости общественно-экономического развития, вызывающей нужду в государственной опеке.

Большинство буржуазных историков конца XIX—начала XX в., рассматривая историю России, противопоставляли ее истории стран Западной Европы. Сравнительно редко делались попытки установить здесь какие-то общие моменты.

Сравнительно-историческим методом изучения прошлого пользовался Н. П. Павлов-Сильванский. Он выступил с тезисом о том, что, как и в странах Западной Европы, на Руси в определенный период ее исторического развития (с конца XII в. по 60-е годы XVI в.) господствовал феодализм [1]. Эта мысль не была абсолютно новой для русской дворянско-буржуазной историографии. Еще в XVIII в. С. Е. Десницкий и И. Н. Болтин сопоставляли феодальные порядки на Руси и в западноевропейских средневековых странах. Но русские буржуазные историки XIX в. в своей массе не восприняли идею о том, что и Русь прошла период феодализма, и поэтому работы Н. П. Павлова-Сильванского имели положительное значение, ибо на основе большого материала опровергали господствовавшие в то время в буржуазной литературе представления о «самобытности» русской истории, о противоположности исторического развития России развитию стран Западной Европы.

При всем научном значении работ Н. П. Павлова-Сильванского, содержащих ряд новых верных наблюдений, в теоретическом отношении они являются показателем кризиса буржуазной исторической мысли. Выводы Н. П. Павлова-Сильванского строятся на сравнении «*отдельных* учреждений русского удельного строя с основными учреждениями феодализма», на сопоставлении «*отдельных* юридических институтов» (община—марка, боярщина—сеньерия, боярская служба—вассалитет, поместье—коммендация, закладничество—патронат и т. д.). В ряде случаев это сопоставление получается весьма убедительным, свидетельствуя о большей или меньшей близости явлений, имевших место в разных странах в феодальную эпоху. Иногда же эта близость вызывает весьма серьезные сомнения, ибо доказывается она сравнением разновременных источников, отражающих разные стадии исторического развития. И во всех случаях остается недоказанным общий тезис Н. П. Павлова-Сильванского о том, что древнерусские учреждения «по существу своему, по своей природе представляют собой учреждения *тожественные* соответствующим учреждениям феодальной эпохи»[2]. Объясняется это и неверной постановкой самой задачи исследования—

---

[1] *Н. П. Павлов-Сильванский*, Феодальные отношения в удельной Руси, СПб., 1901; *его же*, Феодализм в древней Руси, СПб., 1907 (изд. 2, М.—Пг., 1923); *его же*, Феодализм в удельной Руси, СПб., 1910 («Сочинения», т. III).

[2] *Н. П. Павлов-Сильванский*, Феодализм в древней Руси, изд. 2, стр. 50—51. (Курсив мой.—*Л. Ч.*).

доказать тождество «порядков» в разных странах (когда речь может идти об общих и частных закономерностях исторического развития), и методологией и методикой исследовательской работы, сводящейся к выявлению внешних признаков, вырванных из общего исторического процесса «институтов» (в то время как важно изучение всей системы феодальных отношений).

Феодализм Н. П. Павлов-Сильванский рассматривает как явление политическое. Правда, он говорит «о крупной земельной собственности» как «основе феодального порядка». Но институты, «связанные с крупным землевладением», Н. П. Павлов-Сильванский отличает от «режима феодального» и называет их «сеньериальным», или «домениальным», режимом. Что же касается понятия «феодализм», то Н. П. Павлов-Сильванский, следуя Гизо и Фюстель-де-Куланжу, определяет его как политический строй, характеризующийся тремя признаками: 1) раздроблением территории на домены-сеньерии, 2) объединением их вассальной иерархией, 3) условностью землевладения. Представление о феодальном строе как о совокупности лишь ряда, главным образом правовых, явлений приводило к тому, что Н. П. Павлов-Сильванский различал «феодализм политический и феодализм социальный»[1].

Но надо сказать, что в целом ряде случаев в своих конкретных изысканиях Н. П. Павлов-Сильванский приходил к выводам, которые при всей общей теоретической неправильности его концепции представляли научный интерес. Таковы, например, его выводы о «древности волостной общины», о сохранении крестьянской общины и в период развития феодального землевладения, об ограниченности права крестьянского перехода еще до издания Судебника 1497 г., об иммунитете[2] и т. д.

Образование единого государства на Руси Н. П. Павлов-Сильванский рассматривает в духе своей общей концепции о «трех периодах русского исторического развития», причем в первый период (до XII в.) «основным учреждением является *община*, или *мир*», во второй (XIII— середина XVI в.) «основное значение имеет крупное землевладение, княжеская и боярская вотчина, или боярщина — сеньерия», в третий в качестве «основного учреждения» выступает «сословное государство»[3]. Это представление об историческом процессе как смене учреждений характерно для мировоззрения Н. П. Павлова-Сильванского, интересовавшегося не производственными отношениями, а правовыми явлениями в отрыве от базиса. При этом он считает, что «с объединением территорий в XV—XVI веках правительственная власть впервые получает истинно-государственный характер»[4]. Сословная монархия появляется на Руси с падением «феодального порядка» (процесс, начав-

---

[1] *Н. П. Павлов-Сильванский*, Феодализм в древней Руси, изд. 2, стр. 58—60, 89, 155.

[2] Там же, стр. 74, 198, 203, 228.

[3] Там же, стр. 181, 183.

[4] Там же, стр. 175.

шийся при Иване III и завершившийся при Иване IV)[1]. Перед нами — концепция русского исторического процесса, отражающая политическую идеологию кадетской партии (к которой принадлежал Н. П. Павлов-Сильванский), искавшей в прошлом историю конституционной монархии.

Специальное исследование о возникновении в конце XV в. единого Русского государства принадлежит А. Е. Преснякову. Он поставил перед собой задачу, по его собственным словам, «восстановить, по возможности, права источника и факта в представлении об одном из важнейших явлений русской истории — образовании Великорусского государства», так как в ряде трудов на эту тему данные первоисточников использовались лишь в качестве «иллюстраций готовой, не из них выведенной схемы»[2]. Сама по себе эта задача была вполне законной, и правильное ее решение могло помочь уяснению и углублению многих темных и спорных сторон поднятой А. Е. Пресняковым проблемы. Надо сказать, что Преснякову удалось по сравнению со своими предшественниками иными глазами взглянуть на источники по данной проблеме, применить к ним новые приемы изучения. Так, автор совершенно справедливо отмечает, что «княжие духовные и договорные грамоты раскрывают подлинный свой смысл только при условии изучения каждой в связи с создавшими ее отношениями, а взятые вне исторической обстановки, использованные, притом, для ответа на вопросы, каких они в виду не имели, они ведут к ложным выводам, какие им навязаны традиционной историографической схемой»[3]. Верно указывает А. Е. Пресняков и на опасность некритического отношения к другому виду исторических источников — летописным сводам. «При безразличном пользовании разными их типами и редакциями, без учета создавших эти типы и редакции тенденций и книжнических точек зрения» они «не дают всего, что могут дать, и, что существеннее, позволяют предпочесть позднюю и нарочитую переделку текста подлинному, первоначальному историческому свидетельству»[4].

Умело расслаивая летописные своды на их составные части (с учетом новых работ по русскому летописанию А. А. Шахматова), строя свои наблюдения на сопоставлении различных вариантов летописных известий с данными духовных и договорных грамот князей и других памятников, А. Е. Пресняков в ряде случаев по-новому изложил политическую историю Руси в XIII—XV столетиях. Он детально вскрывал и иногда своеобразно и интересно интерпретировал сложные перипетии междукняжеских отношений, рассматриваемых им на широком фоне международной жизни того времени. Важно, что поле зрения А. Е. Преснякова не ограничено княжеством Московским, а захватывает княжества Тверское, Суздальско-

---

[1] *Н. П. Павлов-Сильванский*, Феодализм в древней Руси, изд. 2, стр. 155.

[2] *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII—XV столетий, Пг., 1918, стр. V (введение).

[3] Там же.

[4] Там же, стр. V—VI.

Нижегородское, Рязанское, Северо-Западную Русь. А. Е. Преснякову удалось в значительной мере показать несостоятельность укоренившегося в предшествующей ему историографии «представления о традиционной магистрали русской истории, идущей из Киева через Владимир в Москву»[1], т. е. о том, что русская история, начавшись на киевском Юге, прерывается там, а затем переносится на Северо-Восток, во Владимиро-Суздальскую и Московскую земли.

И тем не менее методологически монография А. Е. Преснякова свидетельствует об упадке буржуазной исторической науки. Его апелляция к источнику, к факту по существу свелась не к «испытанию правильности традиционных историко-социологических схем и концепций», а к борьбе против «господства теоретических построений»[2] вообще. Критикуя выводы более ранней буржуазной историографии по вопросу о Русском государстве XIV—XV вв. с позиций буржуазной же методологии, Пресняков не смог противопоставить им нового целостного творческого построения. И беда была не в том, что он посвятил свою книгу «только внешней истории образования Великорусского государства — ее междукняжеских отношений и развития великокняжеской политики»[3]. Ограничение темы всегда законно, а в данном случае оно позволило А. Е. Преснякову достигнуть ряда положительных конкретных результатов в освещении ее отдельных сторон. Отрицательно сказалось на выводах А. Е. Преснякова другое—то, что он оторвал процесс образования Великорусского государства от общественного развития, даже в том буржуазном понимании истории «общественных классов», которое было предложено В. О. Ключевским, сведя этот процесс к «собиранию власти»[4] московскими великими князьями. Это не значит, конечно, что А. Е. Пресняков не касается совсем общественных отношений в рассматриваемое им время. Нет, он говорит и о позициях ростовского боярства, и о «вспышках народного восстания» в Северо-Восточной Руси против «ордынского господства» в конце XIII в., и о восстании в Твери в 1327 г.[5] и т. д. Но все это для А. Е. Преснякова лишь исторический фон, помогающий лучше осветить то, что он считает главным,— эволюцию великокняжеской власти. Ее «агония» после татаро-монгольского нашествия[6], «возрождение» в годы Ивана Калиты[7], дальнейший подъем при его преемниках, «кризис» во время «жестокой смуты» (феодальной войны) при Василии Темном и, наконец, «синтез вотчинного властвования и политической силы великокняжеской власти в московском едином само-

---

[1] *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. VII.
[2] Там же, стр. 26.
[3] Там же, стр. VI.
[4] Там же, стр. 458.
[5] Там же, стр. 45, 109, 137.
[6] Там же, стр. 49.
[7] Там же, стр. 159.

державии»[1]— такова схема образования Великорусского государства, предложенная А. Е. Пресняковым.

А. Е. Пресняков упрекал «юридическую школу» буржуазной историографии в «социологическом догматизме», явившемся результатом «прямолинейного понимания идеи «органического» развития» и приведшем к «изучению эволюции форм и начал политического строя вне связи с общими условиями политической жизни»[2]. Самого А. Е. Преснякова нельзя упрекнуть в излишнем социологизировании. Его изложение конкретно. Но когда он переходит от анализа к синтезу, то у него получается схема, лишенная не только классового содержания, но даже той идеи «органического развития», которую выдвинула предшествующая буржуазная историография.

Попытку вскрыть экономические условия создания на Руси единого государства сделал С. В. Бахрушин, в 1909 г. опубликовавший небольшую, но интересную статью «Княжеское хозяйство XV и первой половины XVI в.». Автор на богатом конкретном материале рисует различные отрасли хозяйства великих и удельных князей в период политической раздробленности, а затем подходит к проблеме о причинах ее ликвидации. Эти причины он видит в смене в XV в. натурального хозяйства денежным, что привело к «кризису» ряда землевладельцев, которые не смогли приспособиться «к ощущавшейся потребности в деньгах». «С выгодой для себя вышел из кризиса самый крупный землевладелец, великий князь московский». Он сосредоточил «в своих руках все торговые пути» и присвоил себе «ордынский выход, который давал ему очень значительные суммы». Благодаря «хозяйственной неприспособленности удельных князей» они вынуждены были брать в долг деньги у великого московского князя и экономически попали к нему «совершенно в руки»[3]. Задолженность удельных князей позволила великому князю московскому свободно распоряжаться их уделами, которые он присваивал.

С. В. Бахрушин сделал ряд верных наблюдений (например, о задолженности некоторых землевладельцев в XV—XVI вв.), широко вошедших в научный оборот и использованных затем советскими исследователями. Но общая его схема значительно упрощала вопрос об экономических предпосылках процесса государственной централизации.

Сравнивая наиболее крупные труды по вопросу о создании Русского централизованного государства, появившиеся в период кризиса буржуазной исторической мысли (Н. П. Павлова-Сильванского, А. Е. Преснякова), с работами С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, относящимися ко времени расцвета буржуазной науки, можно сделать следующие выводы. Во-первых, Н. П. Павлову-Сильванскому и А. Е. Преснякову удалось нарисовать в ряде случаев более разносторонне, ярко и верно фактическую, конкретную картину ликвида-

[1] *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 377.
[2] Там же., стр. VII.
[3] С. *В. Бахрушин*, Научные труды, т. II, М., 1954, стр. 44.

ции на Руси политической раздробленности, так как был привлечен более богатый материал русских и (в целях сравнения) западноевропейских средневековых документов, источниковедчески более тонко интерпретируемых. Во-вторых, некоторые выводы, к которым уже пришла ранее наука (например, о роли внешней опасности как фактора, способствовавшего политическому объединению Руси, о параллелизме тех или иных явлений феодального политического строя на Руси и в западноевропейских средневековых странах и т. д.), получили теперь более глубокое, разностороннее и убедительное обоснование. В-третьих, были подвергнуты критике некоторые традиционные исторические схемы, в своей основе восходящие еще к феодальной историографии (например, о перенесении арены общерусского исторического процесса из Южной в Северо-Восточную Русь и др.). И при всех этих положительных итогах развития буржуазной исторической науки, которые определились на рубеже XIX и XX вв., тогда же ярко выявилось основное: она уже исчерпывала возможности дальнейшего идейного роста и постепенно заходила в тупик. Идейный рост исторической мысли мог совершаться лишь на базе того мировоззрения, носителем которого был восходящий класс — пролетариат, на базе марксистско-ленинской методологии. Великая Октябрьская социалистическая революция произвела коренное, принципиальное размежевание в среде дореволюционных историков. Некоторые из них, как лидер империалистической буржуазии Милюков, заняв антинародные позиции, порвали свою связь с Родиной и перешли в лагерь эмиграции. А. Е. Пресняков, С. В. Бахрушин и другие лучшие представители дореволюционной интеллигенции посвятили свои силы и знания советской науке.

§ 8. Взгляды Г. В. Плеханова

Хорошо известен вклад, сделанный Г. В. Плехановым в разработку марксистской теории. Большой теоретический интерес представляет и его книга «История русской общественной мысли», в которой он дает свое общее понимание русского исторического процесса. Однако эта книга, писавшаяся в меньшевистский период жизни и деятельности Г. В. Плеханова, содержит и крупные теоретические ошибки.

В «Истории русской общественной мысли» Г. В. Плеханов, как он сам указывает, исходит из положения исторического материализма о том, что «не сознание определяет бытие, а бытие сознание»[1]. Предпосылая поэтому разбору основных течений исторической мысли в России «Очерк развития русских общественных отношений», Г. В. Плеханов ставит своей задачей вскрыть объективные условия места (географическую обстановку) и времени (историче-

[1] *Г. В. Плеханов*, История русской общественной мысли («Сочинения», т. XX, М.—Л., 1925, стр. 3).

скую обстановку), в которых протекал исторический процесс в России. Полемизируя с С. М. Соловьевым, Г. В. Плеханов подчеркивает, что влияние географической среды на характер русского народа происходит «лишь через посредство общественных отношений, принимающих тот или другой вид в зависимости от того, замедляет или ускоряет она (географическая обстановка.— *Л. Ч.*) рост производительных сил, находящихся в распоряжении данного народа»[1]. Чем больше возрастают производительные силы, тем выше поднимается общество по линии экономического развития, тем более «бьется пульс его экономической жизни» и обостряются противоречия, свойственные господствующему в нем способу производства. Это «обнаруживается, между прочим, в обострении классовой борьбы», ибо развитие всякого общества, разделенного на классы, определяется, «во-первых, их *взаимной борьбой* там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным *сотрудничеством* там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений»[2].

Г. В. Плеханов приходит к выводу, что под влиянием географической обстановки «рост производительных сил русского народа происходил очень медленно сравнительно с тем, что мы видим у более счастливых в этом отношении народов Западной Европы». Историческая обстановка, в которой совершался русский исторический процесс, усиливала обусловленные географической средой его особенности, в силу чего Россия «по характеру своего социально-политического строя все более и более удалялась от Запада и сближалась с Востоком»[3]. Называя «замечательными» труды Н. П. Павлова-Сильванского о феодализме в древней Руси, Г. В. Плеханов отмечал в то же время в качестве его ошибки то, что он сравнивал русские порядки «удельного» времени с порядками средневековой Франции, как страны «классического феодализма», не касаясь хода общественного развития Востока, «т. е., точнее, великих восточных деспотий, например древнего Египта или Китая»[4].

В чем же, по Г. В. Плеханову, сказалось действие географической и исторической обстановки на развитие производительных сил и общественный строй Руси (причем нас интересует прежде всего история Северо-Восточной Руси в период образования Русского централизованного государства)? Отвечая на этот вопрос, Г. В. Плеханов выдвигает три фактора (частично идя за С. М. Соловьевым, частично дополняя и исправляя его): 1) «...Россия была *колонизующейся* страной»; 2) колонизация эта совершалась при сильном натиске со стороны кочевников; 3) «...хозяйство русского племени, колонизовавшего восточную равнину Европы, было натуральным хозяйством» (географические условия, сложившиеся в междуречье Оки и Волги, не благоприятствовали развитию внешней торговли с Визан-

[1] *Г. В. Плеханов*, указ. соч., стр. 3.
[2] Там же, стр. 38, 49, 13.
[3] Там же, стр. 3—4.
[4] Там же, стр. 10—11.

тией и Западом, поэтому основную роль в экономике стало играть земледелие, занятие которым из-за неплодородной почвы требовало больших усилий). В условиях натурального хозяйства правительство, изыскивая средства на покрытие таких важных «функций общественной жизни», как управление страной и ее самооборона, проводит закрепощение крестьян. «Подневольный быт русского крестьянина стал, как две капли воды, похож на быт земледельца великих восточных деспотий». Но если «все общественно-политическое здание держалось в земледельческой России на широкой спине крестьянства, то и положение служилого класса не могло не приобрести в ней очень заметного восточного оттенка». Уже при Иване III складывается поместная система, напоминающая по своему характеру государственную собственность на землю в восточных деспотиях. Образование Русского централизованного государства связано с закрепощением «служилого сословия»[1].

Говоря об условиях, содействовавших формированию Русского централизованного государства, Г. В. Плеханов снова прибегает к аналогиям, взятым из истории восточных государств[2].

Отсутствие в Северо-Восточной Руси развитых классовых антагонизмов определило ту поддержку, которую оказывало все население централизаторской политике великокняжеской власти. «... Северо-восточные русские земледельцы, рассеянные в лесной глуши и разбитые на крошечные поселки, были бессильны против притязаний и злоупотреблений... их же нуждами и их же сочувствием укреплявшейся, *центральной* власти...»[3]

Сравнивая Русское централизованное государство с западноевропейскими и восточными монархиями, Г. В. Плеханов приходит к выводу, что оно отличалось от первых тем, что «закрепостило себе не только низший, земледельческий, но и высший, служилый класс», а от вторых, «на которые оно очень походило с этой стороны,— тем, что вынуждено было наложить гораздо более тяжелое иго на свое закрепощенное население»[4].

В труде Г. В. Плеханова методологически особенно важно понимание роли производительных сил как первоосновы общественного развития и стремление, исходя из этого понимания, вскрыть особенности социально-экономических отношений в Северо-Восточной Руси XIV—XV вв., в период образования Русского централизованного государства. Заслуживают серьезного внимания соображения Г. В. Плеханова о том, что процесс образования Русского централизованного государства происходил в условиях, близких к тем, в которых складывались некоторые восточные деспотии, в частности интересна его мысль о близости ряда черт поместной системы к формам государственной собственности на землю, существовавшей на Востоке.

---

[1] *Г. В. Плеханов*, указ. соч., стр. 72, 75, 77—78.
[2] Там же, стр. 76—77.
[3] Там же, стр. 76.
[4] Там же, стр. 88.

В то же время многие моменты, вошедшие в историческую концепцию Г. В. Плеханова и воспринятые им из буржуазной историографии, вызывают серьезные возражения: восходящее еще к С. М. Соловьеву преувеличение географического фактора и значения внешней опасности в истории Северо-Восточной Руси; мысль о содружестве классов в выполнении внешней функции государства и недооценка классовой борьбы в период складывания централизованного государства; заимствованная у В. О. Ключевского теория закрепощения сословий правительством; переоценка действия роли политической надстройки в условиях натурального хозяйства; объяснение земледельческого характера Руси и натуральных основ ее хозяйства отсутствием условий для развития внешней торговли. Характеризуя деспотический режим восточных монархий в целях сопоставления его с политикой Русского государства, Г. В. Плеханов оперирует в ряде случаев явлениями, относящимися к разным стадиям исторического процесса.

§ 9. Труды Н. А. Рожкова и М. Н. Покровского

Особое место в развитии русской историографии начала XX в. занимают труды Н. А. Рожкова и М. Н. Покровского. Оба эти исследователя попытались дать общую концепцию русского исторического процесса с марксистских позиций, но, находясь под очень сильным воздействием теоретических положений буржуазной исторической науки, не смогли сделать это удачно и убедительно. Их труды в целом представляют вульгаризацию марксизма. В то же время работы Н. А. Рожкова и М. Н. Покровского в некоторых отношениях были шагом вперед в разработке истории России.

В написанном Н. А. Рожковым «Обзоре русской истории с социологической точки зрения» поставлена задача путем изучения «исторических судеб русского народа в связи с общей социологической теорией» добиться понимания «основных законов его развития», что приведет «к предвидению будущего, хотя бы частичному и мало определенному»[1]. Разрешение выдвинутой проблемы представляется Н. А. Рожкову возможным в результате последовательного рассмотрения «пяти основных процессов: естественного, хозяйственного, социального, политического и психологического», и выяснения, «в какой мере эти процессы могут считаться внутренно-самостоятельными и в какой степени они зависят от других процессов»[2]. Стремление подчинить исследование конкретных явлений прошлого задаче раскрытия закономерностей исторического развития в целях предвидения будущего было, конечно, делом актуальным и важным, но реализация этого стремления производилась автором с буржу-

[1] *Н. А. Рожков*, Обзор русской истории с социологической точки зрения, ч. 1, СПб., 1903, стр. 7.

[2] Там же, стр. 4.

азных методологических позиций. Предпринятое Н. А. Рожковым изучение отдельных типов общественных явлений[1] не приводило к уяснению взаимодействия базиса и надстройки, а сделанные им «социологические обобщения» отличаются эклектизмом.

Образование единого государства Н. А. Рожков трактует в соответствии со старой буржуазной историографией как процесс «собирания Руси». Вслед за В. О. Ключевским он считает, что «Московское государство создалось на почве старых условий, выросло из удельной вотчины благодаря хозяйственной деятельности князя приобретателя, хозяина своего удела». У В. О. Ключевского заимствовал Н. А. Рожков и мысль о Русском государстве как «политическом объединении великорусской народности»[2].

Но в труде Н. А. Рожкова (распадающемся на две части: «Киевская Русь» и «Удельная Русь») были и новые (по сравнению с предшествующей буржуазной историографией) выводы и наблюдения.

Новым в концепции Н. А. Рожкова была попытка связать процесс политического объединения Руси и преобразования государственного аппарата с изменениями в экономических отношениях и в социальном строе. «Процессы хозяйственного объединения и сословной организации общества наряду с экономическими преимуществами московского центра повели к собиранию Руси, а непосредственным результатом такого собирания явилось новое положение московского государя, преобразования в областном и центральном управлении, в финансах и законодательстве; наконец, выступили на первый план новые задачи внешней политики»[3]. Эту взаимосвязь социально-экономических и политических явлений Н. А. Рожкову не удалось проследить достаточно четко и последовательно. Но важно, что им был поставлен целый ряд вопросов экономической (отрасли хозяйства, хозяйственная техника, распределение хозяйственных благ и т. д.) и социальной истории Руси XIII—середины XVI в. и сделаны отдельные верные наблюдения: например, о развитии в это время трехпольной системы земледелия[4], об усилении «тенденции к крепостничеству» (т. е. юридическому оформлению крепостного права в масштабе всей страны) и «дифференциации несвободных состояний» и т. д.[5]

И в других своих работах Н. А. Рожков возвращается к теме об экономических предпосылках образования единого Русского государства. Так, в небольшой книге «Город и деревня в русской истории» Н. А. Рожков пишет: «Одной из основных причин успешного собирания Руси московскими великими князьями служило, несомненно, экономическое единство той территории, которая вошла в состав

---

[1] *Н. А. Рожков*, Обзор русской истории с социологической точки зрения, ч. 1, стр. 4.

[2] *Н. А. Рожков*, Обзор русской истории с социологической точки зрения, ч. 2, вып. 1, СПб., 1903, стр. 181, 183, 184.

[3] Там же, стр. 193.

[4] Там же, стр. 137.

[5] Там же, стр. 159.

объединенного Московского государства». Далее автор указывает, что «это экономическое единство территории Московского государства не только продолжало сохраняться во второй половине XVI и в XVII веке, но и постепенно усиливалось и развивалось». При этом автор подчеркивает, что «экономическое единство страны» обусловливалось «особенностями в хозяйственном строе отдельных областей», так как «с усилением разделения труда отдельные хозяйственные единицы стали острее ощущать необходимость в обмене между собою, т. е. начали более нуждаться друг в друге, потеряли прежнюю изолированность»[1]. Здесь автор подходит к проблеме общественного разделения труда и формирования рыночных связей, хотя понимает ее неправильно, как проблему лишь обмена, а не производства, и явно неисторически применяет к эпохе феодализма понятие «экономическое единство» страны.

Постепенно у Н. А. Рожкова вырабатывается концепция о смене на Руси в середине XIV в. натурального хозяйства денежным и зарождении в связи с этим самодержавия. Эту концепцию он развивает в книге «Происхождение самодержавия в России». Под «денежным хозяйством» автор понимает такое хозяйство, при котором «товарное обращение начинает проникать в глубины народной жизни», захватывать «уже не одни высшие классы, а отчасти и низшие»[2]. Следовательно, Н. А. Рожков снова касается лишь вопросов товарного обращения, не пытаясь связать их с проблемой товарного производства. Переход на Руси в середине XVI в. к «денежному хозяйству» Н. А. Рожков связывает механически (по существу минуя вопрос о характере производственных отношений) с развитием крепостного права и изменениями в государственном аппарате: «Крепостничество приняло особые резкие формы по той главным образом причине, что русское денежное хозяйство того времени рассчитано было на крупный рынок, на обширный сбыт продуктов». Перемены в управлении «продиктованы были развитием денежного хозяйства с обширным рынком и сословно-крепостным строем»[3].

Н. А. Рожков подошел к своей теме с неправильных методологических позиций и не раскрыл на конкретном материале взаимодействие базиса и надстройки. Однако интересна и важна его попытка показать обусловленность изменений в политическом строе социально-экономическими сдвигами. «Зарождение самодержавия в России», «первые слабые ростки его» автор относит еще к концу XV в.[4]

Последним обобщающим трудом Н. А. Рожкова (над которым он работал в значительной степени после Октябрьской революции)

---

[1] *Н. А. Рожков*, Город и деревня в русской истории (Краткий очерк экономической истории России), изд. 4, Пг., 1919, стр. 46—47.

[2] *Н. А. Рожков*, Происхождение самодержавия в России, М., 1906, стр. 41; *его же*, Исторические и социологические очерки, Сборник статей, ч. I, М., 1906, стр. 132, 135.

[3] *Н. А. Рожков*, Происхождение самодержавия в России, стр. 66.

[4] Там же, стр. 184.

была многотомная «Русская история в сравнительно-историческом освещении». Сам автор рассматривал ее как переиздание «Обзора русской истории с социологической точки зрения», поставленного теперь «на сравнительно-историческую основу», дополненного материалом по истории других стран[1]. Не касаясь здесь вопроса о степени убедительности приводимых Н. А. Рожковым сравнительно-исторических параллелей, остановимся на том новом, что внес он в понимание вопроса об образовании единого Русского государства. Это новое заключалось в признании тезиса о том, что Русь пережила период феодализма (понимаемого Н. А. Рожковым вслед за Н. П. Павловым-Сильванским как явление политическое). «Феодализм в развитом состоянии» господствовал, по Н. А. Рожкову, на Руси в XIII и первой половине XIV в.[2], а на протяжении второй половины XIV — первой половины XVI в. происходит «падение феодализма». Эту схему Н. А. Рожков связывает со своими прежними выводами о том, что «разложение натурального хозяйства и начавшийся переход его к хозяйству денежному, рассчитанному притом на широкий рынок, приводили к необходимости уничтожения удельного распада, к образованию политического единства и собиранию Руси»[3].

Итак, Н. А. Рожков не пошел в своих научных трудах дальше экономического материализма.

Не сумел прийти к подлинно марксистскому пониманию истории и М. Н. Покровский, начавший свою научную деятельность еще в дореволюционное время и продолжавший ее после Октябрьской революции. В своей «Русской истории с древнейших времен» он посвятил специальную главу образованию Русского государства в XIV—начале XVI в. Процесс политического объединения русских земель Покровский рассматривает по традиции буржуазной историографии, как «собирание» Руси вокруг Москвы[4] (правда, термин «собирание» автор берет в кавычки), и отличает от процесса «образования единого государства», которое, по его мнению, явилось уже в XVII в. «результатом ликвидации феодальных отношений в их более древней форме» «под влиянием экономических условий», много более поздних, чем «уничтожение последних уделов»[5]. Здесь правильно подмечено, что политическая централизация в XIV—XV вв. происходила на базе еще недостаточно глубоких и широких экономических связей, которые лишь в XVII в. (в процессе складывания всероссийского рынка) начинают приобретать устойчивый характер. Но М. Н. Покровский был еще далек от понимания характера

---

[1] *Н. А. Рожков*, Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики), т. I, изд. 2, М.—Л., 1928, стр. 7.

[2] *Н. А. Рожков*, Русская история в сравнительно-историческом освещении, т. II, изд. 2, М.—Л, 1928, стр. 5—91.

[3] *Н. А. Рожков*, Русская история в сравнительно-историческом освещении, т. III, изд. 2, М.—Л., 1928, стр. 23—24.

[4] *М. Н. Покровский*, Русская история с древнейших времен, т. 1, М., 1913, стр. 212.

[5] Там же, стр. 239—240.

этих экономических связей; не понимал он и сущности феодализма как системы производственных отношений, переживающих ряд этапов в своем развитии, и поэтому говорил о наличии на Руси буржуазных отношений уже в середине XVI в.[1]

Неправильным было отрицание М. Н. Покровским известного (конечно, еще относительного) политического единства Русского государства к XVI в. Тем не менее он приблизился к верной характеристике Русского государства этого времени, как «огромной ассоциации феодальных владельцев», как «феодальной монархии», «организации командующих общественных элементов»[2]. Но во всех этих определениях отсутствует самый важный элемент — четкое указание на классовую сущность феодального государства как органа господства привилегированных земельных собственников над зависимым крестьянством. Это объясняется тем, что к феодализму Покровский подходил с позиций буржуазной методологии.

Ведя борьбу с «индивидуалистическим методом», сводящим «все исторические перемены к действиям отдельных лиц», М. Н. Покровский отказывается от характеристики московских князей как «собирателей» русских земель и ставит своей задачей выяснение тех социальных сил, которым принадлежало «руководящее значение» в процессе «собирания» Руси. Правильно отмечая, что «раз Московское государство было созданием феодального общества», то в его складывании «большое участие должны были принять феодальные элементы», автор считает этими «элементами» крупных землевладельцев — бояр и церковь[3]. Заслуживает внимания то возражение, которое выдвигает Покровский против «шаблонного» противопоставления «боярства» и «государя», как «сил центробежной и центростремительной в молодом Московском государстве». Он считает такое противопоставление «одним из самых неудачных пережитков идеалистического метода», представлявшего «государство» как некую самостоятельную силу, сверху воздействующую на «общество»[4]. Но, правильно борясь против упрощенчества в понимании взаимоотношений в лагере феодалов, М. Н. Покровский сам сильно упростил ту борьбу внутри господствующего класса, в ходе которой складывалось централизованное государство. А борьба эта была достаточно острой. Поэтому неверным является утверждение М. Н. Покровского о «консервативном характере московского завоевания» Новгорода и Пскова, не сопровождавшегося якобы большой ломкой там политических порядков[5].

Справедливо обращая внимание на первоочередное значение экономики «в ряду безличных факторов, определивших «собирание»

---

[1] *М. Н. Покровский*, Русская история с древнейших времен, т. 1, стр. 77.

[2] Там же, стр. 211, 216, 218.

[3] Там же, стр. 211, 212, 216, 218.

[4] Там же, стр. 217—218.

[5] Там же, стр. 235.

Руси около Москвы»[1], М. Н. Покровский, неисторически модернизируя явления, сводит эти экономические предпосылки политического объединения к «борьбе за рынки». Так, новгородско-московская война конца XIV в.— это, по М. Н. Покровскому, «колониальная война большого стиля», а «двумя факторами объединительной политики Москвы» автор называет московское боярство и московскую буржуазию[2].

Характерным для концепции М. Н. Покровского является явная недооценка той роли, которую в политическом объединении русских земель сыграла активная борьба народа с монгольским игом. Роль эта, собственно говоря, почти сведена им на нет. М. Н. Покровский пишет, что в XIV в., кроме Твери, нигде на Руси не было «крупного *народного* восстания против хана». Он почти совсем обходит молчанием Куликовскую битву, а о «свержении татарского ига» говорит (беря это выражение в кавычки) как о простой «торжественной формальности»[3]. Только отпор, данный в 1382 г. населением Москвы войскам Тохтамыша, оценен должным образом М. Н. Покровским.

Умаляя народный характер Куликовской битвы и трактуя ее как «княжеское восстание» против Орды «под главенством Москвы», М. Н. Покровский в то же время не усматривает никаких элементов национального самосознания (понимания «идеи единого национального государства») и в политике московских князей[4].

Труд М. Н. Покровского выгодно отличается от ряда предшествующих ему работ буржуазных историков значительно большим вниманием к социальным противоречиям. Так, описав восстание «черных людей» в Москве в 1382 г., М. Н. Покровский заканчивает это описание яркой фразой: «Вся история как нельзя более характерна для отношений «народа» и «власти» в удельной Руси: и эти «строители» и «собиратели», продающие город татарам, и эта «чернь», умеющая обороняться от татар без «собирателей» гораздо лучше, чем с ними»[5]. Здесь достаточно четко выражена мысль о ведущей роли народных масс в историческом процессе. М. Н. Покровский был близок и к пониманию крепостнического характера политики Русского государства. Говоря о московско-новгородских отношениях, он указывает: «...если низшие классы новгородского общества и склонны были с надеждой оглядываться на Москву, то феодальная Москва отнюдь не склонна была потворствовать низшим классам — и старалась ассимилировать с собою те элементы новгородского общества, которые носили наиболее ярко выраженный феодальный характер».

---

[1] *М. Н. Покровский*, Русская история с древнейших времен, т. I, стр. 212.

[2] Там же, стр. 230.

[3] Там же, стр. 221, 252.

[4] Там же, стр. 221, 238.

[5] Там же, стр. 216.

Касаясь вопроса о присоединении к Москве Пскова, М. Н. Покровский пишет: «смерды стали теперь крепостными» «московского государя», «как раньше они были крепостными вечевой общины»[1].

В «Очерке истории русской культуры» М. Н. Покровский в гораздо меньшей степени останавливается на конкретных явлениях процесса образования Русского централизованного государства, чем в «Русской истории с древнейших времен». Автор в большей мере оперирует здесь социологическими формулами. Предпосылкой образования централизованного государства на Руси является, по мнению М. Н. Покровского, рост рыночных связей. «Для страны, разбитой на сеть мелких городских округов, экономически самостоятельных, централизованное управление не было необходимостью»[2]. Подходя к проблеме рынка как к проблеме обмена, а не производства, М. Н. Покровский выдвигает два понятия: «городское хозяйство» (термин немецкого буржуазного экономиста К. Бюхера) и «торговый капитализм», применяя первое к экономике периода феодальной раздробленности, второе — к экономике периода образования единого государства. «Старые «удельные княжества»... вполне удовлетворяли политическим потребностям «городского хозяйства»... Стольный город такого княжества был местным узловым торговым пунктом — крупнейшим местным рынком». То обстоятельство, что «сеть таких пунктов к началу XIV в. подпала власти Москвы», «было одним из характернейших признаков надвигающегося *торгового капитализма*»[3].

В то же время М. Н. Покровский дает и следующую периодизацию экономического развития России до XVII в:. 1) X—XV века— это период «семейно-племенного хозяйства»; 2) XVI—XVII века— время «докапиталистического ремесленного индивидуализма». С XVII в., по М. Н. Покровскому, наступает период торгового капитализма[4].

Появление в XV—XVI вв. на Руси «нового общественного класса, *ремесленников*», пишет М. Н. Покровский, вызвало спрос на товарный хлеб[5], дало толчок развитию земледелия, определило смену подсечной системы земледелия трехпольной. Переход к более совершенной сельскохозяйственной технике усиливал потребность землевладельцев в рабочих руках. Поэтому происходило закрепощение крестьян — процесс, новый толчок которому был дан укреплением среднего дворянского поместного землевладения. «В основе двух крупнейших социальных переворотов XVI века, смены боярства дворянством и закрепощения крестьян, лежит, таким образом, про-

---

[1] *М. Н. Покровский*, Русская история с древнейших времен, т. 1, стр. 230, 238.

[2] *М. Н. Покровский*, Очерк истории русской культуры, ч. 1, изд. 5, Пг., 1923, стр. 193.

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 35.

[5] Там же, стр. 64.

гресс сельскохозяйственной техники — переход к более интенсивной культуре земли»[1].

В связи со всем вышеизложенным характерно, что только к XVI в. М. Н. Покровский относит оформление «общественных классов», вызванное «*дифференциацией* населения». «*Первым* общественным классом в истории» М. Н. Покровский считает ремесленников[2].

Концепция социально-экономического развития России, предложенная М. Н. Покровским, надумана. Она построена на базе буржуазной методологии, в ее основу не положены наблюдения, касающиеся развития способа производства. Отсюда — введение в арсенал исторического исследования искусственных категорий. Отсюда — ряд противоречий этой концепции конкретным историческим фактам. Но важна была самая попытка вскрыть экономические причины образования единого государства, интересны были и многие верные наблюдения автора (например, о связи развития крепостничества с распространением поместной системы), теоретически, однако, неправильно объясненные.

К буржуазной историографии (Н. П. Павлов-Сильванский) восходит и тезис М. Н. Покровского о «крушении феодальных порядков» с образованием единого государства, о том, что в России в XIV в. закончилось «*политическое* существование» феодального строя[3].

Очень популярно рисует М. Н. Покровский процесс складывания Русского централизованного государства в своей книге «Русская история в самом сжатом очерке». В лаконичной формуле он определяет этот процесс (неплохо схватывая его суть) как образование «*феодальной монархии* (единодержавия)» из «феодального хаоса». Определение М. Н. Покровским тех сил, которые служили опорой московской великокняжеской власти в ее политике, было односторонне и неверно. «Московский князь,— пишет автор,— опирался, с одной стороны, на свое богатство, с другой — на татар, с третьей— на поддержку церкви...»[4] Здесь отсутствует указание на те слои феодалов, которые являлись сторонниками политической централизации, здесь повторяется старое ошибочное представление М. Н. Покровского (восходящее к буржуазной историографии) о татаро-монгольском иге, как факторе, способствовавшем политическому возвышению Москвы. Далее автор подчеркивает, что «экономической причиной» образования «огромного Московского царства» явилось зарождение городской буржуазии. Московская буржуазия «очень завидовала» новгородской и вела с ней борьбу. После того как московская буржуазия одержала победу в этой борьбе и сделалась «полной хозяйкой в деле торговли на всем пространстве тогдашней русской земли», Москва стала «действительной столицей

---

[1] *М. Н. Покровский*, Очерк истории русской культуры, ч. 1, стр. 61.
[2] Там же, стр. 64, 179.
[3] Там же, стр. 192—193.
[4] *М. Н. Покровский*, Русская история в самом сжатом очерке, М., 1932, стр. 31, 33.

всей Руси»[1]. Указание на роль буржуазии в складывании централизованного государства противоречит характеристике его самим же М. Н. Покровским как феодальной монархии.

Уже незадолго до своей смерти М. Н. Покровский пересмотрел в печати некоторые свои ошибочные теоретические положения, отразившиеся и на его концепции складывания Русского централизованного государства. Он отметил, что марксист должен подходить к феодализму, как к общественно-экономической формации, характеризующейся «определенными методами производства», интересуясь и феодальной «*политической системой*», «формой государства»[2]. Однако сущности феодальных производственных отношений, характера взаимоотношения феодального базиса и надстройки М. Н. Покровский не раскрыл. Отказался М. Н. Покровский и от понятия «торговый *капитализм*», назвав его «безграмотным», поскольку «капитализм есть система *производства*, а торговый капитал ничего не производит»[3]. В то же время он подчеркнул, что «наличность феодализма как общественно-экономической формации не *исключает* возможность товарного хозяйства в какой бы то ни было мере»[4]. Вопрос о роли товарного производства в экономике феодализма остался невыясненным.

Ошибочные взгляды М. Н. Покровского получили довольно широкое распространение среди его учеников и последователей и были (уже после его смерти) в 1934 г. осуждены в известном постановлении Коммунистической партии и Советского правительства «О преподавании гражданской истории в школах СССР».

§ 10. Советская историография

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новый период в развитии исторической науки на прочной базе марксистско-ленинской теории. Однако становление марксистско-ленинской науки в борьбе с буржуазными концепциями происходило не сразу. До конца 30-х годов XX в. в марксистской историографии проблема образования централизованного государства по существу отсутствовала. Господствующей являлась точка зрения на образование единого государства на Руси, развитая в работах М. Н. Покровского. По отдельным конкретным вопросам указанной темы появились работы, содержавшие и новый материал, и свежие мысли, но в большинстве своем написанные не с позиции марксистской методологии.

В книге М. К. Любавского поставлен вопрос о складывании на протяжении XIV—первой половины XVI в. территории Русского

---

[1] *М. Н. Покровский*, Русская история в самом сжатом очерке, стр. 34, 35, 37, 38.

[2] Там же, стр. 496.

[3] Там же, стр. 493.

[4] Там же, стр. 447.

централизованного государства (автор употребляет термин «Московское государство»), выяснении времени и обстоятельств присоединения к Москве отдельных земель и установлении входящих в состав этих земель населенных пунктов (с указанием местоположения, происхождения таковых и их характеристикой в экономическом и политическом отношениях). М. К. Любавский упрекает (и не без основания) А. Е. Преснякова за то, что он, «сосредоточив в своей монографии о Великорусском государстве внимание преимущественно на внутренней эволюции великокняжеской власти и междукняжеских отношениях в эпоху собирания Северо-Восточной Руси вокруг Москвы», не остановился в достаточной мере на том «материальном фундаменте», на котором «созидалась новая государственная власть Великороссии»[1]. Под этим «материальным фундаментом» М. К. Любавский, употребляя несколько расплывчатые и глухие формулировки, подразумевает «народнохозяйственные и военно-политические факторы совершавшегося объединения». По существу речь идет о границах, природных ресурсах, населенности (с выяснением процесса колонизации), хозяйственном и военно-стратегическом значении отдельных областей, входивших постепенно в состав единого Русского государства. Монография М. К. Любавского — это исследование прежде всего по исторической географии Северо-Восточной Руси XIV— первой половины XVI в., и в этом его ценность. Автор использовал богатый актовый материал и на его основе составил детальную карту «великорусского центра» к середине XVI в.

Но если конкретные данные в книге М. К. Любавского представляют значительный интерес, то теоретические основы его исследования находятся в плоскости буржуазной методологии. Преодоление политической раздробленности Руси он рассматривает как историю «примыслов» московских князей[2]. Политика московских князей, направленная на получение великого владимирского княжения, объясняется М. К. Любавским «подъемом» у них «самочувствия, сознания своей силы и мощи...»[3]. Возникновение сел он объясняет инициативой князей, бояр, детей боярских, княжеских дворовых слуг, или дворян, монастырей[4]. Но труд народа остался незамеченным М. К. Любавским. В его изображении народные массы выступают только пассивной силой. «После того, как прекратился «пополох», произведенный на Руси татарами,—пишет автор,— дальнейшая внутренняя колонизация... территории производилась уже преимущественно под руководством земельных владельцев— князей, бояр, церковных учреждений». Лишенные «крова, скота, хлеба и земледельческих орудий», крестьяне были вынуждены

---

[1] *М. К. Любавский,* Образование основной государственной территории великорусской народности. Заселение и объединение центра, Л., 1929.
[2] Там же, стр. 30, 47, 80 и др.
[3] Там же, стр. 49.
[4] Там же, стр. 16, 17.

«подсаживаться к тому, у кого имелись хозяйственные средства—постройки, скот, орудия, семена»[1].

Труд С. Б. Веселовского: «К вопросу о происхождении вотчинного режима» посвящен землевладельческому иммунитету (судебному и податному) XIV—XVI вв. На основании большого материала (частично заново введенного в научный оборот) С. Б. Веселовский нарисовал яркую картину тех привилегий, которыми пользовались землевладельцы в период складывания на Руси единого государства. В то же время С. Б. Веселовский выдвинул неверный тезис о том, что источником иммунитета является княжеское пожалование[2], тогда как в действительности князья иногда лишь фиксировали в своих грамотах и утверждали (а иногда реформировали) те отношения, которые сложились независимо от них в результате роста крупного феодального землевладения и обращения ранее свободного крестьянства в зависимость от земельных собственников. На эту ошибку автора обратил внимание и подверг ее критике А. Е. Пресняков[3].

И С. Б. Веселовский, и А. Е. Пресняков связывали изменения в области иммунитета с процессом ликвидации политической раздробленности на Руси. Оба они говорили о широком распространении в это время иммунитетных привилегий на новых великокняжеских слуг — дворян. Но С. Б. Веселовский подходил к указанному вопросу формально-юридически, отмечая «нивелирующую политику» московских великих князей, которые «систематически принижали верхи служилого класса, покровительствовали низам, и в отношениях ко всем служилым людям стремились провести вместо прежних личных отношений безличные общие шаблоны»[4]. Что касается А. Е. Преснякова, то он правильно предлагал связать изменения в области иммунитета в период образования Русского централизованного государства с «подъемом значения и силы нового общественного слоя»—«служилого лица», «пришедшего на смену «старому» феодальному боярству» и занявшего «господствующее положение в народнохозяйственной жизни в формах крепостного хозяйства и крепостного права, и во всех областях общественной и государственной жизни в формах нарождавшейся дворянской сословности». Однако ни С. Б. Веселовский, ни А. Е. Пресняков не раскрыли классовой сущности иммунитета.

В другой книге С. Б. Веселовского—«Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв.» рассматривается эволюция форм поселений на протяжении этих двух столетий. Параллельно автор

---

[1] *М. К. Любавский*, указ. соч., стр. 13.

[2] *С. Б. Веселовский*, К вопросу о происхождении вотчинного режима, М., 1926, стр. 31.

[3] *А. Е. Пресняков*, Вотчинный режим и крестьянская крепость. (По поводу книги С. Б. Веселовского: «К вопросу о происхождении вотчинного режима»).—«Летопись Постоянной Историко-Археографической комиссии за 1926 г.», вып. I/34, Л., 1927, стр. 174—192.

[4] *С. Б. Веселовский*, К вопросу о происхождении вотчинного режима, стр. 192.

подымает вопросы истории тягла и земельных описаний в связи с ростом крестьянского закрепощения. Значительная часть книги посвящена конкретному показу различных типов земельных владений и видов поселений на землях монастырей, митрополичьей кафедры, светских вотчинников, построенному на большом новом актовом материале, часто впервые введенном С. Б. Веселовским (он был одним из инициаторов обследования монастырских фондов) в научный оборот. Основным выводом, который делает автор в результате обобщения имевшихся в его распоряжении данных, является вывод об укрупнении со второй половины XV в. селений не только в результате естественного прироста населения, но и в результате политики землевладельческого класса[1]. Заслуживает внимания и другое наблюдение автора, вошедшее в советскую историческую науку,—о возникновении во второй половине XV в. сельских торгово-ремесленных поселений[2]. Наконец, очень важны наблюдения относительно исчезновения в XVI в. мелких земельных собственников, близких к крестьянам[3].

Несомненно, что книга С. Б. Веселовского дает много полезного для изучения и экономических предпосылок образования Русского централизованного государства (преимущественно в сфере аграрных отношений), и для экономической политики господствующего класса.

Но написана книга с позиций буржуазной методологии. Автор вообще отрешается от проблемы феодализма и феодального землевладения, хотя изредка и употребляет терминологию: «феодальная Русь», «феодальный строй», «феодальные отношения», «северо-восточный феодализм»[4] и т. д. С. Б. Веселовский возражает против тезиса марксистской историографии о развитии частной земельной собственности в результате ломки общинных отношений, с известной иронией говоря о «сторонниках исконности и универсальности земельной общины»[5]. Не раскрывая характера феодальной системы производственных отношений, С. Б. Веселовский усматривает главную линию развития землевладения в Северо-Восточной Руси XV—XVI вв. в смене «сотен мелких деревень-хуторов» укрупненными селениями и в изменении состава населения деревень: вместо свободного «предприимчивого и энергичного пионера сельскохозяйственной культуры» появляется «закрепощенный бобыль, иногда бездомный и монастырский детеныш-полухолоп»[6]. Автор не выясняет классового смысла крестьянского закрепощения, находя почву для него в податной ответственности землевладельцев

---

[1] *С. Б. Веселовский*, Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв. Историко-социологическое исследование о типах внегородских поселений, М.—Л., 1936, стр. 131, 30.

[2] Там же, стр. 24—25.

[3] Там же, стр. 56.

[4] Там же, стр. 33, 56, 57, 63.

[5] Там же, стр. 107.

[6] Там же, стр. 91.

за своих крестьян[1]. Не показывая сущности классовой борьбы между феодалами и крестьянами, говоря лишь об антагонизме между ними, С. Б. Веселовский приравнивает «отказ» крестьянина от монастыря и переход его «в черную» волость, как форму проявления этого антагонизма, к «отъездам с землей мелких княжат и бояр под власть и покровительство более сильных князей»[2].

В ряде работ 30-х годов XX в. уже применялась марксистская методология. Н. Н. Воронин в своем исследовании поставил задачей рассмотреть различные формы поселения на Руси (город, городище, погост, «слобода», село, деревня, замок) в их развитии с XII до XVI в. включительно, в связи с процессом феодализации. Из книги Н. Н. Воронина можно почерпнуть ряд интересных наблюдений, относящихся к экономике и социальному строю времени складывания Русского централизованного государства XIV—XV вв. (например, отражение эволюции социально-экономических явлений в изменении значения терминов «село» и «деревня»). Недостатком работы Н. Н. Воронина является прежде всего очень слабое использование актового материала. Автор оперирует преимущественно иллюстративным методом. С другой стороны, бросается в глаза склонность автора к схематизации процесса развития и изменения сельских поселений, о чем он, впрочем, и сам предупреждает читателя[3].

Наряду с историей русской деревни была поставлена проблема развития города. В исследовании В. Е. Сыроечковского[4] собран и обработан богатый материал, относящийся к внешней торговле Руси (и прежде всего Москвы) в XIV—XVI вв. с Югом и Юго-Востоком, поставлен вопрос о формировании московского купечества, о его социальной природе. В. Е. Сыроечковский считает, что гости-сурожане (крупные московские купцы, торговавшие с Сурожем и итальянскими колониями Причерноморья), а также суконники—это прежде всего горожане, «буржуа», обладавшие денежными капиталами; но владение вотчинами с зависимым населением придавало им «подлинные черты феодала» и ставило их «на грань феодальных элементов общества»[5]. Очень важны наблюдения автора о связях крупного купечества с придворной и приказной дьяческой средой, об участии в торговле феодальной знати через купцов и непосредственно. В. Е. Сыроечковский рисует типичные черты «средневековой» торговли феодальной эпохи—наличие складничества и т. д.[6]

В. Е. Сыроечковский затрагивает и проблему образования Русского централизованного государства (он говорит о «Московском

---

[1] *С. Б. Веселовский*, Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв., стр. 73.

[2] Там же, стр. 87.

[3] *Н. Н. Воронин*, К истории сельского поселения феодальной Руси, Л., 1935, стр. 58.

[4] *В. Е. Сыроечковский*, Гости-сурожане, М.—Л., 1935.

[5] Там же, стр. 35.

[6] Там же, стр. 75, 95, 123.

государстве»). Автор подчеркивает, что торговля Русского государства на рубеже XV и XVI вв. «не являлась продолжением и развитием торговли только Московского княжества. Она складывалась из нескольких слагаемых, представляла собою несколько течений, не успевших слиться в единый поток»[1]. «Как само Московское государство в языке дипломатических документов состояло из отдельных земель, так и общая масса купечества делилась на гостей московской, тверской, новгородской и псковской земель»[2]. Здесь правильно подчеркивается отсутствие экономического единства и единой экономической политики, наличие сильной хозяйственной и даже политической раздробленности уже тогда, когда было создано Русское государство.

Заслуживает внимания указание автора на то, что с образованием централизованной монархии на Руси кадры «чиновников» (дьяков) формировались, как и в Западной Европе, и из купечества («буржуа»)[3].

Хотя в книге В. Е. Сыроечковского отсутствует постановка ряда проблем (о процессе общественного разделения труда, о товарном производстве) и несмотря на нечеткость отдельных формулировок, на некоторую неясность освещения вопроса о роли города XIV—XV вв. в общей системе феодальных производственных отношений, на необоснованное утверждение о наличии в русских городах в это время буржуазных элементов, книга представляет собой ценное исследование, помогающее уяснению экономических предпосылок создания Русского централизованного государства.

Рубеж 30—40-х годов XX в. явился важнейшей гранью в становлении марксистско-ленинской исторической науки. В 1934—1936 гг. состоялись известные решения Партии и Советского правительства по вопросам исторической науки. В них было указано на необходимость отказа от отвлеченных социологических схем при изучении истории, на необходимость строить разбор и обобщение исторических событий на основе конкретного исторического материала[4]. Подъему исторической науки способствовала критика ошибочных положений М. Н. Покровского.

В 1939—1940 гг. Институт истории Академии наук СССР выпустил сборник статей[5], посвященный разбору неправильных теоретических взглядов М. Н. Покровского, приведших его к серьезным ошибкам в освещении целого ряда вопросов русской истории. Не ограничиваясь одной критикой взглядов М. Н. Покровского, авторы статей сделали попытку противопоставить его концепции свое понимание отдельных исторических явлений, в том числе и процесса образова-

---

[1] *В. Е. Сыроечковский*, Гости-сурожане, стр. 42.
[2] Там же, стр. 43.
[3] Там же, стр. 95.
[4] «К изучению истории», 1936, стр. 18.
[5] «Против исторической концепции М. Н. Покровского», Сб. статей, ч. 1, М.—Л., 1939; «Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского», Сб. статей, ч. 2, М.—Л, 1940.

ния Русского централизованного государства. Последний вопрос затрагивается в той или иной мере в статьях С. В. Бахрушина[1], К. В. Базилевича[2], С. В. Юшкова[3], А. Н. Насонова[4]. При этом в основу решения проблемы складывания Русского централизованного государства (экономические предпосылки и движущие социальные силы этого процесса, политическая форма единого государства и т. д.) авторами статей были положены указания Маркса и Энгельса по вопросу о возникновении в эпоху позднего средневековья объединенных национальных государств в Западной Европе. К. В. Базилевич наиболее четко формулировал проблему в целом: «Объединение мелких феодальных государств в одно политическое целое было вызвано развитием производительных сил внутри феодального общества. Основными социальными силами в этом процессе выступают торгово-ремесленное население городов и землевладельческое дворянство, которое находило в королевской власти опору для борьбы с крупными сеньерами. Объединенное феодальное государство могло сложиться только в «монархической форме», так как усиление королевской власти происходило одновременно с ослаблением власти ее вассалов, являвшихся раньше в своих владениях почти независимыми государями. Образование национального государства поднимало феодальное общество на более высокую ступень общественно-экономического и политического развития»[5].

Конечно, обращение к трудам основоположников марксизма являлось условием дальнейшей правильной теоретической разработки проблемы возникновения и развития Русского централизованного государства. Но необходимо было, исходя из выводов Маркса и Энгельса, построенных на материале западноевропейского средневековья, творчески разработать данную проблему применительно к конкретным условиям исторического развития России. Это, само собою разумеется, не могло быть сделано в рассматриваемом сборнике статей, ставившем перед собой задачи чисто критического порядка (пересмотр точек зрения М. Н. Покровского). Но и в области постановки проблемы в сборнике была допущена некоторая нечеткость. Справедливо указав на важность для изучения социально-экономического развития России высказывания В. И. Ленина о складывании, примерно с XVII в., национальных

---

[1] *С. В. Бахрушин*, «Феодальный порядок» в понимании М. Н. Покровского («Научные труды», т. II, М., 1954, стр. 154—173).

[2] *К. В. Базилевич*, «Торговый капитализм и генезис московского самодержавия» в работах М. Н. Покровского («Против исторической концепции М. Н. Покровского», ч. 1, стр. 140—178).

[3] *С. В. Юшков*, М. Н. Покровский о раннем периоде русского феодализма («Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского», ч. 2, стр. 25—58).

[4] *А. Н. Насонов*, Татарское иго на Руси в освещении М. Н. Покровского («Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского», ч. 2, стр. 59—90).

[5] *К. В. Базилевич*, «Торговый капитализм и генезис московского самодержавия» в работах М. Н. Покровского, стр. 143.

связей в процессе формирования всероссийского рынка и сопоставив это высказывание с работой Энгельса, С. В. Бахрушин перенес его на весь процесс образования Русского централизованного государства (хотя В. И. Ленин имел в виду завершающий этап этого процесса—переход к абсолютизму). Отсюда С. В. Бахрушин сделал общий неверный вывод о том, что создание национальных государств (по контексту в его понимании этот термин совпадает с термином «единое», т. е. централизованное государство) всегда связано с развитием «буржуазных отношений»[1]. Это положение, конечно, неприменимо к истории России XV—XVI вв.

В ряде статей разбираемого сборника на конкретном материале раскрыт тезис И. В. Сталина о роли внешней опасности, хорошо показано, что это государство складывалось не при содействии Золотой орды, а в борьбе с ней. Но в связи с этим допущена известная переоценка единства интересов населения в поддержке великокняжеской власти, стремившейся к преодолению политической раздробленности. Вряд ли можно безоговорочно согласиться с С. В. Бахрушиным о том, что «в борьбе за объединение феодально-раздробленной страны великий князь—«глава феодального порядка»—опирался не только на узкий круг феодалов, но и на широкие народные массы...»[2]. Здесь односторонне подчеркнуто растущее национальное единство, но совсем опущен момент усиления классовых противоречий.

Но в целом вопрос о классовой природе Русского централизованного государства нашел правильную оценку в статьях Сборника. С. В. Бахрушин подчеркнул, что «сильное феодальное государство» обеспечивало господствующему классу «более широкие возможности эксплоатации» крестьянства[3]. Точно так же С. В. Юшков говорит об усилении крепостничества в период создания Русского централизованного государства[4].

В Сборнике поставлен вопрос о связи процессов образования централизованного государства и складывания русской (великорусской) народности[5].

Марксистская концепция образования Русского централизованного государства изложена в первом томе вузовского учебника «Истории СССР». Автор соответствующего раздела учебника (К. В. Базилевич) называет три причины образования Русского централизованного государства. Во-первых, «экономическое развитие русских земель, выразившееся в появлении общественного разделения труда и товарного обращения, в силу чего усиливались экономи-

---

[1] *С. В. Бахрушин*, «Феодальный порядок» в понимании М. Н. Покровского, стр. 173.

[2] Там же, стр. 170.

[3] Там же, стр. 169.

[4] *С. В. Юшков*, М. Н. Покровский о раннем периоде русского феодализма, стр. 54.

[5] *К. В. Базилевич*, «Торговый капитализм и генезис московского самодержавия» в работах М. Н. Покровского, стр. 146.

ческие связи между отдельными городами и землями»; во-вторых, «классовая заинтересованность феодальных земельных собственников в создании сильной верховной власти, способной подавить сопротивление крестьян»; в-третьих, «политические условия, требовавшие образования централизованного государства для борьбы с внешней опасностью»[1]. В целом эти причины намечены верно, хотя ряд формулировок и вызывает возражения. Вряд ли можно говорить лишь о появлении общественного разделения труда и товарного обращения во второй половине XV в. (при Иване III), когда, согласно концепции учебника, образовалось централизованное государство. Вряд ли также правомерно борьбу с внешней опасностью, как момент, ускоривший создание централизованного государства на Руси, ставить в одном ряду с социально-экономическими причинами, обусловившими этот процесс.

Вызывает некоторые возражения то обстоятельство, что в учебнике процесс объединения русских земель в XIV—первой половине XV в. оторван от процесса образования централизованного государства во второй половине XV в. Правильно, что «социально-экономические и политические условия, вызвавшие усиление Московского княжества в XIV в., не были еще условиями, необходимыми для создания централизованного государства», что такие условия сложились во второй половине XV в.[2] Однако, с другой стороны, следует отметить, что с политическим объединением Северо-Восточной Руси постепенно нарастали и предпосылки централизованного государственного аппарата. И если действительно история Руси XIV—первой половины XV в. протекала в рамках политической раздробленности, а создание централизованного государства при Иване III надо рассматривать как переломный момент в политической жизни страны, то этот перелом был подготовлен ее развитием начиная с XIV в.

Несколько дробна и не вполне убедительна и дальнейшая периодизация истории Русского централизованного государства, данная в учебнике: «Образование Русского государства при Иване III», «Усиление Русского государства при Василии III», «Начало превращения Русского государства в многонациональное централизованное государство в XVI в.»[3]. Исторические данные позволяют говорить о существовании на Руси с конца XV в. не политической раздробленности, а централизованного государства, но государственная централизация в это время еще далеко не была завершена. Процесс ее завершения падает уже на XVI столетие.

Основные мысли по поводу процесса формирования Русского централизованного государства, изложенные в соответствующих

---

[1] «История СССР», т. I, С древнейших времен до конца XVIII в., под ред. В. И. Лебедева, Б. Д. Грекова, С. В. Бахрушина, М., 1939, стр. 301; 2 изд.—1947 г.

[2] Там же, стр. 221.

[3] Там же, стр. 221, 299, 334.

главах учебника «Истории СССР» К. В. Базилевичем, нашли отражение и в курсе лекций, который он читал в Высшей Партийной Школе при ЦК ВКП(б)[1].

Автор проводит здесь заслуживающую внимания мысль, что образованию Русского централизованного государства предшествовала в первой половине XV в. «феодальная концентрация», выразившаяся в усилении власти великих князей в ряде крупных княжеств[2]. Возникновение централизованного государства на Руси К. В. Базилевич считает «наиболее значительным» событием европейской международной жизни второй половины XV в. «В истории средневековой Европы,—пишет К. В. Базилевич,—нельзя найти другого примера столь быстрого сложения могущественной державы народом, который около двух с половиной веков разорялся княжескими усобицами и терпел страшные притеснения от иноземных завоевателей»[3]. Но в лекциях К. В. Базилевича недостаточно раскрыта специфика тех условий, в которых складывалось Русское централизованное государство (сравнительно с условиями, в которых происходили аналогичные процессы в западноевропейских странах)[4].

Первой работой, специально посвященной образованию Русского централизованного государства, была небольшая по объему популярная книга В. В. Мавродина[5]. Причинами объединения русских земель в XIV—первой половине XV в. автор считает потребность борьбы с татаро-монгольским игом и с иноземными захватчиками, наступавшими на Русь с Запада[6], а также «рост феодального землевладения,—настоятельно диктовавшего создание сильной власти, способной держать в повиновении народные массы, и ослабление экономической обособленности феодальных княжеств, обусловленное ростом общественного разделения труда, усилением экономического общения между городами и отдельными областями древней Руси...»[7] В. В. Мавродин останавливается и на процессе формирования великорусской народности как предпосылке ликвидации политической раздробленности[8]. Образование Русского

---

[1] *К. В. Базилевич* и *Г. А. Новицкий*, История СССР от древнейших времен до конца XVIII века. Учебное пособие для слушателей ВПШ при ЦК ВКП(б), ч. I, М., 1946, стр. 204—265, 278—317.

[2] Там же, стр. 243.

[3] Там же, стр. 280.

[4] Проблема образования Русского централизованного государства затрагивается в общих курсах П. И. Лященко («История народного хозяйства СССР», т. 1, М., 19.7; изд. 2—1950 г.; изд. 3—1952 г.; изд. 4—1956 г.) и С. В. Юшкова («История государства и права СССР», ч. 1, М., 1940; изд. 2—1947 г.; изд. 3—1950 г.).

[5] *В. В. Мавродин*, Образование Русского национального государства, Л.—М., 1939; 2 изд.—1941 г.; *его же*, Образование единого Русского государства, Л., 1951.

[6] *В. В. Мавродин*, Образование Русского национального государства, стр. 12—26.

[7] Там же, стр. 30—31.

[8] Там же, стр. 34.

национального государства, подготовленное «экономически, политически и идеологически» предшествующим развитием Руси[1], В. В. Мавродин относит ко второй половине XV в.

В труде Мавродина (1939) возражения вызывает выделение предпосылок двух как бы разных процессов—объединения русских земель и образования централизованного государства. В действительности это—два этапа единого процесса. Ведь сам автор в обоих случаях говорит об одних и тех же явлениях, только на разных стадиях развития. Неправомерно и выдвижение на первый план внешнеполитических, а на второй—внутренних предпосылок образования централизованного государства.

В 1946 г. в журнале «Вопросы истории» была напечатана статья П. П. Смирнова «Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв.»[2]. Опубликование этой статьи открыло дискуссию, заострившую внимание исследователей на данной проблеме. Подвергнув критике работы дореволюционных и советских историков, П. П. Смирнов пришел к печальному выводу о том, что советские ученые «не сумели отойти от традиционного дворянско-буржуазного понимания... природы и развития» централизованного государства[3], советская историография, не создав марксистско-ленинской концепции по этому вопросу, довольствуется «кое-как подправленными устарелыми представлениями ученых XIX столетия»[4]. Обвиняя советских историков, писавших об образовании Русского централизованного государства, в эклектизме[5], П. П. Смирнов предлагает собственное, якобы «монистическое», решение проблемы «об условиях, причинах и процессе образования Русского национального государства»[6]. Исходя из предпосылки, что «решающим фактором в развитии общества является... развитие производительных сил, проявляющееся обычно в изменении техники производства ведущей отрасли народного хозяйства»[7], П. П. Смирнов ищет первопричину образования централизованного государства в изменениях в области техники земледелия. П. П. Смирнов обращает внимание на то, что в русском переводе «земледельческого закона»—византийского юридического памятника VII—VIII вв., датируемом им (вслед за А. С. Павловым) временем Ивана Калиты, упоминается «лемеш» (рабочая часть плуга). Отсюда он делает вывод, что «появление лемеша... в хозяйственном инвентаре Северо-Восточной Руси XIV в. означало переход сельскохозяйственной техники на новый, высший этап развития...», именно «переход от подсечной переложной системы хлебопашества к системе

---

[1] *В. В. Мавродин*, Образование Русского национального государства, стр. 134.

[2] *П. П. Смирнов*, Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв. («Вопросы истории», 1946, № 2—3, стр. 55—90).

[3] Там же, стр. 60.

[4] Там же, стр. 70.

[5] Там же, стр. 66.

[6] Там же, стр. 71.

[7] Там же, стр. 70.

паровой зерновой с трехпольным севооборотом...»[1]. В связи с этим увеличивалось производство хлеба, росла и торговля им.

Развитие производительных сил вызвало изменения в производственных отношениях. Наряду с крупными феодалами (князьями, боярами, церковью) стали укрепляться средние и мелкие землевладельцы (дети боярские, дворяне). С другой стороны, из среды крестьянства выделяются ремесленники, «сосредоточием которых становятся великокняжеские города и слободы, где возникают рынки внутреннего обмена»[2]. Таким образом, два основных класса феодального общества (феодалы и крестьяне) «раскалывались каждый на две борющиеся между собою группы или подклассы», причем в происходившей внутриклассовой борьбе «преимущества были на стороне вновь возникающей части: мелкие феодалы-дворяне одерживали верх над крупными боярами и церковью, а горожане—посадские люди—над крестьянством, из недр которого они были рождены дыханием новой жизни». Русское централизованное государство и явилось, по П. П. Смирнову, государством дворянства и горожан[3].

Русское государство, пишет П. П. Смирнов, зародилось «среди лесных росчистей московского центра и прилегающего к нему «ополья», его основания были заложены упорным трудом русских крестьян и ролейных холопов, удесятеривших производительность своих полей, а вместе с тем и всего современного общества, применением плуга и трехполья»[4].

В дискуссии по вопросам о причинах образования Русского централизованного государства приняли участие И. И. Смирнов[5], В. В. Мавродин[6], С. В. Юшков[7], К. В. Базилевич[8].

Работа П. П. Смирнова подверглась серьезной критике. Были отмечены неверные оценки П. П. Смирновым предшествующей историографии вопроса, неправильность его исходных методологических предпосылок и неубедительность ряда аргументов, приводимых автором в защиту главнейших конкретных положений своей статьи.

---

[1] *П. П. Смирнов*, Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв., стр. 77.

[2] Там же, стр. 81, 82.

[3] Там же, стр. 85.

[4] Там же, стр. 89.

[5] *И. И. Смирнов*, О путях исследования Русского централизованного государства. (По поводу статьи проф. П. П. Смирнова).—«Вопросы истории», 1946, № 4, стр. 30—44.

[6] *В. В. Мавродин*, Несколько замечаний по поводу статьи П. П. Смирнова «Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв.» («Вопросы истории», 1946, № 4, стр. 45—54).

[7] *С. В. Юшков*, К вопросу об образовании Русского государства в XIV—XV веках. (По поводу статьи проф. П. П. Смирнова).—«Вопросы истории», 1946, № 4, стр. 55—67.

[8] *К. В. Базилевич*, К вопросу об исторических условиях образования Русского государства. (По поводу статьи проф. П. П. Смирнова).—«Вопросы истории», 1946, № 7, стр. 26—44.

Историографическая часть работы П. П. Смирнова страдает нигилистическим отношением как к дореволюционной, так, особенно, к советской литературе. Совершенно лишено основания отрицание П. П. Смирновым принципиальной разницы между концепциями буржуазных и советских историков.

Теоретическая слабость статьи П. П. Смирнова заключается в вульгарно-упрощенном понимании монистического характера исторического материализма. Марксистское положение о том, что изменения в жизни общества начинаются с развития производительных сил, П. П. Смирнов неправильно воспринял в качестве указания на производительные силы (сведенные им только к технике земледелия) как на фактор, объясняющий все стороны процесса образования Русского централизованного государства. Отсюда—упрощенно-механистический подход к проблемам взаимосвязи производительных сил и производственных отношений, взаимодействия базиса и надстройки, в том числе обратного влияния надстройки на базис. Бросается в глаза игнорирование П. П. Смирновым тех процессов, которые определяли развитие городов и экономических связей в стране (рост ремесла, его технический уровень и социальная природа, развитие общественного разделения труда и т. д.). Неверно трактуются П. П. Смирновым те основные социальные антагонизмы, которые были связаны с процессом образования Русского централизованного государства. Нельзя принять тезис П. П. Смирнова о «расколе» под влиянием новой техники сельского хозяйства как класса феодалов, так и класса крестьян на антагонистические группы. Характерно, что главное внимание автора приковывает не классовая борьба феодалов и крестьян, а социальные противоречия внутри этих классов, между «подклассами» бояр и дворян с одной стороны, и посадских людей и крестьян—с другой (в то время как посадские люди, напротив, часто выступали вместе с крестьянами в борьбе против феодального гнета). Нельзя также недооценивать (как это делает П. П. Смирнов) и таких факторов, содействовавших образованию Русского централизованного государства, как необходимость борьбы с внешней опасностью и рост национального самосознания в связи с формированием русской народности.

Концепция образования Русского централизованного государства, предложенная П. П. Смирновым, не выдерживает проверки и с точки зрения правильности положенного в ее основу фактического материала. Главный тезис П. П. Смирнова, на котором воздвигнуто все его построение,—о появлении в Московском княжестве в первой половине XIV в. новой сельскохозяйственной техники—основан на шаткой и произвольной предпосылке о том, что переводный византийский памятник VII—VIII вв. отражает русскую экономическую действительность XIV в. (при этом спорен вопрос и о времени перевода). Цепь рассуждений П. П. Смирнова об изобретении при Иване Калите нового плуга, о переходе к трехполью, о повышении в связи с этим доходности сельского хозяй-

ства в Московском княжестве не имеет под собой твердой почвы исторических фактов.

Но статья П. П. Смирнова имела и положительное значение, ибо она обратила внимание исследователей на наименее изученную сторону процесса образования Русского централизованного государства—на его экономические предпосылки и особенно на развитие сельского хозяйства.

Что касается научной дискуссии, развернувшейся в связи со статьей П. П. Смирнова, то она шла преимущественно в направлении критики выдвинутых им положений, а не творческой постановки новых проблем. Значение дискуссии заключается больше всего в том, что она показала настоятельную необходимость глубокого монографического изучения на конкретном материале проблемы образования Русского централизованного государства. Во время дискуссии выявились разногласия по вопросу о хронологических рамках и периодизации процесса образования Русского централизованного государства. С. В. Юшков предлагал начинать этот процесс с первой половины XIV в., другие исследователи (К. В. Базилевич, И. И. Смирнов и др.)—позднее; одни авторы видели его завершение в конце XV—начале XVI в. (К. В. Базилевич, В. В. Мавродин), другие (С. В. Юшков)—во второй половине XVI в.[1] В итоговой статье редакционная коллегия журнала «Вопросы истории» вместо творческого обобщения материалов дискуссии приняла безапелляционный директивный тон, не способствующий дальнейшему глубокому изучению данной проблемы[2].

Подъем исторической науки, наступивший в связи с критикой ошибок «школы» Покровского, проявился не только в постановке общих проблем образования Русского централизованного государства, но и в монографической разработке отдельных сторон этого вопроса. Значительное внимание стало уделяться в советской историографии аграрной истории Руси в период складывания единого государства.

Углубление изучения аграрной истории Руси XIV—XV вв. стало возможным потому, что в результате обследования ряда монастырских архивных фондов было выявлено и в значительной мере опубликовано большое количество новых актов, относящихся к этому времени[3]. Институт истории Академии наук СССР осу-

---

[1] Эти же разногласия повторились и во время дискуссии по вопросу о периодизации истории СССР («Вопросы истории», 1949—1951).

[2] Об образовании централизованного государства (К итогам дискуссии). — «Вопросы истории», 1946, № 11—12, стр. 3—11.

[3] «Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV—начала XVI в.» (далее—АСЭИ), т. I—II, М., 1952—1958; «Акты феодального землевладения и хозяйства» (далее—АФЗХ), ч. 1—2, М., 1951—1956; «Грамоты Великого Новгорода и Пскова» (далее—ГВНП), М.—Л., 1949; «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв.» (далее—ДДГ), М.—Л., 1950; «Судебники XV—XVI веков», М.—Л., 1952.

ществляет издание всего актового материала с древнейших времен до начала XVI в.

В книге С. Б. Веселовского «Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси» исследован целый ряд вопросов, касающихся истории вотчинного и поместного землевладения, земельной политики князей и царской власти в XIV—XVI вв., характера иммунитета в это время и т. д. Многие поднятые С. Б. Веселовским темы тесно связаны с проблемой образования Русского централизованного государства (хотя она в книге непосредственно и не ставится), а наблюдения автора дают ценный материал для изучения предпосылок, направления и конкретных форм процесса политической централизации. Но вопросы истории феодального землевладения автор рассматривает по преимуществу в правовой плоскости, да и феодализм он понимает не как систему производственных отношений, основанную на классовом антагонизме, а в духе буржуазных исследователей, как совокупность юридических моментов.

Трактовка С. Б. Веселовским ряда явлений, относящихся к проблеме ликвидации политической раздробленности, вызывает возражения. Так, конечно, нельзя объяснить дроблением вотчин (в результате семейных разделов и наделения приданым женщин) подчинение великокняжеской московской власти ряда княжат и бояр, «вотчинные гнезда» которых, по мнению С. Б. Веселовского, «сыграли роль как бы питомников» профессиональных воинов—служилых людей Русского государства[1]. Социальную борьбу, сопровождавшую процесс формирования единого государства, С. Б. Веселовский сводит по преимуществу к противоречиям внутри господствующего класса (видя ее проявление в столкновениях отдельных юридических норм) и почти не касаясь борьбы антагонистических классов. Так он говорит о тех «противоречиях в среде землевладельческого класса», которые отразились во взаимодействии двух противоположно направленных правовых институтов, регулировавших поземельные сделки (право родового выкупа вотчин, стеснявшее их мобилизацию, и отдача их в залог, как форма замаскированного отчуждения). В ликвидации этих противоречий усматривает С. Б. Веселовский один из результатов «объединения Северо-Восточной Руси под властью московских государей», сопровождавшегося «перерождением социальных отношений времен удельной раздробленности Руси»[2]. Отсутствием классового подхода к историческим явлениям объясняется и неправильное утверждение С. Б. Веселовского, что московские великие князья, начиная с Ивана III, проводили политику «общей нивелировки и подчинения всего и всех» их «неограниченной власти», вводили «во всех областях жизни» «безличные общие нормы отношений» и т. д.[3]

---

[1] *С. Б. Веселовский*, Феодальное землевладение в Северо-Восточный Руси, т. I, М.—Л., 1947, стр 55.

[2] Там же, стр. 71.

[3] Там же, стр. 212.

Неубедительно выглядит слишком прямолинейно и схематично устанавливаемая С. Б. Веселовским связь между экономическим положением землевладельцев и занимаемой ими политической позицией. Сторонниками «великодержавной политики московских государей и политического единства Руси» выступают, по С. Б. Веселовскому, «землевладельцы общерусского масштаба», бывшие собственники многих вотчин, разбросанных по стране, хозяйство которых, однако, являлось отсталым и строилось на эксплуатации природных богатств. В противоположность этому «многовотчинному богатому боярству», бывшему «пережитком старины» в экономическом отношении и одновременно «передовым элементом» с политической точки зрения, противостояли, по С. Б. Веселовскому, землевладельцы среднего и мелкого калибров, вотчины которых скоплялись в одном или двух соседних уездах; ведя передовое по тому времени земледельческое хозяйство, эти представители господствующего класса, как считает С. Б. Веселовский, долго связывали свои судьбы с удельными князьями, боровшимися за сохранение политической раздробленности[1].

Таким образом, многие обобщения С. Б. Веселовского имеют искусственный характер и очень уязвимы в теоретическом отношении[2]. Но многочисленные отдельные конкретные наблюдения автора, знатока актового материала, использовавшего его не в качестве отдельных иллюстраций, а в массовом масштабе, будучи переосмыслены с марксистско-ленинских позиций, могут очень помочь пониманию процесса образования централизованного государства.

С историей аграрных отношений тесно связан вопрос о положении феодально зависимого сельского населения. Широкую известность и в СССР и за рубежом приобрела книга Б. Д. Грекова «Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века»[3]. В этой книге впервые всесторонне раскрыта с марксистско-ленинских позиций история русского крестьянства вплоть до Соборного Уложения 1649 г., знаменовавшего значительный перелом в его положении.

Поднят в монографии Б. Д. Грекова и вопрос об изменениях в судьбах крестьян на Руси в связи с образованием Русского централизованного государства. Эти изменения, по мнению Б. Д. Грекова, были связаны с крупнейшими переменами в жизни всей Европы во второй половине XV в. и в первой половине XVI в. Исчезала феодальная замкнутость отдельных государств. Менялась экономическая карта мира. В аграрных странах (к которым принадлежала и Россия) усиливалось производство сельскохозяйственных про-

[1] *С. Б. Веселовский*, Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси, стр. 163—164.

[2] Критический разбор книги С. Б. Веселовского дан в рецензии И. И. Смирнова: «С позиций буржуазной историографии» («Вопросы истории», 1948, № 10, стр. 118—124).

[3] *Б. Д. Греков*, Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века, М.—Л., 1946 (2 изд. в двух книгах, М.—Л., 1952—1954).

дуктов «как для удовлетворения нужд тех стран, которые сократили у себя обработку полей, так еще в большей степени для удовлетворения нужд растущего собственного внутреннего рынка»[1].

Б. Д. Греков считает существенным явлением русской истории второй половины XV в. и первой половины XVI в. превращение земледелия «в отрасль хозяйства, производящего товары, под влиянием прежде всего внутреннего рынка». Автор отмечает в качестве показательных фактов этого времени возникновение новых поселений городского типа и оживление старых городов. Б. Д. Греков говорит, что в связи с развитием рынка в экономике Руси увеличивается роль денег. Сокращается применение рабского труда и возрастает значение труда свободного. На деньги переводятся натуральные оброки. В то же время, если некоторые страны Западной Европы в конце XV—первой половине XVI в. «переживали переходный период от средневековья к новому времени, от феодализма к капитализму», то в России «старый способ производства оставался в силе». Здесь, пишет Б. Д. Греков, «капитал шел не по революционизирующему производство пути, а в направлении консервации феодального способа производства»[2].

Необходимость приспособления феодального хозяйства к развивающемуся внутреннему рынку по-разному сказалась на различных категориях землевладельцев. Многие бояре «не сумели перестроить свои хозяйства в связи с требованиями жизни» и разорились. Монастыри, напротив, оказались передовыми хозяевами и увеличили свои владения «на боярских костях»[3]. Экономически более жизнеспособными (чем бояре) показали себя и новые кадры землевладельцев—помещики-дворяне.

Превращение хлеба из «необходимого жизненного продукта» в «заметный товар на внутреннем рынке»[4] явилось побудительным мотивом для землевладельцев к увеличению барской запашки и к переводу своих крестьян с ренты продуктами на барщину. В то же время перед феодалами в связи с расширением их хозяйства встал вопрос о том, «как удержать за собой старые кадры рабочей силы» и «привлечь к себе новые». Так изменения в экономике России вели к усилению крепостничества.

Рассматривая различные категории сельского населения (старожильцы, серебреники, кабальные люди, половники, монастырские детеныши, бобыли), автор приходит к выводу, что русская деревня изучаемого им времени, «втянутая в водоворот товарных (простых) отношений, переживала очень серьезное время» («расслоение внутри», возросшие в связи с образованием централизованного государства требования казны, нажим на крестьян со стороны землевладельцев)[5].

---

[1] *Б. Д. Греков*, Крестьяне на Руси, стр. 549.
[2] Там же, стр. 553, 556, 549, 587.
[3] Там же, стр. 598, 604.
[4] Там же, стр. 587.
[5] Там же, стр. 760.

Книга Б. Д. Грекова явилась одним из крупнейших достижений советской исторической науки. Все же ряд выводов автора является спорным. Б. Д. Греков преувеличивает степень развития товарно-рыночных отношений во второй половине XV в. и их роль в процессе крестьянского закрепощения. В то же время он далеко недостаточно показывает значение в этом процессе эволюции форм феодальной собственности и развития вширь и вглубь системы феодальных отношений. Ни теоретически, ни конкретно-исторически недоказуем тезис о большей приспособляемости к рынку поместно-дворянских и монастырских, чем вотчинно-боярских, хозяйств. Вызывает ряд возражений трактовка Б. Д. Грековым различных категорий сельского населения, о чем я скажу в специальной главе.

Экономическое положение русских крестьян XIV—XV вв. явилось предметом исследования А. Д. Горского[1]. Автор прежде всего подробно разбирает (на основе всестороннего изучения скупых данных письменных источников и археологических памятников) состояние на Руси в указанное время земледелия, скотоводства и птицеводства, бортничества, рыбной ловли, охоты, солеварения и других видов хозяйственной деятельности крестьян. Особенно большое внимание А. Д. Горский уделяет земледелию. Он касается вопроса о разводимых хлебных злаках и технических культурах, о системах земледелия (среди которых все больший удельный вес получало трехполье), о земледельческих орудиях (А. Д. Горский считает, что в XIV—XV вв. на смену трезубой сохе приходит более производительное сельскохозяйственное орудие—соха двузубая), об основных производственных процессах (пахота, посев, уборка урожая), об урожайности, о крестьянских трудовых производственных навыках. Детально рассмотрен в книге вопрос и о технике и организации промыслов.

Далее А. Д. Горский ставит вопрос о характере крестьянского землевладения (надельного и вненадельного). Он, по-моему, убедительно возражает против высказанной в печати точки зрения о том, что черные крестьяне владели землей на правах частной собственности, и доказывает, что собственником черной земли было феодальное государство.

Детально изучены А. Д. Горским крестьянские повинности, в частности повинности крестьян в пользу государства. Автор приводит убедительный материал, говорящий о сосуществовании в XIV—XV вв. ренты продуктами и ренты отработочной.

В работе А. Д. Горского впервые в советской литературе нарисована конкретная картина развития производительных сил в русской феодальной деревне в период образования на Руси единого государства. Всесторонне раскрыто экономическое положе-

[1] *А. Д. Горский*, Экономическое положение крестьян в Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. (рукопись); *его же*, Из истории земледелия в Северо-Восточной Руси XIV—XV веков («Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР», Сборник III, М., 1959, стр. 5—40).

ние в это время основного производящего класса феодального общества—крестьянства.

Вопрос об изменении в положении холопов в период образования Русского централизованного государства ставится в труде А. И. Яковлева. Автор обращает внимание на то, что политическая сила удельных князей и бояр в значительной мере определялась количеством их военных и дворцовых слуг—холопов. Ликвидация политической раздробленности была связана с лишением бывших удельных князей и бояр их «дворовых воинств—своего рода зубов и когтей удельного княжья». Эти «воинства» или переводились «на московскую службу», или просто разгонялись[1]. Однако, «разбивая или опрокидывая малые и великие удельные столы», московское правительство часто «не доламывало» «гнезд» удельных князей с их дворней. Сохранялась дворня и у тех князей, которые перебирались в Москву. Но эта «многотысячная в своей совокупности боярская дворня» вызывала враждебное отношение со стороны служилых людей—помещиков. Под их воздействием и правительство поставило вопрос об ограничении холопства. «Суверенитет Московского государства» столкнулся с «суверенитетом холоповладельца». Однако борьба московского правительства с холопством велась непоследовательно, ибо «крепостному государству неудобно было разрушать до конца основные органические принципы своего социального строя, выгодного всем высшим его классам». В то же время московское правительство «легко и незаметно» превращало бывших княжеских и боярских холопов «в своих городовых служилых людей». А. И. Яковлев считает, что выражение, употреблявшееся служилыми людьми в челобитных царю,—«холоп твой» являлось не «раболепной метафорой», а «простым адекватным выражением фактического положения: масса московского служилого класса вышла именно из холопства, воспитывалась на нем и жила его идейным наследием, нивелируя нехолопьи элементы под общий холопский уровень»[2].

А. И. Яковлев правильно обратил внимание на роль военных холопов в политической борьбе, сопровождавшей процесс образования централизованного государства, на значение, принадлежавшее им в формировании служилого поместного дворянства. Но речь в данном случае идет лишь об одной части холопов. Недостаточно раскрыто А. И. Яковлевым положение другой части холопов—той, которая работала в вотчинном хозяйстве феодалов и в жизни которой в период складывания единого государства на Руси происходили существенные изменения.

Характеристике городов в период образования Русского централизованного государства посвящена первая часть первого тома исследования П. П. Смирнова «Посадские люди и их классовая борьба

---

[1] *А. И. Яковлев*, Холопство и холопы в Московском государстве XVII в., т. 1, М.—Л., 1943, стр. 25.

[2] Там же, стр. 25—26, 37, 43.

до середины XVII века». Автор исходит из предпосылки о принципиальной разнице между русскими городами XIV—XV вв., с одной стороны, и городами XVI—XVII вв.—с другой. Характерным признаком городов XIV—XV вв., которые П. П. Смирнов называет «раннефеодальными», он считает преобладание «крупного феодального землевладения—княжеского, боярского и церковного, представленного городскими вотчинными дворами и слободами феодалов-землевладельцев». Основным признаком городов XVI—XVII вв. («периода цветущего феодализма»), именуемых П. П. Смирновым «среднефеодальными», или «средневековыми», является принадлежность их территории «великому государю московскому», передававшему ее «в держание, военное—белое и оброчное—черное, своим государевым «холопам», т. е. служилым людям и «сиротам»—черным тяглецам». Появление на Руси «среднефеодальных» («средневековых») городов, по П. П. Смирнову, было связано с переходом от «раннего феодализма» к более высокой ступени феодального развития, на которой города становятся «центрами зародившегося менового рыночного хозяйства»[1].

Автор следующим образом рисует процесс превращения «вотчинных», или «своеземческих», городов и слобод (поселков, возникавших из договора между землевладельцем и населением, призываемым им для заселения своих земель и специальных служб) в центры «рыночного хозяйства». Введение паровой зерновой системы и рост производительности «раннесредневекового хозяйства» приводят к «разрушению крупных вотчин и к разложению крестьянского хозяйства». Из крупных вотчин «развивается более жизнеспособное, связанное с рынками, мелкое феодальное землевладение, поместье». Из крепостного хозяйства «выделяется торгово-промышленный посад, население которого образует новую классовую группу — посадских людей»[2].

П. П. Смирнов указывает, что «большие запасы хозяйственных благ», создаваемых трудом крестьян и холопов и выбрасываемых на рынок, привели к снижению цен на припасы и вызвали «настоящий сельскохозяйственный кризис». Началось движение населения из деревни в город, где оно заводило промыслы. В то же время происходили «ломка и разорение старых городов, переходивших в XVI в. от удельной Руси». Процесс «приспособления феодального землевладения к условиям рыночно-ремесленного хозяйства в городах» выражался в массовом превращении крупными феодалами вотчинных городских дворов в промышленные «слободки крестьян и бобылей», в «усиленном накоплении городских слобод». Великие князья, со своей стороны, стремятся к «захвату в свои руки всех городов и к полному по возможности освобождению их от остатков частной зависимости, к монополизации права на владение

[1] *П. П. Смирнов*, Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века, т. I, М.—Л., 1947, стр. 4—5.

[2] Там же, стр. 64—65.

городскими землями и торгово-промышленными людьми на этих землях»[1].

Хотя в книге П. П. Смирнова собран большой и ценный материал и сделан ряд интересных наблюдений, его концепция истории древнерусского города не принята советской наукой. Нельзя согласиться с тем, что до XIV в. на Руси отсутствовали города как торгово-ремесленные посады. Существование последних убедительно доказывается рядом источников. Тезис П. П. Смирнова о перерастании на рубеже XV и XVI вв. города «своеземческого», частновладельческого в город государев, тяглый, имеет искусственный характер и не подтверждается материалом. И до XVI в. «черное» население ряда городов Северо-Восточной Руси было подвластно непосредственно князьям и несло тягло. Обилие сельскохозяйственных продуктов на русских рынках в конце XV в. (о чем пишут многие иностранцы) свидетельствует не о кризисе, а о слабой покупательной способности населения в условиях натурального хозяйства. При обилии продуктов население часто голодало.

В 1947 г. была опубликована книга М. Н. Тихомирова «Древняя Москва (XII—XV вв.)». В ней использованы как письменные источники (в том числе некоторые неопубликованные летописные записи и литературные памятники), так и археологический материал. Книга написана доступным, живым языком, но представляет собой не просто популярный очерк, а научное исследование, содержащее ряд новых наблюдений и мыслей. Плодотворна основная идея М. Н. Тихомирова о том, что «Москва со времени первого появления своего на страницах летописей была городом, а не боярской усадьбой, что она развивалась вначале как небольшой, а позже как крупный торговый и ремесленный центр Восточной Европы, связанный с большим международным обменом, в который были втянуты страны Востока и Средиземноморья, а позже Запада»[2]. Хорошо показан в монографии «передовой характер московского ремесла»[3] и достаточно раскрыты широкие торговые связи Москвы. Интересны небольшие очерки истории отдельных московских купеческих семейств. Важно, что автор останавливается на восстаниях черных людей в Москве (особенно в 1382 г.).

Книга Тихомирова важна для изучения проблемы образования Русского централизованного государства, ибо в ней дана экономическая, политическая и культурная история Москвы как национального и государственного центра.

Выпущенная к 800-летнему юбилею Москвы монография М. Н. Тихомирова имеет некоторые специфические черты. В частности, в книге несколько идеализировано историческое прошлое Руси, что сказалось прежде всего в оценке деятельности русских князей. Не только Дмитрий Донской рисуется «храбрым и бескорыстным

[1] *П. П. Смирнов*, Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века, т. I, стр. 67—68, 77—78.

[2] *М. Н. Тихомиров*, Древняя Москва (XII—XV вв.), М., 1947, стр. 3.

[3] Там же, стр. 121.

человеком, заботившимся не о личной славе, а об общем благе», но явно переоценивается и Иван Калита. Под пером М. Н. Тихомирова выступает образ «щедрого и даже несколько впечатлительного князя», прозвищу которого придавалась окраска, «изображающая его благотворителем, всегда носившим сумку с деньгами для раздачи бедным». За «восторженными» отзывами современников об Иване Калите, приводимыми М. Н. Тихомировым[1], пропадает классовый смысл его политики. Идеализируются М. Н. Тихомировым и церковные деятели. Митрополита Петра автор рисует «политиком настойчивым и смелым», митрополит Алексей охарактеризован как «замечательный государственный человек XIV века», твердой и уверенной рукой правивший Московским княжеством[2]. Против этих характеристик можно было бы и не возражать, если бы наряду с ними была показана классовая сущность политики и идеологии церкви.

В 1957 г. вышла из печати новая книга М. Н. Тихомирова «Средневековая Москва в XIV—XV веках»[3]. В основе этой монографии лежит прежнее исследование автора о древней Москве. Но в новой книге М. Н. Тихомирова основное внимание устремлено на историю города в XIV—XV вв. Автор привлек свежий археологический материал и сделал много новых наблюдений. Особенный интерес представляет глава, посвященная классовой борьбе и восстаниям черных людей в Москве. В этой книге уже нет той идеализации деятельности московских князей и митрополитов, которая имелась в прежней работе М. Н. Тихомирова.

Капитальное исследование о древнерусском ремесле принадлежит Б. А. Рыбакову. Последний определяет задачи своего труда как «изучение важнейшей части того хозяйственного фундамента, на котором строилась блестящая культура Киевской Руси, а впоследствии создавалось русское национальное государство — изучение промышленности, ее техники, организации и ее удельного веса в общей системе русского исторического процесса»[4].

Во второй части книги Б. А. Рыбакова прослежено развитие русского ремесла со времени установления над русскими землями татаро-монгольского владычества и до середины XV в. Здесь приведен богатый материал для решения вопроса о социально-экономических предпосылках образования Русского централизованного государства. Подробно характеризуя (на основании данных археологии и письменных источников) различные отрасли деревенского, вотчинного и городского ремесла второй половины XIII—XV в., автор приходит к выводу, что в его развитии наблюдаются две переломные грани, одна из которых падает на середину XIV в., другая—на середину XV в.[5] Значение этих двух рубежей Б. А. Ры-

---

[1] *М. Н. Тихомиров*, Древняя Москва, стр. 51, 28—29.
[2] Там же, стр. 33, 43, 45.
[3] *М. Н. Тихомиров*, Средневековая Москва в XIV—XV вв., М., 1957.
[4] *Б. А. Рыбаков*, Ремесло древней Руси, М., 1948, стр. 3.
[5] Там же, стр. 591—592, 695—699.

баков видит в том, что ими отмечено совершенствование ремесленной техники, все больший отрыв ремесла от земледелия, развитие крестьянских промыслов, выделение промысловых районов и появление ремесленно-торговых поселков, усиление внутренней и внешней торговли, перевод вотчинных ремесленников с натурального на денежный оброк, массовый выход вотчинных ремесленников на посад и т. д. Эти выводы Б. А. Рыбакова, сделанные на большом конкретном материале, представляют несомненный интерес, а значение предложенной им периодизации выходит за рамки развития русского ремесла, намечая основные вехи социально-экономической истории Руси этого времени.

Убедительна мысль автора о том, что «слияние воедино сотен мелких княжеств, создание Русского национального государства происходит на фоне как технического, так и социального роста русского ремесла»[1].

Из-за отсутствия источников в книге Б. А. Рыбакова не мог получить достаточного разбора вопрос об удельном весе товарного производства в русских городах XIV—XV вв.[2] Можно поспорить с Б. А. Рыбаковым по поводу его утверждений о «постоянстве» черных людей «в их симпатии к московскому князю» и о том, что «пути развития русских городов почти полностью совпадают... с развитием Западной Европы»[3].

В последней части своей книги Б. А. Рыбаков делает попытку доказать наличие среди русских ремесленников элементов цехового строя. Автор остается здесь в ряде случаев в плоскости гипотез, на мой взгляд, весьма близких к истине.

Обобщающая работа, посвященная истории городов Северо-Восточной Руси в XIV—XV вв., принадлежит А. М. Сахарову[4]. Используя данные письменных источников и археологии, автор прежде всего восстанавливает конкретную картину развития русских городов в изучаемое им время. Рассмотрев имеющиеся в летописях и актовом материале сведения о 74 пунктах Северо-Восточной Руси, А. М. Сахаров приходит к выводу, что из этого числа лишь 29 пунктов можно считать городами в социально-экономическом понимании этого термина (т. е. торгово-ремесленными центрами). Затем А. М. Сахаров дает характеристику городского ремесла и торговли, ставит вопрос о роли города как центра феодального господства, изучает положение городского населения и характер его

---

[1] *Б. А. Рыбаков*, Ремесло древней Руси, стр. 781.

[2] См. об этом там же, стр. 712 и след.

[3] Там же, стр. 727.

[4] *А. М. Сахаров*, Города Северо-Восточной Руси XIV—XV вв., М., 1960. См. также две статьи А. М. Сахарова: «Ремесленное производство в городах Северо-Восточной Руси в XIV—XV вв.» («Вопросы истории», 1955, № 4, стр. 59—71); «О политическом развитии русских северо-восточных городов после татаро-монгольского нашествия» («Вестник Московского Государственного университета имени М. В. Ломоносова. Историко-филологическая серия», 1956, № 2, стр. 3—18).

повинностей. Специальная глава книги А. М. Сахарова посвящена политическому развитию русских городов в XIV—XV вв. и их значению в процессе образования Русского централизованного государства.

В результате своего исследования А. М. Сахаров приходит к выводу об экономической и политической слабости русских городов XIV—XV вв. Это, по его мнению, города феодальные, защищавшие собственность феодалов и их власть над окрестными владениями. Городское ремесло дополняло натуральную экономику сельской округи, товарное производство существовало в городах в незначительных масштабах. Внешняя торговля, которую вели состоятельные горожане, была слабо связана с производством и не оказывала на него влияния. У горожан не было достаточно сил для того, чтобы добиться успехов в борьбе за свои вольности и самоуправление. Горожане поддерживали сильную княжескую власть, поскольку она могла обеспечить им лучшие условия для развития ремесла и торговли, предоставить защиту от феодальных усобиц и нападения внешних врагов. Но, окрепнув, великокняжеская власть поработила и ограбила своего союзника—город. Она пресекла все возможности для горожан бороться за вольности и распространила на города крепостнические порядки.

Автор прав, доказывая, что русский город XIV—XV вв. еще не стал очагом буржуазных отношений, но в то же время в его труде несколько недооцениваются уровень социально-экономического развития городов в это время и их роль в общественно-политической жизни.

Проблеме социально-экономического развития Руси в период образования централизованного государства в целом посвящены работы А. П. Пьянкова[1]. Представляет интерес нарисованная автором картина социально-экономического состояния Руси к моменту образования централизованного государства (сельское хозяйство, поземельные отношения, ремесло, внутренняя и внешняя торговля, город, положение крестьян и горожан). Ряд интересных мыслей высказал А. П. Пьянков и относительно политики московских князей, определяемой им в терминах старой дореволюционной историографии как «собирание земли и власти»: ограничение иммунитета, стеснение свободы вассальных отношений и т. д.

Проблемы классовой борьбы в период образования Русского централизованного государства, помимо ряда статей, нашли спе-

---

[1] *А. П. Пьянков*, Очерки по истории феодальных отношений в Северо-Восточной Руси до начала XVI века, т. I—II, 1946 (рукопись докторской диссертации). Опубликованы лишь отдельные разделы монографии А. П. Пьянкова: «К вопросу о причинах образования единого Русского государства» («Ученые записки Белорусского Государственного университета имени В. И. Ленина», вып. 10, серия историческая, Минск, 1950, стр. 89—114); «Формы феодальной ренты в Северо-Восточной Руси в XIV—XV веках» («Ученые записки Могилевского Государственного педагогического института» вып. I, Минск, 1955, стр. 3—30).

циальное освещение в книге Н. А. Казаковой и Я. С. Лурье[1], в которой рассматриваются проявления на Руси в XIV—начале XVI в. антифеодального протеста в форме еретических движений. Речь идет о ереси стригольников в Новгороде и Пскове в XIV в. и в Пскове в первой половине XV в. (автор Н. А. Казакова) и о так называемой ереси «жидовствующих» в Новгороде и Москве во второй половине XV—начале XVI в. (автор Я. С. Лурье).

Ценность этой работы двух исследователей в методологическом отношении заключается в изучении выступлений еретиков в связи с развитием классовых противоречий в феодальном обществе и рассмотрении ересей как одной из форм оппозиции господствующему феодальному строю и официальной церковной идеологии[2]. С источниковедческой точки зрения важно, что авторы подходят критически к памятникам, содержащим сведения о ересях и в подавляющем своем большинстве вышедшим из среды воинствующих церковников, ведших решительное наступление на еретиков, вскрывают содержащиеся в этих памятниках тенденции, их происхождение и политический смысл. Круг источников в разбираемом издании значительно расширен; в приложении к исследованию Н. А. Казаковой и Я. С. Лурье опубликован ряд новых текстов[3] или же заново воспроизведены исторические материалы, ранее (в дореволюционных публикациях) изданные неудовлетворительно.

Еретические движения рассматриваются Я. С. Лурье в связи с процессом образования Русского централизованного государства. Так, он доказывает, что участники московского еретического кружка Федора Курицына—дьяка, возглавлявшего своего рода правое крыло еретиков, близкого к великому князю Ивану III, ставили своей целью «реформацию в рамках феодально-самодержавного государства». Но социальный смысл взглядов и деятельности лиц, связанных с Федором Курицыным, охарактеризован Я. С. Лурье противоречиво. С одной стороны, он правильно говорит, что они думали «не о борьбе с феодальным государством, а о реформе этого государства, об ослаблении роли крупных феодалов, в частности церковных феодалов». С другой стороны, автор указывает, что «проповедь Федора Курицына и его товарищей получала... более широкое, иногда прямо антифеодальное звучание». Московская ересь, по словам Я. С. Лурье, «вопреки субъективным стремлениям своих руководителей превращалась в движение, опасное для феодального государства»[4]. Поэтому, очевидно, Я. С. Лурье считает, что и это умеренное течение укладывается в то определение, которое дано в заголовке книги: «Антифеодальные еретические движения на Руси XIV—начала XVI века». Здесь важно было

---

[1] *Н. А. Казакова* и *Я. С. Лурье*, Антифеодальные еретические движения на Руси XIV—начала XVI века, М.—Л., 1955.

[2] Там же, стр. 6.

[3] В подготовке к печати текстов принимали участие также А. А. Зимин, А. И. Клибанов и Н. А. Соколов.

[4] *Н. А. Казакова* и *Я. С. Лурье*, указ. соч., стр. 169—170.

бы провести более четкое разграничение неоднородных по своей социальной и политической сущности идеологических направлений, одинаково определяемых источниками как еретические, выявить в этом понятии разнообразие оттенков.

Из трудов, посвященных вопросу о роли отдельных русских земель в процессе политического объединения Руси в XIV—XV вв., наибольший интерес представляет монография В. Н. Бернадского «Новгород и Новгородская земля в XV веке»[1]. Это — фундаментальное исследование, содержащее ряд глубоких наблюдений и выводов. Автор доказывает, что в наиболее передовых в экономическом отношении районах Новгородской земли в XV в. зарождались денежные отношения. Это выражалось не только в росте рядков и городов, но и в том, что деревня стала выбрасывать на рынок как пушнину, так и продукты сельского хозяйства и ремесла. Начался процесс формирования небольших местных рынков. Экономическое развитие подтачивало традиционные формы политического строя Новгородской боярской республики, но само по себе не могло привести к его крушению. Падение самостоятельного Новгородского государства было подготовлено классовой борьбой крестьянства и плебейских масс города. Стихийное антибоярское движение народных масс, выступавших не всегда за великого князя, но всегда против его противников-бояр, объективно содействовало объединению Руси.

Новгородские бояре проводили политику, направленную к сохранению независимости Великого Новгорода, дававшей им возможность осуществлять всю полноту власти в огромных новгородских владениях. Чем более проявлялись успехи объединения Руси, тем более реакционной становилась политика новгородского боярства. Она свелась к тому, чтобы любой ценой сохранить свои вотчины.

Московская великокняжеская власть, направляя свои силы на объединение центра Великороссии, до второй половины XV в. не ставила еще радикально вопроса о включении Новгородской земли в состав формирующегося Русского государства. Когда процесс сплочения центральных русских земель вокруг Москвы был завершен, правительство Ивана III стало подготавливать окончательно присоединение к Московскому княжеству Новгорода. Оно старалось сначала привлечь на свою сторону боярских руководителей Новгородской республики, а в целях давления на них использовало антифеодальные движения. Мирным путем подчинить Новгородскую землю великокняжеской власти в силу сопротивления новгородского боярства не удалось. В 1478 г. последовала ломка новгородского политического строя. Дальнейшая политика правительства Ивана III в Новгородской земле заключалась в ликвидации светского вотчинного землевладения

---

[1] *В. Н. Бернадский*, Новгород и Новгородская земля в XV веке, ч. I, Л., 1958.

и сокращении церковного землевладения и насаждении там поместных земель. Содействовало московское правительство и развитию купечества.

Проблема социально-экономических предпосылок включения в состав Русского централизованного государства территории Великого Новгорода рассматривается также в монографии Л. В. Даниловой «Очерки по истории землевладения и хозяйства в Новгородской земле в XIV—XV вв.» Выводы автора в целом не расходятся с выводами В. Н. Бернадского. Л. В. Данилова считает, что новгородская феодальная вотчина в XIV—XV вв. «представляла собой жизнеспособный хозяйственный организм». Характерной чертой экономического развития Новгородской земли в это время был рост общественного разделения труда, развитие в недрах натурального хозяйства товарно-денежных отношений. В этот процесс были втянуты Обонежье и Подвинье. «На основе прогрессирующего отделения ремесла и промыслов от земледелия в сельских местностях расширялась сеть мелких местных рынков—эта необходимая предпосылка рынка национального». «Главным носителем товарно-денежных отношений» в новгородской феодальной вотчине являлось крестьянское хозяйство. В связи с этим в XV в. в составе феодальной ренты значительное место стали занимать денежные платежи. В некоторых вотчинах, расположенных в экономически наиболее развитых районах, наблюдалась частичная, а подчас даже и полная замена натуральной ренты денежной. По-видимому, роль денежной ренты в феодальном хозяйстве Новгородской земли преувеличивается Л. В. Даниловой, но ее общий вывод о том, что накануне включения Новгорода в состав Русского централизованного государства сельское хозяйство в Новгородской земле развивалось «по пути экономического подъема», заслуживает внимания.

Интересен вывод Л. В. Даниловой и о том, что с включением Новгородской земли в состав Русского централизованного государства и развитием там поместной системы произошло «возрождение архаичных видов феодальных повинностей и усиление эксплуатации зависимого крестьянства...»[1].

Наконец, весьма ценны соображения Л. В. Даниловой о классовой борьбе в Новгородской земле, как одной из предпосылок, обусловившей ликвидацию независимости Новгородской боярской республики[2].

Вопросу о присоединении к Русскому централизованному государству Пскова посвящена монография Н. Н. Масленниковой. Правильно расценивая падение независимости Псковской земли как результат «длительного процесса»[3] и рассматривая его все-

---

[1] *Л. В. Данилова*, Очерки по истории землевладения и хозяйства в Новгородской земле XIV—XV вв., М., 1955, стр. 203.

[2] Там же, стр. 93—94.

[3] *Н. Н. Масленникова*, указ. соч., стр. 179.

сторонне, автор достаточно подробно и со знанием источников характеризует экономику, социальные отношения, политический строй Псковской земли в XV—XVI вв., главное внимание обращая на установление ее связей с Москвой в сферах хозяйственной, политической, военной, церковной. Сопоставив различные варианты летописного рассказа о «псковском взятии», Н. Н. Масленникова дает анализ социально-политических событий, имевших место в Пскове в 1510 г., когда была окончательно ликвидирована его политическая самостоятельность. Наконец, автор рассматривает и дальнейшие судьбы Псковской земли (на протяжении XVI в.) в составе Русского централизованного государства, характеризуя ее хозяйственное развитие (на материале писцовых книг и других источников) и останавливаясь на идеологической борьбе в Пскове.

В содержательной в целом работе Н. Н. Масленниковой имеются три уязвимых пункта, касающиеся взаимоотношений Псковской земли с Москвой: 1) недостаточная четкость (в ряде случаев) социального анализа; 2) недостаточно отчетливо проводимая грань между объективно нараставшими предпосылками к включению Пскова в состав единого Русского государства и сознательными действиями в этом направлении самого псковского населения; 3) наконец, тенденция к сведению существа растущих псковско-московских связей прежде всего к связям Пскова с московскими князьями. Все эти три момента проявляются в таких, например, довольно часто повторяющихся характеристиках: «передовые псковичи» «ощущали» зависимость от московского великого князя, «понимали ее неизбежность» и т. д.[1]; в политике «псковичей» сказывалась «идейная готовность признать принцип единой для всей Руси власти московского князя»; «на протяжении всей псковской истории, начиная с XIII в., псковичи не порывали связи с великими князьями»[2]. Терминологическая нечеткость влечет за собой и неясность существа социально-политических отношений. Наконец, надо отметить, что, увлеченная стремлением показать силу нараставших псковско-московских связей, Н. Н. Масленникова несколько упростила картину той классовой и внутриклассовой борьбы, которая сопровождала процесс ликвидации политической независимости Пскова.

Книга А. И. Копанева «История землевладения Белозерского края XV—XVI вв.» представляет собой удачно осуществленный опыт монографического изучения характера аграрных отношений в пределах одного крупного княжества—Белозерского, игравшего важную роль в истории Руси того времени. Существенным элементом исследования А. И. Копанева являются составленные им карты, показывающие распределение в Белозерском крае земельных владений различных видов на протяжении времени с конца XV до начала XVII в. Карты иллюстрируют раскрываемый автором в своем исследовании путь развития землевладения монастырского, боярского,

---

[1] *Н. Н. Масленникова*, указ. соч., стр. 58.
[2] Там же, стр. 70, 79.

мелких частных собственников, черного. Автор убедительно показывает, что землевладение духовных и светских феодалов росло в значительной мере за счет захвата ими черных земель. Рассматривая столкновения черных волостных «миров» с монастырями, «выражающиеся в многочисленных судебных процессах из-за земли, в нарушении крестьянами рубежей монастырских вотчин, в насильственном захвате монастырской земли, в избиениях монастырских приказчиков и слуг», А. И. Копанев приходит к обоснованному выводу, что «все это было проявлением классовой борьбы крестьянина против феодала»[1]. К сожалению, история черного землевладения и вопросы классовой борьбы крестьянства занимают непропорционально малое место в общей структуре монографии А. И. Копанева. Вряд ли можно безоговорочно согласиться с автором, что черные крестьяне владели землей (хотя и не всей) на правах частной собственности[2]. С точки зрения феодального права эта земля находилась в верховной собственности государства.

Исследование А. И. Копанева посвящено вопросам, несомненно входящим в круг проблем, связанных с образованием Русского централизованного государства, ибо решение этой проблемы в целом невозможно без хорошего знания специфики аграрных отношений в различных частях Руси. Сам автор непосредственно касается также мероприятий московских князей—Ивана Калиты, Ивана III, роли монастырей как проводников великокняжеской политики и других вопросов политической истории.

Политическая борьба в период образования Русского централизованного государства освещена в неопубликованном исследовании В. Н. Бочкарева о феодальной войне на Руси во второй четверти XV в.[3] На основе сличения различных летописных текстов автор восстановил конкретную картину феодальной войны на Руси, дав и ее убедительную периодизацию. Он сумел показать, что борьба, шедшая между московской великокняжеской властью и частью удельных князей и боярства на протяжении целой четверти столетия в XV в., представляла собой не простую княжескую усобицу, а феодальную войну, в которой социальные силы, защищавшие режим политической раздробленности, столкнулись со сторонниками системы единого государства. Феодальная война явилась таким же этапом в процессе образования Русского централизованного государства, каким была Столетняя война во Франции или война Алой и Белой Розы в Англии.

---

[1] *А. И. Копанев*, История землевладения Белозерского края XV—XVI вв., М.—Л., 1951, стр. 200.

[2] Там же, стр. 190.

[3] *В. Н. Бочкарев*, Феодальная война в удельно-княжеской Руси XV века, т. I—III, М., 1944 (рукопись докторской диссертации). На основе этой рукописи В. Н. Бочкарев опубликовал статью: «Политические итоги феодальной войны в удельно-княжеской Руси XV века» («Ученые записки Московского Городского педагогического института им. В. П. Потемкина», т. II, кафедра истории СССР, вып. 2, М., 1947, стр. 51—77).

Труд В. Н. Бочкарева написан преимущественно на материале летописных памятников. Вне поля зрения В. Н. Бочкарева остался большой актовый материал (за исключением договорных и духовных княжеских грамот).

Попытка нарисовать общую картину политических взаимоотношений на Руси в XIV—XV вв. сделана в моей работе, носящей источниковедческий характер[1].

Вопросам идеологии посвящены интересные труды Д. С. Лихачева[2].

Изучению политической истории Руси в XIV — XV вв. очень содействовали публикации летописных текстов[3].

Проблема взаимоотношений Золотой орды и Руси разработана в трудах А. Н. Насонова, Б. Д. Грекова, А. Ю. Якубовского.

В монографии А. Н. Насонова детально исследован вопрос об истории политики на Руси татаро-монгольских ханов на протяжении времени со второй половины XIII до начала XV в. Автор справедливо рассматривает эту политику как активную, выражавшуюся «в стремлении всячески препятствовать консолидации» Руси, «поддерживать взаимную рознь отдельных политических групп и княжеств»[4]. А. Н. Насонов систематически проводит эту точку зрения, подкрепляя ее данными искусно проанализированных им русских и восточных источников и приходя к важным выводам. В качестве примера можно указать на интересные наблюдения автора относительно финансовой политики Орды в целях ослабления «вредных с ее точки зрения сторон великокняжеской организации», предупреждения «опасности концентрации сил в руках одного князя», предоставившей в середине XIV в. ряду местных русских княжеств самостоятельно (помимо великого князя владимирского) вносить ордынский «выход»[5]. Два процесса (политическое объединение Руси и распадение Золотоордынского государства) А. Н. Насонов рассматривает во взаимосвязи и взаимообусловленности. Автор выдвигает и обосновывает правильный тезис о том, что образование Русского централизованного государства явилось «отнюдь не в результате мирной деятельности монголов-завоевателей, а в результате борьбы с монголами, когда борьба стала возможна, когда Золотая орда начала слабеть и разлагаться и на рус-

---

[1] *Л. В. Черепнин*, Русские феодальные архивы XIV—XV веков, ч. 1—2, М., 1948—195 .

[2] *Д. С. Лихачев*, Культура Руси эпохи образования Русского национального государства, М.—Л., 1946; *его же*, Национальное самосознание древней Руси, М.—Л., 1945; *его же*, Русские летописи и их культурно-историческое значение, М.—Л., 1947.

[3] ПСРЛ, т. XXV; «Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов», М.—Л., 1950 (далее—НПЛ); «Псковские летописи», вып. 1—2, М., 1941—1955; *М. Д. Приселков*, Троицкая летопись. Реконструкция текста, М.—Л., 1950; «Устюжский летописный свод (Архангелогородский летописец)», М.—Л., 1950 (далее—УЛС); «Иоасафовская летопись», М., 1957.

[4] *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь (история татарской политики на Руси), М.—Л., 1940, стр. 5.

[5] Там же, стр. 105.

ском Северо-Востоке поднялось народное движение за объединение Руси и за свержение татарского владычества»[1]. Положительной чертой книги следует признать то, что в ней проявляется внимание к народным восстаниям против ордынского ига (например, к восстанию, вспыхнувшему в 1327 г. в Твери и нашедшему отражение в памятниках письменности и в фольклоре)[2]. В то же время автор избежал той идеализации отдельных князей, которая присуща ряду советских историков. Так, об Иване Калите А. Н. Насонов пишет, что он не был «ни объединителем Руси, ни умиротворителем»[3].

Конечно, не на всем протяжении книги А. Н. Насонова нашла полное отражение роль народных масс в борьбе с татаро-монгольским владычеством и достаточно раскрыто значение этой борьбы в истории ханской политики на Руси. Бледны строки, посвященные оценке Куликовской битвы, не дана картина выступления народных масс на защиту Москвы в 1382 г., во время похода Тохтамыша (хотя об этом и сказано в другом месте). Но во всяком случае мысль «о воле низов населения к борьбе с татарами» прозвучала в исследовании А. Н. Насонова вполне отчетливо[4].

Совместный труд Б. Д. Грекова и А. Ю. Якубовского «Золотая орда и ее падение» был задуман авторами потому, что до его напечатания на русском языке не существовало (ни научно-исследовательской, ни популярной) работы по истории Золотой орды в целом, без знания же этой истории нельзя понять процесс образования Русского централизованного государства[5]. Б. Д. Греков и А. Ю. Якубовский поставили своей задачей дать научно-популярный очерк по истории Золотой орды, в котором были бы подведены итоги изучению вопроса в литературе и подвергнуты анализу соответствующие источники.

А. Ю. Якубовский убедительно доказывает, что «Золотая орда не была государством, выросшим на почве нормального развития какого-нибудь одного народа. Золотая орда—искусственное государственное образование, сложившееся путем насильственного захвата чужой земли»[6].

Предпосылки падения Золотой орды автор с должным основанием видит в ее грабительской политике, в том, что «рост золотоордынских поволжских городов опирался не столько на нормальное развитие собственных производительных сил, сколько на средства, добытые путем ограбления других народов»; материальная и духовная культура Орды «создавалась не собственными татарскими силами, а руками, знаниями и талантом покоренных народов». С другой стороны, Орду привели к падению удары по ней со стороны

---

[1] *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 8.
[2] Там же, стр. 91.
[3] Там же, стр. 111.
[4] Там же, стр. 57, 134, 136.
[5] *Б. Д. Греков* и *А. Ю. Якубовский*, Золотая орда и ее падение, М.—Л., 1956, стр. 7, 9.
[6] Там же, стр. 12.

прогрессивно развивающихся народов Руси и Средней Азии[1]. В связи с этим надо отметить известную идеализацию А. Ю. Якубовским Тимура и недостаточное внимание к классовым противоречиям в государстве, во главе которого он стоял.

Опыт детального и всестороннего изучения внешней политики Русского централизованного государства во второй половине XV в. (в княжение Ивана III) представляет собой книга К. В. Базилевича[2]. Книга эта не была закончена автором вследствие его преждевременной смерти, и это надо учитывать при ее оценке.

Монография К. В. Базилевича основана главным образом на русских источниках и лишь частично на иностранных, в том числе неопубликованных (документы венского Государственного архива). Наиболее полное освещение в исследовании К. В. Базилевича нашли взаимоотношения Руси с Великим княжеством Литовским, Золотой ордой, Крымским и Казанским ханствами. При всей скрупулезности проводимого автором анализа источников и яркости и оригинальности изображения в монографии в ряде случаев недостает широкого фона международных отношений, не хватает взгляда на внешнюю политику Руси, брошенного не из ее пределов, а со стороны, глазами других государств, с точки зрения не только задач Русского государства, но и международной ситуации; мало выводов, основанных на обобщении материала по истории ряда стран того времени.

Положительной стороной книги является рассмотрение истории внешней политики в связи с процессом объединения Руси, борьбой отдельных феодальных группировок и внутриполитическими мероприятиями московской великокняжеской власти, хотя и в данном случае сохраняется некоторая эскизность изложения.

В заключение следует сказать несколько слов об обобщающем многотомном коллективном труде Института истории Академии наук СССР: «Очерки истории СССР. Период феодализма». Его задачей является дать всестороннее и связное изложение истории народов нашей Родины примерно с IX по XIX в., подведя итоги достижениям науки и наметив пути дальнейшего изучения ряда вопросов, сейчас еще не ясных. Объединению русских земель вокруг Москвы и образованию Русского централизованного государства посвящен специальный том «Очерков»[3]. Политическое объединение Северо-Восточной Руси и централизация государственного аппарата рассматриваются в «Очерках» как единый процесс, шедший на протяжении XIV—XV вв. в рамках неликвидированной еще раздробленности. В качестве рубежа, начиная с которого можно говорить уже о централизованном государстве на Руси, в «Очерках» при-

---

[1] *Б. Д. Греков* и *А. Ю. Якубовский*, указ. соч., стр. 13—14.

[2] *К. В. Базилевич*, Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая половина XV в.

[3] «Очерки истории СССР. Период феодализма. IX—XV вв.», ч. 2, М., 1953.

нимаются 80-е годы XV в. (хотя централизация государственного аппарата в это время еще не была завершена полностью)[1].

Различные стороны проблемы образования Русского централизованного государства освещены в «Очерках» неравномерно. Превалирует изложение вопросов политической истории. Слабее разработаны вопросы экономики и классовой борьбы.

* * *

Проблема образования Русского централизованного государства представляет собой одну из важнейших проблем истории России в период феодализма. Различные стороны вопроса о Русском централизованном государстве неоднократно освещались в ряде работ советских историков. Этому вопросу посвящались научные дискуссии, которые необходимо продолжить.

По сравнению с дореволюционным временем значительно расширилась база, на которой строится изучение проблемы Русского централизованного государства. Намечено и реализуется издание всех (в настоящее время известных) актов до XVI в. Начата публикация законодательных памятников Русского централизованного государства. Введены в научный оборот ранее неизвестные летописные своды. Издано много памятников русской публицистики.

Расширению источниковедческой базы работ советских историков, посвященных изучению проблемы Русского централизованного государства, помогли археологи. Данные археологических находок и раскопок позволили более глубоко осветить ряд вопросов социально-экономической и политической истории Руси в период складывания единого государства. Особенно много материала дали археологические находки и раскопки для изучения истории русского ремесла, городов, торговли, денежных систем в XIV—XVI вв. Гораздо меньше имеется в нашем распоряжении данных по истории феодальной деревни указанного времени.

В советское время написан ряд исследований источниковедческого характера, посвященных памятникам XIV — XVI вв. (актам, судебникам, летописям и т. д.). Для советских историков характерен принципиально новый подход с позиций марксистско-ленинской методологии к историческим источникам, рисующим процесс формирования Русского централизованного государства, стремление выяснить совокупность породивших их социально-экономических условий, раскрыть их классовую сущность и идейную направленность. Разработка советскими историками на конкретном материале проблематики складывания единого государства на Руси дала уже существенные результаты.

[1] Концепция развития Русского централизованного государства, изложенная в «Очерках», вкратце повторена в третьем томе «Всемирной истории» (М., 1957) и в первом томе нового учебника для высшей школы «История СССР» (М., 1956).

При этом надо сказать, что политическая история (включая и вопросы внешней политики) XIV—XV вв. изучена советскими учеными полнее, чем социально-экономические явления этого времени. Из вопросов социально-экономического развития Руси в период образования централизованного государства наибольшее внимание советские исследователи уделяли истории землевладения и крестьянства. Меньше опубликовано работ по вопросам сельского хозяйства XIV—XVI вв. Достаточно разработана в советской литературе история ремесла, но еще не вполне выяснена роль городов в период возникновения Русского централизованного государства. Не показана по-настоящему и роль классовой борьбы в этом процессе.

Представляют интерес труды по истории отдельных земель и княжеств в период складывания Русского централизованного государства (Новгорода, Пскова, Белоозера и т. д.).

Некоторые вопросы проблемы образования Русского централизованного государства остаются дискуссионными (хронологические рамки и основные этапы этого процесса, роль городов в политическом объединении Руси, вопрос о значении феодальной войны второй четверти XV в.).

Настоящая монография ставит своей целью посильно содействовать уяснению ряда неясных вопросов, касающихся ликвидации политической раздробленности и складывания единого государства на Руси в XIV—XV вв.

§ 11. Современная буржуазная зарубежная историография

Проблема образования Русского централизованного государства интересует современных буржуазных зарубежных историков. Интерес, проявляемый к этому вопросу, конечно, надо всячески приветствовать. Положительным явлением надо признать то обстоятельство, что иностранные ученые изучают советские публикации документов, относящихся ко времени возникновения Русского централизованного государства, и знакомят с ними через печать зарубежных читателей.

Бросается в глаза внимание, уделяемое иностранными буржуазными исследователями первому правовому кодексу Русского централизованного государства—Судебнику Ивана III 1497 г. Вышли работы о Судебнике на французском и английском (в США) языках с комментариями, основанными на использовании русской дореволюционной и советской литературы[1].

---

[1] *Horace W. Dewey*, The 1497 Sudebnik. Muscovite Russia's First National Law Code («The American Slavic and East European Review», 1956, October, v. 15, № 3, p. 325—338); *Marc Szeftel*, Le «Justicier» (Sudebnik) du tzar Ivan III (1497) («Revue historique du droit français et étranger», Paris, 1956, Octobre — Décembre, № 4, p. 531—568).

На английский язык переведена (в США) Белозерская уставная грамота конца XV в.[1] Имеются и другие издания правовых документов древней и средневековой Руси, вышедшие в Америке на английском языке[2].

Комментарии к памятникам русского права буржуазных ученых, как правило, носят формальный характер, исходят из буржуазного представления о государстве, как общенародном и общесословном органе, проводят мысль о том, что русское право формировалось под воздействием иностранных образцов. Все эти идеи, конечно, неприемлемы для советской науки. Но самый факт введения в оборот зарубежной буржуазной науки русских средневековых текстов является положительным.

Переходя от публикаций источников к их обработке в зарубежной буржуазной печати, надо остановиться: 1) на трудах обобщающего характера и общих курсах русской истории, в которых соответствующее место уделяется и проблеме образования Русского централизованного государства; 2) на монографиях и статьях по специальным вопросам этой проблемы.

За границей вышел ряд общих курсов по русской истории, принадлежащих как русским белоэмигрантам, так и иностранным авторам[3].

Как правило, авторы обобщающих работ по истории России, появившихся за рубежом, вращаются в кругу идей дореволюционной русской буржуазной историографии. Они не вводят в научный оборот новых фактов, игнорируют достижения советской исторической мысли и ищут последнее слово науки в трудах В. О. Ключевского, которые прямо противопоставляются как высшее достижение «науки» марксизму, С. Ф. Платонова, А. Е. Преснякова. Относительно белоэмигрантов надо сказать, что они не только не обогатили науку свежими идеями, но, полностью утратив чувство нового, воспроизводят в своих книгах утверждения, ненаучность которых уже давно доказана. Их работы отличаются антисоветской направленностью, что накладывает отпечаток на все их исторические построения. Теми же чертами отличаются и зарубежные издания типа опубликованной в Нью-Йорке «Иллюстрированной истории России», допускающей прямую фальсификацию истории.

---

[1] *Horace W. Dewey*, The White Lake Charter. A Mediaeval Russian administrative Statute («Speculum», Cambridge (Mass.), 1957, v. 32, January, № 1, p. 74—83).

[2] «Mediaeval Russian Laws». Translated by George Vernadsky, New York, 1947.

[3] См., например, *M. Г. Florinsky*, Russia. A History and an Interpretation, v. 1, New York, 1953 (см. рецензию на эту книгу: *И. И. Минц, Е. И. Дружинина, Л. В. Черепнин*, Лживая интерпретация истории.—«Коммунист», 1954, № 11, стр. 121—128); «A Picture History of Russia» ed. J. S. Martin, New York, 1956, 1 ed.—1945 (см. резенцию на эту книгу: *Г. З. Иоффе*, Наглядное пособие по фальсификации.—«История СССР», 1958, № 5, стр. 234—240); и др.

Некоторые зарубежные авторы (например, польский эмигрант Пашкевич)[1] обладают достаточной эрудицией. Они в курсе новейшей литературы и публикаций на разных языках, и ложность их «научных» утверждений нельзя объяснить незнанием материала. Корень ее кроется в политической тенденции и предвзятости концепции.

Еще в силе за рубежом данная П. Н. Милюковым периодизация истории России с делением на периоды «московский» и «петербургский». Этой периодизации придерживается, например, Флоринский. Еще более распространена в зарубежной историографии периодизация, так сказать, по сферам влияния. В разные эпохи русская государственность и русская культура якобы подвергались воздействию со стороны более передовых народов: сначала (в древности) — варягов, затем (с принятием христианства) — Византии, в период средневековья — монголов, начиная со времен Петра I — западноевропейских стран и т. д. С указания на смену этих сфер влияния начинается, например, книга американского историка Бакуса[2].

Конечно, при таком подходе к истории России не могут быть раскрыты социально-экономические предпосылки образования Русского централизованного государства, и процесс его складывания по существу сводится к собиранию власти московскими князьями. При этом особенно пропагандируется идея о прогрессивном значении татаро-монгольского ига для развития Северо-Восточной Руси. Так, эта идея пронизывает концепцию Вернадского, согласно которой Русское централизованное государство сложилось не в процессе борьбы с татаро-монгольским игом, а выросло непосредственно из системы монгольского властвования над Русью. Такая же концепция проводится в «Иллюстрированной истории России», изданной в Нью-Йорке[3], и т. д.

Проводя идею о прогрессивности татаро-монгольского ига, буржуазные авторы часто умаляют роль русского народа в борьбе с золотоордынским игом. Флоринский, например, называет Куликовскую битву «бесполезным эпизодом». Все эти утверждения не могут быть нами приняты, ибо они явно противоречат историческим фактам. Факты свидетельствуют о героическом сопротивлении русского народа ордынским захватчикам, установившим над Русью жестокое иго, которое тормозило ее развитие.

Из проблем социально-экономической истории Руси в период образования централизованного государства в буржуазной

---

[1] *H. Paszkiewicz*, The Origin of Russia, London, 1954.

[2] *O. P. Backus*, Motives of West Russian Nobles in Deserting Lithuania for Moscow, 1377—1514, University of Kansas Press, Lawrence, 1957.

[3] *G. Vernadsky*, and *M. Karpovich*, A History of Russia, v. 3, The Mongols and Russia, New Haven, Yale University Press, 1954, p. 355, 343, 358 — 359, 390; на эту книгу см. рецензию *Н. Я. Мерперта* и *В. Т. Пашуто* («Вопросы истории», 1955, № 8, стр. 180 — 186); «A Picture History of Russia», ed. *J. S. Martin*, New York, 1957, p. 42.

историографии рассматриваются вопросы земельной собственности[1], вотчинного землевладения и крепостного права[2]. Понятие феодализма трактуется в традиционном плане буржуазной историографии, как система правовых институтов, причем многие авторы не считают возможным говорить о феодализме в России даже в этом смысле. Так, в статье Коулборна в сборнике «Feudalism in History» феодализм определяется прежде всего как «метод управления», а не «экономическая или социальная система»[3]. Представление о феодализме ассоциируется с представлением о государственной раздробленности. Коулборн определяет феодализм как «способ возрождения общества, в котором государство оказалось в состоянии крайней дезинтеграции»[4]. Отказ от научного подхода к феодализму как системе производственных отношений означает непризнание буржуазными авторами объективных закономерностей исторического развития и революционного характера смены общественно-экономических формаций.

Надо сказать, что трактовка феодализма как чисто политического института не удовлетворяет уже некоторых буржуазных историков. Так, в книге Гайеса, Болдвина и Кола феодализм характеризуется не только как «форма управления», но и как «экономическая система, основанная на земельном держании»[5].

В сборнике «Feudalism in History» помещены статьи, касающиеся специально проблемы феодализма в России. Это статьи Коулборна «Россия и Византия» и Шефтеля «Аспекты феодализма в русской истории». Оба автора пытаются доказать, что ни Киевская Русь IX — XII вв., ни Русь XIII — XV вв. не были феодальными. Отрицает наличие феодализма в России Ельяшевич. Таким образом, правомерен вывод, что некоторые зарубежные буржуазные историки по вопросу о наличии феода-

---

[1] *В. Б. Ельяшевич*, История права поземельной собственности в России, Paris, 1948—1951.

[2] *V. Tschebotarioff—Bill*, National feudalism in Moscovy («Russian Review», New York, 1950, v. 9, № 3, p. 209—218); *G. Vernadsky*, Feudalism in Russia («Speculum», 1939, vol. 14, № 3, p. 300—323); *его же*, The Royal serfs («Speculum», Cambridge (Mass.), 1951, vol. 26, № 2, p. 225—264); *его же*, Serfdom in Russia («Comitato Internazionale di Scienza Storiche X Congresso Internazionale. Relazioni», 1955, vol. III, p. 247—272); *A. Eck*, L'asservicement du paysan russe.—В кн.: «Le servage», изд. в серии: «Recueils de la Société Jean Bodin», Bruxelles, 1937, p. 243—264; *его же*, Le grand domaine dans la Russie du Moyen âge («Revue historique du Sud-Est Européen», 1944, t. XXI, p. 101); *его же*, «Le Moyen Age russe», Paris, 1933; «La formation de la propriété rurale dans la Russie du Moyen âge» («Archives d'histoire du droit oriental», Bruxelles, 1948, t. III).

[3] «Feudalism in History», ed. by Rushton Coulborn, Princeton, 1956, p. 4. См. рецензию на эту книгу: *М. Я. Лойберг, В. Я. Шляпентох, Б. В. Виленский*, Проблемы русского феодализма в сборнике «Feudalism in History» («История СССР», 1958, № 4, стр. 190—195).

[4] «Feudalism in History», p. 364.

[5] *C. J. Hayes, M. W. Baldwin, C. W. Cole*, History of Europe, New York, 1956, p. 160.

лизма в России стоят на позициях исторической науки времени, предшествующего даже появлению работ Н. П. Павлова-Сильванского[1].

Распространена в буржуазной историографии давно опровергнутая советскими историками теория «перегнивания» Руси городской в сельскую, деревенскую[2].

Проблема происхождения крепостного права трактуется в буржуазной историографии по преимуществу в соответствии с точкой зрения В. О. Ключевского, как результат закрепощения свободных крестьян-арендаторов. Так, в докладе «Крепостное право в России», сделанном на X Международном конгрессе историков в Риме, Вернадский вопреки историческим фактам защищал теорию свободы перехóда крестьян в России до конца XVI в. Крепостное право, с его точки зрения, возникло под влиянием государственных потребностей[3]. В то же время Вернадский говорит о появлении на Руси под влиянием монголов «полукрепостничества» (имеются в виду некоторые категории зависимого населения)[4].

В полном противоречии с историческими фактами изображается происхождение крепостничества в работах Д. Блюма. Связывая возникновение крупного землевладения с деятельностью пришлых варягов, он рисует взаимоотношения землевладельцев и крестьян как отношения собственников к арендаторам-рабочим. В полемике с Б. Д. Грековым Блюм оспаривал без всяких конкретных аргументов марксистское положение о том, что с зарождением феодальных отношений появляется и зависимость крестьян от феодалов[5]. В буржуазной историографии распространена точка зрения П. Струве, трансформировавшего антинаучные построения Милюкова о том, что возникшее в России в XVI в. так называемое литургическое государство закрепостило все сословия, одинаково как дворян, так и крестьян[6]. Тем самым извращается действительная роль государства, являвшегося органом власти господствующего класса над народом.

Значительное место в зарубежной буржуазной историографии занимает проблема истории церкви в период образования Русского

---

[1] Приближается к признанию феодализма (в буржуазном понимании этого термина) на Руси I. Spector («An Introduction to Russian History and Culture», Toronto, 1950).

[2] *A. Eck*, Le grand domaine dans la Russie du Moyen âge и др. работы.

[3] *G. Vernadsky*, Serfdom in Russia; см. *Н. М. Дружинин*, Проблемы истории СССР на X Международном конгрессе историков в Риме («Исторические записки», 1956, № 55, стр. 8—9).

[4] *G. Vernadsky*, The royal serfs (servi regales) of the «Ruthenian Law» and their origin» («Speculum», 1951, v. 26, № 2, p. 255—264).

[5] *J. Blum*, The rise of serfdom in Eastern Europe («American Historical Review», New York, 1957, v. 62, № 4, p. 807—836); *его же*, The harly history of the Russian Peasantry («Journal of Economic History», 1953, v. 11, New York).

[6] «Feudalism in History» и др.

централизованного государства. Ставится в реакционном плане вопрос о взаимоотношении церкви и государства[1].

Некоторые эти работы отличаются реакционной идеологией. Так, Медлин доказывает, что в России якобы по византийскому «рецепту» сложилось «христианское государство». Создателем его было якобы духовенство. «Схема централизованного православного русского государства» существовала в умах духовенства и в период политической раздробленности на Руси. Эта «схема» определяла политику князей. Образование централизованного государства означало воплощение в действительность идеи «религиозной и политической целостности русской нации»[2]. Перед нами не просто идеалистическая трактовка истории. Здесь явно враждебная русскому народу тенденция, заключающаяся в стремлении принизить роль русской нации, самое существование которой якобы было обусловлено развитием православия и самодержавия. Выдвижение подобного тезиса означает фальсификацию истории.

Попытка дать чисто религиозное обоснование проблеме народности и нации имеется в книге Пашкевича[3]. Термины «Русь», «Русская земля» Пашкевич считает не этническими, а чисто религиозными. Прийти к подобному выводу можно было только в результате намеренного игнорирования показаний многочисленных источников.

Одной из излюбленных тем буржуазной зарубежной историографии является внешняя политика России[4].

---

[1] *S. H. Cross*, Mediaeval Russian Shurches, Cambridge (Mass.), 1949; *W. K. Medlin*, Moscow and East Rome. A Political Study of the Relations of Church and State in Muscovite Russia, Geneve, 1952 («Etudes d'histoire économique, politique et sociale», 1); *J. Mirtschuk*, Rom, Byzanz und Moskau in Kampf um die geistige Führung in Osteuropäischen Raum («Münchener Beiträge zur Slavenkunde», München, 1953, S. 24—41); *его же*, Geistes-geschichtliche Voraussetzungen der Theorie des III Rom. Im «Sammelband der Apostolischen Vistatur», München, 1955; *D. Obolensky*, Russias Byzantine Heritage («Oxford Slavonic papers», Oxford, 1950, vol. 1); *Günther Stökl*, Die politische Religiosität des Mittelalters und die Entstehung des Moskauer Staates («Saeculum», Bd. 2 ,1951, Heft 3, Freiburg, S. 393—415); *C. Toumanoff*, Moscow the third Rome («The Catholic Historical Review», vol. XL, № 4, January, Washington, 1955); *O. Halecki*, The Ecclesiastical Separation of Kiev from Moscow in 1458 («Studien zur älteren Geschichte Osteuropas», Teil 1, Graz—Köln, 1956, S. 19—32).

[2] *W. K. Medlin*, Moscow and East Rome. A Political Study of the Relations of Church and State in Muscovite Russia, Genéve, 1952, p. XIII—XIV, 45—46, 59, 61, 91. См. также статью С. М. Каштанова: «Об идеалистической трактовке некоторых вопросов истории русской политической мысли в зарубежной историографии» («Византийский Временник», т. XI, М., 1956, стр. 308—324).

[3] *H. Paszkiewicz*, The Origin of Russia, London, 1954.

[4] *H. Pasrkiewicz*, Jagellonswie a Moskwa, Warszawa, 1933; *H. Fleischhacker*, Die Staats — und völkerreichlich Grundlagen der Moskauer Aussenpolitik (14—17 Jahrhundert) («Jahrbücher für Geschichte Osteuropas», Beiheft 1. Breslau, 1938); *J. Smolitsch*, Zur Geschichte der russischen Ostpolitik des 15 und 16 Jahrhunderts («Jahrbücher für Geschichte Osteuropas», 1941, Berlin, Jg. 6, Heft 1, S. 55—84); *H. Lamb*, The March of Moscovy Ivan the Terrible

В ряде работ буржуазных авторов имеются интересные данные, касающиеся, например, взаимоотношений Руси с Польшей, Литвой, Орденом и т. д. Но исследования некоторых зарубежных буржуазных авторов содержат явно ложное утверждение о том, что внешняя политика Русского централизованного государства была якобы с самого начала агрессивной, захватнической. Ставятся такие, например, проблемы исследования: «Империализм в славянской и восточноевропейской истории». Проводятся дискуссии на тему: «Была ли Московская Русь империалистической»[1].

Некоторые авторы усматривают непосредственную связь между агрессивным (по их мнению) характером внешней политики России и теорией «Москва — третий Рим» как идеологическим оправданием агрессии. Так, Туманов видит в «третьеромизме» сочетание древнеиудейского «мессианизма» и вавилонского «империализма». Результатом этого является якобы «диалектика агрессии», характеризующая внешнюю политику России[2]. Это — чисто умозрительное построение, не считающееся ни с какими историческими фактами. А факты, которые позволили бы говорить об агрессии Руси в рассматриваемое время, отсутствуют.

Я не ставил своей задачей дать полный обзор буржуазной историографии по вопросу образования централизованного государства на Руси. Хотелось прежде всего отметить те неверные представления об этом процессе, которые бытуют еще за рубежом. Опровержение хотя бы некоторых из этих представлений на конкретном материале источников является одной из задач данной книги.

---

and the Growth of the Russian Empire. 1400—1648, New York, 1948; *K. Forstreuter*, Preussen und Russland von den Anfängen des Deutschen Ordens bis zu Peter dem Grossen, Göttingen, 1955; *H. Jablonowski*, Westrussland zwischenWilna und Moskau. Die politische Stellung und die politische Tendenzen den russichen Bevölkerung des Grossfürsten Litauen im 15 Jahrhundert, Leiden, 1955; *Oswald P. Backus*, Motives of West Russian Nobles in Deserting Lithuania for Moscow 1377—1514. Lawrence, Kansás, 1957.

[1] *O. Halecki*, Imperialism in Slavic and East European History («The American Slavic and East European Review», New York 1952, v. XI, № 1, p. 1—26); *Oswald P. Backus*, Was Muscovite Russia imperialistic? («American Slavic and East European Review», New York, vol. XIII, № 4, 1954, p. 522—534).

[2] *C. Toumanoff*, Moscow the Third Rome, p. 447. См. указ. рецензию С. М. Каштанова, стр. 321. Стремоухов отрицает «агрессивность» теории «Москва—третий Рим», характеризуя ее как «имперскую», но не «империалистическую», см. *D. Stremoukhoff*, Moscow the Third Rome: Sources of the Doctrine («Speculum», Cambridge (Mass.), 1953, January, XXVIII, № 1, p. 101, note 96).

Глава II

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

§ 1. Феодальная раздробленность на Руси в XIV—XV вв.— тормоз развития сельского хозяйства

Феодальная раздробленность являлась большим тормозом для развития сельского хозяйства. В летописных сводах встречаются (причем в новгородских и псковских летописях — довольно часто) сведения о неурожаях, приводивших к повышению цен на хлеб, а в ряде случаев — к страшному голоду. Внимательно присматриваясь к этим сведениям, убеждаешься, что причины голода кроются не только в природных явлениях, в зависимости от которых находится земледелие, не только в низком уровне сельскохозяйственной техники, но и в общих условиях социально-экономического и политического развития Руси.

В обстановке экономической замкнутости отдельных русских земель, усугубляемой наличием политических перегородок между ними, в случае неурожая в какой-либо части Руси ее население иногда оказывалось на грани вымирания. Поступление же хлеба из других частей страны было затруднено в силу ряда причин общего характера (хозяйственная изолированность земледельческих районов, отсутствие между ними постоянных связей, наличие таможенных границ между княжествами, политика местных князей, враждебная своим соседям) и специфических условий данного момента (феодальные войны, набеги татаро-монгольских военных отрядов, нападения литовских феодалов и немецких рыцарей и т. п.).

Особенно плохо приходилось населению тогда, когда голод поражал значительную территорию Руси. Перспектива голодной смерти заставляла население сниматься с насиженных мест и бежать в соседние, а то и отдаленные районы в поисках пропитания. Кроме того, зажиточная часть населения (феодалы, крупные купцы) начинала скупать и перепродавать по вздутым ценам зерно. Масса народа погибала. Чрезвычайно показательную в этом отношении, запоминающуюся картину рисуют летописи, описывая голод 1422 г. Он коснулся всей Русской земли и продолжался три

года: «того же лета, разгневанием божиим, умалися хлеба, и бысть драгость по всей земли Руси на три годы»[1]. Согласно Симеоновской летописи, люди ели падший скот, лошадей, собак, кошек, всякую падаль, сохранились даже известия о случаях людоедства («...инии же и мертвыа скоты ядаху, и кони, и псы, и кошкы, и люди людей ядоша»). Цены на зерно неимоверно подскочили. В Москве за оков ржи брали рубль, в Костроме—2 рубля, в Нижнем Новгороде—6 рублей. В Кашине оков ржи стоил полтину. В Новгороде Великом от голода умерло столько народа, что трупы заполнили три «скудельницы». Многие бежали в Литву, но смерть настигала их в пути. Стояла к тому же страшно холодная зима, и на дорогах лежали трупы замерзших и погибших голодной смертью[2].

Подробности о голоде 1422 г. и ближайших лет содержатся в Псковской второй летописи, в которой говорится, что голодало население земель Новгородской, Московской, Тверской. Хлеб был настолько дорог, что за одну ковригу люди платили по полтине или отдавали снятую с себя одежду, не останавливались перед любой ценой, чтобы получить хоть немного ржи («а ржи наша четверетка, чего кто запросил, а инии с усердием даваху»). Но купить зобницу ржи или овса было почти невозможно. Смертность была повальная. В Пскове оказались запасы старых лет («А в Пскове тогда бяше старых лет клети всякого обилиа изнасыпани на Крому»). Поэтому в Псков хлынул народ с разных сторон («и поидоша ко Пскову новгородци, корела, чюдь, вожани, и тферичи, и москвичи, и простореци с всей Русской земли»). В городе и окрестностях скопилось громадное число народа. В то же время в Пскове, его пригородах и волостях началась скупка ржи для вывоза за границу. Цены на хлеб еще более поднялись. Псковское правительство запретило продажу хлеба за рубеж. Псковские власти стали изгонять пришлых людей. Многие пришельцы вынуждены были разойтись, а из тех, кто остался, большинство перемерло. Едва успевали хоронить покойников. «...И накладоша тех пустотных в Пскове 4 скуделници, а по пригородом и по волостем или по могыльем в гробех покопано, то тем и числа нет»[3].

В ярком изображении летописца наглядно выступает феодально-раздробленная Русь с ее оторванными друг от друга (экономически и политически) областями и княжествами (я пока отрешаюсь от того факта, что уже происходил процесс политического объединения Руси). В условиях подобной расчлененности страны сельское хозяйство в ее земледельческих районах могло, худо ли, хорошо ли (да и то не всегда), прокормить население этих районов. Но в случае неурожаев территория, ими пораженная, оказывалась в замкнутом кругу, и население вставало лицом к лицу перед голодной смертью.

---

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 35; вып. 2, стр. 38—39.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, СПб., 1913, стр. 166; т. XV, СПб., 1863, стр. 188.
[3] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 38—39.

Разными своими сторонами феодальная раздробленность мешала росту земледельческой культуры. При рассмотрении летописных известий о голодных годах не может не броситься в глаза, что в ряде случаев на те же годы, в которые на Руси был голод, падают и междукняжеские усобицы. Конечно, иногда — это простое совпадение. Но иногда между указанными явлениями имеется взаимосвязь. Ее нельзя понимать только примитивно и упрощенно. Летописи часто отмечают природные факторы, определявшие неурожаи. И отрицать их роль было бы нелепо. Но надо иметь в виду, что они усугублялись факторами социально-политическими. А совокупное действие тех и других особенно сильно разрушало народное хозяйство. Бичом для него были феодальные войны.

Сильные неурожаи были на Руси в начале XIV в. В 1303 г. теплая бесснежная зима привела к тому, что в Новгородской и Псковской землях хлеб не уродился, а поэтому цены на хлебные продукты стояли в этом году весьма высокие и населению приходилось очень тяжело[1].

Под 1309 г. летописи отмечают неурожай и голод («меженина зла и глад крепок») как бедствия, от которых пострадала вся Русь и которые были вызваны тем, что «мышь поела рожь, и овес, и пшеницу, и всякое жито...» Следует вспомнить, что указанные годы были как раз временем острой политической борьбы между московскими и тверскими князьями—борьбы, ведя которую Юрий Данилович, князь московский, и Михаил Ярославич тверской не стеснялись в средствах и которая приносила много бед городскому и сельскому населению, отражалась на состоянии их хозяйства, мешала их мирному труду; стремясь захватить побольше земель, князья расширяли арену военных действий. Чтобы нанести ущерб своим противникам, отдельные князья прибегали к таким приемам, как прекращение путем насилия подвоза хлеба в те русские области, которые в нем нуждались. Так, в 1312 г. тверской князь Михаил Ярославич, начав войну с Новгородом, не пропускал в новгородские пределы хлебных запасов[2].

Чрезвычайно важным материалом для изучения социально-экономической и политической истории Руси XIV—XV вв. служат цены на продукты (и прежде всего хлебные), приводимые летописями за разные годы. Они интересны с разных сторон, в том числе важны и для решения вопроса о влиянии феодальной раздробленности на состояние земледелия.

Обычно, когда в летописях говорится о продаже хлеба по дешевым ценам в той или иной из русских земель, то это часто означает одновременно, что такая-то земля в данный момент не втянута в феодальные усобицы и не подвергается нападениям внешних врагов. Так, под 1342 г. в летописи содержится известие о дешевизне

[1] НПЛ, стр. 91, 331; «Псковские летописи», вып. 1, стр. 14; вып. 2, стр. 22, 88.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 87; т. XXIII, СПб., 1910, стр. 97; НПЛ, стр. 94, 335.

хлеба в Новгороде («...хлеб бысть дешев...»), хотя в то же время там был падеж скота[1]. Новгородская земля не была в этом году охвачена феодальными войнами, не нападали тогда на Новгород и ливонские немцы, шведские захватчики или другие неприятели.

Обилие хлеба в Псковской земле (несмотря на дождливое лето) летопись отмечает в 1455 г.: «того же лета много дождя бысть вельми, наполнишася реки аки весне, а хлеба бог умножи». Это было время, когда Псков находился в мирных отношениях и с Великим Новгородом и с московским правительством (в 1455 г. московский великий князь Василий II побывал в Пскове). Хотя в 1453 г. мороз побил значительную посевную площадь в Псковской земле, это не вызвало длительных осложнений с продовольствием[2].

Низкие цены на ряд продуктов, в том числе и на хлеб, сохранялись в Пскове и в 1464—1467 гг. Зобница ржи стоила 17—18 денег, зобница овса—7—8 денег, пуд соли—3 деньги. Мед продавался из расчета 7 пудов за полтину. Неустойчивыми были лишь цены на хмель—от 120 до 15 денег за зобницу[3]. И в эти годы у Псковской республики не было серьезных политических и внешнеполитических осложнений ни с правительствами отдельных русских земель, ни с иностранными государствами.

Под 1468 г. псковский летописец с исключительным вниманием к подробностям сельскохозяйственной жизни рассказывает, что с июля месяца, как только была сжата рожь, пошли дожди, которые продолжались четыре месяца. Реки, ручьи, «болонья» заполнились водой, как весной. У крестьян «много по полю вершеи погнили». Траву «по рекам и по ручьям отняло». Сельские жители из-за дождей не могли производить посев ржи, и это очень тяжело отражалось на хозяйстве крестьян. Но отрицательные для народного хозяйства последствия дождливого 1468 г. были быстро ликвидированы, и уже под 1469 г. псковский летописец замечает: «того же лета дал бог во Пскове хлеб и все сполу дешево, а со всех сторон мирно и тишина велика»[4]. Очень характерно, что сам летописец прекрасно понимает, что хлеб подешевел не только потому, что был снят хороший урожай, но и потому, что политические условия позволили этим урожаем воспользоваться.

В 1476 г. природа не благоприятствовала псковским крестьянам. С осени пошли большие дожди, мешавшие жатве («...в осень дожчя сло много, ино христиане по селом многи по всем волостем ржи не жяли...»). Но хлеб не вздорожал. Четвертка ржи стоила в этом году 4,5 деньги, зобница овса—6 денег. За 11 пудов меду брали полтину[5]. В связи с этим интересно отметить, что в 1476 г., когда в Новгороде великий московский князь Иван III производил

---

[1] НПЛ, стр. 354.

[2] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 51—52; вып. 2, стр. 49, 140—141.

[3] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 71, 73; вып. 2, стр. 54, 159, 163—164.

[4] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 165, 167.

[5] Там же, стр. 200.

расправу с враждебными ему представителями боярства, политическая и внешнеполитическая обстановка для Пскова создалась благоприятная.

Феодальные усобицы или военные осложнения сразу отражались на уровне хлебных цен в той или иной из русских земель. В этом отношении хлебные цены могут служить как бы термометром, в известной мере (с учетом других обстоятельств) определяющим градусы политической температуры в разное время в различных княжествах раздробленной Руси.

В 1371 г. было знойное лето, так что хлебные посевы все высохли («бяше же тогда лето сухо, жито посохло, а лесове и борове и дубравы и болота погаряху, инде же земля горяше»). Но «дороговь велика», «меженина в людех», «оскудение брашна» объясняются не только исключительной жарой, но и тем, что в 1371 г. уже не первый год шла война между Московским и Тверским княжествами, во время которой тверской князь Михаил Александрович наводил на Русь и литовские полки[1].

Под 1407 г. в Псковской летописи приведены цены на хлеб и соль: зобница овса тогда стоила гривну, 3 меры ржи — полтину, пуд соли—гривну и 8 мордок, «а сено дорого велми, а веник по мордке бяше». Цены определены в летописи из расчета равенства полтины серебра 15 гривнам. Нельзя сказать, что названные цифры свидетельствуют о сильной дороговизне хлебных продуктов. Однако их стоимость выше, чем в некоторые другие годы, относительно которых сохранились сведения. И это, вероятно, находится в связи с довольно сложной внешнеполитической обстановкой, в которой оказалась Псковская республика в 1407 г., воевавшая с Литвой, Орденом, имевшая ряд столкновений с Новгородским государством: «И бысть псковичемь тогда многыя скорби и беды, ово от Литвы, а иное от немец и от своея братья от Новагорода...»[2].

Хлебный рынок в Пскове в 1499 г. летописец считает дорогим, называя следующие цены: четвертка ржи — 9 денег, четвертка овса — 4 деньги, четвертка жита—6 денег, зобница пшеницы—50 денег; мех соли стоил менее 40 копеек[3]. В этом году у псковского правительства произошел конфликт с Иваном III в связи с тем, что он назначил в Псков князем своего сына Василия III, против чего псковские бояре протестовали. В Москве были арестованы псковские послы. Конечно, неправильно было бы утверждать, что эти политические осложнения повлияли на уровень хлебных цен непосредственно. Но косвенное влияние (в результате политической изоляции Псковской республики от Русского государства и его центра—Москвы) могло быть, ибо такая изоляция усугубляла хозяйственную замкнутость.

В годы, когда в одних частях Руси свирепствовали феодальные войны, в других, лежащих в стороне от территории, на кото-

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 111.
[2] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 34.
[3] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 83; вып. 2, стр. 252, 292.

рой подобные войны происходили, и свободных от их разрушающего воздействия на народное хозяйство, земледелие развивалось нормально и на рынке можно было дешево купить зерновые товары. В этом отношении очень показательна кривая хлебных цен на псковском рынке на протяжении 1425—1428 гг. Такая кривая говорит о падении цен на хлеб, следовательно, о том, что сельское хозяйство велось в Псковской земле в благоприятных условиях. Но если вспомнить, что как раз в данные годы в центральных районах Руси началась крупная, длительное время продолжавшаяся и разорительная для населения феодальная война, поднятая князьями Галицкого княжества, то станет ясным, что в Псковской области земледелие могло поступательно развиваться лишь потому, что Псковская республика не участвовала в этой войне. Поэтому в 1425 г. в Пскове уже были несколько изжиты последствия голода 1422 г. Если в 1422 г. на полтину покупали 2,5 зобницы ржи, то теперь на эту же сумму можно было купить 5 зобниц ржи. В 1427 г. положение с продовольствием в Пскове улучшилось еще более благодаря хорошему урожаю этого года («того лета умножи бог всякого обилья...»). В полтину оценивались уже 7 зобниц ржи. Мясо продавалось из расчета 3 яловицы на полтину. В 1428/29 г. цены на рожь снова упали: полтину платили теперь за 8—9 зобниц ржи[1]. К указанному времени как раз окончилась война Псковской республики с великим князем литовским Витовтом, и это обстоятельство не могло не отразиться благоприятно на состоянии хлебного рынка в Пскове.

Урожайным для Псковской земли был 1434 год. Сообщая об этом, псковские летописи сравнивают положение псковских жителей с положением населения Прибалтики, где в то же время свирепствовал голод («...В Немецкой земли бысть глад и хлеб дорог вельми, а во Пскове у святей Троицы дал бог хлеба много»). По первой Псковской летописи, зобница ржи стоила в 1434 г. 9 денег, по второй — на полтину можно было приобрести 13 зобниц ржи. Конечно, параллельные данные о дороговизне хлеба в Прибалтике интересны. Но еще, может быть, интереснее и важнее для нас другое обстоятельство. Обилие хлеба в Пскове наблюдалось как раз тогда, когда в центре Руси происходила жестокая междукняжеская усобица и Москва дважды переходила во владение галицкого князя Юрия Дмитриевича, изгонявшего оттуда великого московского князя Василия Васильевича II. Это, в частности, отметил и псковский летописец: «...князи рускии воюются и секоутся о княженьа великоа Роускоа земли»[2]. Только отдаленность Псковской земли от арены этой кровопролитной схватки и нейтралитет псковского правительства в феодальной войне объясняют то, что последняя не повлияла на уровень хлебных цен в Пскове.

---

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 39—40, 42—43, 124.
[2] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 42; вып. 2, стр. 44, 128—129.

Мы не знаем, с какими бедствиями население Русской земли столкнулось в результате очень сильной засухи 1431 г. («тогда же засуха велика была, земля и болота горели, мъгла же стояла шесть недель, яко и солнца не видети, и рыбы в воде мерли...»)[1] Но можно подозревать, что эти бедствия были весьма велики, особенно если принять во внимание, что последствия неизбежного в условиях засушливого лета неурожая население должно было переносить в обстановке изнурительной феодальной войны.

В 1435 г. летописи говорят о неурожае и в центральной Руси («весна была тепла, а лето студено, и мокро, и никакое жито не родилося с тех мест; меженина после мору...»)[2], и в Псковской земле, где мороз побил рожь, и поэтому «бысть убыток крестианом хлебом»[3]. Но последствия недорода для этих разных районов Руси были неодинаковы в силу различия в данное время их политической обстановки. Жаркая весна, холодное и дождливое лето в Северо-Восточной Руси привели к тому, что хлеб не уродился, а ряд районов Русского государства был настолько разорен феодальной войной, что справиться с этим бедствием крестьянскому хозяйству было не под силу.

Феодальные войны являлись громадным препятствием для нормального развития сельского хозяйства, так как во время этих войн варварски уничтожались посевные площади. В 1372 г., когда на Русь напали литовские войска в союзе с тверским князем Михаилом Александровичем, последний взял город Дмитров, литовская же рать подошла к Переяславлю, «посад около города и церькви и села пожгоша, а... жита потравиша...»[4] Описывая поход московских войск на Тверь в 1375 г., летописец говорит, что они «учиниша все волости Тверские пусты... а жита потравиша...»[5]

В 1465 г. имела место усобица между Новгородом и Псковом. Псковичи завладели землями новгородской архиепископии («отняша землю и воду владычню»). Новгородское правительство заключило союз с Ливонским орденом. Тогда из Пскова в Новгород было направлено посольство, которое заявило, что псковское правительство возвращает отнятые у архиепископа земли и воды, что же касается собранного хлеба, то он возвращен не будет[6].

В 1480 г., во время усобицы между Иваном III и его братьями — удельными князьями Андреем и Борисом Васильевичами, последние, «отъехав» от великого князя, прибыли в Псков. Поскольку псковские власти боялись, что это обстоятельство может вызвать политические осложнения Пскова с московским правительством, они не согласились дать у себя приют семьям удельных князей. Тогда последние распустили по волостям свое войско,

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 147.
[2] Там же, стр. 149.
[3] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 45, 130.
[4] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 144.
[5] ПСРЛ, т. XXIV, Пг., 1921, стр. 131.
[6] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 72, 160—161.

численность которого летописец определяет примерно в 10 тысяч, причинили много бед населению: «и тако много волостей повоеваша, аки неверии.., и пленивше, многих сведоша, а от скоту не оставиша ни куряти, токмо огнем не жгоша, ни оружием не секоша, не противишася бо им никто же»[1].

Тяжелый урон сельскому хозяйству наносили нашествия татаро-монгольских феодалов и тем, что их полчища топтали и выжигали поля с хлебными культурами, и тем, что они грабили русских крестьян, отбирая у них все зерно, и тем, что в результате этих нашествий нарушались нормальные торговые связи между русскими землями. Так, в год нашествия на Русь Едигея там «дороговь бысть велика всякому житу», «множество христиан изомроша от глада», а продавцы хлеба («житопродавци») разбогатели[2].

В 1411 г. нижегородские князья подвели татарское войско под Владимир, который был страшно разграблен. В какой-то связи с этим разорением Владимиро-Суздальской Руси находится и скачок цен на хлеб в Нижнем Новгороде в 1412 г. Названный год, по летописи, был голодным, причем половник ржи стоил «по сороку алтын и по 400 старыми денгами»[3].

Урон сельскому хозяйству Псковской и Новгородской земель наносили набеги ливонских рыцарей. В 1496 г. немецкий лазутчик Чухно, «закратчися» в Псков, поджог Кремль («Кром»), «и клетей много погорело, и ржы много, и платья». После того как пожар был приостановлен, «рожь горелую ссыпали в малые воротца на Пскову реку»[4].

Из летописных памятников видно, как даже в урожайные годы плоды урожая не могли быть реализованы из-за начинающихся в это время войн. Мало того, в военное время посевы гибли под копытами коней своих же русских воинов. В 1403 г. в Псковской земле хлеба уродилось много. Достаточно хлеба было собрано и в 1404 г. Но у Пскова произошли военные осложнения с ливонскими рыцарями, и псковичи в 1403 г. выступили в поход, травя хлеб на корню на своей же территории: пошли они «к Новому городку немецькому, жита потроша на своеи земли»[5].

Итак, в условиях феодальной раздробленности земледелие не могло развиваться нормально. Эти условия оказывали сковывающее действие на дальнейший рост сельского хозяйства. Ликвидация же раздробленности должна была явиться стимулом для подъема производительных сил.

Надо остановиться еще на одном чрезвычайно существенном моменте. Постоянные неурожаи и голодовки разоряли крестьянское хозяйство. Оно теряло свою производительность. На этой почве разыгрывались серьезные социальные конфликты. Крестьяне

---

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 62.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 159.
[3] ПСРЛ, т. XV, стр. 486.
[4] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 82.
[5] Там же, стр. 27; вып. 2, стр. 110—111.

выступали против феодалов, как класса, осуществлявшего социальное и политическое господство в обществе, объективно борясь за возможность расширения своего хозяйства в условиях феодализма, но уже не в тех рамках, которые на данном этапе истории феодальной формации были поставлены политической раздробленностью страны. И классовая борьба крестьянства способствовала ликвидации раздробленности. В этом ее прогрессивное значение. Образование централизованного государства должно было создать больший простор для роста производительных сил в сельском хозяйстве. Но плоды этого роста производительных сил были использованы феодалами. Падение раздробленности и создание единого государства объективно означало усиление крепостнической системы.

Под 1314 г. новгородские летописи говорят о вздорожании хлеба в Новгороде. Некоторые подробности о голоде этого времени сообщают и псковские летописи: мороз побил посевы, хлеб подорожал («и бысть драгость люта, по пяти гривен зобница») и в течение долгого времени народу приходилось очень тяжко. В какую-то связь с повышением цен на хлебные продукты новгородский летописец ставит волнения в Пскове, выразившиеся в разгроме (очевидно, деревенской и городской беднотой) сел и городских дворов и кладовых, принадлежавших зажиточным людям: «почали бяху грабити недобрии людие села и дворы в городе и клети на городе». Собственно это было настоящее антифеодальное выступление. До 50 его участников было перебито псковскими властями. Только в результате этих суровых репрессий господствующий класс заставил население прекратить на какое-то время классовую борьбу («и потом бысть тихо»)[1].

Сильный неурожай («меженина велика») и как его следствие—«дороговь, и глад хлебныи, и скудота всякого жита...» в 1332 г.[2], очевидно, были одной из причин обострения в это время классовых противоречий в Новгороде. Там восстали «крамолници», сместили посадника, «пограбили» боярские дворы и села[3].

Одно из серьезных народных волнений описывает летопись под 1443 г. «Та же зима была студена, а сено дорого»,—рассказывает летописец. В ряде областей Русской земли и особенно в Твери в течение двух лет был сильный голод. На тверском рынке оков ржи продавался сначала по 16 алтын, потом—по 26 алтын, козлец сена—по 12 алтын. «Скот померль, а люди мерли по улицам». Большое число «голодников» двинулось из Тверской земли в Можайск. Князь «велел был их кормити», но возбужденные люди «хотели и пристава самого съести». Народ стал «с голоду мерети» в таком количестве, что трупами были наполнены «три скуделница».

---

[1] НПЛ, стр. 94, 335—336; «Псковские летописи», вып. 1, стр. 14; вып. 2, стр. 22, 88.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 91; т. XXIII, стр. 104, т. XXIV, стр. 116.

[3] НПЛ, стр. 99.

В качестве одного из проявлений всеобщего возбуждения летописец указывает случай, когда в Можайске «хлебника мужика сожьгли...»[1].

Серьезная классовая борьба, развернувшаяся в Новгороде в 1445/46 г., не может быть понята в полной мере, если не учесть, что там в течение десяти лет свирепствовал голод. Несмотря на некоторое колебание цен на хлеб в этот период, они в целом стояли на высоком уровне. «А в Новегороде хлеб дорог бысть не только сего единого году, но всю десять лет: по две коробьи на полтину, иногда боле мало, иногда менши, иногда негде купить...»[2] Летопись отмечает в связи с вздорожанием хлебных продуктов страшное обнищание и усиление смертности населения, участившиеся его побеги за пределы Новгородского государства, распространившуюся самопродажу в рабство («И бысть скорбь и туга християном велми, толко слышати плачь и рыданье по улицам и по торгу; и мнозе от глада падающе умираху, дети пред родители своими, отци и матери пред детьми своими; и много разидошася: инии в Литву, а инии в Латиньство, инеи же бесерменом и жидом ис хлеба даяхуся гостем»). Наконец, летопись указывает и на углубление в это время классовых противоречий, если не вызванное голодом, то происходившее под его влиянием. Формы классовой борьбы были разнообразны, но некоторые из них («грабежи» в городе и по селам, т. е. насильственное отнятие продуктов у зажиточных людей — феодалов, крупных купцов) прямо указывают на то, что народ не мог дальше выдерживать голода.

Известны народные волнения в Пскове на почве недостатка или дороговизны хлебных продуктов. В 1458 г. в Пскове была увеличена хлебная мера—зобница, следовательно, уменьшилась реальная стоимость зерна на рынке (при сохранении той же номинальной его стоимости). Кроме того, к зобнице была привешена специальная «палица» для контроля ее вместимости. Характерно, что всех этих нововведений народ добился в результате открытого выступления на вече, «избиения» старых посадников и выбора нового. Правда, через некоторое время, в 1463 г., псковичи потеряли право контроля объема мер сыпучих тел, так как находившийся в это время у власти посадник «отнял у ползобенья палицу»[3].

В исторической литературе уже давно стало предметом серьезного изучения антифеодальное восстание горожан и смердов в Пскове в 1484—1486 гг. Здесь мы укажем на то, с каким пристальным вниманием псковские летописи описывают состояние земледелия (в связи с природными явлениями) в эти годы, очевидно, усматривая прямую связь между урожайностью и уровнем крестьянского хозяйства, между уровнем крестьянского хозяйства и социальными отношениями. Соответствующие места летописного текста заслу-

---

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 491—492; т. XXIII, стр. 151.
[2] НПЛ, стр. 425.
[3] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 55; вып. 2, стр. 50, 143—144, 151.

живают того, чтобы их привести подробно, ибо они показательны и для характеристики того интереса, который проявляли современники к вопросам возделывания хлебных злаков, а следовательно, в какой-то мере и для характеристики роли земледелия в экономике страны. Наконец, очень важны летописные сведения о том, что в ряде районов Псковской земли в рассматриваемые годы был неурожай — это существенно для понимания развернувшегося тогда движения смердов.

В июне 1484 г., по летописи, в Пскове шли большие дожди. Рожь стала цвести, «и превратися много ржи на метлу и на костер, а ярового обилиа тогда бог умножи». 24 июля выпал большой град и побил рожь и ярь[1].

Неблагоприятные природные явления 1485 г. вызвали снова недород в Псковской земле. Осенью выпал ранний снег. Затем наступили морозы, «а земля чрезо всю зиму бяше тала». По мхам и болотам «воды и грязи люты не померзли», и «по удолом, где по низкым местом, под снегом подпрел корень ржаной». Когда пришла весна, то недели три было «ведряно, и солнечно, и красно», затем внезапно наступила стужа, ржаные побеги померзли «и бысть черна земля». До июня не шел дождь, поэтому ярь, посеянная в сухую землю, не взошла. В дальнейшем в некоторых местах Псковской земли пошли сильные дожди, в других продолжалась засуха. Поэтому в одних местах был собран хороший урожай, в других собирать было нечего («и где быша дождеве, умножи бог ярового всякого обилья, а рожь инде събраша, семяна ржаныя, а инде и с избытком, а инде и жати нечего, и засеяша старою рожью»). Далее летописец называет цены на хлеб (четвертка ржи—7—8 денег, четвертка жита—5 денег, зобница овса—10—12 денег)[2].

Перед нами настоящая летопись сельскохозяйственной жизни, вдумчивая, ведущаяся с пониманием дела, с любовью к природе, с сознанием того, что земля — это источник существования и богатства. И из этого же описания всех препятствий, на которые натолкнулся земледельческий труд псковского крестьянина в 1484—1485 гг., видно, насколько был связан вопрос производства и распределения хлеба с характером классовых взаимоотношений в Псковской земле, да и в других областях. Одной из предпосылок длительных волнений псковских смердов в указанные годы был неурожай этих лет.

Итак, в XIV—XV вв. в сельском хозяйстве Руси уже отчетливо проявлялось тормозящее влияние политической раздробленности на развитие производительных сил. Это влияние особенно болезненно отражалось, конечно, на крестьянском хозяйстве, но сильно затрагивало оно и феодалов: как экономически (их тенденция к увеличению ренты объективно ограничивалась), так и в социальном отношении (обострялись классовые антагонизмы).

---

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 64—65.
[2] Там же, стр. 66—67.

Если преодоление политической раздробленности на базе феодального способа производства становилось условием дальнейшего подъема производительных сил в сельском хозяйстве, то для того, чтобы вывести Русь из состояния раздробленности, требовался в свою очередь определенный уровень производительных сил в земледелии. Этот необходимый уровень был достигнут не столько благодаря изменениям в области сельскохозяйственных орудий, сколько в результате систематического освоения русским крестьянством под пашенное земледелие (с применением трехпольной системы севооборота) массивов ранее нетронутых или длительное время не подвергавшихся обработке земель.

§ 2. Расширение площади пашенного земледелия. «Старые» села и деревни—устойчивые очаги земледелия

Я не ставлю своей задачей дать всестороннюю характеристику сельского хозяйства в Северо-Восточной Руси в XIV—XV вв. Это достаточно детально сделано А. Д. Горским. Он собрал большой документальный материал, дающий возможность составить представление о разводившихся в то время хлебных злаках (рожь, овес, пшеница, ячмень, просо, греча, горох, чечевица) и технических культурах (лен, конопля, хмель, мак). Ставя вопрос о системах земледелия, А. Д. Горский доказывает, что в XV в. в Северо-Восточной Руси все более распространялось (повсеместно) трехполье, упоминание о котором автор нашел в 38 документах (до начала XVI в.). Применялась еще в то время и подсечная система, но, как правило, она подчинялась целям пашенного земледелия с трехпольным севооборотом (участки для пашни расчищались из-под леса). Что касается вопроса о земледельческих орудиях, то А. Д. Горский убедительно показывает несостоятельность точки зрения П. П. Смирнова (получившей известное распространение в советской литературе) о появлении в XIV в. на Руси нового типа сохи—косули. Сам А. Д. Горский высказывает (на основе изучения очень ограниченного и поэтому недостаточного для выводов материала) предположение о постепенном распространении в XIV—XV вв. в Северо-Восточной Руси двузубой сохи (более легкой и более производительной, чем употреблявшаяся ранее соха трезубая). Пока это предположение можно принять только как гипотезу[1].

Отсылая интересующихся историей сельского хозяйства на Руси в XIV—XV вв. к работе А. Д. Горского, я остановлюсь лишь на тех вопросах этой темы, без которых нельзя понять процесса образования Русского централизованного государства и которые

[1] *А. Д. Горский*, Из истории земледелия в Северо-Восточной Руси XIV—XV веков, стр. 5—4.

мало освещены в литературе (в том числе и в работе А. Д. Горского).

Анализ актового материала показывает, что развитие производительных сил на Руси в XIV—XV вв. нашло отражение в росте разных типов земледельческих поселений, которые различаются в документах довольно четко и строго. Основных таких типов известно три: 1) *старые жилые поселения*—села и деревни с «тянущими» к ним участками пашенной земли, сенокосами, различными угодьями[1]; 2) *селища, пустоши*—поселения запустевшие, из которых крестьяне ушли, забросив пашню, но которые не перестают быть на учете, как подлежащие восстановлению и восстанавливающиеся[2]; 3) вновь возникающие в лесу или на пустошах поселения—*деревни* и *починки* («починки, что они ставили на лесу»; «починки, что их поставил... ново»; «починки, что они ставили сами на лесу ново»)[3].

О трех категориях поселений (существующих в данный момент или же существовавших ранее и могущих возродиться) говорят многие источники. В данной грамоте Александра Романовича Калязину монастырю 1444—1483 гг. вначале упоминается село Константиновское «с церковью и с деревнями»; затем (во вторую очередь) перечисляются деревни; в третью очередь даются названия пустошей и, наконец, следует заключительная фраза: «да что к тому селу и к деревням потягло исстари пустошей или заполиц, куде ходила моя соха, топор, коса»[4]. В перечневой выписи второй половины XV в., касающейся поселений, «тянувших» к селу Никольскому (на реке Воре) Троице-Сергиева монастыря, фигурируют деревни, пустоши, селища, починки[5]. Таких примеров можно привести неограниченное количество.

Села представляют собой населенные центры земледельческого хозяйства, ведущегося в определенных границах, обычно на старопахотных землях. За нарушение этих границ («меж») взимался штраф. Так, согласно нормам Двинской уставной грамоты 1397 г., если при пахоте или косьбе кто-либо переходил за границу своего земельного участка («а друг у друга межу переорет или перекосит на одином поле»), то с него взыскивалась соответствующая пеня—«вины боран»; за несоблюдение границ между селами пеня бралась в размере тридцати бел[6].

Как для сел, так и для старых деревень Северо-Восточной Руси в большинстве случаев характерна связь с сельским хозяйством, имеющим определенную давность. Многие села и старые деревни расположены на земле обжитой, уже давно возделанной крестьянским трудом. Интересно, что понятие села как жилого пункта

[1] АСЭИ, т. I, стр. 220, № 309; ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 29.

[2] АСЭИ, т. I, стр. 159, № 224; стр. 213, № 302; «Новгородские писцовые книги» (далее—НПК), т. IV, СПб., 1886, стр. 196, 237.

[3] НПК, т. IV, стр. 242, 285.

[4] ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 1, л. 9.

[5] АСЭИ, т. I, стр. 201, № 286.

[6] ГВНП, стр. 143, № 88.

неотделимо от представления о земле, которая к нему «тянет», в силу чего самый термин «село» иногда отождествляется с «землей». Так, в 1410—1427 гг. чернец Троице-Сергиева монастыря Есип купил у И. Ф. Карцова «Михаиловского села землю (в Угличском уезде) по рубеж». В жалованной грамоте 1425—1427 гг. Василия II Троице-Сергиеву монастырю упоминаются «земли» Костромского уезда: «В Емецкой волости Клевцовское з деревнями, да в Сорахте Фоминское з деревнями, да... в Еметцкой же волости Грунинское з деревнями». Ниже все эти три названия подводятся под понятие «сел». «Что их [монахов Троице-Сергиева монастыря] земли в моей отчине, в Бежицком Версе, в Городецком стану, село Присеки и з деревнями...»,—читаем в жалованной грамоте угличского князя Андрея Васильевича Большого 1467—1474 гг.[1]

Когда совершается купчая на половину села[2], то имеется в виду прежде всего половина земли, прилежащей к данному жилому поселку.

Аналогичные выводы можно сделать и относительно содержания понятия «деревня», неотделимого от понятия «земля». В 1456—1466 гг. Родион Салков дал Троице-Сергиеву монастырю «землю свою Чижовскую деревню, на Понизовье...». Около 50 — 70-х годов XV в. некто Матвей купил «у своего отца у Петра землю Оксиньинскую деревню». Поскольку под деревней имеется в виду не только поселение, но в первую очередь земля, постольку отчуждаются и части деревни. В одной купчей конца XIV—начала XV в. указано, что игумен Кириллова-Белозерского монастыря Кирилл купил у некоего Серка «пол-деревни Волковские да Ульянукову полосу», а «другую половину тое ж деревни купил... у Тимошки»[3].

Судя по документам XIV—XV вв., можно утвердительно говорить, что многие села и «старые» деревни Северо-Восточной Руси (особенно центра ее)—это очаги старинной земледельческой культуры на землях, давно уже возделываемых хлебопашцами. Когда речь идет о селах и деревнях, в актах обычно при этом упоминается не просто «земля», но и хлебные злаки: посевы, всходы, собранное зерно. Таким образом, понятие «села» и «деревни» как-то неотделимо от представления не только о пахотной земле, но и о производственном земледельческом процессе и о плодах земледелия.

Некоторые монастырские села в XV в. представляли собой крупные сельскохозяйственные центры. Так, в довольно значительных по тому времени размерах велось земледельческое и скотоводческое хозяйство в селе Меденском, расположенном с «тянувшими» к нему 16 деревнями на р. Тверце, принадлежавшем И. М. Крюкову-Фоминскому, а после смерти последнего в 30-х годах XV в. переданном, согласно его духовной грамоте, в Троице-Сергиев монастырь. В акте передачи земли монастырю значится 22 «лошаков болших и кобыл болших», 20 рабочих («страдных»)

[1] АСЭИ, т. I, стр. 38, № 24; стр. 52, № 49; стр. 266, № 363.
[2] Там же, стр. 33—34, № 15—17.
[3] Там же, стр. 196, № 272; стр. 203, № 283; т. II, стр. 19, № 11.

лошадей, 65 голов рогатого скота (волов, коров, телят), 130 коз и овец. В житнице имелось 700 коробей ржи, 2000 коробей овса, 50 коробей пшеницы, 50 коробей жита, 40 коробей гречи, гороху, конопли. Стоимость села с деревнями была определена в 1500 рублей[1].

В 1504 г., согласно завещанию волоцкого князя Ивана Борисовича, в Иосифов-Волоколамский монастырь было передано его село Спасское с 38 деревнями. При описании села Спасского оказалось, что там было «ужато» ржи 80 сотниц, причем из этого числа «к семяном омолочено» 38,5 сотниц, «а вымолотили 100 чети», и «та рожь высеяна на 51 десятине». «Старой» ржи обнаружили 9 четей, «а в одонье ржы складено» 41,5 сотница, сена 22 копны. «Селетнего овса» было сжато 39 сотниц, «и тот овес складен в скирд». У дворника оказалось некоторое количество скота и птицы; корова, 6 овец, два гнезда гусей, два гнезда кур, 2 свиньи. За крестьянами значилась розданная им в займы князем денежная сумма—11,5 рублей 7 алтын 2 деньги[2].

Запасы хлеба были в княжеских дворцовых селах. Так, в первой четверти XV в. великий князь Василий I адресует грамоту своему посельскому в Юрьев с предписанием выдавать ежегодно игумену Успенского на Воинове горе монастыря десятую часть урожая зерновых культур, который будет снят с земли села Красного («из моего жита изо ржи, изо пшеницы, из овса отчет, да отсыпати десятое...»)[3].

Приведенный материал однообразен, но показателен уже своим количеством и упорно повторяющимися в нем свидетельствами о земледельческом характере основных типов сельских поселений в разных княжествах и уездах Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. Что дает он для суждения по вопросу об экономических предпосылках образования Русского централизованного государства? Очевидно, к рассматриваемому времени во всех (за малыми исключениями) районах Руси уже сложился устойчивый комплекс обжитых сельским крестьянским населением, из года в год культивируемых старопахотных земель. Образовались постоянные центры сельскохозяйственного производства с устойчивым составом местных жителей, занимающихся земледельческими работами. Таким образом, можно говорить об известном подъеме производительных сил в сельском хозяйстве, достигнутом не столько путем каких-либо существенных изменений его техники (о подобных изменениях никаких данных в нашем распоряжении нет), сколько в результате систематического расширения и упорного многолетнего освоения трудовыми народными массами площади, занятой под земледельческими культурами. Все это было связано с общим экономическим оживлением страны, явившимся предпосылкой ее дальнейшего социально-политического развития.

[1] АСЭИ, т. I, стр. 64, № 71.
[2] АФЗХ, ч. 2, стр. 36, № 33.
[3] АСЭИ, т. I, стр. 48—49, № 43.

В связи с ростом в разных частях Руси массива старопахотных земель исчезали резкие различия в уровне производительных сил, создавалась известная общность тех условий, в которых протекала жизнь аграрной страны. «Старые» села и деревни становились объектами притяжения населения, плотность которого возрастала. Эти старые поселения обрастали в разных направлениях, как бы по радиусам, идущим из одной точки, новыми поселками, которые «тянули» к ним, как к своему средоточию. Расширялась площадь, занятая каждым отдельным селом с окружающими его населенными пунктами, и уменьшалась изолированность (даже в условиях еще господствующего натурального хозяйства) таких сельскохозяйственных комплексов (село — деревни — починки) друг от друга.

В источниках сохранились чрезвычайно интересные (и в большом количестве) указания на то, что в связи с появлением в разных частях страны крупных сел менялись пути сообщения. Они начинали проходить через такие села. И делалось это стихийно, в силу того, что само население прокладывало новые дороги через те населенные пункты, которые приобретали известность как центры земледельческой культуры. Владельцы же земель, на которых были расположены подобные пункты, напротив, в ряде случаев стремились добиться от великокняжеской власти запрещения разным «ездокам» передвигаться «непошлыми» дорогами, чтобы избавиться от обязательных постоев, предоставления в своих селах кормов приезжим людям (часто выполнявшим поручения государственной власти) и т. д.

Из жалованной грамоты великого князя Ивана III Спасо-Евфимьеву монастырю 1472—1479 гг. узнаем, что «ездоки» «проложили дорогу непошлую» на монастырское село Мордошское в Суздальском уезде, «а пошлою де дорогою старою не ездят». Князь велел «ту их дорогу непошлую... засечь и заповедати», установив с нарушителей этого постановления штраф в сумме двух рублей[1]. В 1467—1474 гг. бил челом великому князю Ивану III игумен Троице-Сергиева монастыря Спиридоний с просьбой запретить «всяким ездокам» ездить «непошлой дорогой», которая «пролегла» на монастырские села Скнятиновское и Едигеевское в Угличском уезде. Просьба игумена была удовлетворена[2]. В 1473—1489 гг. Иван III по челобитью митрополита Геронтия постановил, чтобы в дальнейшем не было проезда через богатую торговую слободку Караш в Ростовском уезде[3].

Число подобных примеров можно значительно увеличить. При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что новыми путями сообщения обычно охватываются зажиточные, богатые хлебом, села.

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 508, № 468.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 264, № 360.
[3] АФЗХ, ч. 1, стр. 25, № 5.

В селах еще в очень слабой мере производился товарный хлеб. Страна жила в условиях натурального хозяйства. Но хлеб, поступавший из разбросанных в разных уездах, принадлежавших крупным землевладельцам (особенно монастырям) сел в центры владельческого хозяйства в качестве оброка, являлся объектом иногда довольно сложных и длительных перевозок. Рента продуктами содействовала установлению связей между различными районами и центром Руси, между селами в пределах разных районов. И в то же время расширению этих связей препятствовала система феодальной раздробленности, постоянных застав и мытов. В архивах разных монастырей сохранились княжеские грамоты, которыми, по просьбе монастырских властей, князья разрешали беспошлинный провоз оброчного хлеба из монастырских сел.

Из грамот тверского князя Михаила Борисовича (1461—1485 гг.) видно, что из Троице-Сергиева монастыря два павозка и две лодки ежегодно отправлялись за хлебом и маслом в монастырские села Прилуки и Присеки Угличского уезда. Оттуда же привозили в монастырь всякие запасы на возах, гнали скот. По распоряжению тверского князя его мытники и другие пошлинники не должны были взимать мыта и прочих пошлин с монастырских судов, возов и с крестьян. Через Козловский мыт в Серебожской волости Дмитровского уезда проезжали крестьяне из сел и приселков Троице-Сергиева монастыря «з житом или з животиною» или с другим каким-либо «товаром». Грамота Ивана III 1467—1474 гг. освобождала их от уплаты мыта и остальных пошлин.

Согласно сведениям, имеющимся в грамоте великого князя Ивана III юрьевскому наместнику 1493 г., явствует, что из суздальского села Шухобалова, принадлежавшего тому же монастырю, доставлялось в монастырь «жито». В грамоте говорится о том, что суздальский наместник взял за провоз монастырского «жита» на 154 возах мыт в сумме полутора рублей и девяти денег. Князь велел вернуть в монастырь эту сумму и распорядился, чтобы в дальнейшем, «коли повезут к ним в монастырь их хлеб из их села из монастырского из Шухобалова», наместник не брал с монастырских приказных людей «никоторых пошлин». Судя по грамотам дмитровского князя Юрия Ивановича 1504 г. и московского великого князя Ивана III 1505 г., в Симонов монастырь ежегодно привозилось беспошлинно на ста возах «жито» из дмитровских сел и деревень[1].

Итак, даже в условиях натурального хозяйства между центрами феодальных владений и отдельными селами в разных землях как земледельческими центрами происходило постоянное общение, подготавливавшее условия для политического объединения на феодальном базисе русских земель.

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 209, № 294; стр. 214, № 303; стр. 263 № 358; стр. 453, № 573; т. II, стр. 467, № 427; стр. 474, № 432.

§ 3. Заселение пустошей и расчистка лесных участков под пашню

На протяжении XIV в. и особенно в XV в. в Северо-Восточной Руси шла интенсивная распашка запустевших, заброшенных земель, на которых когда-то были земледельческие поселения, но откуда крестьяне ушли из-за разорения, вызванного феодальными войнами, набегами татар, неурожаями, недородами, голодом, болезнями и т. д. В актах постоянны указания на запашку пустошей («пахали, господине, те земли на монастырь за пусто»; «пахали есмя, господине, орали и сеяли... на пустоши...»; «поорали, господине, ту пустошь.., да и посеяли...»[1] и т. д.).

Землевладельцы и их приказчики стремятся извлечь доход из такого рода земельных участков, долгое время бывших в запустении, и отдают их «в наем» (в аренду) за определенную плату своим и чужим крестьянам. В аренду сдаются и черносошные земли. Так, в 1448—1461 гг. крестьяне Логина Корыткова «поорали» земли митрополичьего владимирского Царевоконстантиновского монастыря, причем владелец крестьян обязался уплатить митрополичьей кафедре «наем с тое земли» в соответствии с существующими расценками («как идет в людех»). В 1462—1464 гг. посельский принадлежавшего князю Андрею Васильевичу села Воиславского Звенигородского уезда Леша говорил на суде относительно пустоши Лагиревой, на которую заявляла права митрополичья кафедра: «...та, господине, земля наша Воиславскаа, а мы, господине, ...ту землю орем, и сеем и в наем даем»[2]. Из судного списка 1464—1478 гг. по делу между Троицким Махрищским монастырем и старостой великой княгини Марии Ярославны Давыдом Шаболдой видно, что последний «имал наем» у монастырских крестьян с селища (места, где когда-то было село) Лаптева в Переяславском уезде, которое они у него «наимывали» под пашню. В 1474—1475 гг. старожилец Алексей Алферов, живший в деревне Чекмасовской Московского уезда, давал на суде показания о том, что он в течение 30 лет «поляну наимовал» у посельского Троице-Сергиева монастыря, старца Матвея. В 1488—1490 гг. крестьянин Иван Федоров рассказал судье, разбиравшему дело Троице-Сергиева монастыря с черными крестьянами Нерехотской волости Костромского уезда, что он, «живучи за монастырем за Троицким», «пахал, орал и сеял» земли, которые «наймовал» у нерехотского становщика. В докладном судном списке по земельному спору между властями Троице-Сергиева монастыря и черными крестьянами Костромского уезда 1495—1499 гг. имеются сведения о том, что крестьянин Гаврила Лягавин «наймовал» у великокняжеских тиунов пустошь Бураково «в кортому косить». Выступавший на суде в конце XV в. по делу между Троице-Сергиевым монастырем и князем И. К. Обо-

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 541, № 628; стр. 418, № 539; стр. 399, № 523.
[2] АФЗХ, ч. 1, стр. 180—181, № 202; стр. 97, № 103.

ленским монастырский старец Исайя рассказывал, что он «давал в наймы» селище Зеленево в Малоярославском уезде крестьянам «косити, и орати, и дрова сечи и береста имать на деготь». Крестьяне Троице-Сергиева монастыря со своей стороны подтвердили на суде, что они на этом селище «пахали, орали и борановали», и высевали ячмень а также «лес секли и бересты драли на деготь»[1].

В своей монографии А. Д. Горский правильно отметил как новое явление в экономической жизни русских крестьян XV в. сравнительную распространенность найма ими земель сверх того надела, который они получали от своих землевладельцев. Это явление в значительной мере связано с тем, что на землях, превратившихся в пустоши, возобновлялось земледелие.

Земельные собственники (в пределах своих имений), представители княжеской администрации и выборные крестьянские общинные власти (если речь шла о черных волостях) выдавали также льготные грамоты (с освобождением на ряд лет от податей или повинностей) крестьянам, бравшим на себя обязательство восстановить земледельческую культуру на землях, в течение длительного времени не подвергавшихся обработке, а теперь передававшихся им в надел.

В жалованной грамоте Ивана III Спасо-Евфимьеву монастырю 1479 г. упоминается монастырская слободка Чапиха, «а та де их слободка лежит пуста и лесом де поросла великим». В целях ликвидации «пустоты» и восстановления слободки как населенного пункта монастырские власти получают право перезывать туда «крестьян из иных княженей», причем им предоставляется льгота на 10 лет в княжеских повинностях.

В 1489—1490 гг. боярин и дворецкий П. В. Шестунов «пожаловал» Степана Дорогу Якушева сына пустошью Козловскою в Корзеневской волости Московского уезда, «а лежит деи пуста лет с петдесят, и лесом поросла великим, ни двора деи на неи нету, ни кола, ни пашни». Степан Дорога был освобожден на шесть лет от всяких податей, а по истечении льготного срока должен был уплачивать в великокняжескую казну оброк в сумме полполтины ежегодно.

Из правой грамоты Симонову монастырю 1490 г. видно, что митрополит Зосима «посадил» на селище Шишкинском в Дмитровском уезде двух «мужиков» и дал им льготную грамоту, согласно которой они в течение 3 лет не должны были выполнять никаких повинностей.

В 1493 г. сямский сотский Сидор выдал крестьянам Афанасию и Ивану Фоминым детям льготную грамоту на пустошь Гридкину, на которой они должны были поставить двор[2].

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 247, № 340; стр. 321, № 431; стр. 417, № 539; стр. 464, № 583; стр. 511, № 607а; стр. 506, № 607; стр. 507, № 607; стр. 512, № 607а.

[2] Там же, стр. 420—421, № 541; стр. 491, № 595; т. II, стр. 514, № 475; стр. 410—412, № 402; стр. 249, № 293.

В Новгородских писцовых книгах конца XV—начала XVI в. также указываются «пустоши» и «пустые деревни», которые отдаются крестьянам на определенное количество лет «на урок», с условием, что они, после того как «отсидят свой урок», будут обложены оброком. В течение льготного срока «поряженный» крестьянин должен застроить и освоить в хозяйственном отношении данный ему земельный надел («на той пустоши поставити двор да в нем жити»). Иногда он обязуется также заселить бывшие до сих пор заброшенными земли другими крестьянами («звати... себе на те на пустые обжи хрестиан», «и на те пустоши садят хрестьяне людей в тот же оброк собе в тягль»)[1].

Вначале пустоши пашутся «*наездом*». Затем на пустошах восстанавливаются старые и возникают новые поселения. «То, господине, земля великого князя изстарины.., — говорили в 90-х годах XV в. на суде старожильцы,—и на тех селищах [на местах, где когда-то были села]... по грамоте государя великого князя, тот Онтон и двор себе поставил. Дотоле, господине, те селища великого князя... пахали наездом монастырские хрестьяне из Бебякова...». «...Жили на тех селищах хрестьяне за великим князем,—читаем в той же правой грамоте,—а те деревни запустели от ратных людей и от разбоев, а от тех мест на тех селищах люди не живали, а после того учали пахати наездом за пусто монастырские...». В 1490—1498 гг. черный крестьянин Семен Кожа жаловался на суде на крестьянина Симонова монастыря Василия Узкого в том, что он в течение 11 лет пахал «наездом» пустошь Сонинскую, в Московском уезде, которая является тяглой великокняжеской землей и которую старые сотские отдавали «в наем». Сходный случай был установлен на суде в 1497—1498 гг., когда «знахари» показали, что крестьяне Симонова монастыря пахали «наездом» селища Чевыревское и Кермядиновское в Коломенском уезде[2].

В Новгородских писцовых книгах конца XV в. упоминаются запустевшие деревни, которые крестьяне некоторое время пашут «наездом», после чего получают от великого князя на эти деревни льготные грамоты с освобождением от податей на определенный срок, по истечении же этого срока должны «тянуть ... дань».

В результате трудовой деятельности русского крестьянства на местах, запустевших в результате выше перечисленных причин, вырастают снова поселения («а то село поставлено на трех селищох»; «поставил у нас на тех на монастырских землях на селищех ... избу да клеть» и т. д.). В данной А. Е. Княжнина Троицкому монастырю конца XIV—начала XV в. на селище Гбаловское в Радонеже имеется следующее указание: «А на сей стороне, на старом дворищи, где мелник жил, дал есмь двор поставити, избу да клеть, да

---

[1] НПК, т. II, СПб., 1862, стр. 38, 765; т. III, СПб., 1868, стр. 643, 713, 730; т. IV, стр. 4, 59, 132.

[2] АСЭИ, т. I, стр. 450, 451, № 571; т. II, стр. 414, № 404; стр. 444, № 414.

огородец капустник»[1]. Таким образом, приобретая пустошь, где было когда-то село («селище»), монастырь рассчитывает восстановить на этом месте двор и хозяйственные постройки.

Вчитываясь в актовый материал, особенно второй половины XV в., видишь, как ликвидируется запустение и растет площадь под земледельческими культурами. Воочию видишь трудовой подвиг русского крестьянства, топором и сохой прокладывающего путь пашенному земледелию на местах, давно оставленных населением и поросших лесом, заводящего жилые поселения.

Пустующие земли становятся местом распространения трехполья. Пустоши «припускаются» в качестве «третьего поля» к селам: «припустил, господине, к Дмитрееву селу к Лаврентьевскому в третье поле деревню Олешинскую, а та, господине, деревня была пуста от великого мору»; «а то, господине, не пустошь, то, господине, третье поле монастырьския деревни Болкошина»[2]; «а та, господине, пустошь Кашино третье поле Маткова к реке»; «а Микулским, господине, назвали пустошь, ино то, господине, третье поле Трястинской деревни, а не Микулское»; «то, господине, селище Поповское митрополичье у Бисеровского села третье поле»[3].

В Новгородских писцовых книгах встречаются указания на «припуск» «в поле» деревень[4].

Конечно, ликвидация «пустоты» — дело длительное и трудоемкое. Она происходила не сразу. И в ряде документов отражаются различные стадии процесса заселения пустующих земель и включения их в орбиту хозяйственной эксплуатации. Так, очень колоритна разъезжая грамота около 1455—1456 гг., в которой указываются границы земель дмитровской княгини Евфросиньи Полиевктовны с великокняжескими землями. В грамоте упоминаются, с одной стороны, старые «поделы» (т. е. места в лесу, расчищенные под пашню), «поля» (т. е. пашенные участки), «заполица» (дальняя пашня), деревни. С другой стороны, фигурируют «ржище» (т. е. бывшее ржаное поле), «селище» (запустевшее село), от которого сохранились следы — «печищо», пустоши[5]. Таким образом, заброшенные пашни и земледельческие поселения чередуются с обрабатываемыми земельными участками и населенными пунктами.

При отводе пустошей в Ярославском уезде, отданных в середине XV в. в Троице-Сергиев монастырь вдовой Р. А. Остеева Василисой, было указано, что их граница идет «серед леса», «поперек болота», но тут же, в глуши лесов и болот, оказались и участки пахоты («загоны»)[6].

В 1495—1497 гг. старец Спасо-Ярославского монастыря Александр жаловался на суде на черного крестьянина Микиту Леонова,

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 367, № 487; стр. 449, № 571; стр. 29, № 6.
[2] Там же, стр. 582, № 658; стр. 400, № 523; т. II, стр. 414, № 404.
[3] АФЗХ, ч. 1, стр. 222, № 258; стр. 106, № 114.
[4] НПК, т. II, стр. 25, 30; т. III, стр. 483, 491.
[5] АСЭИ, т. I, стр. 186, № 257.
[6] Там же, стр. 141, № 196.

который «вгородил себе в поле силно» монастырскую пожню Кресты и «заросль поженную». Рядом с «поженными зарослями», как выяснилось, находились «боры и старые лесы», принадлежавшие к числу великокняжеских черных земель[1]. Очевидно, когда-то лесом была покрыта и та земля, на которой теперь Микита Леонов вел свое хозяйство.

Результаты хозяйственной деятельности русского крестьянства хорошо отражены в одной грамоте великого князя Василия II Кириллову-Белозерскому монастырю середины XV в. Получив от одного вкладчика пустоши, монастырские власти при помощи своих крестьян «те пустоши розпахали, и людей собрали, и селцо и деревни нарядили». Там, где когда-то были пустоши, через новые деревни «проложили деи дорогу нову», через которую стали ездить «свертывая с старых дорог»[2]. Сельцо и деревни стали оживленными жилыми пунктами.

Процесс освоения пустошей, где ранее были земледельческие поселения, ярко выступает из одной правой грамоты Спасо-Ярославскому монастырю конца XV в. На монастырской земле, на лугах, на одной части которых ставилось сено, а другая заросла лесом («на коси на поженной и на зарослех поженных наволоков»), крестьяне поставили починок. Они «поорали силно» землю, «житом посеяли» и «лес розчищают к тому починку». На суде встал вопрос о том, действительно ли новое земледельческое поселение возникло на земле, представлявшей собой пустошь, т. е. место, где такое поселение уже было раньше. Монастырский старец обратился к княжескому тиуну: «А пожалуй, господине судия, обозри тое земли и зарослей, бывала ли пустошь, и дворищ, и борозд загонных, и изгород старых, и пахотные земли, и плужные и сошные по той пожне и по зарослям есть ли?»[3]. Наличие этих следов земледельческой культуры должно было явиться доказательством прав монастыря на эту землю, которую обрабатывали монастырские старожильцы.

Аналогичный вопрос о том, можно ли считать пустошью землю, где прежде были земледельческие поселения, возник в конце XV в. на суде по делу между крестьянином Симонова монастыря Василием Узким и великокняжеским крестьянином Семеном Кожей. С. Кожа называл спорную землю «селищем», указывая на нем «старое каменье». В. Узкий отрицал это, говоря, что это каменье он сам привез[4].

На суде по делу о земле Троице-Сергиева монастыря один из крестьян указывал, что деревни, поставленные якобы на месте, заново вычищенном из-под леса, в действительности находятся

---

[1] ЦГАДА, Грамоты Коллегии экономии (далее—ГКЭ), № 14752; *Д. М. Мейчик*, Грамоты и акты XIV—XV вв. Московского архива Министерства юстиции, М, 1883, стр. 128—131.

[2] АСЭИ, т. II, стр. 107, № 170.

[3] ГКЭ, № 14752.

[4] АСЭИ, т. II, стр. 414, № 404.

там, где сохранились «печища», т. е. следы бывших когда то поселений. «А что, господине, сказывают,.. что те деревни ставили розсекая лесы, а ныне, господине, на тех пустошах... и сегодня печищо старое, а сами, господине, те печища и пашут»[1].

В Новгородских писцовых книгах также имеются указания на «печища» («печищо в Заходе, писано обжею, а земли пашенные и нет»)[2].

Поскольку пустошь — это место, где когда-то было постоянное жилое поселение крестьянина, имевшего свое земледельческое хозяйство, и поскольку непременным признаком любого крестьянского поселения (починка, деревни, села) является наличие двора (или дворов), постольку таким же признаком пустоши служит «дворище», т. е. следы крестьянского двора как хозяйственной единицы. «*Двор*», как хозяйственный комплекс, как единое экономическое целое, и «*дворище*», как какие-то остатки прежнего «двора», противопоставляются в источниках «избе», «клети», как просто жилым или рабочим помещениям, местам хранения запасов, не имеющим постоянного характера, не свидетельствующим о прочной связи крестьянина с землей и после своего исчезновения оставляющим в качестве воспоминания о себе «печищо» (след былого очага). Эти очень интересные терминологические различия («дворище» и «печище»), отражающие различие социально-экономических явлений, отчетливо выступают на материале одного судебного дела 1495—1496 гг. Крестьяне Борковской волости Ярославского уезда Карп и Федор Михалевы завели хозяйство на месте, которое они называли «пустошью и дворищом». Считавшие это место своей собственностью, старцы Спасо-Ярославского монастыря со своей стороны доказывали, что там «пустошь и дворищо не бывало», а «печищо... одно есть: стояла тут изба да клеть при архимандрите при Варламе на приезд — приежжали в сенокос с старци и с людми... пожен косити, а в той избе стояли...»[3]

В процессе освоения пустошей и возобновления на них жилых поселений возникали постоянные споры между черными крестьянами и феодалами (особенно монастырями), пытавшимися присвоить себе вновь заселяемые земли.

В 1485—1490 гг. черные крестьяне Залесской волости Костромского уезда Лаврок Фалелейков и Торопец Степанков сын Панафидина обвинялись в том, что они «поорали... и посеяли» пустошь Кашино, принадлежавшую якобы Троице-Сергиеву монастырю. Крестьяне утверждали, что эту пустошь им дали в надел староста и представители крестьянской общины Залесской волости. Ряд старожильцев подтвердили это показание. И тем не менее крестьяне проиграли дело.

Во время судебного разбирательства, происходившего в 1492—1494 гг. по делу о завладении Троице-Сергиевым монастырем пусто-

[1] АСЭИ, т. I, стр. 416, № 538.
[2] НПК, т. II, стр. 823.
[3] ГКЭ, № 14752; *Д. М. Мейчик*, указ. соч., № 254.

шами в Мишутинской волости Переяславского уезда, вскрылась картина земельной практики монастырских старцев. Выяснилось, что ряд селищ, которые когда-то представляли собой места поселения великокняжеских черных крестьян, а теперь запустели, монастырские старцы велели пахать своим крестьянам. «Знахари» рассказывали на суде: «монастырские крестьяне... пашут тех селищ много», «а те селища изстарины великого князя»[1].

XIV и особенно XV века—это время быстрого развития земледельческой культуры не только в результате восстановления хозяйства на пустошах, но и в результате расширения посевных площадей за счет сведения лесов. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что леса вырубаются под крестьянские поселения и под пашню. В правых грамотах постоянны такие указания: «...а то, господине, россечен лес Гилевской, что поставил за великого князя Оверкей слоботчик, а называют Дубовицами, а розсекали, господине, тот лес хрестияне гилевские»; «то, господине, с нашей вотчины пришли подели, а х тому болоту». Монастырские власти отдают своим слугам в пользование «пустоши... в лесе» с обязательством их распахать и вернуть «и с хлебом, и з жывотиною»[2].

Монастыри, бояре, князья, привлекая, как было указано выше, крестьян для поселения на запустевших землях, одновременно стремятся использовать их труд для расширения пашни за счет поднятия целины, заведения земледельческого хозяйства на площадях, освобожденных из-под леса. Одним из стимулов, побуждающих крестьян селиться на лесных участках, как и на пустошах, была податная льгота.

Сохранились льготные грамоты 1496—1497 гг., выданные дворскими и десятскими Жабенской черной волости Кашинского уезда черным волостным крестьянам, получающим участки в лесу для разработки. Один крестьянин «порядился» «на лес на старь возле Старьское болото», другой—«на лес на старь на Зеленый остров»; двух крестьян дворский «посадил» «на селище на Матренкине». Таким образом, речь идет и о расширении площади пахотных земель путем вырубки лесов и заведения на их месте земледельческого хозяйства, и о восстановлении земледельческой культуры в тех ныне заброшенных местах, где она уже была в прежние времена. Во всех случаях крестьянам предоставляется льгота в податях на 15 лет[3].

К 1499 г. относится льготная грамота, выданная властями Троице-Сергиева монастыря крестьянину Сысою Лукину с детьми. Игумен Васьян «посадил» их «на лесу, на станище» (там, где раньше был стан), «в сутокех» (на месте слияния двух речек) и велел им «лес сечи и дворы ставити и огороды городити и пожни чистити». При этом крестьяне получили на шесть лет податную льготу,

[1] АСЭИ, т. I, стр. 399—401, № 523; стр. 449—452, № 571.
[2] Там же, стр. 414, № 537, стр. 366, № 485; стр. 433, № 556.
[3] ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 29, л. 39—39 об.

по истечении шестилетнего срока они взяли на себя обязательство «потянути со хрестьяны с своею братьею, как и иные хрестьяне дело наше монастырское делают»[1].

На освобожденных от леса местах устраивались новые земледельческие поселения—починки. В одной правой грамоте конца XV в. имеется очень интересное показание черного крестьянина Озарки: «То, господине, лес великого князя Павловского села, а нашего починка, и старец, господине, Никон тот лес посек да и осек, господине, поставил по нашему лесу»[2]. Здесь дано заслуживающее внимания указание на происхождение термина «починок». Выражение «лес такого-то села, а нашего (крестьянского) починка» означает, что крестьянское население села, которому принадлежит лес, проявляет трудовую инициативу («почин») в его освоении под пашню, следствием этой инициативы является то, что в лесу возникает новое поселение (починок).

Вырубка леса под пашню производится и в северо-западных и северных районах. В житии Евфросина псковского говорится, что он, основав монастырь, «нача лес сещи окрест обители и нивы страдати на гобзования хлебная»[3].

В Новгородских писцовых книгах встречаются названия деревень, указывающие на то, что они возводятся на лесных участках: «деревня на Бору», «Раменье», «Раменье Большое». Имеются прямые указания на то, что возникали новые поселения в лесах («а се посажал Торх починки на нове после писма на лесу на дичи»)[4].

В XV в. один крестьянин получил от старосты Богородицкой церкви в Лявле землю («распаш топорная земля...») с условием на этом участке «сеять, и орать, и парить, и пожни очищать», уплачивая ежегодно празгу (оброк)[5].

При этом в ряде случаев (особенно для центральных районов) при упоминании о сведении лесов речь идет не о подсечном, а о паровом земледелии. Из актов можно извлечь много сведений о посевах на площади, освобожденной от леса, яровых и озимых культур. Крестьяне рассказывают на суде и во время размежевания земель, что они «двор ставили и ярь сеяли, и лес секли»[6]; «лес посекли и ярью посеяли»[7], «рожь и ярь сеяли»[8].

Имеется достаточный материал о распространении трехпольной системы земледелия («да впущена в поле к тем двема деревням деревня Оксеновская»; «то, господине, земля наша монастырская, третье поле Помесского села, а нынечня, господине, на той земле хрестияне великого князя... поставили три деревни, а в деревне

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 533—534, № 623.
[2] Там же, стр. 458, № 581.
[3] «Памятники старинной русской литературы», под ред. Н. И. Костомарова, вып. 4, СПб, 1862, стр. 76.
[4] НПК, т. IV, стр. 24, 69; т. II, стр. 743.
[5] ГВНП, стр. 267, № 260.
[6] «Сборник Муханова», изд. 2, СПб., 1866, № 46.
[7] ГКЭ, № 4819.
[8] АСЭИ, т. I, стр. 461, № 582.

по двору»[1] и т. д.). Выше приводились данные о развитии трехполья на пустошах.

Общую картину расчистки лесов под пашню силами монастырских крестьян, получавших от монастырских властей льготные грамоты с освобождением на ряд лет от уплаты податей и заводивших на новом месте хозяйство, рисует судный список из архива Калязина монастыря 1504 г. Монастырский старец Агафон говорил на суде, что крестьяне, жившие в принадлежавших Калязину монастырю в Кашинском уезде «деревнях в старых», из этих «деревенек... лес россекали, и прятали, и косили, и дворы себе на тех местех поставили за монастырь, да и грамоты... льготные на те починки взяли у игумена и у братьи за монастырь...»

На суде была оглашена жалованная грамота Калязину монастырю тверского князя Михаила Борисовича от 1483 г. с предоставлением монастырскому слободчику Кузьме Собине права «копити слободу» в лесу «на стари и на пустошах» (т. е. на участках, как впервые расчищаемых из-под леса, так и бывших уже ранее под пашней и вновь запустевших). Кузьма Собина должен был созывать в слободу крестьян из владений, расположенных в других княжениях или принадлежавших боярам Тверского княжества; ему запрещалось лишь перезывать в слободу крестьян из черных деревень, подведомственных тверскому князю. Вновь поселившиеся в слободе крестьяне получали податную льготу на 20 лет.

Один из крестьян рассказывал на суде, как производилось хозяйственное освоение новых территорий: «сам ся есми ...остал на старои деревне», а сына «есми... отпустил на починок жыти...». Следовательно, крестьянская семья отделяет взрослого сына, который основывает новое поселение, становящееся исходным пунктом дальнейшего распространения земледельческой культуры[2].

Упоминание в грамотах XIV—XV вв. большого числа починков является свидетельством интенсивной деятельности русского крестьянства по обработке целинных земель. Заведение починка—это начало трудового процесса крестьянина, который вырубает вокруг починка лес, вспахивает пашню, косит сено на пространстве, «куда ево рука махнеть»[3]. Когда митрополичьи слуги получают во временное условное держание землю, то они берут на себя обязательство «лес сечь и росселивать» (т. е. основывать крестьянским трудом земледельческие поселения)[4]. Починок—это основа постоянного крестьянского поселения, в будущем он вырастет в деревню и село.

Починок—это *новое* поселение в противоположность «*старым*» селам и деревням. «А на Ильинском деи починке сели люди ново»,—читаем в жалованной грамоте Ивана III митрополиту Герон-

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 71, № 85; стр. 418—419, № 540.
[2] ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 29, л. 39—39 об.
[3] Там же, № 6.
[4] АФЗХ, ч. 1, стр. 52, № 35; стр. 267, № 310.

тию 1474 г. на земли во Владимирском уезде[1]. В Новгородских писцовых книгах встречаются записи, подобные следующим: «Починок на Лютове; двор Исак Машков, пашни у него нет, сел ново», «А безпашонных починков—сели ново...» Попадаются названия деревень, свидетельствующие о их недавнем возникновении: «Новоселье», «Новосилье» и др.[2]

Починки «выставляются» из деревень. В Новгородских писцовых книгах имеются такие указания: «починок выставлен из деревни»; «починок Грива, выставлен из старые деревни от Гривы конец поля»; «починок Выскид на ручью, выставок из деревни из Галибесова»[3]. Очевидно, из деревни выселяется крестьянская семья и заводит новое поселение.

Основа починка—это крестьянский двор, который земледелец, вышедший из какой-то деревни, заводит за ее пределами. В Новгородских писцовых книгах довольно часты такие сведения: «да тое ж деревни выставлен двор Телячья нива»; «да тое ж деревни вынесен двор по конец поля»; «а истари было в той деревне два двора и он [«человек» владельца] другои двор отнес по конец поля». В результате из одной деревни вырастает другая: «деревня другая Быстрая, и та деревня роставлена из деревни из Быстрой»[4].

В починках часто сначала селится бобыльское население, не имеющее пашни. В Новгородских писцовых книгах можно встретить такие данные: «да тое ж деревни выставлен двор по конец поля Еловой остров; двор бобыль Мишка да Савка, без пашни»; «да на той же земле по конец поля двор Онтипко бобыль без пашни»; «да туто ж на враге двор бобыль Ушак Семенов Смычник без пашни»[5]. Но с течением времени починок может превратиться в земледельческое поселение.

Не всегда, конечно, вновь созданные крестьянами поселения оказываются долговечными. Часто заведенное на новом месте хозяйство через некоторое время забрасывается. Так, в 1497—1498 гг. гороховский волостель Константин Симанский вместе с представителями черного крестьянства («... поговоря ... с сотским да с суседы с волостными з гороховскими ...») «пожаловал» крестьянина Гаврилу Семеновича Кухмырева с братьями «дубровою» на реке Мортке, лугом и «деревнищами» (участками, где когда-то были деревни), «что у тои дубровы за речкою, да и со всем с тем, что х той дуброве изстарины потягло». Новым поселенцам была предоставлена льгота в податях на 10 лет. Крестьяне, получившие льготную грамоту, «поставили» деревню и завели пашню, начали применять трехпольную систему севооборота («и пашню... на том селище пахали два поля, а третье... поле пахали себе на сей стороне речки Мортки, на том месте на деревнищах...»). Затем деревню

---

[1] АФЗХ, ч.1, стр. 178, № 212.
[2] НПК, т. II, стр. 716, 740—741; т. IV, стр. 18, 67.
[3] НПК, т. IV, стр. 246, 351, 364.
[4] Там же, стр. 252, 256, 396, 449.
[5] Там же, стр. 252, 255, 257.

стало заливать водой («деревню учала у них вода поимати»). Тогда Гаврила Кухмырев перенес ее на другую сторону реки. Но лет через пять крестьяне совсем «покинули» это место, испытав какие-то новые затруднения в ведении хозяйства («потому что им не почасилось»). Деревня простояла «пустой» лет с двадцать, «хоромы» в ней «развалились да и погнили», осталось одно «избищо». Впоследствии сын Гаврилы Кухмырева Данила поставил на этом месте новый починок[1].

О забрасываемых починках имеются данные и в Новгородских писцовых книгах. Так, Нечай и Третьяк Константиновы дети Валовова с братьею «покинули» починки, поставленные «на лесу», «потому что худы и в розни»[2].

Но в целом ряде случаев починки становились основой развития земледелия на новом месте.

Интенсивная расчистка лесов под пашню в условиях, когда не существовало строгих границ в лесных чащах между владениями отдельных земельных собственников, приводила к постоянным столкновениям и тяжбам между различными феодалами, и особенно между феодалами и черными крестьянами.

Из жалованной грамоты угличского князя Андрея Васильевича Троице-Сергиеву монастырю 1472 г. вырисовываются те приемы, к которым прибегали монастыри, расширяя площади под пашни. Монахи посекли лес, находившийся в пределах черной волости, вспахали вырубленный участок и присоединили его к пашне своего сельца Васильевского, а затем добились от князя закрепления за ними этого участка специальной грамотой. «Что секли лес и пахали мой, княж Андреев Васильевича, старь, не делавую землю, к своей земле к манастырской, к Васильевскому сельцу в Кинелке, и во огород выгородили в поле...»,—так описывается в названном документе хозяйственный процесс, приводивший к росту пашенных земель. Характерен фигурирующий в грамоте термин *«деловая земля»*. Это—земля старопахотная, противопоставляемая пашне, вновь заведенной на месте, вычищенном из-под леса. Так черные крестьяне лишились части принадлежащего им леса.

Часто монастырские власти настаивают на сносе поселений, основанных черными или дворцовыми крестьянами, доказывая, что они использовали для этих поселений монастырские земли. Так, крестьянин села Павловского Угличского уезда, принадлежавшего князю Андрею Васильевичу, выстроил избу в лесу, положив основание починку. Тогда посельский села Прилук Троице-Сергиева монастыря «бил челом» названному князю, утверждая, что починок находится на земле, принадлежащей монастырю. Расследование, проведенное в интересах монастыря, привело к выводу, что починок поставлен «у монастырских деревень на заполицах» (на залежных землях). В результате князь призвал к себе посельского села

[1] АСЭИ, т. II, стр. 528—529, № 489.
[2] НПК, т. IV, стр. 295.

Павловского и велел ему «тот починок сметать» (т. е. снести). «И яз, господине, тот починок сметал, и от тех мест, господине, хрестияне монастырские тот лес секут и до сех мест и росчисти свои косят»,—говорил посельский в 1495—1497 гг. судье, разбиравшему земельную тяжбу крестьян села Павловского с Троице-Сергиевым монастырем[1]. Дворцовые крестьяне не примирились с тем, что возведенные ими жилые постройки были ликвидированы, не бросили освоенного места и продолжали вырубать для сельскохозяйственных целей лесные заросли.

На 1495—1498 гг. падает спорное дело между властями Спасо-Ярославского монастыря и крестьянами Алексеем и Кондратиком Мартыновыми. Монастырский старец Леонтий обвинял последних в том, что они «поставили сильно» на монастырской пожне починок. Ответчики указали, что спорную землю они получили для заселения по грамоте, данной от великокняжеского имени, что они завели починок на неосвоенном еще месте, где не было следов более ранних поселений, свидетельствующих о праве собственности на это место монастыря: «Сели есмя, господине, на то место на пусто, и не на дворище... и тот есмя, господине, починок поставили..., не ведая, что тот позем монастырски...» Поскольку грамоту, предоставлявшую им право на поселение, ответчики потеряли («и по грехом, господине, та ся у нас грамота утеряла»), но они вложили труд в постройку починка и устройство пашни, они просили оставить в их владении двор и пашенный участок («чтобы, господине, архимандрит, да и ты, старець, нашие силы не похотели, что есмя двор ставили, а ярь сеяли и лес секли...»). Но старец потребовал либо сноса двора, либо передачи его в собственность монастырю за определенную денежную плату: «Силы вашие не хотим,—любо двор снесите, любо архимандрит вам за двор дасть, чем люди добрые обложать на посилие»[2].

В 1504 г. возник судебный спор у Калязина монастыря с черными крестьянами Степаном и Аксеном Щелковыми. Монастырский старец рассказал на суде о том, как принадлежащие Калязину монастырю крестьяне «посекли» лес на двух пустошах Кашинского уезда (Крутце и Красном), основали там починки, возвели «хоромы». Но затем, по словам истца, в этих починках поселились («ввезлися сильно») вышеупомянутые черные крестьяне. Будучи допрошены судьей, последние нарисовали несколько иную картину, чем та, которая изображена была истцом. По их словам, их «посадил» в этих починках дворский черной Жабенской волости. «А хоромы, господине, поставлены и лес, господине, посечен, а не ведаем, господине, хто те хоромы ставил и лес сек»,—говорили ответчики, обращаясь к судье. Далее на суде выяснилось, что обвиняемые черные крестьяне неоднократно обращались к дворскому с просьбой выдать им льготные грамоты на полученные починки,

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 299, № 408; стр. 458—460, № 581.
[2] «Сборник Муханова», № 45.

но тот все время откладывал это, ссылаясь на болезнь. «Как ся, дасть бог, омогу, и яз у вас буду и грамоты вам льготные подаю»,— говорил дворский. Но затем он умер. А монастырский старец, приехав туда, где были расположены спорные жилые постройки, заявил черным крестьянам: «То починки наши, а ставили те починки крестьяне наши на наших пустошех, да и лес секли». Слышав такой «повет» и не имея «крепости... на те починки никоторые», Степан и Алексей Щелковы были вынуждены отказаться от предоставленных им участков и уйти оттуда («и мы... с тех починков ся и свезли и долой»)[1].

Заканчивая анализ документального материала, касающегося заселения крестьянами пустошей и лесных участков, расчищенных под пашню, следует еще раз подчеркнуть, что этот процесс предполагает разукрупнение больших жилых поселков и индивидуализацию сельскохозяйственного производства. На пустующих землях и лесных зарослях создаются, как правило, однодворные—двухдворные починки и деревни, своего рода хутора, выселившиеся из больших сел (частновладельческих или черносошных). Но возникновение таких хуторов, неизбежное в ходе колонизационного процесса, не означает разрыва их хозяйственной, административной, культурно-бытовой связи с породившими их селами. Напротив, оно означает расширение сферы влияния «старых» сел, как центров хозяйства и управления в пределах частных вотчин или государственного черного землевладения. Несмотря на борьбу (иногда разорительную для экономики) за вновь заселенные земли между разными феодалами, между феодалами и черносошными крестьянами, увеличение общей площади пашенных земель, эксплуатируемых крестьянским трудом, и обрастание отдельных сел все большим количеством деревень и починков по непрерывно увеличивавшимся кругам, иногда смыкавшимся и заходившим друг за друга, знаменовали тот процесс в области земледелия, без которого было немыслимо и нарастание материальных предпосылок для централизации.

§ 4. Феодальная собственность на землю. Общие тенденции развития вотчинного землевладения

В условиях подъема производительных сил в сельском хозяйстве Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. наблюдались некоторые новые явления в развитии феодальной собственности на землю. Без рассмотрения этих новых явлений нельзя раскрыть социально-экономических предпосылок образования Русского централизованного государства, ибо это государство было государством феодально-крепостническим, защищавшим интересы господствующего класса земельных собственников.

---

[1] ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 30, л. 40

Подъем производительных сил на Руси в XIV—XV вв., о котором речь шла выше и который выразился в распашке и заселении трудовым русским крестьянством залежных и целинных земель, привел прежде всего к тому, что земля (окультивированная и заселенная) становилась все в большей мере объектом притязаний со стороны феодалов разных групп, предметом борьбы и захватов. Не случайно, что именно ко второй половине XV в. относится целый ряд межевых грамот на земельные владения соседних вотчинников, и очень характерно, что (как видно из этих грамот) при размежевании земель в целом ряде случаев границы смежных вотчин проходили непосредственно между участками пашенной земли.

Феодализм распространялся вширь и вглубь. Увеличивалась роль земли как средства производства, возрастала ее ценность и усиливалась борьба за нее. В условиях раздробленности сильным землевладельцам было удобно увеличивать свои имения за счет более слабых, а тем и другим—укреплять свои экономические позиции на основе крестьянского труда и хозяйства. Но для класса феодалов в целом (при всей противоречивости интересов его отдельных групп) дальнейшее укрепление феодального базиса в достигнутых развитием собственности на землю масштабах было возможно в рамках крепостнического феодального государства.

О повышении в XIV—XV вв. ценности земли в связи с развитием феодальной собственности на нее можно судить и по тому, что земля в это время является объектом купли-продажи и крупные землевладельцы (прежде всего монастыри) затрачивают на нее значительные денежные суммы.

Так, из дошедших до нас купчих грамот из архива Троице-Сергиева монастыря видно, что из 49 земельных покупок, сделанных монастырскими властями (а также некоторыми светскими вотчинниками, земли которых впоследствии попали в монастырь) в конце XIV и в первой половине XV в., одна совершена на 300 рублей, одна—на 90 рублей; четыре—на суммы от 30 до 40 рублей, 7—на суммы от 20 до 30 рублей, 14—на суммы от 10 до 20 рублей, 16—на суммы от одного до 10 рублей каждая; одна—на сумму ниже рубля[1]. Стоимость пяти земельных участков исчисляется на «белы»[2]. Почти в каждой купчей имеется указание на «пополонок», или добавок, к денежной сумме (обычно в виде какого-либо домашнего животного).

По купчим грамотам второй половины XV—начала XVI в. из архива того же монастыря известно 59 актов купли-продажи земли. Из них в одном акте цена земельного участка установлена в 120 рублей, в одном случае цена земли равна 95 рублям, в одном случае—85 рублям, в двух—за земельные участки уплачено по

[1] АСЭИ, т. I, № 163 (денежный счет московский); 2 (денежный счет новгородский); 15, 18, 190, 205; 16, 19, 20, 25, 33, 114, 230; 8, 10, 23, 24, 85, 89, 119, 147, 158, 167, 187, 211, 238; 13, 27, 32, 45, 51, 60, 69, 83, 88, 111, 137, 1-3, 161, 168, 227, 234; 141.

[2] Там же, № 121—123, 126, 150.

80 рублей, в одном—75 рублей, в одном—70 рублей, в двух—по 60 рублей, в двух—по 50 рублей, в трех—по 40 рублей, в одном—30 рублей; 5 сделок совершены на суммы от 20 до 30 рублей, 15 сделок—на суммы от 10 до 20 рублей, 22—на суммы от одного рубля до 10 рублей, 2—на суммы менее одного рубля каждая[1].

О довольно значительных затратах на покупку земель, производившихся духовными феодалами, можно судить и по материалам Иосифова-Волоколамского монастыря. В купчих грамотах на земельные участки и селения, приобретенные этим монастырем во второй половине XV в., называются следующие цены: 13 рублей за луг, 25 рублей за сельцо, 30 рублей за село. 40 рублей за деревню, 50 рублей за село, 70 рублей за сельцо, две деревни и селище, 70 рублей за сельцо, 80 рублей за 6 деревень и пустоши, 100 рублей за 6 деревень, 120 рублей за 3 деревни и луга, 230 рублей за село, 14 деревень и 4 пустоши[2]. Во всех случаях я опускаю указание на «пополонок» к денежной сумме (коровами, лошадьми, предметами одежды).

О том, что в XV в. земля играет уже значительную роль в качестве объекта купли-продажи, свидетельствует и установление на нее в это время какой-то шкалы цен, уровень которых менялся в зависимости от качества, местоположения земельных участков и других условий. Поэтому при отчуждении земель иногда производился специальный осмотр в целях определения их продажной цены. Так, согласно условиям купчей грамоты 1474—1496 гг., Ф. И. Пильемов-Сабуров, приобретший у А. Д. Годунова за 60 рублей его вотчину—село Коломенское на реке Москве, должен был вместе с выделенными последним лицами произвести на месте оценку купленной недвижимости («возъехати на ту землю» и «учинити цена тому селу, чего будет то село достойно»). В зависимости от результатов такой оценки или покупатель обязан был сделать доплату к указанной в купчей грамоте денежной сумме, или же, напротив, продавец должен был вернуть покупателю полученный с него (сверх реальной стоимости недвижимости) излишек денег[3].

Весьма показательно, что иногда землевладелец покупает землю, затрачивая на нее определенную сумму, а затем обменивает эту землю (с какой-то денежной приплатой) на другую, тем самым увеличивая или же округляя свои земельные владения. Следовательно, с землей проделываются довольно сложные денежные операции. Так, в 1482—1508 гг. княгиня Мария Голенина с детьми выменяли у М. Я. Шульгина с детьми «их вотчину», сельцо Шульгино с селищем Высоким в Рузском уезде, отдав им со своей стороны «свою

---

[1] АСЭИ, т. I, № 389, 415, 528, 484, 546, 444, 334—335, 241, 448, 379, 381, 382—383, 487, 566, 258, 392, 449, 488, 547, 648, 259, 267, 273, 283, 384, 386, 387, 390, 404, 478, 480, 509, 569, 616, 240, 242, 252, 266, 268, 281, 285, 287, 288, 324, 333, 380, 395, 410, 426, 427, 452, 471, 481, 496, 622, 638, 606, 634.

[2] АФЗХ, ч. 2, стр. 10, 12 13, 15, 16, 27, 32, 34, 35, № 2, 6, 7, 10, 12, 24, 28—32.

[3] АСЭИ, т. I, стр. 336, № 448.

куплю»—деревню Оленинскую Рунова и, кроме того, приплатив 40 рублей денег[1]. В 40—70-х годах XV в. князь Ф. Д. Пожарский совершил обмен землями со своим троюродным братом М. И. Голибесовским и доплатил ему при этом 40 рублей[2].

Характерно, что, покупая населенные и обработанные земли (села, деревни), феодалы (особенно, духовные—монастыри) ассигнуют денежные средства и на приобретение земель пустующих (которые также обладают ценностью) с целью завести на них хозяйство в дальнейшем. Так, в 1444—1483 гг. игумен Калязина монастыря Макарий купил ряд пустошей: у Н. И. Лукина —за 3 рубля, у Андрея Александровича—за 3 рубля, у тверского великого князя Бориса Александровича—за 5 рублей и за «деньгу золота», у Я. Г. Ушакова—за 4 рубля[3] и т. д.

При всей несомненности фактов довольно значительной (в среде главным образом господствующего класса) мобилизации земли и роли в этом процессе денег характер, темпы, формы земельной мобилизации регулировались феодальными отношениями.

Весьма показательно, что в условиях натуральной экономики при продаже или обмене земли придатком к денежной сумме, уплачиваемой за отчуждаемый земельный участок, часто служит зерно (рожь, пшеница, овес и т. д.). Такого рода доплата хлебом к выражаемой в деньгах стоимости приобретаемых недвижимых имуществ характеризует, например, земельные сделки небольшого Троицкого Калязина монастыря. Так, в 1458—1459 гг. игумен этого монастыря Макарий выменял у своего слуги Кузьмы Игнатьева землю в обмен на монастырские деревни, «а придал... ему 10 кадей ржи да кадь овса». В 1444—1483 гг. тот же игумен менялся деревнями со Степаном и Борисом Григорьевичами Ушаковыми, доплатив им за их владения деньгами с придачей хлеба (24 кади ржи, 20 кадей овса, «да семяна в земли пять кадей ржи»). В те же годы игумен Макарий купил «пустыню» Кобылинскую, заплатив за нее 3 рубля «да три оковы ржи пополнка». В начале XVI в. игумен Калязина монастыря Пахомий совершил обмен землями с Д. О. Коржавиным, отдав последнему дополнительно к переходящим к нему монастырским земельным участкам 2 рубля деньгами, 20 кадей ржи, 40 кадей овса, 2 кади пшеницы, 3 кади ярицы[4].

Денег у феодалов в их массе явно было мало, лишь наиболее богатые из них (и прежде всего такие крупные духовные феодальные организации, как монастыри, подобные Троице-Сергиеву) могли затрачивать большие денежные суммы на земельные покупки. Часть же мелких феодалов готова была отдать свои земли за хлеб.

---

[1] АФЗХ, ч. 2, стр. 20—21, № 16.

[2] АСЭИ, т. II, № 451.

[3] ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 27, л. 37; № 5, л. 13; № 17, л. 27; кн. 4, № 40, л. 27 об.; № 83, л. 77 (большое количество пустошей переходит в монастыри по вкладам, см там же, кн. 1, № 2, л. 10; кн. 4, № 20, л. 13; № 34, л. 22 об.; № 1, л. 1; № 70, л. 62 об ; АСЭИ, т. II, № 440).

[4] ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 4, л. 12; № 15, л. 25; № 5, л. 13; кн. 4, № 31, л. 20.

Другое, что надо отметить,—мобилизация феодальной земельной собственности в XIV—XV вв. была ограничена и стеснена ее монопольным сословным характером и теми юридическими нормами, которые сложились в условиях политической расчлененности Руси, являвшейся в свою очередь следствием ее экономической раздробленности. Последняя не была преодолена и в процессе государственной централизации. И в централизованном государстве сохранилась (и даже укрепилась) структура феодальной собственности на землю как собственности монопольно-сословной. И там стеснялась мобилизация земли. Но в качестве предпосылки образования централизованной феодальной монархии большую роль сыграло то обстоятельство, что развитие собственности на землю и задачи ее перераспределения среди господствующего класса феодалов уже перерастали те рамки, которые были поставлены строем политической раздробленности.

* * *

В условиях экономической изолированности отдельных областей и княжеств Северо-Восточной Руси сложилась известная юридическая норма, встречающаяся неоднократно в междукняжеских договорах: «тобе знати своя очина, а мне знати своя очина»[1]. Эта формула означала, что верховным собственником всей земли в пределах каждого княжества являлся стоявший во главе его князь и что ни ему, ни его боярам не разрешалось приобретение земельных владений и заведение феодально зависимого населения в чужих княжествах. «А тобе, брату моему молодшему, в моемь оуделе сел ти не купити, ни твоим бояром, ни закладнев ти, ни оброчников не держати. Тако же и мне в твоем оуделе сел не купити, ни моим бояром, ни закладнев ми, ни оброчников не держати»,— читаем в договорной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича с князем серпуховским и боровским Владимиром Андреевичем около 1367 г.[2]

Но право собственности князей на различные категории земель в пределах своих «вотчин» было неодинаково, что объясняется феодально-иерархическим характером сословного землевладения, наличием наряду с верховным собственником—князем и других землевладельцев в каждом княжестве.

Среди разновидностей феодальной собственности на землю в княжествах Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. известны: 1) *«черные земли»* (которые находятся в пользовании крестьянских общин, эксплуатируемых непосредственно государством); 2) *земли, дворцовые*, раздаваемые княжеским слугам (вольным и невольным), обслуживающим дворцовое хозяйство, обычно в условное держание; 3) *земли, принадлежащие отдельным феодалам*, светским и

[1] ДДГ, стр. 20, № 5.
[2] Там же.

духовным—княжеским боярам и слугам и церковным корпорациям (монастырям, церквам и т. д.). Перечисленные категории земель обычно четко различаются в источниках. Так, в договоре Ивана III с угличским князем Андреем Васильевичем 1481 г. названы земли «боярские», «монастырские», «черные», «служни»[1]. По жалованной грамоте 70—80-х годов XV в. вологодского князя Андрея Васильевича Меньшого Леонтию Злобе Васильеву сыну Львову, последнему предоставлено право покупки в Вологодском уезде земли размером в соху из числа «боярских и служных и черных тяглых людей»[2].

Черная земля является великокняжеской тяглой, т. е. крестьяне, на ней живущие и ею пользующиеся, несут *тягло* (дань и другие повинности в пользу государства) по разверстке общинных властей, вместе с волостью или станом (т. е. вместе с другими черными крестьянами, связанными с ними поземельно и в административном отношении подчиняющимися власти княжеских волостелей и становщиков).

«Черная», тяглая, великокняжеская, государственная земля противопоставляется земле боярской и церковной. Такое противопоставление выступает в ряде документов. Так, судья ставит на суде вопрос свидетелям: «Чем же ся вы межу себя уличаете? Ты, Лазарь, с товарыщи зовешь *землею тяглою становою*, а ты, Федор, и Олфер с товарыщи зовете *землею боярскою, а не тяглою*». Великокняжеский дворский в 1496 г. «отвел» часть монастырской земли «х *тяглой* земле великого князя». Один из «знахорей» так говорил про дворцовую землю: «а то, господине, земля изстарины звенигородицкаа, а к нам, господине, *к черным не тянула, ни к боярам*»[3].

Если черные крестьяне непосредственно подчинялись (через выборных общинных властей) князю как верховному собственнику земли, то для крестьян боярских и монастырских непосредственными землевладельцами являлись какой-либо светский феодал из числа местных вотчинников или церковная корпорация, а уже над ними стоял верховный собственник всей территории данного княжества—князь великий или удельный.

«Служни» земли (из числа дворцовых княжеских) занимали промежуточное положение между монастырскими и боярскими, с одной стороны, и черными, тяглыми—с другой. В договорных княжеских грамотах они сближаются скорее с последними («земли данные служнии или черных людии»[4]). Дворцовые слуги могли обрабатывать землю собственным трудом, и тогда они сближались с крестьянами, но могли пользоваться и чужим трудом, становясь мелкими феодалами.

---

[1] ДДГ, стр. 253, № 72.

[2] АСЭИ, т. II, стр. 165, № 250.

[3] Там же, стр. 372, № 375; т. I, стр. 499, № 602; АФЗХ ч. 1, стр. 98 № 103. Здесь и далее по всей книге, в цитируемых источниках курсив мой.—*Л. Ч.*

[4] ДДГ, стр. 32, № 11.

Так было в период феодальной раздробленности. Объективный процесс развития феодальной собственности на землю нарушал эту сложившуюся в отдельных княжествах структуру феодального землевладения, приводя к другим формам иерархии централизованного типа. Феодальные вотчины, разрастаясь, не считались с пределами отдельных княжеств. Тем самым нарушалась правовая норма договорных междукняжеских взаимоотношений о запрете земельных покупок в чужих княжествах. Жизнь оказывалась сильнее всяких юридических формул, явно нарушая их. Так, в договоре великого московского князя Дмитрия Донского с серпуховским и боровским князем Владимиром Андреевичем 1389 г. сразу после стандартной статьи о том, что князья-союзники не будут покупать сел один во владениях другого, говорится об отступлении от этого правила в недавнем прошлом, после смерти великого московского князя Ивана Ивановича, когда имел место факт купли землевладельцами одного княжества в пределах другого земель «данных служних или черных людии»[1].

Рамки отдельных княжеств перерастало прежде всего землевладение митрополичьей кафедры, разбросанное на огромной территории Руси, и крупных монастырей, из которых такие, как Троице-Сергиев, подобно митрополичьему дому, владели вотчинами в целом ряде княжеств. Кроме того, следует помнить, что и у митрополичьей кафедры был ряд домовных приписных монастырей и выходцы из Троице-Сергиева монастыря основали новые монастыри в разных частях Руси. Развитие церковного и монастырского землевладения, интенсивно происходившее на протяжении XIV—XV вв., являлось одним из существенных факторов политической централизации, ибо это развитие не считалось с наличием внутри страны политических перегородок. Обладавшие в значительной мере правом экстерриториальности, духовные феодальные корпорации были силой, пробивавшей серьезные бреши в политическом здании феодальной раздробленности. И не случайно князья, пытавшиеся возглавить процесс политической централизации (сначала тверские, затем московские), стремились обеспечить себе поддержку со стороны церкви. Дело было при этом не только в поддержке материальной и идеологической, а и в том, что церковное и монастырское землевладение по самому своему характеру представляло серьезную базу для политического объединения страны. Я думаю, что не случайно дворянские и буржуазные историки в ряду условий, определивших роль Москвы в качестве центра единого Русского государства, выдвигали и то обстоятельство, что она рано стала местопребыванием митрополита. Если дворянско-буржуазные историки придавали при этом решающее значение таким моментам, как моральное влияние церкви на население и важность для народа авторитета митрополитов, на который опирались в своих действиях московские князья, то советская наука должна обратить

[1] ДДГ, стр. 32, № 11.

свое внимание на другое—на роль духовных корпораций в качестве крупных землевладельцев. Церковь обладала бóльшими возможностями и средствами, чем многие другие вотчинники, для расширения своих богатств, при участии церковных феодалов происходила более быстрыми темпами мобилизация земельной собственности, нарушая установленные законом пределы отдельных княжеств. Именно церковные землевладельцы раньше других становились земельными собственниками всероссийского масштаба.

Рост церковного и монастырского землевладения совершался вопреки нормам междукняжеских договоров, требовавших охраны князьями черных людей: «блюсти ны их с одного»[1].

Для расширения феодальной (и, в частности, церковной и монастырской) собственности в XIV—XV вв. имели большое значение как раз захваты феодалами черных крестьянских земель. Средства, к которым прибегали монастыри и другие духовные феодалы для завладения черными землями, были различные. Иногда переход к монастырям или иным духовным корпорациям черных земель внешне носил вполне законный характер. Он облекался в форму земельного пожалования (или разрешения на покупку) монастырю, митрополиту и т. д. со стороны князя—верховного собственника фонда черных земель. Так, в 1420—1421 гг. великий князь Василий II «ослободил» митрополиту Фотию купить деревню Яковльскую в волости Талше Владимирского уезда[2]. В 1467—1474 гг. Иван III «пожаловал» игумена Троице-Сергиева монастыря Спиридония с братьею слободкой Любедецкой Филисовской и пустошью Григорьевскою в Медушском стану Владимирского уезда (кроме двух оброчных деревень). Тогда же князь Андрей Васильевич угличский «пожаловал» игумена Троице-Сергиева монастыря Спиридония «двумя полями» (30 четвертей) земли Павловского села, которую монахи «пригородили» к своей деревне[3]. В 1473 г. князь Юрий Васильевич дмитровский «променил» игумену митрополичьего Новинского монастыря Герасиму «свои земли тяглые»—деревню и два селища в обмен на монастырские владения[4].

В ряде случаев княжескому пожалованию предшествует насильственный захват черной земли монастырем. Князь лишь санкционирует переход к монастырю земельного участка, которым он фактически уже завладел. Так, в жалованной грамоте угличского князя Андрея Васильевича 1472 г. Троице-Сергиеву монастырю указано, что монахи «секли» княжеский лес «и пахали» «старь, не делавую землю» к монастырскому сельцу Васильевскому, в Кинельском стану Угличского уезда, «и огород вгородили в поле». Своей жалованной грамотой князь Андрей Васильевич «придал» указанную землю к монастырскому сельцу «впрок». На суде, происходившем около 1502—1504 гг., выяснилось, что великий князь «придал»

[1] ДДГ, стр. 20, № 5.
[2] АФЗХ, ч. 1, стр. 200, № 226.
[3] АСЭИ, т. I, стр. 262, № 357; стр. 267, № 365.
[4] АФЗХ, ч. 1, стр. 84, № 82.

к селу Хупани, принадлежавшему Троице-Сергиеву монастырю, половину селища Дьяковского, входившего в состав черных земель Бармазовской волости Переяславского уезда. Это вызвало протест сотника Бармазовской волости Окула, который от имени всей волости стал требовать размежевания. Дело разбирал судья Иван Яковль. Монахи представили в суд старую разъезжую грамоту. Настроение черных крестьян в связи с утратой ими части земельной площади было очень возбужденное, и они демонстративно заявили судье: «А та у них разъежая грамота лживая, и ты ту грамоту положи перед великим князем, а нас в Дьякове селище оправи; а не оправишь, и нам на тобя бити челом государю великому князю»[1]. Судья передал дело на доклад дворецкому князя П. В. Шестунову, после чего был назначен новый разъездщик, проведший земельную границу так, как этого требовали интересы монастыря.

Из документов видно, что иногда черные земли захватывают светские землевладельцы—бояре, великокняжеские слуги, а уже от них эти земли переходят разными путями к монастырям. В 1428—1432 гг. боярин В. Б. Копнин оформил данную грамоту на шесть пустошей в Мишутинской волости Переяславского уезда, переданных им в качестве вклада в Троице-Сергиев монастырь. Можно думать, что пустоши принадлежали когда-то к числу черных, но были затем «обоярены». Это видно из позднейшей пометы на данной грамоте В. Б. Копнина о том, что староста и черные крестьяне Мишутинской волости в княжение Ивана III судились с монастырем по поводу указанных пустошей, но проиграли дело[2]. Около 1455—1460 гг. келарь Троице-Сергиева монастыря Логин купил у Андрея Саватыева землю Саватыевскую, в Верхдубенском стану Переяславского уезда[3]. Но эта земля оспаривалась черными крестьянами Мишутинской волости. Сама купчая была совершена помимо воли продавца, очевидно, не чувствовавшего себя собственником отчуждаемой недвижимости. Во всяком случае Андрей Саватыев указывал, что «купил у него Логин ту землю силно за... приставом великого князя...»[4] На суде, происходившем в 60—70-х годах XV в., выяснилось, что незадолго до «Белевщины», т. е. до того времени, когда в г. Белеве укрепился хан Улу-Мухаммед (конец 30-х годов XV в.), А. В. Лыков передал в Троицкий Махрищский монастырь село Зеленцино с землями, в Переяславском уезде, которые раньше принадлежали к числу дворцовых владений великой княгини Марии Ярославны[5]. В 1485—1490 гг. староста Залесской волости, Костромского уезда, Андрей и черные волостные крестьяне обвиняли старца Троице-Сергиева монастыря Касьяна в том, что он и другие «старци троецьские» «отняли» у них два наволока на реке Костроме. Старец Касьян в доказательство прав монастыря на эти

[1] АСЭИ, т. I, стр. 299 № 408; стр. 556—560, 569, № 642.
[2] Там же, стр. 58, № 61.
[3] Там же, стр. 188, № 259.
[4] Там же, стр. 318—320, № 430.
[5] Там же, стр. 246—249, № 340.

наволоки представил купчую грамоту, в которой говорилось, что они приобретены монастырем у Ивана Калинина[1]. Тогда же черные крестьяне Залесской волости подняли вопрос и о принадлежности им пустоши Тевликовской, которой также завладели монастырские старцы. Но и на эту пустошь в Троице-Сергиевом монастыре оказалась купчая грамота[2]. В 1488—1490 гг. черные крестьяне Нерехотской волости указывали на суде, что старцы Троице-Сергиева монастыря «припустили полтора поля» черной земли Северовской к монастырской деревне Мотайцеву, а кроме того, «пашут» черные земли Рязанцево, Тарасцово, Завражное. Монастырский старец Даниил показал судье купчую грамоту на эти земли, в которой, однако, не были указаны имена населенных пунктов[3]. В те же годы черные крестьяне той же Нерехотской волости, Костромского уезда, добивались на суде возврата им земель Гилева и Дубовицы, захваченных Троице-Сергиевым монастырем. Монастырские старцы ссылались на то, что у них имеются на указанные земли грамоты (данная и купчая), и передали их судье[4]. На суде 1497—1498 гг. по делу между Троице-Сергиевым монастырем и черными крестьянами деревни Михайловской Юрьевского уезда—Фофаником с товарищами—о селище Медвежьем, выяснилось, что это село «от Суздальского бою» (т. е. с 1445 г.) перешло к боярам, а от них—к Троице-Сергиеву монастырю (лет 20 тому назад)[5].

Я не останавливаюсь специально на фактах покупки монастырями земель у самих черных крестьян, так как эти факты собраны и рассмотрены в монографии А. И. Копанева.

Одним из средств захвата духовными феодалами черных земель была распашка пустошей, временно заброшенных черными крестьянами участков. Разрабатывая трудом своих крестьян пустующие черные земли, монастырские власти тем самым присваивали их. Около 1462—1470 гг. Гридя Голузнивый говорил на суде относительно ряда пустошей у Соли Галицкой: «то, господине, земли великого князя черныи тяглыи», а чернец Симонова монастыря «пашет их без леп, а зовет землями монастырьскими»[6]. В 1463 г. крестьяне Корнил и Иван рассказывали судье Якову Шацевальцеву: «живем, господине, туто с ними [старцами Симонова монастыря] обо враг.., а наехали, господине, [старцы] и почали они пахать пустоши»[7]. В 1488—1490 гг. черные крестьяне Нерехотской волости Костромского уезда подали в суд жалобу на старцев Троице-Сергиева монастыря, завладевших черными землями Волосцевым и Пупковым и др. Когда-то это были пустоши, «а старци троицкие поставили на тех пустошех деревни». В предъявленной монастырским старцем Даниилом купчей спорные земли не были

[1] АСЭИ, т. I, стр. 401—403, № 524.
[2] Там же, стр. 403—404, № 525.
[3] Там же, стр. 417—418, № 539.
[4] Там же, стр. 413—414, № 537.
[5] Там же, стр. 527—529, № 615.
[6] АСЭИ, т. II, стр. 362, № 368.
[7] Там же, стр. 371, № 375.

названы, но он объяснил это тем, что уже после приобретения земель монастырские крестьяне свели на них лес и устроили новые жилые поселки[1].

Расхват монастырями черных земель производился особенно интенсивно в годы бедствий (неурожаев, эпидемий, вражеских нашествий и т. д.). Около 1465—1470 гг. разбиралось дело о луге Калитниковском Галичского уезда. Выяснилось, что этот луг принадлежал когда-то к числу черных великокняжеских земель, затем этот луг «залегл» «от мору», черные крестьяне его забросили и он перешел во владение старцев Симонова монастыря[2]. В 1500—1501 гг. происходил суд между митрополичьим посельским села Куликовского Костромского уезда Ваней и великокняжескими крестьянами Минского стана по делу о владении рядом деревень и пустошей. Великокняжеские крестьяне Фрол и Копос рассказывали, что тяглые земли Минского стана «запустели... от великого поветрея», и после этого посельский Ваня стал называть их «митропольскими землями», поставил на них деревни, «а пустоши... почал пахати и косити...»[3]

В связи с развитием трехпольной системы земледелия монастырские власти и митрополичьи приказчики стали присоединять пустующие черные земли к своим пашням, используя их в качестве «третьего поля». В конце XV в. возник земельный спор между митрополичьей кафедрой и Андреем Пелепелкиным о селище Поповском Коломенского уезда. Андрей Пелепелкин доказывал, что это селище — «земля великого князя», которой незаконно завладела кафедра. А митрополичий посельский Сенька утверждал, что спорное селище представляет собой третье поле митрополичьего села Бисерова[4]. В 1505 г. черные крестьяне Вольской волости Белозерского уезда—Окиш Олюнов с товарищами жаловались на приказчика Д. В. Шеина—Гридю Тептюкова в том, что он «припустил» к селу Лаврентьевскому «в третье поле деревню Олешинскую, которая была «пуста от великого мору»[5].

Приведенный материал не только указывает на рост монастырского землевладения за счет расхвата (нелегального и облеченного в легальные формы) черных земель. Он свидетельствует и о том, что великие князья были вынуждены вопреки ими самими установленным нормам, охраняющим от распыления фонд черных земель, содействовать переходу последних в собственность митрополичьей кафедры и монастырей. И это, конечно, потому, что расширение площади церковного и монастырского землевладения, разрывавшее установившиеся политические границы, было в интересах политики государственной централизации. Проникновение вотчин митрополичьего дома, Троице-Сергиева и дру-

[1] АСЭИ, т. I, стр. 415—416 № 538.
[2] АСЭИ, т. II, стр. 383—385, № 383.
[3] АФЗХ, ч. 1, стр. 222, № 258.
[4] Там же, стр. 106, № 114.
[5] АСЭИ, т. I, стр. 582, № 658.

гих центральных монастырей в отдельные полузависимые от Москвы или только что попавшие под московский протекторат княжества создавало там экономическую и социальную опору для московской великокняжеской власти. Но на определенном этапе расхищение духовными корпорациями черных земель, верховным собственником которых с объединением основного массива территории Северо-Восточной Руси вокруг Москвы и падением независимости большинства феодальных центров стал великий князь московский, обнаружило в глазах московского правительства и свои отрицательные последствия. Если развитие церковного и монастырского землевладения на протяжении XIV—XV вв. содействовало процессу политического объединения Руси, то закрепление результатов этого объединения, реорганизация государственного аппарата и обеспечение внешнеполитической безопасности Русского централизованного государства в конце XV—начале XVI в. проводились на базе измененной структуры феодальной земельной собственности. В это время развитие получила новая форма земельной собственности—поместная система, служившая материальной базой для завоевывающего ведущее место в системе господствующего класса социального слоя — служилого дворянства. А для его обеспечения требовались земли. Отсюда и возникают планы великокняжеской власти: минимальный—приостановить рост церковного и монастырского землевладения; максимальный—отнять у церковных учреждений и часть тех вотчин, которыми они уже владели.

Во всяком случае я думаю, что в истории роста церковных и монастырских имений необходимо выделение двух этапов, из которых первый явился одной из предпосылок создания централизованного государства, а второй создавал уже известные для этого препоны.

* * *

Церковное и монастырское землевладение увеличивалось не только за счет черного, но в значительной мере за счет боярского. Каковы же были общие линии эволюции боярской земельной собственности в период складывания Русского централизованного государства?

Развитие боярского землевладения приходило в противоречие с существующей в период раздробленности политической системой в том отношении, что при свободе вассального договора боярин и вольный слуга мог быть землевладельцем в одном княжестве, а служить князю — верховному главе другого княжества. Выход из этого противоречия был найден в зафиксированном в междукняжеских соглашениях статусе, согласно которому наряду с правом свободного отъезда бояр и вольных слуг от князей, с которыми они были связаны служебными договорами («а бояром и слугам вольным воля»)[1], декларировались их обязанность «судом и данью

[1] ДДГ, стр. 20, № 5; стр. 32, № 11; стр. 33, № 13; стр. 40, № 14; стр. 42, № 15.

тянуть по уделом, где кто живет», и обязанность князей «блюсти» чужих бояр и слуг, «как и своих»[1]. Но этот статус, конечно, не мог быть устойчивым и часто нарушался в условиях тех постоянных усобиц, которыми наполнен период феодальной раздробленности. Поэтому и отношение боярства (в его отдельных группах) к вопросу о централизации не могло не быть противоречивым. С одной стороны, независимость отдельных русских княжеств обеспечивала землевладельческие и политические привилегии местных бояр от поползновений их нарушить со стороны великокняжеской власти. С другой стороны, землевладельческие интересы многих бояр были уже значительно шире тех возможностей, которые им были предоставлены строем политически раздробленной Руси, и они не могли не стремиться к устранению препон, этим интересам мешавших.

Одной из таких препон служил запрет землевладельцам приобретать земли в чужих княжествах. Как видно, жизнь заставляла нарушать его. Так, из договора князя Дмитрия Юрьевича Шемяки с князьями суздальскими Василием Юрьевичем и Федором Юрьевичем 1445 г. узнаем, что служилые князья и бояре московского великого князя «покупили» в Суздальском княжестве у местных князей, бояр и монастырей «волости и села», а некоторые земли продавал великий князь от своего имени («... подавал (их) в куплю и грамоты свои подавал купленые...»)[2].

В обстановке усиливающейся мобилизации земельной собственности и борьбы за землю в среде господствующего класса зародилось и оформилось в качестве одной из юридических основ вотчинного землевладения, положение, согласно которому родственники вотчинника, отчуждающего свою землю, сохраняли право приобрести ее в первую очередь, а если вотчинник не ставил их в известность о предполагаемой им земельной сделке, то за его родичами оставалось право на выкуп отчужденной недвижимости. Подобный статус защищал интересы землевладения целых боярских фамилий, гнезда которых были разбросаны по разным княжествам. Эта норма вотчинного права возникла в период феодальной раздробленности и служила своеобразной броней для боярских родов, отстаивавших неприкосновенность своих владений. В случае вынужденных или добровольных актов (продажи, обмена, залога и т. д.) с родовыми вотчинами со стороны отдельных представителей боярских родов эти лица или другие члены тех же боярских фамилий старались оставить для себя открытым путь к возврату фамильной земельной собственности. Институт выкупа родовых вотчин тормозил земельную мобилизацию и консервировал порядки феодальной раздробленности. В ряде данных, купчих и других грамот на землю фигурирует пункт о том, что если новый собственник земли захочет совершить с ней какую-либо сделку (продать,

---

[1] ДДГ, стр. 48, № 17; стр. 52, № 18.
[2] Там же, стр. 120, № 40.

заложить и т. д.), то он должен прежде всего обратиться к прежнему землевладельцу или его родственникам.

По данной Анастасии Саларевой Троице-Сергиеву монастырю около 1435—1449 гг. на села Фаустовское и Козловское в Московском уезде монастырю запрещалось продавать эти села кому-либо, кроме вкладчицы. «А будет им те села продати, и им, мимо меня, Настасьи, тех сел не продати»[1]. В 1470 г. Иев Прокофьев, завещая свою землю трем сыновьям, с тем чтобы они поделились ею поровну, обязывает каждого из братьев не отчуждать свою землю, не поставив в известность остальных. «А будет сыну которому не до земли, и ему мимо своего брата не продати, ни променити, никому не дать, а взяти ему с своего жеребья с тое земли два рубля»[2]. В 70—80-х годах XV в. Федор Иванович Пильём купил у своих дядьев Василия и Семена Федоровичей село Ивашково с деревнями в Ростовском уезде, взявши на себя обязательство не вступать ни с кем в сделки относительно указанных земель, кроме этих своих родственников[3]. Условие о непродаже покупателем земли никому, кроме продавца, содержится в купчей 70—80-х годов XV в. А. С. Карачева на пустошь Чупрово, проданную ему В. Полукарповым[4].

Иногда в документах находим указания на то, что родственники лица, каким-либо способом (путем продажи, обмена и т. д.) реализовавшего свое право собственности на землю, могут выкупить ее даже независимо от желания нового собственника. Около 1430 г. душеприказчики И. М. Крюкова Фоминского дали Троице-Сергиеву монастырю село Медное с деревнями в Новоторжском уезде. В данную грамоту было внесено условие о том, что дети и родичи вкладчика имеют право дать за это село выкуп в полторы тысячи рублей. В данной конца XIV—начала XV в. князя Ф. А. Стародубского игумену Троице-Сергиева монастырю на озера Смехро и Боровое в Алексинском стану Стародубского княжества говорится: «А хто сю грамоту подвигнет моих детеи или моих братаничев, ино ми с ними суд перед богом, а даст тот святои Троице двесте рублев»[5]. Из приведенного текста видно, что вкладчик предполагает возможность того, что кто-либо из членов его фамилии будет претендовать на озера, данные им монастырю, и назначает цену их выкупа.

Право родового земельного выкупа было правом реально действующим. С ним считались и московские князья[6]. Мы знаем ряд фактов, когда родственники того, кто продал или отдал кому-либо фамильную вотчину, выкупали ее. Так в 70—90-х годах XV в. Иван Шадра Вельяминов совершил выкуп у Бориса Враникова «своей вотчины» — села Дубровки, проданной ранее его дядей

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 98, № 127.
[2] Там же, стр. 286, № 394.
[3] Там же, стр. 331, № 444.
[4] Там же, стр. 364, № 481.
[5] Там же, стр. 64, № 71; стр. 28, № 4.
[6] Ср. *С. Б. Веселовский*, Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси, т. I, стр. 18—39.

Ф. Ф. Лайком Якиму Драчу, а от сына последнего перешедшей к Борису Враникову[1]. В 1484—1488 гг. Д. В. Шеин выкупил у Троице-Сергиева монастыря «свою отчину» — ряд сел на реке Шексне, в свое время отданных монастырю им и его матерью[2].

В 1474 г. Иван III специальной грамотой разрешил Ф. С. и И. И. Афанасьевым выкупить у того же монастыря их «отчину», проданную в монастырь их дядей В. Афанасьевым. Условием выкупа вотчинной земли было поставлено не отчуждать ее в дальнейшем никому, помимо монастырских властей. «...И яз вас пожаловал,— читаем в указанной грамоте Ивана III,— велел есми вам ту землю, свою отчину, у монастыря выкупити. А будет вам не до земли, и вам тое земли Офонасьевские мимо монастырь Сергеев, мимо игумена и его братьи, не продати, ни менити, ни в закуп не дати, ни в холопи ся вам с тою землею не датися»[3].

В то же время в XIV —XV вв. институт выкупа родовых вотчин колеблется под натиском ряда землевладельцев, стремящихся к расширению своих имений путем преодоления кастовости старых боярских родов, отстаивавших неприкосновенность фамильных владений. Объективно видоизменение этого института означало устранение правовых тормозов на пути мобилизации земельной собственности на территории Северо-Восточной Руси вне зависимости от имеющихся в ее пределах политических перегородок и от категории землевладельцев, к которой принадлежали продавец или покупатель. В грамоты, касающиеся приобретения земли, часто включаются пункты о том, что это приобретение совершается «впрок» и земля не подлежит обязательному выкупу. В 1425—1440 гг. Илья Молоко купил у Фрола Ивановича Сушатина пустошь Лютиковскую и селище Глинково в Переяславском уезде «собе и своим детем впрок, без выкупа, по грамоте своего государя великого князя Василья Васильевича»[4]. Купля 70—90-х годов XV в. Есипа Андреевича на село Ваганово с деревнями Владимирского уезда, купленное у Ивана Злобы Андреевича Басаровитинова, имеет аналогичную концовку: «А купил есми то село з деревнями и со всем собе и своим детем впрок, без выкупа»[5].

Особенно боролись с правом выкупа родовых вотчин монастыри, стремившиеся сделать своей полной собственностью приобретаемые земли. В данной грамоте Ф. А. Коровая игумену Троице-Сергиева монастыря начала XV в. на село Перетержское с деревнями в Койской волости Угличского уезда содержится условие: «А того села от монастыря святыя Троицы игумену Никону, или хто по нем иныи игумен будет, не дати, ни продати»[6]. В конце данной княгини «иноки» Евпраксии 30—50-х годов XV в. Троице-Сергиеву

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 367, № 487.
[2] Там же, стр. 386, № 509.
[3] Там же, стр. 312—313, № 423.
[4] Там же, стр. 53, № 51.
[5] Там же, стр. 365, № 484.
[6] Там же, стр. 37, № 21.

монастырю на село Воронино в Переяславском уезде сказано: «А то им село не продати никому, держати им за собою въпрок»[1]. Развернутая формула о неотчуждении земельного вклада содержится в данной грамоте начала XV в. В. К. Гуся Добрынского митрополиту Фотию на сельцо Васильевское и другие земли в Московском уезде: «А господа мои митрополиты киевскии и всеа Руси, Фотей и которые по нем будут, то селцо держат в дому пречистыа богородици и святого чюдотворца Петра, а не продаст его, ни променит, ни отдаст никому, занеже дал есмь то селцо, и деревенку, и пустошь на поминок своим родителем и себе и всему своему роду»[2]. Надо при этом отметить, что если вкладчики или продавцы вотчин специальными оговорками, сделанными в соответствующих на них документах, изымали эти вотчины из сферы воздействия на них института выкупа фамильных имений, то дальнейшая мобилизация таких вотчин стеснялась новыми ограничениями: они должны были оставаться в собственности монастыря.

Иногда при сделках на землю составлялись специальные записи об отказе собственника недвижимости или его родственников от всяких на нее претензий. В конце XV—начале XVI в. М. Г. Кутузов с сыном продал 6 деревень Иосифову-Волоколамскому монастырю. Одновременно его родственник И. Г. Маринин составил «отпись» в том, что ему «до тех земель дела нет»[3]. В купчей 1498—1499 гг. Омешата Титова на вотчину Андрея Кульева сына Артемьева в Бежецком Верхе имеется следующее обязательство продавца: «А тое яз, Ондреи, вочины, коя в сеи купчой, опрочь Омешята не продал, ни заложил, ни отдал никому; и неть до тое вочины дела мне, Ондрею, ни моему роду и отроду; волен Омешят, и его жена, и его дети в тои в своеи вочине, коя в сеи купъчои, продати, и променити, и по душе дать, и кому хотять тому отдадуть»[4].

Правительство при разборе исков, возбуждаемых родственниками лиц, совершивших акты отчуждения фамильных вотчин, о разрешении им их выкупить, вынужденное считаться с интересами более широких кругов землевладельцев, чем представители старых боярских фамилий, часто отвечало на такие иски отказом.

В первой четверти XV в. келарь Троице-Сергиева монастыря Савва купил у Григорья Никитина его деревню Назарьевскую в Переяславском уезде. На купчей имеется более поздняя запись, из которой видно, что во второй половине XV в. потомки Григория Никитина—Кузьма Назаров с детьми—возбудили к монастырю иск относительно названной деревни, но проиграли дело на том основании, что «искали земли Назарьевские лет за пятдесят»[5].

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 117, № 160.
[2] АФЗХ, ч. 1, стр. 56, № 41
[3] АФЗХ, ч. 2, стр. 16, № 11.
[4] АСЭИ, т. II, стр. 456, № 420.
[5] Там же, стр. 43, № 32.

В 1455 г. В. М. Ивантин завещал по духовной грамоте часть земель своим сыновьям, а часть—Троице-Сергиеву монастырю. После смерти завещателя его духовную оспорили («в те земли вступили») его сын Григорий с детьми и племянник Иван Борисов. Разбиравший дело волоцкий князь Иван Борисович истцам «в те земли... вступатися не велел, а велел те земли ведати Троецкому манастырю» по духовной В. М. Ивантина[1].

Около 1474—1475 гг. посельский Троице-Сергиева монастыря старец Антоний купил у Матвея Гаврилова Уполовникова пустошь Мелничищо в Переяславском уезде. В начале XVI в. между детьми М. Г. Уполовникова и монастырем возникло судебное дело относительно этой пустоши. Оно было выиграно монастырскими властями, поскольку Уполовниковы показали на суде, что «не ведают того, отец их ту пустошь продал ли Троицкому монастырю и сию грамоту дал ли», а, согласно утверждению троицкого старца Варлаама, монахи приобрели указанную пустошь 30 лет тому назад и в течение названного срока «пашут» ее[2].

Во второй половине 80-х годов XV в. на суде разбиралось дело по иску Матвея и Бекета Григорьевичей Вельяминовых к их брату Семену Григорьевичу и к Семену Кузьмину. Истцы жаловались, что С. Г. Вельяминов продал их фамильную вотчину в Переяславском уезде С. Кузьмину, не поставив их об этом в известиость («а нам, господине, не възвестил»). Ответчики же утверждали, что М. Г. и Б. Г. Вельяминовым о продаже вотчины «было... ведомо». На суде было выяснено, что отчуждение земли состоялось более чем 25 лет тому назад. На вопрос судьи к истцам, «о чем жо вы им (С. Г. Вельяминову и С. Кузьмину) о тех землях молчали до сех мест», М. Г. и Б. Г. Вельяминовы ответили: «Молчали есмя, господине, не надобны были нам». Ввиду того что в течение столь длительного срока вотчина Вельяминовых находилась в собственности С. Кузьмина, суд решил дело в пользу последнего[3].

Эволюция права выкупа фамильных вотчин показывает, что новые явления в области феодального землевладения XIV—XV вв. не укладывались в рамки политического строя раздробленной Руси.

В заключение надо сказать, что в исторической литературе (С. В. Бахрушин, С. Б. Веселовский, Б. Д. Греков) уже давно сделано наблюдение о том, что многие княжеские и боярские фамилии в XV—XVI вв. терпели экономический крах, их представители были вынуждены делать долги, закладывать и продавать свои вотчины монастырям. За счет распада земельных владений отдельных боярских фамилий росло землевладение монастырей. Отсюда делались выводы о большей жизнеспособности, гибкости и приспособляемости к товарно-рыночным отношениям монастырского хозяйства по сравнению с хозяйством боярским. Но этот вывод не

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 181—183, № 253.
[2] Там же, стр. 315—316, № 427.
[3] Там же, стр. 398, № 522.

доказуем теоретически и не может быть аргументирован конкретными фактами. Дело, очевидно, в другом. Отрешаясь пока от политики великокняжеской власти в отношении бояр отдельных феодальных центров (разгром московскими князьями боярской оппозиции в ряде княжеств и т. д.) и оставаясь лишь в сфере объективных процессов социально-экономического характера, надо сказать, что в XIV—XV вв. для развития церковного и монастырского землевладения были более благоприятные условия, чем для развития землевладения боярского. Это — экстерриториальность, несвязанность права распоряжения церковными и монастырскими вотчинами со стороны их владельцев теми юридическими нормами, которые связывали возможность отчуждения вотчин боярских. Поэтому церковные учреждения и монастыри обладали более гибкими (чем бояре) средствами для округления своих имений путем обмена земельных участков и других операций. Наконец, надо сказать, что, в то время как потребности боярства в деньгах все возрастали в связи с теми новыми условиями, в которые они были поставлены с образованием централизованного Русского государства, а деньги можно было достать, продав или заложив землю, церковь как раз была обладателем денежных средств. Источниками денежных накоплений для духовных феодалов являлись вклады «по душе», ростовщичество, торговля. Накопленные церковью денежные средства шли в значительной мере на увеличение земельных богатств, а, борясь за лучшие условия для расширения этих богатств, церковь поддерживала ту практику, которая была направлена к ликвидации государственной раздробленности.

§ 5. Феодальная собственность на землю. Условное землевладение

Одной из наиболее важных предпосылок образования централизованного государства в сфере аграрных отношений было развитие в течение XIV—XV вв. в Северо-Восточной Руси условного землевладения. До нас дошли сведения о раздаче московскими князьями земель своим слугам под условием исполнения ими военного дела или обязанностей в княжеском дворцовом хозяйстве. Наиболее раннее известие подобного рода сохранилось в духовной грамоте Ивана Калиты около 1339 г., в которой читаем: «А что есмь купил село в Ростове Богородичское, а дал есми Бориску Воръкову, аже иметь сыну моему которому служити, село будет за нимь, не иметь ли служити детем моим, село отоимут»[1]. По всей вероятности, этот акт московского великого князя надо рассматривать в плане его мероприятий, направленных к укреплению политического влияния Московского княжества в пределах Ростовской земли. Речь в духовной Ивана Калиты идет или о вотчине Бориса Воркова, при-

[1] ДДГ, стр. 10, № 1.

обретенной у него московским князем, но оставленной за ним же (причем он перешел на положение служилого вотчинника), или же о земле, купленной Иваном Калитой у какого-то другого землевладельца и отданной Воркову на условиях, близких к позднейшему поместному праву. При всех случаях создание московскими князьями комплекса условных земельных владений в других княжествах должно было обеспечить им социально-экономическую опору, помогающую политически там укрепиться.

В дальнейшем по документам вырисовываются два типа великокняжеских «пожалований» земель в условное держание. Первый из них имел в виду дворцовых слуг и ставил задачей, помимо обеспечения последних за службу, заведение хозяйства на пустошах, заселение их крестьянами и тем самым расширение площади обработанных дворцовых земель. Второй тип земельных «пожалований»— это условные держания великокняжеских бояр и детей боярских, на которых московские князья могли опереться в борьбе за расширение политических границ своих владений.

Примером условных держаний первого рода может служить «пожалование» в 1491 г. Иваном III дворцового истопника А. С. Гладкого пустошами Кожевниковым и Федорковым в Мишутинской волости Переяславского уезда. Цель передачи Гладкому пустошей, как это выясняется из текста соответствующей грамоты, заключалась в желании добиться призыва туда крестьянского населения и насаждения там земледельческой культуры. В момент передачи пустующих земель А. С. Гладкому там не было ни «кола, ни двора», их косили и пахали «наездом» крестьяне Троице-Сергиева монастыря. Одной из первых задач, которые выдвинуло перед А. С. Гладким великокняжеское «пожалование», было «поставить себе на тех пустошех двор»[1]. Великокняжеская власть хотела также при этом сохранить фонд черных земель для раздачи своим слугам и старалась предотвратить возможность их дальнейшего расхищения монастырями. Поэтому одновременно с жалованной грамотой А. С. Гладкому была отправлена «посыльная» грамота от имени великого князя мишутинскому дворскому и «всем хрестьяном» с предписанием вместе с А. С. Гладким «стоять» за мишутинские пустоши, не позволяя крестьянам Троице-Сергиева монастыря пахать их «наездом»[2].

Условные земельные «пожалования» московских великих князей боярам и детям боярским как средство политически через них укрепиться в присоединяемых областях и княжествах получают особенное распространение во второй половине XV в. после крупной феодальной войны второй четверти столетия.

В духовной грамоте московского великого князя Василия II 1461—1462 гг. упомянуты «дети боярьские» и «слуги» его жены великой княгини Марии Ярославны, которым и он и его жена пере-

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 443, № 563.
[2] Там же, стр. 443, № 564.

дали свои села. В указанной духовной грамоте говорится, что этими землями может распоряжаться по своему усмотрению Мария Ярославна: «... и в тех в своих людех во всих волна моя княгини, и в тех селах, а дети мои в то не въступаются». В той же грамоте содержатся указания на села боярина Федора Васильевича Басенка (оказавшего услуги московскому великому князю во время феодальной войны), полученные им в Коломенском уезде от матери Василия II—великой княгини Софии Витовтовны. Поскольку последняя в своем завещании написала, что в этих селах «волен» ее сын Василий II, он со своей стороны велел их отдать «опосле Басенкова живота» своей жене великой княгине Марии Ярославне[1].

В договорной грамоте великого князя Ивана III с волоцким князем Борисом Васильевичем 1473 г. фигурируют села, которые великий князь «подавал» детям боярским[2]. Аналогичные сведения содержатся в договорах Ивана III с тем же Борисом волоцким и с князем Андреем Васильевичем углицким 1481 и 1486 гг.[3] В духовной Ивана III 1504 г. имеется следующий пункт: «А которые села и деревни в Новегороде в Нижнем за моими князми, и за бояры, и за детми за боярскими, за кем ни буди, и то все сыну же моему Василью»[4].

Все приведенные данные, правда, очень глухи. На основе их сопоставления все же можно сделать три вывода. 1) Во второй половине XV в., в период наиболее интенсивного процесса складывания Русского централизованного государства, великокняжеские «пожалования» земель в условное держание боярам и детям боярским приобретают более широкий характер, чем раньше. 2) Эти «пожалования» рассчитаны на укрепление социально-экономической базы московской великокняжеской власти в тех когда-то раздробленных феодальных центрах, на основе которых формируется единое государство. 3) Эти «пожалования» в значительной мере преследуют цель хозяйственного освоения земельной площади, подъема пустующих земель, т. е. объективно они должны были содействовать росту производительных сил в сельском хозяйстве на основе укрепления крепостничества.

Условные земельные держания были распространены и в удельных княжествах. Согласно духовной грамоте серпуховского и боровского князя Владимира Андреевича около 1401—1402 гг., землевладение его «слуг под дворским» было обусловлено исполнением ими службы князю. Если они прекращали службу, то лишались и переданной им князем земли: «А кто тех выидет из уделов детеи моих и княгини моеи, ин земли лишен, а земли их сыну моему, чеи будет удел»[5].

---

[1] ДДГ, стр. 199, № 61. См. также *С. Б. Веселовский*, Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси, т. I, стр. 244—245.

[2] ДДГ, стр. 226, № 69.

[3] Там же, стр. 255, № 72; стр. 269, № 73; стр. 317, № 81; стр. 324, № 82.

[4] Там же, стр. 356, № 89.

[5] Там же, стр. 48, № 17.

Ряд данных сохранился о землях, которыми условно владели слуги волоцких и рузских удельных князей. В 1479 г. волоцкий князь Борис Васильевич «пожаловал» игумена Волоколамского монастыря Иосифа деревнями Ярцевской и Руготинской «под Захаром под подьячим, и с хлебом, и з животом, и со всем с тем, как было за Захаром»[1]. Следовательно, до перехода в монастырь княжеские деревни находились во владении (очевидно, условном) княжеского подьячего. В 1500 г. по жалованной грамоте князя Федора Борисовича волоцкого в Иосифов-Волоколамский монастырь поступили деревня Медведкова и половина слободки Тимофеевской в Кличанском уезде, «что ныне за Ивашком за поповичем»[2]. В духовной грамоте рузского князя Ивана Борисовича 1503 г. имеется распоряжение об отдаче в Покровский монастырь трех деревень, «что были за Тимохою за Внуковым...»[3] Иван попович, Тимофей Внуков, как видно, были временными держателями княжеских деревень.

В 1504 г. была составлена «отпись» о передаче в Иосифов-Волоколамский монастырь, согласно завещанию князя Ивана Борисовича, села Спасского в Рузском уезде с 38 деревнями, «опричь тех деревень, которые за помесщики за Митею за сокольником, да за Слепцом за Отяковым, да за Ивашком за Конановым»[4].

Приказчик князя Ивана Пронского Андрей Мартынов рассказывал в 1505 г. на суде: «...пожаловал меня государь мой князь Иван... деревнею Ватмановскою кулигою, а уже тому три годы»[5].

Масштабы раздачи в условное держание земель удельными князьями были, конечно, более узкие, чем масштабы мероприятий, осуществляемых в этом отношении великими князьями московскими. Целью земельной раздачи являлось обеспечение своих военных слуг и дворцово-вотчинного аппарата в пределах своих уделов. Развитие в удельных княжествах условного землевладения содействовало росту вширь и вглубь феодальных отношений, но база этого развития в пределах уделов была незначительной, а предпосылок поддержания их политической независимости с течением времени становилось все меньше.

Условные земельные держания были распространены и в системе митрополичьего землевладения. Передача митрополитами своих земель в держание собственным боярам или детям боярским была, очевидно, обусловлена несением ими военной или дворцовой службы. Особенно многочисленны данные о земельных держаниях фамилии митрополичьих бояр Фоминых. В 1461—1464 гг. грамота митрополита Феодосия зафиксировала переход в условное владение к Фоме Даниловичу Фомину пустоши Посеченки и лужков Ямника и Великого на реке Печкуре в Переяславском уезде. В 1493 г.

---

[1] АФЗХ, ч. 2, стр. 11, № 4.
[2] Там же, стр. 28, № 25.
[3] ДДГ, стр. 353, № 88.
[4] АФЗХ, ч. 2, стр. 36, № 33.
[5] ГКЭ, № 14750.

митрополичий боярин Семен Васильевич Фомин получил там же «на пашню» деревню Монастырево и две пустоши (Плетнево и Перхурово). В 1498 г. были «пожалованы» в «поместье» землями на Унораже, в Костромском уезде, «и с всем с тем, что к тем деревням и селищем потягло изстарины, да и... митропольским оброком» дети боярские Некрас и Дрозд Васильевичи Фомины. Судя по писцовым книгам Петра и Константина Григорьевичей Заболотских 1497—1498 гг., боярин Василий Юрьевич и Константин Федорович Фомины были помещиками Опольского стана, Владимирского уезда (сел Бухалова и Нового под Березами), а Никита Данилович Фомин — Золотова стана Юрьевского уезда (села Добрячева). По сведениям тех же писцовых книг, поместьями на митрополичьих землях владели Иван и Мизин Соломеины, Семен Косагов и др.

Но в пределах владений митрополичьей кафедры во второй половине XV в. получали земельные участки в пожизненное, наследственное, или бессрочное держание и великокняжеские бояре и слуги. Так, около 1460 г. митрополит Иона передал князю Дмитрию Ивановичу Ряполовскому «по прошенью его и по челобитью» село Кусуново во Владимирском уезде в пожизненное пользование («до его живота»). В 1473—1479 гг. грамотой митрополита Симона была закреплена в бессрочное владение за Василием Федоровичем Образцом Симским земля села Селятина на реке Раменке в Московском уезде. В 1486 г. окольничий Иван Васильевич Ощера Сорокоумов «емлет», по «докладу» митрополиту Геронтию, у игумена Новинского монастыря Геронтия с братьею село Кудрино (бывшее раньше в держании у боярина Ивана Федоровича Товаркова) «до своего живота». В 1495—1511 гг. митрополит Симон «пожаловал» ясельничего Федора Михайловича Викентьева, также «до... живота», сельцом Турабьевым на реке Клязьме[1]. Все упомянутые выше лица — это близкие к московским великим князьям второй половины XV в. (Василию II и Ивану III) представители господствующего класса феодалов[2], и весьма вероятно, что «пожалование» их митрополичьими землями производилось с санкции этих князей.

Имеется и ряд прямых документальных данных о том, что земельные участки кафедры отдавались в держание светским лицам по распоряжению великокняжеской власти. Так, в 1462 г. Б. Ф. Тютчев Слепец получил от митрополита Феодосия жалованную грамоту на землю по великокняжеской инициативе («господина и сына своего для великого князя Ивана Васильевича...»). Аналогичный случай относится к 1464—1473 гг., когда И. Г. Киселев дал «запись» митрополиту Филиппу «доложа князя Ивана

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 113—114, № 121; стр. 113, № 120; стр. 217, № 254; стр. 149—150, № 165—166; стр. 151, № 166; стр. 159, № 174; стр. 48, № 28; стр. 50—51, № 33; стр. 55—56, № 40.

[2] *С. Б. Веселовский*, Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси, т. I, стр. 246—249.

Васильевича», причем эта запись была подписана великокняжеским дьяком Василием[1]. О наличии в пределах митрополичьих владений земель, розданных держателям по указанию великих князей, свидетельствует также одна грамота Ивана III 1464—1473 гг. Ивану Шушерину по жалобе митрополита Филиппа. Иван Шушерин «пахал» земли владимирского Царевоконстантиновского монастыря, «сказывая... у себя» «грамоту... жаловальную», которой великий князь «ослободнил» его «те земли пахати, а наем с них давати» монастырю. Не отрицая возможности того, что подобная грамота действительно была выдана, великий князь даже при наличии последней по просьбе митрополита аннулирует ее действие, запрещая И. Шушерину впредь пользоваться монастырскими землями. «И хотя бы у тебя была грамота моя жаловальнаа такова, что тебе те земли пахати, а наем с них давати, и ты б через сю мою грамоту в те земли не вступался ничем, ни пахал бы еси их, ведает свои земли отец нашь митрополит и игумен, кому митрополит прикажет тот свой монастырь ведати»[2].

Итак, можно сделать вывод, что во второй половине XV в. фонд земель митрополичьей кафедры (поддерживавшей великокняжескую власть в ее борьбе за политическое объединение Руси с князьями и боярами отдельных феодальных центров) становится источником обеспечения тех представителей господствующего класса, на которых эта власть опиралась. Но, передавая свои земли великокняжеским боярам и слугам, представлявшим собой социальную опору великокняжеской политики централизации, кафедра преследовала и собственные хозяйственные цели: она желала, во-первых, земельные владения, отдаваемые на время, сохранить в своей собственности, во-вторых, при помощи княжеских бояр и слуг и их крестьян пустующие участки превратить в обрабатываемые. Относясь со вниманием и хозяйственным интересом к практике условных держаний, митрополиты и их приказчики разработали детально их экономические и юридические основы[3].

Экономическое значение условного землевладения заключалось в распространении через него сельскохозяйственной культуры, что в свою очередь, имея предпосылкой применение труда зависимого крестьянства, содействовало расширению и углублению феодальных отношений. В социально-политическом отношении на основе условных земельных держаний укреплялась материальная база той передовой части феодального класса, которая представляла собой силу, заинтересованную в государственной централизации, причем укреплялась путем роста крепостничества.

Те же моменты можно проследить и при изучении земельных «пожалований» временного характера, которые давали власти

---

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 142, № 159; стр. 201, № 228.

[2] Там же, стр. 179, № 199.

[3] Об условиях, на которых митрополичья кафедра раздавала земли в условное держание, см. *Л. В. Черепнин*, Русские феодальные архивы XIV—XV веков, ч. 2, стр. 82—89, 197—200.

отдельных русских монастырей своим и княжеским слугам. Сохранились грамоты Троице-Сергиева монастыря, фиксирующие передачу монастырских земель видным представителям московского боярства. Следовательно, и в данном случае подтверждается сделанный выше вывод, что церковные вотчины были в какой-то мере фондом для материального обеспечения нуждавшихся в земле бояр.

Из правой грамоты 90-х годов XV в. на землю села Почап, Малоярославецкого уезда, принадлежавшего Троице-Сергиеву монастырю, видно, что Почап передавался троицкими игуменами в держание разным лицам. Так, в течение трех лет его «держал от манастыря» великокняжеский сын боярский Богдан Микулин, который сдавал почапские земли «в наимы косити, и орати, и дрова сечи, и береста имать на деготь». Другим держателем Почапа был Семен Васильевич Беклемишев. Одно время село находилось во владении боярина Федора Васильевича Хромого, который его «держал...манастырю на соблюдение»[1].

В 1490—1495 гг. игумен Троице-Сергиева монастыря Симон «пожаловал» Ивана Васильевича Шадру-Вельяминова пустошью Лутковской «в лесе в Синькове» в Дмитровском уезде дс его «живота». Держатель дал монастырю обещание не отчуждать этой пустоши («ни продати, ни променити, ни в закуп не дати, ни своей жене, ни детем, ни своему роду не отдати»), а после своей смерти вернуть ее в обработанном виде, со всем сельскохозяйственным инвентарем и припасами («а что на тои пустоши уродиться хлеба, или животины, или иное что будет, ино по моем жыоте та пустош Лутковская, и с хлебом, и з жывотиною, в дом жывоначяльнои Троице и чюдотворцу Серьгею со всем с тем»)[2]. Приведенный текст свидетельствует о хозяйственных мотивах, которыми руководствовались власти Троице-Сергиева монастыря, рассчитывая, что, отдав И. В. Шадре-Вельяминову пустошь, они через некоторое время получат от него обратно обработанный и заселенный участок.

Об определенном хозяйственном эффекте, к которому приводила передача пустошей во временное пользование, можно судить и по материалам Чудова монастыря. Б. Н. Павлов получил от властей указанного монастыря две пустоши в Московском уезде, на Яузском Мытище. Он эти пустоши «роспахал, и лес россек, и хоромы на них поставил». По договорной записи 1477—1484 гг., оформленной с доклада великому князю Ивану III, чудовский архимандрит с братьей отобрали у Б. Н. Павлова названные земли, поскольку они входили в естественный хозяйственный комплекс, состоявший из ряда других монастырских владений («того деля, что пришли к манастырским землям...»). В вознаграждение за отнятые земельные участки, в разработку которых держателем были вложены определенные средства и труд («за его роспашь и за хоромы»), монахи отдали Б. Н. Павлову в наследственное владение («впрок ему и его

[1] АСЭИ, т. I, стр. 505—515, № 607 и 607а.
[2] Там же, стр. 433, № 556.

детем...») другую (населенную) землю—деревню Чекмасовскую «со всем, что к ней потягло изстарины». При этом с Б. Н. Павлова была взята в монастырскую казну сумма в семь рублей, а монастырь отказался от права «выкупа» этой деревни[1].

На земле, принадлежавшей Симонову монастырю (в Московском уезде), находился Спасо-Преображенский небольшой монастырь. Вместе со всеми прилегавшими к нему угодьями, водными пространствами, селениями и запустевшими земельными участками («... и с Верхним озером, и с Нижним, и с лесом, и з бортью, и з болоты, и с перевесьи, и з деревнями, и с пустошми») названный монастырек в XV в. передавался властями Симонова монастыря в пожизненное держание духовным лицам. Эта передача оформлялась купчими грамотами особого типа (на срок жизни покупателя—«до...живота»). В 1445—1453 гг. подобная купчая была оформлена от имени попа Иова, заплатившего братье Симонова монастыря за Спасо-Преображенский монастырек «со всем с тем, что потягло» к нему, 5 рублей «да овцу пополнка». В купчую было внесено условие: «А по своем животе ни дати, ни продати и того всего никому, все то по моем животе опять в монастырь Пречистой на Симонова в дом». В 1453—1456 гг. монастырек на тех же условиях перешел в пожизненное владение попа Семена Галичанина[2].

Симонов монастырь отдавал свои земли и в наследственное держание, причем акт такой передачи оформлялся опять-таки в форме купчей грамоты. Так, около 1463 г. дьяк дмитровского князя Юрия Васильевича «купил» за 20 рублей у властей Симонова монастыря сельце Халдеевское в Серпуховском уезде «и что к тому селцу потягло изстарины... и з домницами». С одной стороны, в грамоте фигурирует формула о покупке дьяком указанной земли «себе и своим детем впрок», с другой стороны,—обязательство покупателя «не продати никому, ни променити, ни дати никому» «мимо архимандрита симоновского Антониа» приобретенной недвижимости[3].

Одним из источников условного землевладения являлись земельные вклады феодалов в монастыри, делая которые вкладчики оговаривали для себя право вплоть до смерти пользоваться доходами с отдаваемых земель. Так, около 1440 г. бежецкий князь Дмитрий Юрьевич Красный купил у Фетиньи, жены Ивана Юрьевича, за 300 рублей села Присецкое и Воробьевское в Бежецком уезде. Первое село он завещал после смерти в Троице-Сергиев монастырь, второе оставил в пожизненном владении бывшей собственницы[4]. В 1444 г. вдова князя Юрия Васильевича Шуйского—Софья передала в Спасо-Евфимьев монастырь пустошь слободку Чапиху и др. в Суздальском уезде. В данную грамоту княгини

[1] ГКЭ, № 7145; *Д. М. Мейчик*, указ. соч., № 195 и стр. 113—114, № V/1.
[2] АСЭИ, т. II, стр. 343—344, № 347; стр. 349—350, № 355.
[3] Там же, стр. 374—375, № 377.
[4] АСЭИ, т. I, стр. 119, № 163.

Софьи было включено условие о том, что половина дарения останется пожизненно в ее пользовании: «А до моего живота мне, княгине Софье, ведати тех мест—земли, и пожни, и леса половина; а по моем животе и другая половина тех мест к великому Спасу»[1]. В данной 1448—1469 гг. Есипа Иванова сына Пикина игумену Кириллова-Белозерского монастыря Кассиану на деревню на реке Талице и на «подели» Пепелы на реке Сезьме говорится, что частью земель будет пожизненно владеть вкладчик, частью—его жена. «...А дети мои в тое деревню Талитцкую и в те подели Пепелы не вступаются ни во что»,—читаем в данной[2]. По духовной 1454 г. «иноки» Евфросинии Семеновны (рожденной Кушелевой) ее селище Дермлиговское перешло к попу Василию, который не имел права никому его продавать, кроме сына завещательницы и Троице-Сергиева монастыря: «А будет попу Василью не до селища, ино ему мимо монастырь и вочича того селища не продати никому». Следовательно, поп сделался держателем монастырской земли[3]. В 1472—1473 гг. Андриан Федоров сын, священник Хотькова Покровского монастыря, купил у Фетиньи Воронцовой с детьми пустошь Коростьковскую в Радонеже «до своего живота», а после своей смерти распорядился отдать ее в Троице-Сергиев монастырь[4].

В 1475 г. Вассиан Уваров по своей духовной грамоте условно завещал свою землю Уваровскую Троице-Сергиеву монастырю. Одновременно он «приказал» своего сына Юрия монастырскому келарю Савве (т. е. отдал его под покровительство монастыря). Юрий имел право вернуть себе Уваровскую землю, заплатив за нее монастырю шесть рублей («А будет моему сыну Юрью до земли, и он даст с тое земли Уваровские шесть рублев игумену и старцем Сергиева монастыря, а оне ему тое землю отдадут»). Но отчуждение земли кому-либо, помимо монастыря, Юрию было воспрещено («А будет моему сыну Юрью не до земли, и моему сыну мимо Сергиев монастырь не дати, ни продати, ни в закуп не дати никому земли»). В случае смерти Юрия Уваровская вотчина становилась собственностью монастыря («А умрет мой сын Юрьи, и та земля Уваровская в дом живоначалной Троице в Сергиев монастырь по мне, и по моем сыне, и по всем по моем роду впрок»)[5].

В 1478 г. Мария Копнина составила завещательный акт о передаче в Троице-Сергиев монастырь села Кармазинского и деревень с условием пожизненно ими владеть: «А в том селе и в деревнях мне, Марье, жити до своего живота; а после моего живота то село и з деревнями и с хлебом в Сергиев монастырь»[6].

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 485—486, № 444.
[2] Там же, стр. 72, № 117.
[3] АСЭИ, т. I, стр. 179, № 251.
[4] Там же, стр. 300, № 410.
[5] Там же, стр. 387—388, № 450.
[6] Там же, стр. 344, № 457.

Иона Михайлович Плещеев в 1482 г. дал одно свое село (Нахабинское) при жизни в Троице-Сергиев монастырь, другое (Караулово) отдал своей матери. Но ни монастырские власти, ни мать завещателя не могли распоряжаться этими селами без взаимного согласия: «А будет монастырю не до сел, и старцом тех сел и деревень мимо матери моей не продати, ни променити, ни отдати никому; а будет матери моей не до сел, ино мимо братью мою не продати, ни променить, ни отдать никому»[1].

В купчей князей Кемских на сельцо Гридинское в Пошехонье, проданное им в 1490—1499 гг. их дядей Ф. Д. Кемским, имеется условие: «И мне, Федору (продавцу), в тех землях жити до своего живота, а тем ми земель не осваивати, ни продати, ни менити ни в закуп не дати никому. А будет нам, мне Данилу и моей братьи (покупателям), не до земли, и нам мимо своих дядь тех земель не продати, ни менити, ни в закуп не дати никому»[2]. Стало быть, собственниками сельца Гридинского становятся братья Кемские, а их дядя переходит на положение условного держателя этой земли. Но и земельный собственник, и тот, кто фактически пользуется недвижимостью, не могут делать ее объектом продажи, мены, залога и т. д., ибо она не должна выходить из собственности рода князей Кемских.

В заключение можно высказать несколько общих соображений об эволюции условного землевладения. Оно, конечно, не впервые появляется на Руси в период образования централизованного государства. Но в это время оно достигает большого распространения в связи с массовой разработкой залежных и целинных земель. Сыгравши известную прогрессивную роль в деле включения таких земель в орбиту сельскохозяйственной разработки, условные держания в то же время содействовали и расширению сферы крепостничества.

Примерно в XV в. наступает новый этап в развитии условного землевладения, когда оно берется под контроль крепнувшей московской великокняжеской властью, стремившейся использовать земельные держания как средство создания себе социально-экономической базы для политики государственной централизации. Появляются условные земельные держания княжеских слуг на церковных землях, представлявшие собой форму использования государством церковных владений для материального обеспечения светских феодалов, на которых оно опиралось.

Дальнейшее развитие феодального землевладения было связано с распространением в третьей четверти XV в. поместной системы. Ее социально-экономические и политические предпосылки остаются теми же, что и более ранних условных держаний. Это— использование возможно большей земельной площади (в том числе и залежей и целины, а также конфискованных «жилых» владений

[1] АСЭИ, т. I, стр. 378, № 499.
[2] АСЭИ, т. II, стр. 190, № 282.

бояр и монастырей)[1] для обеспечения великокняжеских слуг, формирующихся в сплоченную группу господствующего класса—дворянство, усиление крепостничества. Но поместная система возникает на том этапе процесса складывания централизованного государства, когда заканчивается (несмотря на сопротивление части местных феодалов) объединение основных русских княжеств и областей, идет перестройка государственного аппарата и становится необходимым создание в когда-то самостоятельных феодальных центрах оплота великокняжеской власти в лице дворян, получающих от нее землю в условное владение и на этой основе крепко с ней связанных.

Юридически основы поместной системы разработаны в Судебнике 1497 г. (ст. 62—63). Судебник исходит из деления всех земель Русского государства на две категории: 1) великокняжеские (черные и поместные); 2) не великокняжеские (монастырские и боярские). Объективно это означало признание всех земель находящимися в феодальной собственности (или государства или отдельных вотчинников и церковных корпораций). Это означало, далее, выделение специального великокняжеского земельного фонда (из числа земель черных, конфискованных боярских и монастырских и т. д.) для испомещения дворян, в то время как раньше великие князья прибегали к практике наделения своих слуг землями, собственность на которые сохранялась за церковными корпорациями. Не случайно именно теперь, с возникновением поместной системы, государство делает секуляризационные попытки в целях увеличения великокняжеского земельного фонда как источника испомещения, в то время как раньше таким источником была церковная собственность. Наконец, показательно, что государство юридически приравнивает земли поместные к землям черным, расценивая и те и другие как земли великокняжеские. Что это может означать объективно, как не тенденцию к правовому оформлению в условиях возникшего централизованного государства крепостничества, одним из путей роста которого является переход черных земель к помещикам?

§ 6. Феодальная собственность на землю. Условное владение вотчинами

Происходившая в феодальном обществе мобилизация земельной собственности наиболее полное юридическое выражение находила в форме землевладения вотчинного, предполагавшего право землевладельца передавать по наследству и отчуждать свои имения

---

[1] Об этом см. *С. Б. Веселовский*, Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси, стр. 284—299; *К. В. Базилевич*, Новгородские помещики из послужильцев в конце XV в. («Исторические записки», 1945, № 14, стр. 62—80).

в пределах данного княжества. Это право признавалось князьями за их боярами и слугами. Так, около 1480—1484 гг. великий московский князь Иван III пожаловал А. А. Рудного Картмазова пустошами в Вышегородском уезде, селом Диким и др. «впрок ему и его детем—волен Андрей то село и с пустошми продати и променити, а по душе дати»[1]. В то же время сословный характер феодальной земельной собственности создавал препоны для ее мобилизации (право выкупа фамильных вотчин и т. д.).

Во второй половине XV в. в истории вотчинного землевладения наступает существенный перелом. Некоторые категории землевладельцев теряют вообще право распоряжения своими вотчинами. В процессе борьбы московской великокняжеской власти за политическое объединение русских земель начало условности землевладения было применено, во-первых, к представителям высшего разряда феодального класса—к князьям, переходившим или вынужденным переходить на службу к великому князю, отдавая под его покровительство свои вотчины (к «служебным князьям»). В договоре Василия II с галицким и звенигородским князем Юрием Дмитриевичем 1428 г. и в других подобных документах имеется пункт: «А князеи ти моих служебных с вотчиною собе в службу не приимати. А которыи имут тобе служити, и им в вотчину в свою не въступатися»[2].

Но, кроме когда-то самостоятельных князей, теперь свою самостоятельность утративших и сделавшихся слугами московского великого князя, на положение служилых вотчинников переводились и представители наименее привилегированной, но наиболее связанной с великокняжеской властью части феодалов—бывшие вольные княжеские военные слуги. Так, например, в духовной грамоте Василия II 1461—1462 гг. говорится об условности всех его земельных пожалований (термином «жалованье» могла обозначаться передача земли и в вотчину и во временное держание) и продаж своим служилым князьям и военным слугам: «А кому буду давал своим князем и детем боярьским свои села в жалованье или хотя и в куплю кому дал, ино те мои села моим детем, во чьем ouделе будет, ино тому то и есть»[3]. Тот же принцип условности владения (предполагающей наличие верховной собственности земли) проводится в духовной Василия II и в отношении «вотчин» и «купель» военных слуг его жены: «А которые дети боярьские служат моеи княгине, и слуги ее, и вси ее люди, холопи ее, и кому буду яз, князь велики, тем давал свои села, или моя княгини им давала свои села, или за кем будет их отчина или купля, а в тех в своих людех во всих волна моя княгини и в тех селех, а дети мои в то не въступаются»[4].

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 400, № 393.
[2] ДДГ, стр. 65, № 24. См. там же, стр. 77, № 30; стр. 122, № 41.
[3] Там же, стр. 197, № 61.
[4] Там же, стр. 199, № 61.

Этот новый принцип, определявший зависимость владения вотчиной от службы для определенной категории вотчинников, был противоположен тому, на котором ранее строилось землевладение старинных княжеских бояр и слуг, имевших вотчины и в тех княжествах, князьям которых они не служили. Торжество нового начала, определявшего право владения «служебными» князьями и великокняжескими детьми боярскими своими вотчинами, означало ликвидацию тех правовых норм, которые регулировали развитие боярского землевладения в условиях политической изолированности отдельных княжеств. Новые юридические нормы создавались в процессе борьбы за централизацию, которую вели передовые слои класса феодалов, возглавленных великокняжеской властью. Традиционное начало, зафиксированное в междукняжеских договорах,—«тобе знати своя очина, а мне знати своя очина»—теряло свою силу под влиянием объективных процессов развития феодальной собственности, разрывавших тесные рамки отдельных государственных образований Северо-Восточной Руси времени политической раздробленности. Активное вмешательство в эти процессы вновь складывающейся политической надстройки (формирующейся монархии централизованного типа) приводило к перестройке структуры феодальной собственности на землю—к применению начал условности и служебной обусловленности к владению вотчинами «служебными» князьями (потому что они являлись наиболее опасными противниками московской великокняжеской власти) и бывшими вольными военными слугами (как основной социальной опоры великокняжеской власти).

Перестройка структуры феодальной собственности на землю была связана и с правовым оформлением отдельных новых групп господствующего класса.

Приведенный выше материал, касающийся служилых вотчинников, свидетельствует о том, что происходило расслоение класса феодалов на отдельные категории: когда-то владетельные князья, утратившие свою независимость, старинное московское боярство, дети боярские. Для нас наибольший интерес представляет оформление последней категории—рядовых мелких и средних феодалов, на которых в значительной степени опирались московские великие князья, проводя политику государственной централизации. В таких официальных документах, как княжеские договорные грамоты, *дети боярские* упоминаются впервые в 1433 г. рядом с боярами в качестве «слуг» великого князя: «А которые, господине, бояря и дети боярьские служат тобе, великому князю, или твоеи братье...»[1] Употребление этого термина еще очень нечеткое. Иногда он заменяет термин «вольные слуги». Например: «а бояром и детям боярьским межи нас волным воля»[2]. Иногда же дети боярские фигурируют рядом с вольными слугами: « А бояром, и детем

[1] ДДГ, стр. 70, № 27.
[2] Там же, стр. 88, № 34.

боярьским, и слугам межи нас волным воля»[1]. Эта неустойчивость терминологии, по-видимому, характеризует неустойчивость самой социальной группы. Очевидно, дети боярские—это слой феодалов, формировавшийся из мелких бояр и из вольных княжеских военных слуг. Во всяком случае документы середины XV в. отделяют детей боярских от князей и бояр и противопоставляют всех их, вместе взятых, «земским» (т. е. тяглым) людям[2]. В духовной Ивана III 1504 г. рядом с князьями, боярами, детьми боярскими названы еще *дворяне*[3]. Это указывает на дальнейшую дифференциацию класса феодалов: дети боярские занимают промежуточное положение между боярами и дворянами.

Интересно терминологию договорных княжеских грамот сопоставить со словоупотреблением, встречающимся в летописных сводах. Конечно, летописные своды для изучения истории терминов—источник менее надежный, чем акты, так как летописцы могли пользоваться более поздней терминологией при описании явлений более раннего времени. Однако по рассматриваемому нами сейчас вопросу наблюдения над летописными текстами подтверждают те выводы, на которые дают право договорные грамоты. Излагая события XIV—начала XV в., летописцы говорят преимущественно о княжеских боярах и слугах, о княжеских боярах и дружине. Например: «А бояре и слугы во Тфери и люди избившии от безбожных татар...» (1329 г.), «князь Василий с бояры и слоугами...» (1339 г.); «и бышеть от князя Василья князю Всеволоду томление велико, и бояром и слоугам продажа данная велика» (1358 г.), князь Дмитрий Иванович «седе в Переславли с своею братьею и з бояры и с своею дружиною» (1362 г.)[4] и т. д. Со второй четверти XV в. уже распространяются термины «бояре» и «дети боярские». Так, под 1433 г. в летописи читаем: «Москвичи же вси, князи, и бояре, и воеводы, и дети боярьскые, и дворяне, от мала и до велика, вси поехали на Кострому к великому князю...»[5]

* * *

Весьма характерно, что принцип условности вотчинного землевладения развивается применительно к митрополичьим боярам и детям боярским и к монастырским слугам если не раньше, то одновременно с применением такого же принципа к великокняжеским слугам. Это лишний раз подтверждает мысль, что развитие митрополичьего и монастырского землевладения служило одной из объективных предпосылок (в сфере аграрных отношений) государственной централизации.

---

[1] ДДГ, стр. 91, № 35.
[2] Там же, стр. 94, № 35.
[3] Там же, стр. 354, № 89.
[4] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, Пг., 1922, стр. 37, 49, 67, 73.
[5] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 147.

Большой интерес представляют данные, свидетельствующие о том, что некоторые слуги митрополичьего дома были лишены права без разрешения митрополитов отчуждать свои вотчины. Указанное явление объясняется тем, что кадры митрополичьих детей боярских образовались в значительной мере из числа местных землевладельцев, потерявших собственность на свои вотчины, которая перешла к митрополичьей кафедре, а сами землевладельцы стали служить последней на правах условных держателей этих вотчин[1].

Условно владели вотчинами и слуги некоторых монастырей. Такие порядки в монастырских владениях устанавливались в результате того, что монастыри стремились завладеть земельной собственностью мелких вотчинников, лишив их права распоряжения ею. Около 1416 г. ряд землевладельцев возбудил иск к властям Чудова монастыря. Истцы жаловались, что чудовский архимандрит «отъял» у них «деревни и луги», которые представляют собой их «куплю и отчину», «не велит» им «земль своих продавати никому», а самих «высылает вон». Выступивший на суде чудовский чернец Дионисий, напротив, доказывал, что деревни и луга, которые оспаривали истцы, — «земля извечная» монастырская, «а тем [истцам]... ни отчина, ни купля», и ссылался при этом на «давний отвод» (размежевание), произведенный по приказу великого князя. Суд, который производил великий князь московский Василий Дмитриевич, решил дело в пользу монастыря, запретив продавать или покупать земли, значащиеся за ним в отводной грамоте. «А кто имет продавати, или купити, или архимандрит не слушати, тех велел велики князь архимандриту... вон метати»[2].

В 1458/59 г. было оформлено соглашение между игуменом Калязина монастыря Макарием и его слугой Кузьмой Игнатьевым. Между ними произошел обмен недвижимостями, причем в меновную грамоту было включено обязательство Кузьмы Игнатьева выполнять свои служебные повинности в отношении монастыря и не отчуждать без разрешения монастырских властей полученных при обмене земель, которые должны были обеспечить ему возможность нести свою службу. «И с теми деревнями Кузме и его детем у Троицы у игумена з братьею служить, а мимо манастыря тех деревень не продать, ни променить, ни в приданые не отдать, и в закупе не заложить, и по душе не отдать»[3].

В более поздней меновной грамоте 1461—1483 гг. речь идет о передаче Кузьмой Игнатьевым игумену Макарию «своей отчинной земли» (в обмен на другие земли), но эта «отчина» (т. е. наследственное владение) находится в верховной собственности

---

[1] Об этом см. *Л. В. Черепнин*, Русские феодальные архивы XIV—XV веков, ч. 2, стр. 84—88, 245—246.

[2] ГКЭ, № 8725; *Д. М. Мейчик*, указ. соч., № 32 и стр. 102, № III/1.

[3] ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 4, л. 12.

монастыря, слугой которого является Кузьма Игнатьев (Макария он называет «своим осподарем»)[1].

Итак, XV век характеризуется интенсивным развитием различных форм условного землевладения, подготовившим в конце столетия появление поместной системы.

§ 7. Крестьяне. Старожильцы. Люди «пришлые» и «окупленые»

XV век был переломным в истории русского крестьянства, знаменуя собой существенный сдвиг в развитии крепостничества. Для понимания этого сдвига необходимо прежде всего разобраться в содержании постоянно встречающегося в актовом материале с XV в. применительно к какой-то части крестьян термина «старожильцы». Появление старожильства как категории крестьянства означает важный этап в истории сельского населения Руси в период образования Русского централизованного государства. Б. Д. Греков так определяет сущность старожильства: «Старожилец—это феодально зависимый тяглый крестьянин. За выполнение им тягла отвечает землевладелец. Термин «старожилец» появился тогда, когда возникла потребность отмежевать категорию старых, зависимых от землевладельца, тяглецов от увеличившейся массы новоприходцев»[2]. Ближайшее изучение актового материала позволяет несколько иначе подойти к вопросу о старожильцах.

Старожильцы—это основное крестьянское население феодальных вотчин или государственных земель, противопоставляемое не просто новоприходцам (таким термином документы XV в. вообще не пользуются), а крестьянам, вновь призванным феодалами в свои имения из других княжеств. Жалованные грамоты различают среди зависимого крестьянского населения феодальных владений, с одной стороны, «старожильцев», «хто в тех селех и в деревнях тех сел живет», с другой стороны,—«людей пришлых», кого к себе... [феодалы] перезовут людей из-ыных княженей»[3], «пришлых инокняжцов»[4]. Другие названия старожильцев—это «люди пошлые», т. е. старинные («что люди монастырские пошлые в городе и в селех»)[5], или «тутошные», т. е. местные («а которые тутошные разошлися люди по иным местам, а придут на свое места...»)[6]. Признаком старожильцев (согласно определению жалованных грамот) является то, что они живут в определенных местах (т. е. на определенных земельных наделах), в точно указываемых пунктах (селах и дерев-

[1] ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 11.
[2] *Б. Д. Греков*, Крестьяне на Руси, изд. 2, кн. II, стр. 95.
[3] АФЗХ, ч. 1, стр. 86, № 86.
[4] АСЭИ, т. I, стр. 243, № 236.
[5] АФЗХ, ч. 1, стр. 205, № 234.
[6] АСЭИ, т. I, стр. 140, № 195.

нях) в пределах тех или иных феодальных имений. Точно так же определяют старожильцев и правые грамоты, когда говорят о их участии на суде в качестве «знахорей»—свидетелей. Так, в середине XV в. дмитровская княгиня Евфросинья «положила... на душах (т. е. положилась на показания) на тех сотницех и на хрестьянех, на *тутошних старожилцех*, которые в *тех землях живали*»[1]. В другой правой грамоте приводятся слова свидетеля Левы, который заявил: «Яз, господине судья, тому *месту*, где стоим, имяни не ведаю, как то *место* зовут, яз, господине, тому *месту* не старожилец»[2]. Крестьянин-старожилец—это старожил, тесно связанный с определенным *местом* (земельным наделом) в пределах черного, боярского, монастырского землевладения[3].

Крестьяне-старожильцы, ушедшие из феодальных владений, не перестают рассматриваться как старожильцы, и если они возвращаются на те участки, где жили раньше, то феодалы не смешивают их с крестьянами, приходящими из других княжений. Так, в жалованной грамоте 1474 г. на митрополичье село Доброе, Юрьевского уезда, предусматривается возможность, что митрополичий приказчик «призовет... в то село жити людей старожильцев, которые в нем и преж того живали», но «из него розошлись по иным местом», «или кого призовет из иных княженей, а не из моей отчины из великого княженья»[4].

«Пришлые старожильцы» и «люди пришлые из иных княжений»— это разные понятия. «Пришлые старожильцы»—это старинные крестьяне определенного феодала, которые сначала ушли из его имения, разошлись «по *иным местом*», а затем вернулись «в те села... жити опять на *свои места*», снова пришли «в деревни... опять жити на свои *места* или в дворы...»[5] «Пришлые старожильцы» — это «тутошние старожильцы», местные крестьяне, которые пользовались земельными участками в феодальных вотчинах, бросили их, а по возвращении получают от землевладельцев эти же участки. «...И кого к себе на те пустоши перезовет [архимандрит нижегородского Благовещенского монастыря] людей тутошних старожильцев...»[6]—читаем в одной грамоте XV в.

В жалованных грамотах старожильцы, как живущие в данный момент в феодальных вотчинах, так и вышедшие из них, но могущие вернуться, противопоставляются «людям», призванным из дру-

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 186, № 257.

[2] *Н. П. Лихачев*, Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках, СПб., 1895, стр. 128—131, № III.

[3] Надо иметь в виду, что старожильцами на суде не всегда бывают крестьяне. Старец Исаия так говорил на суде в конце XV в. по одному спорному земельному делу: «А знахори, господине, люди добрые старожилци у нас есь же на ту землю на Зеленево селище Богдан Микулин, великого князя сын боярьской...» (АСЭИ, т. I, стр. 511, № 607а).

[4] АФЗХ, ч. 1, стр. 133, № 151.

[5] Там же, стр. 130, № 145; стр. 203, № 232.

[6] Там же, стр. 202, № 230.

гих княжений[1]. В тех случаях, когда речь идет об опустевших поселениях, из которых вышло все наличное крестьянское население, жалованные грамоты не упоминают живущих в этих поселениях старожильцев, а говорят лишь о «людях» которые будут вновь «перезваны» (как из числа ушедших старожильцев, так и из числа крестьян других княжений)[2].

Итак, старожильцы, по словам грамот, «*живут* в селах и деревнях», принадлежащих определенному феодалу или феодальному государству. Расширяя свое хозяйство или восстанавливая его после опустошений, землевладелец «призывает» в свои села «жити людей» как из числа ушедших от него ранее старожильцев, так и из числа крестьян других княжений. Очевидно, для понимания сущности старожильства необходимо поставить вопрос, какое реальное содержание вкладывают источники в термин «*жити*»?

Значение этого термина раскрывается многочисленными показаниями актового материала. Так, в правой грамоте конца XV в. приводятся слова крестьянина Троице-Сергиева монастыря: «Яз господине, в той деревне Сарычкине *жил* за монастырем, а поставил, господине, тое деревню отец мой..; да *жил*, господине, в той деревне отец мой за монастырем тритцать лет, и десятины, господине, на монастырь в селе в Бебякове пахал; а яз, господине, после отца своего *живу* в той деревне десять лет, да пахал есми, господине, десятины на монастырь в селе в Бебякове восмь лет»[3].

В этих показаниях названы два момента, характеризующие положение крестьянина, который «*живет*» «за феодалом»: 1) освоение им земли под земледельческое поселение; 2) выполнение повинностей на владельца земли.

Аналогичные моменты выступают в грамоте властей Троице-Сергиева монастыря на поселение на монастырской земле крестьянину Сысою Лукину (на рубеже XV и XVI вв.). Монастырский келарь «посадил» его в лесу с условием: 1) что он со своей семьей займется освоением лесной площади под пашню, будет «лес сечи, и дворы ставити, и огорода городити, и пожни чистити»; 2) что он по истечении шестилетнего предоставленного ему льготного срока будет нести феодальные повинности наряду с другими монастырскими крестьянами («ино им потянути со хрестьяны со своею братьею, как и иные крестьяне дело наше монастырское делают»)[4].

Для крестьянина «сесть жити» на земле, принадлежавшей определенному феодалу или феодальному государству, значило хозяйственно освоить эту землю своим, крестьянским, трудом, поставить двор, обзавестись инвентарем—все это в целях получения с земли продукта труда, значительная часть которого шла феодалу. Такое значение выражения «сесть жити» ясно выступает из одного судного

---

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 130, № 145.
[2] Там же, стр. 133, № 151.
[3] АСЭИ, т. I, стр. 539, № 628.
[4] Там же, стр. 534, № 623.

дела 1498 г. Митрополичьи крестьяне косили луга на черной великокняжеской земле. Один из крестьян дал по этому поводу следующие показания на суде: «Яз, господине, с отцем своим и косил на тех лузех, на которых стоим, и отец мой, господине, мне молвит так— нынечя мы те лузи косим за митрополичи, потому что еще не *сел нихто* на Парашине (черной великокняжеской земле), а как на Парашине *сядут* люди *жити*, и они у нас у митрополичих те лузи отъимут, занеж то земля великого князя Парашинская те лузи»[1]. Из этих слов видно, что выражение «сесть жити» на земле означает приведение этой земли в такое состояние, чтобы она служила источником существования крестьянина и дохода для землевладельца. Пока на землю «еще не сел никто», право собственности на нее феодала не может быть реализовано.

В источниках можно уловить разницу между понятиями, характеризующими отношение крестьянина к земле: с одной стороны, «жити», с другой — «сесть жити», или «посадить жити». Если крестьянин «жил» в том или ином определенном селе или деревне, это значило, что он имел свой двор, свое собственное единоличное хозяйство и, занимаясь земледельческим трудом, выполнял свои обязательства землевладельцу в виде феодальной ренты. Если крестьянин «садился» на землю или его «сажал» феодал, это в ряде случаев означало, что ему еще предстояло превратить земельный участок из пустого в жилой, являющийся источником феодальной ренты.

Но так как крестьяне «садятся» на землю с тем, чтобы сделать ее «жилой», то при описании сел новгородские документы иногда указывают, чье «сиденье» представляют собой эти села, т. е. кто из крестьян, «севших» на данный земельный участок, приведет его в состояние «жилого». Например: «все шунжане даша землю святому Николе, Линдиево сединье на Шунги, где Кивал Тоивод растлал, а в Толвуи Гавшино седенье, и Мустуево седенье, Харлово седенье...» Перечисленные села являются исходными пунктами для дальнейшего распространения земледельческой культуры, расширения площади обрабатываемых земель путем вырубки леса и расчистки лесных площадей под пашню («а лишая земля делать ис тех сел по старине...»). В другой грамоте XV в. (раздельной) упомянуты «3 села земли: Василево седенье, да Елизарово седенье, да Онаньино седенье»[2].

В Новгородских писцовых книгах конца XV—начала XVI в. встречаются деревни, которые называются «поседеньями» тех или иных лиц, например «Олеховское поседенье», «Морщихино поседенье», «деревня Бор, Кирилово сиденье», «деревня Куткуево седенье» и т. д.[3]

---

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 231, № 259.

[2] ГВНП, стр. 310, № 323; стр. 310, № 324. См. там же, стр. 329, № 344 и др.

[3] НПК, т. III, стр. 10, 472, 627.

Отличие выражений «сесть» на землю и «жить» на земле хорошо выступает на следующем примере из хозяйственной практики Симонова монастыря. Архимандрит «посадил» на монастырской земле «мужиков» и дал им льготную грамоту в повинностях на три года. Крестьяне «*отсидели* свой урок» и «приходили... в монастырь... били челом, чтобы... дати им еще льготы на 2 годы». Но монастырские власти «им льготы не дали», «и они ис того ся и отказали за великого князя»[1]. Таким образом, «посаженные» на земле крестьяне через три года должны были превратиться в старожильцев, но не стали ими и, «отсидев» срок, в течение которого земля должна была сделаться жилой и приносящей феодальную ренту, потребовали еще двухлетней льготы.

Старожилец—это крестьянин, который «живет» или «жил» на земле феодала в раскрытом выше понимании слова «жити». «Есть, господине, у меня *старожилец*, которой в той деревне ..[великокняжеской] *жил*, а ту землю пахал»,— говорил на суде ответчик по земельному делу. «Яз, господине, на той земле.. [Троице-Сергиева монастыря] *живу* десятой год, а *посадил* мя, господине, старец Касьян, а потуга, господине, тяну с монастырскими крестьяны»,— рассказывал судьям крестьянин. «И Лазарик [крестьянин Троице-Сергиева монастыря] так рек: «Яз, господине, *живу* на той земле на Усовской три годы, а ту землю пашу и сено кошу»[2]. Два обстоятельства обращают внимание в речах крестьян-старожильцев: 1) что земля, которая дана им в пользование, заселена и является объектом эксплуатации; 2) что крестьянский труд эксплуатируется феодалом, реализующим таким образом экономически свое право собственности на землю.

В некоторых грамотах встречается такая формула: «И хто у них в тех селех и в деревнях *имет жити* людей, или кого на пустошех тех земель *посадят жити* людей...»[3] Выражение «*имет жити* ... в селех и в деревнях» означает, что крестьянин будет жить в качестве старожильца в населенном пункте, вести свое хозяйство и продукты своего прибавочного труда в разных формах передавать феодалу. «Жить» в селе или в деревне в этом смысле и значит быть старожильцем. Великокняжеский «разъездщик», определяющий границы земельных владений, именно так поставил вопрос перед крестьянами-старожильцами: «Скажите, вы *жили* ли есте в той деревни, занеже вы *старожильци*?[4] Очень интересно, что вместо термина «старожильцы» в актах иногда употребляется название крестьян по формам поселений «сельчанами» или «деревенщиками», причем совершенно ясно из контекста, что речь идет именно о крестьянах-старожильцах («И которые люди у них ныне *живут* в тех в их селех... и в деревнях во всех в монастырьских... и тем всем их

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 410—412, № 402.

[2] АСЭИ, т. I, стр. 321, № 431; стр. 487, № 593; стр. 316, № 428.

[3] «Акты, относящиеся до юридического быта древней России» (далее—АЮБ), т. I, СПб., 1857, стр. 109—111, № 31/XVIII.

[4] АСЭИ, т. I, стр. 312, № 422.

хрестьяном *селчаном* монастырским и *деревенщиком* не надобе... ям, ни писчая белка...»)[1].

В грамотах, относящихся к новгородским северным владениям, употребляются еще термины «селники», «селяне». Так, например, в начале XV в. новгородский посадник и тысяцкий дали Палеостровскому монастырю в Толвуйской земле земельные участки, воды, ловища. «Селянам» (т. е. крестьянам) было запрещено ловить рыбу в тонях, ездить с лучом, сечь лес, собирать ягоды, драть лыко[2]. В данном случае слово «селяне» имеет значение поселенцы без твердой хозяйственной оседлости («старожильцы»).

«*Садятся жить*» крестьяне обычно на пустоши, «*живут*» в селах и деревнях. Превращение «людей», «посаженных» на пустошах, в старожильцев связано с превращением пустошей в жилую землю. Поэтому «посаженные» «люди» в свою очередь «сажают» на пустошах деревни. «...*Посадили* митрополичи христиане... три деревни на Жарских землях»[3]; великокняжеский слободчик «*посажал*» крестьян на землю, и они «поставили три деревни, а в деревне по двору»[4]; боярин А. М. Плещеев купил селище и «*посадил*... на том селище пять деревень»[5]—такие сведения в большом количестве содержатся в актовом материале.

«Отсидев» определенный («урочный») срок, данный ему для обзаведения хозяйством, крестьянин превращается в старожильца. Так, в 1489—1490 гг. Степан Дорога Якушов «бил челом» великому князю о том, что он «хочет... *сесть жити* на (дворцовой) пустоши» в Московском уезде. Просьба челобитчика была удовлетворена. Он получил для обработки пустошь и освобождение от повинностей на шесть лет. «А *отсидит* свой урок шесть лет, ино ему давати с тое пустоши великому князю оброк на Дворец з года на год на рожество Христово полполтины»[6].

По истечении льготного «урочного» срока «перезванные» «люди» уравниваются со старожильцами не только в повинностях в отношении своих землевладельцев, но и в государственных повинностях, прежде всего в платеже дани. В жалованных грамотах часто встречаются такие условия: «А кого к себе игумен призовет людей из иного княжения, а не из моее отчины, и тем людем пришлым не надобе моа дань на десять лет (или на иной срок).., ни инаа никотораа пошлина. А уживут десять лет, и они потянут с старожильци по силе»[7]; «А отседят те люди пришлые свой урок, они потянут в мою дань по силам»[8].

Из грамот, относящихся к волостным землям русского Севера, подвластным Новгороду, также видно, что понятие крестьянской

[1] АСЭИ, т. I, стр. 214, № 304.
[2] ГВНП, стр. 147, № 90.
[3] АФЗХ, ч. 1, стр. 232, № 260.
[4] АСЭИ, т. I, стр. 419, № 540.
[5] Там же, стр. 440, № 562.
[6] Там же, стр. 420—421, № 541.
[7] АФЗХ, ч. 1, стр. 205, № 234.
[8] АСЭИ, т. I, стр. 107, № 139.

«старины» предполагало, что крестьянин «жил» в пределах данной волостной территории, т. е. имел там свое хозяйство, являвшееся источником уплаты государственных податей. В первой четверти XV в. тяглые волостные крестьяне «княжьостровци» настаивали на суде о включении в «розруб» крестьянина Уласка Тупичина. Последний сначала возражал против этого, говоря: «кладете на мене розруб, а яз у вас *не живу*», но затем признал, что «*жил* есмь и розруб есмь с ними давал». После этого суд вынес приговор: «потянуть Уласке с княжьостровци *в старину*, как отець его тянул».

Но нельзя сказать, что главное отличие частновладельческих старожильцев от других категорий крестьян заключается в том, что они несут государственное тягло, платят дань. Из актового материала видно, что как раз в уплате дани в ряде случаев получают льготу и старожильцы. Так, одна жалованная грамота Троице-Сергиеву монастырю говорит: 1) о монастырских «тутошних людех старожильцех», «которые нынича у них живут»; 2) о «пришлых людях старожильцах», «которые переж сего туто живали»; 3) о «призванных людях из иных княжений». Первые получают освобождение от дани на 5 лет, вторые—на 7 лет, третьи—на 10 лет. «А отсидят те их люди урочные лета, и они потянут в мою дань по силе»,— читаем далее в грамоте[1]. Таким образом, признак, выделяющий старожильцев из числа феодально зависимого населения,— это не просто обязательство уплаты дани, а хозяйственная связь крестьянина с земельным наделом, предоставленным ему феодалом или феодальным государством,— с землей, заселенной, обжитой, возделанной крестьянским трудом и являющейся для феодалов основой получения ренты.

Старожильцы, как старинные жильцы феодальных имений, хозяйственно крепко связанные со своими наделами, отчуждаются вместе с землей. Так, в 1460 г. князь Василий II дал Симонову монастырю жалованную грамоту на два озера «по Новогородцкой рубеж» «да и люди по обе стороны» одного из озер[2]. В конце XV в. князь Федор Борисович «пожаловал» Симонову монастырю в своей «отчине» во Ржеве те же озера, земли, «да и те есми люди дал им старожилцов, которые живут на той земле»[3]. В 1470 г. князь Андрей Васильевич «променил» игумену Саввина-Сторожевского монастыря черные тяглые деревни и вместе с ними крестьян-старожильцев[4]. В 1458—1459 гг. киевская княгиня Анастасия с детьми передала Троице-Сергиеву монастырю две волости в Малоярославецком уезде, Передол и Почап, «со всеми приселкы, и со всеми пошлинами, и с людми, што издавна к тым волостем прислушали и к тым приселком...»[5] Передаются с землей и крестьяне, вновь на ней

---

[1] ГВНП, стр. 148, № 92; АСЭИ, т. I,стр. 137, № 192.

[2] АСЭИ, т. II, стр. 353, № 360. См. также № 365.

[3] Там же, стр. 450, № 417.

[4] *П. И. Иванов*, Сборник палеографических снимков с почерков древнего и нового письма разных периодов времени, М., 1844, стр. 13—14.

[5] АСЭИ, т. I, стр. 200, № 279.

посаженные, еще не ставшие старожильцами, но только осваивавшие землю. Так, до нас дошла жалованная грамота князя Даниила Александровича Спасо-Каменному монастырю 1497 г., в которой говорится, что он велел своему тиуну «сажати своих крестьян» на пустоши, и когда тиун выполнил это предписание и «посадил» на пустошах «жильцов», то князь «теми починки пожаловал игумена с братьею в дом святого Спаса»[1].

Грамот, прямо говорящих о переходе крестьян с землей от одного владельца к другому, от XV в. сохранилось ничтожное количество. Но ближайший анализ актового материала позволяет сделать вывод, что такой переход был обычным явлением. Так, в конце 1440 г. князь Дмитрий Юрьевич Шемяка передал в Троице-Сергиев монастырь село Присецкое в Бежецком Верхе «и з деревнями, и со всем с тем, что к тому селу потягло». В декабре же 1440 г. он дал монастырю на это село жалованную грамоту, в которой было указано, что в селе живут крестьяне («люди», «сироты»), перешедшие вместе с землей во владение монастыря и подлежащие суду игумена[2]. Точно так же около 1430 г. душеприказчики Ивана Михайловича Крюкова дали в Троице-Сергиев монастырь в качестве посмертного вклада завещателя село Меденское на реке Тверце с «серебром», «животиною» и хлебом. В полученной монастырем примерно в то же самое время жалованной грамоте на это село от великого князя Василия II в селе упоминаются крестьяне («люди»)[3]. Путем такого рода сопоставлений различных документов, относящихся к одним и тем же владениям, выданных одновременно и содержащих в одних случаях указания на землю, в других—на живущих на ней крестьян, становится очевидным, что объектом отчуждения в большом количестве случаев является не только земля, но и феодально зависимое крестьянское население. Когда отчуждаются населенные пункты («села», «деревни»), вместе с ними, как это видно из приведенных примеров, продаются, передаются «по душе» и т. д. в первую очередь крестьяне-старожильцы.

Итак, крепкая хозяйственная связь старожильцев с полученными земельными наделами выступает достаточно отчетливо.

Несколько иное значение, чем «старожильцы», имел термин *«давнии люди»*, встречающийся в новгородских грамотах уже в XIII—XIV вв. Это—государственные крестьяне, находившиеся в закрепленной давностью даннической зависимости от князей в результате «заклада» за него и, как таковые, не подлежащие выводу в другие княжества: «А кто будеть давных людии в Торжьку,—

---

[1] «Дополнения к Актам историческим» (далее—ДАИ), т. I, СПб., 1846, стр. 17—18, № 21.

[2] АСЭИ, т. I, стр. 120—121, № 164—165.

[3] Там же, стр. 56—57, № 57 и стр. 64, № 71. От старожильцев надо отличать «людей пошлых», «старых», «старинных» в том случае, когда эти термины означают холопов. Так, в 1435 г. Федор Остафьевич передал детям по духовной грамоте своих «людей пошлых», а «Захара старого отпустил... на свободу и з женою и з детьми» (ГВНП, стр. 171, № 111).

читаем в договорных грамотах Новгорода с великими князьями тверскими,— а позоровал ко Тфери при Олександре и при Ярославе, тем тако и седети, а позоровати ко мне»[1]. Если при характеристике старожильцев существенное значение имеет различие между терминами «жити» на земле, и «сести жити» на землю, указывающими на хозяйственную зависимость крестьянина от землевладельца, то применительно к «давним людям» употребляется выражение «седети, а позоровати...» Это выражение свидетельствует о закреплении данических отношений к князю (в данном случае тверскому) перешедших под его патронат («позоровавших» ему) крестьян-общинников, живущих на территории, ранее подвластной правительству другой земли (в данном случае новгородскому) и продолжавших сохранять связь со своей общиной («...тако и седети»). Здесь мы можем наблюдать расширение круга феодально зависимого населения данного княжества путем включения в эту сферу черного крестьянства новых территорий.

* * *

Старожильцам в жалованных грамотах противопоставляются «*люди*» «*пришлые*», «*перезванные*» из других княжеств и «*люди*» «*окупленые*» или «*купленые*»[2]. Эти два разряда сельского населения обычно стоят рядом («люди пришлые и окупленные»[3]; «купленные и перезванные»[4]). Формулы жалованных грамот, в которых упоминаются эти категории крестьянства, известны в разных вариантах: «А кого к собе призовут в ту деревню людей из-ыных княженей, а не из моей отчины, из великого княжения, или кого себе окупят в ту деревню»[5]; «и кого к себе призовут на те пустоши людей из-ыных княженей, а не из моее отчины, из великого княженья, или кого окупят»[6]; «...или кого окупив посадят»[7]; «или кого людей откупив посадят»[8]. Имеются основания думать, что «окупленые люди» могли быть не «инокняжцами», а местными жителями. В одной грамоте говорится: «И кого призовет игумен в ту деревню из иного княжения, а не из нашие вотчины, из великого княжения, или кого искупит в моей вотчине и посадит...»[9]

Интересны некоторые терминологические различия, которые можно проследить в актовом материале в тех случаях. когда речь

---

[1] ГВНП, стр. 14, № 4. См. также стр. 14, № 5.

[2] АСЭИ, т. I, стр. 236, № 264; стр. 216, № 252.

[3] *С. А. Шумаков*, Обзор грамот Коллегии экономии, вып.2, М., 1900, стр. 47, № 2.

[4] «Акты исторические» (далее—АИ), т. I, СПб., 1841, стр. 56—57, № 28.

[5] АСЭИ, т. I, стр. 99, № 128.

[6] Там же, стр. 108, № 140.

[7] Там же, стр. 124, № 171.

[8] «Акты Археографической экспедиции» (далее—ААЭ), т. I, СПб., 1836, стр. 24, № 31.

[9] «Акты юридические» (далее—АЮ), СПб., 1838, стр. 8—10.

идет о различных разрядах сельского населения. Когда упоминаются старожильцы, то говорится, что они «живут» в имении феодала. Когда речь идет о старожильцах, ушедших со своих земельных наделов, то предполагается, что они «придут... опять жити», или владелец их «призовет» жити. В отношении крестьян «иных княжений» также указывается, что феодал их «призовет» или «перезовет»[1] в свои владения. И только в отношении одной категории сельского населения употребляется формула: «окупив посадят». Разница в приведенных выражениях заключается в том, что в первых трех случаях феодал проявляет определенную инициативу закрепощения крестьян, применяет известные методы воздействия на них, но и крестьяне выступают как активно действующие лица, в последнем случае сельское население упоминается лишь как объект закрепощения. На основании этого можно сделать предположение, что «люди» «купленые» или «окупленые» по своему происхождению близки к той части феодально зависимого населения, которая находилась в полной собственности у землевладельца. Для того чтобы понять характер зависимости от феодалов «людей» «купленых» или «окупленых», очевидно, надо раскрыть значение терминов «окуп», «откуп», «выкуп», «искуп».

В актах слова «окуп», «откуп» употребляются в значении цены выкупа несвободного человека. Так, например, в договорных княжеских грамотах говорится об отпуске на волю (с «окупом»—«откупом» или безвозмездно) полоняников. Например: «А полон ти, брате, наш отпустити без откупа»[2]; «а хто будет нятцев изниман.., а тех пустити без окупа»[3]; «а что головы поимано.., а те поидуть... без окупа»[4] (т. е. полоняников следует отпустить на волю, не беря за них выкупа). В ряде договорных княжеских грамот вопрос о полоняниках решается дифференцированно: те из них, кто не продан в холопство, должен быть отпущен безденежно; лица, проданные в полные холопы, могут выкупаться на свободу. Так, князья заключают между собой следующие условия: «И кто будет того твоего полону запроважан и запродан в моей отчине, и которой будет слободен, тех ми отпустити, а с купленых окуп взяти»; «А полон ти, брате, нашь тверьскы и кашиньскы отпустити без откупа. А кто купил полоняника, и он возмет цену по целованию»[5].

Таким образом, термины «окуп»—«откуп» означают денежную сумму, уплачиваемую за выкуп человека из холопства. В значении цены выкупа из несвободного состояния употребляется и слово «искуп». Так, в одной правой грамоте начала XVI в. говорится о выдаче ответчика-должника истцу «головою до искупа»[6].

---

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 203, № 232; стр. 133, № 151.
[2] ДДГ, стр. 42, № 15.
[3] Там же, стр. 65, № 24.
[4] ГВНП, стр. 23, № 11.
[5] ДДГ, стр. 86, № 33; стр. 106, № 37.
[6] АФЗХ, ч. 1, стр. 197, № 222.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что выражения «окупив», «откупив» или «искупив» «посадят» надо понимать в том смысле, что землевладельцы посадят на землю в качестве крестьян людей, выкупленных из холопства, внеся за них полностью «окуп»— «откуп» или оказавши им известную помощь в выкупе на волю. Тем самым «окупленые» люди попадали от феодалов в экономическую зависимость уже в качестве крестьян.

Этот вывод подтверждается некоторыми данными, которые можно почерпнуть из духовных грамот. В них говорится об отпуске холопов на свободу за выкуп. «А что есми купил у Кляпика у Яропкина Васка соколника,— читаем в духовной Ионы Плещеева 1482 г.,— а дал есми на нем три рубли, и приказщики мои возмут на нем три рубли, а его отпустят на слободу. А что есми выкупил своего холопа Максимца Безгодка у Тишины у Ленина, дал есми на нем два рубля, и мои приказщики возмут на нем рубль, а рубль ему отдадут, а его на слободу отпустят»[1]. В духовной грамоте Вассиана Уварова 1475 г. читаем: «Да отпустил есми Демина сына Иванца, а дати Деме откупа с своего сына Иванца моему зятю Коптю полтора рубли»[2]. Для выкупа на свободу и для обзаведения хозяйством после выкупа холопам, очевидно, нужно было получить деньги со стороны, причем эти деньги им могли дать феодалы, земельные владения которых были расположены как в том княжестве, где жили холопы, так и в других (выше было указано, что «окупленные люди» могли быть как «инокняжцами», так и местными людьми). Но в обоих случаях, выкупившись на волю, полные холопы попадали в экономическую кабалу к ссудившим их деньгами землевладельцам, которые «сажали» их на землю на положении крестьян. Другими словами, «купленые полные» холопы превращались в «окупленых людей», получивших земельные наделы.

Очень интересно, что документы различают «людей купленых полных» и «людей купленых» или «окупленых». «Люди купленые полные»— это холопы, и как холопы они не платят дани («и что их людей купленых полных..., и ненадобе им моа дань...»)[3]. Люди, которых землевладельцы «окупив посадят», обычно получают освобождение от повинностей на определенный срок, а после того как «...отсидят... те люди урочны свои лета», они должны «потянуть в... дань... с своею братьею по силам»[4].

В грамоте в Псков митрополита Фотия начала XV в. называются «людие купленые в домы церковныя или под судом церковным», т. е. «люди купленые»— холопы и люди, выкупленные из холопства, ставшие крестьянами, подсудными церковным феодалам, которые пользуются судебным иммунитетом[5].

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 378, № 492.
[2] Там же, стр. 337, № 450.
[3] АФЗХ, ч. I, стр. 216, № 252.
[4] АСЭИ, т. I, стр. 99, № 128.
[5] РИБ, т. VI, СПб., 1872, стр. 299.

Из актового материала можно извлечь еще некоторые интересные данные, подтверждающие те выводы, которые были сделаны выше о происхождении из холопов «окупленых» людей как определенной категории крестьянства. В грамоте углицкого князя Андрея Васильевича Покровскому собору 1476 г. есть такое распоряжение: «И кого к себе перезовут жити из моей вотчины безвытных людей, или себе откупив посадят, и тем их людем ненадобе моя дань на 10 лет»[1]. Что это за «безвытные люди», из которых вербуются кадры феодально зависимого сельского населения? Это—люди, не имеющие тяглого крестьянского участка. «Выть»— единица податного обложения. Когда земля «положена в выти», это значит, что она обложена тяглом, который несет крестьянин, получивший и обрабатывающий земельный надел. «...Та, господине, земля наша Воиславскаа, а мы, господине, ту землю орали и косили, а и за Савкою, господине, та земля наша была за нашим христианином в выти»[2],— говорили на суде дворцовые крестьяне в 1462—1464 гг. Откуда брались «безвытные люди»? В частности, из числа холопов, отпущенных на волю. Когда холоп получал свободу, он юридически становился «великокняжеским человеком», т. е. человеком, зависимым не от отдельного феодала, а от феодального государства, великокняжеским данником. «А што мои люди полные, а те по моем животе поидут на слободу—люди князя великого»,— читаем в духовной грамоте Андрея Ярлыка 1460 г.[3] Но, чтобы платить дань, этим «великокняжеским людям», бывшим «людям полным», нужна была земля и средства для обзаведения хозяйством. Землю им предоставлял феодал, «окупая», т. е. закабаляя их как «безвытных людей».

Итак, категория «окупленых людей» появилась в результате сокращения полного холопства и перехода бывших холопов в число крестьян, наделенных землей и средствами производства.

Но были, очевидно, среди «окупленых людей» не только выкупленные на волю холопы, но и закабаленные (получившие ссуду, «подмогу») крестьяне («а где будет какова християнина или на землю окупить или помочи чем ни буди...»)[4].

* * *

Наряду с «окупленьми людьми», как было указано, старожильцам в жалованных грамотах противопоставляются «люди», призванные землевладельцами «из других княжений», причем «людей» в пределах данного княжения феодалам перезывать запрещается. Обычно в грамотах встречается такая формула: «И игумен (или вообще феодал) кого к собе на те земли перезовет людей изыного княженья, а не из моее вотьчины, из великого княжения, а

[1] ААЭ, т. I, стр. 78—79, № 102.
[2] АФЗХ, ч. 1, стр. 97, № 102.
[3] АСЭИ, т. II, стр. 355, № 361.
[4] ГВНП, стр. 293, № 294.

моих людей, великого князя, не примати ему...». Здесь требуют разъяснения два выражения: «мои люди, великого князя» и «из моее вотчины, из великого княжения».

Первое выражение часто заменяется в грамотах словами: «люди тяглые», «люди становые», «люди волостные». Например: «А людей им тяглых отца моего и моих к себе не приимати»[1]; «А тутошних людей становых игумен в монастырь не примает»[2]; «А кого перезовет игумен из иныя волости, то люди святого Спаса [Спасо-Ярославского монастыря], а мне ся в них не вступати»[3]. Великокняжеские, тяглые, становые, волостные крестьяне—это крестьяне черные, живущие на государственной земле и выполняющие повинности в пользу государства. К этой категории сельского населения и относилось прежде всего запрещение феодалам принимать на их землю «людей» в пределах данного княжения. В условиях феодальной раздробленности, когда существовал ряд независимых княжеств, правительство каждого из них считало нужным соблюдать порядок, согласно которому «перезывать» тяглых великокняжеских крестьян считалось недозволенным. Их можно было «перенять» вопреки существующим обычаям. Так, великий московский князь Василий Дмитриевич в 1423 г. говорил об архимандрите Малахии нижегородского Благовещенского монастыря: «перенял моих сирот.., а они пошли из моее отчины, и он их у себя осадил»[4].

Но ограничивалось ли запрещение землевладельцам «перезывать» крестьян в пределах определенного княжества только крестьянами черными, тяглыми, или оно в равной мере касалось и «перезыва» крестьян одним землевладельцем от другого? Для решения этого вопроса, очевидно, надо наряду с формулой «А людей им моих, великого князя, тяглых к себе не примати»[5] проанализировать другую формулу жалованных грамот: «И... кого к себе на те земли [феодал] перезовет людей из-ыного княженья, а не из моее вотьчины, из великого княжения...»[6] Как надо понимать противопоставление «иного княжения» и «моее (княжеской) вотчины»? Имеются ли в виду два княжества, каждое в определенных государственных границах, включающих земли не только черные, но и боярские, монастырские и т. д., или же речь идет о «моей» (княжеской) вотчине в узком смысле слова, под которой подразумеваются лишь великокняжеские, т. е. черные и дворцовые земли? Анализ актового материала дает, мне думается, право для первого вывода.

Формула «о призыве» землевладельцами крестьян из других княжений иногда встречается в других вариантах, в которых слова «из иного княжения» заменяются словами: «с-ыных сторон», «с обеих

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 207, № 291.
[2] АФЗХ, ч. 1, стр. 205, № 234.
[3] *Амвросий*, История российской иерархии, т. VI, М., 1815, стр. 229—231.
[4] АФЗХ, ч. 1, стр. 202, № 230.
[5] АСЭИ, т. I, стр. 199, № 278.
[6] Там же, стр. 41, № 30.

сторон», «из-зарубежья» («И кого призовут к себе на то место новых людей с-ыных сторон»; «и призовет к себе людей с обеих сторон»; «а кого к себе призовет людей из зарубежья»)[1]. Из подобного рода выражений как будто уже напрашивается вывод, что прием крестьян возможен только в том случае, если они пришли из владений, расположенных за пределами данного княжества.

Еще больше оснований для такого вывода дают грамоты, где прямо называются те княжества, из пределов которых считается законным прием крестьян. Например: «А кого себе перезовут людей изо Тверскаго и из Кашинского...»[2]; «И кого собе перезовут людей жити изо Тферьского или из Ноугородцкого...»[3]; «...Кого к собе в те села и в деревни перезовет людей из Можайского»[4]. Во всех этих случаях князья говорят о призыве крестьян из других княжеств (точно их обозначая), но не из своего.

Наконец, очень интересно содержание, вкладываемое актами в слова «моя (княжеская) вотчина», откуда нельзя призывать крестьян. Судя по договорным княжеским грамотам, под княжеской «вотчиной» подразумевается территория княжества с расположенными на ней владениями разных земельных собственников: бояр, слуг и т. д. Например: «А хто имет, господине, жити наших бояр и слуг в твоей вотчине, и тобе, господине, блюсти их, как и своих»; «А кто служит нам или тобе, а живет в нашей вотчине, в великом княженьи, или в твоей вотчине, во Тфери, и на тых нам взяти дань, как и на своих, по целованию, без хитрости»[5]. Следовательно, запрещая землевладельцам перезывать крестьян из пределов «княжеской вотчины», грамоты имеют в виду не только сельское население черных волостей, но вообще феодально зависимое крестьянство данного княжества, живущее во владениях собственников разных категорий. Законным считается призыв лишь крестьян—«инокняжцев».

Приведенные соображения можно дополнить еще некоторыми наблюдениями над актовым материалом. В грамоте княгини Софьи Витовтовны, вдовы московского великого князя Василия Дмитриевича, Троице-Сергиеву монастырю имеется следующая фраза: «А кого к себе перезовут на те пустоши людей не из моих волостей, ни из сел...»[6] Близкие по содержанию слова имеются в грамоте тому же монастырю княгини Марии Ярославны, жены великого князя Василия Васильевича 1453 г.: «кого к собе на те пустоши перезовут жити людей из-ыных княженей, а не из великого княжения, ни из моих сел»[7]. В обоих случаях, по-видимому, имеется указание,

[1] *А. Юшков*, Акты XIII—XVI вв., представленные в Разрядный приказ после отмены местничества, М., 1898, стр. 9—10, № 8; стр. 11, № 11; стр. 34—35, № 40.
[2] *С. А. Шумаков*, указ. соч., вып. 4, М., 1917, стр. 490—491.
[3] АСЭИ, т. I, стр. 199, № 278.
[4] *А. Юшков*, указ. соч., стр. 17—18, № 15.
[5] ДДГ, стр. 81, № 31; стр. 28, № 9.
[6] АСЭИ, т. I, стр. 152, № 217.
[7] Там же, стр. 174, № 246.

с одной стороны, на великокняжеские волости, с другой—на села, принадлежавшие княгиням на правах частной собственности. Такой вывод подтверждается духовными княжескими грамотами, из которых видно, что, с одной стороны, княгини получали волости и села в пожизненное владение, с другой—в их полной собственности находились земли, лично ими приобретенные[1]. Но и из тех и из других владений перезыв крестьян был запрещен.

Таким образом, под «пришлыми людьми», противопоставляемыми старожильцам и упоминаемыми наряду с «людьми окупленными» («купленными»), акты XV в., очевидно, имеют в виду пришлых крестьян из других княжеств[2]. В пределах каждого княжества феодалы могли свободно призывать на свои земли лишь старожильцев, которые уже когда-то на них жили, а также «безвытных людей», лишенных земельных наделов (по своему происхождению часто являвшихся выкупившимися на волю холопами).

В некоторых правых грамотах содержится конкретный материал, рисующий использование труда пришлых крестьян на черных землях и в феодальных частновладельческих вотчинах. Так, из одного судебного дела 1465—1466 гг. вырисовывается судьба таких пришлых крестьян, как Казака с товарищами, осевших на черных землях. К ним предъявил иск «строитель» Спасо-Евфимьева монастыря Иов, обвиняя их в том, что они покосили монастырские пожни. Но Казак и его товарищи доказывали, что они косили эти пожни на основании грамоты великого князя, в которой было указано место, где им селиться, что действовали они по распоряжению великокняжеского посельского. Правда, ответчики не смогли представить «знахарей», которые подтвердили бы принадлежность спорных пожен к числу великокняжеских волостных земель: «У нас, господине, на те пожни знахорей нет, говорили они судье,— мы, господине, люди пришлые, а пожен, господине, не знаем; и велел нам, господине, их косити посельской великого князя Тульнев»[3].

Стимулом к тому, чтобы пришлый крестьянин—«инокняжец» осел в определенном феодальном имении, и в то же время средством закабаления и была предоставленная ему владельцем данного имения подмога сельскохозяйственным инвентарем или деньгами. В Новгородских писцовых книгах упоминаются «подможные деньги», полученные крестьянами от помещика[4].

* * *

Выделение категории крестьян старожильцев в противоположность новикам —«людям призванным и окупленным»— произошло в процессе трудовой деятельности русского крестьянства по освое-

---

[1] ДДГ, стр. 60—62, № 22.

[2] В Новгородских писцовых книгах конца XV в. имеются такие указания: «дв. Селиваник приходец» (т. I, СПб., 1859, стр. 308).

[3] АСЭИ, т. II, стр. 500—502, № 463.

[4] НПК, т. II, стр. 36; т. III, стр. 601.

нию территории под земледельческую культуру. Бросается в глаза полное соответствие выделенных выше на основе актового материала форм поселений, с одной стороны, и разрядов крестьян—с другой. В *старых* селах «живут» *старожильцы*, «тутошние» «люди», «сельчане» и «деревенщики», имеющие земельные наделы, пашущие пашню, несущие феодальные повинности. Селища и пустоши—это запустевшие селения, из которых разошлись «тутошние старожильцы». Но как на пустошах сохраняются «печища», т. е. следы старых хозяйственных построек, прежней оседлости (и суд по земельным делам проявляет интерес к этим печищам—одному из признаков права собственности на землю), так и жившие здесь когда-то «тутошние старожильцы» продолжают считаться держателями своих прежних земельных наделов (предполагается, что они вернутся на «старые места»). Наконец, призванные из других княжеств и «окупленные» люди «садятся» на пустоши или на лесные участки, где «сажают» починки. В противоположность старожильцам, жителям «старых» сел и деревень, это—*новики*, инициаторы возведения *новых* поселений, возникающих по их «почину» («починков»). В жалованной грамоте князя Михаила Андреевича белозерского Кириллову монастырю 1468 г. старожильцам противопоставляются «люди пришлые новики», которых игумен перезовет «на пустоши, и на лесы... жити из-ыных княженей»[1]. В другой грамоте тому же монастырю указано, что те крестьяне, которых «перезовет игумен... на лес», получают освобождение от дани на 30 лет, те же, «кто сядет... на пустошех», будут «польгочены» на 20 лет[2]. Новики «садятся» на землю («...починок Сауловской, где сел Гридин сын Дьяков, да Новая деревня, где сели Вагоновы дети»)[3]. Они «садятся жити», т. е. с тем, чтобы сделать землю жилой, оседлой. Феодал помогает им в этом, предоставляя податные льготы, а затем, когда земля действительно становится жилой, крестьяне-новики превращаются в старожильцев, феодал пользуется продуктом их прибавочного труда в форме ренты.

В Новгородских писцовых книгах постоянны такие указания: «починок... (такой-то), двор... (такого-то), сел ново, пашни нет», «а на тот починок дана ему грамота на льготу» (на столько-то лет) и т. д.[4]

Переход новиков в старожильцы в процессе распашки новых земельных площадей, возведения новых жилых дворов, устройства сел и деревень означал также процесс их закрепощения, ибо земля, хозяйственно культивируемая крестьянином при помощи топора, сохи, косы, не была его собственностью и труд на ней являлся источником дохода для феодала. Такова связь старожильства с развитием производительных сил и производственных отношений.

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 115, № 182.
[2] Там же, стр. 43, № 67.
[3] АСЭИ, т. I, стр. 440, № 562.
[4] НПК, т. I, стр. 31, 40, 50, 97, 111, 205, 580, 739, 742, 752, 853 и т. д.; т. II, стр. 48, 111 и др.

В связи с этим можно сделать одно не безынтересное предположение о происхождении имеющейся в ряде грамот формулы «куды топор, и плуг, и соха, и коса ходила», определяющей границы земельных владений. Являясь первоначально, в период существования территориальной общины, выражением представления о том, что граница земельного владения определяется сферой реально возможного приложения труда земледельца, с развитием феодальных отношений эта формула приобрела иной смысл. Пользуясь ею, феодал имел возможность, увеличивая количество феодально зависимого от него населения, присваивать большее количество земли. Таким образом, указанная формула в актах XIV—XV вв. противоречива. Для крестьян она означает связь между правом пользования землей и трудовым производственным процессом, для феодалов—связь между собственностью на землю и присвоением прибавочного труда обрабатывающих ее крестьян.

Эта противоречивость нашла отражение и в некоторых актах. В 1504 г. возникло судное дело о пожнях на р. Костроме, которые монастырь оспаривал у некоего Ивана Сухоны. Иван Сухона в подтверждение своих прав на эти пожни сослался на то, что он купил их у крестьянина Микулы Яковлева сына Крутикова, и представил в суд правую грамоту. Допрошенный Микула на вопрос судьи: «Почему те пожни твои, что ты их продал?»—ответил: «Те, господине, пожни наши, а розчисть, господине, деда моего... и отца моего... и мои». Таким образом, Микула выразил крестьянскую точку зрения: земля моя, потому что я ее сделал жилой, расчистил от леса. Что касается суда, то он вынес решение, отражая точку зрения феодалов. Он признал продажу земли незаконной, потому что Иван Сухона «купил те пожни у троецкого ж хресьянина у Микулки у Яковлева сына манастырские пожни»[1]. Другими словами, логика суда, как органа класса феодалов, такова: земля монастырская, потому что ее сделал жилой, расчистил из-под леса, монастырский крестьянин.

* * *

Термин «старожильцы» выделился в процессе развития феодальной собственности на землю и закрепощения крестьян в то время, когда основную массу феодально зависимого населения уже составляли крестьяне, экономически крепко связанные с землей, полученной от феодалов, и трудом в своем хозяйстве и хозяйстве землевладельца обеспечивавшие ему получение прибавочного продукта. В число крестьян-старожильцев постепенно вливались и сливались с ними «люди», призванные из других княжений, «окупленные», холопы. В ряде княжеских жалованных грамот начала XVI в. уже нет этого различия старожильцев, пришлых, «окупленных людей»,

[1] АСЭИ, т. I, стр. 573, 575, № 651.

говорится просто о «христианах»[1]. Это характеризует общую линию исторического развития в направлении слияния отдельных категорий сельского населения в единую крепостную массу.

§ 8. Формы эксплуатации крестьян. Половники. Серебреники

В исторической литературе господствует точка зрения, принадлежащая Б. Д. Грекову, о преобладании в XIV—XV вв. в феодальном хозяйстве Руси ренты продуктами над другими формами эксплуатации крестьян. Лишь в недавнее время эта точка зрения была подвергнута пересмотру в трудах А. П. Пьянкова[2] и А. Д. Горского[3]. Оба автора на основе рассмотрения большого документального материала весьма убедительно доказывают наличие в указанный период в ряде русских вотчин в системе крестьянских повинностей барщины и в связи с этим приходят к аргументированному выводу о том, что для XIV—XV вв. можно говорить о сосуществовании на Руси двух форм ренты: отработочной и продуктовой.

Я вполне согласен с таким положением, но думаю, что допустимо (хотя бы и гипотетически) высказать некоторые, более далеко идущие предположения. Имеются основания говорить о росте крепостничества в связи с развитием барщинного хозяйства как об одной из предпосылок образования Русского централизованного государства, а не только как о последствии этого явления. Можно говорить о наличии в пределах отдельных имений как барщинных, так и оброчных селений, причем распределение оброка и барщины по географическим районам, а в пределах тех или иных районов— по селениям отражает в известной мере картину распространения вширь и вглубь феодальных отношений в связи с развитием производительных сил в сельском хозяйстве.

Рассматривая выше эволюцию сельского хозяйства в XIV—XV вв., я говорил о том, что к этому времени в различных районах Северо-Восточной Руси выделяются «старые» села и деревни как центры земледелия на старопахотных, давно обжитых сельским населением землях. Жители этих сел, как правило, должны были выполнять барщинные повинности на господской пашне. В самом деле, как же иначе понять указания документов о наличии в таких имениях господской ржи и других зерновых культур в земле и на поле? Очевидно, эти культуры возделывались трудом или барской холопьей челяди, или крестьян-барщинников.

Сейчас сделанные выше наблюдения можно пополнить новым материалом, осветив его под углом зрения распространения разных

---

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 87, № 88; стр. 75, № 70; стр. 105, № 113; стр. 123, № 134; стр. 132, № 150; стр. 199, № 224 и др.

[2] *А. П. Пьянков*, Формы феодальной ренты в Северо-Восточной Руси в XIV—XV веках, стр. 3—30.

[3] *А. Д. Горский*, Экономическое положение крестьян Северо-Восточной Руси XIV—XV вв.

форм феодальной ренты. Несомненно, на дворцовых землях, принадлежавших великим и удельным князьям, был ряд селений, крестьяне которых эксплуатировались на основе барщины. Так, великая княгиня Софья Витовтовна, перечисляя в своей духовной грамоте 1451 г. села в Московском, Коломенском, Юрьевском, Костромском, Вологодском уездах. а также за Волгою на Шексне, пишет: «А что будет в тех в моих селех в всех хлеба стоячего на поли, ржи и яри, оприсно семян ярных, и сын мои, великии князь Василеи Васильевич, тот хлеб стоячии весь велит попродати да серебро роздасть по моеи души»[1]. Работали во владениях княгини крестьяне—«изделники»[2]. В ряде уездов были разбросаны барщинные села князя Юрия Васильевича дмитровского, который по духовной 1472 г. роздал их по монастырям с «хлебом, что в земле, опроче стоячего хлеба»[3]. В грамоте волоцкого князя Бориса Васильевича около 1494 г. в село Шарапово посельскому Алексею говорится: «А которые земли пахали мои крестьяне изстарины и сена косили на меня и на себя, а те бы земли и покосы ты ведал по старине»[4]. Стало быть, часть княжеской земли обрабатывалась барщинным крестьянским трудом. Сохранились интересные данные о том, как в конце XV в. дьяк князя Андрея Васильевича угличского Митя Демидов «приежщал» в село Шипинское «пашню на государя наряжати». Для организации барщинного хозяйства он выменил своему князю у некоторых соседних землевладельцев несколько деревень, которые и «припустил... к селу к пашне»[5]. О наличии барщины в ряде владений князя И. Ю. Патрикеева (в Коломенском, Переяславском, Дмитровском, Юрьевском, Можайском, Владимирском, Суздальском и других уездах) можно судить по его духовной грамоте около 1499 г. В княжеских селах было много хлеба «в житницах и стоячего»[6].

Центром барщинного хозяйства во владениях московской митрополичьей кафедры являлся, по-видимому, Владимирский уезд, в котором были сосредоточены старинные митрополичьи села. О том, что митрополичьи крестьяне эксплуатировались на основе сочетания барщинных и оброчных повинностей, можно судить по уставной грамоте митрополита Киприана домовному митрополичьему Царевоконстантиновскому монастырю 1391 г. Документ этот настолько широко известен, что нет смысла излагать его содержание. Из более поздней грамоты митрополита Симона Юрию Масленицкому видно, что в конце XV—начале XVI в. обычной нормой барщинных работ для крестьян Царевоконстантиновского монастыря была обработка одной десятины монастырской пашни на каждые пять десятин пашни крестьянской. Крестьянскую барщину упоми-

---

[1] ДДГ, стр. 178, № 57.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 222, № 68.
[4] АСЭИ, т. I, стр. 456, № 576.
[5] АСЭИ, т. II, стр. 476, № 433.
[6] ДДГ, стр. 348, № 86.

нают жалованные грамоты митрополитов Геронтия, Зосимы, Симона бортникам Семену Улыбашеву с детьми и товарищами 1478—1495 гг. О наличии барщины в митрополичьих владениях Переяславского уезда можно судить по тому, что в 1506 г. митрополит Симон предписал одному из своих слуг—Семену Ожерельеву переписать в митрополичьем переяславском Антоньеве монастыре «...хлеб стоячей на поле и в житницах...»[1].

Барщинные села имелись в митрополичьих имениях в Московском уезде. Так, в митрополичьей копийной книге находим запись о том, как крестьяне сел Голенищева и Селятина «безпрестани на дворе митрополичи всякую страдную работу работают». В 1498—1499 гг. по приказу митрополита Симона А. Т. Рчинов выделил в пределах митрополичьей Селецкой волости Московского уезда 76 десятин земли для организации барщинного хозяйства: «И приказал тое землю митрополичю волостелю селецкому ведати и пахати на государя на митрополита». В 1499 г. митрополичий дьяк Яков Кожухов велел «ведать и пахать на государя на митрополита» село Горки-Якшилово, ранее бывшее в держании у митрополичьего сына боярского И. Парфеньева[2].

Имеются сведения и о барщине во владениях Троице-Сергиева монастыря. Передавая в 1454 г. в Троице-Сергиев монастырь монастырек св. Юрия и ряд земель в Пошехонье и отказываясь в пользу монастырских властей от всех повинностей с крестьянского населения этих земель, можайский князь Иван Андреевич упоминает среди повинностей и барщину: «ни сел моих делати,.. ни в житницу им жита не сыпать». В конце XV в. крестьянин Троице-Сергиева монастыря села Бебякова Переяславского уезда «пахал... десятины на монастырь». В льготной грамоте волоцкого князя Бориса Васильевича Троице-Сергиеву монастырю 1494 г. на две пустоши на реке Клязьме читаем: «... и тем их людем не надобе... селское дело». В 1495—1499 гг. «заказчик» Троице-Сергиева монастыря Афанасий говорил относительно хозяйственной эксплуатации деревни Шипулина Костромского уезда: «а ту, господине, землю пахали на монастырь крестьяне монастырские»[3].

К барщине прибегали власти Симонова монастыря. На суде, происходившем в 60—70-х годах XV в., чернец Симонова монастыря Семен рассказывал, что ряд земель у Соли Галицкой в течение нескольких десятков лет монастырские крестьяне «пахали на монастырь». Около 1463 г. старцы Симонова монастыря, давая показания на суде, указывали, что много лет, при пяти посельских, монастырские крестьяне «пахали на монастырь» землю Куземкино и Дернково в Московском уезде[4].

---

[1] АФЗХ, ч. I, стр. 179—180, № 201; стр. 182, № 205; стр. 188—190, № 213—215; стр. 128, № 141.

[2] Там же, стр. 47, № 24; стр. 65, № 51; стр. 66, № 54.

[3] АСЭИ, т. I, стр. 178, № 250; стр. 539, № 628; стр. 455, № 575; стр. 488, № 594.

[4] АСЭИ, т. II, стр. 362, № 368; стр. 371, № 375.

Можно думать, что барщина была распространена и в боярских имениях. Об этом опять-таки свидетельствуют упоминания в документах отчуждаемых светскими землевладельцами сел с посевами и всходами зерновых культур. В документе, фиксирующем обмен землями между старцем Троице-Сергиева монастыря и боярином В. Ф. Кутузовым, названы села последнего в Дмитровском уезде с «деревенями.., и с ужинкою, и с хлебом, которой в земле и на полех, с рожью и с ярью, стоги и с сеном, что к тем селом потягло..»[1]. В 50—70-х годах XV в. П. И. Морозов купил у Ивана Петелина его села Скнятиново и Новоселку с деревнями «и с хлебом, что в земле»[2]. В 60-х годах XV в. Д. В. Бобр Сорокоумов-Глебов приобрел по купчей грамоте у Ермолы Юрьева и у его детей село Старое Федоровское Руиново в Дмитровском уезде «и з деревнями да с половиною хлебом, что в земле»[3]. К 1463 г. относится купчая В. Д. Ермолина на проданное ему Рагозой Терентьевым и его братом Захаром село Спасское-Семеновское Дмитровского уезда с деревнями и с пустошами, «и с хлебом, которой в земле»[4]. В начале XVI в. братия Исифова-Волоколамского монастыря купила у князя Ивана Бараша Иванова сына Смотрина сельцо Морткино в Рузском уезде «и з земленым хлебом, и скирд овса, да человека его Дроздова рожь»[5]. Подобных примеров можно привести много. Хотя они и не дают прямых сведений о барщинных работах крестьян, но наличие в ряде имений барской запашки косвенно указывает на применение в них отработочной ренты.

Специально следует сказать несколько слов о барщине в Новгородской земле. Барщинное хозяйство рисует обнаруженное А. В. Арциховским письмо (на бересте) приказчика Михаила «к осподину, своему Тимофию» XV в.: «Земля готова, надобе семяна. Пришли, осподине, целовек спроста, а мы не смием имать ржи без твоего слова»[6]. Из рядной крестьян Робичинской волости с новгородским Юрьевым монастырем около 1460 г. можно сделать вывод, что монастырские крестьяне были обязаны и вносить владельческий оброк, и выполнять барщинные повинности[7].

Рассмотренный материал, конечно, недостаточен для каких-либо твердых выводов обобщающего характера. Но известные заключения (пусть в предположительной форме) он позволяет сделать. Прежде всего устанавливается значительно больший удельный вес барщины в феодальном хозяйстве рассматриваемого времени, чем думал Б. Д. Греков. Далее видно, что средоточием барщинного хозяйства были в значительной мере «старые» села, как расположенные в центре

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 58, № 62.
[2] Там же, стр. 170, № 241.
[3] Там же, стр. 283, № 389.
[4] Там же, стр. 242, № 334.
[5] АФЗХ, ч. 2, стр. 33, № 30.
[6] А. В. *Арциховский*, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.), М., 1954, стр. 16—17.
[7] ГВНП, стр. 174, № 115.

Северо-Восточной Руси, так и вклинивавшиеся постепенно в более окраинные уезды. Конечно, барщина в таких селах не была нововведением. Можно думать, что с развитием барщинного хозяйства было в какой-то мере связано и появление старожильства, как начальной формы крепостничества.

В то же время в XIV—XV вв. в системе крестьянских повинностей получает распространение и рента продуктами. На оброке находились отдельные княжеские дворцовые села. Так, около 1440 г. князь Дмитрий Юрьевич купил в Бежецком уезде села «с хлебом, которой хлеб в земле сеян, да и с поспом». В 1467—1474 гг. в жалованной грамоте Ивана III упомянуты «деревни... оброчные» Якуша Пересекина и Гриди Филисова. В 1489—1490 гг. великокняжеский дворецкий князь П. В. Шестунов передал пустошь Козловскую в Московском уезде на оброк крестьянину Степану Дороге Якушову сыну[1].

Оброчные селения имелись и в митрополичьих имениях. Грамота митрополита Ионы середины XV в. называет во Владимирском уезде «старых оброчников церковных домовных»—крестьян Федяя, Никиту и Левона. Митрополичьи дети боярские Фомины, завладевшие в Ликуржской волости Костромского уезда рядом черных деревень, утверждали в 1501—1502 гг. на суде, что «прежние... митрополиты... держали за собою те селца и те деревни все и до сех мест, и оброки имали»[2].

Рента продуктами имела достаточное распространение в монастырских вотчинах. И. А. Голубцову удалось обнаружить чрезвычайно интересный документ, которым была подклеена одна княжеская жалованная грамота Троице-Сергиеву монастырю середины XV в. На подклейке имелась роспись оброков с крестьян ряда деревень (разных уездов) Троице-Сергиева монастыря. В состав оброка входили продукты земледелия и скотоводства: рожь, овес, пшеница, хмель, лен, масло, мясо. Взимался оброк и произведениями домашней промышленности (овчины). Наконец, в отдельных случаях оброк брался деньгами («белами»). Правда, по соображениям И. А. Голубцова, указанную роспись следует датировать второй половиной XVI в.[3], но явления, в ней отраженные, имеют, можно думать, известную давность.

Судя по жалованной грамоте князя Андрея Васильевича угличского, крестьяне волости Илемны Верейского уезда привозили ежегодно «повоз» (хлебный оброк) в Троице-Сергиев монастырь[4]. В духовной грамоте чернеца Троице-Сергиева монастыря Вассиана Уварова 1475 г. упоминаются долговые обязательства ему хлебом крестьян различных деревень (может быть, имеется в виду хлебный оброк). Всего Уварову следует получить 70 четвертей ржи с 11 человек. Долг каждого колеблется в пределах от одной до 12 четвертей.

[1] АСЭИ, т. I, стр. 119, № 163; стр. 262, № 357; стр. 420, № 541.
[2] АФЗХ, ч. 1, стр. 158, № 173; стр. 218, № 254.
[3] АСЭИ, т. I, стр. 157—158, № 221.
[4] Там же, стр. 268, № 366.

Преобладают долги в 12 четвертей. В одном случае речь идет о том, что рожь должна быть отдана землевладельцу с «наспом» (т. е. с процентами в виде добавочного количества зерна)[1]. Об оброке, взимавшемся с крестьян Саввина-Сторожевского монастыря, узнаем из грамоты князя Андрея Васильевича 1490 г.[2]

В «Ответах» митрополита Киприана игумену Афанасию конца XIV—начала XV в. рекомендуется «приказати» управление монастырскими селами «мирянину некоему богобоязливу»—«в манастырь же бы готовое привозил житом и иными потребами»[3]. Эти «потребы» взимались, очевидно, в виде оброка с крестьян или представляли собой продукты барщинного крестьянского труда.

Показательны данные об оброчных хозяйствах в Новгородской земле. Среди новгородских берестяных грамот А. В. Арциховский нашел документ XIV в., представляющий собой договор («доконча́ние») крестьян с феодалами об уплате последним натурального оброка (хлебом и солодом) и «дара» (продуктами сельского хозяйства и мехами, возможно, ходившими в качестве денежных единиц). «Се доконщяху Мыслове дете Труфале з братьею,— читаем в этом документе,— давати успов 6 коробей ржи да коробья пшеници, 3 солоду, дару 3 куници да пуд меду, детем по белки 3, и 3 горсти лену». Ниже, другим почерком, приписано: «Боран, уновину» (по А. В. Арциховскому, холстину). А. В. Арциховский считает эту приписку дополнением, внесенным феодалом в проект договора, составленный крестьянами[4]. Хозяйство, основанное на продуктовой ренте, выступает из письма (на бересте) некоего Карпа (по-видимому, приказчика) «к осподину моему Фоми» (феодалу). «Было есми, осподинь, на Пустопь ржи, рожь есмь роздилило с Ольксои, с Гафанкомо. Ньмного, осподинь, ржи на твою цасть, два овина цтвьрти. А Пянтльликь видьль самь»[5]. По всей вероятности, крестьяне в данном хозяйстве эксплуатировались на началах издольщины. Поэтому приказчик и сообщает землевладельцу, сколько хлеба пришлось на его долю из урожая текущего года. Одна дефектная берестяная грамота XV в. сохранила сведения о «поземе» и «даре», поступающих с нескольких сел некоему Фоме. «Позем» и «дар» вносились «белками», хлебом (рожью), мясом («полоть»)[6]. В жалованной грамоте новгородского веча «сиротам» Терпилова погоста начала XV в. говорится о взимании с них посадничьего и тысяцкого «поралья» в размере 40 бел, четырех «севов» муки, десяти хлебов[7].

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 337, № 450.
[2] АИ, т. I, стр. 143—144, № 100.
[3] РИБ, т. VI, стр. 264—265.
[4] *А. В. Арциховский*, Раскопки 1954 года в Новгороде («Вопросы истории», 1955, № 2, стр. 671).
[5] *А. В. Арциховский*, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.), стр. 24—26.
[6] *А. В. Арциховский* и *М. Н. Тихомиров*, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.), М., 1953, стр. 16—20.
[7] ГВНП, стр. 146, № 89.

Приведенных данных опять-таки недостаточно для того, чтобы по-настоящему оценить роль натурального оброка (ренты продуктами) в феодальном хозяйстве XIV—XV вв. Но одно предположение, я думаю, сделать можно. Помимо некоторых «старых» сел, крестьяне которых находились на оброке в силу ряда причин (например, в силу удаленности этих сел от центра владельческого хозяйства и трудности организации здесь барщины), рента продуктами применялась землевладельцами при заведении хозяйства на пустошах. Крестьяне, возводившие поселения на пустующих землях, сначала получали на определенное количество лет льготу в повинностях, а затем облагались оброком, ибо барщину на подобных землях было завести еще трудно. И в этом смысле можно говорить о том, что оброчная система хозяйства служила целям распространения феодальных производственных отношений, развитию феодальной собственности на землю. В этой связи мне хотелось бы коснуться вопроса об особой форме феодальной эксплуатации—издольщине и о происхождении половничества.

* * *

Сведений о половниках для XV в. не так много, особенно немного их для центральных районов. Чаще, чем в актах Северо-Восточной Руси, упоминаются половники в Новгородских писцовых книгах. Те данные, которые у нас имеются, свидетельствуют о том, что половники получали от феодалов землю из доли урожая. *Половник*— это крестьянин, который «сидит на исполовьи»[1].

На положение половников переходили крестьяне-общинники, передававшие феодалам свои участки земли. Так, от середины XV в. сохранилась купчая крестьян Княжеостровской волости на землю для Богородицкой церкви в Лявле, проданную им Харитоном Родивоновым. Последний выговорил для себя и своего потомства право остаться жить на отчужденном земельном участке в качестве церковного половника («а жить на том селе Харитону до ево роду половья до исхода»). Хозяйство нового половника состояло из двора, дворища, пашенной («орамой») земли и лугов («пожен»)[2]. Таким образом, источником «половничества» для крестьян могло явиться хозяйственное разорение, вынуждавшее их продавать землю[3].

Переходя в половники на частновладельческие земли, волостные крестьяне выходили из тяглой общины, переставали выполнять повинности по «разрубу» волостных властей. Так, в середине XV в. Кирилл Юрьевич заключил ряд с Емецкой слободой о том, что сотские и слобожане не будут облагать никакими повинностями половников, проживающих в селе, купленном им и переданном Богородицкому монастырю: «А хто половеник или два на томо селе,

---

[1] ГВНП, стр. 39, № 21.
[2] Там же, стр. 208, № 164.
[3] *Л. В. Данилова*, указ. соч., стр. 77.

а на тых сочскому и весем слобъжаномо ръзруба не класти... ни во къторыи протор, ни въ что»[1].

Источником «половничества» могла быть кабала. В конце XIV—начале XV в. Елена Кормилицына дала Кириллову-Белозерскому монастырю деревню Нарядовскую в Каргободе «и с серебром, что на половники, два рубля...»[2]. В грамоте белозерского князя Михаила Андреевича Ферапонтову монастырю середины XV в. упоминаются «половники в серебре»[3]. Таким образом, половники близки к «серебреникам» и «окупленным людям». Половниками, вероятно, могли становиться и отпущенные землевладельцами на волю холопы, из которых формировались, как указывалось выше, «окупленные люди»[4].

Но как и «серебреники», и «окупленые люди», и псковские «изорники», «половники» вовсе не составляли какой-то особой категории крестьян.

У половников, как и у других крестьян, часто было свое собственное единоличное хозяйство («собина»), и они имели право на получение доли урожая («половничьи половины») за пользование землей феодала. Так, в одной грамоте говорится: «купил есми у Ивана у Микулинича у Москотиньева у Болшего деревню Сарьскую на Юзе с хлебы и с семяны опрочь половничьи половины да их собины». Значит при продаже земли из запасов хлеба и семян исключалось то, что принадлежало половникам. В духовной грамоте Матвея Васильевича XV в. упоминаются «житные семена» в селе у его половника[5]. В правой грамоте конца XV в. Троице-Сергиеву монастырю говорится о монастырском ключнике, который «жито... делил с половники на гумне»[6].

Иногда половники составляли основное феодально зависимое крестьянское население вотчины (например, в рядной Степана Цуникова с Ананием Трофимовым XV в. говорится: «...не надобе Степану, ни его детем до Онаньи, ни до его детей, ни до его половников о тых землях ничто же...»)[7].

Как и вообще среди крестьян XV в., и среди половников наблюдалась имущественная дифференциация. В Новгородских писцовых книгах половники упоминаются часто как люди, зависимые от других крестьян, хотя и живущие в собственных дворах и имеющие собственную пашню и сенокосы. Например: «дв. Онтушко староста, дв. Костко, дв. Михал, половники Онтушовы, сеют ржи 10 коробь, а сена косят 50 копен, 3 обжы». Некоторые половники жили в чужих крестьянских дворах: «Двор Поташ Гаврилов, а у него половники

---

[1] ГВНП, стр. 226, № 191.
[2] АСЭИ, т. II, стр. 25, № 29.
[3] Там же, стр. 307, № 326.
[4] *Л. В. Данилова*, указ. соч., стр. 77.
[5] АСЭИ, т. II, стр. 309, № 328; ГВНП, стр. 266, № 257.
[6] АСЭИ, т. I, стр. 483, № 591.
[7] ГВНП, стр. 263, № 251.

Стешко да Васко». Но были половники, проживавшие и в собственных дворах[1].

Формой эксплуатации половников (и в этом, очевидно, заключалась специфика их положения) являлась издольщина. В Новгородских писцовых книгах XV—XVI вв. постоянно упоминается в качестве повинности крестьян обязательство сдать землевладельцу половину урожая («а из хлеба половье»)[2]. Наряду с этой нормой были в ходу и другие («а из хлеба четверть», «а из хлеба пятина»)[3]. Существовали специальные термины «половной», «третной» хлеб[4].

Имеются отдельные сведения об усилении эксплуатации половников на протяжении XV—начала XVI в. Например, по писцовой книге Деревской пятины значится крестьянин, вносивший «старого дохода из хлеба четверть..., а ныне половничает»[5].

Вряд ли можно видеть отличие положения половников от обычных крестьян в том (как это иногда предполагают), что они не несли государственного тягла. Были половники, исполнявшие тяглые повинности. Так, в правых грамотах конца XV в. содержатся показания половников Троице-Сергиева монастыря. Один из них, Алексей, обращаясь к судье, «тако рек: яз, господине, помню за пятдесят лет, в той, господине, земле—в Мичкове—отець мой жил, а на старца на Ферапонта на троецкаго половничял, а после отца своего половничяю яз, а дань, господине, даем с монастырскими хрестьяны х Костроме, а службою, господине, приданы х Костроме».

Аналогичные показания дал и другой половник, Гридя: «Та, господине, земля Мичково монастырская троецкая, а половничяю, господине, на монастырь тритцать лет, а дань даем, господине, с монастырскими хрестьяны х Костроме, а службу служим с костромляны»[6].

Третий половник Иван Андронов, по его словам, «пришол» со своим отцом на «землю Оглоблино» «на половничество» и стал «половничать» на Троице-Сергиев монастырь, уплачивая дань костромским даньщикам и неся «службу с костромляны»[7].

Перед нами три половника, выполняющие и владельческие и государственные повинности.

В то же время жалованными грамотами князей половники, как и другие крестьяне, иногда получали тархан от тягла. Так, по жалованной грамоте князя Михаила Андреевича белозерского середины XV в., «езовники и половники» череповецкого Воскресенского монастыря были освобождены от дани и ряда других повинностей[8].

---

[1] НПК, т. I, стр. 788; т. IV, стр. 66, 37, 148, 174.
[2] НПК, т. I, стр. 339, 343, 508, 524, 553, 682, 744, 745, 774 и др.; т. II, стр. 35, 40, 200; т. III, стр. 23, 79 и др.
[3] НПК, т. I, стр. 33—35, 67, 84, 312, 342, 360 и др.
[4] НПК, т. II, стр. 455.
[5] Там же, стр. 37.
[6] АСЭИ, т. I, стр. 474, № 587.
[7] Там же, стр. 468, № 585.
[8] АФЗХ, ч. 1, стр. 243, № 278.

Итак, не отличаясь принципиально (ни экономически, ни юридически) от других крестьян, будучи близкими по своему положению к «серебреникам» и «людям окупленным», половники получили свое наименование от формы эксплуатации—«исполовья»—издольщины. Можно думать, что эта форма эксплуатации развивалась в условиях хозяйственного подъема, вызванного восстановлением пустошей, освоением и обработкой под пашню лесных площадей, заведением новых крестьянских поселений—деревень и починков. Не обладая средствами для подобной деятельности по поднятию целинных и залежных земель, крестьяне (иногда выкупившиеся на волю холопы) получали ссуду от землевладельцев на условиях, выгодных для последних: как только крестьянин основывал на новом месте починок, заводил хозяйство, начинал собирать урожай, половину его (или какую-либо иную оговоренную заранее часть) он должен был вносить землевладельцу, ссудившему его инвентарем или деньгами.

Крестьянские поселения (деревни, починки) не были многодворными, они состояли часто из одного-двух дворов. А население возрастало. Отдельные крестьянские семьи выселялись, заводили новые починки, будучи вынуждены в связи с этим идти в новую кабалу к землевладельцам.

Происхождение половничества в указанных выше условиях сельскохозяйственной жизни хорошо, по-моему, рисуют некоторые документы Кириллова-Белозерского монастыря. В конце XV в., во время размежевания монастырских земель, В. Г. Телибанов показывал межевщикам, что его дед, отец и он сам длительное время жили в деревне Колкаче, принадлежавшей Есипу Пикину, и «половничали» на него. Деревню Колкач Есип Пикин «велел розставити на двое» и «посадил» там деда В. Г. Телибанова. Деревни Сущово и Талицу Есип «розделал на лесе своими людми да посажал половников»[1].

* * *

Остается коснуться вопроса о денежной ренте. Этот вопрос тесно связан с другим вопросом—кто такие *«серебреники»*, упоминаемые в некоторых грамотах XV в. в числе феодально зависимого населения. Б. Д. Греков противопоставляет серебреников старожильцам, указывая, что они «несколько похожи на зависимых крестьян, но отличаются от них тем, что не несут крестьянского тягла». Однако вряд ли в серебрениках можно видеть особую категорию сельского населения или, как говорит Б. Д. Греков,—«несколько категорий феодально-зависимых людей», отличных от крестьян[2]. Раскрытию сущности серебреничества должно помочь выяснение того, в каком смысле употребляется часто встречающийся в актовом материале термин «серебро».

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 205, № 289; стр. 244—245, № 290.

[2] *Б. Д. Греков*, Крестьяне на Руси, изд. 2, кн. II, стр. 131.

Этот термин фигурирует в разном контексте. В грамотах о передаче духовными феодалами земли во временное держание слугам обычно имеется такое условие: «А что... яз [держатель] примышлю в том селе... серебра, и хлеба, и животины страдные, и после моего живота то село... и с серебром, и со хлебом в земли, и что будет на поле стоячего жита, и з животиною страдною, и со всем с тем...» возвращается обратно земельному собственнику[1]. Здесь речь идет вообще о тех доходах, которые будут получены с земли, после того как взявший ее в держание слуга заведет на ней хозяйство. В числе хозяйственных доходных статей названы: посевы хлебных злаков и урожай текущего года, рабочий скот, наконец, денежные суммы («серебро»). Под «серебром» в данном случае можно понимать как денежные доходы, полученные от реализации хлеба на рынке феодалом, так и денежную ренту с крестьян, так, наконец, те деньги, которые розданы в долг крестьянам и должны быть с них взысканы (с процентами или без процентов). Словом, поскольку такого рода формулы грамот носят условный характер—речь в них идет о расчетах по «серебру», возможных в будущем, а не о реальном «серебре», фигурирующем в момент передачи земли ее собственником временному держателю,— очевидно, на основании этих формул делать в достаточной мере обоснованные выводы о значении термина «серебро» не приходится.

В ряде грамот говорится об отчуждении (дарении, покупке и т. д.) сел и деревень «и з серебром, и з хлебом з земным и стоячим, и з животиною»; «и з серебром, и з животом, и з деревнями»; «и с серебром, и с хлебом, и с животиною»; «и с хлебом, и с серебром»; «и с серебром, и с хлебом, и с сеном»; «и с серебром, и с хлебом, и с жывотиною, и с бортью»[2] и т. д. В этих случаях речь идет уже о реальном «серебре», фигурирующем в момент совершения сделки на землю. Но значение этого «серебра» также недостаточно ясно (хотя иногда даже указывается определенная сумма серебра, например 60 рублей)[3]. Выдвинутые выше три возможных объяснения термина (деньги от реализации продуктов сельского хозяйства, денежная рента, крестьянский долг) опять-таки остаются в силе.

Для нас очень важно при этом, что в отдельных случаях, несомненно, под «серебром» можно подразумевать денежную ренту с крестьян. Так, в некоторых грамотах вместо фразы о передаче земли «с серебром» имеются слова об ее отчуждении «с оброком» («и с судом, и с данью, и с оброком, и с хлебом, что в земле»)[4]. Оброк действительно взимался и деньгами, как это видно, например, из «оброчной» грамоты князя Михаила Андреевича белозер-

---

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 51, № 33; стр. 56, № 40; стр. 142, № 159—160; стр. 156—160, № 175—176; стр. 201, № 227—228.

[2] АСЭИ, т. I, стр. 523, № 612; стр. 63, № 71; стр. 100, № 130; стр. 127, № 175; стр. 131, № 181; стр. 250, № 342.

[3] Там же, стр. 155, № 155; стр. 379, № 501.

[4] *Н. П. Лихачев*, Сборник актов, стр. 124—128, № II.

ского Кириллову монастырю 1468 г. об уплате ежегодно «по десяти рублев пятигривенным серебром»[1].

Ряд грамот говорит о том, что «серебро» должно быть собрано с крестьян («серебро» «што в людех») по селам и деревням («и сын мой Михайло, ис тех сел что серебра на людех вымет, да испродасть хлеба, да приказником моим те деньги отдасть...», «а што в моем селе серебро... да и в деревнях, и то серебро прикащики мои зберуть, да дадуть жене моей»)[2]. Из трех форм извлечения «серебра», о которых шла речь выше, в данном случае прямо говорится об одной (продаже хлеба на рынке). Под формулами «что серебра на людех вымет» или «што... серебра зберуть», можно подразумевать с одинаковой долей основания две другие формы (взыскание с крестьян долгов и денежную ренту). Но интересно сопоставить приведенные выше выдержки из источников с имеющимися в грамотах упоминаниями о пожаловании землевладельцам сел «и с оброком с денежным и с хлебным...»[3]. Это сопоставление делает вполне правомерным вывод о том, что в понятие «серебро» включается и денежная рента.

Следующая группа актов говорит о разделе «серебра» между землевладельцами и крестьянами. В духовной грамоте князя Юрия Васильевича дмитровского 1472 г. имеется такое место: «А что мои села в моей отчине в Дмитрове..., и мати моя, великаа княгини, и мой господин, князь великий, возмет ис тех сел изо всех половину серебра, да роздаст по моей души, а другую половину серебра отдаст тем хрестианом, на коих то серебро»[4]. В жалованной грамоте великого князя Василия II Троице-Сергиеву монастырю середины XV в. читаем: «А дал есми им те села и деревни, и с хлебом, и з животиною, да половину серебра денег на людех, и со всем с тем, что в тех селех и в деревнях есть, опричь людей страдных да опричь суда,— суд мой, великого князя»[5]. Взыскание половины «серебра денег на людех» можно понимать двояко: 1) или как взыскание с крестьян половины долга, с прощением им другой половины; 2) или как взыскание денежного оброка с крестьянина, работающего «исполу» («исполовника»).

Сопоставление приведенных источников с некоторыми другими как будто дает основание для того, чтобы видеть в «половине серебра» денежный оброк с половников. Источники, как говорилось выше, знают «половников в серебре»[6]. Во второй четверти XV в. инок Григорий Линяк упоминает в своей духовной «половничье серебро» «на... людех», которое он завещает в Кириллов-Белозерский монастырь[7]. Одна вкладчица передает Кириллову монастырю деревню

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 115, № 182. В духовной новгородца Климента конца XIII в. говорится о «поральском серебре» (ГВНП, стр. 163, № 105).
[2] АСЭИ, т. I, стр. 80, № 100; стр. 524, № 612; стр. 379, № 501.
[3] ААЭ, т. I, стр. 113, № 141.
[4] ДДГ, стр. 223—224, № 68.
[5] АСЭИ, т. I, стр. 172, № 244.
[6] АСЭИ, т. II, стр. 307, № 326.
[7] Там же, стр. 52, № 87.

«и с серебром, что на половники»[1]. Конечно, под «половниками в серебре» могли подразумеваться и кабальные должники, вынужденные, вследствие того, что они взяли у феодалов денежную ссуду, работать на них исполу. Но с таким же правом мы можем видеть в них крестьян, обложенных денежным оброком из расчета половины стоимости урожая. Наконец, возможно и сочетание обоих моментов: закабаленный должник, кроме возврата долга (с процентами и без процентов), обязан уплачивать и денежный оброк.

В некоторых актах «серебро» детализируется по разновидностям. Одной из таких разновидностей является «серебро издельное» или «дельное» («село... и с жытом и с-ызделным серебром», «...мой брат зберет серебро делное с людей ис того села... и из деревень»). «*Серебро дельное*» отличается от «*серебра ростового*» («а что в том селе... серебра моего на крестьянех делного и ростового..., и яз тех денег на крестьянех не велел имати сыну своему,—что на ком есть, тому то и есть»)[2]. Что касается «ростового серебра», то его значение раскрывается довольно ясно: это деньги, отданные феодалами, преимущественно духовными, в рост (под проценты, в ростовщических целях) крестьянам. В грамоте митрополита Симона волостелю Славецкой волости, Владимирского уезда, Оладье Блинову упоминается «серебрецо церковное на людех», причем указывается, что среди крестьян имеются «добрые» (т. е. зажиточные) люди, которые «и нынечя рост дают», и другие (очевидно, бедняки), которые «ростов не платят»[3]. Очевидно, кредитование крестьян феодалами в целях их экономического закабаления было явлением распространенным. О «ростовом серебре» имеются упоминания в Новгородских писцовых книгах конца XV—начала XVI в. Например: «да в тех же деревнях великого князя денег Олферьевских за хрестианы 3 рубли и 2 гривны, а росту на них дают на рубль по гривне и по 2 денги»[4].

Труднее выяснить значение термина «серебро издельное» («дельное»). Это может быть и денежный оброк, который представляет собой повинность крестьян за предоставленный им земельный надел, может быть и денежная сумма, розданная феодалами в долг крестьянам с условием погашения процентов с нее (или частично и самой суммы) работой на барщине. Слово «*дело*» (от которого происходит «дельное серебро») означает иногда барщину, иногда вообще крестьянские повинности. Об этих повинностях один из крестьян Троице-Сергиева монастыря конца XV в. рассказывал так: «а сел есми, господине,.. у старца у Фарафонтья у троецкаго,.. а *делал* есмь, господине, на монастырь и дань есми давал с монастырьскими хрестьяны...»[5]. Крестьяне, получавшие льготу в повинностях на монастырь, по истечении льготного срока должны были «потянути

[1] АСЭИ, т. II, стр. 25, № 29.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 74, № 90; стр. 87, № 108; стр. 441, № 562.
[3] АФЗХ, ч. I, стр. 173—174, № 192.
[4] НПК, т. IV, стр. 160.
[5] АСЭИ, т. I, стр. 471, № 586.

со хрестьяны со своею братьею, как и иные хрестьяне *дело* наше монастырское *делают*»[1]. Митрополичьи бортники получили в пользование деревни, пустоши и бортные ухожаи, и им была дана жалованная грамота о том, что им не «тянути с... [митрополичьими] зарецкими христианы в сельское... *дело*»[2]. Предоставляя в конце XV в. податной иммунитет важскому Богословскому монастырю, сын новгородского посадника Иван Васильевич подчеркивал: «а ведают те селяне [крестьяне] *дело* монастырьское»[3].

Не исключена возможность, что во всех приведенных примерах термин «дело» покрывает сумму повинностей на феодала, которые несут крестьяне со своих земельных наделов. Очевидно, в словах «дельное» («издельное») «серебро» можно видеть указание как на повинность в деньгах с земли (денежную ренту), так и на взятые крестьянами вперед деньги с обязательной отработкой их на барщине (отработочная рента).

Некоторые соображения по вопросу о «ростовом» и «издельном» «серебре» могут быть сделаны на основании духовной грамоты вологодского князя Андрея Васильевича 1481 г. Он упоминает «серебро изделное и ростовое» и «жито... заемное и оброчное» на «хрестианех» его сел[4]. «Жито заемное и оброчное»— это, конечно, хлеб, розданный крестьянам в долг и следуемый с них в качестве оброка. Так же, очевидно, надо понимать и значение упоминаемого параллельно житу серебра в двух его разновидностях («ростовое»—отданное в долг и «издельное»—следуемое в качестве оброка).

О денежном оброке, возможно, речь идет в духовной Софьи Витовтовны 1451 г., которая завещает свои села «и с хлебом со всем, и с животиною, да с половиною изделного серебра, что на людех», оставляя другую половину «изделного серебра» «хрестианом серебреником»[5]. Далее эти серебреники названы «изделныи серебреники» и «изделники». Сопоставив это с данными других источников о том, что монастырские половники «делают» монастырскую землю[6], «пашут на... монастырь, а данью, и тяглом, и заделъем тянут с крестьяны с монастырскими»[7], правомерно из ряда взаимно связанных терминов («издельный серебреник», «издельник», «половник в серебре», «половник, делающий землю» или «тянущий заделъем») сделать вывод, что духовная Софьи Витовтовны имеет в виду и денежный оброк.

С другой стороны, в источниках имеются данные и о привлечении крестьян к выполнению барщины для погашения долга. В духовной грамоте Патрикея Строева начала XV в. читаем: «Взяти ми на

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 534, № 623.
[2] АФЗХ, ч. 1, стр. 187—188, № 213.
[3] ГВНП, стр. 282, № 281.
[4] ДДГ, стр. 277, № 74.
[5] Там же, стр. 178, № 57.
[6] АСЭИ, т. I, стр. 469, № 585.
[7] Там же, стр. 483, № 591.

Пануте рубль, на полтину косити ему искос, на полтину взяти два барана. Взяти ми на брате на Панутине на Онисиме полтину, на то взяти искос»[1].

Особо следует упомянуть о том, что в XV в. землевладельцы за «серебро» (деньги) часто сдавали крестьянам землю в аренду. Так, один крестьянин косил монастырский луг, «наймуючи у монастыря, а давывал... найму от него десять денег»[2]. Сдача в аренду крестьянам покосов (о чем говорилось в другой связи выше) стала распространенным явлением в особенности во второй половине XV в. Интересные данные о том, как была организована косьба сена на лугах суздальского Спасо-Евфимьева монастыря, сообщили допрошенные на суде по одному спорному делу в конце XV в. местные дети боярские, старцы, крестьяне. Сначала косьбу производили сами монахи: «...приезжали сами архимандриты с старцы на те луги, да и шатры на тех лугах ставили, и церковь у них была на тех лузех полотняна, да сами старцы те луги и косили». Затем митрополит Филипп «прислал в монастырь к старцом пятнадцеть рублев в-ыскос, чтобы сами старцы не косили»[3]. Монастырскими властями привлекались к сельским работам и черные крестьяне. Так, черные крестьяне волости Нелши показывали на суде, что они у «строителев» села Стебачова Спасо-Евфимьева монастыря «наймовали косити» селища[4].

Правда, в приведенных примерах не всегда прямо говорится, что покосы арендуются за деньги, однако, как правило, «наем» земли предполагал денежную плату за нее со стороны арендатора владельцу.

В некоторых конкретных случаях вообще трудно раскрыть значение термина «серебро». Так, сохранилась правая грамота конца XV в. по спорному делу между митрополичьими и великокняжескими крестьянами о селищах Алтынове и Дубровке. Митрополичьи крестьяне утверждали, что эти селища «тянут» к принадлежащему митрополичьей кафедре селу Милятину. Свидетели показали на суде: «...пахали, господине, те селища хрестиане милятинские да и пожни косили на серебро тех селищ монастырю»[5]. Здесь можно с одинаковой долей убедительности говорить и о том, что крестьяне пашут и косят селища за ссуду серебром, полученную от митрополичьего монастыря, и о том, что они делают это, уплачивая оброк монастырю, наконец, о том, что земля взята ими в аренду.

Сохранилась интересная (и сравнительно ранняя) берестяная грамота XIV в., упоминающая о «серебре»: «От Якова к Евану. Что слешь ко мне про серебро, то ведаю, аже ты дале серебро на собе, то ведаю, а иного не ведаю: како ли ты венилеся, како ли что

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 31, № 11.
[2] АФЗХ, ч. 1, стр. 127, № 140.
[3] АСЭИ, т. II, стр. 534, № 492.
[4] Там же, стр. 519, № 481.
[5] АФЗХ, ч. 1, стр. 116—117, № 125.

дале еси рубль на собе»[1]. К сожалению, ввиду лаконичности текста сущность тех отношений по «серебру» между двумя лицами, которые документ затрагивает, не может быть выявлена в достаточной мере отчетливо. Очевидно лишь, что речь идет о каких-то долговых обязательствах.

Общий вывод, который может быть сделан на основе анализа актового материала, сводится к тому, что к XV в., и особенно во второй его половине, «серебро» начинает играть довольно значительную роль во взаимоотношениях между землевладельцами и крестьянами. Роль «серебра» заключается, с одной стороны, в том, что оно выступает в качестве средства кредитования крестьян феодалами, организующими производственный процесс в своих имениях, стремящимися к расширению площади хозяйственно освоенной земли, увеличению числа зависимых крестьян. Кредитование является одним из средств развития барщинного хозяйства («изделье» в погашение долга). С другой стороны, несомненно, увеличивается удельный вес денежной ренты в феодальном хозяйстве. Реальное значение «серебра», упоминаемого источниками, не всегда может быть раскрыто точно не только в силу лаконизма источников, но и потому, что этот термин покрывает разные явления, в жизни переплетавшиеся. В большинстве случаев серебро—это сумма крестьянского долга феодалу, но задолженность крестьянина складывалась и из ссуды, полученной от феодала, и из невыплаченного феодалу денежного оброка. Б. Д. Греков правильно отмечает, что иногда «крестьянские денежные оброки (рента) и долги (ростовое серебро) собираются феодалом с крестьян без всякого различия, просто сливаются в общую сумму землевладельческих доходов»[2]. Во всяком случае та роль, которую стало играть «серебро» в феодальном хозяйстве, свидетельствует об известных экономических сдвигах в стране, ибо для уплаты «серебра» в любом его качестве крестьянину нужно было реализовать продукт своего труда на рынке.

Очень интересные данные об организации монастырского хозяйства имеются в одном формуляре уставной грамоты митрополита монастырю. В этой грамоте упомянуты разные формы ренты: барщина или натуральный оброк («а что идет им хлеб из сел манастырьских, что на них хрестьяне пашуть»), денежная рента («или на серебро манастырьское пашють»). Кроме того, упоминается отдача земли «в наймы» («А что которых манастырьских земель не испахивають, ни пожен не искашивають, а дают в наймы»)[3]. Данный формуляр с несомненностью свидетельствует об одном: денежные отношения в деревне стали уже явлением не спорадическим, а в достаточной мере распространенным.

---

[1] *А. В. Арциховский*, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.), стр. 31—33.

[2] *Б. Д. Греков*, Крестьяне на Руси, изд. 2, кн. II, стр. 107.

[3] РИБ, т. VI, стр. 887—888.

Кто же такие монастырские серебреники? Надо сказать, что это термин для XV в. довольно редкий. Все сохранившиеся данные говорят о том, что под серебрениками вряд ли следует понимать какую-то особую категорию крестьянства. Из источников следует, что *серебреник*—это задолжавший крестьянин, обязанный расплатиться с землевладельцем. Об этом особенно ясно сказано в грамоте Ивана III на Белоозеро в 80-х годах XV в., в которой речь идет о крестьянах Кириллова-Белозерского монастыря. Монастырский серебреник—это крестьянин, который «скажется в их серебре виноват» и должен вернуть «серебро... манастырское»[1]. Источники крестьянской задолженности были разобраны выше при анализе терминов «половник в серебре», «издельный серебреник». Это—деньги, взятые крестьянами у феодала под проценты или с условием погашать их своим трудом, невыплаченный оброк и т. д. Интересные данные о задолженности крестьян-серебренников сообщает грамота князя Михаила Андреевича белозерского середины XV в. В этой грамоте говорится, что «половники в серебре» Ферапонтова монастыря, ссылаясь на княжеское разрешение, «отказывались» из монастырских владений, расплачиваясь с монастырскими властями с рассрочкой в течение двух лет «в истое без росту» (т. е. без процентов с суммы долга). Здесь не обязательно имеется в виду «ростовое серебро», т. е. деньги, взятые в долг под проценты; долг мог образоваться и из невыплаченного денежного оброка. Князь распорядился, чтобы выплата «серебра» производилась при отказе крестьян. Что касается тех серебренников, которые уже вышли из монастыря, не расплатившись с ним, то они по княжескому распоряжению должны были «дело доделывать на то серебро», «а осень придет, и они бы и серебро заплатили»[2]. Исходя из раскрытого выше значения слова «дело», надо думать, что вышедшие из владений монастыря крестьяне-должники должны были быть возвращены на свои земельные участки и по-прежнему выполнять свои повинности в отношении феодала до полной расплаты с ним.

Серебреники могли быть и среди старожильцев. В грамотах упоминаются «люди добрые старожилци», взявшие в долг «серебрецо церковное» и обязанные платить с него «рост»[3]. И денежное кредитование феодалами крестьян, как явление распространенное, и появление денежной ренты, будучи связаны с ростом товарно-денежных отношений, служили экономическими предпосылками появления и распространения старожильства. Очень интересно, что кредитование распространяется не только на сельскую бедноту, нуждающуюся в деньгах, но и на зажиточную часть крестьянства, на тех, кто «изможен в животе, а не охудел»[4]. Среди кредитуемых феодалами

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 185, № 276.

[2] ААЭ, т. I, стр. 35—36, № 48/1. О серебрениках см. также АСЭИ, т. II, стр. 61—62, № 101; стр. 81—82, № 138; стр. 112, № 177; стр. 124—125, № 193.

[3] АФЗХ, ч. 1, стр. 173—174, № 192.

[4] ДДГ, стр. 178, № 57.

крестьян были «добрые люди», исправно уплачивавшие «рост»[1]. Таким образом, кредитование преследовало цели развития феодального хозяйства, им были охвачены широкие массы крестьянства, и поэтому нет оснований видеть в «серебрениках» какую-то особую группу крестьян, противоположную старожильцам.

Серебро могли получать и «пришлые люди», его получали и «люди окупленые», которые также являлись серебрениками. В этой связи интересно остановиться на значении понятия *«серебро головное»*. В меновной грамоте второй четверти XV в. говорится о промене старцем Троице-Сергиева монастыря монастырской земли «с хлебом, которой в земле и на поле, с рожью и с ярью, и с сеном», но без «серебра головного». Около 1430 г. душеприказчики Ивана Михайловича Крюкова дали в Троице-Сергиев монастырь село Меденское с большим количеством хлеба, рабочего скота, «а серебра головнова»—54 рубля[2].

Прежде всего можно высказать предположение, что «головное серебро» как-то связано с холопами. Выражение «откупити головою» означало продаться в рабство («...а нама ся тобе нечим откупити сему, толико главою своею...»)[3]. В источниках упоминается «цена серебряная», уплачиваемая за раба («еже бо аще продать, и купят его, владыка хощеть быть купимому, ценою серебреною притяживаеть то»)[4]. Известно, что по делам между холопами и их господами взимались судебные пошлины «с семьи три алтына, а з головы алтын»[5]. Для понимания того, что такое «головное серебро», интересно сопоставить две формулы из грамот, сходных по содержанию. Одна из этих формул (из меновной грамоты второй четверти XV в.) уже была приведена выше. В другой грамоте (Василия II Троице-Сергиеву монастырю 1453 г.) речь идет о передаче сел «с хлебом, и з животиною» и «половины серебра на людех», «опричь людей страдных»[6]. Можно думать, что слова «без серебра головного» в первом случае соответствуют словам «опричь людей страдных» во втором случае. Другими словами, «головное серебро» могло быть ценой «страдных людей».

«Страдные люди»—это холопы, посаженные на землю и выполняющие на феодалов те же повинности, что и крестьяне. Картина барщинного хозяйства, которую рисует грамота на село Медну[7], упоминающая «головное серебро», очень похожа на описание княжеского хозяйства с участием страдников в духовных княгини Софьи Витовтовны[8], князя Михаила Андреевича белозерского[9] и т. д. Характер «головного серебра», вероятно, был столь же сло-

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 174, № 192.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 59, № 62; стр. 64, № 71.
[3] ПСРЛ, т. II, СПб., 1908, стр. 420—421.
[4] РИБ, т. VI, стр. 179.
[5] ДДГ, стр. 42, № 15.
[6] АСЭИ, т. I, стр. 172, № 244.
[7] Там же, стр. 64, № 71.
[8] ДДГ, стр. 178, № 57.
[9] Там же, стр. 305, № 80.

жен, как и характер «серебра изделього». Под «головным серебром» могла подразумеваться цена холопа, посаженного на пашню («страдного человека»); выданная ему на обзаведение хозяйством ссуда; наконец, сумма, необходимая для выкупа страдника в том случае, когда он перешел на положение временной зависимости. Отработка «головного серебра» на пашне приближала холопа к положению крестьянина, «окупленного» феодалом.

В XVI в. под «головным серебром» в широком смысле понимаются долги, которые крестьяне должны выплатить феодалу[1].

Итак, серебреники—это не особая категория крестьян. Это—крестьяне-должники, обязанные вернуть феодалам взятые у них денежные суммы или внести им денежный оброк. Серебрениками могли быть и старожильцы и вновь перезванные феодалами на свои земли люди. Развитие серебреничества—показатель роста крестьянской задолженности, а задолженность крестьян—один из каналов, через которые шел процесс укрепления крепостничества.

§ 9. Процесс юридического оформления крестьянского закрепощения

Рассмотрев социально-экономическую эволюцию сельского населения в период образования Русского централизованного государства, остановимся на юридическом оформлении процесса крестьянского закрепощения. Здесь важно поставить вопрос о том, как изменялось право крестьянского перехода.

Интересна разница в терминологии, употребляющейся источниками XIV—XV вв. применительно к ушедшим от своих владельцев феодально зависимым людям: холопам, с одной стороны, крестьянам—с другой. В отношении холопов речь идет о побегах. Так, указания на беглых холопов имеются в духовных грамотах. Например: «А что мои люди от меня *бегают*... и те есми люди дал своим детем,—ищут их себе»[2]; «А что мой холоп Федорец *бегает* дьяк, и мои приказщики возмут на нем два рубля, а его отпустят на слободу»[3]; «Да что мои холопи беглые .., тех есми дал сыну же своему»[4]. В отношении ушедших из имений феодалов крестьян-старожильцев в актовом материале употребляется термин «*розошлись*»[5].

Эта разница в терминологии объясняется тем различием, которое существовало в праве собственности феодала на холопа, с одной стороны, и на крестьянина—с другой. Землевладелец был полным собственником холопа и неполным собственником крестьянина. И тем не менее различные выражения, употребляемые в ряде грамот,

---

[1] «Книга ключей и долговая книга Волоколамского монастыря», под ред. М Н. Тихомирова и А. А. Зимина, М.—Л., 1948, стр. 155.

[2] АСЭИ, т. I, стр. 286, № 394.

[3] Там же, стр. 378, № 499.

[4] Там же, стр. 524, № 612.

[5] АФЗХ, ч. 1, стр. 203, № 232.

когда речь идет об уходе крестьян и холопов от своих господ (холопы «бегут», крестьяне «розошлись»), не дают права говорить о полной свободе крестьянского перехода.

Прежде всего надо отметить, что в договорных грамотах Новгорода с великими князьями XIV—XV вв. речь идет уже о «побегах» не только холопов, но и половников («А холоп или половник забежить в Тферьскую волость, а тех, княже, выдавати»). Судебные дела о половниках, так же как о холопах, производятся в Новгороде с участием их владельца-феодала: «А холопа и половника не судити твоим судиям без господаря; судити князю в Новегороде, тако пошло»; «которыи ли [холоп или половник] въстворить суд собе, судити его в Новегороде». В XV в. в договорных грамотах Новгорода и Пскова с польским королем и великим князем литовским Казимиром IV условия о выдаче «холопа», «рабы», «должника», «поручника», «разбойника», «татя» сопровождаются обязательством о выдаче «смерда» (государственного крестьянина). В договорной грамоте Новгорода с тем же Казимиром IV имеется специальная статья, запрещающая возбуждать дела против господ («вадити на осподу») не только холопу и «робе», но и смерду («а тому, ты, честны король, веры не няти»)[1].

Далее интересно сопоставить терминологию актов Северо-Восточной Руси (отличную от новгородской), касающуюся ухода крестьян, не только с терминологией, употребляющейся применительно к ушедшим холопам, но и к «отъехавшим» от князей боярам. Наблюдения получаются очень показательные: холопы «бегут», крестьяне «расходятся», бояре и вольные слуги «отъезжают». Понятия, заключающиеся в приведенных выражениях, вполне отвечают социальной структуре в период феодальной раздробленности: вольные слуги—это княжеские вассалы, принадлежащие к господствующему классу феодалов, крестьяне—феодально зависимые люди, представляющие собственность землевладельца.

В отношении бояр и вольных слуг в договорных княжеских грамотах провозглашается право отъезда: «а бояром, и детем боярским и слугам межю нас вольным воля». В отношении крестьян такого права свободного перехода в XV в. не существовало. Во-первых, как было выяснено выше, «перезывать» крестьян феодалам разрешалось лишь из «иных княжений». Во-вторых, князья разных княжений включали в свои договоры условия в отношении черных крестьян, которых они обязывались не принимать, так же как не покупать черных земель («а которые слуги потягли к дворьскому, а черные люди к сотцкому при твоем отце, при великом князи, а тех вам и мне не принимати»; «а которые слуги к дворьскому, а черные люди к становщику, блюсти их с одного, а земель их не купити»[2]). Следовательно, и право перезыва крестьян из других княжений было ограничено.

---

[1] ГВНП, стр. 18, № 7; стр. 116, № 70; стр. 322, № 335; стр. 132, № 77.
[2] ДДГ, стр. 91, № 35; стр. 71, № 27; стр. 216, № 66.

О таком же запрете перезыва крестьян говорится в договорных грамотах Новгорода с великими князьями XIII в.: «А из Бежиць, княже, людии не выводити в свою землю, ни из инои волости новгородьскои...»[1]. Выделилась также категория половников, которым был запрещен переход («половников... неотхожых людей»)[2].

Наконец, основная часть крестьян—«старожильцы»—начинает рассматриваться как крепкая земле, связанная с определенными земельными участками. Возврат старожильцев считается приходом на свои «старые места». Это выработанное феодальным правом XV в. понятие «*старое место*» крестьянина-старожильца сыграло большую роль в дальнейшем юридическом оформлении крепостнических отношений. Расценивая в качестве «старожильцев» феодально зависимое население, не только находящееся в данный момент в составе определенной вотчины, но и вышедшее из нее, закон исходил из предпосылки о том, что землевладелец вернет этих крестьян в свое имение. Отсюда, мне кажется, можно с полным правом сделать вывод, что появление термина «старожилец» было вызвано не «потребностью отмежевать категорию старых, зависимых от землевладельца тяглецов от увеличившейся массы новоприходцев», как думал Б. Д. Греков, а, напротив, распространение данного термина было показателем того, что возможность привлечения «новоприходцев» уменьшилась, что обострилась борьба за рабочие руки. В то же время правовое выделение старожильства, как особой категории крестьян, было вызвано и обострением классовой борьбы, проявлением которой являлись побеги. Закон постановил, что ушедшие из феодальной вотчины старожильцы не перестают рассматриваться в качестве крестьян-старожильцев своего феодала.

Важной гранью в истории крепостнических отношений является середина XV в. Прежде всего с 60-х годов XV в. в актах появляется термин «*люди письменные*», которых князья запрещают землевладельцам призывать на свои земли. Сопоставление источников показывает, что этот термин обозначает ту же категорию населения, что и термин люди «данские тяглые» («А писменных им людей моих, великого князя, и неписменых к себе не приимати»[3]; «А людей им моих данских тяглых к собе не приимати»[4]; «А данных людей им писменых в те села и в деревни не приимати»[5]). «Данские люди письменные»—это крестьяне, обложенные тяглом и записанные в «данские» книги; «люди неписьменные»—крестьяне, не занесенные в книги («И данщики мои дмитровьские тех монастырьских сел в данстие книги не пишют»[6]). Появление термина «данские люди

---

[1] ГВНП, стр. 11, № 2. См. также стр. 12, № 3; стр. 16, № 6; стр. 20, № 9; стр. 22, № 10; стр. 27—28, № 14; стр. 30, № 15; стр. 35, № 19; стр. 40, № 22; стр. 47, № 26.

[2] Там же, стр. 281, № 280.

[3] АСЭИ, т. II, стр. 352, № 359.

[4] Там же, стр. 354, № 360.

[5] АСЭИ, т. I, стр. 249, № 341.

[6] *С. А. Шумаков*, указ. соч., вып. 2, стр. 47.

письменные» было связано с теми систематическими переписями населения, которые, по-видимому, стали производиться с 60-х годов XV в. и о которых впервые имеется упоминание в духовной грамоте Василия II 1461—1462 гг. («...и моя княгини... и мои дети пошлют писцев, да уделы свои писци их опишут по крестному целованью да по тому письму, и обложат по сохам и по людем...»[1]). Если раньше критерием принадлежности к числу «тяглых данских людей» определенного княжества, не подлежащих выводу, служила «давность» зависимости, то теперь таким критерием являлась запись в данские книги.

К середине XV в. относятся и первые известные грамоты, говорящие о крестьянских «отказах». Появление этих грамот нельзя понимать в том смысле, что лишь теперь было внесено ограничение в ранее господствовавшее право свободного крестьянского перехода. Установление правила крестьянских «отказов» представляло собой лишь новую форму ограничения крестьянского перехода (который не был свободным и раньше), в условиях ликвидации феодальной раздробленности и образования Русского централизованного государства. Когда стали исчезать отдельные самостоятельные княжества то, естественно, утратило реальный смысл стеснение права крестьянского перехода по линии разграничения «тутошних людей» (перезыв которых запрещался) и «инокняжцев», которые могли быть тоже с ограничениями перезваны. В условиях единого централизованного государства, внутри которого постепенно исчезали политические перегородки, утрачивало свой реальный смысл и представление о «старом месте» крестьянина-старожильца без твердой регистрации этого «места» не в отдельных княжеских грамотах, а в специальных книгах и без регистрации ухода крестьянина (с ликвидацией всех своих обязательств к землевладельцу).

Перед правительством централизованного государства развитие феодальных отношений выдвигало два возможных решения крестьянского вопроса: или вообще полный запрет крестьянских переходов, или ограничение их какими-то легализованными рамками. Оба эти направления великокняжеской политики нашли отражение в дошедших до нас актах.

К середине XV в. относятся отдельные княжеские грамоты, запрещавшие «*отказы*» крестьян. В 50—60-х годах XV в. были даны две грамоты Троице-Сергиеву монастырю великим князем Василием II. В одной из них (на владения в Бежецком уезде) говорится, что если кто-либо «откажет» монастырских крестьян-старожильцев, то монастырские власти имеют право их «не... выпущати ни х кому»[2]. В другой грамоте (на села в Угличском уезде) имеются в виду монастырские крестьяне («люди»), которые «вышли» из монастырских сел в великокняжеские и боярские владения, «не хотя ехати на... службу великого князя к берегу» (т. е. исполнять повинности по

[1] ДДГ, стр. 197, № 61.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 192, № 264.

обороне берегов рек, через которые совершали нападения татары и другие неприятели). Вышедших из-за монастыря крестьян было предписано «вывести опять назад». Тех же крестьян, «которые люди живут в их селех нынеча», великий князь «не велел пущати прочь». Для задержки и возвращения своих крестьян монастырские власти получили право прибегать к содействию угличского наместника, брать у него пристава[1].

Однако полное запрещение «отказов» было невозможно в условиях, когда еще слишком сильны были следы феодальной раздробленности, когда возникали бесконечные земельные тяжбы и споры о крестьянах, когда шла борьба в лагере феодалов, когда центральная власть еще не была достаточно сильна для осуществления политики полного юридического закрепощения крестьян, наталкивавшейся на активное сопротивление.

Второе направление княжеской политики нашло отражение в ряде грамот. К середине XV в. относятся грамоты князя Михаила Андреевича на Белоозеро с запретом «отказа» крестьян в иные сроки, кроме Юрьева дня осеннего (26 ноября). Известны и аналогичные грамоты на Белоозеро более позднего времени Василия II, вологодского князя Андрея Васильевича, Ивана III[2].

В грамоте Ивана III 1463—1468 гг. в Ярославль, посланной по жалобе властей Троице-Сергиева монастыря, также были запрещены «отказы» монастырских крестьян в течение года, за исключением одного срока: «неделя до Юрьева, да неделя по Юрьеве дни, в две недели». Крестьян, «отказавшихся» не в этот срок, было велено «вывести... назад»[3]. В 1467—1474 гг. аналогичная грамота была направлена в Суздаль и Юрьев. Согласно этой грамоте, княжеский пристав должен был вернуть монастырских крестьян, вышедших в княжеские или боярские села не в срок, и «посадить их по старым местом, где кто жил, до Юрьева дни до осеннего»[4].

При источниковедческом анализе этих грамот необходимо прежде всего решить вопрос о том, какие категории крестьянства они имеют в виду. Б. Д. Греков высказал предположение, что запрещение «отказов» касалось не всех крестьян, а прежде всего «людей», «через серебро попавших на работу к хозяевам и теряющих право свободно их покидать»[5]. Думаю, что этот вывод не вытекает из наблюдений над источниками. Вот как документы определяют крестьян, об «отказах» которых идет речь: «половники в серебре», «половники серебреники», «люди серебреники», «люди и серебреники», «люди монастырские все и серебреники», «серебреники юрьевские», «серебреники и половники и рядовые люди юрьевские», «люди», «хрестьяне». Совершенно ясно, что речь идет

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 192, № 265.

[2] АСЭИ, т. II, стр. 81—82, № 138; стр. 307, № 326; стр. 61—62, № 101; стр. 112, № 177; стр. 124—125, № 193; стр. 185, № 276.

[3] АСЭИ, т. I, стр. 245, № 338.

[4] Там же, стр. 263, № 359.

[5] *Б. Д. Греков*, Крестьяне на Руси, изд. 2, кн. II, стр. 112.

вообще о крестьянстве. На это указывают такие термины, как «люди монастырские все», «люди», «хрестьяне». Остальные термины приводятся в грамотах потому, что при «отказе» крестьян, этими терминами обозначаемых, возникали особо сложные взаимоотношения между ними и феодалами. Это—задолжавшие монастырю крестьяне («серебреники», «половники», о которых речь шла выше); их «отказ» требовал расчета по «серебру»—сумме долга (происхождение которого было разнообразно и рассмотрено выше). Противопоставление «серебреников и половников юрьевских» «рядовым людям юрьевским»— это противопоставление крестьян-должников, «отказывающихся» в Юрьев день, «рядовым людям»—обычным крестьянам, «отказ» которых не был сопряжен с ликвидацией задолженности. Стало быть, с середины XV в. постепенно отдельными княжескими грамотами для отдельных феодальных вотчин вводится правило об «отказе» крестьян, причем грамоты не ограничивают это правило какой-либо отдельной категорией крестьянства. Поэтому мне кажется, что нет никаких оснований говорить о том, что белозерские грамоты не имеют в виду старожильцев[1].

Указания на выходы крестьян имеются от конца XV в. («А отказался, господине, от нас с тою деревнею Васко в Мишутинской стан тому два году»[2]; «а жил, господине, тот Савка в нашей деревне в Захарьинской, да ся, господине, отказал из нашее деревни за великого князя в волость»)[3].

Второй вопрос, который возникает при анализе рассматриваемых грамот,— это вопрос о значении термина «отказ». Этот термин употребляется или применительно к крестьянам, или применительно к феодалам и княжеской и боярской администрации. Феодалы и феодальная сельская администрация «отказывают» у других феодалов «людей», «отказывают» их «из деревень», «з дворца и деревень», «из села и из деревень». В свою очередь крестьяне «отказываются» от феодалов. Уход крестьян без «отказа» от феодалов обозначается термином «*выход*» («кто деи выйдет», «которой пойдет», «что деи из их сел вышли»). Таких «людей», «вышедших» без «отказа», предписывается «вывести опять назад», «посадить по старым местам».

Эти терминологические наблюдения указывают на эволюцию права выхода. Прежде всего бросается в глаза замена старого понятия (феодал «перезовет», «переймет», «осадит» крестьян) новым (феодал «откажет» крестьян). Эта эволюция понятий связана с переходом от феодальной раздробленности (когда можно было перезывать «инокняжцев») к централизованному государству (когда исчезли «инокняжцы», ибо не стало самостоятельных княжений). На территории единого государства уже нельзя было «перезывать» чужих крестьян, надо было оформить их переход в соответствии с установленными законом правилами.

---

[1] *Б. Д. Греков*, Крестьяне на Руси, изд. 2, кн. II, стр. 112.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 538, № 628.
[3] АЮ, стр. 10—12, № 6.

Крестьянин в условиях феодальной раздробленности рассматривался как «жилец» определенного земельного участка («старого места») и не разрывал связи с этим «местом» и после ухода. На ограниченной территории отдельного княжества, согласно существовавшему тогда праву, другого «места» для него не существовало. В случае ухода в другое княжество средством для его возвращения служила льгота, которая и предоставлялась феодалами ушедшим «тутошним старожильцам». В Русском централизованном государстве пропало различие между «тутошними старожильцами» и «инокняжцами». И в случае нелегального ухода возврат на «старое место» мог производиться уже не путем «перезыва» при помощи льготы, а путем «вывоза» при помощи княжеского аппарата.

То, что термин «отказ» дается в сочетании со словами «село», «деревня» («откажут из села и из деревень»), проливает свет на смысл этого термина. «Отказ» означал разрыв связи крестьянина со своим «старым местом», т. е. крестьянин лишался своего земельного участка и освобождался от связанных с ним повинностей, для чего должен был расплатиться по всем своим обязательствам.

* * *

Известным итогом процесса юридического оформления феодальной зависимости крестьян на протяжении XIV—XV вв. явилась статья 57 Судебника 1497 г. («О христианском отказе»). Судебник уже не говорит о каких-либо разрядах крестьянства, употребляя обобщающий термин крестьянин—«христианин» («О *христианском* отказе», «*а христианом* отказыватися», «А которой *христианин* поживает за ким год» и т. д.). Выше указывалось, что термин крестьянин, вначале обозначавший преимущественно крестьян-старожильцев, к концу XV в. приобретает обобщающий характер, в то время как термины «инокняжцы», «окупленые люди» и т. д. исчезают. Идет процесс слияния отдельных разрядов феодально зависимого населения в единую массу крепостного крестьянства.

В Судебнике речь идет об «отказах» прежде всего основной части крестьян-старожильцев, т. е. крестьян, имеющих земельный надел, свое единоличное хозяйство и несущих феодальные повинности. Это видно из того, что Судебник имеет в виду «отказы» «из волости, *из села в село*», т. е. «отказы» «*сельчан*», живших в «*жилых*» дворах, на участках, обложенных повинностями. «*Пожилое*» уплачивается за то, что крестьянин «*жил*» во дворе, поставленном на земле феодала (в том понимании слова «*жить*», которое было раскрыто выше, т. е. в смысле проживания на хозяйственно окультивированном наделе, являющемся источником феодальной ренты). Характерным и не случайным является то, что «пожилое» в полном размере платится за четыре года проживания во дворе. Такова была, очевидно, реально распространенная жизненная практика, согласно которой крестьянин получал три-четыре года льготы на хозяйственное обзаведение и устройство двора, как центра своего единоличного

хозяйства. Интересной иллюстрацией к постановлению Судебника является изложенный в правой грамоте 1490 г. факт «отказа» крестьян, «посаженных» на землю властями Симонова монастыря и получивших трехлетнюю льготу. Через три года крестьяне должны были перейти на положение старожильцев, но потребовали льготы еще на два года и, не получивши ее, «отказались» из-за монастыря[1].

Условный расчет нормы пожилого за срок проживания на земле феодала менее четырех лет («полдвора», «три четверти двора») производится применительно к крестьянам новикам, «севшим» или «посаженным жити», но еще не превратившимся в полноценных «жильцов». Наконец, количественное различие, делаемое Судебником между нормами «пожилого» за проживание «в полех» и «в лесах», отражает выработанное жизнью различие между хозяйственной трудовой деятельностью крестьян, «садившихся жити» в пустоши, в лесу или на земле, уже бывшей когда-то под пашней.

Составление Судебника 1497 г., в который вошла статья «О христианском отказе», было подготовлено развитием феодального права в разных землях Руси еще в период раздробленности, и это право оформляло рост крепостнических отношений. Статья 57 Судебника является рубежом на пути длительного процесса крестьянского закрепощения и в свою очередь открывает новый этап этого процесса.

Подводя итоги всему вышеизложенному, можно следующим образом представить себе ход правового оформления крестьянской зависимости от феодалов в период образования Русского централизованного государства. Сначала четко определяются категории крестьян «великокняжеских» в противоположность частновладельческим (боярским, монастырским, митрополичьим и пр.). Феодалам запрещается перезывать в свои владения великокняжеских крестьян, живущих «на земле», находящейся в его верховной собственности (в «великом княженье»—княжеской «вотчине»). Основная масса частновладельческих крестьян выделяется в качестве «старожильцев», которые противопоставляются «людям пришлым инокняжцам»[2]. Наряду с «тутошними старожильцами» княжеские грамоты знают также «пришлых старожильцев» (т. е. ушедших из феодальной вотчины и вернувшихся туда обратно). Выделение старожильства и запрещение феодалам перезывать крестьян в пределах данного княжения означало стеснение законом права крестьянского перехода. Законом признавался лишь «призыв» людей «из иных княжений». С объединением русских земель и образованием централизованного государства таких «иных княжений» оставалось все меньше. Так подготавливалось стеснение права перехода крестьян в масштабе всего государства. Неслучайно первые грамоты о разрешении крестьянского «отказа» лишь в Юрьев день осенний появляются на рубеже второй половины XV в., когда с объеди-

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 410—412, № 402.
[2] АФЗХ, ч. 1, стр. 187, № 212.

нением Руси и постепенной ликвидацией самостоятельности отдельных княжеств вопрос о праве крестьянского перехода приходилось решать не в плане противопоставления «старожильцев» «инокняжцам», а иным путем, путем установления легальных форм крестьянского «отказа» в определенный законом фиксированный срок, с соблюдением установленных формальностей. Постановление о Юрьеве дне осеннем, вводимое сначала отдельными княжескими грамотами применительно к отдельным феодальным владениям, с образованием Русского централизованного государства приняло форму общегосударственного закона и вошло в Судебник 1497 г. Введение Юрьева дня осеннего в качестве обязательного для всего государства единственно разрешенного срока крестьянского «отказа» было важным этапом на пути юридического оформления крепостничества. Но эта мера не означала полного перелома в положении крестьянства от свободы перехода к его стеснению. Это была лишь новая форма ограничения крестьянского перехода в условиях образовавшегося Русского централизованного государства, так же как выделение «старожильства» являлось аналогичной формой в условиях существовавшей политической раздробленности.

§ 10. Холопство

К несвободным людям принадлежали холопы. В отношении холопа феодал был полным собственником. Судя по актам, холопы—это «*полные люди*», на которых у господина имелись «полные грамоты». «А княгине моеи те люди, што есм еи подавал при своем животе, и грамоты полные тех людеи у нее»[1],—читаем в духовной грамоте московского великого князя Василия Дмитриевича. Другое название для полного холопа—«*дерноватый*» («... или грамоты дерноватыи на кого пописал»)[2]. Холопов холоповладельцы могли передавать по наследству, продавать, покупать, отдавать дочерям в качестве приданого и т. д. В актах среди «полных» холопов упоминаются «купленыи» («а что мои люди куплении в великомь свертце», «хто холопов моих купленых», «или кого буде прикупил»), «приданые» («а что мои люди приданые и полные»)[3] и т. д. При отпуске на свободу холопы получали от владельцев специальные отпускные грамоты («и грамоты есми им свои жаловалные отпускные подавал»)[4].

Спорные дела о холопах упоминаются в актах наравне с «обидными делами»[5] о «данном», «положеном», «заемном», «поручном», «земле», «воде», «кабальном»[6] и т. д. (т. е. с делами о дарении, поклаже, займе, отдаче в заклад как движимого, так и недвижимого

---

[1] ДДГ, стр. 57, № 20.
[2] ГВНП, стр. 32—33, № 17.
[3] ДДГ, стр. 8, № 1; стр. 57, № 20; стр. 14, № 3; стр. 72, № 28.
[4] Там же, стр. 307, № 80.
[5] Там же, стр. 103, № 36.
[6] Там же, стр. 42, № 15; стр. 123, № 41; стр. 114, № 37; стр. 188, № 59.

имущества и пр.). По этим делам суд производился «от века»[1] «безпереводно»[2] (т. е. по установленным, имеющим длительную давность феодальным законодательным нормам, охраняющим право собственности на «людей»). В соответствии с этим в междукняжеских договорных грамотах обычно имеется условие о выдаче «беглеца»[3], холопа и рабы «по исправе» (т. е. по расследовании)[4] наравне с «должником», «поручником» (поручителем), «рубежником»[5] (или «порубежником»—нарушителем границ), «татем», «разбойником» и «душегубцем»[6] (похитителями чужой собственности и убийцей).

В церковных поучениях провинившийся холоп также ставился рядом с «татем», «разбойником», «душегубцем», «изменником», «двоеженцем», «блудником», «хищником», «должником». Священник, который скрывал при посвящении в сан, что он холоп, считался «повинным» в «злых делех»[7].

В договорных княжеских грамотах имеются специальные постановления, касающиеся суда о холопах. Задержавший холопа или должника не имел права его «вывести» без участия волостеля (представителя местной власти). «А кто имет холопа и должника, а поставит перед волостелем, в том ему вины нет, а выведет, а перед волостелем не поставит, в том ему вина». Холоп, начавший судиться со своим господином, но не выставивший за себя поручителя, считался виновным и оставлялся в холопстве. «А кто холоп или роба имет ся тягати с осподарем и пошлется на правду, а не будет по них поруки, ино их обинити», или «ино их выдати осподарю»[8].

Согласно так называемому «Правосудию митрополичью», убийство холоповладельцем «челядина полного» не считалось преступлением, а рассматривалось только как грех перед богом: «Аще ли убиет осподарь челядина полного, несть ему душегубства, но вина есть ему от бога, а закупного ли наимита, то есть душегубство»[9]. Аналогичное постановление имеется и в Двинской уставной грамоте 1397—1398 гг.: «А кто осподарь огрешится—ударит своего холопа или рабу, а случится смерть, в том наместницы не судят, ни виры не емлют»[10].

Таким образом, холопье право исходит из представления о холопе как полной собственности феодала. Холопы противопоставляются боярам и слугам—представителям господствующего класса. Противопоставляются они и крестьянам («сельчанам»)[11], хотя их

---

[1] ДДГ, стр. 42, № 15.
[2] Там же стр. 124, № 42.
[3] Там же, стр. 65, № 24.
[4] ГВНП, стр. 38, № 20.
[5] Там же, стр. 55, № 119; стр. 145, № 47.
[6] Там же, стр. 30, № 10.
[7] РИБ, т. VI, стр. 424, 902.
[8] ДДГ, стр. 42, № 15; стр. 188, № 59.
[9] «Летопись занятий Археографической комиссии за 1927/28 г.», вып. 35, Л., 1929, стр. 117.
[10] ГВНП, стр. 145, № 88.
[11] ДДГ, стр 28, № 9; стр. 32, № 11; стр. 71, № 27.

и объединяет принадлежность к феодально зависимому населению, что подчеркивается общим для них термином «люди».

Источники различают среди холопов «приказных» и «страдных» людей. «*Приказные*» люди—это сельская администрация из числа холопов (тиуны, ключники, посельские и т. д.); «*страдные*» люди—это рядовая масса непосредственных производителей. «А что моих людей приказных, тиунов, и посельских, и ключников, и кто ся будет у кого женил, и страдные мои люди з женами и з детми, и что у них моей животины, и те все мои люди приказные и страдные, и з животиною на слободу»,—читаем в духовной белозерского князя Михаила Андреевича около 1486 г.[1]

Приказные люди часто отрывались от рядовой массы холопов, получали земли, эксплуатировали чужой труд. В середине XV в. в селе Воиславском Звенигородского уезда жил «приданый холоп» князя Юрия Дмитриевича Бортен, затем там же жил холоп Харя Лагир, у которого крестьяне «наймовали» землю под покос[2]. Харя Лагир передал принадлежащую ему пустошь митрополичьей кафедре. У московской великой княгини Софьи Витовтовны были холопы, которым она «давала свои села» и у которых были земельные «купли»[3]. В духовной волоцкого князя Бориса Васильевича 1477 г. говорится о холопах, которые «держали» села по пожалованию его «княгини»[4]. В договорной грамоте рязанских князей 1496 г. упоминается село Переславичи, в котором «сидят» княжеские холопы Шипиловы и которое принадлежит «з данью, и с судом, и со всеми пошлинами» рязанскому великому князю[5]. В писцовой книге 1519 г. Переяславского уезда за холопом великой княгини Митей Лаптевым значится деревня Спасское, в которой, кроме самого Лаптева, живут его «человек» и крестьянин; пашенная земля «положена в сохи»[6].

В противоположность «приказным» людям люди «страдные» (равнозначным этому термину являются термины «в селах во всех полныи людии», «деловые люди»)[7]—это непосредственные производители из числа холопов, среди которых были ремесленники и хлебопашцы[8]. У них имелся скот, розданный им феодалами для выполнения барщинных работ[9]. Они отличались от холопьей дворни, получавшей месячину («а кто будет одерноватый, емлет месячину...»)[10], и от крестьян-серебреников[11]. В данной новгородского посадника Василия Степановича важскому Богословскому мона-

---

[1] ДДГ, стр. 305, № 80.
[2] АФЗХ, ч. 1, стр. 97—98, № 103.
[3] ДДГ, стр. 199, № 61.
[4] Там же, стр. 251, № 71.
[5] Там же, стр. 334, № 84.
[6] АФЗХ, ч. 1, стр. 44, № 23.
[7] ДДГ, стр. 72, № 28.
[8] АСЭИ, т. I, стр. 523—524, № 612; ДДГ, стр. 250—251, № 71.
[9] ДДГ, стр. 305, № 80.
[10] ГВНП, стр. 39, № 21.
[11] ДДГ, стр. 178, № 57.

стырю середины XV в. упоминаются, с одной стороны, монастырские («цернецески») «страдники», с другой—«селяне»[1].

В Новгородских писцовых книгах конца XV в. значатся «люди... страдники» или «страдные», жившие на земле феодала в собственных дворах, имевшие пашенные участки (на которых они сеяли хлеб) и сенокосы. Большинство из них работало на барщине[2]. Некоторые «страдники»-барщинники проживали в специальном «челядинном дворе»[3].

В XVI в. в Новгородской земле были известны «деловые» (т. е. те же страдные) люди. Например, в писцовых книгах встречаем такие сведения: «Деревня Великая Нива на речке на Северке же: двор—люди его [помещика] деловые, пашни в одном поле 8 коробей, а в дву потому ж, сена 50 копен, 2 обжы». Или: «Двор большой Яковлевской Шышкина [владельца], а в нем жывут их люди деловые... без пашни»[4].

* * *

В XIV—XV вв. в положении (как экономическом, так и юридическом) холопов на Руси произошли известные изменения. Сущность их в нашей исторической литературе представляется обычно следующим образом: ввиду «экономической невыгодности» «обельного», или полного, холопства как формы эксплуатации труда наблюдалось «сокращение числа холопской челяди в княжеских и боярских владениях». В подтверждение этого вывода исследователи делают ссылку на духовные грамоты великих и удельных князей, которые свидетельствуют якобы о «массовом отпуске холопов на волю»[5].

Ближайшее ознакомление с названными источниками заставляет отказаться от вышеизложенного мнения и несколько иначе представить себе эволюцию холопства в XIV—XV вв. Рассмотрим последовательно сохранившиеся духовные грамоты великих и удельных князей. Согласно грамотам Ивана Калиты около 1339 г., его сыновья должны были поделиться «купленными» им «бортниками» и «оброчниками» (перечисленными в особой «росписи»), а также «людьми купленими», список которых имелся в каком-то «великомь свертце»[6]. Следовательно, в княжение Ивана Калиты число его холопов увеличилось путем покупки, а в предсмертном

---

[1] ГВНП, стр. 281, № 280.

[2] НПК, т. I, стр. 27, 83, 281; т. II, стр. 256, 737; т. IV, стр. 17, 411, 447. В одном случае указано, что помещик Василий Семенович Кутузов «пашот на собя деревню Горку, а в ней живут страдники его, сеют ржы на Василиа...» (НПК, т. II, стр. 647).

[3] НПК, т. II, стр. 47, 62, 431.

[4] НПК, т. IV, стр. 270, 317.

[5] «Очерки истории СССР. Период феодализма. IX—XV вв.», ч. 2, стр. 55.

[6] ДДГ, стр. 8 и 10, № 1.

завещании об отпуске их на волю нет ни слова. Наоборот, видно, что они перешли по наследству к его сыновьям.

В духовной грамоте московского великого князя Семена Ивановича 1353 г. уже говорится о том, что после его смерти холопы должны выйти на свободу. Распоряжение об этом сделано в следующих словах: «А что моих людии деловых, или кого буде прикупил, или хто ми ся будеть в вине достал, тако же мои тивуни, и посельские, и ключники, и старосты, или хто ся будеть оу тых людии женил, всем тем людем дал есмь волю, куды им любо. А братье моеи, ни моеи княгине, те люди не надобны»[1]. Словом, по букве завещания как будто можно сделать вывод, что освобождаются все несвободные люди, работавшие в княжеском хозяйстве (как административный персонал, так и простые «деловые» люди; как дворовая челядь, так и холопы, исполнявшие сельские работы), все, независимо от того, как они попали в холопы (путем ли покупки, в результате ли совершенного преступления или благодаря женитьбе на несвободной). В то же время из текста видно, что при своей жизни князь сам покупал себе «людей». Почему же вдруг происходит полная ликвидация хозяйства, основанного на несвободном труде? Возникает известное недоверие к тексту рассмотренной духовной.

Если мы обратимся к духовным грамотам следующего московского князя, Ивана Ивановича, 1358 г., то увидим, что он (хотя и не буквально) повторяет ту же формулу относительно холопов, что и его предшественник: «А хто будеть моих казначеев, и тивунов, и посельских, или хто будеть моих дьяков, что будеть от мене ведали прибыток ли которыи, или хто будеть оу тых женился, те люди не надобни моим детям, ни моеи княгини, дал есмь им волю. Тако же хто будеть моих людии полных, купленых, грамотных, дал есмь им свободу, куды им любо. А детем моим не надобны, ни моеи княгини»[2].

Принимая без всякой критики изучаемый текст, мы должны сделать вывод, что за пять лет, прошедших после смерти брата, освободившего всю челядь, великий князь Иван Иванович снова различными путями обзавелся холопами разных категорий (от таких, которые заняли руководящее положение в системе его вотчинного управления, до сельских старост и простых оброчников и барщинников) и тут же завещал сыновьям освободить их после его смерти (как поступил в отношении своих людей его покойный брат). И снова встает вопрос: так ли надо понимать смысл завещания? Чтобы ответить на этот вопрос уверенно в том или ином смысле, рассмотрим остальные сохранившиеся завещания московских и удельных князей.

Распоряжения об отпуске на свободу холопов (в выражениях, близких к тем, которые были процитированы выше) повторяются в духовных грамотах великого князя Дмитрия Ивановича Донского

---

[1] ДДГ, стр. 14, № 3.
[2] Там же, стр. 17, 19, № 4.

около 1375 и 1389 гг. В духовной грамоте великого князя Василия Дмитриевича 1406—1407 гг. пункт об освобождении холопов сопровождается специальной оговоркой о том, что к вдове завещателя переходят те холопы, которых он передал ей (вместе с полными грамотами) при жизни. В двух последующих грамотах того же князя (1417 и 1423 гг.) имеются дополнительные указания его жене, чтобы она выделила по пяти семей холопов каждой из княжеских дочерей. Пункт о безоговорочном выходе на волю всех холопов находим в завещании вдовы удельного князя Владимира Андреевича серпуховского и боровского, Евпраксии, 1433 г. («а снохи мои и мои внук тех людеи по моем жывоте в холопи не ищут»,—добавляет завещательница). Великая княгиня Софья Витовтовна в 1451 г. пишет: «А что оу мене, оу великие княгини, колькое людеи моих ни есть, и болших, и менших, и яз их всех пожаловала, ослободила есмь их всех, по моем животе въси слободни». В духовной грамоте великого князя Василия II Васильевича Темного фигурирует традиционная для княжеских завещаний фраза о том, что его холопы (казначеи, дьяки, посельские, тиуны) после его смерти «не надобны» его «княгине» и детям. Дмитровский князь Юрий Васильевич в 1472 г. указал, чтобы его «люди», «ключники», «посельские» и «все приказные люди», которые от него «приказ ведали», получили свободу. В духовной грамоте волоцкого князя Бориса Васильевича 1477 г. перечислены семьи холопов, которых он передал своей жене, а в отношении остальных «людей» имеется стандартное указание: «и те все на слободу». По духовной грамоте вологодского князя Андрея Васильевича 1481 г. отпускаются на волю «люди полные, и кабальные, и приказные», по духовной грамоте верейского и белозерского князя Михаила Андреевича около 1486 г.—«люди приказные и страдные». Наконец, Иван III очень кратко воспроизводит в 1504 г. в своей духовной ту формулу, которую употребляли его отец, дед, прадед и более отдаленные предки: «А кто будеть моих казначеев, или кто будет моих дьяков прибытки мои от меня ведали, или тиуни, или поселские, или кто женился у тех, те все не надобе сыну моему Василью и моим детем, Юрью з братьею»[1].

Совершенно невозможно представить себе дело таким образом, что каждый князь отпускал на волю перед своей смертью всех холопов (ведь в большинстве духовных грамот вопрос ставится именно так, и лишь в некоторых из них делаются оговорки о передаче отдельных холопьих семей наследникам завещателей), а его преемник заново заводил весь административный персонал и всю дворню, с тем чтобы в конце своей жизни снова их распустить. Но нельзя в то же время игнорировать прямые указания источников на предсмертные распоряжения князей о судьбе их холопов. Я считаю,

[1] ДДГ, стр. 25, № 8; стр. 36, № 12; стр. 57, № 20; стр. 59, № 21; стр. 61, № 22; стр. 73, № 28; стр. 177, № 57; стр. 198, № 61; стр. 224, № 68; стр. 250—251, № 71; стр. 277, № 74; стр. 305, № 80; стр. 363, № 89.

что эти указания (приобретшие в известной мере стандартный характер) надо понимать в том смысле, что уже со второй половины XIV в. применительно к княжеским дворцовым землям вырабатывается общий статус о пожизненности холопства до смерти холоповладельца (тот статус, который в отношении кабальных людей был зафиксирован в указе 1597 г., явившемся законодательным обобщением реальной практики). Однако эта норма, определявшая положение холопов, вовсе не означала, что все холопы по смерти их владельца-князя действительно уходили на волю, так же как введенное с середины XVв. правило о Юрьеве дне как сроке крестьянского «отказа» не означало, что все владельческие крестьяне 26 ноября действительно покидали навсегда своих господ. Пункт духовных княжеских грамот о пожизненности холопства надо понимать в том смысле, что после смерти того или иного князя, согласно его завещанию, совершался пересмотр взаимоотношений между его несвободными «людьми» (юридически получавшими волю) и его наследниками. При этом многие из «людей» переходили на положение зависимости к наследникам своего умершего господина, т. е. по существу оставались в прежнем состоянии. В пользу правильности предложенной интерпретации положений духовных княжеских грамот о холопах говорит, по-моему, и то обстоятельство, что в случае желания обязательно оставить кого-то из своих людей жене, сыновьям, дочерям и т. д. князь делал об этом специальное распоряжение в своем завещании.

Чем было вызвано появление этих новых правовых норм, регулирующих взаимоотношения между холоповладельцами и зависимыми от них людьми? Прежде всего, конечно, экономическим развитием страны, расширением княжеского хозяйства, основанного на крестьянском труде. Потребность в труде холопов не исчезла (а, может быть, и возросла), но степень этой потребности зависела от наличия или отсутствия, достаточности или недостаточности в вотчинах крестьянских рук. Использование холопов на сельских работах применялось иногда более, иногда менее широко. Холопы составляли известный резерв рабочей силы для сельского хозяйства, к которому прибегали тогда, когда возникала нужда. И та условная пожизненность холопства, которую провозглашали духовные княжеские грамоты, давала возможность холоповладельцам через какие-то (правда, весьма неопределенные) сроки переводить часть холопьей дворни на положение крестьян и освобождаться от тех «людей» из числа дворовых слуг, которые становились ненужными. Иногда же холопы даже прикупались. Словом, пожизненность холопства должна была служить интересам «не страдников», не «деловых людей», а господствующего класса. Установление пожизненности холопства (до смерти господина) облегчало ряду холопов переход в крестьяне, с которыми они сливались в один разряд феодально зависимого населения, подвергавшегося дальнейшему закрепощению. Поэтому введение принципа пожизненности холопства означало не что иное, как путь к развитию крепо-

стничества, ибо способствовало тому, что бывшие холопы даже без выкупа становились зависимыми от землевладельцев крестьянами.

Если принять выдвинутую гипотезу, то, может быть, станет яснее и происхождение кабального холопства. Оно возникло, как мне представляется, на основе сочетания двух моментов: экономического и правового. В экономическом отношении на возникновение кабального холопства, как особой формы зависимости, повлияли распространившиеся в XV в. сделки с «серебром», которыми землевладельцы опутывали и крестьян и холопов. Если выкупившийся на волю холоп в рассрочку выплачивал господину цену, за которую ему была дарована свобода, и сохранял вплоть до уплаты полностью «головного серебра» свою зависимость от землевладельца, то по существу в аналогичное положение попадал должник, обязавшийся до возврата долга работать на кредитора (с зачетом этой работы за проценты с долговой суммы). А выработанный практикой (хотя бы в пределах княжеских имений) принцип пожизненности холопства (до смерти господина) создавал правовые основы для сделок с «серебром», породивших новый вид зависимости—по «служилой кабале».

Теперь необходимо коснуться вопроса о том, как складывались отношения холопьей зависимости не в великокняжеских и удельнокняжеских, а в боярских вотчинах. В данном случае мы не можем говорить о каком-то едином статусе, определявшем отношения холоповладельцев и холопов, но имеются все основания утверждать, что и духовными грамотами частных светских землевладельцев (так же как великих и удельных князей) регулировалось движение рабочей силы в сельском хозяйстве. Духовные грамоты светских феодалов не позволяют сделать вывод о массовом отпуске землевладельцами холопов на волю. Иногда действительно в завещаниях содержатся специальные пункты об освобождении «полных» или «купленых» «людей». Так, Семен Накваса сделал в 1476 г. распоряжение о предоставлении свободы одной «купленной» им семье, а также принадлежавшим ему «полным людям». «А что мои люди полные, холопи и робы, а те все по моем животе на слободу,—земля им на четыре части»,—читаем в упомянутой духовной[1].

Чаще по духовным грамотам лишь части холопов предоставлялась свобода, а часть их завещатель передавал своим наследникам[2]. При этом неосвобождаемые холопы перечислялись поименно, а об отпускаемых на волю говорилось глухо: «А что мои холопи и робы в сеи духовной не писаны, тех всех людей отпустил есми их на слободу, до тех людеи сыну моему... дела до них нет; а приказники мои тем людем дают свои грамоты отпустные»[3]. Князь И. Ю. Патрикеев в своей духовной грамоте 1499 г. после формулы «А людеи своих

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 513, № 474. См. также, т. I, стр. 378, № 499; стр. 380, № 501.

[2] АСЭИ, т. I, стр. 86, № 108; стр. 180, № 251; стр. 286, № 394; стр. 337—338, № 450; стр. 440—442, № 562; ДДГ, стр. 345—348, № 86.

[3] АСЭИ, т. I, стр. 524, № 612.

отпущаю на слободу...» сначала назвал ряд имен, а затем добавил: «А которые мои люди не писаны в сеи душевной грамоте, и те мои люди все на слободу и с женами и с детми»[1].

Наконец, иногда все люди завещателя переходили по духовной грамоте к его наследникам[2].

Большой интерес представляют для нас те случаи, когда «полные» холопы переводились духовными грамотами на положение пожизненных (до смерти холоповладельцев). Так, Мария Копнина в 1478 г. пишет в своем завещании: «А что мои люди—слуги и страдники, и те мои люди служат мне до моего живота; а после моего живота и они все на слободу»[3]. Следовательно, в вотчинах Марии Копниной установилось для холопов то же самое положение, которое сложилось с середины XIV в. и в великокняжеских имениях. В духовной некоего Андрея читаем: «А пожаловал есми Савку: послужить ему мне до моего живота, а по моем животе на слободу»[4].

Мы знаем случаи, когда «полное» холопство превращалось даже не в пожизненное, а просто во временное (ограниченное условным или точным сроком). В. В. Галицкий в 1433 г. отпустил своего холопа Федора Прибыткова на волю при условии, что он будет «служити» его жене до ее замужества: «а поидет моя жена замуж, и Федко не надобен моеи жене, ни моим детем»,—пишет завещатель[5].

Среди боярских «людей» некоторые находились на пути от полного холопства к зависимому крестьянству. Так, Василий Матвеев в духовной 1453 г. делает распоряжение об отпуске своих холопов на свободу с условием «отслужить» несколько лет его сыну: «...послужит моему сыну Василью пять лет, да пойдет на слободу», «...послужит моему сыну Василью восмь лет, да пойдет на слободу» и т. д. Вассиан Уваров в 1475 г. отпускает на волю своих «людей» при условии, что «послужат те люди моему сыну... год, а отслужив год, пойдут прочь свободны»[6]. Один из освобожденных Вассианом Уваровым холопов должен был дать за себя полтора рубля «откупа».

В церковных поучениях приводятся библейские тексты, также говорящие о временном, ограниченном сроком, холопстве, например: «...и в работу... придастся, идеже 14 лет пребыть служа»[7].

Как бы на глазах исследователя совершается замена «полного» холопства условным. А происходила эта замена таким образом, что создавались соответствующие предпосылки для развития крепостничества. Условные формы холопьих отношений были более эластичными в том смысле, что через них бывшие «полные» холопы

---

[1] ДДГ, стр. 345—349, № 86
[2] АСЭИ, т. I, стр. 162, № 228; стр. 182, № 253; стр. 358, № 472.
[3] Там же, стр. 344, № 457.
ГВНП, стр. 262, № 250.
[5] АСЭИ, т. I, стр. 86, № 108.
[6] Там же, стр. 182, № 253; стр. 338, № 450.
[7] РИБ, т. VI, стр. 268.

проникали в ряды крестьянства, подвергавшегося дальнейшему закрепощению.

Но юридически «полное» холопство сохранялось. В Судебнике 1497 г. имеется специальная статья «О полной грамоте» (ст. 66 по нумерации М. Ф. Владимирского-Буданова). И я думаю, что это обстоятельство получает вполне убедительное объяснение в свете предложенного выше понимания характера распоряжений великих и удельных князей, делаемых ими в своих завещаниях об отпуске на волю их холопов. Подобные распоряжения, как я указывал, означали не борьбу с «полным» холопством, а его регулирование в хозяйственных целях путем систематического пересмотра наличного состава челяди. Признание «полных» грамот крепостническим документом давало возможность землевладельцам использовать установленный княжескими духовными грамотами принцип пожизненности холопства (до смерти господина) в своих интересах, а не в интересах холопов. По мысли князей, подобный принцип означал не ликвидацию отношений холопьей зависимости после смерти каждого князя (как могли понимать и, вероятно, понимали этот порядок холопы), а своего рода периодическую перерегистрацию несвободных людей. В действительности свободным становился при перерегистрации лишь тот из «людей», на кого аннулировалась «полная» грамота и кто получал взамен последней «отпускную». Остальные или оставались в прежнем положении или переходили в разряд феодально зависимых крестьян и т. д.

В самом деле, почему составители Судебника 1497 г. решили еще раз напомнить о положениях Русской Правды касательно «полного» («обельного») холопства, несколько обновив эти положения? Почему потребовалось еще раз громко заявить о том, что «по полной грамоте холоп... по робе холоп, по холопу роба, приданой холоп, по духовной холоп»? Я думаю, потому, что статьи духовных княжеских грамот об отпуске по смерти князей на волю их «людей» «полных», «купленых», «грамотных» «или хто будеть у тых женился» вызывали различные понимание и реакцию со стороны разных социальных групп. Для феодалов—это была перерегистрация их «людей» как средство укрепления крепостничества, для холопов—одно из средств борьбы с крепостническим строем. Я особенно придаю значение фразе «а по духовной холоп», которую понимаю в том смысле, что сама по себе духовная грамота землевладельца не может стать для холопа документом, на основе которого он вправе требовать освобождения (ведь в завещаниях часто говорилось об отпуске на свободу холопов в общей форме, а не поименно). Чтобы «полный» холоп получил по суду освобождение, он должен был представить отпускную своего господина, написанную его собственной рукой и соответственным образом оформленную. Об этом говорит статья 17 Судебника и говорит не случайно, ибо согласно духовным завещаниям отпускные холопам давали и приказчики холоповладельцев, а часто холопы предъявляли, вероятно, в суд и поддельные отпускные.

Словом, Судебник 1497 г., по-моему, констатирует не изживание «полного» холопства, а стремится использовать сложившиеся юридические нормы данного вида зависимости в интересах господствующего класса феодалов, предоставляя им возможность применять труд холопов в той степени и в той форме, в какой этого требовало их хозяйство, развивающееся в условиях роста крепостничества.

Объяснения требует еще одно положение статьи 66 Судебника 1497 г.: «По тиуньству и по ключю по сельскому холоп з докладом и без докладу, и с женою и с детми, которые у одного государя; а которые его дети у иного или себе учнут жити, то не холопи, а по городцкому ключю не холоп». Итак, Судебник устанавливает, что вступление на работу в должность сельского ключника автоматически влечет за собою переход в состояние «полного» холопства, работа же в качестве городского ключника не делает человека несвободным. Какова логика этого закона? По княжеским духовным все ключники (и сельские и городские) обычно получали свободу (следовательно, одинаково считались несвободными). Теперь законодательство ставит в разные условия сельских и городских ключников. Признание несвободными первых, по-моему, могло быть вызвано борьбой государства с проявленной ими тенденцией воспользоваться статьей Судебника о праве крестьян «отказываться» от своих землевладельцев в Юрьев день осенний. Экономическое сближение крестьян и холопов давало основание последним считать применимыми к себе те законы, которые касались крестьянства. Землевладельцы же не желали допустить этого, испытывая нужду в опытной сельской администрации и стремясь удержать ее в своих имениях на тех началах, которые были выработаны в духовных княжеских грамотах (по крайней мере в течение жизни холоповладельца). Изменение в положении городских ключников, думаю, было связано с массовым роспуском московским правительством боярских послужильцев в конце XV в. в связи с объединением русских земель и подавлением московской великокняжеской властью боярской оппозиции. Бывшие послужильцы переходили в число государевых служилых людей, часто получавших поместья. Правительство начинает бороться с возвратом таких людей в холопство.

§ 11. Идеология крестьянства

При изучении вопроса об образовании Русского централизованного государства было бы очень важно поглубже ознакомиться с идеологией русского крестьянства, как такой социальной силы, которая играла первостепенную роль в общественном развитии того времени. К сожалению, у нас для этого почти нет источников. Лишь некоторые сведения о правовых и политических воззрениях крестьян можно почерпнуть из судных списков и правых грамот (актов судопроизводства) по земельным делам. Но они отражают

(и то далеко не полно) идеологию лишь одной (правда, значительной) части крестьянства—населения черных (государственных) земель. По правым грамотам в какой-то мере можно судить об отношении черных крестьян к земле, к представителям власти, к верховному носителю власти—великому князю. Их взгляды по этим вопросам (пусть недостаточно четко выраженные, расплывчатые, противоречивые) нельзя не учитывать при рассмотрении проблемы ликвидации политической раздробленности и складывания единого государства.

Черная земля рассматривается крестьянами как земля великокняжеская. Четыре термина (иногда все полностью, иногда выборочно) применяются черными крестьянами для обозначения правовых основ, на которых зиждется этот вид землевладения: 1) земля великого князя, 2) черная (т. е. нечастновладельческая), 3) тяглая (т. е. обложенная государевым тяглом), 4) волостная или становая (т. е. в административном отношении подчиненная представителям княжеской администрации, стоящим над выборными крестьянскими властями, а не вотчинным приказчикам). Так, на суде в 1485—1490 гг. староста Залесской волости Костромского уезда, Андрей, говорил про пустошь Кашино: «та, господине, пустошь Кашино—черная великого князя; а дал яз со крестьяны [т. е. я и другие волостные крестьяне передали ее во владение]... Лавроку да Торопцу...». В те же годы сотский Семен и крестьянин Степан Понафидин так отозвались о пустоши Тевликовской, находившейся в той же волости: «то, господине, земля волосная, тяглая, черная, Тевликовская». «...Земля Бураково—наша волостная, Залеская, черная, тяглая изстарины»[1],—заявил судье тот же Степан Понафидин. Подобные определения характера черного землевладения встречаются в правых грамотах очень часто.

Можно подумать, что взгляды черных крестьян в данном случае вполне совпадают с воззрениями самой великокняжеской власти, которая во всех официальных документах проводит точку зрения на черные земли как земли государственные. В действительности же эти взгляды в корне противоположны. В представлении великокняжеской власти государственная собственность на черные земли связана с вполне реальными правами: эта собственность предполагает право распоряжения ею, отчуждения, передачи земель (вместе с крестьянами) другим земельным собственникам. Черные же крестьяне мыслят свое подчинение великокняжеской власти, которой принадлежит обрабатываемая ими земельная площадь, прежде всего как гарантию того, что этой площадью не может распоряжаться никто, кроме них самих. Никто не имеет права на нее посягнуть, кроме выборных общинных административных органов. Черная земля как бы находится в вечном пользовании крестьян, на ней живущих, за это они платят государству дань и несут в его пользу другие повинности.

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 399, № 523; стр. 404, № 525; стр. 104, № 583.

В крестьянском сознании земля великокняжеская четко выделяется из числа земель, принадлежащих боярам или монастырям. Так, черные гороховецкие крестьяне, с которыми в конце XV в. затеяли тяжбу монахи гороховецкого Васильевского монастыря, отстаивая свои земельные права, в то же время не претендовали на монастырские владения: «А нам, господине,—говорили они судье,—... до того [селища] Жуковского и до Покровского и дела нет; то, господине, и мы знаем, что то земли монастырские Великого Василиа»[1].

Для черных крестьян утверждение, что земля—государева (т. е. не боярская, не монастырская), почти равносильно тому, что она—крестьянская (отсюда выражения—«земля наша», «волостная»). Что же лежит, по мнению самих крестьян, в основе их права владения черной землей? В 1475—1476 гг. черные крестьяне Фокинской деревни Дмитровского уезда, Михаль и Глазко, так аргументировали это право, отстаивая одну пожню, которую у них оспаривали власти Кириллова-Белозерского монастыря: «...та, господине, пожня наша Остафьевская Фокинской деревни великого князя земля тяглая, а отца нашего, господине, Ермолина и деда нашего Остафьевская, и после, господине, ... косили мы ж ту пожню Остафьевскую»[2]. Таким образом, черные крестьяне отводят претензии монастыря в отношении пожни доводами о том, 1) что она принадлежит к числу великокняжеских тяглых земель, 2) что ею владели и эксплуатировали ее своим трудом предки Михаля и Глазка (отец, дед), 3) что и они сами теперь вкладывают свой труд в обработку данной земли. Значит, в крестьянском представлении хотя земля, о которой идет речь, и является великокняжеской, но ее законные владельцы, у которых отнять ее нельзя, это—крестьяне. А такими владельцами они выступают, с одной стороны, в силу исторической традиции (отдельные земельные участки переходят «изстарины» по наследству в пределах тех или иных крестьянских семей); с другой стороны, в силу того, что возделывается-то земля трудом крестьянским; без крестьян она лежала бы бесплодной.

Собственно, те же самые рассуждения, конечно, были не чужды и частновладельческому крестьянству, тоже потомственно владевшему земельными наделами, полученными от собственников земли. Но черные крестьяне отделяли себя от боярских и монастырских и своеобразие своего положения видели именно в отношении к земле. В их сознании укрепилась мысль, что контролировать их права на землю может только великий князь (а от его лица этот контроль осуществляют свои же крестьянские власти), в то время как в частновладельческих вотчинах между крестьянами и великокняжеской властью появилось вполне реальное средостение в лице бояр, князей церкви и т. д., имеющих своих приказчиков. И они лишили крестьян их прежних прав. В 1462—1478 гг. черный крестьянин

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 523, № 483.
[2] Там же, стр. 151, № 229.

Шаблыка Исааков сын Андреев так сформулировал свое право на пашенную землю и луг Лжевский в Горетове стане Московского уезда, оспариваемые у него посельским Симонова монастыря: «Тот, господине, луг Лжевской и пашня земля черная великого князя моей деревни»[1]. Это—очень своеобразная (и, если угодно, противоречивая) формула, отражающая правосознание черного крестьянства. Шаблыка Андреев говорит здесь не просто о том, что он живет в деревне, построенной на великокняжеской земле, которой он пользуется. Шаблыка Андреев считает черную землю и деревню на ней своими, потому что они—великокняжеские и, следовательно, ими распоряжаются не бояре и монастырские приказчики, а крестьянская община, к которой он принадлежит. Крестьянское сознание не воспринимало и не могло воспринять всей сложности структуры феодальной собственности на землю, ее антагонистического характера и было склонно представлять себе идеальные порядки в пределах черных волостей в виде свободного общинного крестьянского землевладения, охраняемого великокняжеской властью от посягательств на него со стороны бояр и духовных корпораций. Отсюда—наивная (вопреки классовым интересам и стремлениям) вера в справедливость и доброжелательность к крестьянству (и прежде всего черному) со стороны великих князей.

Если для мировоззрения крестьянства характерно представление об исторической традиции как основе его прав на землю, то завладение боярами, монастырями и другими частными собственниками черной землей воспринимается как суровая быль. Сознание крестьян противопоставляет такой были старину, когда господствовали другие порядки. Воспроизвести ушедшую старину могут «старожильцы», память которых сохранила исчезнувшие отношения. Важно только найти таких старожильцев, опыт которых наиболее богат вследствие длительности их жизни. «Господине судья,—говорят черные крестьяне, доказывая свои права на землю,—есть у нас старожилци еще старее тех...», которые дают показания в пользу монастыря, завладевшего черной землей[2].

Представление о черносошных великокняжеских волостях как таких уголках, где крестьяне сами распоряжаются своими землями под верховным контролем государства, побуждает черных крестьян строго и точно установить пределы распространения подобных крестьянских прав. Определение границ между землями черными и частновладельческими—это, согласно крестьянским взглядам, дело самих черных крестьян, отмежевывающих принадлежащие им участки от чужих владений. Основанием для размежевания служат исторически сложившиеся земельные отношения с соседями, наглядно воплощаемые в виде каких-то «признаков»—примет, указывающих, где проходит земельная граница. Чрезвычайно интересным в этом отношении документом является «память» 1482 г.,

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 364, № 370.
[2] *Д. М. Мейчик*, указ. соч., № 254; ГКЭ, № 14752.

составленная от имени черных крестьян деревни Колкача Татаринова, Белозерского уезда. У них была «прюка о земле» с Кирилловым-Белозерским монастырем. Но затем указанные крестьяне, «меж собою поговоря и доложа» белозерским писцам, «...по излюбленном своем договоре», «ходили по старым признакам полюбовно», т. е. устанавливали на месте, где проходит межа, отделяющая их деревню от деревни Кириллова-Белозерского монастыря, и в конце концов восстановили эту межу[1].

Захватывая черные земли, бояре или монастырские приказчики стремились заручиться от органов власти соответствующими документами, легализовавшими их захваты. Эти документы предъявлялись на суде в том случае, если черные крестьяне возбуждали тяжбы о когда-то им принадлежавших и ныне утраченных владениях или сами захватчики добивались через суд утверждения своих новых приобретений. Что было делать крестьянам? Они воспринимали подобные документы как реальный факт, с которым им трудно было бороться и с которым они вынуждены были считаться. Но они продолжали отстаивать историческую традицию, как один из главных аргументов в системе доказательств своих прав на владение спорными земельными участками.

В 90-х годах XV в. черный крестьянин Семен Кожа обвинял крестьянина Симонова монастыря Василия Узкого в том, что он в течение одиннадцати лет пашет наездом великокняжескую землю—сельцо Сонинское, в Горетове стане, Московского уезда. Судья бросил Семену Коже упрек: «Почему жо ты Васку молчал, а пашот с тобою землю великого князя о межу». Семен Кожа возразил: «Яз, господине, не молчал, и сотцкому есми, господине, говорил, и сотцкои мне, господине, сказал, что у архимадрита у симоновского грамота»[2].

В 1503 г. староста черной Лоскомской волости Белозерского уезда Абросим Кузьмин судился с приказчиком Ивана Леонтьевича Злобина—Овсяником Ивановым, обвиняя его в том, что он незаконно выдает две черных деревни за владения, принадлежащие его господину, и проживает в них. На суде Абросим Кузьмин показал, что эти деревни присвоил себе лет 25 тому назад еще отец И. Л. Злобина. Судья задал вопрос: почему же черные крестьяне в течение такого длительного срока «о тех землях молчали?» Староста Абросим Кузьмин объяснил подобное молчание тем, что отец И. Л. Злобина «на те деревни сказывал грамоты жаловалные, да грамот нам не показывал»[3].

В конце XV в. старцы Симонова монастыря ставили в вину черным крестьянам Долгой слободки на Белоозере, что они «отнимают» (т. е. присваивают) три монастырские деревни. На суде выяснилось, что названные деревни принадлежали ранее к числу черных, но белозерский князь Михаил Андреевич пожаловал их

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 172—173, № 260.
[2] Там же, стр. 415, № 404.
[3] Там же, стр. 263—265, № 307.

в Симонов монастырь. В течение одиннадцати лет деревни находились во владении монастыря, хотя черные крестьяне продолжали считать их своими. Судья, допрашивая крестьян, поинтересовался: «О чем же паки есте им столь долго молчали?» Слободской староста Никита ответил за всех крестьян: монахи «сказали нам, господине, у себя на те деревни грамоту жаловалную, и мы им, господине, потому молчали»[1]. Но, считая княжескую грамоту таким документом, которому трудно сопротивляться, крестьяне тем не менее не мирятся с самим фактом, этим документом признанным (с переходом черной земли в собственность монастыря). Они, с одной стороны, добиваются восстановления своих прав в Москве, у великого князя, с другой—реализуют эти права силой, путем приложения своего труда к земле, у них отнятой, путем ее обработки. Об этом ярко свидетельствует разбираемая правая грамота по делу крестьян Долгой слободки. Когда монастырские старцы послали недельщика за слободским старостой, прибегавшим, по их словам, к «силе» для доказательства принадлежности спорных деревень к числу черных земель, недельщик «не наехал» старосту, но позднее старцы задержали его и «выдали за... неделщика»[2].

Итак, от отстаивания по суду требований о возврате в состав тяглых великокняжеских волостных владений земельных участков, отторгнутых оттуда и документально закрепленных за собою светскими и духовными феодалами, черные крестьяне переходят к другим формам борьбы за утраченные участки, уже вне легальных рамок феодального права. Борьба крестьян за землю с феодалами—это классовая борьба. Но, ведя ее, черные крестьяне в данном случае апеллируют к имени великого князя, ибо речь идет о землях государственных, которые черное крестьянство одновременно расценивает как свои (великокняжеской властью охраняемые от всевозможных посягательств со стороны частных вотчинников). Лишь в силу неразвитости классового самосознания и примитивности политической идеологии крестьянства (в данном случае—черного) его антифеодальные выступления происходили под наивно монархическими лозунгами. При этом создавалась иллюзия, что охрана великими князьями черного землевладения послужит делу защиты свободной крестьянской (общинной и индивидуальной) собственности, а не укреплению земельной собственности феодального государства (как было на самом деле). Но на этой иллюзии держалась в значительной мере популярность великокняжеского имени в среде черносошного крестьянства. Великокняжеская власть в своей политике использовала подобные монархические настроения, опираясь, например, на поддержку крестьян при подавлении оппозиции со стороны части бояр отдельных феодальных центров делу государственной централизации. Так антифеодальная (антибоярская, антимонастырская) борьба крестьянства объективно содействовала

[1] АСЭИ, т. II,стр. 449, № 416.
[2] Там же, стр. 448, № 416.

процессу образования централизованного государства, процессу, конечным итогом которого было дальнейшее развитие крепостнических отношений. Достаточно сказать, что черные земли, отстаиваемые крестьянами (по суду и без суда), как земли великокняжеские и в то же время волостные крестьянские, от расхвата по кусочкам частными землевладельцами, послужили в период возникновения централизованного государства мощным резервом для распространения поместной системы, с которой тесно связано и расширение и углубление крепостничества.

Из правых грамот и судных списков можно почерпнуть интересный материал для характеристики политической идеологии черного крестьянства.

Защищая черные земли от поползновений отдельных феодалов эти земли присвоить, крестьяне упорно верят, что стоит добиться личного участия в их деле великого князя, и он обеспечит им настоящую управу в отношении захватчиков. Так, около 1463 г. судья Яков Шацевальцев разбирал спорное дело между «числяками» Ефремом и другими и братьей Симонова монастыря о владении землями Власовской и Левиной в Московском уезде. «Числяки» уверяли, что «люди монастырские силою, неведомо почему», пашут эти земли в течение примерно пятнадцати лет. Судья спросил «числяков»: «от тех пак мест и до сех мест в ти пятнадцать лет о чем есте им молчали, а с ними живучи в одном месте о межу?» «Числяки» отвечали, что они «не молчали», а, напротив, как только старцы Симонова монастыря, привлекши своих крестьян, стали спорные земли «пахати силою», они «били челом на них» великому князю Василию II. По челобитью «числяков» князь послал разобрать их жалобу Михаила Карпова. Последний «на ту землю взъезжал» и обещал довести до сведения великого князя об итогах расследования. Однако он не только не выполнил своего обещания, но, напротив, намеренно тянул с вынесением решения по челобитью «числяков», действуя в интересах монахов, и так и не завершил разбирательства. «И Михайло, господине,—говорили «числяки» судье,— .. ялся... сказати великому князю, да великому князю не сказал, а нами волочил, а им [монахам] норовил, а нам не учинил ничего». «Числяки» вторично обратились с челобитьем к великому князю. Тот на этот раз поручил разбор их дела другому лицу—Г. В. Морозову. Но повторилась прежняя история. «И Григорей, господине, также на ту землю взъезжал, да потому ж нас перед великим князем не поставил, а исправы нам не учинил»,—жаловались «числяки»[1].

Итак, в том, что пострадали «числяки», виноват не великий князь, виноваты его приказные люди, поступавшие в угоду монастырским властям и не выполнившие княжеского поручения добросовестно разобрать дело «числяков»,—такой вывод готовы сделать последние.

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 368—370, № 374.

К аналогичному выводу пришли черные крестьяне Мишутинской волости, Переяславского уезда, судившиеся около 1492—1494 гг. о своих селищах со старцем Троице-Сергиева монастыря Маркелом. Когда судья стал допытываться у старожильцев Мишутинской волости: «Почему же вы до сих мест монастырским молчали?», они возразили: «Бивали, есмя, господине, челом великому князю не одинова, и князь великий так молвил: Как поедет мой писец Переславля писати, и вы ему укажите мои земли, и он мне скажет,—и писец в Переславле давно не бывал»[1].

В 1497—1498 гг. судья К. Г. Заболотский слушал дело по тяжбе крестьян черной деревни Печенкиной—Назара Сенькина с товарищами и посельского Симонова монастыря старца Игнатия Травина. Назар Сенькин и другие обвиняли монахов Симонова монастыря в том, что они захватили два черных селища—Чевыревское и Кермединовское в то время, когда эти селения «запустели от великого поветрия», и завели там пашню силами монастырских крестьян. Судья задал истцам стандартный вопрос: «Бивали ли есте челом о той земле государю великому князю, что у вас ту землю пашет симановский поселской своими хрестьяне сильно, наездом?» Черные крестьяне дали судье утвердительный ответ: они «били челом» великому князю, и тот выделил для рассмотрения их жалобы судью—коломенского наместника Федора Давыдовича, но последний действовал на суде пристрастно и, взяв «посул» у монастырских властей (шубу кунью и 15 рублей деньгами), спорную «землю присудил х... селом Симановского монастыря...». Когда судья К. Г. Заболотский поинтересовался, почему же черные крестьяне не возобновили иска, они нарисовали мрачную картину продажности коломенских наместников и недоступности великокняжеской власти. «Доступити нам, господине, великого князя не мощно; а наместником есмя, господине, коломенским о том бивали челом неодинова, и они, господине, нас о той земле с старцы не управливают, норовят, господине, старцом симановским»[2].

И в данном случае лейтмотивом крестьянских сетований является указание на то, что великий князь отделен от народа плотной стеной административного аппарата, в составе которого орудуют его бояре, пробить же эту стену крестьянскими усилиями невозможно. Крестьяне не в состоянии осознать, что та государственная система, которую они (в лице ее реальных представителей) осуждают, является опорой великокняжеской власти, что великокняжеская власть действует через эту систему. Совершенно отчетливо крестьяне представляют себе тесную связь между княжеской администрацией и крупными вотчинниками. Но их политическое сознание не воспринимает того, что великокняжеская власть охраняет интересы феодальной собственности даже тогда, когда по тяжбам черных крестьян с монастырями выносит решения в пользу

[1] АСЭИ, т. I, стр. 452, № 571.
[2] АСЭИ, т. II, стр. 443—446, № 414.

первых. Правда, в приведенных выше выдержках из крестьянских заявлений на суде можно, пожалуй, уловить еще очень смутно вырисовывающуюся мысль: а нет ли вины и самого великого князя в том, что до него не доходят крестьянские жалобы?

В правых грамотах и судных списках имеется много примеров того, как черные крестьяне ищут «правды» у великого князя по своим земельным нуждам, и им кажется, что они этой правды не находят лишь потому, что наталкиваются на препятствие в лице исполнителей великокняжеской воли—бояр, слуг. Последние прислушиваются к голосу не крестьян, а крупных землевладельцев.

В 1504 г. во время разбора земельной тяжбы между старостой Луковского погоста Белозерского уезда Иваном Павловым и крестьянином Василием Захаровым, с одной стороны, и митрополичьим приказчиком Чеботаем—с другой (спор шел о наволоке), судьи указали истцам на то, что они слишком долго не возбуждали судебного дела. Иван Павлов и Василий Захаров отвели от себя этот упрек. Они рассказали о том, как неоднократно пытались добиться от великого князя посылки разъездщика, который на месте установил бы границы спорной земли («...не молчали есмя, господине, били есмя челом государю великому князю неодинова...»). Благодаря политическому влиянию митрополита, приказчики которого завладели крестьянским наволоком, великокняжеские предписания о «разъезде» (размежевании) черных владений от митрополичьих не выполнялись («... и князь великий, господине, кому не прикажет дати нам в том наволоке розъездщика, и они, господине, переводят, а розъезщика нам не дадут, митрополита для...»). В конце концов крестьяне отчаялись получить управу по их делу со стороны великого князя («... и мы не могли государя доступити...»). Столь же тщетно обращались они к княжескому писцу, приезжавшему для описания земель («...а коли, господине, писал Пошехонье Яков Кочергин, и мы, господине, Якову били челом, и Яков нам управы же не учинил»)[1].

В заявлениях черных крестьян часто звучит мысль о том, что судебные органы являются орудием, используемым в собственных интересах могущественными землевладельцами—духовными и светскими. Около 1474—1475 гг. происходил суд по спорному земельному делу между сотником черной Мишутинской волости Переяславского уезда Малыгою и келарем Троице-Сергиева монастыря. По словам Малыги, монастырские крестьяне в течение последних семи лет пахали селище Кровопусковское, принадлежащее к составу волостных черных земель. Судья поставил обычный в подобных случаях вопрос: почему же черные мишутинские крестьяне до сих пор не обратились по этому делу с жалобой к монастырским властям. Малыга ответил, что жалобы со стороны черных крестьян были, но их результатом явилось лишь то, что монастырский келарь жалобщиков же привлек к ответу через великокняжеского пристава:

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 256, № 306.

«...Господине, извечивали есмя им, ини, господине, изветов не рядят. А нынече, господине, про наш извет и келарь по нас жо послал пристава»[1].

Убежденные в продажности судей и во всесилии земельных магнатов, могущих направить решение суда в нужную для них сторону и даже фальсифицировать документацию судопроизводства, черные крестьяне прибегают в качестве одной из форм борьбы за свои земли к опорочиванию судебных приговоров, утверждающих переход черных земель в разряд частновладельческих. В 1504 г. судья Андрей Хвостов производил судебное разбирательство по земельному спору между властями Калязина монастыря и черными крестьянами Артемом Вострым с товарищами. Результаты этого разбирательства он доложил кашинскому князю Юрию Ивановичу. Когда последний, «выслушав» судный список, велел обеим тяжущимся сторонам высказаться по поводу его правильности, то монастырский старец ответил, «что ему суд таков был, как в сем списку писано», а ответчики (черные крестьяне), напротив, утверждали, что «им суд был не таков, как в сем списку писано»[2].

В 1505 г. крестьянин черной деревни Михайловской Белозерского уезда Митя Климов пожаловался в суд на старцев Кириллова-Белозерского монастыря, которые в течение пятнадцати лет незаконно эксплуатировали его пожню. Он указал при этом, что его дело уже разбиралось на суде, было перенесено в Москву на доклад к князю Д. А. Пенкову, который и признал его правым. Но судьи,—говорил Митя Климов,—«у старцов посулы поимали, а нам, господине, конца не доспели»[3].

Достаточно ясно отдавая себе отчет в том, что судьи выполняют волю крупных и могущественных земельных собственников, черные крестьяне в соответствии с их общим монархическим мировоззрением наивно в то же время верят, что подобные действия судебных органов возможны лишь вследствие их бесконтрольности. Если довести о поведении судей до сведения великого князя, то можно якобы найти управу и на судей. Поэтому довольно частым явлением была отправка крестьянских ходоков в поисках «правды» в Москву. В 1495—1499 гг. разбиралась тяжба между попом Покровского монастыря Григорием и крестьянами Михайловского стана Переяславского уезда Родюкою Онфуковым и Нестериком Дешевкиным. Поп обвинял крестьян в том, что они «поставили... сее весны» на монастырской земле «на поле, на ржи и на яри» избу и клеть «сильно», покосили пожни, «а досталь... пожен потравили». Родюка Онфуков и Нестерик Дешевкин не отрицали того, что они действительно возвели постройки на указанной попом земле, посеяли там хлеб и скосили сено. Они только настаивали на том, что земля эта не принадлежит монастырю, а является великокняжеской и полу-

[1] АСЭИ, т. I, стр. 320, № 430.
[2] ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 29, л. 39—39 об.
[3] АСЭИ, т. II, стр. 266—268, № 309.

чена ими в пользование от становых властей: «Дали нам, господине, ту землю становичи Михайловского стану и грамоту нам, господине, на ту землю дали. А та, господине, земля—становая, Михайловского стану, а не монастырская». Но грамоту, на которую ссылались крестьяне, они согласились показать только в Москве, если их вызовут на великокняжеский суд: «а перед тобою грамоты не положим», говорили они местному судье, «а положим, господине, ту грамоту на Москве перед великим князем». В то же время оба крестьянина заявили, что они и впредь будут пользоваться своим земельным участком: «А те, господине, пожни косили мы, да и травили, да и досталь нам, господине, тое деревни пожни косити». В Москве дело слушал князь В. И. Патрикеев. Но Родюка Онфуков и Нестерик Дешевкин и ему не предъявили грамоты, удостоверявшей их права на землю, о которой шла тяжба. И дело было решено не в их пользу[1].

Довольно активно держался в 1495—1499 гг. на суде крестьянин Степан Дорога Якушев, обвиняемый старцем Троице-Сергиева монастыря Ефремом в том, что он завладел монастырскою землею в Московском уезде. Он утверждал, что земля, на которой ведется его хозяйство,—великокняжеская и дана ему в оброчное держание «по слову» князя Ивана III. В подтверждение своих слов Степан Дорога представил список с великокняжеской жалованной оброчной грамоты 1489—1490 гг. Но когда судья заметил ему: «То передо мною кладешь список, а грамота где?»—крестьянин ответил, что подлинный документ он предъявит только самому великому князю: «Грамота, господине, моя... во Тфери; а положу ее, господине, перед великим князем, а перед тобою ее не положу». Судья перенес дело в суд высшей инстанции в Москву, где обеим сторонам был задан, как обычно, вопрос: «Был ли вам таков суд, как в сем списку писано?» Степан Дорога отказался признать правильным судный список, в котором излагалась его тяжба с Ефремом, и сослался, в обоснование причин отвода судного списка как документального свидетельства, на «судных мужей». До дальнейшего расследования недельщик отдал Степана Дорогу на поруки, но он вместе со своим поручителями убежал: «... список судной оболживил, и послался на судные мужи, да от срока с Москвы збежал и с поручники...»[2].

Итак, крестьяне упорны в своей борьбе за землю. В процессе этой борьбы хотя еще и слабо, но формируются элементы их классового сознания. Крестьяне понимают, что их противниками в борьбе за земельные владения являются бояре, церковные иерархи и духовные корпорации. Они понимают, что, обладая большим политическим весом и материальными богатствами, эти сильные противники находят поддержку со стороны органов государственной власти, что они легко могут подкупить суд и заставить его действовать так, как они хотят. Все эти представления, до которых доходило

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 460—463, № 582.
[2] Там же, стр. 490—494, № 595.

уже крестьянство, призывали его к выступлению против феодального строя. Это были прогрессивные элементы крестьянской идеологии. Но в мышлении крестьян было много и того консервативного, что отвлекало их от борьбы. Над крупными земельными собственниками, думают крестьяне, стоит великий князь. Ему принадлежит верховное право распоряжения землей вообще и прежде всего черной, на которой живет крестьянство, не подчиняющееся каким-либо иным земельным собственникам. К кому же еще обратиться за управой в случае захвата черных земель вотчинниками, как не к великому князю? Кто же другой может призвать к порядку и захватчиков, и их пособников из числа княжеских приказных людей и судей? Таков, очевидно, примерно был ход мыслей, заставлявший черных крестьян последовательно и упорно добиваться именно великокняжеского суда по своим земельным тяжбам. Такая политическая идеология вырастала на основе отношения черных крестьян к земле, которая им представлялась как своя, волостная, поскольку они непосредственно не воспринимали своей зависимости от государства как зависимости феодальной (хотя она была именно такой). Подобная идеология была в конечном счете консервативной, так как она вызывала неверное восприятие существующих социально-политических отношений (рассматривавшихся как нечто противоречащее устремлениям великокняжеской власти), опутывала крестьянское сознание несбыточными иллюзиями и отводила антифеодальные выступления крестьянства в легальное русло обращения с жалобами к великому князю. Но в то же время на определенном этапе социально-политической истории Руси рассматриваемая идеология крестьянства явилась одним из моментов, содействовавших великокняжеской власти в ее политике, направленной к объединению Руси и борьбе с феодальным сепаратизмом.

Ввиду надежды на то, что великий князь должен обеспечить защиту от притеснений сильных людей, черные крестьяне рассматривают переход тех или иных территорий под власть московских князей как факт положительный. Этот переход, думают черные крестьяне, должен им помочь добиться от великокняжеской власти удовлетворения своих нужд. Так, около 1484—1490 гг. разбиралось спорное дело между братьей суздальского Спасо-Евфимьева монастыря и черными крестьянами волости Нелши о владении несколькими селищами. Черные крестьяне указывали, что монастырь незаконно присвоил эти селища. Когда же судья спросил их, почему они раньше не обратились в суд, крестьяне ответили, что волость Нелша в течение семнадцати лет принадлежала литовскому князю Судиманту и он за них «не стоял», а поэтому они «тех земель не искали». «А нынеча ся, господине, Нелша достала за великого князя,— говорили крестьяне судье,—и мы, господине, тех селищ ищом»[1].

Постепенное изживание монархических иллюзий, веры в великокняжескую «правду»—показатель того, что крестьянская идео-

[1] АСЭИ, т. II, стр. 518—520, № 481.

логия переживает новый этап. В XIV—XVI вв., когда великокняжеская власть на Руси имела действительно прогрессивное значение, среди крестьян еще полностью сохранялась вера в доброго князя. Но отдельные претензии со стороны черных крестьян к великим князьям уже появляются. Уже звучат нотки их осуждения. Так, около 1501/02 г. разбиралось дело по иску черных крестьян Минского стана Костромского уезда Фрола Токарева и Копоса Булгакова к посельскому митрополичьей кафедры о захваченных им черных пустошах. Поскольку, по словам истцов, захват произошел уже давно, судья спросил их: «вы кажете, что то земли великого князя, о чем вы до сих мест молчали?» Ф. Токарев и К. Булгаков довольно безнадежно ответили: «били челом есмя, господине, великому князю о тех землях многажды, и князь великий не слушает, государя не мочно доступити, и мы, господине, нынеча перед вами ищем»[1]. В выражениях «государя не мочно доступити» и «князь великий не слушает» отражено различное отношение к носителю верховной власти. В первом случае, возможно, имеется в виду, что он недоступен благодаря своим боярам, не пропускающим к нему народ. Во втором случае великого князя обвиняют в том, что он сам не хочет прислушаться к голосу крестьян.

Надо обратить внимание еще на один момент, показательный для отношения черных крестьян к земле,—на коллективный характер владения и распоряжения ею. Великокняжеской черной землей распоряжается крестьянская община, хотя отдельными дворовыми и пашенными земельными участками наследственно владеют те или иные крестьянские семьи. Поэтому судьи, разбиравшие около 1496—1505 гг. дело по иску черного крестьянина Белозерского уезда Нефеда Занина к Кириллову-Белозерскому монастырю, были очень удивлены, что указанный крестьянин ищет «один... на себя», а «не во всех християн место Чюровские волости»[2]. Обычно черные крестьяне коллективно отстаивали свои земли от расхищения и на суде выступали представителями крестьянской общины. Роль общины как средства совместного сопротивления крестьян феодалам проявлялась заметно и активно.

§ 12. Классовая борьба в деревне

Рассматривая предпосылки образования Русского централизованного государства в XIV—XV вв., необходимо уделить должное внимание развитию классовой борьбы. Последняя являлась фактором, заставлявшим господствующий класс искать новых форм организации государственного аппарата, которые в большей мере (чем государственные органы периода политической раздробленности) обеспечили бы ему возможность держать в подчинении народные

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 223, № 258.
[2] АСЭИ, т. II, стр. 254, № 296.

массы. Классовая борьба пронизывает всю историю Русского централизованного государства, в силу чего ей уже было и будет в дальнейшем уделено должное место в соответствующих разделах книги, посвященных социально-экономической и политической истории Руси XIV—XV вв. Здесь же я хочу лишь наметить основные виды борьбы крестьян против господствующего класса[1].

Формы классовой борьбы были разнообразны. Попытки холопов и крестьян законным образом, путем апелляции в суд, добиться удовлетворения своих претензий к господам обычно были обречены на неудачу. Феодальное право стояло на страже интересов господствующего класса. В договорах Василия I с великим князем тверским Михаилом Александровичем (около 1396 г.) или Василия II с великим тверским князем (около 1456 г.) читаем: «А кто холоп или роба имется тягати с осподарем и пошлется на правду, а не будет по них поруки, ино их обинити»[2]. В договорной грамоте Новгорода с московским великим князем Василием II содержится аналогичный пункт: «А холоп или роба имет на господу вадити, тому вам веры не няти»[3]. В более позднем договоре Новгорода с Казимиром IV 1470—1471 гг. наряду с холопом упомянут смерд: «А холоп, или роба, или смерд почнет на осподу вадити, а тому ти, честны король, веры не няти»[4].

Лишенные возможности отстоять свои права по суду, холопы выражали социальный протест путем побегов от своих владельцев. Побеги холопов сопровождались иногда хищениями ими у господ и порчей крепостных документов. Так, в 1485—1490 гг. на суде один из вотчинников—И. А. Носов, которому было предложено подтвердить документами свое право собственности на спорную землю, заявил судье: «Во се, господине, у меня на ту мою землю, дедину и вотчину, были грамоты духовные и купчие деда моего и отца моего, да холоп их, господине, пократчи, да попортил у них печяти»[5].

Крестьяне формально пользовались правом ухода от землевладельцев, но это право было ограничено, как я указывал, введением института старожильства. Примерно с середины XV в. феодальное государство фактически начинает расценивать переход крестьян из одного владения в другое как побег. Такое отношение органов власти к уходам крестьян было в значительной мере вызвано массовым запустением вотчин в период феодальной войны второй четверти XV в., когда обострилась борьба в лагере господствующего класса за землю и за крестьян.

---

[1] Этого вопроса касается В. В. Мавродин в статье: «К вопросу о роли классовой борьбы в истории феодализма в России» («Вестник Ленинградского университета», 1950, № 2, стр. 76—90).

[2] ДДГ, стр. 42, № 15; стр. 188, № 59.

[3] ГВНП, стр. 40, № 22.

[4] Там же, стр. 132, № 77.

[5] АСЭИ, т. I, стр. 396, № 521.

Документы, относящиеся к середине XV в., когда феодальная война уже закончилась, отмечают, что некоторые феодальные владения «опустели», «люди деи из них разошлись по иным местом», и «живущих деи людеи осталося мало». Одну из причин, заставлявших крестьян сниматься с тех мест, где они жили, и уходить, грамоты видят в непосильном податном гнете («... от потугов не по силе»)[1].

Когда в качестве срока легального «отказа» сельского населения от землевладельцев государство стало вводить Юрьев день осенний (26 ноября), крестьяне начали нарушать этот срок и покидать вотчины феодалов в неурочное время. Органы великокняжеской власти (как об этом уже говорилось в другой связи) оказывали содействие землевладельцам в борьбе с крестьянскими выходами не в Юрьев день. Так, в грамоте Ивана III в Ярославль боярину и наместнику князю И. В. Оболенскому 60-х годов XV в. было сказано, что великий князь «не велел» «отпущати» крестьян, уходящих не в урочное время из сел Троице-Сергиева монастыря и приказал силой возвращать тех, кто не будет слушаться («А хотя хто у них и откажется не о Юрьеве дни, и яз им того вывести велел назад»)[2]. В 1467—1473 гг. от имени великого князя Ивана III была отправлена окружная грамота в Суздаль, в Юрьев и в села и слободы, расположенные в уездах названных городов, с извещением о посылке специально пристава для розыска и возврата крестьян, ушедших из владений Троице-Сергиева монастыря с нарушением правила о Юрьеве дне осеннем («...вышли хрестьяне сее зимы о Зборе»). Княжеская администрация должна была оказывать содействие приставу в поимке крестьян и в водворении их на прежние места жительства («и где пристав мои их наедет.., и пристав мои тех их хрестьян монастырьских опять выведет вь их села... да посадит по их старым местом...»)[3].

Итак с середины, примерно, XV в. феодальное право постепенно начинает квалифицировать уходы крестьян от своих землевладельцев как побеги. Крестьянские выходы из феодальных имений все более приобретают характер социального протеста.

Протест зависимого сельского населения вызывало и увеличение феодальных повинностей. Одной из форм классовой борьбы была борьба за фиксированную (на основе старинного вотчинного права) ренту. Так, в 1391 г. крестьяне («сироты») митрополичьего Царевоконстантиновского монастыря жаловались митрополиту Киприану на игумена Ефрема, который произвольно повысил норму оброка и барщины: «наряжает нам, господине, дело не по пошлине, чего, господине, при первых игуменех не бывало; пошлины, господине, у нас емлет, чего иные игумены не имали». По жалобе крестьян митрополитом было произведено расследование, выяснен характер той «пошлины», на которую ссылались «сироты», а затем от имени

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 129—130, № 145.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 245, № 338.
[3] Там же, стр. 263, № 359.

митрополита Киприана была составлена грамота с перечислением крестьянских повинностей как основа дальнейших взаимоотношений между игуменом Царевоконстантиновского монастыря и сельским населением монастырских вотчин. Уставная грамота митрополита Киприана 1391 г.—документ, порожденный классовой борьбой крестьянства[1].

Середина и конец XV в.—это время, когда борьба крестьян против феодальной эксплуатации приобретает особенно острый характер. С другой стороны, централизация аппарата власти, достигшая уже к этому времени значительных результатов, обеспечивала феодалам средства защиты их привилегий. Окончив в середине XV в. феодальную войну, господствующий класс сплотил свои силы для подавления выступлений крестьян.

В результате развития классовых противоречий в феодальной деревне на почве повышения размеров взимаемой с крестьян феодальной ренты в середине XV в. появилась «рядная» грамота крестьян Робичинской волости с новгородским Юрьевым монастырем, фиксирующая крестьянские повинности. Грамота предусматривала возможность сопротивления крестьян, которые «не почнут... управливатися в тех успах [натуральные повинности хлебом] и в тех пошлинах»[2]. В случае «неуправы» «христьян робичичан» монастырские власти могли рассчитывать («по старым по княжим грамотам и по новгороцким») на содействие со стороны князя и боярского руководства Новгородской феодальной республики. Следовательно, «рядная» по форме грамота представляла собой по существу документ, являвшийся в руках феодалов орудием борьбы с крестьянством.

Для конца XV—начала XVI в. также известны случаи отказов крестьян в связи с увеличением феодальной ренты выполнять повинности в том объеме, в каком этого требовали землевладельцы, Так, например, заслуживает внимания поведение крестьян в вотчинах владимирского Царевоконстантиновского монастыря. Монастырские власти обратились к высшему представителю церковной иерархии—митрополиту Симону с просьбой принудить крестьян, которые «монастырские деи пашут пашни мало», исполнять барщинные работы в увеличенном размере[3].

В вотчинах владимирского Сновидского монастыря в то же время отмечены случаи неповиновения монастырских серебреников духовным феодалам. Серебреники отказывались уплачивать монастырю «ростовое серебро» («...иные де хрестиане ростов не платят»). По распоряжению митрополита Симона в монастырские владения был направлен специальный агент, который должен был произвести «обыск» про «серебрецо церковное на людех» и составить опись должников, «на ком что будет церковнаго серебра»[4].

---

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 179—180, № 201.
[2] ГВНП, стр. 174, № 115.
[3] АФЗХ, ч. 1, стр. 182, № 205.
[4] Там же, стр. 173—174, № 192.

Крестьяне уклонялись и от выполнения государственных повинностей. Из жалованной грамоты Василия II игумену Троице-Сергиева монастыря Вассиану 1455—1462 гг. (которую я выше привлекал в другой связи) видно, что крестьяне монастырских вотчин, расположенных в Угличском уезде, не желая выполнять по предписанию монастырских властей сторожевую военную службу по охране речных бродов, через которые совершались татарские нападения («не хотя ехати на мою службу, великого князя, к берегу»), перешли в великокняжеские и боярские села. Игумену Вассиану и монастырской братии было предоставлено великим князем право обратного вывода разошедшегося сельского населения («...велел есмь те люди вывести опять назад»). Монастырь получил также разрешение от московского князя не допускать в дальнейшем «отказов» со стороны крестьян, которые в момент выдачи грамоты проживали в монастырских вотчинах: «а которые люди живут в их селех нынеча, и яз, князь великий, тех людеи не велел пущати прочь»[1]. Для возвращения крестьян, не пожелавших нести береговую службу и в силу этого покинувших монастырские села, монастырский посельский мог обратиться к угличскому наместнику. Рассмотренный документ интересен тем, что ставит запрещение крестьянских переходов в тесную связь с нежеланием крестьян выполнять повинности, т. е. с проявлением социального протеста.

Кроме побегов и отказа от повинностей, крестьяне и холопы прибегали и к таким формам классовой борьбы, которые квалифицировались феодалами как «душегубство», «татьба», «разбой». Это были стихийные выступления зависимого населения против господствующего класса (убийства землевладельцев и холоповладельцев и их слуг), покушения на феодальную собственность, поджоги феодальных владений и т. д.

До нас дошел ряд сведений об убийстве холопами своих владельцев. В Новгородской летописи под 1316 г. говорится о том, что Данила Писцов «убьен бысть на рли от своего холопа»[2].

В 1382 г. митрополичий сын боярский Федор Тимофеевич Валуев «убиен бысть от своего раба лукаваго»[3]. В начале XV в. одна землевладелица Федосья Филиппова говорила митрополиту Фотию: «Муж мой, господине, Филипп мертв напрасною смертию, холопи его убили»[4]. Холопами был убит Федор Шолохов Чертов[5].

Некоторое отражение классовый антагонизм между господами и холопами нашел в повести о «благочестивом рабе», известной в списке XV в. Жена вельможи, которую недавно купленный раб уличил в измене мужу, возненавидела его и решила уничтожить. В этих целях она ложно обвинила раба в покушении на жизнь ее

[1] АСЭИ, т. I, стр. 192, № 265.
[2] НПЛ, стр. 95.
[3] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 147.
[4] АИ, т. I, стр. 484, № 255.
[5] ПСРЛ, т. XI, стр. 81.

мужа. В повести приведены слова неверной жены, обращенные к своему супругу: «сий новокупленый раб несть добр, о главе твоей мыслит», лучше «его убити, нежели он тебе, моего живота, убьеть»[1]. Ясно, что в повести выявились напряженные отношения холопов к их господам, приводившие к случаям, когда первые предавали последних смерти.

Различные формы принимали разбои. Иногда «разбойники» (беглые холопы, крестьяне) нападали на землевладельцев и отнимали у них крепостные документы. Так, в жалованной грамоте великого князя тверского Михаила Борисовича Ефиму Добрыне 1461—1486 гг. говорится, что перешедшие к нему от отца купчие и меновные грамоты «поимал разбойник»[2].

Вооруженные отряды «разбойников» совершали нападения на монастыри. Около 1352 г. на Онежском озере (на острове Муромском) обосновался монах Лазарь, прибывший из Новгорода. Местное население отнеслось к нему весьма недоверчиво: на Лазаря неоднократно нападали и избивали его, пытались выгнать или убить, поджигали его дом. В житийной литературе от лица самого Лазаря так изображаются его столкновения с окрестными жителями: «...Многи скорби, и биения, и раны претерпех от сих зверообразных мужей. Многажды бивше, и изгнаша мя от острова сего, и хижу мою огню предаша. И сотвориша селитбу близ меня с женами и детьми; и пакости много творяху и глаголаху: калугере! Останися места сего, и хотяху мя сыроядцы убити и тело мое в ядь себе сотворити». Несмотря на протест населения, Лазарь остался на острове, построил там церковь, а через некоторое время «лопяне отъидоша от места сего в пределы окияна-моря»[3].

Во второй половине XIV в. (в княжение московского великого князя Ивана Ивановича) на реке Махрище поселился инок Стефан. Очень скоро у него начались столкновения с окрестными жителями—братьями Юрковскими, которые хотели его убить. По словам жития, они «часто прихождаху в монастырь, поносяше святому, и которующе, и смертью препяше, аще не отъидет от монастыря». Зная о том, что московский великий князь Дмитрий Иванович покровительствует Стефану, братья Юрковские были уверены, что последний завладеет их землями: «и (тии) мняху себе, яко имать владети селом и нивами». Поэтому они «устремляются на святаго, дышуще убийством». Стефан был вынужден, спасаясь от этих преследований, удалиться на реку Сухону[4].

---

[1] «Памятники старинной русской литературы», под ред. Н. И. Костомарова, вып. 1, СПб., 1860, стр. 82—83.

[2] ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 7в, л. 17.

[3] *А. А. Савич*, Главнейшие моменты монастырской колонизации русского Севера XIV—XVII вв. («Сборник Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете», вып. 3, Пермь, 1929, стр. 57—58).

[4] Там же, стр. 80—81; *Н. Коноплев*, Святые Вологодского края («Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1895, кн. IV, раздел 4, стр. 25).

Преследованиям местных жителей подвергались и ученики и последователи Стефана Махрищского—Григорий и Кассиан. По словам жития, «коварный супостат диавол», всех «душ человеческих губитель», вложил «злую мысль» в окрестных крестьян, которые решили напасть на названных монахов, с тем «чтобы их имения разграбить и телеса убить и огнем сожещи». В результате Григорий и Кассиан были умерщвлены, а трупы их сожжены. На месте же их монастыря поселились «татие, и разбойщики, и душегубцы...» Они, по рассказу жития, творили «многыя злыя дела и пакости деяху, грабяху насильно, убиваху...». Далее, согласно данным жития, против тех, кто убил Григория и Кассиана, поднялись другие местные жители («...собрашася тутошних житель многолюдство, чтобы их за то дело убити...»), очевидно, представители зажиточных слоев населения, может быть, действовавшие в контакте с властями. Тогда виновники смерти Григория и Кассиана сожгли монастырь («и все манастырское строение зажгоша») и бежали в сельцо, где находилось их «пристанище», преследуемые «многонародным собранием»[1].

Интересный материал о классовой борьбе в феодальной деревне можно почерпнуть из житийных описаний тех чудес, которые якобы происходили над могилой Григория и Кассиана. Некто Гавриил, по прозвищу Ушак, по сведениям жития, был весьма обеспокоен тем, что весть о чудесах получает широкое распространение и это может привести к тому, что на месте погребения двух убитых монахов снова возникнет монастырь, который захватит все окрестные села («...Аще не престанут бывати чудеса от гроба святых и паче множатися, имать место оное распространитися, и состроится монастырь, и вселятся ту мниси, а аз [Гавриил Ушак] не токмо место оное себе наследую, но и села отцетитися имам»). Согласно рассказу жития, Гавриил Ушак договорился с игуменом Глушицкого монастыря Иоакимом и старцем того же монастыря Иринархом (также не желавшими, чтобы по соседству с ними возник новый монастырь) и вместе с ними разорил гробницу над могилой Григория и Кассиана и надругался над мощами («...Разориша гробницу, иже над мощами святыми, и святыя иконы, иже в ней, повергше на землю...»)[2].

В 70-х годах XIV в. Дмитрий Прилуцкий (родом из Переяславля) построил церковь на реке Леже. Крестьяне соседней волости Авнеги («люди неблагодарные от прилежащия веси...») «подняли ропот велий» и потребовали от Дмитрия, чтобы он ушел отсюда («глаголюще: отче, неугодно нам твое зде пребывание»). Требование это было вызвано опасением, что монахи станут собственниками ряда земель и обратят от себя в зависимость местных крестьян. «...Помыслиша бо в себе, яко аще сей великий старец близ нас жити будет, и по мале времени совладает нами и селы нашими».

[1] *А. А. Савич*, Главнейшие моменты монастырской колонизации.., стр. 81; *Н. Коноплев*, указ. соч., стр. 29.

[2] *А. А. Савич*, Главнейшие моменты монастырской колонизации.., стр. 82; *Н. Коноплев*, указ. соч., стр. 31.

Дмитрий Прилуцкий, слышав «ненависть их и ропот», вынужден был уйти и направился к Вологде[1].

В житии Дионисия, основавшего в начале XV в. монастырь на реке Глушице, рассказывается, как «нецыи людие» похитили у него семь коней и убежали «в некую весь»[2]. На Сергия Нуромского (XV в.) два раза нападали разбойники, причем один раз избили его до полусмерти[3]. У Григория Пельшемского были ночью украдены все земледельческие орудия, поэтому утром братье основанного им монастыря не с чем было выйти на работу[4]. В житии Корнилия (родом из Ростова), поселившегося в 1497 г. в хижине в Комельском лесу, имеется рассказ о том, как он был ограблен разбойниками[5]. В житии Павла Обнорского (умер в 1429 г.) говорится о тех нападках, которым он подвергался со стороны «ненаказанных человек», стремившихся выгнать его из своей области («да отбегнет от места того»)[6]. Жившего в Спасо-Каменном монастыре на Кубенском озере монаха Федора (умер в 1409 г.) местные жители («неразумнии невегласы человекы, еще чудское исчадие») прогнали, а келью его разрушили[7]. По рассказу жития основателей Соловецкого монастыря, Савватия и Зосимы, дьявол «наусти» на них «злых человек, да пакости деют обители и озлобляют начальника тоя и братью»[8].

В повести о Михаиле Клопском имеется рассказ о приходе к нему в монастырь 30 вооруженных людей. Михаил, решивший, что они явились со злым умыслом, пригласил их «на трапезу» и, когда все пришельцы (кроме двух) стали есть, сказал: «ведая будите, яко не имать совершитися совет ваш, иже враг всея в сердца ваша». Два разбойника, еще не вкусившие пищи, тут же сразу были поражены тяжелым недугом, а остальные их товарищи, испугавшись, что их постигнет такая же участь, дали игумену дары с тем, чтобы он помолился о болящих, сами же «отъидоша с миром»[9]. Рассказ построен в плане восхваления прозорливого Михаила Клопского и с целью прославить чудо избавления его монастыря от грозившей опасности. Но за всеми легендарными напластованиями вскрывается реальный факт столкновения монахов Клопского монастыря с каким-то сравнительно многочисленным отрядом холопов или крестьян.

О нападениях феодально зависимого населения на боярские владения с целью «грабежа» большое количество данных содер-

---

[1] *А. А. Савич*, Главнейшие моменты монастырской колонизации.., стр. 82; *Н. Коноплев*, указ. соч., стр. 36.

[2] *Н. Коноплев*, указ. соч., стр. 51.

[3] Там же, стр. 67.

[4] *И. Верюжский*, Исторические сказания о житии святых, подвизавшихся в Вологодской епархии, Вологда, 1880, стр. 291.

[5] *А. А. Савич*, Главнейшие моменты монастырской колонизации.., стр. 90.

[6] Там же, стр. 87.

[7] Там же, стр. 84.

[8] *А. А. Савич*, Соловецкая вотчина XV—XVII вв., Пермь, 1927, стр. 33.

[9] «Памятники старинной русской литературы», вып. 4, стр. 40.

жится в новгородских летописях. Такие нападения устраивались в Новгороде и Пскове совместно городскими «черными людьми» и холопами и крестьянами окрестных боярских имений. Так, летописец с осуждением говорит, что в 1310 г. «грабиша села около Новагорода», а в 1311 г. во время пожара в Новгороде «злеи человеци недобрие, бога не боящеся, видяще людем погибель, падоша на грабежи, пограбиша чюжая имения». В 1314 г. в Пскове «почале бяху грабити недобрии людие села и дворы в городе и клети на городе». В 1332 г., по словам летописи, «въсташа крамолнице в Новгороде» и «пограбиша» боярские «дворы» и «села». В 1340 г. черные люди и крестьяне села боярские «пусты положиша». В 1342 г. снова «въсташа чорныи люди» и «пограбиша домы и села» новгородского посадника и его приспешников. Участники восстания в Новгороде в 1359 г. «взяша села Селиверстова [посадника] на щит, а иных сел славеньскых много взяша». В 1445 г., когда в Новгороде был сильный голод, новгородский летописец отмечал «грабежи» «по селам, и по волостем и по городу»[1].

«Злеи человеци», «недобрии людие»—это, конечно, участники антифеодальных выступлений против господствующего класса: крестьяне, ремесленники, городская беднота. «Грабежи» «сел», «домов», «дворов»—это форма классовой борьбы, выражающаяся в конфискации и распределении между беднотой имущества феодалов.

Известны случаи поджогов крестьянами принадлежащих представителям феодального класса жилых построек. Житие Кирилла Челмогорского (умер в 1368 г.) рассказывает о том, как он начал строить монастырь близ Лекшмозера. По словам жития, местное население, руководствуясь «диаволим научением», «позавидовало» Кириллу и пыталось его выселить. Оно стало вырубать лес на горе, где, как думали жители, Кирилл должен был завести впоследствии пашни на монастырский обиход («яко да сотворит себе нивы на сеяние обилию»). Затем крестьяне подожгли срубленные деревья, рассчитывая, что вместе с ними сгорит и келья Кирилла («егда начнем посеченные древеса жжещи, тогда и келия его сгорит»). Начался пожар. Огонь «ревый и шумя презельною яростью» поднялся по горе. В огне погибли лесные припасы, которые приготовил Кирилл для строительства монастыря, но часовня и келья уцелели. Крестьяне же были вынуждены уйти «со студом»[2].

В 1503 г. разбиралось дело по обвинению крестьянина Спасо-Евфимьева монастыря Михаила Жука в сожжении монастырской деревни Ильинской. По словам монастырского старца Александра, Михаил Жук прожил в этой деревне два года, «да вышол вон...».

---

[1] НПЛ, стр. 93, 94, 99, 334—336, 353, 367, 366, 425.

[2] *А. А. Савич*, Главнейшие моменты монастырской колонизации.., стр. 62—63; *В. И. Корецкий*, Борьба крестьян с монастырями в России XVI — начала XVII в. («Вопросы истории религии и атеизма», т. 6, М., 1958, стр. 180); «Очерки истории СССР. Период феодализма. IX—XV вв.», ч. 2, стр. 122—126.

После того, как старец «взял на нем пожилого за двор полполтины денег, да и паренину... его на монастырь рожью посеял», Михаил Жук, «рнясь тому», «да ту деревню монастырскую Ильинскую зжог и з житом и з животом».

Во время допроса на суде Михаил Жук признал предъявленное ему обвинение: «Что, господине, говорити!—заявил он судье,—грех ко мне пришол. Ту есми, господине, деревню манастырскую Ильинскую зжог и з житом, и з животом». При этом Михаил Жук указал, что он действовал по подговору крестьянина Копоса Чернакова, который в настоящее время находится в бегах.

Суд приговорил взыскать с Михаила Жука $9^1/_2$ рублей «за манастырскую гибель», но он оказался не в состоянии внести эту сумму, вследствие чего был отдан истцу «до искупа»[1].

В этом деле очень интересна, во-первых, связь между беглым монастырским крестьянином и крестьянином, проживавшим в монастырском имении. Второй существенный факт—это то, что поджог деревни Михаилом Жуком совершается в знак протеста против применения к нему нормы Судебника 1497 г. о взимании при «отказе» «пожилого». Очевидно, что положение Судебника тяжело отражалось на крестьянском хозяйстве.

«Душегубство», «разбои», «татьба» расценивались государством как крупные преступления. Летописи свидетельствуют, что уже Иван Калита во второй четверти XIV в. подавлял проявления народного протеста, принимавшие указанные выше формы. Летописец, представитель класса феодалов, с удовлетворением отмечает, что Иван Калита «исъправи Рускую землю от татеи, от разбоиник, от всякого мятежа»[2].

В договорных грамотах, оформлявших соглашения между князьями отдельных феодальных центров, фигурируют статьи о выдаче беглых крестьян и холопов, особенно совершивших преступления против феодального права: «...холопа, рабу, должника, поручника, татя, разбойника, душогубца, рубежника, выдати по исправе от века»[3].

Вопрос о «татях», «разбойниках», «душегубцах» являлся предметом специального рассмотрения в договорных грамотах московского великого князя с правительствами Твери и Рязани. Этими грамотами устанавливалось, что нарушители феодального права, бежавшие из пределов своего княжества, подлежали суду там, где они будут пойманы, причем органы власти того княжества, где обнаружен виновный, обязывались судить его («А татя, разбойника, грабежника, душегубца, где имут, тут судят»)[4].

В XV в. великокняжеская власть усиливает ответственность за нарушения прав феодалов той крестьянской общины, к которой принадлежал нарушитель этих прав. Так, в грамоте московского

[1] АСЭИ, т. II, стр. 542—543, № 495.
[2] НПЛ, стр. 561.
[3] ДДГ, стр. 55, № 19
[4] Там же, № 79; стр. 298.

великого князя Василия I нижегородскому Благовещенскому монастырю 1423 г. содержится постановление, чтобы в случае какого-либо преступления против феодального права собственности («а у кого учинится какова гибель»), если след виноватого приведет к владениям монастыря («и кто пригонит какой след на монастырские земли»...»), то крестьянин, пользующийся данным земельным участком, обязан, взяв «земли обрез», отвести от себя след. В противном случае его двор подвергается обыску со стороны потерпевшего, хотя в случае отсутствия в доме поличного он и не обязан возмещать убытки («гибель») истцу. Отказавшийся отвести «следу с своей земли» должен вознаградить потерпевшего («та гибель платить»)[1].

Княжеские грамоты возлагают борьбу с «татями» и «разбойниками» в пределах земельных владений, пользующихся иммунитетом,—на привилегированных земельных собственников, в городах и черных волостях—на наместников и волостелей. Так, в жалованной грамоте 1425 г. московского великого князя Василия Дмитриевича митрополиту Фотию на села во Владимирском уезде содержится положение о «сместных» судах (по делам, затрагивающим одновременно население, подсудное как митрополичьей администрации, так и наместникам и волостелям), причем устанавливается, что «сместные судьи» должны «с одного» «казнити» «татя и разбойника». «А которой судья не имет казнити, тому быти от меня самому кажнену»,—отдает распоряжение великий князь[2].

Княжескую власть в борьбе с «татьбой» и «разбоями», как формами крестьянского протеста, поддерживала церковь. В послании Кирилла, игумена Белозерского монастыря (начала XV в.), князю Андрею Дмитриевичу читаем: «Тако же, господине, и разбоя бы и татбы в твоей вотчине не было»[3]. В послании конца XV—начала XVI в. Иосифа Волоцкого «вельможе о миловании рабов» волоколамский игумен призывает своего адресата «наказывати» «рабов» и «сирот» (крестьян) «всегда на благая делеса, иже есть сие: убийства не творити, а грабления не имети, татбы не держати, и не красти...»[4].

Те данные, которые содержатся в источниках о «татьбе», «разбое» и «душегубстве» как проявлениях классовой борьбы, подтверждают общий вывод, сделанный выше: классовая борьба особенно обостряется, во-первых, в период феодальной войны второй четверти XV в., во-вторых, к концу XV столетия. Характеризуя время феодальной войны, правая грамота Симонову монастырю 90-х годов XV в. отмечает, что тогда были «разбои и татьба великие на дорозе» и «люди на... земле не сели розбоя для»[5]. В другой правой грамоте того же примерно времени имеется показание крестьян о том, что

---

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 202, № 230.
[2] Там же, стр. 186, № 211.
[3] АСЭИ, т. II, стр. 274, № 312.
[4] «Послания Иосифа Волоцкого», М.—Л., 1959, стр. 153
[5] АСЭИ, т. II, стр. 434, № 411.

деревни в Нерехотской волости Костромского уезда «запустели от ратных людей и от розбоев»[1]. В житии Даниила Прилуцкого дается яркая характеристика феодальной войны как времени, когда не только происходили княжеские усобицы, но и обострились и вылились наружу классовые противоречия: «Много бяше тогда в Рускои земли князем неуправление, и междуусобныа рати, татей и разбоя умножися»[2].

После окончания феодальной войны в жалованных грамотах появляются постановления о том, чтобы крестьяне ставили в известность наместников о всех смертных случаях в отдельных селах и деревнях: «...и по грехом ся у них учинить, человек с дерева убьется; или на воде утонеть, и они то обыскав чисто, да явять моему наместнику ... или тиуну ...»[3]. Очевидно, это требование было вызвано стремлением правительства в случае обнаружения трупа знать, явилась ли смерть найденного мертвым человека следствием случайных причин или же имело место намеренное убийство (может быть, как акт социального протеста).

Очевидно, усиление классовой борьбы в Псковской земле вызвало включение в Псковскую Судную грамоту статей о предании смертной казни «татя», трижды уличенного в воровстве, «кромского татя» (человека, ограбившего Кремль), конокрада, поджигателя («зажигальника») и т. д.

Договорная грамота Новгорода с Казимиром IV содержит статью о взимании виры за убийство сельского сотского: «А сведется вира, убьют сотцкого в селе, ино тебе взяти полтина, а не сотцкого, ино четыре гривны»[4].

Белозерская уставная грамота 1488 г., основываясь на постановлениях Русской Правды, возлагает ответственность за «душегубство», совершенное в пределах Белоозера, на общину посадских людей, а в пределах белозерских станов и волостей—на крестьян. Они обязаны «доискаться» «душегубца» и передать его наместникам или волостелям; а если «не доищутся», то уплатить штраф. Требовалось специальное расследование («обыск») о найденном в пределах Белоозера трупе для установления того, что смерть последовала от случайной причины, а не явилась результатом убийства. «А кого у них в лесе дерево заразит, или с дерева убиется, или зверь съест, или кто в воду утонет, или кого возом сотрет, или кто от своих рук потеряется, а обыщут без хитрости, ино в том вины и продажи нет»[5].

Чрезвычайно интересный случай практического применения статьи жалованных грамот, определяющих порядок выяснения причин смерти людей, трупы которых будут обнаружены в пределах той или иной крестьянской общины, дает одна правая грамота 1485—1490 гг. В ней рассказывается, как некто Жилинец «лесовал»

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 452, № 571.
[2] *В. И. Корецкий*, указ. соч., стр. 186.
[3] ДАИ, т. I, стр. 348, № 190.
[4] ГВНП, стр. 131, № 77.
[5] ААЭ, т. I, стр. 92—94, № 123.

на пустоши, бывшей предметом спора между Троице-Сергиевым монастырем и черными крестьянами, и его «под векшею... розбили и изрезали». Труп Жилинца был найден «под ... овином». Для расследования обстоятельств его смерти приезжал тиун и допрашивал волостного старосту. Можно предполагать, что перед нами случай убийства черного крестьянина монастырскими приказчиками за то, что он рубил монастырский лес[1].

В 80-х годах XV в. московское правительство начинает выделять специальных приставов для охраны монастырей от «лихих людей». Так, в 1485 г. Иван III специальной грамотой поручил Троице-Сергиев монастырь охране пристава Семена Кулпы.

В случае обнаружения «поличного» или поимки «на дорозе» «татя или разбойника» пристав должен был доставить виновных на великокняжеский суд[2].

В 1497 г. был издан Судебник—кодекс общерусского феодального права, классовый смысл которого заключался в мобилизации сил феодалов для борьбы с крестьянским движением, обострившимся в конце XV в. Судебник 1497 г. (ст. 8) вводит смертную казнь для «ведомого лихого человека», причем среди категорий лихого дела названы «душегубство», повторная «татьба», убийство «государя» (землевладельца, господина), поджог и т. д.

* * *

Специального внимания заслуживает вопрос о классовой борьбе черных крестьян в связи с захватами их земель монастырями. Черные крестьяне оказывали в этом отношении решительное сопротивление духовным феодалам. Одной из форм такого сопротивления черного крестьянства наступлению феодалов на принадлежащие им земли было возведение на них жилых поселений. Во второй половине XV в. великокняжеские тяглые крестьяне—Семен Злобай, Иван Федотов, Родюка Окулов—«поставили» дворы на митрополичьих селищах Алтынове и Дубровке Переяславского уезда. Будучи привлечены за это к судебной ответственности, они сослались на великокняжеского посельского Родиона Тимохова, который их «посадил на тех селищах». Последний в свою очередь подтвердил, что он велел крестьянам «на тех селищах дворы ставити», поскольку они представляют собой «земли великого князя»[3].

Около 1488—1490 гг. старец Троице-Сергиева монастыря Иринарх обвинил черных великокняжеских крестьян Федота, Михаля Жировкина и Микиту Федотова в том, что они «поставили три деревни, а в деревне по двору» на земле, представляющей собой якобы третье поле монастырского Поемесского села. Обвиняемые

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 400, № 523.
[2] Там же, стр. 390, № 516.
[3] АФЗХ, ч. 1, стр. 115—117, № 125.

крестьяне заявили, что их «посажал... на той земле слободчик», который «сказывал» им, что «то земля великого князя»[1].

В 1490 г. посельский Симонова монастыря Кузьма требовал от судьи, чтобы тот удалил из монастырского селища Шишкинского Дмитровского уезда крестьян Окулика и Алфера, которые «живут... на той земле сильно, а вон из деревни не идут». Окулик и Алфер со своей стороны отвечали судье: «мы, господине, живем на великого князя земле на чернои на тяглои,... а не на манастырьскои земле»[2].

В 1495—1497 гг. старец Спасо-Ярославского монастыря Александр утверждал на суде, что крестьяне Борковской великокняжеской волости Карп и Федор Михалевы выстроили починок на «манастырской земле... на поженной и на заросле поженных наволоков.., да и поорали силно, да и житом посеяли, и лес заросли розчищают к тому починку...». Крестьяне доказывали, что оспариваемая монастырем земля является великокняжеской волостной[3].

В 90-х годах XV в. крестьяне Михайловского стана, Переяславского уезда, Родюка Онфуков и Нестер Дешевкин поставили, по словам попа Покровского монастыря Григория, на его земле «на поле на ржи и на яри . . . избу да клеть силно», покосили и потравили принадлежавшие попу пожни. Крестьяне не отрицали, что они действительно поступили так, как указывал поп Григорий. Напротив, они подчеркивали, что и в дальнейшем будут пользоваться землей («да и досталь нам. . . тое деревни пожни косити»), ссылаясь на то, что эта земля «становая Михайловского стану, а не монастырская»[4].

В 1504 г. кашинский князь Юрий Иванович присудил Калязину монастырю починки Крутец и Красное селище (близ р. Товы), оспаривавшиеся у него черными крестьянами Степаном и Аксеном Шелковыми. Приговор был мотивирован следующим образом: у Шелковых не оказалось «на те починки крепости. . . никоторые», они «вошли сами на те починки и в хоромы в готовые в монастырьские», а дворский и волостные крестьяне «в те починки их. . . не сажывали, ни грамоты им лготные на те починки не давывали...»[5].

Распространенной формой борьбы черных крестьян с феодалами, завладевшими их землями, была самовольная запашка этих земель. Так, около 1474—1475 гг. келарь Троице-Сергиева монастыря Савва жаловался на суде на сотника Мишутинской волости Малыгу, который «поорал» монастырскую землю—селище Кровопусковское в Переяславском уезде[6]. В те же годы келарь Савва принес жалобу великому князю на Михаля Дворянкина, который «пашет землю монастырскую» в волости Воре Московского уезда «и луги косит через межу силно, а называет деи землею великого

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 418—420, № 540.
[2] АСЭИ, т. II, стр. 410—411, № 402.
[3] ГКЭ, № 14752; *Д. М. Мейчик*, указ. соч., № 254.
[4] АСЭИ, т. I, стр. 460—463, № 582.
[5] ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 30, л. 40.
[6] АСЭИ, т. I, стр. 318—320, № 430.

князя Чекмаковскою». Посельский Троице-Сергиева монастыря со своей стороны указал, что Михаль «ту землю монастырскую поорал силно ту поляну и овсом посеял»[1].

В 1485—1490 гг. слуга Троице-Сергиева монастыря Офанас обвинял Лаврока Фалелейкова и Торопца Степанкова сына Панафидина в том, что они «поорали» и «посеяли» монастырскую пустошь Кашино в Костромском уезде. Обвиняемые ссылались на то, что эту пустошь им предоставили для обработки староста и черные крестьяне Залесской волости[2]. В те же годы старец Герман Симонова монастыря рассказывал на суде, что черные крестьяне Кузьма Фомин и Тимофей Степанов «попахали» землю монастырской деревни Степановской «силно за изветом, да и рожью посеяли». Из показаний старожильцев было выяснено, что эта земля когда-то входила в состав черной Усошской волости, а затем великий князь Иван III передал ее Симонову монастырю[3]. Тогда же Иван Саврасов был привлечен к судебной ответственности за то, что «поорал» землю Симонова монастыря Федотовскую Нелидова. «Знахори» показали, что эта земля была черной великокняжеской, а «косили ее на великого князя конь, на становой»[4]. На суде по делу между старцем гороховецкого Васильевского монастыря Иваном Вороной и гороховецкими черными крестьянами, сотником Фролом Котовским и др., состоявшемся около 1490 г., крестьянам было предложено указать границы между черными великокняжескими и монастырскими землями. Они ответили: «Мы, господине, меж не знаем, а все то земли великого князя, а мы их пашем с одного»[5].

В 1506 г. приказчик Чудова монастыря Якуш Ильин выступил на суде с обвинением черных крестьян Ивана и Федора Петелиных детей Солонина в том, что они «покосили... пожню монастырскую Клеопинского селца Потопловские деревни на тритцать копен силно, да лес посекли и ярью посеяли силно же на три десятины к своей деревни к Зубцову к черной сего лета». Обвиняемые крестьяне мотивировали свои действия тем, что земля, на которой они косили сено, принадлежит к числу черных великокняжеских земель[6].

Иногда запашка черными крестьянами земли, захваченной у них феодалами, сопровождалась активными действиями, выражавшихся, например, в перенесении на другое место изгороди, отделяющей границы спорного земельного участка. Так, в 1470—1478 гг. старец Троице-Сергиева монастыря Геронтий обвинял Нелида Шубина (крестьянина великой княгини Марии Ярославны)

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 322—324, № 432.
[2] Там же, стр. 399—401, № 523.
[3] АСЭИ, т. II, стр. 408, № 401.
[4] Там же, стр. 407, № 400.
[5] Там же, стр. 523, № 483.
[6] ГКЭ, № 4819.

в том, что он «припустил» к своей пашне землю села Косовского, принадлежавшего Троице-Сергиеву монастырю («в яровое... поле впустил четверти на три, а в паренину на четверть»), и в связи с этим «собрал с межи» «огороду», отделяющую монастырские владения, и перенес ее на другое место. Кроме того, Нелид Шубин косил «силно» монастырский лужок, «ездячи через ту землю манастырскую...» Ответчик уверял, что он «вгородил к собе в поле землю великие княгини», а не монастырскую, а лужек ему дал косить великокняжеский становщик Сидор Колчигин. После судебного расследования было решено произвести новое размежевание владений Троице-Сергиева монастыря и великой княгини Марии Ярославны[1].

Формой борьбы черных крестьян за отнятую у них феодалами землю была косьба сена на тех лугах, которые крестьяне считали им принадлежащими и которые они не желали никому уступать. Так, в 1473—1489 гг. митрополичьи крестьяне Аристик Ивашков и Козлик Васильев обвиняли сотника Шаховской волости Костромского уезда Некраса Левонова в том, что он «покосил... митрополиче селищо Павлецово сильно, а называет... то селищо великого князя землею...»[2] Около 1474—1475 гг. посельский села Путиловского Троице Сергиева монастыря Фофан рассказывал на суде, что Михаль Дворянкин «косит... у нас луги силно и землю пашет, а называет землю монастырскую землею великого князя»[3]. В конце 70—начале 80-х годов XV в. посельский Троице-Сергиева монастыря чернец Матвей жаловался на великокняжеского крестьянина Василия Клешнина в том, что он «перекашивает» монастырские луга и монастырский «лес сечет без доклада». Василий Клешнин ответил, что он «межу... перекосил не ведая», а «извет» ему «о той земли не бывал»[4]. На суде, происходившем в 1484—1490 гг. между властями суздальского Спасо-Евфимьева монастыря и крестьянами волости Нелши, выяснилось, что ряд земель (селищ), которые волостные крестьяне считали черными, монахи объявили своей собственностью. Но за землю шла борьба. Так, черные крестьяне покосили сено на селище Медведкове. В следующем году косить сено на этом селище стали крестьяне, жившие в монастырских владениях. Тогда черные крестьяне отняли у них это сено[5]. В 1498 г. посельский митрополичьего села Куликовского Костромского уезда Ваня жаловался на Ивана Избина, который «покосил... митрополичи пожни Иконничьские у Парашинские перегороды сильно...»[6] В 1498—1499 гг. митрополичий посельский старец Игнатий предъявил обвинение черному крестьянину Семену Терпилову в том, что он покосил митрополичий луг на реке

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 288—290, № 397.
[2] АФЗХ, ч. 1, стр. 234, № 261.
[3] АСЭИ, т. I, стр. 321, № 431.
[4] Там же, стр. 310—311, № 421.
[5] АСЭИ, т. II, стр. 518—521, № 481.
[6] АФЗХ, ч. 1, стр. 226, № 259.

Шексне. Ответчик заявил судье: «тот, господине, луг на реце на Шексне земля великого князя, а тянет, господине, тот луг изстарины к моей деревне к Дорофеевской, а кошу, господине, тот луг яз да и сено вожю»[1]. В конце XV в. черные крестьяне Аргуновской волости Переяславского уезда покосили луг Дудорову луку, который называли своим старцы Антоньева Покровского монастыря[2].

Проявлением классовой борьбы черных крестьян были массовые порубки деревьев в лесах, попавших во владение феодалов. Около 1471 г. от имени Ивана III была составлена и послана ковеляевскому волостелю в Переяславский уезд грамота с запрещением черным волостным крестьянам «сечь лес» Троицкого Махрищского монастыря «без доклада» игумену. В то же время в грамоте отмечалось, что черные «хрестьяне ковеляевци» «через грамоту... великого князя» вырубают монастырские леса[3]. Из жалованной грамоты Ивана III Троице-Сергиеву монастырю 1485 г. узнаем, что «волостные люди» «секут» монастырский лес в Переяславском уезде «без...доклада». По великокняжескому указу выделяется специальный пристав Палка Ворона, который должен «имати» (задерживать) в лесах нарушителей и отправлять их к переяславским наместникам для наложения на них штрафа. Это великокняжеское предписание было велено «закликати» на торгу. В 1495—1497 гг. черный крестьянин Азарко Трегуб упрекал старца Троице-Сергиева монастыря Никона, который «посекл» лес великокняжеского села Павловского в Угличском уезде. Посельский Павловского села Сыта вспомнил на суде, что старцы Троице-Сергиева монастыря уже давно старались завладеть указанным лесом. Поэтому, когда один павловский крестьянин «поставил... на том лесу... двор», монахи добились распоряжения угличского князя Андрея Васильевича «тот починок сметати»[4].

До нас дошли правые грамоты, из которых видно, какие острые формы принимала классовая борьба черных крестьян с феодалами. На суде, который производил в 1485—1490 гг. писец И. Г. Наумов по земельному делу между старцами Симонова монастыря и черными крестьянами Усошской волости Можайского уезда Кузьмой Фоминым и Тимофеем Степановым, выяснилась интересная картина перехода по частям Усошской волости к монастырю. Так, московский великий князь Иван III передал в монастырь из числа усошских земель деревню Степановскую. Но черные крестьяне не хотели этого признавать. Кузьма Фомин и Тимофей Степанов отошедшую от Усошской волости прилегавшую к деревне землю «попахали», — как говорили истцы и свидетели, выступавшие на стороне монастыря,—«силно за изветом», «да и рожью посеяли». «Старожильцы», защищавшие на суде интересы черных крестьян, отказались указать границы спорной земли («меж мы, господине, той земле не знаем...»),

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 258, № 308.
[2] Там же, стр. 126—128, № 140.
[3] АСЭИ, т. I, стр. 294—295, № 402.
[4] Там же, стр. 388, № 512; стр. 458—460, № 581.

сославшись на то, что вся Усошская волость является черной великокняжеской («а весь Усох великого князя»). Судья «присудил» спорную землю «с хлебом и с сеном» к Степановской деревне Симонова монастыря, мотивировав свой приговор тем, что черные крестьяне «вступаются» в монастырские владения, переходя пограничный лесной участок («залезши за лес»), и тем, что «старожильцы» «меж не знают»[1].

Но этим дело не кончилось. Крестьяне Кузьма Фомин и Тимофей Степанов продолжали считать отнятую у них землю черной. И поэтому, когда через некоторое время после суда монахи покосили траву на принадлежавшей деревне Степановской пожне, крестьяне, по словам монахов, оттуда сено «погребли силно, да и доловь свезли...» Крестьяне не отрицали этот факт, причем они считали его законным, ссылаясь на традицию: «Косили, господине, тое пожню отци наши, а мы, господине, тое пожню косили после отцов своих и до сех мест».

Кузьма Фомин и Тимофей Степанов отнеслись очень недоверчиво к тексту правой грамоты по их прошлому делу с Симоновым монастырем, по которой они были признаны виновными. Сначала они вообще заявили, что «таков нам ...суд... не был, как в той в грамоте писано». Затем крестьяне согласились с тем, что судебное разбирательство по их делу имело место, но отказались признать достоверность приложенной к правой грамоте печати и указания на присутствовавших на суде судных мужей («... на... печать и на судные мужи, которые в сеи грамоте писаны, не шлемся...»)[2]

О борьбе крестьян за землю имеются данные и в житийной литературе. В житии Александра Ошевенского говорится, что после его смерти в 1479 г. крестьяне начали захватывать монастырские владения: «поселяня же веси тоя, видевше место то никим же брегомо, ни блюдомо, токо же прелстившесь, и начаша угодиа монастырьская осваивати и к своим угодиям присовокупляти, иноци же в велице уничижении и нужи бяху». Крестьяне заявляли монахам о том, что монастырь им не нужен, что им достаточно сельского священника. «О, господине отци, что сее ваше пребывание зде, игумена нет у вас, и нам великая нужа о том, священнику не сущу, ныне убо оставите место сие, может бог и инде питати нас. Мы же себе начнем добывати священника белого по своему изволению, яко же есть обычай мирьским человеком»[3].

Кодекс феодального права—Судебник 1497 г. уделил специальное внимание (ст. 63) тяжбам из-за огораживания феодалами пашен и пожен, находившихся ранее в общинном владении черных крестьян, из-за «переорания» меж, из-за земельных захватов и т.п. За уничтожение меж, охранявших феодальные земли, согласно Судебнику, виновных наказывали кнутом.

[1] АСЭИ, т. II, стр. 408—410, № 401.
[2] Там же, стр. 459—461, № 422.
[3] *В. И. Корецкий*, указ. соч., стр. 188.

Имеются некоторые, правда очень глухие, сведения о еретичестве, как одной из форм антифеодального движения крестьян. Из житий мы узнаем, что один крестьянин перестал «богу... молитися» и «крестнаго знамения творити». Житие Сергия Нуромского говорит о крестьянах, которым бесы внушали «богу не молитися и к церкви не ходити». Житие Григория и Кассиана Авнежских говорит о богохульстве со стороны Стефана кузнеца: «не токмо хулу на человека глаголюще, но и на самого бога и на святых его, яко же есть обычай беснующимся творити»[1].

Из предыдущего обозрения, мне кажется, достаточно отчетливо видно, как углубление классовых противоречий и активизация антифеодальных выступлений крестьянства в связи с ростом крепостничества толкали господствующий класс на перестройку органов властвования над народом и организацию более действенных форм централизованного государственного аппарата.

* * *

Подведем итоги рассмотрению предпосылок образования Русского централизованного государства в области аграрных отношений. На протяжении XIV—XV вв. в результате освоения трудом русского крестьянства под пашенное земледелие пустошей и лесных массивов были достигнуты существенные успехи в сельском хозяйстве. Образовался значительный комплекс старопахотных земель с устойчивым составом населения. Появилось большое число сел и деревень, обраставших с разных сторон вновь возникавшими вокруг них починками. Через эти села как центры земледельческой культуры стали прокладываться новые пути сообщения—дороги, связывавшие между собой отдельные районы. С ростом производительных сил объектом феодальной собственности на землю все больше становились не пустоши, а населенные земли. Феодалы, округляя свои владения, стремились к созданию компактных земельных массивов. Повышалась ценность земли. Все это говорит о распространении вширь и вглубь феодальных отношений. Развитие феодальной собственности на землю разрушало существовавшую систему политической раздробленности. Феодальное землевладение, распространяясь, не считалось с границами отдельных княжеств. Особенно быстро росли монастырские и церковные вотчины, поглощавшие черные земли. Получало распространение условное землевладение, на основе которого развилась новая форма феодальной собственности на землю—поместная система. Существенные изменения произошли в сфере вотчинного землевладения. Ряд вотчинников терял право распоряжения своими землями. Служилые помещики и вотчинники из числа бояр, детей боярских, дворян, становились опорой складывавшегося централизованного государства.

---

[1] *В. И. Корецкий*, указ. соч., стр. 190.

На протяжении XV в. стирались грани между отдельными разрядами феодально зависимого крестьянства. В то же время шло наступление на крестьян со стороны феодалов. Стеснялось право крестьянского перехода. Создавались предпосылки для развития крепостного права в масштабе всего государства. Происходило сближение крестьян и холопов, что являлось одним из условий роста крепостнических отношений. Обострение классовой борьбы в деревне заставляло феодалов усиливать аппарат принуждения. Государственная централизация должна была этому содействовать.

Глава III

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА

В РАЗВИТИИ ГОРОДОВ, ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЩЕНИЯ

§ 1. Образование промысловых поселков и сельских торжков

Для XIV—XV вв. можно говорить о появлении на Руси специализации в области крестьянских добывающих промыслов. В определенных районах возникают поселки, для населения которых, хотя полностью и не теряющего связь с земледелием, основными занятиями являются добывающие промыслы: бортничество, рыболовство, ловля бобров и т.д. В духовных и других княжеских грамотах упоминаются «деревни бортные», «деревни бобровые», деревни «рыболовли»[1].

Бортники в XV в. продают деревни («се яз, Мартин да Леваш купили есмя у Гриди у бортника деревню...»), ведут тяжбы о земле и т. д. Во главе бортничьих селений на княжеских землях стоят специальные «старосты». Так, в грамоте великой княгини Марии Ярославны Благовещенскому монастырю на реке Киржаче 1453 г. говорится: «А что у них на тех землях манастырских дубье, и чашники мои и староста бортной в то дубье у них не вступаются»[2].

По документам можно проследить историю создания некоторых селений промыслового характера. К югу от города Владимира, за рекой Клязьмой, простирались леса и болота. В этой местности митрополичья кафедра владела большим бортным лесом. Здесь с 70-х годов XV в. появилась слободка митрополичьих бортников. В 1478 г. крестьяне Семен Улыбашев с детьми и Оладья Гаврилов с детьми получили во Владимирском уезде от митрополита Геронтия для поселения две деревни и несколько пустошей, и на них была возложена обязанность эксплуатировать «бортные уходы». Крестьяне-бортники были освобождены от всех других повинностей, которые обычно несло сельское население, и получили судебный и податной иммунитет. За пользование землей и лесными угодьями

[1] ДДГ, стр. 360, № 89; стр. 375, № 94; стр. 390—391, № 95; стр. 377, № 94; стр. 176, № 57; стр. 194, № 61.

[2] АСЭИ, т. I, стр. 85, № 106; стр. 366, № 485; стр. 527—529 № 615; стр. 174, № 246.

им было предписано вносить митрополиту оброк медом с доставкой его в Москву. В митрополичьей жалованной грамоте указывалось, что Семен Улыбашев и Оладья Гаврилов должны «призывать» «на те земли и на те борти», которые были им переданы, других людей, с тем чтобы последние «потянули» «в тот же... оброк»[1].

Из последующих жалованных грамот митрополитов Зосимы, Симона, Даниила (1490—1522)[2] вышеназванным бортникам, их товарищам и сыновьям видно, что население бортничьей слободки пополнилось не только в силу естественного прироста, но и потому, что Семен Улыбашев и Оладья Гаврилов использовали свое право призыва других крестьян в основанный ими промысловый поселок. Пустоши, которыми «пожаловал» митрополит Геронтий бортников, превратились в деревни, т. е. были заселены и застроены. В связи со всем этим кафедра повысила взимаемый с бортников оброк.

То обстоятельство, что бортники пользовались податными и судебными льготами, вызывало протест со стороны крестьян Владимирского уезда, которые добивались (и одно время добились) приписки их в тягло. Но в 1522 г. митрополит Даниил вернул бортникам иммунитет («а что их зарецкие мои христиане приписали в тягло в своей грамоте, и та на них грамота не в грамоту»)[3].

Приведенный материал дает возможность проследить конкретно образование промысловых поселков.

Поселки бортников создавались, как можно думать, и во владениях Троице-Сергиева монастыря. От второй половины XV в. в монастырском архиве сохранилась запись о покупке монастырем в Гороховецкой волости Владимирского уезда урочища Лушка «с лесом с бортъным» (в котором было «выделано бортей и старых и новых полторы тысячи») и в Ярополческой волости того же уезда—сельца Перова с «бортным лесом» стоимостью в восемь рублей[4]. К сожалению, о том, как велась эксплуатация этих угодий, данных в нашем распоряжении нет. Можно думать, что в указанных вотчинах Троице-Сергиева монастыря имелись такие же бортничьи деревни, как и на землях, принадлежавших митрополичьей кафедре.

В Нижегородском уезде «бортным ухожаем» в лесу, расположенном и по горной, и по луговой сторонам Волги, владел Амвросиев-Дудин монастырь. До 1485 г. с «ухожая» взимался казенный оброк, который с этого времени по жалованной грамоте Ивана III был отменен, так как выяснилось, «что бортного деревья стало мало не весь высечен»[5]. И в данном случае материал, рисующий формы эксплуатации бортного промысла, отсутствует.

---

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 187, № 213.
[2] Там же, стр. 188, 191, № 214—216.
[3] Там же, стр. 190, № 216.
[4] АСЭИ, т. I, стр. 241, № 333.
[5] ГКЭ, № 72/8013.

Зато такой материал сохранился по вотчинам Симонова монастыря. Около 1380—1382 гг. последнему достались в результате земельного обмена с великим московским князем Дмитрием Ивановичем церковь Спаса-Преображенья (в Московском уезде, на берегу Медвежья озера), два озера (Верхнее и Нижнее), пять «деревень бортничьих» «и з бортью, и с лесом, и з болотом, и с перевесьи» (т. е. с лесными участками, предназначенными для ловли птиц). Все деревни названы по именам крестьян-бортников, а одна из них именуется «Игнатьева старостина Жижнева»[1]. Значит, бортничьи деревни в целом представляли собой общий поселок, а жившие там промышленники составляли объединенный коллектив, возглавляемый старостой.

Из грамот князей угличского Андрея Васильевича (1484) и волоцкого Федора Борисовича видно, что тому же Симонову монастырю принадлежали бортные леса в Угличском и Ржевском уездах. В эти леса не могли «вступаться» княжеские «подлазники». Архимандрит же имел право завести для разработки бортных промыслов специальных бортников, число которых определялось количеством бортей («и колко бортей ни будет со пчелами»), и отвести им землю для поселения («а на той земле... посадит архимандрит бортников»)[2]. По своему социальному положению, судя по всему, бортники принадлежали к числу зависимых крестьян.

Приведем еще один пример из области организации бортничьих промыслов, относящийся к звенигородскому Саввину-Сторожевскому монастырю. В 1404 г. князь Юрий Дмитриевич отдал монастырю «борть свою по речки по Иневе...» в Подмосковье, а одновременно передал игумену «бортника Ондрейка Телицина, з деревнею, в которой живет.., и он те борти монастырскии делает»[3]. Бортник, о котором идет речь, мог быть и посаженным на землю холопом, и крестьянином. Но во всяком случае он специализировался на разделке деревьев с пчелиными ульями и на добыче меда. Деревня, в которой он жил, могла стать исходной точкой для возникновения более обширного промыслового поселка.

Бортничество—это один из видов промыслов, выделяющихся в специальную отрасль, в некоторых случаях уже мало связанную с земледелием. Другим видом крестьянских промыслов является рыболовство. «Рыболовли деревни» упоминают в своих духовных грамотах великая княгиня Софья Витовтовна (1481) и великий московский князь Василий Васильевич (1461—1462)[4].

Некоторые данные (правда, не всегда прямые) содержат о поселениях рыболовов документы Кириллова-Белозерского монастыря. В конце XIV—начале XV в. князь Андрей Дмитриевич «пожаловал» игумена Кирилла и запретил кому-либо из посторонних монастырю лиц ловить рыбу на озере, «которое озеро под монасты-

[1] АСЭИ, т. II, стр. 338, № 340.
[2] Там же, стр. 401, № 395; стр. 450, № 417.
[3] АИ, т. I, № 15.
[4] ДДГ, стр. 176, № 87; стр. 194, № 61.

рем». Исключение было сделано лишь старожильцам, «которые живут около озера»[1], т. е., по-видимому, крестьянам, для которых рыболовство стало профессией. В 40—70-х годах XV в. слободчик Жалобинской слободки Иван Щапов бил челом белозерскому князю Михаилу Андреевичу с просьбой разрешить ему поледную ловлю рыбы в озере Уломском, где находились рыбные промыслы Кириллова-Белозерского монастыря («Что озеро Оуломское ловит Касьян игумен з братьею на монастырь, ино ми бил челом з Жалобиньской слободки Ивашко Щапов слободщик о поледенъном, а хочет ловити на том озере на поледенном»[2]). Можно думать, что Жалобинская слободка представляла собой промысловый поселок, жители которого занимались преимущественно рыболовством. То же самое, очевидно, можно сказать относительно жителей белозерских деревень Панкратовской, Васильевской Плавины, Вкемерья, выменных Алексеем Афанасьевым у князя Михаила Андреевича. Не случайно князь освободил крестьян этих деревень на три года от взноса «рыбного», получив за эту пошлину от Андрея Афанасьева единовременно пять рублей. «...И хто имет у Алешки в тех деревнях жити людей, и рыбники мои белозерские на Олешке и на его людех рыбного не емлют на три года, занежо то есми рыбное Алешке отдал в придаток за пять рублев»[3].

«Слободки», населенные рыболовами, находились на великокняжеских черных землях в Ржевском уезде. Так, московский великий князь Василий Дмитриевич передал Симонову монастырю право сбора оброка рыбою «со Вселуцкие волости 400 костоголова да с Кличенские волости 400 же костоголова на всякой год». Тот же князь отдал монастырю два озера в Ржевском уезде (Сороменце и Корогощ), «да и люди по обе стороны Сороменця» (как видно из документов, не холопов, а зависимых крестьян-рыболовов)[4].

Поселки рыболовов возникали во владениях Троице-Сергиева монастыря. Так, в 1432—1445 гг. княгиня Аграфена шехонская с детьми предоставила Троице-Сергиеву монастырю право «ез... бить» в Шексне и рыбу «ловити... двема неводы монастырьскыми» в Шексне и Волге[5]. В районе рыбных ловель возникли «слободки»[6].

Промысловый характер имел поселок московского Чудова монастыря—село Филипповское на реке Великой Шерне, где монастырю принадлежали «ловилища рыбьи» и где «опришние люди рыбы не лавливали никто, ни сежь не бивали»[7].

Рыболовы жили в деревне Медведкове и слободе Тимофееве в Кличенском уезде, принадлежавших Иосифову-Волоколамскому монастырю. По жалованной грамоте волоцкого князя Федора

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 30, № 43.
[2] Там же, стр. 75, № 122.
[3] Там же, стр. 163, № 248.
[4] Там же, стр. 337—338, № 339; стр. 353—354, № 360.
[5] Там же, № 339, 360, 365, 417.
[6] АСЭИ, т. I, стр. 83, № 103.
[7] ГИМ, Собр. Барсова, № 1/48987 (новый архивный номер 185/723).

Борисовича 1500 г. монастырским крестьянам разрешалось ловить рыбу в озере Селигере двумя неводами и пятью керегодами. «А ловят где хотят, опроче моих тоней, а подлетчики мои на ловлю их не нарежают и пошлины своея на них не емлют»[1].

При наличии не оставляющих сомнения данных о том, что в ряде случаев рыболовство получало значение специальной отрасли крестьянских промыслов, надо сказать, что в целом его связь с земледелием оставалась еще достаточно тесной. Так, например, в одной записи второй половины XV в. указаны рыбные промыслы Троице-Сергиева монастыря на реке Клязьме, выше Гороховца, и расположенные в районе Гороховца монастырские деревни, крестьяне которых, очевидно, были заняты на промыслах. Характерно, что это были пашенные крестьяне[2].

В условиях известного подъема земледелия (о чем речь шла во второй главе) приобретало большое значение мельничное дело (устройство и эксплуатация мельниц). «Мельницы» и «мельники» довольно часто упоминаются в документах. При земельных тяжбах мельницы являлись одним из объектов спора[3]. Использование мельниц, требовавшее определенных технических навыков, было предметом правительственных «дозоров». Так, в 60—80-х годах XV в. дьяк Семен Васильев по приказу Ивана III осматривал на месте мельницы Симонова и Петровского монастырей, поскольку к великому князю поступила жалоба, что «петровской мельник» «подпруживает Симоновскую мельницу, воду держит не по мере». В результате обследования было установлено, что «Петровская мельница Симоновскую мельницу потопила». Тогда дьяк велел «Петровской мельнице... воду спустити» и распорядился, чтобы в дальнейшем вода поддерживалась на уровне специально забитого в пруд перед трубою кола. Нарушение этого постановления должно было повлечь за собой штраф[4].

Но нас сейчас интересует не техника мельничного дела, а его социально-экономическая сторона. Среди мельников были и холопы вотчинников, и зависимые от них крестьяне. Многие мельники, как и обычные крестьяне, занимались сельским хозяйством. В грамоте около 1494 г. волоцкого князя Бориса Васильевича к посельскому села Шарапова говорится о «пожаловании» Троице-Сергиева монастыря мельницею на реке Клязьме «в оброк, и с тою землею, которую мелники пахали, и сена которые косили...»[5] Однако из одновременной жалованной грамоты того же князя Троице-Сергиеву монастырю как будто можно вывести заключение, что земледелие в данном случае перестает быть для мельников основным занятием, что главным их делом становится эксплуатация мельницы. «Что есми их [монахов] пожаловал на Клязме мелницою

[1] АФЗХ, ч. 2, стр. 28—29, № 24.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 241—242, № 333.
[3] АФЗХ, ч. I, стр. 226—232, № 259.
[4] АСЭИ, т. II, стр. 366, № 372.
[5] АСЭИ, т. I, стр. 455—456, № 576.

в оброк, да пустошми Черньцовскою да Подкинскою, что мелники похали,—и хто у них на той мелнице имет жити мелников и на тех пустошех крестьян, и тем их людем не надобе. . . никоторые пошлины. . .»[1] Приведенный текст распадается на две части. В первой из них речь идет о прошлом (тогда сельское хозяйство вели мельники), во второй—о будущем (мельники будут работать на мельнице, остальные крестьяне—обрабатывать пустоши).

Часть крестьян находила применение своему труду на солеварнях, принадлежавших князьям, боярам, митрополичьей кафедре, монастырям. Так, в Нерехте на соляных варницах Троице-Сергиева монастыря в середине XV в. были заняты работой в качестве водоливов, дровосеков, дрововозов крестьяне соседнего села Федоровского с деревнями[2]. У Соли Галицкой близ солеварен Троице-Сергиева монастыря находились деревни Гнездниковская, Верховье и др., жители которых, по-видимому, использовались монастырскими властями на варничных работах[3]. В деревне Говядовской у Великой Соли также жили солевары и водоливы Троице-Сергиева монастыря[4]. В починке Реденском у Нерехты в 70—80-х годах XV в. проживали повары, водоливы, «окупленые люди домовые», работавшие на митрополичьей варнице[5]. Часть работных людей на соляных промыслах, возможно, уже не была связана с земледелием.

Жители отдельных селений белозерских Кириллова и Ферапонтова монастырей, а также черных деревень волости Волочка Словенского специализировались на переправе по суху из одного озера в другое судов с прибывавшими сюда гостями. В жалованной грамоте верейского и белозерского князя Михаила Андреевича 1454—1455 гг. говорится: «Что приходят гости на Волочек, на Словенское озеро, да с Словенского озера волок на Порозобицькое озеро, или с Порозобицького озера на Словенское озеро, и яз пожаловал двема монастырем, Кирилову монастырю да Мартемьянову,—велел есмь им треть волочити, а два жеребья велел есмь волочити волочаном волостным людем и слугам и черным»[6].

В нашем распоряжении очень мало данных о таких видах деревенского ремесла, как обработка металла, дерева, кожи и т.д. Материал, собранный и обследованный Б.А. Рыбаковым, относится в значительной мере к Новгородской земле. Б.А. Рыбаков не использовал одну группу источников, касающихся Северо-Восточной Руси,—акты на земли духовных феодальных корпораций, в которых часто встречаются имена деревенских ремесленников. Наибольший интерес представляют по количеству материала акты XV в. Троице-Сергиева монастыря. В них неоднократно встреча-

[1] АСЭИ, т. I, стр. 450, № 575.
[2] Там же, стр. 166—167, № 237.
[3] Там же, стр. 172, № 245.
[4] Там же, стр. 229, № 230.
[5] АФЗХ, ч. I, стр. 236, № 264.
[6] АСЭИ, т. II, стр. 96, № 159.

ются кузнецы (в качестве «послухов» при сформлении земельных актов[1] и «знахорей» на суде[2], «мужей» на земельных «разъездах»[3]). В документах XV в., фиксирующих земельные права Кириллова-Белозерского монастыря, не раз попадается имя кузнеца Михаля[4]. Видно, что кузнецы занимали видное положение среди крестьян (как черных, так и монастырских). В их работе была нужда, судя же по писцовым книгам Троице-Сергиева монастыря и митрополичьей кафедры конца XV—начала XVI в.[5], число кузнецов в сельских местностях было ограничено (правда, показания писцовых книг могут быть недостаточно точными).

Из других ремесленных профессий при перечислении послухов, присутствовавших при совершении земельных сделок, и «знахорей», опрашиваемых на суде, в документах называются булатник[6], иконники, крестечник[7], серебряный мастер[8]. Некоторые из этих профессий передавались по наследству: так, у иконника Степана был сын Тимоша Степанов[9]. Интересно, что последний являлся человеком грамотным и даже писал документы, оформлявшие сделки на землю. Весьма вероятно, что люди указанных специальностей не были связаны с деревней и работали в самом Троице-Сергиеве монастыре. В одной продажной записи Симонова монастыря «златой мастер» и «иконник» названы среди монастырских властей (архимандрита, казначея, строителя)[10]. Значит, они занимали видное положение в монастыре.

Встречаются в актах Троице-Сергиева монастыря, митрополичьей кафедры и т. д. указания на плотника[11], токаря[12], швецов[13], холщевника[14], епанечника[15], скорного мастера[16].

В целом надо сказать, что ремесленные профессии, восстанавливаемые по актам Северо-Восточной Руси, совпадают (за некоторыми исключениями, например за исключением доменного дела, о котором нет данных для центральных районов Руси) с теми профессиями, список которых составлен Б. А. Рыбаковым по Новгородским писцовым книгам конца XV в[17]. Установить процент неземле-

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 110, № 144; стр. 132, № 184; стр. 327, № 431.
[2] Там же, стр. 312, № 422; стр. 450, № 571; стр. 540, № 628.
[3] Там же, стр. 318, № 429; стр. 322, № 431; стр. 537, № 526.
[4] АСЭИ, т. II, стр. 51, № 82; стр. 52—53, № 86—87.
[5] АСЭИ, т. I, стр. 565—571, № 649; АФЗХ, ч. 1, стр. 29, 44, 45, 150, 153.
[6] АСЭИ, т. I, стр. 312, № 422.
[7] Там же, стр. 58, № 61; стр. 131—132, № 183; стр. 146, № 205; стр. 162, № 227; стр. 193—194, № 266—267.
[8] Там же, стр. 197, № 273.
[9] Там же, стр. 183, № 266; стр. 403, № 525.
[10] АСЭИ, т. II, стр. 344, № 347.
[11] АФЗХ, ч. 1, стр. 64.
[12] АСЭИ, т. I, стр. 467, № 584.
[13] Там же, стр. 10, № 31; стр. 43, № 32; стр. 118, № 161.
[14] Там же, стр. 114, № 153.
[15] АФЗХ, ч. 1, стр. 41.
[16] АСЭИ, т. I, стр. 288, № 396.
[17] *Б. А. Рыбаков*, Ремесло древней Руси, стр. 558.

дельческого населения среди деревенских ремесленников невозможно. Сведения о них слишком случайны. Во всяком случае, несомненно, что в русской деревне XIV—XV вв. господствовала домашняя крестьянская промышленность. Среди отдельных профессий (например, кузнецов, плотников) имела место и работа на заказ.

С. Б. Веселовский поднял очень интересный вопрос о возникновении в Северо-Восточной Руси в период образования централизованного государства сельских торжков. Автор относит это явление «ко второй половине XV в. и последующему времени». Но для второй половины XV в. он приводит только два примера, свидетельствующих о наличии торжков в селах. Данные, приведенные С. Б. Веселовским и широко затем использованные в советской литературе, относятся к селам Медне Новоторжского уезда и Клементьеву Радонежского уезда[1]. Между тем в распоряжении исследователей имеется гораздо больший материал о сельской торговле во второй половине XV в.

В духовной Ивана III 1504 г. говорится о торговле «съестным припасом» в подмосковных «селцех»[2]. Из жалованных грамот можно сделать вывод, что торжки были в принадлежавших Троице-Сергиеву монастырю селах Куноках Дмитровского уезда[3], Кучках и Деревеньках Юрьевского уезда[4] и пр.

Сохранилась чрезвычайно интересная грамота Ивана III 1462—1466 гг. переяславским таможникам—Мартыну Черному и Гриде Ильину, которые «откупили» право сбора тамги и «емлют» на «людех» Троице-Сергиева монастыря в Переяславле «тамгу и все пошлины», «да и по селом деи по их по манастырьским посылают поборов брати». По жалобе властей Троице-Сергиева монастыря князь распорядился: «и вы бы [таможники] и нынеча по старине на их людех на манастырских тамги, ни каких пошлин не имывали, ни по селом бы есте по их не посылали поборов брати»[5]. Раз по селам Троице-Сергиева монастыря, расположенным в Переяславском уезде, собирались таможенные пошлины, значит там производилась торговля.

В Бежецком Верхе у Троице-Сергиева монастыря были довольно крупные села Присеки и Сукромное. В жалованной тарханно-несудимой грамоте на эти села, выданной в 1462 г. Иваном III монастырю, в числе пошлин, от уплаты которых княжеским финансовым агентам освобождаются «все их крестьяне, селчяне монастырские и деревенщики», фигурируют мыт, тамга, осминичее, явка[6]. Поэтому можно думать, что в Присеках и Сукромном был

---

[1] *С. Б. Веселовский*, Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв., стр. 24—25.
[2] ДДГ, стр. 361, № 89.
[3] АСЭИ, т. I, стр. 293, № 400.
[4] Там же, стр. 302, № 412.
[5] Там же, стр. 222, № 311.
[6] Там же, стр. 214, № 304.

местный торжок. Такой вывод находит косвенное подтверждение и в некоторых других источниках. Из жалованной грамоты Троице-Сергиеву монастырю угличского князя Андрея Васильевича 1467—1474 гг. видно, что село Присеки представляло собой оживленный населенный пункт, вблизи которого совершался перевоз через реку Мологу («. . . а лете деи Мологу перевозятся под Присеками»). Из фискальных соображений князь отдал распоряжение (оглашенное на торгу в Городце), чтобы переправа через Мологу происходила в официально утвержденном месте, под Городцом (где за это взимались, конечно, и соответствующие пошлины). Там же было разрешено держать свой плот и присецким посельским («а поселские присецкие под Городецком на Молозе на перевозе держат плот свои»)[1]. То обстоятельство, что реальная действительность не укладывалась в княжеские требования, что фактически местом переправы через Мологу являлся перевоз под Присеками, заставляет предположить, что присецкий торжок в какой-то мере конкурировал с городецким торгом. Характерно, что в некоторых грамотах село Присеки называется «слободой»[2].

Село Троице-Сергиева монастыря Илемна, расположенное в Верейском уезде, было земледельческим и в то же время промысловым. Его население занималось лесным промыслом. По жалованной грамоте Ивана III 1467—1474 гг. «хрестьяном илемничем, селчяном и деревляном» было разрешено «сечи дрова и бревна ронити» в великокняжеских лесах. В 1487 г. угличский князь Андрей Васильевич позволил илеменским крестьянам «в свои лес в Переделскои ездити по дрова и по берна и что им будет иное надобет в лесе». Посельский села Илемны должен был давать крестьянам, отправляющимся на лесной промысел, в соответствии с их численностью («сколько их поедет в лес») «узолки за своею печатью», а княжеские пошлинники по представлении таких «узолков» были обязаны освобождать их от уплаты явки, мыта и от других поборов. Из грамоты волоцкого князя Бориса Васильевича конца 50—70-х годов XV в. видно, что крестьяне беспошлинно прогоняли из Илемны плоты и совершали довольно частые поездки «к монастырю» и в Малый Ярославец, везя оброк «или иное што» (возможно, товар на продажу) или отправляясь «на порожне»[3].

В Угличском уезде было расположено принадлежавшее Троице-Сергиеву монастырю село Прилуки. Там велось земледельческое хозяйство. В Прилуки монастырские старцы посылали «по масла и по заспу»[4]. В то же время село представляло собой промысловый центр. Здесь жили «рыболове, черньци и миряне», которые получили от великого московского князя Василия II право ловить рыбу «волно» «всякою ловлею в реке Волге, вниз до Ярославского

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 266, № 363.

[2] Там же, стр. 123—124, № 170; стр. 130, № 179.

[3] Там же, стр. 258, № 352; стр. 410, № 533; стр. 275, № 377; стр. 258, № 352; стр. 268, № 366.

[4] Там же, стр. 209, № 294.

рубежа». Монастырские рыбные промыслы представляли собой, по-видимому, довольно выгодное предприятие, привлекавшее внимание угличских посадских людей. Не случайно в жалованной грамоте Василия II Троице-Сергиеву монастырю 1447—1455 гг. имеется специальный пункт, запрещающий монастырским приказчикам принимать в Прилуки рыболовов, вышедших из Угличского посада. «А моих рыболовов, великого князя, с Углеча к себе в Прилук не приимають»[1]. В реках Корожечне и Пукше прилуцкие крестьяне ловили бобров. Население Прилук, очевидно, постоянно пользовалось для своих хозяйственных целей перевозом под Угличем, потому что прилуцкий посельский должен был давать «перевозником оуглечьским с монастырских хрестиан оброкомь по двенатцати алтын на лето»[2]. Весь приведенный мною материал источников создает представление о селе Прилуках как оживленном земледельческом и промысловом поселке, в котором, вероятно, был местный торжок. По крайней мере в жалованной грамоте Василия II Троице-Сергиеву монастырю 1455 г. в числе тех пошлин в княжескую казну, от которых были освобождены монастырские крестьяне, названы тамга, осминичее, костки[3].

В Суздальском уезде Троице-Сергиеву монастырю принадлежало большое село Шухобалово. Это был центр по преимуществу земледельческого хозяйства. Местные крестьяне торговали хлебом. Московские князья своими жалованными грамотами запрещали собирать в Шухобалове тамгу, мыт, что указывает (хотя и не прямо) на наличие там местного торга. С Шухобалова ежегодно уплачивался в великокняжескую казну денежный оброк[4], что также косвенно может свидетельствовать о втягивании села в товарно-денежные отношения.

Вело торговлю население села Федоровского и «тянувших» к нему деревень, сосредоточенных в центре соляных промыслов—Нерехте. Это видно из того, что жалованной грамотой 1453 г. великая княгиня Мария Ярославна освободила крестьян указанного села с деревнями от платежа ряда торговых пошлин: осминичего, весчего, явленного, пятенного. О том, что в районе Нерехты развивались (хотя мы и не знаем, в какой степени) товарно-денежные отношения, свидетельствует тот факт, что в конце 70-х годов XV в. с села Федоровского и других владений Троице-Сергиева монастыря, здесь расположенных, в княжескую казну шел денежный оброк в сумме 18 рублей ежегодно[5].

Вероятно, занимались торговлей и крестьяне сел и деревень Троице-Сергиева монастыря, находившихся в районе Соли Галицкой. В пользу этого утверждения говорит то обстоятельство, что, согласно жалованной грамоте Василия II 1455—1462 гг., крестьян-

[1] АСЭИ, т. I, стр. 150, № 215.
[2] Там же, стр. 150—151, № 215.
[3] Там же, стр. 183, № 254.
[4] Там же, стр. 453, № 573; стр. 128, № 176; стр. 282, № 388.
[5] Там же, стр. 380, № 502; стр. 346, № 458.

ские натуральные повинности в пользу волостелей («корм») были здесь переведены на деньги[1].

С. Б. Веселовский утверждает, что возникновение местного торжка в митрополичьей Карашской слободе Ростовского уезда относится ко второй половине XVI в.[2] С этим утверждением согласиться нельзя, ибо, судя по документам второй половины XV в., там уже в это время производилась торговля предметами местного производства и «перекупным товаром». Через слободку Караш был проложен «путь непошлой» из Ростова, Юрьева, Переяславля и других мест[3]. Слободка Караш, по-видимому, была оживленным торговым центром.

Симонов монастырь владел в Ржевском уезде слободкой Рожек, расположенной в районе озер, богатых рыбой. По всей видимости, в слободке производилась торговля продуктами рыболовства[4].

В Белозерском уезде довольно оживленными поселками были слободки Кириллова монастыря—Рукинская и Романовская. Через них проходил путь из Волочка, Череповца и из других мест. Во второй половине XV в. князь Михаил Андреевич обложил эти слободки денежным оброком[5]. В Белозерской таможенной грамоте 1497 г. говорится о белозерской волости Угле как торговом пункте: «А на Угле быти торгу по старине»[6].

Я не буду специально останавливаться на характеристике тех промыслово-торговых поселков-рядков, которые во второй половине XV в. (а в некоторых случаях и раньше) возникли в Новгородской земле, где процесс развития товарно-денежных отношений, по-видимому, совершался интенсивнее, чем в других районах Руси. Я только напомню некоторые данные об этих рядках, уже хорошо известные в нашей литературе. В Ужинском погосте Шелонской пятины к началу XVI в. (около 1500 г.) числились 81 двор и 143 человека тяглого населения мужского пола. Ни один двор не имел пашни. Большинство жителей поселка занималось рыболовством и продажей рыбы. Во Взвадском рыболовецком погосте той же пятины в то же время значилось по писцовым книгам 88 непашенных дворов и 130 тяглецов. С 1498 г. оброки здесь были переведены на деньги. В Бежецкой пятине, на р. Мсте, к концу XV в. вырос рядок Млево. В нем было 225 лавок, в которых крестьяне торговали хлебом и другими товарами. В Деревской пятине, в волости Березовец, около озера Селигер, возник небольшой посад. В 1495 г. там имелось 46 тяглых дворов и 50 тяглецов, которые, однако, не полностью порвали с земледелием. Стерженский погост Деревской пятины представлял собой торгово-ремесленный

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 190, № 261.

[2] *С. Б. Веселовский*, Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв., стр. 24—25.

[3] АФЗХ, ч. 1, стр. 23, № 1; стр. 24—25, № 2—5.

[4] АСЭИ, т. II, стр. 337, № 339.

[5] Там же, стр. 44, № 69; стр. 65, № 106; стр. 115, № 182.

[6] ААЭ, т. I, стр. 101, № 134.

поселок. В 1495 г. здесь значилось 17 дворов, из них 5 непашенных. В поселке Мореве (той же пятины) в том же году было зарегистрировано 11 пашенных и 7 непашенных дворов, 2 двора церковного причта. Жители Стержа и Морева занимались кузнечным делом. В волости Велия, где были развиты бортничество, рыболовство, льноводство, разведение хмеля, опись 1495 г. отметила 5 тяглых и 19 непашенных дворов, два двора церковного причта, 10 захребетников[1].

Возникновение в XV в. в ряде областей поселений промыслово-торгового типа, конечно, содействовало образованию экономических связей (пусть пока еще главным образом в ограниченном локально масштабе). И это создавало предпосылки для политического объединения русских земель. Однако надо иметь в виду, что территориальное разделение труда только еще зарождалось и основывалось на различии естественно географических условий в разных районах[2].

* * *

Мне кажется, что в связи с тем, что некоторые села приобрели во второй половине XV в. значение промысловых и торговых пунктов, в княжеских жалованных грамотах, выдаваемых владельцам этих сел, появляются специальные статьи, запрещающие посторонним людям приезжать «незванными» на «пиры» и «братчины» к крестьянам этих сел. Очевидно, скопление народа в селах, жители которых занимались промыслами, где велась торговля, где среди крестьян выделилась часть зажиточных людей, не представлялось желательным ни землевладельцам, ни князьям, ибо подобное скопление могло повести к неприятным для них последствиям: к материальным убыткам, нарушениям установленного феодалами в своих имениях правопорядка, к уголовным преступлениям, а иногда, может быть, и к социальным волнениям.

Статьи жалованных грамот о запрете «незванным» людям посещать сельские «пиры» и «братчины» по-настоящему еще в исторической литературе не изучены, их социально-экономический и политический смысл должным образом не раскрыт. Чтобы восполнить этот пробел, мне представляется методологически правильным рассмотреть соответствующие жалованные грамоты по отдельным феодальным владениям, ибо только таким путем можно понять, какую роль играли эти грамоты в конкретно-исторических условиях.

Наибольший интерес представляют документы Троице-Сергиева монастыря, во владениях которого в XV в. появился ряд сел, где производились промыслы и торги. Рассматривая жалованные

---

[1] *Л. В. Данилова*, указ. соч., стр. 35—36, 38—41.

[2] *Л. В. Данилова* и *В. Т. Пашуто*, Товарное производство на Руси до XVII в. («Вопросы истории», 1954, № 1, стр. 129).

грамоты князей Троице-Сергиеву монастырю, прежде всего, как я уже говорил, можно сделать вывод, что только со второй половины XV в. в них начинают фигурировать пункты, касающиеся «незванных» гостей на крестьянских пирах и братчинах. Далее, следует подчеркнуть, что статьи с запретом «незванным» гостям бывать на крестьянских «пирах» и «братчинах» появляются в первую очередь в жалованных грамотах, относящихся к таким крупным промысловым населенным пунктам, как Клементево в Радонежском уезде, Присеки в Бежецком уезде, Илемна в Верейском уезде, Шухобалово в Суздальском уезде[1] и т. д.

«Незванные» гости приезжали к монастырским крестьянам на «пиры» и «братчины» в те дни, когда в селах и деревнях, в которых они жили, отмечались какие-либо «праздники»[2]. Весьма вероятно, что в определенные праздники в тех или иных сельских местностях происходили и торги, в связи с чем там скоплялось много народа. Согласно указаниям жалованных грамот, можно думать, что этот народ собирался не из одних ближних, но также и из сравнительно отдаленных мест. Источники говорят не только о «приходе», но и о «приезде» разных людей на «пиры» и «братчины», о том, что приезжие оставались после пиршеств на «ночлег» у хозяев[3]. *«Пиры» и «братчины»*—это, очевидно, представляющие собой пережитки языческого культа коллективные торжественные собрания, во время которых съехавшиеся угощались за праздничным столом. В то же время можно думать, что такие собрания представляли собой примитивные формы организации местного сельского населения. В этих формах проявлялась деятельность сельской крестьянской общины. Во время «пиров» и «братчин» могли обсуждаться крестьянские нужды, решаться мирские дела. «Пиры» и «братчины» были одним из средств сплочения крестьянства в условиях их разобщенности по отдельным, мало связанным еще между собой селениям, разбросанным на огромной территории аграрной страны.

Кто же бывал на «пирах» и «братчинах» в качестве «незванных» гостей? Разные люди. Во-первых, представители княжеской администрации—тиуны, доводчики[4], кто-либо из лиц, принадлежащих к персоналу наместников и волостелей[5]. Такие посетители были, конечно, весьма нежелательны для крестьян. Поэтому содержащееся в княжеских жалованных грамотах (в соответствии с челобитьями землевладельцев) запрещение подобным людям приезжать на«пиры» и «братчины» к их вотчинным крестьянам отвечало интересам последних. Столь же нежелательными для крестьян посетителями их пиршеств были и боярские «люди», если понимать под

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 220, № 309; стр. 192, № 264; стр. 349, № 463; стр. 225, № 315.

[2] Там же, стр. 237, № 327.

[3] Там же, стр. 225, № 315; стр. 220, № 309.

[4] Там же, стр. 192, № 264.

[5] Там же, стр. 223, № 312.

этим термином дворцовых и военных слуг бояр[1]. Но когда в жалованных грамотах князей поднимается вопрос о недопущении на «пиры» и «братчины», устраиваемые монастырскими крестьянами, великокняжеских или боярских «сельчан», то невольно возникает предположение, что это делалось в интересах не столько сельского населения, сколько землевладельческого класса. Формально соответствующие статьи жалованных грамот звучат так: великокняжеский или боярский «сельчанин» зашел «незванным» на «пир», на «братчину» к монастырским крестьянам. Последние могут его «выслать вон беспенно» (т. е. безнаказанно). В условиях феодальной раздробленности, когда у крестьянства отсутствовала крепкая классовая солидарность, подобные явления вражды между крестьянами отдельных владельцев были достаточно распространенными. А феодалы и феодальное государство эту вражду намеренно поддерживали и разжигали из боязни того, как бы не последовало сплочение антифеодальных сил (пусть даже в местном, локальном масштабе). Такова была сознательная политика, проводимая князьями. Но за соответствующими формулами жалованных грамот раскрывается реальная действительность: «сельчане» разных землевладельцев не только враждовали, но вопреки воле и намерениям их господ между ними происходило общение, у них зарождались какие-то элементы солидарности в борьбе за свои классовые интересы, а одним из путей к этому было соприкосновение на «пирах» и «братчинах».

Из жалованных грамот видно, что на «пирах» и «братчинах» их участники из числа «незванных» гостей совершали (с точки зрения феодального права) преступления, которые квалифицируются как «гибель», «бой», «лихо»[2], т. е. воровство, драка, убийство. Князья своими жалованными грамотами устанавливают ответственность за эти преступления пришлых людей и берут под защиту местных крестьян от своей администрации, представители которой насильно вторгались к крестьянам. Подобными мерами достигалась популярность княжеской власти в глазах сельского населения и охранялись интересы вотчинников, для которых было важно, чтобы жизнь и имущество их крестьян не подвергались опасности в результате самоуправства со стороны наместничьих и волостелиных тиунов и доводчиков, боярской дворни и т. д. Но нельзя упускать из виду и другое: князья боялись за тех лиц из числа своей администрации, которые попадали на «пиры» и «братчины», как бы они сами не стали жертвой нападения со стороны крестьян, в этих случаях представлявших собой в какой-то мере уже сплоченный коллектив. Опасались князья и общения с местными крестьянами «сельчан», пришедших на «пиры» и «братчины» из других сел. Опасались потому, что «пиры» и «братчины» являлись, очевидно, не просто местом праздничной встречи, а служили (пусть

[1] АСЭИ, т. I, стр. 348, № 462.
[2] Там же, стр. 192, № 264; стр. 349, № 463; стр. 348, № 462.

примитивной) организационной формой, через которую проявлялась (еще в зародышевом виде) консолидация классовых интересов крестьянства. Поэтому и «лихо» и «гибель», которые могут случиться во время «пира» и «братчины»,—это вовсе не всегда уголовные преступления. За этими терминами могут скрываться и разные проявления классового протеста крестьянства: убийства представителей феодальной администрации, хищение феодальной собственности и т. д.

Таким образом, на основе изучения статей жалованных грамот о «незванных» посетителях крестьянских «пиров» и «братчин», можно, мне кажется, сделать следующий вывод. Появление указанных статей в документах второй половины XV в. связано с образованием в это время крупных населенных земледельческих и промысловых сел с местными торжками. Они становились центрами притяжения для окрестного (в том числе крестьянского) населения. В связи с этим поднималась активность крестьянства. «Пиры» и «братчины», устраивавшиеся в таких населенных пунктах в праздничные дни (может быть, совпадавшие с днями, в которые происходили сельские торги), делались местами сборищ крестьян. Поэтому так подозрительно относились к крестьянским «пирам» и «братчинам» и землевладельцы, и правительство, под видом защиты их участников от непрошенных гостей, старавшиеся парализовать возможность каких-либо нежелательных выступлений самих крестьян.

Следует обратить внимание еще на два пункта изучаемых жалованных грамот. Один из них касается *«попрошаев»*, являющихся к крестьянам. Таких «попрошаев», согласно указаниям жалованных грамот, велено «слати з двора беспенно» и ничего им не «давати»[1]. О ком здесь идет речь, сказать трудно. Может быть, о тех же наместничьих слугах или боярских послужильцах, которые станут заниматься вымогательствами с крестьян. Но, может быть, и об обедневших, обнищавших, обезземеленных крестьянах. «Что их деревни на Колкаче, и в те их деревни из моих волостеи ездят попрошаи жита просити»,—читаем в грамоте вологодского князя Андрея Васильевича Кириллову-Белозерскому монастырю 1471—1475 гг.[2] В данном случае совершенно ясно, что «попрошаями жита» являются представители беднейшей части крестьянства, очевидно, лишившиеся земли и не имевшие средств к существованию. Появление таких социальных элементов в феодальной деревне весьма знаменательно, означая дальнейшее обострение классовых противоречий и вызывая в качестве реакции со стороны господствующего класса усиление государственного аппарата.

Другое интересное явление, отраженное в жалованных грамотах второй половины XV в.,—это деятельность в селах и деревнях бродячих скоморохов: «такжо и скоморохи у них в тех в их

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 134, № 206.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 391, № 516.

селех не играют»[1]. Запрещение скоморохам выступать с представлениями среди крестьян говорит о том, что правительство боялось таких выступлений. Вероятно, они таили в себе какую-то социальную опасность, заключая элементы критики феодальных порядков.

Рядом со скоморохами источники иногда упоминают «смычников»: «а скоморохи и смычники к ним играть по деревням и по селом не ходят»,—указано в жалованной грамоте рузского князя Ивана Борисовича Симонову монастырю 1502 г.[2] «Смычники» — это, очевидно, люди, играющие на каких-то инструментах. Надо думать, что термин происходит от слова «смычок», а не «смык»— примитивная борона, как предположил Б. А. Рыбаков[3].

Скоморохи упоминаются в писцовых книгах в качестве деревенских жителей[4]. Но, очевидно, земледелием они не занимались и добывали средства к существованию в качестве бродячих актеров.

Характерно, что в некоторых княжеских грамотах скоморохи ставятся рядом с «попрошаями» хлеба («ни скомороси у них в тех селах и в деревнях не играти, ни попрошатаем у них в тех селах и в деревнях не ездити, жита не збирати»)[5]. Значит, с точки зрения княжеской власти, скоморохи принадлежат к тем элементам общества, которые питаются подаянием и с которыми государство ведет борьбу.

Из приведенного материала, по-моему, хорошо видно, как новые явления в области экономики вызывают обострение классовых противоречий в феодальной деревне, а это обострение заставляет господствующий класс искать новых форм организации своей политической власти.

§ 2. Характер связи крестьянского хозяйства с рынком

Одной из очень важных проблем экономического развития Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. является вопрос о степени связанности в это время с рынком крестьянского хозяйства. Источников для решения указанного вопроса мало. По преимуществу это жалованные грамоты князей монастырям и митрополичьей кафедре, освобождающие население вотчин духовных феодалов от уплаты в княжескую казну пошлин при проезде с товарами и при реализации их на рынке. Соответствующие пошлины должны были взиматься в свою пользу теми духовными землевладельцами, в зависимости от которых находились торгующие крестьяне. Стало

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 285, № 293; стр. 577, № 652.

[2] АСЭИ, т. II, стр. 467, № 426.

[3] *Б. А. Рыбаков*, Ремесло древней Руси, стр. 564.

[4] АСЭИ, т. I, стр. 565, № 649.

[5] Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, отдел рукописей, собр. Беляева, № 26; *Д. Лебедев*, Собрание историко-юридических актов И. Д. Беляева, М., 1881, № 26.

быть, узость источниковедческой базы заставляет исследователя изучать вопросы товарного производства через призму материала, характеризующего товарное обращение. Естественно, что вполне убедительные выводы таким путем получены быть не могут.

Общий вывод, который можно сделать на основании названных выше источников, сводится к тому, что экономика XIV—XV вв. являлась натуральной, о развитии товарного производства в сельском хозяйстве по-настоящему говорить еще не приходится. Но продажа крестьянами сельскохозяйственных продуктов была явлением достаточно распространенным. А в некоторых промысловых хозяйствах, может быть, можно усмотреть и элементы производства на рынок. И, конечно, рост (в связи с развитием сельского хозяйства) экономических связей в стране (хотя бы в области товарного обращения, а не производства) служил предпосылкой политического объединения русских земель.

Рассмотрим имеющийся в источниках материал, характеризующий торговые операции крестьянства Северо-Восточной Руси. В большинстве жалованных грамот князей монастырям данные о крестьянской торговле очень лаконичны и скупы. Но и эти скудные указания ценны, ибо они свидетельствуют о том, что (как было мною подчеркнуто) во всяком случае продукция крестьянского земледельческого и промыслового хозяйства фигурировала на рынке как товар.

Жалованная грамота ярославского князя Федора Федоровича Толгскому монастырю на деревню Кукольцино около 1400 г. гласит: «А што купят или што продадут, ине таможником моим не являют»[1]. Из жалованной грамоты князя Юрия Дмитриевича Саввину-Сторожевскому монастырю 1404 г. на владения в Звенигородском и Рузском уездах видно, что монастырские крестьяне торговали в селах и на «торгах» (может быть, в городах, а может быть, в специальных торгово-ремесленных поселениях—«рядках», о которых шла речь выше). «А который хрестьянин монастырской продаст в торгу или в селе,—и они тамгу платят игумену Саве в монастыре»[2]. Жалованная грамота князей Василия и Федора Юрьевичей Шуйских Спасо-Евфимьеву монастырю 1445—1446 гг. предусматривает возможность, что кто-либо из монастырских крестьян «купит ли что, продаст ли», освобождая их от уплаты пошлин[3]. В жалованной грамоте 1447—1455 гг. серпуховско-боровского князя Василия Ярославича Троице-Сергиеву монастырю на двор в городе Дмитрове и на земельные владения в Дмитровском уезде говорится: «. . . хто у них в тех селех живет людей и в их дворе в городском, ино те люди купят ли што, продадут ли, ино тем людем не надобеть явленное, ни пятенное»[4]. К 1462—1466 гг. относится распоряжение

---

[1] ААЭ, т. I, № 15; РИБ, т. XXXII, Пг., 1915, № 1.
[2] АИ, т. I, № 15.
[3] АСЭИ, т. II, стр. 489, № 447.
[4] АСЭИ, т. I, стр. 172, № 198.

Ивана III, посланное в Галич таможнику Федору Добрынину, о ненарушении жалованной грамоты, данной князем Троице-Сергиеву монастырю, и о невзимании таможенных пошлин с монастырских старцев и крестьян[1]. В жалованной грамоте князя Даниила Ярославича игумену Спасо-Ярославского монастыря Христофору на село Вышеславское с деревнями около 1463—1478 гг. читаем: монастырские крестьяне продаваемые товары «. . . таможником моим не являють, ни пошлин им никаких не дают»[2]. В одновременно выданной грамоте князя Федора Романовича тому же монастырю на пустошь Головинскую имеется следующее предписание: «и што купят или што продадут, ине таможником моим не являют, являют анхимандриту или ево приказнику»[3].

Особенно многочисленны в жалованных грамотах данные о крестьянской торговле лошадями. Эти данные фигурируют обычно в грамотах в связи с указанием на то, что при совершении в монастырских вотчинах актов купли-продажи лошадей представители княжеской администрации («пятенщики») не должны были производить их клейменье («пятненье»), сопровождавшееся взысканием соответствующей пошлины («пятна»). И клеймить продаваемых лошадей, и собирать за это пошлины получали право землевладельцы или их приказчики. В некоторых жалованных грамотах по этому поводу содержатся развернутые постановления. Например, в жалованной грамоте Василия II Троице-Сергиеву монастырю на село Шухобалово Суздальского уезда 1449—1450 гг. имеется следующий пункт: «...и кто в том селе живут у них люди, и почнут конми меняти или торговати, продаст ли кто, купит ли,—монастырскии люди, и они являют своему приказнику монастырскому; а монастырской приказник держит пятно свое у себя. А пятенник мой суждальской их коней монастырских не пятнит, ни пошлин с них не емлет никоторых»[4].

В других случаях жалованные грамоты ограничиваются кратким упоминанием о том, что монастырские власти могут иметь собственное «пятно» (клеймо), что подразумевает и их право на получение пошлин от клеймения продаваемых и покупаемых их крестьянами лошадей. Так, в ряде жалованных грамот князей Иосифову-Волоколамскому монастырю содержится формула: «А пятно держит Иосиф в том селе и в деревнях свое»[5].

Но в той или иной (в сокращенной или в полной) редакции формула жалованных грамот о монастырском «пятне» достаточно распространена, что, повторяю, служит доказательством распространенности торговли лошадями. О продаже коней крестьянами Троице-Сергиева монастыря имеются сведения, относящиеся к уездам: Московскому, Радонежскому, Дмитровскому, Переяславскому,

---

[1] АСЭИ, т.I, стр. 226, № 317.
[2] «Сборник Муханова», № 57.
[3] Там же, № 58.
[4] АСЭИ, т. I, стр. 161, № 226.
[5] АФЗХ, ч. 2, стр. 17, № 14; стр. 23, № 18.

Бежецкому, Новоторжскому, Тверскому, Кашинскому, Верейскому, Угличскому, Владимирскому, Суздальскому[1].

Конкретный материал о торговле крестьян продуктами земледелия и животноводства находим в ряде жалованных грамот, выданных князьями властям отдельных монастырей, в которых содержится запрет различным представителям княжеской администрации останавливаться в монастырских владениях и требовать себе с населения бесплатно «корм». В то же время в указанных грамотах говорится, что лица, выполняющие княжеские поручения, могут купить у крестьян продукты по установившимся в соответствующих местностях ценам. Так, в грамоте, выданной около 1471 г. Иваном III Троицкому Махрищскому монастырю, имеется упоминание о княжеских гонцах, которые в монастырских деревнях «корм купят собе и конем»[2]. В грамоте Ивана III Кириллову-Белозерскому монастырю 1479 г. читаем: «А кому ся прилучит в их селех и в деревнях в монастырьских обед или ночлег, и они у них кормы собе и конем купят по той цене, как коли у них в земле будет, и силою у них не емлют ничего»[3].

В жалованной грамоте рузского князя Ивана Борисовича Симонову монастырю 1502 г. названы цены (меняющиеся в различные сезоны года) на продукты и товары, которых должны были придерживаться лица, попавшие в монастырские вотчины и вынужденные или пожелавшие там что-либо купить. «А нечто кого на дорозе ниволя изымает, а у них станет, и он у них корм купит и собе и конем. А купит кадь овса в осенинах четыре денги, а весне алтын; за двое хлебов даст денгу; в осенинах двое куров денга, а весне куря по денге. А сена сажень с ноги на руку косая, конец от земли до земли, денга»[4].

Из приведенных примеров видно, что крестьяне различных монастырских сел и деревень торговали сельскохозяйственными продуктами, что эта торговля имела не спорадический, а более или менее устойчивый характер, что на отдельные произведения земледельческого крестьянского хозяйства в урожайные годы устанавливались более или менее стабильные цены.

О масштабах крестьянской торговли можно в известной мере судить на основании материала большинства жалованных грамот, предусматривающих торговые сделки трех типов: 1) между крестьянами в пределах данного селения; 2) между крестьянами разных селений в пределах одной волости или уезда; 3) между крестьянами и горожанами данного уезда. Сведения обо всех трех названных случаях содержатся в жалованной грамоте дмитровского князя

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 306, № 416; стр. 220, № 309; стр. 292, № 400; стр. 221, № 310; стр. 232, № 322; стр. 253, № 346; стр. 342, № 456; стр. 215, № 304; стр. 199, № 278; стр. 408, № 531; стр. 393, № 518; стр. 393, № 519; стр. 411, № 534; стр. 233, № 323; стр. 323, № 312; стр. 92, № 115.

[2] Там же, стр. 295, № 403.

[3] АСЭИ, т. II, стр. 167, № 254.

[4] Там же, стр. 466, № 426.

Юрия Васильевича Троице-Сергиеву монастырю 1471 г. на село Куноки в Дмитровском уезде. Прежде всего здесь речь идет о том случае, когда придется «монастырьскому человеку с монастырьским человеком [т.е. двум монастырским крестьянам] между собя купити, или продати, или менити». Подобные сделки не облагаются пошлинами со стороны княжеских чиновников: «и они [крестьяне] таможником моим, ни пошлинником не являют, ни пятенщиком не являют жо, ни пятна у них, ни пошлин с того не дают». Затем грамота останавливается на других случаях, когда «каков торг или мена монастырьскому человеку с гороцким человеком или с волостным человеком». В таких случаях княжеские финансовые агенты облагают пошлинами лишь горожан и черных, но не монастырских, крестьян: «и городцкои человек и волостной являют моим пошлинником, а монастырскои являет своему монастырьскому приказнику, а таможники мои и пятенщики не вступаются в монастырьского человека ни в чем, и все пошлинники». Аналогичные условия торга встречаются в грамотах Ивана III Троице-Сергиеву монастырю 1472—1473 гг. на села Кучки и Деревеньку Юрьевского уезда и дмитровского князя Юрия Ивановича тому же монастырю на ряд сел и деревень Дмитровского уезда 1504 г.[1]

Итак, по-видимому, преобладали торговые сделки крестьян в местном масштабе. Но иногда торговые операции крестьян выходили за пределы данного селения, данного уезда, за пределы ближайшего города. Крестьяне выезжали с продуктами своего производства и в более отдаленные волости или города. Так, жалованная грамота Василия II Троице-Сергиеву монастырю 1432—1445 гг. предусматривала, что монастырские «люди» (крестьяне), проживавшие в Ростове в монастырском дворе и занимавшиеся рыбной ловлей, «. . . *учнут торговати в . . . городех или в волостех, купят ли что, продадут ли. . .*», и освобождала их от пошлин, взыскиваемых при совершении подобных торговых сделок[2].

Согласно жалованной грамоте Ивана III Троице-Сергиеву монастырю 1467—1474 гг., крестьяне ряда монастырских сел и приселков, а также монастырские старцы и слуги могли беспошлинно проезжать «з житом или з животиною, с чем ни буди, какой товар ни повезут», через Козловский мыт, в Серебоже Переяславского уезда[3]. Этот «товар» (и прежде всего хлеб и скот) переправлялся, конечно, в те районы (судя по всему, не очень отдаленные), где на него был бóльший спрос.

Из жалованной грамоты угличского князя Андрея Васильевича Большого Троице-Сергиеву монастырю 1467—1474 гг. узнаем о том, что крестьяне ряда монастырских деревень Кашинского уезда «ездят. . . на Углечь торговати, или иным которым своим делом... »[4]

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 292, № 400; стр. 302, № 412; стр. 576, № 652.
[2] Там же, стр. 79, № 98.
[3] Там же, стр. 263, № 358.
[4] Там же, стр. 267, № 364.

Из грамоты Ивана III юрьевскому наместнику Семену Карповичу 1493 г. видно, что крестьяне суздальского села Шухобалова, принадлежавшего Троице-Сергиеву монастырю, провозили (очевидно, для продажи) на возах с монастырскими хлебными припасами свое зерно, с тем чтобы избежать уплаты проезжих и торговых пошлин (монастырские хлебные обозы пользовались, как известно, податным иммунитетом). Иван III распорядился, чтобы в подобных случаях крестьяне облагались соответствующими пошлинами: «А хто поедет с ними [монастырскими старцами] их хрестьянин, или иныи хто, с своим житом, а учнут проводити за монастырское жито, и ты бы с тех мыт и все пошлины имал. . .»[1].

В жалованной грамоте дмитровского князя Юрия Ивановича Троице-Сергиеву монастырю 1504 г. содержится интересная статья, из которой видно, что многие крестьяне, желая торговать беспошлинно (на что имели право монастыри), выдавали себя за жителей монастырских вотчин. «А манастырьским людем иных ничьих людеи за манастырских людей от пошлин не отнимати ни от которых»,—читаем в названном документе[2].

О поездках крестьян с торговыми целями данные имеются не только в жалованных грамотах. По одному судебному делу 1498 г. должен был явиться в определенный срок в суд старожилец Клим Сидоров, но он нарушил срок явки, потому что «уехал в Новгород в Нижней торговати»[3].

В условиях еще сохранявшей полностью свое господство натуральной экономики XIV—XV вв. появлялись зародыши некоторых новых явлений. Так, в наиболее зажиточных хлебных селах среди крестьянского населения выделялись скупщики, перепродававшие товары, которые они покупали у других крестьян. В жалованной тарханно-несудимой грамоте Ивана III митрополичьей кафедре на слободку Караш Ростовского уезда 1483 г. имеются сведения о двух типах торговых сделок, которые производили митрополичьи крестьяне, жители слободки, на территории всего «великого княжения»: 1) продажа предметов собственного производства; 2) продажа скупленных товаров. Сделки первого рода не подлежали обложению пошлинами, со сделок второго рода пошлины взимались. «А что слободчаня митрополичи продадут свое домашнее или что купят себе надобное в моей отчине, великом княженьи, от того им тамга не надобе, ни восьмничее, ни мыт, ни иная никоторая пошлина, *развее перекупново товара*. А который слободчянин *имет перекупным товаром торговати*, с того возьмут пошлинники тамгу, и мыт, и восьмничее по пошлине»[4].

Аналогичные явления в митрополичьих имениях Владимирского уезда рисует уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича и митрополита Киприана конца XIV—начала XV в. Грамота

[1] АСЭИ, т. I, стр. 453, № 573.
[2] Там же, стр. 576, № 652.
[3] АФЗХ, ч. I, стр. 111, № 117.
[4] Там же, стр. 25, № 1.

выделяет среди торгующих митрополичьих крестьян, с одной стороны, тех, кто «*продает свое домашнее*», с другой стороны,—тех, кто «*имет прикупом которым торговати*»[1].

Крестьяне некоторых вотчин вели торговлю с гостями, крупными представителями купечества, которые производили, очевидно, значительные закупки товара. Известно, например, что гости закупали рыбу у крестьян Белозерского княжества, которые в свою очередь скупали ее у промышленников. Так, в жалованной грамоте верейского и белозерского князя Михаила Андреевича игумену Кириллова-Белозерского монастыря Кассиану 1448—1469 гг. на землю Бережную в Каргополе читаем: «А тем людем монастырским на озеро рыбы ловити, *а за озером рыба купити, и в городе рыбою с гостьми торговати*»[2]. К приведенному документу близка по содержанию жалованная грамота того же князя, выданная в 1455 г. Афанасию Внукову на земли Липник и Мароозеро, в которой говорится: «А торговати Афонасью и его детем и их людем на Белеозере *в городе з гостми сущем и рыбою слободно, а заповеди им нет*»[3].

В селения Волоколамского княжества, промышлявшие рыбой, прибывали для закупок последней гости из-за рубежа. В грамоте волоцкого князя Федора Борисовича Иосифову-Волоколамскому монастырю 1500 г. содержится такая статья: «А кто что монастырской крестьянин купит или продаст в Кличенской волости (Ржевского уезда), и оне властелю и тиуну не являют. А кто из зарубежья придет жить в монастырские деревни, или кто из зарубежья приедет гостить, а не с торгом, и оне властелю и их тиуну не являют»[4]. Наличие в документе приведенной статьи является достаточным показателем того, что распространенным явлением были приезды в деревни Иосифова-Волоколамского монастыря зарубежных купцов с торговыми целями.

Итак, можно сказать, что на протяжении XIV—XV вв. получила достаточное развитие крестьянская торговля продуктами земледелия, животноводства и промыслов. Этот вывод не дает права говорить о товарном производстве в русской деревне рассматриваемого времени, полностью сохранявшей свой натурально-хозяйственный облик. Речь в основном может идти лишь о выбрасывании крестьянами на рынок излишков своего земледельческого хозяйства. Только в виде исключения допустимо ставить вопрос о том, что иногда добывающая промышленность (например, рыболовство) и совсем уже редко земледельческое хозяйство могли работать на рынок. Лишь намечалось перерастание многих мелких сельскохозяйственных рынков в областные. Но и расширение сферы товарного обращения продукции сельского хозяйства и промыслов представляло собой условие политического объединения Руси. А такие явления (хотя бы спорадически наблюдаемые), как тор-

[1] ААЭ, т. I, № 9.
[2] АСЭИ, т. II, стр. 81, № 136.
[3] Там же, стр. 99, № 164.
[4] АФЗХ, ч. 2, стр. 29, № 25.

говля крестьян скупленными товарами, их выезды с сельскохозяйственными продуктами за пределы своего села и ближайшего к нему города, их экономические связи с крупными гостями, закупавшими, очевидно, у них сравнительно большие партии товаров, не изменяя натурально-хозяйственной основы развития Руси, свидетельствовали в какой-то мере о тенденции к преодолению изоляции отдельных русских земель.

* * *

Хотя и очень еще слабая, связь крестьянского хозяйства с рынком не могла не оказывать влияния на рост имущественного неравенства крестьян. Особенно ясно прослеживается это на материале, относящемся к истории Новгородской земли. В связи с усилением имущественного неравенства в новгородской деревне XV в. здесь появляются особые категории сельского населения: *подворники*, *захребетники*, *бобыли*. По-видимому, это—обедневшие крестьяне. Если у некоторых из подворников были собственные дворы[1], то часть их жила в чужих дворах, принадлежавших крестьянам или землевладельцам[2]. Упоминаются в писцовых книгах «непашенные» (т. е. не имеющие собственной запашки) подворники[3]. В писцовых книгах содержатся некоторые интересные характеристики подворников, рисующие их как людей бедных. Например: подворник Ивашко «худ, в обжы не положен»[4].

Аналогичные выводы можно сделать в отношении захребетников. Были среди них люди, владевшие собственными дворами[5] и имевшие пашню[6]. Но многие значатся по писцовым книгам живущими у других дворовладельцев[7]. Иногда захребетники записаны за несколькими крестьянами, которые, очевидно, предоставляют им жилище и заработок[8]. В отношении некоторых захребетников писцовые книги специально указывают, что у них нет пашни («не пашут»)[9].

Неоднократно упоминаются в Новгородских писцовых книгах бобыли. Это не тяглое население. Часть бобылей лишена пашни: «двор Игнатко Михалев, без пашни»; «да на церковной же земле дворы бобылские... без пашни, позема дают к церкве попу по два алтына»[10]. Кое-кто из бобылей имеет незначительные пашенные участки[11]. Некоторые занимаются ремеслом и промыслами[12].

---

[1] НПК, т. I, стр. 215, 248, 316, 345, 480, 481, 496, 498, 681, 729, 808, 810, 817, 846; т. II, стр. 94, 142, 224; т. III, стр. 559.
[2] НПК, т. I, стр. 6, 13, 37, 530; т. IV, стр. 127.
[3] НПК, т. I, стр. 810.
[4] НПК, т. II, стр. 557.
[5] НПК, т. I, стр. 9, 18, 44, 45, 46, 57, 447; т. III, стр. 281; т. IV, стр. 37, 38, 44.
[6] НПК, т. II, стр. 614, 615, 692; т. IV, стр. 211.
[7] НПК, т. I, стр. 2, 4, 5, 7, 10, 12, 37; т. III, стр. 25; т. IV, стр. 140.
[8] НПК, т. I, стр. 42, 52, 53, 56, 64, 520, 548; т. II, стр. 234.
[9] НПК, т. II, стр. 444, 713.
[10] НПК, т. IV, стр. 245, 249, 290, 291, 293, 370.
[11] Там же, стр. 370.
[12] Там же, стр. 478.

Литература о новгородских подворниках, захребетниках, бобылях достаточно обширна. Недавно вопрос об указанных категориях сельского населения еще раз исследован в книге Л. В. Даниловой, где приведены и оценены высказывания предшествующих исследователей по данному вопросу[1]. Я не ставлю своей задачей заново его пересматривать. Он в достаточной мере ясен. И привел я данные о подворниках, захребетниках, бобылях с одной определенной целью—показать, что новые экономические явления, характерные для деревни XV в., привели к выделению из среды крестьянства пусть еще очень незначительной части людей, хотя бы временно терявших связь с землей. Каков был дальнейший путь этих людей? Некоторые становились захребетниками землевладельцев и богатых крестьян, другие переходили к занятиям промыслами и ремеслами, третьи находили применение своему труду в качестве «наймитов» на судах, солеварнях и т. д., четвертые становились «попрошаями», «незванными гостями» на пирах и братчинах, с которыми боролись и феодалы и феодальное правительство. Мне кажется, что и выделение подворников, бобылей и захребетников, и включение в княжеские жалованные грамоты угроз «попрошаям»—это связанные между собой явления. И их корень надо искать в социально-экономических процессах XIV и особенно XV веков.

§ 3. Характер связи феодального хозяйства с рынком

При изучении вопроса о характере связи феодального хозяйства с рынком исследователь находится в таком же положении, как и при изучении хозяйства крестьянского. Пользуясь источниками, характеризующими товарное обращение, он должен судить о товарном производстве.

У нас мало данных о торговле князей, бояр и других светских феодалов. Зато довольно подробные сведения сохранились о торговой деятельности монастырей. Эта деятельность распространялась на ряд княжеств Северо-Восточной Руси, причем монастыри, расположенные в одних княжествах, торговали в других. Предметами торговли были соль, рыба, иногда хлеб. В то же время монастыри в свою очередь приобретали в городах нужные им товары.

Прежде всего бросается в глаза широкий диапазон торговых операций монастырей, охватывавших значительные территории. Как видно из жалованных княжеских грамот, духовные феодалы вели довольно интенсивную торговлю в пределах Тверского княжества. Известны жалованные грамоты тверских князей Кириллову-Белозерскому и Троице-Сергиеву монастырям, находившимся не в Тверской земле, и митрополичьей кафедре.

---

[1] *Л. В. Данилова*, указ. соч., стр. 40, 41, 79, 82, 95, 120, 143 и др.

Жалованная грамота 1428—1434 гг. тверского великого князя Бориса Александровича разрешает игумену Кириллова-Белозерского монастыря Христофору посылать торговые обозы «сквозе» Тверскую «отчину». Княжеские «мытники», «заказники» и все «пошлинники» не имели права собирать пошлины с торговых сделок, совершавшихся здесь монастырскими старцами и слугами («продадуть ли, купять ли...»). По жалованной грамоте тверского великого князя Михаила Борисовича Кириллову-Белозерскому монастырю 1471—1475 гг. монастырские «купчины», отправлявшиеся для торговли летом в «паузке или в малом судне», а зимою на тридцати возах, также могли беспошлинно совершать торговые операции в пределах Тверского княжества. О том же говорит и жалованная грамота Кириллову-Белозерскому монастырю тверского великого князя Ивана Ивановича 1486 г. В этом документе имеются и интересные дополнительные сведения. В том случае, если монастырское судно увязало в устье реки Дубны, товары из него перекладывались на три «подвозка», которые следовали дальше в сопровождении монастырских «купчин», «людей» и «наймитов», причем ни товары, ни люди не подлежали обложению пошлинами (торговыми или проезжими)[1].

В грамотах тверского великого князя Михаила Борисовича 1461—1466 гг. содержится предписание пошлинникам, находящимся на Волге и Шексне, пропускать «добровольно», «не издерживая... никоторым чередом», «сквозе» Тверское княжество лодку Троице-Сергиева монастыря с рыбой и монастырский паузок (с «подвозками») с солью. Одна из жалованных грамот тверского князя Михаила Борисовича Троице-Сергиеву монастырю содержит данные о торговых поездках монастырских «купчин» через Тверское княжество из Москвы в Новгород (летом на «павозке с подвозком», а зимой на ста возах)[2].

В 1473—1485 гг. тверской князь Михаил Борисович выдал грамоту митрополиту Геронтию, позволив его «купчине» беспошлинно ездить через Тверское княжество по реке Дубне и далее вниз по Волге, дважды каждое лето, в паузке с подвозком. Если паузок замерзал в пределах Тверского княжества, митрополичьему «купчине» разрешалось перекладывать товар из него на возы (числом сто) и продолжать поездку[3].

Торговые поездки церковных и монастырских старцев и слуг на Шексну совершались часто через Ярославское и Угличское княжества. Так, сохранилась жалованная грамота 1490—1495 гг. князя Осипа Андреевича дорогобужского, дававшая разрешение Троице-Сергиеву монастырю посылать специальное судно через Ярославль на Шексну (без уплаты соответствующих пошлин): «Что их судно ходит на Шексну двожды летом, и мытником моим

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 36, № 53; стр. 132, № 203; стр. 182, № 271.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 209—210, № 295—297.
[3] АФЗХ, ч. 1, стр. 245, № 282.

с того судна и с людей и с подвоска мыта, ни каких пошлин не имати, вперед и назад»[1]. В жалованной грамоте князя Андрея Васильевича угличского Троице-Сергиеву монастырю 1484—1488 гг. говорится о том, что два монастырских паузка, отправлявшиеся с товаром на Белоозеро, и лодка, ходившая на реку Шексну, при продвижении через Угличское княжество также не подлежали обложению пошлинами[2].

Торговые пути, которыми двигались монастырские караваны, проходили и через Дмитровское княжество. Жалованная грамота князя Юрия Васильевича Троице-Сергиеву монастырю 1461—1466 гг. освобождает от проезжих и торговых пошлин монастырские караваны, состоявшие зимой из 300 возов, а летом из 300 телег и направлявшиеся с товаром из Москвы в Новгород через Дмитровское княжество[3]. В грамоте Ивана III в Дмитров таможникам, мытчикам, сотскому Шишимору и в Вышгород волостелю Василию Объеду 1486—1490 гг. описывается один случай, когда с Белоозера шел принадлежащий Кириллову-Белозерскому монастырю паузок с подвозком, а с реки Шексны плыла монастырская лодка с рыбою и названные выше лица «с тех их [монастырских] судов поимали пошлины, а в ыных... их пошлинах подавали [монастырских людей] на поруки». Иван III распорядился: взятые деньги вернуть монастырским властям, освободить от ответственности лиц, отданных на поруки, и в дальнейшем не взыскивать никаких пошлин с судов Кириллова-Белозерского монастыря.

Торговля рыбой велась в Ржевском уезде. В жалованных грамотах Симонову монастырю великих князей Василия II 1460 г., Ивана III 1462—1463 гг. и князя Федора Борисовича 1498—1499 гг. на озера в Ржевском уезде, у новгородского «рубежа», содержится специальная статья, посвященная вопросу о торговых операциях монастырских «чернецов» и «бельцов», приезжавших в слободку Кличен. Они могли беспошлинно «на озере ездити, купити и продати...»[4]

Одним из центров торговой деятельности монастырей было Белоозеро. Воскресенскому Череповецкому монастырю местные князья передали сбор пошлин (восмничего и померного) с товаров, обращавшихся на белозерском рынке. В грамоте князя Михаила Андреевича 1473—1489 гг., фиксирующей размеры взимаемых пошлин, перечислены торговавшие на Белоозере монастыри: Троице-Сергиев, московские Андроников Спасский и Симонов, калязинский Макарьев, переяславский Борисоглебский и др.[5]

О торговле некоторых указанных монастырей сохранились и специальные сведения. Согласно жалованной грамоте 1462—1463 гг. Ивана III, Троице-Сергиеву монастырю разрешалось посылать два

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 429, № 552.
[2] Там же, стр. 384—385, № 505.
[3] Там же, стр. 208, № 292.
[4] АСЭИ, т. II, стр. 409, № 532.
[5] АФЗХ, ч. 1, стр. 224—245, № 281.

паузка на реку Углу (приток Шексны), два паузка на Белоозеро «с товаром, и по соль и по рыбу с торговлею». Указанные монастырские суда, «тамо идучи на низ и семо идучи вверх назад», не могли быть обложены проезжими и торговыми пошлинами во всех «городех и в волостех» великого княжения[1]. В жалованной грамоте того же князя 1486 г. читаем: «Что их [Троице-Сергиева монастыря] паузок с подвозком ходит к Белуозеру по рыбу, или назад поидет з Белаозера с рыбою, ино им с того паузка и подвозка... не надобе ни мыт, ни тамга, ни иные никоторые пошлины»[2].

О торговле на Белоозере Симонова монастыря свидетельствует грамота Ивана III 1462—1463 гг., из которой видно, что монастырские «чернецы» и «миряне» отправлялись туда «с манастырьским товаром» летом в паузке с подвозком, зимой на возах. Согласно княжеской грамоте, с них при этом не брались проезжие и торговые пошлины[3].

Из жалованных грамот верейского и белозерского князя Михаила Андреевича Кириллову-Белозерскому монастырю 30—70-х годов XV в. узнаем, что монастырские старцы, «купчины», слуги ездили за Белоозеро «на манастырьскую службу торговати с каким товаром», «купити и продати», летом в паузках или на телегах, зимой—на возах, причем нанимали для обслуживания своего транспорта «наймитов заозерских людей». Поскольку монастырские старцы и «купчины» пользовались свободой от пошлин, они являлись конкурентами в торговле для местных посадских людей. В одной из грамот князя Михаила Андреевича Кириллову-Белозерскому монастырю сохранилось любопытное указание «горожанам» «не бранить» монастырю (т. е. не чинить ему препятствий) в его торговых операциях[4].

Грамотами великого князя Ивана III 1496—1499 гг. и князя Юрия Ивановича дмитровского 1504 г. разрешался беспошлинный провоз рыбы для митрополита Симона в Москву из домовных митрополичьих белозерских монастырей, Воскресенского череповецкого и Никольского на реке Ковже, летом в двух лодках, а зимой на восьми санях. Княжеским мытникам на устьях рек Шексны, Мологи, Дубны, в Угличе, Кашине, Ярославле, Ростове, Переяславле, Дмитрове было запрещено брать какие бы то ни было пошлины с указанных митрополичьих рыбных караванов. Но грамота особо оговаривала случай, когда в лодках или в санях окажется какой-либо товар, предназначенный на продажу; он подлежал обложению («а с товару бы есте пошлину имали»)[5].

Монастыри принимали участие в тех торговых сношениях, которые велись по реке Волге, в пределах Нижегородского княжества. В грамоте 1473—1489 гг. Ивана III митрополичьему ниже-

[1] АСЭИ, т. I, стр. 227, № 318.
[2] Там же, стр. 407, № 530.
[3] АСЭИ, т. II, стр. 360, № 366.
[4] Там же, стр. 48, № 77; стр. 79—80, № 133.
[5] АФЗХ, ч. I, стр. 246, № 286; стр. 249—250, № 292—293.

городскому Благовещенскому монастырю, предоставлявшей ему право беспошлинной торговли в Нижнем Новгороде и по реке Суре, указывается: «А коли с чем пошлют на низ в судне до Суры или вверх с каким товаром ни буди, или на возех, или что купят себе в Новегороде в Нижнем или на Суре, ино им с того товару монастырского не надобе... никоторые пошлины»[1].

Особо следует остановиться на монастырской торговле солью, местами добычи которой служили Нерехта, Соль Галицкая, Соль Переяславская, Ростов. В торговле солью были заинтересованы князья, владевшие, как и монастыри, соляными варницами. Соль была «заповедным» товаром, продажа которого являлась привилегией князей, а другим лицам свободно ее продавать не разрешалось. Но монастыри и в данном отношении пользовались льготами. Так, специальными княжескими грамотами оговаривалось право Троице-Сергиева монастыря торговать солью, а княжеским солеварам не позволялось чинить монастырским властям в этом отношении препятствий. «А коли мои, великого князя, соловарове учнут соль продавати, а монастырьским приказником соли продавати не заповедывают»,—читаем в жалованной льготной грамоте 1449 г. Василия II Троице-Сергиеву монастырю на три варницы у Соли Галицкой. Близкое постановление содержится в жалованной грамоте тому же монастырю Василия II 1453 г. («А коли закличет мои соловар продавать мою соль, а манастырьскому соловару вольно соль продавати и тогды, а мои ему соловар не възбраняет») и великой княгини Марии Ярославны 1453—1455 гг. («А коли яз, великая княгини, велю соль свою продавати у Соли, и тогды всем соловаром заповедают соль продавати, а троецькому соловару не заповедывают соль продавати»)[2].

Соль иногда сбывалась в соседнем с местом ее добычи городе, иногда же вывозилась для продажи в более или менее отдаленные районы, где в ней ощущалась бóльшая потребность. В жалованной грамоте 1453 г. Василия II тому же монастырю на варницу у Соли Галицкой говорится: «А коли привозит соль манастырьскую их заказщик продавати в город [Соль Галицкую], ино ему не надобе... никоторая пошлина». Из Нерехты солевар Троице-Сергиева монастыря развозил соль на продажу в разные места. Грамота Василия II 1447—1453 гг. дает право монастырю на беспошлинный провоз соли в два приема летом (на паузке «вниз и вверх...» по Волге) и в два приема зимой (на 50 возах «по всем городом» великого княжества)[3].

Самим монастырям приходилось покупать для выварки соли дрова. В росписи припасов для солигаличских варниц Троице-Сергиева монастыря, составленной в 1476—1477 гг. старцем Якимом, значатся «купленные дрова»[4].

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 206, № 235.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 161, № 225; стр. 172, № 245; стр. 177, № 248.
[3] Там же, стр. 173, № 245; стр. 144, № 202.
[4] Там же, стр. 341, № 454.

Думается, что весь приведенный материал дает основание говорить о том, что в рассматриваемое время уже складывались областные рынки, некоторые из которых (например, на Белоозере) получали значение и в качестве рынков более широкого масштаба. Ведь не случайно же приезжали туда систематически лодьи и возы (с товарами и за товарами) монастырей, расположенных в Москве и близ Москвы. Нельзя делать далеко идущие выводы о товарности феодального хозяйства. Но нельзя и отрицать того, что сильно развитое товарное обращение предполагает известный подъем производства в XV в.

Из ряда княжеских жалованных грамот видно, что монастырские власти, пользуясь иммунитетом от проезжих и торговых пошлин, провозили в своих лодьях и на своих возах и подводах вместе с собственным и чужой товар, а также торговали не только продуктами собственного хозяйства, но и товаром, скупленным у других лиц. Так, жалованная грамота великой княгини Марии Ярославны игумену Кириллова-Белозерского монастыря Игнатию 1471—1475 гг. разрешает монастырским старцам и «людям» (т. е. крестьянам) совершать ежегодно поездки по реке Шексне, летом в лодье или «в судех в малых», а зимой на возах, «с монастырьским житом и солию или с-ыною монастырьскою рухлядию, *а не с перекупным товаром*», и беспошлинно торговать в пределах «волостеи Шохонских»[1]. Согласно жалованной грамоте игумену того же монастыря Нифонту, выданной в 1480 г. Иваном III, запрещалось взимание пошлин с монастырских лодей или возов, отправляющихся с товаром в Двинскую землю. При этом в грамоте имеется следующее указание: «А в ту лодью им и на возы *чюжаго товару, опрочь манастырьского товару, не класти*»[2]. В жалованной грамоте Ивана III суздальскому Спасо-Евфимьеву монастырю содержится запрет княжеским «писцам» «переписывать» рыбу «в их судне монастырском». В то же время монастырские власти должны были следить, чтобы в их судне «*чужие рыбы, ни меду за монастырское не провозити*»[3].

К 1476 —1477 гг. относится интересная жалованная грамота, данная на вече властями Великого Новгорода Троице-Сергиеву монастырю на беспошлинную торговлю в Двинской земле («кого пошлют из Сергиева манастыря на Двину и на Орлец и во всю Двинскую землю...»). Если отправленный в лодье монастырский товар замерзал, то его предлагалось «положить на возы», «а с того товара, который товар шол из лодьи из жаловалной на возы», двинские посадники, воеводы и их пошлинники не должны были брать «никоторых пошлин...». Но в грамоте имелся специальный пункт, по которому нельзя было на монастырскую лодью «чюжего товару приимати», «опроче манастырского товару

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 134, № 207.
[2] Там же, стр. 169, № 256.
[3] Там же, стр. 498, № 460.

сергиевского» («А коли замержет тот товар, а положат на возы, ино им на те возы чюжего товара не приимати»)[1].

Но, касаясь вопроса о торговле монастырями скупленным товаром (что свидетельствует об известной интенсивности их торговой деятельности), нельзя не отметить и другого существенного момента, не позволяющего говорить о развитии товарного производства в монастырских имениях: некоторым монастырям, возможно, не хватало продуктов собственного земледельческого и промыслового хозяйства (хлеба, рыбы), и они их прикупали. Так, в 40—70-х годах XV в. верейский и белозерский князь Михаил Андреевич «ослободил» Кириллову-Белозерскому монастырю «купити рыбу в Озере и за Озером на всяку зиму по тритцати рублев ноугородскых». В грамоте 1493 г. Ивана III наместникам, пошлинникам и мытчикам по городам и дорогам от Ростова до Кириллова-Белозерского монастыря написано: «... Что их хлеб монастырьской идет из Ростова в Кирилов монастырь в судне семьсот четвертей ржи да триста четвертей овса, и вы б с того судна и с хлеба мыта и никоторых пошлин не имали по сеи грамоте»[2]. Очевидно, этот хлеб монастырские власти или купили, или получили от князей.

Несомненно, хлеб выбрасывался на рынок. Несомненно, из районов с развитым земледелием он вывозился туда, где уровень развития земледелия был значительно ниже (например, в районы северные). Но все это, повторяю, не дает права ставить вопрос о товарности сельского хозяйства. Оно оставалось в основном натуральным, и преимущественно излишки хлеба и продуктов добывающей промышленности фигурировали на рынке как товары. Может быть, только некоторые товары (например, соль) производились специально на рынок. Лишь в отношении отдельных вотчин можно ставить вопрос о наличии в них элементов товарного производства сельскохозяйственных продуктов.

И тем не менее развитие торговли (в том числе монастырской, митрополичьей кафедры) было важным фактором, способствовавшим преодолению изоляции отдельных областей и княжеств. Торговля монастырей и митрополичьего дома в масштабах, значительно выходящих за пределы отдельных политических образований, была явлением новым, о котором нельзя говорить ранее XIV—XV вв. Эта торговля преодолевала барьеры и рогатки (в виде таможенных застав и разветвленной системы всевозможных торговых и проезжих пошлин), преодолевала и те политические заграждения, которые были воздвигнуты строем государственной раздробленности.

Из отдельных документов видно, с одной стороны, насколько политическая раздробленность с ее последствиями (бесконечными феодальными усобицами и войнами) мешала развитию монастыр-

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 340, № 453.
[2] АСЭИ, т. II, стр. 78, № 129; стр. 249, № 292.

ской торговли, а с другой стороны—как монастырские власти стремились к расширению своей торговой деятельности, несмотря на раздробленность и вопреки ей. Сохранилась грамота Василия II, посланная в середине XV в. в Вологду и Устюг Великий, наместникам и волостелям. Из нее мы узнаем, что игумен Кириллова-Белозерского монастыря Касьян с братьею били челом великому князю в связи с тем, что он «не велел пускати лодеи вологодских с Вологды к Оустюгу и к Двине с товаром того деля, что коли не тихо в земле» и поэтому монастырская лодья также не могла отправляться по указанному маршруту с товаром. Монастырские власти просили отменить такое распоряжение. Великий князь «пожаловал, лодьи есмь их манастырьскои ежелеть всегды велел ходити с Вологды на Двину и на Оустюг со всяким товаром и с рожью. будет тишина или нетишина, или коли булгачно в земли, а манастырьская лодья Кирилова манастыря со всяким товаром и с рожью на Оустюг и на Двину идет»[1]. И приведенный документ, и факты, им отраженные, весьма показательны! Во время крупной феодальной войны середины XV в. прерывались нормальные торговые связи Вологды с Устюгом и Двиной. Но как только война кончилась, Кириллов-Белозерский монастырь стремится возобновить свои торговые операции в пределах Устюга, в Двинской земле, и добивается от великокняжеской власти гарантии того, что дальнейшие феодальные усобицы не помешают ему там торговать.

Не менее интересна жалованная грамота Троице-Сергиеву монастырю, оформленная на новгородском вече в 1448—1454 гг.— в последние годы феодальной войны. По этой грамоте Троице-Сергиев монастырь получил право посылать на Двину «зиме на возех, а лете на одиннацати лодьих старцев или мирян», которые могли беспрепятственно и беспошлинно торговать в Вологде, Холмогорах, Неноксе. В грамоту был внесен специальный пункт о том, что «Великий Новгород» (как феодальное государство) взял Троице-Сергиев монастырь под свой патронат («жаловал» его «держать своим») и поэтому двинские бояре, житьи люди, купцы должны «блюсти» монастырского «купчину» вообще и особенно в случае каких-либо политических неурядиц («коли будеть Новъгород Великии с которыми сторонами немирен»)[2]. Так монастыри добивались свободного передвижения по территории Северо-Восточной Руси для своих «купчин» с торговыми целями, вне зависимости от той политической ситуации, которая складывалась. Но эта ситуация часто оказывалась весьма неблагоприятной для развития торговых связей. И потому крупные русские монастыри поддерживали обычно тех князей, политика которых была направлена к преодолению политической раздробленности. Подобная поддержка диктовалась реальными экономическими интере-

[1] АСЭИ, т. II, стр. 62—63, № 102.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 155, № 220.

сами монастырей. В частности, им важно было обеспечить себе возможность свободно торговать во всех русских городах, где им это представлялось выгодным. Такую возможность сулили монастырям великокняжеские жалованные грамоты, подобные грамоте Василия II игумену Кириллова-Белозерского монастыря Трифону 1446—1447 гг. «Коли пошлют своего черньца или белца лете в судне или в лодье, а зиме на возех, на манастырь купити что или продати,—говорится от имени Василия II в названном документе,—ино не надобе им с их манастырьского товара *в всей моей вотчине, в великом княженьи, где ни на котором городе или в волостех*, ни мыт, ... ни иные никоторые пошлины, опрочь церковных пошлин»[1].

Нельзя не отметить и известной противоречивости политики московских князей по вопросам монастырской торговли. Предоставляя монастырям таможенные льготы, князья в то же время стремились извлечь для себя выгоды из торговых операций монастырей, причем иногда в ущерб интересам последних. В связи с тем что на территории отдельных монастырей, расположенных в городах или вблизи их, заводились торги, где горожане сбывали ремесленные изделия и куда окрестные крестьяне привозили для продажи продукты сельского хозяйства, представители княжеской администрации устраивали около таких монастырей мыты (заставы для сбора проезжих и торговых пошлин). Но, поскольку монастыри обычно пользовались податным иммунитетом, князья по жалобам монастырских властей отдавали своим пошлинникам распоряжения перенести в другие места подобные заставы. Очень интересный материал, иллюстрирующий сказанное выше, имеется в жалованной грамоте великого князя Василия II Спасо-Евфимьеву монастырю около 1430 г. Под Гороховцом находился зависимый от Спасо-Евфимьева монастыря монастырь св. Василия. Близ него гороховские княжеские мытники стали «наряжать» мыты, в то время как раньше мыт находился «под городищом под Гороховским». Жалованная грамота Василия II содержит запрет мытникам собирать пошлины в неурочном месте, около монастыря; «а сидят на мыте под городищом под Гороховским, как сидели преже сего по старине»,—предписывает князь. Но это предписание не подействовало, и в жалованной грамоте Василия II тому же монастырю, выданной в 1451 г., встречаем новое указание, обращенное на этот раз к наместникам и волостелям, «держать» «мыт на пошлом месте», а не под монастырем[2]. Хотя в разобранном документе прямых данных о торговле на территории Васильевского монастыря нет, но сбор мыта как раз и свидетельствует о наличии здесь торга и о стремлении княжеской администрации извлечь для себя доходы из этого обстоятельства.

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 58, № 96.
[2] Там же, стр. 482, № 439; стр. 492, № 452.

Говоря о монастырской торговле, нельзя, по-моему, не отметить и еще одного существенного факта. На монастырских торговых караванах, передвигавшихся по речным и сухопутным путям, находил применение труд так называемых *наймитов*. Неизвестно, кто это такие. Может быть, беглые крепостные крестьяне, может быть, лишенные земли и средств производства, но еще не попавшие в феодальную зависимость свободные крестьяне-общинники, наконец, может быть, крестьяне, уходившие на заработки. Но во всяком случае эти люди вместе с монастырскими судами и возами, лодьями и телегами совершали переходы на значительных пространствах, из одной области в другую, из одного княжества в другое. Передвижение указанной категории населения нельзя не учитывать в ряду тех факторов, которые содействовали росту межобластных связей (в виде общения между собой сельского и городского населения, зарождения форм классовой борьбы, вырывавшихся из рамок локальной изолированности, и т. д.). Здесь я возвращаюсь к тому же вопросу, который уже мной поднимался в первых двух параграфах. Во второй половине XV в. в деревне выделилась часть имущественно несостоятельного крестьянства, у которого не было земли и которое искало пропитания. Наймиты, работавшие на водном транспорте, выходили из той же социальной среды, что и «попрошаи», о которых говорят княжеские жалованные грамоты.

§ 4. Общие данные о развитии городов. Превращение сел в города. Приток туда сельского населения. Строительство крепостей

Показателем отделения ремесла от сельского хозяйства является рост городов. Наиболее крупной монографией, посвященной социально-экономическому и политическому развитию городов Северо-Восточной Руси в XIV—XV вв., является работа А.М. Сахарова[1]. Автор исходит из правильной предпосылки о том, что город—это «особое социально-экономическое явление феодального общества, ...центр ремесла, торговли, товарного производства и товарного обращения, отличающийся по своей социально-экономической характеристике от других видов поселений или укреплений». Критически пересматривая на основе указанного определения понятия города все сохранившиеся данные источников о городах Северо-Восточной Руси XIV—XV вв., А. М. Сахаров приходит к выводу, что обычно встречающееся в литературе их количество (78)[2] является сильно преувеличенным. Если не рассматривать в качестве

[1] *А. М. Сахаров*, Города Северо-Восточной Руси XIV—XV вв., стр. 17.
[2] *П. П. Смирнов*, Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века, т. I, стр. 77; «Очерки истории СССР. Период феодализма. IX—XV вв.», ч. 2, стр. 112.

города любое укрепленное поселение, каждое военно-оборонительное сооружение, каждый феодальный замок, а считать непременным элементом города как укрепленного пункта и центра феодального господства также ремесленно-торговый посад, то и число городов Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. придется значительно уменьшить.

А. М. Сахаров подверг анализу дошедшие до нас сведения о 75 населенных пунктах[1] (считающихся обычно городами) и пришел к выводу, что из названного числа лишь 29 пунктов могут быть признаны городами в социально-экономическом значении данного понятия. Бесспорно городами в этом смысле, как отмечает А. М. Сахаров, можно считать Ростов, Переяславль-Залесский, Юрьев-Польский, Суздаль, Владимир-на-Клязьме, Углич, Мологу, Ярославль, Кострому, Городец, Нижний Новгород, Галич Мерьский, Устюг, Вологду, Белоозеро, Москву, Дмитров, Звенигород, Волок Ламский, Можайск, Верею, Серпухов, Коломну, Тверь, Кашин, Старицу, Микулин, Ржеву, Торжок. Думаю, что число городов, указанных в этом списке, значительно меньше их действительного количества. Это признает и сам А. М. Сахаров, указывающий, что приведенной им цифрой не исчерпывалось количество городов как ремесленно-торговых центров Северо-Восточной Руси в XIV—XV вв. Составляя свой список, автор включал в него названия лишь тех поселений, относительно которых в источниках имеются твердые данные о их ремесленно-торговом облике. Но отсутствие в источниках достаточных сведений о характере других населенных пунктов еще не означает, что они не могли быть также городами в социально-экономическом смысле. Поэтому, принимая при изучении истории русских городов XIV—XV вв. за основу их список, составленный А. М. Сахаровым, надо учитывать всю его условность.

Далее следует отметить, что, ограничивая свое исследование определенными географическими рамками, А. М. Сахаров не рассматривает города муромо-рязанские, смоленские, новгородские, псковские. В известном «Списке русских городов», составленном в конце XIV в. и детально обследованном М. Н. Тихомировым, указано рязанских городов—30, смоленских—10, новгородских

---

[1] Это (в порядке изучения, принятом А. М. Сахаровым) — Ростов, Переяславль-Залесский, Клещин, Юрьев-Польский, Суздаль, Шуя, Владимир-на-Клязьме, Боголюбов, Стародуб Ряполовский, Ярополч, Лух, Гороховец, Углич, Устюжна, Молога, Холопий городок, Рыбная слобода, Романов городок, Ярославль, Кострома, Нерехта, Плес, Кинешма, Городец (Радилов), Юрьевец-Повольский, Нижний Новгород, Курмыш, Галич Мерьский, Чухлома, Устюг, Вологда, Белоозеро, Москва, Дмитров, Радонеж, Звенигород, Руза, Волок Ламский, Можайск, Верея, Боровск, Лужа, Малый Ярославец, Кременец, Медынь, Тарусса, Алексин, Калуга, Серпухов, Перемышль, Хотунь, Лопасня, Новый Городок, Кашира, Коломна, Тверь, Кашин, Калязин, Коснятин, Белгород, Вортязин (Городня), Зубцов, Опоки, Старица, Микулин, Холм, Клин, Ржева, Бобрынь, Торжок, Бережечь, Мстиславль, Несвежьский, Болонеск, Кличен.

и псковских—35[1]. Конечно, многие из этих городов представляют собой просто крепости, а не ремесленно-торговые пункты. Но некоторые из них могут быть названы с достаточным основанием городами в социально-экономическом значении данного термина. Из рязанских городов—это Переяславль-Рязанский, Пронск, Ростиславль[2], из смоленских (явившихся объектом агрессии со стороны литовских феодалов)—Смоленск, Вязьма, Дорогобуж и др., из новгородских и псковских—Новгород, Псков, Торжок, Ладога, Старая Руса, Великие Луки, Корела, Орешек, Ям, Порхов, Изборск и др.

Наконец, надо отметить и то, что на протяжении XIV—XV вв. шел дальнейший процесс городообразования. Многие села становились городами. В то же время некоторые населенные пункты утрачивали значение городов и превращались в простые селения. Поэтому количество городов на Руси на протяжении XIV—XV вв. изменялось.

Характерно, что в XIV—XV вв. возникает ряд новых городов. По документам можно проследить процесс превращения сел в города. Этот процесс наблюдается прежде всего на основной территории Московского княжества, где сильно увеличивается плотность населения.

В начале XIV в. Радонеж представлял собой село. «А се даю княгини своеи с меншими детми... село Радонежьское»,—читаем в духовной Ивана Калиты[3]. В дальнейшем Радонеж фигурирует в духовных и договорных княжеских грамотах как небольшой город («Радонеж с волостми»)[4]. В районе Радонежа были бортные промыслы (известны «радунежские бортники»). Радонеж являлся торговым центром, и поэтому серпуховско-боровский князь Владимир Андреевич передал его по духовной грамоте своему сыну «с тамгою и с мыты»[5].

В своей духовной Иван Калита называет «село Рузьское». В дальнейших княжеских грамотах до конца XIV в. Руза фигурирует в числе одного из населенных пунктов под рубрикой—звенигородские «волости и села». В духовной Дмитрия Донского к названию Руза добавлено определение «городок» («Руза городок»). В духовной князя Юрия Дмитриевича и в более поздних документах Руза именуется «городом». Это—торговый пункт, место сбора тамги, мыта и других пошлин. В районе Рузы развито земледельческое хозяйство и бортничество. В Рузском уезде возникают слободы[6].

---

[1] *М. Н. Тихомиров*, Список русских городов дальних и ближних («Исторические записки», 1952, № 40, стр. 214—259).

[2] ДДГ, стр. 333, № 84.

[3] Там же, стр. 9, № 1.

[4] Там же, стр. 70, 72, 129, 132, 135, 138, 169, 173, 180, 183; № 27, 28, 45, 56, 58.

[5] Там же, стр. 48, № 17; стр. 46, № 17.

[6] Там же, стр. 7, № 1; стр. 15, 17, № 4; стр. 33, № 12.

Верея в княжеских грамотах впервые встречается в 1382 г. По договору, заключенному в этом году Дмитрием Донским с рязанским великим князем Олегом Ивановичем, Верея упомянута в числе «рязанских мест» по Оке, отходящих к Москве. В духовной грамоте Дмитрия Донского Верея значится как «отъездная волость» Можайска. Хотя в ряде дальнейших княжеских грамот Верея и не называется городом, фактически она выступает как таковой (Верея «с волостми, и с селы, и слободами, и со всеми пошлинами, что к неи изстарины потягло»). Иван III в своей духовной грамоте уже прямо именует Верею «городом»[1].

В грамоте великого московского князя Ивана Ивановича около 1358 г. находим «село на Репне в Боровьсце». В договоре московского великого князя Дмитрия Ивановича с князем Олегом рязанским 1382 г. в числе московских владений указан населенный пункт Боровск. Дмитрий Донской отдал его своему двоюродному брату — князю Владимиру Андреевичу серпуховскому. В духовной грамоте Владимира Андреевича около 1401—1402 гг. Боровск, не будучи назван городом, выступает со всеми признаками такового, являясь промысловым, торговым пунктом и в то же время крепостью и административным центром. Наследник серпуховского князя получает Боровск «с тамгою, и с мыты, и с селы, и з бортью, и со всеми пошлинами». По духовной Ивана III Боровск — город[2].

Интересны данные о развитии Серпухова. В духовной грамоте Ивана Калиты фигурирует «село Серпоховьское»[3]. В 1374 г. по предписанию местного князя Владимира Андреевича был заложен «град Серпохов». Была воздвигнута дубовая крепость, в новый город назначен наместник; торгово-ремесленному населению, прибывающему туда на жительство, предоставлялся ряд льгот («... и человеком тръжествующим, и куплю творящим, и промышляющим подасть великую волю, и ослабу, и много лготу»)[4]. По завещанию Владимир Андреевич передал Серпухов «с тамгою, и с мыты, и с селы, и з бортью, и со всеми пошлинами» старшему сыну[5].

Кашира в духовной великого московского князя Ивана Ивановича значится среди «волостей и сел». По духовной Ивана III это — город[6].

Конечно, и в других княжествах (а не только в Московском) из сел вырастали города. Только в источниках это явление не нашло достаточного отражения[7]. Однако если в нашем распоряжении

---

[1] ДДГ, стр. 29, № 10; стр. 34, № 12; стр. 360, № 89; стр. 15, 17, № 4.
[2] Там же, стр. 29, № 10; стр. 31, № 11; стр. 46, № 17; стр. 355, № 89.
[3] Там же, стр. 7, 9, № 1.
[4] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 114.
[5] ДДГ, стр. 46, № 17.
[6] Там же, стр. 15, 17, № 4; стр. 354, № 89.
[7] В монографии А. М. Сахарова собран полный материал по истории городов Северо-Восточной Руси в XIV—XV вв.

имеются (пусть скудные) данные, позволяющие говорить о превращении на протяжении XIV—XV вв. ряда сел в города, то в то же время следует отметить и обратный процесс: упадок некоторых городов, становившихся селами или вообще исчезавших. К числу таких городов относятся Клещин, Стародуб Ряполовский, Гороховец и др.[1]

Многие старые города, возникшие еще в XIV в., развиваются в изучаемый нами период как торгово-ремесленные центры. В источниках упоминаются посады Москвы[2], Владимира[3], Дмитрова[4], Можайска[5], Переяславля[6], Углича[7], Нижнего Новгорода, Суздаля[8], Костромы[9], Соли Галицкой[10], Переяславля-Рязанского[11], Твери[12], Кашина[13],

---

[1] См. названную работу А. М. Сахарова.

[2] В 1451 г. «царевичь Сиди Ахматов сын приходил изгоном к Москве, а с ним Дигер князь ордински.., татарове же посады зажгоша тое ж нощи и прочь пошли» (ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, Л., 1925, стр. 190).

[3] В 1491 г. «згоре град Володимер весь и посады и церковь Пречистыя Рожество внутре града выгоре» (там же, стр. 530).

[4] В 1372 г. тверской князь Михаил Александрович, «прииде своею ратию тверьскою, взял Дмитров, а посад и села пожьгли...» (ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 99). В Дмитрове «на посаде» был двор Троице-Сергиева монастыря (АСЭИ, т. I, стр. 244, № 337).

[5] В 1341 г. «пришедше Литва ратью к городу Можайску, посад пожгли, а города не взяли» (ПСРЛ, т. XVIII, стр. 93).

[6] В 1372 г. литовская рать пошла вместе с тверским великим князем Михаилом Александровичем «на град Переяславль.., посад около града пожгоша, а города не взяша, а людии множество и бояр в полон поведоша» (ПСРЛ, т. I,вып. 3, изд. 2, Л., 1928, стр. 534). «А Кестутей и князь Андрей Полоцкий ходили к Переяславлю, посады и села пожгли...» (ПСРЛ, т. XV, стр. 431).

[7] В 1491 г. «згоре град Угличь весь, и на посаде погоре, и за Волгою дворов более пятисот, а церквей згорело 20» (ПСРЛ, т. XXV, стр. 332). У Троице-Сергиева монастыря был двор «на Углече на посаде» (АСЭИ, т. I, стр. 385, № 506).

[8] В 1506 г. в Суздале «на посаде» упоминаются дворы Спасо-Евфимьева монастыря (АИ, т. I, стр. 172, № 116).

[9] В 1380 г. князь галицкий Андрей Федорович «собрал многую рать, ходил войною на Костромскаго и на Костроме посады пожегль и людей побил...» (*А. А. Титов*, Летописец Воскресенского монастыря, что у Соли Галичской—«Труды IV Областного археологического съезда в Костроме», Кострома, 1901, стр. 40).

[10] «На посаде» Соли Галицкой по писцовым книгам 1498—1499 гг. значился ряд монастырских дворов (АСЭИ, т. I, стр. 532—533, № 621).

[11] В договоре 1496 г. рязанских князей упомянуты «люди, которые живут в городе в Переславле и на посаде...» (ДДГ, стр. 335, № 84).

[12] В 1375 г. московские войска, подойдя к Твери, «посад же, и церкви, и монастыри пожгоша, а около всего града острогом оградиша» (ПСРЛ, т. V, СПб., 1851, стр. 234). В 1485 г. Иван III с сыном и с братьей во главе московских войск «приде под город под Тферь и посады зажгоша около Тфери...» (ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 458).

[13] Власти Троице-Сергиева монастыря во второй половине XV в. купили себе двор «в Кашине на посаде» (АСЭИ, т. I, стр. 211, № 298; стр. 549, № 637)

Торжка[1], Смоленска[2], Ржевы[3], Новгорода[4], Пскова[5], Ладоги[6], Яма[7] и др.

Как правило, летописи упоминают о посадах русских городов XIV—XV вв. тогда, когда описывают беды, их постигавшие: их гибель в пламени пожаров, разорение иноземными войсками, нападения на них военных отрядов враждовавших и боровшихся друг с другом князей. И именно потому, что мы узнаем об истории посадов из такого летописного контекста, нам особенно бросается в глаза их жизнеспособность. Через некоторое время после урона, ими понесенного, в силу вышеуказанных причин, посады вновь восстают из руин и пепла, вновь застраиваются и заселяются. Очевидно, это объясняется общим поступательным экономическим развитием Руси, ростом (несмотря на все неблагоприятные политические условия) производительных сил.

Как раз в связи с описаниями происходивших в городах пожаров или их разграбления войсками своих или чужих феодалов летописцы обычно подчеркивают в ярких запечатляющихся картинах значительный по тому времени экономический уровень, которого достигли в своем росте ко второй половине XIV—XV в. по крайней мере крупнейшие русские городские центры.

Здесь уместно вспомнить имеющуюся в летописных сводах картину разорения в 1382 г. Москвы войсками Тохтамыша, когда, по словам летописцев, «погании» захватили великокняжескую казну, «взяли на расхищение» громадные богатства бояр и купцов, сосредоточенные в их «хранилищах» и в «храминах». Вспоминая о прошлом Москвы до нашествия на нее полчищ Тохтамыша, летописцы характеризуют ее как «град... велик и чюден», многолюдный («и много людей в немь»), исполненный «богатьством и славою»[8].

Можно привести имеющиеся в летописях характеристики и некоторых других городов Северо-Восточной Руси. Во время нападения в 1410 г. нижегородского князя Даниила Борисовича с отрядом татар на Владимир там были разграблены церкви и захвачено имущество посадских людей. Грабители унесли с собою «златое, и сребреное, и кузни многое и бесчисленное поимаша множество».

---

[1] В 1371 г. тверские войска «зажгоша с поля посад у Торжка» (ПСРЛ, т. V, стр. 232).

[2] В 1440 г. в Смоленске подняли восстание «местичи» (посадские люди) (ПСРЛ, т. XVII, СПб., 1907, стр. 140).

[3] В 1376 г. серпуховский князь Владимир Андреевич, придя «ратью ко Ржеве, ... посад пожже...» (ПСРЛ, т. XVIII, стр. 117).

[4] В 1478 г. московские войска «около их всего Новограда по обема сторонама реще обою городов объемши стали, а в их же посадех и монастырех» (ПСРЛ, т. IV, СПб., 1848, стр. 259).

[5] В 1367 г. «...рать немечкая... пришед к городу ко Пьскову, и посад пожгоша около города...» (НПЛ, стр. 369).

[6] В 1338 г. «Немце с Корелою воеваша по Обонижьи и у Ладоге изгонивше, посад пожгоша» (ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 251).

[7] В 1443 г. «пришедши немце у Яма городо, посад пожьгоша и берег повоеваша...»(НПЛ, стр. 423).

[8] ПСРЛ, т. VIII, стр. 46.

Похищенных денег было столь большое количество, что они делили их между собою «мерками»[1]. В Ростове во время большого пожара 1408 г. сгорело 14 церквей «со всем узорочием, и иконы, и книги, и сосуды златыя и каменыя, и дорогия жемчуги...». Расплавились церковные колокола. Погорели княжеские, боярские «и прочих людей» дворы «со всем товаром». В огне погибло свыше тысячи человек. Перепуганные люди «начаша мыкати из домов своих», бросались к Ростовскому озеру, пытаясь найти спасение в судах и на плотах. При этом более 300 человек утонуло[2]. Когда в 1375 г. ушкуйники напали на Кострому, то они нашли там такое количество «всякого съкровища», что не смогли унести с собой значительную часть награбленного и, забрав все «драгое и легчайшее», выбросили в Волгу и сожгли «прочее, тяжкое и излишнее». О населенности города свидетельствует то обстоятельство, что против ушкуйников выступило «горожан много более 5 тысящ»[3].

Конечно, во всех такого рода летописных рассказах больше чувства, чем конкретного материала. По ним трудно судить о статистике населения городов, о степени развития в них ремесел, о капиталах, принадлежавших отдельным купцам. Но общий вывод о том, что целый ряд русских городов XIV—XV вв. может быть отнесен к числу крупных торгово-ремесленных центров, сделать следует.

* * *

Очевидно, города росли за счет притока крестьянского населения. И здесь мы подходим вплотную к очень интересному вопросу, вызывающему большую полемику среди исследователей: можно ли говорить о том, что беглые крестьяне и холопы, попадая в города, освобождались от крепостной зависимости. Надо сразу оговориться, что прямых данных для решения этого вопроса у нас нет, а косвенных слишком мало. Главным источником при изучении поставленной проблемы для исследователей русского города XIV—XV вв. являются статьи договорных грамот, оформляющих отношения московских великих князей с удельными и касающихся положения крестьян и холопов, бежавших в Москву. В договорной грамоте 1389 г. Дмитрия Донского и серпуховского и боровского князя Владимира Андреевича имеется следующее указание: «А в город послати ми своих наместников, а тебе своего наместника, ине очистять и холопов наших и сельчан по отца моего живот, по князя по великого»[4]. В докончании великого московского князя Василия Дмитриевича с князем Владимиром Андреевичем 1390 г. повторяется то же условие (в несколько иной редакции, не меняющей его общего смысла), а затем непосредственно следует новый пункт: «А кого собе вымемь

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 160.

[2] ПСРЛ, т. VI, СПб., 1853, стр. 135—136; т. XV, стр. 481—482; т. XVIII, стр. 154.

[3] ПСРЛ, т. VI, стр. 116.

[4] ДДГ, стр. 32, № 11.

огородников и мастеров, и мне, князю великому, з братьею два жеребья, а тобе, брате, треть»[1]. Оба приведенных пункта встречаются и в ряде более поздних соглашений московских великих князей с удельными XV в.[2]

По поводу приведенных текстов в литературе имеются прямо противоположные толкования. В. Е. Сыроечковский делает на их основе вывод о том, что горожане Северо-Восточной Руси не обладали теми правами, которыми пользовалось население городов Западной Европы в период средневековья. Бежавшие в город феодально зависимые люди подлежали возврату своим господам. «...Приток в Москву холопов и сельчан из разных мест великого княжества обращал на себя внимание князей... Но в противоположность городам Запада,— пишет В. Е. Сыроечковский,— «городской воздух» княжеской Москвы не изменял судьбы холопа: князья требовали возврата их». При этом В. Е. Сыроечковский замечает, что князья в первую очередь стремились восстановить свои права на переселившихся в город зависимых ремесленников («мастеров»), которые представляли особенную ценность для их хозяйства[3].

Совершенно иначе толкует те же самые постановления договорных грамот князей о сельчанах и холопах, обнаруженных в городах, М. Н. Тихомиров. Он считает, что в исследуемых договорах речь идет не о возвращении находившихся в бегах сельчан и холопов «старым владельцам, а об оставлении в городе с подчинением определенному третному владельцу» (т. е. тому из московских князей, кто пользовался правом получения доходов с той территории Москвы, на которой обнаружены беглецы). В связи с этим М. Н. Тихомиров делает вывод, совершенно противоположный утверждениям В. Е. Сыроечковского: «...городской воздух в Москве, как, вероятно, и в других больших русских городах, фактически делал свободным, по крайней мере, в эпоху феодальной раздробленности XIV—XV веков»[4].

А. М. Сахаров в трактовке положения междукняжеских докончаний о розыске в городах княжеских крестьян и холопов возвращается к точке зрения В. Е. Сыроечковского. «Смысл условия совершенно ясен,— пишет А. М. Сахаров,— князья договорились о возврате бежавших в город своих холопов и сельчан. Тем самым они возвращались к своим старым владельцам и вовсе не обязательно должны были оставаться в городе». Что касается «мастеров» и «огородников», то они, по мнению А. М. Сахарова, делились между князьями «пропорционально их третному совладению», т. е. про-

---

[1] ДДГ, стр. 39, № 13.

[2] Там же, стр. 71, № 27; стр. 131, 134, 137, 140, № 45; стр. 171, 174, № 56; стр. 182, 186, № 58.

[3] *В. Е. Сыроечковский*, Гости-сурожане, стр. 82—83.

[4] *М. Н. Тихомиров*, Древняя Москва, стр. 130; *его же*, Средневековая Москва в XIV—XV веках, стр. 99—100.

порционально той доли доходов с Москвы, которая принадлежала каждому из них[1].

В изложенных мнениях следует разобраться. Приведенные выше тексты княжеских договорных грамот не дают права говорить, что «городской воздух» сам по себе делал свободными беглых крестьян и холопов. Поручение княжеским наместникам «очистить» последних означает производство какого-то специального расследования о княжеских феодально зависимых людях, вышедших в Москву. Кстати небезынтересно отметить, что непосредственно вслед за статьей докончальных грамот, говорящей о том, что надо «очистить» княжеских холопов и сельчан, обычно в этих документах следует пункт о других спорных «делах» между князьями, которые нуждаются в разборе. По контексту следует, что и в отношении найденных в городе княжеских холопов и сельчан также производилось (наместниками) судебное разбирательство. Но с какой целью? В. Е. Сыроечковский и А. М. Сахаров утверждают, что смысл рассматриваемого положения договорных грамот — возврат князьям убежавшего от них феодально зависимого населения. Но ведь источники этого вовсе не говорят. Это — гипотеза названных исследователей, и гипотеза сомнительная, ибо когда в договорных грамотах речь идет о выдаче владельцам беглых крестьян и холопов, то об этом написано прямо. «А холоп или половник забежить в Тферьскую волость, а тех, княже, выдавати»,— читаем, например, в договоре Великого Новгорода с великим князем Михаилом Ярославичем тверским начала XIV в.[2] Я думаю поэтому, что выражение «очистить холопов и сельчан» надо понимать иначе.

Для осмысления данного выражения полезно, по-моему, воспользоваться в качестве аналогии одной из статей Псковской Судной грамоты (ст. 51), касающейся разбора дел по искам псковских землевладельцев к зависимым от них крестьянам (изорникам) о данной последним на обзаведение хозяйством подмоге («покруте»). Среди таких изорников могли оказаться и лица, ушедшие из деревни в город. Рассматривается такой казус: изорник подтверждает, что он проживал в имении феодала, но отрицает факт получения от него «покруты». Суд решает дело на основе показаний четырех-пяти представленных землевладельцем свидетелей, которые должны рассказать, каков был характер обязательств, взятых изорником в отношении феодала, и на основании присяги последнего. Задача свидетелей заключается в том, чтобы раскрыть на суде вопрос о том, «как *чисто* на селе седел» изорник (т. е. пользовался ли он только полученным от феодала земельным наделом или, кроме того, еще задолжал ему)[3]. Это и значит «очистить» изорников — «сельчан».

---

[1] *А. М. Сахаров*, Города Северо-Восточной Руси XIV—XV вв., стр. 218.

[2] ГВНП, стр. 18, № 7.

[3] *И. Д. Мартысевич*, Псковская Судная грамота, М., 1951, стр. 160.

Значение выражения «очистить» хорошо выясняется и еще из одной статьи Псковской Судной грамоты (ст. 9), в которой излагается порядок рассмотрения тяжб о пашенной земле или о водных пространствах. Суд должен исходить из показаний «суседей» земельного собственника, к которому предъявлен иск, и решить дело в его пользу, если «суседи» докажут, что он действительно имеет на спорную недвижимость права, никем не оспаривавшиеся в течение четырех-пяти лет («... скажут... что чист.., стражет и владеет тою землею или водою лет 4 или 5, а супротивень в те лета ни его судил, ни на землю наступался или на воду, ино земля его чиста или вода...»)[1].

Пользуясь наблюдениями (терминологического порядка) над двумя названными выше статьями Псковской Судной грамоты (особенно над ст. 51) и привлекая их для объяснения смысла содержащегося в междукняжеских договорах обязательства об «очистке» проживающих в Москве холопов и сельчан, можно сказать, что речь здесь идет не о непременном их возврате князьям, а о выяснении их обязательств в отношении князей. Сельчане могли уйти из княжеских имений, не выполнив своих повинностей, не вернув владельцам взятую у них подмогу, и т. д. Кабальные должники также могли перейти в город, не расплатившись с господами по своим долговым обязательствам и т. д. Вот все это и следовало выяснить княжеским наместникам. Ну, а каким же должен был быть результат расследования? Очевидно, те из феодально зависимых лично свободных людей, которые имели возможность ликвидировать свою задолженность, получали право оставаться в городе. Что касается участи остальных, то в данном случае мы вступаем на почву гаданий. Однако, хотя эта почва всегда является весьма зыбкой, думаю, допустимо все же предположить, что отдельные крестьяне могли получить рассрочку в уплате долгов или полное от них освобождение. Не лишним будет сослаться при этом на разрешение, данное в середине XV в. белозерским князем Михаилом Андреевичем серебреникам Ферапонтова монастыря, вышедшим из монастырских владений (правда, не в город, а в волость Волочек Словенский), вернуть игумену с братьей свои долги в течение двух лет[2]. Не бесполезно также вспомнить, что по духовным грамотам многие землевладельцы частично или полностью прощали долги зависимым от них людям.

Что касается беглых холопов, то я думаю, что вопрос об их дальнейшем пребывании в городе решался на основе того правового статуса, который, как я пытался доказать в предыдущей главе, был установлен духовными грамотами московских князей для их имений. После смерти каждого князя его наследниками совершался пересмотр всех наличных холопов, и известная их часть, ненужная

---

[1] *И. Д. Мартысевич*, указ. соч., стр. 138.
[2] АСЭИ, т. II, стр. 307—308, № 326.

для хозяйства, могла получать свободу. Вероятно, исходя из этого статуса, действовали и московские наместники, «очищая» обнаруженных в Москве беглых княжеских холопов. В частности, я обращаю в связи с этим внимание на одну интересную деталь договора Дмитрия Донского с его двоюродным братом Владимиром Андреевичем 1389 г.: в нем говорится об «очистке» холопов и сельчан «по отца моего живот по князя по великого». Что это значит? Может быть, подразумевается проверка феодально зависимых княжеских людей, ушедших в Москву еще до смерти великого московского князя Ивана Ивановича (1353—1358 гг.), т. е. не позднее чем тридцать лет тому назад? Вряд ли! Зачем было поднимать дела столь большой давности. Вероятнее, напротив, речь идет о людях, оказавшихся в Москве после смерти Ивана Ивановича. Это, конечно, гораздо естественнее. Но основной смысл указания в договоре на кончину великого князя Ивана Ивановича заключается в том, что дела о холопстве должны были решаться, конечно, в соответствии с его завещанием, которое (как и завещания последующих московских князей) декларировало отпуск княжеских холопов на волю. Хотя такая декларация отнюдь не означала реального роспуска всей холопьей дворни, она предоставляла князьям возможность освобождаться от части ненужных им людей. Вероятно, поэтому многие из них, обосновавшиеся в Москве, после «очистки» со стороны наместников получали право там оставаться.

Резюмируя все изложенное выше, можно сказать, что если «городской воздух» и не делал еще феодально зависимых людей, убежавших от своих господ, свободными (как это утверждает М. Н. Тихомиров), то политика московских князей, вынужденных считаться с требованиями горожан, приводила к тому, что беглые княжеские крестьяне и холопы выходили из чисто владельческой феодальной зависимости и оседали в городе (по крайней мере в Москве), получая на это последующую санкцию со стороны княжеской власти.

И не случайно в договоре 1389 г. и других докончальных грамотах условие «очистить» холопов и сельчан стоит рядом с обязательством князей «блюсти» горожан (о таком обязательстве речь будет дальше). Это — условия одного порядка, содержащие известные льготы в отношении городского населения.

Нам остается разобрать статью договора 1390 г. и последующих годов о разделе по «жеребьям» между князьями «мастеров» и «огородников». Из контекста видно, что это не княжеские крестьяне и холопы, о которых говорится (непосредственно перед рассматриваемой статьей) с эпитетом *наши*. Имеются в виду ремесленники (по-видимому, «огородники» — это не лица, возделывавшие огороды, а строители оград, заграждений, городостроители), которых «*собе вымуть*» в пределах Москвы князья или (по более распространенному варианту) «*собе выметь*» московский великий князь. Значит, речь идет о *чужих* мастерах и огородниках, по-видимому, о чьих-то вотчинных ремесленниках, прибежавших в Москву и осевших

здесь. Князья переводят этих чужих ремесленников в число своих[1]. Но что значит своих? Похолопливают их князья, обращают в кабальную от себя зависимость? Нет, князья, согласно договору, будут владеть ими по «жеребием», т. е. «мастера» и «огородники» получат личную свободу и станут нести тягло, а повинности, с них взимаемые, князья поделят между собой пропорционально той доле, которая причитается каждому из доходов с города Москвы.

Смысл разбираемого пункта договорной грамоты 1390 г. станет в значительной мере ясным, если мы обратимся к духовной грамоте Дмитрия Донского 1389 г. Ему принадлежало «два жеребья» всех доходных статей с Москвы, а владельцем трети этих доходов был его двоюродный брат Владимир Андреевич серпуховско-боровский. Свои «два жеребья» Дмитрий Донской в свою очередь разделил между своими сыновьями таким образом, что «половина» их перешла к его старшему сыну, а другая «половина» досталась трем остальным[2]. В соответствии с этим разделом в договоре наследника Дмитрия Донского — великого князя Василия I Дмитриевича с его двоюродным дядей Владимиром Андреевичем говорится: из «огородников» и «мастеров», которых мы, князья, «собе вымемь» (т. е. которые в качестве тяглых людей перейдут под нашу власть), «мне, князю великому, з братьею два жеребья, а тобе, брате, треть». Задача договора 1390 г. в данном случае — разделить между князьями доходные статьи в Москве (с явным излишком в пользу великого князя московского), а не закрепить за князьями их холопов или крестьян. Если обратиться к духовной Ивана III 1504 г., то можно убедиться, что в ней дворы, принадлежавшие княжеским «мастерам» («а что которые мои дворы внутри города на Москве и за городом... за мастеры за моими...»), упомянуты в одном ряду с дворами, которыми владели бояре, князья, дети боярские, дворяне, дворцовые люди[3]. Эти дворы Иван III передал своим сыновьям-наследникам на тех же началах, что и другие «дворы городцкие посадные»[4]. Значит, это — тяглые, а не дворцово-вотчинные «мастера».

Итак, можно, по-моему, сказать, что бежавшие в Москву крестьяне и холопы вовсе не подлежали обязательному возврату своим владельцам. Могла быть возвращена в крепостное состояние лишь какая-то часть беглецов, нашедших убежище в городе, и то лишь после специального расследования. При этом наиболее квалифицированные люди из числа беглых крестьян и холопов («мастера», «огородники»), оказавшись в городе, выходили из положения вотчинных

---

[1] М. Н. Тихомиров понимает текст совершенно иначе: «...междукняжеский договор давал удельному князю возможность вылавливать из числа своих («наших») холопов и сельчан, бежавших в Москву, наиболее ценные категории мастеров и огородников» (*М. Н. Тихомиров*, Древняя Москва, стр. 130; *его же*, Средневековая Москва в XIV—XV веках, стр. 99—100).

[2] ДДГ, стр. 33, № 12.

[3] Там же, стр. 354, № 89.

[4] Там же, стр. 358, № 89.

лично зависимых ремесленников и переходили на положение лично свободных тяглых горожан.

Нельзя механически переносить на средневековую Русь те выводы, к которым пришли исследователи при изучении средневековых городов ряда стран Западной Европы. В громадной аграрной стране, где происходил дальнейший рост крепостничества, где города еще не стали очагом буржуазного развития, их роль в экономической и социальной истории была не такова, как в Западной Европе. И тем не менее и русские города являлись носителями таких социальных отношений, которые сильно отличались от крепостнических порядков, складывавшихся в деревне. История русского средневекового города XIV—XV вв. (как можно убедиться, изучая различные ее стороны) была противоречивой. Это был город феодальный и общая тенденция развития страны в направлении к созданию централизованного крепостнического государства не могла не наложить на него значительного отпечатка. Но в городе складывались и порядки, не укладывавшиеся в рамки крепостнической системы. Здесь создавались элементы того нового, что при данном уровне производительных сил не могло еще привести к зарождению капиталистических отношений, но что выделяло горожан из общей массы лично несвободного, феодально зависимого населения. Отсюда — приток крестьян и холопов в города, определивший их быстрый сравнительно рост. С развитием городов-посадов горожане — посадские люди становились активной силой социально-экономического и политического процесса, сыгравшей значительную роль в деле создания Русского централизованного государства.

* * *

Если в результате общественного разделения труда совершался дальнейший процесс городообразования, происходило перемещение части сельского населения (пусть весьма и весьма незначительной части) в города как экономические центры, то роль последних в складывании централизованного государства определялась и тем, что они были укрепленными пунктами. На протяжении XIV (особенно второй его половины) и XV вв. в ряде русских городов идет строительство крепостных сооружений.

Это относится прежде всего к Москве. В 1339 г., согласно летописным данным, здесь был выстроен деревянный кремль («... на ту же зиму... замыслиша заложиша рубити город Москву, а кончаша тое же зимы на весну в великое говейно»)[1]. Кремлевские стены были сделаны из дуба. 500 лет спустя, в 1839 г., нижние ярусы этих стен были найдены при земляных работах[2]. При Дмитрии Донском, в 1367 г., в Москве был воздвигнут каменный кремль («тое же зимы

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 92.

[2] *А. В. Арциховский*, Основные вопросы археологии Москвы («Материалы и исследования по археологии СССР» № 7, М.—Л., 1947, стр. 19).

князь великии Дмитреи Иванович, погадав с братом своим с князем Володимером Андреевичем и с всеми бояры стареишими, и сдумаша ставити город камен Москву, да еже умыслиша, то и сътвориша, тое же зимы повезоша камень к городу»)[1]. Наконец, новое переустройство Московского кремля относится ко времени Ивана III.

Военно-оборонительное значение имели и окружавшие город монастыри. По словам Н. Н. Воронина, со второй половины XIV в. «по периферии Москвы создается кольцо монастырей, являющихся как бы вспомогательными «фортами» обороны столицы»[2]. Все эти укрепления имели значение для борьбы Московского княжества с Тверским, Рязанским и пр., а также определяли роль Москвы в битвах русского народа с татаро-монгольскими захватчиками. литовскими феодалами и т. д.

Укрепленными пунктами являлись и города, окружавшие Москву. Н. Н. Воронин хорошо показал значение «стратегического треугольника — Москва, Коломна, Серпухов»— в борьбе Руси с Золотой ордой. На основе летописного материала и археологических данных он выяснил, что со второй половины XIV в., «в процессе подготовки к решительной схватке с Ордой, наряду с военно-инженерным строительством в городах по Оке большое внимание уделялось сооружению новых монастырей и храмов в ближайшем тылу» будущей борьбы[3]. В 1369 г. в связи с началом наступательных военных действий Московского княжества против Тверского был возведен деревянный кремль в Переяславле, стратегически важном для Москвы пункте («сего же лета князь великии Дмитреи заложи град Переяславль, единого лета и срублен бысть»)[4]. Вторично город был укреплен в 1403 г. («срубиша Переяславль»)[5]. Можно было бы привести и другие факты строительства крепостей в городах Московского княжества[6].

Следует отметить мероприятия по укреплению городов Верхнего Поволжья: закладку в 1416 г. новой крепости в Костроме после пожара, случившегося там в 1413 г. («того же лета град Кострома заложен бысть»)[7], постройку в 1410 г. Плеса («того же лета князь великий Василей повеле рубити град Плесо»)[8] и т. д.

Крепостное строительство во второй половине XIV—XV вв. шло и в пределах великого княжества Тверского. В 1317 г. в Твери

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 106. О строительстве Московского кремля см. также *М. Н. Тихомиров*, Древняя Москва, стр. 151—168; *его же*, Средневековая Москва в XIV—XV веках, стр. 32—42.

[2] *Н. Н. Воронин*, К характеристике архитектурных памятников Коломны времени Дмитрия Донского («Материалы и исследования по археологии СССР» № 12, М.—Л., 1949, стр. 218).

[3] Там же, стр. 219.

[4] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 109.

[5] Там же, стр. 106.

[6] См. об этом в книге А. М. Сахарова.

[7] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 163.

[8] ПСРЛ, т. VIII, стр. 85.

был заложен «болший град кремль»[1]. В 1369 г. «град Тферь срубили древян и глиною помазали»[2]. В 1372 г. по приказанию великого тверского князя Михаила Александровича вокруг Твери был выкопан вал, который «засыпали от Волгы». К работе было привлечено большое количество людей из Тверских и Новоторжских волостей[3]. Все эти оборонительные мероприятия производились в годы напряженной политической борьбы между Московским и Тверским княжествами. Тверские укрепления неоднократно возобновлялись и усиливались и в дальнейшем. В 1387 г. около тверского вала «рубили кожух» и «землею насыпали». Тогда же у города выкопали ров «глубле человека»[4]. В 1395 г. в Твери были выстроены новые городские стены. В 1413 г. по приказанию великого тверского князя Александра Михайловича «множество тверичь и кашинцев» приняло участие в закладке новой крепости[5]. Строительство тверского кремля велось и в 1446 г.[6]

Помимо работ по укреплению Твери, можно упомянуть также о закладке других крепостей в Тверском княжестве: в 1397 г.—Старицы («срублен бысть город на Волзе ко Зубцеву, на Старице»)[7]; в 1403 г.—Опок («князь великии Ивань Михайловичь тверскыи постави город Опокы на Волзе близ Ржевы...»)[8] и т. д.

О крепостном строительстве в Нижегородском княжестве свидетельства летописей противоречивы. Согласно данным Рогожского летописца, уже в 1363 г. князь Борис Константинович в Нижнем Новгороде «заложи город сыпати»[9], а в 1372 г., по повелению князя Дмитрия Константиновича. там был «заложен» каменный кремль[10]. Нижегородский летописец дает несколько иные сведения, называя 1365 г. как дату, когда в Нижнем Новгороде приступили к возведению каменного кремля (князь Борис «повеле ров копать, где быть каменной городовой стене и башням») и 1374 г. как дату постройки каменных стен (князь Дмитрий «повеле делать каменную стену и зачаты Дмитровские ворота»[11]). Как бы то ни было, бесспорно одно: и в Нижегородском княжестве, так же как и в других русских княжествах, со второй половины XIV в. города укрепляются сооружениями военно-оборонительного характера. И. В. Трофимов и И. А. Кирьянов считают, что стены сохранившегося доныне Ниже-

---

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 409.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 108.
[3] ПСРЛ, т. XV, стр. 433.
[4] ПСРЛ, т. XI, СПб., 1897, стр. 93.
[5] Там же, стр. 221.
[6] ПСРЛ, т. XV, стр. 493.
[7] Там же, стр. 407.
[8] Там же, стр. 470.
[9] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 74.
[10] Там же, стр. 100.
[11] *И. В. Трофимов* и *И. А. Кирьянов*, материалы к исследованию Нижегородского кремля («Материалы и исследования по археологии СССР» № 31, М., 1952, стр. 324).

городского кремля XVI в. «покоятся на остатках сооружения XIV в., повторяя его план, по крайней мере в нагорной части»[1]. Одновременно с построением каменного кремля в Нижнем Новгороде, в 1372 г. на реке Суре по инициативе князя Бориса Константиновича был основан город Курмыш[2].

Имеются сведения о градостроительстве в Муромо-Рязанской земле. Так, в 1351 г. князь Юрий Ярославич «обнови град, свою отчину Муром», поставил там «двор свой». Муромские бояре, купцы, черные люди также «ставиша дворы своя», и церкви «обновиша и украсиша иконами и книгами»[3].

Интересный материал содержится в летописях о военно-оборонительных сооружениях в Новгороде Великом, которому принадлежала важная роль в борьбе с немецкой агрессией на северо-западных границах Руси. Под 1302 г. в летописи имеется сообщение о закладке в Новгороде каменных стен («заложиша город камен Новугороду»). Расцвет городского строительства падает на время новгородского архиепископа Василия (вторая четверть XIV в.). В 1331—1334 гг. был обновлен новгородский детинец («город камен»), в 1335 г. заложен каменный острог[4]. А. Л. Монгайт относит эти летописные известия 30-х годов XIV в. к обнаруженной во время раскопок в Новгороде каменной стене и делает вывод, что при архиепископе Василии была предпринята попытка обнести такой стеной весь новгородский посад. «Естественно,—пишет А. Л. Монгайт,— что такая попытка могла осуществляться только по частям, на отдельных участках. в остальных же частях оставались земляные валы»[5]. Во второй половине XIV в. на тех участках новгородского острога, где не было каменных стен, земляные валы были усилены: на них стояли деревянные укрепления; у въездов были поставлены башни[6]. В XV в. новгородские деревянные укрепления были обновлены. Так, в 1424 г. «ставиша в Новегороде город»[7]. В 1430 г. «пригон был крестияном к Новугороду город ставити, а покручал 4-и 5-го»[8] (т. е. строительные работы производились силами сельского населения, причем из каждых пяти человек один шел на строительство, а остальные снабжали его припасами).

В псковских летописях данные о возведении каменных стен и башен содержатся под 1309, 1337, 1377, 1380, 1387, 1392—1394, 1396—1397, 1399—1402, 1404, 1412, 1417, 1420, 1421, 1424, 1433, 1434, 1452, 1453 гг. и др.[9]

---

[1] *И. В. Трофимов* и *И. А. Кирьянов*, указ. соч., стр. 324.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 112.
[3] Там же, стр. 97.
[4] НПЛ, стр. 91, 331, 343, 346.
[5] *А. Л. Монгайт*, Оборонительные сооружения Новгорода Великого («Материалы и исследования по археологии СССР» № 32, М., 1952, стр. 27).
[6] Там же, стр. 28—29.
[7] ПСРЛ, т. III, СПб., 1841, стр. 140.
[8] НПЛ, стр. 416.
[9] См. «Псковские летописи» под соответствующими годами.

Из других новгородских и псковских пригородов каменные укрепления были созданы в Орехове (1323)[1], Изборске (1330)[2], Яме (1384)[3], Порхове (1387)[4], Старой Ладоге (первое упоминание о «поновлении» каменной стены — под 1446 г.)[5], Острове (прямых указаний на время создания каменных стен в источниках нет)[6].

Какие же выводы можно сделать из вышеприведенного материала? То обстоятельство, что усиление работ по укреплению городов в разных частях Руси падает примерно на одно и то же время (вторая половина XIV в.), не случайно. Объясняется это тем, что к данному времени был достигнут определенный уровень ремесленного производства, необходимый для градостроительства в сравнительно широких масштабах. Общий экономический подъем, который наблюдался на Руси со второй половины XIV в., создавал предпосылки для государственного ее объединения (а это объединение происходило в острой борьбе, социальной и политической), а также для активного выступления русского народа в целях свержения татаро-монгольского ига и в целях защиты родины от нападений литовских, немецких и других захватчиков. В этих условиях города приобретали особое значение и как ремесленно-торговые центры, создающие материальные предпосылки для дальнейшего национального и политического развития Руси, и как центры военно-стратегические, обеспечивающие возможность такого развития в обстановке внутренних феодальных войн и внешнеполитического враждебного окружения. При этом в усилении обороноспособности были заинтересованы и феодальные правительства отдельных княжеств и сами горожане.

Для князей и их слуг возрастание военного потенциала городов было важно в плане укрепления последних не только как опорных пунктов в борьбе с внешней опасностью, но и как центров феодального властвования. И, несомненно, в ряде случаев можно отметить усиление городов как базы господства класса феодалов, стремившихся утвердить в городах крепостнические порядки. Но одновременно следует обратить внимание и на другую сторону вопроса: развертывание градостроительства создавало новые предпосылки для развития общественного разделения труда и роста городских посадов. Строительство крепостей стимулировало распространение разных ремесел. Появлялось больше условий для товарного производства и применения наемного труда. При возведении крепостей принудительным трудом сельского населения в порядке выполнения

---

[1] НПЛ, стр. 97.

[2] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 23.

[3] НПЛ, стр. 379.

[4] Там же, стр. 381.

[5] ПСРЛ, т. IV, стр. 123.

[6] Историческая характеристика оборонительных сооружений в новгородских и псковских пригородах дана в статье П. А. Раппопорт «Из истории военно-инженерного искусства древней Руси (Старая Ладога, Порхов, Изборск, Остров)»—«Материалы и исследования по археологии СССР» № 31, М., 1952, стр. 133—201.

им государственной повинности в городах скоплялась масса народа, нуждавшегося в пропитании. Требовалось усиливать подвоз в города сельскохозяйственных продуктов. Это обстоятельство содействовало росту обмена между городом и деревней, развитию города как центра товарного производства и обращения[1]. Усиливалась активность горожан, которым в процессе градостроительства принадлежали не только функции исполнителей (таковыми были посадские ремесленники — плотники, каменщики и т. д.). Представители посада часто являлись инициаторами и организаторами строительных работ. Приток в города на строительство крестьянства и его общение с посадскими людьми создавали почву для антифеодальных выступлений. В целом возрастало значение посада в общественной жизни, что не могло не служить предпосылкой преодоления политической раздробленности, ибо городу принадлежала в этом деле большая роль.

§ 5. Княжеские дворцовые слуги и тяглые люди в городах («делюи», «ордынцы», «числяки»)

Феодальный город был не только центром ремесла, которым занимались лично свободные посадские люди, несшие государево тягло, но и средоточием дворцового (княжеского) и вотчинного (монастырей, бояр) хозяйств. Для путей развития города XIV—XV вв. очень показательно, как складывались взаимоотношения между дворцовой княжеской «службой» и посадским тяглом.

По существу это вопрос о роли в городе частной феодальной собственности на землю и крепостнической системы. В этом отношении заслуживает специального рассмотрения вопрос об упоминаемых в духовных и договорных грамотах московских великих и удельных князей «*делюях*», «*ордынцах*», «*численых людях*» («*числяках*»). Начнем с анализа первого термина.

В литературе нет ясности относительно того, каково его значение. Еще С. М. Соловьев указывал, что под «делюями» «разумеются всякого рода ремесленные и промышленные люди, поселенные на княжеских землях»[2]. Советский исследователь А. М. Сахаров указывает, что «делюев», «очевидно, следует считать близкими по положению к дворцовым людям, выполнявшим свои «службы» князю»[3]. В то же время С. Б. Веселовский предполагает (неизвестно на каком основании), что «делюи», так же как «ордынцы» и «числяки», «должны были встречать на границе, принимать, содержать, обслуживать и провожать различных ханских послов, баскаков и т. п.»[4] Попытаемся проверить на основе анализа источников эти противоречивые утверждения.

---

[1] Об этом интересный материал имеется в книге А. М. Сахарова.

[2] *С. М. Соловьев*, История России с древнейших времен, кн. I, стб. 1203.

[3] *А. М. Сахаров*, Города Северо-Восточной Руси XIV—XV вв., стр. 134.

[4] *С. Б. Веселовский*, Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси, т. I, стр. 210.

«Делюи» впервые упоминаются в договорной грамоте Дмитрия Донского с Владимиром Андреевичем в 1367 г. Говорится о «делюях» в этом документе очень коротко: «А что наши ординци и делюи, а тем знати своя служба, как было при наших отцех»[1]. Эта лаконичная формула (иногда с некоторыми дополнениями) повторяется и в ряде последующих договорных грамот московских великих князей и князей серпуховско-боровских XIV—XV вв., в духовной грамоте Владимира Андреевича начала XV в., наконец, в докончании Ивана III с князем Андреем Васильевичем углицким 1472 г.[2] Отсутствуют упоминания о «делюях» в духовных грамотах московских великих князей. Конечно, мы должны ответить на вопрос: почему теме о «делюях» посвящена ограниченная группа договорных княжеских грамот (за одним исключением регулирующих взаимоотношения лишь московских и серпуховско-боровских князей), почему о них прямо не говорят московские великие князья в своих завещаниях?

Из приведенного текста видно, что они несут какую-то «службу», установленную уже при первых московских князьях. О том, что это — служба не военная, а связанная с исполнением обязанностей по дворцовому княжескому хозяйству, видно из духовной князя серпуховско-боровского Владимира Андреевича начала XV в.: «А сына Ивана благословляю на старешыи путь ему в Москве и в станех конюшеи путь, бортници, садовници, [псари], бобровники, барыши и делюи. А тех бортников, или садовников, или псарей, или бобровников, или барышов, делюев не всхочет жыти на тех землях, ин земли лишон, поиди прочь, а сами сыну, князю Ивану, не надобе, на которого грамоты полные не будет, а земли их сыну, князю Ивану»[3]. Таким образом, «делюи» упомянуты в числе работников княжеских промысловых угодий, расположенных в Москве или в московских станах. Они — в большинстве лично свободные люди, хотя среди них имеются и полные холопы. Исполняя свою «службу», они пользуются участками княжеской земли; прекращая «служить» князьям,—этой земли лишаются. «Делюи» не имеют права распоряжаться находящейся в их пользовании землей, продавать ее («а земль их не купити»)[4].

Из текста завещания князя Владимира Андреевича неясно, является ли слово «делюи» термином, обозначающим всех вообще дворцовых княжеских слуг в Москве и станах (так можно думать, исходя из второй половины приведенной выше цитаты: «а тех бортников, или садовников... или барышов, делюев»), или же данный термин имеет в виду какую-то одну категорию этих слуг (в этом смысле можно понять первую часть цитаты: «...конюшеи путь,

---

[1] ДДГ, стр. 20, № 5.

[2] Там же, стр. 23, № 7; стр. 31, № 11; стр. 37, № 13; стр. 46, №17; стр. 130, 133, 136, 139, № 45; стр. 170, 173, № 56; стр. 181, 184, № 58; стр. 215, № 66.

[3] Там же, стр. 46, № 17.

[4] Там же, стр. 37, № 13.

бортници... барыши и делюи»). Конечно, делать выводы на основе только наличия или отсутствия перед словом «делюи» буквы «и» нельзя. Для решения поставленного вопроса полезно привлечь в качестве аналогии договор рязанских князей 1496 г. Судя по названному документу, владельческие порядки в городе Переяславле-Рязанском и его уезде были сходны с теми порядками, которые сложились в Москве. В договоре 1496 г. упомянуты княжеские «...люди деленыи ловчане ... и городские рыболове, истобники, псари, подвозники меховыи, подвозники кормовыи, и садовники, ястребьи, подвозники медовыи, и гончяры, неводчики, и бобровники, и иные кои мои люди деленые...»[1] Можно с достаточной долей вероятности высказать предположение, что рязанские *«люди деленыи»*— это те же московские *«делюи»*, дворцовые слуги, рабочая сила княжеских промысловых угодий, ремесленники. Почему упомянутые люди называются «деленными»? Потому, что князья поделили их между собой, потому, что они составляют административный и рабочий персонал дворцовых владений, каждое из которых принадлежит тому или иному князю как феодалу-собственнику. Поэтому каждый князь и дает «делюям» землю в обеспечение их «службы» и отбирает у них эту землю, когда они перестают ему «служить». Не случайно в договорных грамотах князей «делюи» противопоставляются другой категории населения — «численым людям». Последних князья должны «блюсти... с одиного», т. е. не делить между собой, не разводить по своим дворцовым владениям.

Каково же происхождение «делюев»? В первом же документе, в котором они упомянуты,— в договоре Дмитрия Донского с князем Владимиром Андреевичем — сказано, что «делюи» должны выполнять свою «службу», «како было при наших (упомянутых князей) отцех»[2]. Отцы Дмитрия и Владимира — князья Иван Иванович и Андрей Иванович, сыновья великого московского князя Ивана Даниловича Калиты. Следовательно, очевидно, в княжение последнего и произошел тот раздел дворцовых слуг, в результате которого в договорах князей стали упоминаться «делюи».

Обращаясь к духовной Ивана Калиты, мы найдем материал по интересующему нас вопросу. Это два текста: 1) «А что моих бортников и оброчников купленых, которыи в которои росписи, то того»; 2) «А численыи люди, а те ведают сынове мои собча, а блюдуть вси с одиного. А что мои люди куплении в великомь свертце, а тыми ся поделять сынове мои»[3]. Поделенные Иваном Калитой между своими тремя сыновьями «купленные» им люди — это, очевидно, те самые «делюи», о которых упоминают соглашения Дмитрия Донского и последующих московских князей с князьями серпуховско-боровскими. Отсюда и ответ на поставленный выше попрос: почему о «делюях» говорят именно эти договоры? Да потому, что после

[1] ДДГ, стр. 334, № 84.
[2] Там же, стр. 20, № 5.
[3] Там же, стр. 8, № 1.

смерти старшего сына Ивана Калиты — Семена Ивановича недоразумения по разделу дворцовых слуг Калитой могли возникнуть между потомками двух других его сыновей — Ивана (по прямой линии от него пошли великие князья московские) и Андрея (его потомки были князьями серпуховско-боровскими). В статьях о «делюях», помещенных в договорах между великими князьями московскими и князьями серпуховско-боровскими, таким образом, отразилась их борьба за рабочую силу (причем за квалифицированную рабочую силу) для дворцового хозяйства, которое у каждого из них имелось в городе Москве и в московских станах.

Понятно, почему не фигурируют «делюи» и в духовных грамотах московских великих князей. Этот термин появился при «отцех» Дмитрия Донского и Владимира Андреевича в результате раздела дворцовых слуг в Москве. Что касается духовных грамот Ивана Калиты и его сына Ивана Ивановича, то в них зафиксирован самый акт такого раздела, т. е. процесс появления «делюев». Поэтому, не употребляя существительного «делюи», эти два князя имеют его в виду, пользуясь глаголом «делити» («а тыми ся поделять сынове мои»). Что касается духовной Дмитрия Донского, то она не поднимает вопроса о владельческих взаимоотношениях между его сыновьями и его двоюродным братом князем Владимиром Андреевичем (кроме распоряжения, сделанного в общей форме,— «а брат мои, князь Володимер, ведает свою треть, чем его благословил отець его князь Аньдреи»[1]), а именно в связи с этими взаимоотношениями и могла бы быть поднята тема о «делюях». В духовной Дмитрия Донского внимание последнего обращено на новый раздел рабочего персонала дворцового хозяйства между своими сыновьями. И в этой связи говорится и о бортниках, конюхах, сокольниках, ловчих, т. е. о всех тех дворцовых слугах, которые по отношению к таковым же людям, работающим в хозяйстве князя Владимира Андреевича, являются «делюями».

Теперь последнее, о чем следует сказать в связи с «делюями». В начале XV в., как было показано выше,— это (за некоторыми исключениями) свободные держатели участков княжеской дворцовой земли. В духовной Ивана Калиты (около 1339 г.) о них речь идет как о холопах («людях купленых»). Когда же и почему произошел переход «делюев» из числа холопов в число лично свободных дворцовых княжеских слуг? В духовной великого князя Ивана Ивановича 1358 г. упоминаются отца его «купленые бортници под вечные варях..., и конюшии путь...»[2]. В духовной Дмитрия Донского 1389 г. слово «купленые» исчезает («а бортъници вь станех в городских, и конюшии путь, и соколничии, и ловчии...»)[3]. В духовной Владимира Андреевича 1401—1402 гг. о всех этих бортниках, садовниках, псарях, бобровниках, барышах,— словом «делюях»,

---

[1] ДДГ, стр. 33, № 12.
[2] Там же, стр. 15, № 4.
[3] Там же, стр. 33, № 12.

прямо сказано, что тот из них, на кого у князя нет «полной грамоты», может, если «всхочет», «поити прочь»[1]. Из сопоставления текстов видно, что какое-то изменение в положении «делюев» произошло в княжение Дмитрия Донского. Вопрос о том, как произошло это изменение, в свою очередь распадается на два: 1) каков был юридический путь выхода «делюев» из холопства; 2) каковы социально-экономические и политические условия этого процесса?

Юридически освобождение «делюев» из холопства могло быть оформлено на основе правопорядка, установившегося во владениях московских князей, согласно которому после смерти каждого из них совершался пересмотр документации, касающейся его холопов, и часть из них отпускалась на волю. Но я уже во второй главе книги пытался доказать, что этот правопорядок вовсе не означал периодического массового роспуска всех княжеских холопов. Проверка их наличного состава не всегда вела за собой ликвидацию их зависимости на основе полных грамот от князей-холоповладельцев. Значит, надо попытаться объяснить, почему же все-таки в отношении к «делюям» при Дмитрии Донском была применена юридическая норма о выводе из холопства «людии полных, купленых, грамотных», имеющаяся в завещании его отца — великого московского князя Ивана Ивановича[2], так же как и в духовных последующих князей. Я думаю, что объяснение этому надо искать в том обстоятельстве, что «делюи» — это население дворцовых владений князей, расположенных в городе Москве и в пределах московских станов. Поэтому на положении «делюев» не могли не сказаться городские порядки. Я вовсе не являюсь (как уже говорил об этом выше) сторонником мнения М. Н. Тихомирова: «городской воздух» обязательно делал людей, попавших в Москву в XIV—XV вв., свободными. Нельзя механически применять для объяснения явлений русской действительности изучаемого времени те выводы, которые сделаны при изучении истории городов западноевропейского средневековья. Но нельзя и недооценивать того обстоятельства, что русские горожане были силой, с которой не могли не считаться князья. И вся политика Дмитрия Донского (как будет видно из анализа политической истории Руси) была направлена на союз с городами. Поэтому перевод московских городских и подгородных «делюев» из состояния холопства в состояние людей лично свободных, но зависимых от князей на основе владения предоставленной им последними землей, был одним из актов великокняжеской политики, проводившейся в связи с выступлениями горожан. Я считаю правильным поставить этот акт в один ряд с такими мероприятиями великокняжеской политики, как взятое Дмитрием Донским на себя обязательство «блюсти» права гостей, суконников и других горожан, не допускать их перехода в «заклад» к феодалам и привлечения их на военную службу в составе каких-либо полков, помимо специальной

[1] ДДГ, стр. 46, № 17.
[2] Там же, стр. 17, № 4.

московской городской рати, «очищать» (путем специального судебного разбирательства) убежавших в Москву княжеских холопов и крестьян от их обязательств своим владельцам и т. д. (этим обязательствам посвящен специальный параграф данной главы). Характерно, что все перечисленное характеризует великокняжескую политику после крупного антифеодального восстания в Москве в 1382 г. и в значительной степени является ответом на это восстание.

Рядом с «делюями» в договорных княжеских грамотах обычно стоят «ордынцы»: «а что наши ординци и делюи, а тем знати своя служба, како было при наших отцех»; «... а земль их не купити»[1]. По аналогии с тем, что мы знаем о «делюях», можно предполагать, что упоминаемые в междукняжеских договорах вместе с ними «ордынцы» также принадлежали к числу дворцовых княжеских слуг, живших в Москве и подмосковных станах, несших специальную «службу» князьям и получавших за это от них в условное владение землю.

В. Е. Сыроечковский привлек для объяснения значения термина «ордынцы» некоторые сведения о последних, имеющиеся в посольских делах конца XV—начала XVI в. Там упоминаются «ординци, великого князя холопи», которые в Крым «казну привезли»[2]. Исходя из подобных данных, В. Е. Сыроечковский делает вывод, что «ордынцы» представляли собой особый персонал, предназначавшийся для доставки сначала в Золотую орду, затем в Крым дани. «Если представить себе то громадное количество поминков, целые обозы телег, которые посылались с каждым крупным посольством, то станет ясным, что для перевозки поминков нужен был особый штат людей». В Крымских делах Посольского приказа среди «ордынцев» встречаются купцы и ремесленники разных специальностей. В связи с этим В. Е. Сыроечковский отмечает: «Близость к казне, поездки сначала в Золотую орду, позже в Крым втягивали ордынцев в торговлю». С другой стороны, в качестве «поминков» в Золотую орду, затем в Крым отправлялись меха, шубы и т. д.; «для этого были нужны скорняки, шубники». Следовательно, «ордынцы» — это торговые и ремесленные люди, выполнявшие службу по доставке дани в Золотую орду, а впоследствии в Крым. Торговоремесленный облик «ордынцев» сближает их с «делюями». В. Е. Сыроечковский даже делает предположение, что «в некоторых из отправлявшихся в торговые поздки в Крым торговцах с ремесленными прозвищами» можно видеть «княжеских делюев»[3].

Выводы В. Е. Сыроечковского представляются мне аргументированными достаточно убедительно. Продолжая его наблюдения,

---

[1] ДДГ, стр. 20, № 5; стр. 31, № 11; стр. 37, № 13; стр. 70, № 27; стр. 130, 133, 136, 139, № 45; стр. 170, 173, № 56; стр. 181, 184, № 58; стр. 215, № 66.

[2] «Сборник Русского исторического общества» (далее—Сб. РИО), т. XCV, СПб., 1895, стр. 284, 380.

[3] *В. Е. Сыроечковский*, Гости-сурожане, стр. 85—87.

я хотел бы добавить несколько своих собственных соображений. Первое упоминание об «ордынцах», так же как и о «делюях», имеется в договоре Дмитрия Донского с Владимиром Андреевичем 1367 г. В этом документе (как мы уже знаем) говорится, что «ордынцы» и «делюи» должны «знати своя служба, како было при наших отцех»[1] (т. е. при сыновьях Ивана Калиты). Отсюда можно сделать вывод, что «ордынцы» как особая категория населения города Москвы появились во всяком случае не позднее, чем при Калите. Весьма вероятно, что организация в Москве «ордынцев» относится ко времени после антитатарского восстания в Твери в 1327 г., которое Иван Калита подавил с помощью войск, приведенных из Золотой орды. Этим актом, как известно, Калита отклонил от Московского княжества возможное нападение ордынских сил. Развитие дальнейших дипломатических взаимоотношений с Золотой ордой потребовало от московского князя соответствующих мероприятий. Одним из них и было выделение специального персонала из числа торгово-ремесленного населения, который выполнял бы посольские функции. Возможно, что «ордынцы» выделывали также специальные предметы ремесленного производства, которые потом отправлялись в составе дани или продавались в Орду. Известно, как, например, высоко ценили крымские ханы изделия русских мастеров: оружейников, ювелиров.

Какие-то изменения в положении «ордынцев» наступили во второй половине XV в. Если до этого времени они упоминались в договорных грамотах князей рядом с «делюями», то во второй половине XV в. термин «делюи» исчезает, а наименование «ордынцы» начинает встречаться в документах в одном ряду с «численными людьми» («числяками»). То, что княжеские договорные грамоты перестают говорить о «делюях», понятно. Ведь этот термин возник (как было показано выше) в результате раздела дворцовых княжеских промышленников и ремесленников между московскими и серпуховско-боровскими князьями. С ликвидацией к середине XV в. Серпуховско-Боровского удела наименование «делюи» утратило свой смысл. Но, чтобы ответить, почему вступили в сочетание термины «ордынцы» и «численные люди», надо предварительно рассмотреть положение «численных людей».

О них говорит уже Иван Калита в своих духовных грамотах в следующей форме: «А численыи люди, а те ведають сынове мои собча, а блюдуть вси с одиного»[2]. Эта же формула (с некоторыми вариантами и дополнениями) повторяется и в последующих грамотах (духовных и договорных) московских князей[3]. Князья должны

[1] ДДГ, стр. 20, № 5.

[2] Там же, стр. 8, 10, № 1.

[3] Там же, стр. 15, 17, № 4; стр. 20, № 5; стр. 23, № 7; стр. 31, № 11; стр. 33, № 12; стр. 37, № 13; стр. 46, № 17; стр. 49, № 17; стр. 55, № 20; стр. 58, № 21; стр. 60, № 22; стр. 70, №, 27; стр. 73, № 29; стр. 130, 132, 136, 139, № 45; стр. 170, 173, № 56; стр. 180, 181, 184, № 58; стр. 194, 198, № 61; стр. 215, № 66; стр. 354, № 89; стр. 374, 378, № 94; стр. 382, 386, 395, № 95; стр. 397, 400, 402, № 96.

сообща «блюсти» (т. е. соблюдать права) «численных людей», живущих как в Москве, так и в подмосковных станах, не принимать их в «службу», не покупать их земель.

Разница между «численными людьми», с одной стороны, «делюями» и «ордынцами»— с другой, заключается в том, что последние выполняют княжескую «службу», первых, напротив (как сказано), князья к «службе» привлекать не должны. Это значит, что «численные люди» находятся на положении не дворцовых княжеских слуг, а тяглых людей. Они обязаны «тягль всякую тянути»[1]. В чем же заключается «тягль»?

С «численных людей» взимается дань, которая идет в Орду. В духовной грамоте Владимира Андреевича начала XV в. читаем: «А переменит бог Орду, и князь велики не имет выхода давати во Орду, и дети мои, а что возмут дани на Московских станех, и на городе на Москве, и на численых людех, и дети мои возмут свою треть дани московские и численых людеи, а поделятся дети мои с матерью вси ровно, по частем. А которои сын мои возмет дань на своем уделе, и та дань тому и есть»[2]. Приведенный текст надо понимать в том смысле, что в случае падения власти Орды над Русью и прекращения сбора ордынской дани та часть этой дани, которая собирается с населения города Москвы и московских станов, должна быть поделена между князьями — совладельцами Москвы а часть, уплачиваемая жителями Серпуховско-Боровского удела, пойдет местному удельному князю. Стало быть, «численные люди» («числяки») представляют собой специальную группу черного населения (московского городского и подгородного), платившего дань в Орду и поэтому оберегаемого князьями. За это они пользовались тяглой землей. Сохранились материалы судебных дел «числяков» с соседним московским Симоновым монастырем, из которых видно, что «численная земля» с точки зрения права владения ею является «черной»[3].

Но только ли уплатой ордынской дани ограничивались повинности «числяков»? Вряд ли. Если бы было так, то они ничем бы не отличались от других тяглых жителей Москвы и подмосковных станов, с которых ведь также бралась дань для отправки в Орду. Для объяснения значения термина «численные люди» («числяки») небезынтересно привлечь договор рязанских князей 1496 г. Названная докончальная грамота знает наряду с «гостями» и «черными людьми» «кладежных людей старых, кои послов кормят в Переславли»[4]. Слово «кладежный», очевидно, происходит от существительного «кладь» (поклажа), а связь «кладежных людей» с посольским делом говорит за то, что они были ответственны за перевозку в Орду приезжавших оттуда представителей с их имуществом. То, что

---

[1] ДДГ, стр. 374, № 94,
[2] Там же, стр. 49, № 17.
[3] АСЭИ, т. II, стр. 368—370, № 374; стр. 374, № 376.
[4] ДДГ, стр. 335, 340, № 84.

«кладежные люди» поставлены рядом с «гостями» и «черными» людьми, а в то же время выделены из их числа, свидетельствует об их занятиях ремеслом и торговлей в качестве специального разряда городского населения. Все говорит как будто за то, что рязанские «кладежные люди» полностью соответствуют московским «числякам».

«Численные», как и «кладежные» «люди», должны были, очевидно, предоставлять татарским послам ночлег, содержание, подводы и т. д., т. е. нести то тягло, от которого освобождалось население феодальных вотчин, пользовавшихся иммунитетом. «... Ни толмачи послов на те села не наводят, ни ставят»,—читаем в жалованной грамоте московского великого князя Василия II митрополиту Ионе на владения в Юрьевском уезде середины XV в.[1] «И приставы мои и толмачи татар не ставят»,—предписывает Иван III, выдавая в 1467—1474 гг. жалованную грамоту Троице-Сергиеву монастырю на села в Переяславском уезде[2]. В жалованной грамоте Ивана III Троицкому Махрищскому монастырю около 1471 г. имеется следующий пункт: «... Хто поедет мои пьристав, великого князя, или которои толмач с послы с татарьскими, и те мои приставове и толмачи вь их в манастырьских селех и в деревнях татар не ставят оу их манастырьских людеи, и кормов оу них, ни подвод, ни проводников не емлют»[3]. Содержащееся в жалованных грамотах перечисление в негативной форме повинностей сельского населения монастырских и митрополичьих владений дает возможность представить себе позитивно обязанности «численных людей».

Думаю, что эти обязанности могли быть впервые определены тогда же, когда была организована и служба «ордынцев», т. е. вслед за подавлением Иваном Калитой в 1327 г. восстания в Твери. После того как в результате народных движений 20-х годов XIV в. пала система баскачеств[4], взаимоотношения русских земель с Золотой ордой стали строиться на новых началах. Московское княжество пыталось взять на себя в этих взаимоотношениях ведущую роль среди других княжеств Северо-Восточной Руси. В этой связи и появились «числяки» и «ордынцы» как особые категории московского городского и подгородного населения. Их социальное происхождение было, по-видимому, разное. «Ордынцы», как можно думать, первоначально принадлежали (подобно «делюям») к числу княжеских холопов (о чем сохранилось воспоминание в «Крымских делах»); затем они превратились в лично свободных дворцовых слуг. «Числяки»—черное население города и подгородных станов. Первые выполняли «службу» как лица, зависимые непосредственно от мос-

---

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 130, № 145.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 261, № 356.
[3] Там же, стр. 295, № 403.
[4] Об этом интересные соображения высказал А. А. Зимин в статье «Народные движения 20-х годов XIV века и ликвидация системы баскачества в Северо-Восточной Руси» («Известия Академии наук СССР», Серия истории и философии, 1952, т. IX, № 1, стр. 63—65).

ковских князей-вотчинников. Вторые несли «тягль», как жители городской и пригородной территории, входящие в состав черного посадского мира и подчиненные власти московских князей, которые имели определенные политические и фискальные права в Москве.

Но во второй половине XV в. «числяки» и «ордынцы» сближаются по своему правовому положению. В духовных грамотах Василия II и Ивана III они упоминаются рядом, точно так же как в разъезжих грамотах 1504 г. Ивана III на города Дмитров. Рузу, Звенигород, Кашин, переданные им своему сыну Юрию Ивановичу[1]. Судя по последним документам, «численные люди», так же как «ордынцы», должны были «тягль всякую тянути» и непосредственно подчиняться московскому великому князю Василию II (в то время как раньше они были подведомственны всем князьям — совладельцам Москвы). «Численные» и «ордынские» земли, оказавшиеся при размежевании в пределах владений удельного князя Юрия Ивановича, административно выделены в единый комплекс, подвластный великокняжеской власти, князю же Юрию не разрешалось «в те численые земли и в ординские... въступатися ничем»[2].

Что же означают изменения в положении «числяков» во второй половине XV в.? Необходимо, конечно, подчеркнуть внешнеполитический момент. С образованием Русского централизованного государства возникла потребность в известной реорганизации и упорядочении посольской службы, ее сосредоточении под властью великого князя московского. Поэтому и были приведены в единую систему ранее в известной мере разрозненные организации «ордынцев» и «числяков». Но нас интересует сейчас не внешнеполитическая, а преимущественно социально-экономическая сторона дела. История «числяков» и «ордынцев» отразила противоречивые тенденции в развитии русского города XIV—XV вв. С одной стороны, на этой истории (превращение «службы» в «тягль») можно проследить общий рост крепостнических отношений в связи с образованием централизованного государства на Руси, выразившийся в усилении посадского «тягла». С другой стороны, в замене посадским «тяглом» прежней дворцовой «службы» «ордынцев» нельзя не видеть своеобразной трансформации отношений, возникших в сфере княжеского частновладельческого хозяйства, под воздействием порядков, характерных для города в противоположность феодальной вотчине.

§ 6. Монастырское и церковное дворовладение в городах

Продолжая изучение той роли, которую играла в городах собственность на землю отдельных феодалов и феодальных корпораций, надо сразу подчеркнуть, что не только князьям, но и другим

---

[1] ДДГ, стр. 371—406, № 93—97.
[2] Там же, стр. 374, № 94.

землевладельцам, светским и духовным, в городах принадлежали дворы. Так, например, большим числом дворов владели бояре и княжеские слуги в Москве[1]. Однако о роли феодального дворовладения в городах можно судить лишь на основании данных, относящихся к монастырскому и церковному хозяйству[2].

На протяжении XIV—XV вв. в ряде городов Северо-Восточной Руси крупнейшие русские монастыри заводят дворы как центры торгово-промышленной деятельности. По актовому материалу можно установить наличие у Троице-Сергиева монастыря дворов во Владимире, Москве, Дмитрове, Переяславле, Ростове, Угличе, Галиче, Нерехте, Кашине, Твери; у Симонова монастыря — в Москве, Дмитрове, Галиче; у Кириллова-Белозерского монастыря—в Москве, Дмитрове, Вологде, Белоозере[3]; у Иосифова-Волоколамского монастыря—в Волоколамске[4]. Митрополичья кафедра владела дворами в Москве, Владимире, Переяславле, Нерехте[5].

Некоторые крупные феодальные духовные корпорации имели в отдельных городах по нескольку дворов. У Троице-Сергиева монастыря было два двора в Дмитрове («один двор внутри города, а другой двор на посаде»)[6]; у митрополичьего дома—21 двор во Владимире «на митрополичих местех»[7].

Возникновение церковных и монастырских дворов было связано с развитием промыслов и торговли во владениях духовных феодалов. Так, у Ростова были сосредоточены рыбные промыслы. У Соли Переяславской, Соли Галичской, в Нерехте находились соляные варницы и т. д. На посаде в Старой Руссе владел солеварнями Волотов монастырь[8]. В Ростове приобрел в середине XV в. соляную вар-

---

[1] См. об этом *В. В. Фехнер*, Москва и ее ближайшие окрестности в XV и в начале XVI века («Материалы и исследования по археологии СССР» № 12, М.—Л., 1949, стр. 114—116).

[2] Вопрос о монастырском дворовладении в городах Северо-Восточной Руси поднял в своей монографии П. П. Смирнов. Он собрал и обработал интересный большой материал, но преподнес его под углом зрения своей неверной концепции о «перерождении» во второй половине XV—первой половине XVI в. «старых своеземческих городов в новые торгово-промышленные города...» (*П. П. Смирнов*, Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века, т. I, стр 78).

[3] АСЭИ, т. I, стр. 223, № 312; стр. 33, № 13; стр. 206, № 289; стр. 244, № 337; стр. 70, № 83; стр. 75, № 91; стр. 81, № 101; стр. 84, № 105; стр. 88, № 109; стр. 109—110, № 144; стр. 142, № 199; стр. 229, № 320; стр. 265, № 361; стр. 369—379, № 490; стр. 389—390, № 515; стр. 79, № 98; стр. 85, № 107; стр. 255, № 349; стр. 547—549, № 635; стр. 385, № 506; стр. 60, № 65; стр. 62, № 67; стр. 172—173, № 245; стр. 547—549, № 635; стр. 345—347, № 458, 460; стр. 347, № 461; стр. 380—381, № 502; стр. 553—554, № 640; стр. 211, № 298; стр. 549—550, № 637; стр. 411, № 535; т. II, стр. 355, № 361; стр. 350, № 356; стр. 337, № 339; стр. 346—347, № 351; стр. 87, № 150; стр. 139, № 216; стр. 98—99, № 163; стр. 63, № 103; стр. 113, № 180; стр.126, № 195; стр. 130, № 200; стр. 77, № 126.

[4] АФЗХ, ч. 2, стр. 30, № 26.

[5] АФЗХ, ч. 1 стр. 1о3, № 167—168.

[6] АСЭИ, т. I, стр. 244, № 337.

[7] АФЗХ, ч. 1, стр. 153, № 167.

[8] АИ, т. I, № 111.

ницу «со цреномь» Симонов монастырь[1]. В ряде источников имеются прямые указания на то, что население городских монастырских дворов занималось торговой деятельностью. Так, в жалованной грамоте серпуховско-боровского князя Василия Ярославича Троице-Сергиеву монастырю 1447—1455 гг. на двор в городе Дмитрове читаем: «... Што у них двор монастырской в городе в Дмитрове, и хто у них ... живет... в их дворе в городском, ино те люди купят ли што, продадут ли, ино тем людем не надобеть явленное, ни пятенное»[2]. То же самое говорится в жалованной грамоте вологодского князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову-Белозерскому монастырю 1467 г. на двор в Вологде: «А хто в том их жывучи людеи дворе купят ли что, продадут ли на Вологде, также им не надобе никоторые пошлины опроче церковных пошлин»[3]. Жалованная грамота Василия II Троице-Сергиеву монастырю 1453 г. содержит данные о монастырской торговле солью в Галиче («А коли привозит соль манастырьскую их [Троице-Сергиева монастыря] заказщик продавати в город, ино ему не надобе тоя тамга, ни восмьничее, ни иная никоторая пошлина») и о покупке монастырем дров для солеварен («А дрова манастырьскому соловару волно купити оу моих людей»)[4].

Но, кроме прямых указаний на то, что жители городских монастырских дворов вели торговлю, об этом же свидетельствуют княжеские жалованные грамоты, предоставляющие монастырям в городах иммунитетные привилегии (в числе пошлин, от которых освобождаются монастырские «люди», обычно фигурируют и пошлины торговые).

Способы, пользуясь которыми монастыри и другие церковные учреждения заводили частную недвижимую собственность в городах, были различны. Иногда они получали от князей места под дворы, на которых и возводили жилые постройки. Так, в 1488 г. великий князь Иван Иванович «пожаловал» игумена Троице-Сергиева монастыря Макария, «дал» ему «место во Тфери за городом у Волги на стрелице, а поставят собе на том месте двор на приезд»[5].

Бывало и так, что князья отдавали монастырям в городах уже застроенные дворы на «белых местах», т. е. на земле, освобожденной от посадского тягла. В 1500 г. князь Федор Борисович передал Иосифову-Волоколамскому монастырю «на приезд» двор в Волоколамске «впрок, без отъима». Двор был огорожен «заметам и столбы» и имел «двои ворота покрыта». Из «хором» на дворе находились две избы, две житницы, мшеник, рубленая конюшня[6]. Приобретали монастыри дворы также путем покупки у владельцев «белых мест»— князей и бояр. В 1392—1427 гг. чернец Троице-Сергиева монастыря

---

[1] АСЭИ, т. II, стр. 341, № 344.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 142, № 199.
[3] АСЭИ, т. II, стр. 113, № 180.
[4] АСЭИ, т. I, стр. 172—173, № 245.
[5] Там же, стр. 411, № 535.
[6] АФЗХ, ч. 2, стр. 30, № 26.

Григорий купил у дмитровского князя Петра Дмитриевича для указанного монастыря двор в Дмитрове[1]. Власти Кириллова-Белозерского монастыря в 1448—1470 гг. купили двор в Москве «внутре города» у И. С. Морозова[2].

Однако проникновение духовных феодалов в города не ограничивалось приобретением ими там «белых мест». В ряде случаев в их руки переходили и тяглые черные дворы. Обычно монастырские власти получали от князей право на куплю дворов у черных посадских людей и это право реализовали. В 1432—1445 гг. Василий II позволил Троице-Сергиеву монастырю купить двор в Ростове «хто им продаст, чей ни буди»[3]. В те же годы тем же князем было дано разрешение Троице-Сергиеву монастырю приобрести двор «тяглой служень или черной, хто им продасть», в Переяславле. Покупка должна была быть совершена «впрок без выкупа», бывшие «вотчичи» двора лишались права требовать его обратно[4]. В 1471 г. вологодский князь Андрей Васильевич Меньшой «пожаловал» братью Кириллова-Белозерского монастыря, «велел ... им купити собе двор на Вологде черной тяглой, где буде им пригоже, на посаде...»[5].

Известны случаи перехода в собственность монастырей тяглых городских дворов в качестве вклада со стороны их владельцев. В жалованной грамоте 1455 г. дмитровского князя Юрия Васильевича Кириллову-Белозерскому монастырю на двор в Дмитрове говорится, что это — двор «тяглой на посаде» и что его дали монастырю Корта и Шудеб «по душе» какого-то Максима, очевидно, посадского человека[6].

Одновременно с приобретением дворов в городах монастыри заводили там же или в окрестностях городов промыслы. В этом отношении они пользовались также поддержкой князей. Из жалованной грамоты Троице-Сергиеву монастырю великой княгини Марьи Ярославны («иноки» Марфы) 1478—1482 гг. мы узнаем, что монастырские солевары освоили в Нерехте место на Подоле, лежавшее между дворами тиуна и попа и представлявшее собою болото, а также «кладище» под дрова для солеварен, находившееся за дорогою. Великая княгиня «пожаловала» игумена и братью Троице-Сергиева монастыря «тем болотом и тем кладищем»[7].

В городских дворах, принадлежавших монастырям, жили монастырские «дворники» (своего рода приказчики из числа холопов), люди, занятые на промыслах (солевары, водоливы, повара и т. д.). Часть последних, вернее всего, находилась на положении кабальной зависимости, но были, по-видимому, среди них и полные холопы и люди (может быть, из числа посадского населения), работавшие на

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 33, № 13.
[2] АСЭИ, т. II, стр. 87, № 150.
[3] АСЭИ, т. I, стр. 79, № 98; стр. 85, № 107.
[4] Там же, стр. 84, № 105.
[5] АСЭИ, т. II, стр. 130, № 200.
[6] Там же, стр. 98, № 163.
[7] АСЭИ, т. I, стр. 347, № 461.

условиях феодального найма (регулируемого каким-либо документом вроде позднейшей «жилой» записи). С городских монастырских дворов и промыслов поступал в княжескую казну оброк.

Монастырские промыслы находились под специальной княжеской охраной. Поддерживаемые князьями в своей промысловой деятельности, монастыри становились в этом отношении в привилегированные условия по сравнению с посадскими людьми. Так, в 1433—1434 гг. Василий II запретил жителям Соли Переяславской копать соляные «колодязи» поблизости от «колодязей» и солеварен Троице-Сергиева монастыря. «И кто будет мой волостель у Соли и его тиун, ини у тех колодязей монастырских блиско и на их дворцех у варниц усолцем копати не ослобожают»[1]. В 1484 г. великий князь Иван Иванович распорядился, чтобы солеварня чухломского Покровского монастыря у Соли Галицкой была обеспечена всем необходимым для выварки соли в течение круглого года, без простоев («... а варит де та их варница без череду и без стоялниц через весь год, как в моих, великого князя, варницах варят...»), и чтобы княжеский приказчик не «отнимал» у этой варницы воду[2].

Население монастырских промыслов и городских дворов было освобождено князьями от несения тягла вместе с черными посадскими людьми. Эта предоставляемая князьями духовным феодалам привилегия обычно выражалась в следующей формуле жалованных грамот: «а не надобе им с того двора тянути ни [с] слугами, ни с черными людми, ни к рыболовем, ни к сотцкому, ни к дворскому не тянути никоторыми пошлинами»[3]. Получали духовные феодалы от князей и судебный иммунитет (обычно ограниченный) для «людей», проживавших в их городских владениях[4].

Монастыри, пользуясь предоставленными им льготами, заводили на посадах целые группы дворов зависимых от них ремесленников. В формуле договорных взаимоотношений между митрополичьим домом и великокняжеской властью XIV в. имеются интересные указания на «закладней» кафедры, «живущих в городе» Владимире и «тянущих ко дворцу». Согласно договору, они подлежали «описи» и «оброчному окладу», подобно великокняжеским «дворчанам»[5].

Ту же категорию феодально зависимых людей упоминает и писцовая книга по городу Владимиру дьяка Некраса Ивана Владимировича Харламова и дворцового дьяка Федора Ходыки начала XVI в. На Владимирском посаде, в Галее, под патронатом кафедры — 21 двор оброчников «на митрополичьих местах», «а оброку им давати за дань полосмнатцать алтына, по 5 денег з двора». За речками Телушкою и Лыбедью расположены 17 дворов митрополичьих «строев»[6].

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 88, № 109.
[2] АИ, т. I, № 93.
[3] АСЭИ, т. I, стр. 84, № 105.
[4] Там же, стр. 79, № 98; стр. 81, № 101 и др.
[5] ААЭ, т. I, № 9.
[6] АФЗХ, ч. 1, стр. 153, № 167.

Такие же «закладни» были у переяславского Борисоглебского монастыря. Писцовая книга начала XVI в. насчитывает 18 дворов «бобылей» ремесленников, расположенных на посаде Переяславля. В их числе—6 сапожников, 2 гвоздичника, 6 кожевников, 1 укладник, 1 ковшечник. Ремесленники положены в «оброчный оклад»: «а оброка им давать за дань великому князю 15 алтын»[1].

Из приведенных очень скудных данных трудно сделать какие-либо выводы о социально-экономическом положении зависимого от кафедры ремесленного населения Владимирского и Переяславского посадов. Но все же ясно, что эти ремесленники находились в более льготных условиях по сравнению с другими посадскими людьми. Определенная сумма оброка заменяла для них все другие посадские подати и повинности.

Итак, поселение на владельческой земле в дворах и слободках кафедры и монастырей под их патронатом влекло за собой ряд льгот для ремесленников и бобылей в объеме и порядке отбывания посадского тягла и привилегий судебного характера.

Давая оценку социально-экономических и политических последствий развития монастырского и церковного дворовладения в городах на протяжении XIV—XV вв., надо сказать, что они были сложны и противоречивы. Я уже не раз указывал, что городские дворы духовных землевладельцев становились, как правило, средоточием торгово-промышленной деятельности, а поскольку последняя протекала при поддержке князей в достаточно благоприятных условиях, она способствовала общему экономическому прогрессу в стране, расширению товарного обращения, торговых связей. Торгово-промышленная деятельность монастырей, распространявшаяся на значительное число городов независимо от их принадлежности к тем или иным политическим образованиям на территории феодально-раздробленной Руси, объективно содействовала созданию предпосылок государственного объединения страны. В церковных и монастырских владениях в городах великокняжеская власть, проводившая политику централизации, находила опору.

Однако это лишь одна сторона вопроса. А заслуживает быть отмеченной и другая сторона. Деятельность духовных землевладельцев в городах сопровождалась укреплением там феодально-крепостнических отношений. Она задерживала рост посада, искусственно поставленного распространением в городах «белого», церковного и монастырского землевладения в условия, стеснявшие его торгово-промышленное развитие. Создание на посаде «белых мест» являлось одним из каналов, которыми шло укрепление крепостнической системы и через которые попадали в феодальную зависимость работавшие на частновладельческих варницах «наймиты». Но ведь и вообще развитие русского города XIV—XV вв. происходило в сложной обстановке. Без определенного экономического подъема городов как ремесленно-торговых центров, без политической акти-

[1] АФЗХ, ч. 1, стр. 42, № 23.

визации посадского населения, боровшегося за более благоприятные в рамках феодальной системы условия своего роста, не могла быть достигнута ликвидация политической раздробленности, не могло совершиться государственное объединение Руси. А в то же время усиление крепостничества как один из существенных моментов образования Русского централизованного государства, как непосредственное следствие этого процесса должно было отразиться и на положении города, бывшего важным элементом феодальной экономики. Еще к периоду складывания Русского централизованного государства восходит та борьба посадского населения с владельцами «белых мест» в городах, которая с такой остротой проявилась позднее.

Сохранились данные о борьбе посадских людей с монастырями за землю, захваченную последними под городские дворы и промыслы. В 1501—1502 гг. старец Троице-Сергиева монастыря Гавриил жаловался на Клима Безгачего, захватившего в Нерехте монастырское дровяное «кладище» у варниц. Старец говорил на суде: «... То, господине, кладище — наше монастырское, да и варница, господине, тут наша ж была, да запустела; а на том, господине, кладище изстарины мы клали дрова свои манастырские; и тот, господине, Клим то кладище у нас отсвоил сее зимы, да и дрова на нем свои учял класти, не ведаем почему». Клим Безгачий ссылался на то, что спорное «кладище изстарины земля великого князя черная тяглая», а ему «дал то кладищо старой сотсцкой Панфил класти дрова за пусто». Суд признал правильными претензии Троице-Сергиева монастыря[1].

Теми же годами датируется спор о пожне между Троице-Сергиевым монастырем и ростовскими горожанами Гридей Кузминым и Андреем Измайловым. Последние рассказывали судьям, что дворский великого князя Григорий Кашкин «придал» им к «огородом» и «двором» в Ростове пожню, представлявшую собой «землю великого князя». Они ее «загородили плетнем». Тогда «дворник» Троице-Сергиева монастыря Булгак «плетень сметал», «а тое нам пожни не дает»,— говорили истцы. Булгак же доказывал другое: «то, господине, пожня двора троетцкого, а у меня в огороде, а яз, господине, живу в дворе в троецком, а ослободил, господине, тот двор купити монастырю князь велики Василей Васильевич». Дело было решено в пользу Троице-Сергиева монастыря[2].

Горожане вели борьбу с монастырями и за подгородные рыбные промыслы. В 1482—1484 гг. Иван III, узнав, что суздальские «городцкие люди» ловят без доклада рыбу в водах, принадлежащих Спасо-Евфимьеву монастырю, в р. Каменице, «под их монастырем, и под мельницею, и под сельцы под монастырскыми», велел «те воды монастырские заповедати». Нарушители неприкосновенности монастырских рыбных ловель должны были платить два рубля штрафу («заповеди») в монастырскую казну[3].

[1] АСЭИ, т. I, стр. 553—554, № 640.
[2] Там же, стр. 547—549, № 635.
[3] АСЭИ, т. II, стр. 516—517, № 478.

Проявление своеобразного протеста горожан против монастырей-феодалов, стремившихся завоевать экономические и социальные позиции в городах, рисует указная грамота Василия II в Кострому Гриде Ларионову по челобитью властей Ипатьева монастыря. Последние жаловались, что костромские жители совершают переправу через реку Кострому, минуя перевоз, устроенный под монастырем, и тем самым избегая уплаты пошлин, которые по великокняжескому указу должны были идти в монастырскую казну. «И ты бы,— обращается Василий II к представителю княжеской администрации в Костроме Гриде Ларионову,— ся велел возити градцким людем костромичем и всяким людем проезждим на Костроме под Елпатьем, а выше Ипатьцкого монастыря и ниже возити бы ся еси не велел никому»[1].

Особого внимания заслуживает грамота Ивана III 1467—1474 гг., адресованная в Соль Галицкую некоему Федору Корове (какому-то представителю княжеской администрации) по жалобе солевара Троице-Сергиева монастыря. Последний обвинял Федора Корову в том, что он заставлял население монастырских промыслов «наряжать» на себя «пиры», велел «собя дарити», держал монастырских «людей» «в осаде силно» (т. е., очевидно, лишал их возможности выезжать из города с промысловыми и торговыми целями). Федор Корова запрещал местным жителям наниматься к солевару Троице-Сергиева монастыря на работы по подвозке дров к монастырским варницам, «да в том деи оу них застряли дрова в лесе, а варници деи стоят оу них за тем без дров». «Люди» Федора Коровы перебили «поваров» на монастырских варницах, разбили на них два црена, «и згорели деи те црены». Иван III заступился за солевара и потребовал от Федора Коровы, чтобы он в дальнейшем не чинил насилий над монастырским солеваром («а силы бы от тобя над ним не было вперед никоторые») и давал бы ему возможность свободно нанимать на варничные работы нужных ему людей («и ты бы наимоватися оу них велел на дрова...»)[2].

Как понимать смысл событий, разыгравшихся на варницах Троице-Сергиева монастыря у Соли Галицкой? Возможно, что перед нами акты простого произвола со стороны местного администратора, действовавшего вместе со своим аппаратом и дворцовым штатом. Но возможно и даже вероятнее другое: за Федором Коровой стояли солигаличские посадские люди, недовольные тем, что Троице-Сергиев монастырь расширяет сферу своей промышленной деятельности за счет интересов посада. Поломка и поджог варничных цренов, отказ от перевозки дров к варницам — все это формы протеста солигаличского населения против роста влияния монастыря-феодала.

Выше уже указывалось, что великокняжеская власть поддерживала монастырское и церковное дворовладение в городах.

---

[1] «Сборник Муханова», № 32.
[2] АСЭИ, т. I, стр. 265, № 361.

Но ее политика в этом отношении не была и не могла быть строго последовательной и прямолинейной, ибо она должна была также в какой-то мере считаться с интересами посадского населения, а также учитывать интересы государственного тягла. Отсюда проистекают имеющиеся в княжеских жалованных грамотах запреты монастырям увеличивать в городах число дворов сверх разрешенной нормы («ни дворов иных туто не промышляют») и принимать в свои дворы горожан в качестве закладчиков («а от сех мест моих людей, великого князя, в те дворы не примают»; «а писменых людеи и тяглых на те земли и к варницам не приимати им»)[1].

Обнаруживала великокняжеская власть колебания и по вопросу об освобождении населения монастырских дворов от тягла. Так, великий князь Василий II в середине XV в. дал грамоту вологодским сотским и посадским людям, согласно которой «люди» Кириллова-Белозерского монастыря, проживавшие в монастырском дворе в Вологде, должны были «тянути... в всякие проторы, и в розметы и в все пошлины». Но затем эта грамота была отменена, монастырские люди получили освобождение от всех «проторов», «розметов» и пошлин, и на них был возложен лишь специальный оброк[2].

Судя по одной правой грамоте, при Иване III были проведены какие-то мероприятия по пересмотру монастырского дворовладения на Белоозере. Белозерский сотский Иван Обухов и посадские люди так рассказывали в 1490 г. на суде об этих мероприятиях: «...у всех, господине, монастырей дворы отнимали в городе, и давали им, господине, места под дворы в меру, по тридцати сажен, и с огородом...»[3]

Борьба горожан с монастырским дворовладением в городах, с закладничеством, была борьбой антифеодальной. Пробивая пути к созданию более благоприятных условий для экономического развития в рамках феодализма, выступления посадских людей в то же время вызывали реакцию со стороны господствующего класса феодалов, стремившихся к укреплению своих позиций в централизованном крепостническом государстве.

§ 7. Характер городского ремесла

Для понимания уровня развития средневекового города очень важно выяснить вопрос о характере городского ремесла. В фундаментальном исследовании Б. А. Рыбакова на большом материале (археологических раскопок и находок и письменных источников) хорошо показаны новые явления в области русского ремесла,

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 142, № 199; стр. 380—381, № 502.
[2] АСЭИ, т. II, стр. 63—64, № 103.
[3] АЮ, стр. 8, № 5.

которые наблюдались в XIV—XV вв. Особенно убедительно доказан Б. А. Рыбаковым значительный подъем к этому времени технического уровня ремесла в городах. Развиваются ювелирное дело, кузнечное, литейное, строительное, гончарное производства. Начинает применяться массивное литье колоколов, а затем пушек. Появляются меднолитейные мастерские для художественного литья, в связи с чем прекращается механическое воспроизведение образцов, созданных еще до татаро-монгольского нашествия на Русь. Возрождается искусство скани и внедряется в практику производство выемчатой эмали. Идет широкое строительство деревянных и каменных церквей, возводятся крепостные сооружения. В области книжного дела пергамент заменяется бумагой, что способствует распространению письменности[1].

Характеристику ремесла, данную Б. А. Рыбаковым, дополнил А. М. Сахаров. В труде Б. А. Рыбакова превалируют данные, относящиеся к Новгороду и Пскову. А. М. Сахаров привел некоторый новый (по сравнению с книгой Б. А. Рыбакова) материал о развитии в XIV—XV вв. строительства укреплений и церквей, меднолитейного производства, иконописного дела и т. д. в городах Северо-Восточной Руси (Москве, Твери, Нижнем Новгороде, Ростове, Владимире, Серпухове, Коломне, Радонеже, Верее и др.)[2]. Наконец, ремесло средневековой Москвы специально исследовано в книге М. Н. Тихомирова, на которую я уже неоднократно ссылался[3].

Вопрос об отраслях ремесленной деятельности и о технике ремесленного производства в русских городах XIV—XV вв. изучен уже в достаточной мере, хотя новые археологические находки все время пополняют наши сведения в этом направлении. Гораздо менее ясной до сих пор остается социально-экономическая сторона дела, на которой я и остановлюсь в своем дальнейшем изложении. Здесь заслуживают внимания три вопроса: 1) взаимоотношение вотчинного ремесла и производства, основанного на труде городских лично свободных ремесленников; 2) соотношение работы на заказ и мелкотоварного производства; 3) роль найма в ремесленном деле.

Б. А. Рыбаков считает, что в XIV—XV вв. русские ремесленники работали и на заказ и на рынок. Первая форма производства была «характерна для некоторых видов вотчинного ремесла и для отраслей, связанных с дорогим сырьем, как, например, ювелирное дело или литье колоколов». Но «в обстановке большого ремесленного города работа исключительно на заказ могла существовать лишь в качестве дополнения к массовому производству».

---

[1] *Б. А. Рыбаков*, Ремесло древней Руси, стр. 593—699, особенно стр. 696.

[2] *А. М. Сахаров*, Ремесленное производство в городах Северо-Восточной Руси XIV—XV веков, стр. 59—71.

[3] *М. Н. Тихомиров*, Древняя Москва, стр. 117—134; *его же*, Средневековая Москва в XIV—XV веках, стр. 69—90.

«Для XIV—XV вв. производство на рынок несомненно»,—пишет Б. А. Рыбаков. Большинство ремесленников, по мнению исследователя, работало в мастерских. «Ремесленники, работавшие по найму, составляли только часть (и притом меньшую) городских ремесленников»[1].

А. М. Сахаров, в целом присоединяясь к выводу Б. А. Рыбакова о наличии на Руси XIV—XV вв. производства на рынок, считает необходимым внести в этот тезис ряд ограничений. В XIV—XV вв., пишет он, при полном господстве на Руси феодализма «сфера развития товарного производства была весьма ограничена». Города в это время являлись «центрами товарного обращения, но это обращение было, по-видимому, лишь в незначительной степени связано с городским товарным производством. Для докапиталистического производства вообще характерно, что продукт становится товаром благодаря торговле». А. М. Сахаров подчеркивает, что ремесло в изучаемый период «не стало исключительным занятием городского населения», что городские ремесленники еще занимались земледелием и скотоводством, широкого товарообмена между городом и деревней не было, денежная рента, «побуждавшая крестьянина к продаже продуктов на городском рынке, отнюдь не стала господствующей в XV в.». Обобщая свои наблюдения, А. М. Сахаров заключает, что «ко времени образования Русского централизованного государства возникли лишь некоторые экономические связи между русскими землями»[2].

Все, что говорит А. М. Сахаров, верно и тем не менее характеристика ремесла XIV—XV вв., данная им, оставляет чувство неудовлетворенности в одном отношении: она статична. В ней не намечена тенденция развития. Остается неясным, можно ли говорить о том, что на протяжении XIV—XV вв. эта тенденция шла в направлении усиления роли товарного производства в городе в условиях господства феодального строя,и имел ли этот процесс значение для создания экономических предпосылок политического объединения русских земель в централизованном государстве?

В этой связи, кстати, мне хочется отметить недостаточную убедительность ссылки А. М. Сахарова (в подтверждение своих мыслей) на статью Л. В. Даниловой и В. Т. Пашуто о товарном производстве на Руси до XVII в. Говоря, что не следует преувеличивать масштабы рыночных связей городского ремесла XIV—XV вв., имевших местный характер, А. М. Сахаров приводит мнение Л. В. Даниловой и В. Т. Пашуто, писавших: «...В целом процесс превращения ремесла в мелкое товарное производство совершался медленно. Размеры и ассортимент товарной продукции городского ремесла по-прежнему лимитировались примитивным характером мелкого ремесленного производства, основанного на примитивной

[1] *Б. А. Рыбаков*, Ремесло древней Руси, стр. 712—713.

[2] *А. М. Сахаров*, Ремесленное поизводство в городах Северо-Восточной Руси XIV—XV веков, стр. 69.

[3] *Л. В. Данилова* и *В. Т. Пашуто*, указ. соч., стр. 127.

ручной технике, узостью рынка»[1]. Но А. М. Сахаров не говорит, что, подчеркивая (и справедливо) *медленность процесса* развития товарного производства, названные авторы одновременно (столь же справедливо) отмечают, что к XV в. он достиг *определенных результатов*, что в это время формировались *областные рынки*[2].

Конечно, А. М. Сахаров безусловно прав, когда замечает, что «решающее значение для оценки товарного производства в городах XIV—XV вв. могли бы иметь конкретные данные о работе ремесленника на рынок», а «таких данных у нас пока нет»[3]. Кто же станет спорить с тем, что прямые свидетельства источников по любому вопросу всегда убедительнее соображений исследователя, делаемых на основе косвенных показаний. Однако, за неимением прямых данных, последний метод допустим и даже обязателен (недопустимы только натяжки при его применении). Прав А. М. Сахаров и в том, что «свидетельства о городах, как центрах товарного обращения, не могут служить непосредственными показателями уровня развития товарного производства в городе»[4]. Но, к сожалению, характер имеющихся в нашем распоряжении источников (причем не только XIV—XV, но иногда и XVI—XVII вв.) таков, что о товарном производстве по ним можно судить лишь *косвенно*, а *непосредственно* они характеризуют лишь сферу товарного обращения (вспомним хотя бы таможенные книги XVII в.).

Мой несколько затянувшийся обзор литературы показывает, что вопрос о характере русского ремесла XIV—XV вв. несомненно заслуживает внимания.

Изучение источников убеждает, что значительная часть вотчинных ремесленников в это время была несвободной. Классическим примером (неоднократно фигурировавшим в литературе) вотчинного хозяйства, обслуживаемого трудом холопов-ремесленников, является хозяйство князя И. Ю. Патрикеева. По своей духовной он передал сыновьям 135 «людей» (многих с семьями), а 23 человека отпустил на волю. Среди холопов, перечисленных И. Ю. Патрикеевым, встречаются бронники, серебряные мастера, портные мастера, скорняки, плотники и т. д. Точно так же в духовной Василия Борисовича Тучки Морозова 1497 г. указаны сапожные мастера, портные мастера, хамовники, строчник и т. д.[5]. В духовной Андриана Ярлыка (вторая половина XV в.) перечислены его должники из числа кабальных людей: киверник, гончар[6]. В числе «людей», о которых говорит в своей духовной 1491 г. А. М. Плещеев, находим хлебника, плотника, портного мастера, чеботника и др.[7] Количество примеров нетрудно увеличить.

---

[1] *Л. В. Данилова* и *В. Т. Пашуто*, указ. соч., стр. 127.

[2] Там же, стр. 129.

[3] *А. М. Сахаров*, Ремесленное производство в городах Северо-Восточной Руси XIV—XV веков, стр. 68.

[4] Там же, стр. 69.

[5] ДДГ, стр. 345—349, № 86.

[6] АЮБ, т. I, стр. 553—554, № 85.

[7] АСЭИ, т. I, стр. 439—442, № 562.

В то же время можно сделать одно, не лишенное интереса, наблюдение. В ряде духовных завещаний светских землевладельцев при перечислении передаваемых наследникам холопов среди последних ремесленники не называются[1]. А иногда в духовных вообще нет указаний на холопов[2]. Конечно, сведения духовных грамот могут быть не полны и не точны. Сами завещатели—люди разной степени зажиточности, неодинакового положения в феодальном обществе. Некоторые из них, обеднев, могли остаться без дворни. Поэтому духовные—недостаточно добротный источник для изучения эволюции вотчинного ремесла. И все же мне кажется вполне допустимым предположение, что умолчания о несвободных ремесленниках в духовных завещаниях могут объясняться и тем, что некоторые из завещателей начинают обращаться к услугам городского ремесла. Именно в этом заключалась тенденция экономического развития, наталкивавшаяся на сопротивление всей крепостнической системы, не ослабевавшей, а усиливавшейся.

Конечно, связь вотчинников с городскими ремесленниками выражалась часто в выполнении последними работ по заказу первых. Но феодалы-вотчинники могли приобретать нужные им изделия и на рынке. Так обстояло дело в первую очередь, конечно, в крупных городах. Я не ставлю своей задачей выявить все отрасли производства, работавшие в различных русских городах на рынок. По состоянию источников такая задача вообще не выполнима. Но, по-моему, можно говорить о том, что в ряде городов развитие ремесла в мелкое товарное производство шло по восходящей линии.

По-видимому, производство на рынок наблюдалось в Москве в области гончарного дела. По материалам археологических раскопок в Москве, на устье реки Яузы, можно говорить о существовании здесь, по крайней мере с конца XV в., гончарной мастерской. По словам М. Г. Рабиновича, характеризовавшего, правда, гончарную мастерскую не только в ранний период ее истории, но с учетом материала, относящегося и к более позднему времени, она «представляет собой сложный производственный комплекс, объединяющий, может быть, около десятка мастеров. Ассортимент ее изделий был весьма разнообразен. Преобладала здесь, безусловно, посуда, причем выделывалась и грубая кухонная посуда из красной глины, и более тонкая, ангобированная, и изящная лощеная посуда—парадная и столовая. Тут же, очевидно, производились изразцы и строительные материалы (например, фасонный кирпич), хотя производство их, безусловно, не было основным для мастерской. Попутно мастера занимались поделкой глиняных

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 86—87, № 108; стр. 162, № 228; стр. 179—180, № 251; стр. 181—183, № 253; стр. 286, № 394; стр. 337—338, № 450; стр. 378, № 499; стр. 380, № 501.

[2] Там же, стр. 31—32, № 11; стр. 46, № 38; стр. 343—344, № 456; стр. 344—345, № 457; стр. 357—358, № 472.

игрушек, неоднократно находимых в завале горна, а также глиняных костяшек для счетов»[1].

Приведенная характеристика бесспорно свидетельствует о наличии в Москве товарного производства в области гончарного дела в XVI—XVII вв. Допустимо думать, что оно существовало уже и в XV в.

Вопросу о выделке в Москве (в XVI—XVII вв., а частично и в XV в.) игрушек посвящена специальная статья М. В. Фехнер. Она считает, что обнаруженные во время раскопок на реке Яузе игрушки «прекрасно характеризуют технику производства московского мастера-игрушечника, ассортимент и качество его продукции, до сих пор еще малоизвестные, и указывают на широкий размах его производства»[2]. Весьма вероятно, что игрушки делались не только на заказ, но их выделка преследовала цели сбыта в качестве товаров на рынке.

В Китай-городе, в районе Зарядья, открыты мастерские ювелира-литейщика и кожевника-сапожника, относящиеся к XIV—XV вв. М. Г. Рабинович высказал по поводу них несколько заслуживающих внимания соображений. Особенно любопытна его характеристика сапожной мастерской. «По характеру находок видно,—пишет М. Г. Рабинович,—что владелец мастерской не только обрабатывал кожу и шил из нее новую обувь, но, очевидно, зачастую чинил поношенную обувь, а возможно, и скупал старую обувь, для того, чтобы, отремонтировав, снова пустить в продажу, или же для того, чтобы, вырезав пригодные части кожи, употребить их как материал. Кроме обуви, он делал и другие вещи». Среди находок оказалось несколько ножен для кинжалов с богатым орнаментом, а также части конской сбруи[3]. Обследованные археологические материалы дают право ставить вопрос о наличии мелкотоварного производства в кожевенном и сапожном деле в Москве.

Имеются основания думать, что в довольно широких размерах в XV в. велись в Москве работы по переписке книг. Интересным источником, из которого можно извлечь материал, характеризующий производство во второй половине XV в. рукописных книг на заказ и для продажи на рынке, является письмо известного московского зодчего В. Д. Ермолина пану Якубу, служившему

---

[1] *М. Г. Рабинович*, Московская керамика («Материалы и исследования по археологии СССР» № 12, М.—Л., 1949, стр. 103, 58); *его же*, Гончарная слобода в Москве XVI—XVIII вв. (по археологическим материалам).—«Материалы и исследования по археологии СССР» № 7, М.—Л., 1947, стр. 55—76). См. также *В. А. Мальм*, Горны московских гончаров XV—XVII вв. («Материалы и исследования по археологии СССР» № 12, М.—Л., 1949, стр. 44).

[2] *М. В. Фехнер*, Глиняные игрушки московских мастеров (по материалам раскопок ГИМ, 1948 г.)—«Материалы и исследования по археологии СССР» № 12, М.—Л., 1949, стр. 56.

[3] *М. Г. Рабинович*, Археологические раскопки в Москве в Китай-городе «Краткие сообщения Института истории материальной культуры», далее—КСИИМК, вып. 38, М.—Л., 1951, стр. 54).

у великого литовского князя Казимира IV («Послание от друга к другу»). Пан Якуб просил В. Д. Ермолина приобрести для него ряд книг религиозного содержания. В ответ на эту просьбу В. Д. Ермолин написал пану Якубу, что книг в Москве имеется в продаже достаточно, только они переплетены не так, как тому хотелось бы («а купить есть много того, да не так зделано, как ся тобе хочет...»). Поэтому В. Д. Ермолин предложил пану Якубу прислать ему свою бумагу, с тем чтобы он смог дать специалистам заказ на переписку книг, которые тот желал у себя иметь («а яз многим доброписцем велю таковы книги сделать по твоему приказу с добрых списков, по твоему обычаю, как любит воля твоя...»). В. Д. Ермолин просил также пана Якуба, чтобы он выслал ему одновременно с бумагой побольше денег для раздачи писцам в качестве задатка при оформлении с ними договора на работу («а ты с своею паперию и пенязеи пришли немало, чиим то сряживать, а лишка не дам нигде ничего, а наряжу ти, пане, все по твоеи мысли и по твоеи охоте, как любиш»)[1].

Итак, из переписки В. Д. Ермолина с паном Якубом видно, что в Москве существовали квалифицированные «доброписцы», принимавшие подряды на изготовление книг в соответствии с потребностями и вкусами заказчиков и бравшие за работу довольно значительные денежные суммы. (В. Д. Ермолину, для того чтобы договориться с писцами о выполнении ими заказа пана Якуба, понадобилось «пенязей немало»). При подряде писцы торговались с заказчиками по поводу оплаты их труда и требовали денежный задаток. В то же время книжная продукция более низкого качества выбрасывалась на рынок, где ее, по словам В. Д. Ермолина, можно было свободно приобрести.

Очень интересный материал, характеризующий городское ремесло и позволяющий судить о его связи с рынком, обнаружен во время археологических раскопок в Новгороде А. В. Арциховским. В Славенском конце им были исследованы маслобойня и изба игрушечника XIII—XIV вв. Изучение маслобойни дало А. В. Арциховскому возможность утверждать, что в ее лице «мы имеем дело не с подсобным деревенским промыслом, а с городским производством, довольно большого размаха»[2]. К аналогичному выводу приводят автора и наблюдения над продукцией игрушечника. Она «очень стандартна, что позволяет заключить о далеко зашедшей дифференциации ремесла»[3] и (добавим от себя) о производстве этой продукции на рынок.

В Неревском конце Новгорода обнаружены относящиеся к XIV—XV вв. мастерские костореза, ювелира, кожевника, двух

---

[1] *А. Д. Седельников*, «Послание от друга к другу» и западнорусская книжность XV века («Известия Академии наук СССР», 1930, VII серия, Отделение гуманитарных наук, № 4, стр. 225).

[2] *А. В. Арциховский*, Раскопки на Славне в Новгороде («Материалы и исследования по археологии СССР» № 11, М.—Л., 1949, стр. 130).

[3] Там же, стр. 131.

сапожников. «Общее количество ремесленных мастерских на этом участке,—пишет А. В. Арциховский,—было, конечно, гораздо больше. Ведь производственные остатки встречены в большинстве жилищ; не всегда их количество достаточно велико, чтобы судить о занятиях жителей данного дома, но всегда они говорят о ремесле»[1].

О массовом характере продукции новгородских сапожников свидетельствует обилие кусков кожи, найденных при раскопках (свыше ста тысяч). На массовый сбыт, по-видимому, было рассчитано и ювелирное производство (выделка украшений из меди и ее сплавов). Об этом можно судить по большому количеству обнаруженных в Новгороде обрезков листовой, полосовой и проволочной меди. Открыты также тигли (30 с лишним), литейные формы (15 штук), ювелирные молотки, зубила, пинцеты, бородки, волочила. Широко распространены кузнечные изделия: серпы, косы, ножницы, напильники, пилы, долота, скобели, стамески, сверла, топоры, тесла, ножи и т. д. Стандартизация наблюдается в костерезном деле (очень однородны гребни, которых найдено несколько сотен). Хотя не вскрыты мастерские новгородских стеклоделов, но большое количество бус среди материалов новгородских раскопок говорит о значительном масштабе их производства[2]. Таким образом, имеются все основания утверждать, что новгородские ремесленники работали на рынок.

Москва и Новгород—наиболее крупные города русского средневековья. Но сфера товарного производства не ограничивалась этими центрами. По-видимому, в некоторых городах одной из отраслей производства, работавших на рынок, было строительство речных судов. О продаже последних на Белоозере мы знаем из Белозерской таможенной грамоты 1497 г.[3] Вероятно, суда строились и продавались также в Твери. По крайней мере в договорных грамотах московских и тверских князей постоянно упоминаются лодьи, паузки, струги с товарами тверских купцов[4]. Те же сведения о речном транспорте повторяются в договорах московских князей с рязанскими[5], что может служить косвенным свидетельством сравнительно широкого производства судов в Рязанском княжестве.

В качестве источника по изучению товарного производства в русских городах XV в. следует привлечь памятники дипломатических отношений Русского государства с Крымом и Великим княжеством Литовским. Одним из объектов дипломатических переговоров и недоразумений между Русью, с одной стороны, и Литвой и Крымским ханством—с другой, являлась участь русских

---

[1] *А. В. Арциховский*, Археологическое изучение Новгорода («Материалы и исследования по археологии СССР» № 55, М.—Л., 1956, стр. 23).

[2] Там же, стр. 24—25.

[3] ААЭ, т. I, № 134.

[4] ДДГ, стр. 26, № 9; стр. 42, № 15; стр. 188, № 59 и др.

[5] Там же, стр. 55, № 19; стр. 86, № 33; стр. 145, № 47.

ремесленников, отправлявшихся торговать в литовские города, Крым, Кафу и т. д.

Так, среди лиц, ограбленных в 1489 г. в Литовской земле, упомянут ряд ремесленников. При этом указаны как профессии подвергшихся грабежу лиц, так и взятые у последних денежные суммы или партии товара (с переводом его стоимости на деньги). Борис укладник был ограблен на 71,5 рублей, Митя ножевник с товарищем—на 47 рублей, Зиновий саадачник с товарищем—на 40 рублей, Митя однорядочник—на 17 с лишним рублей, Софоник Левонтиев сын игольник—на 17 рублей, Степан вощечник—на 13,5 рублей, Андрюша бронник—на 5 рублей[1]. В 1498 г., по словам Васюка скорняка, в Кафе умер его брат Иван Кляпик, оставивший после себя имущество на сумму в 30 рублей, которое было отобрано в казну кафинского султана[2]. В 1501 г. отошло к тому же султану имущество умерших в Кафе Микифора Епифанова кожевника с братом (оцененное в 100 рублей). Тогда же у Сени колпачника был взят в Кафе товар стоимостью в семь рублей[3]. В 1500 г. русский посол к крымскому хану Менгли-Гирею князь И. С. Кубенский в своей отписке в Москву упоминал о захваченных в плен астраханскими татарами скорняке «москвитине» и саадачнике (холопе князя И. Ю. Патрикеева)[4].

То обстоятельство, что ремесленники из различных городов и разных специальностей принимали участие во внешней торговле, дает право предполагать, что они и в своей производственной деятельности на Руси уже были связаны с рынком.

К тому же выводу приводят наблюдения над ассортиментом товаров, сбываемых русскими купцами в Литве, Крыму, Кафе, Азове и т. д. Это не только предметы транзитной торговли и не только сырье и продукция добывающих промыслов, вывозившаяся из Руси (пушнина, лес, воск и т. д.). Это—также изделия русских ремесленников (юфти, однорядки, шубы, холсты, седла, стрелы, саадаки, ножи, посуда и т. д.). В 1493 г. Менгли-Гирей просил Ивана III прислать ему 20 тысяч стрел и 30 контарей бересты[5]. Крымские царевичи и князья обращались в Москву с просьбой о присылке панцырей и других доспехов[6]. О том, какие товары вывозились из Руси, а следовательно, и о том, какие отрасли производства в русских городах работали на рынок, можно судить по описям имущества русских купцов, умиравших за границей. Так, в 1501 г. после смерти в Кафе и Азове двух коломенских купцов осталось на 50 рублей принадлежавшей им «рухляди: однорядок, и шуб бельих, и холстов и юфтей»[7].

---

[1] Сб. РИО, т. XXXV, СПб., 1882, стр. 27—29, 31.
[2] Сб. РИО, т. XLI, СПб., 1884, стр. 298.
[3] Там же, стр. 408. В иной связи приведенный материал использует В. Е. Сыроечковский в указ. книге, стр. 83—84.
[4] Сб. РИО, т. XLI, стр. 333.
[5] Там же, стр. 175.
[6] Там же, стр. 79, 80, 103, 122, 143, 144, 152 и др.
[7] Там же, стр. 409.

Весьма характерно, что при взимании с русских гостей в Перекопской орде таможенных пошлин таможники требовали у них дополнительно что-либо из провозимых ими товаров. «А нынеча таможники товар окладывают не по цене,—говорили гости в 1500 г.,— втрое, да с того тамгу емлют, а сверх тамги емлют с котла (т. е. с объединения купцов) однорядку, а с иново котла возмут однорядку да и шубу белилну, а иной таможник возмет с того ж котла став блюд, а иной возмет ковш»[1].

Между купцами и сборщиками пошлин часто возникали споры. Так, в 1501 г. русские купцы обвиняли кафинских пошлинников, что они облагали тамгой не только товары, но и их личное имущество: «...емлют у них тамгу с саадаков, которой на себе привезет, и с платья, и с постель, и с корму, которой что себе привезет». Член кафинского посольства в Москву Алакоз, отводя эти обвинения, в свою очередь упрекал русских купцов в том, что они выдают товары за вещи личного обихода, а затем торгуют ими, укрывают товары от обложения и т. д. «...А имали у них тамгу с тех саадаков, который скажет саадак себе привез, а отступив с тамги, да туто и продает. Да с саадаки ж клали полстки, и соболки, и горностаи, и они у них того деля саадаки обыскивали, что у тамги тавар крадут»[2].

Из всего вышеизложенного ясно, что изделия русских ремесленников были довольно широко представлены в ассортименте товаров, вывозимых из Руси за границу. В. Е. Сыроечковский пишет: «Московская вывозная торговля лишь отчасти опиралась на местные промыслы и производство. В самом государстве, в центре его, выделывались холсты, стрелы, ножи, седла, саадаки, кожи. Выделка белки и других мехов, шитье шуб и однорядок для южной торговли также было местным делом. В целом ряде ремесел Москва далеко опередила татарский юг, ощущавший в этом отношении известную зависимость от Москвы»[3]. Если термин Москва употребляется здесь как синоним термина Русское государство, то с В. Е. Сыроечковским можно согласиться. Но если речь идет о городе Москве как центре производства вещей, сбываемых в Крым, Кафу, Азов, то это не совсем точно. С ремесленными изделиями ездили в перечисленные места купцы не только из Московского княжества, но и из Твери, Новгорода и т. д.[4] А из этого можно сделать вывод, что в указанных русских городах развивалось товарное производство.

В целом, мне кажется, имеются все основания утверждать, что если работе на заказ принадлежала большая (а в отдельных городах ведущая) роль в ремесленном деле XIV—XV вв., то в ряде русских городов (особенно крупных) этого времени шло развитие ремесла в мелкое товарное производство, и этот фактор

[1] Сб. РИО, т. XLI, стр. 313.
[2] Там же, стр. 396.
[3] *В. Е. Сыроечковский*, Гости-сурожане, стр. 64.
[4] Сб. РИО, т. XLI, стр. 408—111.

должен быть учитываем в ряду социально-экономических предпосылок образования Русского централизованного государства[1]. При этом надо иметь в виду, что в рассматриваемое время товарное производство еще не разрушало основ феодальной экономики, а, напротив, укрепляло феодальный строй, в силу чего и Русское централизованное государство возникло на крепостнической основе. А укрепляющаяся крепостническая система в свою очередь тормозила процесс расширения и углубления объективно растущего товарного производства. В этом—одно из диалектических противоречий тех социально-экономических процессов, которые определили ликвидацию политической раздробленности Руси и создание единого централизованного государства в условиях господства феодального способа производства.

§ 8. Города как торговые центры. Межобластные торговые связи. Борьба за торговые пути на Север

Подъем сельскохозяйственного производства в стране и развитие ремесленного дела определяют роль городов как торговых центров. Одним из главных признаков города являлось наличие «торга», на котором можно было купить необходимые для населения продукты земледелия и животноводства и ремесленные изделия.

Значительный рынок произведений сельского хозяйства был в Москве. Из духовной Ивана Калиты около 1339 г. видно, что одной из статей княжеских доходов были собиравшиеся в Москве торговые пошлины. Великий князь передал своей жене «из городских волостии» осмничее и завещал, чтобы доходами от тамги «поделились» его сыновья. Та же духовная свидетельствует, что в «уездах» Московского княжества собирались проезжие пошлины («мыты»), которые, по завещанию Калиты, должны были поделить его сыновья («такоже и мыты, которыи в котором оуезде, то тому»)[2]. Московская тамга и другие торговые пошлины (осминичее, костки) упоминаются и в духовных грамотах прочих московских князей.

Живое описание московского рынка дают побывавшие в рассматриваемое время в Москве иностранцы. По словам венецианца Иоасафата Барбаро (XV в.), «зимою привозят в Москву такое множество быков, свиней и других животных, совсем уже ободранных и замороженных, что за один раз можно купить до двухсот штук». «Изобилие в хлебе и мясе так здесь велико,—продолжает названный автор,—что говядину продают не на вес, а по глазомеру»; и далее он сообщает цены (весьма низкие) на говядину, кур, гусей[3].

---

[1] Я не касаюсь здесь вопроса о роли найма в русских городах XIV—XV вв. Об этом см. *Б. А. Рыбаков*, Ремесло в древней Руси, стр. 707—712.

[2] ДДГ, стр. 8—10, № 1.

[3] *В. Семенов*, Библиотека иностранных писателей о России, отд. I, т. I, ч. 1, СПб., 1836, стр. 58.

Другой венецианец Амвросий Контарини также указывает, что Москва «изобилует всякого рода хлебом» и «жизненные припасы в ней... дешевы». Автор подтверждает свои слова, как и Барбаро, приведением свидетельствующих о дешевизне продуктов цен на пшеницу, мясо, кур, гусей. В своих записках Контарини нарисовал яркую картину московского торга сельскохозяйственными продуктами. Он рассказывает, что примерно в конце октября, когда река Москва «покрывается крепким льдом», купцы ставят на этом льду «лавки свои с разными товарами и, устроив таким образом целый рынок, прекращают почти совсем торговлю свою в городе». На рынок, расположенный на реке Москве, купцы и крестьяне «ежедневно, в продолжение всей зимы привозят хлеб, мясо, свиней, дрова, сено и прочие нужные припасы». В конце ноября обычно «все окрестные жители убивают своих коров и свиней и вывозят их в город на продажу». «Любо смотреть,—пишет Контарини,—на это огромное количество мерзлой скотины, совершенно уже ободранной и стоящей на льду на задних ногах»[1].

Из рассказов Барбаро и Контарини наглядно выступают два момента. Во-первых, ясно, что в результате той значительной распашки новых земель, о которой говорилось во второй главе настоящей книги, возросла сельскохозяйственная продукция. Крестьяне получили возможность выбрасывать большее количество излишков производимого хлеба на рынок. Но, с другой стороны, дешевизна продуктов земледелия и скотоводства, продаваемых в Москве, свидетельствует о занятиях самих горожан сельским хозяйством, а также о незначительной покупательной способности горожан, а следовательно, об относительно еще слабом развитии товарного производства в городе. Нельзя согласиться с П. П. Смирновым, который на основании низкого уровня цен на произведения хлебопашества и животноводства, продававшиеся на городском рынке, делает вывод о «сельскохозяйственном кризисе» в России в конце XV—первой половине XVI в.[2] Дело не в этом, а в слабости товарно-денежных отношений в стране, где в целом еще господствовало натуральное хозяйство.

Надо отметить также неустойчивость цен на хлеб, мясо и другие сельскохозяйственные продукты. Они быстро возрастали при любой неблагоприятной политической или внешнеполитической конъюнктуре (об этом также шла речь во второй главе данной монографии). Так было во время нашествия на Русь в 1408 г. Едигея, когда хлеб сильно вздорожал («дороговь бысть велика всякому житу»), множество народа погибло от голода, а продавцы зерна, напротив, разбогатели («а житопродавци обогатеша»)[3]. Из летописного рассказа о приходе на Русь Едигея видно, что в рассматриваемое

---

[1] *В. Семенов*, указ. соч., отд. I, т. I, ч. 2, СПб., 1836, стр. 109—110.
[2] *П. П. Смирнов*, Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в., т. I, стр. 68.
[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 159.

время существовали скупщики продуктов земледелия («житопродавцы»), приобретавшие, по-видимому, крупные запасы хлеба на городском рынке или в сельских местностях, а затем сбывавшие его населению по повышенным ценам.

Москва являлась также центром торговли мехами, привозимыми с далекого Севера. По словам Контарини, «в Москву во время зимы съезжается множество купцов из Германии и Польши для покупки различных мехов, как-то: соболей, волков, горностаев, белок и отчасти рысей. Меха эти добываются не в самой Москве, а гораздо далее на север и северо-восток; но привозятся обыкновенно в Москву на продажу»[1].

Интересные данные о торговле в Москве содержатся в духовной грамоте Ивана III 1504 г. «А что есми подавал детем своим селца у Москвы з дворы з городцкими на посадех,—читаем в названном документе,—и дети мои в тех дворех торгов не дръжат, ни жытом не велят торговати, ни лавок не ставят, ни гостей с товаром иноземцов, и из Московские земли, и из своих уделов в своих дворех не велят ставити, а ставятся гости с товаром, иноземци, и из Московские земли, и из их уделов, на гостиных дворех, как было при мне. А дети мои у моего сына у Василья в те дворы в гостиные и в те пошлины не въступаются»[2].

Я привел полностью эту, может быть чересчур длинную, выдержку из духовной Ивана III потому, что на ее основе можно сделать ряд очень интересных выводов. Ясно, что Москва являлась значительным для того времени рынком и прежде всего хлебным рынком. Туда съезжались для торговли как купцы из различных областей Русской земли, так и иноземные гости. Местом торговли являлись княжеские дворы, где имелись лавки, жили приезжие иногородние и иноземные купцы. «Отводная грамота» 1504 г. упоминает хлебные лавки в Москве[3]. Запрещение торговать в княжеских дворах и принимать там на постой прибывающих купцов явилось, по-видимому, нововведением Ивана III. При последнем, очевидно, были заведены гостиные дворы, где должны были останавливаться прибывающие в Москву из других русских городов и областей и из-за границы купцы. Нововведение это было вызвано, надо думать, двумя причинами. Во-первых, при учреждении гостиных дворов Иван III руководствовался фискальными соображениями: все следуемые с них торговые пошлины должны были стекаться в великокняжескую казну, а не распыляться по рукам удельных князей. Во-вторых, запрет торговли на дворах удельных князей диктовался, вероятно, и вниманием великокняжеской власти к запросам посадских людей, боровшихся с дворовладельцами в городах из числа феодалов, которые пользовались привилегиями в области организации промыслов и ведения торговли.

---

[1] *В. Семенов*, указ. соч., отд. I, т. I, ч. 2, стр. 111.
[2] ДДГ, стр. 361, № 89.
[3] Там же. стр. 371, № 92.

Надо сказать, что линия на свертывание торговых операций в пределах городской территории, принадлежавшей удельным князьям, проведена в духовной Ивана III не последовательно. В интересах удельных князей делается оговорка о том, что в их «сельцех» и «в дворех городных» может производиться торговля «съестным припасом», причем великий князь не имеет права «тех торгов... сводити» и должен довольствоваться получением причитающейся ему «полавочной пошлины»[1].

Внимание к московскому «торгу» проявляли летописцы. Так, под 1493 г. летописец считает нужным отметить, что во время пожара Москвы «из города торг загореся, и оттоле посад выгоре възле Москву»[2].

Бесспорно, что Москва в XV в. представляла собой уже не только местный и не только областной рынок. Она являлась центром торговых связей, начинающих охватывать основные русские земли.

Торговыми пунктами разного калибра являлись города Московского княжества и его уделов[3]. Из духовных грамот московских князей видно, что тамга, мыты и другие торговые сборы взимались в Коломне, Радонеже, Дмитрове, Звенигороде, Рузе, Можайске, Серпухове, Боровске, Малом Ярославце, Городце на Волге, Унже, Перемышле, Луже[4]. Данные духовных княжеских грамот о торговой роли городов Московского княжества можно дополнить материалами, заимствованными из других источников. О торговом значении Радонежа косвенно свидетельствует то обстоятельство, что в 60—70-х годах XV в. великий князь Василий II дал право крестьянам сел и деревень Радонежского уезда уплачивать волостелю вместо причитающихся ему кормов деньги (в соответствии с местными ценами на продукты)[5]. В 1491 г. великий князь Иван III официально «торг перевел от Троици на городок в Радонежь»[6] (т. е. распорядился перенести рынок с территории Троице-Сергиева монастыря на территорию города Радонежа, который фактически давно уже сделался одним из центров товарного обращения). О наличии рынка в Дмитрове можно судить по тому, что там торговали монастырские дворники и крестьяне[7].

При построении в 1374 г. Серпухова князь Владимир Андреевич предоставил льготу в податях тем «человеком торжьствующим», которые захотели бы поселиться в городе[8]. Князь Федор Борисович волоцкий в 1506 г. передал церкви Федора Стратилата

---

[1] ДДГ, стр. 361, № 89.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 278.
[3] Большой материал о торговле городов Северо-Восточной Руси собран А. М. Сахаровым в его монографии.
[4] ДДГ, стр. 13, № 3; стр. 15—19, № 4; стр. 25, № 8; стр. 33—34, № 12; стр. 43, № 16; стр. 46, № 17; стр. 73—75, № 29.
[5] АСЭИ, т. I, стр. 189, № 260.
[6] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 275.
[7] АСЭИ, т. I, стр. 142, № 198.
[8] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 106.

право сбора полавочного (т. е. пошлины с владельцев лавок) в Волоколамске[1]. Имеются сведения о «торгах» в Переяславле и Юрьеве. В 1473—1489 гг. Иван III распорядился «кликати в торгу» в Переяславле и в Юрьеве о том, чтобы никто из «ездоков» не пользовался «непошлою» дорогою через митрополичью слободку Караш, Ростовского уезда[2]. В жалованной грамоте Ивана III Троице-Сергиеву монастырю 1485 г. говорится, что князь отдал приказ в Переяславле «в торгу... закликати...» о запрете боярским и волостным людям «сечь» леса Троице-Сергиева монастыря в Переяславском уезде[3]. Имена московских, коломенских, можайских, переяславских, галичских купцов можно встретить в документах, характеризующих торговые связи Руси с Кафой, Азовом, Крымской ордой, Литвой[4]. О том, что крестьяне «ездят... на Углеч торговати», говорит жалованная грамота князя Андрея Васильевича Троице-Сергиеву монастырю 1467—1474 гг.[5]. О торговом значении Костромы можно составить представление по тому вниманию, которое проявляет летописец к ценам на рожь, продававшуюся на местном рынке (1423)[6].

Выходя за пределы территории Московского княжества и его уделов, можно отметить, что уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича и митрополита Киприана содержит указания на торговлю, производившуюся во Владимире[7]. О наличии торга в Ростове свидетельствуют княжеские жалованные грамоты Троице-Сергиеву монастырю XV в., из которых видно, что в городе собирались торговые пошлины[8]. В духовной грамоте Ивана III 1504 г. говорится о перенесении торга из Холопьего городка в Мологу («А что есми свел торг с Холопья городка на Мологу, и тот торг торгуют на Молозе съезжаяся, как было при мне...)»[9]. Ярославские купцы проникали в Кафу[10]. Крупным центром внутренней и внешней торговли был Нижний Новгород. Указания на нижегородский «торг» встречаются в летописных сводах. Так, в 1343 г. князь Константин Васильевич, получив в Орде ярлык на княжение в Нижнем Новгороде, велел там «казнити, по торгу водя», выданных ему бояр его противника—князя Семена Ивановича[11]. Летописи приводят цены на рожь на нижегородском рынке (за 1412 и 1423 гг.)[12]. Рассказывая о разграблении Нижнего Новгорода в 1366 г. ушкуйниками, летопись отмечает, что в городе

---

[1] ДДГ, стр. 408, № 98.
[2] АФЗХ, ч. 1, стр. 25, № 5.
[3] АСЭИ, т. I, стр. 388, № 512.
[4] Сб. РИО, т. XLI, стр. 298, 409, 410; т. XXXV, стр. 23.
[5] АСЭИ, т. I, стр. 267, № 364.
[6] ПСРЛ, т. VI, стр. 142.
[7] ААЭ, т. I, № 9.
[8] АСЭИ, т. I, стр. 79—80, № 98; стр. 85—86, № 107; стр. 255—256, № 349.
[9] ДДГ, стр. 360, № 89.
[10] Сб. РИО, т. XLI, стр. 409.
[11] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 55.
[12] ПСРЛ, т. VI, стр. 142.

было перебито много местных, а также иностранных (татарских и армянских) купцов, а принадлежавшие им суда были уничтожены («а съсуды их, кербаты и лодьи, и учаны, и паускы, и стругы, то все посекоша...»)[1]. Из летописного описания беды, обрушившейся на Нижний Новгород, вырисовывается картина богатого торгового города с оживленным рынком, на котором постоянно бывали восточные купцы; с шумной пристанью, к которой причаливали многочисленные корабли с гостями и товарами.

Из северных русских городов видную торговую роль играли Белоозеро, Вологда, Устюг. О характере белозерского рынка можно в значительной мере судить на основании Белозерской таможенной грамоты 1497 г. Торговали на Белоозере: 1) местные посадские («городские») люди; 2) жители городской округи («окологородцы»); 3) сельское население Белозерского уезда («... изо всех волостей белозерьских...»); 4) жители других русских городов и земель («... изо всее Московские земли, и из Тферьские земли, и из Новгородские земли Великого Новагорода»). Таким образом, Белоозеро к концу XV в. является не только областным торговым центром, но и рынком, на который приезжали купцы из ряда областей Русского государства.

Из товаров на Белоозере продавались: лошади, живой и битый скот (коровы, бараны, поросята), домашняя птица (гуси, утки), зайцы, рыба свежая и соленая (сельди), икра, соль, жито, лен, лук, чеснок, орехи, яблоки, мак, зола, деготь. Покупались и мелкие и крупные партии товара. Посадские люди закупали оптом у приезжих купцов и крестьян рыбу, икру, соль, мед, а затем торговали этими продуктами в своих лавках. Продавались на Белоозере и речные суда. Торговали на Белоозере не только купцы и крестьяне, но и служилые люди («а кто служилый человек поедет, а имет каким товаром торговати...»). На Белоозеро съезжались «купчины» из ряда русских монастырей, привозя с собой на продажу жито.

Из Белозерской таможенной грамоты видно, что не только белозерские, но и приезжие купцы, несмотря на правительственное предписание торговать только в городе, ездили с торговыми целями «по волостем и по монастырем по белозерьским», очевидно скупая продукты сельскохозяйственного производства у крестьян и, может быть, снабжая их некоторыми произведениями городского ремесла.

Защищая белозерских посадских людей от конкуренции со стороны приезжих купцов, таможенная грамота разрешает первым торговать «за озером», т. е. за пределами города, в сельских местностях; последние же лишаются этого права и появление «за озером» для торга грозит им конфискацией товара и привлечением к судебной ответственности[2].

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 104.
[2] ААЭ, т. I, стр. 99—101, № 134.

О развитии вологодской торговли имеются данные в духовной грамоте вологодского князя Андрея Васильевича 1481 г., в которой говорится, что он «на Вологде, в городе, прибавил пошлин в тамзе, и в иных пошлинах»[1]. Судя по Двинской уставной грамоте 1397—1398 гг., в Вологду и Устюг приезжали купцы из разных районов Двинской земли[2]. В конце XV в. устюжские купцы отправлялись торговать в Западную Сибирь. Так, в 1475 г. казанские татары перебили на Каме 40 человек устюжан, которые шли «к Тюмени торгом»[3].

Из городов Тверского княжества выделялась по своему значению Тверь. Источники говорят о тверском «торге». Так, в 1327 г. в Твери, в то время «как торг снимается», началось восстание, направленное против татаро-монгольских захватчиков. Восставшие перебили бывших в городе восточных купцов[4]. В Тверской летописи можно найти цены за разные годы на продукты сельского хозяйства, продававшиеся на рынке в Твери (рожь, овес, сено, хмель)[5]. Упоминаются в летописях и цены, по которым покупали рожь в Кашине (1424)[6]. Из договоров тверских князей с литовскими видно, что в Твери, Кашине, Зубцове, Старице собирались торговые пошлины[7].

Городами пограничными между землями Московской, Тверской, Новгородской были Бежецкий Верх и Торжок. Имеются прямые указания на «торги» в названных городах. Так, в 1467—1474 гг. князь Андрей Васильевич Большой углицкий велел в Бежецком Верхе «в торгу кликати» о запрещении ездить через село Троице-Сергиева монастыря Присеки Бежецкого уезда[8]. В Торжке в 1372 г. новгородцы перебили много тверских купцов[9].

В исторической литературе достаточно много внимания уделено торговле Новгорода и Пскова, в силу чего я и не буду подробно останавливаться на этом вопросе. По летописи особенно хорошо можно восстановить картину псковского рынка. Там указаны цены, по которым в Пскове покупались в различные годы такие продукты, как жито, рожь, овес, пшеница, хмель, мед, соль[10].

В 1478 г. царевич Даньяр, находясь с «многими татарьскими силами своими» под Новгородом, отправил в Псков своего боярина с просьбой, чтобы местные жители привезли ему съестные припасы и прислали купцов с разными товарами («чтобы псковичи ему еще и тем послужили, сколко муке пшеничнои, и рыбе и меду прислали пресного, а иное бы с всякым торгом купчи псковьскыа

---

[1] ДДГ, стр. 277, № 74.
[2] ГВНП, стр. 145—146, № 88.
[3] ПСРЛ, т. XI, стр. 158.
[4] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 43.
[5] ПСРЛ, т. XV, стр. 491—492, 497.
[6] Там же, стр. 488.
[7] ДДГ, стр. 63, № 164.
[8] АСЭИ, т. I, стр. 266, № 363.
[9] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 117.
[10] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 71, 83; вып. 2, стр. 38, 200.

там к нему в силу под Великои Новгород с всякым товаром торговати сами ехали»). Псковичи, по «слову» Даньяра, «...хлеб, и мед, и муку пшеничную, и колачи, и рыбы пресныа, все сполу покрутивь, своими извожникы к нему послали, а с ними поехали и инии купцы многыа с иным товаром с разноличным с многым»[1].

Этот летописный текст очень колоритен. Из него можно вынести представление прежде всего о тех продуктах земледелия, животноводства, промыслов, которые фигурировали на псковском рынке в качестве товаров: пшеничная мука, хлеб, калачи, рыба, мед. Видно также, что в Пскове было значительное число купцов, торговавших съестными припасами; что они обладали соответствующими перевозочными средствами для доставки товаров на отдаленное расстояние; что они «покручивали» для этого «извозчиков», работавших у них, очевидно, на кабальных условиях. О скупщиках продукции новгородских промыслов интересные данные имеются в одной из берестяных грамот XIV в., найденных А. В. Арциховским. Это — записка купца-рыбника о получении от ряда лиц (по-видимому, рыбаков) лососины, неизвестно на каких условиях, но, очевидно, для торговли ею[2].

По-видимому, значительная торговля велась в Переяславле-Рязанском (Рязани). Как и в Москву, сюда свозились прежде всего продукты сельскохозяйственного производства. Контарини пишет о Переяславле-Рязанском, что этот город «изобилует хлебом, мясом и напитком, который русские изготовляют из меду»[3]. «Докончание» рязанских князей Ивана Васильевича и Федора Васильевича 1496 г. уделяет специальное внимание рязанской торговле, рассматривая порядок наложения штрафов на тех, «хто приедет в Переславль торгом, да протамжится» (т. е. объедет таможню и не заплатит таможенную пошлину)[4]. В грамоте 1485 г. в Переяславле-Рязанском упоминается лавка на улице Волковой, которую поставил торговый человек Иван Смолев[5].

Какие же выводы можно сделать из всего вышеизложенного материала? Несомненно повышение на протяжении XIV—XV вв. торгового значения городов во всех русских землях. Во многих городах источники отмечают наличие рынков сельскохозяйственных припасов, продуктов добывающих промыслов. Подъем сельского хозяйства в связи с восстановлением земледелия на пустошах и распашкой новых земель, отделение добывающей промышленности от земледелия и появление промысловых поселков, развитие ремесла в городках, увеличение численности городского населения— все это оказывало влияние на расширение товарооборота в городах. В нашем распоряжении почти нет данных, непосредственно

---

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 214.
[2] *А. В. Арциховский*, Археологическое изучение Новгорода, стр. 28.
[3] *В. Семенов*, указ. соч., отд. I, т. I, ч. 2, стр. 104.
[4] ДДГ, стр. 335, № 84.
[5] *Д. И. Иловайский*, указ. соч., стр. 252 и 286.

указывающих на продажу на рынке произведений ремесла. Вообще весь приведенный материал прямо характеризует лишь сферу товарного обращения, а не производства. Узость источниковедческой базы и односторонний характер источников ограничивают возможность сделать твердые выводы по ряду вопросов экономической истории Руси XIV—XV вв. Но сведения, обобщенные в данном параграфе, вполне укладываются в ту концепцию, которая уже наметилась в предшествующих разделах монографии. При господстве в стране феодальной системы и связанного с ней натурального хозяйства можно ставить вопрос о том, что частично уже шел процесс развития мелкого товарного производства в отдельных отраслях ремесла.

Может быть, допустимо говорить и об элементах товарности сельского хозяйства, но, конечно, лишь об элементах и весьма слабых.

Конечно, в системе торговых связей превалировали мелкие местные рынки, густая сеть которых покрывала всю страну. Но уже происходил процесс стягивания этих мелких рынков в рынки областные. Значение областных торговых центров приобретали Новгород, Псков, Тверь, Нижний Новгород, Рязань и т. д. И та политическая концентрация отдельных крупных земель (Новгородской, Тверской, Нижегородско-Суздальской, Рязанской), о которой писал в свое время К. В. Базилевич и которая предшествовала образованию единого Русского государства, имела одной из своих предпосылок усиление экономических связей внутри этих земель. Значение таких городов, как Москва или Белоозеро, уже выходило за областные рамки.

Территориальное разделение труда основывалось на различии географических условий в разных частях страны. Можно говорить лишь о зачатках специализации отдельных районов по производству товарной продукции. То обстоятельство, что северные районы выбрасывали на рынок пушнину, что выделились пункты соледобычи (Нерехта, Соль Переяславская, Соль Галицкая, Старая Руса и т. д.), что в Новгородской и Псковской земле производились отсутствующие в ряде мест хмель и лен и т. д., содействовало росту торговых связей.

В то же время характерные для натурального хозяйства экономическая замкнутость и изолированность отдельных районов оставались в силе, а политическая раздробленность усугубляла эту хозяйственную разобщенность. Так, в условиях феодальной раздробленности типичным явлением было значительное различие в ценах на продукты, продаваемые в одно и то же время в различных городах. Летопись сообщает о ценах на хлеб (рожь) во время голода 1422—1424 гг. В Москве оков ржи стоил рубль, в Кашине—полтину, в Костроме—2 рубля, в Нижнем Новгороде—200 алтын (т. е. 6 рублей)[1]. Конечно, парализовать условия, создающие

[1] ПСРЛ, т. V, стр. 262; т. VI, стр. 142; т. XV, стр. 486.

подобные расхождения в ценах, могло лишь образование всероссийского рынка, знаменовавшее складывание буржуазных связей. Необходимо было также развитие транспорта. Все это было делом будущего. Но ликвидация политической раздробленности, подготовленная развитием феодального способа производства, происшедшая тогда, когда буржуазные связи еще не зарождались, должна была явиться стимулом к преодолению экономической раздробленности отдельных земель.

* * *

Для выяснения экономических предпосылок образования Русского централизованного государства необходимо рассмотреть нарастание экономического общения между основными русскими землями. Главным источником для изучения этого вопроса служат договорные грамоты князей XIV—XV вв., которые отражают развитие торговых связей между русскими землями: 1) Новгородской, с одной стороны, и Суздальской, Тверской и Московской—с другой; 2) Тверской и Московской; 3) Московской и Рязанской.

О поездках новгородских и новоторжских купцов в пределы Тверской и Суздальской земель говорят уже ранние договоры Великого Новгорода с тверским великим князем Ярославом Ярославичем конца XIII в. В них содержатся четыре основных пункта. Во-первых, речь идет об обязательстве князя свободно пропускать через подвластную ему территорию лиц, едущих с торговыми целями из новгородских владений («А гостю нашему гостити по Суждальской земли без рубежа.., а вывода ти, княже, межи Суждальскою землею и Новымьгородом не чинити...»). Во-вторых, производится нормировка размеров мыта, взимаемого в пути с новгородских возов и лодей с товарами («А что, княже, мыт по Суждальской земли и в твоеи волости,—от воза имати по 2 векши, и от лодье, и от хмелна короба, и от лняна»). В-третьих, князю запрещается устраивать новые таможенные заставы в Новгородской земле («... ни мыт на Новгородьскои волости не ставити...»). В-четвертых, особо оговаривается, что князь должен следить за тем, чтобы его дворяне не привлекали к подводной повинности в мирное время купцов, ведущих торговлю в сельских местностях («А дворяном твоим по селом у купцев повоза не имати, разве ратнои вести»)[1]. Последняя статья представляет особый интерес, ибо она свидетельствует о разъездах новгородских купцов по селам и деревням, по-видимому, в целях сбыта произведений городского ремесла и скупки продуктов сельского хозяйства и промышленности для последующей их перепродажи. Это обстоятельство следует сопоставить с вышеприведенной статьей договорных грамот о взимании мыта с «хмельна» и «льняна» «короба». Значит, и пред-

[1] ГБНП, стр. 9—13, № 1—3.

меты местного производства, а не только транзитные товары везли в Северо-Восточную Русь новгородские купцы.

Перечисленные выше четыре пункта новгородско-тверских соглашений по вопросам торговли повторяются и в последующих договорах Великого Новгорода с тверскими князьями XIV—XV вв.[1] При этом в докончании Новгорода с великим тверским князем Александром Михайловичем 1327 г. наряду с гарантией беспрепятственной торговли новгородским купцам в Суздальской Руси помещена статья, имеющая своею целью создать аналогичные условия для суздальских купцов в Новгородской земле («А суждальскому гости гостити в Новъгород без рубежа, бес пакости»)[2]. В соглашении Новгорода с великим князем тверским Борисом Александровичем 40-х годов XV в. говорится о взимании «гостинного» и мыта «по старине» с тверичей в Русе и Торжке, с новгородцев и новоторжцев в Твери[3].

В документах, касающихся взаимоотношений Новгородской феодальной республики с великими князьями московскими XV в., также встречаем традиционные статьи, говорящие об условиях торговли новгородских купцов в пределах Северо-Восточной Руси и купцов Северо-Восточной Руси в Новгородской земле[4]. В Коростынский московско-новгородский договор 1471 г. был включен новый пункт, ставящий под охрану московских купцов, торгующих в Новгородской земле, и гарантирующий им судебный иммунитет: «также нам, новогородцем, ваших, великих князей [Ивана III и его сына Ивана Ивановича], торговцев изо всего великого княжения вашего в Новегороде не судити»[5].

Анализ новгородско-тверских и новгородско-московских соглашений конца XIII, XIV и XV вв., несмотря на лаконизм и известную стандартность содержащихся в последних формул, позволяет сделать ряд выводов, имеющих значение для понимания экономических предпосылок образования Русского централизованного государства. Прежде всего, как уже подчеркивалось, можно говорить о наличии значительных торговых связей между землями Новгородской и Тверской и Московской. Имеющийся в нашем распоряжении материал слишком скуден для того, чтобы ответить на вопрос, в какой мере эти связи нарастали, но самый факт их роста вряд ли подлежит сомнению. Переходя из области экономики в сферу экономической политики, исследователь должен признать противоречивость последней, соответствующую противоречивому характеру объективных процессов хозяйственного развития. Ряд выше рассмотренных статей договорных грамот, апеллирующих к исторической традиции (о сохранении существующих тамо-

---

[1] ГВНП, стр. 16—18, № 6—7; стр. 20—22, № 9—10; стр. 28, № 14; стр. 30, № 15.

[2] Там же, стр. 28, № 14.

[3] Там же, стр. 37, № 20.

[4] Там же, стр. 35—36, № 19; стр. 40—43, № 22—23; стр. 45—51, № 26—27.

[5] Там же, стр. 47, № 26.

женных застав и незаведении новых, о сборе мытов и других пошлин, как проезжих, так и торговых, в установленных местах и по фиксированной норме и т. д.), ставит своей задачей дать правовое оформление системе раздробленности, при которой отдельные княжества оказываются замкнутыми каждое в узком и тесном экономическом и политическом кругу. Но в то же время видно, как сама жизнь (даже в условиях, когда господствует натуральное хозяйство) подтачивает эту замкнутость, как товарное обращение (при пока еще слабо развитом товарном производстве) на территории раздробленной Руси, независимо от ее политической карты, заставляет правителей отдельных областей считаться со своими запросами. И поэтому в договорных грамотах появляются статьи о праве новгородских купцов свободно выезжать в пределы Тверской земли, а тверских и московских купцов совершать торговые поездки в Новгород. Тем самым купечество в своей деятельности преодолевало государственные границы отдельных областей.

В развитии торговых связей на Руси, как условии образования централизованного государства, есть нечто общее с ростом феодального землевладения как одной из предпосылок того же процесса (несмотря на все различие этих явлений). Если распространение феодальной собственности на землю объективно не могло мириться с существовавшим политическим делением и нарушало правовые нормы, препятствовавшие землевладельцам приобретать вотчины в чужих княжествах, то тем более торговля по самому своему характеру должна была ломать сковывавшие ее политические преграды.

Политическая раздробленность явно тормозила развитие товарного обращения. В новгородско-тверских соглашениях сохранился материал, свидетельствующий о том, что феодальные усобицы и смуты приводили к расстройству торговых связей Новгорода с Северо-Восточной Русью и тяжело отражались на положении новгородского и новоторжского купечества. Уже в договоре Великого Новгорода с великим князем Ярославом Ярославичем конца XIII в. упоминаются новгородские купцы, задержанные в Костроме «и по иным городом»[1]. В договорной грамоте Новгорода с великим тверским князем Михаилом Ярославичем начала XIV в. имеются данные относительно «товара новгородьского, или купецьского, или гостиного, или по всеи волости Новгородьскои», захваченного тверичами во время восстания новгородского населения против тверского правительства и войны тверского князя с Новгородом в 1312—1316 гг. В том же документе фигурирует «гостиныи товар или купецьскыи», который тогда же новгородцы забрали у тверских купцов[2]. Конечно, часть купцов могла лишиться своих товаров в результате антифеодального движения в Новгородской земле, во время которого их (вместе с боярами) стали громить го-

[1] ГВНП, стр. 13, № 3.
[2] Там же, стр. 23, № 11.

родские бедняки и крестьяне, может быть, даже не различая тверичей от новгородцев. Это одна сторона вопроса—сторона, характеризующая классовый антагонизм. Следует учитывать и другой момент: распря новгородских и тверских правителей нарушила нормальный товарооборот между Новгородом и Северо-Восточной Русью.

В документах 70-х годов XIV в., относящихся ко времени после восстания в 1372 г. населения Торжка совместно с новгородцами против наместников тверского великого князя Михаила Александровича, находим данные о «товаре», который упомянутый князь «порубил», а также о «товаре», который был в «Торшку взят в полон»[1]. Наконец, вспоминается «грабежь», который «ученился... на Волзе», и «товар», «что... поиман у новъгородьскых купець и у новоторскых из лодеи рубежом...» И вслед за всеми этими сведениями в мирном договоре князя Михаила Александровича с Великим Новгородом идет стереотипная фраза: «а гостю гостити с обе половине без рубежа»[2].

И в данном случае, как и в только что рассмотренном выше, скупые указания документального материала проливают свет (пусть скудный) на классовые противоречия в Новгородской земле, в Торжке, в Поволжье, вылившиеся в движение городской бедноты и крестьянства против феодалов и богатого купечества. В то же время опять достаточно рельефно выступает тормозящая роль политической раздробленности с типичными для нее феодальными войнами и усобицами для развития межобластного товарооборота.

Важным экономическим фактором, предопределившим объединение Новгорода с другими русскими землями в конце XV в., было то обстоятельство, что новгородское население нуждалось в хлебе, привозимом из Северо-Восточной Руси. Хорошо известно, что прекращение этого подвоза было одним из средств, к которому прибегали суздальские, тверские, московские князья, желая заставить новгородское правительство принять те или иные выдвигаемые перед ним политические предложения. В 1312 г. князь Михаил Ярославич тверской, начав войну с Великим Новгородом, прежде всего перерезал своими войсками торговые к нему пути («... не пустя обилья в Новгород, а Торжек зая, и Бежичи, и вся волость...»)[3]. Эта война продолжалась с некоторыми перерывами вплоть до смерти тверского князя. И характерно, что в мирном договоре с Михаилом Ярославичем московского великого князя Юрия Даниловича и Великого Новгорода одним из существенных пунктов является требование возобновить подвоз хлеба в Новгород и разрешить туда свободный проезд купцам из Суздальской земли: «А гости всякому гостити без рубежа; а ворота ти отворити, а хлеб

---

[1] ГВНП, стр. 33, № 17.
[2] Там же, стр. 34, № 18.
[3] НПЛ, стр. 94.

ти пустити, и всякыи ти гость пустити в Новъгород; а силою ти гостя в Тферь не переимати». Это же обязательство повторяется в договоре Великого Новгорода с великим князем Борисом Александровичем 40-х годов XV в.[1]

В 1471 г., уже совсем накануне включения Новгородской земли в состав единого Русского централизованного государства, организованный Иваном III поход на Новгород имел для местного населения примерно те же самые последствия, что и новгородско-тверская война 1312—1316 гг. К Новгороду прекратился подвоз хлеба, и там начался голод: «...хлеб дорог, и не бысть ржи на торгу в то время, ни хлеба, только пшеничный хлеб, и того пооскуду». Когда же между новгородским и московским правительствами был заключен Коростынский договор, положение в Новгородской земле изменилось, на рынке появились зерновые продукты, цены на них упали: «...бысть в Новегороде всякого блага обильно и хлеб дешев»[2].

Конечно, все сложные обстоятельства длительной борьбы между Московским княжеством и Новгородской феодальной республикой требуют специального исследования. Но в общем комплексе причин, обусловивших падение Новгорода, нельзя не уделить известного места и кровной потребности местного населения в нормальных экономических связях с другими русскими землями в целях регулярного подвоза хлеба.

О развитии торговых отношений между Московской и Тверской землями можно в какой-то мере судить по договорам московских и тверских князей XIV—XV вв. В них имеется несколько, по большей части стандартных, повторяющихся из одной грамоты в другую, пунктов. Во-первых, декларируется обязательство князей разрешать поездки по территории своих владений купцам, приезжающим из других владений: московские купцы могли беспрепятственно ездить в Тверскую землю, тверские—в Московскую («а путь им дати чист...», «а меж нас людем нашим и гостем путь чист без рубежа»). Особо оговаривается свобода проезда через Тверское княжество в Московское для новгородских и новоторжских купцов: «А гостем и торговцем Новагорода Великого, и Торжку, и с пригородеи дати ти путь чист без рубежа сквозе Тферь и Тферьскии волости». Последний пункт указывает на то, что с ростом торговых связей между Новгородом и Московской Русью объективно становилось невозможным экономическое и политическое развитие вне системы этих связей для Тверской земли. Во-вторых, московско-тверские докончальные грамоты декларируют традиционную систему застав (мытов) на торговых путях и устойчивую шкалу взимаемых с купцов таможенных и проезжих пошлин, лишая князей права вносить в эту систему какие-либо нововведения («А мыта ти держати и пошлины имати по старои пошлине оу наших

---

[1] ГВНП, стр. 26, № 13; стр. 38, № 20.
[2] ПСРЛ, т. IV, стр. 128—129; *Л. В. Данилова*, указ. соч., стр. 22.

гостеи и оу торговцев... А мытов ти новых и пошлин не замышляти»). В-третьих, в договорных грамотах, оформляющих отношения между правителями Москвы и Твери, устанавливаются нормы поборов с купцов, переезжающих из одного княжества в другое, и с товаров, ими перевозимых, причем делается оговорка, что с тех, кто «поедет без торъговли», пошлины не берутся. Наконец, в-четвертых, в некоторых договорных грамотах имеется специальный пункт о штрафе («промыте»), налагаемом на того, кто «объедет мыт». При этом оговаривается, что штраф не взимается в том случае, если при проезде купца через мыт там не окажется мытника («мытника оу завора не будет»)[1]. Очевидно, появление подобного пункта в рассматриваемых документах вызывалось самой жизнью; надо думать, не редки были случаи, когда купцы во избежание излишних платежей прокладывали для себя нелегальные пути, минуя те дороги, по которым были расставлены мыты.

Анализ московско-тверских докончаний дает право на те же самые выводы, которые вытекают из разбора соглашений Великого Новгорода с тверскими и московскими князьями. Противоречивые пункты междукняжеских договоров по вопросам межобластной торговли соответствуют противоречивому характеру исторической действительности. Традиционно переписываемые на протяжении столетий статьи договорных грамот о таможенных заставах, о торговых и проезжих сборах, о штрафах за попытки миновать установленные мыты и т. д. сложились в период господства не только экономической, но и политической раздробленности. Но жизнь, как всегда, оказывалась сильнее всяких юридических норм и вносила в них поправки. Торговля между русскими землями росла, и этот рост был фактором, влиявшим на экономическую политику правительств отдельных русских княжеств не только с точки зрения запросов и интересов княжеской казны. Конечно, фискальные сборы не могли не интересовать князей, стремившихся их увеличивать. Но развитие межобластных торговых связей было явлением, важным для дальнейшего роста всей экономики страны. И это обстоятельство не могло не влиять на торговую политику князей. В поощрении ими торговли между русскими землями (обязательства не устраивать новых мытов, пропускать через границы своих княжеств гостей, едущих из других русских земель, и т. д.) нельзя усматривать одни фискальные мотивы. Объективными предпосылками возникновения подобных статей докончальных княжеских грамот было развитие товарного обращения (хотя и при низком уровне товарного производства), оказывавшего влияние на мероприятия князей в области экономической политики.

Все выше сказанное можно повторить и применительно к соглашениям по вопросам торговли, фигурирующим в договорах московских и рязанских князей XIV и XV вв. и свидетельствую-

---

[1] ДДГ, стр. 27—28, № 9; стр. 42—43, № 15; стр. 188, 191, № 59; стр. 203—204, 206—207, № 63.

щим о росте торговых отношений между Московской и Рязанской землями. И здесь мы встречали обязательства князей довольствоваться сбором таможенных и проезжих пошлин по давно установленной норме на старых заставах, не устраивать новых застав и не увеличивать традиционные размеры сборов с купцов и товаров («а мыты ны держати давныи пошлыи, а непошлых мытов и пошлин не замышляти»). И здесь детально указываются принятые нормы обложения за торговые операции и эти нормы запрещается повышать[1].

Интересно докончание великого князя московского Василия II с князем суздальским Иваном Васильевичем 1448 г., в котором имеется следующее условие: «А гостем нашим всего нашего великого княженья гостити и торговати в твоеи вотчине, в твоеи державе, доброволно, без зацепок и без пакости»[2]. Указанное докончание возникло в период большой феодальной войны, приведшей на некоторое время к реставрации политической самостоятельности Суздальско-Нижегородского княжества. В договоре Василия II с суздальским князем Иваном Васильевичем 1448 г. эта самостоятельность снова подвергается ограничению. И тем не менее в него включается пункт о свободном проезде гостей через владения обоих князей, типичный для междукняжеских отношений того периода, когда политическая раздробленность еще существует, хотя развитие товарного обращения и преодолевает ее сковывающее действие. Таким образом, статья о «добровольной» межобластной торговле в грамоте 1448 г. представляла собой своеобразный рецидив тех правовых норм, которые регулировали товарооборот в условиях политически раздробленной Руси,—рецидив, вызванный восстановлением на некоторое время этих условий там, где они ранее уже были ликвидированы.

* * *

В связи с ростом торговых отношений между русскими землями отдельные феодальные центры вели борьбу за пути, по которым эти сношения совершались. Московское княжество боролось с Рязанским за овладение торговым путем по Оке и Дону, с Тверским—за укрепление в верховьях Волги. Интенсивно шла борьба между московскими и новгородскими феодалами за торговые пути на Север, где их привлекали как земли, так и значительные богатства пушнины.

О той роли, которую играли в торговле (и особенно во внешней торговле) Руси меха, добываемые в северных районах, очень красочно и образно говорится в Житии Стефана Пермского. В своей полемике с христианским миссионером местный «кудесник» хочет доказать, что благодаря покровительству языческих богов население Севера обеспечено промысловыми угодьями для ловли рыбы,

---

[1] ДДГ, стр. 30, № 10; стр. 55, № 19; стр. 86, № 33; стр. 145, № 47.
[2] Там же, стр. 157, № 122.

для добычи мехов. «Мнози бози», «мнози поспешницы», говорит кудесник, «нам дають ловлю и все, елико есть в водах, и елико на воздухе, и елико в блате, и в дубровах, и в борех, и в лузе, и в порослех, и в чащах, и в березнике, и в сосняге, и в елняге, и в рамении, и в прочих лесех; и все, елико на древесех, белкы, или соболи, или куници, или рыси, и прочаа ловля наша...» Продукция охотничьих промыслов попадает в центр Руси. Из мехов, добытых на Севере, выделываются одежды, в которых красуется знать. «...Не нашею ли ловлею и ваши князи и бояре и велможи обогощаеми суть, в ня ж облачатся и ходять, и величаются, подолы риз своих гордящеся?..» Наконец, меха попадают на внешний рынок, вывозятся в Золотую орду, Константинополь, Ливонию, Литву. «Не от нашей ли ловля и во Орду посылаются и досязають даже и до самого того мнимого царя, но и в Царьград, и в Немцы, и в Литву, и в прочаа грады и страны и в далняя языки»[1].

На богатый пушниной Север устремлялись с целью наживы купцы из центральных русских городов. В Житии Дмитрия Прилуцкого сохранился рассказ о его брате, наделавшем долги переяславском купце, который, чтобы поправить свои дела, трижды ездил на Печору, разбогател в результате этих поездок, но домой уже не вернулся, погибнув во время своих странствований[2].

Московские князья также старались извлечь доходы из эксплуатации лесных промыслов на Севере. Иван Калита посылал ватагу сокольников на Печору. По соглашению с Новгородом он поручил Печорскую сторону (для морского промысла) своему приказчику Михаилу. Дмитрий Донской «пожаловал» Печору Андрею Фрязину на тех же началах, на каких она была дана в кормление его дяде Матвею Фрязину. Торговые связи московского центра с Подвинье м устанавливались через Кострому, Вологду, Великий Устюг, куда ездили торговать «в лодиах или на возех» купцы («гости») из Двинской земли. По уставной грамоте, выданной Василием I Двинской земле в 1397—1398 гг., когда она была на недолгое время присоединена к Москве, «гости двинские» получили право беспошлинной торговли в пределах территории всего великого княжения: «во всеи моеи отчине в великом княжении», как говорится в документе от имени московского великого князя[3].

В основе всякой политической борьбы лежат реальные экономические интересы. В борьбе между отдельными княжествами феодальной Руси в XIV—XV вв., в период образования Русского централизованного государства, в ряду других экономических стимулов играл роль и такой, как стремление к овладению крупнейшими торговыми путями.

---

[1] «Житие святаго Стефана епископа пермскаго, написанное Епифанием Премудрым», СПб., 1897.

[2] *Филарет*, Жития святых, чтимых православною церковью, СПб., 1892, февраль, стр. 116.

[3] ГВНП, стр. 142, № 84; стр. 142—143, № 85; стр. 143—144, № 87; стр. 145—146, № 88.

§ 9. Борьба за Волжский торговый путь. Ушкуйничество

По Волжскому пути происходила торговля Руси с Ордою и Востоком, которая имела большое значение для экономического развития Москвы. В. Е. Сыроечковский указывает, что Золотая орда была «крупным центром международной торговли, который в XIV в. сложился на берегах Каспийского и Черного морей». Орда установила «широкие торговые связи со всем азиатским Востоком, Египтом и Западом в лице Византии и Италии...»[1]. Ряд источников свидетельствует о том, что в XIV—XV вв. русские купцы ездили в Орду и вели там торговые операции.

Золотоордынское иго, тяготевшее над Русью, мешало нормальному развитию торговли русского купечества по Волге. Постоянные набеги ордынских царевичей и князей на поволжские города и области, грабежи и избиения ими русских купцов являлись серьезным препятствием к расширению торговых сношений Руси со странами Востока[2].

Объективный ход исторического развития делал совершенно очевидным, что лишь освобождение от татаро-монгольского ига могло обеспечить Руси возможность дальнейшего расширения торговых связей по Волжскому пути. Однако развитию этих связей мешало не только чужеземное владычество, но и то состояние политической раздробленности, в котором находилась в это время Русь. Если, с одной стороны, за Волжский путь шла борьба между Русью и Ордой, то, с другой стороны, за владение этим путем боролись различные группировки русских князей.

* * *

В 60—90-х годах XIV в. на Руси развернулась особенно интенсивная борьба за Волжский торговый путь, который стремилась держать под своим контролем Орда. В том, чтобы вырвать волжскую водную артерию из-под ордынского контроля, были заинтересованы русские князья, в своей политике выражавшие экономические и политические запросы как феодалов, так и городского населения своих княжеств. Включение в возможных пределах Волжско-Камского бассейна в орбиту политического влияния Руси было важно для развития землевладения русских феодалов, расширения внутренней и внешней торговли, завоевания стратегических позиций в целях ослабления Орды, что облегчило бы

---

[1] *В. Е. Сыроечковский*, Пути и условия сношения Москвы с Крымом на рубеже XVI века («Известия Академии наук СССР», Отделение общественных наук, 1932, № 3, стр. 194).

[2] Поскольку эта сторона дела достаточно освещена в литературе, я не привожу здесь материала, относящегося к торговым связям Руси по Волге. Об этом см. *М. Н. Тихомиров*, Средневековая Москва в XIV—XV веках, стр. 131—133; *В. Е. Сыроечковский*, Гости-сурожане; *М. В. Фехнер*, Торговля Русского государства со странами Востока в XVI веке, М., 1956.

свержение в дальнейшем татаро-монгольского ига. За овладение Волжским путем боролись с Ордой и между собой прежде всего князья нижегородско-суздальские и московский. В процессе этой борьбы возникали различные политические комбинации. Отдельные группировки русских феодалов, чтобы одолеть друг друга, часто блокировались с ордынскими правителями. Но в целом происходило усиление Руси. Орда была вынуждена считаться с тем, что на развитие торговли по Волге начинала в значительной мере оказывать влияние политика русских князей и в первую очередь великого князя московского.

Великий Новгород был также заинтересован в том, чтобы поставить от себя в зависимость территорию Волжско-Камского бассейна. Это содействовало бы расширению новгородской торговли, дало бы возможность новгородскому боярству захватывать и заселять новые земли, заводя там свое хозяйство, наконец, усилило бы политические позиции Новгородской феодальной республики в ее столкновениях с московскими и тверскими князьями. Во второй половине XIV в. в Новгороде зародилось своеобразное явление, нашедшее довольно широкое отражение в летописных сводах,—ушкуйничество (вооруженные нападения на города и торговые суда в Волжско-Камском бассейне отрядов новгородских дружин, формировавшихся из людей без определенных занятий, разъезжавших с разбойничьими целями по водным путям)[1]. Часть новгородского городского черного населения, не находившая применения своему труду в сфере ремесленной и торговой деятельности, выбитая из рамок обычных корпораций горожан, представляла собой опасную для господствующего класса социальную среду, недовольную своим положением и готовую к открытому выражению протеста против феодального строя. Представители господствующего класса стремились использовать таких людей в своих интересах, удалив их из Новгорода и направив их силу и энергию на организацию предприятий, которые содействовали бы дальнейшему расширению экономического и политического влияния на Руси новгородского боярства. Ушкуйниками становились, вероятно, и выходцы из феодального класса.

Формально походы ушкуйников совершались не с санкции новгородского правительства, а являлись частными предприятиями, организуемыми на свой страх и риск представителями местных боярских фамилий. Но фактически новгородские власти были, вероятно (если не всегда, то в ряде случаев), осведомлены о подобного рода предприятиях и не препятствовали им. В то же время те из бояр, кто становился во главе ушкуйников, рассматривали часто свои походы как дело личной наживы, а полученные от разгрома волжских и камских городов и торговых судов товары и деньги (за вычетом того, что шло ушкуйникам) использовали в целях собственного обогащения. Новгородское же правительство

[1] Об ушкуйниках см. *В. Н. Бернадский*, Новгород и Новгородская земля в XV веке, ч. I, стр. 211—233.

походы ушкуйников вовлекали иногда в политические конфликты с великими князьями.

В социальном и политическом отношениях ушкуйничество— явление сложное. Как можно думать, пестрым был и состав ушкуйников. По-видимому, в ушкуйники шли наряду со стремившимися к наживе феодалами люди, лишенные средств к существованию, из числа горожан, бедняки, плебейская часть населения. Господствующий класс боялся этих людей, ибо они представляли собой горючий материал, готовый воспламениться в случае любого обострения классовых противоречий в Новгороде, когда, конечно, такая беднота оказалась бы на стороне борющихся против феодалов. С точки зрения властей Новгородской феодальной республикии отдельных бояр, этих людей лучше всего было вывести за пределы Новгородской земли. В то же время следовало найти им занятие, которое доставило бы выгоду новгородскому боярству, а в среду их самих внесло бы разложение, мешало бы развитию в них чувства классовой солидарности и, давая им средства к существованию, делало бы их орудием, используемым в своих интересах господствующим классом феодалов Великого Новгорода. В действиях ушкуйников, когда они громят крупных представителей торгового капитала—гостей (тесно связанных по своему социально-экономическому положению и политическим привилегиям с феодальным классом), нельзя в ряде случаев отрицать наличия черт, присущих антифеодальным выступлениям. Вероятно, в некоторых случаях ушкуйники выдвигали из собственной, а не из боярской среды и предводителей. Но в то же время в значительной своей части походы ушкуйников приобретают характер простых грабительских вооруженных набегов на волжско-камские торговые караваны и населенные пункты, от которых очень сильно страдали мирные жители (причем не только феодалы и купцы, но и трудовое население).

Противоречивой поневоле является и политическая оценка ушкуйничества. Ушкуйники сыграли определенную роль в деле подрыва экономических ресурсов Орды (разгром ордынских городов, нападения на ордынских купцов), чем содействовали политической борьбе Руси с татаро-монгольским владычеством. Сыграли они роль и в освоении путей восточной торговли Руси. Но в то же время действия ушкуйников наносили большой ущерб русским городам и мешали развитию русской торговли по Волге и Каме. В походах ушкуйников воочию обнаружился весь вред политического расчленения Русской земли, при котором соперничество отдельных княжеств и земель служило препятствием развитию экономических связей.

Чтобы наглядно представить себе противоречивую роль ушкуйников, надо ознакомиться с конкретным материалом об их походах.

В 1360 г. новгородские ушкуйники под предводительством боярина Анфала Никитина завладели городом Жукотином на Каме

и перебили там много «бесермен». Это вызвало протест со стороны Орды. На Русь прибыл ордынский посол и потребовал выдачи ушкуйников. По этому поводу в Костроме состоялся княжеский съезд, на котором присутствовали великий князь Дмитрий Константинович, его брат нижегородский князь Андрей Константинович, князь Константин ростовский. На съезде решено было выдать ушкуйников ордынскому правительству[1].

Рассматриваемое событие во всех летописных сводах изложено довольно лаконично, чем затрудняется его интерпретация. Летописи называют ушкуйников «разбойниками», вкладывая в этот термин известный оттенок недоброжелательства к ним и осуждения их поведения. Такое недоброжелательство имеет, очевидно, прежде всего социальные основы. Ушкуйники, как указывалось, в значительной степени выходили из среды городской бедноты, экономически несостоятельной части горожан, в поисках заработка шедшей в дружины, формировавшиеся новгородскими феодалами, но сохранявшей ненависть к представителям феодального класса и богатому купечеству. В 1360 г. ушкуйники захватили город во владениях Орды. Но они столь же легко могли (и так бывало неоднократно) напасть и на русские города, перебить там состоятельную часть населения и разделить между собой ее имущество. Русским князьям было выгоднее, чтобы объектом действий ушкуйников были ордынские, а не русские города. Поэтому весьма вероятно, что нападение ушкуйников в 1360 г. на Жукотин было произведено с ведома русских (и прежде всего нижегородских) князей, а может быть, и организовано ими. Таким образом, русские князья не только отвлекали от своих владений возможные набеги ушкуйников, но и добивались известного ослабления Орды, которой каждое подобное нападение наносило определенный ущерб. Только предположением о том, что русские князья принимали участие в организации похода на Жукотин, можно объяснить и претензию к ним со стороны Орды, и их быстрый съезд в Костроме, и выдачу ими ордынским правителям ушкуйников (что, очевидно, они имели право и реальную возможность сделать).

Под 1366 г. летописи описывают новый поход ушкуйников. Из Новгорода вышли полтораста (по Никоновской летописи— 200) ушкуев (лодок). Новгородские «разбойници оушкуиници» пробрались на Волгу и напали на Нижний Новгород. Там они перебили множество татар, бесермен, армян (очевидно купцов), мужчин, женщин и детей, захватили их товары, а принадлежащие им суда (кербаты, ладьи, учаны, паузки, струги) «посекли». После этого ушкуйники поплыли в Каму и «тако же творяще и воююще» по пути, дошли до Болгар[2]. Действия ушкуйников имели явно

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 69; т. IV, стр. 63; т. V, стр. 227; т. VIII, стр. 11; т. XVIII, стр. 100; УЛС, стр. 52.

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 81; т. VIII, стр. 14; т. XI, стр. 6; т. XXIV, стр. 124.

разбойничий характер. Но при этом интересны два момента. Выступления ушкуйников были направлены прежде всего против восточного, а не русского купечества (лишь поздние летописи говорят об ограблении ушкуйниками нижегородских купцов). Нарушая торговое движение по Волге, эти выступления имели значение и в том смысле, что подрывали экономические основы ордынского господства в Поволжье. Второе, что нужно отметить, это— социальную направленность действий ушкуйников, среди которых были, вероятно, выходцы из среды черных городских людей. Объектом их нападений делаются крупные представители торгового капитала, волжские купцы.

В том же, 1366 г., судя по летописным сведениям, ушкуйники совершили еще один поход на Волгу[1]. Рассказывая об этом, летописи прежде всего отмечают социальное положение ушкуйников. Все это были люди «молодые», т. е. незнатные, простые, выходцы из беднейшей части городского населения, может быть, из среды рядовых феодалов. К числу бояр принадлежали «воеводы» ушкуйников. Летописи подчеркивают, что поход был организован «без новгородскаго слова», т. е. без разрешения новгородских властей. В этом, как говорилось выше, можно усомниться. Пограбив по Волге, ушкуйники вернулись в Новгород «со многым прибытком». На этот раз, судя по летописным сообщениям, ушкуйники нападали преимущественно на русских гостей (Новгородская четвертая и Софийская первая летописи называют имена некоторых убитых). Поэтому их поход вызвал протест со стороны московского великого князя Дмитрия Ивановича, который порвал мир с Новгородом и потребовал от новгородского правительства ответственности за действия ушкуйников: «Почто есте ходили на Волгу, и воевали, и гостеи моих ограбили много?»[2].

В 1369 г., по сообщению Новгородской четвертой летописи, 10 новгородских ушкуев побывали на Волге и Каме и были разбиты под Болгарами[3], очевидно, потому, что нападали на восточных купцов.

Под 1371 г. в большинстве летописей имеется глухое указание на то, что «... новгородци оушкуиници, разбоиници, собрашась, взяша Кострому»[4]. Только по аналогии с более ранними и последующими походами ушкуйников можно предполагать, что в 1371 г. они напали на Кострому с целью захвата товара и находившихся там купцов. По Львовской летописи, в том же году ушкуйники

---

[1] В некоторых летописях два похода ушкуйников 1366 г. объединены в один (см., например, ПСРЛ, т. XX, СПб., 1901, стр. 191; т. XXIII, стр. 114).

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 83; т. IV, стр. 65; т. VIII, стр. 230; т. XI, стр. 6; т. XVI, СПб., 1889, стр. 91—92; т. XVIII, стр. 105; НПЛ, стр. 369.

[3] ПСРЛ, т. IV, стр. 66.

[4] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 97; т. VIII, стр. 18; т. XI, стр. 15; т. XVIII, стр. 111; т. XX, стр. 193; т. XXIII, стр. 116; т. XXIV, стр. 127; УЛС, стр. 55

«пограбили и пожгли» Нижний Новгород «и людеи много посекли и покололи». По Устюжскому летописцу, тогда же ушкуйниками был совершен набег и на Ярославль. Набеги эти, по-видимому, имели чисто грабительский характер.

В 1374 г. ушкуйники, спустившись в 90 (по Ермолинской летописи—в 200) ушкуях по реке Вятке, пограбили город Вятку, а затем захватили Болгары и собирались его зажечь, но пощадили, взявши с жителей 300 рублей «окупа». В дальнейшем ушкуйники разделились на две партии. Одна из них (в количестве 50 ушкуев) двинулась вниз по Волге, к Сараю. Другая партия (в количестве 40 ушкуев) отправилась вверх по Волге и, добравшись до Обухова, пограбила Засурье и Маркваш, после чего ушкуйники уничтожили все суда («лодьи, поромы, и насады, и павозкы и стругы, и прочая вся ссуды посекоша») и повернули по суху на конях к Вятке, разоряя села, расположенные по Ветлуге («и идучи, много сел по Ветлузе пограбиша»)[1]. Судя по всему, в 1374 г. ареной, на которой развернулись действия ушкуйников, были владения Орды, но подвергались их набегам и русские города. Интересно указание на нападения ушкуйников не только на купцов, но и на села, т. е. имения феодалов. В Никоновской летописи говорится о разграблении ушкуйниками «сел и властей». Таким образом, в данном выступлении ушкуйников, возможно, присутствовал в какой-то мере антифеодальный момент.

Особенно подробно описывают летописи нападение новгородских ушкуйников на Кострому в 1375 г. По Волге к Костроме пришло 70 ушкуев. Во главе ушкуйников стояли два «старейшины»—Прокоп и Смольнянин. Поход ушкуйников был приурочен к тому моменту, когда соединенные войска ряда русских княжеств под предводительством московского великого князя Дмитрия Ивановича осаждали Тверь и не могли оказать сопротивления новгородским «разбойникам». Подойдя к Костроме, последние сошли на берег и стали готовиться к военным действиям («и сташа оплъчившася на брань»). Костромские горожане вышли из города и также приготовились к сражению («гражане же изыдоша из града противу, собрашася на бои»). Ушкуйников было, по одним данным, около 1500, по другим,—2000 человек, костромичей—до 5000. Видя явное превосходство сил противника, ушкуйники решили внести смятение в его ряды внезапными ударами с двух сторон. Поэтому они разделились на два отряда, из которых один остался на месте, другой тайком ушел в лес, а затем эти отряды сразу ударили на костромских горожан: первый—в лицо, второй—в тыл. Костромской воевода испугался и бежал. Летописи говорят о поведении Плещеева с явным осуждением: «воевода же... убояся.., выдав рать свою, покинув град свои, подав плещи,.. побеже». Костромичи последовали примеру своего воеводы, дрогнули и обратились в бегство.

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 106; т. VIII, стр. 21; т. XI, стр. 20; т. XVIII, стр. 114; т. XXIII, стр. 118; т. XX V, стр. 129—130.

Некоторые скрылись в лесах, других ушкуйники перебили или захватили в плен. Когда ушкуйники вошли в город, он был пуст. И об этом летописи рассказывают, явно неодобрительно отзываясь о поведении костромских горожан, не оказавших сопротивления ушкуйникам: «новгородци же видеша оставлен град и небрегом, и несть ему заборони ни отъкуда же, и взяша град...». Пробыв в Костроме неделю, ушкуйники разграбили весь остававшийся в городе товар («... и всяко сокровище изыскаша и изнесоша и всякыи товар изъобретше и поимаша»). С собой ушкуйники забрали тот товар, который имел бóльшую ценность и который было легче захватить, а все остальное сбросили в Волгу или сожгли («не все же товарное с собою попровадиша, но елико драгое и легчаишее, а прочее тяжькое, излишнее, множаишее в Волгу вметоша и глубине предаша, а иное огнем пожгоша»). Поведение ушкуйников в Костроме имело явно разбойничий характер. В летописном рассказе трудно найти указания на наличие в действиях ушкуйников хотя бы каких-либо элементов классовой антифеодальной борьбы. Правда, они нападают прежде всего на зажиточное купечество, но их нападения преследуют цель простого грабежа. Они берут то, что возможно, а остальное уничтожают. Не видно каких-либо попыток со стороны ушкуйников связаться с рядовой массой горожан, с городской беднотой Костромы, с крестьянством. Уходя из Костромы, ушкуйники увезли с собой большой «полон»— «мужь, и жен, и детии и девиць», которых затем продали в Болгарах.

Нижний Новгород постигла та же участь, что и Кострому. Город был разграблен (а затем сожжен) ушкуйниками, множество нижегородского населения захвачено в качестве «полона» и распродано на болгарском рынке «бесерменским» купцам. Ушкуйники отправились в насадах вниз по Волге к Сараю, «гости христианьскыя грабячи, а бесермены биючи». В приведенных словах летописи можно видеть указание на различное отношение ушкуйников к русским и «бесерменским» купцам: у первых они отнимают имущество, вторых убивают. Но в общем поведение ушкуйников остается таким же, как и под Костромой и Нижним Новгородом: они представляют собой вооруженный отряд, живущий грабежом. Ушкуйники добрались до Астрахани («доидоша на усть Влъгы близ моря града некоего именем Хазитороканя») и там были истреблены людьми местного князя. При всем недоброжелательном отношении к новгородским «разбойникам» летописи с известным оттенком сочувствия (вызываемым, очевидно, уважением к их предприимчивости и смелости) рассказывают о «кончине Прокопу и его дружине»[1].

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 113—114; т. XV, стр. 435—436; т. III, стр. 231; т. IV, стр. 71—72; т. V, стр. 235; т. VIII, стр. 23—24; т. XI, стр. 23—24; т. XVI, стр. 101—102; т. XVIII, стр. 116; т. XX, стр. 196; т. XXIII, стр. 119—120; т. XXIV, стр. 131—132; УЛС, стр. 56.

В 1391 г. (по Львовской летописи—в 1390 г., по Воскресенской—в 1392 г.) устюжские горожане («гражане»), соединившись с новгородцами[1], отправились вниз по реке Вятке, взяли Жукотин и Казань, а затем вышли на Волгу, где пограбили гостей[2]. В данном случае мы видим совместное выступление новгородских ушкуйников и устюжского посадского населения с целью погрома ордынских владений. Стимулом к этому выступлению вряд ли была одна жажда грабежа. Вероятно, имели значение экономические интересы русских горожан, торговая деятельность которых стеснялась Ордой.

Задачи овладения Волжским торговым путем имели большое значение для той политической борьбы, в процессе которой складывалось Русское централизованное государство.

Уже в 1376 г. Дмитрий Донской взял под контроль московского правительства Волжский путь, назначив сборщиков таможенных пошлин («дарагу и таможника») в Болгары[3].

После свержения Русью татаро-монгольского ига в конце XV в. московское правительство стремилось не упустить из своих рук всех экономических выгод, связанных с торговлей по Волге. В 1489 г. муромский наместник задержал татарина Ибрагима, который «ехал с торгом через Мордву», желая миновать Нижний Новгород, с тем чтобы не платить таможенных пошлин («а Новгород Нижний объехал, избывая пошлин»). После этого из Москвы к казанскому хану была послана грамота с указанием «заповедать» «всем своим людем, чтобы из Казани через Мордву и через Черемису на Муром и на Мещеру не ходил нихто, а ездили бы из Казани все Волгою на Новгород на Нижней»[4]. Приехавшие в том же, 1489 г. в Москву послы из Ногайской орды от хана Ибака и мурз добивались свободного беспошлинного проезда в Русь для ногайских посланцев и «торговых людей» («...ино бы им в великого князя земле задержки не было, да и пошлин бы с них не имали»). Иван III согласился на это при условии, что купцы и другие выходцы из Ногайской орды будут ездить в русские пределы через Казань и Нижний Новгород («а иными бы дорогами к нам своих людей не посылали»). В Казань из Москвы была послана грамота с предписанием казанскому хану Магмет-Аминю «проводити» ногайцев, которые выедут в Русь, до русских границ, «чтобы им на пути лиха не было ни которого»[5].

Для дальнейшего утверждения Руси в Поволжье требовалось присоединение Казанского и Астраханского ханств. Эта задача была осуществлена в середине XVI в.

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 138; т. VIII, стр. 34; т. XI, стр. 45; т. XVIII, стр. 129; т. XXIV, стр. 143.

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 161; т. XI, стр. 126; т. XVIII, стр. 141; т. XX, стр. 210; т. XXIII, стр. 132; т. XXIV, стр. 158.

[3] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 120.

[4] Сб. РИО, т. XLI, стр. 87, № 23.

[5] Там же, стр. 85, № 23.

§ 10. Торговля Руси с Крымом

Русь вела торговлю с греческими и итальянскими купцами в Суроже, Кафе, Константинополе. В XIV—XV вв. поездки русских людей в Византию с торговыми и политическими целями были, по-видимому, довольно распространенным явлением[1].

Торговле Руси в XV в. с Югом (Кафой, Крымской ордой, основанным в 1495 г. Очаковом) посвящено специальное исследование В. Е. Сыроечковского. Поэтому я коснусь только некоторых вопросов данной темы, имеющих отношение к проблеме образования Русского централизованного государства. Торговлю с Крымом вели купцы целого ряда русских городов: Москвы, Коломны, Дмитрова, Переяславля, Можайска, Ярославля, Новгорода, Великого Устюга[2]. Так, в 1489 г. посол Ивана III М. С. Еропкин должен был заявить от имени московского великого князя протест польскому королю и великому князю литовскому Казимиру IV по поводу того, что «гости Московские земли, и Тферьские земли, и Ноугородские земли», возвращаясь из Крыма, были ограблены и перебиты на Днепре[3].

В «гибельных памятях», выданных в 1502 г. русскому послу к кафинскому султану А. Я. Голохвастову, перечислены «люди и гости великого князя, которые шли с послы» в разные годы в Крым и также по дороге были ограблены; среди них названы «москвичи», «тверичи», «коломничи», «можаичи», «новгородци Великого Новагорода»[4].

Путей из Москвы в Крым было несколько. Один из них шел через Рязанскую землю и далее Доном в Азовское море, другой проходил через Северскую землю, третий—через Киев, Черкасы и степью на Перекоп[5]. Из Крыма, Азова, Кафы русские купцы часто выезжали в Константинополь, Синоп, Брусу, Токат.

Из товаров в Крым доставлялись из русских земель кречеты, соколы, меха соболей, горностаев, рысей, лис, белок, меховые шубы и другие предметы одежды, кожа, холст, «рыбий зуб», оружие, ювелирные изделия. Через Русь в Крым попадали и предметы западноевропейского производства (например, фландрские и английские сукна)[6].

О капиталах, которыми обладали русские гости, торговавшие в Крыму, Кафе, Азове, можно в какой-то мере судить по данным о стоимости «товаров», принадлежавших тем из них, кто умирал на чужбине. Некоторые из таких данных относятся к 1496 г. После

---

[1] Русско-византийских торговых отношений я здесь не касаюсь. Об этом см. *М. Н. Тихомиров*, Средневековая Москва в XIV—XV веках, стр. 121—131.

[2] *В. Е. Сыроечковский*, Гости-сурожане, стр. 42.

[3] Сб. РИО, т. XXXV, стр. 23, № 7.

[4] Сб. РИО т. XLI, стр. 405—411, № 81.

[5] *В. Е. Сыроечковский*, Пути и условия сношений Москвы с Крымом на рубеже XVI века, стр. 200, 215—223, 228.

[6] *В. Е. Сыроечковский*, Гости-сурожане, стр. 59—68.

смерти в Кафе гостя Ивана Страха было конфисковано его имущество на сумму 500 рублей. Конфискованное имущество умершего гостя Ивана Весякова было оценено в 430 рублей. В Брусе умер Самойло Ярцев, у которого был «товар» его племянника Тиши Коврижкина на сумму 25 тысяч «денег атманских». Товар этот забрали местные власти[1].

В «списках жалобных гостей московских» 1500 г. содержатся следующие сведения о стоимости «живота» умерших в Кафе или Азове русских купцов: у Григория Ручки было «рухляди» на 370 рублей, у С. Коробьина—на 150 рублей, у «человека» Филиппа Лукина—на 130 рублей, у Р. Ф. Сузина—на 100 рублей. В том же списке говорится о том, что на Северском Донце «азовские татарове» и «турчанин» Костя Арменин ограбили 45 человек «гостей москвичей», взяв у них «рухляди» на 1500 рублей[2]. Встречаем мы в Крыму и малосостоятельных купцов, у которых имелось по 5—10 рублей[3].

Через Крым на Русь поступали товары из Малой Азии, Ирана, Сирии: шелковые ткани (тафта, камка), шерстяные и бумажные ткани (зуфь, киндяк, епанча, бязь), ковры, тесьма, москательные и бакалейные товары (мыло, перец, ладан), жемчуг, драгоценные камни[4].

Если русские торговцы совершали регулярные поездки в Крым то и на Русь из Крыма прибывали купцы разных национальностей. В 1495 г. Иван III, посылая к Менгли-Гирею «своих людей», отправил вместе с ними 6 человек «торговых людей», которые приезжали на Русь из Крыма, и 7 человек «азямлян» (персов), «армен», «фряз» (жителей генуэзских колоний в Крыму)[5]. В 1495 г. Менгли-Гирей напоминал Ивану III о том, что года три-четыре тому назад он послал к нему купца Шагабедина с товаром и с деньгами. Поскольку с тех пор о Шагабедине не было никаких известий, Менгли-Гирей просил Ивана III в случае смерти названного купца отослать в Крым с ханским послом его товар вместе с описью[6]. В Москве умер гость из Кафы армянин Богос. Между Крымской ордой и Москвой завязалась переписка по поводу оставшегося после него наследства[7]. Кафинский гость Гортемир торговал в Москве краской, перцем, мылом, бумагой и пр.[8]

Итак, торговые связи между русскими землями и Крымом в XV в. были достаточно тесными и развивались дальше. Конечно, торговля с Крымом не оказывала непосредственного влияния на производство. Она имела в значительной мере транзитный характер.

---

[1] Сб. РИО, т. XLI, стр. 235—236, № 50.
[2] Там же, стр. 297—298, № 63.
[3] Там же, стр. 299, № 63.
[4] *В. Е. Сыроечковский*, Гости-сурожане, стр. 53—59.
[5] Сб. РИО, т. XLI, стр. 215, № 47.
[6] Там же, стр. 219, № 48.
[7] Там же, стр. 282, № 50.
[8] Там же, стр. 268, № 58.

Поступавшие из Крыма дорогие товары и предметы роскоши обслуживали потребности преимущественно узкого круга феодалов и богатых горожан. И тем не менее значение русско-крымской торговли и для экономического развития Руси бесспорно. Она в известной мере стимулировала рост тех отраслей ремесла, продукция которых попадала на внешний рынок. Она содействовала формированию русского купечества, выделению из числа горожан экономически состоятельной и политически влиятельной части «гостей», торговавших на внешних южных рынках. Это купечество было заинтересовано в ликвидации политической раздробленности, ибо в рамках единого централизованного государства оно получало больше возможностей бороться за создание лучших условий для своей деятельности в области внешней торговли.

Господство в Черноморском бассейне Крымской орды и Турции создавало трудную обстановку для русских купцов. В конце XV в. были повышены таможенные и проезжие пошлины, бравшиеся с товаров и с торговцев в Кафе, Азове, Перекопе, Очакове. «А нынеча,—жаловались в 1500 г. гости,—таможники товар окладывают не по цене, втрое, да с того тамгу емлют, а сверх тамги емлют с котла однорядку, а с иново котла возмут однорядку да и шубу белилну, а иной таможник возмет с того ж котла став блюд, а иной возмет ковш, а проводное емлют однако, с послом ли, без посла ли...»[1]

Осуществляя свое господство над торговыми путями, крымские власти разрешали русским купцам пользоваться ими только при условии уплаты значительных денежных сумм. Так, на рубеже XV и XVI вв. гость Степан Васильев, придя «из Заморья», «хотел ити с киевскими гостями на Киев». Хан Менгли-Гирей сначала не разрешил ему отправиться этой дорогой, ссылаясь на то, что его могут ограбить «ордынские казаки». Когда же гость дал хану две тысячи денег, тот позволил ему тронуться в путь. «Ино сам и посмотри,— писал в 1500 г. Иван III Менгли-Гирею,—пригоже ли так делаешь? Как две тысячи денег взял еси, ино и дорога учинилася и казаков на поле нет»[2].

Нападения и грабежи, которым подвергались по дороге в Крым русские купцы, устраивались часто с ведома крымских властей. В 1489 г. в памяти Грибцу Иванову Климентьеву, отправленному к Менгли-Гирею, говорилось о нападении татар на русских гостей в устье Оскола. «А слух нам таков, — указывалось в памяти, — что деи тех наших гостей твои ж люди грабили...»[3] В 1500 г. Иван III предъявил через Менгли-Гирея претензию кафинскому султану по поводу того, что русских «послов и гостей азовские казаки на поле пограбили». «Ино как послом и гостем ходити,

---

[1] Сб. РИО, т. XLI, стр. 313.
[2] Там же, стр. 305, № 64.
[3] Там же, стр. 41, № 79.

коли так над ними чинится?»—писал московский великий князь крымскому хану[1].

В трудные условия попадали русские купцы в Азове и Кафе, находившихся под турецкой властью. В 1492 г. Иван III в грамоте Менгли-Гирею жаловался: «...Ни в которой земле такая сила не чинится над нашими гостми, как в салтанове земле». Великий князь указывал, что в текущем году он не пустил купцов в Азов и Кафу: «...где над нашими гостми сила чинится, и мы там своих гостей не отпускали...»[2]

В 1496 г. русское правительство представило через посла М. А. Плещеева кафинскому и турецкому султанам перечень притеснений, причиненных русским гостям («а се список, которая сила чинится над государя нашего гостьми в турецких землях»). Гостей заставляли выполнять работы по укреплению Азова («в Азове велят им рвы копати, и камень на город носити, и иные дела делати всякие»). В Азове, Кафе и других городах русским купцам выплачивали лишь половинную цену за их товары. В случае болезни кого-либо из купцов, опечатывался товар всех участников того «котла» (купеческого объединения), которому он принадлежал. Если больной умирал, то этот товар выдавался за принадлежащее ему имущество и конфисковывался; если же выздоравливал, то ему и его «товарищам» возвращалась лишь половина «товара». Больному купцу не давали возможности передать свой «товар» находящимся при нем родственникам или переправить его с кем-нибудь из «товарищей» в Русь. Гость Степан Васильев отдал «в долг свою рухлядь» вязьмитину Артему, отправившемуся в Константинополь. В Константинополе Артем умер, его имущество было переписано, опечатано, а Степан Васильев лишился своего «товара». Приводится случай незаконного похолопления кафинцем русского гостя Г. И. Алексеева, который должен был «откупаться» от холопства по суду, был посажен в тюрьму, понес большие убытки[3].

Речь, по-видимому, должна идти не об отдельных злоупотреблениях турецких властей, а об известной системе мероприятий, проводимых с молчаливого согласия турецкого султана. Будучи заинтересованы в развитии торговых связей с Русью, турецкие власти старались в то же время поставить в полную от себя зависимость русско-крымскую торговлю, придавив русское купечество. Требовалось вмешательство сильного русского правительства, которое, взяв под свою защиту интересы московских, новгородских, тверских, рязанских купцов, торговавших с Крымом, добилось бы того, чтобы с ними считались и крымские и турецкие властители. Такая задача была под силу лишь правительству объединенного централизованного государства, которое возникло на Руси к концу XV в.

[1] Сб. РИО, т. XLI, стр. 388—389, № 79.
[2] Там же, стр. 162, № 36.
[3] Там же, стр. 235—236, № 50.

В советской историографии уже в достаточной мере раскрыт на конкретном историческом материале тезис И. В. Сталина о внешнеполитическом факторе (необходимости борьбы с татаро-монгольскими, турецкими захватчиками) как моменте, ускорившем процесс государственной централизации на Руси. Только, мне представляется, этот фактор часто рассматривается советскими историками слишком односторонне, в плане лишь военного отпора русского народа иноземной агрессии. А дело ведь заключалось и в столкновении экономических интересов Руси, Золотой орды, Крыма, Турции. И победителем из этого столкновения могла выйти страна экономически более сильная, во-первых, и достигшая более высоких и гибких форм политической централизации, во-вторых.

§ 11. Торговля Руси с Литвой и городами Прибалтики

Жители Северо-Восточной Руси издавна торговали с Литвой и с русскими городами, вошедшими в состав Великого княжества Литовского. Сведения об этой торговле сохранились в договорах московских и тверских князей с князьями литовскими XIV—XV вв. В перемирной грамоте послов великого князя литовского Ольгерда Гедиминовича с великим князем московским Дмитрием Ивановичем 1371 г. провозглашается право беспрепятственного проезда («путь чист») из Литвы на Русь и обратно для «торговцев» литовских, смоленских, московских[1]. В договорной грамоте 1427 г. великого тверского князя Бориса Александровича и великого литовского князя Витовта Кейстутовича также говорится о свободе торговли для тверских купцов в Литве, для литовских—в Твери. «А людем нашим... гостити межи нас путь чист, без рубежа и без пакости». Устанавливается, что пошлины в Литве «со тферьских людей» должны взиматься в Смоленске, Витебске, Киеве, Дорогобуже, Вязьме «и по всему его великому княженью, по давному, а нового не примышляти». В Тверском княжестве пунктами сбора пошлин с литовских людей являются Тверь, Кашин, Старица, Зубцов и др. («и по всему моему великому княжению»)[2]. Докончание Василия II с королем польским и великим князем литовским Казимиром (1449) содержит следующий пункт о торговле: «А гостем нашим гостити без рубежа и без пакости»[3]. То же условие находим в договоре 1449 г. с Казимиром тверского великого князя Бориса Александровича[4].

Большое внимание вопросам торговли уделено в договорах между Великим Новгородом и литовскими князьями Свидригайлом Ольгердовичем 1431 г. и Казимиром Ягайловичем 1440 г.[5] В этих

---

[1] ДДГ, стр. 22, № 6.
[2] Там же, стр. 63, № 23.
[3] Там же, стр. 162, № 53.
[4] Там же, стр. 164, № 54.
[5] ГВНП, стр. 105—106, № 63; стр. 115—116, № 70.

документах говорится, что жители Литовского княжества и вошедших в его состав земель (Витебска, Полоцка, Смоленска и др.) могут беспрепятственно приезжать для торговли в Новгород: «А што моих [литовского князя] людеи, или литвин, или витблянин, или полочанин, или смолнянин, или с-ыных с нашых рускых земль, тым путь чист изо всеи моеи отцины, торговати им в Новегороде, бес пакости, по старине, а торговати с новгородци». Купцы, прибывающие из Литвы «с великого князя товаром», получают право «торговати... с новгородчи в Немечком дворе». С другой стороны, оговаривается право новгородцев «торговати бес пакости по всеи Литовьскои земли». Новгородские купцы пользуются во время пребывания в Литве патронатом со стороны великого князя литовского; купцы литовские, торгующие в Новгородской земле, находятся под специальной охраной новгородского правительства. «А мне, великому князю Казимиру, королевичю, блюсти новгородча, как и своего литвина; такоже и новгородчемь блюсти литвина, как и своего новгородча»,—читаем в докончальной грамоте 1440 г. Литовское правительство берет на себя обязательство не задерживать на ведущих к Новгороду путях гостей, едущих туда или оттуда с торговыми целями: «...на Новоторском пути и на всих путех во всеи Новгородскои волости пути не переимати гостя никако же, хто поедеть в Новъгород или из Новагорода». Очевидно, в данном случае речь идет о торговле Новгорода с городами Северо-Восточной Руси, развитию которой не должны были мешать литовские князья. Даже захваченные во время войны на чужой территории купцы (новгородские—в пределах литовских владений, литовские—в Новгородской земле) подлежали освобождению, причем им должны были быть возвращены их товары: «А где новгородча в ратном имуть, пустити его с товаром бес пакости; или новгородчи литвина в ратном имуть, пустити его, а ему, право рек, товар свой взяти». Судебные дела новгородских гостей, возникшие в Литве, там и вершатся; купцы литовские и из русских земель Литовского княжества, а также жители Северо-Восточной Руси, торгующие в Новгородской земле, судятся в Новгороде. «А учинится пеня гостю новгородскому в Литве, тамо ему и кончати, по княжои правде и по крестному челованью; или учинится пеня в Новегороде полочанину, или витблянину, или литъвину, или русину с нашего великого княженья, концати в Новегороде, по княжои правде и по крестному челованью»[1].

Подвергая анализу изложенные статьи новгородско-литовских торговых соглашений, можно сделать, по-моему, три основных вывода. Во-первых, совершенно очевидно, что развитие торговых связей между русскими землями Великого княжества Литовского и Новгородом имело важное значение и для Литвы и для Руси. Во-вторых, в условиях агрессии против русского народа литовских феодалов, наталкивающейся на стремление Руси сохранить

[1] ГВНП, стр. 115—116, № 70.

свои исконные земли и вернуть те из них, которые захватила Литва, новгородско-литовские торговые связи часто прерывались, что неблагоприятно отражалось на экономике и Великого княжества Литовского, и Новгородской земли, и Северо-Восточной Руси. В-третьих, торговая политика новгородского и литовского правительств, выраженная в выше разобранных соглашениях между ними, характеризуется попыткой обеспечить поддержание торговых связей Литвы с Новгородом в условиях раздробленности Руси и в обстановке той борьбы за русские земли, которая шла между Литовским княжеством и формирующимся Русским централизованным государством.

Весьма лаконично говорит о литовско-новгородской торговле договорная грамота короля польского и великого князя литовского Казимира IV с Великим Новгородом 1470—1471 гг. Кроме общей формулы о том, что «послом и гостем на обе половины путь им чист, по Литовской земле и по Новгородцкои», в названном документе находим еще условие, согласно которому Казимир IV не имел права закрыть ганзейский купеческий двор в Новгороде, а торговля литовцев с западноевропейскими купцами должна была производиться через посредничество новгородцев. «А Немецкого двора тебе не затворяти, [ни приставов своих не приста]вливати; а гостю твоему торговати с немци нашею братьею»[1].

Торговыми отношениями с Великим княжеством Литовским и находившимися под его властью русскими землями была связана и Псковская земля. В 1440 г. великий князь литовский Казимир, заключив договор с Великим Новгородом (о чем уже речь шла выше), одновременно вступил в соглашение с Псковской республикой. Статьи о торговле, имеющиеся в этом последнем соглашении, почти целиком совпадают с условиями одновременного договора Казимира с Новгородом. В Псков, как и в Новгород, приезжают с торговыми целями не только литовцы и поляки, но и русские жители Смоленска, Витебска, Полоцка. Им предоставлялся «путь чыст» в Псковскую землю, так же как и псковские купцы могли беспрепятственно «торговати по всеи Литовскои земли по старыне без пакости, по старои пошлине, со всяким гостем». Как псковские купцы в Литве находились под патронатом великого литовского князя, так и приезжавшим в Псков купцам из Литовской земли было обещано покровительство псковского правительства. Псковских купцов судили в Литве по литовскому праву, литовских гостей—в Пскове по местному праву[2].

Мирные торговые отношения между Псковом и Литвой часто нарушались. В 1348—1349 гг. литовский князь Ольгерд Гедиминович и его сын Андрей отняли товары у псковских гостей, находившихся в это время в Полоцке и в ряде литовских городов, и, взяв на них окуп, «отпустили прочь»[3]. В 1403 г. князь Юрий Святосла-

[1] ГВНП, стр. 132, № 77.
[2] Там же, стр. 321—322, № 335.
[3] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 21; вып. 2, стр. 27, 99.

вич задержал псковских гостей и отобрал у них товар. Новгородские и псковские послы отправились в Смоленск и добились освобождения гостей («и выняша их»), но товар и кони не были им отданы и они вернулись домой пешими[1]. В 1480 г. псковское правительство жаловалось польскому королю Казимиру IV на то, что королевские воеводы и наместники чинят «обиды» псковским купцам, не дают им возможности «торговать с немцы и со всяким гостем...»[2].

С образованием в конце XV—начале XVI в. Русского централизованного государства, с падением независимости Тверского великого княжества и Новгородской республики создались более благоприятные условия для развития внешней торговли Руси. Последняя была заинтересована в расширении торговых связей с западными и юго-западными русскими землями, захваченными литовскими феодалами, точно так же как и населению этих территорий было важно развивать торговлю с Русью. В то же время Русское централизованное государство вело борьбу за включение в свой состав ряда русских земель, отторгнутых в свое время от Руси Литвой. С середины 80-х годов XV в. между Русским государством и Великим княжеством Литовским фактически началась война. К. В. Базилевич убедительно доказал, что русско-литовские пограничные военные столкновения 1487—1494 гг. не были случайными и представляли собой подготовку со стороны Руси к настоящему открытому развернутому военному выступлению против Литвы[3]. К сожалению, К. В. Базилевич, рассматривая русско-литовские отношения указанного времени, совершенно отрешается от торговли Литвы и западных и юго-западных русских земель, находившихся в составе Великого княжества Литовского, с Русским государством. Между тем торговые связи имели, как я уже говорил, большое значение и для Руси и для отпавших от нее в результате агрессии литовских феодалов русских земель, а условия, мешавшие росту этих связей, были важной предпосылкой русско-литовской войны.

В конце XV в. в Литовском великом княжестве были устроены новые таможенные заставы, увеличены размеры проезжих и торговых пошлин, взимавшихся с русских купцов. Кроме того, последние подвергались в Литве грабежу и притеснениям. Посылавшийся в 1488—1490 гг. Иваном III к польскому королю и великому князю литовскому Казимиру IV в качестве посла М. С. Еропкин должен был принести Казимиру от имени русского правительства жалобы на то, что «гостям Московские земли», «от мытников и от пошлинников много... силы чинится», а «мыты и пошлины» в Литовской земле «новые уставили» на русских «гостех, чего наперед того из старины не бывало». Московский посол должен был подать королю

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 27; вып. 2, стр. 110.
[2] ГВНП, стр. 325, № 339.
[3] *К. В. Базилевич*, Внешняя политика Русского централизованного государства, стр. 282—283 и след.

«списки украинные жалобные», из которых было бы видно, «что на великого князя гостех пошлин прибавили в Литовской земле, и что ся им сила чинила»[1].

Анализируя эти «жалобные списки» и наказы послу, можно убедиться прежде всего, что московские, коломенские, можайские, новгородские, тверские и другие купцы бывали в ряде украинских, белорусских, русских городов Великого княжества Литовского (в Киеве, Чернигове, Новгороде-Северском, Смоленске, Дорогобуже, Вязьме, Полоцке, Минске, Брянске и др.), а также в городах литовских и польских (Вильно, Люблине и др.)

Среди товаров, привозимых в пределы Великого княжества Литовского русскими купцами, документы называют пушнину—меха, добывавшиеся на севере и северо-востоке Руси в районе Устюга, в местностях на Оке и т. д. В 1490 г. мытник отобрал в Вильно у тверского купца Федора Офремова 13 тысяч «белки устюжской и шуванские», четыре «шубы белинны», 40 куниц, 40 норок, 15 горностаев—всего товара стоимостью в 150 с лишним рублей. Тогда же у тверского купца Ивана Перфурова было взято «семь сороков соболей», четыре тысячи белок устюжских, одиннадцать «соболей добрых», «три сороки куниц», 33 горностая, четыре десятка овчин и т. д.—всего товара на 140 рублей. В числе товара, захваченного у Ивана Воробьева, фигурируют «четыре тысячи белки да тысяча лисиц». У коломенских и можайских купцов Олтуха Павлова и других брянские таможники отняли в 1489 г. 200 бобров, 100 выдр, 4 сорока горностаев, 7 рысей, 40 лисиц, полторы тысячи белок и т. д. Кроме мехов, московские, тверские и другие купцы торговали в Литовской земле медом, воском, кожей, овчинами, предметами одежды (шубами, однорядками, кожухами) и вооружения (луками, стрелами, щитами) и т. д.[2]

Все эти предметы добывающей и обрабатывающей промышленности вывозились в Литовскую землю из различных районов Руси. Но через Литовское княжество производилась и транзитная торговля. Московские, тверские, новгородские и другие купцы торговали здесь товарами, привозившимися как с юга (из Крымской орды, из Кафы), так и из стран Западной Европы. Из Крыма купцы везли шелк и ткани (шелковые, шерстяные, бумажные), бакалейные и москательные товары (перец, ладан, краски, мыло, орех и пр.), жемчуг и драгоценные камни и т. д. Из стран Западной Европы поступало на русские и литовские рынки сукно. В 1489 г. на Днепровском перевозе в Литовской земле были ограблены московские, тверские и новгородские гости. В числе «поиманного» у них товара упомянуты ткани (изуфи, тафты, камки), шелк (цветной, черный) и т. д. У Ивана Агафонова тогда «взяли семьдесят брусов мыла халяпского» (т. е. привезенного из Алеппо); у Кузьмы Маремьянина—«три кальи краски» ценою в 90 рублей; у Семена

---

[1] Сб. РИО, т. XXXV, стр. 8—9, № 2.
[2] Там же, стр. 44—45, № 11; стр. 26, № 7.

Анфалова—«две кальи краски» и «два кантаря ладану» на 80 рублей и т. д.[1]

Общая стоимость товаров, привозимых в Литву русскими купцами, была часто довольно значительной. Так, в 1490 г. восемь тверских купцов отправились торговать в Полоцк и Вильно, но в Вильно таможник отобрал у них половину товара на сумму около тысячи рублей[2].

Условия торговли для русского купечества в Литве были весьма тяжелыми. Документы русско-литовских дипломатических отношений конца 80-х—начала 90-х годов XV в. рисуют колоритную картину грабительских действий королевской администрации—«пошлинников», «мытников», «таможников», наместников, приставов, нападавших на русских купцов, задерживавших их, захватывавших их товары. В 1488 г. брянский наместник «силу учинил над великого князя [Ивана III] гостьми, держал в Добрянску пять недель, а к Москве не отпустил»[3]. В 1489 г. толмачи отвели из Пропорска русских торговых людей в Вильно, «а товар у них побрали и кони их поимали...», «а держали их... скованых полтретья года...»[4] В том же году на Днепровском перевозе у Тавани люди пана Юрия Пацевича русских «гостей перебили и переграбили, и товар у них весь поимали, многих людей до смерти побили и перетопили»[5]. В 1490 г. пристав виленского наместника и другие приказные люди «пограбили» тверских «торговцев», «товар у них весь поимали, а их самих в колоды посажали..., да били и мучили...»[6]

Количество аналогичных примеров можно было бы намного увеличить. Жалобами подобного рода на беззаконные действия литовской администрации в отношении русских людей, приезжающих с торговыми целями в украинские, белорусские, литовские города, буквально пестрят наказы русским послам, отправляемым Иваном III в Литву и инструктируемым по поводу того, как вести себя на аудиенции у короля. Я думаю, вполне правомерны и обоснованы два вывода. Во-первых, нападения литовских приказных людей на русских купцов были одним из проявлений тех пограничных враждебных столкновений между Русским государством и Литвой, которые происходили во второй половине XV в. и в начале XVI в. Во-вторых, одним из важных мотивов, диктовавших борьбу Русского государства за возвращение в свой состав земель, оторгнутых от Руси литовскими феодалами, являлись мотивы экономические (торговые связи между этими землями и основной территорией Русского государства были достаточно крепкими).

В договоре 1494 г. между Иваном III и великим князем литовским Александром Казимировичем, завершившем русско-литов-

---

[1] Сб. РИО, т. XXXV, стр. 27, № 7.
[2] Там же, стр. 45, № 11.
[3] Там же, стр. 11, № 2.
[4] Там же, стр. 22, № 7.
[5] Там же.
[6] Там же, стр. 42—43, № 11.

скую войну, вопросам торговли между Русью и Литвой уделено достаточное место. В этом договоре обобщены условия более ранних русско-литовских торговых отношений. Особо говорится о торговле Литвы с Тверью, Новгородом, Псковом[1].

Дальнейшее развитие в XVI в. экономических связей между Русью и оторванными от нее и вошедшими в состав Литвы и Польши землями привело к подъему борьбы иаселения этих земель за их воссоединение в составе Русского государства.

* * *

Новгород вел торговлю с городами Прибалтики—Колыванью (Ревелем—Таллином), Ригой, Юрьевом (Дерптом—Тарту) и др., с рядом немецких городов (Любеком, Висби), входивших в состав Ганзейского союза. Эта торговля втягивала Новгородскую республику в политические взаимоотношения с Ганзой, Данией, Швецией, Норвегией, Ливонским орденом, юрьевским епископом. Здесь не место рассматривать во всех деталях историю новгородской (а также псковской) торговли с указанными европейскими странами и внешней политики новгородского правительства в отношении этих стран. Это—тема особого, специального исследования. Многое для изучения данной темы уже сделано, многое еще предстоит сделать. Перед нами же более общий вопрос—об экономических предпосылках образования Русского централизованного государства. Поэтому я и остановился лишь на некоторых моментах, имеющих непосредственное отношение к поставленной проблеме.

Рассматривая историю взаимоотношений Новгородской республики с Ганзой, Н. А. Казакова приходит к интересному выводу, что в первой половине XV в. со стороны Новгорода, так же как и со стороны других европейских государств, «начинается борьба против ганзейцев, обусловленная успехами экономического развития, ростом торговли и усилением национального купечества». Целью этой борьбы было обеспечение для новгородских купцов «чистого пути» к западным рынкам, установление «непосредственных сношений с Западной Европой» без тягостного посредничества ганзейцев. «Достигнуть же такую цель оказалось под силу лишь русскому народу, объединенному в рамках единого государства»[2].

Мне думается, что важное наблюдение о значении объективных потребностей дальнейшего развития торговли с Западом, как одной из экономических предпосылок образования Русского централизованного государства, можно углубить и расширить. Во многих договорах XIV—XV вв. Новгорода с государствами и политическими союзами Запада имеется статья о «чистом пути» для нов-

---

[1] Сб. РИО, т. XXXV, стр. 331—332, № 83.

[2] *Н. А. Казакова*, Из истории сношений Новгорода с Ганзой («Исторические записки», 1949, № 28, стр. 131).

городских купцов в другие страны и для «немецкого» купечества других стран в Новгород независимо от общественной, политической ситуации, международных осложнений, войн и т. д.

Так, согласно новгородско-шведскому договору 1323 г., «гости» «из всеи Немьцынои земле» (из Любека, Готского берега) могли «гостити бес пакости» (ездить для производства торговых операций) по Неве в Новгород, «горою» (через Ливонию) и «водою» (Ладожским озером и Волховом). Шведы не должны были «задерживать в Выборге немецких «гостей», отправляющихся в Новгород («а своям всем из Выборга города гости не переимати»). Новгородские «гости» в свою очередь оговорили для себя право на «чист путь за море»[1]. В договорной грамоте Новгородской республики и Норвегии 1326 г. читаем: «Также гости из Норвегии должны иметь проезд к Новгороду и Заволочью без всякого препятствия, и, наоборот, гости из Новгорода и Заволочья должны иметь проезд в Норвегию без всякого препятствия»[2]. В проекте договора Новгорода с Любеком, Готским берегом и заморским купечеством 1371 г. за стандартной статьей об обеспечении «гостю», «как немцу, так и новгородцу», «чистого пути» следует указание, что эта статья сохраняет силу и в случае войны Новгородской республики «с королем шведским, или с Ругодивом (Нарвой), или с Юрьевом, или с Орденом, или с архиепископом рижским, или с епископом островским...»[3] В договоре Новгорода с Ливонским орденом 1421 г. фигурирует условие о том, что как «новгородчкий гость» может рассчитывать на «путь чист», когда он начнет «гостити... по местереве земли и по местеровым городам» (т. е. торговать во владениях магистра), так и «немечкому гостю» гарантируется «путь чист» «по Новгородчкои отцыне»[4]. И в других договорных международных актах, в которых одной из сторон выступает новгородское правительство, мы встречаем аналогичные пункты.

Следует далее обратить внимание на то обстоятельство, что статья, декларирующая право «чистого пути» в сношениях между собой новгородских и немецких купцов, повторяется в актах, определяющих торговые отношения не только Новгорода, но и других русских земель с разными государствами как Северо-Запада, так и Юго-Востока (Литвой, Крымом). Очевидно, указанная статья приобретала характер требования, выдвигаемого купечеством всех русских земель. И это не случайно. Рассматриваемое требование объективно выражало запросы формирующейся русской народности, нуждавшейся для своего дальнейшего развития не только в достижении политической независимости от иноземных захватчиков, но и в создании условий, обеспечивающих ей рост торговых связей с другими государствами. Здесь я снова подхожу к вопросу,

---

[1] ГВНП, стр. 68, № 38.
[2] Там же, стр. 70, № 39.
[3] Там же, стр. 75, № 42.
[4] Там же, стр. 99, № 60.

уже ранее в данной монографии поднимавшемуся. Необходимость для Руси борьбы с иноземной агрессией, как ускоряющий фактор образования централизованного государства, сказывалась не только в военно-политической области, но и в области экономической. Купечество основных русских земель выдвинуло подсказанную самой жизнью практическую задачу—добиваться «чистого пути» в торговле с теми странами, связей с которыми требовали его экономические интересы. А это объективно означало борьбу за национальную независимость в экономической сфере, хотя и в рамках феодализма, которые в то время еще не давали возможности преодолеть хозяйственную изолированность отдельных областей.

Одним из важных пунктов торговых соглашений Новгорода с другими странами является взаимное гарантирование безопасности купцам, пользующимся морскими путями. Дело в том, что частыми были случаи ограбления купцов во время их морских поездок. Международные договорные акты требуют в таких случаях принятия торгующими между собой государствами или городами мер к возврату товаров пострадавшим. В договоре Новгорода с немецким купечеством 1372 г. читаем: «...гостю безопасно приезжать, без пакости и без рубежа, и не терпеть притеснений из-за товара, который отняли на море, где бы это ни случилось»[1]. В грамоте Новгорода Любеку 1373 г. указано, что «побито на море» 12 человек новгородцев, плывших «в однои лодьи». Ограбленный товар разбойники привезли в Любек. «И ныне тако вам повествуемь, по хрестьному челованью,—говорится в грамоте от имени новгородского правительства,—отдаите тот товар погыблым людемь...»[2] В грамоте новгородского правительства в Колывань 1441 г. речь идет о новгородце Петре, у которого «взяле лодью на море и головы посекли». Специально присланные из Новгорода для расследования этого дела лица «наехали тую лодью в том месте, где разбили лодью, пустои, а люди побиты и на берегу похоронены». «И вы, наши суседы, тому управу даите, по хрестному челованью и по своим речем»[3],—требуют от колыванских правителей новгородские власти.

Внимание, проявляемое в международных актах к условиям пользования морскими путями в торговых целях, свидетельствует о том, что объективные потребности экономического развития Руси выдвигали перед страной задачу укрепления на побережьях Балтийского и Черного морей. Разрешение этой задачи растянулось на много столетий. Но образование Русского централизованного государства в конце XV в. было серьезным подступом к ней.

Наряду с поездками в «заморье» купцов, следует сказать, что русские люди совершали путешествия по морям в целях дипломатических, политических. Так, в 1439 г. русские церковные иерар-

---

[1] ГВНП, стр. 77, № 43.
[2] Там же, стр. 79, № 44.
[3] Там же, стр. 117, № 71.

хи, отправившись в Феррару и Флоренцию на церковный собор, проделали следующий маршрут: из Москвы в Тверь, из Твери, через Торжок,—до Волочка Словенского, затем рекою Мстою в лодьях до Новгорода, оттуда, через Псков,—в Юрьев, Ригу, по Западной Двине и Балтийскому морю — в Любек, наконец, через Брауншвейг, Гамбург, Нюрнберг, Аугсбург, Инсбрук,—в Италию. Обратно из Италии русское посольство отправилось из Венеции по Адриатическому морю, далее, через Загреб, Краков, Литву[1].

Если сильная централизованная власть могла в большей мере обеспечить русскому купечеству «чистый путь» в «заморье», чем правители отдельных русских земель периода политической раздробленности, то та же сильная власть была нужна купечеству и для защиты его экономических интересов и политических прав в других странах. В договорах Новгорода с разными государствами и городами Запада XIV—XV вв. постоянно встречаются требования о возврате новгородским купцам задержанного товара: «тот товар, что был задержан у новгородских купцов в немецких городах, немцы должны вернуть новгородским купцам и дать свободно вывезти»; новгородские купцы «жаловались, что у них взято много товара и что Орден его взял в своей собственной земле»; «а что будет новгородского товара поиман, где бь не был, ...а то доведаетче местерь [ливонский магистр] или его кумендери новгородчкого товара в своеи земли, а то ему отдати, по хрестному челованью»[2].

В договорных актах имеются условия о том, чтобы иноземные власти брали на себя защиту новгородских купцов от возможных насилий: «... А князю магистру [Ливонского ордена] и его комтурам, честным людям, в своих землях и в своих городах блюсти новгородца, как своего немца, с обеих половин без хитрости по крестному целованию», «и немцам не чинить никакого насилия над новгородцами и не сажать их в поруб и в погреб без суда, с обеих сторон, по крестному целованию, без хитрости»[3].

Наконец, всячески подчеркивается, с одной стороны, что суд в Новгородской земле над немецким купцом должен производиться на основе «новгородской пошлины» (местных правовых норм), с другой стороны, что новгородец, судимый в ливонских и других городах за пределами Руси, должен пользоваться теми же правовыми гарантиями, что и немецкий купец.

Весьма интересно, что все перечисленные (а также и многие другие) требования новгородского купечества, предъявляемые Ганзе, Ливонскому ордену, Юрьевскому епископату и т. д., близки к требованиям, фигурирующим в дипломатической переписке московского правительства с Литвой, Крымом и т. д. Такое

---

[1] *И. Сахаров*, Сказания русского народа, т. II, кн. 8, СПб., 1849, стр. 81—88.

[2] ГВНП, стр. 87, № 49; стр. 90, № 52; стр. 100, № 60.

[3] Там же, стр. 122, № 73; стр. 129, № 76.

совпадение можно объяснить как известной общностью интересов купечества разных русских городов, так и близостью тех правовых норм, которыми эти интересы охранялись. А тем самым еще раз отчетливо выступает роль города в процессе формирования русского централизованного государства.

§ 12. Горожане как особый разряд феодального общества. Гости. Суконники

В источниках XIV—XV вв. довольно часто употребляется термин «*горожане*»—«*гражане*»—«*град*», обозначающий население городов в противоположность сельским жителям—крестьянам. Так, когда в 1318 г. в Тверь привезли тело убитого в Орде князя Михаила Ярославича, «...изыде *весь град* в сретение ему», «бояре же и вси людие плачь велеи сътвориша»[1]. Следовательно, в понятие «*град*» летопись включает, с одной стороны, бояр, с другой—«людей», т. е., очевидно, основное торгово-ремесленное население Твери.

Более детально летопись перечисляет разряды городского населения под 1389 г. в рассказе о смерти великого московского князя Дмитрия Ивановича Донского: «И плакаша над ним князи, бояре, велможе, епископы, архимандриты, игумены, попове, дьякони, чернорисци, и *весь град* от мала и до велика»[2]. «*Весь град*»—это все жители города: светская и духовная феодальная знать, рядовое духовенство (черное и белое), посадские люди.

Интересно сопоставить приведенный летописный текст с рассказом летописца о погребении Ивана Калиты: «И плакашася над ним князи, и бояре, и велможи, и вси *мужи москвичи*, игумени, и попы, и диакони, и черньци, и *вси народи*, и *весь мир христианьскыи*, и *вся земля Русскаа*»[3]. В двух разбираемых местах летописи находим четыре понятия: «*весь град*» (в данном случае—Москва); «*вси народи*» (это, очевидно, люди всех сословий); «*весь мир христианьскыи*» (очевидно, все православное сельское население, поскольку о нем говорится после упоминания «мужей»—«москвичей»); «*вся земля Русскаа*» (весь русский народ как этническое целое). Таким образом, «град» выступает здесь как совокупность жителей города, принадлежащих к разным сословиям. Так же как и «мир христианьскый» (крестьянский, сельский), городской «мир» представляет собой органическую часть «Русской земли».

Понятие «*град*» хорошо раскрывается также в результате сопоставления летописного текста 1389 г., касающегося похорон Дмитрия Донского, со статьей 1354 г., в которой речь идет о погребении митрополита Феогноста: «и бысть на провожение его владыка воло-

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 40.
[2] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 360.
[3] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 52—53.

димерьскыи епископ Алексии, и епископ волыньскыи Афонасии, и вси игумени, и попове, и диакони, и черноризци, и *весь народ московьскыи*»[1]. «Весь народ московьский» в данном случае—то же, что «весь град» в тексте 1389 г. Это—различные по своей социальной принадлежности группы городских жителей.

Однако наряду с тем широким значением термина «град», «гражане», «горожане», которое только что было раскрыто, этот термин имеет и более узкое содержание. Иногда в источниках он употребляется в смысле посадского населения.

Проанализируем некоторые летописные известия конца XIV—начала XV в., относящиеся к истории Смоленска. Летопись рассказывает, что в 1386 г., во время осады Смоленска литовскими войсками, «*люди гражане* стояще зряху на заборолех градьских»[2]. В 1401 г. князь Юрий Святославич вошел в сношения «*с горожаны с смолняны*», которые, не желая больше терпеть гнета польских феодалов, захвативших над ними власть («... не могуще терпети насильства от иноверных, от ляхов»), впустили Юрия в город[3]. В 1404 г., когда Смоленск был осажден литовскими войсками князя Витовта Кейстутовича, «*гражане*», «не могуще терпети в граде в гладе пребывати, от изнеможения и всякия истомы град Смоленск предаша Витовту»[4].

Если в последних двух случаях трудно выяснить в достаточной мере отчетливо, какие разряды имеет в виду летописец под смоленскими «*гражанами*», то в первом известии, в котором слово «*гражане*» дается в сочетании со словом «*люди*», речь идет, конечно, о посадских людях.

Тот же вывод можно сделать на основе изучения некоторых летописных текстов, относящихся к восстанию в Москве в 1382 г. В это время власть взяли в свои руки «*граждане*», «*народи градстии*», «*гражаньстии людие*», одним из представителей которых был «*гражданин москвитин*» суконник Адам[5]. Конечно, это—наименования не бояр, не духовенства, а торговцев и ремесленников, «черных людей».

Приведем еще два примера, касающиеся населения Нижнего Новгорода. В 1378 г., во время татарского набега на город, нижегородские «*люди горожане* разбегошася в судех по Волзе», а татары «*останочных людей горожан* избиша»[6]. В 1395 г. нижегородские «*люди горожане* затворишася в граде» от снова напавших на них татарских отрядов[7]. В обоих случаях сочетание двух терминов—«*люди*» и «*горожане*»—указывает на то, что имеются в виду жители торгово-ремесленного нижегородского посада.

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 62.
[2] ПСРЛ, т. V, стр. 240.
[3] Там же, стр. 252.
[4] Там же, стр. 253.
[5] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 328—333.
[6] ПСРЛ, т. V, стр. 236.
[7] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 342.

Обобщая весь вышеприведенный материал, я думаю, можно сделать два вывода. Во-первых, в условиях еще слабого отделения города от деревни, в то время, когда город имел еще чисто феодальный облик, когда в ряде случаев под городом в первую очередь подразумевалась крепость—кремль, термин «*горожане*»—«*гражане*» часто означал совокупность городских жителей. Этот обобщающий термин часто еще не выделял из среды последних ту основную социальную группу, которая представляла собой *горожан* в подлинном смысле слова, т. е. население посада, как ремесленно-торгового центра. Но с развитием города, с ростом социального значения и политической активности горожан термин «*горожане*»—«*гражане*» в форме «*люди горожане*», «*гражаньстии люди*» приобретал более узкое, специфическое и в то же время более целеустремленное значение. Он начинал обозначать не вообще жителей города, а ту их часть, которая составляла основной элемент городского населения—именно посадских людей. Эта часть населения выделялась из среды крестьян не только тем, что она жила на территории города-посада, но и тем, что проживание на этой территории было связано с обладанием определенными правами, присущими городской корпорации. Многие термины бывают связаны по своему значению с социально-политическими явлениями, ими отражаемыми. И в этом отношении мне кажется не случайным, что термин «крестьянин» произошел от слова «христианин», указывающего на религию как признак народности, а термин «горожанин»—от слова «град»—крепость и в то же время экономический и политический центр. Русскому крестьянству и горожанам принадлежит большая роль в формировании великорусской народности (их трудом создавались для этого материальные предпосылки, их борьба с захватчиками помогла сохранению национальной независимости Руси). Горожане, кроме того, были одной из активных сил, содействующих политическому сплочению великорусской народности в едином государстве. Диалектика исторического процесса заключалась в том, что в крепостническом централизованном государстве горожане также оказались втянутыми в русло развивающегося крепостничества. Но это—одно из тех противоречий, которые свойственны истории русского города в период складывания на феодальном базисе единого государства.

Крепостнический характер общественных отношений на Руси и политики феодалов, направленной к объединению русских земель, проявился в том, что, хотя феодалы были вынуждены считаться с горожанами и опираться на них в своей борьбе, в то же время горожане занимали место в обществе вне феодальной иерархии, представляющей собой систему организации сил господствующего класса. Лишь представители городской верхушки получали доступ в ряды феодалов. Поэтому в источниках при перечислении различных социальных групп «люди» (посадские, «черные» люди) упоминаются после бояр и княжеских слуг. В 1329 г. тверской князь Константин Михайлович вышел из Орды «в свою отчину

в Тферь», «*а бояре и слугы* во Тфери и *люди*, избывшии от безбожных татар, оутвердишася о нем», т. е. согласились его принять[1]. Иногда термин «*люди*» мы встречаем в источниках с эпитетом «*земские*». «*Земские люди*» в противоположность феодалам—это, очевидно, посадские люди и крестьяне. Так, в договоре князя галицкого Дмитрия Юрьевича с Василием II читаем: «...или кого грабил твоих *князеи, и бояр, и детеи боярьских и земьских людеи* во всеи твоеи отчине, в великом княженьи.., и мне то, господине, тобе, великому князю, отдати все, по докончанию и по крестному целованию»[2].

* * *

Из общей массы горожан памятники письменности XIV—XV вв. обычно выделяют купцов. Но отдельные разряды купечества в XIV—XV вв. еще недостаточно четко различаются в источниках. Такой вывод можно сделать в результате анализа летописной терминологии. Иногда летописи, касаясь городского населения, говорят о «*купцах*» и в широком смысле этого слова, противопоставляя их, с одной стороны, «боярам» и «вельможам», т. е. феодалам, с другой стороны—«людям», т. е. рядовой массе горожан—ремесленников. Так, под 1351 г. летопись рассказывает о восстановлении Мурома князем Юрием Ярославичем и отмечает, что в этом приняли участие «*бояре его*, и *вельможи*, и *купцы*, и вси *людие*» (по другому летописному тексту: «*черныя люди*»)[3]. «Купцы» различаются от «черных людей» в известии о построении в 1365 г. церкви в Торжке. Церковь была сооружена «замышлением богобоязнивых *купець* новогородьскых, а потягнутием *черных людии* и всех мужей...»[4]

Иногда летописи употребляют термин «*великие купцы*», имея в виду, очевидно, наиболее зажиточную и влиятельную часть купечества, близкую к феодалам. В 1462 г. были казнены ярославские дети боярские, которых великий князь Иван III велел «конми волочити по всему граду и по всем торгом». При казни присутствовало «множество же народа,.. *от боляр и от купець великих*, и от священников, и от *простых людей*...»[5]

Не совсем отчетливо выступает из летописей значение термина «гости». В ряде случаев это—иноземные купцы. Например, в 1362 г. псковичи «поимали» (арестовали) «*гостеи немецьскых юриевьскых заморьскых*...»[6] и только через год (в 1363 г.) отпустили их[7]. В 1363 г. были задержаны (а через некоторое время также отпущены)

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 45.
[2] ДДГ, стр. 91, № 35.
[3] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 60; т. XVIII, стр. 97; т. XXIV, стр. 120.
[4] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 80.
[5] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 157.
[6] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 73.
[7] Там же, стр. 75.

новгородские «гости» в Юрьеве[1]. В 1366 г., как сообщает летопись, «...бяше *гость новгородскыи* в Юрьеве и по иным городом Немецьскым...», а в Новгороде «приимали...бяху *гость немецьскыи*...»[2] В 1399 г. много иностранных гостей присутствовало при погребении великого князя Михаила Александровича в Твери («*гостие* же мнози от стран быша ту»)[3].

По-видимому, термин «*гость*» применялся не только к купцам, прибывавшим на Русь из Западной Европы, и к русским торговцам, ездившим в западноевропейские страны, но и к купцам, торговавшим с Золотой ордой. «*Гостями*» в летописях называются купцы, плававшие со своими товарами в судах по Волге. В 1366 г. новгородские ушкуйники «пограбили» «много *гостей*» на Волге[4].

Но «*гостями*» летописи именуют, кроме русских купцов, производивших торговлю с другими странами, или иноземцев, торговавших на Руси, также купцов, приезжавших для торговли из одного княжества в другое. Согласно летописному сообщению, в 1398 г. новгородцы «повоевали» Белоозеро и взяли 300 рублей окупа с «*низовских гостей*»[5].

В ряде летописных известий термин «*гости*» получает несколько иное значение. Это не просто иноземные или иногородние купцы, а представители верхушки русского купечества, обладающие значительным экономическим весом и пользующиеся особенным политическим влиянием. Летописи ставят «*гостей*» в один ряд с боярами. В 1436 г. князь Василий Юрьевич галицкий, взяв своими войсками Устюг Великий, «посекл и повешал» «многих устюжан, *бояр* и *гостей*»[6].

«*Гости*» в некоторых летописных известиях отличаются от обычных купцов. В 1373 г., во время восстания в Торжке и изгнания оттуда наместников тверского великого князя Михаила Александровича, было задержано и избито много «*гостеи* тверичь и *торговцев*» и захвачены их «лодии с товаром»[7].

Иногда летописи делают разницу не между «гостями» и другими категориями купцов, а между «*гостями*» и остальной массой горожан. Вследствие этого остается неясным, покрывает ли термин «*гости*» всех купцов или же только их часть. В 1433 г. великий князь Василий II, выступивший против своего соперника князя Юрия Дмитриевича галицкого, собрал «что было тогда около его людеи», да и «москвичеи, *гостеи* и прочих...»[8] Возможно, что летописец, выделяя в среде московских горожан группу «*гостей*», противопоставляет их как привилегированный слой «прочим» слоям

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 75.
[2] Там же, стр. 86.
[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 148.
[4] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 114.
[5] Там же, стр. 136.
[6] Там же, стр. 149.
[7] ПСРЛ, т. XXIV, стр. 128; т. XXIII, стр. 117.
[8] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 173.

городского населения (в том числе обычным купцам). В 1445 г. князья Дмитрий Шемяка и Иван Андреевич можайский устроили заговор против великого князя Василия II. Участниками этого заговора были представители «гостей московских»[1]. После того как заговорщики ослепили и отправили в заточенье Василия II, они «привели к целованью» на верность князьям Дмитрию Шемяке галицкому и Ивану Андреевичу можайскому «*боляр*, и *князеи*, и *детеи боярьских*, и *гостеи*, и *чернь*...»[2] В данном случае опять различаются «*гости*» и «*чернь*», т. е. привилегированные купцы и рядовая масса горожан. Были ли какие-либо категории купечества, стоявшие над «*чернью*», но отличные от «*гостей*»,—из только что рассмотренного текста неясно.

Более отчетливые сведения о составе городского населения дают летописные известия 70-х годов XV в. Когда Иван III в 1472 г. возвратился из новгородского похода в Москву, его, судя по летописи, встретили наряду с *князьями*, *боярами*, *детьми боярскими* также «*гости и купци*, *лучшие люди*»[3]. Из приведенного текста видно: 1) что во второй половине XV в. «*гости*» принадлежали к числу «*лучших людей*», т. е. к привилегированной части общества; 2) что, кроме «*гостей*», в привилегированном положении находились и некоторые другие представители купечества.

Не отличается устойчивостью употребление термина «*гость*» и в договорных междукняжеских грамотах. В ряде случаев этот термин выступает, как и в летописях, со значением иноземный купец, приезжающий в русские земли, и русский купец, выезжающий для торговли за границу. Таково словоупотребление, которое мы находим в договорах между Москвой и Литвой или между Тверью и Литвой («а людем нашим, *гостем*, гостити межи нас путь чист, без рубежа и без пакости»[4]). «*Гостями*» именуются в договорных княжеских грамотах и купцы, переезжающие с торговыми целями из одного княжества в другое, например из Московского в Тверское или из Тверского в Московское («а меж нас людем нашим и *гостем* путь чист без рубежа»[5]), из Московского в Суздальское и наоборот («а *гостем* нашим всего нашего великого княженья гостити и торговати в твоеи вотчине, в твоеи державе, доброволно, без зацепок и без пакости»[6]). В духовной Ивана III 1504 г. упоминаются «*гости*» «иноземцы.., и из Московские земли, и из... уделов»[7].

Но в некоторых грамотах слово «*гость*» применительно к иноземным или иногородним купцам заменяется словом «*торговец*»

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 152.
[2] Там же.
[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 235; т. XXIII, стр. 192.
[4] ДДГ, стр. 63, № 23; стр. 162, № 53; стр. 164, № 54; стр. 331, № 83.
[5] Там же, стр. 42, № 15; стр. 188, 191, № 59; стр. 204, 206, № 63; стр. 298, 300, № 79.
[6] Там же, стр. 157, 159, № 52.
[7] Там же, стр. 361, № 89.

(«а межи нас послом литовским, и нашим, и смоленьским, и *торговцем* путь чист»), а иногда термины «*гость*» и «*торговец*» фигурируют рядом, обозначая, по-видимому, разные категории купечества («а *гостем* и *торговцем*... дати ти путь чист без рубежа...»)[1].

Нечеткость терминологии всегда отражает нечеткость самих понятий. Очевидно, на протяжении XIV—XV вв. лишь происходил процесс выделения «гостей» в особую (экономически и политически) группу купечества. Но процесс этот, безусловно, шел. «Гости» выделялись своим богатством, своим политическим весом из рядовой массы горожан. По-видимому, значительная часть «гостей» вела торговлю с Югом («гости-сурожане»)[2]. При этом, однако, надо сказать, что последний термин употребляют только летописи. Официальные документы знают лишь «гостей» (не уточняя их специализации).

Рядом с «*гостями*», но несколько ниже их, документы ставят «*суконников*». Так, в договоре Василия II с князем галицким Василием Юрьевичем 1439 г. «гости» и «суконники» выделяются как особые разряды горожан: «а которые *гости и суконники* вскоромолили на меня, на великого князя...[3]» Летописи также отличают «*суконников*» от простых купцов («сурожане, суконницы и купцы...»)[4]

Особый интерес для понимания положения «гостей» и «суконников» представляет статья, имеющаяся в договорной грамоте 1389 г. Дмитрия Донского и князя серпуховского и боровского Владимира Андреевича: «А гости, и суконьников, и городьских людии блюсти ны с одиного, а в службу их не приимати». Статья эта повторяется в договоре Ивана III с удельным князем Андреем Васильевичем угличским 1472 г.: «А гостеи и суконников и городцких людеи блюсти нам с одного, а в службу их не примати»[5].

Приведенное условие по-разному толковалось исследователями. В буржуазной литературе были высказаны два различных его понимания. С. М. Соловьев считал, что речь здесь идет об обязательстве князей не принимать крупных купцов и других горожан в число своих дружинников[6]. По мнению А. П. Пригары и М. А. Дьяконова, рассматриваемые договоры под службой имели в виду повинности гостей и прочих горожан по финансовым делам (их участие в сборе таможенных пошлин и т. д.)[7].

Из советских историков точку зрения С. М. Соловьева развил В. Е. Сыроечковский[8]. М. Н. Тихомиров понимает под термином

---

[1] ДДГ, стр. 22, № 6; стр. 27—28, № 9.

[2] *В. Е. Сыроечковский*, Гости-сурожане, стр. 37.

[3] ДДГ, стр. 102, 104, № 36.

[4] ПСРЛ, т. XI, стр. 54.

[5] ДДГ, стр. 32, № 11; стр. 216, № 66.

[6] *С. М. Соловьев*, История России с древнейших времен, кн. II, стр. 1202.

[7] *А. П. Пригара*, Опыт истории состояния городовых обывателей при Петре Великом («Журнал Министерства народного просвещения», 1867, IX, стр. 694); *М. А. Дьяконов*, Очерки общественного и государственного строя древней Руси, изд. 4, 1926, стр. 236—237.

[8] *В. Е. Сыроечковский*, Гости-сурожане, стр. 30—35.

«служба» вассальную зависимость. «Как всякий свободный человек,—пишет М. Н. Тихомиров,—горожанин мог «приказаться в службу» к одному из князей-совладельцев Москвы со всеми вытекающими отсюда последствиями. В понятие же «службы» входили различные обязанности «слуги» вассала, в том числе обязанность выступать с господином в поход против неприятелей. Поступая в «службу» к кому-либо из князей—совладельцев, городской человек нарушал права остальных, так как он переходил под власть дворского того или иного князя и тем самым нарушал корпоративные привилегии сурожан и суконников»[1]. Таким образом, М. Н. Тихомиров считает, что обязательство князей не принимать к себе на службу «гостей», «суконников» и других горожан свидетельствует об охране князьми прав городских корпораций. А. М. Сахаров в целом разделяет взгляд на разбираемое условие князей о «гостях», «суконниках» и простых горожанах, высказанный С. М. Соловьевым и В. Е. Сыроечковским. Полемизируя с М. Н. Тихомировым, А. М. Сахаров указывает, что рассматриваемая статья грамоты 1389 г. не может быть бесспорным доказательством наличия корпоративных привилегий купцов. Автор считает, что «перед нами очевидно не правило, а исключение, вызванное какими-то особыми обстоятельствами». По мнению автора, тенденция «гостей к отказу от торговли и переходу в разряд феодальных слуг» указывает «на незрелость социального развития купечества того времени»; оно «далеко еще не оформилось в особое сословие и легко переходило как в ряды феодальной аристократии, о чем говорилось выше, так и в ряды феодальных слуг»[2].

Я остановился так подробно на полемике по поводу смысла статьи договорных грамот о «блюдении» «гостей», «суконников», рядовых горожан, ведшейся в буржуазной и советской литературе, потому, что от понимания этого смысла в значительной мере зависит наше представление о правах горожан XIV—XV вв. Попробуем разобраться в разногласиях между исследователями.

Прежде всего надо сразу устранить одно недоразумение, которое имеется в утверждении В. Е. Сыроечковского: пункт о неприеме князьями на свою службу «гостей», «суконников» и прочих горожан встречается якобы лишь в договоре Дмитрия Донского с Владимиром Андреевичем 1389 г. Выше я уже привел другое докончание (Ивана III с князем угличским Андреем Васильевичем 1472 г.), в котором такая статья повторяется почти дословно. Но, кроме того, данную статью следует сопоставить со следующим пунктом докончания Дмитрия Ивановича с Владимиром Андреевичем 1390 г., повторяющимся и в некоторых позднейших докончальных грамотах: «А закладнии ны в городе не держати. А с дворомь человека в городе не купити. А блюсти ны их с одиного»[3].

[1] *М. Н. Тихомиров*, Древняя Москва, стр. 115—117; *его же*, Средневековая Москва в XIV—XV веках, стр. 156—161.

[2] *А. М. Сахаров*, Города Северо-Восточной Руси XIV—XV в., стр. 166.

[3] ДДГ, стр. 39, № 13; стр. 71, № 27; стр. 101, № 36.

Кого должны «блюсти» князья «с одиного»? Конечно, горожан, а в числе их и «гостей» и «суконников». Следовательно, обязательства соблюдать права городского населения брались князьями не в исключительных только случаях, а отражали общую линию взаимоотношения между московской великокняжеской властью и городами.

Мне представляется далее вполне правомерным сравнить пункт докончальных грамот 1389 и 1472 гг., относящийся к «гостям», «суконникам», вообще горожанам («а в службу их не приимати»), со статьей докончаний 1390 г. и последующих лет («а закладнии ны в городе не держати; а с дворомь человека в городе не купити»). Думаю, что в обоих случаях речь идет по существу об одном: о борьбе с закладничеством; о том, чтобы помешать переходу посадских людей под патронат феодалов и выходу их из состава посадского «мира». Если наиболее влиятельных представителей купечества такой выход ставил в ряды слуг, зависимых от князей и занимающих иногда весьма видное положение в системе феодальной иерархии, то рядового посадского человека, терявшего свой двор, часто ожидала участь попасть в феодальную зависимость.

Чьи же интересы отражали разобранные пункты междукняжеских отношений? Я думаю, прежде всего, конечно, посадского мира как целого, заинтересованного в защите дворов, торгов, промыслов, личной независимости каждого из горожан в отдельности и всех их вместе от наступления со стороны феодалов. Отдельные посадские люди могли искать улучшения своего положения путем «закладничества» за феодалов, особенно за князей. Но посад, как определенная корпорация горожан, отличная и от феодалов и от сельского крестьянского населения, был заинтересован в том, чтобы отдельные его члены не выходили из его рядов. Думаю, что посадские люди активно добивались от князей определенных правовых гарантий—«блюдения» интересов горожан как коллектива, принятия мер против внедрения в пределы посада феодального землевладения и попыток земельных собственников разными путями обратить посадских людей в зависимость от себя. Не случайно разбираемые условия не заводить в городе закладников, не принимать в службу «гостей», «суконников», рядовых горожан были взяты на себя князьями вскоре после крупного антифеодального восстания в Москве 1382 г. Поэтому, мне думается, нет основания при рассмотрении статьи договора 1389 г. и других докончаний о «блюдении» князьями «гостей», «суконников» и других горожан отводить ее как один из аргументов, свидетельствующих о борьбе в XIV в. посада за свои права—борьбе, приводившей к определенным результатам.

Только не следует, по-моему, видеть в изучаемом пункте договора 1389 г. и других аналогичных грамот, как это делает М. Н. Тихомиров, привилегию, касающуюся специально «гостей-сурожан» и «суконников». Ведь грамоты говорят не только об этих верхних слоях купечества, а вообще о горожанах.

Теперь несколько слов о «гостях» и «суконниках». Выделяясь экономически из среды остальных посадских людей, они стремились приобрести и политический вес и авторитет. Делать это они могли разными путями. С одной стороны, переход в разряд феодальной знати или княжеских слуг давал им возможность через князей добиваться укрепления своего влияния на рядовую массу посадских людей. С другой стороны, сохраняя и укрепляя свою связь с посадом, «гости» и «суконники» при посредстве других горожан, и не становясь княжескими слугами, могли оказывать влияние на политику князей. Известная незрелость в социальном отношении русского купечества XIV—XV вв. (что правильно отметил А. М. Сахаров) определяла и колебания его политической линии. Следовательно, появление в договоре 1389 г. и других специальной статьи о «блюдении» князьями «гостей» и «суконников» может быть понято лишь при учете всей сложности взаимоотношений, складывавшихся между посадом в целом и князьями, между князьями и верхними слоями городского купечества, между отдельными разрядами городского населения. Во всяком случае для меня несомненно, что эта статья была внесена князьями в договорные грамоты в результате требований всего посада, а не только его наиболее видных (экономически и политически) представителей.

И, наконец, при рассмотрении соответствующего пункта договора 1389 г. и других аналогичных документов, касающихся горожан, надо иметь в виду еще одну сторону дела: борьбу князей за власть в Москве. Видно, что в этой борьбе князья применяли и такие средства для укрепления своих позиций в городе, как прием отдельных посадских людей в закладчики. Но в то же время московская великокняжеская власть в своей политике учитывает большую активную роль горожан и стремится заручиться их поддержкой, со своей стороны идя навстречу требованиям посадского мира, защищающего интересы всего коллектива горожан.

Подвергая анализу текст междукняжеских соглашений о «блюдении» «гостей», «суконников», прочих горожан, следует остановиться еще на одном вопросе: на участии посадских людей в военном деле и на привилегиях, которыми они пользовались в этом отношении. Данного вопроса касался В. Е. Сыроечковский. Он привел большое количество примеров, свидетельствующих о том, что в состав военных сил московских князей входили горожане, а затем сделал вывод, что статья договора 1389 г.—«не приимати» «в службу» «гостей», «суконников», горожан—говорит лишь о практике XIV в., впоследствии исчезнувшей[1]. Однако статью эту следует понимать несколько иначе, чем В. Е. Сыроечковский. Речь в ней идет вовсе не об освобождении горожан от военной повинности, а о том, что ополчение московских посадских людей должно составлять особый полк, возглавляемый особыми воеводами. Посадские силы не должны распыляться по княжеским полкам.

[1] *В. Е. Сыроечковский*, Гости-сурожане, стр. 32

Действительно, такова логика договора 1389 г. Сначала в нем говорится о том, что бояре и слуги князя Владимира Андреевича, проживающие в своих имениях на территории, подвластной великому князю Дмитрию Донскому, должны выступать в походы под предводительством великокняжеского воеводы; великокняжеские бояре и слуги, владеющие землями в уделе князя Владимира Андреевича, участвуют в походах в составе войск, которыми командует воевода последнего; князь Владимир Андреевич обязан подчиняться распоряжениям Дмитрия Ивановича, отправляясь по его требованию на войну вместе с его боярами. Далее в договорной грамоте 1389 г. помещены два следующих пункта: 1) «А московская рать, хто ходил с воеводами, те и нонеча с воеводами, а нам их не приимати»; 2) «а гости, и суконьников, и городских людии блюсти ны с одиного, а в службу их не приимати»[1]. Совершенно очевидно, что «московская рать»—это военное ополчение московских горожан, состоящее из «гостей», «суконников», других городских людей, что эта рать имеет своих воевод, и князья должны сохранить ее как самостоятельную военную единицу, не смешивая ее участников со своими слугами. Осуществляется лишь великокняжеское командование городовым ополчением.

О «московской рати» сохранились сведения и в более поздних докончаниях московских великих князей с удельными XIV—XV вв.: «а московская рать ходить с моимь воеводою, как и переже сего»[2]; «а московьская рать ходит с моим воеводою, великого князя, как было переже сего»[3]. Из этих текстов междукняжеских соглашений явствует, что горожане обладали определенной привилегией и в военном отношении.

В заключение несколько затянувшегося анализа условий княжеских договоров об охране некоторых привилегий московских горожан надо сказать, что общая историческая тенденция процесса образования Русского централизованного государства, как *государства крепостнического*, не могла не сказаться и на истории городов. Великокняжеская власть в своей политике централизации должна была считаться и считалась с интересами горожан, признавая за ними определенные права и закрепляя их в своих грамотах. Но с образованием централизованного государства крепостническая политика правительства затронула и города. В этом отношении интересно сопоставить договор Дмитрия Донского и Владимира Андреевича 1389 г. с одним документом начала XVI в. В 1502 г. Иван III велел передать великой рязанской княгине Агриппине, чтобы она позаботилась о найме десяти казаков для проводов по Дону члена посольства, приезжавшего в Москву от кафинского султана,—Алакози. При этом московский великий князь запретил посылать из Рязани на Дон служилых и торговых

[1] ДДГ, стр. 32, № 11.

[2] Там же, стр. 39, № 13; стр. 71, № 27.

[3] Там же, стр. 131, 134, 137, 140, № 45; стр. 171, 174, № 56; стр. 182, 185, № 58.

людей. Первые должны исполнять военную службу, вторые—оставаться в городе. «И ты бы,—говорится в наказе, составленном от имени Ивана III,—у Олакозя десяти человеком ослободила нанятись казаком, а не лутчим людем, а лутчих бы еси людей, и середних, и черных торговых на Дон не отпущала ни одного человека, того деля: занеж твоим людем служилым, бояром и детем боярским, и селским людем служилым, быти им всем на моей службе. А тем торговым людем, лутчим и середним и черным, быти им у тобя в городе». Далее в цитируемом документе речь идет о наказании ослушников великокняжеского указа. «А заказала бы еси своим людем лутчим и середним и молодым накрепко, чтобы ныне на Дон не ходили; а ослушается, а пойдет кто без твоего ведома, и ты бы тех людей велела ворочати да их бы еси велела казнити. А уехал будет которой человек на Дон без твоего ведома после заповеди, и которого у человека остались на подворье жона и дети, и ты бы тех велела казнити; а не учнешь ты тех людей казнити, ино их мне велети казнити и продавати»[1].

Запрещение служилым и посадским людям уходить на Дон вызвано тем, что дело происходило во время войны Русского государства с Великим княжеством Литовским. Надо было крепить оборону. И в то же время видно, что и общая линия московского правительства (независимо от международной обстановки данного конкретного момента) уже иная, чем в конце XIV в. Если в договоре Дмитрия Донского с Владимиром Андреевичем 1389 г. князья договариваются о *сохранении привилегий* московских горожан в области выполнения военной службы, то в наказе 1502 г. речь идет о *выполнении* рязанскими горожанами их *повинности* по городовой обороне.

§ 13. Политическая идеология горожан

Вопрос о политической идеологии горожан XIV—XV вв. очень сложен. Я не буду затрагивать всех сторон данного вопроса. Я коснусь лишь двух моментов этой большой проблемы, именно—отражения в политической идеологии горожан: 1) процесса формирования централизованного государства; 2) процесса складывания русской народности.

Первый момент, как мне представляется, лучше всего может быть раскрыт на материале, характеризующем восприятие горожанами (и прежде всего купечеством) русской действительности через призму того, что они видели в других странах.

Политическое объединение русских земель в XIV—XV вв. и образование Русского централизованного государства сопровождались расширением международных, внешнеполитических и культурных связей Руси. Показателем этого являются, в частности, путешествия русских людей за границу и их записки о своих

[1] Сб. РИО, т. XLI, стр. 413, № 81.

странствованиях. Подобные записки служат источником для изучения разных вопросов, но одна их сторона привлекает особенное внимание. Это—отношение русских людей к различным явлениям, с которыми они сталкивались на чужбине и которые они оценивали с точки зрения своего интереса к аналогичным или сходным явлениям, имевшим место на их родине. Вовсе не обязательно, чтобы русский путешественник прямо сопоставлял (или противопоставлял) факты и события социально-экономической и политической истории Руси, современником и непосредственным участником которых он являлся, с тем, с чем ему приходилось сталкиваться за границей. Но и самый выбор фактов для записи на страницах «Хожений» и «Странников», и характер их освещения часто указывают, что путешественники невольно фиксировали внимание на тех сторонах жизни иноземцев, из которых они могли что-то почерпнуть для себя. Поэтому так важно приглядеться к описаниям путешествий на Восток и Запад с двух точек зрения: 1) что считают нужным отмечать авторы и 2) как они освещают привлекаемый материал. Многое из того, о чем пишут лица, побывавшие за пределами Руси, рассказывая об экономике, социальных отношениях, внутренней и внешней политике государств, которые они посетили, имеет то или иное, прямое или косвенное, отношение к явлениям, связанным с процессом складывания единого государства на Руси. Отталкиваясь от русской действительности, авторы «Хожений» и «Странников» с точки зрения этой действительности воспринимают и то, что происходило в других странах.

Наиболее интересны записки о путешествиях, авторами которых являются горожане. Новгородский житель (по предположению М. Н. Сперанского, принадлежавший к числу зажиточных торговых людей) Стефан отправился с восемью спутниками в Константинополь «поклонитися святым местом...» Путешествие Стефана относится, по-видимому, к 1348—1349 гг.[1]

Что привлекало в первую очередь внимание этого путешественника, попавшего в чужую страну? Будучи человеком религиозным, он прежде всего интересовался теми «святынями», которые в изобилии были сосредоточены в Константинополе, он усердно посещал многочисленные церкви и места, связанные с какими-либо достопримечательными событиями церковной истории. Он охотно и подробно записывал все легенды и предания религиозного происхождения. Но кругозор русского путешественника был много шире, не ограничиваясь интересами церковно-религиозного характера.

Прибыв из такого крупного ремесленно-торгового центра, каким был Новгород, Стефан живо воспринимал все, относящееся к городскому строительству, живописи, архитектуре[2].

---

[1] *М. Н. Сперанский*, Из старинной новгородской литературы XIV века, М.—Л., 1934, стр. 40, 45, 50; *И. Сахаров*, указ. соч., стр. 49, 51, 54.

[2] *М. Н. Сперанский*, указ. соч., стр. 51, 56; *И. Сахаров*, указ. соч., стр. 51, 53.

Весьма вероятно, что Стефан не прошел мимо достижений каменного строительства, мозаики и иконописи за границей потому, что эти отрасли ремесла и художественной деятельности быстро развивались в XIV в. и на Руси и заграничный опыт мог быть полезен русским мастерам.

Внимание Стефана, как обитателя портового города, привлекает гавань Константинополя с решетчатыми металлическими воротами («ту сут врата городная железна, решедчата, велика велми; теми бо враты море введено внутрь города»). В этой гавани он имел возможность наблюдать военный флот, состоявший из больших 200-весельных и 300-весельных кораблей, стоявших на якоре во время бури: «В тех судех по морю рать ходить; а оже будет ветр, а ини бежат и гонят, а корабль стоит—погодия ждеть»[1].

Из описания путешествия Стефана совершенно очевидно, что он с большой любознательностью изучал все то, что связано с укреплением обороноспособности страны, усилением ее военной мощи. Он побывал в монастыре при церкви св. Дмитрия, находившемся у моря, недалеко от городской стены, и вспомнил и записал предание о том, как «приходил Хозрой царь перскы с ратью к Царюграду» и уже готов был взять город, но (якобы при помощи иконы богородицы) город был спасен: на море началось волнение, и вражеские корабли разбились о городскую стену; только сохранившиеся еще доселе кости неприятелей напоминают о их гибели [2].

Для того чтобы государство было сильно в военном отношении, необходимо укрепление его политического единства под сильной монархической централизованной властью; очевидно, этой мыслью проникнуты те описания памятников скульптуры, изображающих выдающихся византийских императоров прошлого, которые дает Стефан. К числу этих памятников относится колонна царя Константина: «...Ту же стоить столп правовернаго царя Констянтина от багряна камени, от Рима привезен, на въерх его крест...» Наряду с колонной Константина Стефан описывает триклиний Юстиниана (на месте существовавшего когда-то дворца Константина), окруженный стенами, превышающими по своим размерам городскую крепость: «Ту же двор нарицается Полата правовернаго царя Констянтина; стены его высоки велми, выше городных стен, велик, граду подобен...»[3]. В глазах Стефана эти грандиозные стены, возвышающиеся над городом, по-видимому, символизировали могущество и величие монархии Константина. С таким же пафосом говорит Стефан о статуе Юстиниана, поразившей его своими размерами и величественным видом: «ту стоить столп чюден вельми толстотою и высотою и красотою, издалеча смотря видети его, и наверх его седить Иустиниан Великы на коне, велми чюден, аки жив, в дос-

[1] *М. Н. Сперанский*, указ. соч., стр. 55; *И. Сахаров*, указ. соч., стр. 53.

[2] *М. Н. Сперанский*, указ. соч., стр. 55—56; *И. Сахаров*, указ. соч., стр. 53

[3] *М. Н. Сперанский*, указ. соч., стр. 53, 55; *И. Сахаров*, указ. соч., стр. 52—53.

песе сороцинском...» Стефан не случайно фиксирует свое внимание на всех эмблемах императорского достоинства, вошедших в композицию колосса Юстиниана. В его воображении эти эмблемы, по-видимому, воплощают политический смысл: сильная власть—гроза для всех, кто хочет посягнуть на целость государства,—для инициаторов феодальных смут, для внешних захватчиков («грозно видети его [Юстиниана], а в руце—яблоко злато велико, а вь яблоце крест, а правую руку от себя простре буино на полъдни, на Сороцыньскую землю, к Иерусалиму»)[1].

Если верна данная выше интерпретация замечаний Стефана о виденных им памятниках и правильно охарактеризовано его политическое мировоззрение, то можно сделать вывод, что среди новгородского купечества рассматриваемого времени были сторонники политического единства Руси.

В Новгороде, крупном экономическом центре, связанном с Западной Европой, была благоприятная почва для проявления религиозного вольнодумия. И, по-видимому, не случайно, увидев в константинопольском Софийском соборе одну икону, Стефан вспомнил сохраненный церковным преданием легендарный эпизод из истории иконоборческого движения: «поганыи иконоборец» поставил лестницу, желая «съдрати» с иконы венец, «святая Феодосиа» опрокинула лестницу и «разби поганина», «и ту святую заклаша рогом козьим»[2]. Сам Стефан, по-видимому, был сторонником ортодоксального православия, и с его стороны не видно сочувствия иконоборцам.

Для мировоззрения Стефана характерно представление о полезности установления связей между Русью и другими странами (прежде всего православными). Рассказывая о своей беседе с константинопольским патриархом Исидором, Стефан с удовлетворением отмечает, что он «велми любить Русь». Он специально подчеркивает тот факт, что из Студийского монастыря в Русь посылали «многы кныги». С интересом Стефан относился не только к православным иноземцам, но и к лицам, исповедовавшим другие веры[3].

Итак, на основании записок новгородца Стефана можно восстановить облик русского горожанина (по всей вероятности, зажиточного) XIV в. с его обширным кругом интересов: изучающего и вопросы развития в разных странах ремесла, промышленности, торговли, и организацию там военного дела; стремящегося к расширению культурного и политического взаимодействия Руси с другими государствами; на исторических примерах раскрывающего идею о необходимости укрепления военной мощи и политической силы государств; обладавшего в известной мере веротерпимостью.

---

[1] *М. Н. Сперанский*, указ. соч., стр. 51; *И. Сахаров*, указ. соч., стр. 51.
[2] Там же.
[3] *М. Н.Сперанский*, указ. соч., стр. 52, 55—56; *И. Сахаров*, указ. соч., стр. 51, 53.

Наряду с записками Стефана новгородца интересным памятником паломнической литературы является «Хождение» в Константинополь неизвестного автора. М. Н. Сперанский датирует его 20-ми годами XIV столетия и считает возможным приписать его новгородцу Григорию Калике, впоследствии ставшему (уже с именем Василия Калики) новгородским архиепископом[1]. Рассматриваемое «Хождение» М. Н. Сперанский сравнивает с «Хождением» Стефана новгородца, отмечая, что авторы обоих произведений были людьми, близкими по интересам и мировоззрению. Другими словами, оба названных памятника сохранили нам идеологию горожан, и это независимо от того, являлись ли их авторы людьми светскими или духовными. Провести грань «между отдельными общественными группами духовной и светской в Новгороде нелегко,—пишет М. Н. Сперанский,—занимающийся и общественными делами купец и промышленник, часто входящий в церковное братство своего прихода, и духовное лицо, ведущее торговые дела и играющее роль в политике внутренней и внешней,—типы очень близкие друг другу и в жизни»[2]. Если автором разбираемого анонимного «Хождения» был действительно Василий Калика, то для понимания его значения как памятника идеологии городского населения следует вспомнить, что его автор, возможно (по предположению Б. А. Рыбакова), являлся представителем кузьмодемьянского братства новгородских кузнецов[3].

Хотя в «Хождении», как и в записках Стефана, преимущественное внимание уделено местам и предметам, связанным с религиозными представлениями, бросается в глаза интерес автора к практическим вопросам городского благоустройства, промышленности, торговли. Он отмечает торг в местности Васильках, корабельную пристань под Васильками, перевоз в Галатах (предместье Константинополя). Подробно описана в «Хождении» разрушенная баня («мовница») с водопроводом, «аспидными» корытами и желобами. Приводя легенду, связанную со строительством Софийского собора, автор реалистически отзывается об организации труда мастеров-ремесленников[4]. Таким образом, пристальный взор русского горожанина проникает во все стороны торгово-ремесленной жизни Константинополя.

Одна из тем, привлекающих внимание автора «Хождения»,—тема о тех бедах, которые принесли Константинополю завоеватели. Так, говорится о разрушениях крестоносцами памятников искусства («...били фрязове, коли владели Царимградом, и... узорочеи много потеряли»). Приводятся чудеса, связанные с наступлением крестоносцев на столицу Византии («...икона плакала, коли фрязове хотели выняти...»). В качестве же эмблемы былой военной мощи города выступает в «Хождении» «столп» с изображением

[1] *М. Н. Сперанский*, указ. соч., стр. 106.
[2] Там же, стр. 124.
[3] *Б. А. Рыбаков*, Ремесло древней Руси, стр. 767—776.
[4] *М. Н. Сперанский*, указ. соч., стр. 136, 133, 128.

Юстиниана—грозы сарацин. Итак, проблема обороноспособности зримо или незримо, но постоянно направляет мысль автора.

Наконец, автор «Хождения» интересуется и вопросами внутриполитической жизни Константинополя, например организацией там суда. Не случайно описал он статуи «Правосудов» из «черленого мрамора». По преданию, если возникала тяжба о денежных суммах, то стоило тяжущимся вложить в руку «Правосудам» деньги, и те сразу определяли, кому они должны принадлежать. В то время, когда возникло рассматриваемое «Хождение», статуи «Правосудов» стояли разрушенные: «попортили их фрязове: один перебит надвое, другому рукы и ногы перебиты и носа сражено»[1].

Забота о правосудии, о «правде» постоянно проявляется в памятниках городской литературы. Соблюдение «правды» должно было обеспечить купечеству охрану его торговых интересов в обстановке феодальных усобиц и войн, должно было содействовать поддержанию классового «мира» в условиях обострения социальных противоречий между горожанами и феодалами, между верхами городского общества и ремесленной беднотой. Подобной идее, как можно думать, подчинено и приведенное выше описание статуй «Правосудов». И еще одну мысль можно, по-видимому, уловить в этом описании: поверженные и перебитые фигуры—символ упадка правосудия в условиях, когда государство становится объектом нападений иноземных захватчиков и не может себя от них защитить. Внешняя безопасность и внутренняя сила и спокойствие государств—это две стороны одного явления, как бы хочет сказать автор «Хождения». А подобная тема, перенесенная в условия русской действительности, имеет прямое отношение к проблеме единого государства.

В 1465—1466 гг. совершил путешествие («хождение») в Египет и Иерусалим гость Василий. Его происхождение неизвестно, но, поскольку одну из виденных им рек он сравнивает с Окой, предполагают, что он был уроженцем какого-то приокского города[2].

Особое внимание гость Василий, как и другие путешественники, о которых шла речь выше, обращал во время своего пути на развитие торговли в тех странах, городах и местечках, где он побывал. Он отмечает «торги великыи» в Енишерах, Канлю-даге, он видел «много торгов» в Аинтабе, Алеппо, Хаме, Каире, Дамаске, Ханке. В Каире, по словам гостя Василия, имелось «на всякой улице по торгу по великому». Автор не только называет торги, но и дает их оценку («а хороши вельми»). Отмечал гость Василий и то, что мешало развитию торговых связей, именно—наличие пограничных застав и мытов: «Град Арменский, день един ходу от Адоная, туто емлют мыт»[3].

---

[1] *М. Н. Сперанский*, указ. соч., стр. 130, 133, 134.

[2] «Православный Палестинский сборник», т. II, вып. 3, СПб., 1884, стр. 1.

[3] Там же, стр. 1—3, 13.

Василия поражали многолюдность и размеры некоторых городов. Он с большим воодушевлением записывает, что в Каире «в иных улицах домов по 15 тысячь, а в иных улицах до 18 тысяч дворов,.. а улица с улицей не знается, опроче великих людей»[1].

Интересовался гость Василий и вопросами развития ремесла и промышленности. Он рассказывает о виденных им соляных разработках («Град Воргоун,.. а в нем соль копают, как лед чиста»)[2].

Много места в своем «Хождении» уделяет гость Василий городскому благоустройству. Особенно его интересует водоснабжение. Так, он отмечает, что около города Амасии протекает «река велика», вода из которой отведена в направлении к городским стенам и распределяется по дворовым участкам: «под стену течет, да во все дворы из тоа реки воды колесы вертят разводена...» Город Токат, указывает автор, «стоит на дву горах каменных, воды под ним разведены по торгом, и по улицам, и по двором, и по баням». Город Хама, пишет гость Василий, также расположен на двух горах, между ними протекает река Оронт, «да колеса по реце той велиа зело,.. да мелют особь водою, да та вода с колес тех идеть к горе по желобам тем, на обе горы, во все дворы градскыа». Река Оронт является и источником орошения полей и пашен («да та же река введе по селам и пашням...»)[3].

Перед нами уже третий представитель русского зажиточного торгового населения, попавший за границу. И как двое первых, он так же настойчиво и целеустремленно воспринимает те стороны окружавшей его зарубежной действительности, которые были ему особенно близки (подробности городской торгово-ремесленной жизни).

Гость Василий не упускает случая рассказать о характере городских укреплений в различных странах, очевидно, считая, что и русским людям в целях укрепления обороноспособности своей родины было бы полезно позаимствовать зарубежный опыт. Так, по его словам, город Аинтаб «стоит на ровном месте, гора высока сыпана, да каменем обмурована, да три врата железнаа, да бой из неа ис тощиа стены велик,.. да изо рва того ис тощова стрелницы великиа»[4]. Город Алеппо окружен каменной стеной с одними воротами и рвом; «да пониже градскиа стены изо рва того стрельницы выводныа часты вельми, вкруг всего града, и входы в них потайныа из града...»[5]

В Антиохии гость Василий видел большой мост на реке, протекающей через город. Этот мост был укреплен «на многых восходех каменных, а стен у мосту того четыре, аки градския каменныя, а врата среди мосту того железныя, да стрельницы велики, а на них бои многы»[6].

---

[1] «Православный Палестинский сборник», т. II, вып. 3, стр. 8.
[2] Там же, стр. 21.
[3] Там же, стр. 2, 4, 6.
[4] Там же, стр. 6.
[5] Там же, стр. 4.
[6] Там же, стр. 12.

Детально перечисляя стрельницы и другие оборонительные сооружения в укрепленных пунктах, гость Василий делал это, вероятно, не для того, чтобы придать занимательность своему рассказу. Он делал это потому, что серьезно подходил к проблеме обороноспособности государств, как условию сохранения ими своей независимости.

Интересны некоторые данные, которые можно почерпнуть из «Хождения» Василия для характеристики идеологии горожан. Посетив различные места, побывав в ряде городов с интернациональным населением, гость Василий отличается известной веротерпимостью. Так, он обращает внимание на то, что в Кавзе находятся «крмюсареи» (караван-сараи), и кто туда «ни приидет от какия веры, всякаго упокоивают, и кормят и поят». Точно так же в Хевроне, по словам гостя Василия, бывает много людей не только «от христиан», но и «от всякаго языка»; все они тут «пьют и ядят». В Иерусалиме гость Василий наблюдал, как совершали службы представители различных вероисповеданий: «в большей церкви вкруг божия града службы греческая, иверская (грузинская), сербская, фряжская (латинская), сирьянская, яковитская, мелфедиская (мелхитская), куфидиская (коптская), несторская (несторианская)». В Египте гость Василий увидел деревья («древеса малы»), из которых вытекает «масло», «и кто возмет то масло, и подает исцеление не токмо христианам, но и всем языком и верам на исцеление»[1]. Так гость Василий приближается к идее равноправия народов.

Особый интерес в качестве источника для изучения идеологии горожан в XV в., в период складывания русского централизованного государства, представляет «Хожение» Афанасия Никитина (1466—1472 гг.), побывавшего в Индии.

Как известно, Афанасий Никитин с пристальным вниманием присматривался к различным сторонам экономики посещенных им земель. Но особенный интерес вызывало у него то, что касалось развития торговых связей внутри отдельных стран и между рядом стран. Так, он указывает, что в Индии есть место, где каждый год устраивается базар, на который съезжается вся страна и который продолжается 10 дней («... на год един базар, съеждается вся страна Индейская торговати, да торгуют 10 дней...»). Это, по мнению Афанасия Никитина, лучший торг в Индостанской земле: сюда свозят и здесь можно купить любой товар («во Гондустаньской земли той торг лучший, всякий товар продають, купят»)[2].

---

[1] «Православный Палестинский сборник», т. II, вып. 3, стр. 2, 7, 8, 10. Об этой стороне идеологии гостя Василия подробно рассказывает А. И. Клибанов в своей работе «У истоков русской гуманистской мысли (Исторические традиции идеи равенства народов и вер)», статья вторая —«Вестник истории мировой культуры», 1958, № 2/8, стр. 45—61.

[2] «Хожение за три моря Афанасия Никитина», 1461—1472 гг., М.—Л., 1948, стр. 15.

Говоря о международных торговых связях, Афанасий Никитин указывает, например, что в Ормуз, который он называет «великим пристанищем», приезжают с товарами люди со всех концов мира: «всего света люди... бывают, и всякы товар.., что на всем свете родится, то в Гурмызе, все есть»[1].

Афанасий Никитин во время своего путешествия, вероятно, постоянно справлялся о ценах на разные товары. Он отмечает, что в Индии дешевы перец и краска, говорит о дешевизне товаров в Калькутте, Шибаите[2] и т. д.

Руководствуясь мыслью о важности расширения торговли, Афанасий Никитин с большим удовлетворением описывает ряд городов, бывших торговыми центрами, и при этом оговаривается, что он упоминает далеко не все из них («а то есми городы не все писал, много городов великих»). Афанасию Никитину бросается в глаза, что на пути из Джунира до Кельберга он ежедневно проходил через 3—4 города («промежю тех великых градов много градов»). Он считает нужным упомянуть о подворьях в Индии, в которых останавливаются гости («во Индейской земли гости ся ставят по подворьемь»)[3].

В то же время Афанасий Никитин высказывается по поводу того, что препятствовало росту торговли: это — большие пошлины на товары и нападения разбойников на торговые караваны. В Ормузе,—говорит он,—таможенная пошлина составляла десять процентов стоимости товаров («тамга же велика, десятое со всего есть»)[4]. Говоря о возможностях торговли с Индией, Афанасий Никитин видит препятствие к этому в том, что вывоз индийских товаров предполагает уплату значительных пошлин, и в том, что провоз грузов морским путем связан для купцов с риском попасть в руки разбойников («и пошлины много, а разбойников на море много»). Известно, что сам Афанасий и его спутники были ограблены под Астраханью[5].

Прямые высказывания Афанасия Никитина свидетельствуют о том, что его наблюдения над торговлей в странах и городах, где он побывал, в ряде случаев подчинялись его интересам как представителя русского купечества. Он рассказывает, что, уговаривая его ехать в Индию, какие-то бесерменские купцы обманули его, прельщая обилием имеющихся там товаров, хотя в действительности оказалось, что вывозить в Русь нечего («ано нет ничего на нашу землю»). Побывав в Бедере, Афанасий Никитин записал, что здесь «на Русскую землю товару нет»[6].

Итак, Афанасий Никитин—купец с широким кругозором, понимающий важность роста внутренней и внешней торговли, между-

---

[1] «Хожение за три моря Афанасия Никитина», стр. 20.
[2] Там же, стр. 14, 21—22.
[3] Там же, стр. 12, 14, 13.
[4] Там же, стр. 20.
[5] Там же, стр. 14 9.
[6] Там же, стр. 14—15.

народных экономических связей, городов и хорошо улавливающий те препоны, которые этому росту мешают. Поднимает Афанасий Никитин и проблемы социальные.

Говоря о социальных отношениях в Индии, Афанасий Никитин прежде всего хорошо подметил основное противоречие между местными богатыми собственниками и сельской беднотой: «а земля людна велми, а сельскыя люди голы велми, а бояре силны добре и пышны добре...»[1] Есть ли здесь элемент осуждения социального неравенства? Вряд ли. Вероятно, как и ряд других представителей торгово-ремесленной верхушки русского городского населения, Афанасий Никитин без социального неравенства не мыслил и общества. И тем не менее бедность основной массы индийских крестьян его, по-видимому, поразила.

По аналогии со структурой русского феодального общества и пользуясь русской терминологией, описывает Афанасий Никитин и иерархические отношения внутри господствующего класса Индии. В его описании фигурируют: «князья» и «княгини», «бояре», «слугы княжыя и боярьскыя»[2]. Эти отдельные разряды феодалов отличаются друг от друга своим одеянием и вооружением. Подчиненность одних владетельных «князей», «бояр» и «слуг» другим автор обозначает термином «холопство». В «Хожении» Афанасия Никитина имеется обилие цифровых данных, характеризующих военные силы индийских феодалов (в большинстве своем хорасанцев по происхождению). Так, например, в одном месте «Хожения» читаем: «есть хоросанець Меликтучар (т. е. малик—уттужар, первый везир султана бедерского) боярин, у него рати двесте тысечь, а у Меликхана 100 тысячь, а у Харатхана 20 тысячь»[3]. Афанасий Никитин указывает, что в Индии происходят постоянные усобицы и военные столкновения среди местной знати, иногда имеющие характер религиозных войн. Так, упомянутый выше Меликтучар, по словам Афанасия Никитина, в течение 20 лет «бьется с кафары» (с немусульманскими племенами Индии), «то его побиють, то он побиваеть их многажды»[4].

Афанасий Никитин понимал вред для населения феодальных усобиц. И, может быть, законно видеть некоторый элемент карикатуры на индийских «князей» и «бояр», постоянно нападавших на владения друг друга, в том, как излагает Афанасий Никитин индийский миф о «князе обезьянском». Обезьяны, говорит Афанасий Никитин, жалуются своему князю, если их кто-либо обидит, тогда «князь обезьянский» посылает на обидчика «свою рать», и обезьяньи войска, «пришед на град, и дворы разволяють и людей побьють»[5].

---

[1] «Хожение за три моря Афанасия Никитина», стр. 16.
[2] Там же, стр. 12.
[3] Там же, стр. 16.
[4] Там же, стр. 13.
[5] Там же, стр. 15—16.

В воображении Афанасия Никитина, когда он описывал усобицы индийских вельмож, вероятно, не раз возникала картина феодальных войн, происходивших в условиях политической раздробленности на Руси. И с неподдельным, теплым и глубоким чувством отзываясь о Русской земле как стране, подобной которой нет на свете, автор отмечает «несправедливость» русских бояр. Он слагает молитву о том, чтобы Русская земля «устроилась» и чтобы в ней воцарилась «справедливость»[1]. Здесь слышится голос русского горожанина, хотевшего видеть Русь объединенной в одно государство с сильной властью, охраняющей мир политический и социальный.

Афанасий Никитин был человеком религиозным. Он с горечью говорит о том, что, будучи на чужбине, «позабыл веры хрестьяньскыя всея и праздников хрестианьскых»; он, находясь вдали от родины, «много плакал по вере по хрестьяньской». Обращаясь с представителями различных вероисповеданий, Афанасий Никитин «христианства не оставил». Но в то же время Афанасий Никитин был чужд религиозной нетерпимости, и ему принадлежат следующие слова, говорящие как бы о равноправии вер: «а правую веру бы ведать, а праваа вера бога единаго знати, имя его призывати на всяком месте чисте чисту»[2].

Идеология Афанасия Никитина — это идеология передовой части русских горожан, хорошо понимавших отрицательные стороны политической раздробленности и видевших путь к прогрессу в государственном объединении разрозненных русских земель. Эти горожане достаточно отчетливо осознали необходимость развития экономического общения внутри своей страны и за ее пределами. Патриотически настроенные и неумевшие отделить преданности родине от приверженности православной религии, они в то же время уже сбросили с себя путы религиозного фанатизма и стали на путь признания других вероисповеданий, а это должно было содействовать росту связей Руси с другими странами[3].

Для мировоззрения некоторой части русского купечества характерны известное религиозное вольнодумие, скептицизм в отношении ряда церковных догматов, критика порядков, существовавших в городах. И в этом—прогрессивные антифеодальные моменты идеологии городских верхов. Но такая критика шла по пути реформ церкви, а не нарушения ее устоев.

В этом отношении интерес представляет помещенный в «Житии» Сергия Радонежского рассказ о видном московском госте Дмитрии Ермолине. В названном памятнике говорится, что Дмитрий Ермо-

---

[1] «Хожение за три моря Афанасия Никитина», стр. 188—189.

[2] Там же, стр. 20, 23—24, 28.

[3] О мировоззрении Афанасия Никитина интересные данные содержатся в статье В. П. Адриановой-Перетц «Афанасий Никитин—путешественник—писатель» («Хожение за три моря Афанасия Никитина», стр. 107, 133). См. также *А. И. Клибанов*, Свободомыслие в Твери в XIV—XV вв. («Вопросы истории религии и атеизма», т. 6, М., 1958, стр. 251—260).

лин принадлежал к числу представителей крупной зажиточной купеческой фамилии («некий от московских великих купец...», он имел «толикое богатство.., паче же благородием сущим и богатем...»)[1]. Род Ермолиных был связан с Троице-Сергиевым монастырем. Там были пострижены в монахи отец Дмитрия — Ермола и его сын — Герман. Монахом Троице-Сергиева монастыря при игумене Досифее (1446—1447) стал и сам Дмитрий Ермолин (приняв иноческое имя Дионисий). В монастыре он проявил вольнодумие относительно церковных порядков и на этой почве у него произошел конфликт с монастырскими властями.

М. Н. Тихомиров объясняет причины этого конфликта недовольством со стороны Дмитрия Ермолина монастырской пищей[2]. Однако дело было серьезнее. «Житие» обвиняет Дмитрия Ермолина в невыполнении ряда церковных постановлений. Он отрицал необходимость соблюдения монастырского устава («и о уставе монастырском... он ни во что же вменяше»), выступал против тех приношений, которые делались в монастырь людьми различных состояний на помин души («...яже от христолюбивых велмож и простых приносимая милостыня или на молебны и понахиды и божественыя службы посылаемыя в монастырь кормы соборныя и приношения полезна им глаголаше...»). Свои взгляды на ненужность для монастырей «милостыни» и мысли по другим вопросам церковной жизни Дмитрий Ермолин широко распространял за пределами монастыря («начят... ис келия без времени исходити и яж не подобает глаголати»)[3]. А взгляды эти настолько расходились с официальным учением господствующей церкви, что автор «Жития» считал неудобным их излагать («яж за неудобство речии молчанием премину»).

Игумен Мартиниан (1447—1455), сменивший Досифея, укорял Дмитрия Ермолина за «неверие», которое он обнаруживал «ко чюдотворцеву гробу и ко всему святому собору», т. е. за непроявление должного уважения к памяти основателя монастыря Сергия Радонежского и к монастырским властям. Нежелание Дмитрия Ермолина принимать пищу вместе со всеми монахами вызывалось не только ее низким качеством. Правда, он подчеркивал, что привык к иной, лучшей еде. «Что имам сотворити, яко хлеба вашего и варения не могу ясти? А ведаеш сам, яко вырастохом во своих домах, не таковыми снедми питающеся»[4]. Но отказ Дмитрия Ермолина от братской трапезы был прежде всего выражением его непризнания «святости» монастырских властей, которых он намеренно оскорблял, употребляя непозволительные в отношении их сана

---

[1] *Н. С. Тихонравов*, Древние жития Сергия Радонежского, М., 1892, стр. 158—159.

[2] *М. Н. Тихомиров*, Древняя Москва, стр. 109—110; *его же*, Средневековая Москва в XIV—XV веках, стр. 153.

[3] *Н. С. Тихонравов*, указ. соч., стр. 159.

[4] Там же, стр. 160.

выражения («глаголы нелепотныя»)[1]. Когда Дмитрию Ермолину приносили хлеб, рыбу, «всякое варение» и «питие», он выбрасывал все это из келии со словами: «собаки наши такова... не ели». Это был его протест против тех, кто возглавлял монастырь, и против порядков, существовавших в последнем («и всему сопротивне показовашеся»)[2].

В «Житии» рассказывается, как Дмитрий Ермолин, «исполнився духом хулным», решил поколебать у некоей «христолюбивыя жены» веру, которую она питала «к живоначалней Троици и пречистей Богородици, и ко чюдотворцеву гробу Сергиеву, и ко всему святому собору». Он стал убеждать эту женщину, что не следует посылать в монастырь «милостыню» (хлеб, рыбу, мед), что лучше все эти дары отдать татарам («луче бы та милостыня татаром дати, неж семо»)[3]. Подобное выступление представляло собой не что иное, как уподобление монахов иноплеменникам и насильникам—татаро-монгольским ханам, разорявшим русских людей своими поборами. И за это, согласно житийной версии, Дмитрий Ермолин понес кару от бога и чудотворца Сергия: во время церковной службы он лишился речи, зрения, потерял способность управлять своими движениями. Таково было «божье возмездие» Дмитрию Ермолину, обладавшему «непокоривым сердцем». Только после этого он раскаялся.

Рассмотренный рассказ «Жития», безусловно, заслуживает серьезного внимания. Он раскрывает в какой-то мере идеологию крупного представителя русского купечества XV в.—времени образования на Руси централизованного государства. Это был образованный «гость», отличавшийся красноречием, знавший несколько языков. «Житие» рисует образ Ермолина как человека «многоречиста и пресловуща в беседе, бе бо умея глаголати русски, гречески, половецки...»[4] Во время своих торговых поездок Дмитрий Ермолин, вероятно, заслужил довольно широкую известность за пределами Руси. Не случайно «Житие» говорит, что и его пострижение в монастырь, и его выступления с «хулой» на монастырских властей не могли не получить соответствующего отклика в других странах («... слышано быс не точию зде и у нас, но во многих покрестных странах...»)[5].

В чем же заключалось вольнодумие Дмитрия Ермолина? «Житие» обвиняет его в «неверии» («неверие в сердци держащу»), в «хуле и роптании на монастырь и на весь святый собор...»[6] Конечно, странно было бы подозревать Дмитрия Ермолина в атеизме. Человек своей эпохи и своего класса, он был, вероятно, достаточно религиозен, иначе вряд ли можно было бы понять его пострижение в монастырь.

---

[1] *Н. С. Тихонравов*, указ. соч., стр. 161.
[2] Там же, стр. 160—161.
[3] Там же, стр. 162.
[4] Там же, стр. 163.
[5] Там же, стр. 160.
[6] Там же, стр. 165.

Но для его мировоззрения характерно критическое отношение к церковным порядкам, к монашеству—отношение, выливавшееся иногда в резкое осуждение и некоторых религиозных догматов, и уставов, и лиц, принадлежавших к руководящим деятелям церкви. Можно думать, что он стремился к реформе церкви в условиях складывающегося Русского централизованного государства на основе ее подчинения сильной светской власти с участием в государственном управлении городского патрициата. Подобный вывод о характере идеологии Дмитрия Ермолина подтверждается теми политическими высказываниями, которые имеются в летописном своде XV в., написанном для его сына—Василия Дмитриевича. Там в ироническом стиле описывается потеря ярославскими князьями их независимости. В 1463 г. в Ярославле объявились «чудотворцы»—покойные князья, Федор Ростиславич с детьми. У их гроба происходили чудеса. Но «сии чюдотворци явишася не на добро всем князем ярославским». Они скоро «простилися со всеми своими отчинами на век», были вынуждены передать их великому князю Ивану III. А затем в Ярославле появился «новый чюдотворець», «созиратаи Ярославьскои земли»—великокняжеский наместник, настоящий дьявол—и стал производить конфискацию владений местных вотчинников[1].

Здесь чувствуется и религиозное вольнодумие (игра термином «чудотворец», уподобление его термину «дьявол»), и ирония в отношении ярославских удельных князей, которых не спасли никакие чудеса. Здесь звучит и известная нотка осуждения московского князя, у которого были наместники с дьявольским нравом. Но в конечном итоге общая политическая линия Василия Дмитриевича Ермолина—это линия борьбы с раздробленностью, за централизацию на основе союза великокняжеской власти с городской аристократией.

Некоторое осуждение московского князя чувствуется и в летописном описании казни в 1379 г. сына последнего тысяцкого Ивана Васильевича Вельяминова. Никоновская летопись указывает, что казнь была совершена в присутствии множества народа, причем многие из присутствующих сочувствовали И. В. Вельяминову и сожалели об его участи («и мнози прослезиша о нем и опечалишася о благородстве его и о величествии его»). В связи с этим летописец помещает рассуждения 1) о необходимости повиновения властям, причем не только добрым, но и «строптивым» («...царя чтите, раби повинуюшеся во всяком страсе владыкамь, не токмо благим и кротким, но и строптивым»); 2) о желательности сохранения «закона любви» между властителями и людьми подвластными («и вси убо, и владущии, и послушнии, и господьствующии, и рабьствующии во смирении и в любви да пребывают; весь бо закон во смирении и в любви есть...»)[2]. В приведенном тексте отно-

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 157—158.
[2] ПСРЛ, т. XI, стр 45.

шение к акту казни И. В. Вельяминова двойственное. Автор и укоряет последнего за неповиновение власти великого московского князя, и упрекает Дмитрия Донского как «строптивого владыку» за то, что он не соблюдает «закона любви». Вероятно, летописец отражает как раз настроения тех, кто, находясь на месте казни, сожалел о «благородстве» и «о величествии» казненного. Возможно, что сочувствовали И. В. Вельяминову представители крупного московского купечества вроде Некомата Сурожанина, с которым был связан И. В. Вельяминов и который был казнен несколько позднее, в 1383 г. («...убьен бысть некий брех именем Некомат за некую крамолу бывшую и измену»)[1]. Как раз в купеческой среде была распространена эта теория «закона любви», смысл которой заключался в стремлении к достижению социального мира при сохранении социального неравенства.

Перечитывая записки русских людей XIV—XV вв. об их путешествиях за границу, мы убеждаемся, насколько внимательно присматриваются они к экономике, социальным отношениям, политическому строю, культуре тех стран, где им пришлось побывать. В записках русских путешественников мы находим не случайный набор занимательных фактов, а вдумчивый отбор того интересного, что они встречали и наблюдали на своем пути. А производя такой отбор фактов, авторы записок (иногда прямо, иногда косвенно) выявляли и свое к ним отношение, определявшееся их общим классовым и политическим мировоззрением. Для мировоззрения русских горожан-путешественников характерна отрицательная оценка порядков феодальной раздробленности. Они видят преимущества (по сравнению с этими порядками) единого государства и являются его идеологами. Такая же идеология горожан отражается и в других рассмотренных выше памятниках литературы.

* * *

Из среды горожан вышел, по-моему, один очень интересный памятник, который помещен в ряде летописных сводов (в Новгородской первой летописи младшего извода[2], в летописях Ермолинской[3], Воскресенской[4] и др.). Это—Список «русских» городов, имеющий следующее заглавие: «А се имена всем градом рускым, далним и ближним». Анализ указанного памятника позволяет, как мне кажется, высказать несколько соображений относительно отражения в идеологии горожан процесса складывания русской народности.

Города в рассматриваемом Списке распределены по группам, каждая из которых дана под особым заголовком. Всего приведено 8 групп городов: 1) «А се Болгарскии и Волоскии гради»; 2) «А се

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 135.
[2] НПЛ, стр. 475—477.
[3] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 163—164.
[4] ПСРЛ, т. VII, стр. 240—241. Список напечатан также М. Н. Тихомировым в «Исторических записках», № 40, 1952, стр. 223—225.

Польскии» (от слова «поле» — степь); 3) «А се Киевьскыи гради»; 4) «А се Волыньскыи»; 5) «А се Литовьскыи»; 6) «А се Смоленскии»; 7) «А се Рязаньскии»; 8) «А се Залескии». Болгарских и Волошских городов перечислено 23, Польских—11, Киевских—71, Волынских—31, Литовских—92, Смоленских—10, Рязанских—30, Залесских—90. Общее число городов, упоминаемых в Списке,—358. В более поздних редакциях изучаемого Списка названо еще 8 Тверских городов.

Большею частью указываются лишь наименования городов, а также в ряде случаев рек, на которых они расположены. Иногда имеются сведения о характере городовых укреплений («На Дунаи Видычев град о седми стенах каменных»; «Корочюнов камен», «Киев деревян на Днепре», «Вилно, 4 стены древены, а две каменны», «Трокы Старыи каменны, а Новыи Трокы на езере две стены камены, а вышнии древян, а в острове камен», «Москва камен», «Новгород Великии, детинец камен», «Псков камен о четырех стен» и т. д. В некоторых случаях в Списке коротко сказано о наиболее достопримечательных церквах и других памятниках религиозного характера, находящихся в рассматриваемых городах («Тернов, ту лежить святаа Пятница», «Киев.., а церкы святаа Богородиця Десятиннаа камена была о полутретьятцати версех, а святая Софиа о 12 версех», «Самъбор, ту лежить святыи Ануфреи», «Новгород Великии.., а святаа Софиа о шести версех»).

Список «русских» городов в последнее время подвергся специальному исследованию в статьях М. Н. Тихомирова и Б. А. Рыбакова. Первый ученый довольно убедительно доказывает, что этот Список был составлен между 1387 и 1406 гг. (а скорее всего, по мнению М. Н. Тихомирова, между 1387 и 1392 гг.). Автором памятника был русский человек, в основу отбора городов для своего Списка положивший принцип языка, на котором говорили их жители. Он отмечал лишь города «русские», т. е. населенные славянами — русскими, украинцами, белорусами, болгарами, в некоторых случаях—города со смешанным населением, состоявшим из белорусов и литовцев. Вошли в список и города молдавские (волошские), поскольку молдаване пользовались в то время славянской письменностью, а не вошли города собственно литовские, а из славянских польские). Таким образом,—пишет М. Н. Тихомиров,—изучаемый памятник отражает представление его автора «о единстве русских, украинцев, белорусов, молдаван, болгар». Список «русских» городов «интересен не только как ранний историко-географический документ, но и как памятник, доказывающий, что уже в начале XV в. существовало представление о единстве «Русской земли», сознание связи русских с балканскими славянами, употреблявшими в это время в письменности славянский язык»[1].

Эти выводы М. Н. Тихомирова, безусловно, заслуживают внимания. Весьма вероятно и предположение исследователя о том,

[1] *М. Н. Тихомиров,* Список русских городов дальних и ближних, стр. 218.

что изучаемый Список возник в кругах горожан, совершавших торговые поездки в пределах русских княжеств, ездивших и за границу и обладавших поэтому достаточными географическими познаниями. Мало убедительно, по-моему, аргументирован М. Н. Тихомировым тезис о новгородском происхождении Списка «русских» городов, и я с данным тезисом согласиться не могу.

Выводы Б. А. Рыбакова относительно происхождения Списка «русских» городов[1] во многом совпадают с наблюдениями М. Н. Тихомирова. Он также относит памятник к концу XIV в., хотя, как мне кажется, без должных оснований датирует его 1395—1396 гг., исходя лишь из того, что под указанными датами в Никоновской летописи помещены другие статьи географического содержания: перечни земель, покоренных Тимуром («А се имена тем землям и царством, еже попленил Темирь-Аксак»), и народов, обитающих в пределах Перми («А се имена живущим около Перми землям и странам и местом иноязычным»)[2]. Б. А. Рыбаков, согласно с М. Н. Тихомировым, рассматривает создание в конце XIV в. Списка как показатель того, что в это время на Руси существовало представление о единстве русского народа и других славянских народов, исторически с ним связанных. Интересна мысль Б. А. Рыбакова о том, что составитель Списка городов конца XIV в. давал их в границах Киевской Руси XI—XII вв., допустив лишь три исключения: 1) включив в состав русских земель области мери и веси за Волгой и на Белоозере (очевидно, вследствие их обрусения); 2) исключив из своего Списка закарпатские земли белых хорватов; 3) назвав русскими низовья Дуная вплоть до Тырнова (очевидно, по воспоминаниям о переселении в давние времена антов к Дунаю и на Балканы).

Расходится Б. А. Рыбаков с М. Н. Тихомировым по вопросу о месте создания Списка. Он относит памятник к Киеву и считает, что он был составлен в канцелярии митрополита Киприана. Эти утверждения по существу ничем не доказываются и вряд ли с ними можно согласиться[3].

Мне хотелось бы по поводу Списка «русских» городов высказать некоторые соображения, частично развивающие мысли М. Н. Тихомирова и Б. А. Рыбакова, частично расходящиеся с ними. Мне думается, что представление о Русской земле, отразившееся в Списке, совпадает с тем представлением, которое мы находим в памятнике письменности, также возникшем в конце XIV в. и посвященном Куликовской битве 1380 г.,— в «Задонщине». В последнем памятнике встречаются два понятия: «Русская земля» и «Залесская земля». Автор «Задонщины» вводит читателя в круг этих понятий с первых же строк своего произведения. На пиршестве у Микулы

---

[1] *М. Н. Тихомиров*, Список русских городов дальних и ближних, стр. 218—219.

[2] ПСРЛ, т. XI, стр. 158—159, 165, 248.

[3] *Б. А. Рыбаков*, Древние русы («Советская археология», вып. 17, М., 1953, стр. 31—32).

Васильевича Вельяминова, сына последнего московского тысяцкого, присутствующие там князья Дмитрий Иванович московский и его двоюродный брат Владимир Андреевич серпуховский узнают о нашествии на Русь татарских полчищ под предводительством Мамая (такой сценой открывается «Задонщина»). И далее следует текст: «Ведомо нам, братие милыи, што де у быстрого Дону царь Мамай пришел на Рускую землю, а идет к нам в Залескую землю. Пойдем, брате, тамо в полунощную страну, жребия Афетова, сына Ноева, от него же родися Русь преславная. Взыдем на горы Киевскыя и посмотрим славнаго Непра и посмотрим по всеи земли Рускои и отоля на восточную страну жребий Симов, сына Ноева, от него же родися Хиновя, поганые, татаровя, бусормановя»[1].

«Залесская земля», согласно исторической концепции «Задонщины»,—это Владимиро-Суздальская Русь, являющаяся частью большой Русской земли, сложившейся еще в период существования древнерусского государства со столицей в Киеве. Воспроизводя библейскую легенду о сыновьях Ноя, один из которых Иафет был родоначальником славян, автор «Задонщины» мысленно обращается к древнему центру восточного славянства—«горам Киевским», раскинувшимся на берегах Днепра. Это—исконное средоточие всей Русской земли, с которой неразрывно связана и земля «Залесская» и на которую ведут наступление басурманы, монголо-татары—потомки другого сына Ноя—Сима.

Подобные же мысли о взаимоотношении понятий «Русская» и «Залесская» земли разбросаны по всему тексту «Задонщины». Мамай «посягал» на Русскую землю, но ему пришлось обратиться в бегство «по Залесью». В составе русских военных сил, боровшихся с полчищами, приведенными Мамаем, была «орда Залесская», т. е. московское войско[2].

Но ведь таких же географических представлений держался и составитель Списка «русских» городов. Ведь и для него «Залесские города» принадлежат к числу «градов руских», перечень которых он не случайно начинает с пунктов, расположенных на Дунае («а се Болгарскыи и Волоскии гради») и Днепре («а се Киевьскыи гради»), а не на Дону, Оке и Волге. Именно к Дунаю и Днепру он возводил историю восточного славянства, «русского» народа. Способ перечисления городов в рассматриваемом Списке, по-моему, продиктован не тем, как думает М. Н. Тихомиров, что его составитель пользовался «чертежом», на котором север был обозначен внизу, а юг вверху[3]. Думается, что география Списка определяется не случайными обстоятельствами, а подчинена историческим взглядам составителя, его концепции истории «русского» народа. Думается, неправ и Б. А. Рыбаков, для которого термин

---

[1] «Воинские повести древней Руси», под ред. В. П. Адриановой-Перетц, М.—Л., 1949, стр. 33.

[2] Там же стр. 40.

[3] *М. Н. Тихомиров*, Список русских городов дальних и ближних, стр. 219.

«Залесские города» служит показателем того, что Список «русских» городов возник на юге, в Киеве. Нет, этот термин, очевидно, закономерен вовсе не в устах лишь южанина, раз он попал в такой памятник общерусского значения, каким является «Задонщина»[1].

Мне кажется, что можно продолжить сравнение «Задонщины» и Списка «русских» городов с точки зрения общности географических представлений, продиктованной общностью исторических и политических идей. Кто, согласно «Задонщине», защищает интересы Русской земли в решительной битве с Мамаем на Куликовом поле? Это—выходцы из городов «Залесских» (Москвы, Коломны, Серпухова, Дмитрова, Переяславля, Звенигорода, Можайска, Владимира, Суздаля, Ростова, Углича, Костромы, Мурома, Белоозера, Новгорода), рязанских, литовских, волынских (вспомним знаменитого воеводу Дмитрия Боброка Волынца)[2]. Но ведь о тех же городах как «русских» говорит и изучаемый нами Список[3]. Конечно, последний памятник—это своего рода географический путеводитель, «странник», «дорожник»[4]. Он стремится (хотя и не всегда этого достигает) к детальности и точности географической номенклатуры. «Задонщина»—художественная поэма. В ней превалируют поэтические образы, а если и встречаются цифровые данные (например, указания на число убитых на Куликовом поле бояр, пришедших сюда из различных мест), то эти данные нельзя воспринимать во всех случаях как реальные. И при всем том невольно возникает мысль: и в сухом перечне населенных пунктов («градов русских дальних и ближних»), и в яркой поэтике «Задонщины» отразились одни и те же идеи. Разве не объясняет замысла составителя Списка «русских» городов, внесшего в число последних и города «литовскии», задушевный призыв «Задонщины» к «соловью»—«летной птице», чтобы он «выщекотал земли Литовской дву братов Олгердовичев», а те собрали бы «братью милую, пановей удалыи Литвы, храбрых удальцев», сели бы «на борзыя своя комони» и двинулись бы на защиту Русской земли («посмотрим быстрого Дону»)?[5]

Многое в Списке «русских» городов станет понятным, если учесть близость идейного содержания этого памятника и «Задонщины». Б. А. Рыбаков, отмечая, что границы Русской земли в том виде, как они начерчены составителем рассматриваемого Списка конца XIV в., совпадают с границами Киевской Руси XI—XII вв., указывал, что это совпадение нарушается включением в Список Белоозера (область мери и веси). Но автор «Задонщины» специально упоминает белозерских князей наряду с русскими князьями, боярами, воеводами, павшими за родину на Куликовом поле. «Не тури возрыкають на поле Куликове, побежени у Дону великого, взо-

[1] Об этом говорит коротко М. Н. Тихомиров на стр. 248.
[2] «Воинские повести древней Руси», стр. 41 и др.
[3] В последнем почему-то пропущен Углич.
[4] *М. Н. Тихомиров*, Список русских городов дальних и ближних, стр. 219.
[5] «Воинские повести древней Руси», стр. 35.

паша посечены князи рускыя, и бояры, и воеводы великого князя, и князи белозерстии посечени от поганых татар»[1].

Общий вывод, к которому я прихожу, сводится к тому, что Список «русских» городов создался не без воздействия «Задонщины». Чтобы сделать более убедительной эту мысль, надо привлечь некоторый дополнительный материал. Согласно «Сказанию о Мамаевом побоище» и Никоновской летописи, Дмитрий Донской, выступая в 1380 г. в поход против войск Мамая, взял с собой «десять мужей сурожан-гостей». Цель этого Никоновская летопись усматривает в том, что сурожане, торгуя в разных странах («яко сходници суть з земли на землю»), будучи известны в Орде и в Крыму («и знаеми всеми в Ордах и в Фрязех»), смогут повсюду распространить весть («имут поведати в далных землях») о том, чему они будут свидетелями во время похода[2]. С этим сообщением интересно сопоставить два места «Задонщины». Первое касается того отклика, который в ряде стран получила победа, одержанная в 1380 г. русскими полками над татарскими на Дону. «Силнии полкы съступалися вместо, протопташа холми и лугы, возмутишася реки и езера, кликнуло диво в Руской земли, велит послушати рожным землям, шибла слава к железным вратом (т. е. Дербенту), к Риму и к Кафы по морю и к Торнаву, и оттоле к Царюграду на похвалу. Русь великая одолеша Мамая на поле Куликове»[3]. Ведь здесь указаны пути восточный и южный внешней торговли Руси, ведущие в генуэзские колонии в Крыму, в Византию, Закавказье. Такую торговлю производили купцы-«сурожане». Не значит ли это, что и Список «русских» городов конца XIV в. вышел из среды гостей-сурожан, побывавших на Куликовом поле и отразивших в сухом перечне населенных и укрепленных пунктов те же большие идеи этнической общности различных ветвей теперь разобщенной, но когда-то единой, древнерусской народности—идеи, которые в художественной форме нашли воплощение в «Задонщине»? Весьма характерно, что эти идеи выражены не в отвлеченной форме. Они подчинены практическим, экономическим запросам влиятельной части горожан Северо-Восточной Руси, заинтересованных в развитии торговли с другими странами и использующих в этих целях свои связи с русским населением ряда городов, фигурирующих в Списке конца XIV в. Через «киевские», «волынские», «литовские», «смоленские», «рязанские» города постоянно проезжали со своими товарами купцы-«сурожане». И то обстоятельство, что Список «русских» городов конца XIV в. начинается с болгарской столицы Тырнова, находит свое объяснение в приведенном тексте «Задонщины», в котором подчеркнуто, что до этого города дошел отклик победы, одержанной русскими воинами на Дону в 1380 г. над Мамаем и его отрядами.

---

[1] «Воинские повести древней Руси», стр. 37.

[2] ПСРЛ, т. XI, стр. 54; *С. К. Шамбинаго*, Повести о Мамаевом побоище, СПб., 1906, Тексты, стр. 16.

[3] «Воинские повести древней Руси», стр. 37.

Другой отрывок «Задонщины», заслуживающий внимания, посвящен побегу Мамая из Руси в Кафу («и отскочи поганый Мамай серым волком от своея дружины и притече к Кафы граду») и разговору с ним «фрягов» (генуэзцев). Последние насмехаются над Мамаем, пытавшимся завоевать Русскую землю, но встретившим отпор со стороны русских воинов, потерявшим свое войско и вынужденным обратиться в бегство. «И молвяше ему фрязове: «Чему ти, поганый Мамай, посягаешь на Рускую землю?.. Нешто тобя князи руские горазно подчивали, ни князеи с тобою нет, ни воевод? Нечто гораздо упилися на поле Куликове на траве ковыли»». В конце концов фряги предлагают Мамаю покинуть Кафу: «Побежи, поганый Мамай, и от нас по Залесью»[1]. Переводя эти художественные образы на прозаический язык, отражающий интересы московских торговых кругов, можно сказать, что в разбираемом отрывке выражена (наряду с другими) и следующая мысль: победа Руси над мамаевой Ордой будет способствовать развитию непосредственных отношений Русской земли (помимо Орды) с Кафой. Этим же прозаическим языком говорит и Список «русских» городов конца XIV в., намечая различные маршруты из «русских» (и через «русские») города в Крым.

Если верна гипотеза о том, что изучаемый Список «русских» городов написан кем-то из гостей-«сурожан», побывавших на Куликовом поле, и что по своему идейному содержанию он близок к «Задонщине», то на основе этой гипотезы можно попытаться разрешить еще два вопроса: 1) почему в первом варианте Списка отсутствовали тверские города; 2) почему в Списке такое большое место уделено рязанским городам, которые перечислены в количестве 30, ранее городов залесских.

Игнорирование тверских городов в рассматриваемом Списке могло быть вызвано тем осложнением московско-тверских отношений, которое последовало с 1373 г. (в связи с изменой московскому правительству Некомата Сурожанина и его бегством в Тверь) и привело к разгрому Твери московскими войсками в 1375 г. Оставшиеся верными московскому великому князю Дмитрию Ивановичу «сурожане», из среды которых вышел подвергаемый нами анализу Список, могли по политическим соображениям опустить в перечне «русских» городов тверские города. Надо при этом сказать, что и в «Задонщине» в числе участников сражения на Куликовом поле в 1380 г. тверские военные силы не названы.

Что касается внимания, проявленного в Списке к городам рязанским, то, помимо того обстоятельства, что маршруты торговых поездок в Крым обычно проходили через Рязанское княжество, такое внимание могло объясняться и связями составителя Списка с автором «Задонщины»—Софонием-рязанцем. Выходец из духовенства, очевидно, писавший свой труд уже вне пределов Рязанской земли, Софоний мог быть близок к представителям

[1] «Воинские повести древней Руси», стр. 40.

городской купеческой среды. А эта близость, как допустимо предположить, объясняет не только идейное влияние «Задонщины» на Список «русских» городов конца XIV в., но и проникновение идей, носителями которых были гости-«сурожане», в «Задонщину».

Для М. Н. Тихомирова доводом в пользу новгородского происхождения Списка «русских» городов служит то обстоятельство, что его ранняя редакция сохранилась в Археографическом списке Новгородской первой летописи. Но использование памятника в Новгородском летописании—еще не решающий аргумент на его написание в Новгороде. Я думаю, не менее, а более веским аргументом за возникновение Списка «русских» городов в среде гостей-«сурожан» является включение другой его (также ранней) редакции в состав Ермолинской летописи, связанной с именем крупного представителя московского купечества—В. Д. Ермолина. Вошел Список и в состав Воскресенской летописи—московского летописного свода.

* * *

Мне думается, что произведенный нами анализ некоторых памятников идеологии горожан XIV—XV вв. позволяет еще раз подчеркнуть тот общий вывод, к которому приводит и ряд наблюдений над процессами социально-экономического и политического характера: о большой роли русского средневекового города в истории образования централизованного государства на Руси. Из среды горожан вышли произведения, обосновывавшие идеи единства Русской земли и необходимости ее сплочения в рамках единого государства. При всей классовой направленности и ограниченности этих идей они имели для своего времени большое прогрессивное значение.

§ 14. Классовая борьба в городах

Подъем городов в XIV—XV вв. вызвал углубление классовых противоречий и усиление классовой борьбы. Городская беднота и рядовая масса горожан вела борьбу против феодалов и связанного с ними крупного купечества, владевших земельной собственностью, большими денежными средствами, обладавших политическими правами. Антифеодальные выступления горожан часто принимали форму открытых восстаний. Рассмотрение этих восстаний будет дано в связи с политической историей Руси XIV—XV вв. Сейчас же мне хочется остановиться на характеристике некоторых других мало изученных форм городских движений.

Прежде всего мне представляется полезным сказать несколько слов о тех преступлениях, которых касается Псковская Судная грамота,—памятник, отразивший социальные отношения в крупном русском средневековом городе XIV—XV вв. К числу наиболее

важных преступлений, за которые рассматриваемый кодекс назначает смертную казнь, относятся измена («перевет»), поджог, «крымская татьба» (под ней некоторые исследователи понимают ограбление церковного имущества), конокрадство, повторная кража на посаде. Некоторые виды правонарушений наказываются, согласно Псковской Судной грамоте, денежным штрафом. Это—«разбой», вооруженное нападение («находе»), «грабеж», ограбление запертой кладовой, кража товара, запакованного и уложенного в санях, на возу, в лодье; хлеба, зарытого в яме.

Названные правонарушения очень часто были проявлениями разных форм классовой борьбы. То, что в соответствующих статьях Псковской грамоты в ряде случаев речь идет не просто об уголовных преступлениях (хотя, конечно, имели место и таковые), а о социальных выступлениях, по-моему, бесспорно. Я хотел сейчас обратить внимание не только на общий характер, но и на специфику этих выступлений. Бросается в глаза, что Псковская Судная грамота заостряет свое внимание в значительной степени на формах проявления социального протеста в городах. Именно в городе могло главным образом иметь место такое явление, как ограбление церкви. Специально выделяется в качестве особого вида преступлений присвоение чужой собственности на посаде. А статья Псковской Судной грамоты об охране товаров, привезенных в город или предназначенных к вывозу оттуда в санях, на возу, в лодье, возникла в связи с развитием торговых связей в стране, сопровождавшихся и ростом классовых противоречий.

По-моему, наибольший интерес представляет борьба Псковской Судной грамоты с поджогами. Если сопоставить лаконичное в этом отношении указание памятника с теми данными, которые имеются в летописях о пожарах в городах (особенно в Новгороде) и об обстоятельствах, их сопровождавших, то станет ясным, какую социальную опасность представляли для господствующего класса поджигатели.

При обращении к новгородским летописям, освещающим события первой половины XV в., сразу бросается в глаза большое количество известий, посвященных постройкам церквей. В то же время, судя по летописям, в Новгороде в первой половине XV в. часто происходили пожары, во время которых гибли целые городские концы, дотла сгорали церкви, дворы бояр и посадских людей. Большею частью причины этих пожаров не ясны. Но очевидно одно—в ряде случаев они возникали не в силу случайных обстоятельств. Конечно, не раз имели место поджоги города, причем поджоги не как уголовные преступления, а как один из путей проявления социального протеста городской бедноты против новгородского патрициата.

Громадный пожар произошел в Новгороде в 1340 г. Благодаря сильному ветру («тако бяше велик и лют пожар, с бурею и с вихром») он перекинулся с одной стороны Волхова на другую. «По воде огнь горя хожаше», и люди, искавшие спасения в воде,

находили там гибель. Желая подчеркнуть все разрушительное действие пожара (и, как увидим дальше, сопровождавших его социальных движений), летописец говорит, что новгородское население уже ждало кончины мира («яко мнети уже концина...»). Из церквей и домов не успевали выносить иконы и книги, а имущество, которое владельцам удалось вынести, погибло в пламени пожара или же его «разграбили» «злии человеци».

Что же это за «злии человеци», которые, пользуясь пожаром, завладели чужим добром? Летописец осуждает их очень сурово. Он обвиняет их в отсутствии страха божия, в неверии в воскресение мертвых и в то, что грешники в день страшного суда получат возмездие за свои преступления против закона божия («иже бога не боятся, ни чають въскресениа мертвым, ни суда божиа, ни въздания по делом»). «Злии человеци» не только забирали «товар» «у своеи братии у крестьян» и побивали тех, кто не хотел отдавать им свое имущество, но и грабили церкви. Летописец считает последнее деяние особенно вопиющим, ибо обязанностью каждого христианина, даже не желающего соблюдать собственный дом, является охрана церковного добра («всякому христианину, хотя бы и свои дом повергая», надлежит «церкьвии постерещи»).

Летописец перечисляет преступные дела «грабителей». Они заперлись в церкви 40 мучеников, похитили там весь «товар», кому бы он ни принадлежал, не дали вынести оттуда иконы и книги, убили двух сторожей. Когда же «злии человеци» выбежали из церкви, всю находящуюся там святыню объяло пламя. Разграблена была и церковь Богородицы на торгу. Молва гласила, что там был убит поп, пытавшийся не дать на расхищение «товар»[1].

Что можно сказать о людях, так активно действовавших во время пожара 1340 г. и, по-видимому, причастных к поджогу города? Обыкновенные ли это грабители? Нет, это мало вероятно! Летописец характеризует их не просто в качестве уголовных преступников. Он считает, что они были носителями определенной антицерковной идеологии. Они отрицали основные догматы православной церкви (учение о воскресении мертвых, о страшном суде), у них было какое-то свое представление о боге. Словом, перед нами какое-то радикальное крыло еретиков. Их выступление против господствующей церкви было в то же время и выступлением против феодального строя.

Характерная деталь: эти люди захватывают в церквах «товар», однако икон и других святынь не трогают, но запирают церковные двери, чтобы нельзя было их спасти! На первый взгляд здесь есть что-то противоречивое. Но это противоречие можно распутать. «Грабеж» «товара», вероятно, представлял собой своеобразный раздел имущества богачей между неимущими на началах социального равенства. А активное противодействие выносу из горящих церквей икон и других предметов православного культа было,

[1] НПЛ, стр. 351—352.

по-видимому, не чем иным, как выражением иконоборческих настроений. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что новгородский пожар 1340 г. сопровождался крупным антифеодальным движением городского плебса, проходившим под лозунгами крайнего идеологического течения еретического характера.

Имеются основания думать, что аналогичное движение повторилось в Новгороде в 1342 г. И в этом году в городе был пожар, уничтоживший ряд церквей. Опять весь город пришел в движение в поисках защиты от огня («и бе видети всь град движащеся и бегаша по неделю и боле...»). И снова летописец подчеркивает остроту вскрывшихся в это время социальных противоречий, которые вылились в столкновение классов. Оценка классовой борьбы дается летописцем в виде лапидарной формулы: «... и много пакости бысть людем и убытка от лихых людии, иже бога не боятся». Но эта формула многозначительная! За ней скрывается признание поступков «лихых людей» действиями, направленными против господствующей церкви. И не случайно летописный рассказ о новгородском пожаре 1342 г. заканчивается описанием торжественного крестного хода, организованного архиепископом Василием по новгородским монастырям и церквам с целью избавить «всь град» от божьего гнева («дабы отвратил от нас праведный гнев свой»)[1]. Из всего летописного контекста следует, что автор разбираемого рассказа под «праведным гневом» понимает не только пожар, но и те проявления социального протеста, выразившиеся в наступлении на господствующую церковь, которые пожар сопровождали, а может быть, и породили.

Заслуживает большого внимания летописный рассказ о пожаре в Новгороде в 1397 г. Сгорели 22 каменных церкви и одна деревянная, «а душь погоре,—бог весть»!—с горечью замечает летописец. Многие новгородские жители, как всегда в таких случаях, утонули в Волхове. Описание пожара кончается стереотипным заявлением летописца: «Толь лют бяше пожар, с вихром огнь по воде горя хожаше». Вслед за тем летописец сообщает о построении по повелению архиепископа Иоанна в Новгороде Покровской церкви и заканчивает это известие молитвой, обращенной к богородице: «соблюди церковь свою неподвижиму... и нераздрушиму до скончания всего мира»; подай милость архиепископу новгородскому Иоанну «со всеми его детми, с новгородци, и с послужившими о храме своем... святем...»[2]. Ясно, по-моему, что основная идея этой молитвы заключается в том, что должно быть сохранено единство церкви, что во имя этого единства все новгородцы должны сплотиться вокруг своего духовного пастыря «владыки» Иоанна. Читая же текст помещенной на страницах Новгородской летописи молитвы, невольно думаешь: по-видимому, во время пожара в Новгороде в 1397 г. опять имело место движение

[1] НПЛ, стр. 355.
[2] Там же, стр. 393—394.

против архиепископа как главы господствующей церкви, который берется под защиту летописцем.

В качестве одного из источников, которые дают возможность осмыслить летописные известия о пожарах в Новгороде, следует, мне кажется, привлечь хорошо известную историкам и историкам литературы повесть о новгородском посаднике Щиле. Он нажил большое богатство «лихоиманием» (ростовщичеством) и решил построить церковь. По окончании строительных работ Щил рассказал архиепископу Иоанну, что церковь выстроена на деньги, нажитые нечестным путем. Тогда архиепископ велел Щилу устроить в стене созданного по его желанию здания гроб и лечь в него в погребальном одеянии. Когда был совершен погребальный обряд, гроб с телом Щила исчез, а на его месте оказалась пропасть. После этого архиепископ приказал иконописцам написать над гробом посадника его изображение «во адове дне» и запечатать церковь до тех пор, пока он получит прощение от бога. Сын Щила совершал заупокойные молитвы по душе отца и раздавал милостыню. И вот постепенно гроб с телом Щила стал выходить из пропасти[1].

Повесть о Щиле не раз уже являлась предметом изучения. Текстологическую над ней работу и анализ ее содержания в последнее время с наибольшей полнотой и скрупулезностью провел И. П. Еремин. Изучив большое количество списков, он выявил шесть редакций памятника. Он установил, что памятник в первоначальном своем составе возник не ранее 1310 г. (под указанным годом в летописи говорится о построении церкви «стяжаниемь раба божия Олония мниха, нарицаемого Щила...») и не позже конца XV в. (к этому времени относится древнейший список). Поскольку в повести говорится о деньгах и гривнах, И. П. Еремин делает вывод, что она была составлена после 1420 г., когда в Новгороде начался чекан собственной монеты. Все вышеизложенное, по-моему, весьма убедительно. Но не доказана гипотеза И. П. Еремина о том, что повесть о Щиле создана после «бунта» 1447 г.

Заслуживают внимания соображения И. П. Еремина об идейном содержании повести о Щиле. Он усматривает в ней три момента: 1) «греховность взимания процентов, даже небольших, за ссуды»; 2) «греховность созидания церквей и монастырей на средства, нажитые лихоиманием»; 3) «возможность спасения грешной души мздоимца путем заказов церкви заупокойных молитв и богослужений»[2].

Думаю, что идеи изучаемой повести намечены И. П. Ереминым правильно. Но неубедительным мне представляется вывод о том,

---

[1] *И. П. Еремин*, Повесть о посаднике Щиле (Исследование и тексты)— «Труды Комиссии по древнерусской литературе», вып. 1, М.—Л., 1932, стр. 59—161.

[2] Там же, стр. 105.

что ее возникновение «связано с вопросом о секуляризации церковных земель». В содержании повести нельзя найти материал, указывающий на такую связь. И поэтому я не могу принять тезис И. П. Еремина, согласно которому повесть о Щиле была составлена с целью защиты церковных имуществ «кем-то из церковников, может быть, по приказанию свыше, вероятно, незадолго до падения Новгорода и первой секуляризации церковных земель, именно в 50—60-х годах XV в.»[1]

Я хочу предложить иное объяснение обстоятельств возникновения повести о Щиле. Мне думается, что ее появление вызвано теми антифеодальными выступлениями, которые происходили в Новгороде, принимая форму ограбления церквей.

Пожалуй, наиболее показательные с этой точки зрения события разыгрались в Новгороде в 1442 г. Это был год большого церковного строительства и в то же время год массового уничтожения церквей в пламени грандиозных пожаров. В городе,—говорит летописец,—«бысть пожар лют», он принес «пакости людем много». Если каменных церквей «погоре» 12, то «христьяньскых душь бог весть колко погоре». Бросается в глаза уже тот факт, что церкви в одно и то же время и строились и уничтожались. Случайно ли это? Вряд ли! А, впрочем, зачем же гадать, когда ответ на поставленные вопросы дают современники описываемых событий, и ответ этот далеко не двусмыслен?

«Си же пожары бывають грех ради наших, да ся быхом покаяле от злоб своих»,—говорит летописец. Пожалуй, здесь можно усмотреть лишь религиозную сентенцию примерно в таком стиле: мы согрешили, бог нас покарал, послав огонь на грешников. Да, летописец хочет именно это сказать. Но в то же время за приведенной фразой в летописи следует другая, свидетельствующая, что современники усматривали причины пожаров не только в божьем возмездии за людские грехи. По их мнению, имели место тайные злонамеренные поджоги Новгорода. Людей, подозреваемых в этих поджогах, в Новгороде задерживали и самих бросали в огонь или свергали с Волховского моста в реку. «В то же время людие от скорби тоя великыя пожарныя, похвативше люди, глаголюще от ярости смущени: «в таине ходите, и людем не являитеся, и зажигаете град, и людеи губите»; и овех на огне сожьгоша, а иных с мосту сметаша». Рассказав о фактах преследования тех, кто считался зажигателем, летописец заканчивает свое изложение несколько загадочной фразой: «А бог весть, испытая сердца человеческая, право ли есть глаголющаа»[2], т. е., кто знает, правы ли те, кто расправлялся с заподозренными лицами, и виновны ли люди, подвергшиеся расплате. Колебания летописца, не отвечающего окончательно на поднятый им вопрос, не дают нам основания не верить современникам, а они видели в массовых пожарах

---

[1] *И. П. Еремин*, Повесть о посаднике Щиле, стр. 109, 112.
[2] НПЛ, стр. 423.

не только вмешательство в судьбы человечества провидения, но и проявление воли и стремлений самих людей.

Я считаю вполне допустимым предположение, что повесть о Щиле появилась в связи с большими пожарами, имевшими место в Новгороде в начале 40-х годов XV в., и с теми ограблениями церквей, которые тогда там происходили. Церкви, как мы знаем, строили архиепископ, посадник, бояре, купцы, коллективы жителей (ремесленников и торговцев) отдельных новгородских концов и улиц. В целой плеяде высившихся в Новгороде церквей находила свое отражение система социальных отношений. В повести о Щиле речь идет о строительстве церкви посадником на деньги, собранные путем ростовщичества с рядовых купцов, не обладавших собственными капиталами для ведения торга и поэтому попадавших в лапы лихоимца. В этом отношении, по-видимому, повесть отражала интересы широких купеческих кругов, страдавших от засилия правившей в Новгороде боярской олигархии. Повесть с явным осуждением относится к Щилу, доказывая, что богу неугодны храмы, возведенные на деньги, нажитые нечестными средствами.

Но идейное содержание повести не ограничивается лишь вышеуказанной мыслью. Оно гораздо сложнее. Повесть не только выступает на защиту массы рядовых купцов от эксплуатировавшего их богатого боярина-лихоимца. Она защищает купеческие капиталы от радикальной части городского плебса, который грабил церкви, где хранились товары купцов. Повесть берет эти товары под охрану религии. Ведь идея повести о Щиле такова: да, Щил виновен в том, что скопил неправедно добытое богатство и думал, что оно поможет ему приблизиться к богу. Но он и получил наказание от бога, ибо не дело людей судить себе подобных за грехи. И настенное изображение Щила, оказавшегося вместе со своим гробом на дне ада, должно было наглядно показать тем, кто при помощи огня намеренно раздутых пожаров боролся с богачами и ростовщиками (пытаясь устрашить их таким образом и забрать их имущество, спрятанное в церквах), ненужность и греховность их попыток. Автор как бы хочет сказать: богачей-лихоимцев ждет более страшный огонь—тот пламень, который пожрет их в аду.

Подобная идея придает повести о Щиле известную консервативную направленность. Разгневанный народ кажется новгородскому купечеству более страшной силой, чем крупные феодалы, с которыми ему легче найти общий язык. И весьма примиренчески по отношению к Щилу звучит концовка повести. Грех посадника отмолен большой милостыней и длительными непрерывными церковными службами. Мотив искупления греховных дел путем обращения к церкви, к религии, так явственно слышится в повести о Щиле потому, что она хотела заглушить этим мотивом голос социального протеста, призывавший черных людей к поджогам боярских и купеческих дворов

и церквей, где были спрятаны боярские и купеческие товары.

По-видимому, наибольшее распространение такая форма классовой борьбы, как поджоги и разграбления городским плебсом церквей, нашла в Новгороде. Это и естественно. Классовые противоречия там были особенно обострены. Но аналогичные явления имели место и в других русских средневековых городах. Так, во время пожара 1408 г. в Ростове, как говорит летопись, богатые люди пытались спасти свое богатство, вынося принадлежавшие им вещи из объятых пламенем дворов и церквей на суда и и плоты, стоявшие на Ростовском озере. В это время бедняки стали забирать у богачей имущество, а их самих топить («...а инии от хыщников избиени быша над товаром и потоплени в езере»)[1]. О поджоге Твери красочно рассказывает летопись под 1449 г.[2]

Действия поджигателей церквей были проявлением радикальной антицерковной идеологии городского плебса. Этой идеологии противостояло мировоззрение крупного городского купечества, представителями которого являлись люди, подобные гостям Ермолиным.

* * *

Подведем итоги рассмотрению вопроса о предпосылках образования Русского централизованного государства в сфере развития городов, товарного производства и обращения. Несмотря на то что экономика Руси в XIV—XV вв. оставалась в основе своей натуральной, в хозяйственной жизни страны наблюдались некоторые новые явления. В результате отделения добывающих промыслов от земледелия в XV в. возник ряд промысловых и торговых поселков. Для рассматриваемого времени еще нельзя говорить о развитии товарного производства в крестьянском хозяйстве, однако торговля крестьян продуктами земледелия, животноводства и промыслов была явлением в достаточной мере распространенным. Некоторые крестьяне торговали и перекупным товаром. Широкую торговлю на территории всех княжеств Северо-Восточной Руси вели монастыри. Хотя лишь в отдельных феодальных вотчинах наблюдались элементы товарного производства сельскохозяйственных продуктов, тем не менее развитие торговли было важным фактором в преодолении хозяйственной замкнутости отдельных районов и установлении связей между ними.

Показателем отделения ремесла от сельского хозяйства являлся рост городов. На протяжении XIV—XV вв. городами становились некоторые села. В качестве торгово-ремесленных центров развивались и старые города. Рост городов происходил в значительной мере за счет притока сельского населения. Наблюдался

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 482.
[2] Там же, стр. 494.

подъем технического уровня ремесла. Многие городские ремесленники работали на заказ. Кроме того, в некоторых отраслях ремесленного производства наблюдалось уже развитие мелкого товарного производства. В это время товарное производство не только еще не разрушало феодальной экономики, но укрепляло феодальный строй.

Росло торговое значение городов. Преобладали разобщенные мелкие местные рынки. Но некоторые города играли уже роль областных рынков. Усиливались торговые связи между русскими землями. Князья боролись за торговые пути. В то же время перед всеми русскими княжествами вставала задача освобождения волжской артерии и торговых путей, шедших в южных направлениях, от татаро-монгольских завоевателей.

Повышалась роль горожан в экономической и политической жизни страны. Из среды городского населения выделялось купечество, среди которого крупное значение получали гости и суконники, обладавшие значительным имуществом и политическим весом. Передовая часть городского населения понимала вред политической раздробленности и видела путь к прогрессу в политическом объединении русских земель. Появление промысловых и торговых сел и подъем городов вызывали углубление классовых противоречий, усиление классовой борьбы. В городах XIV—XV вв. происходил целый ряд антифеодальных восстаний.

Несмотря на значительную роль города в социально-экономическом и политическом развитии страны, он испытывал сильное воздействие общей крепостнической системы, складывавшейся на Руси. Эта система тормозила его рост.

Глава IV

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ

ДО 80-х ГОДОВ XIV ВЕКА. НАЧАЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

§ 1. Расширение Московского княжества в первой четверти XIV в. Политическая борьба между Московским и Тверским княжествами

В начале XIV в. Русь представляла собой ряд политически самостоятельных феодальных княжеств и республик, номинально объединенных под властью великого князя владимирского. Великое владимирское княжение предоставлялось в результате пожалования золотоордынского хана одному из русских князей. Политика золотоордынских ханов, поддерживавших в разное время различных претендентов на великокняжеский стол, заключалась в том, чтобы не дать усилиться кому-либо из них, чтобы содействовать их ослаблению в постоянных феодальных войнах.

В это время роль Москвы как центра политического объединения русских земель еще не определилась. Только началось постепенное расширение территории Московского княжества. Московские князья боролись с другими князьями (и прежде всего с тверскими) за великое владимирское княжение. Результаты этой борьбы определялись разными причинами, в первую очередь—расстановкой социальных сил, поддерживавших ту или иную сторону. Лишь ко второй половине XIV в. (не ранее) выявилось значение Москвы как центра формирующегося единого Русского государства.

Каковы же условия, содействовавшие выдвижению Москвы в этой роли? Над этим вопросом напряженно работала мысль ряда поколений дореволюционных и советских исследователей, собравших большой и ценный материал. Вряд ли я здесь скажу что-либо абсолютно новое. Я скорее попробую обобщить уже сделанное и уточнить некоторые моменты.

Мне кажется прежде всего, что поставленный вопрос следует расчленить. Москва явилась не только политическим центром, но и центром территории, где формировалась великорусская народность. И даже более: именно то обстоятельство, что Москва была средоточием складывающейся и развивающейся великорусской народности, стало существенной предпосылкой ее превращения в основу политического объединения страны. Но это превращение означало, что, оставаясь центром народности-национальности,

Москва получала новое качество. Она делалась центром объединенного государства как орудия властвования господствующего класса над народом. Поэтому если и были общие предпосылки, подготовившие развитие Москвы как центра национального и как центра государственного, то отождествлять эти предпосылки ни в коей мере нельзя.

Как раз на территории, где возникла Москва, в междуречье Волги и Оки (густо населенном районе), находилось то этническое ядро, из которого выросла великорусская народность[1]. Но народность— это явление не только этническое, но историческое, требующее для своего развития определенных условий, содействующих освоению народом территории, росту экономики, культуры страны, борьбе народа за национальную независимость. Территория Московской земли представляла собой район развитого по тому времени земледелия и промыслов. Москва была средоточием тонких ремесел[2]. Удобные речные и сухопутные пути благоприятствовали распространению колонизационных потоков, шедших из Московской земли в разных направлениях и содействовавших обмену производственными навыками между жителями московского центра и более окраинных районов. Находясь в узле торговых путей, Москва являлась одним из наиболее крупных центров начинающих складываться экономических связей между различными русскими землями. Таковы были условия, подготовившие сплочение территории великорусской народности вокруг ее основного ядра, выкристаллизовавшегося в междуречье Оки и Волги. Эти условия содействовали возвышению Москвы как центрального пункта, от которого шли нити экономического общения с другими районами страны (без наличия такого общения невозможно возникновение народности). А образование территории великорусской народности, ее хотя и медленное хозяйственное культивирование (прежде всего трудом русских крестьян и ремесленников)—это необходимые предпосылки развития великорусского языка, складывания и распространения русской культуры. При этом и в процессах, связанных с развитием языка и культуры, естественно сказывается ведущая роль Москвы, подготовленная раскрытыми выше предпосылками экономического порядка.

Развитие великорусской народности происходило в условиях ее борьбы за свою независимость, успехами которой обусловливалась возможность хозяйственного и культурного роста. Географическое положение Москвы в центральном районе, сравнительно удаленном от арены наиболее частых нападений татаро-монгольских и других иноземных полчищ на Русь, гарантировало этому городу и его району известную безопасность, способствовало притоку сюда жителей и возрастанию здесь плотности населения, а следовательно

[1] *М. Н. Тихомиров*, Начало возвышения Москвы («Известия Академии наук СССР», Серия истории и философии, 1934, т. I, № 3, стр. 108).

[2] *М. Н. Тихомиров*, Древняя Москва, стр. 121; *его же*, Средневековая Москва в XIV—XV веках, стр. 69.

подъему экономики и культуры. Тем самым создавались и материальные предпосылки, накапливались людские силы для организованной борьбы русского народа с татаро-монгольским владычеством, агрессией литовских феодалов и т. д. Москва становилась активным центром такой борьбы. На подступах к Москве возводились оборонительные сооружения. Город выступал не только узловым пунктом торговых связей, но и средоточием путей, по которым двигались отсюда военные силы.

Конечно, когда речь идет о выдвижении Москвы в качестве центра великорусской народности, нельзя представлять этот процесс заранее предопределенным и самопроизвольным. Он требовал участия людей, хотя и действовавших стихийно, но активно данному процессу содействовавших. Труд сосредоточенных в Московской земле крестьян и ремесленников был существенным фактором развития производительных сил, распространения земледельческой культуры, появления и роста городов, накопления тех материальных условий, без которых было невозможно строительство крепостей, вооружение, успешное сопротивление иноземным захватчикам. Народ был действующей силой в освободительной борьбе с чужеземным игом, с внешней опасностью, за независимость родины.

Без всех рассмотренных выше предпосылок нельзя понять возвышение Москвы не только как центра великорусской народности, но и как политического ядра складывающегося Русского централизованного государства, ибо в составе этого государства великорусская народность явилась основной и ведущей, а вокруг нее объединялись со временем другие национальности. Само централизованное государство в начальный период своей истории сделалось прогрессивной силой, содействовавшей объединению политически разрозненных русских земель, их освобождению от иноземных захватчиков и защите от внешних врагов, их дальнейшему экономическому и культурному развитию.

Но в то же время совершенно очевидно, что Москва в роли общерусского политического центра выступает основным оплотом феодального властвования; ядром складывающегося крепостнического государства (впоследствии превращающегося в самодержавную монархию); средоточием дворянства, требовавшего от правительства обеспечения его землей и крестьянами. Москва служит местопребыванием главы русской церкви—митрополита и исходным пунктом церковной политики, рассчитанной на укрепление идеологическими средствами религии основ господства и подчинения в феодальном обществе.

Чтобы понять исторические причины, определившие указанные функции Москвы, необходимо принять во внимание, что подъем производительных сил в Московской земле, происходивший в отмеченных выше условиях, привел к углублению процесса феодализации. Территория Московского княжества—это территория наиболее развитого феодального землевладения. Значительные массивы черных земель здесь сравнительно рано попали в руки свет-

ских и духовных феодалов (князей, бояр, митрополитов). В Москве и около Москвы появилось много монастырей, которые сделались рассадниками феодального землевладения по всей Северо-Восточной Руси. В церковных и монастырских имениях получила развитие та форма феодальной земельной собственности, которая особенно распространилась в период образования Русского централизованного государства,—условное служилое землевладение. Поскольку Московское княжество представляло собой передовой участок развивающегося феодализма, здесь рано выявились и окрепли те социальные силы, на которые опиралась великокняжеская власть в своей объединительной политике: служилое боярство, мелкие и средние великокняжеские слуги — дворяне и дети боярские, торгово-ремесленное население городов (особенно его верхушка). В Московской земле ранее, чем на окраинах Руси, завязывается крепкий узел крепостнических отношений.

Экономический подъем Московского княжества (которому содействовало и удобное географическое положение Москвы в районе, сравнительно удаленном от места постоянных татарских набегов, в узле торговых путей) благоприятно отразился на положении местных князей. В результате развития сельского хозяйства, ремесла, торговли, пополнения княжеской казны данями, таможенными и другими пошлинами и т. д. у московских князей появлялись возможности градостроительства, укрепления обороноспособности своей земли и, наконец, организации активного наступления на иноземных захватчиков. Тем самым создавалась известная популярность московской великокняжеской власти прежде всего в феодальных кругах ряда русских земель, часто оказывавшихся материально заинтересованными в поддержке московских князей. Поскольку же московская великокняжеская власть старалась возглавить дело борьбы Руси с внешней опасностью, ее авторитет возрастал и в более широких кругах городского и сельского населения.

При анализе причин, вызвавших возвышение Москвы, а затем ее превращение в центр формирующегося единого Русского государства, нельзя не учитывать и характера политики московских князей. В исторической литературе иногда допускалась полная обезличка последних. По-моему, это неверная точка зрения. Изучая политическую историю XIV—XV вв., можно, например, заметить, как ряд московских князей проводит последовательный курс на союз с горожанами. Конечно, это объясняется не какими-то особенными фамильными качествами московских князей. Подобная линия выработалась в процессе длительной политической борьбы, на направление, характер, исход которой влияли соотношение социальных и классовых сил, внешняя обстановка и т. д. И тем не менее было бы неправильно не учитывать значения субъективного фактора—деятельности тех, кто проводил определенную политическую программу.

И последнее, что необходимо отметить. Предпосылки, подготовившие роль Москвы в качестве центра Русского государства, реа-

лизовались не сразу, а в ходе длительной и упорной борьбы Московского княжества с другими феодальными центрами Северо-Восточной Руси—борьбы, затрагивавшей все классы и социальные группы различных русских земель. В процессе же этой борьбы исторические условия иногда складывались так, что, казалось, не Москва, а другой политический центр возглавит объединение Руси. Далеко не сразу укрепилась ведущая роль Москвы как средоточия политического объединения русских земель.

Все, что я изложил, дано весьма схематично. Но я пока ставил перед собой лишь две задачи: 1) обобщить и переосмыслить наблюдения, которые сделаны в литературе по вопросу о том, почему Москва стала столицей Русского централизованного государства; 2) наметить в этом отношении те руководящие идеи, которые следует раскрыть конкретно при изучении политической истории Руси XIV—XV вв.

* * *

С начала XIV в. происходит, как я уже указывал, расширение территории Московского княжества. В 1301 г. князь Даниил Александрович московский совершил военный поход на Переяславль Рязанский, «...много бояр избил», взял в плен («некоею хитростью ял») и привез в Москву рязанского князя Константина Романовича[1]. Тогда же к Москве были присоединены Коломна и некоторые другие рязанские волости[2].

В 1304 г. преемник Даниила—князь Юрий Даниилович «с братьею своею ходил к Можайску, и Можаеск взял», можайского же князя Святослава «ял и привел к собе на Москву»[3].

Упорная борьба (между великим князем владимирским и князьями тверскими и московскими) шла за Переяславль Залесский. В 1297 г. «переяславци с единого» выступили на стороне князей Даниила Александровича московского и Михаила Ярославича тверского против коалиции, возглавленной великим князем владимирским Андреем Александровичем. В 1301 г. произошел разрыв политических отношений между переяславским князем Иваном Дмитриевичем и князем тверским Михаилом Ярославичем (они «не докончали межи собою»). В 1303 г. умер князь переяславский Иван Дмитриевич и по его завещанию Переяславское княжение перешло под власть Даниила Александровича. После смерти в 1304 г. Даниила Александровича, как указывают летописи, «переяславци» (очевидно, горожане) «яшася за сына его за князя Юрья...» (т. е. признали своим князем Юрия Даниловича московского). В том же году в Переяславле состоялся княжеский съезд, на котором Переяславль официально был передан Юрию Даниловичу. В 1306 г., во время пребывания Юрия в Орде, в Переяславль прибыл и

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 85.
[2] *М. К. Любавский*, указ. соч., стр. 40.
[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 86.

«сел» там его брат Иван Данилович Калита. Вместе с «переяславской ратью» он вел борьбу со сторонником тверского князя, боярином Акинфом, и под Переяславлем разбил тверское войско. Словом, Переяславль оказался в самой гуще политической междукняжеской борьбы, окончившейся победой московских князей.

Понятно стремление последних к овладению тремя вышеназванными пунктами (Коломной, Переяславлем, Можайском). Их присоединение к Московскому княжеству увеличило его территорию почти в три раза. Не менее важным было экономическое и стратегическое значение присоединенных земель. Река Москва на всем ее протяжении оказалась включенной в состав Московского княжества. Расположенный в ее верховьях Можайск сделался важнейшим опорным пунктом на западной московской границе. Обладая Можайском и Коломной, московское правительство получило возможность использовать выгодное положение Москвы как узла важнейших дорог. С присоединением Переяславского княжества московские владения стали непосредственно граничить с территорией великого княжества Владимирского[1].

* * *

Одним из наиболее крупных княжеств Северо-Восточной Руси в начале XIV в. было княжество Тверское. Князья тверские стремились закрепить за собой великокняжеский стол, но это их стремление наталкивалось на сопротивление князей постепенно усиливающегося Московского княжества, которые со своей стороны боролись за овладение великим княжением владимирским.

Обстоятельства политической борьбы между князьями Михаилом Ярославичем тверским и Юрием Даниловичем (сыном Даниила Александровича) московским, последовавшей после смерти великого князя Андрея Александровича, нашли разное освещение в дошедших до нас летописных сводах. Попытаемся разобраться в этих разнообразных летописных версиях. Смерть великого князя Андрея Александровича, согласно данным большинства летописей, последовала в 1304 г[2]. По Новгородской первой, Софийской первой и некоторым другим летописям, бояре покойного князя Андрея Александровича отправились в Тверь, очевидно, желая побудить князя Михаила Ярославича добиваться в Орде прав на великое

---

[1] «Очерки истории СССР. Период феодализма. IX—XV вв.», ч. 2, стр. 191—192.

[2] Эту дату находим в летописях: Суздальской по Академическому списку, новгородских первой, третьей, четвертой, пятой, Софийской первой, Московском летописном своде конца XV в., Воскресенской, Никоновской, Авраамки, Львовской, Ермолинской, Типографской (ПСРЛ, т. I, вып. 3, стр. 528; т. III, стр. 68, 222; т. IV, стр. 46; т. IV, ч. 2, вып. 1, Пг., 1917, стр. 239; т. V, стр. 204; т. VII, стр. 184; т. XVI, стр. 57; т. XXI, стр. 173; т. XXIII, стр. 96; т. XXIV, стр. 107; т. XXV, стр. 393). По Рогожскому летописцу и Тверскому сборнику Андрей Александрович умер в 1306 г. (ПСРЛ, т. XV, стр. 497; т. XV, вып. 1, стр. 36). По Симеоновской летописи—в 1305 г. (ПСРЛ, т. XVIII, стр. 86).

княжение. Михаил направился в Орду, куда двинулся и его политический соперник—князь Юрий Данилович московский. Оба князя надеялись получить от ордынского хана ярлык на право занятия великокняжеского стола. «И сопростася два князя о великое княжение, ...поидоша в Орду в споре». Княжеская распря явилась началом большой «замятни» (или «смятения») в Северо-Восточной Руси («в Суздальской земли»). Под терминами «замятня» или «смятение» летописи имеют, по-видимому, в виду не просто усобицу князей, а феодальную войну, всколыхнувшую широкие слои населения. Летописцы особо подчеркивают участие в этой войне горожан («и много бысть замятни... въ всех градех»), позиция которых в значительной мере определила исход междукняжеской распри[1].

В то время как Михаил Ярославич находился в Орде, его наместники явились в Новгород и попытались «силою» им овладеть, но встретили решительное сопротивление со стороны населения («и не прияша новгородци»). В этом сопротивлении приняли участие, по-видимому, различные социальные слои. По крайней мере летописи говорят, что новгородцы «...совокупиша всю землю противу» тверских наместников. Одновременно новгородцы постарались укрепить Торжок, представлявший собой важный стратегический пункт на пути от Твери к Новгороду («...идоша в Торжок новгородци блюсти Торжьку...»). Между тверскими боярами и новгородскими правителями начались переговоры, закончившиеся установлением перемирия до приезда из Орды тверского и московского князей (новгородцы «... съсылающися послы, и розъехашася разно, доконцавше мир до приизда князей»)[2].

Если Михаил тверской стремился овладеть Новгородом, то Юрий Данилович московский (как сообщают Ермолинская, Симеоновская и другие летописи) рассчитывал закрепить свои позиции в ряде городов Северо-Восточной Руси. В этих целях в Кострому направился его брат Борис Данилович, но его задержали тверские бояре, поджидавшие (по одним данным в Костроме, по другим—в Суздале) отправившегося в Орду князя Юрия. Последний прошел в Орду другим путем.

Летописи сохранили известие об антифеодальном восстании, разразившемся в 1304 г. в Костроме. В городе собралось вече,

[1] События войны между Тверским и Московским княжествами первой четверти XIV в. рассмотрены А. Е. Пресняковым в книге «Образование Великорусского государства», стр. 121—135. И. У. Будовниц изучил отклики этой войны в общественной мысли XIV в. в работе «Отражение политической борьбы Москвы и Твери в тверском и московском летописании XIV века» (Труды ОДРЛ, вып. XII, М.—Л., 1956, стр. 79—86). И. У. Будовницу принадлежит также большое исследование, с которым он любезно позволил мне ознакомиться в рукописи.

[2] НПЛ, стр. 332; ПСРЛ, т. III, стр. 68, 222—223; т. IV, ч. 2, вып. 1, стр. 239; т. V, стр. 204. Докончальные грамоты тверских бояр и новгородского правительства, составленные в виде проектов в то время, когда Михаил Ярославич был в Орде, напечатаны в ГВНП, стр. 15—19, № 6—8. Их анализ см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 270—280.

выдвинувшее ряд обвинений против бояр, двое из которых были убиты («того же лета на Костроме бысть вече на бояр, на Жеребца да на Давыда Явидовися и на иных, и убиша тогда Зерна, Александра»). По-видимому, речь идет о тверских или сочувствовавших тверскому князю боярах. Так можно думать потому, что во время восстания горожан, имевшего место в следующем, 1305 г. в Нижнем Новгороде и по своему характеру близкого к костромскому антифеодальному движению, объектом репрессии со стороны восставших стали как раз бояре умершего великого князя Андрея Александровича, поддерживавшие Михаила Ярославича тверского. «В Нижнем Новегороде избиша чернь бояр Андреевых»; князь же Михаил Ярославич, как только получил в Орде ярлык на великое владимирское княжение, явился в Нижний Новгород и расправился с участниками избиения бояр («изби вечников»).

В то время как один из братьев князя Юрия Даниловича московского—Борис потерпел неудачу в своей попытке укрепиться в Костроме, другой его брат—Иван Данилович засел в Переяславле. Туда же из Твери двинулось войско под предводительством боярина Михаила Ярославича тверского—Акинфа. Под Переяславлем произошел «бой крепок» между московско-переяславской и тверской ратями. Акинф был убит. «Много тферичь» погибло в сражении, а многие были взяты в плен. Сыновья Акинфа убежали в Тверь. Исход сражения в значительной мере был решен «переяславской ратью», т. е. ополчением переяславских горожан[1].

Ярлык на великое владимирское княжение достался в Орде Михаилу Ярославичу тверскому. В 1305 г. он вернулся на Русь из Орды[2]. Очевидно, Юрий Данилович не хотел помириться со своим политическим поражением. Это видно из того, что Михаил во главе тверских войск дважды (в 1305 и 1308 гг.) подступал к Москве. Оба похода закончились заключением мирных договоров между Москвой и Тверью. Тверской сборник говорит об этом в спокойно протокольном тоне: Михаил Ярославич «приходил ратию к Москве и взял мир»[3]. В других летописных сводах, в которых изложение ведется с позиций московской великокняжеской власти, подчеркивается, что тверской князь потерпел военную неудачу и «не взяв града, ни что же успев, отиде»[4]. Однако ясно, что на данном этапе борьбы между Московским и Тверским няже-

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 96; т. VII, стр. 184; т. XXI, стр. 173; т. XVIII, стр. 86. И. У. Будовниц указывает, что «ориентация городского населения именно на Москву обнаруживается уже с начала XIV в.». См. *И. У. Будовниц*, Поддержка объединительных усилий Москвы населением русских городов («Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия», М., 1952, стр. 119).

[2] Отдельные летописи в качестве даты возвращения Михаила из Орды называют 1307 г. (ПСРЛ, т. XV, стр. 407; т. XV, вып. 1, стр. 35). А. Н. Насонов предполагает, что на Переяславль Михаил в Орде полномочий не получил: город был оставлен во владении Юрия (*А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 81).

[3] ПСРЛ, т. XV, стр. 407.

[4] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 97.

ствами сила была на стороне последнего. Об этом свидетельствует ряд фактов. В 1306 г. от Юрия из Москвы «отъехали» в Тверь два его брата—Александр и Борис Даниловичи. Тогда же князь Юрий Данилович велел убить князя Константина рязанского, который был ранее взят в плен «на бою» его отцом и находился в Москве. Очевидно, открылись какие-то враждебные со стороны Константина намерения в отношении московского князя, казавшиеся особенно опасными в то время, когда усиливалась Тверь. В 1307 г. Михаил Ярославич был признан князем в Великом Новгороде[1]. В 1311 г. сын великого князя Михаила—Дмитрий Михайлович собрал войско для похода на Нижний Новгород, где, очевидно, среди горожан были союзники Юрия («...хоте ити на Новьгород на Нижни на князя на Юрья...»), и только вследствие протеста митрополита Петра отказался от своего плана и, продержав три недели во Владимире рать, распустил ее[2].

Борьба за власть между московским и тверским князьями тяжело отражалась на трудовом населении. Положение последнего ухудшилось также из-за распространившейся в 1309 г. на Руси эпидемии и из-за сильного голода («бысть... мор на люди, и на кони, и на всякы скоты, а... мышь поела рожь, и овес, и пшеницу, и всякое жито, и того деля бысть дороговь велика, и меженина зла, и глад крепок в земли Русской»)[3]. Все это вызывало недовольство народа, приводило к обострению классовых противоречий. Летописи говорят о народных движениях в разных частях Руси. В 1310 г. в Брянске «коромолници» (по-видимому, горожане) изменили своему князю Святославу во время его сражения со своим политическим противником и выдали его последнему[4]. В 1311 г. произошло антифеодальное выступление в Новгороде. В этом году в городе вспыхнули большие пожары (возможно, в результате намеренных поджогов). Сгорело много церквей, домов феодалов и состоятельных горожан («домове добрыи»), выгорел торг. Во время пожаров «злеи человеци недобрии», «окаянии», как их называет летописец, «пограбиша чюжая имения». По всем данным, речь идет о городской бедноте, а, может быть, также и об окрестных крестьянах, которые захватывали имущество феодалов и видных представителей купечества. В результате социальных волнений в Новгороде был смещен посадник.

Можно думать, что антифеодальное движение в Новгороде было направлено в значительной степени против тверской администрации. Только при такой предпосылке понятны решительные действия великого князя Михаила Ярославича, который объявил Новгороду войну, вывел из города своих наместников, занял войсками

---

[1] Договор Михаила Ярославича с новгородским правительством см. ГВНП, стр. 19—22, № 9—10. Анализ этого договора см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 280—282.

[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 97.

[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 87.

[4] Там же.

Торжок, Бежецкий Верх и другие подступы к Новгороду и прекратил туда подвоз хлеба («не пустя обилья в Новьгород»). Лишь после специальной поездки в Тверь для переговоров с князем Михаилом новгородского архиепископа Давыда князь согласился на мир, вернул в Новгород наместников и освободил к городу торговый путь («...ворота отвори»)[1]. Давыд был выразителем интересов новгородской феодальной верхушки, в условиях голода и обострения классовых противоречий в городе шедшей на компромисс с великим князем и его окружением.

Орда вела политику разжигания распрей среди русских князей. Сталкивая между собой Михаила Ярославича и Юрия Даниловича, она хотела ослабления их обоих[2]. В 1312 г. умер хан Тохта. Великий князь Михаил Ярославич отправился в Орду на поклон к новому хану Узбеку. Туда же направился и митрополит Петр. Воспользовавшись этим, Юрий Данилович (возможно, по договоренности с новгородцами) послал в Новгород своего наместника— князя Федора Ржевского с военной силой. Наместники князя Михаила Ярославича были арестованы московским военным отрядом и посажены под стражу во дворе архиепископа. Теперь архиепископ действует в союзе с Юрием Даниловичем против Михаила Ярославича. По-видимому, отъезд последнего в Орду побудил новгородскую феодальную знать призвать в Новгород его противника, при котором новгородское правительство могло рассчитывать на большую самостоятельность. Такое решение новгородского правительства не могло не найти поддержки и со стороны рядовой массы горожан, среди которых князь Михаил был очень непопулярен.

С новгородской поддержкой князь Федор Ржевский выступил по направлению к Твери. Навстречу ему вышла тверская рать во главе с князем Дмитрием Михайловичем. Противники стали друг против друга на разных берегах Волги и, простояв так некоторое время, заключили мир и разошлись. Ни одна сторона начать сражение не решилась, не чувствуя перевеса своих сил над силами противника. Некоторые подробности о встрече на Волге новгородских и тверских военных сил сообщает тверское летописание: «приидоша новогородци ратию к Тфери и пожгоша села за Волгою»[3].

После этого новгородское правительство призвало Юрия Даниловича на княжение в Новгород «на всеи воли новгородчкои», т. е. с условием соблюдать все права Новгородской республики. Юрий явился в город вместе со своим братом Афанасием.

В 1315 г. Юрий был вызван ханом в Орду. В Новгороде он оставил своего брата Афанасия. Тем временем князь Михаил Ярославич вернулся на Русь в сопровождении ордынских «послов». Татарские послы обосновались в Ростове, где «много зла подеаша»[4],

---

[1] НПЛ, стр. 334, 93, 335, 95.
[2] *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 81.
[3] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 36; т. XV, стр. 408.
[4] ПСРЛ, т. XVI, стр. 60; т. I, вып. 3, стр. 1315.

а Михаил Ярославич двинулся к Новгороду «со всею землею Низовьскою и с татары». Узнав об этом, князь Афанасий с новгородским войском направился в Торжок, где и пробыл 6 недель, собирая сведения («весть переимаюче») о дальнейших намерениях Михаила. Последний также повернул к Торжку, желая, по-видимому, двинуться на Новгород.

Под Торжком между тверскими и новгородскими войсками произошла «сеча зла». Было убито «много добрых мужь и бояр новъгородчкых», «купцов добрых много» и громадное количество простых новгородцев и новоторжцев. Очевидно, как уже говорилось выше, действия Михаила Ярославича вызывали недовольство и отпор всего новгородского населения, людей всех сословий.

Согласно данным Рогожского летописца и Тверского сборника, «...победи великии князь новгородцев боле тысущи и пожже пригород»[1]. Уцелевшие новгородские и новоторжские воины отступили к Торжку и «затворишася в городе вместе с князем Афанасием». Михаил Ярославич потребовал выдачи последнего и князя Федора Ржевского. Новгородцы сначала отказались, заявив «...изомрем честно за святую Софею». Но затем под натиском военных тверских сил были вынуждены согласиться на выдачу Михаилу Ярославичу князя Федора Ржевского и на уплату тверскому князю 5 тем гривен серебра. Призвав после этого к себе князя Афанасия и новгородских бояр, Михаил Ярославич выслал их в качестве заложников («в таль») в Тверь, а у уцелевших после сражения новгородцев и новоторжцев отнял оружие и многих продал в рабство («...а останок людии, что есть в городе, нача продаяти, колко кого станеть и снасть отъима у всех»). В Новгород были снова отправлены тверские наместники.

Однако все новгородское население было возбуждено действиями Михаила Ярославича. В 1316 г. в городе поднялось восстание, в результате которого тверские наместники снова были изгнаны. На вече свергали с Волховского моста в реку тех, кого подозревали в сношениях с Михаилом Ярославичем. Когда князь Михаил стал наступать на Новгород «со всеи землею Низовскою», на защиту города выступила «вся волость Новгородская»: жители Пскова, Ладоги, Старой Русы, корела, ижора, водь. Вокруг Новгорода с двух сторон был выстроен острог.

Князь Михаил Ярославич, не дойдя до Новгорода, остановился со своим войском в селении Устьянах, на реке Ловати, а затем был вынужден отступить, «не успев ничто же». На обратном пути великокняжеское войско заблудилось среди новгородских озер и болот. Тверское летописание объясняет это тем, что «злии вожи» тверских ратников «заведоша в лихаа места»[2]. Люди стали умирать от голода, ели конину, кожу, сдираемую со щитов, «а снасть свою всю пожгоша» и «приидоша пеши в домы своя».

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 36; т. XV, стр. 408.
[2] Там же.

Хотя отношения между новгородским правительством и великим князем Михаилом Ярославичем на длительное время обострились, однако Михаил, понимая значение для него поддержки со стороны Великого Новгорода в борьбе за великое княжение, искал путей примирения с новгородскими властями. Когда в 1317 г. новгородский архиепископ Давыд приехал к князю Михаилу с просьбой согласиться на выкуп новгородцами взятых у них заложников («...просяще на окуп братьи своеи, кто у князя в тале...»), тот отказался сделать это немедленно. Тем не менее во время пребывания в Твери Давыда был разработан текст договора между Тверским княжеством и Новгородской феодальной республикой[1].

В 1317 г. из Орды вернулся князь Юрий Данилович. Посещение им Орды сопровождалось значительными для него политическими успехами. Он женился там на сестре хана—Кончаке, получил ярлык на великое княжение и привел с собою на Русь татарские отряды во главе с «послом» Кавгадыем и Астрабалом. Очевидно, теперь ордынский хан хотел при помощи московского князя помешать дальнейшему усилению княжества Тверского. Последующие события довольно подробно описаны в тверском летописании. Князь Михаил Ярославич с суздальскими князьями выступил навстречу Юрию Даниловичу и Кавгадыю. Встреча произошла у Костромы. Противники, расположившись на разных берегах Волги, некоторое время выжидали, а затем Михаил, после переговоров с Кавгадыем, очевидно, не решаясь начать военные действия, отказался от великого княжения («съступися великаго княжениа...») в пользу Юрия и вернулся в Тверь. Но это был лишь тактический маневр. Тверской князь готовился к новой борьбе за свои великокняжеские права и поэтому стал укреплять свою столицу («и заложи болшии град кремль»).

Юрий же с Кавгадыем и перешедшими на его сторону суздальскими князьями двинулся от Костромы на Ростов—Переяславль—Дмитров—Клин, по направлению к тверским владениям[2]. По Новгородской летописи, Юрий Данилович послал в Новгород за помощью татарского посла Телебугу, но новгородцы предпочли держать нейтралитет и в Торжке договорились с Михаилом Ярославичем, что не будут помогать ни одному из соперников («како не въступатися ни по одиномь»)[3]. Несколько иначе рисует позицию новгородцев тверское летописание, согласно которому новгородское правительство послало Юрию «помощь» «на великого князя Михаила». Прийдя в Торжок, новгородцы прежде всего договорились с Юрием о совместном выступлении против тверского правительства, а пока стали разорять границы Тверского княжества («грабити по рубежу»). Но Михаил Ярославич предупредил новго-

[1] НПЛ, стр. 335—337, 95. Текст упомянутого договора см. ГВНП, стр. 22—24, № 11. Об этом договоре см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 282—290.

[2] ПСРЛ, т. XV, стр. 409; т. XV, вып. 1, стр. 37.

[3] НПЛ, стр. 96, 337—338.

родцев, двинул против них войска и нанес им поражение. 200 новгородцев были убиты, и тогда остальные были вынуждены заключить с Михаилом мир и вернулись в Новгород.

В тверском летописании указано, что, двигаясь к Твери, войска Юрия и Кавгадыя причиняли много бед населению («много зла творяху христианом»). Это указание нельзя расценивать только как свидетельство недоброжелательного отношения летописца (отражавшего интересы тверских феодалов) к московскому великому князю. Летописец в данном случае говорит о том, что имело место в действительности. Московские войска уничтожали все на своем пути. Кроме того, надо иметь в виду, что, пользуясь татарской помощью, Юрий Данилович расплачивался за нее тем, что отдавал отрядам Кавгадыя на разграбление русские села и деревни.

Огнем и мечом прошли отряды Юрия и Кавгадыя по тверским «волостям», выжгли села и хлеб, забрали в плен мирных жителей («...села пожгоша и жито, а люди в плень поведоша...»). За 15 верст от Твери московское и татарское войско остановились, очевидно, не чувствуя себя в силах взять приступом столицу Тверского княжества. Между Михаилом Ярославичем и Кавгадыем начались переговоры, причем тверской летописец упрекает Кавгадыя в хитрости («а все с лестию»). Не договорившись о мирных условиях и в то же время не желая принимать боя в самой глубине Тверского княжества, где они могли бы оказаться в невыгодном положении, Юрий и Кавгадый отступили к Волге. Михаил «и мужи тверичи и кашинци» двинулись за ними.

Бой произошел в местечке Бортеневе, в 40 верстах от Твери. Он окончился победою тверских и кашинских военных сил. Юрий Данилович бежал в Новгород. Его брат Борис и жена, княгиня Кончака, были взяты в плен и уведены в Тверь. Кончака, по слухам, была в дальнейшем отравлена («уморена зельем»). Кавгадый велел своей дружине «стяги повръщи».

Михаил Ярославич явно не желал обострять в дальнейшем отношения с Кавгадыем, чтобы не ответить за это перед ордынским ханом. Он заключил с Кавгадыем мир и, по весьма скупому рассказу Тверского сборника, приведя его с дружиною в Тверь, «почтив его и отпусти»[1]. Летописи, отражающие политическую линию московской княжеской власти (Ермолинская, Львовская), резко говорят о поведении тверского князя в отношении ордынцев. Он «многу честь въздасть Кавгадыю и татаром его», а те льстили ему, говоря: «мы приходили на тебе неправедно с Юрьем без повеления царева»[2]. Совершенно ясно, что корректным обращением с Кавгадыем Михаил хотел обеспечить себе с его стороны поддержку в Орде, где он собирался дальше домогаться получения великого владимирского княжения. Возможно, что какие-то обещания Кавгадый Михаилу и дал.

---

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 409—410; т. XV, вып. 1, стр. 37—38.
[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 98; т. XXI, стр. 174.

У Михаила Ярославича произошла еще одна встреча с Юрием Даниловичем на Волге, куда последний явился из Новгорода вместе с новгородской и псковской помощью. До боя дело не дошло. Спор о правах на великое княжение между Юрием и Михаилом был перенесен в Золотую орду. По договоренности с Юрием Михаил выпустил брата Юрия—Афанасия и новгородцев, находившихся в Твери в качестве заложников[1], обязался также отпустить из плена его жену и брата Бориса[2].

Трудовой народ был разорен феодальной борьбой и изнемогал под тяжестью возраставших ордынских поборов. Так, в 1316 г. татарские послы Сабанчий и Казанчий «много зла сотвориша Ростову»[3]. В 1318 г. ордынский «посол лют именем Кочка» убил у Костромы 120 человек, затем пограбил город Ростов «и села и люди плени»[4].

В 1318 г. князь Михаил Ярославич направил в Орду своего сына Константина, а вслед за ним отправился туда сам. Перед этим Михаил, как сообщают Тверской сборник и Рогожский летописец, пытался договориться еще раз с Юрием и послал к нему в Москву посла, но московский князь убил последнего, а сам выехал в Орду.

В конце 1318 г. оба противника встретились в ставке золотоордынского хана. Там состоялся ханский суд над князем Михаилом Ярославичем, который был убит. В различных летописных сводах это событие изображено по-разному. В некоторых (как, например, в Симеоновской или Новгородской четвертой и пятой летописях)—очень коротко: «...убил царь Озбяк в Орде великого князя Михаила Ярославичя тверского... и привезоша его из Орды на Москву»[5]; «уби царь в Орде князя Михайлу тферьскаго и сына его Костяньтина (последнее не соответствует действительности), и бояр его, а великое княжение дасть Юрью»[6]. В большинстве же памятников летописания смерти Михаила посвящена подробная повесть в разных вариантах[7].

Один из таких вариантов помещен в Тверском сборнике и Рогожском летописце. Для него характерно следующее отношение к действующим лицам кровавой драмы, разыгравшейся в Орде. Князь Михаил—невинный страдалец, принимающий «нужную

---

[1] ПСРЛ, т. IV, стр. 49; т. IV, ч. 2, вып. 1, стр. 243.

[2] НПЛ, стр. 338, 96. Тогда же был заключен договор между Юрием Даниловичем, Михаилом Ярославичем и Великим Новгородом (ГВНП, стр. 25, 26, № 13 и стр. 24, № 12—первоначальный проект). О договоре см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 290—299.

[3] ПСРЛ т. VII, стр. 187; т. IV, ч. 2, вып. 1, стр. 243; т. I, вып. 3, стр. 243.

[4] ПСРЛ, т. VII, стр. 188; т. V, стр. 207; т. XXIV, стр. 108.

[5] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 89; т. I, вып. 3, стр. 529.

[6] ПСРЛ, т. IV, стр. 49; т. IV, ч. 2, вып. 1, стр. 529.

[7] О первоначальном тексте сказания о смерти Михаила Ярославича см. *В. О. Ключевский*, Древнерусския жития святых как исторический источник, М., 1871, стр. 71. Подробный анализ летописных повестей о смерти тверского князя дан в статье И. У. Будовница «Отражение политической борьбы Москвы и Твери в тверском и московском летописании XIV века», стр. 83—86.

смерть за христианы и за отчину свою» (т. е. за своих подданных и за свою землю). В это два понятия («христианы» и «отчина») здесь не вкладывается большого патриотического содержания («русский народ», «родина»). Михаил выступает в рассматриваемой повести скорее как законный владелец принадлежащего ему княжества, князь—вотчич. Виновником смерти Михаила, по данному варианту повести, является Кавгадый («началник всего зла, безаконный и проклятый»). Вместе с ним подкоп под Михаила ведет Юрий Данилович. Но последний является скорее пассивным соучастником злодеяния Кавгадыя, чем активным злодеем, стремящимся погубить своего соперника. Наконец, характерно, что разбираемая повесть довольно лояльно относится к Узбеку, хотя и именует его «безаконным». Не хан—инициатор убийства князя Михаила Ярославича. Поклеп на последнего совершил Кавгадый при участии Юрия, оба они «начаша вадити на великого князя Михаила...», обвиняя его в том, что, собрав «по грады многы дани», тот хочет «ити в Немци...» И в дальнейшем, когда хан по наветам Кавгадыя и Юрия предал Михаила суду своих «радцев», последние, «судивше» князя, «не рекоша правды ко царю, но виною оболгавше его безаконному царю Озбяку»[1].

Все эти особенности личных характеристик свидетельствуют, по-моему, о том, что данный вариант повести возник в феодальных кругах вскоре после смерти Михаила Ярославича, еще до антимонгольского восстания в Твери в 1327 г. Тверские феодалы хотели сохранить мирные отношения с Ордой (отсюда спокойное отношение со стороны автора повести к хану Узбеку и стремление снять с него ответственность за гибель Михаила). Политическая платформа тверского боярства в данное время заключалась и в прекращении усобицы между тверским и московским князьями (отсюда мирный тон в отношении Юрия Даниловича, виновность которого в смерти Михаила не отрицается, но в то же время и не подчеркивается).

Помещенная в Тверском сборнике и Рогожском летописце краткая характеристика Михаила Ярославича написана в трафаретно-житийном стиле. Но в этой характеристике есть одно заслуживающее внимания место. Михаил часто вспоминал «подвигы и терпениа святых мученик», пострадавших за православную веру, и хотел последовать их примеру («желаа сам тоа чаша испити...»). Ему и пришлось «приать блаженную страсть» «за многий род христианьскый». Только он пострадал не за веру, «якоже святии мученици», а «положил душу за другы своа». «...Неуклонно шествуа за порученныа ему богом люди...», он «прииде яко верный строитель ко своему владыце»[2]. И. У. Будовниц отметил, что автор повести «оттеняет исключительно политическую сторону дела», не пытаясь приписать Михаилу Ярославичу черты «защитника православной веры»[3].

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 410—412; т. XV, вып. 1, стр. 38—40.

[2] ПСРЛ, т. XV, стр. 413; т. XV, вып. 1, стр. 40—41.

[3] *И. У. Будовниц*, Отражение политической борьбы Москвы и Твери тверском и московском летописании XIV века, стр. 86.

Это, по-моему, правильная мысль. Текст рассматриваемой характеристики политически более глубок, чем текст повести об убийстве Михаила. Термин «многый род христианскый» в гораздо большей степени выражает понятие «русский народ» (в национальном смысле), чем несколько расплывчатый термин «христиане». В характеристике Михаила гораздо яснее звучит идея государственного «строительства». И Михаил Ярославич наделен чертами активного носителя этой идеи, готового положить душу «за друга своя», в то время как в изображении повести превалирует его «умиленное» и чисто пассивное ожидание мученической смерти. Думаю, все это дает основание предположить, что характеристика Михаила Ярославича составлена позднее повести о его смерти, может быть, во второй половине XIV в., когда уже определилась роль Москвы в качестве центра формирующегося Русского государства, а часть тверских феодалов хотела выдвинуть своего князя—героя, стремившегося укрепить Русь. Может быть, здесь мелькает и осуждение княжеских усобиц: Михаил погиб один («единый») за весь народ, в то время как другие князья уничтожают друг друга.

Особый вариант повести об убийстве Михаила в Орде помещен в летописях Ермолинской и Львовской. Здесь роль Узбека в расправе с тверским князем еще более снижена, чем в Тверском сборнике и Рогожском летописце. Его фигура почти незаметна. Применительно к нему не только отсутствует эпитет «безаконный», но он назван официально «царем». По сравнению с текстом Тверского сборника и Рогожского летописца и участие князя Юрия Даниловича в убийстве Михаила Ярославича представлено в Ермолинской и Львовской летописях еще менее значительным. Он действует здесь «*по совету Кавгадыеву*», в то время как в Тверском сборнике и Рогожском летописце *его имя стояло рядом с именем Кавгадыя* в качестве виновника (хотя и с меньшей долей ответственности) печальной судьбы тверского князя. В качестве обвинений, предъявленных Михаилу на суде, фигурируют три пункта: 1) неуплата дани в Орду («царевы дани не давал еси»); 2) сопротивление ханскому послу («противу посла билъся еси»); 3) отравление Кончаки, сестры хана Узбека, жены Юрия Даниловича («княгиню Юрьеву уморил еси»).

Вероятно, разбираемый вариант повести отражает московскую версию, возникшую примерно в княжение Калиты. Дипломатия Калиты в отношении ордынского хана Узбека, с войсками которого он в 1327 г. усмирял антитатарское восстание в Твери, отразилась на трактовке повестью о событиях 1318 г. роли хана в убийстве Михаила Ярославича (она абсолютно пассивна). Если прямо не признается, то и не отрицается вина Михаила перед ханом и перед Юрием Даниловичем московским. Это, конечно, позиция московских князей. Наконец, в интересах последних было изобразить Юрия Даниловича человеком, не стремящимся расправиться со своим соперником, и лицом, подчиняющимся распоряжениям ханского «посла» (этим как бы подчеркивалась лояльность московских

князей в отношении Орды). В данном варианте повести есть один яркий эпизод. Кавгадый, увидев нагое тело убитого тверского князя, обратился «сь яростью» к князю Юрию: «не брат ли ты стареши, как отець, да чему сяк поврьжено наго?» Тогда Юрий велел «покрыти» труп[1]. Таким образом, Юрий рисуется князем, не желающим надругаться над своим соперником, ни живым, ни мертвым но в своих действиях целиком зависящим от указаний Кавгадыя и даже боящимся без ведома последнего прикрыть наготу мертвого тела своего соотечественника.

Третий летописный вариант повести о событиях 1318 г. вошел в состав летописей Софийской первой, Воскресенской, Типографской. Этот текст отличается прежде всего большой витиеватостью. В идейном отношении в нем можно отметить ряд моментов, отличающих его от первых двух, выше изученных, вариантов. Прежде всего дается родословная Михаила Ярославича (отмечается его родство по прямой линии с великим князем владимиро-суздальским Всеволодом Юрьевичем) и подчеркивается его право (в порядке родового старшинства) на занятие великокняжеского стола: «...по старейшинству дошел бяше степень княжения великого». Тем самым в повести проводится мысль о том, что у Юрия Даниловича не было оснований добиваться великого княжения. В повести подчеркивается, что митрополит Максим отговаривал Юрия от поездки в Орду после смерти великого князя Андрея Александровича, обещая ему, что Михаил Ярославич, получив великокняжеский титул, поделится с ним своими владениями: «...чего въсхочешь из отчины вашеи, то ти дасть». Однако Юрий не послушался митрополита, дав ему несколько двусмысленный ответ: «хотя, отче, иду в Орду, но не хощу великого княжения».

Следующая идея разбираемой повести—это мысль об активной роли хана Узбека в разжигании вражды между русскими князьями. Узбек характеризуется как «царь», который «не пощадети нача роду христьяньского». Это он «своею казнию сплел ему [Михаилу] венець пресветел». Но личность Узбека интересует составителя повести не сама по себе, а с точки зрения той политики, которую проводят ордынские власти в отношении Руси. Они стараются ссорить князей между собой, обещая каждому из них за большие дары свое покровительство: «обычай бо поганых и до сех мест вмещуще вражду межю братии князей русьскых, и себе болшая дары взимаху». Подобная политика Орды вызывает междукняжеские усобицы («и бывши пре велице межи ими...») и приносит большое зло Руси, отягощение народу («...и бысть, тягота велика в Русьскои земли...»)[2].

Вероятно, рассматриваемый вариант повести об убийстве в Орде князя Михаила возник не ранее второй половины XIV в.—тогда, когда началась активная борьба Руси с Золотой ордой, и это обстоя-

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 99—100; т. XXI, стр. 175—176.

[2] ПСРЛ, т. V, стр. 207—215; т. VII, стр. 188—197; т. XXIV, стр. 108—114; т. XXV, стр. 161—166.

тельство оказало влияние на оценку русско-ордынских отношений в прошлом. Отсюда отрицательная оценка в данном тексте хана Узбека. В качестве гипотезы мне хочется высказать одну мысль: не был ли создан изучаемый вариант повести в связи с судебным разбирательством, производившимся в Орде в 1431—1432 гг. по делу о правах на великокняжеский стол московского князя Василия Васильевича II и его дяди, князя Юрия Дмитриевича галицкого? Юрий Дмитриевич ссылался как раз на то, что ему великое княжение должно принадлежать по праву старейшинства[1]. Суд в Орде над русскими князьями, происходивший в начале XV в., мог пробудить у современников интерес к суду, имевшему там место в начале XIV в. В связи с этим была переделана старая повесть о гибели в Орде Михаила тверского, причем в ней была заострена тема о вреде ордынской политики, направленной на возбуждение распрей в среде русских князей. Осуждались и сами князья за «свады» между собой, облегчающие татаро-монгольским захватчикам возможность сохранить свою власть над Русью.

Если, отрешившись от политических тенденций повести (в ее различных вариантах) о суде над тверским князем и его казни в Орде, попытаться воспроизвести реальную действительность, то следует сказать, что главными обвинениями, предъявленными Михаилу, были: утайка от Орды собранной дани или ее недобор и неповиновение ханскому послу[2]. Именно поэтому перед казнью Михаила в Орде над ним проделали следующую церемонию: как неоплатного должника привели его с колодой на шее «в торг», куда созвали «вся заимодавца» (т. е., по-видимому, тех ордынских ростовщиков-откупщиков дани, которые внесли ее за Михаила хану и теперь требовали возврата долга). Поставив князя на колено, Кавгадый при большом стечении народа «много словеса изорче» ему «досадна»[3]. Это была церемония, ставившая целью внушить страх русским князьям. Был ли причастен к казни Михаила Юрий Данилович? А. Н. Насонов считает, что нет, что Юрий являлся лишь «орудием ордынской политики», «верным слугой хана», «блюстителем ордынских интересов»[4]. Однако все, что мы знаем о Юрии Даниловиче, свидетельствует, что он активно добивался владимирского великого княжения. Поэтому вряд ли можно допустить, что он не содействовал Кавгадыю в расправе со своим соперником.

После убийства в Орде Михаила князь Юрий Данилович вернулся на Русь, захватив с собою в качестве заложников сына Михаила—Константина Михайловича и его бояр. В Москву было привезено из Орды тело покойного тверского князя. Во Владимире состоялось формальное примирение Юрия с другим сыном покой-

[1] ПСРЛ, т. VIII, стр. 95—96. Я не останавливаюсь на разборе текста Никоновской летописи о событиях 1318 г. (ПСРЛ, т. X, СПб, 1885, стр. 182—186), так как этот поздний текст не дает нового материала для характеристики политической борьбы на Руси в начале XIV в.

[2] *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 86.

[3] ПСРЛ, т. V, стр. 212.

[4] *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 88—89.

ного Михаила Ярославича—тверским князем Александром Михайловичем. Согласно версии тверского летописания, посредниками между двумя князьями выступили епископы ростовский и ярославский, которые позвали «князя Александра к князю Юрию в любовь». Другую версию находим в Ермолинской летописи, судя по которой сам тверской князь Александр Михайлович по совету матери принял меры к тому, чтобы договориться с Юрием, и для этого поехал во Владимир. Во всяком случае ясно, что хозяином положения в данный момент был Юрий Данилович. По словам летописи, тверские бояре «едва с молбою» уговорили его отдать им тело Михаила Ярославича, которое и было похоронено в Твери. Из Твери же было перевезено в Ростов и там погребено тело жены Юрия—Кончаки. Стремясь держать под своим контролем тверское правительство, Юрий принял меры к тому, чтобы сделать своим подручным князя Константина Михайловича тверского, и в этих целях устроил его брак со своей дочерью Софьей[1].

Затем Юрий попытался закрепить за собой Новгород, послав туда своего брата Афанасия[2].

Дальнейшие московско-тверские отношения были связаны с взаимоотношениями Руси с Ордой и Литвой. Тверской князь Дмитрий Михайлович (сын Михаила Ярославича) явно ориентировался на союз с Великим княжеством Литовским. В 1320 г. он вступил в брак с дочерью литовского князя Гедимина—Мариею. Московские же князья поддерживали тесную связь с Ордой, содействуя ордынским откупщикам и ростовщикам в выколачивании налогов с русского населения. По возвращении Юрия из Орды к нему явился ордынский посол Байдера, причем, по сообщению летописи, татары «много зла учиниша» во Владимире. В 1320 г. «злии татарове» появились в Ростове, но восставшие горожане изгнали их из города («...и собравшеся людие, изгониша их из града»). Тогда же брат Юрия Иван Данилович отправился в Орду, очевидно, для переговоров по вопросу об уплате «выхода» и по другим вопросам русско-ордынских взаимоотношений. В 1321 г. в Кашин нагрянули татарин Гаянчар «с жидовином должником» (т. е. заимодавцем, в долгу у которого были местные князья) и «много зла учиниша» местным жителям[3].

В связи с рассказом о кашинских событиях летописи сообщают, что Юрий Данилович «со всею силою низовскою и суздалскою» двинулся к Кашину. По-видимому, целью его похода было помочь ордынским ростовщикам в сборе денежных средств с населения. Одновременно он стремился упрочить свою власть над Тверским княжеством. Против рати, приведенной Юрием, выступил Дмитрий тверской с братьями, «с тверским полком и с кашинским». Встреча

---

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 412—414; т. XV, вып. 1, стр. 40—41; т. I, вып. 3, стр. 529; т. VII, стр. 197—198; т. XXIII, стр. 101; т. XXV, стр. 166.

[2] НПЛ, стр. 96, 338.

[3] ПСРЛ, т. XV, стр. 413—414; т. XV, вып. 1, стр. 41; т. X, стр. 187; т. I, вып. 3, стр. 530 т. XXIII, стр. 101.

противников состоялась на Волге. До битвы дело не дошло. Юрий Данилович заключил с Дмитрием Михайловичем мирное «докончание». Дмитрий не должен был в дальнейшем «княжениа великаго подъимати» и обязался уплатить Юрию две тысячи «сребра», очевидно, для передачи в Орду. По-видимому, великий князь московский хотел сосредоточить в своих руках сбор с русских княжеств дани и контроль за ее доставкой ханам. Однако, получив у тверских князей «сребро... выходное», Юрий отправился с взятыми деньгами не в Орду, а в Новгород[1]. А. Н. Насонов не усматривает у московского князя намеренного желания утаить от Орды выход[2]. Однако все его дальнейшее поведение (длительное пребывание в Новгороде, стремление заручиться симпатиями местного населения) дает право предположить, что Юрий сделал попытку освободиться от тягостной опеки Орды.

Желая упрочить свое политическое влияние в пределах Новгородской феодальной республики, Юрий Данилович пытается возглавить организацию обороны северо-западных русских границ. В 1322 г. он велел ремонтировать в Новгороде стенобитные орудия («повеле порокы чинити»), затем во главе новгородцев отразил нападение шведов на Корелу и руководил осадой Выборга (взять город новгородцам не удалось). В 1323 г. московский великий князь заложил у истоков Невы, на Ореховом острове, каменный город Орехов (Ореховец, Орешек). Тогда же был заключен Ореховецкий договор, определивший русско-шведские границы. В 1324 г. Юрий с новгородскими войсками совершил поход на Устюг, который был взят «на щит». Устюжские князья были вынуждены просить новгородцев, чтобы те заключили с ними «мир по старой пошлине»[3].

Между тем, воспользовавшись длительным пребыванием Юрия Даниловича в Новгороде, его соперник—князь Дмитрий Михайлович тверской снова стал добиваться в Орде ярлыка на великое княжение. В 1322 г. это ему удалось («шед в Орду», он «взя княжение великое под князем Юрьем...»). Вместе с Дмитрием на Русь пришел ордынский посол Севенчьбуга. В то же время при дворе ордынского хана активно действовал брат Юрия—Иван Данилович. Можно думать, что, воспользовавшись отсутствием Юрия, он решил при помощи ордынского хана сам добиваться власти над Русью. В 1322 г. Иван Данилович прибыл на Русь вместе с ханским «послом» Ахмылом, которому было поручено вызвать Юрия в Орду. Ахмыл со своим отрядом разграбил русские земли, «много пакости сътвори» населению, захватил Ярославль и «пожже мало не весь», а люди «иссече» и «много полона взя», «иде в Орду».

Юрий Данилович, после того как вернулся из похода под Выборг, очевидно, понимая, что политическое влияние в пределах Северо-Восточной Руси ускользает из его рук, отправился из Нов-

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 44; т. XV, вып. 1, стр. 41; т. VII, стр. 198; т. XXIII, стр. 101; НПЛ, стр. 96, 338.

[2] *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 90.

[3] НПЛ, стр. 339, 96; ГВНП, стр. 67, № 38.

города «на Низ», захватив с собою «казну», по-видимому, с тем, чтобы покрыть свой долг в Орде. Но на реке Урдоме (притоке Волги) его подкараулило тверское войско под предводительством князя Александра Михайловича. «Казна» у Юрия была отнята, а сам он был принужден бежать в Псков, откуда по приглашению новгородского правительства вернулся на княжение в Новгород.

Лишь в 1325 г. Юрий снова отправился в Орду. Туда же прибыл его соперник—тверской князь Дмитрий Михайлович. Встреча двух князей закончилась трагически для них обоих. Дмитрий Михайлович убил Юрия. Летописи подчеркивают, что это был акт самоличной расправы, без непосредственного предписания хана («без царева повеления»). Однако молчаливое согласие хана на убийство Юрия, переставшего быть его слугой, вероятно, имелось. Затем, уже по предписанию Узбека, были казнены Дмитрий Михайлович и князь Александр новосильский. Великокняжеский стол был передан князю Александру Михайловичу тверскому[1].

* * *

Подводя итоги предшествующему изложению, надо сказать, что в первой четверти XIV в. татаро-монгольское иго весьма ощутимо тяготело над Русью. Борясь за политическое первенство на Руси, отдельные русские князья не выступали против Золотой орды, а действовали как исполнители ханской воли. Как только они переставали это делать, Орда расправлялась с ними. Борьба с Ордой велась самим народом в форме стихийных восстаний, возникавших главным образом в городах. Князья еще не пытались возглавить освободительное движение горожан. Для этого у них пока не было должных материальных предпосылок и сил. Но поддержка городов в значительной мере определяла успехи тех или иных князей в политической борьбе друг с другом. Из длительной феодальной войны между Московским и Тверским княжествами, ведшейся в первой четверти XIV в., первое вышло значительно окрепшим. Москва еще не стала центром государственного объединения земель Северо-Восточной Руси и национально-освободительной борьбы. Но ее политическая роль значительно возросла.

§ 2. Народное восстание в Твери в 1327 г.

Вскоре после того, как Александр Михайлович получил ярлык на великое княжение, в Тверь был послан из Орды баскак Чол-хан (Шевкал, Щелкан Дюдентевич) с татарским отрядом. Отправляя его, ордынский хан хотел поставить великого князя под свой контроль. Укрепление татаро-монгольского властвования на Руси было

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 101—102; т. I, вып. 3, стр. 530; т. IV, стр. 49—50; т. V, стр. 216—217; т. VII, стр. 198—199; т. X, стр. 189—190; т. XV, стр. 414—415; т. XV, вып. 1, стр. 42; т. XVI, стр. 62—64; т. XVIII, стр. 89—90; т. XXI, стр. 177; т. XXIV, стр. 114—115.

ответом на антитатарские восстания в русских землях 20-х годов XIV в. Притеснения, которым подвергал тверское население Чол-хан, вызвали массовое возмущение, вылившееся в крупное народное движение[1]. Для того, чтобы восстановить его ход, раскрыть его смысл и выяснить движущие силы, необходимо сличить между собой текст различных летописей, освещающих тверские события 1327 г.

В Рогожском летописце и в Тверском сборнике помещен рассказ о восстании 1327 г. в Твери в наиболее ранней редакции[2]. Рассказ этот, представляющий собой непосредственную запись одного из современников указанного события, дополнен в начале рассуждениями другого автора, какого-то книжника, пронизанными религиозной сентенцией о злых замыслах золотоордынских татар в отношении Руси. Автор этого рассуждения, сказав в трафаретно-книжных выражениях о кознях дьявола, жертвой которого делаются грешные люди, приписывает этим козням совет, данный якобы «безбожными татарами» золотоордынскому хану («безаконному царю») убить князя Александра Михайловича тверского и других русских князей, ибо только таким путем он сможет достичь полной власти над Русью («аще не погубиши князя Александра и всех князей русских, то не имаши власти над ними»).

Исполнителем этого дьявольского совета явился, по данной летописной версии, Шевкал (Чол-хан)—«безаконный и треклятый всему злу начальник, ...разоритель христианскыи, ...диаволом учим...» Он якобы заявил хану: «...аще ми велиши, аз иду в Русь и разорю христианство, а князя их избию, а княгини и дети к тебе приведу». Хан согласился с этим планом.

Далее в Рогожском летописце и в Тверском сборнике говорится, что Чол-хан «с многыми татары» пришел в Тверь, прогнал тверского великого князя из его дворца, сам занял «с многою гордостию и яростию» великокняжеский дворец и начал притеснять население («и въздвиже гонение велико на христианы насилством, и граблением, и биением, и поруганием»).

Мирные тверские жители («народи же гражанстии»), много терпевшие от Чол-хана и его отряда, неоднократно жаловались своему князю и просили, чтобы он «их оборонил». Великий князь Александр Михайлович, «видя озлобление людии своих» и не будучи в состоянии «их оборонити», призывал их к терпению («трьпети им

[1] О восстании в Твери в 1327 г. см. *Я. С. Лурье*, Роль Твери в создании Русского национального государства («Ученые записки Ленинградского Государственного университета», № 36, серия историческая, вып. 3, Л., 1939, стр. 103—109); *Н. Н. Воронин*, «Песня о Щелкане» и тверское восстание 1327 г. («Исторический журнал», 1944, № 9, стр. 75—82); *М. А. Ильин*, Тверская литература XV в. как исторический источник («Труды Московского Государственного Историко-архивного института», т. III, Кафедра истории СССР, М., 1947, стр. 36—42); *И. У. Будовниц*, Отражение политической борьбы Москвы и Твери в тверском и московском летописании XIV века, стр. 88—93.

[2] О тверском летописании см. *А. Н. Насонов*, Летописные памятники Тверского княжества (Опыт реконструкции тверского летописания с XIII до конца XVI в.)—«Известия Академии наук СССР», VII серия, Отделение гуманитарных наук, 1930, № 9, стр. 739—772.

веляше»). Но народ не смог дольше выносить притеснения Чол-хана и выжидал лишь удобное время для того, чтобы поднять восстание («и сего не трьпяще, тферичи искаху подобна времени»)[1].

На этом заканчивается первая часть летописного текста, посвященного тверским событиям 1327 г. Далее следует описание самого восстания в Твери, отличающееся по стилю от только что рассмотренной вводной к нему части. Как уже указано, данная вводная часть написана каким-то тверским книжником-летописцем, излагавшим события этого времени и привлекшим в качестве одного из источников запись о том, как были перебиты в 1327 г. татары.

Прежде чем переходить непосредственно к анализу этой записи, надо ответить на два вопроса, относящиеся к только что изложенному тексту: 1) какова его общая политическая тенденция? 2) Какие реальные факты нашли в нем отражение?

Летописцу присущи антиордынские настроения. Он возмущается поведением Чол-хана, он с большим сожалением относится к жителям Твери. Но это лишь одна из тенденций, проявившихся в его изложении. Другая тенденция выражена в словах великого князя Александра Михайловича—это мысль о необходимости терпения, о бесполезности и даже вредности открытых активных действий против татар. Такая мысль проводится, как увидим ниже, и дальше, в рассказе о событиях в Твери, имевших место вслед за восстанием 1327 г. Очевидно, определенная часть феодальных кругов Твери выступала в отношении Орды сторонницей мирной тактики, считала, что надо было добиваться от ордынского хана вывода Чол-хана, а не пытаться расправиться с ним. Это—тактика, объективно означавшая осуждение народного движения.

Какие реальные данные можно извлечь из текста Рогожского летописца и Тверского сборника о событиях, непосредственно предшествующих восстанию в Твери 1327 г.? Вряд ли можно найти печать реальности в приводимых летописцем рассуждениях золотоордынских татар о необходимости истребления всех русских князей. Это, вероятно, скорее своеобразное обобщение самим летописцем тех актов убийства в Орде ряда русских князей, которые имели место в начале XIV в., актов, представленных в летописи как единая политическая линия Орды, которую она хочет довести до логического конца. Но, посылая в Тверь Чол-хана, золотоордынский хан, по-видимому, действительно имел в виду укрепить свою власть на Руси. Передача в управление могущественному ханскому баскаку одного из наиболее крупных политических пунктов Северо-Восточной Руси, выступавшего в это время в качестве возможного центра объединения русских земель, преследовала цель усиления золотоордынского влияния на русских князей, установления за их политикой контроля со стороны хана.

Весьма правдоподобны сведения летописи о поведении Чол-хана, занявшего великокняжеский дворец и ставшего как бы над великим

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 42—43; т. XV, стр. 415—416.

князем, хотя власть последнего никем не упразднялась. Столь же правдоподобны данные о том, что политика Чол-хана вызвала всенародное негодование («озлобление»), что сначала это негодование проявлялось лишь в форме жалоб князю—легальной форме выражения народом своего недовольства,— затем возбуждение стало накапливаться, и народ лишь выжидал удобного случая, чтобы выступить открыто против притеснителей. Летописный текст позволяет предполагать, что если не было вполне продуманной, организованной подготовки восстания против золотоордынских ставленников, то во всяком случае то, что произошло в городе 15 августа 1327 г., никак нельзя рассматривать как простую случайность. Почва для восстания уже имелась, к нему готовились, нужен был лишь сигнал к выступлению, причем таким сигналом могло послужить малейшее столкновение горожан с татарами. Можно сказать, что народ ждал повода для того, чтобы подняться на борьбу, потому что был готов сделать это и знал, что восстание произойдет. Показательна и позиция великого князя Александра Михайловича. Связанный тем, что над ним нависла чуждая власть, он проявляет политическую беспомощность, бездеятельность и устраняется от активного участия в надвигающихся событиях. Его тактика—это тактика выжидания: он воспользуется плодами восстания, если оно будет удачно, но он отведет от себя гнев хана в случае провала движения указанием на то, что он призывал народ к «терпению» и не принял участия в его действиях.

Переходим к рассмотрению самого движения 15 августа 1327 г., которое, как было отмечено, описал какой-то современник. Оно началось рано утром, «как торг сънимается». И место восстания («торг») и время (начало торговли) очень показательны. Как раз там, где бывает больше всего горожан, и в те часы дня, когда замечается их особенный наплыв, должно было произойти решительное выступление против татар, которого многие, вероятно, ждали. Восстание вспыхнуло, казалось бы, по ничтожному поводу. Один дьякон, по прозвищу Дудко, вел лошадь («кобылицу младу и зело тучну») к Волге, чтобы напоить ее водой, татары отняли лошадь, дьякон закричал: «О, мужи тферстии, не выдавайте!»—горожане откликнулись на его зов, и между ними и татарами началась драка. Весь этот рассказ полон непосредственности. Здесь, как почти можно быть уверенным, нет ничего выдуманного. И в этом простом и как бы протокольном описании событий содержится целая концепция восстания, которую не надо привносить исследователю. Вероятно, ни дьякон, спускавшийся к Волге, ни многие из тех, кто вышел в это утро на торг, не знали, что из-за его молодой кобылицы разыграется кровавая драма. Но призыв дьякона к тверским «мужам» прозвучал как набат и был ими воспринят как таковой именно потому, что все ждали чего-то такого, что должно поднять народ. Народное терпение было настолько истощено, что скрытый гнев мог прорваться в любой момент наружу.

«Бой» горожан с татарами перешел в «сечу», так как татары,

считая себя облеченными полнотой власти и поэтому безнаказанными («надеющеся на самовластие»), пустили, по-видимому, в ход холодное оружие. К месту «сечи» подходили все новые люди («сътекошася человеци»), началось было смятение («смятошася людие»), но оно быстро сменилось в какой-то мере организованным народным выступлением. Это произошло потому, что зазвучали приведенные в ход чьими-то руками все имевшиеся в городе колокола («и удариша в вся колоколы»), созывая людей на вече. И далее, судя по рассказу, действует уже не случайная кучка людей, привлеченная криком ограбленного дьякона, а выступает «град», как организация горожан, принявшая определенное решение на вече, как общенародном собрании («и сташа вечем, и поворотися град весь, и весь народ в том часе събрася...»). «Бой» и «сеча» вылились в «замятню»— народное восстание.

Разбираемый текст содержит, во-первых, рельефное противопоставление поведения татар, расцениваемого автором как полнейший произвол («самовластие»), и тверских горожан, дающих этому произволу единодушный отпор. Столь же рельефно показано нарастание событий и переход их в высшее качество. Если дело началось со столкновения с иноземными насильниками части горожан, заступившихся за своего земляка, и это столкновение грозило перейти в стихийно ширившееся, но беспорядочное побоище, то в ходе движения оно принимает характер общенародного движения, направляемого вечем и проходящего под определенными лозунгами. Эти лозунги, подготовленные, как можно думать, еще раньше, а сейчас выдвинутые на вечевом собрании, призывали к уничтожению всех татар, вплоть до самого Чол-хана. «...И кликнуша тферичи, и начаша избивати татар, где которого застропив, дондеже и самого Шевкала, и всех по ряду». Из приведенных слов ясно, что избиение татар было делом не просто возбужденной, разошедшейся и не знавшей удержу толпы. Автор описания тверских событий 15 августа 1327 г. видит в этом избиении исполнение решения веча, акт расправы с угнетателями по народному приговору. И производилась расправа, как можно судить по приведенному тексту, не беспорядочно, а в соответствии с каким-то, хотя и в весьма общих чертах, намеченным планом, «по ряду», т. е. по договоренности, по приговору,— так, чтобы никто не избежал уготованной ему участи. Этот план, конечно, повторяю, лишь в самых грубых контурах определявший линии восстания, предусматривал, чтобы в конце концов не осталось никого из татар, кто мог бы сообщить в Орду о случившемся («не оставиша и вестоноши»). И только пастухи, пасшие конские стада в окрестностях Твери, воспользовавшись наиболее быстроходными конями, ускакали на них в Орду и Москву, принеся туда весть об убийстве Чол-хана («...иже на поли пастуси стадо коневое пасущеи, тии похватавше лучшеи жеребци, и скоро бежаша на Москву и тамо возвестиша кончину Шевкалову»).

На этом заканчивается рассказ современника о тверском восстании 15 августа 1327 г. Другой автор, включивший этот рассказ

в текст летописного свода, говорит о последующих событиях на Руси. Из Золотой орды была прислана «на землю Русскую» карательная экспедиция («рать») во главе с пятью «темниками», из которых особенный страх внушал народу «воевода» Федорчук. Множество русских людей было перебито татарами, некоторые взяты в плен, Тверь и города Тверской земли сожжены. Тверской великий князь Александр, «не трьпя безбожныя их [татар] крамолы», бежал с семьей в Псков, «оставль княжение Русское и вся отъчствиа своя». Тогда же в Орде был убит князь Иван Ярославич рязанский. Сокрушаясь по поводу всех этих несчастий, обрушившихся на Русь, летописец в то же время видит в них результат антитатарского восстания тверских горожан, не послушавшихся своего князя, который «трьпети им веляше».

Религиозно-моралистический аспект летописного повествования осложняется определенной политической тенденцией в той его части, где автор говорит о Москве и московском князе Иване Даниловиче Калите. Умалчивая об участии последнего в действиях карательной экспедиции, прибывшей из Золотой орды, летописец пишет: «великыи же Спас, милостивыи человеколюбець господь своею милостию заступил благоверного князя великаго Ивана Даниловича и его град Москву и всю его отъчину от иноплеменник, поганых татар». Из летописного контекста следует, что здесь перед нами не просто молитвенное обращение к господу богу, а определенная политическая формула под религиозной оболочкой. Слова «великий милостивый Спас» указывают на Спасский собор в Твери и олицетворяют Тверское княжество как одну из богом хранимых русских земель. На мой взгляд, в приведенном выше тексте, если сопоставить его с введением к рассказу о тверском восстании, можно уловить примерно такую мысль: бог наказал за грехи русских людей Тверскую землю; тверичи не захотели терпеть этого наказания и восстали; за это их земля еще раз была предана огню и мечу со стороны иноплеменников; но тем самым Тверь искупила грехи русского народа, приняла на себя весь божий гнев, обрушившийся на нее в лице «Федорчуковой рати», и спасла от возмездия всевышнего другие русские земли и прежде всего Москву. В рассматриваемом летописном тексте мы можем вскрыть и религиозную философию, и политическую концепцию. Мы можем найти в нем и осуждение (правда, в спокойно-повествовательном тоне) инициативы народа, учинившего избиение татар, и косвенное (хотя и весьма завуалированное) оправдание действий Ивана Калиты, выступившего вместе с татарскими темниками против своих же соотечественников (о чем прямо вообще не говорится). Наконец, чувствуется защита летописцем своего собственного тверского князя Александра Михайловича от возможных обвинений и со стороны Орды—в противодействии ей (доказывается его непричастность к антитатарскому восстанию и даже отрицательное к нему отношение), и со стороны русских людей—в измене национальному делу (указывается, что он не мог вынести татарских насилий и ушел в Псков).

Наконец, внимание летописца устремляется на деятельность тверских князей Константина и Василия Михайловичей по восстановлению Твери после татарского погрома. В его повествовании здесь опять звучит мотив о Твери как богохранимом городе, о том, что милость «великого Спаса» распространяется на тех, кто «избыл от безбожных татар» и вернулся «по своим местом». Люди, понесшие наказание и теперь «преставше от тугы», думают о возведении божиих церквей, «дабы в них молитва опять была»[1].

Когда и в каких кругах могла сложиться такая концепция восстания 1327 г.? Думаю, что при дворе тверских князей, вскоре после того, как Иван Данилович Калита получил ярлык на великокняжеский стол, а Тверь несколько оправилась от татарского погрома. Политические позиции тверских князей были слабы. Им надо было ладить и с Москвой и с Ордой. Эта политическая неустойчивость нашла отражение и в той оценке восстания в Твери, которая дана в Рогожском летописце и в Тверском сборнике.

Но ценность этих двух памятников летописания заключается в том, что при всей их тенденциозности они воспроизводят наиболее близкую к реальной действительности версию о тверском восстании 1327 г. как чисто народном движении. Указанные летописные памятники довели до нас живой и яркий рассказ современника, полный интересных деталей, позволяющих воссоздать конкретную, социально и политически насыщенную картину антитатарского выступления тверских горожан. Картина эта далеко не укладывается в ту схему русско-татарских отношений, которая создана летописцем, своей жизненностью она разрывает сеть морально-религиозных сентенций, им сплетенных.

В связи с рассказом Рогожского летописца и Тверского сборника о событиях 1327 г. в Твери как народном восстании следует коснуться вопроса о том, какое отражение нашли эти события в устном народном творчестве. Таким памятником устного народного творчества является песня о Щелкане Дюдентевиче, сохранившаяся в четырех вариантах: 1) одном наиболее раннем и наиболее полном («Сборник Кирши Данилова» середины XVIII в.)[2] и 2) трех сравнительно поздних и сокращенных (запись А. Ф. Гильфердинга 70-х годов XIX в.)[3]. Лишь в полном варианте песни говорится о деятельности Щелкана в Твери и его убийстве, в вариантах сокращенных конец песни утрачен. А. Д. Седельников предполагал, что песня о Щелкане Дюдентевиче возникла в годы царствования Ивана Грозного, а сюжетом для нее послужили те насилия, которые чинил в Твери в 1569 г. во время похода Ивана Грозного на Новгород шурин царя Михаил

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 43—44; т. XV, стр. 415—416.

[2] «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым», М.—Л., 1958, стр. 28—32.

[3] «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г.», т. III, изд. 4, М.—Л., 1951, стр. 273—275, № 235; стр. 404—405, № 269; стр. 451—453, № 283.

Темрюкович[1]. Но точка зрения А. Д. Седельникова не принята в советской исторической науке и ряд более поздних исследователей (Н. Н. Воронин, И. У. Будовниц и др.), на мой взгляд, совершенно справедливо связывают песню о Щелкане Дюдентевиче с событиями в Твери 1327 г.

Анализ песни о Щелкане Дюдентевиче (в основу которого должен быть положен наиболее полный ее текст, с дополнительным привлечением сокращенных вариантов) убеждает в том, что в ней прежде всего нашло отклик тверское восстание 1327 г., но этот основной сюжет преломился сквозь призму несколько более поздних событий, относящихся уже к началу XV в.

Начальным местом действия, на котором завязывается песня, является Большая орда («А и деялося в Орде, передеялось в Большой»). Поскольку здесь фигурирует Большая орда (очевидно, наряду с какими-то другими ордами, песнею не называемыми), можно думать, что текст песни относится не к XIV, а к XV в., не к моменту наибольшего политического единства и могущества Золотой орды, а ко времени, когда уже нарастали предпосылки для ее распада. Об этом же свидетельствует и образ хана «Азвяка Таврулович» («Возвяка Таврольевича»), нарисованный в песне с известным сатирическим оттенком: «На стуле золоте, на рытом бархате, на червчатой камке сидит тут царь Азвяк, Азвяк Таврулович, суды рассуживает и ряды разряживает, костылем размахивает по бритым тем усам, по татарским тем головам, по синим плешам». Изображенный таким образом «Азвяк Таврулович» не внушает особого почтения или страха, а скорее вызывает насмешки.

«Царь Азвяк» решил одарить своих шурьев русскими «городами стольными: Василья на Плесу, Гордея к Вологде, Ахрамея к Костроме»[2]. Ничего не пожаловал он сначала лишь своему любимому шурину (по другим вариантам—«зятюшке») Щелкану Дюдентевичу. Откуда взяла песня эти сведения? Ведь наиболее ранние летописные тексты, касающиеся Чол-хана (Щелкана), ничего не говорят о пожалованиях ханом Узбеком русских городов своим слугам. Вероятно, это какое-то осмысливание русско-ордынских отношений прошлого в свете более поздних событий. Не могло ли найти поэтическое преломление в песне то обстоятельство, что во время нашествия на Русь Едигея в 1409 г. с ним вместе явились из Орды четыре царевича: Бучак, Тегриберди, Алтамырь, Булат[3]. О четырех шуринах Узбека, отправленных им на Русь, говорит и песня о Щелкане. Можно отметить даже некоторые созвучия имен, фигурирующих в летописи и в песне: Тегриберди—Гордей, Алтамырь—Ахрамей. Мне думается, вполне возможно предположить, что песня поэтически обобщила материал русско-ордынских отношений второй

[1] *А. Д. Седельников*, Песня о Щелкане и близкие к ней по происхождению («Художественный фольклор», т. IV—V, М., 1929, стр. 43 и сл.).

[2] Согласно более поздним вариантам песни, записанным Гильфердингом, города получили два лица: Фома (Хома)—Токму (Тотьму), Ерема—Новгород.

[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 155.

четверти XIV и начала XV в. Это предположение подтверждается и некоторыми дальнейшими наблюдениями.

Песня указывает, что Щелкан Дюдентевич первоначально не получил в дар от хана города на Руси, так как в тот момент, когда хан распределял города, «его дома не случилося, уезжал то млад Щелкан в дальнюю землю Литовскую, за моря синие[1], брал он, млад Щелкан, дани, невыходы, царски невыплаты». Итак, Щелкан поехал из Орды собирать дань в Литву в тот момент, когда в Орде шел раздел русских городов между ханскими шурьями. Значит, «царь Азвяк» и его приближенные стремятся поживиться и за счет русских и за счет литовских земель. Конечно, перед нами памятник поэтического творчества, непременным элементом которого является вымысел, фантастика. Но и вымысел обычно возникает на основе сплетения каких-то элементов реальной действительности. И в песне о Щелкане, думается, отразился какой-то период в истории Орды, когда она, наступая на Русь, старалась усилиться и за счет ослабления Литвы. Таким периодом было время Едигея, который, по свидетельству русской летописи, натравливал друг на друга Московское и Литовское княжества («...вражду положи межи има...»)[2].

Картина сбора дани Щелканом в Литве характерна, поскольку она показывает, как в народном сознании запечатлелись те насилия и бесчинства, которые творили татаро-монгольские захватчики на Руси. Щелкан «с князей брал по сту рублев, с бояр по пятидесят, с крестьян по пяти рублев; у которого денег нет, у того дитя возмет; у которого дитя нет, у того жену возмет; у которого жены-то нет, того самого головой возмет». Здесь перед нами не только поэтические образы. Здесь ряд бытовых деталей, характеризующих социальные отношения и осознание этих отношений народом. Хотя, говорит песня, с князей и бояр Щелкан брал гораздо большие денежные суммы, чем с крестьян, но вся тяжесть сбора недоимок падала на крестьянство (под этим термином, очевидно, имеется в виду и сельское и городское население), у которого уже ничего не осталось для уплаты татарам. Должникам приходилось продавать в рабство жен, детей, самим отрабатывать долг по выплате дани, становясь холопами.

Пожалуй, еще более красочная картина фискального нажима на население, проводившегося Щелканом Дюдентевичем, дана в тех вариантах песни, которые приведены Гильфердингом: «Он де с поля брал по колосу, с огороду по курици, с мужика по пяти рублей» (или: «чорт-от с улицы брал по курицы, со избы брал он по петуху, со бела двора он по добру коню»). Интересно, что, во-первых, объектом взысканий здесь являются не князья и бояре, а тяглое население; во-вторых, хорошо показан урон, который наносили эти взыскания народному хозяйству в городе и деревне. Характеристика

[1] По записи Гильфердинга: «Он уехал в землю жидовскую, во жидовскую землю Литовскую».

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 156.

результатов деятельности Щелкана, приведшей к массовому разорению и закабалению народа, дана в песне (в вариантах, записанных Гильфердингом) в следующих выражениях: «у Щелкана не выробишься, со двора вон не вырядишься» (или: «где ли Щелкан побывал, как будто Щелкан головней покатил»).

Образ Щелкана Дюдентевича, возвратившегося из Литвы на дорогом коне, с богатой сбруей, олицетворяет облик татаро-монгольского захватчика, разбогатевшего на грабеже завоеванного трудового населения. В то же время вырисовывается фигура ханского приспешника, для которого «царь Азвяк» не жалеет даров и который хвастается царской милостью. «Вывел млад Щелкан коня во сто рублев, седло во тысячу, узде цены ей нет. Не тем узда дорога, что вся узда золота, она тем узда дорога—царское жалованье, государево величество; а нельзя, дескать тое узды ни продать, ни променять и друга дарить, Щелкана Дюдентевича».

Приехав из Литвы, Щелкан обращается к хану с просьбой пожаловать его «Тверью старою, Тверью богатою» (другой вариант: «Тверью славною», «Тверью богатою»), «двумя братцами родимыми, дву удалыми Борисовичами». Здесь песня воспроизводит реальный факт посылки в Тверь в 1327 г. Чол-хана. В эпитетах, которыми награждается этот город, чувствуется гордость за него. Можно думать, что песня возникла в среде горожан и отразила их настроения. Удалые братья Борисовичи—это, как хорошо доказал Я. С. Лурье (а его доказательства подкрепил дополнительными соображениями Н. Н. Воронин), тверской тысяцкий с братом, потомки Бориса Федоровича Полового. Характерно, что в песне Тверской посад неразрывно связывается с тысяцкими, как представителями городского населения. Щелкан просит хана пожаловать его Тверью и передать под его власть тверского тысяцкого с братом. Не лишнее ли это доказательство того, что песня сложилась в среде горожан? Тысяцкие были выходцами из боярства, но их политический авторитет в значительной мере определялся тем, в какой мере их поддерживают горожане.

«Царь Азвяк» соглашается исполнить просьбу Щелкана Дюдентевича лишь при условии, что он убьет своего сына и напьется его крови. «Гой еси, шурин мой Щелкан Дюдентевич!»—говорит «Азвяк Таврулович»,—«Заколи-тко ты сына своего, сына любимого[1], крови ты чашу нацади (или: «нацади токо чашу руды, токо чашу серебряную»), выпей ты крови тоя, крови горячия; и тогда я тебя пожалую...». Щелкан выполнил предложение хана, и тот отдал ему Тверь.

В чем смысл этого эпизода? Прежде всего подчеркивается кровожадность Щелкана. Прототипом для этого образа злодея, упивающегося кровью своего сына, мог служить не только Чол-хан (вторая четверть XIV в.), но и Едигей (начало XV в.). Характерно, что летопись называет последнего «кровожелательным зверем»[2]. При этом

[1] В одной из записей Гильфердинга приводится имя этого сына: Гордей Щелканович.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 156.

летопись указывает, что кровавые замыслы Едигея распространялись на московского князя Василия I Дмитриевича, которого он, скрывая эти замыслы, называл своим сыном («зломысленыи же Едигеи, иже иногда зовыится отцомь Васильеви, яд же аспиден под устнами его скрывая ношаше, ненавидя любляше, на любимаго еже именоваше сына собе Василья время похыщь, вместо добра съгубительством неусыпно грядаше»...)[1]. Если сопоставить между собой имеющуюся в песне деталь с кровью убитого сына, выпитой Щелканом, и рассказ летописи о кровожадном Едигее, расставляющем сети своему названному сыну—московскому князю, то, может быть, можно более глубоко понять значение первого эпизода в общем поэтическом замысле всего произведения. Не означает ли по этому замыслу испытание, предложенное ханом Щелкану, своего рода проверку: сможет ли он повести себя в Твери так, чтобы сломить сопротивление местного князя, хватит ли у него для этого злобы и коварства? И характерно, что тверской князь в песне не фигурирует. Почему? Очевидно, потому, что по идее песни, князя Щелкан сумел смирить, устранить, на это у него хватило тех качеств, при наличии которых, как думал хан, он только и мог рассчитывать удержаться в Твери. Но он не мог сломить народ. Собственно говоря, здесь проводится та же идея, которая пронизывает и летописный рассказ о восстании в Твери, помещенный в Рогожском летописце и в Тверском сборнике: народ восстал помимо князя. Так, вероятно, было и в действительности.

В вариантах песни, приведенных Гильфердингом, содержится один эпизод, отсутствующий в записи Кирши Данилова. Щелкан перед отъездом в Тверь заехал проститься к своей сестре Марии Дюдентевне. Она (возмущенная его поступком с сыном) встретила и проводила его неласково, назвала «окаянным братом» и пожелала ему гибели: «Да чтобы тебе, брателку, да туда-то уехати, да назад не приехати, да остыть бы те, брателко, да на востром копье, на булатнем на ножичке». В поэтическую канву песни картина встречи и прощания Щелкана с сестрой вставлена и для того, чтобы еще раз охарактеризовать последнего (устами Марии Дюдентевны) как кровожадного злодея, и с тем, чтобы придать этой встрече значение своего рода пророчества относительно будущей судьбы Щелкана в Твери. Историческую основу рассматриваемого эпизода могли составить поэтически преломленные, реальные факты того участия, которое вольно или невольно принимали представительницы ордынской знати в русских делах. Не послужила ли прототипом Марии Дюдентевны сестра хана Узбека Кончака (после крещения Агафья), ставшая женой московского великого князя Юрия Даниловича и по слухам отравленная в Твери?

Оценивая поведение Щелкана Дюдентевича в Твери, песня подчеркивает два момента: 1) Тверь—это город, население которого живет давними традициями городских «вольностей»; 2) Щелкан стал

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 157.

эти «вольности» подавлять и за это поплатился. В самом деле, когда в песне говорится, что «и в те поры млад Щелкан он судьею насел в Тверь ту старую, в Тверь ту богатую», определения «старая», «богатая», встречавшиеся не раз и раньше, нельзя рассматривать как простой припев. Дело и не просто в экономической характеристике Твери. В данной характеристике звучит также социально-политический мотив: Тверь—это город, жители которого исстари обладали определенными правами, и нарушать последние безнаказанно нельзя. Подобная идея рельефно выступает и из дальнейшего рассказа, посвященного поступкам Щелкана в качестве судьи. «А немного он судьею сидел. И вдовы-то безчестити, красны девицы позорити, надо всеми наругатися, над домами насмехатися». Здесь в вину Щелкану вменяется не столько ущемление экономических интересов жителей, сколько надругательство над ними, нанесение урона их чести. Другими словами, речь идет об ущемлении прав горожан.

Таким образом, песня дополняет материал летописного рассказа по вопросу о причинах восстания в Твери в 1327 г. Такой причиной, безусловно, является нарушение ордынским ставленником старинных городских «вольностей». Чол-хан подчинил себе тысяцкого, присвоил суд над горожанами, вероятно, стал стеснять вечевые порядки. Песня обо всем этом доводит до слушателя в образах, наиболее понятных, наиболее действующих на воображение и вызывающих непосредственные эмоции (гнев, возмущение).

И вот в Твери начались волнения. Проявление народного недовольства, судя по песне, вылилось последовательно в те же две формы, которые отмечает и летописный рассказ, включенный в Рогожский летописец и в Тверской сборник. Дело началось с подачи жалоб, кончилось восстанием. Только жалобы, если верить летописи, приносились князю Александру Михайловичу, а если следовать песне,—«двум братцам родимым, двум удалым Борисовичам», т. е. тысяцкому с его братом. Другими словами, в устном народном творчестве движение 1327 г. в Твери выступает как движение чисто городское. В действительности, вероятно, имело место обращение и к князю (версия летописи), и (после того, как князь занял позицию нейтралитета) к тысяцкому (версия песни).

Когда мы разбирали рассказ Рогожского летописца и Тверского сборника, мы отмечали, что из него видно, как выступление тверских горожан при всей его стихийности подчинялось чьей-то руководящей руке. Но летописный материал не давал возможности определить, чья это была рука. А песня позволяет это сделать. Руководили действиями восставших тысяцкий (представитель боярской среды, но в данном случае выражающий интересы горожан) и другие выборные городские власти (вероятно, сотские и др.). Несомненную роль в событиях 1327 г. играло вече.

Все эти органы выступают уже на первом этапе городского движения, когда шла еще только подача жалоб. «Мужики-то старые, мужики-то богатые, мужики посадские, они жалобу приносили двум

братцам родимыим, двум удалым Борисовичам». Характеризуя «посадских мужиков», т. е. представителей городского торгово-ремесленного населения, песня имеет в виду, конечно, не просто их зажиточность и возраст. Она обращает внимание прежде всего на их положение в пределах посадского мира. Это—наиболее влиятельные лица среди горожан, занимавшие какие-то выборные должности в системе городского управления и происходившие, конечно, из экономически состоятельных элементов города.

Пожаловавшись на Щелкана Дюдентевича «двум удалым Борисовичам», старые богатые посадские мужики пошли «от народа» с «поклоном» к самому Щелкану. «И понесли они честные подарки, злата, серебра и скатного земчуга. Изошли его в доме у себя Щелкана Дюдентевича, подарки принял от них, чести не воздал им». В этой красочной картине каждая деталь проникнута большим политическим смыслом. Обращение к Щелкану и преподнесение ему подарков—это не акт подобострастия и не взятка. Это—депутация «от народа», очевидно, организованная вечем с целью переговоров с ордынским ставленником. Своеобразный ритуал требовал, чтобы при ведении таких переговоров соблюдалась «честь» обоих сторон. И вот Щелкану приносится «поклон», преподносятся дары. Но вечевые посланцы требуют от него и ответной «чести» и, не получая ее, переходят в наступление.

Мне кажется, в целях понимания народной психологии и идеологии, отразившихся в песенном творчестве, полезно сопоставить то, что говорится о двух подарках Щелкану: от «царя Азбяка» и «от народа». Дело не в их материальной ценности, не на нее обращает внимание песня. Дело, если можно так выразиться, в социальном смысле этих подарков. Подарок «Азвяка Тавруловича» (золотая узда) был даром верховного правителя своему вассалу, ему подчиненному, «царским жалованием», за которое тот должен служить «государеву величеству». Как ханский приспешник, Щелкан оценил этот дар. Но он не захотел оценить «чести», оказанной ему народом, восприняв ее как должное, как акт односторонний. Сам он «чести не воздал» представителям горожан, «зачванился он, загординился». Следовательно, Щелкан не захотел считаться с правами горожан, уважать порядки городского устройства и за это поплатился: стал жертвой народного восстания. Имело ли место в действительности такое посольство горожан к Чол-хану? Достоверных данных у нас об этом нет. Но думаю, что нечто подобное быть могло.

Гибель Щелкана Дюдентевича описана кратко, но образно. Горожане «с ним раздорили—один ухватил за волосы, а другой—за ноги, и тут его разорвали». Вряд ли было бы целесообразно стараться найти в этом лаконичном описании реальные подробности народной расправы с Чол-ханом. Здесь важнее другое—народная оценка этого факта: позорная и в то же время немного комичная смерть Щелкана—результат того, что он не посчитался с народными требованиями.

Последние слова полного варианта песни о Щелкане Дюдентевиче звучат несколько загадочно: «Тут смерть ему случилася, ни на ком не сыскалося». Вернее всего, что здесь речь идет о том, что убийство Щелкана—это дело городского «мира», акт вечевого приговора и поэтому никто за него не должен отвечать как за уголовное преступление. Другими словами, в концовке песни как бы подводится итог той идее, которая раскрывается в самом ее содержании: народное движение смело иноземного угнетателя. Спрашивать за это не с кого: сам виноват.

Итак, песня о Щелкане Дюдентевиче, созданная примерно в первой половине XV в., весьма дополняет материал Рогожского летописца и Тверского сборника об антитатарском движении в Твери в 1327 г.

Редакция рассказа о тверском восстании 1327 г., помещенная в других летописных сводах, отличается от редакции, сохранившейся в Рогожском летописце и в Тверском сборнике, тем, что приписывает инициативу выступления против Чол-хана великому князю тверскому Александру Михайловичу. Эта редакция дошла до нас в разных вариантах. Наиболее краткий из них—это текст Ермолинской[1] и Львовской летописей. Здесь говорится, что «на успенье богородици» (15 августа) «прииде на Тферь Щолкан, посол силен, хотя князеи избити, а сам сести в Тфери». Таким образом, восстание против Чол-хана датируется днем его въезда в Тверь. Приезду в город ханского «посла» придается характер своеобразной демонстрации: он якобы выбрал для этого специальное время, когда собралось много народа («яко собрашася вси во град»). Эта деталь, очевидно, представляет собой литературное преломление того реального факта, что восстание против Чол-хана началось на тверском торгу,когда туда утром стали собираться горожане. Указание на утреннее время, как момент начала антитатарского выступления в Твери, также сохранено в Ермолинской и Львовской летописях («и съступишаяся въсходящу солнцу»). Только руководящую роль в этом выступлении они отводят, как указано, тверскому князю. Это он, говорит летописец, собрал горожан («и созва тферичи») и, вооружась, выступил против Чол-хана и приведенных им в город татар.Сражение тверичей с татарами, по Ермолинской и Львовской летописям, продолжалось весь день, до вечера, причем Александр Михайлович лишь с трудом одержал победу. Последним эпизодом борьбы тверичей с татарами 15 августа 1327 г. был, согласно данной летописной версии, поджог первыми великокняжеского дворца, куда скрылся Чол-хан со своим отрядом и где погиб в огне пожара. «И побеже на сени, и зажгоша под ним сени и двор весь княжь Михаилов, отца Александрова, и ту сгоре Щолкан с прочими татары». Летопись рассказывает также об избиении в этот день в Твери купцов: в Ермолинской летописи—«польских», в Львовской—«полотцких» гостей.

[1] О Ермолинской летописи см. *А. А. Шахматов*, Ермолинская летопись и Ростовский владычный свод, СПб., 1904 («Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», т. VIII, кн. 4, т. IX, кн. 1).

Затем Ермолинская и Львовская летописи содержат рассказ о поездке в Орду московского князя Ивана Даниловича Калиты и о приходе оттуда на Русь вместе с ним пяти темников («пяти князии темных»), захвативших по ханскому приказу («по повелению цареву») Тверь, Кашин и другие города, опустошивших и выжегших ряд волостей, перебивших или уведших в плен население. Специально говорится о том, что ордынские войска «и Новоторжскую волость пусту сотвориша», а Новгород откупился от татар большой денежной суммой в две тысячи рублей и другими дарами. В карательной экспедиции принимал участие суздальский князь Александр Васильевич. Тверской великий князь Александр Михайлович и его брат Константин бежали в Псков. Тогда же в Орде был убит князь рязанский Иван Ярославич[1].

Я уже указывал на то, что версия Ермолинской и Львовской летописей о демонстративно обставленном приезде Чол-хана в Тверь при полном сборище народа, о сопротивлении, тут же оказанном великим князем Александром Михайловичем, сумевшим повести за собой народ, искусственна и выдает свое литературное происхождение. Но весь разбираемый рассказ все же, по-видимому, ранний. За это говорит его краткость, сжатость изложения, отсутствие излишних литературных напластований и стилистических украшений. По-моему, некоторые детали, фигурирующие в Ермолинской и Львовской летописях, воспроизводят реальные события, и это тем ценнее, что они отсутствуют в раннем описании тверского восстания, сохраненном Рогожским летописцем и Тверским сборником. Такой реальной деталью я считаю указание на поджог великокняжеского дворца. Во-первых, летописец, выдвигающий все время тверского великого князя Александра Михайловича как основное действующее лицо в событиях 15 августа 1327 г., говоря о поджоге дворца, употребляет безличный термин «зажгоша», тем самым свидетельствуя о том, что виновниками пожара были горожане, которые в действительности и подняли антитатарское восстание. Далее, версия о гибели Чол-хана с окружающими его ордынцами в огне, охватившем великокняжеский дворец, отдающая некоторой искусственностью в контексте рассказа Ермолинской и Львовской летописей (ханский «посол», гонимый князем Александром Михайловичем, скрывается в его палатах), становится вполне понятной, если ее сопоставить с тем, что говорит Рогожский летописец и Тверской сборник о великокняжеском дворце как местопребывании Чол-хана. Возможно, что действительно Чол-хан и уцелевшие во время сечи на тверской торговой площади его люди спрятались во дворце, надеясь найти там убежище.

Нет никаких оснований сомневаться в реальности приведенного Ермолинской и Львовской летописями факта избиения тверичами гостей. Вопрос только в том, откуда пришли в Тверь гости? Из Полоцка, Литвы? Так можно думать, исходя из текста Ермолинской

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 102; т. XX, стр. 178.

и Львовской летописей. Эти гости вполне могли оказаться в Твери. Но в других летописях речь идет о гостях из Орды, что больше вяжется с общим духом рассказа. Среди других ордынцев народ мог перебить и ордынских купцов.

Таким образом, по-моему, в Ермолинской и Львовской летописях сохранился сравнительно ранний рассказ о восстании 1327 г., ставивший своей задачей представить великого князя тверского Александра Михайловича в роли организатора антитатарского выступления. В этом тексте в противоположность Рогожскому летописцу и Тверскому сборнику не затушевывается и роль Ивана Калиты, как одного из деятельных участников той карательной экспедиции, которая была прислана на Русь ордынским ханом. Правда, о деятельности Ивана Калиты говорится очень лаконично и его неблаговидные поступки объясняются тем, что он выполнял волю Орды.

Вероятно, версия Ермолинской и Львовской летописей о восстании 1327 г. сложилась в середине XIV в., вскоре после смерти князя Александра Михайловича, убитого в Золотой орде по проискам Ивана Калиты. Поскольку летописные своды, до нас дошедшие, представляют собой результат многочисленных переделок первоначальных текстов, реконструкция последних представляется чрезвычайно трудной и всегда гипотетичной. Столь же трудно представить себе, как идеологически использовались в разных княжествах разными социальными группами и политическими партиями в их борьбе между собой различные летописные версии, воспроизводящие прошлое, как недавнее, так и отдаленное. В Тверском княжестве, в кругах тех феодалов, которые рассматривали Тверь как центр политического объединения Руси, после гибели в Орде великого князя Александра Михайловича могла быть сделана попытка приподнять его значение в качестве борца за национальное дело, выдвинув его как одного из участников сопротивления золотоордынскому гнету в 1327 г. и противопоставив его в этом отношении Ивану Калите, принявшему участие в подавлении народного сопротивления. Это делалось достаточно тактично и осторожно, без лишних политических выпадов и в отношении Орды, которая была еще сильна и с которой приходилось считаться, и в отношении московского князя, который становился все более сильным противником Твери в деле борьбы за политическое первенство на Руси. Отсюда лаконичность изложения, отсутствие излишних эмоций и заостренных политических характеристик. Выступление тверского великого князя Александра Михайловича против ханского посла—это акт самообороны, ибо последний хотел истребить тверских князей. Поступок Ивана Калиты, хотя он и продиктован необходимостью выполнить «царево повеление», принес вред Твери.

Иное политическое звучание приобретала та же летописная версия в Москве. Московский великий князь Иван Калита, добивавшийся в Орде уничтожения своего политического противника—великого князя тверского Александра Михайловича, мог исполь-

зовать разбираемый летописный рассказ о его деятельном участии в восстании 1327 г. как своего рода обвинительный против него акт[1].

В результате дальнейшей переделки рассказа о восстании 1327 г., сохраненного Ермолинской и Львовской летописями, получился текст, вошедший в состав летописей Новгородской четвертой, Новгородской пятой, Софийской первой, летописи Авраамки. В этом тексте на первое место поставлены новгородские или связанные с новгородскими делами события 1327 г. Прежде всего говорится о восстании в Новгороде («...бысть мятеж в Новегороди и пограбиша двор Остафьев Дворянинцов и пожгоша»), затем о присылке московским великим князем Иваном Калитой в Новгород своих наместников, о его поездке в Орду и возвращении оттуда с татарской ратью, об опустошении Твери, Кашина и Новоторжской волости, о переговорах новгородцев с татарскими послами и уплате им двух тысяч серебра. Затем, после еще некоторых подробностей, следует под заголовком «Щелкановщина» описание восстания в Твери и, наконец, второй раз повторяется известие о поездке Ивана Калиты в Орду, приводе им оттуда войск и опустошении ряда русских земель. Дублировка известий свидетельствует о редакционной работе составителя летописного свода, поставившего повесть о «Щелкановщине» в контекст новгородских известий. Работа эта представляет больше литературный, чем исторический интерес.

По существу интересно в рассматриваемом тексте указание на народное волнение в Новгороде. Евстафий Дворянинец, у которого был разгромлен и сожжен двор,— это новгородский тысяцкий, а впоследствии посадник. Трудно сказать ввиду лаконичности летописного текста, каковы были причины выступления против него новгородцев (очевидно, городских черных людей). Но если принять во внимание летописные сведения о введении Иваном Калитой своих наместников в Новгород и о требованиях, предъявленных татарскими послами новгородцам уплатить двухтысячную контрибуцию, то вряд ли будет слишком смелым предположение, что антифеодальное движение в Новгороде имело и антитатарскую направленность (быть может, тысяцкий Евстафий Дворянинец был сторонником протатарской политики Ивана Калиты) и находилось в связи с тверским восстанием 1327 г. Очевидно, это восстание не было только местным явлением, а нашло отклик в других частях Руси.

Рассказ о «Щелкановщине» (т. е. о событиях в Твери 1327 г.) рассматриваемой редакции также имеет известные отличия от редакции, представленной Ермолинской и Львовской летописями. Так, Чол-хану приписывается намерение не только самому завладеть Тверью, но и передать другие русские города ордынским князьям, а также обратить русское население в магометанскую веру («...хотя сести в Тфери на княжении, а иную князью свою посажати по иным

[1] О летописании времен Ивана Калиты см. *М. Д. Приселков.* История русского летописания, Л., 1940, стр. 123—125.

градом рускимь, хотяще привести крестьян в бесерменьскую веру»). Нечто подобное, как было указано выше, утверждает и песня о Щелкане Дюдентевиче. Я высказал уже предположение, что версия о планах Чол-хана разделить русские города между рядом ордынских выходцев могла появиться в первой половине XV в., после нашествия на Русь Едигея. Сейчас же укажу еще, что общий политический смысл переделок рассказа о «Щелкановщине» сводится к приданию тверскому восстанию 1327 г. значения одного из актов организованной национальной борьбы Руси против системы золотоордынского ига, идеологически расцениваемый как борьба христианства против бусурманства. Такая интерпретация восстания 1327 г. могла появиться лишь тогда, когда успехи политического объединения Руси сделали для нее возможным активное и сплоченное сопротивление золотоордынскому гнету (т. е. со времени уже после Куликовской битвы).

Организатором сопротивления Чол-хану, по данной летописной версии (как и по версии Ермолинской и Львовской летописей), выступает тверской великий князь Александр Михайлович, но его выступление приурочивается не к моменту въезда Чол-хана в Тверь, а к более позднему времени. Эта хронологическая поправка (приближающая рассказ к реальной временной последовательности событий) внесена, вероятно, для того, чтобы более отчетливо представить значение организации восстания и мобилизации сил для него в целях свержения захватчика. Роль тверского князя на всем протяжении борьбы с Чол-ханом в данной редакции повести приподнята, а роль народа умалена. Так, Александру Михайловичу приписан акт поджога дворца, куда скрылся Чол-хан со своим отрядом (напомню, что в Ермолинской и Львовской летописях о поджоге говорится в безличной форме). Таким образом, налицо политическая тенденция (извращающая историческую действительность) представить тверское антитатарское восстание 1327 г. как дело рук тверской великокняжеской власти.

Наконец, рассматриваемая редакция повести о «Щелкановщине» выдвигает в качестве лозунга тверского восстания месть за кровь убитых в Орде тверских князей Михаила Ярославича и Дмитрия Михайловича, осуществляемую с тем, чтобы подобные убийства не повторялись (в Ермолинской и Львовской летописях указание на подобный лозунг отсутствовало). «И съзва князь тферици и поиде на Шелкана, рек тако,— читаем в разбираемом летописном тексте: «не аз начал избивати, но он, и да будет отместник бог крови отца моего Михаила и брата моего Дмитреа, зане пролья кровь праведноу, егда мне се же сътворить?»»[1]. Выше мы видели, что в действительности тверские горожане в 1327 г. выступили не потому, что хотели отомстить ордынским ставленникам за гибель своих князей, а потому, что отстаивали городские «вольности». Но поскольку

[1] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 1, Пг., 1915, стр. 260—261; т. IV, ч. 2, вып. 1, стр. 246—247; т. V, стр. 217; т. XVI, стр. 64—65.

в процессе литературно-политической переработки первоначальной редакции «Щелкановщины» акту национально-освободительной борьбы горожан все более придавался характер движения, инициатором и вдохновителем которого являлся тверской князь, соответственным образом приноравливались к этой версии и мотивы, движущие стимулы антитатарского движения. Его национальный характер по-прежнему подчеркивался, но значительно суживалась его социальная база, умалялось его общенародное значение.

Редакция «Щелкановщины», относящаяся, по-видимому, к первой половине XV в., получила, по всей вероятности, общерусское признание, ибо в ней выдвигались общие задачи борьбы с Золотой ордой. В Псковской первой летописи она была использована применительно к потребностям местного летописания (тверской князь Александр Михайлович после побега из Твери долгое время княжил в Пскове; в связи с этим в Псковской первой летописи под 1327 г. помещена похвала ему)[1].

Та же редакция «Щелкановщины» воспроизведена и Московским летописным сводом конца XV в. и Воскресенской летописью. В этих летописях мы встречаем одну интересную деталь, отсутствующую в ранее изученных текстах. Чол-хану приписывается мысль перебить всех тверичей, причем для этого он выбирает специальный день—15 августа—праздник успения богородицы, вследствие которого в городе было скопление народа. «Бывъшу же ему во граде Тфери на самыи праздник успенья богородици, и хотя тогда всех ту избити, собрал бо ся ту бяше весь град праздника ради пречистые». Далее в Московском летописном своде конца XV в. и в Воскресенской летописи содержится фраза (которой нет в других рассмотренных нами летописных вариантах) о вмешательстве божественного промысла, не давшего Чол-хану осуществить его злые замыслы[2]. А затем уже следует рассказ о том, как тверской великий князь Александр Михайлович призвал тверичей к выступлению.

Вновь появившаяся деталь о задуманном Чол-ханом избиении горожан, конечно, вымышлена. Уж слишком неправдоподобен этот замысел. Какую цель он мог преследовать и почему о нем не упоминают другие летописные тексты? Вероятно, эта деталь введена, с одной стороны, для того, чтобы подчеркнуть все зло татаро-монгольского ига, а с другой стороны, чтобы показать, что самые коварные замыслы Орды все равно не получат осуществления. Думаю, что подобные идеи могли возникнуть тогда, когда власть Орды над Русью уже значительно ослабела, т. е. во второй половине XV в.

Но есть один момент в том варианте «Щелкановщины», который дошел до нас через Московский летописный свод конца XV в. и Воскресенскую летопись, помогающий воссоздать реальные события тверского восстания. Это—попытка осмыслить дату этих событий, обратив внимание на то, что на праздник успения богородицы

---

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 16.
[2] ПСРЛ, т. XXV, стр. 168; т. VII, стр. 200.

в Тверь должно было сойтись большое количество народа и тем самым создавалась социальная обстановка для активных действий и со стороны горожан, и со стороны золотоордынских ставленников. Может быть, действительно дата антитатарского выступления была намечена на 15 августа? Выше мы уже пришли к выводу, что при всей стихийности тверского восстания оно не было случайностью, в нем присутствует момент известной организации. Может быть, текст Московского летописного свода конца XV в. и Воскресенской летописи дает лишний аргумент для этого вывода? А если так, то мы можем сделать и еще одно важное наблюдение: в антитатарском движении 15 августа 1327 г. в Твери принимали участие не только горожане, но и окрестные жители, т. е. крестьяне.

Дальнейшим изменениям разбираемый текст Московского летописного свода конца XV в. и Воскресенской летописи подвергся в Никоновской летописи. Правда, эти изменения не меняют общей политической направленности рассказа о «Щелкановщине». Щелкан выступает здесь с отчеством «Дюденевичь» и называется «братаничем» хана Узбека. Говоря об избиении ордынских гостей во время восстания против Чол-хана, Никоновская летопись различает среди них «старых и новопришедших, иже с Щелканом Дюденевичем пришли». Более подробно описывается расправа населения с гостями: «...всех их изсекоша, а иных изстопиша, а иных, в костры дров складше, сожгоша». Это описание, по-видимому, является результатом литературной обработки более раннего текста и в нем мало реальных данных.

Расправа хана Узбека с тверичами за восстание против Чол-хана рисуется как акт нового татаро-монгольского наступления на Русскую землю с тем, чтобы ее «пленити», а всех русских князей «истребити». Об участии Ивана Калиты в карательной экспедиции говорится, как и в более ранних текстах, достаточно глухо, а то, что Московское княжество избежало татарского погрома, объясняется божьей помощью: «...съблюде и заступи господь бог князя Ивана Даниловичя и его град Москву и всю его отчину от плениа и кровопролитиа татарскаго...». В то же время ярко и детально описано разорение, причиненное ордынскими войсками Тверской земле[1].

Анализируя приведенный текст Никоновской летописи, можно сделать следующий вывод: московское летописание восприняло тверскую версию о роли тверского великого князя Александра Михайловича в борьбе с татаро-монгольским игом (так как эта версия отвечала национальным интересам формирующегося Русского централизованного государства) и предприняло все, что можно, для завуалирования связей в эти годы с Ордой Ивана Калиты.

Иную позицию заняло тверское летописание. В середине XV в., при тверском великом князе Борисе Александровиче, в Твери был

---

[1] ПСРЛ, т. X, стр. 194—195.

составлен летописный свод, задачей которого являлось идеологически обосновать политическую роль тверских князей как «самодержцев» Русской земли. Возникновение этого свода было связано с последней попыткой Тверского княжества (незадолго до его окончательного падения) завоевать ведущую роль в политической системе Руси. Известному подъему в это время Твери способствовало некоторое ослабление Московского княжества после феодальной войны второй четверти XV в.

В предисловии к этому своду («Предисловие летописца княжения Тферскаго благоверныхь великых князей тферьскых») помещен рассказ «О Шевкале», в котором в витиеватом литературном стиле изображается тверской великий князь Александр Михайлович как борец против татаро-монгольских завоевателей за национальную независимость Руси и чистоту православия. Перед нами литературная переделка (с определенной политической тенденцией) более ранних повестей о Чол-хане. В этой переделке за обилием литературных украшений, психологических мотивировок, моралистических сентенций, драматических ситуаций часто исчезает живая канва событий.

В дни царствования в Орде «нечестивого в царствиих Озбяка», некто Шевкал, «князь силы его», похвалялся перед своим повелителем подчинить ему тверского князя и «христиан»: «...повели ми, о царю, да шед убо на Русь, Александра приведу к тебе, а христиане сътворю по воли твоей». Явившись в «православный град Тверскый» с тем, чтобы исполнить это намерение, Шевкал начал притеснять народ, «многыа пакости христианом творити». В летописи приводятся пророческие слова, произнесенные якобы князем Александром Михайловичем о возмездии, которое ждет всякого, кто покусится на христианскую веру. Это пророчество сбылось. «Безумный» Шевкал попал в тот ров, который он сам же для себя выкопал. Этот «грешник» увяз в сетях, сделанных его же руками. «Кости церковного борителя» были спалены огнем (имеется в виду гибель Шевкала во время пожара великокняжеского дворца в Твери). Воины «нечестиваго» были перебиты. Затем летописец подчеркивает роль в истреблении татар Твери, как богохранимого города («града господня»). В летописи как бы содержится грозный вывод: подобно Шевкалу, погибнут все те, кто будет бесчестить христианскую веру.

Одна из идей разбираемого рассказа заключается в противопоставлении благородной роли тверского князя Александра Михайловича в борьбе с татарами неблаговидному поведению московского князя Ивана Калиты, приведшего затем татарское войско на Русь. После «посрамления Шевкала» в Твери «множество бесчисленное татарь» двинулось из Орды в русские земли для того, чтобы отомстить за свой позор, «с ними же Иван московскый грядаше и вожимь на грады Тверскыа бываше». Заканчивается летописный текст рассказом о том, как князь Александр Михайлович, руководствуясь советами тверского епископа, не стал сопротивляться татарским

войскам и ушел в Псков, татары же, узнав, что его нет в Твери, повернули обратно в свою землю[1].

Разбираемый летописный рассказ не приводит каких-либо новых фактов о восстании в Твери в 1327 г. Но факты, заимствованные из более ранних источников, получают в этом рассказе своеобразное освещение. Красной нитью проходит мысль о том, что гибель Чолхана и его военного отряда является возмездием за их беззаконные действия. И это возмездие они по заслугам получили от руки великого князя тверского, в то время как великий князь московский, напротив, содействовал «беззаконному желанию» татар снова разорить Русь. Совершенно очевидно, что в рассматриваемом литературном произведении, включенном в предисловие к тверскому летописному своду середины XV в., имеется тенденция, с одной стороны, поднять значение тверских князей как инициаторов борьбы с золотоордынским гнетом, с другой стороны, умалить значение в этом деле князей московских. Подобная тенденция отражала претензию тверской великокняжеской власти на руководящую роль в создании Русского централизованного государства.

В тверском летописном своде середины XV в. получила законченное выражение «княжеская» концепция восстания 1327 г. В противовес народной оценке этого события, как ответа на нарушение Чол-ханом прав горожан, указанная концепция рассматривала его как возмездие, полученное ордынским сатрапом за наступление на христианскую веру и прерогативы княжеской власти.

Подверглась переделкам и песня о Щелкане Дюдентевиче. Ее варианты, записанные А. Гильфердингом, возникли, по-видимому, уже в XVI в. Начальный эпизод песни (раздача царем «Возвяком Таврольевичем» своим приближенным городов) перенесен из Большой орды в Крым («во Тавре было городи...»). Характеристика судебно-административной деятельности «Возвяка Таврольевича» дана применительно к социально-политической действительности XVI в.: «Да он суды рассуживал, да дела приговаривал, да князей, бояр жаловал да селами, поместьями, города с пригородками». Обращаясь к Щелкану Дюдентевичу, хан говорит: «Чем тебя Щелкана, буде жаловать? Села тебе ли же с приселками, ли города тебе с пригородками, ли деревни тебе да со крестьянами?» Царские пожалования поместьями, селами, населенными крестьянами, производились в XVI в. Целью поездки Щелкана в Литовскую землю является не сбор татарской дани (он отправился туда «не для дани да выхода»), а производство «правежа» («ради чортова правежу»). Стало быть, разбираемые песенные варианты появились тогда, когда татаро-монгольское иго на Руси пало, «выход» в Золотую орду уже не уплачивался. «Правеж»— также явление, типичное для XVI—XVII вв.

«Братья Борисовичи» названы князьями: Борисом и Дмитрием («Митрием»). В этом отношении эволюция песни о Щелкане

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 465—466.

Дюдентевиче совершается в том же направлении, что и летописный рассказ о восстании в Твери 1327 г.: главная роль в тверских событиях этого времени начинает отводиться не горожанам, а княжеской власти.

Конечно, далеко не все детали нарисованной мною картины тверского восстания 1327 г. безусловно достоверны. Это—опыт гипотетической реконструкции на основании не всегда бесспорной интерпретации источников. Но бесспорно, по-моему, одно: освободительное движение против татаро-монгольских захватчиков, поднятое самим народом вопреки указаниям тверского князя, тенденциозно превращено позднейшими летописцами в восстание, организованное якобы этим князем. Завуалирована в ряде летописных сводов и роль московского князя Ивана Калиты, подавившего с ордынской ратью тверское восстание и таким путем избавившегося от политического соперника.

§ 3. Политические взаимоотношения русских земель в княжение Ивана Калиты

Татарская рать во главе с пятью темниками, приведенная из Золотой орды князем Иваном Даниловичем Калитой, жестоко расправилась с жителями Твери, Кашина и других городов, сел и волостей. Великий князь Александр Михайлович бежал из Твери. Сначала он предполагал найти убежище в Новгороде[1], куда и отправил своих послов, но, не будучи принят новгородским правительством, направился в Псков. Братья Александра Михайловича—Константин и Василий скрылись в Ладоге. Новгород заняли наместники Ивана Калиты. Рать, присланная на Русь Узбеком для подавления антитатарского движения, не дошла до Новгорода, но новгородцы, желая отвести от себя удар с ее стороны, отправили ордынским темникам 2000 рублей серебра и большое количество даров.

В ряде летописей говорится, что после всех этих событий Иван Данилович Калита в 1328 г. занял великое владимирское княжение[2]. Только в статьях, находящихся перед Новгородской первой летописью в Комиссионном списке, дается несколько иное освещения взаимоотношений Руси и Орды в рассматриваемое время. Согласно сведениям названного источника, Узбек поделил территорию великого княжения между двумя князьями: Иваном Даниловичем Калитой, который получил Новгород и Кострому, и Александром Васильевичем суздальским, которому были даны Владимир и Поволжье (Нижний Новгород и Городец). Это летописное сообщение вполне

[1] В 1327 г., еще в бытность Александра Михайловича великим князем, он заключил договор с Великим Новгородом (ГВНП, стр. 26—28, № 14). Об этом договоре см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 299—305.

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 44; т. V, стр. 218; т. VII, стр. 201; т. X, стр. 195; т. XV, стр. 417; т. XVI, стр. 65; т. XVIII, стр. 90; т. XX, стр. 178; т. XXIII, стр. 202; т. XXIV, стр. 116; т. XXV, стр. 168.

достоверно. Актом раздела территории Владимирского великого княжения между русскими князьями ордынское правительство хотело предотвратить возможность сосредоточения в руках кого-либо одного из них значительных денежных средств и военных сил, которые могли бы быть направлены против Орды[1].

Говоря об ордынской политике на Руси, надо вспомнить и то, что одним из ее методов было физическое уничтожение непокорных или казавшихся непокорными князей. Так, кроме Михаила Ярославича и Дмитрия Михайловича тверских, Юрия Даниловича московского, Александра новосильского, по-видимому, в Орде погиб (в 1327 г.) рязанский князь Иван Ярославич. После посылки в русские земли в 1327 г. карательной экспедиции Орда считала свою власть над Русью восстановленной.

Терроризируя князей, ордынский хан через их посредство пытался удержать в повиновении русский народ. Для этого Орде было очень важно помешать росту политической активности горожан. В статьях Комиссионного списка, предшествующих Новгородской первой летописи, имеется интересное сообщение о том, как суздальский князь Александр Васильевич, получив ярлык на Владимир, вывез оттуда к себе в Суздаль вечевой колокол («...вечныи колокол святеи богородици возил в Суждаль...»). Это было сделано, очевидно, по приказу ордынского хана, стремившегося к подавлению вечевых порядков в русских городах. Но в Суздале, рассказывает летопись, колокол «не почял звонити». Тогда суздальский князь решил про себя, что он «съгруби святеи богородици». Колокол вернули во Владимир, водрузили на старом месте, и вот он снова зазвонил («...и пакы бысть глас богоугоден»)[2]. В изложенном полулегендарном рассказе заключен большой политический смысл: нельзя заставить замолчать народ, устами которого говорит вечевой колокол. Суздальский князь, исполняя волю Орды, захотел добиться молчания веча, но ничего у него не вышло. Орда и князья, исполняющие ее повеления, бессильны сломить волю народа к сопротивлению своим поработителям.

В то время как Иван Данилович Калита занял великокняжеский стол, тверские князья Константин и Василий Михайловичи вернулись со своими боярами в Тверь. Летописи говорят, что Тверская земля стала постепенно изживать последствия татарского погрома. Бежавшее в свое время от татарской рати городское и сельское население возвращалось и обосновывалось «по своим местом»[3].

Тверской князь Константин Михайлович не представлял опасности для Ивана Калиты в качестве политического соперника. Женатый на его племяннице, дочери покойного князя Юрия Даниловича, он подчинялся воле Калиты. Но с Александром Михайловичем, обосновавшимся в Пскове, московский князь продолжал

[1] НПЛ, стр. 469; *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 138—139; *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 92, 96, 100.
[2] НПЛ, стр. 469.
[3] ПСРЛ, т. XV, стр. 417; т. XV, вып. 1, стр. 44.

борьбу. Новгородская первая и другие летописи говорят, что Калита действовал в данном случае по предписанию Узбека. В 1328 г. он побывал (вместе с Константином Михайловичем и новгородским посланцем) в Орде для утверждения на великокняжеском столе, причем во время этого посещения хан «повеле ему искати» князя Александра Михайловича и передать последнему приказание явиться в ханскую ставку[1].

Нет оснований отвергать летописную версию о том, что Узбек поручил Калите доставить в Орду Александра тверского для расправы с ним за антитатарское восстание, происшедшее в Твери во время его там правления. Но вряд ли можно сомневаться и в том, что ханское поручение отвечало интересам самого Ивана Калиты, который, возможно, в какой-то мере даже на него напросился и выполнял его весьма активно. При этом из летописных известий становится ясным, что, предписав Ивану Калите довести до конца дело разгрома Александра тверского и его сторонников, Узбек предоставил московскому князю и соответствующие полномочия, поставив его во главе ряда других правителей русских земель. Калита этим искусно воспользовался.

В борьбе с Александром Михайловичем Калита опирался прежде всего на союз с правительством Великого Новгорода, где только что было подавлено антифеодальное восстание, вероятно, как указывалось выше, связанное с народным движением в Твери 1327 г. Сначала ханский приказ о явке в Орду был передан Александру Михайловичу в Псков через отправленных туда послов—московских и новгородских (архиепископа Моисея и тысяцкого Авраама). После того как Александр Михайлович отказался выполнить ханское предписание, московский великий князь в 1329 г. явился в Новгород с войском в сопровождении ряда князей (тверских—Константина и Василия Михайловичей, суздальского—Александра Васильевича и др.), а из Новгорода направил рать к Пскову. Желая военной силой принудить своего соперника, князя Александра, к подчинению своим требованиям, Иван Калита в борьбе с ним использовал и такое мощное средство, как идеологическое и политическое воздействие церкви. Явившийся в Новгород вместе с московским князем митрополит Феогност «проклял» и отлучил от церкви Александра и поддерживавших его псковичей. Меры, принятые Иваном Калитой, оказались достаточно эффективными. До сражения между московско-новгородской и псковской ратями дело не дошло: Александр Михайлович покинул Псков и бежал в Литву, а псковские послы явились «к князю Ивану и к новгородцем» в Опоку (где те находились, собираясь подступать к Пскову) «с поклономь» «и докончаша мир».

Обстоятельства отъезда Александра Михайловича из Пскова различные летописные своды описывают по-разному. Судя по Нов-

---

[1] НПЛ, стр. 98, 341; ПСРЛ, т. V, стр. 218; т. VII, стр. 201; т. XV, вып. 1, стр. 44—45; т. XX, стр. 178; т. XXIII, стр. 103.

городской первой и некоторым иным летописям, Александр был оттуда изгнан («...пльсковичи выпровадиша князя Олександра от себе...»)[1]. В псковских и других летописях говорится, что сам князь Александр решил покинуть Псков, не желая, чтобы из-за него на псковских жителях тяготело «проклятие» митрополита. «И рече Александр псковичем: братия моя и друзи мои, не буди на вас проклятие, ни отлучение мене ради; поеду из града вашего, не буди вашего целования на мне, ни моего на вас»[2].

Сопоставив между собой эти две, внешне как будто противоречивые, летописные версии о том, при каких обстоятельствах князь Александр Михайлович выехал из Пскова, можно их примирить. По-видимому, псковское правительство склонно было поддерживать Александра, как *своего* князя, который помог бы Псковской республике в борьбе за политическую самостоятельность и с Московским княжеством, и с Великим Новгородом. Но в настоящее время сопротивляться военным силам, приведенным с собой и собранным в Новгороде Иваном Калитой (который действовал от имени Орды), псковичи не могли. Поэтому, по всей вероятности, между руководящими правительственными кругами Псковской республики и Александром Михайловичем состоялась договоренность о том, что он откажется на время от княжения в Пскове, а затем вернется туда при более благоприятных обстоятельствах. Что отъезд Александра из города рассматривался как явление временное, можно судить хотя бы по тому, что там осталась его жена. Псковское правительство подчинилось Ивану Калите. Митрополит снял с жителей Пскова отлучение от церкви. А через полтора года Александр Михайлович с литовской помощью снова занял псковское княжение.

Поход в Новгород (а оттуда в Псков) в 1329 г. был несомненным политическим успехом для Ивана Калиты и Московского княжества. Первенствующая роль последнего среди других княжеств Северо-Восточной Руси еще более усилилась, когда после посещения в 1331—1332 гг. Калитой Орды он в связи со смертью суздальского князя Александра Васильевича получил «княжение великое надо всею Русьскою землею»[3]. В 1333 г. Калита принял меры к установлению политических связей с литовскими князьями, женив своего сына Семена Ивановича на «княжне из Литвы именем литовьским Августа»[4].

Однако возвышение Московского княжества русский народ окупал тяжелою для него ценою. Иван Калита за поддержку его ханом должен был вносить в Орду большие денежные средства, а доставлять их принуждено было трудовое население. Народ начинал волноваться. Властная политика Калиты в Новгородской и других русских землях вызывала протест и со стороны части местных феодалов.

---

[1] НПЛ, стр. 99, 342.
[2] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 16—17; вып. 2, стр. 23, 90—91.
[3] НПЛ, стр. 469.
[4] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 92.

Во время похода новгородско-московских войск к Пскову в 1329 г. в Новгороде произошли большие пожары, бывшие, может быть, не следствием какой-либо случайности, а результатом намеренных поджогов города людьми, недовольными политикой новгородского правительства, поддерживавшего московского князя. В следующем, 1330 г. оставил архиепископию новгородский «владыка» Моисей и архиепископом в Новгороде был избран Григорий Калика, поп церкви Козьмы и Демьяна на Холопьей улице, по выражению летописи, «муж добр, кроток и смирен»[1]. При пострижении «в черньци» он получил имя Василий. Б. А. Рыбаков рассматривает смену в 1330 г. новгородских архиепископов как серьезный социально-политический переворот. В противоположность боярскому ставленнику Моисею, говорит автор, Василий Калика был «выразителем интересов третьего сословия, интересов «черных людей» Новгородского посада». Б. А. Рыбаков характеризует Василия «как человека, не считавшегося с официальной церковностью и открыто заявлявшего о своих полуеретических взглядах, близких к народной идеологии». «Демократические устремления» архиепископа Василия Б. А. Рыбаков видит в его «московской ориентации», отражавшей «тяготение черных людей... к сильной власти московского князя, в котором они хотели видеть защитника от боярского насилия»[2]. Совершенно иначе расценивает идеологию и практическую деятельность архиепископа Василия А. И. Клибанов, отказываясь видеть в нем «сторонника демократии, политической централизации и свободомыслия». По мнению А. И. Клибанова, нельзя противопоставлять политические направления Василия и Моисея. «Речь может идти о зигзагах одной и той же линии», которые «обусловливались ходом классовой борьбы, развитием междукняжеских отношений, переменами в международной обстановке»[3].

Я думаю, что А. И. Клибанов ставит вопрос правильно в том смысле, что деятельность Василия Калики надо рассматривать исторически, в связи с общественно-политическими отношениями на Руси и особенно в Новгороде в 30—50-х годах XIV в. Новгородская летопись говорит, что архиепископ Моисей оставил занимаемый им пост сам («по своеи воли»), несмотря на то что «новгородци всем Новымгородом с поклоном» упрашивали его не делать этого[4]. Однако Б. А. Рыбаков резонно высказывает сомнения в том, что «уход Моисея был действительно добровольным»[5]. В то же время нет никаких оснований считать, как это делает Б. А. Рыбаков, что устранение Моисея было вызвано его недоброжелательным отношением к московским князьям и, в частности, к Ивану Даниловичу

---

[1] НПЛ, стр. 342.

[2] *Б. А. Рыбаков*, Ремесло древней Руси, стр. 774, 770, 772.

[3] *А. И. Клибанов*, К истории русской реформационной мысли. Тверская «распря о рае» в середине XIV в. («Вопросы истории религии и атеизма», т. 5, М., 1958, стр. 233—263).

[4] НПЛ, стр. 342.

[5] *Б. А. Рыбаков*, Ремесло древней Руси, стр. 771.

Калите. Поставление Моисея в новгородские архиепископы митрополитом Петром произошло в Москве сразу после похорон убитого в Орде великого князя Юрия Даниловича. На погребении последнего Моисей присутствовал вместе с Иваном Калитой, с которым, по-видимому, тогда же и вошел в политический контакт. Послом от Ивана Калиты Моисей ездил в Псков для того, чтобы уговорить князя Александра Михайловича отправиться в Орду[1]. Поэтому и политическая отставка Моисея, совершившаяся в 1330 г. в деликатной форме ухода по собственному желанию, вряд ли была вызвана его антимосковскими настроениями. Скорее, напротив, политика Ивана Калиты в Новгороде, проводившаяся им при поддержке боярского правительства, в состав которого входил архиепископ Моисей, вызывала недовольство широких слоев посадского населения, а также части новгородских феодалов. Поэтому и потребовалась замена на посту архиепископа в Новгороде Моисея Василием. Поскольку последний был близок по своему социальному положению и политическим настроениям к торгово-ремесленному населению, его избрание новгородским архиепископом означало известную демократизацию новгородского боярского правительства (в этом Б. А. Рыбаков прав), в целом, однако, не менявшую ее классовой сущности.

Какова же была политическая линия архиепископа Василия и той части новгородских феодалов и посадских людей, интересы которых он выражал? Признавая по-прежнему великим князем Ивана Даниловича Калиту, они тяготились той политикой, которая вытекала из его стремлений удовлетворить за счет новгородских жителей фискальные запросы Золотой орды. В целях противодействия Калите, старавшемуся поддерживать мирные отношения с Ордой, в среде новгородских феодалов и купечества назревала идея союза с Литвой. Наконец, новгородское правительство было заинтересовано в удержании в сфере своего политического влияния Псковской республики, помешав ее подчинению непосредственной власти московских или литовских князей. Все указанные вопросы скоро были выдвинуты самой жизнью.

В 1331 г. Василий Калика в сопровождении новгородских бояр отправился на Волынь, где находился митрополит Феогност, для утверждения в сане новгородского архиепископа. По данным Ермолинской и других летописей, во время этой поездки Василий и его спутники были задержаны литовским князем Гедимином и согласились на передачу ему в наследственное держание новгородских пригородов: Ладоги, Орехова, Корельской земли, половины Копорья. На Волыни, в резиденции митрополита Феогноста, новгородские представители одержали политическую победу над псковскими и литовскими послами. Дело в том, что в Пскове в это время вновь утвердился с литовскою помощью и в качестве ставленника Гедимина князь Александр Михайлович («...плесковици изме-

[1] НПЛ, стр. 340—342.

ниле крестное целование к Новуграду, посадиле собе князя Александра из литовскыя рукы...»). Явившиеся к Феогносту представители Александра, Гедимина и «...всех князии литовьскых» поставили перед митрополитом вопрос о назначении в Псков особого от Новгорода «владыки» Арсения. Если бы этот проект осуществился, Псковская земля оказалась бы независимой от Новгорода в церковном отношении, что в свою очередь подорвало бы и политическую связь Пскова и Новгорода. Но Арсений не был утвержден Феогностом в сане псковского «владыки» и, «посрамленный», уехал из Волынской земли в Киев[1].

Между тем в Новгороде продолжалось недовольство политикой Ивана Калиты и бояр, его поддерживавших. В 1332 г. там произошли большие волнения горожан и крестьян, вызванные как голодом, приведшим к дороговизне во всей Русской земле, так и настойчивыми требованиями Калитой у новгородцев «серебра закамьского» (собираемого в виде дани в новгородских владениях за Камой и частично используемого на градостроительство и другие городские нужды). Летопись рассказывает о народном восстании («въсташа крамолнице...») в Новгороде, во время которого были «пограблены» двор Семена Судакова и села его брата Ксенофонта (возможно, сторонников Калиты), дважды сменены посадники. Князь Иван Данилович «възверже гнев на Новъград» и, нарушив «крестное целование», захватил своими войсками Торжок и Бежецкий Верх. В следующем, 1333 г. он «со всеми князи низовьскыми» сам явился в Торжок и на некоторое время засел там, отрезав к Новгороду торговые пути и выведя оттуда своих наместников[2].

Настойчивость Ивана Калиты в реализации своего предложения, адресованного Новгороду, собрать и привезти ему «закамьское серебро» объясняется тем, что он получил задание в Орде внести туда крупную денежную сумму. А за исполнением этого задания следили приезжавшие в 1333 г. в русские земли ордынские «послы». Тверское летописание, например, глухо сообщает, что в этом году «Тоидыи был на Руси» и «тое же зимы прииде Сараи по великого князя по Ивана, поидоша в Орду»[3].

Новгородское правительство пыталось договориться с Иваном Калитой о мире. К нему дважды ездили новгородские послы: один раз—в Торжок, другой—в Переяславль. Второе посольство возглавлял архиепископ Василий. Послы соглашались на уплату пятисот рублей, требуя со своей стороны от Калиты, чтобы он «свобод бы ся отступил по хрестьному целованию», т. е. отказался бы от захваченных в пределах Новгородской земли поселений. Совершенно очевидно, что новгородское правительство желало восстановить союзные отношения с Иваном Калитой, но в то же время, с одной стороны, отстаивало землевладельческие и фискальные интересы новгород-

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 103—104; НПЛ, стр. 343—344; *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 142.

[2] НПЛ, стр. 344—345.

[3] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 47; *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 111.

ских бояр, с другой—не желало согласиться на новый фискальный нажим (для уплаты ордынского «выхода») на черных людей города и деревни, боясь народных волнений. Предложенный же послами московскому князю компромисс (взнос пятисот рублей) не был им принят.

Не сумевши договориться с Калитой, новгородское правительство, после того как он снова уехал в Орду, предприняло ряд независимых от него действий в целях укрепления своих политических позиций в Пскове и установления связей с Литвой. В 1333 г. новгородский архиепископ Василий побывал в Пскове. Эта поездка представляла собой политическую демонстрацию, направленную к упрочению влияния Новгорода в пределах Псковской земли. Летопись подчеркивает, что псковичи приняли Василия «с великою честию, понеже не бывал бяше владыка в Плескове семь лет». В Пскове архиепископ крестил сына князя Александра. Показателями усиления в Новгороде литовской ориентации являются два факта. В 1333 г. архиепископ Василий крестил литовского князя Нариманта Гедиминовича и тогда же последний (названный в крещении Глебом) получил в пожизненное держание (согласно прежней договоренности с Новгородом) Ладогу, Орехов, Корелу, половину Копорья. В то же время Василий пытался найти через митрополита Феогноста (к которому он в 1334 г. ездил во Владимир) путь к примирению с великим князем московским[1].

Такое примирение состоялось по возвращении Калиты из Орды в 1334 г. Очевидно, активизация политики Новгорода в сторону сближения с литовскими князьями внушала серьезные опасения великому князю московскому, и он поспешил возобновить союз с новгородским правительством. В 1334—1335 гг. Калита побывал в Новгороде. Этот визит имел своим последствием некоторые изменения политики новгородского правительства. Иван Калита в 1335 г. предполагал совершить вместе с новгородцами «и со всею землею Низовьскою» поход на Псков, где находился его старый противник князь Александр Михайлович. Задуманный поход не состоялся, вероятно, из-за нежелания в нем участвовать новгородцев, но уже приготовления к нему привели к осложнению новгородско-псковских отношений. Летопись рассказывает, что, после того как у Ивана Калиты состоялась «по любви речь с новгородци», они «отложиша езд» на Псков, но тем не менее «плесковицем миру не даша». Тогда же нарушился мир между Новгородом и Литвой. В 1335 г. «воеваша Литва Новоторжьскую волость», а Иван Калита, выехав из Новгорода в Торжок, ответил на этот набег тем, что сжег ряд литовских городков[2].

Московско-новгородский союз был закреплен в результате поездки в 1335 г. в Москву по приглашению Ивана Калиты новгородских посадника, тысяцкого, архиепископа Василия и «вят-

---

[1] НПЛ, стр. 345—346.
[2] Там же, стр. 346—347.

ших» бояр. Послы удостоились в Москве «чести великои много...». Однако политика новгородского боярства, направленная на поддержку Калиты, вызывала протест широких масс новгородского посадского населения. Летопись глухо говорит об обострении социальных противоречий в Новгороде в год поездки новгородских бояр в Москву. «Наважением диявольскым» произошло столкновение жителей двух «сторон» Новгорода, которые, вооружившись, хотели вступить в бой: «...сташа си сторона и она сторона, доспевше в оружьи против себе обапол Волхова». До кровопролитья, однако, дело не дошло («не дал бог кровопролитиа... и снидошася в любовь»)[1].

Из лаконичного летописного изложения трудно уяснить характер новгородских событий: имело ли место столкновение отдельных боярских партий или же перед нами один из актов социальной борьбы между феодалами и «черными людьми». Если же присмотреться к тому, что происходило в Новгороде год спустя, в 1337 г., то станет ясно, что надо дать второй ответ на поставленный выше вопрос: в 1335 г. в городе назревало антифеодальное восстание.

В 1336 г. Иван Калита побывал в Орде, а в 1337 г., вернувшись, «розратися с новгородци» и послал «рать на Двину за Волок, не помянув крестнаго целованиа...». В связи с этим в Новгородской первой летописи помещен рассказ о том, как «наважениемь диаволим» «простая чадь» (т. е. городская беднота, рядовые горожане) поднялась на архимандрита Юрьевского монастыря Иосифа (Есифа). Восставшие («коромолници») собрали вече, после чего (очевидно, по вечевому приговору) заперли архимандрита в церкви святого Николы «и седоша около церкви ночь и день... стрегущу его»[2]. Можно уловить прямую связь между новгородским движением 1337 г. и политикой Ивана Калиты. В другой своей работе я подверг анализу грамоту Ивана Калиты новгородскому Юрьеву монастырю на земли, расположенные «на Волоце», выданную в тот период, когда он по возвращении из Орды намечал поход в Заволочье[3]. Хотя упомянутой грамотой населению монастырских вотчин и предоставлялись известные льготы, основной ее задачей было усиление московского влияния в области Волока Ламского, подчинение местных жителей администрации, назначаемой великим московским князем[4]. Отсюда понятно и выступление в Новгороде «простой чади» против юрьевского архимандрита Иосифа (Есифа), на имя которого Калитой выдана грамота.

С конца 30-х годов XIV в. замечается активизация политики князя Александра Михайловича. Прежде всего он подготавливает шаги к своему возвращению в Тверь. Уже в 1336 г. он побывал в Твери, очевидно, выяснил отношение к нему местного боярства, слуг, горожан и, взяв из Твери своего сына Федора (который перед

---

[1] НПЛ, стр. 347.
[2] Там же.
[3] ГВНП, стр. 143, № 86.
[4] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 2, стр. 116—117.

этим, в1335 г., совершил поездку в Орду), вернулся в Псков. В следующем, 1337 г. Александр сделал новый шаг к водворению в Тверском княжестве: поехал в сопровождении бояр и слуг в Орду добиваться права на это у хана Узбека. Тверское летописание так мотивирует действия Александра: он решил лучше умереть в Орде, чем в Пскове, потому что если он окончит свои дни в этом городе, то все смогут сказать, «яко отбег княжениа смерть прия», а его дети «лишени будут княжениа своего». Явившись в Орду, Александр Михайлович, по свидетельству тверского летописания, принес Узбеку повинную. «...И рече ему: господине царю, аще много зло сътворих ти, во се есмь пред тобою, готов есмь на смерть». Хан же не только даровал Александру жизнь, но в качестве «пожалования» вернул ему его «отчину»—Тверское княжество. В 1338 г. Александр Михайлович, еще раз побывав в Орде, вернулся оттуда в Тверь, облеченный Узбеком титулом «великий князь» и в сопровождении татарских «послов силных» Киндяка и Авдула[1].

Конечно, психологическая мотивировка тверским летописцем действий как ордынского хана, так и тверского князя мало убедительна. Эти действия определялись реальными политическими побуждениями и интересами. Орду пугало быстрое возвышение Московского княжества. Сильное движение против Ивана Калиты в Новгороде и его неумение удовлетворить полностью денежные запросы Орды могли вызвать недовольство хана его политикой и желание противопоставить ему другого русского князя, поддерживаемого ордынским правительством. За такую поддержку хан, конечно, постарался выжать побольше денег из населения Тверской земли. От ордынских послов «много сътворишеться тягости христианом»[2]. Может быть, хан руководствовался и стремлением вырвать Александра из сферы влияния Великого княжества Литовского, так как в Пскове он правил как ставленник Гедимина. Что касается Александра Михайловича, то, исподволь зондируя почву в Орде, прежде чем поставить прямо вопрос о своей реставрации на княжеском столе в Твери, он в то же время стремится обеспечить сочувственное отношение к своим политическим планам со стороны церковных кругов. Поэтому перед выездом в ставку Узбека Александр заручается благословением митрополита Феогноста.

Иван Калита принял решительные меры противодействия усилению своего давнего соперника. В 1339 г. он еще раз направился в Орду вместе с двумя своими сыновьями—Семеном и Иваном, а третьего сына, Андрея, послал в Новгород, который хотел держать под своей властью. Разные летописи коротко говорят, что Калита вернулся «в свою отчину пожалован богом и царем», а в Орду «по думе его» (т. е. по его совету) были вызваны Александр Михайлович тверской, Василий Давыдович ярославский и какие-то

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 418; т. XV, вып. 1, стр. 47—48; *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 101—102.

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 48; *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 154—156.

другие князья. Александр Михайлович сначала отправил в Орду своего сына Федора, а вслед за ним выехал и сам. Оба они были по приказанию Узбека убиты. В том же году побывали в Орде князья Василий Давыдович ярославский и Романчук (Роман Михайлович) белозерский[1].

О всем изложенном разные летописи говорят довольно путано. Постараемся осветить три вопроса: 1) о причине казни в Орде тверских князей; 2) о причине вызова туда князей ярославского, белозерского и других; 3) о взаимоотношениях Ивана Калиты с Ордой в последние годы его жизни (1339—1340 гг.).

Большинство летописей описывают смерть Александра и Федора тверских глухо: их «убиша в Орде... и разоимани быша по составом»[2]. Несколько более подробные летописные тексты указывают, что Узбек заманил Александра с сыном в Орду обманным образом, тверские же князья, послушавшись «поганого льстивых словес», явились на ханский зов «и убиена быста, приимша горькую и нужную смерть»[3].

Наиболее подробная повесть о казни в Орде Александра Михайловича и Федора Александровича сохранилась в составе Рогожского летописца и Тверского сборника. Согласно этой повести, Александр был оклеветан его врагами, которые стали на него «вадити» хану. Последний, поверив клевете, велел своему слуге Исторчею заманить тверского князя с сыном в Орду. Исторчей от имени хана обещал Александру, что тот выполнит все, что он хочет, если только он явится в Орду: «поиди, зовет тя царь, тако млъвя,— всю волю твою сътворю, яко же хощещи...». Тверской князь и догадывался об обмане, и в то же время не хотел допустить, что ему говорят неправду («...ведыи и не ведыи безбожную их лесть...»). Во всяком случае, он решил отправиться в ханскую ставку, рассуждая, что если не сделает этого, то пострадает население его княжества («...много будет пакости христианом...»). В Орде Александр пробыл месяц, причем все время получал противоречивые сведения от «безаконных татар» об уготованной ему участи. «...Инии глаголахоу: княжение ти великое дает царь». «А инии глаголахоу: оубиту ти быти». Наконец, эта неопределенность прекратилась. За три дня до казни Александру было о ней объявлено. Казнен был тверской князь, так же как и его сын, в присутствии ханского приспешника Товлубия: «и тако скончашася приим таку кончиноу за род христианеск». Тела убитых князей были привезены в Тверь, где «гражане» предали их с честью погребению[4].

Рассмотренная повесть, возникшая, вероятно, в Тверской земле, ставит задачей возвеличить местных князей, пошедших на гибель

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 92—93; т. XV, вып. 1, стр. 51—52; т. XXIII, стр. 105.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 192.

[3] НПЛ, стр. 350.

[4] ПСРЛ, т. XV, стр. 418—421; т. XV, вып. 1, стр. 49—52.

для того, чтобы спасти население своего княжества от татарского погрома. Повесть эта по своему идейному содержанию не отличается боевым характером. Она не зовет к сопротивлению захватчикам, не мобилизует на борьбу с ними. В ней звучат скорее примиренческие нотки. Возможно, что памятник возник в церковных кругах, в которых идея мученической смерти ставилась выше идеи активного протеста в целях защиты национального дела.

Какой конкретно-исторический материал можно почерпнуть из разобранной повести? По-видимому, вызов в Орду князя Александра Михайловича в 1339 г. еще не предрешал окончательно его участи. Можно думать, что среди ордынской знати были как сторонники, так и противники Александра (а следовательно, сторонники Ивана Калиты) и в течение месяца между ними шел спор о том, как поступить с тверским князем. Победили в этом споре более многочисленные и более сильные ордынские феодалы, которые поддерживали Калиту. А последний, вероятно, приложил достаточно усилий к тому, чтобы обеспечить себе такую поддержку.

Одним из пунктов обвинения, предъявленного в Орде Александру Михайловичу, были его литовские связи. Его казнь произошла перед походом русских войск к Смоленску, организованным «по цареву (т. е. ханскому) слову», с участием рязанского князя Ивана Ивановича Коротопола и рати, выставленной Калитой под предводительством зависимых от него князей[1]. Руководил казнью Александра ордынский воевода Товлубий, возглавивший поход под Смоленск.

Но еще в бóльшей степени, чем связь с Литвой, по-видимому, погубило Александра Михайловича еще свежее воспоминание об антитатарском восстании в Твери 1327 г.[2] Надо думать, что Иван Калита неоднократно напоминал о нем ордынскому хану. Но он не только вспоминал об этом факте, но и действовал, учитывая его последствия. Вероятно, Александр делал какие-то попытки завоевать симпатии в среде тверских горожан (вспомним ту честь, которую оказали ему, уже мертвому, местные «гражане»). Поэтому Калита после смерти Александра вывез в Москву колокол (вечевой), снятый со Спасского собора. В то же время Калите удалось обеспечить себе политические симпатии тверских бояр, которые «отъехали» к нему в Москву после падения Александра Михайловича[3].

Перехожу ко второму поставленному выше вопросу: почему наряду с князьями Александром и Федором тверскими в 1339 г. побывали в Орде князья Василий Давыдович ярославский, Роман Михайлович белозерский и другие (среди них, может быть, Константин Васильевич ростовский, участвовавший по назначению Калиты в походе под Смоленск)? Несомненно, их вызов ханом «думою»

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 92—93.

[2] *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 156—157; *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 101—102.

[3] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 48, 52.

Ивана Калиты объясняется какими-то политическими спорами между Калитой и названными князьями. Споры же возникали в связи с теми попытками подчинения себе ряда русских княжеств, которые делал Иван Калита. Он действовал при этом тремя путями: 1) устраивая браки местных князей с представительницами своей фамилии; 2) назначая в отдельные княжества (при наличии в них князей) своих наместников; 3) приобретая там земли для себя и содействуя в приобретении земель своим боярам. Рассмотрим поочередно все эти трех родов мероприятия.

Дочери Калиты были замужем: Мария за князем Константином Васильевичем ростовским[1]; Феодосия—за князем Федором Романовичем белозерским[2]; Евдокия—за князем Василием Давыдовичем ярославским[3].

О подчинении московским великим князем своей власти других княжеств посредством назначаемых туда из Москвы наместников свидетельствует яркий материал, имеющийся в «Житии» Сергия Радонежского. Речь идет о «граде Ростове» и «Ростовстеи области». Прежде всего рисуется картина их обнищания в результате татаро-монгольского ига. «Как же, и что ради обнища, да скажем и сие, яко чястыми хоженьми их со князем во Орду, и чястыми ратми татарскими, еже на Русь, и чястыми послы татарскими, и чястыми тяжкими данми и выходы тяжкими, еже во Орду, и чястыми глады хлебными». Знакомая всей Руси картина, типичная для начала XIV в.: татарские военные набеги, тяжелая для населения повинность содержать ханских послов, сопровождать в Орду своих князей, выплачивать туда дань!

Переломным моментом в истории Ростовского княжества автор «Жития» считает «Федорчукову рать», т. е. карательную экспедицию, отправленную на Русь ханом Узбеком после восстания в Твери 1327 г. Тогда «княжение великое московское досталося князю великому Ивану Даниловичю», участнику этой экспедиции, «купно же достася и княжение Ростовское к Москве». И вот, «наста насилование много... граду Ростову...». Ростовские князья потеряли свою прежнюю власть, перешли в зависимость от великого князя московского («...яко отъяся от них власть, и княжение, и имение, и честь, и слава, и вся прочая, и потягну к Москве»). В Ростов были посланы из Москвы воевода Василий Кочева и его товарищ Мина. Они притесняли жителей Ростова, многие из которых лишились своего имущества («... и не мало их от ростовець московичем имениа своя с нужею отдаваху...»). Житие подчеркивает, что от «гонений» со стороны представителей московской администрации пострадали горожане («...тогда возложиша велику нужу на град...»). Был подвергнут истязаниям «епарх градский, старейший боярин ростов-

[1] ПСРЛ, т. I, вып. 3, стр. 531.

[2] *А. И. Копанев*, указ. соч., стр. 25—38.

[3] ПСРЛ, т. X, стр. 215; т. XVIII, стр. 34; НПЛ, стр. 350. А. И. Копанев пытается доказать, что Евдокия не была женой Василия Давыдовича (*А. И. Копанев*, указ. соч., стр. 27—29).

ский, именем Аверкий» (очевидно, тысяцкий). Тысяцкий Протасий и другие горожане, в том числе представители духовенства, переселились из Ростова в Радонеж[1].

Описание действий московского наместника в Ростовском княжестве принадлежит автору, враждебно относившемуся к Ивану Калите и к его политике. Но вряд ли это описание выдумано. Все, что говорится в «Житии», в целом отвечает общей политической линии, проводившейся московским правительством во времена Калиты. Речь идет прежде всего, вероятно, о правеже средств, необходимых для уплаты «выхода» в Орду, а затем о подавлении сопротивления со стороны местного населения московской администрацией. В частности, бросается в глаза, что московский наместник довольно жестоко обращался с горожанами. Это как будто противоречит политике союза с городским населением, которую проводили московские князья в начале XIV в. и после Ивана Калиты (особенно Дмитрий Донской). Действительно, Калита действовал в этом отношении часто иначе, чем его предшественники и преемники. Нуждаясь в средствах для выплаты ордынской дани, собирая их в присоединенных к Московскому княжеству русских землях, он стремился при этом не допустить со стороны населения малейшего проявления протеста против действий своих наместников. Так он поступал в Новгороде, Твери, Ростове. В особенности он старался расправляться с влиятельными в городской среде лицами типа тысяцкого Аверкия. Задача заключалась в том, чтобы подчинить горожан непосредственно власти представителей княжеской администрации.

По другим княжествам Северо-Восточной Руси, в которых постепенно утверждалась власть московского князя, у нас нет такого яркого материала, как по Ростовской земле. Однако некоторые данные имеются. При Калите были установлены какие-то формы зависимости от московского князя Галича, Белоозера и Углича. По крайней мере Дмитрий Донской в своей духовной грамоте 1389 г. называет эти города «куплями деда своего» (т. е. Калиты)[2]. Каков был характер этих «купель», неизвестно, так как сам Иван Калита в своих духовных грамотах об упомянутых городах не говорит ни слова. В другой моей работе я подробно разобрал большую литературу, посвященную вопросу о «куплях» Калиты, и привел некоторые собственные соображения по этому поводу[3]. Не повторяя их, выскажу одну новую мысль, представляющуюся мне вероятной. Одной из форм приобретения земель духовными феодалами и феодальными корпорациями была их купля у вотчинников с оставлением приобретенной недвижимости в наследственном владении последних. Собственность на землю переходила к духовному феодалу, а фактически землей продолжал владеть прежний собственник.

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 128—129.
[2] ДДГ, стр. 34.
[3] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 17—19.

Может быть, нечто подобное надо понимать и под «куплями» Калиты. Галич, Белоозеро и Углич могли перейти (на основе сделки великого князя с местными князьями) к Калите, как верховному собственнику, однако галичский, белозерский и угличский князья сохранили какие-то права владения и управления этими землями на началах подчинения великокняжеской власти. Наряду с местными князьями в названных городах, как и в Ростове, могли появиться и великокняжеские наместники. Имеются, например, позднейшие сведения о том, что Иван Калита «пожаловал» некоего Аникия Белоозером[1].

Наконец, для политики Калиты характерно стремление к приобретению для себя в других княжествах земель на началах частной вотчинной собственности и содействие своим боярам в распространении их землевладения за пределы Московского княжества. В одной из двух сохранившихся духовных грамот Калиты перечислены «купленные» им села в Новгородской, Владимирской, Костромской, Переяславской, Юрьевской, Ростовской землях[2].

Вот что мы знаем о тех трех путях, которыми шло укрепление московской великокняжеской власти в ряде княжеств Северо-Восточной Руси. Поездка в 1339 г. Калиты с сыновьями в Орду и последующий вызов туда, по его просьбе, ханом князей белозерского и других, вероятно, были связаны с желанием московского князя получить со стороны Узбека утверждение своей над ними власти. Здесь я перехожу к вопросу об отношениях Калиты к Орде в последние годы его жизни (1339—1340).

Я пытался в другой своей работе показать, что визит в Орду Ивана Калиты, сделанный им в 1339 г., не был обычной рядовой поездкой. Он ездил на этот раз туда со своими двумя сыновьями, а затем, по возвращении на Русь, отправил к Узбеку (после казни князя Александра Михайловича тверского) уже всех трех сыновей. Очевидно, во время этих поездок князья ставили в Орде вопрос о признании Узбеком руководящей роли Московского княжества в политической системе Северо-Восточной Руси. В Орду Калита возил (как я старался доказать) свои духовные грамоты, на одной из которых стоит ханская тамга—свидетельство утверждения ее ханом Узбеком[3].

Следовательно, последние годы жизни Калиты ознаменовались для него крупными политическими успехами в Орде. Эти успехи были куплены дорогой ценой. Во время своей последней поездки в Орду, Калита, очевидно, обещал внести хану дань в двойном размере. По крайней мере, когда после его возвращения из Орды новгородцы прислали к нему послов с «выходом», Калита не удовлетворился этим и потребовал «другого выхода», заявив: «а еще даите ми запрос цесарев, чого у мене цесарь запрошал»[4].

---

[1] ПСРЛ, т. XIII, СПб., 1906, стр. 301; *А. И. Копанев*, указ. соч., стр. 37.
[2] ДДГ, стр. 10, № 1; *М. К. Любавский*, указ. соч., стр. 49—55.
[3] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 12—19.
[4] НПЛ, стр. 350.

В результате уже накануне смерти Ивана Калиты (в 1340 г.) снова последовал разрыв отношений между ним и новгородским правительством.

* * *

Княжение Ивана Калиты было важным этапом в процессе политического возвышения Московского княжества, как основы объединения Северо-Восточной Руси и главного территориального ядра будущего Русского централизованного государства. Иван Калита действовал как властный князь-вотчинник, неуклонно стремившийся к расширению территории своего княжества и к подчинению своей власти других русских князей. В его деятельности отсутствуют мотивы национально-освободительной борьбы. Он не боролся против гнета Золотой орды, а откупался от хана, исправной уплатой «выхода» доставляя Руси некоторую передышку от татарских набегов. Его политика правежа денежных средств с населения русских земель была неуклонной и жестокой, сопровождавшейся крутыми мерами.

При Калите русскими феодалами не только не было сделано попытки свергнуть татаро-монгольское иго (для этого еще не наступило время), но этот князь жестоко подавлял те стихийные народные движения, которые подрывали основы господства Орды над Русью. Калита выступал даже своего рода агентом Узбека по доставке в Орду «выхода». Но, обеспечив себе если не покровительство, то во всяком случае признание ордынского хана, Калита использовал его для укрепления на Руси своей власти, которую в дальнейшем московские князья употребили против Орды. Жестоко расправляясь со своими противниками из числа других русских князей, не брезгуя для этого татарской помощью, Калита добился значительного усиления могущества Московского княжества, а это содействовало процессу государственной централизации.

Конечно, Калита действовал не один. Его опорой были как московские бояре, так и боярство других русских земель. Создавались, очевидно, при нем и те кадры будущего дворянства, ранним представителем которых явился знаменитый Даниил Заточник. Политика Калиты, в результате которой несколько приостановились бесконечные походы на Русь татарских грабителей, обеспечила условия для дальнейшего развития феодального землевладения и укрепления господствующего класса. Это означало, что, несмотря на всю тяжесть налогового гнета, продолжался и усиливался рост производительных сил, особенно в пределах Московского княжества, где скоплялись значительные массы пришлого из других русских земель населения. При Калите был достигнут некоторый хозяйственный подъем, в той мере, в какой он был возможен в рамках феодального строя и сурового гнета со стороны иноземных завоевателей.

Должных предпосылок ликвидации политической раздробленности во второй четверти XIV в. еще не было. Политика Калиты не

создавала достаточных условий для роста городов, подорванных татаро-монгольским завоеванием. Калита в ряде случаев даже военной силой подавлял непокорство горожан. И тем не менее общее хозяйственное развитие страны в более благоприятной, чем ранее, внешнеполитической обстановке, содействовало и подъему в дальнейшем русского города.

Калиту не нужно идеализировать. Это был сын своего времени и класса, правитель жестокий, хитрый, лицемерный, но умный, упорный и целеустремленный. Хозяйственное возрождение разрушенной после татаро-монгольского завоевания страны совершалось в результате объективных процессов экономического развития. Действующими факторами этого развития был труд русского народа, его борьба за независимость. Политика Калиты отражала интересы господствующего класса и содействовала укреплению феодального базиса и государственной централизации. Но эта политика, проводимая крутыми мерами, в целом не противоречила объективному поступательному движению феодального общества. Поэтому, несмотря на все неблаговидные приемы деятельности московского князя и отрицательные черты его личности, эту политику надо признать относительно прогрессивной.

§ 4. Внутренняя политика Ивана Калиты

В различных источниках имеется оценка не только мероприятий, проводимых московским великим князем Иваном Даниловичем Калитой по отношению к другим князьям и княжествам Северо-Восточной Руси, но и его внутренней политики (организации суда и управления) в присоединенных к Москве землях. Наиболее развернутая и интересная оценка подобного рода, современная самому Калите, имеется в записи на евангелии, написанном в 1339 г. в Москве писцами Мелентием и Прокошей и посланном в монастырь («к святеи богородици») на Двину. Запись представляет собой настоящий панегирик Калите как князю-правителю. В его деятельности усматривается исполнение библейского пророчества о появлении «в опустевшии земли на западе» «цесаря»—блюстителя правосудия в своей стране и грозы для правителей других, иноверных земель («правду любяи, соуд не по мьзде судяи, ни в поношение поганым странам»). Оценивая политику Калиты (как «цесаря», воцарение которого предсказано пророком) под двумя углами зрения (обеспечение государству безопасности от нашествия внешних захватчиков и насаждение внутреннего порядка), автор похвалы московскому князю пишет: «при семь будеть тишина велья в Роускои земли и въсияеть в дни его правда, яко же и бысть при его царстве».

Дела «благородного князя великого Ивана», который установил «правыи суд паче меры», сравниваются с мероприятиями «правоверного» византийского императора Константина «законодавца», а также «правоверного царя» Юстиниана. При этом указывается,

что Калита в своих постановлениях в области судоустройства и судопроизводства руководствовался византийским законодательством, действуя «по правилам Моноканульным».

В заслугу Ивану Калите ставятся забота о распространении православия, строительство церквей, борьба с ересями и защита идеологических и политических основ господствующей церкви, покровительство духовенству («...в то время благочестию велию восиявши, многим святым церквам съзидаемым..., безбожным ересам, преставшим при его державе..., любя и святительскыи сан...»).

Наконец, в рассматриваемой похвале Калите специально отмечается его социальная политика—как будто бы проводимая им забота о нуждах народа, что вызывало якобы благодарность последнего своему князю («...сирым в бедах помощьник, вдовци от насильник изимая, яко от оуст львов, всеи Роускои земли поминая велегласно державу его царства...»)[1].

Трудно, мне кажется, сомневаться в том, что разобранная тенденциозная запись преследовала специальную цель идеологической пропаганды политических мероприятий московского великого князя, восхваление его как образцового правителя, проявляющего неуклонную и постоянную заботу о своей стране и своем народе. Весьма вероятно, что идеализированный образ Ивана Калиты был создан по прямому указанию его самого. Особенно показательно, что похвала Калите оформлена в виде записи на евангелии, посланном в 1339 г. на Двину. Калита, действуя в интересах московских феодалов, стремился завести на Двине промыслы[2], установить с Двинской землей непосредственные связи (минуя Новгород). Укреплению экономической базы и политических позиций московских феодалов на Севере должны были способствовать и меры идеологического воздействия московской великокняжеской власти на местное население. Неумеренное восхваление Ивана Калиты, проведенное в записи на евангелии — книге, через которую в первую очередь распространялись основы христианского вероучения, ставило своей целью поднять его авторитет прежде всего среди духовенства Двинской земли, а через посредство последнего и среди более широких слоев населения. Не следует забывать и того, что в 1339 г. Иван Калита, побывавши в Орде, получил там поручение собрать новую дань с Русской земли, в силу чего, вернувшись на Русь, сразу передал «царев» (т. е. ханский) денежный «запрос» новгородскому правительству. Конечно, удовлетворение этого «запроса» должно было быть произведено в значительной мере силами и средствами населения северных владений Новгородской республики. Поэтому московскому великому князю, особенно в 1339 г., было так важно пропагандировать перед влиятельными общест-

---

[1] *И. Срезневский*, Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках («Записки Академии наук», № 4, т. XXXIV, СПб., 1879, приложение, стр. 145—148).

[2] ГВНП, стр. 142—143, № 84—85.

венными кругами (а при их помощи и перед рядовыми массами землевладельцев и горожан) основы своей политики.

Какие же области своей деятельности выдвигает на первый план Иван Калита, судя по записи на евангелии, являющейся предметом нашего изучения? Я думаю, что, исходя из этой записи, можно наметить примерно пять направлений, которые Калита считал существенными для политического курса московской великокняжеской власти. Это, во-первых, мероприятия, содействующие безопасности Руси от вражеских нападений — тому, чтобы страна жила в тишине и спокойствии. Во-вторых, это — княжеские законы и судебные уставы (использующие опыт законодательства византийских императоров), задачей которых является обеспечение «правды» в обществе. Третью свою заслугу Калита видит в упрочении социального мира, в мероприятиях по устройству общества на таких началах, чтобы бедные не были обижены богатыми, чтобы не существовало насилия сильных над слабыми. Четвертым комплексом мероприятий Калиты является, по мысли его самого, все то, что служит делу укрепления православия (возведение церквей, поддержка лиц, занимающих руководящее положение в системе церковной иерархии и т. д.). Наконец, пятый пункт той программы великокняжеской политики, которую пропагандирует Калита, — это борьба со всякого рода выступлениями, представляющими собой оппозицию господствующей церкви.

В каких же реальных формах воплощалась в жизнь политическая программа московской великокняжеской власти (программа, которую Иван Калита считал идеалом государственных мероприятий)? Прежде чем отвечать на этот вопрос, может быть, полезно привести еще некоторые (весьма тенденциозные) характеристики значения деятельности Калиты, которые встречаются в источниках XIV и более поздних столетий.

Довольно лаконичное указание записи на евангелии 1339 г. относительно «велией тишины», наступившей в Русской земле в княжение Ивана Калиты, получает более развернутое раскрытие в ряде летописных сводов. В них проводится мысль о том, что московский великий князь сумел якобы создать условия, в которых татаро-монгольские завоеватели уже не могли притеснять русский народ: «Того же лета [1328 г.], — читаем, например, в Рогожском летописце, — седе Иван Даниловичь на великом княжении всея Руси и бысть оттоле тишина велика на 40 лет, и преста погании воевати Русскую землю и закалати христиан и отдохнуша и упочинуша христиане от великыя истомы и многыя тягости и от насилиа татарьскаго, и бысть оттоле тишина велика по всей земли»[1].

Версия о московском князе Иване Даниловиче Калите как нищелюбце нашла отражение в записи под 1329 г., помещенной в одном сборнике: «ходи князь великый Иван Даниловичь в

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 44.

Великый Новгород на пиру, и постояше в Торжке, и приидоша к нему святого Спаса притворяне с чашею сию 12 мужь на пир, и воскликнуша 12 мужь святого Спаса притворяне: бог дай многа лета великому Ивану Даниловичу всея Руси, напои и накорми нищих своих»[1].

Некоторые легенды о Калите записаны в Волоколамском патерике XVI в. Источником этой записи являются рассказы игумена Боровского монастыря Пафнутия (умершего в 1477 г.), в свою очередь пользовавшегося информацией от своего деда. В Патерике говорится, что князь Иван Данилович попал в рай за то, что был «милостив зело» и всегда носил «при поясе калиту» (т. е. кошелек) с «сребреницами», которые раздавал нищим — «сколько вымется». Как-то раз князь по обыкновению дал одному нищему милостыню. Через некоторое время тот пришел к Ивану Даниловичу за милостыней вторично и снова получил от князя удовлетворение своей просьбы. Наконец, нищий попросил у Калиты подаяние в третий раз, и князь опять дал ему денег, но с репликой: «Възми, несытый зеници». В ответ Калита услыхал от нищего: «Ты — несытый зеницы: и зде царствуешь, и тамо хощеши царствовати». Рассказ Патерика заканчивается рассуждением о том, что нищий был послан к Ивану Калите богом, с тем чтобы сначала подвергнуть его искусу, а затем сказать ему, что он делает дело, угодное богу[2].

Рассмотренный рассказ интересен тем, что наряду с идеализацией Калиты как князя, проявляющего заботу о нищих и убогих, в нем звучит и нотка осуждения Калиты: доброта последнего вызвана эгоистичным стремлением занимать первое место и на земле, и на небе.

Все вышеприведенные характеристики и оценки Ивана Калиты, идеализирующие его как человека и правителя, вышли из близких к нему кругов церковных и светских феодалов. В создании далекого от реальной действительности образа доброго и справедливого князя принимал активное участие тот, чей образ (в весьма идиллических чертах, не соответствующих суровому облику оригинала) воспроизводился, — сам московский великий князь Иван Данилович Калита.

От оценок деятельности Калиты современниками перейдем к реальным фактам его политики. Имеются данные о том, что в княжение Калиты, а возможно, по его указанию, проводились какие-то мероприятия по собиранию и обработке памятников права, византийского и русского (церковные уставы древнерусских князей, Русская Правда), которые должны были служить руководством для суда. При Калите, по-видимому, был составлен сборник, представляющий собой соединение Кормчей и Мерила

[1] С. *В. Юшков*, Исследования по истории русского права, вып. 1, Новоузенск, 1925, стр. 54.

[2] «Московские Высшие женские курсы. Семинарий по древнерусской литературе. Волоколамский патерик», (б. г.), стр. 17.

Праведного. А. С. Павлов прямо приписывал создание этого сборника инициативе московского великого князя Ивана Даниловича[1]. С. В. Юшков[2] и М. Н. Тихомиров[3] более осторожно лишь датируют памятник временем Калиты. Имеются основания принять вывод А. С. Павлова, особенно если вспомнить, что в записи на евангелии 1339 г. (сделанной, как я думаю, с ведома самого Калиты) говорилось о его заботе о правосудии и он сравнивался в этом плане с византийскими императорами — Константином и Юстинианом.

Меры Калиты в области кодификации права, которые автор записи на евангелии 1339 г. расценивает как результат заботы о правосудии, как результат стремления обеспечить населению суд справедливый и для всех равный, в действительности означали попытку укрепить феодальный правопорядок в условиях обострившихся классовых противоречий и княжеских войн. «Тишина», наступившая, согласно сведениям ряда источников, на Руси с вокняжением Калиты, — это, по представлениям его современников и потомков, не просто передышка, которую получила страна от татарских набегов. В статьях, предшествующих Новгородской первой летописи по списку Археографической комиссии, Ивану Калите вменяется в заслугу, что он «исправи Русьскую землю от татеи и от разбоиник»[4]. А под «татями» и «разбойниками» представители господствующего класса часто имели в виду не просто правонарушителей, а лиц, представлявших социальную опасность для феодалов, т. е. крестьян и посадских людей, выступавших против землевладельцев и властей. Таким образом, «тишина» — это внутренний феодальный порядок в стране, достигнутый Калитой путем подавления народных восстаний, путем расправы с теми, кто нарушал нормы феодального права, охраняющие жизнь, безопасность, собственность представителей господствующего класса. Поэтому трудно поверить в реальность облика князя-нищелюбца, который выступает в отзывах о Калите, принадлежащих его панегиристам.

В предыдущем параграфе говорилось о том, что Иван Калита содействовал развитию феодальной собственности на землю бояр и слуг и пытался опереться в своей деятельности на поддержку служилых землевладельцев. Один из таких землевладельцев — Борис Ворков упоминается в духовной Калиты. Его владение селом в Ростовской земле обусловлено несением «службы» кому-либо из сыновей Калиты[5].

---

[1] *А. С. Павлов*, Книги законные («Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук», т. XXXVIII, № 3, СПб., 1885, стр. 36—37).

[2] *С. В. Юшков*, Исследования по истории русского права, вып. 1, стр. 52—56; *его же*, Русская Правда. Происхождение, источники, ее значение, М., 1950, стр. 159—160.

[3] *М. Н. Тихомиров*, Исследование о Русской Правде. Происхождение текстов, М.—Л., 1941, стр. 119—120.

[4] НПЛ, стр. 465.

[5] ДДГ, стр. 10, № 1.

Я говорил также, что Калита в своей политике выколачивания из населения денежных средств для отправки дани в Орду часто довольно круто обращался с горожанами. Однако в тех же целях поднятия платежеспособности населения ему приходилось прибегать и к мероприятиям другого рода — к устройству слобод и привлечению туда жителей путем предоставления им податных льгот. Из «Жития» Сергия Радонежского мы узнаем, что Калита, передав своему младшему сыну Андрею «весь, глаголемую Радонежь», поставил туда наместником Терентия Ртища «и лготу людем многу дарова, и ослабу обещася такоже велику дати, ея же ради лготы собрашася мнози...»[1].

Политика великокняжеской власти в лице Ивана Калиты проводилась в союзе с господствующей православной церковью в лице всероссийского митрополита. В своей деятельности Калита был тесно связан сначала с митрополитом Петром, затем с митрополитом Феогностом[2].

Вместе с Петром Иван Калита вел борьбу с ересями. В составе одного сборника 1504 г. сохранился памятник под заглавием «Книга, нарецаемая Власфимиа, рекше хула на еретикы — главы различныя от еуангелиа и от канон святых отець, в них же обличениа богом ненавистных злочестивых духопродажных ересеи». В предпоследней главе сборника, озаглавленной «О церковных судах и людех», имеется приписка: «дай бог и на многа лета великомоу князю Ивану Даниловичю всея Руси». Отсюда А. С. Павлов, опубликовавший сведения об указанном сборнике, пришел к выводу, что он был составлен при Иване Калите[3].

В другом списке Власфимии конца XIV в. (в сборнике Новгородско-Софийского собрания № 1262) сохранился более ранний текст памятника. Анализ разных редакций Власфимии привел А. И. Клибанова к выводу, что история ее текста отражает борьбу ортодоксальной православной церкви против тех, кто выступал с ее критикой. Редакция Власфимии, отражающая интересы демократических кругов, подвергавших церковь критике, была переделана при Иване Калите. Целью этой переделки было устранить из памятника демократические тенденции[4].

Иван Калита, по-видимому, принимал участие в церковном соборе в Переяславле в начале второго десятилетия XIV в., на котором разбирался вопрос о ересях[5]. Вместе с Калитой против еретиков выступал и митрополит Петр. В его «Житии» говорится,

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 129.

[2] Я не касаюсь той политической борьбы вокруг кандидатуры на митрополичью кафедру, которая шла в начале XIV в. между Московским и Тверским княжествами. Об этом см. *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 121—124.

[3] «Православный собеседник», 1867, июль, стр. 237. См. также *П. Соколов*, Русский архиерей из Византии, Киев, 1913, стр. 245.

[4] *А. И. Клибанов*, Реформационные движения в России в XIV—первой половине XVI в., М., 1960, гл. I.

[5] *В. С. Борзаковский*, указ. соч., стр. 245—252.

что он какого-то еретика «препре приехавши на прю, и прокля и»[1]. В Никоновской летописи тот же текст звучит несколько иначе: «В то же время и Сеит еретик явися, туждая церкви Христовы и православныа веры мудръствуя, его же святый препре и не покоряющаяся того же проклятью предаде, иже и погибе»[2].

Не связаны ли с переяславским собором те выпады против монашества, которые содержатся в известном послании Даниила Заточника[3]. Имеются основания отнести вторую редакцию этого памятника к началу XIV в.[4] В этой редакции осуждаются монахи, которые ведут настолько скверный образ жизни, что, по словам Даниила, «принять ангельский образ» значит «солгать» богу. Но обмануть можно людей, бога же не обманешь, и именем божьим шутить грешно: «Рече бо лож мирови, а не богу; богу нельзя солгати, ни вышним играти». Обличая монашество, Даниил прибегает к весьма колоритным сравнениям. «Или речеши, княже, постригися в чернцы, то не видал есмь мертвеца, на свинии ездячи, ни черта на бабе; не едал есми от дубья смоквеи, ни от липъя стафилья»[5]. Даниил ставит в вину монахам приверженность к мирским увеселениям, к стяжательству, к земельным приобретениям. «Мнози бо, отшедше мира сего во иноческая, и паки возвращаются на мирское житие... и на мирское гонение; обидят села и домы славных мира сего, яко пси ласкосердии. Иде же брацы и пирове, ту черньцы и черници и беззаконие...»[6].

В. Н. Татищев приводит сведения о распространении в начале XIV в. в Переяславле ереси, вопрос о которой обсуждался на церковном соборе при участии Ивана Калиты. Еретики осуждали монашество («ангельский монашеский чин ругаху»), называя его «учением бесовским»[7]. Возможно, что резкие и ядовитые характеристики монахов, которые мы находим в «Послании» Даниила Заточника, представляют собой отголоски выступления переяславских еретиков.

§ 5. Классовая борьба на Руси в 40-х годах XIV в.

Острая борьба между правящими кругами отдельных феодальных центров Северо-Восточной Руси, сопровождавшая процесс объединения русских земель, суровая политика Ивана Калиты

---

[1] *Макарий*, История русской церкви, т. IV, СПб., 1886, стр. 310.

[2] ПСРЛ, т. X, стр. 192.

[3] «Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам», приготовил к печати Н. Н. Зарубин, Л., 1932.

[4] *С. П. Обнорский*, Очерки по истории русского литературного языка старшего периода, Л., 1947, стр. 85—131. О возможности такой датировки см. *И. У. Будовниц*, Памятник ранней дворянской публицистики (Моление Даниила Заточника)—Труды ОДРЛ, т. VIII, 1951, стр. 156.

[5] «Слово Даниила Заточника», стр. 70, ст. LXXII—LXXIII.

[6] Там же, стр. 70, ст. LXXIV.

[7] *В. Н. Татищев*, История Российская с самых древнейших времен, кн. 4, СПб., 1784, стр. 92—93.

в присоединенных к Москве княжествах, тяжелый фискальный гнет—все это вызвало напряжение народных сил. Следствием же такого напряжения явились антифеодальные движения на Руси, начавшиеся после смерти Калиты.

Наиболее резкие формы приняла классовая борьба в Новгородской земле. Это и понятно, если вспомнить, что как раз денежными средствами, собранными с населения названной области, Иван Калита пытался удовлетворить запросы Золотой орды. Новгородские черные люди, страдавшие под тяжестью налогового гнета, волновались. В 1340 г. (в год кончины Калиты) их волнения приняли открытые формы. Происходившие в этом году поджоги и грабежи были проявлениями классовой борьбы плебейских масс против феодального строя. Намеренное уничтожение икон являлось одной из форм иконоборческого движения, выражавшего протест радикального крыла еретиков против господствующей церкви[1].

Новгородские бояре, желая избавиться от беспокойного плебса, стремились увести его за пределы Новгородской республики, организуя в этих целях военные отряды из черных людей (а иногда и из своих холопов) для захвата новых земель на севере и северо-востоке Руси и грабежа купеческих караванов. Так, в 1340 г. новгородские «молодцы» «воевали» и «пожгли» Устюжну, захватили там «полон» и «товар», а затем отправились в Белозерскую волость и также ее пограбили[2].

Большое антифеодальное восстание произошло в 1340 г. в Торжке. Толчком к нему послужило то обстоятельство, что сын и преемник Ивана Калиты—Семен Иванович, будучи после смерти отца утвержден ордынским ханом на владимирском великом княжении, послал в Торжок сборщиков дани. Те стали притеснять население («и почаша силно деяти»). Новоторжцы (как видно из последующего летописного рассказа, местные бояре) обратились за помощью к новгородскому правительству («прислаша с поклоном в Новъгород»). Из Новгорода в Торжок неожиданно для великокняжеской администрации явились посадники и бояре с военным отрядом. Они арестовали действовавших в городе от имени великого князя Семена Ивановича наместников и «борцов» («сборщиков «бора»—дани) вместе с их женами и детьми и наложили на них оковы («и сковаша я»).

В то же время из Новгорода был отправлен к великому князю Семену посланец с протестом («с жалобами») по поводу того, что он, еще не будучи признан в качестве князя новгородским правительством, уже самоуправно действует в Торжке, который новгородские власти считали своим владением.

После месячного пребывания в Торжке, укрепив город на случай нападения великокняжеских войск, находившиеся там новгород-

---

[1] См. об этом стр. 444—447 данной монографии.

[2] НПЛ, стр. 351.

ские бояре послали в Новгород за подкреплением («... что быша новгородце всели на коне в Торжок»). Новые военные силы были нужны боярам для возможной войны с князем Семеном Ивановичем, а также для усиления своей власти в Торжке. Но новгородские черные люди воспрепятствовали сбору войска для похода в Торжок («и не восхотеша чернь»). Обычно такую позицию черных людей объясняют их симпатиями к московскому князю. Но из летописного рассказа нельзя сделать подобного вывода. Скорее горожане попросту не хотели возлагать на свои плечи всю тяжесть новой войны, им ненужной.

Что касается населения Торжка, то, очевидно, поведение находившихся в городе новгородских бояр вызывало у него раздражение не меньшее, чем действия представителей княжеской администрации. Но новоторжские горожане воздержались от открытого антибоярского выступления пока ожидалось прибытие войска из Новгорода. Убедившись же в том, что это войско не явится, новоторжские черные люди подняли вооруженное антифеодальное восстание и расправились как с местными, так и с прибывшими из Новгорода боярами («въсташа чернь на бояр...»). Новоторжским феодалам было предъявлено со стороны горожан обвинение в том, что они призвали в город властей из Новгорода, а те захватили княжеских приказных людей и поставили новоторжцев под угрозу ответственности перед великим князем. Согласно летописи, «чернь» заявила представителям господствующего класса: «Почто есте новгородцов призвале, и они князи изимале, нам в том погинути».

Служит ли приведенное заявление показателем промосковских настроений новоторжских черных людей и их преданности великому князю московскому? Такое мнение распространено в исторической литературе. Но летописный текст не дает права на подобный вывод. Из летописей видно, что трудовое население Торжка было измучено поборами со стороны феодалов. Новгородские бояре, расправившись с княжескими наместниками и «борцами», не принесли облегчения народу, а кроме того, не сумели обеспечить ему защиту от великокняжеской рати, которая могла в любой момент двинуться на Торжок. В этих условиях «чернь» и решила освободить арестованных боярами представителей великокняжеской администрации и тем самым избавить город от военного разгрома, который мог быть учинен Семеном Ивановичем. Жертвой такого разгрома Торжок уже делался в прошлом.

Из летописного рассказа можно вынести впечатление, что восстание в Торжке происходило в формах, типичных для городских движений: народные массы действовали по вечевому приговору. Вооружившись («и съкрутившеся в брони»), восставшие горожане двинулись «силою» к боярским дворам, потребовали от воевод освобождения задержанных княжеских наместников и сборщиков дани и прогнали из Торжка («выпроводиша из города») новгородских бояр. Один из новоторжских феодалов был убит по решению веча, а другие, чтобы избежать расправы, побросали имущество

«и только душею кто успел» убежали в Новгород. Городские дворы скрывшихся новоторжских бояр были «разграблены», а их дома снесены («а домы их разграбиша, и хоромы развозиша»). Затем восстание вышло за пределы города, в нем приняло участие крестьянство, захватившее принадлежавшие феодалам земли и хлеб. Такой вывод можно сделать из лаконичной реплики летописца: «потом и села их [бояр] пуста положиша».

Зимой 1340 г. великий князь Семен Иванович двинулся к Торжку «со всею землею Низовьскою». Через Торжок он, конечно, намеревался направить свои полки на Новгород для расправы с боярами, арестовавшими в свое время его приказных людей, и для взыскания с населения Новгородской земли «бора». Новгород стал готовиться к обороне. Для возведения оборонительных сооружений в город созывалось окрестное население («новгородци же почаша копити волость всю в город...»). В то же время новгородское правительство пыталось разрешить конфликт с московским князем мирным путем и направило в этих целях для переговоров с ним архиепископа, тысяцкого и ряд бояр. При переговорах присутствовал митрополит. Новгородские посланцы оформили договор между Новгородской республикой и московским великим князем. В летописи говорится, что это мирное «докончание» было заключено «по старым грамотам, на всеи воли новгородчкои». Но последняя формула вряд ли отражает реальное соотношение сил между Новгородом и великокняжеской властью. Новгородскому правительству пришлось принять условия, выдвинутые великим московским князем, а среди причин, заставивших его это сделать, имели, вероятно, значение недавнее выступление «черни» в Торжке и социальные волнения в самом Новгороде. Только укрепив мир с великим князем Семеном Ивановичем, новгородские бояре могли рассчитывать восстановить свои позиции в Торжке и Новгороде, ослабленные антифеодальным движением черных людей (надо думать, еще не совсем прекратившимся).

По договору с Новгородом князю Семену было разрешено собрать «бор» «по волости» Новгородской и взять тысячу рублей с новоторжцев. В Новгород прибыл московский наместник, а скоро туда же явился и митрополит Феогност. Пребывание последнего в Новгородской земле дорого обошлось местному духовенству, которое было вынуждено его содержать и подносить ему всевозможные дары («тяжко же бысть владыце и монастырем кормом и дары»). Вероятно поездка в Новгород Феогноста была связана с проведением каких-то мероприятий по борьбе с ересями, в частности с происходившими в 1340 г. выступлениями иконоборцев[1].

---

[1] НПЛ, стр. 352—353; ПСРЛ, т. V, стр. 222—223; т. VII, стр. 206—207; т. X, стр. 212—213; т. XVI, стр. 70—73; т. XVIII, стр. 93; т. XX, стр. 180—181; т. XXIII, стр. 105—106. Анализ восстания в Торжке в 1340 г. дан И. У. Будовницем в статье «Поддержка объединительных усилий Москвы населением русских городов», стр. 120—121.

Волнения черных людей в 1340 г. зафиксированы источниками не в одном Новгороде. В разных летописных сводах содержится известие об убийстве в Брянске князя Глеба Святославича. Этот факт был одним из проявлений антифеодального выступления брянских горожан. Расправа народа с князем была произведена по приговору веча, а участников расправы летописи, выражавшие идеологию господствующего класса, называют «проклятими» людьми, «злыми коромолницами». Князь Глеб Святославич находился на богослужении в церкви святого Николы. Его вывели оттуда и предали смерти. Убийство произошло в присутствии митрополита, который не смог остановить восставших горожан («и не возможе уняти их»)[1]. Хотя причины, непосредственно приведшие к социальным волнениям в Брянске, установить по летописям и невозможно, ясно, как я уже говорил, что они имели антифеодальную направленность. Их надо рассматривать в качестве одного из звеньев в цепи городских движений 40-х годов, вызванных тяжелым положением народных масс, страдавших от налогового гнета со стороны Золотой орды и от политики русских князей, которые в условиях начавшейся централизации стремились к усилению своей власти и укреплению государственного аппарата.

Новгородская летопись глухо упоминает (в связи с описанием пожаров в Новгороде в 1340 г., сопровождавшихся действиями «злых людей») о том, что «того же лета и Смоленск погоре весь»[2]. На этом основании можно предполагать, что в Смоленске имели место явления, подобные новгородским: поджоги городской «чернью» зданий и церквей, грабежи боярских и купеческих товаров. Иначе зачем было новгородскому летописцу вспоминать про пожар в Смоленске?

В самом Новгороде классовая борьба продолжалась и в последующие годы. В 1342 г. снова вспыхнули пожары, во время которых «лихые люди» причинили «много пакости» зажиточным группам населения. Говоря об этом, летопись имеет в виду, по-видимому, опять-таки выступления плебейских городских масс, расхищавших имущество феодалов и купцов. Были, вероятно, и случаи, когда еретики активно препятствовали тому, чтобы из объятых пламенем церквей убирались иконы. Новгородская летопись рассказывает, что новгородские архиепископ, игумены, попы объявили пост, а также устроили крестные ходы «по манастырем и по иным церквам» с участием «всего града», моля бога, чтобы он «отвратил» от населения «праведныи гнев свои»[3]. Вряд ли можно сомневаться, что проявлением божьего гнева, по мысли летописца, были не только пожары, но и выступления «лихих людей», эти пожары устроивших и их использовавших для действий, приносивших вред господствующему классу и официальной православной церкви.

---

[1] ПСРЛ, т. VII, стр. 206; т. X, стр. 212; т. XV, стр. 422; т. XV, вып. 1, стр. 53; т. XVIII, стр. 93; НПЛ, стр. 353.

[2] НПЛ, стр. 352.

[3] Там же, стр. 355.

Активность новгородских черных людей выявилась в 1342 г. и в других направлениях. Землевладелец Лука Варфоломеев, собрав отряд холопов («скопив с собою холопов збоев»), отправился по собственной инициативе, без санкции новгородского правительства, митрополита и архиепископа («не послушав Новаграда, митрополица благословениа и владычня»), на Двину. Там он основал городок Орлец, захватил «на щит» погосты в «Заволочской земле» и там же был убит. В то же время сын Луки Онисифор двинулся с другим военным отрядом на Волгу, стремясь, очевидно, как и его отец, к земельным захватам и обогащению путем грабежа купеческих караванов.

Лука Варфоломеев и Онисифор Лукинич, по-видимому, пользовались популярностью среди новгородских плебейских масс, часть которых, не находя применения своему труду и пропитания в Новгороде, хотела найти средства к существованию, приняв участие в походах за пределы Новгородской земли. Поэтому, когда в Новгород пришла весть о гибели Луки Варфоломеева, черные люди подняли восстание, обвинив посадника Федора Данилова и некоего Аидрея (Ондрешка) в том, что они организовали это убийство («...яко те заслаша на Луку убити...»). Дома и села Федора и Ондрешка подверглись «разграблению», а сами они были вынуждены убежать в Копорье, где и скрывались всю зиму.

В это время в Новгород явился Онисифор Лукинич и подал официальную жалобу новгородскому правительству на Федора Данилова и Ондрешка, заявив: «Те заслаша отца моего убити». Началось расследование указанного дела. В Новгород от имени архиепископа и веча были вызваны из Копорья (через архимандрита Юрьева монастыря Есифа) обвиняемые лица. На предъявленное им обвинение они ответили: «не думале есме на брата своего на Луку, что его убити, ни засылати на его».

Между тем Онисифор Лукинич стремился, очевидно, используя версию об организации новгородскими правителями убийства своего отца, завоевать симпатии черных людей и при их помощи пробраться к власти. Вместе с боярином Матвеем Варфоломеевым Козкой Онисифор собрал вече на Софийской стороне Новгорода. Противники Онисифора—Федор Данилов и Ондрешка в свою очередь созвали второе вече—на Ярославовом дворе. Ясно, что между названными представителями боярства шла борьба за власть, а успех в этой борьбе в значительной мере определялся позицией черных людей. Было важно, за кем они пойдут. Онисифор и Матвей отправили для переговоров со своими соперниками архиепископа, но, не дождавшись его возвращения, двинулись («удариша») вместе с поддерживавшими их людьми на Ярославов двор. В происшедшей здесь схватке сторонники Федора Данилова и Ондрешки захватили Матвея Козку и его сына Игната и заперли их в церкви, а Онисифору «со своими пособникы» удалось бежать. После этого участники двух вечевых сходок, собравшихся на разных сторонах Волхова, пришли к примирению—на каких условиях, мы не

знаем. Новгородский летописец говорит, что примирение было достигнуто усилиями архиепископа и наместника[1]. Вряд ли можно сомневаться в том, что черные люди выговорили для себя какие-то льготы со стороны представителей господствующего класса.

При характеристике классовой борьбы в Новгороде важно отметить, что в Новгородской летописи под 1344 г. помещено достаточно подробное сообщение о крестьянском движении этого времени в Эстонии («бысть мятежь за Наровою велик: избиша чюдь своих бояр земьскых...»)[2]. Очевидно, интерес к нему летописца объясняется, в частности, тем, что и в Новгородской земле происходили антифеодальные движения.

Под 1345 г. в Новгородской летописи находим известие о смене посадников. Вместо Евстафия Дворянинца посадником стал Матвей Варфоломеевич, которому не удалось прийти к власти в 1343 г. По-видимому, он, как и Лука Варфоломеевич, пользовался известным авторитетом среди черных людей. Летописец подчеркивает, что переход посадничества от Евстафия к Матвею не сопровождался борьбой между их сторонниками («...не бысть междю ими лиха»). Однако такая борьба велась. Это видно хотя бы из того, что в 1346 г. Евстафий Дворянинец был убит на вече[3].

Избрание посадником Матвея Варфоломеевича, конечно, не означало демократизации новгородского правительства. Но его кандидатура в качестве посадника была наиболее приемлемой для черных людей. Поэтому с передачей посаднического жезла Матвею Варфоломеевичу волнения новгородской «черни» немного приостановились.

Приведенный выше материал в достаточной степени убедительно свидетельствует о том, что первая половина пятого десятилетия XIV в. явилась временем усиления классовой борьбы в Новгороде. Я говорил также, что отмеченное явление не было особенностью одного Новгорода, что в тот же промежуток времени вспыхнуло восстание горожан в Брянске. Возможно предположить, что имели место какие-то волнения черных людей в Смоленске. Сохранились, наконец, данные об обострении в те же годы классовых противоречий в Твери.

Как было указано в параграфе третьем настоящей главы, Иван Калита, сурово расправляясь с участниками народных движений, в 1339 г. вывез в Москву колокол, снятый с тверского Спасского собора. Этим как бы подчеркивалось желание московского князя подавить вечевые порядки (вече собиралось по звону церковного колокола) и тем самым помешать крамольным выступлениям горожан. Но в 1347 г. тверской князь Константин Васильевич приказал слить новый большой колокол для Спасского собора[4]. Не означало ли упоминание об этом акте в летописи демонстративное

[1] НПЛ, стр. 355—356.
[2] Там же, стр. 357.
[3] Там же, стр. 355—356.
[4] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 58.

подчеркивание того, что князь не может нарушить право горожан собирать вече и через вече предъявлять свои требования и претензии княжеской власти. А если действительно можно так толковать летописное известие, то значит в Твери на протяжении с 1339 по 1347 г. имели место в какой-то форме движения горожан, с которыми должен был считаться князь.

Имеются данные утверждать, что эти движения облекались в идеологическую форму, представляя собой еретические выступления против господствующей православной церкви. Об идеологической борьбе в Твери в 40-х годах XIV в. можно судить по одному очень интересному памятнику, «Посланию архиепископа новгородцкого Василия ко владыце тферскому Феодору», помещенному в Воскресенской и некоторых других летописях под 1347 г.[1] В названном Послании говорится, что в Твери благодаря деятельности «лихих людей» началось идейное брожение («распря»). Возникли споры о том, возможно ли увидеть на земле рай, в котором некогда жил Адам, или же следует говорить только о «мысленном рае», как духовном понятии. Первую точку зрения защищал новгородский архиепископ Василий, вторую—тверской епископ Федор, находившийся под влиянием «лихих людей».

Послание Василия подверглось детальному анализу в работе А. И. Клибанова[2]. Он пришел к выводу, что полемика новгородского архиепископа с тверским епископом Федором была отражением религиозных споров, ведшихся во второй четверти XIV в. в Византии между Григорием Паламой и Варлаамом по вопросу о том, что представлял собой свет, который якобы видели на Фаворской горе апостолы Петр, Иоанн и Иаков. Палама утверждал, что фаворский свет—явление чудесное, Варлаам усматривал в нем явление природы и тем самым подрывал веру в чудеса, в религии же видел духовное познание человеком высшей истины. Учение паламитов сделалось идейным знаменем реакции. Учение Варлаама официальная церковь расценивала как ересь.

А. И. Клибанов считает, что архиепископ Василий был последователем идей Паламы, исповедовал «*внешне-обрядовую религию* с ее магией церемоний и мистикой чудес» и поэтому доказывал, что благодаря чуду человеческим чувствам могут стать доступными такие сверхъестественные явления, как «царствие божие». Для Федора понятие «мысленный рай» означало, что рай надо искать «в самом человеке». Объявляя религию «внутренним миром человека», тверской епископ «применял свой принцип для критики православия с его бездушной обрядностью и суеверным почитанием «чудес»». Если Василий выступал как «православный ортодокс», то «выступление Федора Доброго явилось самым значительным фактом в предистории русской реформационной мысли»,— пишет А. И. Клибанов.

[1] ПСРЛ, т. VII, стр. 212—214.

[2] *А. И. Клибанов.* К истории русской реформационной мысли (Тверская «распря о рае» в середине XIV в.), стр. 233—263.

Идейное расхождение между Василием и Федором А. И. Клибанов ставит в связь с их политическими разногласиями: первый был якобы врагом, второй—сторонником московских князей, проводивших политику объединения русских земель. Поэтому Василия А. И. Клибанов считает реакционером в политике, а в Федоре видит представителя прогрессивных общественных слоев феодального общества.

Совсем по-другому оценивает Василия, как мы видели выше (§ 3 данной главы), Б. А. Рыбаков. Он подчеркивает, что Послание новгородского архиепископа «проникнуто демократической идеей, развившейся из еретических учений и шедшей вразрез с каноническими церковными представлениями,—идеей земного, существующего рая». «Вместо «мысленного» будущего блаженства в потустороннем мире, обещаемого церковью», еретики, и среди них Василий, утверждает Б. А. Рыбаков, проповедовали существование реального рая, доступного для обозрения[1]. Ставя вопрос о политических взглядах Василия, Б. А. Рыбаков доказывает, что он был сторонником союза Новгорода с Московским княжеством.

Я думаю, что прежде всего следует признать неубедительным распространенное в нашей литературе представление о непосредственной связи между демократическими настроениями тех или иных представителей русского общества XIV—XV вв. и их политической ориентацией на московскую великокняжескую власть. Столь же недоказуем тезис о том, что политические противники московских великих князей всегда были выразителями реакции. Отношение тех или иных лиц или общественных слоев к политике московской великокняжеской власти на разных этапах зависело от многих причин (от соотношения в данный момент классовых и внутриклассовых сил, от внешнеполитической ситуации и т. д.) Оценка исследователем этого отношения не может быть однолинейной. Не была неизменной и политическая позиция по вопросу о союзе с Московским княжеством или же о сопротивлении ему, занимаемая Василием и Федором, являвшимися высшими церковными иерархами (один—в Новгороде, другой—в Твери).

Вряд ли можно также, говоря о религиозных взглядах Василия и Федора, безоговорочно причислять одного из них к лагерю защитников ортодоксального православия, второго—к кругу лиц, выражавших реформационные настроения. Спор между Василием и Федором был спором между двумя церковниками, занимавшими видное официальное положение. Он начался с выступления новгородского архиепископа, вызванного не «ересью» тверского «владыки», а высказываниями и действиями каких-то «лихих людей». Скорее всего, это те же «лихие люди», которые в 40-х годах XIV в. и позже появились и в Новгороде, т. е. представители крайнего крыла еретиков, отрицавших воскресение мертвых и высказывавших другие

---

[1] *Б. А. Рыбаков*, Ремесло древней Руси, стр. 770.

мысли, несовместимые с представлениями господствующей церкви, ведшие борьбу с иконопочитанием и т. д.

Василий обратился к Федору с призывом к борьбе с такими «лихими людьми», причем не видно, чтобы новгородский архиепископ причислял самого тверского «владыку» к их числу. Речь шла о том, что̀ противопоставить еретикам. И в данном случае и Василий, и Федор защищали хотя и не одинаковые, но близкие идеи, в целом не расходившиеся с представлениями официальной церкви. Но в том-то и заключалась действенная сила народной идеологии, что она просачивалась даже в мировоззрение представителей высшей церковной иерархии и накладывала на него свой отпечаток. Это можно заключить по высказываниям и Василия и Федора.

Василий верил в существование рая и хотел передать эту веру своим идеологическим противникам. Но его представления об этом рае как бы раздваивались. С одной стороны, как правоверный церковник, он говорит о «мысленном рае», т. е. о вечном небесном блаженстве, которое ожидает праведников после того, как наступит конец мира. «А мысленый рай то̀ есть, брате, егда вся земля изсушена огнем будет, по апостольскому словеси: чаем небес новых и земли новыя, егда истинный свет, Христос, снидет на землю»,— читаем в Послании Василия. Он же пишет дальше: «А сем раю мысленем Христос рече: суть етери от зде стоящих, иже не имут вкусити смерти, дондеже узрят царьствие божие пришедше в силе»[1]. Все эти высказывания характеризуют архиепископа Василия как выразителя взглядов, обычных для ортодоксальных церковников.

Но приведенными высказываниями мировоззрение Василия не ограничивается. Выходец из среды приходского духовенства, близкого по своей идеологии к торгово-ремесленному посадскому населению, житель крупного торгового города, являвшегося центром социальных движений, политической борьбы, Василий был органически связан с реальной действительностью, мыслил конкретными образами. Поэтому его никак не могло удовлетворить понятие лишь «мысленного рая». Он хотел воплотить это понятие в зримые формы («все мысленое мнится видением»)[2] и поэтому искал местонахождение рая на земле. Связанный с купцами, часто ездившими за пределы Новгородской земли, возможно, сам совершавший путешествия за границу, Василий отразил в своем Послании рассказы, распространенные в среде горожан, об аде и рае, которые якобы удалось повидать русским землепроходцам. Вот как описывает Василий со слов последних ад: «Много детей моих новогородцев видоки тому,—на Дышущем мори червь неусыпающий, скрежет зубный и река молненая Морг, и что вода входит в преисподняя и паки исходит трижды днем». А вот описание «святаго рая», который «находил Моислав новогородец и сын его Яков...»: высокие горы освещает «свет... многочестный, светлуяся

[1] ПСРЛ, т. VII, стр. 214.
[2] Там же, стр. 213.

паче солнца, а на горах тех ликованиа много слышахуть, и веселия гласы свещающа»[1]. Явления сверхъестественные и чудесные Василий низводит на степень жизненных, земных, хотя бы в какой-то мере материальных. Это значит, что, борясь средствами религии против народного мировоззрения, чуждого церкви и расцениваемого ею как еретическое, Василий, защищавший позиции ортодоксального православия, сам поддавался воздействию народной (в основе своей антифеодальной) идеологии. Отсюда и интерес Василия к апокрифам, которые он воспроизвел в своем Послании.

Под воздействием еретических представлений (несколько иного толка) оказался и тверской епископ Федор, бывший, как и Василий, выразителем идей официальной церкви. Представить себе взгляды Федора труднее, чем мировоззрение Василия, ибо лишь по полемическому Посланию последнего можно судить, о чем думал и какие идеи защищал первый. Во всяком случае на основании текста Послания Василия, по-моему, нельзя сделать того заключения, которое делает А. И. Клибанов: для Федора раем является внутреннее духовное содержание человека. Сам исследователь признает условность подобного вывода. Нет, Федор верил, как и все ортодоксальные церковники, в то, что богом был создан рай—чудесное место, где проживал в блаженстве первый человек. Только он считал, что этот рай погиб, когда произошло грехопадение Адама. «Слышах, брате, что повествуеми: рай погибл, в нем же был Адам»,—так передает Василий сущность идей, проповедуемых его противником. «А што, брате, молвит рай мыслен, ино, брате, так то и есть мысленый будет, а сажен не погибл и ныне есть»,—возражает Василий Федору на его утверждение[2].

Мировоззрение Василия отличается более реалистическими чертами по сравнению с взглядами Федора. Последний отказывается от поисков рая как блаженного уголка, сохранившегося на земле. Федор склонен к рассуждениям, в которых можно видеть какие-то зачатки рационализма, и поэтому создает мысленное представление о рае (не очень для нас ясное). Но его представление построено прежде всего *на вере в существование рая.* Поэтому в основе своей идеи Федора—это идеи господствующей церкви, лишь с некоторыми элементами рационализма, не подрывающего веру в чудеса, но придающего ей менее примитивный характер.

Итак, и Василий и Федор защищали идеологическую платформу господствующей церкви, но в борьбе со своими идейными противниками они восприняли кое-что и из их взглядов.

В заключение следует сказать,что обострение в 40-х годах XIV в. классовой борьбы, вылившейся в различные формы, должно было оказать влияние на дальнейшую политику господствующего класса в разных княжествах Северо-Восточной Руси. Без учета народных движений тех лет нельзя понять процесса образования Русского централизованного государства.

[1] ПСРЛ, т. VII, стр. 213.
[2] Там же, стр. 213—214.

§ 6. Политические взаимоотношения русских земель в 40—50-х годах XIV в. (при ближайших преемниках Калиты)

Усиление классовой борьбы на Руси в 40-х годах XIV в. имело следствием известную консолидацию сил господствующего класса. 40—50-е годы XIV в.—это время некоторого ослабления феодальных войн между русскими князьями. Такое ослабление было связано и с тем, что возросла внешняя опасность для русского народа со стороны литовских феодалов, пытавшихся завладеть русскими землями. Задачи сопротивления литовской агрессии вызывали необходимость сплочения господствующего класса. В то же время Орда продолжала свою политику натравливания одних русских князей на других, мешая политическому объединению Руси.

Развитие политического строя Северо-Восточной Руси после смерти Калиты протекало в силу всех указанных выше обстоятельств в несколько противоречивых формах. С одной стороны, существовал признаваемый Ордой политический союз русских княжеств под верховенством великого князя владимирского. С другой стороны, Орда содействовала укреплению самостоятельности отдельных великих княжеств—Суздальско-Нижегородского, Тверского, Рязанского, противопоставляя их княжеству Московскому.

Великим князем всея Руси был признан в 1340 г. в Орде старший сын Ивана Калиты—Семен Иванович. В пределах Московского княжества под его руководством образовалось своеобразное правительство триумвирата, в состав которого из князей, кроме самого Семена, входили его братья Иван и Андрей Ивановичи. Как великому князю владимирскому, Семену Ивановичу были подчинены и другие русские князья. Согласно летописи, Семен Иванович после смерти Калиты побывал в Орде, «а с ним братиа его князь Иван и Андреи и вси князи тогда в Орде были». Вернувшись на Русь, «... седе князь великии Семен на столе в Володимери... на великом княжении всея Руси...»[1]. В некоторых летописях при этом подчеркнуто, что ордынский хан признал владимирского и московского великого князя верховным главой всех других русских князей («и вси князи рустии дане ему в руце»)[2]. Возможно, правда, что этот летописный текст является более поздним, не современным событиям, в нем затрагиваемым. В таком случае можно думать, что перед нами несколько тенденциозная оценка междукняжеских отношений 40-х годов XIV в., под углом зрения той роли московской великокняжеской власти, которую она приобрела уже в позднейшее время.

Зимой 1340 г. в Москве состоялся княжеский съезд («... бысть съезд на Москве всем княземь роусским»), после которого великий

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 53; т. XVIII, стр. 93; т. X, стр. 211—212.
[2] ПСРЛ, т. IV, ч. 2, вып. 1, стр. 255; т. V, стр. 222; т. VII, стр. 206; т. XVI, стр. 74; т. XX, стр. 180; т. XXIII, стр. 105; т. XXIV, стр. 117.

князь Семен Иванович двинул войско к Торжку для подавления там восстания и взыскания с местного населения (очевидно, по требованию Орды) «черного бора». Вместе с великим князем отправились в поход и другие князья, надо думать, участники московского съезда: брат Семена—Иван Иванович, Константин Васильевич нижегородско-суздальский, Константин Васильевич ростовский, Василий Давыдович ярославский и другие («и вси князи...»— как говорит летопись). Сопровождал князей и митрополит Феогност[1].

Из приведенного летописного сообщения можно сделать два вывода. Во-первых, на московском съезде, очевидно, было признано руководящее положение великого князя московского среди других князей Северо-Восточной Руси. Во-вторых, одной из задач съезда (а может быть, его главной задачей) было изыскание средств для удовлетворения фискальных требований Орды в виде следуемой ей дани. Поскольку новоторжское население оказало сопротивление сборщикам дани, присланным Семеном Ивановичем, постольку последний и созвал в Москву ряд князей, чтобы вместе с ними выработать план подавления восстания в Торжке и общими силами его осуществить. Вот наглядный пример того, как борьба феодалов с народными движениями заставляла их изыскивать политические формы консолидации своих сил.

Однако наряду с укреплением союза ряда русских князей под эгидой московской великокняжеской власти в 40—50-х годах XIV в. наблюдался и процесс роста политической самостоятельности крупных княжеств Северо-Восточной Руси. В основе этого процесса лежали, конечно, экономические предпосылки; он определялся существовавшей в то время хозяйственной раздробленностью страны. Но политическое обособление ряда княжеств происходило при участии Орды, заинтересованной в поддержании расчлененности Руси. С 1332 г., как известно, Нижегородское княжество было с санкции ордынского хана соединено с Владимирским и оказалось в руках Калиты. Еще в год смерти Калиты Нижний Новгород принадлежал московским князьям. Это видно из того, что в момент кончины Калиты его сын Семен Иванович находился в Нижнем Новгороде и не мог поэтому присутствовать на похоронах своего отца. Но в 1341 г. Орда признала самостоятельность Нижегородского княжества под властью князя Константина Васильевича суздальского[2].

В Тверском княжестве после казни в Орде Александра Михайловича стал княжить его брат Константин Михайлович. В 1340 г. он был утвержден ордынским ханом.

В Рязанском княжестве шла борьба между местными правителями, в которую вмешивалась Орда, используя ее в целях усиления своей власти. В 1339 г. рязанский князь Иван Иванович Коротопол задержал пронского князя Александра Михайловича, кото-

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 53.
[2] Там же, стр. 53—54; *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 96—97.

рый вез «выход» в Орду, отнял у него «выход», а самого привел в Переяславль-Рязанский и убил[1]. Через три года, в 1342 г., сын последнего —Ярослав Александрович добился в Орде своего утверждения на рязанском княжении вместо Ивана Коротопола. Вместе с ханским «послом» Киндяком, очевидно, в сопровождении военного татарского отряда, Ярослав подошел к центру Рязанского княжества, городу Переяславлю-Рязанскому. Укрепившийся там Иван Иванович Коротопол в течение целого дня оказывал сопротивление своему противнику, а «на ночь побегл вон из города». О его дальнейшей судьбе известно только то, что в 1343 г. он был убит. Войдя в город, ханский «посол» учинил жестокую расправу с жителями: «много христиан полони, а иных избил...». Не совсем ясно, удалось ли пронскому князю завладеть рязанским княжеским столом, так как летописи говорят, что он «седе в Ростиславле», а сообщая под 1344 г. о его смерти, называют его князем пронским[2]. В рассмотренном эпизоде интересно стремление великого рязанского князя сосредоточить в своих руках сношения с Ордой по вопросам уплаты дани, не допуская, чтобы с ней самостоятельно сносились удельные князья.

Такова была политическая ситуация на Руси к началу 40-х годов XIV в. Развитие политических взаимоотношений между русскими землями на протяжении 40—50-х годов XIV в. происходило в двух направлениях. С одной стороны, правители отдельных княжеств стремились к поддержанию между собой установившейся системы политического равновесия при посредстве Орды, добиваясь одновременно невмешательства ордынского хана во внутренние дела своих владений путем признания его верховной власти и своевременной уплаты ему «выхода». С другой стороны, установившаяся система взаимоотношений между русскими князьями в ряде случаев нарушалась в результате столкновений между ними как независимо от намерений Орды, так и под ее давлением.

Продолжая ту тактическую линию в отношении к ордынским ханам, которая была намечена еще Иваном Калитой, князь Семен Иванович систематически ездил в Орду, очевидно, для внесения в ханскую казну дани и для выражения своего подданства хану. В ряде случаев вместе с князем московским или независимо от него посещали Орду и другие русские князья, демонстрируя свое признание ханской власти. В 1342 г., после смерти хана Узбека, князь Семен отправился на поклон к новому хану Джанибеку. Тогда же в Орде побывали князья Константин Васильевич нижегородско-суздальский, Константин Михайлович тверской, Константин Васильевич ростовский, Василий Давыдович ярославский, Ярослав Александрович пронский. В 1343 г. в Орде разбирался спор о правах на Нижегородское великое княже-

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 52.

[2] Там же, стр. 51—55; т. XVIII, стр. 93—94; *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 102.

ство между Семеном Ивановичем московским и Константином Васильевичем суздальско-нижегородским. В 1344 г. вместе с Семеном Ивановичем посетили Орду его братья Иван и Андрей и другие князья («и вси князи тогды в Орде были»—отмечает летописец). Из Орды Семен с братьями вернулись на Русь, по выражению летописи,—«пожаловани богом да царем» (т. е. ханом). В 1347 г. в Москву прибыл ханский «посол» Коча. Очевидно, через него хан вызвал к себе князя Семена, потому что летопись говорит, что тот выехал в Орду с братом Андреем, а в 1348 г. вернулся оттуда «с пожалованиемь». В 1350 г., во время новой поездки Семена в Орду, его, как и в 1344 г., сопровождали братья Иван и Андрей. Все они возвратились «с пожалованиемь»[1].

После смерти в 1353 г. Семена Ивановича воспринятую им от отца тактику взаимоотношений с Ордой в свою очередь усвоил и проводил в жизнь его брат, второй сын Калиты, великий князь Иван Иванович. Он, как и «вси князи русстии», отправился в Орду после кончины Семена, был признан там преемником последнего и «седе на великом княжении всея Руси в Володимере...». После смерти в 1357 г. Джанибека великий князь Иван Иванович «и вси князи роусьскыи» ездили на поклон к новому ордынскому хану Бердибеку[2].

Надо отметить, что и глава русской церкви—митрополит также совершал дипломатические визиты в Орду, по-видимому, не только добиваясь там привилегий для православного духовенства, но и выступая вместе с великим князем или от имени великого князя перед ханом и по делам общеполитического характера. В 1343—1344 гг. в Орде дважды побывал митрополит Феогност, в 1357 г.—митрополит Алексей[3].

Как же складывались политические взаимоотношения между отдельными русскими княжествами в 40—50-х годах XIV в.? В 1343 г. московский великий князь Семен Иванович попытался вернуть права на великое княжество Нижегородское, принадлежавшее его отцу—Ивану Калите. Добиваясь этих прав, он нашел поддержку со стороны нижегородских бояр, «отъехавших» к нему. Однако князь Семен не решился захватить Нижегородское княжество военным путем, а предъявил свои претензии на него ордынскому хану. В Орде состоялся «суд крепок» между двумя претендентами на Нижегородское княжество—князьями Семеном Ивановичем и Константином Васильевичем. Не желая усиления великого московского князя, Орда решила дело в пользу его противника. Хан велел выдать Константину Васильевичу, признанному нижегородским князем, его бояр, перешедших ранее на службу к Семену Ивановичу. Бояр привели в Нижний Новгород, где Константин сурово с ними

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 54—59; т. XVIII, стр. 94—100; т. XXIII, стр. 107.

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 63; т. XXIII, стр. 111—112.

[3] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 54—55, 66.

расправился, конфисковав их имущество и предав их торговой казни («...а самех повеле казнити по торгу водя...»)[1].

Нижегородский князь Константин Васильевич старался укрепить политические позиции своего княжества, в частности, путем брачных связей. Одна его дочь была выдана замуж за князя Андрея Федоровича ростовского, другая—за тверского князя Михаила Александровича (сына убитого в Орде Александра Михайловича). Сын Константина Борис женился на дочери литовского князя Ольгерда[2]. После смерти в 1353 г. великого князя Семена Константин Васильевич впервые заявил в Орде претензии на титул великого князя владимирского. Его поддерживало и новгородское правительство, приславшее в Орду своего посла Семена Судокова, «прося великого княжениа Костянтину...». Но объединение территории Владимирского великого княжения и Нижегородского княжества в руках одного нижегородского князя, а также его союз с Великим Новгородом сделал бы его слишком значительной политической силой. Это было не в интересах Орды, которая к тому же опасалась и связей нижегородского князя с Литвой. Поэтому ордынский хан, как было указано выше, признал великим владимирским князем Ивана Ивановича московского[3].

Тверское княжество медленно восстанавливало свое политическое положение, подорванное в феодальных войнах 20—30-х годов. Политический союз Тверского княжества с Московским был закреплен состоявшимся в 1347 г. браком великого князя московского Семена Ивановича и дочери погибшего в Орде князя Александра Михайловича тверского—Марии. Кроме того, князь Семен выдал свою дочь замуж за Михаила Васильевича, сына кашинского князя Василия Михайловича[4]. Все это не означало, конечно, что Тверское княжество подчинилось Московскому. Но временно открытая борьба между ними приостановилась.

В то же время в пределах самого Тверского княжества шла борьба между местными правителями. В 1346 г. великий тверской князь Константин Михайлович, по свидетельству Никоновской летописи, стал слишком властно действовать в отношении своего племянника, удельного князя холмского Всеволода Александровича (сына убитого в Орде Александра Михайловича). По словам летописца, Константин «начя имати» «бояр» и «слуг» Всеволода «в серебре за волости, чрез людцкую силу», т. е., очевидно, требовал с населения Холмского удела дань свыше того, что оно могло дать, а к ответу за поступление дани привлекал управлявших в Холмской земле в качестве наместников и волостелей бояр и слуг[5]. Всеволод Александрович, не желая допускать вмешательство своего дяди в управление своим уделом («того не

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 55.
[2] Там же, стр. 61, 64.
[3] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 111; т. VII, стр. 217.
[4] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 57, 60.
[5] *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 195.

могий тръпети»), уехал в Москву, надеясь найти помощь в борьбе с Константином у великого князя Семена Ивановича. Константин в свою очередь отправился с жалобой на племянника в Орду. Заручившись, вероятно, какой-то поддержкой в Москве, последовал за Константином в Орду и Всеволод.

В Орде Константин Михайлович умер, а право на занятие тверского великого княжения хан передал Всеволоду Александровичу. Но брат покойного Константина, князь Василий Михайлович кашинский, получив известие о его смерти и считая себя его преемником на тверском великом княжении, сразу послал своих данщиков в Холмский удел, собрал при их посредстве дань с местных жителей и отправился с собранными средствами в Орду. Навстречу Василию вышел Всеволод, который был раздражен его действиями («и оскорбися»), и в Бездеже отобрал у него деньги, предназначенные хану («и ограби его»)[1]. Таким образом, очень характерно, что и тверские князья, так же как и московские, как и рязанские, в политической борьбе пользуются помощью Орды, покупаемой денежными средствами, в силу чего каждый стремится обеспечить себе право и возможность самостоятельно (без посредничества других князей) вносить эти средства в ханскую казну.

В 1348 г. Всеволод Александрович и Василий Михайлович вернулись на Русь, первый—в качестве великого князя тверского, второй—в качестве удельного князя кашинского. Между обоими князьями продолжалась вражда («брань велия»), едва не перешедшая в открытую кровавую войну («и мало кровопролитиа не бысть межи их»). Однако, отметив этот факт, Никоновская летопись уже под 1349 г. сообщает о примирении между двумя князьями, о том, что Всеволод уступил Василию тверской великокняжеский стол («...съступися великого княжениа тверьскаго»), а сам вернулся в свой Холмский удел[2].

Чем объяснить такой неожиданный политический поворот? А. Е. Пресняков ищет объяснения этому в изменении политики московской великокняжеской власти. Князь московский Семен Иванович стал поддерживать Василия Михайловича. Показателем их политического сближения является вскоре состоявшаяся женитьба сына Василия на дочери Семена. В то же время Всеволод склоняется к союзу с Литвой. Показателем такой его ориентации может служить брак его сестры Ульяны и великого князя литовского Ольгерда[3]. Однако, думается мне, не только, а может быть, и не столько в этом заключается причина примирения двух тверских князей. Их принудило к прекращению распри обострение классовых противоречий в Твери. В предыдущем параграфе говорилось о тех проявлениях классовой борьбы, которые имели место в Тверском княжестве

---

[1] ПСРЛ, т. X, стр. 218.

[2] Там же, стр. 221.

[3] Там же, стр. 221—222; *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 197.

в 40-х годах XIV в. Не случайно мирил князей епископ Федор, который, как мы видели выше, около 1347 г. активно выступал против «лихих людей»—еретиков, выразителей антифеодального протеста. Кому же, как не Федору, было если не осознать, то во всяком случае стихийно ощутить, что в момент усиления социальной опасности князьям следует прекратить свои усобицы, чтобы не ослаблять своих сил и быть готовыми к отпору классовому врагу?

Но как только классовая опасность несколько ослабла, междукняжеская усобица возобновилась. В 1352 г. ханский «посол» Ахмат привез на имя Василия Михайловича ярлык, согласно которому он был утвержден на великом тверском княжении. Будучи официально признан великим тверским князем, Василий Михайлович сразу возобновил наступление на Всеволода Александровича. Главным пунктом княжеской распри опять явился вопрос об ордынской дани. Василий, как великий тверской князь, считал себя вправе собирать ее со владений Всеволода. Летописец рассказывает что он испытывал к последнему «негодование», «поминаа бездежский грабеж его». Поэтому Василий начал своего племянника «обидети чрез докончание, и бояр и слуг его тягостию данною оскорбляти (т. е. отягощать новыми поборами), и бысть межи ими неимоверьство и нелюбие по бесовьскому злодейству»[1] (т. е. между двумя князьями повторилась прежняя вражда).

В 1357 г. Всеволод обратился с жалобой на дядю «о своих обидах» к митрополиту Алексею, приехав для этого во Владимир. Побывал у Алексея по делу о распре тверских князей и тверской епископ Федор. Но в это время совершенно определенно уже наметился союз князей Василия Михайловича тверского и Ивана Ивановича московского («а князь Василии возма любовь со князем с-Ываном по митрополичю слову»). Поэтому обращение Всеволода к митрополиту оказалось безрезультатным[2].

Когда в том же году «вси князи роусьскыи», в том числе и Василий Михайлович тверской, отправились на поклон к новому ордынскому хану Бердибеку, в Орду же выехал и Всеволод Александрович. Очевидно, он решил добиваться суда по своему делу с великим тверским князем Василием у ордынского хана. На пути к нему, в Переяславле, Всеволод был задержан наместниками великого князя московского, которые не пропустили его («не дали емоу пути»), и после этого решил проникнуть в Орду через Литву. Тогда Василий Михайлович, который успел уже вернуться из Орды в Тверь, послал в Орду своих бояр к хану со встречной жалобой на Всеволода. Акции Василия в Орде стояли в это время достаточно высоко. Поэтому по приказу хана Всеволода решено было без суда выдать Василию. Холмского князя «в тяготе» доставили в Тверь. И далее летопись говорит: «и бышеть от князя Василия князю

---

[1] ПСРЛ, т. X, стр. 223.
[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 65—66.

Всеволодоу томление велико, и бояром и слоугам продажа данная велика, тако же и черным людем»[1].

Итак, некоторая политическая концентрация, наблюдаемая в Тверском княжестве к концу 50-х годов XIV в., была достигнута в результате длительной и напряженной борьбы великого тверского князя Василия Михайловича с удельным князем холмским за укрепление своей власти. Для того чтобы обеспечить в этой борьбе поддержку Орды, Василий покупал благожелательное отношение к себе хана систематическими взносами в его казну дани, а для этого проводил политику жестокого фискального гнета. От «великой данной продажи» страдали широкие массы черных людей, политика правежа денег для уплаты «выхода» чувствительно задевала и интересы бояр и слуг.

Процессы, сходные с теми, которые происходили в Тверском княжестве, наблюдались и в княжестве Муромском. К началу 50-х годов XIV в. относится некоторый политический подъем Муромской земли, на укрепление самостоятельности которой была направлена деятельность князя Юрия Ярославича. Под 1351 г. летопись говорит, что Юрий Ярославич «обнови град свою отчину Муром, запустевши издавна от пръвых князии»[2]. Но в 1355 г. некий князь Федор Глебович с большим войском напал на Муром, изгнал оттуда Юрия и объявил самого себя муромским князем. Затем оба соперника отправились в Орду для решения вопроса о том, кому из них владеть Муромом. Каждый из претендентов опирался на какие-то слои муромского населения. Согласно летописным сведениям, за Федора «яшася муромци», которые и «поидоша с ним в Орду». Но и Юрий со своей стороны, направляясь в Орду, взял с собою «останочныя люди муромци». Конечно, на основе этих кратких летописных известий трудно вскрыть расстановку социальных сил в Муромском княжестве. В Орде муромским князем был признан князь Федор Глебович, а князь Юрий «выдан бысть ему и с истомы у него оумре»[3]. Опять перед нами та же картина, которую мы уже имели возможность наблюдать в Нижегородской и Тверской землях. Орда поддерживает княжеские распри, а исход последних решается в значительной мере тем, какая из спорящих сторон сумеет купить соответствующими денежными взносами в ханскую казну ордынскую помощь. Но в итоге княжеских усобиц усиливается политическая концентрация Муромского княжества.

Рязанское княжество, где с середины XIV в. княжил Олег Иванович (сын князя Ивана Александровича и племянник Ярослава Александровича пронских), к началу 50-х годов XIV в. настолько окрепло, что перешло в наступление на княжество Московское. В 1353 г. рязанский военный отряд захватил волость Лопастну, которая когда-то входила в состав рязанских владений. Лопаст-

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 66—67.
[2] Там же, стр. 60.
[3] Там же, стр. 64; т. XVIII, стр. 99; т. X, стр. 227—228.

ненский наместник Михаил Александрович был взят в плен и отведен в Переяславль-Рязанский, а через некоторое время выкуплен московским правительством. Летописи, отражающие точку зрения московской великокняжеской власти на развернувшиеся на московско-рязанской границе события, дают резко отрицательную характеристику рязанского князя Олега и участников набега на Лопастну: «... князь Олег еще тогды молод был, младоумен, суров и свереп сыи с своими рязанци, с потаковники ему с бродни, много зла христианом сътвориша...». Рязанцев московский летописец упрекает и в том, что они притесняли захваченного ими лопастненского наместника Михаила Александровича («...и биша его и многы пакости ему сътвориша...»)[1].

Приведенный летописный текст интересен в двух отношениях. Во-первых, он характеризует враждебное отношение официальных феодальных кругов Московского княжества к Олегу рязанскому и его окружению. Во-вторых, заслуживают внимания некоторые имеющиеся в тексте конкретные данные о нападении рязанского отряда на Лопастну. В набеге участвовали «бродни» (бродники). Это—казаки, селившиеся на окраинах Рязанского княжества и использовавшиеся рязанскими боярами в своих целях. По-видимому, в действиях рязанских бродников было нечто общее с действиями новгородских ушкуйников. Это—«вольница», не мирившаяся с феодальными порядками и в то же время нередко ставившаяся местными феодалами на службу своим интересам.

Вопрос о московско-рязанских отношениях вызывал интерес в Орде. В 1358 г. ханский посол Магмет-Хожа явился в Рязанскую землю, «сотворил» там «много зла», а оттуда «присылал о розьезде земля Рязаньскыя» к великому московскому князю Ивану Ивановичу. Очевидно, Магмет-Хожа действовал в духе традиционной ордынской политики, стремясь углубить разлад между Московским и Рязанским княжествами и таким образом ослабить и то, и другое. Впоследствии Магмет-Хожа был признан в Орде «крамольником» («к царю в крамолу вниде») и хан вызвал его к себе[2]. Поэтому действия Магмет-Хожи на Руси оказались безрезультатными.

Подводя итоги всему вышеизложенному, надо сказать, что 40—50-е годы XIV в.—это время известного укрепления самостоятельности ряда русских земель: Новгородской, Тверской, Рязанской, Нижегородской. По Болотовскому договору 1348 г. Пскова с Новгородом получила самостоятельность и Псковская республика. Новгородское правительство отказалось от права посылать в Псков своих посадников, вызывать псковичей в Новгород на суд; новгородский архиепископ должен был вершить свой суд в Пскове через наместников из числа псковичей[3].

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 63; т. XVIII, стр. 98.
[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 67.
[3] ПСРЛ, т. IV, ч. 2, вып. 1, стр. 261.

* * *

Процесс объединения русских земель во второй четверти XIV в. был осложнен тем, что в это время происходило наступление на восток литовских феодалов. Объектом их захватнических притязаний стали Смоленск, Дорогобуж, Брянск и т. д. Литовские князья стремились укрепить свое политическое влияние в Новгороде и Пскове. Литовские правители пытались использовать в своих интересах распри русских князей, блокируясь с одними из них и прибегая к их военной помощи в борьбе с другими. Одним из средств усиления политической роли Великого княжества Литовского на Руси служили браки между членами княжеских фамилий Литвы, с одной стороны, и русских княжеских родов—с другой. Пытались литовские князья сделать проводником своего влияния в русских землях и церковь. Наконец, Литва делала иногда попытки выступить против Руси в союзе с Золотой ордой.

Развернутое наступление на Русь со стороны Литовского княжества начинается со времени великого князя Ольгерда Гедиминовича. В ряде русских летописей сохранилась характеристика Ольгерда, в которой подчеркиваются его властолюбие, целеустремленность в деле распространения своей власти и успехи, в этой области достигнутые. Летописцы указывают и на те качества (воздержанность от излишеств, упорство, хитрость), которые помогли Ольгерду добиться расширения Литовского княжества и стать крупным политическим деятелем. «Во всей же братьи своей Олгерд превзыде властию и саном, понеже... велико воздръжание имеяше, и от того высокоумьство приобрете, и крепку думу от сего и мног промысл притяжав, и таковым коварьством многы страны и земли повоева, и многы городы и княжениа поима за себе, и удръжа себе власть велику, тем и умножися княжение велико; сице ни един от братии его прослы, ни отець его, ни дед его»[1].

Приведенная характеристика, оценивающая итоги деятельности Ольгерда в сопоставлении с деятельностью его предков и современников, относится, по-видимому, ко времени значительно позднее 40-х годов XIV в., хотя в летописи она и дана в связи с событиями именно этого времени. В данной характеристике, вышедшей, конечно, из кругов русских феодалов, не чувствуется недоброжелательного, враждебного отношения к Ольгерду. Скорее можно уловить зависть (с оттенком похвалы) к политическим достижениям литовского князя. Возможно, что подобная оценка Ольгерда сложилась в среде русских феодалов, связанных с Литовским княжеством.

В 1341 г. Ольгерд «с литовскою ратию» совершил нападение на Можайск и выжег Можайский посад, но город взят не был[2]. В 1342 г., стремясь укрепить свое влияние в Пскове, Ольгерд

[1] ПСРЛ, т. VII, стр. 207; т. X, стр. 213; т. XX, стр. 181.
[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 53—54; т. VII, стр. 206.

воспользовался для этих целей походом на Псков войск ливонского магистра, осадивших Изборск. Псковичи обратились к Ольгерду за военной помощью. Ольгерд прибыл в Псков вместе со своим братом Кейстутом и предложил псковскому правительству в князья своего сына Вингольта. Последний был крещен (с именем Андрея) и «посажен» «на княжении» в Пскове. Вскоре после этого он стал и князем полоцким. Псковские летописи говорят, что, принимая литовского князя, псковичи рассчитывали на то, что Ольгерд поможет им в войне с ливонскими рыцарями. Но Ольгерд и его брат Кейстут не оправдали этих надежд и «прочь поехаша с своеми людми, а помощи ни коея же оучинивше, толко хлеб и сено около Пскова отравиша»[1]. Новгородская первая летопись квалифицирует обращение Пскова к Ольгерду как акт предательства по отношению к великому московскому князю и Новгороду: «... предашася плесковици Литве, отвергъшеся Новаграда и великаго князя»[2].

В 1345 г. в Литве произошел дворцовый переворот. Ольгерд и Кейстут устранили от власти главу государства, своего брата Явнута, и взяли верховное политическое руководство страной в свои руки. Явнут бежал в Смоленск, а затем нашел убежище в Москве у князя Семена Ивановича, где и принял крещение[3].

Усиливая натиск на Русь, Ольгерд в 1346 г. предпринял поход на Новгородскую землю. Литовское войско взяло на щит новгородские волости Шелону и Лугу, с Опок и Порхова литовцы потребовали окуп[4]. Однако укрепиться в Новгородской земле Ольгерду не удалось. Самый поход ему обошелся дорого. Литовский князь жаловался на то, что у него «много... людии погыбло и конев...»[5].

Между Литовским государством и Московским княжеством шла борьба и за политическое влияние в смоленских и брянских землях. Конечно, политическое значение имели такие факты, как женитьба одного из московских князей, Ивана Ивановича, на дочери Дмитрия Романовича брянского (1341) и женитьба великого князя Семена Ивановича (вторым браком) на дочери Федора Святославича смоленского (1345); выдача князем Иваном Ивановичем своей дочери за сына литовского князя Кориада (1356)[6].

В 1348 г. Ольгерд предпринял попытку использовать в своем наступлении на Русь военные силы Золотой орды. С этой целью он направил к Джанибеку посольство во главе со своим братом Кориадом. Однако великий князь Семен Иванович принял со своей стороны меры к тому, чтобы помешать заключению ордынско-литовского союза. Его посол, отправленный в Орду, вероятно,

---

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 19; вып. 2, стр. 25, 96.
[2] НПЛ, стр. 354.
[3] ПСРЛ, т. XVII, стр. 71—72.
[4] НПЛ, стр. 358.
[5] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 21.
[6] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 94—95; т. XV, вып. 1, стр. 65.

с соответствующими дарами хану, добился выдачи ханом великому князю Кориада и сопровождавшей его «дружины». В результате Ольгерд был вынужден в следующем, 1349 г. обратиться в Москву с «челобитьем» (сопровождавшимся посылкой великому князю Семену Ивановичу «многих даров»), «просяще мира и живота своеи братии»[1]. Мир был заключен, причем одним из его условий, надо думать, явился отказ Ольгерда от дальнейших завоеваний на Руси.

Серьезным политическим поражением Ольгерда был и разрыв в 1349 г. с Литвой Псковской республики. Князь Андрей Ольгердович был изгнан из Пскова. В качестве причины этого ему указывали, что он управляет в Псковской земле не сам, а посредством своих наместников[2].

Разрыв Пскова с Ольгердом привел к тому, что псковские купцы, находившиеся в Полоцке и литовских городах, были ограблены, а Андрей Ольгердович совершил набег на пограничные псковские волости.

После московско-литовского мирного соглашения 1349 г. Ольгерд пытался укрепить политические отношения с правителями отдельных русских княжеств путем брачных связей. В 1349 г. литовский князь Любарт Гедиминович женился на дочери князя Константина Васильевича ростовского, а сам Ольгерд вступил в брак с дочерью убитого в Орде великого тверского князя Александра Михайловича—Ульяной[3].

Однако, по-видимому, Ольгерд не прекращал действий, направленных к захватам смоленских земель. Это обстоятельство не могло не беспокоить московское правительство, опасавшееся расширения границ Литовского княжества и усиления его военной мощи. Очевидно, этими вполне реальными опасениями объясняется то обстоятельство, что в 1352 г. великий князь Семен Иванович «собра воя многы и поиде ратию к Смоленьску в силе тяжце и велице». Вместе с великим князем выступили его братья—Иван и Андрей и «вси князи с ними». На реке Поротве великокняжеское войско было встречено послами Ольгерда, явившимися «с многыми дары о миру». Мир с Литвой был заключен, а затем, продвинувшись несколько далее, к реке Угре, Семен Иванович отправил своих послов для оформления мирного договора со Смоленском.

С середины 50-х годов XIV в. наблюдается дальнейшая активизация наступления литовских феодалов на русские земли. В 1356 г. литовские войска захватили Белую и Ржеву и «повоевали» Брянск и Смоленск[4]. В 1357 г. Брянск перешел под власть Литвы. Незадолго перед этим ярлык на брянское княжение получил в Орде князь Василий смоленский, который вскоре умер. После его смерти в Брянске имели место какие-то волнения. Как говорит летопись, «лихостию лихих людеи» там произошла «замятьня велика», при-

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 58—59; т. XVIII, стр. 96.
[2] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 26; вып. 1, стр. 21.
[3] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 59; т. XVIII, стр. 96—97.
[4] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 61; т. XVIII, стр. 97.

ведшая к «опустенью града»[1]. Можно думать, что утверждение литовского господства в Брянске вызвало антифеодальное выступление горожан, имевшее в то же время освободительный характер. В 1358 г. можайская и волоколамская рати «выслали вон» литовцев из Ржевы, но в следующем, 1359 г. город снова попал в руки литовских феодалов. Тогда же под власть Ольгерда перешел Мстиславль и он «литву свою в немь посадил». Попытка смольнян освободить от литовского гарнизона Белую успеха не имела[2].

Агрессия на Русь литовских феодалов в значительной мере затрудняла процесс объединения русских земель. Наряду с борьбой против ордынского ига русский народ должен был вести борьбу и с литовскими захватчиками. Это распыляло его силы.

* * *

На северо-западную границу Руси с 30—40-х годов XIV в. участились набеги шведских войск и отрядов ливонских рыцарей. Отражали эти нападения военные силы Новгородской и Псковской земель. Но собственных их сил для борьбы с иноземной агрессией было недостаточно. Поэтому Новгород и Псков искали помощи как у русских, так и у литовских князей, а возможность и стремление оказать такую помощь новгородскому и псковскому населению в значительной мере определяли политический успех тех или иных князей в Новгородской и Псковской землях.

Как указано, некоторые новгородские области, в том числе Карельская земля, в 1333 г. были переданы «в кормление» новгородскому князю Нариманту Гедиминовичу. Это обстоятельство было, по-видимому, связано с ухудшением положения карельского населения и поэтому вызвало его недовольство новгородским правительством. В 1338 г. в Корельском городке вспыхнуло восстание против Новгорода. Карелы вошли в сношения со шведами, перебили при их участии русских (новгородских и ладожских) купцов, затем убежали в Выборг и оттуда совершали нападения на русское население. Трудно сказать, в какой мере в восстании 1338 г. играли роль моменты борьбы трудового карельского населения против феодальной эксплуатации и фискального гнета со стороны новгородских землевладельцев и литовского князя-наместника и в какой мере в нем проявились сепаратистские тенденции карельской знати к отделению от Новгорода. Последнее обстоятельство, вероятно, имело место. Это видно из того, что инициатива сдачи Корельского городка шведам принадлежала воеводе Валиту Корелянину (очевидно, представителю социальной верхушки карельского населения). Правда, через некоторое время он снова перешел на сторону новгородцев и помог им вернуть Корельский город[3].

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 65.
[2] Там же, стр. 67—68.
[3] НПЛ, стр. 348; ПСРЛ, т. V, стр. 220.

Во время новгородско-шведской войны литовский князь Наримант не оказал новгородцам поддержки. После ряда военных действий шведских войск в Обонежье, под Ладогой, в районе Толдожского погоста и т. д. и ответного похода новгородцев в шведские области, населенные карелами, в 1339 г. между Новгородом и Швецией был заключен мир[1].

Хотя после подавления в 1340 г. восстания в Торжке великий князь Семен Иванович и направил в Новгород своего наместника, фактически московская великокняжеская власть никакой военной помощи новгородцам против иноземных захватчиков не оказывала. В первые годы правления князя Семена позиции московской великокняжеской власти в Новгородской земле были вообще слабы и новгородские власти ориентировались скорее на противников Москвы. Не случайно в 1342 г. из Твери в Новгород приехал якобы для обучения грамоте у архиепископа Василия молодой тверской князь Михаил (сын Александра Михайловича)[2].

Лишь в 1346 г. наметилось московско-новгородское сближение, вызванное, по-видимому, в значительной мере задачами общей борьбы с литовской агрессией. Новгородский архиепископ Василий приезжал в Москву «звать князя великаго в Новгород». Это было официальное приглашение великому московскому князю занять новгородское княжение. Семен Иванович принял это приглашение, побывал в Новгороде, а оттуда отправился в Орду. Во время пребывания Василия в Москве митрополит Феогност пожаловал ему право носить «кресчатые ризы»—символ известной самостоятельности новгородской церкви. Пожалование это было, по-видимому, во-первых, вознаграждением за то рвение, которое Василий, как представитель господствующей церкви, проявил в борьбе с еретиками. Во-вторых, передача митрополитом новгородскому архиепископу «кресчатых риз» представляла собой как бы компенсацию за официальное признание им власти московского великого князя[3].

Новгороду скоро потребовалась помощь со стороны московских военных сил. В 1348 г. шведский король Магнус предпринял поход в Ижорскую землю. Это был настоящий крестовый поход, во время которого местное население подвергалось насильственному обращению в католичество. Захватив Орехов, король, по словам летописи, «ижеру почал крестити в свою веру, а которыи не крестятся, а на тых рать пустил». Новгородское правительство обратилось за поддержкой к великому князю Семену Ивановичу. Тот дипломатично обещал новгородцам свою помощь, но долгое время оттягивал свою поездку в Новгород, а отправившись туда, вернулся с дороги и в конце концов послал вместо себя своего брата Ивана Ивановича. Но и тот не стал участвовать в военных действиях и, «не приняв владычня благословениа и новгородского челобитья», быстро выехал

---

[1] НПЛ, стр. 348—350.
[2] Там же, стр. 354.
[3] Там же, стр. 358.

из Новгорода[1]. Это было время политических осложнений между Литвой и Русью, и московским князьям было не до Новгорода[2].

После того как Магнус отошел от Орехова, оставив там военный гарнизон, новгородцам удалось освободить от шведов город.

В 1350 г. новгородцы перешли в наступление на шведов, совершили поход к Выборгу «и волость около города воеваша и пожьгоша»[3]. Это был значительный военный успех. Шведские набеги на Новгородские земли надолго прекратились.

Поход Магнуса на Ижорскую землю 1348 г. послужил темой для одного литературного произведения, сохранившегося в некоторых русских летописях,—«рукописания», или «духовной грамоты», Магнуса. Произведение отличается сатирическим характером. В форме рассказа самого шведского короля изображен ряд неудач (полупечальных—полукомических эпизодов), которые претерпел Магнус вследствие своей неудачной попытки завоевать Новгородские земли. В начале «рукописания» дана краткая историческая справка о русско-шведских отношениях начиная с 40-х годов XIII в., причем проводится мысль, что всякие попытки шведской агрессии встречали со стороны русских (со времен князя Александра Ярославича Невского) отпор[4].

Итак, Московское княжество постепенно занимает все более видное место среди других княжеств. Московское правительство стремится усилить свои позиции в Новгороде, Твери, Нижнем Новгороде и в ряде случаев добивается этого, завоевывая авторитет у местных феодалов. Но в рассматриваемый период московские князья не делают еще серьезной попытки наступления на других крупных русских князей. Это объясняется в значительной мере тем, что, с одной стороны, обострение классовой борьбы, а с другой стороны, усложнение внешнеполитической обстановки (нападения на Русь литовских, шведских феодалов, ливонских рыцарей) требовали консолидации сил феодалов разных княжеств. Правда, такая консолидация далеко не всегда имела место.

В отношении Орды московские князья продолжают сохранять покорность, откупаясь народными средствами от татарских набегов. Подобная политика имела известное положительное значение в том смысле, что развитие Руси совершалось теперь в условиях большей безопасности от нападений ордынских князьков и феодалов. Но если такая политика и способствовала возвышению Московского княжества, то надо всемерно подчеркнуть, что фундамент Московского княжества—основы будущего Русского централизованного государства—был заложен народным трудом, доставлявшим те средства, которые князья отвозили в Орду, отводя от Руси ее удары.

---

[1] НПЛ, стр. 360.
[2] *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 288.
[3] НПЛ, стр. 362.
[4] ПСРЛ, т. VII, стр. 216—217.

§ 7. Социальные движения в Московском княжестве в 40—50-х годах XIV в. Борьба между Московским и Нижегородским княжествами в конце 50— начале 60-х годов XIV в.

Задачи внутренней политики ближайших преемников Калиты— трех его сыновей (Семена, Ивана и Андрея) в пределах земель, присоединенных к Московскому княжеству, были сформулированы в их договорной грамоте, относящейся к 1350—1351 гг.[1]

Данное докончание завершило усобицу между великим московским князем Семеном Ивановичем и его братьями, которую можно считать первой феодальной распрей в среде князей—потомков Калиты. В распре этой приняло участие боярство, она затронула и другие слои московского общества.

Данные о феодальной усобице можно почерпнуть из самой грамоты 1350 – 1351 гг. Во-первых, показательна следующая статья: «А кто имет нас сваживати [наши бояре?][2], исправы ны учинити, а нелюбья не держати, а виноватого казнити по исправе». Из статьи можно сделать вывод, что между князьями произошла какая-то ссора, отражавшая в значительной степени борьбу между разными группами боярства, поддерживавшими разных князей. Во-вторых, в докончании сыновей Калиты имеется указание на конкретного виновника княжеской «свады», боярина Алексея Петровича Хвоста. Он «вшел в коромолу к великому князю», т. е. принял участие в заговоре против Семена Ивановича, и поплатился за это. Князь Семен Иванович потребовал от своих братьев, чтобы они не принимали виновного боярина к себе на службу и предоставили великому князю расправиться с Алексеем Хвостом и его семьей так, как он сочтет нужным («...волен в нем князь великии и в его жене и в его детех»). Имущество Алексея Петровича Хвоста было конфисковано великим князем; часть этого имущества последний передал своему брату Ивану, взяв с него обязательство ничего не возвращать опальному боярину и не оказывать ему никакой поддержки[3].

Княжеская усобица середины XIV в. нашла известный отклик в духовной грамоте великого князя Семена Ивановича 1353 г. Воспоминаниями об этой усобице, по-видимому, продиктована заключительная часть этой грамоты, в которой князь Семен дает совет своим братьям соблюдать политическое единство («жити заодин»), следуя завещанию их отца Ивана Калиты, не слушаться «лихих людей», которые станут разжигать между князьями вражду («...хто иметь вас сваживати»), а опираться на «старых бояр, хто хотел отцю нашему добра, и нам»[4]. Очевидно, Семен Иванович раз-

---

[1] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 23.

[2] Здесь грамота разорвана, и текст восстанавливается предположительно.

[3] ДДГ, стр. 13, № 2.

[4] Там же, стр. 14, № 3.

личает среди московского боярства две группы: сторонников и противников великокняжеской власти. Первых он именует «старыми боярами», вторых (к ним, конечно, принадлежал и Алексей Хвост)— «лихими людьми».

Если договор Семена с братьями, завершивший княжескую «свадy», был заключен в 1350—1351 гг., то, следовательно, сама «свада» относится примерно к 1349—1350 гг. Для Московского княжества рубеж 40-х и 50-х годов XIV в. был временем внешнеполитических осложнений. Как указывалось в предыдущем параграфе, в это время литовский великий князь Ольгерд сделал попытку заключить союз с Ордой против Московского правительства. Войска короля Магнуса напали на Новгородскую землю, и Новгород обратился за военной помощью к великому князю московскому. Московское правительство сумело, как было указано, парализовать возможность литовско-ордынского сближения. Но это, надо думать, было достигнуто путем каких-то обязательств (вероятно, прежде всего финансового характера, по уплате новой дани), взятых московским великим князем перед Ордой. Необходимость улаживать дела Московского княжества в Орде отвлекала князя Семена Ивановича и от активного участия в новгородских делах. В 1348 г. он отправился с войском в Новгород, с тем чтобы поддержать его в борьбе со шведскими захватчиками, но вынужден был вернуться в Москву, поскольку туда прибыли ордынские послы.

В другой своей работе я уже указывал, что выступление части боярства (в том числе Алексея Петровича Хвоста) с оппозицией великому князю Семену Ивановичу было вызвано недовольством ориентацией последнего на союз с Ордой[1]. К тому, что я говорил ранее, я теперь добавил бы, что это недовольство выразилось, вероятно, во-первых, в критике московского правительства за его стремление удовлетворить денежные запросы Орды, что приводило к отягощению поборами русского населения (прежде всего горожан). Во-вторых, по всей вероятности, оппозиционным боярством ставился вопрос относительно того, что великий князь неумело руководит военными силами и это приводит его к подчинению всем требованиям Орды и вообще к пассивности в области внешней политики. В договорной княжеской грамоте 1350—1351 гг. имеется такое условие: «А что ся оучинить просторожа от мене или от вас, или от моего тысяцьского и от наших наместников, исправа ны оучинити, а нелюбья не держати»[2]. Очевидно, московскому великому князю предъявлялся упрек в каком-то конкретном военном просчете («простороже»).

Вероятно, выступая против Семена Ивановича, Алексей Хвост и его единомышленники пытались найти поддержку со стороны братьев великого князя, и это им удалось. Между князьями произошла «свада», во время которой (судя по их последующему договору

---

[1] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 22.
[2] ДДГ, стр. 13, № 2.

1350—1351 гг.) был поднят ряд политических вопросов (о правах удельных князей, об организации государственного аппарата и вооруженных сил и т. д.). Лишь после того, как все недоразумения по указанным пунктам были урегулированы специальным договорным трактатом и удельные князья отказались от дальнейшей поддержки Алексея Хвоста, княжеская распря закончилась. Видно, что князь Семен добился для себя ряда преимуществ материального и политического характера, что привело к усилению великокняжеской власти.

После смерти в 1353 г. Семена Алексею Петровичу удалось восстановить свое положение. В 1357 г., как видно из летописного известия о его насильственной смерти, он был тысяцким. Можно предполагать, что в своей борьбе за власть Алексей Петрович находил опору в среде горожан, чему не могла не содействовать его оппозиция политическим мероприятиям покойного князя Семена Ивановича, в интересах Орды усиливавшего налоговый гнет.

После смерти Семена Ивановича в среде московского боярства разгорелась новая борьба, принявшая особенно обостренные формы в 1357 г. Летописи рассказывают, что в феврале этого года тысяцкий Алексей Петрович был найден в Москве убитым. Труп его обнаружили на площади рано утром, «в то время, егда заоутренюю благовестять». Обстоятельства убийства остались неизвестными. По словам летописца, «оубиение же его дивно некако и незнаемо аки ни от кого же никимь же...». Но в то же время летописи подчеркивают, что насильственная смерть московского тысяцкого была результатом заговора против него ряда бояр: «Тое же зимы на Москве вложишеть дьявол межи бояр зависть и непокорьство дьяволим наоучениемь и завистью оубьен бысть Алексии Петровичь тысятьскии...»[1]

О том, что гибель Алексея Петровича последовала в результате политического убийства, осуществленного по решению его противников из числа бояр, видно также из последующих событий. Скоро после того, как погиб тысяцкий, видные московские бояре с семьями уехали в Рязань. Этот отъезд летописи ставят в прямую связь с желанием бояр избежать ответственности за совершенное ими убийство. «Тое же зимы по последьнемоу поути большие бояре московьскые того ради оубиистваотъехаша на Рязань с женами и з детьми». Если вспомнить, что Рязанское княжество вело в это время враждебную политику в отношении княжества Московского, что в 1353 г. рязанские войска захватили принадлежавшую до этого Москве Лопастну, то станет ясно, что московские бояре за пределами своего княжества нашли приют в неприязненном московскому правительству феодальном лагере. Вероятно, у московских и рязанских бояр был предварительный сговор.

Из кратких летописных известий трудно составить представление о расстановке сил среди московского боярства. Но, по-види-

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 65.

мому, і группа Алексея Хвоста проводила курс на укрепление Московского княжества, усиление его военных сил и постепенное освобождение его политики от опеки Орды. Группа Василия Васильевича Вельяминова, бывшего тысяцким при князе Семене, надо думать, отстаивала линию подчинения Орде и была против активизации внешней политики Московского княжества. Если все, что я говорю, верно, то становятся понятными известия летописей о дальнейшей судьбе московских бояр, бежавших в Рязань. Рогожский летописец рассказывает, что князь Иван Иванович, побывав в 1358 г. в Орде, «принял» там бояр, которые «были на Рязани»,— среди них Василия Васильевича (вероятно, имеется в виду Вельяминов). Согласно Никоновской летописи, Иван Иванович по возвращении из Орды в Москву вызвал туда двух бояр, «иже отъехали были от него на Рязань»[1]. Очевидно, в Орде линия поведения указанных бояр получила одобрение.

Последний вопрос, связанный с политической борьбой, происходившей в Москве в 1357 г., сводится к следующему: вышла ли эта борьба за пределы чисто боярской среды и затронула ли она более широкие общественные круги? Думаю, что имеются основания ответить на этот вопрос утвердительно. Уже то обстоятельство, что труп московского тысяцкого был выброшен в центр Москвы, на площадь, говорит за то, что убийцы хотели устрашить горожан. Последние в свою очередь, очевидно, реагировали на убийство тысяцкого активно. Никоновская летопись отмечает, что отъезд в 1357 г. бояр был вызван в значительной мере «мятежом», поднявшимся в Москве из-за убийства Алексея Петровича. «И бысть мятежь велий на Москве того ради убийства»[2]. М. Н. Тихомиров, по-моему, с достаточным основанием предполагает, что бегство бояр из Москвы в 1357 г. «может быть объяснено выступлением против них черных людей [3]. Но особенно интересно, с моей точки зрения, то обстоятельство, что события, связанные с убийством Алексея Петровича в 1357 г., напомнили летописцу обстоятельства убийства около 200 лет тому назад князя Андрея Юрьевича Боголюбского. «Неции же рекоша, яко втаю свет сотвориша и ков коваша нань, и тако всех общею доумою, да яко же Андреи Боголюбыи от Кучьковичь, тако и сии от своеа дроужины пострада»[4]. А вспомним, что случилось в день гибели Андрея Боголюбского. Его убили бояре, но смерть князя дала толчок крупному восстанию, в котором приняли участие мелкие княжеские слуги, горожане, даже крестьяне. Восставшие «разграбили» княжеский двор, захватили его «имение», стали избивать княжескую администрацию. Вероятно, что-то подобное надо подразумевать под «велиим мятежом», случившимся в 1357 г. в Москве.

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 66; т. X, стр. 230.

[2] ПСРЛ, т. X, стр. 229.

[3] *М. Н. Тихомиров*, Древняя Москва, стр. 133; *его же*, Средневековая Москва в XIV—XV веках, стр. 222 и 172—175.

[4] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 65.

* * *

Говоря о внутренней политике московских князей, нельзя совсем не коснуться такого важного вопроса, как вопрос о поддержке, оказываемой московской великокняжеской власти церковью, хотя область церковных политических отношений специально не рассматривается в данной книге. С 1354 г. главой русской церкви стал один из видных представителей московского боярства—митрополит Алексей, выдвинутый на этот пост еще великим князем Семеном Ивановичем. Я не буду останавливаться на всех обстоятельствах его утверждения на русской митрополии. Эта сторона дела достаточно подробно освещена А. Е. Пресняковым[1]. Укажу лишь на некоторые моменты. Исследователи подчеркивают, во-первых, что поставление константинопольским патриархом в митрополиты на Русь великокняжеского кандидата и человека русского (а не византийца) по национальности было важным явлением, послужившим известным этапом в развитии русско-византийских церковно-политических взаимоотношений. Константинопольская патриаршая кафедра пошла на существенные уступки Руси, что означало важный политический успех московской великокняжеской власти.

Второе обстоятельство, отмечаемое исследователями, сводится к тому, что усилившееся в 50-х годах XIV в. наступление на Русь литовских феодалов нашло отражение и в области церковных отношений. Литовский князь Ольгерд выдвигал своих кандидатов в митрополиты: сначала Феодорита, затем Романа (родственника жены Ольгерда—Ульяны, являвшейся дочерью тверского князя Александра Михайловича). «Сын боярина тферьскаго», Роман, представлялся политически удобным кандидатом в митрополиты и тверским князьям. В 1354 г., по сообщению Рогожского летописца, произошел небывалый раскол в русской церкви («...мятежь сотворишется, чего то не бывало преже сего»). Константинопольский патриарх утвердил сразу двух митрополитов «на всю Русскую землю». Это обстоятельство, повторяю, было следствием перенесения в сферу церковных отношений политической борьбы, которая происходила в то время между Великим княжеством Литовским и княжеством Московским. Среди двух митрополитов началась распря («и бышеть межи их нелюбие велико»). Потребовалась новая поездка Алексея и Романа в Константинополь, в результате которой первый был поставлен митрополитом «на Русьскую землю», второй—митрополитом на земли «Литовьскую и на Волыньскоую»[2] (без Киева). Таким образом, Ольгерду не удалось осуществить через константинопольского патриарха свои планы, и это обстоятельство, несомненно, означало известный политический успех Руси.

[1] *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 290—298.

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 63—65.

Наибольший интерес для нас представляет роль митрополита Алексея во внутренней политике московской великокняжеской власти. Я уже указывал, что он был выходцем из боярской среды (его отец—боярин Федор Бяконт). При митрополите Феогносте Алексей был его наместником, а незадолго до своей смерти Феогност поставил Алексея епископом во Владимир. Еще при жизни Семена, как я говорил, Алексей был намечен кандидатом в митрополиты. Очевидно, он принимал большое участие в политической жизни и не случайно Семен Иванович, давая в своей духовной совет своим братьям не слушать «лихих людей», кто будет их «сваживати», а следовать указаниям «старых бояр», наряду с этими боярами (и даже перед ними) упоминает «владыку Алексея».

Процитированное мною (вторично в данном параграфе) место из духовной Семена Ивановича проливает свет на политические связи владимирского епископа, а затем митрополита Алексея. Он был, следовательно, близок к тем «старым боярам», к которым принадлежал тысяцкий Василий Васильевич Вельяминов, и являлся противником тех бояр (именуемых Семеном «лихими людьми»), которые поддерживали Алексея Петровича Хвоста. Этот вывод подтверждается и другими данными. О связях Алексея говорится в его «Житии». Он находился в близких отношениях со Стефаном, братом Сергия Радонежского, а Стефан являлся духовником великого князя Семена Ивановича, тысяцкого Василия Васильевича Вельяминова, брата последнего, Федора, «и других, боар старейших». Кстати сказать, представители рода Вельяминовых, из которых пост тысяцкого занимал не один Василий, были давно связаны с московской митрополичьей кафедрой. Так, в «Житии» митрополита Петра рассказывается, как он перед своей смертью, желая сделать некоторые распоряжения Ивану Калите, которого в это время не оказалось в Москве, «призывает некоего именем Протасиа, его же бе князь старейшину града поставил»[1]. По всей видимости, речь идет о тысяцком Протасии (из рода Вельяминовых).

Если Алексей принадлежал к той группе «старых бояр», единомышленников великого князя Семена, в число которых входили Вельяминовы, то, очевидно, он разделял и их политические взгляды. В исторической литературе очень подчеркиваются национальные мотивы в деятельности Алексея. Так, А. Е. Пресняков пишет, что он «вдохнул» в великокняжескую политику «определенное идейное содержание—церковно-религиозное и тем самым национальное»[2]. Подобное утверждение требует значительных оговорок. Алексей в 50-х годах всецело разделял программу великокняжеской власти, которая еще не выдвигала лозунга борьбы с ордынским игом, а старалась избегать конфликтов с Ордой, откупаясь от нее деньгами. Так, в 1357 г. митрополит Алексей по

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 31; т. X, стр. 193.

[2] *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 290.

зову ханши Тайдулы побывал в Орде. В ряде летописей об этом сказано очень коротко. И лишь в более поздних летописных сводах появляется витиеватый рассказ о торжественной встрече, оказанной Алексею Джанибеком с его сыновьями, «князьями» и «вельможами». Встреча эта трактуется как исполнение пророчества о мирном сожительстве льва (ордынского хана) и агнца (представителя русской церкви: «...лев и агнець вкупе почиют»[1]. Созданная, по-видимому, в церковных кругах, повесть о поездке в Орду Алексея консервативна, ибо она культивирует мысль о мирном, безконфликтном развитии русско-ордынских взаимоотношений, в основе же этой идеи лежали реальные линии той программы московских «старых бояр», которая разделялась и митрополитом Алексеем.

Существенной стороной деятельности митрополита Алексея было основание в разных местах монастырей[2]. Эти монастыри сыграли большую роль как в распространении феодального землевладения, так и в укреплении великокняжеской власти, ибо многие монастыри как феодальные корпорации были тесно связаны с московскими князьями, являлись проводниками их политики.

* * *

После смерти в 1359 г. великого князя Ивана Ивановича митрополит Алексей сделался фактически верховным правителем в Московском княжестве, ибо сыновья покойного князя Дмитрий и Иван были еще слишком малы.

Это было время, когда уже намечались предпосылки распада Золотоордынского государства. В 60-х годах XIV в. в Орде усилились феодальные смуты. В 1357 г. к власти пришел хан Бердибек, убивший своего отца хана Джанибека и перебивший своих братьев. Об этом коротко говорит Рогожский летописец: Бердибек «отца оудави, а братью изби, а сам седе на царство»[3]. Дальнейшая междоусобная борьба в конце 50—начале 60-х годов XIV в. привела к последовательной и очень быстрой смене в Орде ханов Кульны, Науруза, Кидыря, Тимур-Ходжы, Кильдибека и др.[4] В одно и то же время в Сарае действовали два хана: Абдаллах и Кильдибек, а после смерти Кильдибека—Абдаллах и Амурат (Мюрид). От Орды отпадали целые области, захватываемые отдельными князьками: Болгары, Наручадская земля (область по реке Мокше) и т. д.

Интересно, что в русских летописях подробно описаны ордынские смуты. «И бысть в Орде замятня велика»[5],—читаем в Рогож-

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 33.
[2] *М. К. Любавский*, указ. соч., стр. 17—30.
[3] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 66.
[4] *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 117—124; *Б. Д. Греков* и *А. Ю. Якубовский*, указ. соч., стр. 261—280.
[5] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 69.

ском летописце, который на конкретных фактах раскрывает ход этой «замятни». Очевидно, русские политические деятели и публицисты с интересом следили за тем, что делалось в Орде, ибо это их интересовало практически: распри ордынских правителей русские князья и феодалы использовали в своих целях.

В это время на Руси начинается серьезная и упорная борьба за великое владимирское княжение между князьями наиболее крупных феодальных центров. Такой борьбе предшествовал (как было показано в предыдущем параграфе) период, когда существовала система некоторого (более или менее устойчивого) политического равновесия между отдельными княжествами. Подобная система содействовала политической концентрации (в условиях известного экономического подъема) ряда княжеств. Теперь они вступают в длительную борьбу между собой.

Участниками первого тура борьбы за великое владимирское княжение были князья московский и нижегородский. После того как к власти в Орде пришел Науруз, он передал в 1360 г. великое княжение владимирское суздальско-нижегородским князьям. Великим князем всея Руси стал Дмитрий Константинович суздальский, сын князя Константина Васильевича[1]. Судя по сведениям летописей, на поклон к Наурузу приходили и другие русские князья, получившие от хана утверждение своих прав на их владения: «и бысть им в Орде роздел княжением их, и которои же сих по временом своим възвратишася въсвояси, и кои же их прииде в свою отчину»[2]. Таким образом, система ордынского властвования над Русью оставалась в силе.

Новое путешествие русских князей в Орду относится к 1361 г., когда ханом стал Кидырь. Большинство князей, явившись в Орду, застало здесь новую усобицу, во время которой Кидырь был убит, а после его убийства завели между собой жестокую кровавую распрю претенденты на его место. Лишь московский князь Дмитрий успел вернуться на Русь до «замятни». Другие князья, не сумев выехать вовремя, были свидетелями ордынской «замятни» и некоторые из них пострадали—каждый по-разному. Описание в летописных сводах тех приключений, которыми сопровождалось обратное путешествие князей из Орды в русские земли, интересно не столько бытовыми подробностями, сколько тем, что дает яркую и убедительную картину того кризиса власти, который наблюдался в это время в Орде. Князя Константина ростовского с его спутниками «в замятню ту» ограбили донага («и телеса их обнажиша», «не остася на них ни исподних порт»), а сами они раздетыми и едва живыми («...нази токмо живи») пешком ушли к себе домой. Князь Василий Михайлович тверской поторопился выбраться из Бездежа, оставив там все бывшие с ним денежные средства («а сребро там поклал»). Князь Андрей Константинович нижегородский

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 68—69; т. XVIII, стр. 100.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 100; т. XV, вып. 1, стр. 68.

убежал из Орды, но его окружили татарские полки, и он должен был выдержать с ними бой. «И начаша татарове отступати его с обаполы и со все стороны, князь же Андреи, поострив крепость свою и не убояся грозы их, понапрасно устремився и пробивсе сквозе полкы татарьскыя, биючеся с ним и, и тако божиею милостию приеха на Русь добр здрав». Великий князь Дмитрий Константинович переждал ордынскую усобицу в Сарае и поэтому остался цел[1].

Кровавые феодальные междоусобия, происходившие в Орде в начале 60-х годов XIV в. и явившиеся серьезным признаком ее близкого распада, в качестве одного из последствий имели расстройство торгового обращения по разветвленным артериям Волжского водного пути. Орда выбрасывала массу мелких феодальных князьков и царевичей с дружинами из числа потерпевших неудачи на пути продвижения к власти и пробавлявшихся грабежами в русских пределах. Освобождение Волжского пути от татарских грабителей становилось для Руси насущной потребностью. Не случайно на протяжении 60—70-х годов XIV в. в ряде русских земель и особенно в тех местах, куда чаще всего совершали набеги различные татарские князьки, в Нижегородском княжестве, в пределах Рязанской земли, население (горожане в первую очередь) поднимается на борьбу с полчищами ордынских феодалов. В то же время поставить под свой контроль волжскую магистраль стремятся и правительственные круги отдельных русских земель. Новгородские бояре как раз в 60—70-х годах XIV в. (конечно, учитывая ослабление политической целостности Орды в результате раздиравших ее внутренних смут) выбрасывают в пределы Волжско-Камского бассейна отряды ушкуйников.

Правители Московского и Нижегородского княжеств, все еще считаясь с Ордой, стараются заручиться благосклонностью то одного, то другого из быстро сменяющихся там ханов, с тем чтобы вырвать у кого-либо из них ярлык на великое княжение. Соперничество по вопросу о великокняжеском титуле приводит к острым столкновениям московского и нижегородского князей между собой. Феодальные княжеские войны значительно учащаются и усиливаются по сравнению с периодом 40—50-х годов XIV в. И в то же время сама жизнь часто заставляла русских князей такие войны прекращать, ибо слишком ясно ощущалось, что они облегчали возможность хозяйничанья ордынским князькам, мешавшим торговому движению по Волге, грабившим русские земли и города.

Наконец, надо отметить и еще одно существенное обстоятельство. Если Орда издавна проводила политику натравливания одних русских князей на других, то с 60-х годов XIV в. русские (и прежде всего московские) князья делают попытки (и часто весьма удачные) усилиться, используя в своих интересах ордынские распри.

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 71.

Наконец, в политике московского правительства замечаются некоторые признаки освобождения от властной опеки Орды.

В 1362 г., после того как в Орде побывали «киличеи» Дмитрия Ивановича московского (за него пока еще действовали московские бояре) и Дмитрия Константиновича суздальско-нижегородского, ярлык на владимирское великое княжение достался первому. Посол хана Амурата (Мюрида) привез этот ярлык в Москву. Московские войска двинулись на Переяславль, который успел захватить Дмитрий Константинович, и на Владимир. Князь Дмитрий Константинович вынужден был бежать в Суздаль.

В то же время наряду с Амуратом (Мюридом) в Золотоордынском государстве появился новый хан Абдаллах, которого поддерживал влиятельный темник Мамай, откочевавший со своей Ордой на запад от Сарая, к границам Рязанского княжества. Князь Дмитрий Иванович принял ярлык на владимирское княжение и от Абдаллаха, который прислал к нему своего посла в 1363 г. Это знаменовало какую-то попытку московского правительства высвободиться из пут зависимости от Сарая. Именно так в Сарае и был расценен указанный акт Дмитрия Ивановича (или его бояр). В ответ на него Амурат (Мюрид) послал ярлык на великое владимирское княжение князю Дмитрию Константиновичу. Повез ханскую грамоту князь Иван Федорович белозерский, побывавший в Орде и выехавший оттуда в сопровождении 30 татар. Но вскоре после того, как Дмитрий Константинович занял владимирское княжение, он снова был вынужден бежать оттуда под натиском московских войск. Это уже означало прямое неповиновение со стороны московской великокняжеской власти распоряжениям Сарая. Ясно, что та политика, которую проводили в отношении Орды московские князья, начиная с Ивана Калиты, стала давать трещины. Московские бояре в новых условиях начинали действовать более независимо от Орды. Укрепляя свои политические позиции, московское правительство добилось подчинения великокняжеской власти ростовского князя. Князья же галичский и стародубский были изгнаны из своих владений московскими вооруженными силами.

Дмитрий Константинович должен был смириться перед своим противником—великим князем московским и прекратить борьбу с ним. В 1364 г. сын суздальского князя Василий Дмитриевич Кирдяпа, побывав в Сарае, прибыл оттуда к отцу вместе с Урусманды—послом хана Азиса, который привез Дмитрию Константиновичу ярлык на владимирское великое княжение. Суздальский князь, помня свой прошлый печальный опыт борьбы за общерусский великокняжеский стол, теперь отказался от него.

Князь Дмитрий Константинович все более склонялся к союзу с московским правительством. При помощи последнего он овладел Нижним Новгородом, где княжил его брат Борис (утвержденный на нижегородском княжении ханскими послами), и заставил того перейти в Городец. Союз Московского и Нижегородского княжеств

был в 1366 г. закреплен браком Дмитрия Ивановича московского и дочери Дмитрия Константиновича—Евдокии[1].

Можно уверенно говорить, что Нижегородское княжество к середине 60-х годов XIV в. в значительной мере утратило свою политическую самостоятельность и попало в зависимость от Москвы. Это обстоятельство объясняется рядом причин. Прежде всего надо указать на возросшую военную силу Московского княжества, которое выросло и окрепло в результате подъема экономики и в обстановке сравнительной безопасности от татарских набегов (в данном случае сыграла роль политика Ивана Калиты и его ближайших преемников, содействовавшая обеспечению такой безопасности). Вторым фактором, определившим политические успехи Московского княжества в начале 60-х годов XIV в., было ослабление Золотоордынского ханства в результате феодальных междоусобиц, в частности в результате борьбы Сарая с мамаевой Ордой. В-третьих, следует отметить общность интересов (несовместимую с продолжением усобиц) Московского и Нижегородского княжеств в обеспечении торгового движения по Волжскому пути, который захватывали и отрезали татарские отряды. Думаю, что в связи с только что сказанным вполне закономерно привести и четвертый фактор, который не мог не оказать влияния на прекращение феодальных войн между Московским и Нижегородским княжествами: московский и нижегородский князья были одинаково заинтересованы в борьбе с ушкуйниками, которые как раз в 60-х годах XIV в. совершали постоянные походы на Волгу и Каму. В качестве пятого фактора, влиявшего на подчинение нижегородского правительства московскому, нельзя не учитывать роли церкви как проводника политики московской великокняжеской власти в пределах Нижегородского княжества. Эта роль проявлялась по-разному. Я уже указывал на основание митрополитом Алексеем ряда монастырей. В частности, им был устроен нижегородский Благовещенский монастырь, ставший не только одним из религиозных центров Нижегородского княжества, но и опорой политического и идейного влияния митрополичьей кафедры (действовавшей в союзе с великокняжеской властью) на нижегородских церковных иерархов и князей. Алексей был активным участником политической жизни Нижегородского княжества и происходившей там борьбы (защищая при этом интересы московского великого князя). Достаточно указать, что когда нижегородский князь Борис Константинович отказался по зову московского правительства явиться в Москву, то, чтобы принудить его выполнить великокняжеский приказ, посланные в Нижний Новгород митрополитом церковные иерархи распорядились закрыть там все

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 72—83; т. I, вып. 3, стр. 532—533; т. V, стр. 229—230; т. VIII, стр. 11—14; т. X, стр. 233—234; т. XI, стр. 1—6; т. XV, стр. 428; т. XVIII, стр. 101—104; т. XX, стр. 190—191; т. XXIII, стр. 113—114; т. XXIV, стр. 122—124. См. также *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 266—272; *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 117—127.

церкви[1]. Действовавший до 60-х годов XIV в. весьма лояльно в отношении ордынских ханов, получавший ярлыки (охранные грамоты) на церковные имущества от ханши Тайдулы и хана Бердибека[2], митрополит Алексей (как, по-видимому, и ряд московских бояр, к среде которых он принадлежал), в обстановке ослабления Золотоордынского государства несколько меняет свой политический курс. Уже допускается с санкции церкви неподчинение московского князя Орде.

Нельзя не отметить еще одного обстоятельства. Феодальные войны между правителями Московского и Нижегородского княжеств развернулись в то время, когда на Руси свирепствовала страшная эпидемия моровой язвы. Страницы летописных сводов, трактующих о событиях 1362—1366 гг., переполнены описаниями тех бедствий, которые принесла эпидемия населению Москвы, Коломны, Переяславля, Твери, Суздаля, Нижнего Новгорода, Торжка и других городов. Очень сильно пострадали нижегородцы, так как Нижний Новгород был первым русским центром, охваченным эпидемией, которая распространилась из Бездежа[3]. Повальная человеческая смертность не могла не послужить существенным фактором, заставившим князей прекратить усобицу.

* * *

Во втором туре борьбы за великое владимирское княжение (с 1367 г.) главное участие приняли Московское и Тверское княжества. Это был естественный ход борьбы. Не укрепившись в пределах Нижегородского княжества (на подступах к Орде), московская великокняжеская власть не могла считать развязанными руки для подчинения своей власти тверских князей. Борьба Московского и Тверского княжеств в конце 60-х — первой половине 70-х годов XIV в. протекала в усложнившейся внешнеполитической обстановке. Наступательная политика Литвы на Русь сделалась более активной. Этому в значительной мере содействовало ослабление Золотоордынского ханства. В 1363 г. литовские войска взяли Коржев и совершили военное нападение на юг Подолии (Синие воды, Белобережье). Продолжалось литовское наступление на Смоленск[4].

История Тверского княжества начала и середины 60-х годов XIV в. довольно темна. Не вдаваясь в специальные вопросы о внутренних взаимоотношениях тверских князей, следует лишь отметить, что княжеские междоусобицы, там происходившие, закончились приходом к власти князя микулинского Михаила Александровича (сына погибшего в Орде Александра Михайловича), ставшего великим князем тверским. Его княжение ознаменовано упорной борьбой Тверского княжества (в союзе с Литвой) с княжеством Московским.

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 75.
[2] ПСРЛ, т. XX, стр. 188—189.
[3] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 73—81.
[4] Там же, стр. 75, 78; т. XVII, стр. 99 , 170, 278, 389, 496.

§ 8. Борьба между Московским и Тверским княжествами в 60—70-х годах XIV в.

Начало длительной и острой борьбы Московского княжества с Тверским при московском великом князе Дмитрии Ивановиче относится к 1367 г. Подробно рассказывает об этой борьбе Рогожский летописец, расценивая ее с позиций тверских феодалов, враждебных московской великокняжеской власти. Под 1367 г. в Рогожском летописце говорится о построении в Москве каменного кремля, причем это мероприятие ставится в связь с началом наступательной политики московского правительства против других русских князей: «Того же лета на Москве почали ставити город камен, надеяся на свою на великую силу, князи русьскыи начаша приводити в свою волю, а которыи почал не повиноватися их воле, на тых почали посягати злобою»[1].

Прежде всего, по Рогожскому летописцу, Дмитрий Донской и его бояре предприняли наступление на Тверское княжество. В этих целях они использовали усобицу («нелюбие») между тверским великим князем Михаилом Александровичем (сыном Александра Михайловича), с одной стороны, и его дядей Василием Михайловичем, князем кашинским, и двоюродным братом Еремеем Константиновичем дорогобужским (сыном Константина Михайловича), с другой стороны. Усобица возникла в связи с разделом наследства умершего князя Семена Константиновича дорогобужского (сына Константина Михайловича). Вопрос о наследстве последнего разбирал тверской епископ Василий, который и «присудил часть отчины княжи Семеновы» тверскому великому князю Михаилу Александровичу[2]. Тогда князья Василий Михайлович и Еремей Константинович апеллировали к московскому митрополиту. Последний поддержал их (очевидно, с ведома московского великого князя, желавшего использовать этот инцидент в своих интересах в борьбе со своим противником—великим князем тверским). Епископ Василий через митрополичьего пристава был вызван из Твери в Москву на суд митрополита.

Новое судебное разбирательство принесло большие убытки тверскому епископу, которого подвергали в Москве притеснениям, очевидно, настаивая, чтобы он изменил вынесенное им в пользу тверского князя Михаила Александровича решение по делу об отчине умершего князя Семена Константиновича («и тако на Москве про тот суд владыце Василию бышеть истома и протор велик...»).

Михаил Александрович, готовясь к борьбе с московским великим князем[3], поддержавшим его противников, уехал в Литву, чтобы

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 84.

[2] Там же, стр. 81. О политических взаимоотношениях тверских князей в 60—70-х годах XIV в. см. *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 206—212.

[3] О борьбе тверского великого князя Михаила Александровича и великого князя московского Дмитрия Ивановича интересные данные имеются

заручиться там поддержкой. В то же время князь Василий Михайлович с семьей и Еремей Константинович «с всею силою кашиньскою» заняли Тверь. Рогожский летописец отмечает, что княжеская усобица, начавшаяся с раздела выморочной вотчины, тяжело отразилась на населении Тверской земли («а во Тфери сотворишется изгыбель велика людем про часть княжю Семенову»). Приехав в Тверь, князья Василий и Еремей «многым людем сотвориша досадоу бесчестием, и моукою, и разграблением имениа, и продажею бес помилованиа». Выражения «людем», «многим людем» свидетельствуют о том, что пострадали не столько высшие представители класса феодалов, сколько широкие массы населения: княжеские слуги, горожане, крестьяне. О каких притеснениях, причиняемых князьями жителям Твери, идет речь? О лишении их имущества, предании их суду с применением пыток, взыскании с них судебных штрафов и всевозможных вымогательствах без суда и т. д. Вероятно, князья Василий и Еремей возложили огульно на мирное население Тверской земли ответственность за то, что владения Семена Константиновича перешли к их противнику—великому тверскому князю Михаилу Александровичу. Актам полнейшего произвола (грабежу, вымогательствам, насилию) придавался характер восстановления законности, якобы нарушенной епископом Василием, который решил спорное дело о выморочной вотчине в пользу князя Михаила Александровича.

Василий Михайлович и Еремей Константинович хотели захватить город Городок (Старицу) на Волге, бывший одним из предметов их распри с великим тверским князем, и двинули к нему войска, в том числе пришедшие из Москвы («московскую рать князя великого»). Взят город не был, но местные жители страшно пострадали от нападения (князья «възвратилися назадь, извоевав люди, и мнози тогды в полон поведени быша»). «Рать московьскаа» и волочане (войска из Волоколамска), действовавшие по приказу московского правительства, «извоевали» Тверские «волости». в Верхнем Поволжье и причинили много бед горожанам и крестьянам («великоу изгыбель сотворили христианом»)[1].

Осенью 1367 г. великий тверской князь Михаил Александрович вернулся на Русь из Литвы с вооруженными силами («с литовьскою ратию»). Он взял в Твери под стражу жену князя Еремея и бояр и слуг своего дяди Василия Михайловича кашинского («...княгиню Еремееву и Семена Ямоу, иных бояр и слуг дяди своего изнимал...»). Затем Михаил Александрович двинул войска на Кашин, чтобы расправиться со своими противниками. Очевидно, приведенная им из Литвы рать была достаточно внушительной. Василий Михайло-

---

у А. Е. Преснякова в указ. книге, стр. 300—306. В статье И. У. Будовница «Отражение политической борьбы Москвы и Твери в тверском и московском летописании XIV в.» и в более подробном рукописном исследовании его прослежены политические тенденции разных летописных сводов в оценке событий политической борьбы 60—70-х годов XIV в.

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 84.

вич кашинский предпочел не доводить дело до сражения. На пути к Кашину, в селе Андреевском, великого тверского князя встретили послы князя Василия Михайловича и епископа Василия. Михаил Александрович согласился на мир, ибо со своей стороны также, по-видимому, не чувствовал уверенности в благоприятном отношении к нему неселения Тверской земли, на которое он навел чужеземные войска. Поэтому он повернул обратно. А затем в Тверь приехали один за другим князь Еремей и сын Василия Михайловича кашинского Михаил и заключили мир с великим тверским князем. Последний оформил мирные отношения и с великим князем московским Дмитрием Ивановичем[1].

Но мир продолжался недолго. Князь Еремей (возможно, по собственной инициативе, а возможно, подстрекаемый московским правительством) снова расторгнул соглашение с Михаилом Александровичем и отправился в Москву, где готовилось новое наступление на великого тверского князя.

По рассказу Рогожского летописца, в 1368 г. великий московский князь Дмитрий Иванович и митрополит Алексей пригласили из Твери князя Михаила Александровича в Москву. Рогожский летописец говорит, что внешне это приглашение было проведено в соответствующих дипломатических формах. Визит Михаила Александровича расценивался как визит дружбы. Его безопасность гарантировалась недавно состоявшимся московско-тверским договором, закрепленным авторитетом главы русской церкви—митрополита. Но в Москве великому тверскому князю грозила западня. Его решили там захватить и арестовать. «Того же лета князь великии Дмитреи Ивановичь да Олексеи митрополит позвали князя великаго Михаила Александровича на Москву, по целованию, любовию, а съдумав на него съвет зол».

Как только Михаил Александрович (по выражению Рогожского летописца, полагаясь «на крестное целование» со стороны Дмитрия Ивановича) явился в Москву, он и приехавшие с ним вместе бояре были задержаны и посажены под стражу. По словам летописи, великого тверского князя «...яша и да дръжали в-ыстоме...», «а что были бояре около его, тех всех поимали и разно разведоша, и быша вси в нятьи и дръжаша их в истоме». Городком и «частью отчины княжи Семеновы» завладело московское правительство.

Михаил Александрович просидел под арестом в Москве до тех пор, пока туда не пришла весть об ожидающемся вскоре приходе татарских послов. Не желая, очевидно, вмешивать в московско-тверские отношения Орду, московские власти поспешили освободить из заключения и отпустить в Тверь Михаила Александровича[2], «опять покончив с ним», т. е. снова заключив с ним мирное соглашение. Очевидно, московское правительство признало права

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 84—85.

[2] А. Н. Насонов объясняет этот акт Дмитрия Ивановича тем, что он боялся ордынского темника Мамая (*А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 129).

тверского великого князя на наследство, оставшееся после князя Семена Константиновича, и согласилось вернуть ему Городок. Но это обещание не было выполнено, и скоро Городок был отдан в управление (под контролем московского наместника) князю Еремею. Другой политический соперник Михаила Александровича— кашинский князь Василий Михайлович в середине 1368 г. умер.

Вернувшись в Тверь, Михаил Александрович стал готовиться к войне с Московским великим княжеством («...имеаше розмирие к князю к великому...»). Рогожский летописец считает поводом к этому отторжение от Тверского княжества Городка, расцененное великим тверским князем как акт «измены» со стороны московского правительства («...и положи то в измену»). Но великий московский князь Дмитрий Иванович предупредил Михаила Александровича и сам первый начал военные действия[1].

В московских летописных сводах изложенные выше события получили несколько иное освещение, чем в тверском летописании. В Ермолинской, Львовской, Симеоновской, Типографской, Воскресенской летописях также рассказывается о строительстве Московского кремля (зимой 1367 г. «князь велики з братом Володимером замыслиша ставити Москву город камен и тоя же зимы и камень повезоша»; весной же 1368 г. «заложиша Москву город камен»). Но этот факт названные летописные памятники отнюдь не рассматривают как показатель стремлений московских феодалов к войне, тенденций московского правительства к расширению территории путем военных действий. Вызов великим князем Дмитрием Ивановичем и митрополитом Алексеем в Москву великого тверского князя Михаила Александровича Ермолинская и аналогичные летописи изображают как дружественный акт («зазваша на Москву любовью...»). Арест Михаила Александровича расценивается как результат решения третейского суда, т. е. вполне законное дело («... и быть ему суд на третеи...», «быть им суд на третеи день на миру, а в правде»). Все дальнейшие московско-тверские политические осложнения представляются в Ермолинской и сходных с ней летописях как следствие недоброжелательного по отношению к московскому правительству поведения тверского великого князя. Московские власти заключили с ним договор и выпустили его из заточения («...укрепивше его крестным целованием и пустиша в свою отчину»). Он же после этого «...имеяше ненависть на великаго князя»[2]. О причинах «ненависти», т. е. завладении московскими властями Городком, данные летописи умалчивают.

Такое тенденциозное объяснение московско-тверских отношений с позиций московской великокняжеской власти затушевывает настоящую политику последней. Московское правительство в рассматриваемое время, несомненно, стремилось к ослаблению Твер-

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 87—88.

[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 114—115; т. VIII, стр. 14—15; т. XVIII, стр. 106—107; т. XX, стр. 191—192; т. XXIV, стр. 124—125; т. XXV, стр. 184.

ского княжества и расширению за его счет территории московских владений (используя в своих интересах распри, происходившие между отдельными князьями Тверской земли).

Никоновская летопись не дает нового фактического материала для более углубленного рассмотрения борьбы Московского княжества с Тверским в 1367—1368 гг. Но в Никоновском своде есть одно чрезвычайно интересное место, проливающее свет на социальную сторону этой борьбы. После рассказа о примирении тверских князей между собой и великого князя тверского Михаила Александровича с Дмитрием Ивановичем московским (вслед за походом первого на Кашин) мы читаем: «и радовахуся [очевидно, прекращению войны] бояре их [т. е. князей], и вси велможи их, такоже гости, и купцы, и вси работнии людие, роды и племяна Адамови. Вси бо сии един род и племя Адамово, цари, и князи, и бояре, и велможи, и гости, и купцы, и ремественицы, и работнии людие, един род и племя Адамово, и забывшеся, друг на друга враждуют, и ненавидят, и грызут, и кусают, отстояще от заповедей божиих, еже любити искренняго своего яко сам себе»[1].

Я привел эту цитату полностью ввиду ее колоритности и эмоциональности. Автор данного текста выступает с такой длинной и яркой тирадой, чтобы убедить в ненужности и вредности тех столкновений, которые происходят между господствующими общественными слоями и зависимыми людьми в городе и деревне. Он хочет достигнуть в соответствии с евангельской заповедью социального мира. Он стремится внушить мысль, что неизбежное и непреодолимое различие общественного положения людей не должно вести к забвению о том, что все они происходят от Адама. В этом отношении люди равны. Словом, ссылками на библию и евангелие составитель разбираемого текста хотел бы заглушить социальные конфликты. Но перед нами не выступление реакционного характера. Скорее можно думать, что текст Никоновской летописи отражает идеологию горожан, страдавших от феодальных войн, во время которых росло угнетение народа, что вызывало протест с его стороны. Обострялись классовые противоречия и усиливалась классовая борьба. Автор осуждает не столько выступления рядовой массы городского торгово-ремесленного населения и крестьянства против феодалов и зажиточной части горожан, сколько наступление господствующего класса на народ. И в указанных целях он излагает свою теорию равенства людей по происхождению, не исключающую, однако, социального неравенства как нормального явления. Это идеи умеренной в своих социально-политических требованиях части бюргерства.

Итак, усобицы среди представителей тверского княжеского дома и политическая борьба между великими князьями московским и тверским в 1367—1368 гг. содействовали углублению классовых антагонизмов.

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 8—9.

Осенью 1368 г. московский великий князь, подготовив военные силы, устроил нападение на Тверь («събрав воя многы и посылал рать на князя великаго Михаила Александровича тферьскаго...»). Последний бежал в Литву и стал уговаривать литовского князя Ольгерда Гедиминовича, женатого на его сестре, организовать поход на Москву («многы оукоры изнесе и жалобы изложи, прося помощи собе и оборони, дабы сътворил месть его въскоре, паче же вабячи и зовучи его ити ратию к Москве»). В качестве посредницы в переговорах выступала сестра тверского князя, являвшаяся женой князя литовского (Михаил Александрович «и сестру свою научая глаголати...» Ольгерду).

Это был период, когда литовские князья перешли к активной агрессивной политике в отношении Московского княжества. Ольгерд вмешался в борьбу между московским и тверским князьями. Вместе с другими литовскими князьями (своим братом Кейстутом Гедиминовичем, племянником Витовтом Кейстутовичем и пр.), «събрав воя многы и подвижася в силе тяжце», он двинулся «ратию» к Москве. Поход на Русь литовских войск в 1368 г. описан в различных летописных сводах примерно одинаково, только с неодинаковой полнотой. Наиболее полное изложение дают Рогожский летописец (в статье «О первой Литовщине») и Симеоновская летопись, текст которых лег затем в основу Никоновской летописи.

Летописцы определяют тактику Ольгерда как тактику внезапного нападения. Он обычно вел подготовку к наступлению на другие государства втайне («в таю»), скрывая свои намерения как от собственных воинов, так и от купцов и от иностранцев, находившихся в Литовском княжестве, с тем чтобы слухи об его замыслах не проникли в ту страну, с которой он собирался воевать. Летописцы подчеркивают, что военные успехи Великого княжества Литовского при Ольгерде объясняются не столько перевесом литовских вооруженных сил над войсками других стран, сколько его умением воевать («не токма силою, елико умением воеваше», «воюя хитростию и скрадывая»). Очевидно, военный опыт Литовского княжества, сильно выросшего за счет завоеваний, привлекал внимание наиболее вдумчивых представителей феодального класса на Руси. В то же время в различных летописных сводах описание военных приемов, к которым прибегал Ольгерд, сопровождается разными оценками и эмоциями. Если в Рогожском летописце и Симеоновской летописи речь идет об умелом использовании литовским князем наличных военных сил и о разумном соблюдении им военной тайны, то в Ермолинской, Воскресенской и других летописях ударение делается на коварстве Ольгерда, его «злохитрии», «кознях»[1].

В 1368 г., по летописным сообщениям, Ольгерд, как и обычно в таких случаях, держал в секрете план похода на Москву. По рас-

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 88; т. XV, стр. 428—429; т. VIII, стр. 15; т. XI, стр. 10—11; т. XVIII, стр. 107—108; т. XX, стр. 192; т. XXIII, стр. 115; т. XXIV, стр. 125; т. XXV, стр. 184—185.

сказу русских летописей, великий князь Дмитрий Иванович якобы ничего не знал о готовящемся на Русь наступлении военных литовских сил («...и тогда в то время князю великому того не ведущу и про то ему вести не было, оже Олгерд идеть нань силою многою...»). Надо сказать, что данная летописная версия не внушает доверия. Тверской великий князь Михаил Александрович в 1368 г. не в первый раз бежал в Литву. Он уже побывал там в 1367 г. и приводил с собою оттуда литовскую рать. Это не могло не быть известным московскому правительству. Поэтому то, что летописи говорят о неожиданности для московского великого князя прихода литовского войска в 1368 г., объясняется, вероятно, желанием оправдать нерасторопность русских войск и неумение подготовиться к встрече с неприятелем (а может быть, и недостаточность военных ресурсов).

Когда Ольгерд во главе литовских вооруженных сил уже приблизился к границе с Русью («... приближися близь перерубежиа Литовьскаго...»), весть о наступлении Литвы дошла, наконец, до московского великого князя. Он спешно разослал грамоты по ряду городов с предписанием о присылке воинов для отпора неприятелю («...повеле въскоре россылати грамоты по всем городом, и по всему княжению великому нача съвокупляти воя»). Но было уже поздно. Для сбора войска «по всему княжению великому» времени не хватало («...но ничто же успеша, не поспела бо тогды никотораа рать из далних мест приити»). Пришлось наскоро сформировать «сторожевой полк» из великокняжеских слуг, находившихся в данное время в Москве («...елико воин обретошася тогда в граде...»). Этот полк во главе с великокняжеским воеводой Дмитрием Мининым и воеводой серпуховско-боровского князя Владимира Андреевича— Акинфом Федоровичем Шубой был послан навстречу («в заставу») Ольгерду. К полку присоединились рати из московских волостей, Коломны и Дмитрова.

Войдя «в пределы области Московьскыя», литовские захватчики подвергли страшному разорению пограничные районы (стали их «жещи, сечи, грабити, палити, пленити»). Во время столкновения («на стрече») с литовскими полками погиб князь Семен Дмитриевич Стародубский, по прозвищу Крапива. В Оболенске был убит литовцами князь Константин Юрьевич Оболенский.

21 ноября 1368 г. на реке Тростне произошла встреча литовского войска со сторожевым московским полком. Он был разбит, воеводы убиты. Подвергая «истязаниям» пленников, Ольгерд выспрашивал их, где находится великий московский князь и какой военной силой он располагает. Узнав, что князь Дмитрий Иванович в Москве и что он не успел собрать достаточно воинов («...рати все не убо бе поспели собратися к нему...»), Ольгерд стал смелее двигаться вперед («начат подвижнее быти, поострив силу свою и много дързновенье въсприим...»).Литовские полки быстро подошли к Москве и расположились вокруг города.

Готовясь к осаде Москвы, великий князь Дмитрий Иванович приказал сжечь Московский посад («примета ради»). Все, кто

находился в городе, заперлись в Кремле. Кроме Дмитрия Ивановича, в Москве находились князь серпуховско-боровский Владимир Андреевич, митрополит Алексей «и прочии князи и бояре и вси христиане». Совершенно ясно, что, раз все князья оказались в осаде, значит, должного сопротивления Ольгерду на его пути к столице оказано не было.

Литовское войско во главе с Ольгердом простояло под Москвой трое суток, выжгло все пригородные места («останок загородиа все пожже»), церкви и монастыри, а затем отступило. Очевидно, сил у Ольгерда хватило для нанесения Руси внезапного удара, но не для длительной осады столицы Московского княжества.

На обратном пути Ольгерд со своими полками огнем и мечом уничтожали сельские поселения («волости повоева, села и дворы огнем пожже»), избивали и грабили мирных жителей, захватывали их имущество, угоняли скот («много христиан посече, и иных в полон поведе, а имениа их пограбиша, а скоты ину ту с собою отгнаша, и тако отидоша, а много зла створиша христианом»).

Летописи говорят, что никогда еще литовские захватчики не наносили такого зла Русской земле, как во время нападения на нее, организованного Ольгердом. Это зло можно сравнить только с разорением, которое причиняли Руси татарские набеги. И в памяти летописцев, описывавших «первую Литовьщину», невольно встает «Федорчукова рать»[1].

Поход на Русь, предпринятый в 1368 г. Ольгердом, ставил, по-видимому, своей целью, во-первых, оказать помощь тверскому великому князю в его борьбе с великим князем московским и содействовать усилению Тверского княжества за счет Московского, что было выгодно Литве, ибо Ольгерд действовал в союзе с Михаилом Александровичем тверским. Во-вторых, для Ольгерда это была первая серьезная военная разведка с целью испытать силы Московского княжества. Наконец, Ольгерд дал своим воинам возможность вдоволь пограбить русское население, а то, что нельзя было увезти с собой, велел предавать уничтожению, чтобы подорвать материальные ресурсы Московского княжества.

После похода Ольгерда московское правительство было вынуждено отказаться в пользу Михаила Александровича тверского от Городка и выморочных владений князя Семена Константиновича, относительно которых уже давно шел спор между тверскими князьями. Князь Еремей Константинович был выведен из Городка и выдан Михаилу Александровичу. Но княжеские усобицы в Тверской земле продолжались. Так, в 1369 г. из Кашина приезжал в Москву к митрополиту князь Михаил Васильевич с жалобой на тверского епископа Василия, очевидно, по делу все о том же наследстве после князя Семена Константиновича.

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 88—90; т. XV, стр. 429; т. VIII, стр. 16 т. XI, стр. 11; т. XVIII, стр. 108—109; т. XX, стр. 192; т. XXIII, стр. 115; т. XXIV, стр. 125—126; т. XXV, стр. 184—185.

Отношения с Литвой у Московского княжества продолжали оставаться напряженными. В 1368 г., во время войны Ольгерда с Орденом, русские военные отряды из Москвы и Волоколамска «воевали Смоленскую волость». В 1370 г. князь Дмитрий Иванович «посылал воевать Брянска»[1].

Новая война Московского княжества с Тверским, действовавшим опять в союзе с Литвой, падает на 1370 г. Судя по данным Рогожского летописца (отсутствующим в ряде сводов), Михаил хотел войны избежать и посылал в Москву тверского епископа для подтверждения мира («любви крепити»). Но московское правительство, отпустив епископа обратно в Тверь, вслед за ним в августе отправило объявление войны тверскому великому князю («а ко князю великому Михаилу послав, целование сложили...»). Большинство летописей не говорит о приезде в Москву тверского епископа и помещает лишь известие о разрыве московским правительством (по его собственной инициативе) отношений с Тверью.

Михаил Александрович опять бежал в Литву, а московские войска предприняли наступление на Тверскую землю. Сначала в Тверские волости вошли отдельные военные отряды из Москвы и Волоколамска, а в сентябре 1370 г. туда направился «с всею силою» князь Дмитрий Иванович. Остановившись на реке Родне, он отправил своих воевод с ратью к городу Зубцову, который был осажден, а через 6 дней взят и сожжен. Население из города московские воеводы «выпустили куды кому любо...». Московские войска захватили также Микулин, «повоевали» и «пожьгли» тверские села, перебили и взяли «в полон» их жителей. Рогожский летописец с полным основанием расценивает действия в Тверской земле московских вооруженных сил как большое зло для местного населения («и много зла сътворив християном»). В Рогожском летописце помещена чрезвычайно важная и яркая деталь. Из-за больших дождей тверские крестьяне не успели вовремя произвести жатву яровых хлебов («то же время бышеть дождево добре, хлеба ярного не жинали»). А из-за войны хлеб так и остался несжатым.

Никоновская летопись, дающая тенденциозное изложение событий с позиций московской великокняжеской власти, считает поход Дмитрия Ивановича в Тверскую землю карой, учиненной населению за враждебные Московскому княжеству действия тверского князя Михаила Александровича («и смириша тверичь до зела»).

В борьбе с московской великокняжеской властью Михаил Александрович тверской стремился заручиться поддержкой не только Литвы, но и Орды. В Рогожском летописце содержится известие (отсутствующее в большинстве сводов) о том, что, после того как Михаил Александрович бежал в Литву, в Тверь явились ордынские послы Капьтагай и Тюзяк и привезли тверскому князю ярлык на тверское княжение. Очевидно, он в свое уремя делал шаги к получению ярлыка, желая укрепить свои политические позиции

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 90—92.

в ожидании надвигающейся войны с Московским княжеством. Не переговоры ли Михаила Александровича с Ордой заставили московское правительство в августе 1370 г. порвать с ним сношения и послать рать в Тверскую землю?

Узнав в Литве о разорении московскими войсками Тверского княжества, Михаил тверской направился в середине ноября оттуда в Орду и, одарив многих ордынских князей, добился получения ярлыка на великое княжение всей Руси. Орда, по-видимому, охотно вмешалась в происходившие на Руси распри и содействовала столкновению тверского князя с московским, рассчитывая, что это столкновение приведет к общему упадку политической силы Руси. Вместе с ордынским послом Сарыхожей Михаил Александрович явился в Русскую землю в качестве общерусского великого князя («и взем ярлык, и вышел был на княжение на великое, зовучися сам князь великыи»). Но его противник, Дмитрий Иванович московский, принял меры к тому, чтобы помешать ему реализовать право, предоставленное ханским ярлыком. Чтобы задержать Михаила Александровича на путях из Орды, были расставлены заставы, организованы его поиски («...переимали его по заставам, и многыми путмы ганялися за ним, ищуще его»)[1]. Настигнуть Михаила Александровича, однако, не удалось, и он с небольшой дружиной опять бежал в Литву. Вряд ли укрепиться на Руси тверскому князю помешали лишь предосторожности, принятые великим князем московским. Михаил Александрович становился все более непопулярным из-за своих связей с литовскими феодалами, с ордынскими ханами, которых он приводил на Русь и которые грабили народ. Городское население не поддерживало Михаила тверского, как это можно видеть и из приведенного выше текста Никоновской летописи (сожалеющей в связи с описанием усобицы тверских князей о той социально-политической розни, которая наблюдалась на Руси) и из некоторых последующих событий.

В Литве Михаил Александрович всячески добивался, чтобы Ольгерд организовал второй поход на Москву и помог ему одолеть его противника—великого князя Дмитрия Ивановича. Второй поход на Русь литовских военных сил под руководством Ольгерда («другая Литовщина») состоялся в конце ноября 1370 г. Ольгерд выступил в Русскую землю, «събрав воя многы, в силе тяжце», в сопровождении своих братьев, сыновей, «прочих» литовских князей, смоленского князя Святослава Ивановича «с силою смоленьскою», тверского князя Михаила Александровича. Серьезное сопротивление литовские полки встретили со стороны русских воинов под Волоколамском (26 ноября). Два дня длился бой, но литовское войско так и не смогло овладеть городом. Под Волоколамском был смертельно ранен одним литовцем князь Василий Иванович Бере-

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 92—93; т. XIII, стр. 17; т. XI, стр. 13, т. XVIII, стр. 110; т. XX, стр. 193; т. XXIII, стр. 116; т. XXIV, стр. 126; т. XXV, стр. 185—186.

зуйский, которого летопись характеризует как храброго и заслуженного воина («иже преже много мужьствова на ратех и много храбровав на бранех...»). Не взяв Волоколамска, литовское войско продолжало свой путь к Москве и 6 декабря осадило столицу княжества. В Москве находился великий князь Дмитрий Иванович. Его двоюродный брат—серпуховско-боровский князь Владимир Андреевич стоял с полком под Перемышлем. Со стороны Пронска двигался к Москве бывший в союзных отношениях с Дмитрием Ивановичем пронский князь Владимир Дмитриевич, «а с ним рать рязанская». Ольгерду грозила опасность быть окруженным русскими войсками. В этих условиях осада Москвы не могла закончиться успешно для литовских захватчиков. Она продолжалась больше, чем в 1368 г.,— 8 дней. Захватчики выжгли окрестности города («загородие») и часть посада, перебили и забрали в плен много людей, но овладеть Московским кремлем не смогли. Не рассчитывая на военный успех («оубоявся»), Ольгерд стал просить великого князя Дмитрия Ивановича заключить с ним мир. Московское правительство также стремилось кончать войну и согласилось на перемирие. Обратно в Литву Ольгерд возвращался, чувствуя себя уже далеко не так, как в 1368 г. Летописи ничего не говорят теперь о грабежах русского населения литовскими захватчиками. Наоборот, подчеркивается, что Ольгерд уходил из Руси «с многым опасением, озираяся и бояся за собою погони»[1].

Совершенно очевидно, что в Москве был учтен печальный опыт «первой Литовщины». Ко вторичной встрече Ольгерда московское правительство подготовилось лучше, мобилизовало военные силы. Правда, литовские войска и на этот раз не были задержаны по пути в Москву и дошли до самой столицы Московского княжества. Но здесь они ясно убедились, что Москвы им не взять, да и оставаться долее на Руси небезопасно[2].

Нельзя упускать из поля зрения еще одного существенного фактора, сыгравшего несомненную роль в качестве побудительного мотива к отступлению литовских захватчиков. Широкие массы населения русских сел и городов были страшно раздражены против них и тех русских феодалов, при содействии которых они пришли на Русь. В результате «первой» и «второй» «Литовщины» была уничтожена масса народа. Крестьяне были лишены возможности заниматься мирным сельским трудом. Ведь не может не броситься в глаза такой разительный факт: летописец, уделяющий свое основное внимание политической истории Руси, междукняжеским отношениям, считает тем не менее нужным сразу после описания похода на Русь Ольгерда в 1370 г. сказать несколько слов о сельскохозяй-

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 94—95; т. XV, стр. 429—430; т. VIII, стр. 17; т. XI, стр. 14; т. XVIII, стр. 110; т. XX, стр. 193; т. XXIII, стр. 116; т. XXIV, стр. 126—127; т. XXV, стр. 185—186.

[2] Походы Ольгерда на Москву подробно описаны М. Н. Тихомировым в книгах «Древняя Москва (XII—XV вв.)», стр. 46—49, «Средневековая Москва в XIV—XV веках», стр. 277—280.

ственных работах этого года. Значит ему была хорошо ясна связь между разорительными войнами и состоянием земледелия. В Рогожском летописце говорится, что зима 1370 г. «бяшеть тепла», снег стаял ранней весной («снег стекл заговев великому говению»), и это дало возможность убрать не сжатый в Тверской земле прошлой осенью хлеб («не жатый хлеб пожали по всем Тферьскым волостем в великое говение»). Но Никоновская летопись добавляет, что жать можно было только там, где не прошли литовские войска («где рать не бывала Литовьскаа»)[1]. Там же, где побывали иноземные полчища, хлеб пропал.

По уходе из пределов Руси литовских полков во главе с Ольгердом Михаил Александрович поехал в Орду за ярлыком на великое княжение, а его войска пытались рассчитаться за нападение московско-волоколамских военных сил в 1369 г. на Тверское княжество. Но пострадали при этом опять-таки мирные жители. Так, по Рогожскому летописцу, тверские рати под Волоколамском «...люди многи побили тои, которыи опроче стяга ходили», т. е. уничтожили много народа из числа тех, кто не выступал под полковым знаменем, не участвовал в ратных действиях в Тверской земле в 1369 г. Подобная политика тверского князя вызывала все большее недовольство населения. Его непопулярность все возрастала.

10 апреля 1371 г. Михаил Александрович вернулся из Орды с ярлыком на великое княжение в сопровождении посла Сарыхожи. Из Твери князь Михаил с ордынским послом направился «подле Волги мимо Кашин» во Владимир для занятия великокняжеского стола. Но Дмитрий Иванович московский не захотел ему «сступитися княженіа великаго». Между обоими претендентами на великокняжеский владимирский стол разгорелась борьба. Интересные данные об этой борьбе сообщают Рогожский летописец и Тверской сборник. Согласно сведениям этих сводов, князь Дмитрий Иванович привел к присяге («к целованию») по всем городам бояр и «людей» (по Никоновской летописи—«черных людей», т. е. торгово-ремесленное население) в том, что они не признают великим князем Михаила Александровича («...не датися князю великому Михаилу...»). Сам Дмитрий Иванович вместе со своим двоюродным братом, серпуховско-боровским князем Владимиром Андреевичем, и с ратью стал в Переяславле, чтобы помешать тверскому князю проехать во Владимир[2]. Ханский посол (по Рогожскому летописцу, «тотарин с баисою», т. е. с ханским повелением—грамотою) прислал из города Мологи, где он находился с Михаилом Александровичем, предписание московскому князю явиться во Владимир «к ярлыку» (т. е., очевидно, присутствовать при возведении на великокняжеский стол Михаила Александровича). Дмитрий Иванович отвечал:

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 95; т. XI, стр. 14.

[2] Анализируя эти и другие факты, И. У. Будовниц делает верный вывод, что население русских городов поддерживало московских князей в их борьбе за политическое объединение Руси. (*И. У. Будовниц*, Поддержка объединительных усилий Москвы населением русских городов, стр. 122).

«к ярлыку не еду, а в землю на княжение на великое не пущаю» (речь идет о князе Михаиле, которому Дмитрий Иванович не желает уступить великое княжение и поэтому не дает ему пройти во Владимир), «а тебе, послу, путь чист» (т. е. ханского посла московский князь не будет задерживать и предоставит ему свободный проезд). Затем Дмитрий Иванович дипломатично пригласил посла Сарыхожу в Москву. Тот, предвидя, что там можно будет получить «многыа дары», передал ярлык князю Михаилу, а сам принял приглашение московского князя и явился к нему в Москву. Михаил Александрович вернулся через Бежецкий Верх в Тверь. Не ошибшись в своих расчетах и «поимав многи дары» у князя Дмитрия, Сарыхожа выехал в Орду. В конце мая туда же отправился сын великого тверского князя Иван Михайлович, а 15 июня—великий московский князь Дмитрий Иванович[1].

Летописный рассказ требует интерпретации. Очевидно, довольно решительные и активные действия Дмитрия Ивановича объясняются тем, что он имел какую-то поддержку со стороны жителей Московского и Тверского княжеств. Судя по приведенным летописным сообщениям, он опирался не только на бояр, но и на торгово-ремесленное население городов Верхнего Поволжья. Рогожский летописец и Тверской сборник приписывают Дмитрию Ивановичу инициативу приведения бояр и горожан к присяге. Это весьма возможно. Но, очевидно, навстречу этой инициативе развертывалось движение в городах в сторону союза с московской великокняжеской властью, ведущей борьбу с литовскими захватчиками и их пособником—великим князем тверским.

Поддержка горожан позволила Дмитрию московскому занять довольно смелую позицию в отношении Орды и не явиться на вызов ханского посла. Однако московская великокняжеская власть вовсе не шла на разрыв с Ордой. Для этого у нее не было еще достаточных сил. Стремясь к достижению своей цели (сохранению права на великое владимирское княжение), Дмитрий Иванович вынужден прибегать и к дипломатии, и к подкупам ордынских правителей. Пригласив в Москву Сарыхожу и одарив его, Дмитрий Иванович завоевал себе союзника и подготовил почву в Орде для того, чтобы получить ярлык на великое княжение.

В Рогожском летописце имеется интересное рассуждение по поводу политики золотоордынских ханов, которые разжигают распри среди русских князей. В результате между князьями возникают войны, причиняющие народу неимоверные страдания. Ордынские правители, «омрачив сердце своя многым златом и сребром», получаемым с различных претендентов на русский великокняжеский стол, «безбожною своею лестию ввергъли мечь и огонь в Русскую землю на крестианьскую погыбель», «сотворили мятежь в Русскои земли». Если сочетать приведенную оценку вредных последствий татаро-монгольской политики на Руси с мыслями, изложенными

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 95—96; т. XV, стр. 430.

в рассмотренном выше тексте Никоновской летописи о вреде княжеских усобиц, способствующих углублению общественных противоречий, то мы сможем себе представить довольно целостную идеологию умеренной в своих социально-политических требованиях части горожан, объясняющую занятую ими позицию в борьбе московского и тверского князей. Мир социальный может сохранить сильная великокняжеская власть, способная обеспечить мир политический и внешнеполитическую безопасность страны,— таковы основы этой идеологии.

В некоторых летописях (Ермолинской, Симеоновской, Львовской, Воскресенской, Типографской и др.) описывается эпизод прихода Михаила Александровича (после отъезда князя Дмитрия Ивановича в Орду, а по Никоновской летописи—до этого события) во Владимир и его попытки занять великое княжение. Жители Владимира, судя по этим летописям, не приняли князя Михаила («и не прияша его, рекуще: «Про что тебе взяти великое княжение?»»)[1]. В Рогожском летописце и Тверском сборнике этого эпизода нет. Однако его возможность не исключена.

После отъезда в Орду московского великого князя Дмитрия Ивановича, в Москву явились послы литовского князя Ольгерда. В отсутствие Дмитрия Ивановича, которого официально представлял митрополит Алексей, был заключен (в соответствии с условиями перемирия 1370 г.) московско-литовский договор, скрепленный затем браком серпуховско-боровского князя Владимира Андреевича и дочери Ольгерда—Елены[2]. Интересно, что в этом договоре великое княжение называется «отчиной» (т. е. наследственным владением московских великих князей). Такова же терминология Симеоновской летописи. Значит московские князья уже стали отрицать права ханов распоряжаться великим княжением.

Михаил Александрович тверской продолжал военные действия в ряде русских земель, рассчитывая тем самым нанести урон своему противнику. Он двинулся сначала к Костроме, затем, повернув обратно, захватил и сжег Мологу, Углич, Бежецкий Верх. Тогда же, по-видимому, Михаил Александрович заключил договор о военном союзе с новгородским правительством[3].

Длительная усобица на Руси изнуряла население, подрывала экономику страны. Истощенный в результате кровавой междукняжеской смуты, народ страдал также от недорода, вызванного засухой 1371 г. Люди голодали. Цены на хлеб и другие продукты питания росли и из-за неурожая и из-за разорения страны феодальной войной («бяше же тогды жито дорого, и меженина в людех и оскуде-

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 116; т. VIII, стр. 18; т. XI, стр. 15; т. XVIII стр. 110; т. XX, стр. 193; т. XXIII, стр. 116; т. XXIV, стр. 127.

[2] ДДГ, стр. 21—22, № 6. Анализ этого договора см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 45—50.

[3] ГВНП, стр. 28—30. Об этом договоре см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч, ч. 1, стр. 306—310.

ние брашна, дороговь велика»). Никоновская летопись указывает, что в 1371 г. был «глад велий по всей земле»[1].

Ярлык на великое владимирское княжение достался в Орде московскому князю Дмитрию Ивановичу. Перевес материальных и военных сил был на его стороне. Михаил же Александрович, согласно летописи, получил из Орды следующий ответ: «княжение есмы тебе дали великое, и давали ти есмы рать, и ты не понял, рекл еси своею силою сести, и ты сяди с кем ти любо». Этот летописный текст не совсем понятен. Почему же тверской князь отказался от военной помощи ему со стороны татаро-монгольских правителей? Возможны два объяснения. Или ордынское правительство, проводя в данном случае свою обычную политику, построенную на шантаже, обусловило выдачу тверскому князю ярлыка на великое княжение тем, что он завоюет его собственными силами, а затем самого же обвинило в излишней самонадеянности. Но может быть, и сам Михаил Александрович боялся открыто привести на Русь татаро-монгольское войско, ибо его содружество с литовскими захватчиками уже достаточно подорвало его авторитет среди населения.

Победа над своим соперником в Орде обошлась Дмитрию Ивановичу недешево. Право на великое княжение он купил за большую сумму и на Русь прибыл (осенью 1371 г.) обремененный большим долгом («...прииде из Орды с многыми длъжникы...»). Расплачиваться за этот долг пришлось трудовому народу, на который были возложены новые податные тяготы («и бышеть от него по городом тягость даннаа велика людем»). Несмотря на это, горожане не стали поддерживать тверского князя Михаила («а ко князю к великому к Михаилоу так и не почали люди из городов передаватися»). Последняя цитата взята из Рогожского летописца, в котором сохранилось тверское летописание, далеко не с доброжелательных позиций оценивающее деятельность московского правительства. Тем важнее и надежнее для нас свидетельство Рогожского летописца о позиции горожан, искавших союза с сильной великокняжеской властью[2].

Но феодальная война продолжалась. Московские войска выгнали из Бежецкого Верха тверского наместника и «грабили» тверские волости. Московский великий князь при этом использовал вражду между великим князем тверским Михаилом Александровичем и удельным князем кашинским Михаилом Васильевичем и заключил союз с последним. Михаил Васильевич приезжал в Москву, «взял мир» с великим князем Дмитрием Ивановичем, после чего кашинские бояре разорвали договор с великим тверским князем Михаи-

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 95—97: т. VIII, стр. 18; т. XI, стр. 15; т. XVIII, стр. 110—111; т. XX, стр. 193; т. XXIII, стр. 116; т. XXIV, стр. 127.

[2] Интересные соображения о политике Орды в отношении Руси в 60—70-х годах XIV в., в период борьбы между Дмитрием Ивановичем московским и Михаилом Александровичем тверским, см. у А. Н. Насонова в книге «Монголы и Русь», стр. 129—130.

лом Александровичем («сложили» к нему «целование») и перешли на сторону московского правительства.

Князь Михаил Александрович со своей стороны вел наступление на своего противника—князя московского. В конце 1371 г., по его приказанию, тверскими войсками была взята Кистма, а кистемские воеводы захвачены в плен и приведены в Тверь. Весной 1372 г. сам Михаил Александрович повел рать на Дмитров, «а посад и села пожьгли, а бояр и людии изнимав и жен в полон привели в Тферь». Война велась тверским князем снова при помощи литовских феодалов («подведе таи рать литовскую»). В числе участников нового вторжения в Русскую землю разные летописи называют литовских князей Кейстута Гедиминовича, Витовта Кейстутовича, Андрея Ольгердовича, Дмитрия Друтского. В то время как Михаил Александрович возглавил поход, окончившийся разгромом Дмитрова, литовская рать под предводительством князей Кейстута Гедиминовича и Андрея Ольгердовича полоцкого разоряла Переяславский посад и окрестные села, захватывая имущество горожан и крестьян, уничтожая крестьянский скот («и скоты их исколоша»). В дальнейшем литовские и тверские войска соединились и направились к Кашину, с населения которого взяли «окуп», а кашинского князя Михаила Васильевича заставили подчиниться великому князю тверскому Михаилу Александровичу. Возвращаясь в Литву (Кейстут Гедиминович—через Торжок, а Андрей Ольгердович и Дмитрий Друтский—через Тверь), литовские князья продолжали грабить мирных жителей («много зла сътворили христианом»)[1].

Наиболее трагический эпизод в феодальной войне 1372 г.—это разорение тверскими войсками в 1372 г. Торжка. Весной этого года новгородские бояре и «мужи» великого князя приехали в Торжок «города ставити» (т. е. для работ по возведению городских укреплений) и договорились с новоторжцами действовать совместно против великого тверского князя Михаила Александровича («и соединившеся вси с новоторжцы заедино, укрепишася крестным целованием, еже быти всем заедино, и заратишася со князем Михаилом тверским»). Затем новгородцы и новоторжцы изгнали из Торжка тверских наместников, арестовали тверских гостей и купцов, отняли у них имущество, захватили лодьи с товарами, а некоторых перебили («...а что гостей тверских и торговцев поимаша и пограбиша, а иных побиша, а лодей с товарами отъимаша»).

Из этого описания видно, что новгородские бояре действовали в союзе с великокняжеской властью и новоторжскими горожанами. Однако самое интересное—это то, что указание на участие в событиях 1372 г. великокняжеских «мужей» содержится далеко не во всех летописях, а из этого видно, что изгнание тверских наместников было в значительной мере делом, осуществленным по инициативе самого новоторжского торгово-ремесленного насе-

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 96—100; т. XV, стр. 430—431; т. VIII, стр. 18—19; т. XI, стр. 15; т. XVIII, стр. 110—112; т. XX, стр. 193—194; т. XXIV, стр. 127—128; т. XXV, стр. 187.

ления. Произошло восстание горожан Торжка против тверских властей. Они обратились за военной помощью в Новгород. Новгородское правительство оказало им поддержку, ибо было само заинтересовано в удалении из Торжка тверских наместников и включении города в сферу политического влияния Новгородской республики.

«Строительство города» в Торжке в 1372 г.—это подготовка оборонительных сооружений для борьбы с Тверским княжеством. Так понимает дело Никоновская летопись: «и град поставиша крепок зело, и остроги вся уготоваша, и силу многу собраша, уготовишася на бой противу князя Михаила Александровичя тверскаго». Конечно, перед нами уже позднейшая интерпретация событий, верно. однако, схватывающая существо вопроса.

Задержка тверских гостей и купцов и захват их товаров преследовали цель подорвать материальные ресурсы Тверского княжества, экономически его изолировать и тем самым ослабить политически. Но возможно также, что в расправе новоторжцев с представителями тверского купечества играли роль и социальные мотивы. Вероятно, в этой расправе участвовали новоторжские черные люди, испытывавшие засилие со стороны крупной тверской торговой верхушки.

Рогожский летописец, стоящий на позициях, доброжелательных в отношении тверского князя Михаила Александровича, расценивает выступление городского населения Торжка в 1372 г. против тверских властей как результат злого умысла со стороны новгородцев и новоторжцев («...съвещаша зол совет...») и упрекает их в отсутствии «смирения» («всяко бо, рече, възносяися смирится, а смиряяся, възнесеться»). Подобная оценка дает, мне думается, основание сделать вывод, что в глазах тверских феодалов отпор, полученный ими в Торжке, являлся не актом сопротивления, которое во время войн один соперник оказывает другому, ему равному. С их точки зрения, жители Торжка «вознеслись», «возгордились» и подняли руку на своих властей. Словом, судя и по содержанию, и по манере изложения Рогожского летописца, речь должна идти о городском восстании.

И далее летописец ведет рассказ в том же направлении. Собрав войско, Михаил Александрович 31 мая подошел к Торжку и потребовал, чтобы ему выдали тех, кто избил тверских купцов и захватил их имущество, а также приняли обратно его наместников: «кто моих тферичь бил и грабил, тех ми выдайте, а аз оу вас не хочу ничего, а наместника моего посадите». Но в городе продолжалась «котора», «весь град» был объят «злобою», не желая «покоритися» князю Михаилу. Новгородцы и новоторжцы, «въружася» и «похвалившеся силою своею и мужьством», вышли из города и начали сражение с тверской ратью. Итак, весь «град», все городское население поднялось на борьбу с тверскими властями, от гнета со стороны которых оно только что освободилось в результате «которы» (восстания).

Примерно так же (только в ином аспекте, не столь благожелательном к тверскому великому князю) излагают события в Торжке и другие летописцы. «И бысть между ими раздор, и смятеся весь град, иже ни мало хотяху покоритися, и посылаху послы своя с ответы, а все с высокоумием...»,—читаем в Новгородской третьей летописи. Опять подчеркиваются «раздор», «смятение» в Торжке, «высокоумие» новоторжских «граждан» (горожан), которые («купно» с новгородскими боярами) отправляются «битися со тверичи». Словом, во всех летописях речь идет о вооруженном выступлении против тверских феодалов, сначала захвативших власть в Торжке, а затем оттуда изгнанных.

«На поле» за городом произошло большое сражение («бысть у них сеча велика»). Ряд новгородских «мужей», возглавлявших новгородские военные силы, пали в бою. Было убито и много рядовых воинов, многие попали в плен. После этого среди новгородцев произошло замешательство («смятошася зело»). Часть их обратилась в бегство «на поле» (в направлении Великого Новгорода), часть стала отступать к Торжку. Воспользовавшись замешательством в рядах противника, тверичи подожгли новоторжский посад. Все летописи как будто сходятся в том, что тверские войска одержали победу из-за отступления новгородцев. Новоторжские горожане («граждане»), по-видимому, держались стойко.

Все летописцы (сочувствующие как тверскому князю, так и новгородским «мужам» или новоторжским «гражданам») одинаково говорят, что поджог Торжка причинил ужасные бедствия его жителям. По Рогожскому летописцу, благодаря сильному ветру город сразу весь воспламенился и скоро превратился в пепел («и удари с огнем ветр силен на город, и поиде огнь по всему городоу, и погоре город весь»; «в едином часе бяшеть всем видети град велик, бещисленое множество людии в нем, в том же часе пожьже его огнь, и преложишеться в вуглие, и потом пепел...»). Люди гибли в пламени пожара на площадях и улицах; прятались в каменных церквах, но огонь охватывал их и там; бежали к реке и тонули. Те же, «кто избежал из города от огня», остались нищими, ибо ничего не могли захватить с собой из имущества.

Новгородская первая и другие летописи дополняют эту жуткую картину рассказом о бесчинствах, которые творили на пепелище, где когда-то был город, тверские войска[1]. Власть тверских феодалов над Торжком была восстановлена. Новгородское правительство было вынуждено мириться с тверским князем Михаилом Александровичем и направило ему проект мирных условий[2].

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 101—103; т. XV, стр. 431—433; т. III, стр. 230; т. IV, стр. 68—69; т. V, стр. 232—233; т. VII, стр. 19—20; т. XI, стр. 18—19; т. XVIII, стр. 113; т. XX, стр. 194—195; т. XXIII, стр. 117—118; т. XXIV, стр. 128—129; НПЛ, стр. 371—372.

[2] ГВНП, стр. 32—33, № 17. См. об этом договоре *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 311—317.

В середине 1372 г. великий тверской князь Михаил Александрович в третий раз подговорил к походу на Русь Ольгерда Гедиминовича. По-видимому, то обстоятельство, что Михаилу Александровичу удалось при помощи литовских князей захватить несколько городов, побудило Ольгерда еще раз испытать свои силы в борьбе с Московским княжеством. Под Любутском (по одним летописям, 12 июня, по другим, 12 июля) литовские и тверские войска соединились. Московская рать во главе с великим князем Дмитрием Ивановичем вышла им навстречу. Согласно данным Рогожского летописца и Тверского сборника, полки неприятелей выстроились друг против друга близ Любутска. Их разделял овраг, а кругом раскинулся лес («бяшеть бо дебрь глубока зело»). Простояв несколько дней, неприятели разошлись, согласившись на мир («и бяшеть им враг от в спасение»,—говорит летопись[1]). По Ермолинской и другим летописям, московская рать сначала разбила сторожевой литовский полк; тогда в войске Ольгерда произошло замешательство («замятня»), что и заставило его уйти за овраг. А последний был настолько крут и глубок, что неприятели не могли из-за него вступить в бой и поэтому заключили мир[2]. Обе летописные версии производят несколько странное впечатление. Как будто у противников и не было серьезных военных намерений! Можно лишь думать, что Ольгерд излишне доверился информации своего зятя, тверского князя, о состоянии Московского княжества. Он недооценил военную крепость последнего, столкнувшись же лицом к лицу с вооруженными московскими силами, предпочел уклониться от решительной схватки.

Одним из средств воздействия на тверского великого князя Михаила Александровича явились для Дмитрия Донского выкуп в Орде его сына Ивана Михайловича (на это московский князь не пожалел «серебра») и заключение его в Москве («и начаша его держати в-ыстоме»). Михаил Васильевич кашинский снова «целование сложил ко князю к великому к Михаилу Александровичу», и явился в Москву «в ряд» (т. е., очевидно, для заключения договора с великим князем Дмитрием Ивановичем), а затем поехал в Орду (по-видимому, для получения кашинского удела как независимого от великого тверского князя Михаила Александровича владения). В 1373 г., после смерти Михаила Васильевича кашинского, его сын со своими боярами снова перешел на службу к Михаилу Александровичу тверскому («приехал» к нему «с челобитием и вдашася в его волю»).

После рассказа о всех вышеизложенных актах московского и тверских князей летописи вдруг неожиданно для читателей сообщают о заключении мирного договора между Дмитрием Ивановичем московским и Михаилом Александровичем тверским. Первый

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 103; т. XV, стр. 433.

[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 118; т. IV, стр. 69; т. V, стр. 233; т. VIII, стр. 20; т. XI, стр. 19; т. XVIII, стр. 113; т. XX, стр. 194—195; т. XXIV, стр. 129.

отпустил из заточения в Тверь сына Михаила—Ивана Михайловича, последний вывел своих наместников из Торжка[1]. И летописец с удовлетворением восклицает: «И бышеть тишина, и от оуз разрешение христианом, и радостию възрадовалися, а врази их облекошася в студ»[2]. У читателя остается недоумение: почему вдруг сразу такая идиллия? А перелистывая летопись дальше, задаешь и другие два вопроса. Почему эта идиллия столь быстро кончилась и уже в 1375 г. московский князь Дмитрий Иванович организовал поход против своего бывшего противника и недавнего союзника, закончившийся взятием Твери? И как удалось Дмитрию Ивановичу собрать для этого похода военные силы из целого ряда русских княжеств?

Ответ на все эти недоуменные вопросы может быть лишь один: мирный договор 1374 г. обе стороны рассматривали как временную передышку и обе они готовились к новой войне.

Поводом к новой московско-тверской войне послужил отъезд из Москвы в Тверь в 1374 г. сына московского тысяцкого Ивана Васильевича Вельяминова и крупного представителя московского купечества Некомата Сурожанина. Чем был вызван отъезд указанных лиц? Перед рассказом об этом событии летописи сообщают, что в сентябре 1373 г. в Москве умер «последнии тысяцьскыи» Василий Васильевич Вельяминов «в черньцех и в скиме»[3]. Со смертью В. В. Вельяминова должность московского тысяцкого была великим князем Дмитрием Ивановичем упразднена. Это вызвало протест со стороны сына последнего тысяцкого И. В. Вельяминова и некоторых московских купцов, к числу которых принадлежал прежде всего Некомат Сурожанин. Раздраженные политикой московской великокняжеской власти, два названных лица переехали в Тверь на службу к противнику князя Дмитрия Ивановича—Михаилу Александровичу.

Можно ли считать ликвидацию должности тысяцкого в Москве наступлением великого князя на права горожан? Если ответить на этот вопрос положительно, то становится непонятным, почему это наступление началось как раз накануне намечавшейся войны Московского княжества с Тверским? Не подрывал ли подобным мероприятием князь Дмитрий Иванович свою собственную опору? Вспомним, что в предшествующие годы как раз поддержка горожан в значительной мере обеспечила ему победу над тверским князем. Заглядывая несколько вперед, мы можем увидеть, что и в 1375 г., во время похода на Тверь, московский князь также в большой

---

[1] Обязательство об этом имеется в договоре, заключенном во второй половине 1373 г. или в начале 1374 г. Михаилом Александровичем с новгородским правительством (ГВНП, стр. 33—34, № 18. См. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 311, 316).

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 104—105; т. XV, стр. 433—434; т. XI,стр.19.

[3] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 108—109; т. XV, стр. 334; т. VI, стр. 69; т. VIII, стр. 21; т. XI, стр. 21; т. XVIII, стр. 115; т. XX, стр. 195; т. XXIII, стр. 118; т. XXIV, стр. 130.

степени опирался на городские полки. Наконец, для оценки характера политики Дмитрия Ивановича московского в отношении городов в годы, предшествующие московско-тверской войне 1375 г., весьма важно также привлечь летописное известие о построении в 1374 г., по инициативе двоюродного брата Дмитрия Ивановича—князя Владимира Андреевича серпуховско-боровского кремля в Серпухове. Горожанам («гражаном»), живущим в Серпухове, лицам, прибывающим туда для торговли («человеком торжьствующим») и вновь обосновывающимся в городе на поселение («людем приходящим»), князь предоставил «великую волю и ослабу и многоу льготу...»[1]. Речь идет о податных льготах горожанам и о каких-то правах городского самоуправления. При этом городское население было подчинено княжескому наместнику—окольничему Я. Ю. Новосильцу. Вряд ли Владимир Андреевич действовал в отношении горожан иначе, чем его двоюродный брат—великий князь московский. Поэтому можно думать, что упразднение тысяцких в Москве в 1373 г. вовсе не преследовало цели ухудшения экономического положения и ущемления прав горожан, а ставило своей задачей подчинение горожан (через великокняжеского наместника) непосредственно великому князю, при сохранении тех льгот и привилегий, которыми они ранее пользовались. Тысяцкие, выходцы из крупной боярской фамилии Вельяминовых, обладавшие значительными земельными владениями и политической силой, связанные с видными представителями городской купеческой верхушки, становились серьезными соперниками московских великих князей. Надо было их устранить, не отказываясь от союза с горожанами, а, напротив, стараясь сделать этот союз более крепким. Именно так и поступил великий князь Дмитрий Иванович. Тем самым он превратил своего политического соперника, сына последнего тысяцкого—И. В. Вельяминова, в прямого противника, открыто переметнувшегося на сторону врага Московского княжества—князя тверского. И. В. Вельяминов нашел единомышленников (в лице Некомата Сурожанина, а может быть, и других) и среди видных зажиточных московских купцов, по своему положению уже приближающихся к феодалам.

В связи с подготовкой к войне с Тверью Дмитрий Иванович в 1374—1375 гг. заключил договор с Новгородом[2].

Михаил Александрович тверской, так же как и Дмитрий Иванович московский, готовился к войне. Еще в 1373 г. он организовал (силами населения Тверской и Новоторжской земель) возведение оборонительных сооружений вокруг Твери («Тферьскыми волостьми да Новоторжьскыми губами теми людми около города Тфери валу ров выкопали и вал засыпали от Волги до Тмаки»)[3]. Прибытие в Тверь из Москвы И. В. Вельяминова и Некомата Сурожанина

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 106; т. VIII, стр. 21; т. XI, стр. 20; т. XVIII, стр. 114; т. XX, стр. 195; т. XXIII, стр. 118; т. XXIV, стр. 130.

[2] ГВНП, стр. 31—32, № 16; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 316—317.

[3] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 104—105; т. XV, стр. 433.

Рогожский летописец и другие летописи считают непосредственным толчком к скоро разгоревшейся московско-тверской войне, подчеркивая, что оба перебежчика действовали «на напасть христианскую». Михаил Александрович послал И. В. Вельяминова и Некомата в Орду за ярлыком для себя на владимирское княжение. В июле 1375 г. Некомат вернулся в Тверь из Орды и привез оттуда Михаилу Александровичу ярлык, которого он добивался. Вместе с Некоматом прибыл ханский посол Ачихожа. Сам Михаил Александрович побывал в Литве, где, очевидно, искал себе военной помощи со стороны литовских князей для предстоящей борьбы с Московским княжеством. Такая помощь, как видно из дальнейшего, была ему обещана.

Получив от ордынского хана ярлык на великое княжение, Михаил Александрович в конце июля 1375 г. объявил Московскому княжеству войну («ко князю к великому Дмитрию Ивановичю целование крестьное сложил») и приказал своим наместникам занять Торжок и Углич. Дмитрий Иванович во главе большой военной силы двинулся (через Волоколамск) к Твери. В Рогожском летописце о составе войска, выставленного московским великим князем против Тверского княжества, говорится следующее: Дмитрий Иванович «пошел ратию к Тфери», «собрав всю силу русских городов и с всеми князми русскими совокупяся». Несколько ниже читаем: под верховным предводительством великого князя Дмитрия Ивановича в поход на Тверь выступили «...вси князи русстии, киждо со своими ратьми и служаще князю великому...». Следовательно, военные силы, отправленные московским правительством под Тверь, состояли из двух частей: 1) из городских ополчений; 2) из отрядов военных слуг, приведенных отдельными русскими князьями, действовавшими в союзе с великим князем московским. В войне 1375 г. приняли участие на стороне московского правительства вооруженные силы под непосредственным начальством князей серпуховско-боровского, суздальских, ярославских, ростовских, стародубского, белозерского, можайского, тарусского, новосильского, оболенского, брянского, смоленского. Участником московско-тверской войны 1375 г., действовавшим с 1373 г. в союзе с великим князем московским, был князь Василий Михайлович кашинский. Выступление против Тверского княжества далеко, таким образом, выходило за рамки мероприятия, осуществляемого московской великокняжеской властью, и приобретало характер общерусского дела. Такой вывод представляется особенно правомерным, если считать (а для этого, как указывалось, имеются основания), что в состав военных сил, пришедших из ряда русских (выше перечисленных) княжеств, входили не только отряды княжеских слуг, но и полки горожан. Мы сталкиваемся опять с тем же самым явлением, которое наблюдали уже не раз, рассматривая московско-тверские взаимоотношения: торгово-ремесленное население городов Северо-Восточной Руси поддерживало московскую великокняжескую власть.

Состав вооруженных сил, двинутых великим московским князем, говорит о двух обстоятельствах. Во-первых, ясно, что ряд княжеств, формально сохранявших независимость, фактически подчинялся московскому правительству. Значит, процесс политического объединения русских земель уже достиг известных результатов. Но важно и другое—заинтересованность в объединении самого русского населения (и прежде всего городского), ярко проявившаяся в событиях 1375 г.

1 августа московские войска взяли Микулин. 5 августа они подошли к Твери, сожгли Тверской посад, церкви, окрестные села. Рано утром 8 августа Тверь выдержала первый приступ окруживших ее войск, прибывших из многих русских земель. Подошедшие к ней воины «туры прикатили и примет приметали около всего города», затем подожгли мост и стрельницу у Тмацких ворот. Наступление союзной рати было отбито тверичами, которые, выехав из города, «туры посекли.., а иные туры пожьгли». Ряд тверских воинов обстреливали противника с Даниловского городка. У Тмацких ворот был убит один из московских военачальников—князь С. И. Добрынский. После длительного боя московские войска к вечеру(«в вечернюю годину») вынуждены были отступить. Но они решили заставить жителей сдаться в результате осады. Вокруг Твери был возведен острог. Город оказался сжатым кольцом расставленных вокруг него полков («...стали въкруг всего города»), которые перекинулись и за Волгу. На Волге были починены мосты, благодаря чему стало возможным сообщение между отдельными частями русских войск, расположенных на обоих берегах реки.

Нуждаясь в подкреплении, князь Дмитрий Иванович послал за военной помощью в Новгород. Новгородские власти, выполняя великокняжеское предписание («...князя великаго честь изводяще»), которое отвечало и их собственным намерениям, ибо они не могли забыть недавнего разгрома тверскими войсками Торжка («паче же свою отъмьщающе обиду, бывшую оу Торжку», «зубы скрегчюще про свою обиду»), отправили рать под Тверь. Через 4—5 дней она туда явилась[1]. Судя по Тверскому сборнику, под Тверь подошла еще рать из Смоленска. Осада Твери, организованная великим князем Дмитрием Ивановичем, продолжалась в течение месяца. В указанное время соединенные силы русских княжеств, собравшиеся под Тверью, захватили ряд тверских городов (Зубцов, Белгород), опустошили Тверскую «область», перебили и забрали в плен много местных жителей. Летописи говорят обо всем этом в трафарет-

[1] Некоторые летописи приводят 4 дня не в качестве срока, в течение которого новгородцы пришли к Твери, а как время, проведенное ими под Тверью (НПЛ, стр. 373). По договору, заключенному с Новгородом Дмитрием Донским, новгородцы должны были оказывать ему военную помощь против Литвы и Тверского княжества (ГВНП, стр. 31, № 16). Рассматриваемый договор датирован в данном издании 1371—1372 гг. Я отношу договор к 1375 г., см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 354—356.

ных выражениях: «людий в полон разведоша, а имения их пограбиша, а скоты их посекоша, а жита их потравиша, мнози тферичи язвени быша от нахождения ратных, мнози оружием падоша, мнози от острия меча умроша». Новгородская четвертая, Воскресенская и другие летописи свидетельствуют, что в то же время на Тверскую землю нападало население «порубежных» с ней «мест»—кашинцы и новоторжцы («яко и пешии ополчишася на грабежь»).

Больше месяца осады тверские жители не выдержали. Великий тверской князь Михаил Александрович послал к великому князю Дмитрию Ивановичу тверского епископа Евфимия и «нарочитых бояр» просить о заключении мира на условиях подчинения московскому правительству («и посылаше послы своя с покорением и с поклонением»). Что заставило тверское правительство сдаться? В Рогожском летописце и в Симеоновской летописи приводятся две причины: 1) соединенные силы русских княжеств, осаждавшие Тверь, все время пополнялись («князь же великии Михаило виде многую силу отъвсюду грядущу нань»); 2) тверские военные силы таяли (князь Михаил в конце концов почувствовал свое «изнеможение»). Вторая причина звучит достаточно убедительно: осажденному городу, отрезанному от сообщения с внешним миром, не получавшему продовольствия, сопротивляться далее противнику, численно превосходящему тверские военные силы, было невозможно. Непонятна первая причина сдачи города, отмеченная в вышеназванных летописных сводах: рост вооруженных сил, находившихся под Тверью. Конкретных данных в этом отношении летописи не приводят (кроме указания на приход новгородских и смоленских ратников). Да можно вообще усомниться, увеличивались ли войска, приведенные под Тверь князем Дмитрием Ивановичем, помимо пополнения (неизвестно, сколь большого), прибывшего из Новгорода (о рати, пришедшей из Смоленска, говорит лишь Тверской сборник и его повторяет Никоновская летопись).

Для того чтобы всесторонне осветить обстановку, в которой тверское правительство капитулировало, надо обратить внимание еще на некоторые моменты. Михаил Александрович ждал помощи, обещанной ему в Литве и Орде («а надеялися помочи от Литвы и от татар»), но эта помощь не пришла (по Воскресенской, Львовской, Ермолинской и другим летописям, Ольгерд послал войско к Твери, но оно отступило, испугавшись полков, приведенных Дмитрием Ивановичем московским). В Твери же на почве тяжестей осады, голода и смертности населения, назревало народное восстание. Об этом говорит Новгородская четвертая летопись: «князь Михайло, видев изнеможение граду своему, видев озлобление людем своим, видев труд и погибель человеком и скотом, от глада бывающий, въсприя смирение и высла изнутри града послы свои...». Стало быть, существенным фактором капитуляции Твери явилось возбужденное настроение горожан («озлобление людем»), которое вот-вот могло вылиться в открытое вооруженное выступление про-

тив тверского правительства. Горожане заставили тверского князя просить мира у князя московского.

Характерна позиция, занятая великим князем Дмитрием Ивановичем. Рогожский летописец, Симеоновская, Новгородская четвертая, Воскресенская, Никоновская и другие летописи определяют ее так: московский князь не хотел «разорениа граду», не желал «кровопролитиа христианьскаго» и поэтому заключил мирный договор с тверским князем Михаилом Александровичем. Опять-таки налицо характерная для московской великокняжеской власти политика поддержки торгово-ремесленного городского населения. В условиях войны с Тверским княжеством, не останавливаясь перед опустошением тверских волостей и тем принудив тверское правительство к сдаче, московский князь Дмитрий Иванович в дальнейшем здраво ставит вопрос о том, что Тверь надо сохранить, ибо уничтожить город—значит подорвать собственную опору. Насколько же подобная политика отличалась от политики тверского правительства, недавно дотла спалившего Торжок!

3 сентября 1375 г. был оформлен московско-тверской мирный договор. Условия мира диктовало московское правительство. Политическая самостоятельность Тверского княжества была сильно урезана[1]. Московские войска оставили Тверскую землю.

Характерно, что оценивая московско-тверскую войну 1375 г., даже тверское летописание, вообще говоря сочувственно относящееся к Михаилу Александровичу, видит причину похода на Тверь совокупных сил ряда земель в антинациональной политике этого князя, в том, что он действовал в союзе с татаро-монгольскими ханами и литовскими феодалами. Поражение Тверского княжества, по Рогожскому летописцу,—это божье наказание, «суд господень», произведенный в интересах «истинны». В религиозном обрамлении перед нами выступают прогрессивные идеи, отвечающие настроениям передовой части феодалов и горожан, осуждавших князей, которые в своих усобицах использовали помощь иноземных захватчиков. Защита «истинны» в данном случае—это защита национальных интересов Руси[2].

Но национальное объединение происходило в рамках феодально-крепостнического государства и проводилось жестокими методами. Не только иноземные феодалы, которых приводили с собой на Русь враждовавшие друг с другом князья, но и сами русские князья выжигали села и города своих противников, вырезали и угоняли в плен население. Поэтому и городское и сельское население объективно ощущало все большую потребность в такого

---

[1] ДДГ, стр. 25—28, № 9. Анализ этого договора см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 51—54.

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 110—113; т. XV, стр. 434—435; т. IV, стр. 70—71; т. VIII, стр. 22—23; т. XI, стр. 22—23; т. XVIII, стр. 115—116; т. XX, стр. 195; т. XXIII, стр. 118—119; т. XXIV, стр. 130—131; НПЛ, стр. 372—373.

рода политическом порядке, при котором исчезли бы условия, вызывавшие постоянные внутренние феодальные войны.

В длительной феодальной междоусобице Московского и Тверского княжеств 60—70-х годов XIV в. выявились некоторые новые моменты, отличающие ее от аналогичной усобицы начала XIV в. Это прежде всего увеличившаяся сила Московского княжества и его возросшая политическая роль среди других земель Северо-Восточной Руси, что и привело его к победе над Тверским княжеством. Далее следует отметить активизацию участия торгово-ремесленного населения в политической борьбе на Руси, в силу чего победа в этой борьбе обычно оставалась на стороне тех князей, которых поддерживали горожане и которые сами находили умелые формы союза с последними. Бросается в глаза постепенное ослабление власти Золотой орды над Русью, объясняемое двумя причинами: во-первых, внутренними процессами в жизни Золотоордынского ханства, приводившими к его распаду; во-вторых, политическим укреплением ряда русских земель, подготовленным их экономическим развитием. И последний, чрезвычайно важный момент: феодальные междоусобия на Руси сопровождались вторжением в ее пределы иностранных захватчиков, в союз с которыми вступали русские князья. Особенно усилилась в конце XIV в. агрессия на Русь Литовского княжества. В силу этого национально-освободительная борьба русского населения против иноземных вторжений одновременно направлялась и против тех русских князей и феодалов, которые таким вторжениям содействовали. Этим в значительной мере объясняется поражение Тверского княжества в борьбе с княжеством Московским.

В то же время некоторые литовские князья стали связывать свои судьбы с судьбами Московского княжества.

§ 9. Борьба русского народа с Ордой в конце 60 и в начале 70-х годов XIV в.

С конца 60-х—начала 70-х годов XIV в., когда усилились татарские набеги на русские земли, активизировалось и сопротивление русского народа ордынским захватчикам. Центром народно-освободительной борьбы было главным образом Нижегородское княжество, где пытались хозяйничать ордынские князьки и царевичи. В 1367 г. князь ордынский Булат-Темир, захвативший города и улусы по Волге, утвердившийся в Болгарах и державший в своих руках весь Волжский путь, «пограбил» вместе с «ратию татарскою» села нижегородского князя Бориса Константиновича. Тогда князья Дмитрий и Борис Константиновичи, «собрав воя многы», вышли «на брань» с Булат-Темиром. Последний «не ста на брань», но бежал за реку Пьяну. Русские войска, преследуя Булат-Темира, «множество татар останочных избиша». Большое число татарских воинов утонуло в реке «и по зажитиемь множьство

их побиени быша, им же несть числа». Булат-Темир бежал в Орду, где был убит ханом Азисом[1].

Из летописного рассказа достаточно отчетливо видно, что не только нижегородские князья оказывают сопротивление грабителям. Указание на то, что множество татар было перебито «по зажитиемь», дает право говорить о подлинно народной войне. Надо думать, что на освободительную борьбу поднялось население как нижегородских городов, так и тех сел, на которые совершил набег Булат-Темир.

В этой связи представляется чрезвычайно показательным сообщение летописи под 1372 г. о том, что в Нижнем Новгороде «позвонил сам о собе трижды» большой колокол у Спасского собора[2]. Можно думать, что в иносказательной форме здесь речь идет о том, что участился пульс жизни горожан, что нижегородские посадские люди более активно стали проявлять свою инициативу в борьбе с ордынскими военными отрядами, что в какой-то мере возродились вечевые порядки, о которых возвестил якобы самопроизвольно зазвонивший большой спасский колокол.

Не без участия горожан стали крепить оборону своего княжества нижегородские князья. В 1372 г., по повелению князя Дмитрия Константиновича, был заложен каменный кремль в Нижнем Новгороде, а по приказу князя Бориса Константиновича возведен город Курмыш на реке Суре[3].

Итак, в Нижегородском княжестве поднималась народная война против Орды. Местные князья принимали меры к укреплению обороноспособности Нижегородской земли. В то же время нижегородские князья соблюдали известную осторожность в отношениях с ордынскими правителями, в ряде случаев поддерживая с ними связь. Так, в 1370 г. князь Дмитрий Константинович направился с большим войском в сопровождении Ачихожи, посла, присланного к нему Мамаем, к Болгарам, где после смерти Булат-Темира укрепился ордынский князь Асан. Последний был изгнан русскими войсками, а в Болгарах при их помощи водворен ставленник Мамая[4]. Ясно, что этот поход был совершен в интересах Мамая. Но из сопоставления с последующим видно, что для нижегородских князей это была своеобразная разведка, совершенная, может быть, не без ведома московского князя, для того, чтобы проложить путь к последующему укреплению в Болгарах русского влияния.

В 1373 г. в Орде снова поднялась «замятня», «мнози князи ординскиа межи собою избиени быша, а татар безчислено паде»[5]. Усобицами среди ордынских феодалов воспользовался великий

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 85; т. VIII, стр. 14; т. X, стр. 9; т. XVIII, стр. 106; т. XX, стр. 192; т. XXIII, стр. 114; т. XXIV, стр. 124.

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 100.

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 92.

[5] ПСРЛ, т. XI, стр. 19.

московский князь Дмитрий Иванович и в 1374 г. порвал мир с Мамаем («а князю великому Дмитрею московьскому бышеть розмирие с тотары и с Мамаем»). Тогда же в Нижнем Новгороде вспыхнуло антитатарское народное движение. «Новгородци Нижьняго Новагорода» (т. е., очевидно, посадские люди) перебили послов Мамая, а вместе с ними большое число татар (по одним данным, до тысячи, по другим, до полутора тысяч человек) и захватили («руками яша») их «стареишину» Сарайку с дружиною. Князь Василий Дмитриевич (по другим данным. Дмитрий Константинович) велел своим воинам «Сарайку и его дружину розно розвести», т. е., по-видимому, хотел их посадить под стражу, может быть, имея при этом в виду спасти их от расправы со стороны горожан. Но Сарайка с дружиной убежали на двор епископа, подожгли хоромы последнего и открыли стрельбу по населению. Действия ордынского «старейшины» послужили для народа сигналом к новому антитатарскому выступлению. В результате все татары были перебиты, «и ни един от них не избысть возмездия»[1].

Это было настоящее народно-освободительное восстание, хотя летопись, изображая его, несколько затемняет его подлинно гражданский смысл рассуждениями церковно-религиозного характера по поводу чудесного спасения епископа от стрелы, пущенной в него рукой Сарайки. На народный характер движения указывают такие летописные выражения, как, например: «и собрашася *людие* и убиша Сарайку и дружину его». Я думаю, имеются все основания сопоставить (по силе и значению) восстание в Нижнем Новгороде 1374/75 г. с тверским антитатарским восстанием 1327 г. Это была, пожалуй, высшая точка народно-освободительной борьбы начала 70-х годов XIV в.

Феодалы «мамаевой Орды» ответили на избиение русскими людьми послов набегом на нижегородские владения «и взяша Кишь, и огнем пожгоша, ...и за-Пиание (т. е. места за рекою Пьяною) все пограбиша и пусто сотвориша, и людеи посекоша, а иных в полон поведоша»[2].

Московская великокняжеская власть использовала результаты народного восстания в пределах Нижегородского княжества, с тем чтобы взять под свой контроль Волжский путь и подчинить своему влиянию Болгары. Великий князь московский Дмитрий Иванович в 1377 г. послал к Болгарам войско под предводительством князя Дмитрия Михайловича Волынского. Поход был организован согласованно с нижегородским князем Дмитрием Константиновичем. Последний отправил вместе с московским войском рать, во главе которой поставил своих сыновей Василия и Ивана Дмитриевичей. Сам Дмитрий Иванович с военными силами двинулся к Оке, чтобы предотвратить возможный удар Мамая на русские рати

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 106—109; т. VIII, стр. 21—22; т. XI, стр. 20—21; т. XVIII, стр. 114—115; т. XXIII, стр. 118; т. XXV, стр. 189—190.

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 109.

с этой стороны. Таким образом, Русь явно переходила в наступление на Орду.

Под Болгарами произошло большое сражение, красочно описанное в летописных сводах. Некоторые «бесермене» (жители Болгар) вышли из города и открыли по русским стрельбу, другие «из града гром пущаху». Но русские не испугались и «крепко противу сташа на бой». В результате «бесермене» дрогнули и скрылись в городе. После этого правившие в Болгарах Мамат-Салтан и князь Асан сдались, согласились уплатить великому князю 2000 (по другим данным, 1000) рублей, а его «воеводам и ратем»—3000 рублей. В Болгарах Дмитрий Иванович «всю свою волю вземше», оставил своего «дорагу» (специальное должностное лицо, своего рода наместник) и таможника—сборщика пошлин. Следовательно, Волжский путь оказался в ведении московского правительства. Это был, несомненно, большой политический успех для Руси. На обратном пути русские войска в подвластных противнику местах, по которым проходили, жгли села и «зимища», избивали и брали в полон местных жителей[1].

Поход русских князей на Болгары 1377 г. вызвал ответные набеги ордынских князей на Русь, которые в свою очередь привели к новому подъему народно-освободительного движения русского народа.

* * *

От татарских набегов в 60-х—70-х годах XIV в. сильно страдала и Рязанская земля. Однако если нижегородские князья в борьбе с ордынской опасностью действовали в это время в союзе с московской великокняжеской властью, то этого нельзя сказать о князьях рязанских. Положение Рязанского княжества на юго-восточном рубеже Руси, в близком соседстве с Ордой и Литвой, определило неустойчивую политику рязанских князей, иногда ориентировавшихся на помощь со стороны противников Московского княжества—ордынских и литовских феодалов. В самом Рязанском княжестве шла борьба между местным великим князем и удельным князем пронским, причем московское правительство, используя эту борьбу в своих интересах, поддерживало последнего.

В 1365 г. ордынский князь Тагай, укрепившийся в Наручадской земле, совершил набег с «ратию татарьскою» на Рязанскую землю и выжег город Переяславль-Рязанский. Князья Олег Иванович рязанский и Владимир Ярославич пронский собрали «силу свою» и бросили ее на ордынских грабителей. В результате «злой сечи» Тагай вынужден был бежать «в мале дружине»[2].

В 1365 г. в борьбе с татарскими захватчиками Рязанское княжество действовало изолированно от Московского. К началу 70-х го-

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 110; т. VIII, стр. 24; т. XI, стр. 25; т. XVIII, стр. 117; т. XXIII, стр. 120.

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 80.

дов XIV в. между ними наметилось некоторое сближение. Это видно прежде всего из того, что в договоре, заключенном московским правительством с Литвой в июле 1371 г., «в любви и в докончаньи» с князем Дмитрием Ивановичем московским значатся князья Олег рязанский и Владимир пронский, оба названные великими[1]. Очевидно, московское правительство предполагало поставить в непосредственные отношения к себе каждого из этих князей, прервав зависимость Владимира, как князя удельного, от Олега. В другой своей работе мне удалось установить, что вскоре после московско-литовского докончания великий князь Дмитрий Иванович в августе 1371 г. заключил соглашение (текст которого до нас не дошел) с рязанским князем Олегом Ивановичем. В нем также устанавливалась независимость Пронского удела от Олега[2].

Но, пойдя, вероятно, вынужденно, на последнее условие, Олег Иванович, по-видимому, очень скоро отказался его выполнить. Это, надо думать, и вызвало посылку в 1371 г. Дмитрием Ивановичем рати под предводительством Д. М. Волынского против рязанского князя. У Скорнищева произошла битва между московскими и рязанскими войсками, окончившаяся поражением последних. Летописи в тоне политической сатиры рассказывают о том, как рязанцы хвалились голыми руками захватить москвичей: «не емлите с собою доспеха, ни щита, ни копиа, ни иного оружиа, но токмо емлите с собою едины оужница кождо вас, им же вы есть вязати москвичь, понеже суть слаби и страшливы и не крепци». Далее указывается, сколь поспешной оказалась такая похвальба, ибо победили москвичи[3]. Сопоставляя этот летописный текст с другим (под 1353 г.), где также дается нелестная оценка рязанцев в связи с рассказом о их набеге на Лопастну, можно предположить, что в составе ряда летописей до нас дошли остатки какого-то произведения, в котором говорилось о московско-рязанских отношениях в 50—70-х годах XIV в. Вероятно, это произведение возникло в среде московских горожан, и в нем проявилось отрицательное отношение к рязанскому боярству. Нельзя ли предположить, что в основе предполагаемого памятника политической литературы лежат события, связанные с убийством московскими боярами в 1357 г. тысяцкого Алексея Хвоста и их отъездом в Рязань, где у них были связи в местной боярской среде?

После победы московского войска над рязанским под Скорнищевым рязанским князем с помощью московских военных сил стал Владимир Ярославич пронский. Но в 1372 г. он был изгнан оттуда Олегом, как думает А. Н. Насонов, при помощи Мамая[4]. Однако последнее мало вероятно, так как уже в 1373 г. Мамай совершил набег на Рязанскую землю, во время которого татары «грады пожгоша, а людии многое множество плениша и побиша, и сътворше

[1] ДДГ, стр. 22, № 6.
[2] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 55—58.
[3] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 99.
[4] Там же, стр. 100; *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 131.

много зла христианом и поидоша въсвояси»[1]. Военные силы, приведенные Мамаем в Рязанскую землю, были, по-видимому, столь значительны, что его набег насторожил московского великого князя. Последний вместе со своим двоюродным братом Владимиром Андреевичем двинул рать к Оке, чтобы помешать Мамаю переправиться в центральные русские земли.

* * *

70-е годы XIV в.—важный этап в развитии русско-ордынских взаимоотношений, ознаменованный подъемом народно-освободительной борьбы, которая скоро привела к решительной схватке Руси с мамаевой Ордой на Куликовом поле в 1380 г. Но этой схватке предшествовали еще две битвы: на реках Пьяне и Воже.

§ 10. Активизация борьбы Руси с Ордой. Битвы на реках Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г.)

В конце 70-х годов XIV в. усилились татарские набеги на окраинные русские княжества: Суздальско-Нижегородское и Рязанское. В то же время и крепнувшая Русь активизировала борьбу с Ордой.

В 1377 г. предпринял поход на Нижний Новгород ордынский царевич Арапша (Араб-шах). Узнав о готовящемся татарском набеге, суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константинович сообщил об этом в Москву великому князю Дмитрию Ивановичу. Тот двинулся с большим войском к Нижнему Новгороду. Но там еще не было слышно о приближении Арапши. Тогда великий московский князь послал ему навстречу ряд приведенных с собой полков (владимирский, переяславский, юрьевский, муромский, ярославский), а сам вернулся в Москву. Представляется совершенно очевидным, что московское правительство в рассматриваемое время уже не ограничивается оборонительными мероприятиями в целях защиты русских рубежей от татаро-монгольских вторжений, а, желая предупредить эти вторжения, переходит в наступление против Орды. Напрашивается и другой вывод: московское правительство все более стремится подчинить своему политическому влиянию великое княжество Суздальско-Нижегородское и сделать его своим форпостом в борьбе с Ордой.

Вместе с войсками, отправленными против Арапши великим московским князем, выступили и суздальско-нижегородские полки во главе с местными князьями Иваном Дмитриевичем (сыном Дмитрия Константиновича) и Семеном Михайловичем. Летописи подчеркивают многочисленность русских вооруженных сил, брошенных на неприятеля («и бысть рать велика зело»). Когда русское

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 104.

войско переправилось через реку Пьяну, к нему пришло известие, что царевич Арапша находится сравнительно далеко, на Волчьей воде. Согласно Рогожскому летописцу, Симеоновской, Новгородской четвертой летописям, эта весть оказала разлагающее влияние на русскую рать. Не чувствуя опасности, воины под влиянием и по примеру своих руководителей допустили оплошность («оплошишася»), обнаружили беспечность и недостаток бдительности («и небрежением хожаху»). Они сложили свои доспехи на телеги и спрятали в походные мешки, оружие их не было в боевой готовности («доспехи своя въскладоша на телеги, а ины в сумы, а у иных сулици еще и не насажены бяху, а щиты и копиа не приготовлены»). Поскольку было жарко, воины разъезжали, расстегнувшись и сбросив с плеч свои одежды («а ездят, порты своя с плечь спущав, а петли ростегав, аки роспрели, бяше бо им варно, бе бо в то время зноино»). Раздобыв мед и пиво, ратники без меры напились и совершали разъезды в пьяном виде («а где наехаху в зажитии мед или пиво, и испиваху до пиана без меры, и ездят пиани...»). «По истине за Пианою пиани»,—язвительно замечают летописи, допуская каламбур, построенный на созвучии слов. Что касается «старейшин», князей, «бояр старейших», «вельмож», воевод, то они не подавали примера честного исполнения ратного долга и, чувствуя себя не как на войне, а как дома, потешались охотой («те все поехаша ловы деюще, утеху си творяще, мняшеся, акы дома»)[1].

Рассказ Рогожского летописца, Симеоновской и Новгородской четвертой летописей имеет характер политической сатиры, причем довольно острой. Имеются все основания думать, что этот памфлет вышел из среды нижегородских горожан, пострадавших от беспечности, проявленной князьями и воеводами на реке Пьяне, ибо русское войско было там разбито татарами, которые затем напали на Нижний Новгород и разорили его. Мораль рассмотренного летописного рассказа ясна; в нем высмеиваются феодальные вооруженные силы, действовавшие за рекою Пьяной, как небоеспособные. Демократическая направленность сатиры выступает из тех выпадов, которые специально предназначены в адрес военачальников, возглавивших полки, посланные против Арапши.

Коротко рассказ Рогожского летописца, Симеоновской и Новгородской четвертой летописей изложен в Тверском сборнике.

Несколько иной вариант повести о битве на реке Пьяне находим в летописях Софийской первой, Воскресенской, Типографской[2]. Здесь также осуждается беспечность русского ополчения, но отсутствуют обличения князей, воевод и старейшин. Следовательно, те демократические нотки, которые звучали в первоначальном сатирическом изображении действий руководителей русских военных сил, оказались заглушенными. В легкомыслии упрекаются теперь

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 118; т. XVIII, стр. 118; т. IV, стр. 73.

[2] ПСРЛ, т. V, стр. 236; т. VIII, стр. 25; т. XXIV, стр. 134; т. XXV, стр. 193.

рядовые «ратные» люди, во «множестве» пришедшие за Пьяну. Перед нами явная переделка в интересах господствующего класса феодалов более ранней повести. Вина за поражение русских полков перенесена с военачальников на простых воинов. Такова социальная тенденция поздних московских летописных сводов второй половины XV в., к которым, вероятно, восходит разбираемая версия.

Особый вариант рассказа о событиях на реке Пьяне в 1377 г. содержится в летописях Ермолинской и Львовской[1]. В них также сглажена социальная острота тех упреков, которые в произведении, пронизанном настроением горожан, были обращены к представителям феодального класса, оказавшимся в целом не на высоте в ответственный момент, когда их ждала встреча с сильным и хитрым противником. Но в рассматриваемых летописных памятниках еще нет тенденции к опорочению «множества ратных» (т. е. простых воинов), которая отличает позднейшее московское летописание. Ответственность за поражение русских военных сил на Пьяне возлагается персонально на суздальско-нижегородских князей Ивана Дмитриевича и Семена Михайловича. Подобная трактовка событий, очевидно, возникла в конце XIV в., в период борьбы московской великокняжеской власти за ликвидацию политической независимости княжества Суздальско-Нижегородского, и отражала точку зрения московского правительства. Конечно, в такой трактовке исчез социальный пафос Рогожского и сходных с ним летописцев, осуждающе звучавший в отношении всех феодальных руководителей ополчения, осрамившихся на Пьяне (без различия князей суздальско-нижегородских или московских). Памфлет на феодалов в целом, обладавших большой ратной силой, но из-за собственного легкомыслия наголову разбитых врагом и тем самым объективно оказавшихся виновниками поражения Руси, был подменен обвинительным актом, предъявленным сторонниками одной политической группировки (московских феодалов) другой феодальной группе, к которой принадлежали нижегородские князья.

Идеология горожан в осмыслении событий на реке Пьяне в какой-то мере возрождается в Никоновском летописном своде. Здесь в еще большей степени, чем в Рогожском и сходных с ним летописцах, высмеиваются вельможи, воеводы, бояре, причем в одинаковой мере как те, кто возглавлял полки князя Дмитрия Ивановича московского, так и те, кто подчинялся князьям суздальско-нижегородским. Военачальники начали «ходити и ездити в охабнех и в сарафанех». Они были неумеренными пьяницами («любляху же пианство зело»). В рассказе Никоновской летописи фигурирует и новый мотив—похвальба вельмож, хваставшихся, что они без труда справятся с неприятелем. «И глаголюще в себе кождо их, яко может един от нас на сто татаринов ехати, по истинне никто не может противу нас стати». Рассказать о хвастовстве вельмож

[1] ПСРЛ, т. XX, стр. 197—198; т. XXIII, стр. 120.

автору надо было затем, чтобы в дальнейшем провести мысль: бог смиряет «гордость» и «дает смиренным благодать». Сама по себе подобная евангельская мудрость, конечно, еще не определяет идейного содержания рассказа. Этс—обычный церковный афоризм. Но рядом с ним имеется другое высказывание: вельможам нечего было гордиться, ибо мы «вси есмя Адамови внуци»[1]. Идея общности происхождения (не отрицающая необходимости неравенства социального положения) зародилась в среде городского населения. В данном случае такая идея используется автором для осуждения военачальников, переставших быть руководителями многочисленного «воиньства», которое выступило на защиту Руси, забывших о своей с ним связи, и понадеявшихся на собственную силу и храбрость. Они ответственны за самомнение, погубившее столько народа. Особенно интересно, что Никоновская летопись, говоря о «величании» и «возношении» (похвальбе) вельмож, замечает, что они поступали так, «аки бы в своих сиротах величающеся и возносящеся» (т. е. так же, как величались и возносились перед своими крестьянами). Сравнение, взятое из социальной жизни, из крепостнической действительности, из области взаимоотношения феодалов и крестьян, иллюстрирует мысль повести: надо помнить, что все люди—«внуки Адамовы». Мы видим здесь лишнее доказательство того, что поражение русского войска на Пьяне вызвало отклики среди горожан, выступивших с обличением (хотя и весьма умеренного характера) представителей феодального класса—виновников понесенного поражения.

Переходя к описанию конкретных событий на Пьяне, следует отметить, что, согласно данным ряда летописей, мордовские князья (феодализирующаяся знать) тайком навели на русское войско «рать татарьскую из мамаевы Орды». Таким образом, ордынские правители стремились опереться на социальную верхушку нерусских народов Поволжья и действовать в союзе с ней против Руси. Русские князья были застигнуты врасплох. Татары разделились на пять полков и ударили «на нашу рать в тыл, бьюще и колюще и секуще без вести». Русские воины обратились в бегство по направлению к реке Пьяне. Татары кинулись за ними. Князь Семен Михайлович был убит, князь Иван Дмитриевич бросился на коне в Пьяну и утонул. Погибло в реке и множество «бояр и слуг и народа бещислено».

Вслед за тем татарские полчища неожиданно напали (5 августа) на Нижний Новгород. Князь Дмитрий Константинович бежал в Суздаль, бросив город на произвол судьбы. Многие горожане, чувствуя бесполезность сопротивления неприятелю ввиду отсутствия в Нижнем Новгороде военных сил, отплыли в судах вверх по Волге в направлении Городца. Татарские войска перебили тех городских жителей, кому не удалось скрыться, и сожгли город, а затем пожгли села и перебили и пленили множество людей в нижегород-

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 27.

ских волостях. Большинство летописей объясняет побег Дмитрия Константиновича тем, что у него не было рати («...не бысть силы стати противу их на бои»). Устюжский же летописный свод обвиняет князя в том, что он не принял мер к организации обороны города, хотя мог это сделать («князь же Дмитреи, оплошась, и осады не осадил, за малым утече со княгинею в Суздаль»).

Некоторые летописи (Новгородская четвертая, Софийская первая, Устюжский летописный свод) сообщают, что одновременно с Нижним Новгородом татарские войска захватили Переяславль-Рязанский, откуда рязанский князь Олег Иванович убежал «изстрелян».

За татарским нападением на Нижний Новгород в августе же 1377 г. последовал набег Арапши с татарским отрядом на Засурье, которое он «пограбил» и «огнем пожег». Той же осенью на Нижегородский уезд напала мордва, князья которой, как указано, действовали в контакте с ордынскими правителями. Снова в огне пожаров запылали села, снова гибли от неприятельского меча и уводились в плен русские крестьяне. Брат великого суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича—Борис, выступивший против мордовского отряда, настиг его у реки Пьяны. Многие мордвины были здесь убиты, а многие утонули в реке, пытаясь переправиться на другой берег Пьяны.

Зимой 1377—1378 гг. великий суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константинович отправил своего брата Бориса и сына Семена во главе карательной экспедиции в Мордовскую землю. На помощь суздальско-нижегородским князьям великий князь Дмитрий Иванович московский прислал свою рать под предводительством воеводы Ф. А. Свибла. Мордовское мирное население беспощадно истреблялось («...и всю землю их пусту сотвориша...»). Пленников привели в Нижний Новгород и предали мучительной смертной казни.

В 1378 г. к Нижнему Новгороду снова подошли татары. Город еще не оправился от разорения, которое ему нанесли татарские войска в августе 1377 г. Князя в городе не было, а население находилось в бегах («а люди ся разбегли, гражане град повергъше, побегоша за Волгу»). Татары вошли в Нижний Новгород. В это время туда же приехал из Городца князь Дмитрий Константинович. Видя, что Нижний Новгород находится в руках татарских захватчиков, он предложил им уплатить за него «окуп». Татары не согласились на это предложение и, как и в 1377 г., подожгли город, а затем, покинув его, «повоевали» Нижегородский уезд.

По Никоновской летописи, в 1378 г. в Поволжье вторично объявился царевич Арапша, который «избил» «гостей русских много», а затем совершил набег на Рязань[1].

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 118—120, 133—134; т. XV, стр. 437; т. IV, стр. 73—74; т. V, стр. 236—237; т. VIII, стр. 25—26; т. XI, стр. 27—29, 42; т. XVIII, стр. 118—119, 126; т. XX, стр. 198—199; т. XXIII, стр. 120—121, 124; т. XXIV, стр. 134—135, 141; т. XXV, стр. 199; УЛС, стр. 57.

На основе анализа приведенного материала, относящегося к 1377—1378 гг., можно сделать несколько выводов. Ясно, что серия татарских набегов на Нижегородскую землю была вызвана не просто стремлением к грабежу. Не случайно татарские захватчики не захотели взять «окупа» за Нижний Новгород с князя Дмитрия Константиновича и на его глазах подожгли город. Задачей подобных набегов являлось подорвать материальные ресурсы Суздальско-Нижегородского княжества. И задача эта встала с особенной силой сейчас, когда великий московский князь Дмитрий Иванович и феодалы и купечество Московского княжества прилагали усилия к тому, чтобы экономически и политически укрепиться в Нижнем Новгороде, учитывая его крупное значение, как торгового центра и как аванпоста в борьбе с Ордой.

Показательно, что суздальско-нижегородские князья сами уже не были в состоянии оказать сопротивление татарским князьям и царевичам. Вместе с суздальско-нижегородскими военными силами против них действовали и московские полки. При этом, по-видимому, не только местные князья были заинтересованы в помощи со стороны московской великокняжеской власти в борьбе с татаро-монгольской опасностью, но и московское правительство должно было заботиться о том, чтобы не выпустить из своих рук дела организации отпора захватчикам. Деятельность московского правительства в этом направлении должна была не только обеспечить защиту Русской земли от татаро-монгольских нападений, но и способствовать укреплению позиций великокняжеской власти в среде местного населения и прежде всего городского (в целях его последующего себе подчинения). Мы видели, как нижегородские горожане, оставленные местными князьями беззащитными перед лицом нагрянувших на город татарских полчищ, были вынуждены искать спасения в бегстве. Мы видели, что Нижний Новгород и после ухода татар в течение длительного времени оставался полупустым, и ни князь Дмитрий Константинович, ни посадское население долгое время не решались туда вернуться. Естественно, что в таких условиях горожане искали защиты от татарских налетов у великокняжеской власти. Но в 1377 г. и московские войска не оказали им помощи против татарских вооруженных сил. Московские военачальники, так же как и суздальско-нижегородские князья, оказались не на высоте и были ядовито за это высмеяны в том разобранном выше памятнике публицистики, который сохранился в составе некоторых летописцев. Ведь события на Пьяне вошли в поговорку. По крайней мере Устюжский летописец говорит: «И пословка и доныне прозвася: истое еси за Пианою рекою пьян»[1]. Московскому правительству приходилось, по-видимому, считаться с тем, что его авторитет в среде нижегородских горожан пал. И восстановить его нельзя было лишь тем, что в созданной в Москве публицистической версии поражения на Пьяне острие

[1] УЛС, стр. 57.

вышеприведенной злой поговорки отводится от московских воевод и направляется на суздальско-нижегородских князей. Вряд ли можно было упрочить популярность московской великокняжеской власти в глазах нижегородского городского населения и разгромом мордовских «зимниц» и травлей голодными псами на волжском льду мордовских пленников. А весьма вероятно, что это истребление на глазах народа несчастных мордвинов было задумано не без участия московского воеводы Ф. А. Свибла, чтобы показать нижегородцам, что за привод татарского войска на Пьяну мордовскими князьями несут кару соотечественники последних. Вряд ли, повторяю, все это могло удовлетворить население. Оно нуждалось в другом: в организации серьезного отпора ордынским захватчикам. И этого не могло не понимать московское правительство.

Если учесть, что параллельно с набегами на Нижегородскую область татарские князья организовали налеты и на Рязанское княжество, т. е. две окраины Руси подвергались разорению, то станет ясно, что сама жизнь подсказывала необходимость организации сопротивления неприятелю не разрозненными силами отдельных русских земель, а в общерусском масштабе, соединенными силами ряда русских княжеств. Московское княжество обладало достаточными материальными предпосылками и социально-экономическими условиями для организации подобного сопротивления и умело использовало в дальнейшем эти условия. Тем самым укреплялась его роль в качестве основы формирующегося Русского централизованного государства.

Серьезное столкновение русского народа с ордынскими полчищами произошло в 1378 г. В этом году ордынский князь Мамай послал на Русь большое войско во главе с Бегичем. Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о выступлении татарских военных сил, собрал значительную рать и выступил навстречу. Летописные своды рассказывают об этом в протокольном стиле, но летописный рассказ наводит на некоторые размышления. Можно думать, что московское правительство учло уроки гибели русских войск на Пьяне в 1377 г.—учло в двух отношениях. Во-первых, как крупное военное поражение, повторение которого нанесло бы Руси весьма чувствительный удар. Во-вторых, как факт, подорвавший уже завоеванные ранее великокняжеской властью позиции на пути политического объединения русских земель и изменивший сочувственное отношение к этой политике городского населения Суздальско-Нижегородского княжества. Очевидно, в Москве с намерением исправить крупные упущения, допущенные в 1377 г., тщательно готовились к новой большой битве с Ордой. В этих целях была достаточно хорошо организована разведка, и в Москве вовремя стало известно о планах Мамая. На этот раз сам великий князь Дмитрий Иванович возглавил рать, выставленную против ордынских захватчиков (не в пример тому, как это было в 1377 г.).

Встреча русских и татарских войск произошла в Рязанской земле, у реки Вожи. Татары стали по одну ее сторону, русские—

по другую. Русские явно выжидали, предоставляя татарам начать военные действия. Через несколько дней после того, как оба войска выстроились друг против друга, татарские полки решились перейти реку и напасть на русскую рать. Летописи повествуют об этом в очень образном стиле: «Не по мнозех же днех татарове переехаша на сю сторону, и удариша в кони свои, и скочиша вборзе, и нюкнуше гласы своими, и поидоша на грунах, и тъкнуша на наших...».

Из летописного рассказа с несомненностью вытекает, что русские были вполне подготовлены к отпору татарам. Битва произошла 11 августа. Русские вооруженные силы были распределены на три полка. Один из них (под предводительством великого князя Дмитрия Ивановича) ударил в лицо неприятелю, два других (под руководством окольничего Тимофея[1] и князя Даниила Дмитриевича пронского) атаковали его с флангов. Удар русских воинов был настолько силен, что татарские полки сразу обратились в бегство, повернув обратно за Вожу. Русские воины погнались за ними, «бьючи их, секучи, и колючи, и убиваша их множество, а инии в реце истопоша». Было убито несколько татарских князей, имена которых приведены в летописях. Отмечают летописи и имена двух убитых русских воевод: Дмитрия Монастырева и Назара Данилова Кускова. Характерно, что поражение татарской рати описано в ряде летописных сводов в тех же самых выражениях, что и поражение русских воинов на реке Пьяне в 1377 г. Позволительно предположить, что летописцы руководствовались в данном случае идеей реванша, взятого русскими в 1378 г. за победу, одержанную над ними «мамаевой Ордой» год тому назад.

Русские продолжали погоню за татарами до тех пор, пока этому не помешала наступившая ночная мгла. На следующий день преследование неприятеля было возобновлено. Но выяснилось, что татары в панике продолжали отступление в течение всей ночи, и русские воины находили повсюду лишь следы татарского лагеря: поверженные «дворы», «шатры», «юртовища», «алачуги», «телеги», «пометанный» «товар». Самих же татар уже не было («а самех не обретоша, беху бо побежали к Орде»).

Летописное описание панического бегства татарского отряда с места битвы на реке Воже отличается сатирическим оттенком. Думается, что автор этого описания все время имел в поле своего зрения (и мысленно полемизировал с ним) памфлет на русских князей и воевод, беспечно пьянствующих и забавляющихся на реке Пьяне до тех пор, пока на них нагрянул враг и все они стали жертвой собственного легкомыслия. Автор как будто хочет сказать: на реке Воже дело происходило совсем не так, как на Пьяне. Здесь русские все время были начеку, а татары попали впросак. Значит, рано им было торжествовать, ставши на русских «костех» после победы на Пьяне! Весьма правдоподобно предположение, что рас-

[1] По Никоновской летописи, князя Андрея полоцкого (ПСРЛ, т. XI, стр. 42).

сказ о битве на Воже явился своеобразным публицистическим ответом на рассказ о битве на Пьяне (помещенный в Рогожском летописце и сходных с ним летописных памятниках). Ответ этот вышел, вероятно, из кругов сторонников московского князя Дмитрия Ивановича.

Только что сделанный вывод подтверждается и некоторыми другими наблюдениями над летописным текстом о событиях на Воже. Его автор обладает богатством и многообразием литературных приемов. Шаржированные зарисовки татарских воинов, побросавших все свои шатры и имущество и пустившихся в бегство, сменяется написанной в патетическом тоне концовкой повести, где говорится о том, как были «посрамлени» «поганые татары», «окаанни половци», «нечестивии измалтяне», как они «възвратишася с студом», без «оуспеха», «побегоша, гоними гневом божиим». Эта патетика подчеркивает, что горечь поражения на Пьяне отошла в прошлое и победители стали побежденными, а побежденные—победителями.

И еще один момент летописного рассказа о битве на Воже обращает на себя внимание. Победа над татарами, говорит автор, одержана великим князем Дмитрием Ивановичем. Его роль в качестве организатора победы нарочито подчеркнута в летописи. В качестве же приема возвеличения московского князя как носителя верховной власти на Руси, употребляющего ее для защиты родины, автор использует развенчание авторитета ордынского «царя», властью обладавшего лишь номинально и являвшегося игрушкой в руках Мамая («не владеяше ничим же и не смеаше ничто же сотворити пред Мамаем...»[1]). Может быть, не следует делать далеко идущих выводов, однако невольно возникает мысль, что в рассмотренной повести о битве на Воже уже пробивается идея о московском князе как князе всея Руси (не в пример ордынскому хану, носившему лишь титул царя, но не царствовавшему). Подобная идея могла зародиться после Куликовской битвы, когда, вероятно, был написан и рассказ о событиях на Воже.

В связи со сражением на Воже летописи сообщают любопытное известие. «На тои воине» русские ратники задержали «некоего попа» Ивана Васильевича, пришедшего из Орды, и обнаружили при нем мешок «злых зелеи лютых». Расспросив попа и «много истязавше», его отправили в «заточение» на Лаче озеро, «идеже бе Данило Заточеник». Задержанный поп, вероятно, был одним из ордынских лазутчиков. Интересно, что Орда использовала в качестве лазутчиков представителей русского духовенства. Никоновская летопись называет этого попа также и тысяцким[2], явно путая его с сыном последнего московского тысяцкого—И. В. Вельями-

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 134—135; т. V, стр. 74; т. VI, стр. 237; т. VIII, стр. 32—33; т. XI, стр. 42—43; т. XVIII, стр. 126—127; т. XX, стр. 200; т. XXIII, стр. 124; т. XXIV, стр. 141—142; т. XXV, стр. 199—200; УЛС, стр. 58.

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 135—136; т. XI, стр. 43.

новым, в свое время бежавшим из Москвы в Тверь, а затем посланным тверским князем в Орду.

Интереснее другое: в рассказе о битве на Воже упоминается (вероятно, в связи с местом ссылки попа—озером Лаче) Даниил Заточник—автор знаменитого памятника русской публицистики XIII в. («Слова», «Моления», «Послания»). В этом памятнике также упомянуто озеро Лаче. Но вряд ли можно думать, что автору разбираемого нами рассказа пришла в голову ассоциация лишь «внешнего характера». Вероятно, «Слово» («Моление», «Послание») Даниила Заточника было ему близко идейно, ибо в нем давалась апология сильной великокняжеской власти, и та же идея проводилась в повести о событиях на Воже.

Чтобы отомстить русским за поражение, нанесенное ими татарскому отряду Бегича, Мамай совершил новое нападение на Рязанскую землю. Рязанский князь Олег не стал сопротивляться татарскому войску, бросил на произвол судьбы столицу княжества—Переяславль-Рязанский и бежал за Оку. Татары захватили город, пограбили рязанские волости и села и «возвратишася в страну свою, много зла сотворивше»[1].

Но все эти разрозненные нападения татарских войск на русские земли были лишь прелюдией к тому решительному ордынскому наступлению на Русь, которое последовало в 1380 г.

§ 11. Куликовская битва

Переломным событием в борьбе русского народа с Золотой ордой была Куликовская битва 1380 г.

Обычно все сохранившиеся повести о Куликовской битве исследователи делят на три группы: 1) «Летописная повесть» (в разных вариантах), помещенная в ряде летописных сводов; 2) «Задонщина» или «Поведание» («Слово») Софонии—художественная поэма, использовавшая в качестве литературного образца «Слово о полку Игореве»; 3) «Сказание о Мамаевом побоище» (воинская повесть в нескольких редакциях)[2].

Я не ставлю своей задачей в настоящей работе дать источниковедческий разбор этих групп повестей. Я лишь очень коротко намечу общую последовательность развития текстов, как она мне представляется. Наиболее ранний вариант «Летописной повести» сохранился в составе Ермолинской и Львовской летописей[3]. Здесь дано сравнительно краткое изложение похода русского войска в 1380 г. против ордынских полчищ, приведенных на Русь Мамаем.

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 135.

[2] *С. К. Шамбинаго*, Повести о Мамаевом побоище, СПб., 1906, стр. I—VI. См. также *А. А. Шахматов*, Отзыв о сочинении С. К. Шамбинаго «Повести о Мамаевом побоище», СПб., 1910, стр. 180.

[3] М. Н. Тихомиров считает наиболее древним рассказ Симеоновской летописи («Повести о Куликовской битве», М.—Л., 1959).

Повесть возникла, вероятно, вскоре после самого события, в ней описанного, возможно, в конце XIV в. и даже (как будет показано ниже) еще при жизни Дмитрия Донского. Тогда же появилась и «Задонщина». Если в Ермолинской и Львовской летописях излагалась в деловом тоне фактическая история подготовки и хода Куликовской битвы, то в «Задонщине» та же тема получила поэтическое преломление.

Более распространенный вариант «Летописной повести» дошел до нас в составе Новгородской четвертой, Софийской первой, Воскресенской, Типографской летописей. Здесь почти нет новых фактов. Расширение раннего текста идет за счет его литературной обработки и придания рассказу определенной политической тенденции. Первоначальная воинская повесть, в основном светского содержания, пронизывается религиозной философией. Ряд вставок, насыщенных богословскими сентенциями, должен убедить читателя в том, что победа на Куликовом поле достигнута благодаря вмешательству небесных сил, которые помогли «христианам» поразить «поганых». Скупое повествование Ермолинской и Львовской летописей о подвигах в 1380 г. русского воинства во главе с великим князем Дмитрием Ивановичем превращается в витиеватый развернутый рассказ, в котором главными действующими лицами, заслоняющими собой воинов, являются князья, «великие» бояре и воеводы. С. К. Шамбинаго относил возникновение «Летописной повести» распространенного типа к концу XIV—началу XV в.[1] Некоторые наши дополнительные соображения как будто подтверждают правильность этой датировки и дают возможность ее уточнить.

В конце XIV—первой половине XV в. появилось еще одно литературное произведение, связанное с Куликовской битвой,—«Сказание о Мамаевом побоище»[2]. С. К. Шамбинаго считал первой его редакцией рассказ, включенный в Никоновскую летопись, второй—текст, известный по двум летописным сборникам XVI в.[3] Между тем, по-видимому, этот последний текст является списком с более раннего самостоятельного памятника (несколько его переделавшим). Рассказ же Никоновской летописи представляет собой произведение, переработавшее материал указанного памятника (или с ним сходного) и распространенной «Летописной повести», с попыткой (не всегда удачной) сочетать противоречивые данные этих двух источников. Характерно, что третья редакция «Сказа-

[1] *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., стр. 75, 78.

[2] Л. А. Дмитриев относит «Сказание о Мамаевом побоище» к первой четверти XV в. и связывает его возникновение с нашествием на Русь в 1408 г. Едигея; *Л. А. Дмитриев*, О датировке сказания о Мамаевом побоище (Труды ОДРЛ, т. X, М.—Л., 1954, стр. 185—190); *его же*, Публицистические идеи «Сказания о Мамаевом побоище» (Труды ОДРЛ, т. XI, М.—Л., 1955, стр. 140—155). См. также анализ «Сказания» о Куликовской битве в книгах М. Н. Тихомирова «Древняя Москва», стр. 998—204 и «Средневековая Москва» стр. 254—266; «Повести о Куликовской битве», стр. 406—409.

[3] *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., стр. 135, 186; *А. А. Шахматов*, Отзыв о сочинении С. К. Шамбинаго, стр. 85.

ния» (по схеме С. К. Шамбинаго) близка не только к той, которую этот исследователь называет второй, но и к материалу Никоновской летописи. Можно думать, что в отдельных случаях (но не в целом) Никоновская летопись лучше воспроизводит оригинал «Сказания», чем списки, возводимые С. К. Шамбинаго к его второй редакции, а в действительности близкие к редакции первоначальной.

В «Сказании о Мамаевом побоище» имеются фактические данные, отсутствующие в летописных повестях—и краткой, и пространной. Надо полагать, что автор пользовался какими-то достоверными источниками, по-видимому, официального характера. В целях внесения в свое произведение художественной струи, автор обратился к «Задонщине», заимствуя оттуда литературные образы. В «Сказании о Мамаевом побоище» выдвинута (в соответствии с «Задонщиной») в качестве героя Куликовской битвы личность двоюродного брата Дмитрия Донского—серпуховско-боровского князя Владимира Андреевича, в то время как в летописной повести ему отводилась второстепенная роль в событиях 1380 г. Из церковных деятелей участниками подготовки похода против Мамая выводятся митрополит Киприан и игумен Троице-Сергиева монастыря Сергий Радонежский. В «Сказании» достаточно сильны религиозные мотивы. Но вставки из «Задонщины», удачно вкрапленные в изложение, придают ему характер бодрой, проникнутой оптимизмом, воинской повести.

Текст Никоновской летописи, посвященный Куликовской битве, следует рассматривать, как указано, как переработку «Летописной повести» распространенного типа и «Сказания». Заимствования из «Задонщины» почти все устранены. Религиозный аспект повествования усилен. Переработка эта падает на время, когда еще существовало на Руси татаро-монгольское иго и борьба с ним была делом актуальным, но уже достаточно ясно осознавалась непрочность владычества Орды. Очевидно, таким временем является середина—вторая четверть XV в., но многое в тексте Никоновской летописи относится к редакции XVI в.

В отдельных летописных сводах имеются краткие переделки и компановки рассмотренных выше литературных произведений, посвященных Куликовской битве. Текст Симеоновской летописи передает события короче даже, чем они изложены в Ермолинской и Львовской летописях. Изложение ведется в тоне светской воинской повести. Чувствуется знакомство автора и с другими повестями (кроме краткой Летописной). Короткий рассказ о Куликовской битве Новгородской первой летописи, пронизанный религиозной историософией, в основном представляет собой переделку «Летописной повести» пространного типа. Важные официальные данные (разряд русских полков на Куликовом поле) содержит список Дубровского Новгородской четвертой летописи. Рассказ Устюжского летописца—поздний, составленный на основе разных источников, отличающийся недостоверностью.

Сопоставление различных литературных версий относительно похода русских войск против ордынских полчищ и борьбы с ними должно помочь восстановить реальную картину событий 1380 г. и в то же время вскрыть различные борющиеся между собой политические тенденции, в свете которых они рассматриваются[1].

Для похода на Русь Мамай собрал большое войско, в которое входили не только ордынские татары, но и отряды наемников из числа ряда других народов Поволжья, Крыма, Кавказа. Согласно Ермолинской и Львовской летописям, «князь Мамай» «поиде на великого князя Дмитрея» «со всеми князи ордыньскими, с всею силою татарьскою и половецкою, еще же к тому понаимова рати: бесермены, армены, фрязи, черкасы, буртасы»[2]. Другие летописи расширяют список народов, приведенных на Русь Мамаем, указанием на ясов[3], мордву, черемисов (мари)[4]. Сейчас трудно установить, какие из названных народов действительно принимали участие в походе Мамая на русские земли в 1380 г., но совершенно очевидно, что двинувшееся туда ордынское войско было очень пестрым по своему составу. Имеются основания полагать, что перечни в различных летописных сводах народностей, участвовавших в предпринятом Мамаем вторжении в пределы русских владений, вполне реальны. Летописи позволяют думать, что часть вышеуказанных народностей Крыма и Кавказа в это время находилась в орбите политического влияния Орды. Так, говоря, что в 1346 г. был «мор силен под въсточною страною», летописец включает в состав «восточной страны» города Орнач, Хазьторокань (Астрахань), Сарай, Бездеж, из народов—бесермен, татар, армен, обезов, фрягов, черкас[5]. В 1377 г. «князи мордовьскии» привели «рать татарьскую из мамаевы Орды», и она напала на русское войско на реке Пьяне в Нижегородском княжестве.

Предварительно Мамай договорился с великим князем литовским Ягайлом Ольгердовичем и с великим князем рязанским Олегом Ивановичем о том, что они предоставят ему военную помощь. Это была привычная для ордынских правителей тактика использования вражды между русскими князьями и политика игры на русско-литовских противоречиях. При поддержке военных сил Литвы и Рязанской земли Мамай рассчитывал нанести удар Московскому великому княжеству, занявшему в это время первенствующее политическое положение на Руси. Ермолинская и Львовская летописи указывают, что Ягайло Ольгердович и Олег Иванович были «в еди-

---

[1] Попытка нарисовать такую картину сделана М. Н. Тихомировым в статье «Куликовская битва 1380 года», («Вопросы истории», 1955, №8, стр. 11—25); *его же*, Куликовская битва («Повести о Куликовской битве», стр. 335—376).

[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 124—125; т. XX, стр. 200; см. также т. XXIV, стр. 143.

[3] ПСРЛ, т. IV, стр. 75; т. VIII, стр. 34; т. XI, стр. 46; т. XVIII, стр. 129; *С. К. Шамбинаго*, Повести о Мамаевом побоище, Спб., 1906, Тексты, стр. 1—6.

[4] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 108.

[5] УЛС, стр. 58.

ной мысли» с Мамаем и приняли совместно с ним решение («учиниша совет») привести свои войска к берегам Оки «на Семень день», т. е. 1 сентября. Летописи подчеркивают при этом большую деятельность, проявленную в переговорах с Ордой и с Литвой рязанским князем Олегом, посылавшим к Мамаю и к Ягайлу своего представителя Епифана Кореева. В то же время Олег Иванович предупредил о походе Мамая («поведая Мамаев поход») московского великого князя Дмитрия Ивановича. Очевидно, позиция, занятая рязанским князем, была двойственной. Он заявил о своем желании оказать услуги обоим противникам (Мамаю и Дмитрию московскому), а в дальнейшем решил действовать на стороне того, у кого окажется перевес сил. За это Ермолинская и Львовская летописи окрестили Олега именем Иуды («льстящи яко Юда»)[1].

Несколько иначе рисуют тактику Олега рязанского «Сказание о Мамаевом побоище» и Никоновская летопись. Они подчеркивают, что именно Олег был виновником союза с Ягайлом и Мамаем (Ермолинская и Львовская летописи отмечают лишь активность в этом деле рязанского князя, но не считают, что он начал переговоры по своей инициативе, а летописи Новгородская четвертая, Воскресенская и некоторые другие прямо указывают на Мамая как инициатора заключения с литовским и рязанским правителями антимосковского соглашения). По Никоновскому летописному своду, как только Мамай переправился «со всеми силами» через Волгу, подошел к устью реки Воронежа и расположил свои кочевья в рязанских «пределах», Олег послал к нему и к Ягайлу послов с уведомлением о признании власти ордынского правителя и с предложением действовать совместно с последним против московского великого князя Дмитрия Ивановича. Ягайло откликнулся на этот призыв и со своей стороны отправил посольство к Мамаю, побуждая его к активным действиям против Московского княжества. При этом Олег Иванович и Ягайло Ольгердович рассчитывали якобы, что Дмитрий Иванович, узнав о их соглашении с Мамаем, покинет Москву и убежит «в далныа места», а литовский и рязанский князья уговорят Мамая вернуться в Орду, сами же разделят с его ведома между собой «княжение Московское» «на двое, ово к Вилне, ово к Рязани». Судя по «Сказанию», Олег уступал Ягайлу Москву, а себе предназначал Коломну, Муром, Владимир. За составление подобных планов «Сказание» упрекает рязанского и литовского князей в «скудоумии»[2].

Мамай ответил Олегу и Ягайлу, что ему нужна не военная помощь («мне убо ваше пособие не нужно»), ему важно, чтобы Литва и Рязань признали владычество Орды. В знак того, что литовский и рязанский князья выразили Мамаю искренне свою покорность («присягу... не лестну»), он потребовал, чтобы ему была оказана честь и оба князя выслали ему навстречу войска («и сре-

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 125; т. XX, стр. 200.

[2] ПСРЛ, т. XIV, СПб., 1910, стр. 76; т. VIII, стр. 34—35; т. XXIV, стр. 143. В «Сказании» вместо Ягайла назван Ольгерд.

тите мя с своими силами, где успеете, чести ради величества моего»). Характерно, что «Сказание» приписывает Мамаю мысль, пользуясь услугами рязанского и литовского правителей, в своих интересах разжигать несогласия между ними («ныне же разность велика меж ими»)[1]. «Сказание» и Никоновская летопись ничего не говорят о том, что Олег рязанский, ведя переговоры с Мамаем, одновременно поставил в известность о выступлении ордынских полчищ московского великого князя.

Бросается в глаза искусственность и малая достоверность версии «Сказания» и Никоновского летописного свода о планах раздела Московского великого княжества между Литвой и Рязанью, об ожидаемом бегстве Дмитрия Ивановича из Москвы, о том, что Мамай не нуждался в поддержке вооруженными силами со стороны литовского и рязанского князей, а требовал лишь оказания ему «чести». По-видимому, Ермолинская и Львовская летописи, хотя и лаконичнее, но ближе к истине излагают события. Отвечает реальной действительности, надо думать, указание «Сказания» и Никоновской летописи (не противоречащее данным Ермолинской и Львовской летописей) на инициативу Олега рязанского в установлении союзных отношений с Мамаем и на его посредническую роль в переговорах Мамая с Ягайлом Ольгердовичем. Олег хотел тем самым защитить свое княжество от татарского погрома. Но нет никаких оснований отвергать сообщение Ермолинской и Львовской летописей о том, что одновременно Олег стремился предупредить возможность нападения на Рязанскую землю московских войск (в случае неудачи похода Мамая) и поэтому известил московское правительство о готовящемся выступлении ордынских вооруженных сил. За такую политику Ермолинская, Львовская и другие летописи бросили рязанскому князю упрек в двурушничестве и предательстве и не без основания, ибо его поведение действительно приносило вред национальным интересам русского народа.

Какова была цель наступления на Русь, организованного Мамаем в 1380 г.? Различные летописи определяют ее по-своему. Судя по Ермолинской и Львовской летописям, Мамай добивался увеличения размеров «выхода», уплачиваемого русскими княжествами в Орду, возвращения к той сумме, в которой он вносился при хане Джанибеке и которая затем была снижена («прося выхода, как было при цари Женибеке, а не по своему докончанию»)[2]. В Симеоновской и других летописях в качестве причины похода Мамая 1380 г. фигурирует желание отомстить русским за поражение, которое было понесено от них татарскими войсками на реке Воже в 1378 г.: «И Мамай нечестивый люте гневашеся на великого князя Дмитриа о своих друзех, и о любовницех, и о князих, иже побьени

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 47—48; *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., Тексты, стр. 4—6.

[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 125; т. XX, стр. 201.

быша на реце на Воже...»[1]. Вероятно, ордынский правитель, задумав в 1380 г. нападение на русские земли, руководствовался обоими этими стимулами, ибо они нисколько не противоречат друг другу. Менее вероятен тот побудительный мотив для вторжения ордынских полчищ в пределы Руси, который выдвигают летописи Новгородская четвертая, Воскресенская и некоторые другие,—это истребление русского народа, уничтожение христианских церквей и искоренение православной веры и правовых норм, принятых в русских княжествах: «Пойдем на руского князя и на всю Рускую землю, ...христианство потеряемь, а церкви божиа попалим огнем, закон их погубим, а кровь христианьскую пролием»[2]. При этом Мамай якобы хотел повторить погром, учиненный в свое время на Руси Батыем («якоже при Батыи цари было»). «Сказание о Мамаевом побоище» и Никоновская летопись идут еще дальше по пути расширения замыслов Мамая. Считая себя вторым Батыем и желая следовать примеру последнего («и хотяаше вторый царь Батый быти»), он (согласно данным Никоновской летописи) якобы специально изучал историю его похода, приведшего к установлению владычества Золотой орды над русским народом («и нача испытовати от старых историй, како царь Батыи пленил Русскую землю и всеми князи владел яко же хотел»). По «Сказанию о Мамаевом побоище», «безбожный царь Мамай нача завидети первому безбожному Батыю.., нача испытывати от старых еллин, како Батый пленил Киев и Володимерь и всю Роусскую и Словенскоую землю»[3].

Думается, что приписывание летописцами Мамаю намерения напомнить русскому народу о временах Батыя все же отдает известной нарочитостью. И Русь, и Орда были в конце XIV в. уже не те, что во второй четверти XIII в. И вряд ли реальны (да и политически целесообразны) были бы замыслы ордынских владетелей (а они являлись достаточно трезвыми политиками) еще раз спалить огнем и перебить мечом все русские города и села с их населением. Но в то же время ясно, что Мамай рассматривал свое вторжение в русские земли не как обычный татаро-монгольский грабительский набег. Подготавливалось военное нападение крупного масштаба, которое должно было стать решающей вехой в развитии русско-ордынских отношений, внести перелом в эти отношения, заставив русских князей подчиняться воле ордынских правителей, исполнять их требования[4]. Орду тревожило усиление Руси, где шел процесс образования единого государства. Недавняя победа, одержанная русскими над татаро-монголами на реке Воже, казалась угрожающим симптомом. Мамай хотел пресечь возможность в дальнейшем активного выступления русского народа против ордынского владычества, стремился взять инициативу

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 129.

[2] ПСРЛ, т. VIII, стр. 314; т. IV, стр. 74; т. XXIV, стр. 143; УЛС, стр. 58.

[3] ПСРЛ, т. XI, стр. 46.

[4] *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., Тексты, стр. 4.

в свои руки и нанести Руси такой чувствительный удар, который заставил бы ее примириться с татаро-монгольским игом.

Исключительно интересно то место «Сказания о Мамаевом побоище», в котором говорится, что Мамай, дойдя до устья реки Воронежа и распустив «облавоу свою», отдал распоряжение «оулоусом своим»: «ни един вас не пашите хлеба, да боудете готовы на роусскиа хлебы». Несколько ниже указано, что сторожа, посланные из Москвы следить за продвижением Мамая, сообщили, что он «хощет бо на осен быти на роусския хлебы»[1]. В этих словах скрывается большее, чем желание ордынских захватчиков поживиться за счет продовольственных ресурсов земледельческой страны. В этих словах звучит мысль о том, что земледелие—основа роста силы и могущества Руси. Надо подорвать эту основу, разорить трудовое население и ослабить Русь.

По Ермолинской и Львовской летописям, о выступлении Мамая в Москве стало известно в августе, еще до того, как Олег Иванович рязанский сообщил об этом великому московскому князю Дмитрию Ивановичу. Последний стал сразу собирать войско: «разосла по вся князи русскыя, и по воеводы, и по вся люди...»[2] Очевидно, военные силы формировались не только в пределах Московского княжества, но призыв о присылке рати был обращен из Москвы и к князьям тех земель, которые находились в союзно-договорных отношениях с великим князем Дмитрием. Местом сбора ратных сил, как можно полагать на основании материалов рассматриваемых летописных памятников, была выбрана Коломна. Поскольку, по сообщению Ермолинской и Львовской летописей, 20 августа Дмитрий Иванович уже выступил из Коломны в поход, направившись к месту расположения ордынских полчищ, приведенных Мамаем, очевидно, на созыв русского войска ушла первая половина августа, а весть о выступлении татаро-монголов, следовательно, пришла в Москву в начале августа. Этот расчет соответствует указанию Ермолинской и Львовской летописей о том, что Мамай в течение трех недель дожидался «в поле близ Дону» помощи от Ягайла. Поскольку сроком встречи вооруженных сил Мамая, Ягайла и Олега было намечено 1 сентября, очевидно, Мамай подошел к Дону в течение первой недели августа. Следует таким образом отметить, что, ожидая Ягайла, Мамай упустил время для нанесения быстрого удара своему противнику. Это упущение было хорошо использовано московским великим князем, взявшим инициативу в свои руки, быстро организовавшим сбор рати и предупредившим нападение татар, выступив им навстречу.

Еще до выступления московского войска из Коломны, Мамай, судя по данным Ермолинской и Львовской летописей, прислал к Дмитрию Ивановичу посла с требованием уплатить в повышенном размере «ордынский выход». Великий московский князь не при-

---

[1] *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., тексты, стр. 4, 10.
[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 125; т. XX, стр. 200—201.

нял этого требования, согласившись произвести платеж по пониженным нормам, с учетом платежеспособности населения («по хрестьянскои силе»). Таким образом, переговоры были прерваны.

Сведения Ермолинской и Львовской летописей повторяются во многих других летописных текстах, обрастая там некоторыми литературными украшениями. Несколько иную фактическую канву дает Никоновская летопись. Она иначе располагает события во времени и сообщает ряд подробностей, отсутствующих в более ранних летописных сводах. Прежде всего, по Никоновской летописи, известие о выступлении Мамая было получено в Москве в июле, и тогда же там начались приготовления к борьбе с ордынскими полчищами, так как на 31 июля уже был назначен сбор русских войск в Коломне. Подобное смещение хронологической сетки вряд ли можно признать правомерным, ибо если сделать это, то придется допустить, что Мамай растянул свои сборы к походу на Русь почти на два месяца. Мало также вероятно, что Мамай, договариваясь в июле с Олегом и Ягайлом о встрече на Оке рязанско-литовско-ордынских вооруженных сил, мог мыслить эту встречу только 1 сентября. Датировка событий, данная в Ермолинской, Львовской и других летописях, представляется более правдоподобной.

К июлю и первой половине августа Никоновская летопись относит ряд фактов, о которых ничего не говорят рассмотренные выше летописные памятники, но которые имеются в «Сказании о Мамаевом побоище» (без датировки). Во-первых, «Сказание» и Никоновская летопись сообщают, что, после того как Дмитрий Иванович отказался выполнить требование Мамая об уплате «выхода» в указанной через его посла сумме, он, однако, отправил затем к ордынскому правителю своего гонца Захария Тютчева (в сопровождении двух толмачей, «умеющих татарьский язык») для передачи ему «злата и сребра много...» Следовательно, претензия Мамая на «выход» в какой-то мере получила удовлетворение. Дойдя до Рязанской земли, Захарий Тютчев узнал о сговоре Мамая с Олегом рязанским и с Ягайлом литовским и направил с сообщением об этом в Москву «скоровестника».

Другая интересная подробность, имеющаяся в «Сказании» и Никоновской летописи, касается посылки Дмитрием Ивановичем двух разведок «под Орду» («на сторожу») для добычи «языков» и выяснения намерений Мамая. Первая разведка в составе Родиона Ржевского, Андрея Волосатого, Василия Тупика «и иных крепких и мужественных на сие», отправленная, согласно данным Никоновской летописи, в июле в бассейн Дона (в район рек Быстрой и Тихой Сосны), долго пропадала без вести. Тогда была организована «вторая сторожа» в лице Климента Поленина, Ивана Святослава, Григория Судока и др. В «поле» они встретили Василия Тупика, направлявшегося в Москву с сообщением, что Мамай «идет... на Русь», «совокупяся» с Олегом рязанским и Ягайлом литовским, но не спешит и «ждет осени, да совокупится с Литвою». Тогда Дмит-

рий Иванович, решив двинуть против татар русские вооруженные силы, назначил срок явки в Коломну воинам (сбор которых был объявлен еще раньше) на 15 августа (вначале, по Никоновской летописи, таким сроком являлось 31 июля)[1].

Приведенные факты настолько конкретны (внушают сомнение лишь даты), что вряд ли можно подозревать, что они недостоверны. Эти факты очень пополняют наши представления о том, как шла в Москве подготовка к отпору ордынским полчищам. Во-первых, по-видимому, московское правительство пыталось закончить дело мирным путем (отсюда посылка к Мамаю Захария Тютчева). Во-вторых, готовясь к войне, оно старалось посредством хорошо организованной разведки все время быть осведомленным о действиях и планах неприятеля.

Выступление русской рати из Коломны Никоновская летопись датирует 29 августа[2] (т. е. на 9 дней позднее по сравнению с датой, фигурирующей в ряде других летописных памятников). У нас нет материала для проверки причин этого расхождения в хронологических данных и для их уточнения.

Текст изучаемой повести, сохранившейся в составе Никоновской летописи, заслуживает внимания не только в силу наличия в нем отсутствующего в других летописных сводах фактического материала, но и в силу своеобразия в объяснении событий того времени, подчиняющемся определенной идеологии. Идейная направленность данной повести отличается ярко выраженным церковно-религиозным характером. Соответствуют этой идеологии и вкрапленные в повествование легендарные эпизоды. Согласно концепции Никоновской летописи, московский великий князь в своих действиях по подготовке сопротивления Мамаю и его войску все время следует указаниям митрополита Киприана. Последний является подлинным руководителем Дмитрия Ивановича и его вдохновителем на дело борьбы с татарами. В Никоновской летописи содержится также рассказ о посещении Дмитрием Ивановичем 18 августа игумена Троице-Сергиева монастыря Сергия. Последний благословил великого князя, предсказал ему победу над неприятелем и отправил вместе с ним двух иноков («два воина от своего полку чернечьскаго»), братьев Пересвета и Ослябя.

В «Сказании о Мамаевом побоище» также действует митрополит Киприан, но его деятельности уделено значительно меньше внимания, чем в Никоновском летописном своде. Имеется в «Сказании» и сцена посещения Дмитрием Ивановичем Троице-Сергиева монастыря.

В других летописях не фигурируют ни митрополит Киприан в качестве наставника Дмитрия Ивановича, ни Сергий Радонежский, провожающий великого князя в поход. Наиболее ранние варианты

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 49—52; *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., Тексты, стр. 7—10.

[2] ПСРЛ, т. XI, стр. 54.

«Летописной повести» о борьбе русского народа с полчищами Мамая (сохранившиеся в составе Ермолинской и Львовской летописей) отличаются светским характером. Церковно-религиозный элемент присутствует в них в минимальной степени. Так, отмечается, что, перед тем как приступить к сбору ратных сил, великий князь Дмитрий «шед в церковь святую Богородицю и многу молитву сотвори», а перед выступлением в поход опять «помолися церкви святыя Богородица и благословися у епископа Герасима»[1]. Но главным действующим лицом является здесь сам московский князь с его «воями». Перед нами воинская повесть, чуждая узко религиозной направленности. И это не случайно. Вероятно, первоначальное восприятие Куликовской битвы в широких общественных кругах конца XIV в. (в среде княжеских слуг, горожан) сводилось к тому, что это—победа, которую одержало русское воинство. Русские воины—воины православные, и их соблюдает бог: такая примитивная религиозная философия присутствует и в ранних летописных повестях о борьбе русского народа с Мамаем. Но упор делается на силу, множество, мужество «воев», ведомых князем. Эта историческая концепция, близкая народному сознанию, перерабатывается в дальнейшем книжниками, принадлежащими к церковным кругам. Они выдвигают на первое место из числа тех, кто обеспечил русскому народу в 1380 г. победу над ордынскими захватчиками, деятелей русской церкви и прежде всего ее высшего представителя—митрополита Киприана. Таким образом, приподнятая в «Сказании» и особенно в Никоновской летописи роль Киприана в событиях 1380 г.—это не исторический факт (Киприана в это время не было даже в Москве), а плод тенденциозно-политической направленности данного текста.

Сильно разукрашен и эпизод с посещением великим князем Дмитрием Ивановичем Сергия Радонежского, хотя отрицать возможность такого визита и нет оснований. Внесение этого эпизода в рассказ о борьбе русского народа с Мамаевой ордой, вероятно, вызвано желанием приподнять роль Троице-Сергиева монастыря как церковного центра. Гораздо ближе к истине простой и лаконичный рассказ Ермолинской и Львовской летописей, согласно которому Дмитрий Иванович, уже подходя к Дону, получил «грамоту» от Сергия Радонежского с повелением «битися с татары».

Общую численность войска, двинувшегося навстречу полчищам Мамая, летописные своды определяют по-разному. Ермолинская, Львовская и другие летописи называют цифру около 200 тысяч («бе бо всее силы близ двусот тысящ»). В некоторых летописях количество русских воинов указано в пределах от 150 до 200 тысяч, в некоторых—свыше 200 тысяч во время выступления из Коломны и свыше 400 тысяч после пополнения по пути к Дону основных вооруженных сил Руси новыми присоединившимися к ним отрядами. Устюжский летописный свод и «Сказание о Мамаевом побоище»

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 125; т. XX, стр. 200—201.

говорят о 300-тысячном войске, собранном для борьбы с Мамаем[1]. Во всяком случае все памятники летописания подчеркивают, что в 1380 г. Русь смогла выставить против ордынских захватчиков войско в таком количестве, какое раньше никогда еще не удавалось собрать: «от начала бо такова сила русская не бывала». В бой с Ордой вступило подлинно народное ополчение. Учитывая, что летописные данные, вероятно, несколько преувеличены, можно допустить, что реальная цифра русских вооруженных сил, участвовавших в борьбе с Мамаем, достигала 100—150 тысяч[2].

Гораздо сложнее решить вопрос о том, из каких русских земель были привлечены рати, одержавшие в дальнейшем победу над ордынскими вооруженными силами на Куликовом поле. В Ермолинской и Львовской летописях сведения об этом довольно глухие. В них говорится о том, что вместе с великим князем Дмитрием Ивановичем участвовали в походе против войск Мамая его двоюродный брат князь Владимир Андреевич серпуховско-боровский и два литовских князя—Андрей и Дмитрий Ольгердовичи (первый с отрядом псковичей, второй с отрядом брянцев). Кроме того, в указанных летописях содержится сообщение о гибели на Куликовом поле князей белозерского и тарусского[3]. В списке Дубровского Новгородской четвертой летописи в качестве воевод полков, сражавшихся на Куликовом поле, названы еще князья кашинский, смоленский, брянский, новосильский, ростовский, стародубский, ярославский, оболенский, моложский. Среди воинов упоминаются также костромичи[4]. В Никоновской летописи в числе участников похода 1380 г. фигурируют, дополнительно к показаниям других летописных сводов, князья холмский, елецкий, мещерский, муромский, кемский, каргопольский, андомские, устюжские. Специально говорит Никоновская летопись о воеводах коломенском, владимирском, юрьевском, костромском, переяславском[5]. Когда речь идет о князьях и воеводах, конечно, при этом подразумеваются и военные отряды, приведенные ими с собою из соответствующих земель и княжеств. В «Сказании о Мамаевом побоище» при подсчете убитых во время Куликовской битвы называются (вслед за «Задонщиной») бояре московские, серпуховские, переяславские, дмитровские, можайские, звенигородские, угличские, владимирские, суздальские, костромские, ростовские, паны литовские[6].

На основании извлеченных из различных летописей данных, конечно, трудно составить вполне достоверный список тех русских областей, население которых действительно сражалось с ордынскими вооруженными силами. Но во всяком случае ясно, что тер-

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 125; т. XX, стр. 201; т. IV, стр. 74; т. VIII, стр. 35; т. XI, стр. 55, 59; УЛС, стр. 59.

[2] *М. Н. Тихомиров,* Куликовская битва 1380 года, стр. 16.

[3] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 125—126; т. XX, стр. 201.

[4] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 486—487.

[5] ПСРЛ, т. XI, стр. 49, 52.

[6] *С. К. Шамбинаго,* указ. соч., Тексты, стр. 35.

ритория, с которой была собрана русская рать, далеко выходила за пределы Московского княжества и княжеств, к этому времени уже включенных в его состав и непосредственно подчиненных власти великого князя Дмитрия Ивановича. Думается, что различные летописи в своей совокупности в общем не грешат против истины, когда в числе участников Куликовской битвы называют жителей основного комплекса северо-восточных русских земель (за исключением Рязанской и Новгородской). Конечно, известные сомнения все же остаются. Такое сомнение возникает, например, в отношении достоверности сообщения Никоновской летописи о посылке Дмитрием Ивановичем в Тверь за военной помощью и об отправке к нему великим князем тверским Михаилом Александровичем для участия в походе против Мамая своего «братанича»— князя Ивана Всеволодовича холмского[1]. Возникает вопрос о том, действительно ли были на Куликовом поле устюжские князья и т. д. Мало вероятно упоминание «Сказания» (заимствованное из «Задонщины») о том, что «на помочь» к великому князю московскому «выехали пособники из Великого Новагорода, а с ними 7000»[2]. Но в целом вырисовывается довольно отчетливая и показательная картина. На борьбу с татаро-монгольскими захватчиками выступила рать не просто московская, а общерусская.

Какова была эта рать по своему социальному составу? Хотя и недостаточно полные, а часто даже просто отрывочные летописные данные позволяют утверждать, что в 1380 г. на борьбу с Ордой поднялся весь русский народ—не только княжеские слуги, но широкие массы горожан и, возможно, крестьянства. Ермолинская и Львовская летописи говорят, что московский князь собирал на войну с Мамаем «князей русских», «воевод» и «*вся люди*». Рассказывая о потерях, понесенных русскими на Куликовом поле, Ермолинская и Львовская летописи называют имена некоторых «князей», «бояр старейших», «воевод», а затем делают оговорку, что перечислить всех погибших простых людей невозможно ввиду их большого числа («а прочих оставих множества ради»)[3]. Характерно, что в Новгородской четвертой и Воскресенской летописях приведенные выше тексты тенденциозно видоизменены, в силу чего всенародный характер ополчения 1380 г. в значительной мере стирается. Так говорится, что московский князь Дмитрий Иванович, узнав о наступлении Мамая, «посла по брата своего Володимера, и по всих князей русских и по воеводы великия» (а указание на «*вся люди*» отсутствует). Если Ермолинская и Львовская летописи подчеркивают, что в 1380 г. собралась на войну с Ордой небывалая «русская сила», то летописи Новгородская четвертая и Воскресенская слова «русская сила» подменяют выражением «сила русских князей». Наконец, скорбя о русских потерях, Новгородская

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 149.
[2] *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., Тексты, стр. 11.
[3] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 125—126; т. XX, стр. 200—201.

четвертая и Воскресенская летописи не говорят наряду с «боярами» «князьями» и «старейшими воеводами» о «прочих» (как это делают летописи Ермолинская и Львовская), а выражение «прочии» расшифровывают как «прочие боляре и слуги»[1]. Таким образом, перед нами явная переработка текста рассказа о победе русского народа на Куликовом поле, вызванная стремлением показать, что эта победа достигнута прежде всего усилиями князей.

В «Сказании о Мамаевом побоище» состав вооруженных русских сил определяется так: «все князи роусскии и воеводы и *все войско*». В Москву, по «Сказанию», где формируется рать, спешат со всех сторон «мнози люди», собираются «роусския оудалцы», «ратницы». Провожает «великую рать» из Москвы «народ». На Куликовом поле сражается «все христолюбивое воинство». Здесь можно было видеть «роусских князей собрание и оудалых витязей оучрежение». «Братия моя милая, сынове роусския, молодые и великие!..»—обращается Дмитрий Донской к войску[2]. Общенародный характер русского ополчения не подлежит сомнению.

Сведения об участии в ополчении 1380 г. широких народных масс, в том числе горожан, сохранились в Никоновской летописи: «и ту приидоша много пешаго воиньства, и житеистии мнози людие, и купци со всех земель и градов...» Говоря о погибших на Куликовом поле, Никоновская летопись особо обращает внимание на то что было «избьено» «тмочисленное множество» «пешего воиньства». Забелинский список «Сказания» называет в качестве участников битвы Юрку сапожника, Васюка Сухоборца, Сеньку Быкова, Гридю Хрулеца[3]. Это явно «черные люди».

В «Сказании о Мамаевом побоище» и в Никоновской летописи содержится интересное сообщение о том, что великий князь Дмитрий Иванович взял с собой в поход «десять мужей сурожан гостей». Цель этого Никоновская летопись усматривает в том, что сурожане, торгуя в разных странах («яко сходници суть з земли на землю»), будучи известны в Орде и Крыму («и знаеми всеми в Ордах и в Фрязех»), смогут потом повсюду распространить весть («имут поведати в далных землях») о том, чему они будут свидетелями во время похода. Кроме того, судя по летописи, Дмитрий Иванович рассчитывал, что гости-сурожане будут полезны ему благодаря своему знанию обычаев народностей, в качестве наемников участвовавших в войсках Мамая («аще что прилучится, да сии сътворяют по обычаю их»)[4]. Вряд ли этот факт выдуман: имена всех десяти гостей фигурируют в рассказе. Можно только усомниться, действительно ли московский князь, готовясь к сражению с ордынскими полчищами, заранее уже думал о том, что надо будет в дальнейшем рассказать о деталях сражения в других странах и для этого

[1] ПСРЛ, т. IV, стр. 76, 35,77, 81; т. VIII,стр. 40.

[2] *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., Тексты, стр. 11, 14, 16, 23, 24; «Повести о Куликовской битве», стр. 188.

[3] ПСРЛ, т. XI, стр. 56, 65; «Повести о Куликовской битве», стр. 198.

[4] ПСРЛ, т. XI, стр. 54; *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., Тексты, стр. 16.

запастись свидетелями. Это скорее—последующее осмысление правильно переданного факта. Вернее указан летописью второй мотив, которым руководствовался московский князь, делая своими спутниками гостей: они могли быть использованы как проводники, толмачи, как люди, осведомленные о нравах и привычках ордынцев. Но летопись не обращает внимания еще на один существенный момент, над которым, однако, невольно задумывается читатель, знакомясь с летописным рассказом: было ли участие в походе против Мамая гостей-сурожан результатом лишь инициативы, проявленной московским великим князем, пожелавшим их взять с собой? Не были ли они и сами в этом заинтересованы? Думаю, что последнее весьма вероятно. Для дальнейшего развертывания своих торговых операций они нуждались в том, чтобы движение ордынских войск на Русь было приостановлено, и хотели активно содействовать этому.

Надо сказать несколько слов об организации похода. При чтении Ермолинской и Львовской летописей остается впечатление, что московское правительство подошло к этому вопросу по-деловому, стараясь действовать быстро и стремительно. Войско было собрано и двинулось в поход не сразу. Сначала, очевидно, согласно заранее намеченному плану, выступил из Коломны Дмитрий Иванович с частью воинов, затем, когда он подошел к устью Лопастны (притока Оки), где должна была быть совершена переправа через Оку, его догнали князь Владимир Андреевич, окольничий Тимофей Васильевич Вельяминов и «вои остаточнии». Переправу через Оку совершили все вместе[1]. Примерно так же (с некоторыми подробностями) изображают дело летописи Новгородская четвертая, Воскресенская, Типографская[2].

Когда обращаешься к тексту Никоновской летописи (а также «Сказания о Мамаевом побоище»), то убеждаешься, что там превалирует стремление подчеркнуть не столько деловитость в организации выступления русских войск из Москвы, а затем из Коломны, сколько торжественность этого акта. Поэтому подробно описаны молебствия в Москве и в Коломне, проводы ратников из Москвы, «уряжение» московским великим князем полков в Коломне. Все эти сообщения Никоновской летописи и «Сказания» не противоречат тому, что говорили более ранние летописные памятники. Но, несомненно, они отражают уже позднейшее, как бы эпическое, восприятие событий летописцем, стремившимся приподнять их в сознании читателя, в то время как в ранних памятниках выступала их будничная сторона, которая собственно и обеспечила народную победу.

Имеются в «Сказании о Мамаевом побоище» и в Никоновской летописи и новые фактические детали и расхождения с данными других летописных текстов. Войска из Москвы ввиду их много-

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 125; т. XX, стр. 201.
[2] ПСРЛ, т. IV, стр. 77; т. VIII, стр. 36; т. XXIV, стр. 145.

численности двигаются тремя дорогами. Князь Владимир Андреевич идет вместе с Дмитрием Ивановичем. Переправляясь через Оку, князь Дмитрий Иванович оставляет там окольничего Тимофея Васильевича Вельяминова с тем, чтобы он затем повел «пешиа рати или конныа», которые подойдут дополнительно. Князья Ольгердовичи влились в войско Дмитрия Ивановича уже после его переправы через Оку, когда оно приближалось к Дону (у местечка Березуй). У Дона же русское войско пополнилось новыми силами пехотинцев, собравшихся «со всех земель и градов»[1]. Отдельные данные «Сказания» и Никоновской летописи (например, о трех дорогах, которыми направилось войско из Москвы), может быть, отражают реальные факты. Другие являются плодом домысла составителя. Таковы, по-видимому, сведения Никоновской летописи о многочисленной пешей рати, догнавшей основное войско у Дона. Автору нужно было сказать об этом для того, чтобы довести цифру русских вооруженных сил (150—200 тысяч, по ранним летописным памятникам) до 400 тысяч. О приходе Ольгердовичей в «Сказании» имеется специальная развернутая повесть.

Какими силами располагал Мамай? Об этом у нас твердых данных нет. Ермолинская и Львовская летописи глухо говорят, что татар было «многое множество», что во время боя они вместе с русскими покрыли поле «яко на 13 връст» (по другим спискам, на 10 или на 30 верст)[2]. Столь же неконкретные сведения о татарских вооруженных силах дают другие русские летописи. Но при всем том из летописей создается впечатление, что татар было больше, чем русских. Так, в Новгородской первой летописи при описании столкновения татарских воинов с русскими на Куликовом поле отмечается, что москвичи были поражены, «видевши множество рати татарьской». Однако в результате битвы оправдалось пророческое слово: «како един пожнеть 1000, а два двигнета тму»[3]. Значительно уступающие неприятелю по численности русские воины победили громадные полчища татар. В Устюжском летописце можно прочитать, что Мамай перед выступлением на Русь «сочте свою силу и обрете число 900 тысяч и 30 человек»[4]. В «Сказании о Мамаевом побоище» потери татар определяются в 400 тысяч[5].

Надо сказать, что все эти данные, конечно, гиперболичны. Вряд ли военные отряды, приведенные Мамаем, по своей численности превышали русские вооруженные силы[6]. Ведь Мамай явно опасался до получения подмоги от Ягайла и Олега рязанского активно наступать на Русь. Ягайло, идя на соединение с Мамаем «со всею силою литовскою и лятьскою», опоздал примерно на сутки («и не

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 53—56; *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., Тексты стр. 16—20.
[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 125; т. XX, стр. 201.
[3] НПЛ, стр. 376.
[4] УЛС, стр. 58
[5] *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., Тексты, стр. 35.
[6] *М. Н. Тихомиров*, Куликовская битва 1380 года, стр. 16.

успе за едино днищо и менше») и повернул обратно[1]. Может быть, впрочем, опоздание явилось и намеренным. Олег также «посылал на помощь Мамаю свою силу»[2], но рязанские воины фактически не присоединились к ордынским полчищам. Мамай был настигнут войсками, приведенными московским князем, и принужден выдержать с ними бой.

Уже находясь у устья Лопастны, русские стремились все время держать в поле своего зрения противника. 25 августа (по Ермолинской и Львовской летописям) была совершена переправа через Оку. 6 сентября (по Ермолинской летописи, 1 сентября—по Львовской) русские подошли к Дону. По сведениям «Сказания о Мамаевом побоище» и Никоновской летописи, по пути князь Дмитрий Иванович отправил «в поле под Орду мамаеву» «стражей»—боярина и воеводу Семена Мелика, Игнатия Креня, Фому Тынину, Петра Горского, Карпа Александрова, Петра Чирикова «и иных многих нарочитых и мужественных и на то устроенных тамо ведомцев»[3]. Они должны были проследить за Мамаем, разузнать о его местопребывании и намерениях. «Стражи» добыли «языка», который сообщил, что Мамай рассчитывает на встречу с Олегом и Ягайлом, поэтому «не спешит» выступать, тем более что не «чает» приближения русских войск. Через три дня он предполагает быть на Дону. Как и многое в рассказе «Сказания» и Никоновской летописи, так и данная версия о беспечности Мамая не внушает доверия. Ермолинская летопись, напротив, утверждает, что Мамаю было известно движение русских полков, у которых происходила даже стычка с татарами («а Мамай слышав приход великого князя к Дону и сеченых своих виде...»). Но несомненно, что русские воины неплохо организовали наблюдение за татарскими полчищами. Инициатива была в их руках. И они все время стремились не допустить соединения ордынцев с отрядами рязанцев и литовцев.

Решительным событием в истории похода русских воинов было совещание на Дону по вопросу о том: переправляться ли для встречи с татарами через Дон или, напротив, ожидать их прихода и только тогда вступать в бой. По этому вопросу воины заявляли прямо противоположные мнения. Одни высказывались за то, чтобы перейти реку, другие выражали опасение, что если они сделают это, то им придется иметь дело с соединенными ордынско-литовско-рязанскими силами, которые будет трудно одолеть («умножишася врази наши, татарове, литва, рязанци»). Победило первое мнение, причем побудительным стимулом к принятию решения о переходе через Дон явилось полученное известие о приближении Мамая. Он «възьярися зело и рече к своим: «Подвигнемся к Дону, доколее приспеет нам Ягайло»»[4].

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 25.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 130.
[3] ПСРЛ, т. XI, стр. 55; *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., Тексты, стр. 17, 21.
[4] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 125; т. XX, стр. 201.

Сохранились четыре летописных версии по вопросу о том, кому принадлежала идея переправы через Дон. Ермолинская и Львовская летописи говорят об этом не очень ясно, но из контекста как будто можно заключить, что эта идея отражала требование подавляющего большинства воинов, с которым великий московский князь должен был считаться и претворить его в жизнь. Летописный текст такой: Дмитрий Иванович «повеле *воем* своим облещися во одежи местныя и долго стояша, думающи» (т. е. «вои» долго совещались); «овии глаголаху: «поиде за Дон», а инии не хотяху». В результате долгих размышлений и споров Дмитрий Иванович велел возводить на Дону мосты и искать ночью бродов для переправы («а князь велики повеле мосты мостити черес Дон и бродов пытати в нощи»). Логика текста говорит за то, что приказ Дмитрия Ивановича был вынесен потому, что на этом настаивало большинство воинства. Эта наиболее ранняя летописная версия, по-видимому, является и наиболее правдоподобной.

Но она была переделана в последующих летописных памятниках. Новгородская четвертая, Воскресенская, Типографская летописи также излагают противоречивые мнения, высказывавшиеся по вопросу о целесообразности переправы через Дон, только приписывают эти высказывания не «воям», а «*великим ратникам и воеводам*». Решительным же сторонником мнения о необходимости перейти на другую сторону Дона выступает, по данной летописной версии, московский великий князь. Он произносит, обращаясь ко «всем князем и воеводам великим», пылкую речь и отдает приказание мостить мосты и искать места для переправы вброд через реку. Здесь налицо определенная политическая тенденция, вообще характерная для данного варианта летописной повести и нами уже отмечавшаяся,—изобразить весь поход как предприятие *княжеское*[1].

По «Сказанию» и Никоновской летописи, вопрос о переходе на другую сторону Дона был решен после того, как за это высказались литовские князья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи. Их доводы были такие: на этом берегу реки русское войско может сражаться не стойко, так как у него будет путь к отступлению, на той же стороне Дона воинам придется выбирать лишь между двумя исходами: победить или умереть[2].

Устюжский летописец предлагает четвертую версию. Совет перейти через Дон дал московскому великому князю волынский воевода Дмитрий Михайлович Боброк («и рече великому князю: «аще хощеши крепко битися, то перевеземся за Дон к татаром»»). Князь «похвали... слово его» и поступил так, как он советовал[3].

И в «Сказании», и в Никоновской летописи, и в Устюжском летописце явно выступает стремление к персонификации мысли

---

[1] ПСРЛ, т. IV, стр. 78—79; т. VIII, стр. 37—38; т. XXIV, стр. 145—146.
[2] ПСРЛ, т. XI, стр. 56; *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., Тексты, стр. 21—22.
[3] ПСРЛ, т. XI, стр. 59.

о выборе поля сражения за Доном—желание приписать кому-то одному из руководителей русского войска идею, которая в действительности (кто бы ни являлся ее инициатором) широко овладела массой русских воинов.

В ночь с 7 на 8 сентября русские перешли Дон. Переправе мешал сплошной туман, окутавший местность и долгое время не могший рассеяться («бе же и мьгла тогда велика, потом же мьгла уступи, тогда преидоша вси за Дон»). Мосты, через которые совершалась переправа, были уничтожены. Русские полки расположились в устье реки Непрядвы, впадающей в Дон («и выидоша в поле чисто на усть реки Непрядвы, исполчився»).

В Никоновской летописи содержится рассказ о чудесных знамениях перед битвой (предсказывавших ее исход), свидетелями которых были Дмитрий Боброк Волынец и «некии мужи»—Фома Кацыбей и Семен Антонов. Некоторые из этих рассказов (о двух видениях: «святые» Борис и Глеб секут мечами татарский полк; «святой» митрополит Петр жезлом поражает «эфиопов») имеют чисто литературное происхождение. Отражение каких-то реальных явлений можно видеть в двух знамениях. Во-первых, Дмитрий Боброк и великий князь Дмитрий выезжают в поле ночью («и егда заря угасе и глубоце нощи сущи») и останавливаются между полками противников (русскими и татарскими). Там, где находились русские полки, было совершенно тихо («и бысть тихость велия»). В пределах расположения татарских полков слышались «кличь и стук велий», как будто передвигались обозы, возводились укрепления, раздавались звуки труб («аки торжища снимаются, а аки грады зиждуще, и яко трубы гласят»). Во-вторых, Дмитрий Боброк, сойдя с коня и приложив ухо к земле («и сниде с коня и паде на десное ухо»), слышал какой-то крик на татарском языке («... кричящи татарским гласом...»)[1]. Все эти явления (которым в повести придается значение чудесных примет, якобы уже намечавших результат предстоящего сражения) интересны для нас, так как рисуют положение в лагере обоих противников перед решительной битвой. Русские, совершив переправу, соблюдают полную тишину. Татары готовятся к встрече с русскими, которые наблюдают за всеми их действиями и извлекают из этих наблюдений для себя уроки[2].

В «Сказании о Мамаевом побоище» находим подтверждение сделанному выводу. По этому памятнику, уже на той стороне Дона все время действует русская «сторóжа». «Вестницы» сообщают Дмитрию Донскому, что Мамай приближается («яко царь ближает»). Прибегает Семен Мелик, еле спасшийся от татар, и приносит весть, что татары «оутре будут на Непрядву реку»[3].

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 56—57.

[2] По «Сказанию о Мамаевом побоище» приметы наблюдают не только Дмитрий Иванович, но и Василий Андреевич серпуховский и литовские князья (*С. К. Шамбинаго*, указ. соч., Тексты, стр. 25).

[3] Там же, стр. 22—23. По «Сказанию» русские перешли Дон не в день битвы, а накануне ее.

8 сентября произошла знаменитая Куликовская битва, прочно вошедшая в историю как акт освободительной борьбы русского народа против татаро-монгольского ига.

В ранних летописных памятниках (в Ермолинской, Львовской, Симеоновской летописях) Куликовская битва описана кратко, но эта краткость создает впечатление большой выразительности. Сражение продолжалось с 6 до 9 часов и было трудным и кровопролитным («и бысть сеча велика, и брань крепка, и трус велик зело.., и прольяся кровь, яко дождевная туча...»). Потери с обеих сторон были очень велики («паде множество трупу обоих»). В конечном итоге в результате большого напряжения победу одержали русские полки. Татары обратились в бегство («тако въскоре побегоша погании, а хрестьяне погониша въслед их, бьюще, и гониша, биюще»). Преследуя противника до его «станов» у реки Мечи, русские воины захватили много неприятельского имущества («и взяша все богатство их и стада»). Много ордынцев при этом было перебито («избиша их многое множество»), часть их утонула («а инии истопоша»). Но погибло и большое число русских людей («тогда же руси множество бе избито»). Битвы, подобной Куликовской, на Руси еще не было («яко не бывала от начала бо князем русским»)[1]. В этом описании, несмотря на его известную трафаретность (объясняющуюся употреблением распространенных в литературе приемов воинских повестей), бросаются в глаза два момента. Во-первых, широко применяемые безличные обороты отвечают пронизывающей текст идее: победа достигнута всем русским воинством (а это объективно не может означать иное, чем широкими народными массами). Второй существенный момент, отличающий данный вариант повести,—это его светский характер. Религиозные мотивы здесь присутствуют в той мере, в какой они вообще составляют необходимый элемент средневекового мировоззрения. Так, в повести помещен короткий рассказ о чудесном видении, предшествующем победе русских над ордынцами (ангелы и «святые мученики» помогают «хрестьяном» избивать «поганых»). Но не религиозные мотивы определяют основное идейное содержание рассказа, а мысль о трудности той борьбы, в которой приняло участие «множество бесчислено воев», вложивших в нее чисто человеческие усилия.

При переработке этой ранней летописной версии деятельность русского воинства все более персонифицируется в образах тех, кто стоял во главе его (великого князя Дмитрия Ивановича, князя Владимира Андреевича). При этом усиливается религиозный аспект повествования. Так, по рассказу Новгородской первой летописи, князья Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич, «изрядив полки противу поганых половець и возрев на небо умилныма очима, въздохнув из глубины сердца, рекоста слово псаломъское: «Братие, бог нам прибежище и сила»»! Затем неприятельские полки сошлись,

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 126; т. XX, стр. 201; т. XVIII, стр. 130.

и после долгой «брани» бог устрашил «невидемою силою» «сыны агаряны» (т. е. татар), которые были «погнани», «от крестиян»[1]. Изложение здесь так же кратко, как и в Ермолинской и других сходных с ней летописях. Мы не видим тут нового фактического материала. Совпадают с текстом Ермолинской и других летописей даже многие литературные обороты. Но не совпадают идеи. По Ермолинской летописи, сражаются воины, а ангелы, являющиеся им в видении, лишь свидетельствуют, что небесные силы поддерживают правое дело, осуществляемое человеческим трудом и кровью. В Новгородской первой летописи воинов не видно, за них действуют князья на земле и ангелы на небе.

Другая линия переделки первоначального текста заключалась в гиперболизации ряда эпизодов сражения при сохранении в рассказе общего тона воинской повести. Такая линия отражена в Устюжском летописце. «И ступишася руския полки с погаными на Непрядве реце у Дону, и бысть им сеча велика. По удолиям кровь течаше, а трупа человечья никако же может конь скочити. Великия силы наступили на руския полки на 90-те верстах (по Ермолинской летописи—на 13 верстах), а трупа человечья паде на четыредесяте верстах»[2].

В Новгородской четвертой, Воскресенской, Типографской летописях преобладает религиозная интерпретация событий Куликовской битвы и «княжеский» аспект в их трактовке. Хотя в этом варианте повести и выступают «русские сыны» как участники сражения на Куликовом поле, но основным героем является великий московский князь Дмитрий Иванович.

В списке Дубровского Новгородской четвертой летописи дается «разряд» русских полков, расставленных утром 8 сентября по указанию великого князя, назначившего и полковых воевод. Действовали полки большой, передовой, правой руки, левой руки, сторожевой. Кроме того, в заставе «в дубравах» был укрыт запасной полк во главе с князем Владимиром Андреевичем серпуховско-боровским, Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынцем и другими[3].

Подробно описывает Куликовскую битву Никоновская летопись, сведения которой в ряде случаев совпадают со «Сказанием о Мамаевом побоище». Но последнее оживляет общий с Никоновской летописью материал выдержками из «Задонщины». В описании, которое имеется в Никоновской летописи, переплетаются фактический материал, поэтическая фантазия и политическая тенденция. Выделить эти элементы не всегда легко. В летописи прежде всего охарактеризован ландшафт местности, где произошло сражение: холмистая равнина с оврагом у устья реки Непрядвы («бе же то поле велико и чисто и отлог велик имеа на усть-реки Непрядвы»). С одного холма выступили татарские, с другого—русские

---

[1] НПЛ, стр. 377.
[2] УЛС, стр. 60.
[3] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 486.

воины. Сначала сошлись сторожевые полки. Бой начался с единоборства между татарским «богатырем» Темирь-мурзой, «страшным» по своему внешнему облику, и «изящным» иноком Троице-Сергиева монастыря Пересветом, также обладавшим большой «силой» и «крепостью». В этом единоборстве пали оба противника («и спадоша оба на землю мертви и ту конець приаша оба»). После этого завязалась общая битва. В девятом часу татары стали одолевать русских. На исходе девятого часа из засады вышел запасной русский полк, и его выступление решило исход сражения. Татары дрогнули и побежали, русские воины двинулись вслед за ними и разбили их наголову. В целом нарисована картина, отличающаяся чертами реальности. Известная фантастическая окраска (присущая, например, сцене единоборства Пересвета с Темирь-мурзою) не меняет этого общего впечатления. Политическая тенденция проявляется главным образом в оценке деятельности на поле битвы великого московского князя Дмитрия Донского. К этому вопросу мы сейчас и обратимся.

Ермолинская и Львовская летописи подчеркивают мужество великого князя московского. Согласно летописному рассказу, он сражался в первых рядах русских воинов («а бися в лице с татары на прьвом суиме»). Воеводы советовали ему не выходить на передний план и находиться где-нибудь в более безопасном месте («о сем бо князи воеводы глаголаху ему: «Господине, не стався наперед, но позади, или на крыле, или в опришнем где месте»»). Но Дмитрий Иванович не соглашался на это предложение, возражая, что он не может сам прятаться и в то же время других призывать наступать на неприятеля; он хочет сложить свою голову на поле битвы за русский народ, с тем чтобы служить для всех примером храбрости. «Он же рече: «Да како аз възглаголю: братие, потягнем с единого, а сам лице свое почну крыти или хоронитися назад? Но якоже хощу словом, тако и делом пред всеми главу свою сложити за хрестьяне, да прочии, видевше то, да приимуть дерзость»». Действуя в соответствии со своим заявлением, московский великий князь, несмотря на советы и предостережения, продолжал идти в бой впереди всех («би бо ся наперед ста всех»), татары поражали его в голову и тело («и много ударения прият по главе и по всему телу»), доспех его был сбит. Но бог, говорит летописец, уберег князя от ранения («на телеси же его не бе никакия раны»), хотя кругом него падали русские воины, сраженные врагами («и бе одесную его и ошюю его множество битых»)[1].

Основное, что хочет доказать повесть,—это то, что великий князь Дмитрий сражался как простой воин, не щадя себя и являясь образцом для других участников битвы. Он не был ранен не потому, что оберегал себя, а потому, что бог охранял его. Когда читаешь изложенный летописный текст, то создается впечатление,

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 126; т. XX, стр. 202.

что составитель повести убеждает кого-то, кто сомневается в храбрости Дмитрия Донского и кто удивляется, почему он остался невредимым после такой кровопролитной сечи. К этому вопросу я еще вернусь после разбора других летописных версий о Дмитрии Донском.

Новгородская четвертая, Воскресенская, Типографская летописи воспроизводят вслед за Ермолинской и Львовской летописями похвалу мужеству Дмитрия Донского, дополняя ее некоторыми размышлениями религиозного характера.

Несколько иначе рисуется поведение Дмитрия Донского на Куликовом поле в Никоновской летописи. Перед началом сражения он объездил русские полки и призвал воинов к тому, чтобы они постояли «за православную веру и за братию нашу!» Затем князь слез с коня, снял с себя княжеское одеяние («приволоку») и велел облечься в него и сесть на своего коня своему любимому боярину Михаилу Андреевичу Бренку. Сам же Дмитрий Донской принял участие в сражении в качестве простого воина в составе сторожевого и большого полков. Михаил Андреевич Бренк был убит, а великого князя татары дважды сбили с коня, ранили и он был вынужден уйти—«с побоища» в дубраву и лечь, укрывшись под срубленным рассеченным деревом («и вниде под новосъсечено древо, многоветвено и листвено, и ту скрыв себя, лежаше на земле»). Когда Куликовская битва окончилась победой русских, князь Владимир Андреевич, вместе со своим засадным полком обеспечивший эту победу, стал спрашивать, не видел ли кто-нибудь Дмитрия Донского. Оказалось, что многие были свидетелями его подвигов: он боролся один раз с двумя, другой раз с тремя ордынцами, наконец, тяжело раненый, пеший, стал искать убежища и пропал. Были организованы поиски великого князя по всему полю и, наконец, два «простыя воя», костромичи, заметили его «бита велми», «едва точию дышуща», лежащего под деревом «аки меръmв». Позвали князя Владимира Андреевича. Когда тот подъехал к месту, где находился Дмитрий Донской, последний с трудом поднялся с земли. После этого князья стали осматривать поле боя, печалясь, что оно усеяно телами множества убитых русских воинов[1].

Близкий к Никоновской летописи рассказ о князе Дмитрии Донском содержит и «Сказание о Мамаевом побоище»[2]. Но Никоновская летопись пытается сочетать этот рассказ с характеристикой великого князя, имеющейся в летописной повести, согласно которой он, не слушаясь воевод, сражался всегда впереди других ратников и лишь благодаря помощи божьей избежал ранения, хотя весь его доспех был поврежден. Сочетать эти разные источники трудно, ибо они противоречивы. Но их противоречие устраняется в Никоновской летописи путем замены слов «но на телеси его не

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 59—64.
[2] *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., Тексты, стр. 27—34.

бяше язвы никоея же» словами «на телеси же его нигде же *смертныа раны обретеся*».

Оценка роли на Куликовом поле Дмитрия Донского, данная в «Сказании о Мамаевом побоище» и в Никоновской летописи, отлична от оценки, содержащейся в ранних летописных повестях (краткой и пространной) также и потому, что в последних он выступает один, а в «Сказании» и в Никоновской летописи подчеркивается значение князя Владимира Андреевича в качестве военачальника и митрополита Киприана в качестве идейного вдохновителя дела разгрома татаро-монгольских захватчиков.

Заслуги великого московского князя Дмитрия Ивановича по организации вооруженных сил и руководству ими во время Куликовской битвы бесспорны. Но из имеющихся источников можно думать, что вопрос о поведении князя в день сражения приобрел, по-видимому, политическую остроту. Его ранение, заставившее его выбыть фактически из строя в часы боя, было использовано врагами Московского княжества из числа русских правителей (можно предполагать в качестве таких настроенных враждебно к московскому правительству лиц князей рязанского, тверского) и противниками Дмитрия Донского из числа московских и не московских бояр для его опорочения. Распространялись слухи о том, что, переодевшись в одежду Михаила Бренка, он уклонился от руководства русскими полками в день сражения и фактическим победителем на Куликовом поле оказался князь Владимир Андреевич. Законно предположение, что подобные обвинения в отношении Дмитрия Донского усилились после нашествия на Русь Тохтамыша в 1382 г., когда князя не было в Москве, и он не участвовал в борьбе с ордынцами, причем и в данном случае выдвинулся серпуховско-боровский князь Владимир Андреевич, преследовавший Тохтамыша после его отхода от Москвы. С другой стороны, сторонники Дмитрия Донского, очевидно, пытались при оценке событий на Куликовом поле отодвинуть фигуру князя Владимира Андреевича (заслонившую в глазах многих великого московского князя).

Вероятно, вскоре после нашествия Тохтамыша, еще до смерти Дмитрия Донского (в 1389 г.), и была написана краткая повесть (сохранившаяся в составе Ермолинской и Львовской летописей), в которой подчеркнуто (в плане полемики с незримыми, но реальными оппонентами) мужество великого московского князя, шедшего навстречу всем опасностям и не раненого только потому, что его хранил бог. Тем самым давался отпор версии о ранении князя, ибо эта версия была связана с представлением о том, что он фактически ушел с поля брани, битва продолжалась и закончилась без него, а выиграл ее Владимир Андреевич. Последний упоминается в разбираемой повести, но глухо и без конкретизации его действий на Куликовом поле. Задача повести—подчеркнуть союз Дмитрия Донского с русскими «воями».

Между тем в конце XIV в. появилась в литературе и другая версия о героях Куликовской битвы, принадлежащая автору

«Задонщины»—Софонию. Отдавая должное Дмитрию Донскому, он среди прославившихся 8 сентября 1380 г. лиц на почетное место рядом с ним выдвигает князя Владимира Андреевича.

Две указанных точки зрения по вопросу о характере участия московского великого князя и князя серпуховско-боровского в «брани» с татаро-монгольскими захватчиками в 1380 г. (с одной стороны, краткой «Летописной повести», с другой—«Задонщины») легли в основу позднейших литературных произведений о Куликовской битве.

Текст, имеющийся в Ермолинской и Львовской летописях, был переделан в пространную «Летописную повесть». Сохранив взгляд указанного ранее памятника на Дмитрия Ивановича как храброго рыцаря, опекаемого небесными силами, эта новая повесть значительно затушевала то, что говорилось о русском воинстве как великокняжеской опоре, но зато расширила религиозную канву рассказа. Владимир же Андреевич по-прежнему остался в тени. Можно предположить, что вопрос о двух князьях—московском и серпуховско-боровском, как участниках сопротивления татаро-монгольской агрессии, сделался снова политически актуальным после нашествия на Русь в 1408 г. Едигея, когда преемник Дмитрия Донского—великий князь Василий Дмитриевич уехал из Москвы, а в столице остался для руководства ее обороной Владимир Андреевич. Это обстоятельство опять возбуждало повышенный интерес к тому, как вели себя Дмитрий Донской и Владимир Андреевич и в 1382 и в 1380 гг. В повести отстаивается точка зрения московского правительства по данному поводу. Религиозный аспект повести пространного типа о Куликовской битве вполне отвечает идейному содержанию рассказа о нашествии Едигея, помещенного в Воскресенской летописи, в котором проводится мысль о спасении Москвы от разгрома татаро-монгольскими захватчиками заступничеством «святого» митрополита Петра.

Предположение о появлении пространной повести о Куликовской битве в связи с событиями 1408 г.[1] подтверждается одним местом данной повести по спискам Новгородской четвертой летописи. После сообщения о побеге Ягайла, не успевшего вовремя прийти на помощь к Мамаю, здесь имеется такая фраза: «...токмо имени его [великого князя Дмитрия Донского] Литва бояхуся и трепетаху, а не яко при нонешних временех Литва над нами издеваются и поругаются»[2]. Перед нами ссылка на какие-то (современные составлению распространенной повести о Куликовской битве) русско-литовские осложнения. Вероятно, имеются в виду довольно обостренные взаимоотношения московского великого князя Василия I и великого князя литовского Витовта второй половины десятых годов XV в., доходившие до военных осложнений.

[1] Интересные соображения об этом высказывает Л. А. Дмитриев в работе «Публицистические идеи «Сказания о Мамаевом побоище»».

[2] ПСРЛ, т. IV, стр. 82. На этот летописный текст обратил внимание С. К. Шамбинаго в указ. соч., стр. 75.

Характерно, что один из вариантов повести о нашествии Едигея 1408 г. поднимает вопрос о политике московского правительства в отношении Орды и Великого княжества Литовского, критикуя излишнюю доверчивость Василия I к татаро-монгольским правителям и его слишком большую уступчивость Литве. Вспомнить в данной связи о борьбе в 1380 г. Дмитрия Донского с Мамаем, вступившим в союз с Ягайлом, казалось вполне уместным. Этим и объясняется возникновение пространной «Летописной повести» о Куликовской битве.

«Сказание о Мамаевом побоище» проводит версию «Задонщины» о том, что Дмитрий Донской выступал в 1380 г. в тесном контакте с своим двоюродным братом князем Владимиром Андреевичем. Не желая при этом реабилитировать великого князя от нападок в том, что он якобы уклонился от битвы, «Сказание» разбирает и по-своему расценивает эпизод с переодеванием Дмитрия Ивановича в одежду Михаила Бренка. Признается факт ранения князя, выведший его из строя, но не лишающий его славы одного из участников победы над татаро-монгольскими захватчиками. Вопрос о роли Дмитрия Донского приобретает в «Сказании» общий политический интерес. Можно видеть здесь отражение определенной политической концепции. Дмитрий Донской действует вместе со своим двоюродным братом во главе воевод и «князей местных», «всех князей русских». Это—идея союза русских князей, в то время как в «Летописной повести» проводится другая идея—единовластия московского великого князя и подчинения ему правителей других княжеств. Очевидно, «Сказание» вышло из тех феодальных кругов, представители которых признавали политическое главенство Москвы, но высказывались против единовластия и самовластия.

Показателен имеющийся в «Сказании» развернутый рассказ о литовских князьях Ольгердовичах, пришедших на помощь к Дмитрию Донскому. Они восстали против своего брата Ягайла и перешли на сторону единоверного с ними великого князя московского. В этом эпизоде воплотилась идея о желательности объединения православного населения северо-восточных и юго-западных русских земель.

Наконец, одним из действующих лиц «Сказания» является митрополит Киприан. Появление этой личности в рассказе о Куликовской битве можно, мне кажется, связывать с теми противоречивыми толками, которые шли в среде феодалов и горожан о его поведении в Москве в 1382 г., во время нашествия Тохтамыша. Он не проявил в это время мужества, чуть не стал жертвой народного гнева, а в конце концов ему удалось ускользнуть из Москвы. Ему надо было себя реабилитировать. И вот в «Сказании» под влиянием кого-то из сторонников Киприана появляется сообщение о патриотических поступках митрополита в год подъема народно-освободительного движения, в 1380 г. Отсюда и основание для датировки «Сказания» временем после 1382 г.[1]

[1] С. К. Шамбинаго датирует началом второй четверти XV в. (указ. соч., стр.181).

После Куликовской битвы Мамай хотел, «силу свою остаточную събрав», совершить новый поход на Русь. Но на него напал один из ордынских князей—Тохтамыш и обратил его в бегство. Мамай ушел в Кафу, где и был убит.

Куликовская битва стоила русскому народу многих жертв. Правда, имеющиеся в летописях статистические данные весьма недостоверны. По Никоновской летописи, после битвы у русских осталось 40 тысяч воинов, в то время как выступило против Мамая свыше 400 тысяч[1]. «Сказание о Мамаевом побоище» говорит, что в 1380 г. было убито 250 тысяч русских людей, а уцелело 50 тысяч[2]. Те же данные приведены в Устюжском летописце[3]. Верить этим цифрам нельзя, но они свидетельствуют, что победа была достигнута дорогой ценой.

Куликовская битва была переломным моментом в борьбе Руси за свою независимость, в образовании Русского централизованного государства.

* * *

Подведем итоги. В первой четверти XIV в. происходила длительная война между Московским и Тверским княжествами. Из этой войны Московское княжество вышло победителем. Политическое значение Москвы сильно возросло. В это время над Русью тяготело иго татаро-монгольских завоевателей. Князья были вынуждены подчиняться ханским распоряжениям и не вступали в борьбу с Золотой ордой. Народная борьба против ордынского ига выражалась в форме стихийных восстаний. Наиболее крупным из них было тверское восстание 1327 г.

Важным этапом в процессе политического роста Московского княжества была вторая четверть XIV в. Территория его расширилась. Московскому князю Ивану Калите удалось подчинить своей власти ряд других русских князей. Но Иван Калита не делал попытки свергнуть татаро-монгольское иго. Напротив, он подавлял народные движения, направленные против татаро-монгольских завоевателей. Откупясь от хана деньгами, он жестоко выколачивал их из населения. Фискальный гнет при Иване Калите усилился. В то же время татарские набеги на Русь сократились, и это содействовало некоторому подъему Московского княжества.

Перенапряжение народных сил, как следствие жестокой политики Ивана Калиты, вызвало сразу после его смерти ряд антифеодальных движений на Руси. Усиление классовой борьбы в 40-х годах XIV в. заставило представителей господствующего класса разных княжеств ослабить феодальные войны в целях консолидации своих сил. Этому же содействовало и начавшееся со второй четверти XIV в. наступление на восток литовских феодалов. 40—

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 65.
[2] *С. К. Шамбинаго*, указ. соч., Тексты, стр. 35.
[3] УЛС, стр. 61.

50-е годы XIV в. были временем некоторого укрепления политической самостоятельности ряда русских земель—Новгородской, Тверской, Рязанской, Нижегородской. Московские князья не делали в это время серьезных попыток наступления на другие княжества.

Система некоторого политического равновесия между русскими княжествами продолжалась до 60-х годов XIV в. С этого времени начинается новая борьба между ними. Борьба московского князя Дмитрия Донского с князьями суздальско-нижегородским и тверским закончилась победой Московского княжества. Этому в значительной степени содействовала поддержка, оказанная Дмитрию Донскому торгово-ремесленным населением городов. Тверской князь сильно скомпрометировал себя в глазах русского населения тем, что использовал поддержку литовских феодалов.

С 70-х годов XIV в. активизировалось сопротивление русского народа ордынским захватчикам. Подъем народно-освободительной борьбы привел к решительной схватке Руси с Ордой на Куликовом поле в 1380 г.

Глава V

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ И ПРОЦЕСС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

В ПЕРИОД С 80-х ГОДОВ XIV ВЕКА ДО СЕРЕДИНЫ XV ВЕКА

§ 1. Русь после Куликовской битвы

К началу 80-х годов XIV в. вполне определилась ведущая роль Москвы в процессе формирования Русского централизованного государства.

В Никоновской летописи имеется известие о том, что после Куликовской битвы, 1 ноября 1380 г., все русские князья «сославшеся, велию любовь учиниша между собою»[1]. Это сообщение можно понимать в том смысле, что ряд князей (каких точно, мы сказать не можем) обменялись послами, через которых подтвердили союзные между собой отношения. Возможно и другое: состоялся съезд князей. Но так или иначе бесспорно одно: после Куликовской битвы ясно выявилось главенство на Руси Московского княжества. Поэтому нельзя согласиться с А. Е. Пресняковым, который утверждает, что с последствиями Куликовской битвы не связан «какой-либо перелом во внутренних отношениях Великороссии»[2]. Напротив, такой перелом наступил и его можно заметить весьма отчетливо. Если на первом этапе процесса объединения земель Северо-Восточной Руси еще решался вопрос о том, какое княжество явится центром этого объединения, то на втором этапе, с последней четверти XIV в., указанный вопрос уже отпал. Московское княжество твердо завоевало роль политического центра формирующегося единого государства. Дальнейший процесс политического развития Руси привел к подчинению власти московского правительства правителей других русских княжеств, потерявших свою независимость. Конечно, это не обошлось без сильного сопротивления с их стороны. Но нельзя отрицать того обстоятельства, что ведущая роль Москвы в организации общерусских военных сил, столкнувшихся на Куликовом поле с полчищами Мамая, весьма содействовала делу дальнейшего объединения

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 69.

[2] *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 323.

русских земель (несмотря на все последующее противодействие феодальных сепаратистских кругов ряда княжеств).

Неправ А. Е. Пресняков и тогда, когда он утверждает, что «победа русских войск на Куликовом поле сгубила Мамая, но не создала какого-либо перелома в русско-татарских отношениях»[1]. Напротив, перелом был громадный. И главное, по-моему, заключалось в том, что если в политике в отношении Орды, которую вели Иван Калита и его ближайшие преемники, отсутствовали мотивы освободительной борьбы, то Дмитрий Донской сумел возглавить антитатарское народно-освободительное движение, усилившееся с 70-х годов XIV в. и послужившее предпосылкой замечательной победы, одержанной русским народом над мамаевой Ордой на Куликовом поле.

Но эта победа дорого обошлась Руси. Потери людей были очень велики. В Никоновской летописи говорится о той «печали», которую испытывали все на Руси «о избиенных от Мамаа на Дону князей, и бояр, и воевод, и слуг, и многаго воинства христианского; оскуде бо отнюд вся земля Русскаа воеводами, и слугами, и всеми воинствы и о сем велии страх бысть на всей земле Рустей»[2]. Ослабленные понесенными на Куликовом поле потерями русские княжества на некоторое время потеряли возможность продолжать активную борьбу с Золотой ордой.

Между тем в Золотой орде к рассматриваемому времени утвердился новый хан Тохтамыш, которому удалось объединить под своей властью ее распадавшиеся части и временно преодолеть имевшуюся в ней политическую раздробленность. Не останавливаясь специально на политике Тохтамыша, ибо это—дело специального исследования, укажу только, что его возвышение привлекло внимание русских летописцев. В Никоновской летописи подробно, в других летописях более коротко говорится о переходе на сторону Тохтамыша большинства ордынских князей из числа единомышленников Мамая, о бегстве Мамая в Кафу (где он был убит) и о подчинении Тохтамышем своей власти мамаевой Орды[3].

Согласно летописным данным, Тохтамыш после победы, одержанной над Мамаем, отправил своих послов в Русскую землю к великому князю Дмитрию Ивановичу «и ко всем князем русским, поведая им свои приход, и како въцарися, и како супротивника своего и их врага Мамая победи, и сам шед седе на царстве Волжьском». Это посольство означало не что иное, как требование от русских князей признания их покорности Орде, восстановления тех с ней отношений, которые были до Куликовской битвы. В то же время направление послов к ряду русских князей было, вероятно, вызвано желанием Тохтамыша, имея дело с каждым

---

[1] *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 323.
[2] ПСРЛ, т. XI, стр. 69.
[3] Там же.

из них в отдельности, попытаться использовать разногласия между ними и тем самым легче подчинить их в дальнейшем Орде. Русские князья признали власть Тохтамыша, отпустили «с честию и с дары» его послов, а вслед за ними послали к хану «своих киличеев со многими дары». Поскольку Никоновская летопись в связи с этим сообщением рассказывает о «ссылке» между князьями, можно думать, что решение по вопросу о взаимоотношениях с Ордой было принято ими совместно. Сопротивление хану в данный момент было признано бесполезным.

По данным Никоновской летописи, «киличеи» русских князей вернулись от Тохтамыша «с пожалованием и со многою честию». Однако это была лишь дипломатия. Отправляя на Русь послов и тем самым создавая видимость мирных с ней отношений, Тохтамыш втайне готовился к походу на русские земли, чтобы восстановить господство над ними Орды. И некоторые из его послов, приходившие на Русь, выполняли роль разведчиков. Так, в 1381 г. к Дмитрию Ивановичу направился от Тохтамыша посол Акхозя с 700 татарами, но, дойдя до Нижнего Новгорода, он почему-то (по летописям, якобы из боязни) в Москву не поехал «и возвратился воспять». Вероятно, ему было поручено Тохтамышем ознакомиться с настроением нижегородских князей, с их отношением к великому князю московскому[1]. Итак, на Русь надвигалась новая опасность со стороны Орды.

Победа над мамаевой Ордой на Куликовом поле укрепила авторитет Руси в украинских и белорусских землях, захваченных Литвой. Напротив, пал авторитет литовского великого князя Ягайла, бывшего пособником Мамая. Попытка Ягайло утвердиться в 1381 г. в Полоцке окончилась неудачей. В этой обстановке наметился союз между Тохтамышем и Ягайлом. Последнему послы Тохтамыша привезли специальный ханский ярлык. Ягайло признал верховную власть Тохтамыша.

Международная обстановка становилась все более неблагоприятной для Руси.

§ 2. Нашествие на Русь Тохтамыша и народное восстание в Москве в 1382 г.

В 1382 г. хан Тохтамыш, правление которого в Орде являлось периодом ее известного политического подъема, совершил поход на Русь. Решив начать наступление на Москву, Тохтамыш (согласно Ермолинской летописи) послал прежде всего на Волгу военный отряд («посла на Волгу татар своих»), который должен был перебить русских купцов («избивати вся гости русския»)

---

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 141—142; т. VIII, стр. 41—42; т. XI, стр. 69—70; т. XVIII, стр. 130—131; т. XX, стр. 202; т. XXIII, стр. 127; *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 134—135.

и захватить их суда, с тем чтобы, с одной стороны, обеспечить переправу татарских вооруженных сил через реку, с другой стороны, предотвратить возможность передачи купцами известия русским людям о движении татар («а суды их переимати на перевоз себе, дабы не было вести на Русь»)[1]. Другие летописи, во-первых, уточняют место, куда Тохтамыш направил свой отряд (в район Болгар); во-вторых, говорят о «грабеже» татарами русских гостей и купцов и захвате их товара[2]. Следовательно, поход Тохтамыша с самого начала носил грабительский характер: он должен был нарушить движение по Волге русских купеческих судов. Как указывает Устюжский летописный свод, уцелевшие гости были задержаны татарами и их было запрещено «пущати на Русь»[3].

Переправившись через Волгу, Тохтамыш «со всею силою своею» двинулся в пределы Русской земли, рассчитывая, что внезапный удар татарского войска, неожиданный для русского населения, не позволит последнему быстро организовать сопротивление. Отдельные летописи особенно подчеркивают, что Тохтамыш «поиде изгоном», «идяше безвестно, внезапу, с умением». В более поздних и более распространенных летописных рассказах о походе Тохтамаша подробно говорится, что он принимал все меры к тому, чтобы слухи о его движении как можно дольше не проникали в центральные русские земли («и тако всем злохитрием не дадяще перед собою вести, да не услышан будеть на Русскои земли приход его»). Отмечается также многочисленность и сила войска, возглавленного Тохтамышем («събра воа многи»)[4]. Если даже видеть здесь желание летописцев в какой-то мере объяснить и оправдать то, что русские вооруженные силы не смогли своевременно отбросить татар и пропустили их в самый центр страны, все же, по-видимому, летописные сообщения о том, насколько велика была татарская военная сила и насколько удалась примененная Тохтамышем тактика внезапного удара на Русь, отвечают реальной действительности.

В некотором противоречии с оценкой действий Тохтамыша как очень осторожных, рассчитанных на то, что они не получат широкой огласки, летописи говорят о том, что о них узнали и оказали содействие хану два русских князя: Дмитрий Константинович нижегородско-суздальский и Олег Иванович рязанский. Первый, извещенный о выступлении Тохтамыша, послал к нему в Орду двух своих сыновей, Василия и Семена, с предложением услуг. Не застав Тохтамыша в Орде, они двинулись вслед за ним,

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 127.

[2] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 327; т. VIII, стр. 42; т. XI, стр. 71; т. XV, вып. 1, стр. 143; т. XVIII, стр. 131—132; т. XXIV, стр. 149; т. XXV, стр. 206.

[3] УЛС, стр. 61.

[4] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 127; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 327; т. VIII, стр. 42; т. XI, стр. 71; т. XV, вып. 1, стр 143; т. XVIII, стр. 132; т. XXIV, стр. 150; т. XXV, стр. 206.

настигли его уже на окраинах Рязанской земли и отправились в составе его войска к Москве. Олег рязанский встретил Тохтамыша за границами своего княжества и, не вводя татар в его пределы, указал им дальнейший путь, ознакомив их со всеми бродами на реке Оке. Ермолинская, Симеоновская летописи, Тверской сборник говорят об этом в спокойно протокольном тоне. Другие летописи (Типографская) обвиняют Олега Ивановича в том, что он оказал помощь Тохтамышу в его замыслах против русского народа («и бысть помощник ему на хрестьане») и, вступив в сношения с ним («и би челом ему»), купил своим поступком спасение своего княжества от татарского разорения. Новгородская четвертая, Воскресенская, Никоновская летописи не только клеймят Олега Ивановича за то, что он, заботясь о своих собственных интересах («хотяше добра не нам, но своему княжению помогааше»), содействовал Тохтамышу в его продвижении к Москве («...и бысть ему помощник на победу Руси, но и поспешник на пакость христианом...»), но и выдвигают версию, согласно которой рязанский князь подсказал хану план взятия Москвы («...како без труда взяти камен город Москву и како победити и изнимати великого князя Дмитриа Ивановича»)[1].

Можно, конечно, принять точку зрения первоначальных летописных сводов о том, что нижегородско-суздальский и рязанский князья по своей инициативе завели сношения с Тохтамышем, рассчитывая, по-видимому, этим отвести от себя удар с его стороны, а может быть, будучи заинтересованы и в том, чтобы направить этот удар на Московское княжество в целях его ослабления. Но вряд ли возможно при этом полностью доверять сообщению позднейших московских летописных сводов о том, что Олег Иванович предложил Тохтамышу план, при помощи которого легче всего захватить Москву. В то же время весьма вероятно другое, о чем не говорят летописи,—это то, что сам Тохтамыш, держа свой поход в тайне от великого московского князя, в то же время делал шаги к привлечению на свою сторону нижегородско-суздальского и рязанского князей, которые поэтому и узнали о его намерениях. Использование розни между русскими князьями—давняя тактика Орды.

В Москву весть о движении Тохтамыша пришла, согласно летописи, от «некоторых доброхотящих хрестьяном, живущих в странах татарьских, иже бяху на то устроени суще и поборници земли Русстеи»[2]. Не совсем ясно, что это за «поборники» русских интересов, не русские по национальности, но и не татары, ибо они, согласно летописному тексту, только проживали в непосредственных владениях Орды. Можно думать, что речь идет

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 127; т. XV, вып. 1, стр. 143; т. XV, стр. 441; т. XVIII, стр. 132; т. XXIV, стр. 150; т. VIII, стр. 43; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 327; т. XI, стр. 71—72.

[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 127; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 327—328; т. VIII, стр. 43; т. XXIV, стр. 150; т. XX, стр. 207.

о части нерусского населения Волжско-Окского междуречья (мордва, мари и др.), захваченного татарскими ханами, но относившегося к ним враждебно и тяготевшего к Руси. Выражение «на то устроени суще» свидетельствует, что, находясь где-то на рубеже между русскими и татарскими землями, это население использовалось русскими князьями в качестве пограничной стражи и разведчиков.

Очень различно оценивают летописи поведение московского великого князя Дмитрия Донского после того, как ему стало известно о приближении татар к Москве. В Тверском сборнике говорится лаконично о том, что он сразу уехал в Кострому («то слышав, князь великий побежа на Кострому»)[1]. В более распространенном изложении, но ту же версию передают Рогожский летописец и Симеоновская летопись: «Князь же великии Дмитреи Иванович то слышав, что сам царь идеть на него с всею силою своею, не ста на бои противу его, ни подня рукы противу царя, но поеха в свои град на Кострому»[2]. Итак, согласно сообщению этих летописей, Дмитрий Донской, учитывая опасность нашествия Тохтамыша и приведенной им с собой военной силы, не решился выступить против него и покинул Москву («поеха» звучит более тактично, чем «побежа», но смысл обоих выражений один и тот же). Такая передача событий, по-видимому, восходит к тверскому летописанию, враждебному московской великокняжеской власти и поэтому старающемуся представить его человеком нерешительным. То же говорит Новгородская первая летопись младшего извода: «Князь же великыи, видя многое множество безбожных татар, не ста противу им и поиха на Кострому...»[3]

Несколько иначе изображают события, предшествующие осаде Тохтамышем Москвы, ряд сводов, отражающих в той или иной мере точку зрения московского летописания. Согласно Ермолинской летописи, Дмитрий Донской начал собирать войска («нача полки совокупляти») и выехал для этого из Москвы, намереваясь идти навстречу татарам («и поиде с Москвы, хотя противу татар»). Но тут начались разногласия среди русских князей («и бысть розно в князех русских»). Одни были сторонниками того, чтобы оказать вооруженное сопротивление татарским войскам. Другие указывали на бесцельность этого, ссылаясь на большие потери, недавно понесенные русскими на Куликовском поле («бяху бо мнози от них на Дону избиты»); на то, что Тохтамыш обладает большими силами, которые находятся совсем не далеко, так что поздно думать о сборе русских полков («совокупитися некогда»). Московский великий князь сначала находился в нерешительности («в недоумении быв»), но, так как татары все приближались, он в конце концов отправился в Кострому[4].

---

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 441.
[2] Там же, стр. 143—144; т. XVIII, стр. 132.
[3] НПЛ, стр. 378.
[4] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 128—129.

Картина, нарисованная Ермолинской летописью, коротко воспроизведена в Устюжском летописном своде. Великий князь Дмитрий Иванович «собра воя многа и поиде противу» Тохтамыша. Но между «князьями» и «воеводами» произошла «разпря», «занеже скоро и безвестно приде царь». Дмитрий Донской «не успе» «по иным городом силы совокупити», «не ста противу царя на бои» и удалился в Кострому, «тамо хотя съжидатися» (желая выждать там время)[1].

Примерно то же самое рассказывают летописи Типографская, Новгородская четвертая, Московский летописный свод конца XV в., Воскресенская, Никоновская. Но в этих сводах имеются и некоторые новые, заслуживающие внимания, моменты. Во-первых, говорится о специальном совете, собранном Дмитрием Донским («и начат с братьею своею и с всеми князи русскими о том думати, яко ити противу безбожнаго царя Тахтамыша»; другой вариант— «и начаша думу таковую думати»)[2]. Во-вторых, русские князья и бояре обвиняются в том, что они не обнаружили единство, что среди них проявились «неодиначьство и неимоверьство». В-третьих, данный летописный вариант явно берет под защиту Дмитрия Донского, нерешительность которого («недоумение») объясняется здравым размышлением по поводу того, что ввиду разногласий среди князей и «оскудения» русского воинства после «Мамаева побоища» выступать против Тохтамыша безрассудно («и то познав и разумевь, великий князь Дмитрий Ивановичь бысть в недоумении и размышлении, не хотя стати противу самого царя»)[3]. Всячески желая подчеркнуть предусмотрительность Дмитрия Донского, Никоновская летопись указывает, что после Куликовской битвы, во время которой погибло столько людей, весь русский народ был в страхе, ожидая Тохтамыша. «Оскуде бо вся Русская земля от Мамаева побоища за Доном, и вси русстии людие в страсе и трепете быша за оскудение людей»[4].

Если учитывать тенденциозность тверского летописания, заинтересованного в том, чтобы скомпрометировать Дмитрия Донского, то такой же тенденциозностью пронизаны и поздние московские своды, особенно Никоновская летопись. Последняя, защищая московского князя от выдвинутых против него обвинений в отсутствии решительности, сама обвиняет народ в том, что он поддался панике. А обвинение это, как показывают последующие события, не соответствует действительности.

По-видимому, наиболее близкое к истине изложение событий дает Ермолинская летопись. Дмитрий Донской сделал попытку собрать войско, но эта попытка натолкнулась на сопротивление

---

[1] УЛС, стр. 61.

[2] ПСРЛ, т. XXIV, стр. 150; т. VIII, стр. 43; т. XI, стр. 72; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 328; т. XXV, стр. 207. См. также Летописец XVII в. («Исторический архив», VII, М., 1951, стр. 213).

[3] ПСРЛ, т. VIII, стр. 43; т. XXIV, стр. 150; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 328.

[4] ПСРЛ, т. XI, стр. 72.

со стороны ряда представителей руководящих феодальных кругов Московского княжества, не веривших в возможность отбить натиск татарских вооруженных сил и обнаруживших отсутствие сплоченности и единства. Вряд ли великий князь собирал какой-либо специальный совет для рассмотрения вопроса о сопротивлении Тохтамышу. Весь контекст летописного рассказа в первоначальной редакции свидетельствует о том, что в феодальных кругах царила растерянность, что князья и бояре под влиянием охватившей их паники утратили способность к организованным действиям. Дмитрий Донской, не рассчитывая на силу движения за организованное сопротивление татарам, начавшееся среди московских горожан, уехал в Кострому за военным подкреплением.

Далее ряд летописей рассказывает о вспыхнувшем в Москве восстании[1], но по-разному. Ермолинская летопись говорит о начале восстания в таком контексте: Дмитрий Донской «иде за Волгу, в град свои Кострому, а во граде Москве мятежь бе велик: овии бежати хотяху, а инии в граде сидети»[2]. Текст очень лаконичный и не очень ясный. Но он дает как будто основание думать, что волнения в Москве начались еще до отъезда великого князя, что вопрос о том, бежать или сопротивляться Тохтамышу, взволновавший сначала феодалов, сделался злободневным и для горожан, вызвав среди них большое возбуждение. Назревание антифеодального восстания, очевидно, было одной из причин (а может быть, главной причиной), побудивших Дмитрия Донского покинуть Москву.

Другие летописи (Типографская, Новгородская четвертая, Московский летописный свод конца XV в., Воскресенская, Никоновская) причину московских волнений видят в отсутствии в это время в городе княжеской власти: в Москве возник «мятежь велик», так как «бяху людие смущении, яко овца, не имуща пастыря...»[3] Эта версия о начале московского восстания соответствует общей тенденции поздних московских летописных сводов обвинить князей и бояр в розни между собой и в неповиновении московскому великому князю, что привело к ослаблению центральной власти, к тому, что народ вышел из повиновения. Подобная версия отвечала интересам великокняжеской власти.

Что же конкретно произошло в Москве накануне того, как ее осадили войска Тохтамыша? Наиболее правдивое (хотя и очень сжатое) изображение московских событий находим опять-таки в Ермолинской летописи. Согласно летописному изложению, в городе были «мятеж и распря». «Народ», собравшись («совокуплшеся»), начал звонить во все колокола, созывая вече. На вече, по-видимому,

---

[1] Это восстание довольно подробно освещено в книгах М. Н. Тихомирова «Древняя Москва», стр. 132—134, 192—196 и «Средневековая Москва», стр. 223—228, 247—251.

[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 128.

[3] ПСРЛ, т. XXIV, стр. 150; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 328; т. VIII, стр. 43; т. XI, стр. 72—73; т. XXV, стр. 207.

было вынесено решение о подготовке города к обороне. Поэтому было решено никого из города не выпускать. Горожане организовали охрану всех городских ворот. На крепостной стене над каждыми воротами также были расставлены вооруженные москвичи. Тех, кто пытался бежать из города, задерживали и отнимали у них имущество. Вот в каких выражениях рассказывает обо всем этом летопись: «...и сташа суймом, а инии по вратом, а инии на вратех на всех, не токмо пущати хотяху из града крамолников и мятежников, но и грабяху их»[1].

Характерно, кто «кромольниками» и «мятежниками» летопись называет тех, что хотел оставить город, т. е. летописный рассказ в какой-то мере выражает идеологию горожан. Как уже указывалось выше, по летописным данным, не хотели сопротивляться татарскому натиску князья и бояре. Инициатива же защиты города принадлежала горожанам. Власть в городе, в котором не было князя, из которого в панике старались бежать бояре, взяло в свои руки вече. По его приговору было решено крепить оборону Москвы и не допускать бегства из города. Поскольку в результате восстания горожан политическое руководство в Москве перешло к народу, а феодалы были устранены от власти, это восстание имело антифеодальную направленность. Характерным проявлением антифеодальных действий со стороны городских дружин, которым были поручены охрана крепостных ворот и производство ареста всех тех, кто пытался незаконно уйти из Москвы, было то, что летопись называет «грабежом». Речь идет об отобрании имущества у лиц, не желавших оставаться в городе. Этот, по выражению летописца, «грабеж» в действительности представлял собой конфискацию имущества (осуществляемую вооруженными отрядами горожан у беглецов в соответствии с общим постановлением веча), с тем чтобы оно не досталось врагу и потому что для перенесения предстоящей тяжелой осады Москвы москвичи нуждались в материальных ресурсах, которые нельзя было выпускать из города.

Антифеодальный характер московского восстания ярко вырисовывается из дальнейшего рассказа Ермолинской летописи. Горожане, к которым перешла власть в Москве, не стеснялись и не боялись ни находившегося здесь митрополита Киприана («ни самого митрополита усрамилися»), ни бояр («ни бояр великых устрашишася»), призывая к порядку всех, кто не хотел подчиняться вооруженным отрядам, выделенным для охраны города вечем («на вся огрозишася»). Когда летопись говорит, что у городских ворот стояли вооруженные москвичи («и в вратех всех с оружии обнаженными стояху»), не пропуская никого из города, а находившиеся на крепостных стенах сторожа забрасывали пытавшихся уйти камнями («и с врат камением шибаху»)[2], то не чувствуется, что в этих рассказах речь идет о действиях разнузданной толпы. Напротив, видно, что горо-

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 128. См. *М. Н. Тихомиров*, Древняя Москва, стр. 193—194.

[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 128; «Исторический архив», VII, стр. 124.

жане, облеченные властью, заботятся о сохранении в Москве спокойствия и о том, чтобы сделать население готовым к сопротивлению врагу, а панически настроенные феодалы мешают этому. За упреком, брошенным Ермолинской летописью москвичам в отсутствии стыда перед митрополитом и страха перед «великими боярами», чувствуется дань уважения их спокойствию и достойному поведению в обстановке той растерянности, которая создана представителями господствующего класса.

Летописи расходятся в своих сообщениях относительно судьбы во время всех этих событий митрополита Киприана. По этому поводу сохранились три версии. Согласно первой из них (Новгородская первая летопись), митрополит уехал (одновременно с великим князем) в Тверь[1]. Вторая версия (Устюжского летописного свода) говорит о бегстве митрополита из Москвы (уже после того, как там произошло восстание) в Волоколамск[2]. Наконец, по сведениям большинства летописей, Киприан оставался в Москве некоторое время после того, как власть перешла к вечу, но затем ему удалось добиться у горожан позволения уйти из города.

По-видимому, последняя версия является наиболее правдоподобной. Весьма вероятно также, что Устюжский летописный свод, рассказывая о побеге митрополита во время московского «мятежа», имел в виду не бегство в буквальном смысле слова, а уход, хотя формально и легализованный, но вызванный страхом перед опасностями, и социальной (антифеодальное движение), и внешней (татарское наступление).

Ермолинская летопись глухо говорит, что после ряда просьб народ наконец согласился выпустить из города митрополита и его сторонников, очевидно, вместе с ним настаивавших на сдаче Москвы, но имущество их было удержано. «Потом же едва народи умолени быша, выпустиша из града митрополита, прочих с ним ограбивше, а единако с ним мятяху»[3]. За словами «едва народи умолени быша» скрывается не совсем для нас ясная картина длительных переговоров церковных и светских феодалов с горожанами. Несомненно, что именно последние диктуют первым условия. Что их заставило пойти на какие-то уступки митрополиту с его кликой? Уважение к его сану, известный пиетет к представителям феодальной знати, сознание, что присутствие митрополита в городе все равно бесполезно для дела обороны, а может быть, даже и повредит ему (ибо влияние митрополита в народе сильно, а настроение его таково, что защитить Москву невозможно)? Трудно сказать, какие соображения руководили горожанами. Но ясно, что хозяином города в данный момент является народ и от него зависит судьба тех, кто находится в Москве.

Имеются сведения о том, что после отъезда в Кострому Дмитрия Донского в Москве осталась его супруга, разделившая судьбу

[1] НПЛ, стр. 378.
[2] УЛС, стр. 61.
[3] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 128.

митрополита Киприана: вместе с ним она некоторое время была задержана, а затем одновременно с ним отпущена. Об этом сообщает Тверской сборник, в котором московские волнения описаны очень лаконично. Здесь в нескольких словах рассказано о вечевом собрании в Москве («людие сташа вечем»), об отобрании горожанами имущества у митрополита Киприана и жены великого московского князя, а затем о данном им разрешении покинуть город («людие сташа вечем, митрополита и великую княгиню ограбиша и одва вон из города пустиша»)[1].

Не верить этому сообщению нет оснований. Тем более характерно, что о судьбе великой московской княгини нет сведений в некоторых московских сводах, очевидно, считавших политически не особенно уместным поднимать об этом вопрос (ведь княгиня была оставлена в городе уехавшим оттуда Дмитрием Донским). В Устюжском летописном своде, надо думать опять-таки из политических соображений, дело излагается так, как будто с княгиней ничего не случилось, она якобы своевременно уехала со своим мужем и с детьми в Кострому[2].

В отдельных летописях (Симеоновской, Рогожском летописце) рассказ о волнениях в Москве вообще выпущен. Если этот пропуск восходит к тверскому летописанию, то в нем можно видеть результат политической цензуры. В глазах тверских князей события 1382 г. имели много общего с тверским восстанием 1327 г. В обоих случаях народ сам, без своих князей, и даже в известной мере вопреки князьям, поднялся против татаро-монгольских захватчиков. Эта аналогия не могла быть особенно приятной для феодалов. И если летописцы, действовавшие по заказу тверских князей, много потрудились над тем, чтобы извратить настоящий, общенародный, характер движения в Твери в 1327 г. (выдав его за движение, возникшее по княжескому почину), то те же летописцы, повидимому, выбросили из описания событий в Москве в 1382 г. наиболее волнующие строки о деятельности народа до прибытия в город литовского князя Остея.

В летописях Типографской, Новгородской четвертой, Воскресенской рассказ Ермолинской летописи получил дальнейшую литературную обработку и известную переработку с точки зрения его идейного содержания. Я уже говорил, что в данных летописных текстах начало московских волнений связывается с тем, что в Москве не было «пастыря»—великого князя и из-за этого «возмятоша бо ся гражане»[3]. Движение горожан расценивается летописями как большое зло, как такое отрицательное явление социальной жизни, которое может исправить только княжеская власть (из дальнейшего будет видно, что летописец положительно расценивает приезд в Москву литовского князя Остея). «Граду же единаче в

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 441.
[2] УЛС, стр. 61.
[3] ПСРЛ, т. XXIV, стр 150; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 328; т. VIII, стр. 43, т. XXV, стр. 207.

мятежи смоущающеся аки морю мутящюся в бури велице, и ни откудоу же оутешениа обретающе, нъ паче болших и поущьших зол ожидаахоу»[1],—читаем в указанных летописях.

Если в Типографской летописи еще сохранились некоторые проявления идеологии горожан, чувствующиеся в Ермолинской летописи, то в целом рассказу о волнениях в Москве в 1382 г. здесь придан характер, отвечающий взглядам на них феодалов. Выступление горожан осуждается. В Новгородской четвертой и Воскресенской летописях феодальный аспект в оценке событий 1382 г. окончательно торжествует. «Мятежниками» и «крамольниками» здесь называются уже не феодалы, бежавшие из города, а горожане, созвавшие вече и постановившие их задерживать: «и въста-ша вечем народи мятежници недобрии человеци, людие крамолници...»[2]

Из подробностей фактического характера в Типографской, Новгородской четвертой, Воскресенской летописях интересно указание на то, что во время паники, поднятой феодалами, не только началось их бегство из Москвы, но многие, напротив, стремились укрыться за крепкими московскими стенами и спрятать в городе свое имущество («овии с рухлядию в град вмещающеся»)[3].

Особенно резкими словами обличает участников московского восстания Никоновская летопись. Она тенденциозно освещает события, указывая, что «возсташа злии человеци и друг на друга и сотвориша разбой и грабежь велий»[4]. Волнующиеся горожане обвиняются в том, что они оскорбляли великую княгиню («и великую княгиню Евдокею преобидеша»). Митрополит же Киприан наделяется положительными чертами и выступает в изображении летописца человеком, якобы старавшимся восстановить в городе спокойствие и порядок. «Киприан же митрополит всея Русии возпрещаше им»[5].

Никоновская летопись вряд ли может представить интерес в качестве дополнительного (к более ранним сводам) источника, из которого можно извлечь какие-либо новые факты относительно того, что произошло в Москве в 1382 г. Ее значение в другом. Во-первых, совершенно очевидно, что на оценку московских событий накануне прихода Тохтамыша в какой-то мере перенесено отрицательное отношение составителя Никоновского свода, жившего свыше полутораста лет после них, к антифеодальным восстаниям середины XVI в. Во-вторых, ясно, что представители феодального лагеря, описывавшие с таким раздражением московские волнения 1382 г., прекрасно понимали, какую опасность они представляли для господствующего класса. А это понимание лишний

---

[1] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 328.

[2] Там же, стр. 329; т. VIII, стр. 43. *М. Н. Тихомиров*, Древняя Москва, стр. 195—196.

[3] ПСРЛ, т. XXIV, стр. 150; т. IV, ч 1, вып. 2, стр. 329; т. VIII, стр. 43.

[4] ПСРЛ, т. XI, стр. 72—73.

[5] Там же.

раз доказывает антифеодальную классовую сущность изучаемого городского московского восстания.

Скоро после его начала в Москву явился один из находившихся на Руси литовских князей, внук Ольгерда—Остей. К приходу последнего различные летописи относятся по-разному. Некоторые из них (Ермолинская, Симеоновская, Рогожский летописец) видят в Остее прежде всего военачальника, сумевшего возглавить оборону: «...и тои окрепи град и затворися в нем со множеством народа»[1]; «...а в городе Москве тогда затворился князь Остеи, внук Олгердов, с множеством народа...»[2] Ряд летописных сводов (особенно более поздних) подчеркивает другую сторону дела: появление в Москве Остея не только обеспечило военное руководство горожанами, оказавшимися в осаде; он, кроме того, сумел подавить восстание («и той окрепи народы, и мятеж градный устави, и затворися с ними в граде, и седе с множеством народа, сущего в осаде»)[3]. Такие своды, как Тверской сборник, Устюжский летописный свод, говорят о деятельности Остея глухо и лаконично: «окрепи люди, затворися в граде»; «и укрепи люди и затворись в городе Москве»[4]. Выражение «окрепи (или «укрепи») люди» можно понимать двояко: в смысле или военном (укрепил, сделал готовыми к сопротивлению), или социальном (добился прекращения среди населения противоречий, розни).

Учитывая обстановку, которая сложилась в то время в Москве, вернее всего предположить, что Остей был призван туда вечем в качестве военачальника. Его прибытие имело положительное значение для подготовки москвичей к обороне города. В дальнейшем летописцы, отражавшие идеологию феодалов, придали деятельности Остея социально-политический оттенок, изобразив его усмирителем московского населения.

Некоторые летописи касаются вопроса о социальном составе людей, оставшихся в Москве в то время, когда на нее наступал Тохтамыш. Симеоновская летопись и Рогожский летописец при этом на первое место ставят горожан («гражан»), затем указывают на скопление за городскими стенами значительного количества окрестного сельского населения («...елико бежиан с волостеи збежалося») и беженцев из более отдаленных местностей («и елико от инех збежалося»); на третье место поставлены духовенство и монахи («...игумени, и прозвитери, и чернци...»)[5] Отмечается большое число бедноты («и нищии и убозии»). Совсем не упоминаются бояре и вообще представители феодального класса. Словом, явно подчеркивается преобладание среди москвичей демократических элементов. Наряду с населением мужского пола в городе, по лето-

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 128.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 132; т. XV, стр. 144.
[3] ПСРЛ, т. XXIV, стр. 150—151; т. IV, ч. 2, вып. 1, стр. 329; т. VIII, стр. 43; т. XI, стр. 13.
[4] ПСРЛ, т. XV, стр. 441; УЛС, стр. 62.
[5] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 132; т. XV, вып. 1, стр. 144.

писным данным, было много женщин и детей («и всяк возраст: мужеи, и жены, и дети, и младенци»).

Несколько иную социальную картину рисуют летописи Новгородская четвертая, Воскресенская, Никоновская. Они опускают при перечислении различных разрядов населения, собравшегося в Москве, «убогих людей», но зато называют бояр, верхушку горожан («сурожан», «суконников»,) а затем—«прочих купцов»[1]. Конечно, нет никаких оснований отрицать то, что не все представители господствующего класса разбежались из Москвы. Надо думать, что там оставалось достаточно и бояр, и лиц, принадлежащих к другим привилегированным слоям населения. Однако бросается в глаза явная тенденция некоторых летописных сводов несколько «облагородить» защитников Москвы, снизив роль в ее обороне широких масс рядовых горожан и окрестного крестьянства.

Войска Тохтамыша, перейдя Оку, взяли Серпухов (причем город был сожжен) и приближались к Москве, уничтожая все на своем пути («волости и села жгучи и воюючи, а род христианский секучи и убиваючи, а иныя люди в полон емлючи»)[2]. 23 августа первые татарские отряды подошли к Москве. Они прежде всего постарались установить, здесь ли находится великий князь Дмитрий Иванович, а затем осмотрели подступы к городу и городские укрепления («и поеха около города, обзирающе и расмотряющи пристоупы, и рвы, и врата, и забралы, и стрелницы...»)[3]

На другой день утром к Москве подошел сам Тохтамыш «со всею силою». Город был окружен татарами со всех сторон («и приступиша со все стороны»). На защитников города сплошным дождевым потоком посыпались стрелы, выпускаемые татарскими воинами («бяху же стрелы их яко дождь умножены»)[4].

Летописи по-разному описывают ход осады, которая продолжалась три дня. Рогожский летописец и Симеоновская летопись вообще опускают события этих трех дней, может быть, потому же, почему они выпустили и какое-либо упоминание о волнениях в Москве: чтобы не подчеркивать лишний раз инициативу народных масс, а, напротив, показать организующую роль княжеской власти. И действительно, в изображении обороны Москвы этими летописями ее главным героем выступает князь Остей. Пока хану не удалось его обмануть, город держался[5].

В Ермолинской летописи, напротив, показано мужество защитников города. Это еще раз свидетельствует о том, что в ней в какой-то мере отразилась идеология горожан. Москвичи стреляли в захватчиков, забрасывали их камнями («а гражане противу их стреляху и камением шибаху»). Но татары сбили горожан с кре-

---

[1] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 329; т. VIII, стр. 43—44; т. XI, стр. 73—74.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 132; т. XV, вып. 1, стр. 144

[3] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 330.

[4] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 128.

[5] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 132; т. XV, вып. 1, стр. 144.

постных стен и (поскольку стены были сравнительно низкими) приставили к ним лестницы, пытаясь таким путем проникнуть в город. Тогда москвичи стали обливать захватчиков кипятком («и възвариша воду в котлех, льяху нань»). Летопись отмечает также применение защитниками Москвы огнестрельного оружия: «тюфяков» и «пушек». На страницах Ермолинской летописи запечатлено имя одного из героев московской обороны, суконника Адама, который, находясь на стене у Фроловских ворот, выпустил стрелу и поразил насмерть какого-то видного ордынского князя, приближенного Тохтамыша[1].

Факты народного героизма сохранены и в ряде сводов, которым присуща тенденция снизить роль народных масс в событиях 1382 г. (летописи Типографская, Новгородская четвертая, Воскресенская, Никоновская). Литературно и политически некоторые картины русско-татарской борьбы приобрели в этих летописях даже бóльшую рельефность и убедительность. Так, например, эпизод убийства суконником Адамом ордынского князя, описанный весьма красочно («напряг стрелу самострельную, юже испусти не напрасно, ею же оуязвив сердце его гневливое и вскоре смерть емоу нанесе»), приобретает известное символическое значение: это удар по всей татарской силе («се же бысть велика язва всем татаром»)[2].

Но в то же время в указанных летописных сводах сделана попытка скомпрометировать народные массы, вынесшие на своих плечах всю тяжесть недолгодневной обороны Москвы, которая скоро была взята татарами и подверглась страшному разорению. Летописи противопоставляют «добрых» и «недобрых» людей, вкладывая в эти эпитеты не моральное, а социальное содержание. «Добрии» (благородные) люди во время подступа татар к Москве молились богу и готовились к смерти, а «недобрии» (простой народ) выносили из погребов своих господ запасы меда в дорогих сосудах и напивались пьяными. Похваляясь, что за городскими укреплениями им не страшны татары («селик тверд град имуще, еже суть стены каменны и врата железна, не трьпять бо ти долго стояти под городом нашим»), они забирались на крепостные стены и в пьяном виде, едва держась на ногах («пьяни соуще, шатахоуся»), ругались и дразнили татарских воинов[3]. И только тогда, когда к городу подошли все татарские полчища во главе с Тохтамышем, самонадеянные и беспечные москвичи ощутили страх.

Если и нельзя, конечно, отрицать того, что при скоплении в Москве массы народа разного возраста, социального положения и занятий, могли иметь место и разгромы боярских погребов, и случаи пьянства и нарушения военной дисциплины, то в целом

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 128.

[2] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 1, стр. 332; т. VIII, стр. 44—45; т. XI, стр. 74—75; т. XXIV, стр. 152.

[3] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 1, стр. 330; т. VIII, стр. 44; т. XI, стр. 73—74; т. XXIV, стр. 151.

вся нарисованная выше картина является нарочито тенденциозной. Ее цель—представить массу рядового населения Москвы самонадеянной и разнузданной толпой, неспособной к серьезному отпору врагу. Тем самым оправдывалось поведение феодалов, понимавших якобы всю бессмысленность защиты города при помощи таких людей и поэтому заблаговременно покинувших Москву. Но верность и типичность летописных зарисовок сцен пьяного разгула и вызывающего и безрассудного поведения москвичей перед лицом хорошо вооруженного врага убедительно опровергаются другими, сохраненными летописями, картинами мужества, самоотверженности и боевого умения, проявленных горожанами.

Определенная тенденция, пронизывающая изучаемые своды, заключается также в подчеркивании того, что военная выучка и боевой опыт татар были несравненно выше, чем гражданского населения Москвы. Татары были прекрасными наездниками и искусными стрелками, умеющими во время верховой езды метко целиться и пускать стрелы в разные стороны: «одоляхоу бо тотарьскиа стрелы паче же, нежели гражданьскиа, бехоу бо оу них стрелци горазднии вельми: ови от них стояще стреляхоу, а друзии скоро рищоуще, изучени суще, а инии на кони борзо гоняще, на обе руце и пакы напред и назад скорополоучно без прогреха стреляюще»[1]. Для подобного сопоставления боевых навыков татар и московских горожан в пользу первых, очевидно, было известное основание. И поэтому понятно, что сопротивление москвичей татарскому натиску было сопряжено для них с большими трудностями.

В очень коротком рассказе Тверского сборника первая встреча москвичей с татарами изображена в стиле политической карикатуры: «и начаша пианици ругатися.., они же [татары] на град саблями махаху»[2].

Москва была взята войсками Тохтамыша на четвертый день после начала ее осады, 26 августа. Овладеть городом Тохтамышу удалось обманом. По рассказу Симеоновской летописи и Рогожского летописца, хан обманным путем вызвал из города князя Остея, якобы для переговоров о мире, и, как только князь показался из городских ворот, тут же убил его: «царь же... оболга Остея лживыми речами и миром лживым, и вызва его из града и уби его пред спы («враты») града...» Затем татарским воинам был отдан приказ обступить со всех сторон город, подставить к крепостным стенам лестницы, забраться по ним и овладеть всеми укреплениями. Так была захвачена Москва: «и по лествицам възлезшем на город на заборолы, и тако взяша град...»[3]

Думается, что разбираемая летописная версия изображает дело слишком упрощенно. Если ей поверить, то выходит, что препятствием для татар являлся один Остей. Стоило его устранить, и легко было осуществлено то, чего не могли достигнуть раньше:

[1] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 44; т. XI, стр. 74—75; т. XXIV, стр. 151.
[2] ПСРЛ, т. XV, стр. 441.
[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 132; т. XV, вып. 1, стр. 144.

проникнуть через крепостные стены в город. Теперь татары уже не испугались ни стрел, ни камней, ни кипятка, которыми встречали их москвичи и которые раньше наводили на них страх. Не остановили их ни тюфяки, ни пушки. Подобная трактовка событий не случайна для данных летописных сводов. По идее, в них заложенной, защиту Москвы обеспечивал князь, в силу чего в этих сводах и выпущено описание сопротивления врагу, оказанного горожанами.

Конечно, неожиданная гибель военачальника не могла не вызвать растерянности среди москвичей и не сказаться на их обороноспособности. Население было в основном гражданское (хотя горожане обычно и владели оружием) и, попав в военные условия, нуждалось в руководстве. Татары могли постараться использовать естественную в данных условиях неуверенность и слабость московских жителей, оставшихся без князя, и быстрым внезапным натиском завладеть городом. Надо принять также во внимание и то, что ведь Остей отправился в татарский стан для переговоров, и жители Москвы, не зная, что татары прибегли к уловке, не ожидали, что на них тут же последует нападение врага. Но, если даже учесть все вышеизложенное, нельзя отрешиться от впечатления о нарочитости версии Симеоновской летописи и Рогожского летописца.

Более правдоподобен, на наш взгляд, рассказ Ермолинской летописи. Он отличается от рассказа Симеоновской летописи и Рогожского летописца в ряде моментов. Во-первых, по Ермолинской летописи, обман татарами князя сопровождался обманом ими же русского народа. Для того чтобы Остей согласился выйти к ордынским князьям, надо было добиться согласия на это со стороны горожан, которое могло быть выражено, очевидно, лишь в форме вечевого приговора. И это вполне понятно. Верховной властью в городе в данный момент было вече. Оно пригласило князя, который ему подчинялся, перед ним отвечал. Сопровождать его к хану должна была депутация горожан.

Второе, что подчеркивает Ермолинская летопись,—это то, что уговорить жителей Москвы выйти из города вместе с князем оказалось не так легко. Они проявили естественное недоверие. Чтобы рассеять его, ордынцы прибегли к посредничеству пришедших под Москву с Тохтамышем нижегородско-суздальских князей Василия и Семена Дмитриевичей, которые под присягой подтвердили москвичам, что им нечего бояться. Таким образом, нижегородско-суздальские князья пригодились хану. Совершая предательство, они, очевидно, рассчитывали, что оно будет вознаграждено.

Третье, что обращает на себя внимание в рассказе Ермолинской летописи, это—характер ханского требования, предъявленного москвичам. В летописной передаче оно звучит так: «Вас, людей своих, хощет жаловати царь, неповинни бо есте, не достоини смерти, а ополчился есть на великого князя, а от вас ничего же иного требуеть, но токмо изыдете в стретение его со князем вашим,

с легкими дары, хощеть бо град сеи видети, и вам всем дает мир и любовь»[1]. Что, собственно говоря, значит эта декларация? Что подразумевают слова хана о его желании видеть Москву? Конечно, не всегда правомерно искать скрытый смысл в каждом летописном выражении. Рискованно излишне усложнять правосознание людей того времени. Наивно также думать, что, ведя вооруженную борьбу друг с другом, татары и русские уже тут же заготовили четкие формулы их будущих политических взаимоотношений. И тем не менее историк обязан раскрыть хотя бы общий смысл тех правовых и политических понятий, которыми оперировали обе стороны (и татары, и русские), хотя бы эти понятия и не выливались в отточенные и законченные параграфы юридических трактатов. Несомненно, хан, даруя (на словах) населению Москвы жизнь и снимая угрозу разорения города, требовал от москвичей покорности и признания своей зависимости от Орды. Речь шла о возвращении к порядкам, бывшим до Куликовской битвы. Определенный политический смысл должен был иметь акт признания главенства на Руси хана у стен Москвы—города, ставшего центром объединения русских земель, претендовавшего на роль столицы будущего единого государства, города, откуда в 1380 г. двинулись полки, нанесшие Орде решительный удар на Дону. В то же время, требуя лишь «легких даров», Тохтамыш предлагал горожанам почетные условия сдачи.

В словах Тохтамыша, что он считает виновным перед ним одного Дмитрия Донского, но не народ, чувствуется желание поссорить население Московского княжества с его князем. Можно ли думать, что этот мотив в ханской декларации произвел известное впечатление на москвичей? Рассуждая абстрактно, это, конечно, возможно. Ведь князь покинул (по каким причинам, это особый вопрос) Москву, оставил в трудных условиях горожан. Почему бы им со своей стороны не возложить всю ответственность перед Ордой на Дмитрия Донского? Однако подобные настроения трудно допустить, учитывая авторитет в народе великокняжеской власти. Очевидно, психология горожан, вынужденных согласиться на условия, предложенные Тохтамышем, была примерно такая: они не вдавались в существо претензий хана к их князю, считая, что нужно сохранить город, а князь по возвращении сам сумеет дать ответ Орде.

В Типографской, Новгородской четвертой, Воскресенской, Никоновской летописях слиты и несколько расширены приведенные выше рассказы 1) Ермолинской и 2) Симеоновской и Рогожской летописей. Принципиально нового материала здесь не содержится.

Весьма своеобразно передает речь татарских парламентеров, обращенную к московскому населению, Тверской сборник: «пришел царь своего холопа показнити Дмитриа, а ныне убегль, а царь вам повествует: аз не пришел улуса своего истеряти, но соблюсти...»[2].

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 128.
[2] ПСРЛ, т. XV, стр. 442.

Такие термины, как «улус» (повторенный в Никоновской летописи[1]), придают этой речи оттенок близости к терминологии и понятиям татаро-монгольских ханов. Выражение «беглый холоп» применительно к московскому князю (которое должно было презрительно звучать в устах хана) воспроизводится тверским летописанием, чтобы подчеркнуть, что Дмитрий Донской, претендовавший на великокняжеский титул и политическое преобладание над всеми русскими князьями, в действительности—ордынский ставленник. В этом проявилось враждебное отношение к московским князьям летописца, выражавшего идеологию тверской великокняжеской власти.

Москвичи, ставшие жертвой обмана и со стороны ордынских, и со стороны русских (нижегородско-суздальских) князей, отправили большую депутацию к Тохтамышу. Ермолинская летопись не говорит подробно, кем были эти представители по своему социальному составу. Она только указывает, что впереди шли князь и «лучшие люди», за ними духовенство («чин священничьскы»). Другие летописи рассказывают, что из Москвы навстречу хану вышли люди разного социального положения. По Типографской летописи, это были «... анхимандриты, игумени и попове с кресты, а по них бояре, болшие люди (очевидно, верхушка горожан), и потом весь народ града Москвы». Новгородская четвертая летопись так рисует шествие к хану: «отвориша врата градная, и выидоша с дари многими к царю, такоже архимандритове, и игумены, и попове с кресты, а по них бояре, болшии моужи, и потом и черныи люди»[2]. Выше уже отмечалась тенденция ряда сводов (в том числе и этого) подчеркнуть роль боярства в Москве в дни осады и несколько затушевать демократический характер ее населения в это время. Подобная тенденция выступает и при сравнении только что приведенных текстов Новгородской и Ермолинской летописей.

Анализ всех летописных данных позволяет, мне кажется, высказать предположение, что представителей московских жителей, которые должны были встретиться с Тохтамышем, выделило вече. Их численность была достаточно велика. В их состав входили и бояре, и зажиточные слои горожан, но большое место занимали среди них черные люди.

Татары поступили с москвичами очень коварно. После того, как те открыли ворота и вышли из города, они сначала убили Остея; затем стали избивать всех других участников шествия к Тохтамышу; наконец, ринулись через ворота а также по лестницам через стены в город и устроили там полный погром. Люди прятались в церквах, но татары извлекали их оттуда и уничтожали. Были разграблены церкви, захвачена княжеская казна, расхищено имущество бояр, гостей-сурожан, суконников, московских купцов и людей, которые «со многих земль сбеглися»[3].

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 75—76.
[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 128; т. XXIV, стр. 152; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр 333.
[3] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 129.

Во время татарского погрома погибло большое количество книг, снесенных для сохранности в соборные церкви со всего города, а также привезенных «из загородиа» и «ис сел». Это книжное богатство было так велико, что сложенное в церквах, заполнило их целиком, вплоть до сводов («до стропа»)[1]. Характернейший факт! Он говорит о многом. И о высокой культуре древней Руси, и о том, что во время панического бегства из Москвы ряда бояр многие любители книг (очевидно, ремесленники-писцы; представители духовенства, в том, числе сельского; купцы; возможно, некоторая часть феодальной знати) думали о спасении книг. А раз их свозили в Москву, значит, велика была воля к ее обороне.

Говоря о погибших в Москве во время бесчинств разнузданных татарских воинов, летописцы подчеркивают, что среди них было много простых людей («простьцов») разного возраста, от стариков до младенцев («от унаго и до старца»)[2]. Те, кто уцелел от меча, утонули в море крови или были задавлены грудами трупов («а инии истопоша, а инии в трупьи и в крови издушишася»)[3].

Наконец, в городе начался пожар. Версии о его происхождении разные. Одна из них (Тверской сборник) приписывает поджог Москвы русскому населению («а гражане сами град зажгоша»). Объяснить такой акт (если он действительно имел место) можно нежеланием отдать столицу, где были сосредоточены большие ценности, на разграбление врагу. Но большинство летописей считает поджигателями Москвы татар. По-видимому, так оно и было. Разграбив город, воспользовавшись всеми богатствами, в нем собранными, захватчики решили его уничтожить совсем, чтобы нанести тем самым большой ущерб русским. Это была и месть за Куликово поле и желание подорвать силу Московского княжества, уже выступавшего во главе процесса объединения русских земель и возглавившего борьбу Руси с татаро-монгольским игом.

Летопись приводит цифры потерь, понесенных московским населением во время погрома Тохтамыша. Дмитрий Донской по возвращении в Москву нашел там бесчисленное количество трупов. Он потребовал, чтобы они были преданы погребению («и повелеша телеса мертвых погребати»), уплачивая тем, кто хоронил мертвых, по рублю за погребение 80 человек. Всего же на это дело было израсходовано по одним сведениям 150 рублей, по другим 300 рублей[4]. Если считать реальными приведенные цифры, то, следовательно, погибших было или около 12 тысяч или около 24 тысяч человек[5].

В ряде летописей высказывается большая печаль по поводу разорения Москвы Тохтамышем и его полчищами. Сравнивается прошлое и настоящее Москвы. Грустной картине сожженного

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 132; т. XV, вып. 1, стр. 145.
[2] Там же.
[3] ПСРЛ, т. XV, стр. 442.
[4] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 129.
[5] УЛС, стр. 62.

города противопоставляется Москва, какой она была до захвата ее татарскими войсками,—многолюдный, богатый город. «Бяше бо дотоле видети град Москва велик и чюден, и много людей в немь, кипяше богатьством и славою, превзыде же вся грады в Рустей земли честию многою ...; в се же время изменися доброта его, и отъиде слава его и всея чести в едином часе изменися, егда взят бысть и пожжен; не видети иного ничего же, развее дым и земля, и трупиа мертвых многых лежаща, церкви святыя запалены быша и падошася, а каменыя стоаше выгореша внутре и огоревша вне;... ни единого же бо видети ходяща по пожару людии»[1].

Страшному разорению со стороны татарских полчищ подверглись и другие русские города: Владимир-на-Клязьме, Переяславль, Звенигород, Юрьев, Можайск. Под Волоколамском один татарский отряд встретился с русскими вооруженными силами во главе с князем Владимиром Андреевичем серпуховским и потерпел довольно сильное поражение. Те из татар, которые уцелели во время этой схватки, соединились с основными частями Тохтамыша. Затем началось отступление татар от Москвы. Несмотря на весь урон, который они нанесли русскому народу, они чувствовали себя неуверенно в центре русских земель. Ожидали, что в скором времени Дмитрий Донской и Владимир Андреевич двинутся на них со свежими силами.

Захватив Коломну, войска Тохтамыша, переправились вблизи этого города через Оку и двинулись в Орду через Рязанскую землю. Не посчитавшись с рязанским князем Олегом Ивановичем, когда-то помогшим Тохтамышу найти удобную переправу через Оку по дороге в Москву, татары на обратном пути разорили Рязанскую землю, перебили и забрали в плен множество людей.

Поход Тохтамыша на Русскую землю принес ей много бед. Но во время этого похода обнаружилась и возросшая сила Руси, как результат большого экономического подъема, как следствие развития городов и повышения активности горожан.

§ 3. Политические взаимоотношения между русскими землями после нашествия на Москву Тохтамыша. Итоги княжения Дмитрия Донского

Нашествие на Москву Тохтамыша нанесло значительный удар делу объединения русских княжеств вокруг Москвы. Правители отдельных русских княжеств, соперничавших с княжеством Московским, подняли голову и попытались при посредстве Тохтамыша восстановить свои утраченные политические позиции. В Орду отправился князь Борис Константинович городецкий, которому Тохтамыш (ввиду смерти нижегородского князя Дмитрия Константиновича) передал Нижегородское княжение[2]. Борис Константинович

[1] ПСРЛ, т. VIII, стр 46—47.
[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 149.

был врагом великого московского князя Дмитрия Ивановича, и его утверждение на нижегородском княжении усиливало сепаратистские позиции нижегородских феодалов. В дальнейшем ордынский хан поддерживал Бориса Константиновича, в то время как Дмитрий Донской делал попытки противопоставить ему своих племянников, сыновей покойного Дмитрия Константиновича—Семена (княжившего в Суздале) и Василия Кирдяпу (в 1382 г. захваченного Тохтамышем и уведенного в Орду, а в 1388 г. вернувшегося из плена и получившего от хана в удел Городец). Когда в 1388 г. Семен и Василий Дмитриевичи при помощи московских войск прогнали своего дядю Бориса Константиновича из Нижнего Новгорода и заняли его, свергнутый нижегородский князь был восстановлен на нижегородском столе при поддержке Тохтамыша[1]. Уже после смерти Дмитрия Донского, при его преемнике великом князе Василии Дмитриевиче, Нижегородское княжество утратило свою независимость.

Тверской князь Михаил Александрович, так же как князь нижегородский Борис Константинович, постарался извлечь для себя выгоду из похода на Русь Тохтамыша. Согласно данным Тверского сборника, когда в 1382 г. Тохтамыш, разорив Москву, собирался двинуться на Тверь, Михаил Александрович в целях предотвращения этого похода направил навстречу хану посла Гурленя. Последний был перехвачен татарами, которые избили его, ограбили, а затем привели к хану. Тохтамыш велел вернуть Гурленю все, что у него было взято («царь повеле грабеж изыскати»), и отправил его к тверскому князю «с жалованием», «сь ярлыки». По-видимому, Михаил Александрович получил от Тохтамыша какие-то обещания относительно возможного предоставления ему великого княжения. Поэтому, после того как хан вернулся в Орду, Михаил Александрович поехал туда со своим сыном Александром, как говорит летопись «околицею, не прямицами и не путма» (опасаясь погони со стороны московского князя). Никоновская летопись сообщает, что в Орде не сразу решили вопрос о том, кому передать великое княжение: московскому или тверскому князю. Какой-то «ординский князь» якобы обещал каждому из них уговорить Тохтамыша решить дело в его пользу: «комуждо дати великое княжение»[2].

В конце концов ярлык на великое владимирское княжение достался Дмитрию Ивановичу московскому. Купил он его, как увидим, дорогой ценой. На Русь легла новая тяжелая дань в пользу Орды. Михаил Александрович вернулся в Тверь, оставив в Орде в качестве заложника своего сына Александра (получившего прозвище «Ордынец»). Лишь в 1386 г. последний возвратился в Тверь с ордынским послом[3]. Несомненно, что Тверское княжество оказалось в сильной зависимости от Орды. Но этим путем тверской князь

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 154, 160; т. XVIII, стр. 138.

[2] ПРСЛ, т. XV, стр. 442; т. XV, вып. 1, стр. 147; т. XVIII, стр. 133; т. XI, стр. 84.

[3] ПСРЛ, т. XV, стр. 444.

добился ликвидации условий его соглашения с великим князем московским, заключенного в 1375 г., по которому политическая самостоятельность Тверской земли была значительно подорвана. Согласно указанию Никоновской летописи, Михаил Александрович владел теперь своею «отчиною и дединою великым княжениемь Тферским» как ханским «пожалованием»[1].

Рязанская земля, разоренная в 1382 г. войсками Тохтамыша, после его ухода подверглась вторичному разорению со стороны московской рати, причинившей много бед населению в возмездие за помощь, оказанную в свое время рязанским князем Олегом Тохтамышу («а землю всю до остатка взяша, и огнем пожгоша, и пусту сотвориша, пуще ему и татарьскые рати»)[2]. Князь Олег Иванович бежал (по-видимому, в Литву), а вернувшись на Русь, был принужден в 1382 г. заключить с великим князем московским договор, сильно стеснявший самостоятельность Рязанской земли[3]. Но договор соблюдался недолго. В 1385 г. Олег, о котором летопись говорит, употребляя слово «суровейший», послал свои войска на Коломну и захватил ее «изгоном». Рязанцы взяли в плен коломенского наместника Александра Андреевича Остея «и прочих бояр и лепших мужеи», завладели большим количеством «злата, и сребра, и товара всякого». Потребовались ответный поход московских войск на Рязанскую землю, а затем дипломатическая поездка в Рязань в качестве московского представителя игумена Троице-Сергиева монастыря Сергия Радонежского, чтобы заставить рязанского князя примириться с великим князем московским. В 1385 г. между Москвой и Рязанью был заключен «мир вечныи», скрепленный затем женитьбой сына Олега—Федора на дочери Дмитрия Донского—Софье[4].

Все вышеизложенное показывает, что разорительное для Руси нашествие Тохтамыша привело к некоторому усилению (под прямым воздействием Орды) состояния политической раздробленности Северо-Восточной Руси. Каковы же были отношения к Орде московской великокняжеской власти? Летописные известия свидетельствуют о двух бесспорных фактах: 1) о больших поборах, которыми в данное время ордынские власти обложили Русь; 2) о систематическом давлении Орды на великого князя, который должен был выполнять ордынские требования.

В 1383 г. сын Дмитрия Донского Василий Дмитриевич поехал в Орду и повез туда большую денежную сумму («прия царь в 8000 серебра»)[5]. После этого ордынскими властями была объявлена чрезвычайная «дань великая тяжкая по всему княжению вели-

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 84.

[2] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 146.

[3] ДДГ, стр. 29—30, № 10. Анализ этого договора см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 55—58.

[4] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 150—152; т. XVIII, стр. 135—136; т. XXIII, стр. 130.

[5] ПСРЛ, т. IV, стр. 90.

кому, всякому без отдатка, с всякие деревни по полтине». «Тогда же и златом даваше в Орду». Новгород должен был уплатить хану «черный бор»[1]. Взимание дани вызывало сопротивление населения. Так, в целях взыскания с новгородцев «черного бора» (а также в целях привлечения к ответственности новгородских ушкуйников, совершивших недавно нападение на Нижний Новгород и Кострому) Дмитрий Донской предпринял в 1386 г. большой поход на Новгород. Новгородское правительство вынуждено было заключить с великим князем «мир на всеи старине» и уплатить ему штраф в 8000 рублей в возмещение грабежа, совершенного ушкуйниками, и в качестве недоимки по выплате «черного бора» («за винные люди, за кем княжщина залегла»). Кроме того, были посланы, согласно одним летописям, новгородские бояре и дети боярские, согласно другим—княжеские пристава для взыскания дани с жителей Заволочья, принимавших участие в грабежах по Волге. Для дальнейшего правежа «черного бора» с недоимщиков Дмитрий Донской оставил в Новгороде своих сборщиков («черноборцев»)[2].

Стремясь контролировать действия московского великого князя, Тохтамыш взял в заложники его сына Василия, посланного в 1382 г. отцом в Орду. Но в 1386 г. Василий бежал из Орды и в 1387 г. через Подольскую землю прибыл в Москву[3]. Контроль над политикой московского князя осуществлялся Тохтамышем и через специальных послов. Так, в 1384 г. во Владимир явился из Орды «лют посол, именем Адашь...»[4]

Дает ли основание все вышеизложенное сделать вывод, что после нашествия в 1382 г. на Русь Тохтамыша по существу возродилась та система взаимоотношений московской великокняжеской власти с Ордой, которая была характерна для времен Ивана Калиты и его ближайших преемников? Так думает А. Е. Пресняков. «Попытка отразить от Руси татарское нахождение, увенчанная Куликовской победой,—пишет он,—не усилила великокняжеской власти, а временно ее ослабила. Только обновление ордынской зависимости и опоры этой власти в утверждении ее прав ханом Золотой орды восстановило нарушенное равновесие внутренних отношений великорусского великого княжения. Равновесие—условное и весьма относительное. Наследие Калиты и Донского вступает на несколько десятилетий в период затяжного и тягостного кризиса»[5].

Я думаю, что А. Е. Пресняков неправ. Конечно, события 1382 г. содействовали ослаблению Московского княжества. Но нельзя говорить, что оно вернулось на ту ступень, на которой находилось во время Калиты. Последствия Куликовской битвы значительно сильнее, чем думает А. Е. Пресняков. В политике Ивана Калиты и его ближайших преемников, с одной стороны, и Дмитрия Дон-

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 135; т. XV, вып. 1, стр. 149; т. XXIII, стр. 130.
[2] НПЛ, стр. 380—381; ПСРЛ, т. V, стр. 240; т. VIII, стр. 51.
[3] ПСРЛ, т. VIII, стр. 51—52.
[4] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 149.
[5] *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 329.

ского—с другой, общим является то, что все эти князья признают власть Орды, признают свою зависимость от хана и обязанность уплачивать ему дань. Но в представлении правительства Дмитрия Донского ордынское иго и обусловленная им обязанность платить дань в Орду—это временные явления, и поэтому в свою духовную грамоту князь вносит следующий пункт: «А переменит бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду, и который сын возмет дань на своем оуделе, тому и есть»[1]. Подобная мысль, облеченная в юридическую формулу и изложенная в документе официального характера, могла появиться только после победы над мамаевой Ордой, одержанной Русью на Куликовом поле.

Дипломатия Ивана Калиты в отношении Орды—это дипломатия в основном оборонительного характера, продиктованная желанием обезопасить Русь от татарских набегов. Правительство Дмитрия Донского даже после Куликовской битвы проводит в отношении Орды политику наступления (теперь в сфере дипломатии, а не в сфере военной, как в 1380 г.). Выполняя требования Тохтамыша по выплате дани, выражая знаки покорности ордынскому хану, московская великокняжеская власть даже в период своего ослабления в результате нашествия Тохтамыша сделала существенное завоевание—добилась признания Тохтамышем своих прав на великое владимирское княжение как «вотчину» (т. е. владение, передаваемое по наследству в пределах фамилии московских князей). Согласно свидетельству Никоновской летописи, Тохтамыш заявил, что он «жалует» Дмитрия Донского *«во отчине* его»[2]. А сам Дмитрий Донской написал в своей духовной, что он «благословляет сына своего, князя Василия, *своею отчиною*, великим княженьем»[3].

В области русско-литовских отношений к середине 80-х годов XIV в. наметилась возможность союза московского великого князя с великим князем литовским Ягайлом Ольгердовичем. Предполагался брак Ягайла с дочерью московского князя Дмитрия Ивановича. На этот счет состоялось специальное соглашение Дмитрия Донского с матерью Ягайла, вдовой Ольгерда—Юлианией Александровной (дочерью тверского князя Александра Михайловича). Однако планы московско-литовского сближения не осуществились. Влияние польских феодалов при дворе Ягайла пересилило русское влияние и привело в 1386 г. к унии Литвы и Польши и к браку Ягайла с польской королевой Ядвигой. В Литве было введено католичество[4].

После победы Ягайла над своими противниками усиливается литовское наступление на Русь. Правительство Ягайла делает попытки распространить свое влияние на Новгород, где появляются литовские князья. Еще в 1383 г. новгородцы передали князю Патрикию Наримантовичу «в кормление» Орехов, Корелу, поло-

[1] ДДГ, стр. 36, № 12.
[2] ПСРЛ, т. XI, стр. 84.
[3] ДДГ, стр. 34, № 12.
[4] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 50—51.

вину Копорья и село Лусское[1]. В 1388 г. в Новгороде был принят на княжение литовский князь Лугвений—Семен Ольгердович[2], который в 1389 г. в присяжной грамоте, выданной королю польскому и великому князю литовскому Ягайлу, рассматривает себя в качестве его наместника в Новгородской земле[3].

Между тем в Литве начиналось новое движение против правительства Ягайла, возглавленное его двоюродным братом Витовтом Кейстутовичем. Сущность этого движения заключалась в борьбе за самостоятельность Литовского княжества против включения его в состав Польского королевства в качестве одного из владений последнего. Витовту было важно в борьбе с Ягайлом получить поддержку со стороны Руси. Из русских князей сторонником сближения с Витовтом был Василий Дмитриевич, старший сын и преемник Дмитрия Донского на великом княжении. В 1386—1387 гг., во время побега из Орды, Василий Дмитриевич виделся на Волыни с Витовтом и вел с ним переговоры о союзе. Вместе с князем Василием в Москву прибыли литовские паны. В это время, очевидно, был решен вопрос о браке Василия Дмитриевича и дочери Витовта—Софьи.

Все вышеизложенные обстоятельства объясняют одно распоряжение, сделанное в 1389 г. Дмитрием Донским в своем духовном завещании в отношении своего старшего сына. В случае смерти последнего его удел должен был перейти не к сыну, а к брату (т. е. к следующему по старшинству сыну Дмитрия Донского). «А по грехом отъимет бог сына моего князя Василья, а хто будет под тем сын мои, ино тому сыну моему княж Васильев оудел, а того оуделом поделит их моя княгини». Очевидно, учитывая установившуюся связь своего старшего сына с Витовтом и опасаясь, что в случае его смерти самый важный из московских уделов, с владением которым были связаны великокняжеские права, фактически перейдет во владение литовского княжеского дома (к жене Василия Софье или к его сыну от Софьи, если таковой у него будет), Дмитрий Донской постарался предупредить эту возможность в своем завещании.

* * *

Правление Дмитрия Донского характеризуется рядом новых мероприятий в области внутренней политики. При нем был введен чекан серебряной монеты. Это мероприятие было связано с общим экономическим подъемом страны и прежде всего Московского княжества. Советский исследователь Г. Б. Федоров доказывает, что в Московском княжестве серебряные деньги стали чеканить

---

[1] НПЛ, стр. 379.
[2] Там же, стр. 383.
[3] «Акты, относящиеся к истории Западной России» (далее — АЗР), т. I, СПб., 1846, № 10.

раньше, чем в других феодальных центрах Руси. Это обстоятельство, по словам Г. Б. Федорова, «свидетельствует о накоплении серебра в руках московского великого князя, о росте его финансового капитала и кредитоспособности»[1]. Примеру Москвы последовали другие княжества, в которых также появилась потребность в чеканенной монете.

Для Дмитрия Донского характерна тактика поддержки городского торгово-ремесленного населения. В этом отношении показательны его жалованные грамоты новоторжцам Евсевке и Микуле с детьми, предоставляющие им податной иммунитет[2]. Проводя политику союза с горожанами, московский великий князь стремился в то же время подчинить их непосредственно своей власти.

Значительное внимание уделялось московским правительством вопросам, связанным с организацией сбора дани с Московского княжества. Согласно договору Дмитрия Донского с удельным князем Владимиром Андреевичем серпуховским 1367 г., правом сношений с Ордой и производства с ней расчетов по дани пользовался лишь первый, а последний вносил ему для передачи в Орду ту часть «ордынской тягости и протора», которая причиталась с Серпуховско-Боровского удела «по давным свертком» (т. е. по каким-то издавна утвержденным князьями спискам)[3]. Особенно подробно были разработаны правила сбора дани для уплаты «выхода» в Орду в докончании Дмитрия Донского и Владимира Андреевича серпуховского, заключенном в 1389 г.[4]

В центре внимания московского правительства в 60—80-х годах XIV в. стоял вопрос об организации военных сил. В договорной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича и удельного князя Владимира Андреевича серпуховского 1367 г. содержится обязательство последнего посылать «без ослушания» в походы своих бояр и слуг по требованию своего «старейшего брата». Выступать в поход удельно-княжеские полки должны были в составе великокняжеских военных сил, но под «стягом» Владимира Андреевича[5].

В 1389 г. был проведен новый (территориальный) принцип формирования военных сил в противоположность старому (служебному). Если раньше бояре и вольные слуги отправлялись в походы независимо от места расположения своих владений, под «стягом» того князя, кому служили, то теперь они должны были подчиняться в походе воеводам того князя, на территории которого были расположены их вотчины[6]. Территориальный принцип формирования вооруженных сил должен был способствовать их централизации

---

[1] *Г. Б. Федоров*, Деньги Московского княжества времени Дмитрия Донского и Василия I (1359—1425). — «Материалы и исследования по археологии СССР» № 12, М.—Л., 1949, стр. 167.

[2] ДАИ, т. I, стр. 9, № 8; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 2, стр. 117—118.

[3] ДДГ, стр. 20, № 7; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 35.

[4] ДДГ, стр. 30—33, № 11; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 43.

[5] ДДГ, стр. 21, № 51.

[6] Там же, стр. 32, № 11.

в руках великокняжеской власти. Однако новый порядок в дальнейшем был нарушен.

При Дмитрии Донском была сделана попытка несколько ограничить «вольность» боярской службы и право «отъезда» бояр от одного князя к другому. Согласно договору Дмитрия Донского с Владимиром серпуховским 1367 г., бояре, получившие на определенный срок города в «кормление», могли «отъехать» от своего князя лишь по истечении срока службы; если же они хотели это сделать раньше, то теряли часть доходов с кормления[1].

Была проведена некоторая централизация в области суда. Согласно договору 1389 г. между князьями Дмитрием Ивановичем московским и Владимиром Андреевичем серпуховским, разбор судебных дел в Москве был предоставлен великому князю или его наместнику. Наместник удельного князя только присутствовал на суде и мог получать свою долю судебных пошлин. Но вызов на суд в Москву бояр из уделов осуществлялся каждый раз приставом того князя, которому служил данный боярин. Таким образом, судебный иммунитет удельных княжеств сохранялся[2].

Имеются основания предполагать, что ко времени Дмитрия Донского относится одна из переделок Русской Правды—именно протограф, так называемых Карамзинских списков. По мнению С. В. Юшкова, эта переделка возникла в середине XIV в.[3]

Наибольшее значение представляет группа статей Карамзинских списков, посвященных расчетам, связанным с доходностью отдельных отраслей сельского хозяйства (животноводства и полеводства). Исследователи спорят по вопросу о степени реальности этих расчетов. Но независимо от того, считать ли их достоверными или фантастическими, бросается в глаза интерес, проявленный в указанных статьях к вопросам сельского хозяйства. Здесь упоминаются различные виды хлебных культур (рожь, полба, овес, ячмень, жито), разнообразные домашние животные (бараны, овцы, козы, свиньи, лошади) всевозможных возрастов. Называются продукты скотоводства (сыры, масло). Говорится об оплате труда «страдников». Подобный интерес к проблемам сельского хозяйства мог проявиться особенно во второй половине XIV в., когда, как показывает актовый материал, восстанавливались пустоши и распахивались новые земли. Некоторые термины, встречающиеся в изучаемых статьях (например, «ростовская кадь»), говорят о их составлении в пределах Северо-Восточной (возможно, Московской) Руси[4].

Включение рассмотренного материала в Русскую Правду можно объяснить тем, что в это время стало возникать много споров по земельным делам. При их решении судьи должны были произво-

[1] ДДГ, стр. 21, № 5.

[2] Там же, стр. 32, № 11.

[3] *С. В. Юшков*, Правда Русская, стр. 137. См. также *М. Н. Тихомиров*, Исследование о Русской Правде, стр. 171—172.

[4] *М. Н. Тихомиров*, Исследование о Русской Правде, стр. 180.

дить какие-то расчеты по тем или иным отраслям сельского хозяйства, связанные, скажем, с разделом определенных доходных статей между тяжущимися. Для судей в качестве практического руководства и были даны образцы арифметических вычислений.

Если верно предположение о возникновении протографа Карамзинских списков Русской Правды при Дмитрии Донском, то мы можем говорить о том, что объединение Русских земель в едином государстве сопровождалось попыткой великокняжеской власти выработать нормы права, защищавшие интересы господствующего класса.

В ряде летописных сводов под 1389 г. в связи с сообщением о смерти Дмитрия Донского помещено особое литературное произведение, носящее название: «О житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русьскаго», или «Слово о житии и о представлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русьскаго»[1]. Произведение это известно в разных редакциях и вариантах. Наиболее распространенная редакция состоит из трех частей: «жития» Дмитрия Донского в собственном смысле слова, «плача» вдовы покойного князя Евдокии Дмитриевны, «похвалы» князю Дмитрию. В «Слове» использован целый ряд памятников древнерусской литературы: «Слово о законе и благодати» Илариона, повести об Александре Невском, о разорении Рязани войсками Батыя, хронографы, такие сборники, как «Палея», может быть, «Пчела»[2]. Кроме того, на «плач» Евдокии Дмитриевны оказали сильное влияние такие произведения фольклора, как народные причитания.

В данной работе меня более интересуют не литературный состав «Слова» и не черты его как произведения панегирического типа. Мне представляется важным другое: раскрыть идейное содержание изучаемого памятника, дать оценку содержащимся в нем мыслям о государстве, о задачах его внутренней и внешней политики и в связи с этим о значении деятельности Дмитрия Ивановича Донского.

В «Слове» осмысливается идея «собирания» Русской земли, которое, по мысли автора, проводят московские князья. В данной связи дела Дмитрия Донского рассматриваются как непосредственное продолжение деятельности его деда Ивана Калиты, «събрателя Руской земли»[3]. Таким образом, в изучаемом памятнике налицо представление о политическом единстве Руси, расцениваемом с точки зрения феодальной идеологии как итог великокняжеской политики.

Единство Русской земли мыслится в рамках единого государства, возглавляемого великим князем (царем). Дмитрий Донской,

---

[1] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 351—366; т. VI, стр. 104—111; т. VIII, стр. 53—60; т. XI, стр. 108—121; т. XX, стр. 206—209; т. XV, стр. 215—218.
[2] «История русской литературы», т. II, ч. I, М.—Л., 1945, стр. 209.
[3] ПСРЛ, т. VIII. стр. 53.

указывает автор «Слова», взял в свои руки «скипетр дръжавы Рускиа земля, и настолование земнаго царствиа, и отчину свою великое княжение»[1]. При этом «Слово» указывает на три источника власти великого князя. Во-первых, Дмитрий Донской получил ее по наследству от своих предков, законно ею обладавших. Следовательно, великое княжение—это его «отчина». Во-вторых, великий князь Дмитрий пользуется «скипетром дръжавы Руския земля» «по данней ему благодати от бога». Это—теория богоустановленности власти. В-третьих, в «Слове» подчеркивается, что носитель верховных государственных прав, унаследовавший их в качестве «отчинного» владения и утвержденный в них волей провидения, должен обладать и внутренними достоинствами и владеть своим княжением «по чести же и славе»[2].

Подобные взгляды на великокняжескую (царскую) власть, конечно, еще очень далеки от теории самодержавия. Здесь еще нет, строго говоря, речи даже об единовластии. Единство Русской земли и Русского государства автор «Слова» представляет себе в виде целой пирамиды властителей, возглавляемых великим князем и ему подчиняющихся. Очень красочно рассказывается в «Слове», как князь Дмитрий Иванович, организуя поход против Мамая, «призва велможа своя и вси князи Рускиа земли, сущая под властию его, и рече князем Рускиа земли и велможам своим...»[3]. Вероятно, в данном случае имеется в виду та система междукняжеских политических отношений, которая сложилась на Руси к 80-м годам XIV в. и нашла свое отражение в договорах князя Дмитрия московского с Михаилом тверским и Олегом рязанским. «Князи Рускиа земли» пользуются политической самостоятельностью в пределах своих владений, но в вопросах внешней политики действуют по указанию великого князя. В «Слове» приводится ответ, данный «князьями» и «вельможами» Дмитрию Донскому на его призыв к отпору мамаевой Орде. «И отвещаша ему князи рустии и велможа его: господине русский царю! Ркли есмя тебе живот свои положити, служа тебе; а ныне тебе ради кровь свою пролиемь и своею кровию второе крещение приимемь»[4].

Великий князь, по мысли автора «Слова», возглавляет Русскую землю, в которой правят под его началом другие князья. Он отвечает за единство и целостность Руси, и если кто-либо из врагов покусится на ее границы, великий князь властен призвать на ее защиту всех «князей русских», для которых обязательна ратная «служба» под великокняжеским стягом. Автор «Слова» говорит, что Дмитрий Донской «стражу земли Рускиа мужеством своим дръжаше», «страхом господства своего огради всю землю Рускую от востока и до запада...»[5]. Из подобного рода похвал князю Дмит-

[1] ПСРЛ, т. VIII, стр. 53.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 54.
[4] Там же.
[5] Там же, стр. 53.

рию ясно, что автор «Слова» считал необходимым политическое единство Руси потому, что таким образом создавались условия для борьбы за ее независимость.

Характерно, что в «Слове» нет данных о зависимости Руси от Золотой орды. Напротив, всячески подчеркивается, что Русь не только свободна от власти иноземных захватчиков, но что, прослышав про победы Дмитрия Донского, «данныя ему на врагы от бога», «иныя же страны...вси под руце его поклонишася». Имя Дмитрия Донского, читаем в «Слове», было «хвално» «от моря и до моря», «от рек до конца вселенныя провознесеся честь его», «царие земстие слышаше его удивишася, врази же его взавидеша ему живущии окрест его»[1]. Конечно, все эти гиперболы, отдающие литературным штампом и пропитанные неумеренной лестью придворного писателя, желающего продемонстрировать свою преданность покойному князю, не дают никакого представления о реальном международном положении Руси во времена Дмитрия Донского. Важно другое: феодальная публицистика той поры выдвигала идею объединения Русской земли в рамках национального государства, независимого от чужеземного ига.

В «Слове» не так много материала для характеристики взглядов автора на внутреннюю политику великокняжеской власти. Лишь одной бегло брошенной фразой автор касается междоусобных княжеских войн в княжение Дмитрия Донского («расколници и мятежници царства его вси погибоша»)[2]. Гораздо больше в «Слове» говорится о политическом союзе между русскими князьями под верховенством великого князя московского как гарантии единства в рядах господствующего класса, залога классового мира и основы безопасности страны. Правда, начала такого союза изложены слишком неконкретно. Идиллическими чертами изображаются добрые побуждения и действия Дмитрия Донского, но не освещаются реальные основы его политических взаимоотношений с правителями других русских княжеств и сущность его государственных мероприятий, касающихся различных слоев населения страны. Автор «Слова» лишь в очень общей форме отмечает, что Дмитрий Донской «князи рускиа в области своей крепляаше, велможам своим тихоуветлив в наряде бываше, никого же не оскорбляаше, и всех равно любляаше, младых словесы наказааше и всем доволь подаваше, к требующим руце простираше»[3].

Больше конкретного материала дает «Слово» для освещения взаимоотношений Дмитрия Донского с московским боярством. Интересно привести по возможности полностью речь, якобы произнесенную великим князем Дмитрием перед своими боярами, которых он созвал накануне смерти. Можно думать, что в этой речи намечен целый курс великокняжеской политики, который автор

---

[1] ПСРЛ, т. VIII, стр. 54.
[2] Там же, стр. 55.
[3] Там же.

«Слова» считает за идеальный курс, как бы призывая всех ему следовать. Дмитрий Иванович, согласно данным его биографа, обратился к боярам со словами: «сберитеся к мне, да скажу вам, еже сътворих в житии моем: ведаете, каков обычай мой есть и нрав»[1]. К тому, что следует далее, можно отнестись как к своеобразному подведению Дмитрием Донским итогов своей деятельности за все свое княжение, как к его самоотчету перед близкими ему боярами. Конечно, вполне возможно, что такой речи князь Дмитрий не произносил. Гораздо вероятнее, что эти итоги попытался подвести его биограф, иногда даже, возможно, выдававший желаемое за то, что было в действительности. Но и в таком случае материал «Слова» не утрачивает своего значения. Он важен для понимания взглядов автора как представителя одной из групп московских феодалов на задачи внутренней политики.

В речи Дмитрия (в действительности ли воспроизводящей его предсмертное обращение к боярам или же представляющей собой текст, составленный княжеским биографом) подчеркивается тесная связь московского князя в течение всей его жизни и деятельности с боярской средой: «родихся пред вами, и при вас възрастох, и с вами царствовах.., и мужьствовах с вами на многи страны...»[2]. Надо думать, что это категорическое утверждение о тесной связи великокняжеской власти с боярством как своей социальной опорой действительно отражало политические отношения в княжение Дмитрия Донского. На данном этапе формирования единого государства московское боярство представляло собой одну из активных движущих сил этого процесса.

Какова, согласно «Слову», была политика великого князя Дмитрия в отношении его бояр? Прежде всего им было предоставлено ведущее место в политической жизни. Они пользовались авторитетом и княжеским доверием («и вам честь и любовь даровах», «вы же не нарекостеся у меня бояре, но князи земли моей»). Такие речи вел Дмитрий Донской, согласно свидетельству его биографа, с боярами. Привилегии бояр, признанные великим князем, имели наследственный характер. Биограф Дмитрия Донского приписывает ему такое заявление: «и чада ваши [бояр] любих»[3].

Права боярства как сословия можно свести к следующим пунктам, сформулированным в предсмертной речи князя Дмитрия, записанной или составленной автором княжеского жизнеописания. Великокняжеская власть гарантирует личную неприкосновенность бояр и охраняет их собственность, конечно, при условии сохранения ими верности князю («никому же зла сътворих, ни силою что отъях, ни досадих, ни укорих, ни разграбих, ни безчествовах»). В наказе, данном Дмитрием своим детям, имелось, судя по «Слову», следующее наставление: «бояры своя любите, честь им достойную въздa-

[1] ПСРЛ, т. VIII, стр. 56.
[2] Там же.
[3] Там же.

вайте противу служений их» (т. е. «честь», воздаваемая князем боярам, должна быть пропорциональна их заслугам). Бояре являются советниками князя, т. е. членами специального феодального совета—боярской Думы. «Без воля их ничто же не творите»,— так формулирует одно из положений завещания Дмитрия Ивановича детям «Слово». Из числа бояр великий князь назначает управителей городов и областей (наместников и волостелей): «под вами [боярами] городы дръжах и великии власти»[1],—вспоминал якобы князь Дмитрий незадолго до смерти.

Бояре со своей стороны обязаны великому князю и его детям службою и верностью. В «Слове» говорится, что Дмитрий Донской, готовясь к смерти, напомнил боярам данную ими ему клятву верности («должни есмя тебе служа и детемь твоим главы положити своя») и в соответствии с этим обратился к ним с призывом: «и укрепитеся истинною, послужите княгини моей и чадом моим от всего сердца своего»[2].

Наконец, «Слово» оценивает итоги внутренней и внешней политики, достигнутые великокняжеской властью на основе ее союза с боярством. В речи Дмитрия Донского, воспроизведенной в «Слове», отмечаются в этом отношении четыре момента: 1) укрепление за московскими князьями владимирского великого княжения («великое княжение свое велми укрепих»); 2) сохранение в целости вотчинных владений, перешедших к князю Дмитрию от его предков («отчину свою с вами съблюдох, еже ми предал бог и родители мои»); 3) укрепление обороноспособности Руси и борьба с иноземными захватчиками, особенно с татаро-монголами («и противным страшен бых в бранех, и поганыя ниизложих божиею помощию и враги покорих»); 4) обеспечение Руси известной безопасности от внешних врагов («мир и тишину земли Русскои сътворих»)[3].

Оценивая в целом идейное содержание «Слова», следует сказать, что в этом памятнике рисуется в качестве идеального политического строя такой строй, при котором союз русских князей возглавляется великим князем московским, обладающим правами верховного правителя и военачальника и действующим в тесном контакте с боярством. Это—идеал государственного единства в понимании передовых представителей боярского сословия (из числа московских бояр) на сравнительно раннем этапе процесса политического объединения русских земель. По своему идейному содержанию «Слово» может быть отнесено ко времени вскоре после смерти великого московского князя Дмитрия Ивановича.

Можно ли на основе характеристик Дмитрия Донского, имеющихся в «Слове», воссоздать реальный облик этого князя как человека и правителя? Нет, эти характеристики представляют собой литературные штампы типа сплошных гипербол. В изучае-

[1] ПСРЛ, т. VIII, стр. 56.
[2] Там же.
[3] Там же.

мом произведении нарисован лишенный живых человеческих черт образ добродетельного князя, с юных лет стремящегося к большим делам, руководимого в своих поступках страхом божиим, благочестивого и обладающего высокой нравственностью.

При этом надо сказать, что в разных редакциях «Слова» в литературном портрете Дмитрия преобладают черты то князя-воина, то князя-инока. Иногда последний образ явно одерживает победу над первым. «Съвръшен муж...», который «ратным в бранех страшен являшеся», превращается в правителя, который «царский венець дръжаше», «на престоле царстем седяше и царскою багряницею одеашеся», а в то же время «в посте и в жажи и в молитве всегда пребываше и по вся нощи во псалмех и в молитвах всегда бяше, в тленнем телеси бесплотных житие съвръшаше, ...на голом телеси власяницу ношаше и во мнишескыи образ по вся часы облещися желаше, ...во святыя посты жестоко живяше...» и т. д.[1] Феодальная церковь приспосабливала к своим целям идеологического воздействия на народное сознание «житие» Дмитрия (написанное, вероятно, кем-то из книжников, отражавших настроения московского боярства). И так мало реальный облик рыцаря — «стража» Русской земли подменялся уже совсем бледным бесплотным силуэтом чернца-монаха на великокняжеском столе.

Как же все же оценить деятельность Дмитрия Ивановича Донского? Для того чтобы произвести такую оценку, очевидно, надо исходить не столько из посмертных характеристик князя его биографами, сколько из говорящих самих за себя конкретных фактов его политики. При этом для нас интересна прежде всего именно реальная направленность мероприятий Дмитрия Донского, а уже затем можно ставить вопрос о субъективных мотивах этих мероприятий, определяемых чертами личности московского князя.

Несомненно, годы правления Дмитрия Донского были годами определенных сдвигов в политической истории Руси. В области внутренней политики московская великокняжеская власть перешла от борьбы с правителями других княжеств (Нижегородского, Тверского) за великое владимирское княжение к подчинению их своей власти. Налицо существенная активизация внешней политики Руси. Если раньше русские князья обеспечивали безопасность своих владений от ордынских набегов посредством дани, уплачиваемой ханам, то теперь они уже организуют военный отпор ордынской силе. В целом успешным было и сопротивление Руси натиску литовских феодалов, предводительствуемых Ольгердом,—сопротивление, частично переходившее в контрнаступление.

В свете этого перелома в политическом развитии Руси в княжение Дмитрия Донского в более ярком свете выступает и личность самого Донского по сравнению, скажем, с личностью Ивана Калиты. Князь Дмитрий рисуется нам как полководец, возглавляющий русские военные силы в борьбе с мамаевой Ордой.

---

[1] ПСРЛ, т. VIII, стр. 109—110.

Его деда мы представляем себе как ханского слугу, умно использующего хана; как ловкого дипломата, покупающего «мир» и «тишину» для Русской земли деньгами, которые он систематически возит в Орду. Но было бы весьма неосторожно объяснять разницу в поведении двух названных князей только их неодинаковыми личными качествами. Это различие диктовалось прежде всего неодинаковыми конкретно-историческими условиями их деятельности. Усилившаяся тенденция к политическому объединению русских земель вокруг Москвы и активизация внешней политики Руси к 70—80-м годам XIV в. были вызваны экономическим подъемом страны и ширившимся народно-освободительным антитатарским движением. Эти важные факторы изменили и методы политики московских князей. Один добивался «тишины» (внешней безопасности от ордынских набегов) путем выколачивания из населения денежных средств. Другой, используя имеющиеся в его время материальные предпосылки для военного сопротивления ордынским завоевателям и находя мощную опору в народном патриотизме, старался достигнуть «тишины» для Руси уже не только народным рублем, но и мечом. Однако до того, как Дмитрий Донской поднял этот меч, на борьбу с татарским игом уже поднялся русский народ.

И многое другое, отличающее политику Дмитрия Донского от политики Ивана Калиты и его ближайших преемников, объясняется иной обстановкой, в которой он жил и правил. Князь Дмитрий более последовательно, чем его предшественники, поддерживал союз с горожанами. Но при этом надо помнить, что к концу XIV в. сами города значительно выросли и их роль в социально-экономическом развитии была более существенной, чем во времена Ивана Калиты. Иван Калита действовал как князь-вотчинник. Дмитрий Донской продолжал в этом отношении его линию и вотчинный принцип даже положил в основу права обладания великим владимирским княжением. Но в деятельности Дмитрия объективно уже присутствуют мотивы национального объединения Руси. Вызвано это было тем, что в конце XIV в. уже достаточно отчетливо выявился процесс формирования русской народности как этнического целого, усилилась народная освободительная борьба. В такой обстановке не могла оставаться неизменной и политика великокняжеской власти. Когда сравниваешь поход на Тверь в 1327 г. Ивана Калиты (в сопровождении татарских войск) с походом на тот же город в 1375 г. Дмитрия Донского (во главе общерусского ополчения), то бросается в глаза различие в поведении обоих князей. Поход Ивана Калиты закончился разорением Тверского княжества, Дмитрий Донской постарался сохранить Тверь. Но вряд ли причины столь разного поведения можно видеть лишь в различии личных качеств и намерений самих князей. Эти намерения были не столь различны. Субъективно Иван Калита разорял Тверскую землю, потому что это было нужно московским феодалам, покупавшим таким образом иммунитет от ордынских грабителей для Москов-

ского княжества, а Дмитрий Донской пытался по возможности охранить Тверь от ненужных грабежей, потому что это помогало укреплению позиций московской великокняжеской власти среди тверских горожан. Но объективное значение рассмотренных актов обоих князей было неодинаково. Иван Калита подавил народно-освободительное движение. Дмитрий Донской объективно содействовал его подъему.

Из всего вышеизложенного было бы неправильно делать вывод о том, что роль Дмитрия Донского как князя и правителя была не велика, что все дело в объективных условиях. Нет, эта роль очень значительна. Недаром И. В. Сталин назвал Дмитрия Донского нашим великим предком. Конечно, величие Дмитрия прежде всего отражает величие подвига русского народа. Трудом последнего были созданы материальные предпосылки политического объединения Руси (происходившего на *феодальной основе*). Его борьба привела к организованному сопротивлению Орде, а в дальнейшем к созданию независимого *феодального* Русского централизованного государства. Но как феодальный правитель Дмитрий Донской обладал рядом качеств, выдвинувших его в число прогрессивных деятелей своего времени. Он отличался выдающимися качествами полководца, проявившимися особенно в организации похода против мамаевой Орды в 1380 г. Обладал Дмитрий Донской и способностями государственного деятеля и дипломата (о чем можно судить по его договорам с князьями тверским, рязанским и т. д.).

Во всех действиях Дмитрия Донского проявляется его крепкая связь с московским боярством. В известиях о великокняжеской деятельности часто трудно отделить то, что является его личным делом, от того, что было актом боярской политики. В годы малолетства князя Дмитрия Ивановича за него действовало боярское правительство, возглавленное митрополитом Алексеем. И в дальнейшем Дмитрий Донской выступал согласованно со своими боярами. Это обстоятельство придает политике князя Дмитрия характер определенного курса. Источники же, говоря о проявлениях такого политического курса, часто допускают персонификацию, приписывая его проведение великому князю. Так, в некоторых повестях о Куликовской битве имя Дмитрия Донского (сыгравшего в ней действительно большую роль) отодвигает на задний план имена других крупных участников сражения (например, князя Владимира Андреевича серпуховского).

Передовой деятель XIV в., Дмитрий Донской был сыном своего класса. И когда жизнь ставила вопрос о размежевании классовых сил, его действия не удовлетворяли требования народа. Так, в 1382 г. народ грудью защищал Москву от натиска полчищ Тохтамыша, а князь не смог заставить московских бояр поддержать народную борьбу.

При преемниках Дмитрия Донского, продолжавших его политику, были достигнуты новые результаты в политическом объединении русских земель. Отдельные княжества, самостоятельность

которых при Дмитрии Донском была ограничена, постепенно вообще потеряли свою независимость и стали включаться в состав единого Русского государства. Первым пало княжество Нижегородское.

§ 4. Падение политической независимости Нижегородского княжества

О присоединении Нижнего Новгорода к Московскому княжеству в летописях сохранились рассказы, воспроизводящие это событие не совсем одинаково. Очень короткое сообщение по этому поводу имеется в Ермолинской летописи. В ней говорится, что 16 июля 1392 г. Василий I Дмитриевич отправился в Орду к хану Тохтамышу. Цели этой поездки Ермолинская летопись не объясняет, но она вытекает из дальнейшего изложения: московский великий князь ставил своей задачей добиться, чтобы Тохтамыш согласился на передачу под его власть Нижегородского княжества. Указанная задача была разрешена удачно. 25 октября 1392 г. Василий I вернулся в Москву, достигнув во время своего пребывания в Орде определенных политических успехов. Он встретил там почетный прием («многу честь приим от царя, якоже ни един от прежних князей») и получил от Тохтамыша ярлык на Нижний Новгород, Городец, Мещеру, Тарусу. 6 ноября, т. е. через 10 дней после приезда в Москву, Василий I отправился в Нижний Новгород, очевидно, в целях реализации полученных в Орде на него прав, пробыл там «до рождества Христова» (т. е. до 25 декабря), а затем вернулся, оставив в городе своего наместника Дмитрия Александровича Всеволожа[1]. Вырисовываются чисто внешние данные, касающиеся присоединения Нижегородского княжества к Московскому, но конкретная картина этого события (в частности, взаимоотношения московского правительства с различными разрядами населения Нижегородско-Суздальской земли) остается неясной.

О судьбе нижегородско-суздальских князей в Ермолинской летописи имеются краткие сведения под 1394 г.: Борис Константинович в этом году умер и был похоронен в Суздале, а сыновья Дмитрия Константиновича—Василий и Семен («суздальские Дмитриевичи») бежали в Орду, очевидно, добиваться восстановления своих прав на утраченные владения. Великий московский князь организовал за ними погоню, но безрезультатно («и не постигоша их»)[2].

Еще короче, чем Ермолинская летопись, освещает рассмотренные события летопись Типографская. Новым для нас в ней является лишь то, что вместе с Василием I в Нижний Новгород ездили «бояре его старейшии». Эта интересная деталь, повторенная

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 132—133.
[2] Там же, стр. 133.

в Московском летописном своде и в Воскресенской летописи[1], свидетельствует о том, что акту объединения Нижегородского княжества с Московским московское правительство придавало серьезное политическое значение, и этот акт был совершен в присутствии высших представителей правящих кругов.

Львовская летопись, приводя те же самые факты, что и Ермолинская, дает им несколько иное освещение. Именно она подчеркивает военно-наступательный характер действий московского правительства, направленных против Нижегородского княжества, в то время как, судя по Ермолинской летописи, присоединение Новгорода к Москве было осуществлено в значительной мере мирным путем. По Львовской летописи, еще перед поездкой в Орду московский великий князь порвал мирные отношения с нижегородско-суздальским князем Борисом Константиновичем («сложил» ему «целование»). Поход Василия I в Нижний Новгород преследовал военные цели («иде ратью»). Московский великий князь этот «град взя за себя» и «поимал» жену местного князя Семена Дмитриевича, который бежал в Орду. Несколько короче, но в соответствии с данными Львовской летописи и их политической трактовкой изображает дело Софийская вторая летопись. В Новгородской четвертой летописи указано, что нижегородско-суздальские князья (за исключением спасшегося бегством Семена Дмитриевича) были пленены великим князем московским («князей и княгинь поима в таль»; по Софийской первой летописи—«поима в полон»)[2].

Думается, что вышеизложенный, хотя и очень лаконичный и сухой, материал позволяет сделать два вывода. Во-первых, присоединение к Московскому княжеству Нижнего Новгорода и других упомянутых выше русских городов было подготовлено дипломатически (во время визита в Орду, совершенного Василием I во второй половине 1392 г.) и закреплено военным путем (в результате похода московских войск во главе с великим князем и «старейшими боярами» в конце 1392 г.). Во-вторых, московское правительство не очень стремилось фиксировать внимание на том, что нижегородско-суздальские князья были принуждены им к подчинению силой. Поэтому в ряде летописей (Ермолинской, Воскресенской) эта сторона дела в той или иной мере затушевана.

В Софийской первой и Новгородской четвертой летописях последовательность двух факторов, игравших роль в борьбе московского правительства за Нижний Новгород (дипломатические усилия, проявленные в Орде, и военное наступление), освещается иначе, чем в ранее рассмотренных нами летописных сводах. Сначала якобы Василий I «ходи под Нижний Новгород ратию и взя город за себе...», а уже после этого хан «дал ему. . . Новгородьское княжение. . .»[3] Почему произошла такая перестановка

[1] ПСРЛ, т. XXIV, стр. 158—159; т. VIII, стр. 62; т. XXV, стр. 219—220.

[2] ПСРЛ, т. XX, стр. 210—211; т. VI, стр. 122; т. IV, стр. 99; т. V, стр. 245.

[3] ПСРЛ, т. IV, стр. 99; т. V, стр. 245.

событий? Детальное сличение летописных текстов помогает вскрыть в отдельных сводах наличие искусственной комбинации разных источников о московско-нижегородских отношениях 1392—1394 гг., но, конечно, не может объяснить внутреннюю логику и смысл такой (с формальной стороны обнаруживающей искусственность) компановки. Объяснения этому надо искать в политических соображениях, побуждавших составителей и редакторов летописных памятников переставлять и переплетать источники. В рассматриваемом сейчас случае попытка летописцев представить дело так, что сначала Нижний Новгород был присоединен к Московскому княжеству, а затем это присоединение было оформлено в ярлыке, выданном ханом Тохтамышем Василию I, вызвана, по-моему, тем, что во враждебных московскому правительству кругах (тверских и других, в том числе части московских феодалов) его упрекали в использовании Орды не только в дипломатических, но и в военных целях. Если хан выдал ярлык московскому великому князю на Нижний Новгород в то время, когда он еще был независим от Москвы, значит, ордынский правитель мог ему оказать помощь и в приведении своего распоряжения в жизнь, мог помочь московским властям укрепиться в городе. Если же ярлык был выдан уже после того, как московские власти сами добились объединения Московского и Нижегородского княжеств, значит, хан уже оказывался поставленным перед совершившимся фактом и ему оставалось лишь признать его. Вторая версия в большей мере отвечала задаче укрепления престижа Московского княжества и на международной арене и внутри страны, в большей степени служила делу подъема национального самосознания, отвечала патриотическим настроениям широких кругов населения. И если фактически было как раз так, что Василий I сначала заручился поддержкой со стороны Орды своим планам о покорении Нижнего Новгорода, а потом уже стал эти планы проводить в жизнь, то в некоторых произведениях политической литературы события начали изображаться в обратном порядке. Желаемое стало выдаваться за действительность: начали писать, что сперва Нижний Новгород якобы подчинился московским властям, а затем хан был вынужден официально с этим обстоятельством согласиться.

Наиболее полный рассказ о падении независимости Нижегородского княжества содержится в Рогожском летописце, Симеоновской летописи, Тверском сборнике (в последнем памятнике изложение короче, чем в первых двух). Самое интересное—это то, что в названных летописных сводах описываются (хотя и скупо) действия московского правительства в Нижнем Новгороде и раскрывается отношение к нему местного населения. Рассказ ведется с позиций, враждебных московскому великому князю Василию I Дмитриевичу. Это и понятно, если учитывать, что данный текст дошел до нас через тверское летописание и отражает политические тенденции тверских феодалов. В то же время в тексте звучат мотивы, близкие к более широким кругам городского населения.

В указанных летописных сводах говорится, что в 1392 г. Василий I нарушил мир с нижегородско-суздальским князем Борисом Константиновичем («сложи» ему «целование крестное») и совершил поездку в Орду, где просил хана Тохтамыша закрепить за собой права на Нижегородское княжество. Разбираемые летописи осуждают этот поступок московского великого князя, указывая, что он должен был привести к кровопролитью, к несчастьям для Руси («преможе бо многое събрание на кровопролитие», «на погыбель христианьскую»). Мысль здесь такая: обращение отдельных русских князей за помощью к ордынским правителям, использование поддержки последних в своих внутренних междукняжеских усобицах приносит большой вред населению Русской земли. Мысль эта в данном случае высказывалась в интересах правителей отдельных русских княжеств, отстаивавших свою независимость от централизаторской политики московской великокняжеской власти. Но та же мысль, будучи развиваема не в плане обоснования узко сепаратистских феодальных лозунгов, выдвигаемых защитниками политической раздробленности, а в целях защиты идеи национальной независимости Русской земли, получала более общее значение, делалась созвучной широким слоям русского населения. Вмешательство Орды в дела русских княжеств становилось все большим тормозом для развития Руси.

Летописи подчеркивают, что, добиваясь признания за московским правительством прав на Нижегородское княжество, Василий I старался подкупить Тохтамыша, передав ему большие денежные суммы и другие подарки: «безбожныи же татарове взяша и сребро многое и дары великыи». В результате составитель повести разбираемого типа приходит к выводу: московский великий князь добился в Орде прав на Нижний Новгород «златом и сребром, а не правдою». И в связи с этим приводит выдержку из «священного писания»: «безумнаго очи конець вселенныя» (т. е. алчность, безрассудная зависть доведут мир до погибели). Здесь процесс объединения русских земель рассматривается в плане феодальных понятий того времени, как рост богатств московских князей, стремившихся к захватам чужого имущества. Апелляция к «правде», которая должна быть выше «злата» и «сребра», в данном случае производилась в целях защиты правопорядка периода феодальной раздробленности, обосновывавшего верховную собственность каждого великого или удельного князя на территорию своего княжения и предохранявшего ее от поползновений со стороны других владетелей. Но та же «правда» могла быть понимаема в вышеприведенном летописном конспекте и по-иному: как политика объединения русских земель, проводимая не с помощью татаро-монгольских князей, а вопреки Орде и в борьбе с ней. И подобное понимание «правды» опять-таки было близко широким народным массам. Таким образом, идеи, высказанные в повести о падении независимости Нижнего Новгорода, включенной в Рогожский летописец, Симеоновскую летопись, Тверской сборник, были

передовыми для того времени, но, получая специфическое преломление, они сужались в своем содержании и использовались для идеологического обоснования начал местного владельческого сепаратизма.

Деньги, взятые Василием I из великокняжеской казны и привезенные в Орду (московское «серебро» и «злато»), конечно, сыграли немаловажную роль в переговорах между московским князем и Тохтамышем по поводу передачи Нижнего Новгорода под власть московского правительства. Но в то же время совершенно несомненно, что дело было не в одних деньгах, а в возрастающей силе Московского княжества, с чем не могла не считаться Орда. В частности, ордынские власти уже не имели возможности сами справляться с ушкуйниками, которые во время своих набегов грабили ордынских купцов по Волге и доходили до Болгар и Сарая. Тохтамыш, вероятно, рассчитывал, что с присоединением Нижнего Новгорода к Московскому княжеству вооруженные силы последнего приостановят движение ушкуйников, которые прекратят свои нападения не только на русские города в Поволжье, но и на ордынские городские центры.

По данным Рогожского летописца, Симеоновской летописи и Тверского сборника, Василий I из Орды выехал в Русь с ордынским послом. Дойдя до Коломны, великий московский князь отправил ханского посла вместе со своими боярами в Нижний Новгород (очевидно, для выполнения ханского решения о включении Нижегородского княжества в состав московских владений), а сам вернулся в Москву, через некоторое же время также поехал в Нижний Новгород. Здесь перед нами более детальное изложение событий, чем в ранее разбиравшихся летописных памятниках, в которых говорилось о поездке Василия I в Нижний Новгород одновременно с московскими боярами.

Рассматриваемые сейчас летописные своды ничего не говорят о посылке Василием I в Нижний Новгород рати (о чем имеются сведения в Львовской и других летописях). В дальнейшем упоминаются действующие в Нижнем Новгороде «безбожныи татары». Очевидно, какой-то военный татаро-монгольский отряд был при послé Тохтамыша. Но имелся ли такой же вооруженный отряд при русских боярах, об этом в изучаемых летописных памятниках нет данных. Однако вряд ли следует отвергать показания Львовской и других летописей о том, что поход из Москвы на Нижний Новгород в конце 1392 г. был мероприятием военно-наступательного характера. Да это косвенно подтверждают и Рогожский и сходные с ним летописцы, когда рассказывают, что нижегородско-суздальский князь Борис Константинович, ожидая прихода ордынского посла и московских бояр, обратился к своим боярам и «дружине» с просьбой не выдать его, а те обещали «сложить» за него «свои головы». Наконец, все эти летописи начинают рассказ о падении независимости Нижнего Новгорода с того, что договоренность Василия I с Тохтамышем о получении ярлыка

на Нижегородское княжество была шагом на пути к «кровопролитью» и «погыбели христианской».

Но почему же Рогожский летописец, Симеоновская летопись, Тверской сборник молчат о том, что московское правительство использовало для приведения в покорность Нижнего Новгорода военную силу? Ведь в плане осуждения политики Василия I, которое имеется в этих сводах, было, напротив, как будто, важно подчеркнуть, что присоединение Нижнего Новгорода—это акт насилия со стороны московского правительства. Конечно, ответить на поставленный вопрос можно только предположительно. Думаю, это объясняется тем, что в рассматриваемых нами сейчас летописях превалируют две идеи: во-первых, осуждение акта договоренности Василия I с Тохтамышем по вопросу о Нижнем Новгороде как проявлении антинациональной политики; во-вторых, осуждение нижегородских бояр, в самый решительный момент изменивших своему князю Борису Константиновичу и предавших его. Для того чтобы приобрела убедительность первая идея, составителю текста особенно важно было подчеркнуть, что Василий I привел в Нижний Новгород «безбожных татар». Чтобы заклеймить нижегородских бояр-изменников, составителю даже выгодно было показать, что измена была плодом вероломства бояр, принявших сторону татаро-монголов, а не делом, совершенным под нажимом московской рати.

Согласно повести изучаемого типа, нижегородско-суздальский князь Борис Константинович, готовясь к отпору натиска, шедшему из Москвы, созвал своих бояр «и нача им молитися с плачем и слезами: братиа бояре и дружина, поминаите крестное целование и нашу любовь и доброту». Смысл данного летописного текста надо, очевидно, понимать так, что Борис Константинович потребовал от своих бояр и слуг принесения ему присяги. Вряд ли такое мероприятие можно рассматривать как акт чисто формального характера. Вероятно, для него имелись какие-то достаточно веские основания. Естественнее всего, конечно, объяснить предложение нижегородско-суздальского князя (в передаче летописи звучащее как просьба) местным феодалам относительно присяги опасением, что в среде нижегородского боярства имеются сторонники московского правительства. По всей вероятности, такое опасение у князя Бориса Константиновича было и вряд ли следует подвергать сомнению его реальность. Но думается, что для правильной интерпретации летописного рассказа о совещании нижегородско-суздальского князя со своими боярами очень важно учесть позицию еще одной социальной силы, с которой должны были считаться и московское и нижегородское правительства,—это нижегородских горожан. Уверенности в их поведении, очевидно, у Бориса Константиновича не было. Из летописных сообщений, относящихся к 70-м и 80-м годам XIV в., видно, что нижегородские горожане страдали от татарских набегов до такой степени, что иногда покидали город, а местные князья не могли их защитить от ордынской опасности.

Местное городское население много терпело от усобиц нижегородско-суздальских князей, использовавших в своих феодальных войнах помощь со стороны ордынских правителей. Нижний Новгород подвергался и нападениям со стороны ушкуйников, от которых не имел защиты. По всем этим причинам Борис Константинович не мог особенно рассчитывать на поддержку нижегородских горожан, для которых переход под власть Московского княжества мог представляться наиболее благоприятным выходом из весьма тяжелого положения. Нельзя было не учитывать и экономических связей Среднего Поволжья с московским центром, определявших политическую ориентацию хотя бы части нижегородского купечества в сторону Москвы.

Летопись не дает прямых данных для еще одного предположения, которое, однако, станет вполне правдоподобным, если сопоставить то, что делалось в Нижнем Новгороде в 1392 г., с обстановкой, складывавшейся в других русских городах и княжествах накануне их включения в состав Русского централизованного государства. В эти моменты там, естественно, обострялись социальные противоречия. Антифеодальные движения против местных представителей господствующего класса иногда переплетались с освободительной борьбой против ордынского ига.

Нечто подобное происходило, очевидно, и в Нижнем Новгороде в конце 1392 г. Борис Константинович боялся не только московских войск, но и торгово-ремесленного населения собственного княжества, и в таких условиях было очень важно сплотить силы господствующего класса, что он и попытался сделать. «Старейший боярин» Василий Румянец принес своему князю клятву верности от имени других бояр и слуг («и рече ему: княже великыи, главы свои сложим за тя. . .»). Составитель повести, помещенной в Рогожском летописце, Симеоновской летописи, Тверском сборнике, упрекает Василия Румянца во лжи и предательстве, считая, что он (вместе с другими боярами) уже в момент присяги задумал измену, и сравнивает его с киевским воеводой X в. Блудом, также предавшим князя, которому служил («. . . льстя ему, якоже древний Бут лься своему князю, а чюжему добра хотя . . .»). Можно, конечно, думать, что у Василия Румянца была договоренность от имени других нижегородских бояр с великим московским князем о выдаче князя Бориса Константиновича, которого он, следовательно, обманывал. Но мне это предположение не представляется достаточно убедительным. Для самого Василия I социально-политическая обстановка, сложившаяся в Нижнем Новгороде, и настроения различных слоев местного населения были, по-видимому, недостаточно ясны. Поэтому он и не торопился туда ехать, очевидно, выжидая, пока определится отношение к московскому правительству отдельных групп нижегородского общества. И только через две недели после приезда в Москву из Орды московский великий князь решился отправиться в Нижний Новгород, где почва для его появления была подготовлена деятельностью его бояр.

Поэтому я и думаю, что присягу нижегородского боярства своему князю Борису Константиновичу нельзя расценивать как обман с его стороны. В данное время местным феодалам важно было обеспечить единый фронт действий господствующего класса в том случае, если бы начались волнения среди горожан. Надо было ликвидировать их антифеодальную направленность, но поддержать и использовать в своих интересах лозунги национально-освободительного движения, направив его по линии борьбы с московской великокняжеской властью и ее представителями под тем предлогом, что последние являются в сопровождении ордынского посла. Тем самым был бы подорван и авторитет московской великокняжеской власти.

Характерно, что и московские представители, прибывши в Нижний Новгород, прежде всего стремятся уловить настроение городского (очевидно, торгово-ремесленного) населения. Согласно летописному рассказу, «внидоша татарове в град и бояре москвичи и начаша в колоколы звонити, стекошася людие . . .», «и снидеся весь град». Следовательно, по колокольному звону было созвано собрание горожан. Очевидно, вечевые порядки в городе еще были живы. И бояре, присланные из Москвы, эти порядки соблюдают, понимая, что в таком крупном ремесленно-торговом центре, как Нижний Новгород, городская корпорация представляет собой значительную социально-политическую силу. Очень показательно, что московские послы—бояре начинают переговоры с «людьми» города, а не с представителями нижегородских феодалов. Вряд ли можно сомневаться, что во время этих переговоров горожане получили какие-то политические гарантии со стороны московских послов. Летописи изображают переход Нижнего Новгорода под московскую власть как акт моментальный: собрались нижегородские «людие», местные бояре отошли от князя Бориса Константиновича, последний остался в полной изоляции, и присоединение Нижнего Новгорода к Московскому княжеству произошло сразу и безболезненно! Так в жизни не бывает. Процесс подчинения города московскому правительству, несомненно, растянулся на какой-то, хотя и не очень продолжительный, период.

Сначала определилась линия поведения горожан, благоприятная по отношению к московской великокняжеской власти. То, что вместе с московскими послами прибыли в Нижний Новгород «безбожныи татары», не повлияло на эту линию, местное ремесленно-торговое население не пошло на борьбу с Ордой (а при данной ситуации—и с Москвой) за местных нижегородских князей, многие из которых были и сами связаны с ордынскими ставленниками.

Тогда и нижегородские бояре, часть которых, возможно, и раньше держалась московской политической ориентации, откололись от князя Бориса Константиновича. На призыв последнего о помощи («братие, бояре, помянете крестное целование, не выдаваите мя») Василий Румянец, выступая опять-таки от имени нижегородского боярства в целом, заявил: «княже, не надеися на нас, несть есмы

с тобою, но на тя есмы». Это был официальный «отказ» вассалов от службы своему сеньору. Если строго следовать за летописным изложением, то надо принять, что этот «отказ» был провозглашен сразу после того, как по колокольному звону перед московскими представителями собрался «весь град». Перед собранием нижегородских горожан Василий Румянец и отказался якобы от принесенной им не так давно присяги князю Борису Константиновичу. В действительности же, как указано выше, все было значительно медленнее и сложнее.

Летописи не жалеют выражений для того, чтобы заклеймить клятвопреступление Василия Румянца. Они именуют его «друг дияволь», «многым казнем достоин», относят к нему изречения Давида («мужа крови льстива гнушается господь») и Иоанна Лествичника («душа мятежна седалище диаволе»). Почему такая страстность? Только ли здесь дело в моральных побуждениях летописцев? Я думаю, что, конечно, нет. Ведь, строго говоря, Василий Румянец не совершил никакого преступления с точки зрения феодального права. «Вольность» боярской службы гарантировалась всеми междукняжескими договорами. «Отказ» бояр и вольных слуг от службы своему князю и присяга на верность другому представляли собой вполне законные явления с точки зрения феодальных представлений. Василий Румянец в соответствии с феодальными юридическими нормами предупредил своего князя о разрыве с ним отношений и о вступлении в число вассалов его противника. Так что все как будто обстояло нормально. Однако массовое использование боярами и слугами вольными права «вольности» службы являлось опасным прецедентом. Оно подрывало основы того политического порядка, который предполагал существование ряда самостоятельных князей с отрядами своих бояр и вольных слуг. Сильнейший из этих князей мог на законном основании, на началах видимой добровольности, сконцентрировать вокруг себя такое количество «вольных» (до поры до времени) слуг, которое в дальнейшем станет несовместимым с существованием политической раздробленности. Поэтому автор разбираемой повести, сторонник раздробленности, с таким негодованием говорит о поступке Василия Румянца. Свое негодование он объясняет национально-патриотическими мотивами: Василий Румянец перешел на службу к ордынским князьям («оставив своего князя, изменив крестное целование и отиде к татарам»), ибо московский князь прислал в Нижний Новгород своих представителей с санкции Орды и вместе с послом Тохтамыша.

«По мале же времени» (по Рогожскому и другим летописцам; через две недели—по Ермолинской и другим летописям) после отправки в Нижний Новгород своих бояр Василий I приехал туда сам. Очевидно, сделал он это тогда, когда исчезла опасность сопротивления московскому правительству со стороны местного населения. Он назначил в город своих наместников, а князя Бориса Константиновича с женой и детьми велел «по градом развести».

На устройство в присоединенном княжестве московской системы управления потребовалось около полутора месяцев, и только по истечении этого срока великий князь «возвратися въсвояси на Москву» и отпустил в Орду, «чтив и дарив», бывших при нем татар. Все же указанное время они оставались при Василии Дмитриевиче в Нижнем Новгороде[1].

Характерна более поздняя версия о падении самостоятельности Нижнего Новгорода, имеющаяся в Никоновской летописи. Здесь повторен рассказ Рогожского летописца (и с ним сходных) в сочетании с данными других летописей. Прямо говорится о сношениях Василия Румянца с Василием I еще до того, как бояре последнего пришли в Нижний Новгород («и съсылашеся с великим князем Василием Дмитреевичем»). По Никоновской летописи, Василий Румянец обещал Василию I выдать князя Бориса Константиновича («и хотяше господина своего выдати ему»). Это—позднейшая трактовка событий с позиций московской великокняжеской власти. В таком же плане оценивается и все поведение Василия Румянца. Выпущены выпады против него, имевшиеся в Рогожском и других летописцах. Он рисуется сторонником присоединения мирным путем Нижегородского княжества к Московскому, уговаривающим своего князя Бориса Константиновича добровольно впустить в город ордынского посла и московских бояр: «Господине княже, се царев посол Тохтамышев, а се великого князя Василья Дмитреевича московскаго бояре, хотяще мира подкрепити и любовь утвердити вечную, а ты сам брань и рать воздвизнеши: пусти убо их в град, а мы вси с тобою, а что могут сии сътворити?» Подобная тактика Василия Румянца как доброжелателя московского великого князя положительно оценивается летописцем.

Разбираемая летописная версия могла возникнуть во второй половине XV в., когда в общерусских сводах идеологически осмысливается процесс образования Русского централизованного государства с центром в Москве.

Из деталей, которые могут пролить свет на фактическую сторону включения Нижегородского княжества в состав формирующегося единого Русского государства, в Никоновской летописи представляет интерес упоминание о попытке сопротивления московскому правительству со стороны нижегородско-суздальского князя Бориса Константиновича, не желавшего сдавать города московским боярам («и не возхоте князь велики Борис Констянтиновичь пустити их во град»). С этим связано и указание на то, что Василий I разослал «по градом» всех сторонников Бориса Константиновича («елико еще быша доброхотов его»)[2]. Это лишнее подтверждение высказанной выше мысли о том, что присоединение Нижнего Новгорода к Московскому княжеству прошло не столь просто и безболезненно, как об этом говорят некоторые летописи. Было и сопротивление, было и его подавление со стороны московских властей.

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 446; т. XV, вып. 1, стр. 162—163; т. XVIII, стр. 142.
[2] ПСРЛ, т. XI, стр. 147—148.

Правительству Василия Дмитриевича удалось добиться ликвидации независимости Нижегородского княжества в значительной мере потому, что в рассматриваемое время Золотая орда, стремившаяся не допустить объединения Руси, была несколько ослаблена в результате борьбы между Тохтамышем и крупнейшим среднеазиатским властителем рассматриваемого времени Тимуром. Последний еще в 1391 г. нанес сильный удар Тохтамышу, а в 1395 г. совершил новый поход на Золотую орду. Этот поход захватил и Русские земли, оставив значительный след в современной ему публицистике.

§ 5. Нашествие на Русь войск Тимура и отражение этого события в памятниках общественной мысли

О нашествии на Русь в 1395 г. войск Тимура в летописных сводах сохранилась повесть в нескольких вариантах. Наиболее кратко это событие изложено (неправильно под 1398 г.) в Симеоновской летописи и в Рогожском летописце. Здесь сказано лишь, что Тимур («Темир-Аксак Шарахманскыи») нападал на Русскую землю и московский великий князь Василий Дмитриевич выступал против него с «ратью» к Оке, где и «стоял», дожидаясь прихода захватчиков. В то же время московские жители также ожидали подступа полчищ Тимура и готовились к этому. Думали, что Москва будет осаждена. Руководить обороной города остался серпуховско-боровский князь Владимир Андреевич. Однако Тимур, дойдя до Ельца (в пределах Рязанской земли), повернул обратно и «бысть в граде Москве радость велика»[1].

Из приведенного лаконичного рассказа, конечно, трудно составить достаточно ясное представление о событиях 1395 г. Видно только, что возможное нашествие военных сил под предводительством грозного завоевателя рассматривалось на Руси как страшная опасность. После того как эта опасность миновала, все легко вздохнули. До тех пор пока угроза нашествия Тимура не перестала быть реальной, население Московского княжества оставалось на страже и принимало меры к сопротивлению. Было послано войско к Оке, чтобы помешать переправе захватчиков и не дать им проникнуть в центральные русские земли. Но на всякий случай Москва вооружалась. Учтя опыт 1382 г., когда во время наступления Тохтамыша все князья покинули Москву и там вспыхнуло антифеодальное восстание, московское правительство в 1395 г. действовало уже по-иному. Выступая навстречу неприятелю, московский великий князь Василий I оставил своего двоюродного дядю князя Владимира Андреевича во главе гражданского и военного управления столицей.

[1] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 165; т. XVIII, стр. 143.

Несколько более полный рассказ о нашествии Тимура содержится в Ермолинской летописи. Здесь поход на Русь рассматривается в связи с его общей завоевательной политикой. Поэтому прежде всего летопись перечисляет страны, города, народы, подвластные Тимуру, подчеркивая, что в результате завоеваний последний стал обладателем больших материальных ресурсов и военных сил: «и со всех сих [захваченных государств] дани, оброкы имаху, на воину с ним ходяху со тмочисленными полки». Вторжению полков, предводительствуемых Тимуром, в пределы Руси предшествовала его победа над ханом Золотой орды Тохтамышем. Одолев золотоордынского правителя, Тимур вступил в Рязанскую землю, взял в плен местных князей и жестоко разорил мирных жителей («и люди помучи»). Московский великий князь «собра воя многы» и отправился к Коломне, где расположил войско на берегу Оки. А жители Москвы с тревогой ожидали приближения страшного врага («люди же во мнозе тузе и печали суще...»). Город был переполнен: там сосредоточились люди различного общественного положения, как представители господствующего класса, так и низших социальных слоев («...мали и велици»). Разбираемая летописная повесть пронизана религиозной философией. Избавление Руси и Москвы от полчищ Тимура приписывается чуду иконы владимирской богоматери. Великий князь Василий I и митрополит Киприан, боясь «нахожения безбожных», послали во Владимир за этой иконой. Москвичи вышли навстречу ей из города и торжественно водрузили ее в одной из московских церквей. По версии летописи, в день перенесения из Владимира в Москву иконы богоматери (26 августа) Тимура, который уже две недели находился со своим войском без движения на одном месте («стоящу на едином месте две недели»), обуял страх («в той час обыде его страх и гроза»). Испугавшись, что ему придется столкнуться с большими русскими военными силами («...яко некоего воиньства, от Руси грядуща, убояся...»), он отступил «в землю свою»[1].

Разобранная повесть интересна некоторыми фактическими данными, отсутствующими в Симеоновской летописи и Рогожском летописце (борьба Тимура с Тохтамышем, разорение Тимуром Рязанской земли). Очень важно указание на то, что к борьбе с завоевателем готовился весь русский народ («...мали и велици»), что «русское воиньство» представляло известную угрозу для Тимура (хотя сомнительно, конечно, что только страх перед «воиньством, от Руси грядущим», заставил его убежать).

Особый политический смысл, как мне кажется, имеет приведенная в Ермолинской летописи легенда о чудесном спасении русского народа от нависшей над ним опасности быть завоеванным властителем ряда восточных стран. Перенесение иконы владимирской богоматери в Москву в грозный для нее час, когда ожидалось наступление неприятеля, является символом того, что Москва стала

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 134.

преемницей Владимира в качестве политического и национального общерусского центра, что она сделалась средоточием Руси в борьбе с иноземными захватчиками. Эта идея исторической преемственности (сама по себе прогрессивная для того времени) дается, однако, в чисто религиозно-церковном преломлении, что накладывает определенный отпечаток на трактовку летописью событий 1395 г. То довольно широкое, по-видимому, освободительное движение, которое захватило русский народ накануне ожидавшегося прихода к Москве войск Тимура, затушевывается. Согласно концепции повести, народ не сам стремится преодолеть ожидающее его бедствие, а бедствие это предотвращается чудом. Действия народа в летописном изложении заслоняются фигурами князя и митрополита, которые не столько организуют сопротивление врагу, сколько надеются на поражение его при помощи небесных сил. Однако за церковной оболочкой летописного рассказа можно как разглядеть подлинное поведение народных масс (активно крепивших оборону Москвы), так и выявить политическую концепцию, сложившуюся в среде передовой части феодального класса, о Москве—политическом центре формирующегося единого государства и оплоте борьбы Руси за независимость.

Можно предполагать, что повесть о нашествии Тимура, сохранившаяся в составе Ермолинской летописи, была составлена вскоре после 1395 г. Она довольно несложна по литературному замыслу, лишена вычурности и стилизации. Политическая концепция, в ней представленная, могла сложиться после Куликовской битвы.

Более развернуто версия Ермолинской летописи изложена в летописи Воскресенской. Здесь сильнее подчеркнут завоевательный характер походов Тимура («сей бо царь Темир-Аксак многы брани въздвиже.., многы люди погуби.., многы области и азыки плени, многа царства и княжениа покори под себе»). Сам Тимур рисуется безжалостным восточным деспотом, сметающим все на своем пути («и бяше сий Темир-Аксак велми нежалостлив, и зело немилостив, и лют мучитель, и зол гонитель, и жесток томитель...»). Завоевания Тимура рассматриваются в соответствии с церковной концепцией того времени, как результат наступления «окаянных агарян» на «христиан». И в этом же плане получает оценку вторжение полчищ Тимура в пределы Русской земли. Он «похваляется итти к Москве, хотя взяти ю, и люди рускиа попленити, и места святаа разорити, а веру христианскую искоренити, а хрестиан томити, и гонити, и мучити, пещи, и жещи, и мечи сещи...». Бесспорно, что Тимуру приписываются в Воскресенской летописи агрессивные замыслы в отношении Руси, большие, чем он собирался и мог в то время осуществить. Думается, что приведенная выше оценка походов Тимура могла появиться в первой половине XV в., когда в судьбе южных славян (за которой следили русские летописцы) произошли большие изменения, они попали под турецкое иго. Объектом турецкой агрессии сделались затем и православные народы Кавказа. На Руси в то же время шел процесс образования

единого государства, сопровождавшийся постепенным ослаблением его зависимости от Орды. В тот период всемирной истории, когда внешнеполитические условия жизни разных ветвей славянства менялись в противоположных направлениях, могла приобрести в церковно-феодальных кругах особую политическую актуальность концепция борьбы христианства (в форме православия) с «погаными» и «неверными», как силы, определившей различие путей развития восточных и южных славян (а также некоторых других православных народностей).

Некоторые детали, вкрапленные в текст Воскресенской летописи, пополняют наши представления о том, что делалось в пределах Московского княжества в момент ожидающегося прихода туда Тимура. В Москве скопилось из разных мест много народа, предполагавшего, что придется выдержать осаду («граду же Москве пребывающу в смущении и готовящуся сидети в осаде, и многу народу сущу в нем, отвсюду събравшуся»). Характерно летописное указание на то, что в Москву ежедневно поступали сообщения о действиях и намерениях Тимура (« по вся же дни частым вестем приходящим на Москву, възвещающе прещение грозы Темирь Аксаковы...»). Очевидно, в Рязанскую землю, где находился Тимур, систематически посылались сторожа.

Краткий рассказ Ермолинской летописи о чудесном спасении Москвы с помощью иконы владимирской богоматери превращается в Воскресенской летописи в пространную витиеватую повесть религиозного содержания. Хотя в ней и упоминаются «народ» и русское «воинство», но их не видно, они не активные участники событий. По идее повести не нужно было ни выступления «пълков наших», ни «гласа труб», который устрашил бы захватчиков, стоило лишь призвать «бога на помощь и пречистую его матерь», как «безбожный» Тимур пустился в бегство («с бегом к Орде възвратися, гоним гневом божиим»)[1].

Повесть особого типа о нашествии Тимура сохранилась в составе Тверского сборника и (с некоторыми особенностями) в составе летописей Софийской второй, Львовской, Типографской[2].

Ее главное отличие от рассказа Воскресенской летописи заключается в том, что в ней дается (с известной долей фантазии) биография Тимура. Подчеркивается его простое происхождение («... и спрьва не царь бе родом, ни сынь царев, ни племени царска, ни княжеска, ни боярска, но тако испроста, един сый от худых людей...»). По профессии, читаем в повести, Тимур был кузнец, по образу жизни—разбойник и вор («обычаем же и делом немилостив, и хыщник, и ябедник, и грабежник»). Он жил в холопстве «у некоего... государя», но тот выгнал его из-за его «злонравия». Не имея пропитания, Тимур стал кормиться «татбою». Однажды,

---

[1] ПСРЛ, т. VIII, стр. 65—68; см. также т. XXV, стр. 222—225.

[2] ПСРЛ, т. XV, стр. 447—487; т. VI, стр. 124—128; т. XX, стр. 212—217; т. XXIV, стр. 160—165.

продолжает повесть, он украл овцу, владельцы которой поймали его, избили, перебили ему ноги и бедро и, думая, что он умер, оставили его на съедение псам. Однако Тимур поправился, оковал железом перебитую ногу, но остался на всю жизнь хромым. Отсюда его прозвище Темир-Аксак («темир»—по-половецки—железо; «аксак»—хромец). Это прозвище, говорит составитель повести, отражало его натуру и характер. По профессии он был кузнецом, а охромел он из-за своих недобрых дел. Исцелившись от ран, как указывает повесть, Тимур не исправился, но стал разбойничать еще больше («не лишился бе лихаго обычаа пръваго, не смирился, ни укротился, но и паче на горшее съвращеся, и горее давнаго и пуще прежняго, и бысть лют и разбойник»). С течением времени к Тимуру стали приходить и грабить вместе с ним другие злые люди, такие же, как он, «разбойники» и «хищники». Когда отряд Тимура вырос до 100 человек, его начали называть «старейшиной разбойников». Когда же число его соучастников достигло 1000, он получил наименование «князя». Количество «разбойников», как сказано в повести, все увеличивалось, они захватили много земель, и Тимур, наконец, получил царский титул. Затем Тимур покорил ряд стран, пленил «царя... турского», которого всюду возил с собой в железной клетке с тем, чтобы «видели мнози земли таковую его силу и славу, безбожнаго врага и гонителя». Наконец, он возомнил себя вторым Батыем и решил «ити на Рускую землю и попленити еа...»

Поход полчищ Тимура на Русь описывается в повести рассматриваемого типа примерно так же, как в Воскресенской летописи. Существенных расхождений с ней фактического или идейного характера не имеется. Биография (конечно, говоря условно, ибо в ней много вымысла) Тимура написана образно и ярко. Ее стиль (простой и живой) как-то плохо вяжется с церковно-книжным трафаретом, отпечаток которого лежит на последующем изложении (перенесение в Москву иконы владимирской богоматери). Несмотря на явное желание автора опорочить Тимура, в повести чувствуется известное увлечение его образом—образом (в изображении повести) простого ремесленника и холопа, ставшего могущественным повелителем ряда стран: обладателем царского титула. Материал для биографии Тимура, вероятно, заимствован автором из памятников тюркского феодального эпоса. Идея повести—обличить Тимура как узурпатора. Разбойник, хищник, грабитель, он незаконно достиг высших общественных ступеней и захватил власть в ряде государств, свергнув их законных правителей. Думается, что образ Тимура приобретает под пером лица, описавшего (согласно своему представлению) его жизненный путь, в известной мере типичный характер. Это, по мысли автора, обычный путь восточных деспотов, в том числе и ордынских ханов. Они узурпаторы и захватчики чужих земель и титулов. А вот русские князья, как бы говорит повесть, могут похвастаться своей родословной. Власть в их роде переходит из поколения в поколение по

прямой линии. Вторжение в пределы Русской земли полков Тимура произошло «в дни княжениа благовернаго и христолюбиваго великого князя Василиа Димитриевича, самодрьжца Рускыя земли, внука великого князя Ивана Ивановича, правнука же благовернаго и христолюбиваго великаго самодрьжца и събрателя Руской земли великого князя Ивана Даниловича»[1]. Вот родословная, свидетельствующая о бесспорности прав на великое московское княжение, хочет сказать составитель изучаемой повести. А узурпаторы чужой власти всегда будут наказаны. В свое время Русскую землю захватил Батый. Тимур хотел повторить его опыт, но получил серьезный урок. Русская земля его не приняла (он «земли Рустии отнудь не прикоснулся, ни оскорби, ни остужи ея, не вреди ея, но поиде без врат»). Надо сказать, что в данном контексте слова о том, что господь «избавил ны есть... из рукы враг наших татар, избавил ны есть от сеча, и от меча и от кровопролитиа, мышцею своеа силы разгнал еси врагы наши, сыны Агарины...»[2], имеют более глубокий смысл, чем аналогичные высказывания Воскресенской летописи. Здесь речь идет не просто о чуде. Здесь раскрывается идея о том, что провидение охраняет территорию Русской земли и ее властей от узурпации. Печальный опыт Тимура—это, как думает автор повести, предзнаменование для тех ордынских правителей, которые еще считают себя властителями над Русью. С ними произойдет то же, что и с Тимуром. Словом, перед нами зарождающаяся феодальная теория московского самодержавия как власти богоустановленной и передаваемой по наследству, независимой от правителей других государств. Эта теория оформляется не ранее середины—второй половины XV в., и не ранее этого времени в передовой среде русских феодалов крепнет мысль о необходимости свержения ордынского владычества. Тогда, очевидно, и появилась повесть о Тимуре в том варианте, который является сейчас предметом нашего рассмотрения. Но самое, пожалуй, для нас важное в рассматриваемом вопросе это то, что за церковным преданием о бегстве Тимура за границы Русской земли в результате вмешательства в дела Руси богоматери раскрываются чисто народные патриотические представления: Русская земля не принимает своих врагов, ее оскверняющих, и выбрасывает их вон.

Можно уловить в данном рассказе о Тимуре и другой мотив. Характеристика Тимура как узурпатора власти использовалась в среде русских феодалов для оценки не только положения собственной страны, но и международных событий. Под ударами турецких завоевателей падали южнославянские царства, их правители становились жертвой агрессии. Эта агрессия воплощена в образе Тимура, который в железной клетке возит другого захватчика—«царя турского».

---

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 447.
[2] Там же, стр. 455.

Я хотел бы высказать, наконец, еще одно предположение относительно возможности интерпретации политического смысла биографии Тимура в изложении русского книжника, не настаивая, однако, на своей гипотезе. Эпитеты, которыми награждается «Темир-Аксак» («хищник», «ябедник», «грабежник», человек, «кормящийся татбою»), взяты из того же словесного арсенала, которым пользовались обычно представители господствующего класса феодалов, клеймя своих классовых противников. Образ холопа, выходца из низов, пробравшегося к власти, должен был служить для феодалов известным предостережением о возможной социальной опасности, ибо Русское централизованное государство складывалось в обстановке острых классовых противоречий.

Поздний вариант повести о событиях 1395 г. воспроизведен Никоновской летописью. В основе ее лежит версия Тверского сборника и с ним сходных летописных памятников, но использованы и другие летописные тексты. Здесь находит дальнейшее развитие идеология московского самодержавия, одним из признаков которого является преемственность власти. Генеалогия московских великих князей ведется уже не от Ивана Даниловича Калиты, а возводится через его отца Даниила и деда Александра Невского вглубь к Всеволоду Большое Гнездо и Юрию Долгорукому. Пленником Тимура, посаженным им в железную клетку, выступает, по летописи, турецкий султан Баязет. Подчеркивается, что борьба Тимура с Тохтамышем привела к ужасному кровопролитию («и толико бысть побито от обою в соймех тех, аки некыя великиа сенныя валы лежаше обоих избиенных»). Говорится также о страшном уроне, понесенном в результате нашествия войск Тимура населением Рязанской земли («и обапол Дона реки пусто вся сотворившу»)[1].

В связи с нашествием на Русь в 1395 г. Тимура, кроме летописей, возникли и другие памятники политической литературы, среди которых представляет интерес «Сказание о Вавилоне граде». В «Сказании» говорится о розыске тремя отроками (Георгием греком, Яковом абхазцем и Лавером русином) в Вавилоне и доставке в Византию царских регалий.

М. О. Скрипиль доказал русское происхождение изучаемого памятника и датировал его первой половиной XV в. (древнейший список памятника относится к концу XV в.)[2]. Основной идеей «Сказания» М. О. Скрипиль считает идею «равноправия или равенства Византии, Обезии и Руси», которая «могла возникнуть только в определенной конкретно-исторической обстановке, вернее всего, в обстановке наступления ислама на христианские православные страны в конце XIV века и первой половине XV века»[3].

---

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 158—161.

[2] *М. О. Скрипиль*, Сказание о Вавилоне граде (Труды ОДРЛ, вып. IX, М.—Л., 1953, стр. 119—142). См. также *Л. С. Шепелева*, Культурные связи Грузии с Россией (Труды ОДРЛ, вып. IX, стр. 305).

[3] *М. О. Скрипиль*, Сказание о Вавилоне граде, стр. 132.

В «Сказании», говорит М. О. Скрипиль, «в форме легенды дается осмысление положения Руси на фоне истории всех христианских православных стран» указанного времени. «Это определенный выход русской политической мысли из круга ближайших и очередных задач внутренней жизни Руси в сферу международных вопросов».

Думаю, что основные выводы М. О. Скрипиля правильны, но их можно значительно уточнить и конкретизировать. Ясно, что «Сказание» было составлено до падения Византийской империи в 1453 г. и до Флорентийской унии 1439 г., в то время, когда Русь рассматривала Византию в качестве союзницы в борьбе с «иноверными» «врагами» «за род хрестьянскыи». И главной мыслью «Сказания» является не только мысль о равноправии Руси, Византии и Абхазии, но особенно идея общности интересов этих трех православных стран в борьбе против иноземных захватчиков: против татаро-монгольского ига, турецкой агрессии, завоеваний Тимура. Непосредственный толчок к составлению «Сказания» дали, вероятно, нашествие Тимура на Русскую землю в 1395 г., с одной стороны, падение Болгарии и Сербии под ударами турок-османов—с другой. Хронологическое место «Сказания» находится, как мне кажется, между повестями о Тимуре в редакции Воскресенской летописи (первая половина XV в.) и летописей Софийской второй, Львовской, Типографской (середина—вторая половина XV в.).

В «Сказании» подчеркивается содружество представителей трех православных стран (Руси, Византии, Абхазии) в розыске царских регалий, как эмблемы независимости той страны, властитель которой ими обладает, от чужеземного владычества. Эти регалии доставляются тремя «мужами» в Византию, еще сохранявшую во время появления «Сказания» такую политическую самостоятельность. Византийский царь, получив регалии, берет на себя инициативу борьбы с «иноверными», воплощаемыми в виде змия, охранявшего знаки царского достоинства, но не сохранившего их. Овладение тремя «мужами» (греком, русским, обежанином) «зднамением»—символ завоевания независимости от татаро-монгольского и турецкого ига государствами, ими представляемыми. Ведь византийский император, надев венец Навуходоносора, поднимает знамя общей для Византии, Руси, Абхазии (да и Армении—если вспомнить слова «Сказания» о том, что византийская императрица Александра—армянка) борьбы с агрессором. «Сказание» и призывает к отпору иноземным захватчикам, выступавшему под идейной оболочкой защиты православия от ислама и других чуждых ему вер. Еще раз повторяю, что страшные для народов Кавказа и Руси нападения Тимура, описанные в Воскресенской летописи и поднявшие в политической литературе большую тему об иноземной агрессии в православные страны в целом, вызвали к жизни и «Сказание», развивающее ту же актуальную для Руси тему. На связь «Сказания» с повестью о Тимуре указывает, в частности, конец первого памятника, сообщающий о походе императора Василия в Индию. Ведь и туда простирались завоевания Тимура.

Если «Сказание о Вавилоне граде» развивает дальше те мысли, которые заложены в повести о нашествии на Русь Тимура, помещенной в Воскресенской летописи, то идеи «Сказания» в свою очередь получили новую трактовку в редакции повести о Тимуре, которую находим в летописях Софийской второй, Львовской, Типографской. Когда составлялась эта редакция, Византия уже была завоевана турками. Поэтому если в «Сказании» носителем царских регалий выступает византийский император, то повесть о Тимуре рассматриваемой поздней редакции фиксирует внимание на «самодержавии» русских князей. В то время как образы захватчиков, разрушающих чужие царства, воплощены в «Сказании» в образе спящего змия, стерегущего знаки царского достоинства, в повести о Тимуре нарисован конкретный (и в то же время типический) образ узурпатора—Темир-Аксака. Один общий мотив звучит и в «Сказании», и в повести о Тимуре—это оптимизм, проявляющийся в воле к борьбе с агрессором, страшным, но не непобедимым. Проснувшийся змий своим стоном потрясает землю на далекое расстояние, но не может помешать грецину, обежанину, русину сделать свое дело—освободить «зднамение». «Безбожного врага и гонителя» Тимура Русская земля не принимает в свои пределы. Если «Сказание» говорит о совместной борьбе за свою независимость трех стран—Византии, Абхазии, Руси, то, по поздней редакции повести о Тимуре, всю тяжесть этой борьбы выносит на своих плечах Русь. Ее не может победить Тимур, разбивший и пленивший турецкого султана Баязеда. Несомненно, что в этой редакции повести о Тимуре значительно ярче, чем в «Сказании», подчеркивается сила формирующегося Русского централизованного государства, уже ясно определившаяся к моменту создания памятника.

Надо немного остановиться на вопросе о том, в каких социальных кругах возникло «Сказание о Вавилоне граде». Несомненно, оно отвечало идеологии той передовой части феодалов (прежде всего московских), которые были заинтересованы в создании независимого, крепкого централизованного государства. Думаю, что в «Сказании» отразилась и идеология горожан. Особенно показательно в этом плане то обстоятельство, что первоначально в Вавилон должны были отправиться послами (но отказались от этого) гости-сурожане. Идея «Сказания», очевидно, примерно такова: путь сурожан преграждали «иноверные», с которыми надо было бороться посредством военной силы. Если вспомнить, что походы Тимура нанесли удар русской торговле с Крымом, то нам не только станет ясным место о «сурожанах» в тексте «Сказания», но мы получим лишний аргумент в пользу связи «Сказания» и повести о Тимуре.

Так нашествие на Русь в 1395 г. Тимура подняло в публицистике ряд серьезных тем, связанных с образованием Русского централизованного государства и его борьбой за независимость. Такая напряженность общественной мысли не случайна. Конец XIV—начало XV в.—это время, когда русскому народу пришлось не раз подниматься на борьбу с захватчиками. За нашествием

на Русь в 1395 г. Тимура в 1408 г. последовало нападение на русские земли Едигея. А небольшой отрезок времени между этими датами заполнен острыми столкновениями между отдельными русскими княжествами и республиками, происходившими в обстановке развертывания классовой борьбы.

§ 6. Классовая борьба в Новгороде в конце XIV в. Восстание в Двинской земле в 1397 г. и ее временное присоединение к Московскому княжеству

В последней четверти XIV в. в Новгороде развивалось антифеодальное движение в форме ереси стригольников. Об этой ереси писали и буржуазные исследователи. Ею достаточно занимались и советские ученые. Но, к сожалению, ересь стригольников рассматривается обычно в отрыве от других проявлений классовой борьбы в Новгороде того же времени, а также от политической жизни Новгородской республики в целом, от взаимоотношений Новгорода с великим княжеством Московским и с Литвой.

Сохранились сведения о том, что еще новгородский архиепископ Моисей (умерший в 1362 г.) вел борьбу со стригольниками. В Повести о Моисее говорится, что он «пасыи словесное стадо Христово, подвизався подвигом добрым противу стригольников и благочестие оутвердив»[1]. В «Слове похвальном» Моисею, сохранившемся в составе того же памятника, читаем: «Радуйся, обличив злокозненных ересь стригольников»[2].

Можно сделать вывод, что еретические выступления стригольников во времена Моисея сочетались с другими, более активными формами борьбы народных масс против феодального строя. В Повести об архиепископе Моисее содержится рассказ о разбойниках, которые после его смерти решили завладеть имуществом, оставленным им Михайловскому Сковородскому монастырю. Со словами: «идем и разбием на Сковоротки монастырь, тоу бо Моисеи архиепископ имения много остави и тем хотяху калугери совладети, и у них отъемше, и оудоволимся тем имением», разбойники якобы двинулись к монастырю, но тут случилось чудо. Перед разбойниками явился покойный Моисей и стал водить их по болоту, погружая поочередно в тину. Доведя до изнеможения разбойников, архиепископ обратился к ним с грозными словами: «Почто совещашася зле, и како смеете дерзнути и грабити обитель мою? Или не весте силы непобедимаго воеводы господня великого архангела Михаила? Аще не покаетеся, то все зде зле погибнете»[3]. После этого разбойники раскаялись и пошли прочь от монастыря. Несмотря на всю фантастичность приведенного рассказа, он дает право

[1] «Памятники старинной русской литературы», вып. 4, стр. 11.
[2] Там же, стр. 14.
[3] Там же, стр. 11.

на некоторые выводы. Под разбоем источники часто подразумевают стихийные коллективные выступления крестьян и городской бедноты против феодалов, как монопольных земельных собственников, сопровождавшиеся присвоением их имущества. Такого рода выступление описывает Повесть о Моисее. Близость «разбойников», о которых говорит Повесть, к стригольникам видна из того, что последние отрицали право духовенства на земельную собственность. Наконец, характерно по своему идейному содержанию выступление Моисея, как представителя православной ортодоксии, защитника незыблемости монастырского землевладения.

Еще более интересен материал летописи, касающийся классовой борьбы в Новгороде в 1359 г., в год ухода Моисея с поста архиепископа и за три года до его смерти. В это время в городе произошло настоящее антифеодальное вооруженное восстание, перекинувшееся и в деревню. Несомненно, что оно было направлено не только против светских феодалов, но и против высшего духовенства (и прежде всего самого Моисея). Несомненна, по-моему, какая-то связь настроений восставших с идеями стригольников.

Прежде всего важно, что повод к восстанию дало то обстоятельство, что Моисей оставил архиепископскую кафедру. Свидетельство летописи о том, что «молиша его много всь Новъград с поклоном» не уходить, весьма тенденциозно и не заслуживает доверия. Вероятнее другое. Заинтересованы в том, чтобы архиепископ остался на своем посту, были феодальные круги Новгорода, опасавшиеся, что смена архиепископов может вызвать ослабление правительства и привести к политическим осложнениям и социальным конфликтам. Что касается Моисея, то он ушел, по-видимому, именно потому, что его фигура была в Новгороде слишком одиозной, его деятельность вызывала много нападок со стороны низшего духовенства и горожан. Он понимал, что лучше своевременно отстраниться от политической деятельности, чем стать жертвой народного восстания.

Весьма показательно сообщение летописи о том, что когда вопрос об уходе Моисея из архиепископов был решен, то новгородские посадники, тысяцкий, игумены, попы «и весь Новъград» решили избрать нового архиепископа из числа трех кандидатов по жребию. Процедура жеребьевки должна была состояться в Софийском соборе. Летописец говорит, что произвести подобный акт было решено для того, чтобы выборы верховного главы новгородской церкви были делом не человеческого произвола, а божьей воли («и не изволиша себе от человек избрания сътворити, нъ изволиша собе от бога прияти извещение и уповати на милость его, кого бог въсхощеть и святая Софея, того знаменаеть»)[1]. Если принять во внимание, что как раз стригольники провозгласили право мирян на избрание себе духовных руководителей, то станет ясно, что бросание жребия в Софийском соборе было не просто

[1] НПЛ, стр. 365.

актом очередной замены пустующей архиепископской кафедры, а в значительной мере—более широким делом укрепления позиций господствующей церкви в обстановке наступления на нее еретиков. Новый архиепископ должен быть избранником божиим, а не лицом, который примет сан по назначению людей, говорит летописец.

Новым главой Новгородской церкви был избран ключник дома святой Софии чернец Алексей. Смена архиепископов послужила поводом к широкому народному движению. Летописец объясняет его с позиций обычной религиозной историософии воздействием дьявола, побудившего «лихих людей» к выступлению против властей. «Тои же весны, богу попустившю грех ради наших, а диаволу действующу, и по совету лихых людеи, и бысть мятежь силен в Новегороде». Но за шаблонной формулой о дьявольском вмешательстве в дела людей чувствуется живая социальная действительность того времени. Ортодоксальные церковники подвергались критике и нападкам со стороны еретиков. В рассматриваемое время идейная борьба между поборниками православной ортодоксии и теми, кто подрывал идеологические устои господствующей церкви, тесно сомкнулась с открытой социально-политической борьбой черных людей против феодальной аристократии.

Разобраться в расстановке классовых сил в изучаемом движении не так легко из-за лаконичности и неясности летописного рассказа. По-видимому, при общей антифеодальной направленности восстания происходила борьба отдельных боярских партий за власть. Те или иные бояре стремились найти поддержку у различных групп черных людей. И это им удавалось.

Жители Славенского конца добились смещения посадника Адриана Захарьевича и возведения на его должность Сильвестра Леонтьевича. Однако последнего, как говорит летопись, поддерживал не «весь город». Значит, кандидатура нового посадника не была утверждена общеновгородским вечем. Эту кандидатуру приняло вече лишь одного Славенского конца. Но жители последнего отстаивали ее вооруженным путем. Они явились на Ярославов двор «в доспесе», и там произошла «сеча». Жители Софийской стороны были без доспеха и поэтому обратились в бегство. Характерно, что происшедшая «проторожь» (схватка) в действительности не имела характера ссоры между двумя городскими кварталами, в пределах которых жители поддерживали друг друга по принципу соседства. И координация и размежевание отдельных групп городского населения шли прежде всего по линии социальной. Говоря, что «славляне» «розгониша заричан», летописи подчеркивают, что при этом они прежде всего напали на феодалов: «бояр многых побиле и полупиле», «и хламиды с них драли», а одного боярина—Ивана Бориса Лихинина «до смерти убили»[1]. Таким образом, если соседские связи в столкновении городских «концов» и «сторон» и имели место, то в то же время за этим столкновением скры-

[1] НПЛ, стр. 366; ПСРЛ, т. IV, стр. 63.

валась более серьезная и глубокая классовая основа. При стихийности и неорганизованности городского движения, при отсутствии достаточно развитого политического сознания выступавших горожан, выдвигавших своих кандидатов в посадники из числа лиц, как им представлялось, наиболее к этой роли подходящих, восставшие могли питать иллюзию, что они, как члены одной территориальной единицы, борются за свои интересы с членами другой такой же единицы. Но здравое классовое чутье подсказывало жителям одного конца, кто является их настоящим врагом из числа жителей другого конца. Поэтому летопись и подчеркивает, что сражались «славляне» и «заричане», но в этом сражении главным было то, что черные люди «побиле и полупиле» бояр.

Летопись указывает, что вражда Славенского конца и Софийской стороны продолжалась три дня: «Софеиская сторона хоти мьстити бещестие братьи своеи, а Славеньская от живота и от голов». И в данном случае главное—размежевание населения по признаку не территориальному, а социальному. Бояре желают отомстить за бесчестие своей «братьи», черные люди отстаивают свои «головы». Наступательной стороной по-прежнему являются «славляне», которые уже и «мост [через Волхов] переметаша».

Развертывание классовой борьбы, по-видимому, таило серьезную угрозу для господствующего сословия. Поэтому и бывший и новый архиепископы (и Моисей, и Алексей) явились к месту вновь намечающегося сражения. Моисей прибыл для этого специально из монастыря, где он находился, оставив архиепископский пост. Судя по летописи, он обратился к новгородцам со словами: «Дети, не доспеите поганым похвалы, а святым церквам и месту сему пустоты; не съступитеся бится». По летописи, речь бывшего архиепископа якобы произвела такое впечатление, что враждующие между собой стороны сразу разошлись.

Конечно, летопись изображает все происшедшие события в слишком идиллических красках. Поэтому верить ей не следует. Но некоторые моменты летописного рассказа, безусловно, заслуживают внимания. Во-первых, важно, что Моисей понимал, что продолжение антифеодального восстания опасно для господствующего класса. Отсюда его колоритное выражение о «пустоте места сего», как несчастье, которого надо избежать. Во-вторых, его указание на то, что проявившаяся среди населения рознь наносит удар «святым церквам», как будто свидетельствует о некоторой связи антифеодального восстания 1359 г. с антицерковными выступлениями еретиков.

Разошлись восставшие, очевидно, не потому, что бывший архиепископ убедил их в несовместимости их действий с интересами церкви, а потому, что бояре пошли на какой-то политический компромисс с черными людьми относительно организации правительства. Так посадником был утвержден новый кандидат—Никита Матвеевич. Кандидатура Сильвестра Леонтьевича, по-видимому, удовлетворяла не всех черных людей. Не случайно, уже вслед за тем

как выступление Моисея, по версии летописи, успокоило народ, жители Софийской стороны (очевидно, рядовые горожане) «взяша села Селивестрова на щит, а иных сел славеньских много взяша»[1].

У нас нет прямых данных о деятельности стригольников и о связи их выступлений с другими формами народных движений вплоть до второй половины 70-х годов XIV в.

От 1375 г. сохранилось следующее известие Новгородской четвертой летописи и летописи Авраамки о казни в Новгороде стригольников. «Тогда стриголников побиша, дьякона Микиту, дьякона Карпа и третие человека его и свергоша их с мосту». В несколько ином варианте то же известие дано под 1376 г. в Воскресенской и Новгородской третьей летописях: «Того же лета побиша в Новегороде стриголников еретиков, диакона Никиту и Карпа простца, и третиего человека с ними, свръгоша их с мосту, развратников святыа веры Христовы». В Никоновской летописи о стригольниках говорится безъимянно: «новгородцы ввергоша в Волхов в воду стриголников еретиков», причем вслед за этим сообщением помещено евангельское изречение: «аще кто соблазнить единаго от малых сих, лутчи есть ему, да обвесится камень жерновный на выи его и потоплен будет в море»[2]. В «Поучении» пермского епископа Стефана, направленном против ереси стригольников (около 1386 г.), эта ересь также связывается с именем Карпа: «последи же всех злая ересь прозябе от Карпа дьякона», «сю бо злую сеть дьявол положил Карпом стригольником»[3].

Из приведенных, несколько противоречивых, текстов видно, что наиболее активными распространителями ереси в Новгороде были три лица, по своему социальному происхождению бывшие выходцами из среды духовенства и рядовых горожан («простець»).

О сущности учения новгородских стригольников, которое распространилось и в Пскове, судят обычно по вышеупомянутому «Поучению» Стефана и грамоте в Псков патриарха Нила (около 1382 г.)[4]. Стригольники не признавали господствующую церковь, выступали против церковных иерархов разных рангов, считая их стяжателями, людьми недостойными. Патриарх Нил говорил про стригольников, что они «отлучишася собрныя апостольскиа церкви, вся еретики мняще, святителя, и священникы, и вся клирики, и прочаа люди христьяны, яко се поставляющия и поставляемыа, себе же токмо правоверных мняще». Патриарх Нил предупреждал тех, кто будет следовать учению стригольников, что их ждет участь отщепенцев от христианства: «...да ся помалу оста-

---

[1] НПЛ, стр. 366.

[2] ПСРЛ, т. IV, стр. 72; т. XVI, стр. 102; т. VIII, стр. 24; т. III, стр. 231; т. XXIII, стр. 120; т. XI, стр. 24.

[3] *Н. А. Казакова* и *Я. С. Лурье*, указ. соч., стр. 236, 241.

[4] Наиболее полно в советской литературе вопрос о стригольничестве разобран в книге И. У. Будовница «Русская публицистика XVI в.», М.—Л., 1947, и в совместной работе Н. А. Казаковой и Я. С. Лурье. В последнем труде дано подробное рассмотрение историографии вопроса.

вят и от христьанства и церковнаго священия яже святители и священници подают людем, еже без сих не мощно коегождо спасениа имети надежда»[1].

На выступления стригольников против церковной иерархии, сопровождавшиеся критикой всех лиц, облеченных духовным саном, указывает Стефан Пермский. Он в мрачных красках рисует образ дьявола, «воздвигшего» стригольников «на правоверную веру» и их устами «оклеветавшего» «весь вселеньскый събор, патриархов, и митрополитов, и епископов, и попов, и весь чин священничьскыи, яко не по достоянию поставляеми...». Борьбу стригольников против «священнического чина» Стефан Пермский объясняет чувством зависти к тем, кто к этому «чину» принадлежит, и желанием занять их место. «Завистию бо стрекаеми вы, стригольницы, востасте на святители и на попов, сами себе хотяще прехватити честь»[2]. Несмотря на весь субъективизм подобной трактовки Стефаном побудительных мотивов проповеди стригольников, из его слов нельзя не вывести заключения, что он близок к оценке этой проповеди как борьбы с общественным неравенством.

Стефан приводит характеристики, дававшиеся стригольниками служителям церкви: «не достойни суть, духъпродавци суть», «недостоин есть патриарх, недостойни суть митрополити...» Главным образом стригольники ставили в вину представителям господствующей церкви мздоимание. «Глаголют бо стригольницы о нынешних святителех и о попех: недостойны де их службы, яко не стяжаша, но имения взимають у хрестьян, подаваемое им приношение за живыя и за мертвыя»[3].

Стригольники отрицали необходимость тех религиозных действий, которые представители господствующей церкви расценивали как «таинства»: причастия, заупокойных церемоний и молитв[4].

Стефан Пермский касается не только негативной стороны учения стригольников, заключающейся в критике ими иерархической структуры господствующей православной церкви, ее догматов и обрядов. Из «Поучения» Стефана можно уловить и некоторые позитивные черты мировоззрения стригольников. В их проповеди выступают известные элементы рационализма, выражающиеся в стремлении средствами человеческого разума разгадать тайны мироздания, которые, согласно учению господствующей церкви, доступны не рассудку, а только лишь вере. Поэтому Стефан и считает стригольников последователями дьявола, внушившего библейскому Адаму мысль вкусить плод от древа познания добра и зла: «послушай мене, не яжь от древа животнаго, но яжь от древа разумнаго; аще не снѣси от древа разумнаго, не разумети ти ни добра, ни зла»[5].

---

[1] *Н. А. Казакова и Я. С. Лурье*, указ. соч., Приложения, стр. 232—233.
[2] Там же, стр. 237, 239.
[3] Там же, стр. 238—240.
[4] Там же, стр. 238, 241.
[5] Там же, стр. 236.

Отрицая существующую в православной церкви иерархию, стригольники считали, что духовные наставники должны выбираться самим народом из своей среды. «Тако и ныне стригольницы ни священна имущи, ни учительскаго сана, сами ся поставляют учители народа от тщеславия и высокоумия, и слушающе их сводять в погибель»[1].

Не признавая имущественных прав церкви, т. е. объективно ведя борьбу против отношений, основанных на феодальной собственности, стригольники сами были лишены имущества, приобретенного нетрудовым путем. Стефан отмечает в своем «Поучении»: «О стригольницех же неции безумнии глаголють: сии не грабят и имения не збирают»[2].

Таким образом, идеи стригольников не расходились с их поведением, с их практической деятельностью. Это привлекало в их среду много приверженцев из числа бедноты. Представители господствующей церкви были обеспокоены подобным явлением и старались доказать, что проповедь стригольников противоречит божественному закону и церковным постановлениям. Так, говорили идейные противники стригольников, если даже духовенство занимается мздоиманием, то судить его за это могут лишь бог да церковные власти. «Аще ли речете: «се многи сбирают имения», то не вы, стригольници, судите им, судятся от бога, или от болшаго святителя»[3].

Стригольники довольно широко распространяли свое учение, выступая с проповедью на городских площадях и на дорогах, по которым проходило много путников. Стефан Пермский говорил об этом с укором: «...Молитися Христос в тайне повеле, всякого тщеславиа и высокоумиа убежати, не молитися на распутиях и на ширинах градных, не выситися словесы книжными...»[4].

Благодаря идейному содержанию проповеди стригольников и их моральному облику они пользовались значительным авторитетом в широких кругах горожан. Стефан, стремясь к подрыву этого авторитета, рисует их лицемерами и фарисеями, надевающими на себя маску, чтобы заслужить доверие своих приверженцев, а в действительности являющимися далеко не такими совершенными людьми, которыми они казались. «Таковыи же беша еретицы, постницы, молебницы, книжницы, лицемерницы пред людми чисти творящеся: аще бо бы не чисто житье их видели люди, то кто бе веровал ереси их?»[5]

Самым интересным в характеристике ереси стригольников, данной Стефаном Пермским, является, по-моему, то, что результаты деятельности еретиков он сопоставлял с результатами выступления «татей» и «разбойников», т. е. лиц, захватывавших чужую соб-

---

[1] *Н. А. Казакова* и *Я. С. Лурье*, указ. соч., Приложения, стр. 238.
[2] Там же, стр. 242.
[3] Там же, стр. 241.
[4] Там же, стр. 240.
[5] Там же, стр. 242.

ственность и нарушавших законы феодального общества, которыми охранялась жизнь представителей господствующего класса. «Тати и разбойницы убивають человеки оружиемь, а вы, стригольницы, убиваете человеки разумною смертию, удаления ради от пречистых тайн тела и крови Христовы»[1]. Объективно это означает сопоставление двух форм классовой борьбы: идеологической борьбы с устоями феодальной церкви, а следовательно, и феодального строя, которую вели стригольники, и направленных против существующего строя открытых стихийных вооруженных народных движений.

Не удовлетворяясь «Посланием» патриарха Нила и «Поучением» Стефана Пермского как источниками для изучения характера ереси стригольников, некоторые историки и историки литературы пытались найти памятники письменности, вышедшие непосредственно из среды стригольников или отражающие их идеи. А. Д. Седельников считал такими памятниками конца XIV в. Измарагд «старшего типа» и Сборник Софийского новгородского собрания № 1262[2]. Близок к А. Д. Седельникову и Н. П. Попов, исследовавший в качестве памятников стригольнической литературы тот же самый «Старший Измарагд» и «Златую Чепь» (пергаменный сборник из коллекции рукописей Троице-Сергиевой лавры). В Старшем Измарагде содержится, например, «Слово о лжеучителях», в котором имеются резкие нападки на церковных властей, неспособных быть учителями народа, стремящихся лишь взять с него побольше поборов: «Мнози пастуси наимают наимиты паствити скот и сами пиют или да спят невидением, или грубостию, или оупиваются неправедным събранием и потаковы деюще властелем, не хотят оучити, ловящи оу них чяши или некоево взятьа... О горе! Пастуси вольци быша, овец истерьзаша, рекше: изучиша попове люди и не на добро, но на зло». В Измарагде находим обоснование права простых людей самим выбирать себе учителей: «Егда пастуси возвольчяться, тогда подобает овци овца паствити»; «не сущоу епископу и оучителю, да аще добр наоучит простый, и то добро»[3].

Указанные изречения совпадают с теми идеями стригольников, против которых боролся Стефан Пермский. Поэтому непонятно, отчего Н. А. Казакова считает неправомерным называть перечисленные выше произведения памятниками стригольнической литературы. Она мотивирует свою точку зрения следующим образом: «...Идеи, выделенные Н. П. Поповым в качестве специфически еретических, сами по себе не являлись противоречащими учению православной церкви и могли пропагандироваться лицами, принадлежащими к церковным кругам, в целях поднятия нравственности верующих и в первую очередь духовенства и укрепления, таким образом,

---

[1] *Н. А. Казакова* и *Я. С. Лурье*, указ. соч., стр. 239.

[2] *А. Д. Седельников*, Следы стригольнической книжности (Труды ОДРЛ, вып. I, М.—Л., 1934, стр. 121—136).

[3] *Н. П. Попов*, Памятники литературы стригольников («Исторические записки», № 7, 1940, стр. 37—39).

авторитета православной церкви»[1]. Конечно, обличения духовенства могли исходить и от лиц, принадлежавших к господствующей церкви. Более того, одни и те же тексты могли быть использованы в обличительных целях и сторонниками, и противниками господствующей церкви. Поэтому важно разобраться в социально-политической направленности обличительной проповеди. А в этом плане Н. П. Попов, по-моему, убедительно доказал, что проводимая в Измарагде идея свободного выбора мирянами духовных наставников означала не что иное, как «повертывание вверх основанием всей иерархической пирамиды»[2]. Поэтому, мне кажется, нет оснований принять вышеизложенную точку зрения Н. А. Казаковой.

После разбора идейного содержания проповеди стригольников надо поставить вопрос о том, какое влияние оказала она на социально-политическую жизнь Новгорода. Думается, что это влияние было бóльшим, чем обычно полагают. В год казни еретиков, в 1375 г., новгородский архиепископ Алексей, как говорит летопись, «по своеи воли», оставил архиепископский пост и удалился в Воскресенский Деревяницкий монастырь. Мы уже могли не раз убедиться в том, что стандартной формуле новгородских летописцев о добровольном уходе с занимаемого поста высших представителей новгородской церкви не очень-то можно доверять. Так и в данном случае, удаление Алексея могло объясняться, помимо других причин, и тем, что широкое демократическое движение стригольников было направлено и против него. Неизвестно, что было раньше: казнь стригольников или уход архиепископа в монастырь. Но расстановка социальных сил в это время ясна. Алексея поддерживают бояре и представители господствующей церкви. Архимандрит Юрьевского монастыря Савва и ряд бояр во главе с Максимом Онисифоровичем поехали в Москву и прибегли к посредничеству митрополита, прося его утвердить Алексея в качестве архиепископа Новгорода. Из Москвы Алексею было привезено «благословение митрополице». После этого в Новгороде на Ярославове дворе состоялось вече, принявшее решение о возвращении Алексея на архиепископскую кафедру. В Деревяницкий монастырь было направлено специальное посольство, аристократическое по своему характеру (в его составе—великокняжеский наместник, посадник, тысяцкий, много бояр и «добрых муж»), с «челобитьем» к архиепископу возвратиться к управлению делами церкви. Посольство имело успех, «владыка прия челобитье» и был возведен «на свои архиепископьскыи степень». Летописец многое недоговаривает. Но чувствуется, что господствующий класс стремился мобилизовать свои силы, укрепить свои ряды, усилить и светскую и церковную власть перед лицом социальной опасности.

Цель укрепления позиций новгородских феодалов, светских и духовных, вероятно, преследовал и визит, совершенный в сле-

---

[1] *Н. А. Казакова* и *Я. С. Лурье*, указ. соч., стр. 41.
[2] *Н. П. Попов*, указ. соч., стр. 39.

дующем, 1376 г. архиепископом Алексеем в Москву, к митрополиту. В 1380 г. тот же Алексей и ряд новгородских бояр и житьих людей еще раз побывали в Москве для переговоров и заключения политического союза с великим князем Дмитрием Ивановичем[1].

Но в Новгороде было неспокойно. В 1377 г. здесь произошли большие пожары, причем сгорел ряд церквей. Данных о намеренных поджогах у нас нет, но, возможно, они имели место. В связи с описанием Куликовской битвы новгородский летописец предается размышлениям о том, что нашествие Мамая на Русь явилось наказанием божьим за грехи, и в связи с этим приводит рассуждение о раздирающей общество розни: «се же бысть грех ради наших: въоружаются на них иноплеменьници, да быхом ся отступиле своих неправд, от братоненавидениа, и от сребролюбиа, и в неправды судящих, и от насилья...»[2] Ясно, что за этой тирадой скрывается какая-то реальная картина обостренных классовых противоречий и политической борьбы.

После нашествия на Русь в 1382 г. Тохтамыша, когда наметилось ослабление политических связей отдельных русских княжеств с Москвой, замечается рост сепаратистских тенденций и среди новгородского боярства. Как указывалось в параграфе третьем настоящей главы, в Новгородской земле появляются литовские князья, получающие в кормление новгородские пригороды. Это обстоятельство вызывает протест со стороны пригородного посадского населения. В 1384 г. в Новгород явились «городцане» из Орехова и Корелы с жалобой на князя-кормленщика Патрикия Наримантовича. У последнего нашлись защитники среди населения Славенского конца. В Новгороде снова начались волнения. «И князь Патрикии подъя Славно и смути Новъгород». Очевидно, черные люди «славляне» при помощи Патрикия Наримантовича хотели свести свои счеты с тысяцким и некоторыми новгородскими боярами. Собрались два веча: одно на Ярославове дворе, другое—на Софийской стороне. Многие явились на вечевые собрания «в оружьи, аки на рать, и мост великыи переметаша». По Новгородской первой летописи, дело не дошло до сражения только потому, что новгородское правительство согласилось вывести князя Патрикия Наримантовича из Орехова и Корелы. Взамен этих городов ему были даны в кормление Старая Руса и Ладога. Несколько иначе (и, вероятно, более правильно) рисует события Новгородская четвертая летопись. Согласно ее версии, сражение произошло. Сторонники тысяцкого «биша грабежников и полупиша». Лишь после «усобной рати» и длительных переговоров состоялось вечевое решение (оформленное в специальной грамоте) о выводе Патрикия из одних городов и передаче ему других.

В то время было еще сильно среди горожан и влияние проповеди стригольников. В 1382 г. суздальский архиепископ Дионисий

---

[1] НПЛ, стр. 373, 374, 376.
[2] Там же, стр. 377.

проехал через Новгород в Псков с грамотами патриарха Нила, в которых обличалась ересь стригольников. Новгородский летописец в связи с рассказом об этом не упускает случая осудить «злых человек, дияволом наущеных», деятельность которых мешает утверждению «правовернеи вере истиннии крестияньстеи»[1]. Имеются в виду, конечно, стригольники.

Примерно, на те же размышления (о людской «злобе», вызывающей божью «казнь») наводят летописца пожары в Новгороде в 1384—1385 гг.[2] И опять в покаянном тоне летописца слышится тревога по поводу того, что в Новгороде не прекращаются волнения народа, не утихает социальная рознь.

В 1385 г. в Новгороде была проведена важная судебная реформа, которая должна была содействовать укреплению позиций господствующего класса и в то же время смягчению (путем незначительных уступок черным людям) социальных противоречий. На вече в присутствии посадника, тысяцкого, бояр, житьих людей, черных людей было утверждено путем присяги («крестного целования») решение, согласно которому митрополит не должен был судить новгородцев в своей резиденции—Москве и производить периодический суд в Новгороде («человаша новгородци крест на том, не зватися к митрополиту на Москву на суд...»). Церковный суд, по вечевому решению 1385 г., должен был производиться новгородским архиепископом при участии представителей от новгородских светских феодалов (по два боярина и по два житьих человека от каждой из тяжущихся сторон). Одновременно были разработаны принципы организации двух гражданских судов (посадника и тысяцкого), на которых, так же как и на суде архиепископа, должны были присутствовать четыре боярина и четыре житьих человека (два со стороны истца и два со стороны ответчика)[3].

В другой своей работе я пытался доказать, что продуктом судебной реформы 1385 г. была первая редакция Новгородской Судной грамоты. Я попытался выделить из дошедшего до нас (в поздней редакции) текста этого памятника те статьи, которые могли быть составлены в 1385 г.[4]

В указанной работе я видел смысл реформы 1385 г. в провозглашении независимости Новгорода в сфере церковного и гражданского суда от Москвы[5]. Но я не подчеркнул в должной мере того, что организация в Новгороде в 1385 г. судов архиепископа, посадника, тысяцкого была также серьезным актом внутренней

---

[1] НПЛ, стр. 379; ПСРЛ, т. IV, стр. 90—91.
[2] НПЛ, стр. 380.
[3] ПСРЛ, т. IV, стр. 91—92; т. XI, стр. 85—86.
[4] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 377—387.
[5] А. А. Зимин, по-моему, достаточно основательно связывает с судебной реформой, произведенной в Новгороде в 1385 г., создание дошедшей до нас редакции уставной грамоты князя Всеволода Мстиславича церкви Иоанна Предтечи на Опоках, определяющей состав суда тысяцкого (*А. А. Зимин*, Уставная грамота Всеволода Мстиславича — «Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия», М., 1952, стр 123—131).

политики новгородского правительства. Издание Новгородской Судной грамоты (в ее первой редакции), принятой на вече, должно было, по мысли новгородских властей (духовных и светских), продемонстрировать перед населением, что правительство проявляет заботу об общенародных нуждах и гарантирует населению справедливость. В то же время разделением судебных функций (между архиепископом, посадником, тысяцким) феодальный суд организационно укреплялся.

Весьма возможно, что реорганизация в 1385 г. церковного суда преследовала и более специальную цель—борьбу с теми, кто придерживался учения стригольников. А такая борьба продолжалась. Характерно, что в 1386 г., т. е. через год после принятого на вече постановления о новом судоустройстве, в Новгород явился епископ пермский Стефан[1] и, по-видимому, тогда же новгородский архиепископ Алексей поручил ему составить «Поучение», в котором обличалась ересь стригольников. Обращение Алексея к Стефану было вызвано, по-видимому, тем, что он был известен своей деятельностью по насаждению христианства в Пермской земле. Но вряд ли можно думать, что Стефан прибыл в Новгород только по приглашению новгородского архиепископа. По всей вероятности, он выполнял в Новгороде какое-то великокняжеское поручение.

Дело в том, что уже с конца 70-х годов (после смерти митрополита Алексея, умершего в 1378 г.) Стефан действовал в Пермской земле в качестве миссионера, посланного из Москвы церковными властями. Хорошо известно, что им была создана специальная пермская азбука, при помощи которой среди местного населения распространялись богослужебные книги. С 1383 г. Стефан был утвержден епископом вновь созданной Пермской епархии[2]. Деятельность Стефана, содействовавшая включению Пермской земли в состав единого централизованного государства, конечно, имела известное прогрессивное значение. Но в то же время он выступал как представитель московского правительства, установление власти которого в Пермской земле сопровождалось укреплением аппарата принуждения, усилением эксплуатации. Поскольку Стефан выступал в качестве проводника церковной политики митрополичьей кафедры, направленной к христианизации местного населения, протест последнего часто принимал форму борьбы за сохранение старого языческого культа. В «Житии» Стефана рассказывается, что жители Пермской земли неоднократно хотели его убить: «и прямо лучными стрелами своими стреляти его жадахоу и тако прочее смерти его предати хотяхоу». Когда Стефан стал сокрушать языческих идолов, то его со всех сторон окружило множество людей: «яко звери дивии устремишася нань, единаче с дреколием, дроузии же от них мнози похващахоу топоры об одну страну остры в руках их, обступиша же его отвсюду...»

---

[1] ПСРЛ, т. IV, стр. 40.
[2] ПСРЛ, т. VIII, стр. 49.

В Житии Стефана говорится, что среди населения Пермской земли образовались две враждующие между собою группы: новокрещены, поддерживавшие русского миссионера, и люди, отказывавшиеся принять крещение и поэтому относившиеся к нему враждебно: «и лучися разделитися народу на две части; и единая страна нарицашесь христиане новокрещении, а другая часть нарицашесь кумирослужителници неверии, и не бе промеж ими съгласиа, но распря, и несть мира в них, но разгласие»[1]. Из Жития не совсем ясно, на какой социальной основе произошло это выделение двух групп. Однако можно уловить, что против Стефана, как агента московского правительства, выступили местные волхвы, принадлежавшие к патриархальной знати и пользовавшиеся влиянием среди жителей («соуровейшии моужи, неверии человецы и еще некрещени соуще, собравшиеся мнози, и от них овии соуть волсви, а друзии кудесници, инии же чаротворици и прочии старци их...»). Они, по словам Жития, отстаивали «веру свою» и «пошлина Пермьскиа земли». Это значит, что волхвы призывали местное население (у которого шел процесс разложения патриархальных отношений и классообразования) восставать против христианизации и бороться за сохранение языческой религии, с тем чтобы под идеологической оболочкой сохранить общественный строй, ими возглавляемый. Наибольшую активность в борьбе со Стефаном проявлял волхв Пам, занимавший видное положение в местном обществе («влъхвом начальник, обавником старейшина, отравником болший...»)[2]. Он обращался с призывом к «мужам пермстиим» не «оставлять... отческих богов», «не забывать... жрътв и треб их», «не покидывать... старых пошлин», «не пометывать... давныя веры».

Характерны те аргументы, которые Пам приводил в пользу необходимости активного сопротивления Стефану, как московскому агенту. Во-первых, он выдвигал принцип единства происхождения жителей Пермской земли, определяющий их обязанность повиноваться ему, Паму, как единоплеменнику и родовому старейшине, и питающий их вражду к Стефану, как иноплеменнику: «аз бо есьм род вашь и единая земля с вами, и един род и единоплеменен, и едино колено и един язык... и подобаше вам мене послушати, старца суща и вам аки отца, паче, нежели оного русина, паче же москвитяна...»[3]. Ясно, что волхв хотел использовать сильные еще в обществе пережитки родового строя для удержания своей власти.

Второе, на чем делал ударение Пам, это—желательность сохранения в руках местного населения промысловых богатств, на которые покушаются московские феодалы и купцы. Подобная идея выступает опять-таки под религиозной оболочкой. Указанные богатства охраняют пермские «бози, мнози поспешници, мнози поборници». Поэтому нельзя допустить уничтожения языческих богов (которых так же много, как много родов и племен в Пермской земле) и введе-

[1] «Памятники старинной русской литературы», вып. 4, стр. 131, 132, 134.
[2] Там же, стр. 134.
[3] Там же, стр. 138.

ния культа одного бога—христианского («...понеже у вас у христьян един бог, а у нас мнози бози...»)[1].

Пам советовал не слушать проповеди Стефана, «иже новопришедшаго из Москвы», проводя мысль, что от Москвы нельзя ждать «добра»: «не оттуду ли нам тяжести быша, и дани тяжкия, и насильства, и тивуни, и довотщици, и приставници?»[2]

Такова была социальная обстановка, в которой происходила борьба московского правительства за освоение земель в бассейне Вычегды. Включив в сферу своего влияния Устюг, московское правительство пытается овладеть и Двинской землей. Этот вопрос встал особенно отчетливо после присоединения к Московскому княжеству княжества Нижегородского. Получив в свои руки Нижний Новгород, представлявший собой ключ к Волжскому пути, московские феодалы и купцы стремились укрепиться и на торговом пути на Север. Держать в своих руках Заволочье московской великокняжеской власти было важно и потому, что оттуда шла значительная дань.

Рассмотренный в параграфе третьем настоящей главы поход Дмитрия Донского, как указывалось, был вызван и стремлением получить «черный бор» с Новгородской земли и Заволочья, и желанием заставить новгородское правительство принять меры к прекращению грабительских походов ушкуйников на Волгу. Если сопоставить со всем сказанным летописное известие о пребывании в 1386 г. в Новгороде Стефана Пермского, то станет ясным, что приезд последнего имел какое-то отношение к походу на Новгородскую землю Дмитрия Донского. Вероятно, последний хотел использовать опыт Стефана по освоению Пермской земли для дальнейших мероприятий по подчинению Московскому княжеству населения Севера. Понять эти мероприятия можно только в связи с дальнейшим развитием социально-политических взаимоотношений в Новгороде.

Влияние среди новгородских горожан идеологии стригольников было по-прежнему сильно. Поэтому, когда в 1388 г. ушел с архиепископского поста Алексей, известный своей борьбой со стригольниками, представители господствующего класса придали большое значение выбору нового архиепископа. Собралось вече, наметившее трех кандидатов на вакантную должность главы новгородской церкви, которые тянули жребий в Софийском соборе. Летописец подчеркивает, так же как и при описании происходившего в свое время избрания Алексея, что выдвижение нового архиепископа—это дело бога, а не людей («изволиша от бога прияти извещение уповати на милость его»)[3]. Нетрудно усмотреть здесь завуалированную полемику со стригольниками, утверждавшими как раз обратное, именно, что люди сами вольны выбирать себе духовных пастырей.

Избранный архиепископом игумен Спасо-Хутынского монастыря ездил в том же году вместе с новгородскими боярами в Москву, где получил утверждение митрополита. Смена архиепископов сопровож-

[1] «Памятники старинной русской литературы», вып. 4, стр. 141.
[2] Там же, стр. 138.
[3] НПЛ, стр. 381.

далась социальными волнениями, хотя трудно сказать, в какой мере они были непосредственно с этой сменой связаны. В 1388 г. в Новгороде произошло восстание против посадника Есипа Захаринича. Оно было начато на Софийской стороне. По звону вечевого колокола жители Софийской стороны двинулись к дому посадника, «акы рать сильная, всякыи во оружьи». Посадничьи хоромы были разнесены, сам он бежал на другую сторону Волхова и укрылся на территории Плотничьего конца. Тогда за него вступилась Торговая сторона «и начаша людии лупити, а перевозников бити от берега, а суды сечи...» В конце концов был выбран новый посадник—Василий Иванович[1].

Трудно сказать, в какой мере в движении 1388 г. присутствовал антифеодальный момент и в какой мере здесь играла роль просто борьба отдельных боярских партий за своих кандидатов. Во всяком случае участие в движении черных людей несомненно.

С начала 90-х годов XIV в. московское правительство активизировало свою политику в отношении Новгорода, стремясь подчинить его своей власти. Наступление это коснулось прежде всего судебных функций архиепископа. Митрополит Киприан, приехав в 1391 г. в Новгород, потребовал ликвидации самостоятельности суда архиепископа и восстановления в Новгороде митрополичьего суда. В связи с этим митрополит настаивал на уничтожении грамоты об архиепископском суде, принятой вечем в 1385 г. («чтобы грамота подрати, что новгородце поконцале к митрополиту не зватися»). Новгородское правительство отказалось выполнить требования Киприана[2]. Это привело к разрыву московско-новгородских отношений.

В 1393 г. началась война Московского княжества с Новгородом. Московские войска захватили Торжок, Волоколамск, Вологду, новгородцы заняли Кличен, Устюжну, Устюг, разорили Белоозеро. Через некоторое время новгородское правительство вынуждено было признать московские условия и подчиниться митрополичьему суду. Тогда московское правительство согласилось на заключение мира[3]. В Новгород явились послы для взимания «черного бора». Однако было совершенно ясно, что этот мир недолговечен, так как московская великокняжеская власть вела борьбу не только за ограничение судебных функций новгородского архиепископа, но и за захват путей на Север. Война 1393 г. была прелюдией к решительному наступлению московской великокняжеской власти на Новгород с целью отторжения от него Двинской земли в 1397 г.

В 1395 г. Новгород опять отказался подчиняться митрополичьему суду. Между Новгородом и Москвой явно назревал новый военный конфликт. Непосредственным поводом к нему послужило, по-види-

---

[1] НПЛ, стр. 382.

[2] НПЛ, стр. 385; ПСРЛ, т. IV, стр. 99; т. VIII, стр. 62; т. XI, стр. 126—127; т. XVI, стр. 166.

[3] НПЛ, стр. 386; ПСРЛ, т. IV, стр. 99—100; т. VIII, стр. 63.

мому, посольство в Новгород, отправленное в 1397 г. совместно великим князем московским Василием Дмитриевичем и великим князем литовским Витовтом Кейстутовичем (находившимися в то время в союзе), с предложением новгородцам разорвать мир с Орденом. Это требование имело принципиальный характер и означало, что московский и литовский князья не признают за Новгородом права на ведение самостоятельной внешней политики. Новгородское правительство, напротив, отстаивало это право. В летописной передаче ответ новгородцев московским и литовским послам звучит так: «княже Василей! С тобою свой мир, а с Витовтом ин, и с Немци ин»[1].

В Новгородской четвертой, Воскресенской, Софийских первой и второй летописях вслед за приведенным текстом говорится: «двиняне задалися князю Василию московскому, и князь Василей разверже мир с новгородци». Далее в названных летописях идет рассказ о том, что новгородцы послали в Москву к великому князю архиепископа Ивана, посадника Богдана Аввакумовича, Кирилла Дмитриевича. Но князь «не принял владычня благословления, ни новгородскаго челобития»[2].

Многое в тексте приведенных летописных сводов остается неясным. Почему двиняне перешли под власть московского великого князя? Почему последний разорвал мир с Великим Новгородом? Сопоставив между собой все летописные данные, можно предположить, что подготовка к присоединению Двинской земли к Московскому княжеству шла давно, с середины 80-х годов XIV в. Если бы новгородское правительство приняло ультиматум, предъявленный ему Василием I (совместно с литовским князем Витовтом), о сужении его внешнеполитических функций и согласилось бы на ограничение судебных функций новгородского архиепископа в пользу митрополита, то, возможно, установилась бы непосредственная зависимость Новгорода от московской великокняжеской власти. Но, поскольку Новгород отказался выполнить требование великокняжеской власти, последняя постаралась организовать восстание против новгородского боярства на Двине. О том, как это было сделано, довольно подробно рассказывает Новгородская первая летопись.

Великий князь Василий I послал своих бояр за Волок на Двину «ко всеи Двиньскои слободе, а повестуя им тако: чтобы есте задалеся за князь великыи, а от Новагорода бы есе отнялеся, а князь великыи от Новагорода хощет вас боронити, а за вас хощет стояти». Выслушав великокняжеских послов, «бояре двиньскыи и вси двиняне за великыи князь задалеся, а ко князю великому целоваша крест»[3]. Видно, что князь ориентировался прежде всего на союз с двинскими боярами. Но поддержки одних бояр для великокняжеской власти было недостаточно. Надо было через бояр привлечь на свою сторону

---

[1] ПСРЛ, т. IX, стр. 102.
[2] ПСРЛ, т. IV, стр. 102; т. V, стр. 250; т. VI, стр. 129; т. VIII, стр. 70.
[3] НПЛ, стр. 389.

широкие массы купечества и черного крестьянства. И это Василию I удалось сделать. Можно поэтому говорить, что Двинская «слобода» оторвалась от Новгорода и перешла под власть московского правительства в результате не только боярского заговора, но широкого народного восстания. Но почему же черные крестьяне пошли за двинскими боярами?

Ответ на поставленный вопрос надо искать в особенностях процесса феодализации в Заволочье. Процесс этот хорошо освещен в работе Л. В. Даниловой. В Двинской земле до конца XV в. сохранялись черные крестьянские общины—погосты, волости, луки, являвшиеся «не только территориально-административными единицами, но и поземельными организациями»[1]. В то же время наблюдалось разрушение крестьянской общины, происходившее двумя путями: 1) путем захвата черных крестьянских земель новгородским боярством и 2) в результате имущественной дифференциации черного крестьянства и превращения части его в мелких, а затем и в крупных вотчинников. Так образовались две группы бояр на Двине: по терминологии источников, новгородские и двинские[2]. Они вели борьбу между собой за землю, крестьян, за политическое влияние. Незавершенность процесса феодализации крестьянских общин, близость выделившихся из таких общин местных вотчинников к рядовой массе крестьянства и в то же время проникновение в Заволочье землевладельцев из числа крупнейших новгородских боярских фамилий, жестоко эксплуатировавших крестьян,— все это определило расстановку там социальных сил в 1397 г. Двинские бояре сумели увлечь за собой местных крестьян на путь выхода из подчинения Новгороду и перехода под власть Московского княжества.

И московское правительство активно воздействовало на двинских бояр. Я уже указывал, что, по-видимому, еще Дмитрий Донской интересовался опытом деятельности Стефана Пермского в Пермской земле (населенной народом коми), где в силу живучести родоплеменных отношений местная патриархальная знать легко вела за собой народные массы, направляя их на борьбу с московскими властями. В условиях Двинской земли казалось реальным использовать в интересах великокняжеской власти влияние, которое имели местные бояре среди русского населения. Здесь были еще живучи патриархальные отношения, характерные для низшей стадии феодализма.

Такие политические идеи нашли отражение в документе, составленном специально для Двинской земли,— уставной грамоте, определяющей устройство земли после перехода под власть Московского княжества. Грамота начинается с обращения не только к боярам, но и ко «всем черным людям» Двинской земли (во главе с сотским). Двинская уставная грамота исходит из представления

---

[1] *Л. В. Данилова*, указ. соч., стр. 264.
[2] Там же, стр. 275—277.

о руководящей роли бояр в пределах Заволочья. Из их числа может быть назначен великокняжеский наместник (в том случае, если он не будет прислан из Москвы). Грамота защищает бояр от «безчестья». Она санкционирует права бояр на своих холопов. Если господин «огрешится» и ударит холопа, причем так сильно, что последний умрет, то и в таком случае он не несет уголовной ответственности.

Подтверждая основы классового господства феодалов в Двинской земле, Двинская уставная грамота охраняет собственность на землю и движимое имущество. Устанавливаются виды наказания за татьбу (начиная с денежного штрафа и кончая смертной казнью через повешение). В особой статье говорится о штрафах за «переорание» полевых меж. Словом, рассматриваемый памятник стоит на страже феодальных отношений.

В то же время Двинская уставная грамота исходит из предпосылки о наличии в Двинской земле крестьянской общинной организации, привлекая ее к выполнению государственных функций. На крестьянскую общину возлагается обязанность розыска «душегубца» (и уплаты дикой виры в том случае, если убийца не будет найден). В пределах общин происходит процедура «свода» в целях розыска украденного имущества. Статьи грамоты, устанавливающие меры возмездия за «переорание» пашенных меж, не только охраняют феодальную собственность на землю, но и регулируют поземельные отношения среди черных крестьян.

Конечно, московское законодательство, введенное в Двинской земле (с учетом местных правовых норм), при всей видимой общесословной направленности защищало интересы господствующего класса и феодального государства. Но Заволочье на время освободилось от засилия новгородского боярства. В то же время Двинская уставная грамота гарантировала местному населению и свободу от великокняжеских приставов, предоставила ему право жалобы на двинского наместника. При всей нереальности подобных гарантий для широких масс черного крестьянства (этими гарантиями могли воспользоваться только те же бояре) среди населения создавалась иллюзия, что переход под власть Московского княжества сулит ему лучшие условия существования, избавив от эксплуатации со стороны новгородского боярства.

Большую роль в деле временного присоединения Двинской «слободы» к Московскому княжеству, вероятно, сыграли двинские купцы, заинтересованные в развитии торговых связей с центральными русскими землями. По Двинской уставной грамоте они получили льготные условия торговли в Устюге, Вологде, Костроме и судебный иммунитет в пути[1].

После того как Двинская земля перешла под московский патронат, московские войска захватили Волоколамск, Торжок, Вологду, Бежецкий Верх, а затем великий князь Василий I разорвал мирные отношения с Новгородом.

---

[1] ГВНП, стр. 144—146, № 88.

Далее в летописях излагается не совсем понятный факт. В обстановке московско-новгородской войны митрополит Киприан через специального посла пригласил в Москву новгородского архиепископа Ивана. Вместе с последним в Москву отправились новгородские послы к великому князю искать примирения. Великий князь «владычня благословениа и слова добра не принял, а от послов новгородчких чолобитья, а от Новагорода нелюбья не отложил, а миру не дал». Что касается митрополита Киприана, то он «отпустил в Новгород» архиепископа Ивана и новгородских послов «с честью и благословением»[1].

Рассматривая и анализируя изложенный материал, А. Е. Пресняков приходит к выводу, что поведение Киприана, подлинные мотивы которого трудно установить по кратким и сухо фактическим указаниям наших летописных сводов, дает впечатление намеренного обособления отношений митрополии от политических действий великокняжеской власти[2]. Вряд ли можно принять это утверждение А. Е. Преснякова. Скорее приходится думать, что Киприан действовал согласованно с Василием I и в поведении обоих была своя логика. Новгородские послы требовали от великого князя, чтобы он отказался от Заволочья, Торжка, Вологды, Волоколамска, Бежецкого Верха. Он на это не соглашался и поэтому демонстративно не захотел принять «челобитья» новгородцев. Но власть московского князя в пределах присоединенных территорий была недостаточно крепка. Со стороны Новгорода можно было ожидать попытки вернуть утраченные владения. Поэтому было важно пойти на какие-то уступки новгородскому правительству. По-видимому, это и было сделано по линии церковной. Возможно, что Киприан на этот раз признал суд новгородского архиепископа.

В этой связи интересно привлечь один памятник—так называемый Устав князя Ярослава Владимировича Мудрого. Он дошел до нас в позднейших переделках, причем трудно установить, что в сохранившихся текстах восходит к творчеству самого Ярослава. По мнению А. А. Зимина, сохранившаяся краткая редакция Устава Ярослава была создана в канцелярии митрополита Киприана[3]. Весьма вероятно, что последний предназначал его для Новгорода.

А. А. Зимин замечает, что «Устав Ярослава является отражением попыток церкви добиться эффективных результатов в борьбе с пережитками язычества, прежде всего в семейно-брачных отношениях»[4]. Мне кажется, следует отметить, что в конце XIV в. в Новгороде, в Заволочье, в Пермской земле борьба господствующей церкви с пережитками язычества была тесным образом связана с ее наступлением на еретиков. Связь обоих моментов проявилась особенно отчетливо в деятельности Стефана Пермского.

---

[1] НПЛ, стр. 390.
[2] *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 369.
[3] «Памятники русского права», вып. 1, М., 1952, стр. 258.
[4] Там же, стр. 257.

Договоренность Киприана с архиепископом Иваном по церковным вопросам не остановила новгородцев от их намерения вернуть Заволочье. Поход в Заволочье состоялся в 1398 г. с благословения архиепископа Ивана. Его участниками явились новгородские бояре, дети боярские, житьи люди, «купечкыи дети» и «вси их вои». Словом, это было боярско-купеческое предприятие. Новгородское войско двинулось к центру Двинской земли—городу Орлецу. В качестве московского наместника там находился князь Федор Александрович Ростовский, присланный сюда «городка блюсти, и судити, и пошлин имати с новгородскых волостии». Двинские бояре Иван Никитин и Конон «с своими другы» «поделили собе на части» «волости Новгородскыя у бояр новгородскых». Очевидно, имеется в виду захват местными землевладельцами владений новгородского боярства.

Новгородские военные силы прежде всего разорили и выжгли великокняжеские Белозерские и Кубенские волости, окрестности Вологды, пограбили Устюг, места недалеко от Галича. Затем по Двине новгородцы направились к Орлецу и осадили его. Осада города продолжалась четыре недели. Его громили пороками до тех пор, пока двиняне не сдались и не стали «бити челом с плачем воеводам и всем воем новгородцем». Началась расправа с двинским боярством за измену Новгороду. Часть бояр, «кто водил Двиньскую землю на зло», была предана смертной казни, другие заключены или насильно пострижены в монахи. Двинский наместник князь Федор Ростовский получил помилование, но его обязали вернуть «присуд или пошлины, что поимал». Двинское население было обложено контрибуцией в 2000 рублей и обязано было выставить новгородцам 3000 коней. Великокняжеские гости уплатили «окуп» в сумме 300 рублей. Двинская земля снова перешла в зависимость от Великого Новгорода[1].

Несмотря на мир, заключенный в 1398 г. московским правительством с Новгородом, в 1401 г. оно сделало еще одну попытку овладеть Двинской землей. В этих целях были использованы уцелевшие в 1398 г. двинские бояре Анфал Никитин и Герасим, которые с великокняжеской ратью, собранной в Устюге, взяли «на щит» Двинскую землю, «крестиан повешале, а иных посекле, а животы их и товар поимале». Но двинский воевода Степан Иванович с товарищами вместе с важанами напали на великокняжескую рать у Холмогор и освободили пленников. Одновременно другой великокняжеский отряд совершил налет на Торжок, пограбил имущество находившихся там новгородских бояр, которые были уведены в Москву[2].

Возникает вопрос: почему в 1397 г. Двинская земля сравнительно быстро и без сопротивления подпала под власть Московского княжества, а в 1401 г. московское правительство не сумело добиться

---

[1] НПЛ, стр. 391—393; ПСРЛ, т. IV, стр. 102—103; т. XVI, стр. 139—143; УЛС, стр. 66—67.

[2] НПЛ, стр. 396—397; ПСРЛ, т. IV, стр. 104; УЛС, стр. 68.

присоединения Заволочья, несмотря даже на применение военной силы. Думаю, что ответ на этот вопрос может быть один. В 1397 г. двинским боярам удалось «задаться» за великого московского князя и «поделить» владения новгородских бояр потому, что на Двине вспыхнуло восстание против новгородского правительства. А в 1401 г. московская рать не могла встретить на Двине поддержку со стороны населения, с которым она беспощадно расправлялась.

§ 7. Классовая борьба в Твери в конце XIV—начале XV в. и московско-тверские взаимоотношения. Московско-нижегородские и московско-рязанские взаимоотношения в это время

В конце XIV в. в Твери, так же как и в Новгороде, появляются идейные течения еретического характера, направленные против господствующей православной церкви. Так, в 1390 г. на суде прибывшего в Тверь московского митрополита Киприана разбиралось дело тверского епископа Евфимия Висленя, которому посвящено специальное исследование А. И. Клибанова. Не очень ясен характер ереси, распространявшейся Висленем. Этот вопрос совсем не раскрывает Тверской сборник, рассказывающий о суде над Евфимием Висленем. Рогожский летописец и Симеоновская летопись, также уделяющие внимание указанному событию, называют Евфимия Висленя зачинщиком «мятежа церковного» и весьма отрицательно характеризуют его, как человека, у которого «не обретеся... правда в оустех...» Никоновская летопись говорит, что против Евфимия Висленя было выдвинуто обвинение по делу «о мятежи и раздоре церковнем», что враги тверского епископа «многы клеветы» на него «сотвориша... тяжки зело и неудобьносимы». Подчеркивает Никоновская летопись, что в связи с делом Висленя среди жителей Твери началась «вражда, и брань велия воздвизашеся»[1]. «Житие» Арсения (сменившего Евфимия Висленя на епископской кафедре в Твери) называет его еретиком («всяку в себе ересь носяща»), указывая, что он выступал с отрицанием церкви («...не приемлет соборная и апостольская церкви...»)[2].

Евфимий Вислень имел много единомышленников из числа, по-видимому, посадского населения Твери: «...воздвизает мятеж и бурю на церковь, яже не приемлет божественая и апостольская церковь, поучает же многых во граде по своим похотем ходити»[3]. Очевидно, в ереси Висленя имелись под религиозной оболочкой элементы антифеодального протеста, вероятно, такие же, как и в учении стригольников. Поэтому на суде против него активно и единодушно выступили церковные и светские феодалы: «вси возсташа нань кле-

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 445; т. XV, вып. 1, стр. 160; т. XVIII, стр. 141; т. XI, стр. 125.

[2] *А. И. Клибанов*, Свободомыслие в Твери в XIV—XV вв., стр. 244—245.

[3] Там же, стр. 245.

вещуще, и архимандриты, и игумени, и священницы, и иноцы, и боаре, и велможи, и простии»[1].

Суду над Висленем был придан характер акта большого политического значения. Его судил митрополит Киприан, явившийся в Тверь в сопровождении двух греческих митрополитов и двух русских епископов (Михаила смоленского и Стефана пермского). В митрополичьем суде приняли участие тверские бояре и духовные лица («священный събор и мирских събор»)[2]. Характерно, что один из судей—Стефан пермский незадолго перед этим выступил с обличением новгородских стригольников. Вислень был смещен с своего поста, а в качестве тверского епископа утвержден протодьякон митрополита Киприана—Арсений. Надо думать, что назначение последнего было встречено враждебно широкими массами посадского населения. Вероятно, поэтому Арсений (судя по данным Никоновской летописи) долго не хотел занять епископскую кафедру («...бояся владычества приати во Тфери, виде бо тамо вражду и брань многу, и смутися и ужасеся»)[3].

Интересно, что, поставив в Твери нового епископа Арсения, Киприан взял Висленя с собою в Москву и поселил его в Чудовом монастыре. Из этого факта А. И. Клибанов делает следующий вывод: «Дело Евфимия служит примером сотрудничества московской великокняжеской власти с участниками и зачинщиками «мятежей и раздоров церковных», происходивших в русских землях»[4]. В такой обобщающего характера формулировке данный вывод, как мне кажется, вызывает возражения. Но бесспорно, что московский великий князь совместно с митрополитом стремился использовать «мятежи и раздоры церковные», происходившие в различных русских княжествах, в целях укрепления там своей власти. Характерно, что (как было указано в § 6) Киприан одновременно с поездкой, совершенной в Тверь, побывал в Новгороде, добиваясь восстановления там митрополичьего суда. Под митрополичьим контролем должна была находиться и политическая жизнь Твери. В качестве митрополичьего ставленника там оставался Арсений, но для упрочения власти митрополита в тех общественных кругах, в которых был силен авторитет Евфимия Висленя, Киприану мог пригодиться и последний.

Интересным памятником деятельности Арсения по идеологическому укреплению основ православия является так называемая Арсеньевская редакция Киево-Печерского патерика 1406 г. Исследователь названного памятника А. И. Абрамович указывает, что составитель Арсеньевской редакции Патерика дополнил основную редакцию этого произведения (относящуюся, очевидно, к XIII в.) новыми статьями. К их числу относятся: «Житие» Феодосия, «Похвала» ему и «Сказание» о начале Киево-Печерского монастыря (встречаю-

[1] ПСРЛ, т. XI, стр. 125.
[2] Там же, стр. 124.
[3] Там же, стр. 125.
[4] *А. И. Клибанов*, Свободомыслие в Твери в XIV—XV вв., стр. 242.

щееся, правда, не во всех списках рассматриваемой редакции)[1]. Очевидно, по мысли Арсения, на материале житий древнерусских «черноризцев», «мнихов» должны были формировать свое мировоззрение его современники, жители Твери. Создание Арсеньевской редакции Патерика было своеобразным ответом тверского епископа, ревнителя ортодоксального православия, тем, кто в какой-либо мере подвергал сомнениям и критике учение господствующей церкви. Это был ответ зачинщикам «мятежей и раздоров церковных», на которых, по замыслу тверского епископа, Патерик должен был оказать благотворное идейное воздействие, воспитывая их в духе преданности православию.

Некоторые включенные в Арсеньевскую редакцию старые тексты получали новое звучание в условиях той идеологической борьбы в Твери в конце XIV—начале XV в., наиболее ярким проявлением которой было дело Евфимия Висленя. Так, в «Похвале» Феодосию имеется следующее место: «Егда же умножишася греси наши и свершишася безакония нашя, и злоба наша бога прогневи,— и раздрушишася домови божественыя, и манастыреви разорени быша, и гради пленени быша, и села опустиша от языка незнаема, от языка немилостива, от языка неимуща, ни бога боящася, ни утробы человеколюбивы деръжаще. Тем же еще от них в работе суще, в озлоблении зле и в томленьи люте, припадаем ти, молбу приносяще»[2]. Речь идет, по-видимому, о разорении Руси татаро-монгольскими захватчиками, о порабощении ими русского народа.

А затем в тексте следует молитвенное обращение к богородице с просьбой о том, чтобы она охраняла в дальнейшем Киево-Печерский монастырь, являющийся оплотом православия. «...Да помянеть милости своя древняя о ограде сеи, еже дасться еи в достояние, и ослабу подасть от скрушения горька, и отженеть врагы лукавыя и хулники православные веры, и створить необориму церковь святую свою, юже сама изволи въздвигнути в жилище собе, и умножить стадо ограды твоея, и присещаеть, яко и преже, сблюдающи и хранящи, заступающи и утверждающи от враг, видимых и не видимых»[3]. Если в данной выдержке из Патерика можно видеть, как и в рассмотренной перед этим цитате, указание на татаро-монгольских завоевателей, то непонятны такие выражения, как «врагы лукавыя и хулники православныя веры», от которых должна защитить «необориму церковь святую свою» богородица. Непонятно, что это за «враги видимые и невидимые»? Думаю поэтому, что рассматриваемый текст имеет в виду не татаро-монголов, что он говорит о другом. Речь здесь, по-видимому, идет о еретиках типа Евфимия Висленя, которые отрицали православную церковь как институт. Это они— враги церкви.

---

[1] *Д. И. Абрамович*, Исследование о Киево-Печерском патерике как историко-литературном памятнике, СПб., 1902, стр. 1, 32, 57.

[2] «Патерик Киевского-Печерского монастыря», изд. Археографической комиссии, СПб., 1911, стр. 178.

[3] Там же.

* * *

В княжение сына и преемника Михаила Александровича, великого тверского князя Ивана Михайловича, в Тверском княжестве, в условиях острой классовой борьбы, происходил процесс дальнейшей политической концентрации. Борьба Ивана Михайловича с удельными князьями Тверской земли (холмским и кашинским) закончилась подчинением последних его власти[1].

Характерны новые приемы великокняжеской политики, к которым прибегал Иван Михайлович для того, чтобы принудить других князей Тверской земли признать свою власть. Во-первых, он заставил тверских великокняжеских бояр, связанных вассальными договорами с тверскими князьями—потомками Михаила Александровича разорвать эти договоры со всеми, кроме него самого. По словам летописи, князь Иван Михайлович захотел «свою братью обидети» и велел «бояром своим целование сложити к своеи братьи...» Не могли изменить решения Ивана Михайловича ни ссылка его братьев на то, что его действия противоречат завещанию их отца великого тверского князя Михаила Александровича («не по грамоте отца нашего твои бояре к нам сложили целование...»), ни вмешательство в дело вдовы покойного князя Михаила. Иван Михайлович отвечал своим братьям: «бояре сложили к вам целование по моему слову». Собственно говоря, это означало не что иное, как признание Иваном Михайловичем Тверского княжества своей «вотчиной», подлежащей передаче по наследству его потомкам по прямой нисходящей линии (минуя родственников по линии боковой). Такой существенный в жизни Тверской земли акт, аналогичный завещательному распоряжению, сделанному в отношении великокняжеского стола Дмитрием Донским, вызвал протест других тверских князей. Не случайно летописи говорят, что «оттоле нача великий князь вражду въздымати на свою матерь, и на свою братью.., начя на них нелюбие держати». Нарушались правовые основы удельной системы.

Другое нарушение старинных политических порядков великий князь тверской допустил, отказавшись прибегнуть к суду тверского епископа по вопросам, связанным с разделом территории Тверской земли между местными князьями. Когда Иван Михайлович отнял некоторые владения у своего брата князя Василия и передал их своему племяннику Ивану Борисовичу, а от Василия приехал к великому князю епископ Арсений, «прося суда обчего», великий князь заявил: «суда ти о том не дам»[2]. Это была претензия местной великокняжеской власти на право совершать переделы владений между удельными князьями.

Как уже было указано, тверской великий князь Иван Михайлович сумел укрепить свою власть. И это несмотря на то, что наиболее

---

[1] *А. Е. Пресняков*, Образование Великорусского государства, стр. 214—219; *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 141—142.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 148—149; т. XI, стр. 183—184; т. XV, вып. 1, стр. 176—177.

сильного из удельных князей Тверской земли—Василия Михайловича кашинского поддерживал великий князь московский Василий I. Еще надолго сохранило Тверское княжество свою независимость от княжества Московского.

Нижегородские князья и после утраты политической самостоятельности не прекратили сопротивления московской великокняжеской власти. В борьбе за возвращение своей «отчины» они прибегали к содействию татар. Племянник нижегородского князя Бориса Константиновича Семен Дмитриевич сделал в 1394 г. попытку вернуть Нижегородское княжество с татарской помощью. Князь Семен подошел к Нижнему Новгороду с ратью, в составе которой была тысяча татар. Нижегородские «люди горожане» во главе с тремя воеводами «затворишася в городе», приготовившись к его защите. После первого сражения татары вынуждены были отступить, но затем снова приступили к Нижнему Новгороду. Три дня продолжалась перестрелка, а затем татары уговорили нижегородцев заключить с ними мир и пустить их в город, дав при этом обещание «крестьян не грабити, ни заимати». Обещание было нарушено, и, войдя 25 октября 1394 г. в город, татары начали грабить жителей: «...пограбиша всех крестьян от болших и до менших, и нагых пускаху, и град весь взяша, и до конца пограбиша, и всякого имения без числа поимаша». Князь Семен снял с себя ответственность за ограбление нижегородского населения, заявив: «не аз есмь створивый се, но татарове, в них же аз не волен, а с них не могу»[1]. Через две недели после взятия Нижнего Новгорода татары, получив известие, что против них готовится поход московской рати, бежали вместе с Семеном Дмитриевичем из города.

После этого брат московского великого князя Василия Дмитриевича Юрий во главе московского войска разгромил Болгары, Жукотин, Кременчук и Казань. Поход продолжался три месяца. Летопись подчеркивает, что русская рать впервые проникла так далеко в глубь татарских владений: «никто же не помнить толь далече воевала Русь Татарьскую землю». Обратно русское войско вернулось с большой добычей («и възвратишася с многою корыстью»)[2].

Князь Семен нашел убежище в Орде. По-видимому, он делал новые попытки скопить там военные силы, чтобы вернуть Нижегородское княжество. В 1401 г. великий князь Василий I послал своих воевод захватить семью Семена Дмитриевича, с тем чтобы таким путем заставить покориться его самого. Московские воеводы отправились с великокняжеской ратью в «Татарскую землю», где и настигли жену и детей князя Семена. «Ограбив» их, они привели их в Москву, где те были взяты под стражу. Семен Дмитриевич,

---

[1] ПСРЛ, т. IV, стр. 101—102; т. V, стр. 247.

[2] ПСРЛ, т. IV, стр. 101—102; т. V, стр. 247—248. В ряде летописей рассмотренные выше события иногда даются под 1398—1399 гг., а иногда повторяются дважды (под 1394 или 1395 гг. и под 1398 или 1399 гг.). См. ПСРЛ, т. VI, стр. 128 и 130; т. VIII, стр. 12; т. XI, стр. 163, 171; т. XV, стр. 461, 470.

перешедший на положение беглеца и изгнанника («сам бо бяше тогда бегая по Татарским местом»), узнав об аресте его жены и детей, о захвате московским великим князем его казны, обратился к Василию I с просьбой о помиловании («посла к великому князю с челобитием и с покорением»). Получив от великого князя разрешение на возвращение в русские земли с гарантией безопасности («опас»), Семен Дмитриевич приехал в Москву. Оттуда он и его семья были отправлены великим князем в Вятку, где князь Семен в том же году и умер.

Краткая характеристика Семена Дмитриевича, помещенная в Симеоновской и некоторых других летописях, отличается двойственным характером. С одной стороны, летописец как будто осуждает суздальского князя за то, что он так настойчиво добивался восстановления на нижегородском княжеском столе и прибегал в этих целях к помощи ордынских ханов. «...Восмь лет по ряду в Орде служи четырем царем.., а все то поднимая рать на великаго князя московскаго, како бы ему наити свою отчину, Новогородцкое княжение». Но, с другой стороны, в отзыве летописца о князе Семене нельзя не увидеть известного к нему уважения и сочувственного отношения. Автор с чувством симпатии говорит о его энергии, целеустремленности, скорбит по поводу бед, его постигших. «Сеи же князь в животе своем многы напасти подъят и многы истомы претерпе в Орде и на Руси, добиваяся отчины своея»; «и того ради мног труд подъя, не обретаа покоя ногама своима, и не успе ничтоже, но акы всуе тружаяся»[1].

Подобная двойственность в оценке личности и деятельности мятежного суздальского князя вполне понятна для летописца XV в. На его глазах совершалось объединение Руси. Падали когда-то независимые русские княжества. Лишались своих владений местные князья. И даже видя (конечно, глазами своего класса, класса феодалов) положительные стороны всего, что было связано с преодолением политической раздробленности, летописец не мог равнодушно относиться к печальной судьбе близких ему по социальному положению и идейному облику представителей господствующего класса, которые делались жертвой неумолимого хода истории, но при этом не сдавались.

Дав отпор выступлению князя Семена Дмитриевича, правительство Василия I на некоторое время укрепило свои позиции в пределах Нижегородского княжества.

Взаимоотношения между Московским и Рязанским княжествами были определены специальной договорной грамотой, составленной Василием I и рязанским князем Федором Ольговичем в 1402 г.[2] По этому договору рязанский князь был лишен права самостоятельно (без ведома Василия I) регулировать свои отношения с пра-

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 149—150; т. VI, стр. 131—132; т. VIII, стр. 75—76; т. XI, стр. 186—187; т. XX, стр. 219—220; т. XXIII, стр. 138—139; т. XXIV, стр. 168—169.

[2] ДДГ, стр. 52—55, № 19.

вителями как Литвы и Орды, так и соседних русских княжеств, наконец, уделов Рязанской земли. Зависимость последней от московского правительства становилась настолько реальной, что потребовалась специальная оговорка о невмешательстве московского князя во внутренние дела Рязанского княжества и о неприкосновенности рязанских территориальных границ[1].

Важным фактором, влиявшим на положение отдельных княжеств в общей политической системе Северо-Восточной Руси в конце XIV—начале XV в., была внешнеполитическая обстановка. К ее анализу и следует обратиться.

§ 8. Русско-литовские и русско-ордынские взаимоотношения в конце XIV—начале XV в.

Объединение русских земель в конце XIV—начале XV в. происходило в очень сложной внешнеполитической обстановке. Два главных вопроса—литовский и ордынский определяли направление политики русских князей. Великий князь литовский нуждался в союзе с великим князем московским для борьбы с общими противниками: польским королем Ягайлом, поскольку польская корона после унии с Литвой 1386 г. стремилась поглотить земли Литовского княжества, и с Золотой ордой.

С самого начала своего княжения московский великий князь Василий Дмитриевич стремился мобилизовать силы против восточной, ордынской опасности. Одновременно с этим он принимал меры к организованной защите западных границ Московского княжества от возможных набегов литовских войск. В 1390 г. Василий I заключил договор с серпуховско-боровским князем Владимиром Андреевичем[2]. Главная задача договорной грамоты заключалась в распределении между обоими князьями политических и военных функций. Великокняжеская власть брала на себя задачу обороны восточных границ Московского княжества. На долю удельного князя Владимира Андреевича падала организация сопротивления агрессии литовских феодалов с запада. Поэтому в удел ему Василий I дал Ржеву, пограничный город, на который одновременно претендовали и Московское, и Тверское княжества, и Литва[3].

Взаимоотношения московского правительства с Ордой в 90-х годах XV в. складывались для него благоприятно. Воспользовавшись поражением Тохтамыша, понесенным последним от войск Тимура, Василий I добился присоединения к Московскому княжеству княжества Нижегородско-Суздальского. В 1395 г., как об этом говорилось в специальном параграфе, Тимур нанес сокрушительный удар Золотой орде и, преследуя Тохтамыша, дошел до Рязанской земли. Разгром Золотой орды войсками Тимура был использован

[1] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 83—84.
[2] ДДГ, стр. 37—39, № 13.
[3] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 63—67.

московским правительством, переставшим уплачивать ордынский «выход»[1]. В 1398 г. Тохтамыш потерпел полное поражение от войск Тимур-Кутлуга и бежал в Литву. Тимур-Кутлуг стал ханом Золотой орды[2].

Между тем на русские земли надвигалась угроза со стороны Литвы. Вступая в союз с Витовтом, правительство Василия Дмитриевича хотело объединить русские и литовские военные силы для борьбы с Ордой. Но союз этот не мог быть прочным, так как литовское правительство претендовало на дальнейший захват территории Руси. В 1395 г. Витовт, распустив слух, что он отправляется в поход против Тимур-Кутлуга, неожиданно появился под Смоленском. Использовав усобицы смоленских князей, он обманом захватил их с боярами и отправил в Литовскую землю, «а самь посады пожьже и люди многи полони, и такь все княжение Смоленьское оузял за себе, и намисника своего посади...» В следующем, 1396 г. литовские войска разорили Рязанскую землю[3].

Сопротивление литовскому наступлению на русские земли в это время оказывали войска великого рязанского князя Олега Ивановича—тестя смоленского князя Юрия Святославича[4]. После взятия Смоленска Витовтом в 1395 г. Олег Иванович предпринял ответный поход на Литву в союзе с князьями пронским, козельским и муромским. В 1396 г. рязанские военные силы совершили нападение на Любутск[5].

Московский великий князь Василий I, однако, не желал обострения русско-литовских отношений. Этим объясняется дипломатический визит, нанесенный Василием I и митрополитом Киприаном Витовту в Смоленске в 1396 г., и последующий торжественный прием Василием I Витовта в Коломне[6].

В 1398 г. Витовт заключил так называемый Салинский договор с Орденом. Великий литовский князь уступил Ордену Жемайтию и обещал ему помочь захватить Псковскую землю. Орден в свою очередь должен был оказать помощь литовскому правительству в подчинении Новгорода.

В следующем, 1399 г. Витовт послал новгородскому правительству «възметную грамоту», содержание которой передается в летописях следующим образом: «обеществовале мя есте, что было вам за мене нятися, а мне было вам князем великим быти, а вас мне было боронити, и вы за мене нялеся»[7]. К войне с Литвой стал готовиться Псков. В 1399 г. оттуда выехал литовский князь Иван Андреевич, внук Ольгерда. После этого псковское правительство договорилось с московским великим князем Василием I об утверждении на псков-

---

[1] *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 140.
[2] ПСРЛ, т. XV, стр. 457—458.
[3] ПСРЛ, т. XVII, стр. 46, 47.
[4] ПСРЛ, т. XI, стр. 163.
[5] Там же, стр. 166.
[6] ПСРЛ, т. VIII, стр. 69—70.
[7] НПЛ, стр. 393.

ском княжеском столе князя Ивана Всеволодовича холмского[1]. В Новгород приехал в качестве князя брат Василия Дмитриевича Андрей[2]. Литовско-русские мирные отношения были порваны: «А Витовт литовскии князь тоа зимы мир разверз с своим зятем с великим князем с Васильем и с Новымгородом и с Псковом»[3].

Кроме наступления на северо-западные русские земли, Витовт лелеял также широкие планы завоевания Причерноморья. В этих целях он использовал усобицы в Орде. Он дал убежище в Литовской земле Тохтамышу, изгнанному Тимуром, решил помочь ему вновь утвердиться на золотоордынском ханском столе и тем самым распространить литовское влияние на подчиненные Орде земли.

В 1397—1398 гг. литовские войска под предводительством Витовта совершили поход в Причерноморские степи и овладели низовьями Днепра, где по предписанию литовского князя был сооружен каменный город святого Иоанна. В 1399 г. Витовт двинул большие военные силы на борьбу с Тимур-Кутлугом. Кроме литовцев, вместе с Витовтом выступили поляки, немцы, присланные великим магистром Ордена, воины, направленные волошским господарем, татары, приведенные Тохтамышем. Русские летописи указывают, что Витовт преследовал далеко идущие цели: водворив Тохтамыша на золотоордынском столе, он сам якобы хотел завладеть всей Русью. «Свеща Витовт с Тахтамышем в единои думе, глаголя»,— читаем в летописи: «аз тя посаждю в Орде на царствиа, а ты мя посадишь на великом княжении на Москве и на всеи Рускои земли». В некоторых летописях подчеркивается тесная связь между намерениями Витовта укрепить через Тохтамыша господство Литвы в пределах Золотой орды и его стремлениями к захвату Новгорода и Пскова: «Поидемь, пленимь землю Татарьскую, победимь царя Темирь-Коутлюя, възмемь царство его, и разделим кориcть его, и посадим во Орде на царстве его царя Тахтамыша, а сам сяду на Москве на великом княжении на всеи Рускои земли, а Великии Новгород с Псковом мои боудеть»[4]. Трудно сказать, сколь достоверны записанные летописцем слухи о планах Витовта. Вероятно, эти слухи преувеличены. Но несомненно, что поддержка Витовтом Тохтамыша в его борьбе с Тимур-Кутлугом исходила из планов наступления в дальнейшем на Русь.

Битва между войсками Витовта и Тимур-Кутлуга произошла 12 августа 1399 г. Военные силы, приведенные Витовтом, были разгромлены. Были убиты участники Куликовской битвы—князья Андрей Ольгердович полоцкий, его брат Дмитрий Ольгердович брянский и другие князья и бояре. Погибло на поле боя множество простых воинов. Тимур-Кутлуг взял «окуп» с Киева и «роспустил» «силу свою всю» «воевати землю Литовскую»[5].

---

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 26; вып. 2, стр. 30, 108.

[2] НПЛ, стр. 394—396.

[3] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 109.

[4] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 384—385.

[5] Там же, стр. 384—386; т. VIII, стр. 72—73; т. XI, стр. 172—174; т. XVI, стр. 144—145; т. XVII, стр. 47—48, 97, 173—174; т. XVIII, стр. 143; т. XX, стр. 219; т. XXIII, стр. 137; т. XXIV, стр. 167—168.

Поражение, которое Витовт потерпел на Ворскле, приостановило литовское наступление на Русь. В 1400 г. был заключен мир между Литвой и Новгородом[1]. Польские паны использовали военные неудачи Витовта для усиления своего влияния в Литве. В 1401 г. Витовт и литовские бояре дали новое обязательство польскому королю Ягайлу в том, что Литовское княжество сохранит унию с Польшей и что после смерти Витовта власть над Литвой перейдет к Ягайлу.

С 1401 г. началось народно-освободительное движение в Жемайтии, захваченной Орденом. Витовт поддержал это движение и начал с Орденом войну, окончившуюся для Литвы неудачно. В годы внешнеполитических осложнений для Литовского княжества пошатнулось его господство в Западной Руси.

В 1401 г. отпал от Литвы Смоленск. Согласно летописным данным, это случилось в результате происшедшего в городе восстания. «А во граде во Смоленскоу быс мятежь и крамола», «была в тот час замятня великая в Смоленску»,— говорится в разных летописях. Под терминами «мятеж», «крамола», «замятня», как видно из последующего изложения событий, имеется в виду не феодальная усобица, а антифеодальное выступление, принявшее национально-освободительный характер. Движущей социальной силой смоленского восстания явились горожане, поднявшиеся на борьбу с угнетением, которое они испытывали от литовских феодалов («не могоуще терпети насилия от иноверных ляхов», «не могли терпети великое налоги из Ляхов»). В летописях указывается, что в Смоленске были как сторонники литовского князя Витовта, так и его противники, поддерживавшие связь с прежним смоленским князем Юрием Святославичем («овии хотяхоу Витовъта, а дроузии отчича князя Юрья»). При этом видно, что Юрий Святославич опирался на посадских людей, а Витовт нашел опору среди части бояр, не только литовских, но и смоленских, и брянских. Смоленские посадские люди, договорившись с Юрием Святославичем (который подошел к Смоленску вместе с рязанским князем Олегом Ивановичем), открыли ему городские ворота («и прияша князя Юрья и град ему отвориша»). Правивший от имени Витовта в Смоленске князь Роман Михайлович брянский был убит восставшим народом («оубиень быс ноужьною смертию»), так же как перебиты были наместники Витовта и бояре, не желавшие признать смоленским князем Юрия («и боярь, которыи не хотели отчича князя Юрья.., тех всех посекоша»). Семье Романа брянского восставшие смоленские жители дали возможность выехать из города.

Несмотря на то что Витовт приступил к Смоленску с большими вооруженными силами, простоял под городом с месяц и применял при осаде пушки, взять Смоленск ему не удалось. Литовское войско отступило, в значительной мере из-за вновь вспыхнувшего в городе восстания, во время которого были уничтожены бояре,

[1] «Очерки истории СССР...» IX—XV вв.», ч. 2, стр. 244—245, 536—538.

тайно сносившиеся с Витовтом («а смолняне с княземь Юрьемь бояр своих избиша, которыи перевет держаша к Витовту на князя своего Юрья»)[1].

Юрий Святославич в борьбе с Витовтом находил поддержку со стороны своего тестя—рязанского князя Олега Ивановича. Последний посылал в 1401 г. под предводительством своего сына Родослава войско на Брянск. Войско это было разбито под Любутском литовским военным отрядом, предводительствуемым князьями Семеном Ольгердовичем и Александром Патрикеевичем стародубским, а Родослав попал в плен.

Литва не мирилась с утратой русских земель. В 1403 г. литовские войска во главе с Семеном Ольгердовичем взяли Вязьму и захватили в плен местных князей—Ивана Святославича и Александра Михайловича.

В 1404 г. Витовт начал новое наступление на Смоленск, закончившееся переходом города под власть великого литовского князя. Об этом очень коротко рассказывает Новгородская первая летопись. Согласно ее данным, Витовт подошел «со всею силою своею к городу Смоленьску», но после длительной его осады был вынужден отступить. Тогда смоленский князь Юрий Святославич поехал в Москву «поклонитися» великому князю Василию I, «чтобы его поборонил от великого князя Витовта». В отсутствие Юрия изменники передали город литовским феодалам («...переветнице предаша град Смолнеск князю Витовту литовъскому»). Узнав об этом, Юрий отправился в Новгород, где и был принят на княжение[2].

В некоторых летописных сводах содержится более подробный рассказ о первом и втором подступах Витовта вместе с другими литовскими князьями (Корибутом, Семеном, Свидригайлом Ольгердовичами) к Смоленску. Подчеркиваются трудности первой осады: «Витовът же весноу всю стоял, колко бивъся, и троужався и не може его выстояти». Несмотря на применение литовскими воинами во время осады пушек, город не сдавался («бе бо град Смоленескь велми твердь»). Отступив от города, Витовт решил разорить его окрестности, с тем чтобы в дальнейшем поставить население Смоленска в такие условия, в которых они должны были или сдаться или умереть от голода. Литовские войска «по зажитьем и по волостемь по Смоленьскымь много зла сотвориша». Вторичной осады жители Смоленска уже не выдержали и «не могоуще терпети во граде голодоу, от изнеможения всякого истомы град Смоленескь предаша Витовтоу»[3]. Таким образом, по-видимому, смоленские горожане активно боролись за свою независимость, но голод и измена части боярства привели к падению Смоленска.

---

[1] ПСРЛ, т. XVII, стр. 48, 97—98, 174—175, 281; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 390; т. V, стр. 252; т. VI, стр. 131; т. VIII, стр. 75; т. XI, стр. 185—186; т. XVI, стр. 146; т. XVIII, стр. 149; т. XXIII, стр. 138; т. XX, стр. 220; т. XXIV, стр. 168.

[2] НПЛ, стр. 398.

[3] ПСРЛ, т. XVII, стр. 50.

Каково было поведение в это время князя Юрия смоленского, с одной стороны, Василия Дмитриевича московского—с другой? Юрий рассчитывал на поддержку со стороны московского великого князя. Уезжая из Смоленска в Москву, он назначил три срока, в которые смоленские жители должны были ожидать его возвращения с военной помощью. В ряде летописей говорится, что Юрий предлагал Василию I принять его на службу вместе со Смоленским княжеством, которое должно было таким образом войти в состав формирующегося Русского централизованного государства. «И биль челомь князоу великомоу Василию Дмитровичь слоужити даютися емоу самь со всимь своимь княжениемь». Но Василий I уклонился от участия в смоленско-литовской войне, не желая нарушать мирных отношений с Витовтом («не хотя изменити Витовтоу»). Согласно сообщению Тверского сборника, Василий I имел договоренность с Витовтом не помогать Юрию и не пытаться самому овладеть Смоленском («еже не въступатися в Смоленескь и с Юрием не имети любве»). Это заставило Юрия Святославича уехать в Новгород. Он получил от новгородского правительства 13 городов в кормление и заключил с Новгородом договор о совместных военных действиях («которыи поидоуть иноплеменници на Новъгород ратию, боронитися от них князю Юрью с новгородци со единого»).

Судя по Тверскому сборнику, Василий I заявил Витовту, что Юрий вошел в сношения с новгородским правительством без его ведома («приаша его новогородци без моего повелениа»). Из всех летописных сообщений создается впечатление, что великий московский князь не хотел вступать в открытый конфликт с Литвой и держался выжидательной политики, рассчитывая, что в длительных войнах Витовт потеряет свои силы.

Витовт, взяв Смоленск, «разъведе и расточи» бояр, которые «хотели добра князю Юрью», «а иных премоучи». В Смоленск были назначены литовские наместники[1].

Овладев Смоленском, Витовт предпринял новые агрессивные действия в отношении Руси. В начале 1406 г. литовские военные силы напали на Псковскую землю (где в то время был наместником московский ставленник князь Даниил Александрович), захватили город Коложе, разорили Вороначскую волость. Псковские летописи подчеркивают, что литовское нападение было совершено в нарушение мирного договора между Псковской республикой и Литовским княжеством (Витовт «повоева Псковскую власть.., миру не отказав, ни крестнова целования не отслав, ни мирных грамот...»). Псковичи, которым угрожала опасность не только от Литвы, но и от Ордена, обратились за помощью в Москву. Серьезная военная опасность заставила Василия I отказаться от политики нейтралитета. Летопись указывает, что «князь великии Василии разверже мир со князем литовским Витовтом» «псковския ради обиды»[2]. Руководство сопро-

[1] ПСРЛ, т. XVII, стр. 50—51; т. XV, стр. 471; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 896.
[2] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 28, 29, вып. 2, стр. 31—33, 111, 114.

тивлением литовскому и немецкому натиску на северо-западных границах Руси было поручено братьям великого князя: в Новгород прибыл Константин Дмитриевич (после его приезда князь Юрий Святославич уехал в Москву), в Псков—князь Петр Дмитриевич.

В течение 1406—1408 гг. продолжалась московско-литовская война, которая, однако, не сопровождалась решительными действиями ни с одной стороны. Два раза противники сходились (в 1406 г.— на реке Плаве, притоке Упы; в 1407 г.— у города Вязьмы) и расходились, заключив перемирие. Третья встреча войск Витовта и Василия I в 1408 г. у реки Угры окончилась заключением мирного договора. В 1407 г. Витовт оформил мир с Новгородом, в 1409 г.— с Псковом.

Безрезультатному для Витовта финалу московско-литовской войны 1406—1408 гг. в значительной мере содействовали такие факторы, как военная помощь, оказанная Руси татарами, и переход на сторону Василия I ряда русских и литовских князей Великого княжества Литовского, боявшихся усиления власти Витовта, а также недовольных национальной и религиозной политикой польского правительства после Кревской унии. В 1406 г. «отъехал» на Русь из Литвы князь Александр Иванович Ольшанский, получивший от Василия I в кормление Переяславль. В 1408 г. в Москву прибыли из Литовской земли князь Свидригайло Ольгердович и большое число других князей и бояр. Василий I передал им в держание Владимир «с всеми волостьми, и с пошлинами, и с селы, и с хлебы», Переяславль, Юрьев-Польский, Волоколамск, Ржеву, половину Коломны[1]. Таким образом, во время войны 1406—1408 гг. отчетливо выявилось, что население ряда русских земель Великого княжества Литовского стремится к установлению связей с Северо-Восточной Русью.

Серьезной причиной, заставившей Витовта заключить мир с Василием I, было то обстоятельство, что надвигалась война Литвы с Орденом. В 1409 г. началось широкое восстание против Ордена в Жемайтии. Опираясь на массовое народно-освободительное движение, Витовт включился в войну, начавшуюся между Орденом и Польшей. В знаменитой Грюнвальдской битве 1410 г. соединенные польско-литовские войска с участием чешских и русских (смоленских) полков нанесли крупный удар немецким рыцарям. Грюнвальдская битва явилась важнейшим событием в борьбе народов Восточной Европы против наступления немецких захватчиков.

Выше уже говорилось, что в борьбе с Литвой великий московский князь опирался на поддержку татар и поэтому возобновил сношения с Ордой. В 1405 г. в Москву приходил ордынский посол[2], а в 1406 г. во время московско-литовского столкновения на реке Плаве к Василию I явилась рать, посланная ханом Шадибеком.

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 154—158; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 399, 404—406; т. VI, стр. 132, 133, 135—136; т. VIII, стр. 78, 81—85; т. XI, стр. 193, 194, 197, 198, 202—205; т. XVI, стр. 151, 155—158; т. XX, стр. 222—223, 225.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 281.

Между тем это было время политических успехов ногайского хана Едигея, сделавшегося фактическим правителем в Золотой орде. Смена золотоордынских ханов в значительной мере зависела от воли Едигея. А. Н. Насонов достаточно убедительно доказал, что в отношении Руси Едигей продолжал политику Тохтамыша, стремясь поддерживать сепаратизм отдельных княжеств Северо-Восточной Руси[1]. Едигей покровительствовал великому тверскому князю Ивану Михайловичу. Неудачей окончилась попытка холмского князя Юрия Всеволодовича, поддерживаемого московским правительством, добиться в 1407 г. в Орде ярлыка на тверское великое княжение. Ставленник Едигея Булат-бей выдал ярлык князю Ивану Михайловичу. Юрия поддержал свергнутый Булат-беем хан Шадибек. Вместе с послом последнего Юрий прибыл в Москву. Оттуда посол Шадибека отправился в Тверь известить князя Ивана Михайловича, что «царь дал Юрию Кашин и десять волостей Тверских». Но тверской князь отказался подчиниться этому распоряжению.

Аналогичная политика проводилась Едигеем в Рязанской земле. В 1408 г. побывал в Орде пронский князь Иван Владимирович. Получив от Булат-бея военный отряд, он напал на рязанского великого князя Федора Ольговича (союзника Василия I) и занял Переяславль-Рязанский[2]. Но, очевидно, на длительную поддержку Орды Иван Владимирович рассчитывать не мог и поэтому вскоре примирился с Федором Ольговичем, уступив ему его «отчину»[3].

Разжигая сепаратистские настроения русских князей, Едигей готовился к походу на Москву, который и осуществил в 1408 г.

§ 9. Нашествие на Русь татарских войск под предводительством Едигея

В начале XV в. в результате феодальных войн среди ордынских князей, как указывалось выше, фактическим правителем сделался ногайский хан Едигей, хотя номинально власть принадлежала хану Булат-бею (Булату), сыну Темир-Кутлуга. Поздней осенью 1408 г. Едигей предпринял внезапный поход на Русь[4].

Летописная повесть о нашествии на Русь в 1408 г. Едигея дошла до нас в нескольких вариантах[5]. Наиболее ранний (и наиболее краткий) из них сохранился, по-видимому, в Ермолинской, Львовской, Софийской второй летописях, к которым близок и текст Типографской летописи.

---

[1] *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 140—143.

[2] ПСРЛ, т. XV, стр. 473—474, 480—481.

[3] См. также «Очерки истории СССР...» IX—XV вв.», ч. 2, стр. 245—246, 539—540.

[4] *Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский*, указ. соч., стр. 374—405.

[5] Разбор этой повести см. *Д. С. Лихачев*, Русские летописи и их культурно-историческое значение, стр. 297, 305. См. также *М. Д. Приселков*, История русского летописания XI—XV вв., стр. 115.

Из этого варианта повести узнаем, что Едигей двинулся в пределы Русской земли по приказу хана Булата в сопровождении четырех царевичей и многих ордынских князей. Цель похода не указана, но, как видно из ярлыка Едигея (разбираемого ниже), речь шла о восстановлении над Русью владычества Орды, к тому времени уже сильно поколебленного.

Узнав о приближении татар, великий московский князь Василий I отправился в Кострому[1]. О причинах отъезда в рассматриваемых летописях не говорится. Симеоновская летопись указывает, что отъезд московского князя объясняется тем, что он, ввиду быстрого наступления татарских военных сил, не успел собрать войско: «Василей же не успе ни мало дружины събрати».

В Москве руководить ее обороной остались, по назначению великого князя, дядя Василия I—серпуховский князь Владимир Андреевич, великокняжеские братья Андрей и Петр Дмитриевичи, князь Иван Юрьевич (между отдельными летописями при перечне лиц, оставленных в столице, имеются небольшие расхождения), а «с ними же много множество народа». Судя по другим летописям, наряду с москвичами в столице в это время было много пришлого населения, убежавшего от татар и нашедшего убежище за крепкими московскими стенами («от многых бо град и стран збегошася твердости ради градные»)[2]. Готовясь к обороне города, московское население само выжгло посад («посад же весь пожгоша сами»).

1 декабря (по Софийской второй летописи—26 ноября, по Тверскому сборнику—30 ноября[3]) 1408 г. Едигей подошел к Москве и стал в селе Коломенском. В то же время войска, которые он разослал в разные места («и разпусти по всеи земли вои»), сожгли Переяславль, захватили Ростов, Дмитров, Серпухов, Нижний Новгород, Городец, а судя по Софийской летописи, еще Юрьев и Верею. 30 тысяч «изборныя рати» Едигей отправил в погоню за великим московским князем, но этот отряд вернулся, не захватив его.

Согласно данным Симеоновской летописи и Рогожского летописца, можно думать, что в то время, когда к Москве подходил Едигей, там происходило нечто, напоминающее события 1382 г.: бегство состоятельных людей—феодалов или горожан («И смятеся град ужасным смятением, и людие начаша зело бежати, небрегуще ни о имении, ни о ином ни о чем же...»), назревание социальных конфликтов, перераставших в классовую борьбу («и начаша злая бывати в человецех, и хищници грабяче явишася»). Однако восстания, подобного тому, которое было в 1382 г., не произошло.

Не приступая к Москве, Едигей решил остаться на зимовку в Коломенском и принудить город к сдаче («к Москве ни сам приступи, ни посла, но хотя зимовати, вся человеки взяти ю»). Симеоновская летопись и Рогожский летописец указывают, что москвичи

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 142—143; т. XX, стр. 225—226; т. VI, стр. 136—137; т. XXIV, стр. 174.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 158; т. VIII, стр. 83.

[3] ПСРЛ, т. XV, стр. 483.

оказывали активное сопротивление врагу. Они укрепили город и встречали татар стрельбой («полкы поганых... не смеяху ...близ града стати, пристроя ради граднаго и стреляниа с града...»). Очевидно, захват города не представлялся делом столь легким. Согласно данным ряда летописей, Едигей рассчитывал на военную помощь тверского великого князя Ивана Михайловича—противника Василия I и послал ему приказ немедленно явиться («...часа того быти на Москву...») с пушками, тюфяками и самострелами. Тверской князь занял неопределенную позицию. Не желая ссориться ни с Едигеем, ни с Василием I («не хотя изменити великому князю, а Едигея бе не разгневати»), он двинулся с татарскими посланцами в сопровождении небольшого войска к Москве, но затем отправил это войско обратно и сам вернулся из Клина домой.

Под Москвой Едигей пробыл недолго. Скоро к нему явились послы («скоропосольницы») из Орды и сообщили о происходящих там смутах. «Некий царевичь», воспользовавшись уходом большого количества татарских вооруженных сил в Русь, выступил против хана Булата и чуть не захватил его. Хану удалось спастись лишь потому, что проводники повели царевича по неправильному пути (за что он их перебил), да и бывшая в то время мгла помешала обнаружить местопребывание Булата («и сътвори ему спону проводьникы его, привед его на торг, а не на царя, его же и пересечи повеле; бе же и мъгляно тогда велми, но мало самого царя не захвати»). По данным летописи, испуганный Булат желал вернуть в Орду вооруженные силы, отвлеченные походом на Русь, и потому потребовал немедленного прибытия Едигея. Тот повиновался. Что им руководило: желание ли сохранить на золотоордынском престоле хана, при котором он занимал положение временщика, или же стремление, воспользовавшись междоусобиями в Орде, помочь свержению Булата и занять его место,— сказать трудно. Во всяком случае Едигей торопился с отходом от Москвы. Но он не хотел уходить, не поживившись за счет русского населения, и потребовал «окупа» с Москвы. Согласно версии Ермолинской и других летописей, горожане, находившиеся в осаде, не знали о тех обстоятельствах в Орде, которые требовали спешного ухода туда Едигея, и согласились на уплату «окупа» в сумме 3 тысяч рублей. Симеоновская летопись стремится поднять роль московских горожан в переговорах с Едигеем и утверждает, что они диктовали условия мира: «...яко же восхотеша гражане, тако смирися с ними окаанный Едигеи...»

После этого началось отступление татар. Сначала Едигей отправил военный отряд с захваченными пленниками («преже воя отпусти со множеством полона»), а 20 декабря (через три недели после прихода под Москву) двинулся сам с основными военными силами.

Летописи отмечают, что нашествие Едигея принесло много зла Русской земле («а зла много учинися всему хрестьянству...»). Там, где побывали татары, они все сметали на своем пути («вся бо земля пленена бысть»). Население понесло громадные потери («и убыток велик бысть везде»). Те из русских людей, кто не попал

в плен, бежали, бросая свое имущество, доставшееся захватчикам («иде же не были, но все мещуще бегаху, а то все хищници взимаху»). Количество русских пленных, взятых татарами, было столь велико, что (по данным Типографской летописи), уходя из Руси, каждый татарин уводил с собой до 40 человек русских.

Надо думать, что разбираемый вариант летописного рассказа о нашествии Едигея был составлен вскоре после самого события. Об этом свидетельствуют точность и деловитость изложения, отсутствие излишней стилизации и литературных длиннот.

На основании картины, нарисованной в разбираемых летописях, можно сделать небезынтересные выводы о русско-ордынских отношениях начала XV в., особенно если сравнить некоторые существенные моменты осады Москвы Едигеем, с одной стороны, и наступления на этот город Тохтамыша четверть века тому назад—с другой. Несомненно, Орда в начале XV в. была еще сильна. Разорение, причиненное Руси Едигеем, по своим губительным последствиям, вероятно, заставило русских людей вспомнить времена Тохтамыша. Сейчас, как и тогда, татарские войска прорвались в самый центр страны, подошли к Москве. И, однако, за эти четверть столетия Русь все же окрепла. Тохтамышу удалось ворваться в Москву и учинить там погром. Едигей на быстрый штурм города уже не решается. Он хочет заставить жителей сдаться измором, готовясь к длительной зимней осаде столицы Московского княжества.

В 1382 г. татарским захватчикам было легче использовать в своих интересах рознь между русскими князьями как следствие политической раздробленности, чем в 1408 г. Тогда взятию Москвы Тохтамышем очень помогли враждебные Дмитрию Донскому князья рязанский и нижегородско-суздальские. Сейчас расчет Едигея на вражду между князьями Василием Дмитриевичем московским и Иваном Михайловичем тверским не удался. Это не значит, что теперь уже была ликвидирована политическая раздробленность или было достигнуто единство действий между русскими князьями. И раздробленность еще не была преодолена, и политические распри между князьями продолжались, а может быть, еще более обострились. Дело было совсем не в этом, а в ином.

Во-первых, слишком сильно давали себя чувствовать губительные последствия татарских набегов, и поэтому борьба с ордынской опасностью все более начинала восприниматься как общенациональное дело, важное для всех княжеств, независимо от взаимоотношений между ними. Враждовавшим между собой правителям отдельных княжеств приходилось в данном случае действовать под давлением народных масс, требовавших единодушного отпора захватчикам.

Во-вторых, политика Орды была слишком скомпрометирована в глазах самих русских князей. Помощь ордынским правителям часто слишком дорого обходилась для тех, кто ее оказывал. Олег рязанский указал Тохтамышу, шедшему к Москве, броды на Оке, а тот на обратном пути разорил Рязанское княжество. Нижегородско-

суздальские князья помогли Тохтамышу обмануть москвичей и заставить их пустить в город татарское войско, а через десять с небольшим лет Тохтамыш выдал ярлык на Нижегородско-Суздальское княжество Василию I. Методы, к которым прибегали татаро-монгольские ханы, стараясь поссорить между собой русских князей под видом поддержки одних против других, уже не могли никого обмануть. Доверие к тем предложениям, с которыми обращались ханы к правителям отдельных русских земель, было утеряно. И поэтому Иван Михайлович, князь тверской, конечно, желавший ослабления Московского княжества, предпочел тем не менее не связываться с Едигеем.

В-третьих, наконец, нельзя не учитывать такого важного фактора в развитии русско-татарских отношений, как политическое усиление Московского княжества. Оно было сильнее во времена Едигея, чем в годы Тохтамыша. Это обстоятельство следует принять во внимание, рассматривая комплекс условий, позволивших Москве в 1408 г. избежать той участи, которая ее постигла в 1382 г.

Если с 1382 по 1408 г. изменилась Русь, то произошли за это время изменения и в Орде. Но развитие здесь и там шло в разных направлениях. В русских землях происходил процесс политического объединения, в Золотоордынском ханстве наблюдался постепенный упадок центральной власти, усиливались смуты. Орда уже не могла надолго выбрасывать на Русь крупные военные силы, которые поглощались во время внутренних междоусобий среди татарской феодальной знати. Как раз в тот момент, когда Едигей готовился к длительной осаде Москвы, весть из Орды заставила его подняться и быстро уйти туда.

Московские правители извлекли уроки из событий 1382 г. Правда, московский великий князь и в 1408 г. (так же как в 1382 г.) не проявил инициативы и энергии в деле обороны города и уехал в Кострому. Но в Москве он оставил других князей, которые и должны были взять на себя организацию ее защиты. Очевидно, активные действия народных масс в 1382 г., принявшие характер национально-освободительного движения, испугали представителей господствующего класса и заставили их в 1408 г. не упускать из своих рук власти в Москве.

Может быть, в силу определенной политической тенденции, присущей представителям феодального лагеря, в летописном рассказе о нашествии Едигея не показана деятельность народа. О нем говорится только в связи с понесенными им бедствиями. Летописи по большей части молчат о том сопротивлении, которое народ оказывал захватчику. А раз Едигей, несмотря на то что в его распоряжении была большая военная сила, отказался от мысли быстро завладеть Москвой, раз он послал в Тверь за самострелами, тюфяками и пушками, значит, русский народ сопротивлялся и притом весьма упорно. Но летописи на этот раз (в противоположность повестям о нашествии Тохтамыша) нарочито подчеркивают руководство обороной со стороны князей и молчат о народе.

Повесть особого типа о нашествии на Русь Едигея сохранилась в составе Тверского сборника[1]. Отличие данной повести от только что рассмотренной заключается главным образом в том, что она очень мало внимания уделяет осаде татарами Москвы, а преимущественно говорит об их действиях в других областях Руси. Это нельзя объяснить неосведомленностью автора повести относительно московских событий. Нет, он, очевидно, обладал какими-то источниками, по которым мог судить о том, что происходило в пределах Москвы. Так, например, он приводит список бояр (отсутствующий в других летописях), находившихся в Москве, когда к ней подступил Едигей с татарскими воинами. Очевидно, недостаточный интерес повести к московским происшествиям следует объяснять не тем, что ее автор мало знал о них, а тем, что круг его интересов выходил за пределы Московского княжества. Для автора данного варианта повести наступление Едигея на Москву представляет собой лишь один эпизод в длинной цепи бед, которыми сопровождалось для русского народа татарское нашествие на Русь в 1408 г. В повести подчеркнуто, что вступление на Русскую землю полчищ, приведенных Едигеем,— это общерусское бедствие («се же зло сътворися грех ради наших над людми рускыми и над народом христианскым»), а борьба с захватчиками является общенациональным делом. Руководствуясь этой точкой зрения, повесть уделяет наступлению на Москву ордынских военных сил столько же места, сколько их нападениям на другие русские города.

Как будто, на первый взгляд, все это свидетельствует о широте политического кругозора автора, борца за общерусские интересы. Но это только на первый взгляд. В действительности же скорее можно говорить о его известном провинциализме, о неумении выделить главное в цепи наблюдаемых явлений, дать им глубокую политическую оценку, об отсутствии у него правильной исторической перспективы. В силу всех этих причин осталась неосвещенной роль Москвы во время нашествия Едигея, о которой в повести рассказывается как об одном из пострадавших русских городов, а не как об общерусском политическом центре.

Если учитывать, что разбираемая повесть дошла до нас через тверской летописный свод, то можно думать, что она составлена где-то в пределах Тверского княжества. Поэтому ее автор, выступая, по его словам, защитником интересов всей Руси, воспринимает эти интересы через узкую призму, отражающую взгляды местных, тверских феодалов. Чувствуется в повести и прямая неприязнь к Московскому княжеству, выразившаяся, например, в том, что осталось совсем не упомянутым имя московского великого князя Василия Дмитриевича. Не случайно, по-видимому, пропущено в повести указание на обращение Едигея за военной помощью к великому князю тверскому Ивану Михайловичу. Надо думать, автору не было приятно предавать гласности двойственную пози-

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 482—484.

цию, занятую его князем, не желавшим портить отношений ни с Едигеем, ни с Василием I и поэтому лавировавшим и избегавшим прямолинейных действий.

Известная узость политического кругозора автора изучаемой повести сказалась и в том, что нашествие Едигея на Русь, а затем отступление от Москвы он рассматривает вне связи с международными отношениями, с внутренним положением Орды. Он не воспроизводит имеющийся в Ермолинской и других летописях эпизод с нападеним «некоего царевича» на ордынского хана Булата, который вызвал после этого к себе Едигея, а просто говорит, что господь избавил «град Москву... от иноплеменних» и потому Едигей, простояв три недели под городом, пошел прочь.

Но рассказ Тверского сборника ценен тем, что дает довольно детальную картину пути Едигея и рассредоточения по русским землям других татарских отрядов, действовавших одновременно с ним. Двигаясь к Москве, войска Едигея разорили Рязанскую землю, подожгли Коломну и взяли с ее жителей «окуп». Подойдя к Москве, Едигей распустил в разные места военные отряды, и они ринулись к Можайску, Звенигороду (эти города не фигурируют в Ермолинской и других летописях), Переяславлю, Ростову. Подробно описаны грабительские действия других татарских отрядов под Нижним Новгородом и Городцом (Городком). В этих действиях принимала участие мордва и «болгарская сила». Городец и Нижний Новгород бесчинствующие завоеватели подожгли, местные жители оттуда «побегоша кто куде», татары же «всеми путми гонишася вслед их, секуще люди акы траву». От Городца татарские полчища поднялись вверх по Волге, «воюючи обе стране» и намереваясь продвинуться к Костроме и Вологде. Но в Белгородце они получили приказ от Едигея «увернутися в Орду». Повернув обратно к Городцу и Нижнему Новгороду, татары повоевали урочища Уяды и Березово поле, «секучи остатка людей...» Население скрывалось в лесах, но грабители настигали его и там и избивали («и многа люди по лесом иссекоша»). Перейдя на Суру, завоеватели сожгли Курмыш и Сару Великую, сравняв с землей остатки последнего города («а град весь сожгоша, и место града того разориша...»).

Особое внимание в Тверском сборнике при описании бесчинств, учиненных ордынскими военными отрядами, обращено на уничтожение монастырей и церквей («...окаянии сироядци...монастыри и святыа церкви все то огневи предаша...»). Имеются также данные о резне стариков и малолетних и уводе в плен трудоспособной молодежи («а люди старыа и суща младенци иссекоша, а молодиа в полон поведоша»).

Так огнем и мечом прошлись завоеватели, оставив позади себя пылающие города и села, землю, усеянную трупами, немногих уцелевших мирных жителей, скитавшихся по лесам. Об этом ярко и образно рассказал автор повести, имеющейся в составе Тверского сборника. Если его анализ событий 1408 г. страдает известной односторонностью, то его конкретные зарисовки запоминаются и во

многом говорят сами за себя, оставляя впечатление страшного погрома, произведенного Ордой.

В противоположность Тверскому сборнику повесть о разорении Русской земли во время похода Едигея, включенная в Симеоновскую летопись и Рогожский летописец[1], интересна попыткой глубоко осмыслить в свете международной обстановки того времени все, что обрушилось на русских людей в 1408 г. Эта повесть отличается острой публицистичностью, эмоциональностью и обличительным тоном в отношении русских князей и прежде всего московского великого князя Василия Дмитриевича. Его политика представляется автору неправильной, хотя он относится с уважением к княжескому сану, является поборником сильной княжеской власти и действия князя, которым не сочувствует, объясняет влиянием неопытных советников. Осуждение Василия I (суровое по существу, но облеченное в корректную форму назидания не слушаться плохих советов) производится, на мой взгляд, с позиций той части феодалов, которая выдвигала перед Русью задачи внешней политики по возможности мирной, но предусмотрительной, отвечающей общенациональным интересам, сводящейся к мероприятиям, обеспечивающим целость русских земель от татарских нападений и поползновений Литвы и не допускающей в этом отношении компромиссов, сделок с ордынскими ханами и польско-литовскими панами. Подобная политика, согласно взглядам автора повести, связана с потребностями объединения Руси. Но это политическое единство мыслится в несколько консервативной форме союза русских княжеств под главенством великого князя владимирского.

В указанной повести о нашествии Едигея, которая помещена в Симеоновской летописи и Рогожском летописце, дается прежде всего анализ политики Золотой орды в отношении Руси и высказываются некоторые соображения о внешнеполитическом курсе, которого должны в свою очередь держаться русские князья, имея дело с ордынскими ханами. Интересно и то, что в повести разбираются и оцениваются различные взгляды на желательный характер русско-ордынских взаимоотношений, высказывавшиеся разными группами русских феодалов.

В повести настойчиво проводится мысль о том, что, как показал опыт истории, нельзя доверять мирным предложениям татаро-монгольских ханов. Они не бывают искренни: «...изначала безаконии измаилтяне лукавен мир счиниша с русскими князми нашими...» Оказывая русским князьям почести, преподнося им дары, уверяя их в своем намерении поддерживать с ними постоянный мир, ордынские правители тем самым пытаются замаскировать свои враждебные Руси замыслы. «Никогда же бо истинну глаголють к христианом», но «лестно и злоковарно честьми окладають князей наших и дары украшають, и тем злохитрьство свое потаають, и мир глубок обещавають имети с князми нашими...»

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 155—159; т XV, вып. 1, стр. 177—186.

В качестве одного из методов политики Золотой орды повесть отмечает стремление посеять рознь среди русских князей, ослабить этим Русь и усилиться за ее счет. «...И таковым пронырьством ближняа от любве разлучають, и усобную рать межи нас съставляють, и в тои разности нашеи сами в таине покрадають нас...»

Автор повести подчеркивает, что укрепление политического могущества Руси особенно побуждало Орду к враждебным действиям против нее. Поэтому, внешне сохраняя с русскими князьями мирные отношения, татаро-монгольские правители готовились при удобном случае нанести ей удар в спину. «...Завистию поджигаеми бывахуть, не трпяхуть зрети исполнениа земля Русскиа и благовременьства христианьска, многажды покушашеся приити разорити таковыа красоты величества и славу отторгнути христоименитых людеи, того ради с князми нашими лукавен мир съставиша».

На основе анализа методов ордынской политики автор рассматриваемой повести делает вывод: русским князьям, имея дело с татаро-монгольскими ханами, необходимо быть особенно осторожными и бдительными. Враг готов использовать любой промах, например ненужную доверчивость, и, улучив наиболее подходящий момент, причинить вред Руси. «Безаконии бо агаряне волчески всегда подкрадают нас, злохитрено мируют с нами, да неколи князи наши, надеющися целыя любви от них, бестражии будуть, да они губительно время обретше, место злаго желаниа получать».

Нельзя, мне кажется, не отметить, что в изучаемой повести о нашествии Едигея мы находим довольно вдумчивый и верный разбор русско-ордынских отношений. Он основан на обобщении большого исторического опыта и содержит ряд практических советов русским князьям, как поступать, чтобы не быть застигнутыми врасплох татарами. Рассуждения автора исходят из мысли о том, что Орда еще сильна, что не следует недооценивать ее опасности для Руси, что надо быть все время на страже. В то же время автор чувствует возрастающую силу Руси, и именно боязнью этого роста объясняет все те коварные замыслы и хитрости, на которые идут ордынские правители, чтобы помешать дальнейшему усилению русских земель. Русским князьям надо быть не только воинами, защищающими свое отечество в открытом бою, но и дипломатами, достаточно умными, чтобы не доверять врагу, и достаточно тонкими, чтобы разгадать его намерения и не дать им осуществиться.

С точки зрения высказанных им положений о методах ордынской политики и дипломатии, автор разбираемой повести подходит к оценке нашествия Едигея. Последний в своих сношениях с великим московским князем Василием I применял испытанный прием ордынских ханов—«злохитреную любовь», т. е., питая к московскому князю вражду, внешне воздавал ему все почести, обменивался с ним послами, соблюдал все правила дипломатического этикета и как будто поддерживал с Русью прочный мир. «...И честью высокою обложи его и дары многыми почиташе и, и под всеми еще сими и сына его собе именоваше любимаго, и некая много обещавая ему,

и бывающая от Василиа послы с честию отпущаше, и мир глубоко злохитро поставляше к Васильеви».

Взаимоотношения Орды и Руси выступают в этом описании не в форме взаимоотношений государства-завоевателя к государству побежденному, а в форме союзно-договорных связей между двумя самостоятельными политическими образованиями, главенствующую роль среди которых, правда, занимает еще Орда (отсюда квалификация Едигеем Василия I как «сына»). Очевидно, к подобной международной системе стремилась Русь после Куликовской битвы, и этот политический идеал временами, казалось, был близок к осуществлению. Автор изучаемой повести о походе Едигея предупреждает русских князей, что нельзя принимать за чистую монету уверения со стороны татарских ханов в том, что они желают поддерживать такого рода систему русско-ордынских отношений. Нашествие Едигея—это серьезное предупреждение правителям русских земель, своеобразный урок бдительности.

Ордынский вопрос автор разбираемого варианта повести о Едигее решает в связи с вопросом литовским. Он останавливается на осложнениях, которые были у Василия I с литовским великим князем Витовтом в первом десятилетии XV в., и указывает, что этими осложнениями пытался воспользоваться Едигей для того, чтобы столкнуть между собой Русь и Литву («поостри их») и обескровить обе страны. Обещая военную помощь Василию I и в то же время уверяя в своем дружелюбии Витовта, Едигей рассчитывал, что из войны друг с другом оба выйдут истощенными, а если дело до войны и не дойдет, то уже подготовка к ней дорого обойдется и русскому и литовскому народам. «И тако съплетаа», Едигей «вражду положи межи има (Василием I и Витовтом), сетно помышляа, да они рать счинивше, воя си погубять, аще ли не ключится брань межи има, да поне збираючися и воюючися и разно расходячеся, всяко трудни будуть».

Московского великого князя Василия I автор рассматриваемой повести упрекает в том, что он, поддавшись увещаниям части своих советников, принял военную помощь от Едигея и тем самым вступил в плохую игру. Автор повести подвергает анализу ряд конкретных эпизодов русско-литовской войны второй половины первого десятилетия XV в. (военные действия на реках Плаве, Угре) и приходит к выводу, что Русь могла бы избежать многих осложнений с Литвой, если бы Василий I меньше слушался Едигея, действовавшего путем интриг («тацеми свадами»). Разницу между внешнеполитическим курсом Руси и Орды повесть видит в том, что первая стремится к миру («...яко Русь не желателни суть на кровопролитье, но суть миролюбци, ожидающе правды...»), вторая—к разжиганию войны («окаанный Едигей»—это «ратолюбець»). Орда своей политикой, доверчиво принятой Василием I за благожелательную к Руси, ввергла русский народ в войну.

Автор приводит две точки зрения на русско-ордынские отношения: «старых» бояр (сторонником которых он является) и бояр

«юных» (которых он осуждает). «Старци» предупреждали Василия, что, поддаваясь влиянию своих «юных» советников, он действует неблагоразумно. В качестве одного из аргументов при этом для них служил пример древнерусских князей, приводивших в русские земли во время своих междоусобий половцев, которые причинили много зла русскому народу. «Добра ли се будеть дума юных наших бояр, иже приведоша половець на помощь? Не сихь ради преже Киеву и Чернигову беды прилучишася, иже имеюще брань межи собою, подимающе половци на помощь, наважаху брат на брата...?»

Вред от наемных татарских отрядов «старци» (а вслед за ними автор подлежащей анализу повести) видят в том, во-первых, что им приходится платить деньги, которые утекают из пределов Руси («...наимуюче их, сребро издааша из земля своея»). Во-вторых, впуская в Русскую землю татар, князья дают им возможность ознакомиться с состоянием своих военных сил («к сему же да еще видять татарове наряд рускии»), а полученные сведения могут быть использованы в дальнейшем при татарском нападении на Русь во зло ей («да не будуть ли си на пакость земли нашеи на прочая дни, егда измавльтѐ, усмотривша нашея земля, на ны приидуть?»). Собственно говоря, ведь это и случилось при Едигее («якоже и сбысться»), говорит автор.

Итак, автор повести, излагающий взгляды «старых» бояр, является решительным противником каких-либо сговоров с Ордой. Он—сторонник поддержания с ней мира, но при условии сохранения постоянной настороженности к ее происка м в области дипломатической и принятия мер предосторожности от нее в области военной.

Какова позиция автора по вопросу о русско-литовских отношениях? В общем эта позиция близка к его взглядам на взаимоотношения русско-ордынские. Он выступает против использования вражды между литовскими князьями и привлечения ряда их на русскую службу с наделением большим количеством владений. Так, отражая мнение «старцев», автор не одобряет передачи ряда русских городов литовскому князю Свидригайлу Ольгердовичу, католику по вероисповеданию («...лях бе верою»), стороннику Василия I в борьбе с Витовтом. «Старци» порицали подобную политику московского правительства («сего же... не похвалиша»), приводившую к усилению пришельцев за счет русских земель. И в данном случае опять-таки учитывался опыт истории, не знавшей якобы подобных мероприятий. «Может ли се добро быти, его же в дни наша несть бывало, ни от древних слышано, иже толико градов дати пришелцю князю в землю нашю...?» Литовско-польские войска кичились тем, что им предоставлен в держание Владимир—политический центр Руси («...величаве дръжаще град пречистыа богоматере...»), но во время прихода в русские земли Едигея они обнаружили трусость, вели себя не как храбрые воины, оказались способными лишь на бегство перед лицом неприятеля («мужественыа их лысты токмо на бег силу показаша...»).

Итак, речь должна идти о мире с Литвой и о том, чтобы опасаться передавать литовским князьям русские земли, поскольку такая передача может поставить под угрозу целостность русской территории. Но автор не выдвигает программы активной внешней политики в отношении Великого княжества Литовского в целях воссоединения русских земель. Он лишь глухо говорит, что, поскольку Витовт владел «всею землею Киевскою и Литовскою», между ним и Василием I возникали недоразумения «некиих ради земских вещей, якоже обычаи бе землям» (т. е., по-видимому, в силу различия обычаев, господствовавших на территориях, населенных русскими, с одной стороны, литовцами—с другой).

Подводя итоги, можно сказать, что задачи внешней политики, отвечающей русским национальным интересам, часть господствующего класса («старых» бояр) видела в сохранении целостности и безопасности наличных русских территориальных владений, не выдвигая широких наступательных целей. Эта политическая линия отличается сравнительной умеренностью. В чем заключалась внешнеполитическая программа «юных» бояр (которую проводил московский великий князь), сказать трудно, так как в повести она, будучи подвергаема критике, не излагается позитивно. Но, очевидно, этот второй внешнеполитический курс (квалифицируемый «старцами» как политический авантюризм) отличался большей активностью и стремлением к наступательным действиям, проводимым с учетом международных противоречий; попыткой использования внутренних междоусобий в Орде и Литве, с тем чтобы опереться на какую-либо из борющихся групп и подчинить ее линию поведения интересам Руси.

Расхождения между «старыми» и «юными» боярами были, по-видимому, и в области внутренней политики, хотя здесь они выступают менее отчетливо. Автор рассматриваемой повести, идеолог «старцев», поддерживает идею политического единства Руси. Он говорит о единой «земле Русской», о «Русской хоругви». Василия I он называет «самодержцем», а «Русскую землю» его «державой». Но «великое княжение Московское»—это, по мнению автора, лишь часть Русской «державы». Политическим ее центром является «многославный Владимир», «еже есть стол земля Русскыа...». Город Владимир-на-Клязьме, как когда-то древний Киев, выступает в глазах автора повести как «мати градом». Там происходит венчание на великое княжение тех из князей, кому принадлежит это право («...князи велиции русстии первоседание и стол земля Русскыя приемлють, иже великии князь всеа наименовается, ту бо первую честь приемлеть»). Таким образом, политический идеал автора повести, высказывающегося от имени «старых» бояр, сводится к представлению о единстве Руси как системе русских княжеств, находящихся под главенством великого князя владимирского, получающего этот титул независимо от ханского пожалования и поэтому выступающего в качестве «самодержца». Подобное представление о великом владимирском княжении могло создаться лишь после

Куликовской битвы, ибо оно является показателем возрастающего стремления Руси к независимости от Орды,— и в этом его прогрессивность. Но в то же время идея великого владимирского княжения, переходящего к определенному представителю княжеского рода в силу принадлежащей ему «чести» (обычно в силу старейшинства), для первой половины XV в. уже явно становилась консервативной. Политическая идеология формирующегося единого государства, центром которого стала Москва, исходила из представления о вотчинном характере великокняжеской власти, передаваемой по наследству. Этот политический принцип, впервые сформулированный Дмитрием Донским в духовной грамоте 1389 г., очевидно, разделялся «юными» боярами. Что касается системы взаимоотношения между отдельными русскими землями, то полноправность (хотя бы в идее) их союза под главенством великого князя владимирского все более превращалась в подчинение Московскому княжеству. К этому, очевидно, и стремились «юные» бояре.

Характер взаимоотношений боярства с великим князем и отношений бояр между собой «старци» мыслили на основе, во-первых, сохранения в среде господствующего класса иерархической зависимости (системы «чинов»), во-вторых, на основе принадлежащих представителям высших разрядов феодальной иерархии прав критиковать действия князя. Младшие по «чину» не должны самостоятельно решать государственные вопросы, обходя мнение более опытных лиц. «Юнии старцев да почитють и сами едини без искуснейших старцев всякого земского правления да не самочиннуют, ибо красота граду есть старчество...»,— читаем в повести об Едигее. Ее автор недоволен тем, что «юные» бояре, забывая о своем «чине», берут на себя смелость судить о государственных делах: «...юнии съвещавахут о всем, тем и многа в них не в чин строения бывахуть». В то же время автор изучаемой повести призывает князей («властодержець») прислушиваться к советам «старцев» («таковым вещем да внимають»). В качестве примера им приводятся киевские князья («первии наши властодръжци»), не запрещавшие говорить о себе и хорошее и плохое («...без гнева повелевающе вся добрая и недобрая прилучившаяся написовати...»).

Подобный идеал политической жизни, выставленный публицистом из лагеря «старцев», в принципе вряд ли мог вызвать возражения со стороны великих князей или «юных» бояр, ибо в нем не было чего-либо, отступающего от привычных порядков феодального общества этого времени. Но дело было, по-видимому, в том, что московские князья, проводя свою объединительную политику, на практике все в большей мере выдвигали на передовые политические позиции широкие круги землевладельцев, оттеснявших на задний план старую боярскую знать, и сами действовали все более самостоятельно, не считаясь с мнением последней. Это и вызывало оппозицию со стороны части боярства, голос которого слышен в повести о нашествии Едигея, помещенной в Симеоновской летописи и Рогожском летописце.

Полезно несколько вдуматься в то содержание, которое вкладывается в термины «старые» и «юные» бояре повестью об Едигее. В известной мере эти термины имеют книжное происхождение, поскольку автор в качестве литературного образца для своего рассуждения взял «Повесть временных лет», в которой говорится о соперничестве «старых» и «юных» дружинников во времена киевского князя Всеволода Ярославича (вторая половина XI в.). Но эти книжные понятия как-то преломляются в политическом сознании автора применительно к текущей действительности. Как же именно? Имеются ли, например, в виду специально московские бояре? Думаю, что нет. Хотя в поле зрения автора в первую очередь находится как раз Московское княжество, но в то же время он сам говорит, что политическое влияние в Москве оказалось в руках «юных» бояр потому, что «старых» там не оказалось («не бяшеть бо в то время на Москве бояр старых...»). Очевидно, автор говорит вообще о русском боярстве, а расхождения внутри него выражают две программы (два возможных пути) политической централизации. Один, более консервативный,— это путь развития владимирского великого княжения, в составе которого объединяются (на началах соподчинения) отдельные русские княжества и которое ведет умеренную политику, отвечающую национальным интересам Руси, но претендующую не более, чем на сохранность и безопасность наличного комплекса северо-восточных русских земель, оторванных от земель юго-западных. Другой, более решительный,— это путь подчинения других русских земель Москве (объем территории, формы и степень этого подчинения вряд ли представлялись ясно) и активной внешней политики, достаточно гибкой, чтобы учитывать благоприятные для Руси комбинации в международной обстановке, и не стесняющейся в применяемых средствах, если речь шла о расширении территории, населенной восточными славянами.

Где и когда возник подвергаемый анализу вариант повести об Едигее? Вряд ли в Москве. Во-первых, автор говорит о Москве как о чем-то постороннем. Например: «не бяшеть бо в то время на Москве бояр старых». Или, рассказывая о передаче в держание литовскому князю Свидригайло Ольгердовичу города Владимира, автор с укором пишет: «И таковаго града не помиловавше москвичи, вдаша в одержание ляхов». Следовательно, сам себя он не причисляет к москвичам. Во-вторых, весь аспект повести—критический в отношении московского правительства. Осуждая московское правительство за то, что во время военных действий на реке Плаве против Литвы оно прибегло к татарской помощи, и проводя при этом параллель с поступками древнерусских князей, выставлявших друг против друга половцев, автор использует в качестве источника тверской свод. Специальное внимание к тверским делам, которое видно из упоминания в повести о разорении татарами Клинской волости, сделанного в несколько торжественном тоне («Тферскаго настолованиа дому святого Спаса взяша волость Клинскую...»), дает основание считать местом происхождения данного текста

Тверскую землю. Это объясняет и ее известный критицизм в отношении политики московского князя. Но надо сказать, что автор разбираемого текста по своему кругозору значительно шире автора повести на ту же тему, включенной в Тверской сборник. Он чужд настроений областнической изолированности, присущих последнему. Его суждения основаны на глубоком анализе политических отношений внутри господствующего класса всей Руси, а также и международной обстановки.

О времени создания интересующего нас литературного произведения прямых данных нет. Думаю, что, для того чтобы сделать выводы общеполитического характера на основе оценки последствий нашествия Едигея, нужен был известный срок. В то же время повесть написана тогда, когда власть Орды была еще вполне реально ощутимой, а вопрос о средствах борьбы с ней весьма актуальным. Вернее всего, памятник относится примерно к середине XV в. Как раз феодальная война второй четверти XV в. со всей остротой поставила вопрос о путях политической централизации, а этой проблеме по существу и посвящены рассуждения автора анализируемой повести.

Я уже указывал на публицистичность данного варианта повести об Едигее. Она построена в полемическом тоне. Автор, не называя по имени своих оппонентов (ибо, очевидно, он имел в виду не отдельных лиц, а целое политическое направление), говорит, что многим не понравится им написанное, но он вовсе не хочет наносить урон чьей либо чести, а стремится лишь быть правдивым в своем описании и оценках. «И сиа вся написанная, аще и не лепо кому зреться, иже толико от случившихся в нашеи земле неговеине нам изъглаголавшем: мы бо ни досажающи, ни завидяще чести вашеи, и таковая вчинихом...»

Другая характерная черта повести (наряду с публицистичностью)—это ее историзм, выражающийся в попытке осмыслить и оценить события XV в. с точки зрения того поучительного материала, который можно извлечь из произведений, освещающих прошлое Руси. Высказывая свои суждения по поводу политики князей и настроений бояр XV в., автор прямо ссылается на пример «началнаго летословца (летописца) Киевскаго», не стеснявшегося излагать свои мнения о современной ему действительности («иже вся временнобогатства земская не обинуяся показуеть»). В изучаемом тексте упомянуто имя редактора Повести временных лет «великаго Селивестра Выдобожскаго» (Выдубицкого), писавшего не приукрашивая истории («не украшая пишущаго»). Конечно, отсутствие бесстрастности, отличающее рассматриваемую нами повесть, вовсе не служит признаком ее беспристрастности. Она в достаточной мере политически зострена и цристрастна, что и делает ее таким злободневным для своего времени документом.

Обращение публицистик исередины XV в. к историческим памятникам времени древнерусского государства, как назидательному материалу, является показателем того, что шел процесс политиче-

ского объединения Руси, и идеологи разных общественных групп по-своему осмысливали его на опыте прошлого.

В некоторых летописях (Новгородской четвертой) помещен литературно обработанный ярлык Едигея Василию I, посланный после его отступления и объясняющий причины недавнего татаро-монгольского похода на Русь. Ярлык этот излагает претензии Едигея к великому князю. На Руси были задержаны дети хана Тохтамыша. Приходившие в Русскую землю ордынские послы и торговцы не встречали должного приема, им не оказывалась соответствующая честь, они испытывали притеснения («... торговци и послы царевы приездять, и вы царевых послов на смех поднимаете, а торговцев такоже на смех поднимаете, да велика им истома чинится оу тебе, и то не добро...»). Московский великий князь Василий I не ездил на поклон в Орду уже к трем последовательно сменившимся там ханам (Темир-Кутлую, Шадибеку, Булату) и не посылал ордынским властям «выхода», жалуясь на истощение русского населения («А како к нам ежелет шлешь жалобы и жалобныи грамоты, а ркоучи тако, что «ся оулоус истомил, и выходы взяти не на чемь?»,.. то еси нам все лгал»).

Таким образом, ясно, что к началу XV в. власть Орды над русскими землями значительно ослабела, временами носила номинальный характер, и Едигей хотел добиться силой восстановления русско-ордынских отношений в том виде, какой они имели до Куликовской битвы. В ярлыке Василию I он рисует тот политический идеал (с точки зрения Орды), который нарушен в результате усиления Руси и роста ее самостоятельности: «а преже сего оулоус был и сдержавоу дръжал да и пошлину, иных царевых послов чтил, и гостей держали без истомы и без обиды». Русские княжества ранее представляли собой «улус» (владение) ордынских ханов, русские князья подчинялись ханским послам, не препятствовали свободной торговле ордынских гостей. Такие порядки, по словам Едигея,— «добро» и для Орды и для Руси, а их нарушение—это «пакость» для обеих сторон.

Есть еще один интересный момент в ярлыке Едигея—это содержащиеся в нем упреки Василию I в том, что он поддается воздействию дурных советников и поэтому нарушает «добрые» отношения с ордынскими правителями. Едигей, так же как автор повести, включенной в Симеоновскую летопись и Рогожский летописец, советует Василию I прислушиваться к голосу «старцев». Только ярлык приписывает «старцам» совершенно иные настроения и мысли, чем указанная повесть. По ярлыку, «старцы»—это сторонники соблюдения русскими князьями всех обязательств в отношени ордынских ханов как своих властителей. Представителем бояр, защищавших подобную политику, назван Федор Кошка, при котором «добры нравы и добраа дела и добраа доума к Орде была»[1]. Сторонником другого политического курса, тянущего к разрыву с Ордой, Едигей считает сына

[1] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 406—407.

Федора Кошки—Ивана Федоровича: его «доума не добра», но московский великий князь полностью поддался его влиянию («и ты нынеча ис того слова и думы не выступаешь»).

Едигей дает Василию I совет—собрать «своих бояр старейшин» и «многих старцев земьских» (может быть, городскую аристократию) и решить с ними, как поступать, чтобы сохранить хорошие отношения с Ордой («доумал бы еси с ними добрую доуму, какаа пошлина добро...»). Если же великий московский князь будет продолжать действовать по-своему («осваиватися»), то ему нельзя, читаем в ярлыке, возглавлять улус, подчиненный ордынским ханам («...како ти во оулусе семь княжити?»). Последнее звучит уже как прямая угроза со стороны ордынского властителя свергнуть Василия I с великокняжеского стола. Такую же угрозу представляет имеющееся в ярлыке предостережение великому князю о том, что если он не будет поступать по указанию ордынских правителей, то навлечет этим беды на русский народ («чтобы твоим крестьяном многым и великим в твоей дрьжаве не погибли бы до конца»). Ясно, что, уходя, Едигей не оставлял мысли о новом походе на Русь.

При чтении ярлыка Едигея остается впечатление о его достаточной осведомленности в русских делах, о его знакомстве с взглядами и политической ориентацией различных групп боярства. Конечно, в этом нельзя видеть только отвлеченный интерес ордынских правителей к политическим взаимоотношениям на Руси. Они не просто знакомились с тем, что́ думали, говорили, ка́к поступали при различной внешнеполитической ситуации те или иные представители господствующего класса. Они старались формировать их мировоззрение, воздействовать на их поведение. Ярлык Едигея и был одним из документов, посредством которых выходцами из Орды производилась активная пропаганда среди правящих кругов Руси соответствующей программы русско-ордынских отношений.

Имеются все основания полагать, что повесть о татарском нашествии 1408 г., помещенная в Симеоновской летописи и Рогожском летописце, явилась ответом на ярлык Едигея. Отсюда ее взволнованный полемический тон. Автор стремится прежде всего доказать весь вред такой политики, при которой ордынским выходцам предоставляются слишком большие возможности знакомиться с тем, что делается на Руси. И с этой точки зрения он критикует поведение Василия I, которого Едигей обвиняет в другом—в нежелании выполнять предписания Орды. Следовательно, автор хочет сказать, что даже тот внешнеполитический курс московского правительства, который не удовлетворяет ордынских властей, еще недостаточно служит национальным интересам Руси.

Утверждению Едигея, что «старцы» являются сторонниками удовлетворения ордынских требований (утверждению, основанному на обобщении отдельных, может быть, и реальных фактов), автор повести, помещенной в Симеоновской летописи и Рогожском летописце, противопоставляет свою точку зрения. Она сводится к тому, что традиционная, исторически сложившаяся, восходящая

к киевским временам, линия старого русского боярства заключается в осуждении политики сотрудничества Руси с завоевателями, вторгавшимися из Азии (в том числе и с татаро-монгольскими захватчиками).

В провозглашении указанных выше идей заключается патриотизм разбираемой повести при всей ограниченности мировоззрения ее автора (даже с точки зрения требований своего времени и своего класса).

Рассказ о нашествии Едигея на Русь, помещенный в Ермолинской, Львовской, Софийской второй, Типографской летописях, подвергся некоторой переработке в Воскресенской летописи (в соответствии с Московским сводом конца XVв.). Прежде всего еще более выпукло представлены ужасы, причиненные Руси татарскими полчищами. Множество народа было «иссечено» татарами. Они убивали детей на глазах у их родителей. Отступая, грабители захватили с собой громадное количество «полона» и «всякого товара». В татарском плену русские люди гибли от холода и голода[1].

Нельзя сказать, что Воскресенская летопись обогатила наше представление о тяжелых для Руси результатах татарского нашествия 1408 г. каким-либо новым конкретным материалом, отсутствующим в летописях, ранее рассмотренных. Впечатление о страшном погроме, учиненном татаро-монгольскими войсками, получается в результате главным образом литературной обработки сухого и лаконичного материала Ермолинской летописи и других вышеуказанных сводов. При этом литературные приемы, к которым прибегает составитель, действуя на воображение читателя, художественные образы, которые он дает в тексте, довольно стандартны и повторяются в других памятниках книжной письменности. Поэтому картина разорения Руси, нарисованная в Воскресенской летописи, для истории интересна не с точки зрения отражения реальных деталей этого времени. Она представляет интерес, во-первых, потому, что раз составитель изучаемой повести использовал весь арсенал изобразительных средств (пусть трафаретных и лишенных непосредственности восприятия), чтобы воспроизвести жуткие последствия прихода Едигея в русские земли, значит в народном сознании этот приход надолго запечатлелся как событие, связанное со страшным бедствием для Руси. И таким оно было на самом деле. Очевидно, и литературный шаблон может стать средством познания реальной действительности. Во-вторых, текст Воскресенской летописи важен для нас, поскольку он позволяет судить об отношении книжников второй половины XV в. к татаро-монгольскому игу (уже накануне его падения) как к политическому злу.

В связи с этим необходимо отметить еще одну политическую тенденцию, которая имеется в Воскресенской летописи. Это представление о необходимости борьбы с татаро-монгольскими захватчиками как о деле общенационального значения. Воскресенская

[1] ПСРЛ, т. VIII, стр. 82—84; т. XXV, стр. 238—239.

летопись подчеркивает, что от татарских набегов страдает все население, независимо от сословной принадлежности или от степени состоятельности. Нашествие Едигея причинило «напасти и убытки всем человеком.., и болшим и меншим, и ближним и далним, и не бысть такова, иже бы без убытка был». Поэтому летопись старается доказать, что и на борьбу с Едигеем поднялся весь народ. Когда татарские войска осадили Москву, то там скопились «мнози бояре... и епископи, и весь священнический чин, и многое множество народа многочислено...»

То, что Воскресенская летопись заостряет внимание на общенациональном подъеме, имевшем место в 1408 г. и содействовавшем успешной обороне Москвы от татарских полчищ, является показателем политических настроений, господствующих среди передовой части феодалов второй половины XV в., настаивавших на активной политике в отношении Орды в целях освобождения Руси от татаро-монгольского ига. Нельзя назвать искажением исторической перспективы и освещение летописцем с точки зрения этих настроений событий освободительной борьбы 1408 г. Несомненно, и в это время в антиордынское движение втягивались разные категории населения. Но в то же время летописец, рисуя картину обороны Москвы в 1408 г., явно допускает известную социальную нивелировку и тем самым, сознательно или бессознательно, снижает роль, которую сыграли в защите города народные массы.

Наконец, следует остановиться на церковно-религиозной направленности повести о нашествии Едигея в том варианте, который помещен в Воскресенской летописи. Избавление Москвы от грозившей ей опасности со стороны Едигея объясняется здесь чудесным заступничеством за москвичей перед богом «новаго чюдотворца русскаго»—митрополита Петра. 20 декабря, когда Едигей отступил от Москвы,—это день празднования памяти Петра. Фигура «новаго чюдотворца русскаго» приобретает в повести известное символическое значение. Он еще при жизни «превозлюби град свой [Москву] паче всех град», здесь находится его гробница («в нем же и целбоносный гроб его бяше, имея честныя мощи его»), поэтому в 1408 г. молитва Петра спасла «люди и град от толикиа нужи и беды, належащаа на них».

Чуду защиты Москвы от ордынской опасности составитель повести об Едигее, включенной в Воскресенскую летопись, посвящает специальную концовку. Перед нами определенная политическая концепция, оценивающая с церковных позиций значение Москвы как средоточия шедшего объединения русских земель и пункта, возглавившего борьбу с татаро-монгольским игом. Политические успехи Москвы объясняются в повести тем, что она является церковным центром, местопребыванием русских митрополитов. Конечно, эта концепция играла известную положительную роль в деле идеологической пропаганды необходимости ликвидации раздробленности и свержения чужеземного владычества. Но объективно религиозно-церковная трактовка событий освободи-

тельной борьбы 1408 г. искажала характер участия в них «града» (Москвы) и «людий» (горожан—москвичей), ибо «град» рассматривался лишь как церковный центр, а «люди» как честные христиане, чудом избежавшие козней врага, а не как активные деятели оказанного ему сопротивления.

Думаю, что вопрос об общерусском значении Москвы выдвинут в Воскресенской летописи (а еще раньше в Московском своде) в противовес Симеоновской и Рогожской летописям, подчеркивавшим роль Владимира как политического и церковного средоточия Руси («в нем же и чюднаа великая православная съборная церкви пречистыа богоматере, еже есть похвала и слава по всеи вселеннеи живущим христианом, источник и корень нашего благочестиа...»). Об избавлении Москвы от татарского разорения во время нашествия Едигея в Симеоновской летописи и Рогожском летописце сказано довольно глухо («токмо един град богом храняше молитвами пречистыа его матери и животворивыа иконы ради и Петра архиепископа ради»)[1]. Московский свод и Воскресенская летопись, поднимая на щит Москву как национальный центр, тем самым выступали против проводившейся Симеоновской летописью и Рогожским летописцем концепции, согласно которой политическое единство Руси должно осуществиться в виде союза русских княжеств во главе с Владимиром. Основой политического объединения русских земель теперь объявлялось Московское княжество.

Повесть о нашествии Едигея, содержащаяся в Никоновской летописи[2], представляет собой позднейшую литературную обработку текстов, содержащихся в более ранних летописных сводах. Эта переработка интересна уже в плане изучения политических отношений и идеологии XVI в.

Из всего вышеизложенного видно, насколько всколыхнуло общественную мысль нашествие Едигея и насколько оно содействовало дальнейшему развитию освободительной борьбы русского народа против ордынского ига.

§ 10. Обострение классовой борьбы в конце первой четверти XV в. Предпосылки феодальной войны второй четверти XV в.

Конец XIV и первая четверть XV в. (время княжения Василия I) представляют собой важный этап в процессе формирования Русского централизованного государства. Государственный строй этого времени отличается известной противоречивостью. С одной стороны, была еще достаточно крепка политическая система, представляющая собой союз ряда княжеств Северо-Восточной Руси под эгидой великого князя владимирского. С другой стороны, эта система уже

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 157, 158.
[2] ПСРЛ, т. XI, стр. 205—211.

начинала расшатываться в связи с расширением территории Московского княжества и усилением московской великокняжеской власти, которая присвоила себе функции, ранее принадлежавшие правителям других русских земель.

Значительных усилий стоило московскому правительству удержать от себя в зависимости присоединенные к Москве княжества. Особенно это следует сказать относительно княжества Нижегородского.

Во время нашествия на Русь в 1408 г. Едигея последний, по-видимому, передал Нижегородское княжество сыновьям бывшего местного князя Бориса Константиновича—Даниилу и Ивану[1]. Они вели себя совсем по-разбойничьи. В 1410 г. Даниил Борисович послал русско-татарский военный отряд под предводительством боярина Семена Карамышева и татарского царевича Талыча к городу Владимиру. Участники этого военного набега произвели во Владимире полный погром. Посадское население было перебито и ограблено, церковное имущество расхищено. Грабители захватили золото, серебро, другие драгоценности, поделили между собой «мерками» деньги, а в конце концов подожгли город[2].

Однако в Нижегородском княжестве Даниил и Иван Борисовичи удержались недолго. В 1410 г. они, по-видимому, были вынуждены уйти в болгарские или мордовские пределы, откуда в 1411 г. снова направились в Нижегородскую землю, приведя с собой болгарских, жукотинских и мордовских князей. Василий I выслал против Даниила и Ивана войско под предводительством своего брата Петра Дмитриевича. Около села Лыскова произошло сражение. Результат его не очень ясен. По одной версии противники «разидошася кождо вь свояси»[3]. По другой—победили нижегородские князья: «сташа же на костех князи новогородьскыи Нижняго Новагорода»[4].

В 1411 г. Едигей был изгнан из Сарая. Ханский престол занял сын Тохтамыша Джелал-ад-дин (Зелени-салтан). К нему в Орду отправились великий князь тверской Иван Михайлович и его соперник князь Василий Михайлович кашинский. У нового хана побывали и нижегородские князья, вернувшиеся из Золотой орды «пожаловани от царя... своею их отчиною»[5]. Опасаясь, что поддержка ханом тверских и нижегородских князей, собравшихся в Орде, таит опасности для великокняжеской власти, в Орду совершил визит «со множьством богатства», предназначенного для хана, московский великий князь Василий Дмитриевич[6].

---

[1] *А. Н. Насонов*, Монголы и Русь, стр. 143.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 160.

[3] ПСРЛ, т. XV, стр. 486.

[4] ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 186. См. также т. VI, стр. 139; т. VIII. стр. 85; т. XI, стр. 215; т. XV, стр. 485; т. XX, стр. 228 — 229; т. XXIII, стр. 143.

[5] ПСРЛ т. XI, стр. 219.

[6] Там же.

Джелал-ад-дин скоро был убит своим братом Керим Бердеем. В Орде начались смуты. Это дало возможность Василию I снова захватить Нижний Новгород в свои руки, изгнав оттуда Даниила и Ивана Борисовичей. Восстановление власти московского правительства в Нижегородской земле было осуществлено путем посылки под Нижний Новгород великокняжеской рати во главе с братом Василия I—князем Юрием Дмитриевичем. Нижегородские князья Даниил и Иван Борисовичи, Иван Васильевич (сын Василия Дмитриевича Кирдяпы) и Василий Семенович (сын Семена Дмитриевича) бежали за реку Суру. Нижегородские бояре и черные люди «вышли с кресты» навстречу московскому войску. При этом князь Юрий «не сътвори зла ничто же Новугороду»[1]. Последнее известие очень глухо. Все же из него можно сделать два вывода. С одной стороны, среди нижегородского населения, вероятно, были противники московского правительства, которые ждали кары за свою поддержку нижегородских князей. Желая привлечь их на сторону Василия I, Юрий и не стал применять к ним репрессии. Но с другой стороны, торжественная встреча, оказанная князю Юрию не только боярами, но и черными людьми Нижегородской земли, дает право думать, что авантюрные действия последних нижегородских князей, втягивавших в борьбу с московским правительством за свои утраченные владения татарские полчища, разоряли трудовое население города и деревни. Поэтому московская великокняжеская власть, стремясь закрепить за собой Нижегородское княжество, могла использовать народный протест против грабежей, который творили татарские орды, призываемые нижегородскими феодалами.

В дальнейшем нижегородским князьям приходится искать убежища в Москве. Связь с Ордой уже не сулила им никаких политических выгод. Поэтому в 1416—1417 гг. в Москву приехали бывшие князья Нижегородской земли Иван и Даниил Борисовичи и Иван Васильевич. Несколько ранее в Москву прибыл сын Ивана Васильевича, Александр Иванович Брюхатый. Все эти бывшие «отчичи» Нижегородского княжества, по-видимому, рассчитывали вернуться в Нижний Новгород в качестве служебных князей Василия I. Но московский великий князь предполагал послать княжить в Нижегородскую землю своего сына Ивана Васильевича. Однако последний в 1417 г. умер. Тогда Василий I решил передать Нижегородское княжество Александру Ивановичу Брюхатому, женив его на своей дочери[2]. Формально Александр Иванович пользовался правами великого князя Нижегородской земли, но фактически, вероятно, признавал протекторат своего тестя. После смерти Александра Ивановича Нижний Новгород перешел в состав московских владений[3].

---

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 487.
[2] ПСРЛ, т. VIII, стр. 88—89; т. XI, стр. 231—232; т. XVIII, стр. 163.
[3] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 88—89.

* * *

Итак, в княжение Василия I были достигнуты определенные результаты в деле объединения земель Северо-Восточной Руси и укрепления московской великокняжеской власти. Тем более неожиданной кажется имеющаяся в его духовной 1425 г. фраза: «А даст бог сыну моему великое княжение, ино и яз сына своего благословляю, князя Василья»[1]. Чем объясняется такая неуверенность в судьбах великого княжения? Почему московский великий князь лишь в условной форме говорит о передаче великокняжеского стола своему сыну? В другой своей работе я попытался дать некоторые ответы на поставленные вопросы[2]. Сейчас же укажу, что, по-видимому, в конце княжения Василия I уже назревали предпосылки той длительной войны между различными группами класса феодалов, которая разразилась во второй четверти XV в. Эти предпосылки выразились: 1) в политической консолидации отдельных княжеств Северо-Восточной Руси, без решающей битвы между которыми не могло сложиться централизованное государство; 2) в сопротивлении удельных князей надвигающейся ломке удельной системы; 3) в усилении противоречий внутри господствующего класса (и его высшего слоя—боярства), отдельные группы которого по-разному понимали пути политического объединения Руси и государственной централизации. Сложной была при этом внешнеполитическая обстановка, в которой борющиеся группы русских феодалов прибегали к помощи иноземных захватчиков (татарских князей, литовских панов). Предпосылки большой феодальной войны на Руси назревали особенно интенсивно потому, что ко второй четверти XV в. снова обострились классовые противоречия на Руси, и это обстоятельство ставило перед господствующим классом задачу организации на новых началах системы властвования над народом.

Особенно интенсивной была классовая борьба в Новгороде. Наиболее крупное восстание произошло там в 1418 г.[3]

Ход восстания в Новгороде в 1418 г., описанный в различных новгородских летописях, представляется в следующем виде. «Человек некыи» Степан (Степанко) задержал боярина Даниила Ивановича Божина внука и при этом закричал, призывая других людей помочь ему расправиться с последним. Неясно, кто был этот Степанко. Возможно, боярский холоп (летопись Авраамки называет боярина Даниила Ивановича «господарем» Степанка), но вернее—горожанин, «черный» человек, ибо (как видно из летописей) к «черным людям» он обращается за помощью. Согласно Новгородской первой летописи, Степанко «изымаша боярина... держащи, вопия-

[1] ДДГ, стр. 61, № 22.

[2] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 91—92.

[3] Об этом восстании см. *А. А. Строков*, Восстание Степанки в 1418 г. («Новгородский исторический справочник», вып. III—IV, Новгород, 1938, стр. 86—108; *В. Н. Бернадский*, Новгород и Новгордская земля в XV веке, ч. I, стр. 178—209).

ше людем: а господо, пособите ми тако на злодея сего». В Новгородских третьей и четвертой летописях речь Степанка передана несколько иначе: «О друзи, пособьствуйте ми на злодеа сего». Выражения «а господо», «о друзи» в одинаковой мере свидетельствуют о том, что Степанко желал, чтобы над Даниилом Ивановичем был осуществлен народный вечевой суд.

Летописец неодобрительно относится к поступку Степанка, подчеркивая, что он действовал «научением дияволим». Из этого лаконичного определения допустимо сделать два вывода. Во-первых, мало вероятно, что Степанко, случайно встретив боярина Даниила Ивановича, решил свести с ним личные счеты, обратившись за поддержкой к незнакомым прохожим. Нет, по-видимому, у него было заранее задуманное намерение задержать этого боярина. Действовал он не один, а вместе с другими черными людьми, которые были его соучастниками, а не случайными встречными, которые выполняли решение какой-то корпорации горожан о расправе с Даниилом Ивановичем. Второе, что ясно из краткой реплики летописца и что подтверждается дальнейшим его подробным рассказом: выступление Степанка и его товарищей носило антифеодальный характер.

Суд над задержанным боярином летописи описывают по-разному. По Новгородской первой летописи, «людие» «влечаху его на вече». Из этого летописного выражения видно, что расправа над Даниилом Ивановичем была осуществлена в формах вечевого суда, причем это был суд действительно народный, вершенный по инициативе демократических слоев населения[1]. Характерно что если в ряде летописей говорится, что Даниил Иванович сначала был подвергнут в качестве наказания физическим увечьям, а затем сброшен в Волхов, то летопись Авраамки фиксирует свое внимание на бесчестье, которое испытал боярин, судимый «чернью» («...казниша его позоры людьскыми...»).

Очень важна оценка суда над Даниилом Ивановичем, которая содержится в Новгородской третьей, четвертой и других летописях. Относясь отрицательно к действиям народа, эти летописи, однако, отмечают, что дело наказанного боярина должно послужить уроком для всех тех власть имущих, кто притесняет народ («бяше же и се дивно, или на укорение богатым, обидящим убогиа, или казнь диавола...»). Участь Даниила Ивановича сравнивается с участью разбойника, «зло деюща людем много», или татя, достойного смерти. Тем самым раскрывается социальный смысл «усобицы межи крестьян» (как называет Софийская первая летопись события, связанные с арестом и наказанием боярина Даниила Ивановича). Речь явно идет о волнениях черных людей (в лице Степанка и его товарищей), предъявивших крупный счет феодальной аристократии (в лице ее могущественного представителя Даниила Ивановича).

О том, что задержание и предание суду Даниила Ивановича не было актом личной мести последнему со стороны Степанка, можно

[1] Об этом говорит в своей монографии и В. Н. Бернадский.

судить по летописному рассказу об обвинениях, предъявленных на суде боярину другим лицом—одной женщиной («женой некоей»). Она, «выскочив посреди сонмища», заявила, «яко обидима есмы им». Значит, на суде разбирались «обиды», нанесенные народу властным представителем новгородского патрициата. «Обиженных», вероятно, было много, и если летописец рассказал лишь об одном выступлении на вече, то, очевидно, потому, что это было выступление женщины весьма решительной, не ограничившейся жалобами, но принявшей участие в физической расправе с обвиняемым («жена некая.., отвергши женскую немощь, вземши мужскую крепость.., дасть ему раны...»).

Сброшенный в воду Даниил Иванович был спасен одним рыбником, «людином», который взял его в свой челн. Тогда народ, «възъярившись на того рыбника», «разграбил» его дом. Сам рыбник скрылся. Очевидно, народ придавал большое значение акту вечевой расправы с боярином Даниилом Ивановичем и поэтому карал тех, кто не хотел с этим актом считаться. Ясно, что дело было не только в данном боярине (хотя, он, по-видимому, весьма ожесточил против себя народ). Речь шла о праве черных людей судить на вече неугодных им представителей власти.

Но если народ боролся за такое право, то спасшийся от народного суда боярин расценивал подобный суд как бесправие и, выражая интересы новгородского патрициата, предпринял решительные действия к подавлению всяких проявлений самовластия черных людей. Рассматривая все происшедшее с ним как «урон боярской чести» («хотя бещестие свое мьстити»), Даниил Иванович арестовал Степанка и подверг его пыткам («...нача мучити»). Комментируя действия Даниила Ивановича, летописец приводит следующее изречение: «хотя вред ицелити, паче болшу язву въздвиже». Смысл этого изречения, по-моему, следующий: боярин, сурово наказав главного организатора суда над ним самим, хотел пресечь дальнейшие попытки черных людей прибегать к вечевому суду в целях осуществления расправы с представителями боярства, которыми они были недовольны. Но результат получился не тот, которого желал Даниил Иванович: социальная «язва» лишь обнажилась еще больше. Народ открыто выступил на борьбу со своими угнетателями. Началась новая фаза антифеодального новгородского восстания.

Летописи очень хорошо описывают народное возмущение, вызванное расправой Даниила Ивановича со Степанком. По звону вечевого колокола собралось на Ярославле дворе вече, на котором было вынесено решение подвергнуть разграблению двор боярина Даниила. «Слышав же народ, яко изиман бысть Степанко, начаша звонити на Ярославли дворе вече, и сбирахуся людии множество, кричаху, вопиюще по многы дни: поидем на оного боярина и дом его расхытим». Это был народный приговор боярину, не желавшему считаться с вечевым судом. Но еще раз следует повторить, что дело было не в одном Данииле Ивановиче. Он своими действиями выражал волю господствующего класса в целом. И народное

движение в защиту Степанка приняло широкие размеры и глубокую антифеодальную направленность.

Летописи подчеркивают остроту классовой борьбы и четко указывают на расстановку социальных сил во время восстания 1418 г.: с одной стороны, черные люди, с другой—бояре. «...Сташа чернь с одиноя стороны, а с другую боляре»,—читаем в Софийской первой летописи. «...Смутися всь град страхом вельимь и ужасомь, въста страна на страну ратнымь подобьемь, и бысть мятежь великь в граде...»—говорит летопись Авраамки.

Народные массы в доспехах двинулись с веча с Торговой стороны на Козьмодемьянскую и Яневу улицы, разграбили там дом боярина Даниила Ивановича и «иных дворов мъного». Жители Козьмодемьянской улицы (очевидно, бояре), устрашенные действиями восставших черных людей, согласились выдать Степанка (из этого сообщения летописи ясно, что в его задержании был виноват не один Даниил Иванович). Бояре освободили Степанка и просили архиепископа привести его «к собранию людску» и передать народу. Архиепископ выполнил это поручение, отправив Степанка с одним попом и со своим боярином к восставшим.

Однако волнения не только не прекратились, но приняли более широкие масштабы, перекинувшись на улицы Чудинцеву, Люгощу, Прусскую. Там также было разгромлено много «домов бояръских». Подвергся разгрому и Никольский монастырь, где находились «житнице боярьскыи». Восставшие рассматривали бояр как своих врагов-«супостатов».

На Прусской улице восставший народ встретил вооруженное сопротивление («пружене то начаша битися с ними, вооружившися стреляти»). Это еще больше обострило классовый антагонизм («и от того часа нача злоба множитися»). Возвратившись на Торговую сторону, народные массы начали готовиться к ответному наступлению на них со стороны феодальной знати, против которой было поднято восстание. Это был третий этап социального движения, на котором оно вылилось в настоящую гражданскую войну, в вооруженное столкновение классовых врагов. На Торговой стороне пронесся слух, что надо ждать выступления против ее жителей населения Софийской стороны («яко Софеиская страна хощеть въоружатися и домы наша грабити...»). Люди, жившие на обеих сторонах Новгорода, стали обряжаться в доспехи и стекаться к Волховскому мосту («и начаша людие сърыскивати с обою страну, акы на рать...»), где произошло серьезное сражение. Летописи рассказывают о нем как о схватке жителей двух городских сторон. Но в действительности это была битва между плебейскими кругами города и боярством. Те же летописи квалифицируют данную битву как «возмущение великое», и «лютую брань», и «усобное губительство», и «особную рать». Многие участники вооруженной схватки на Волховском мосту стали уносить имущество в церкви, очевидно, не столько боясь пожара от разыгравшейся в это время грозы, сколько спасая свое добро от своих классовых противников.

Сражение на Волховском мосту принимало все более напряженный характер. Ряд его участников был убит («беша же мертвии аки на рати»). Тогда в дело вмешались церковные власти. В Софийском соборе был отслужен молебен, целью которого было произвести определенное идеологическое воздействие на народ, заставить его сложить оружие. Затем на Волховской мост двинулся крестный ход во главе с архиепископом. Это произвело впечатление на население. «Богобоязнивыи люди» (в которых можно видеть и представителей господствующего класса, и неустойчивую часть черных людей) стали просить архиепископа, чтобы он уговорил разойтись столкнувшихся на Волховском мосту социальных противников («иди, господине, да уставит господь твоим благословением усобную рать»). В то же время раздавались слова: «да буде злоба си на зачинающих рать». Такие речи принадлежали, очевидно, тем представителям обоих социальных лагерей, которые не хотели мириться. Тут же на мосту архиепископ вошел в контакт с посадником Федором Тимофеевичем и «с иными посадникы и с тысячкыми» и по договоренности с ними послал специально выделенных для этого духовных лиц на Ярославов двор к степенному посаднику Василью Есифовичу и тысяцкому Кузьме Терентьевичу. Очевидно, новгородские власти, светские и духовные, договорились относительно того, какую позицию занять по отношению к восставшим черным людям. Было, по-видимому, решено создать специальную комиссию из бояр для разбора жалоб посадских людей. Так можно понимать слова посадника Василия Есиповича и тысяцкого Кузьмы Терентьевича, приведенные в Новгородских третьей и четвертой летописях: «да повелить святитель своеи стране в хоромы ити, а мы своеи братии, по твоему благословению, повестуем и повелеваем им отъити в жилища, и събравшимся по сем с нарочитыми мужи разсудити вещи сиа начало...» Значит, на Волховском мосту новгородские архиепископы, посадник и тысяцкие публично объявили народу, что их претензии будут рассмотрены. Восставшие поверили и разошлись[1].

Какие же именно вопросы должны были сделаться предметом рассмотрения новгородских нарочитых мужей, стоявших у власти? Думаю, что речь шла в первую очередь об организации суда, ибо, как мы видели, этот вопрос больше всего волновал восставших. По-видимому, после восстания 1418 г. боярский совет занялся пересмотром вопроса о новгородских судебных порядках, но потребовалось второе антифеодальное движение для того, чтобы разработанные «нарочитыми мужами» судебные установления были претворены в жизнь.

В 1421 г. два городских конца—Неревский и Словенский—подняли восстание против посадника Андрея Ивановича, вызванное тем, что он отнял землю у некоего Климентия Артемьина. Явившись

---

[1] НПЛ, стр. 408—411; ПСРЛ, т. III, стр. 136—138; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 420—425; т. V, стр. 260—261; т. XVI, стр. 168—170.

в доспехах, жители названных концов разграбили дворы посадника и других бояр и убили 20 посадничьих «людей»[1].

Под следующим, 1422 г. в новгородских летописях имеется лаконичное сообщение: «а новгородци целоваша крест за един брат»[2]. В другой своей работе я пытался доказать, что речь идет о принесенной новгородцами на вече присяге соблюдать составленную после восстаний 1418 и 1421 гг. одну из редакций Новгородской Судной грамоты. В этом памятнике были разработаны вопросы феодального судоустройства и судопроизводства, причем новгородское боярство, позаботившись о защите своих классовых позиций, вынуждено было в какой-то мере учесть и интересы черных людей[3].

Одновременно с социальными волнениями в Новгороде обострилась и классовая борьба в Пскове. Ее проявлением были еретические движения. Из грамот, посланных в Псков митрополитом Фотием в 1416—1427 гг., и из некоторых других источников видно, что в 20-х годах XV в. в Пскове опять действовали стригольники. В 1427 г. псковичи сообщили Фотию через посадника Федора о наказании стригольников («тех стриголников обыскали и показнили»). Некоторые еретики спаслись от «казни» бегством («инии ти стриголници побегали»). Митрополит рекомендовал светским и церковным властям Псковской республики и в дальнейшем применять к еретикам суровые репрессивные меры, не подвергая их только смертной казни: «...и казньми (толико не смертными, но внешнеми казньми и заточенми) приводяще тех, да будут в познание и обращения к богу, и никако да будут тие попущени в вас яко плевелы посреди пшеница»[4].

Характерно, что псковские еретики принимали участие в выступлениях гражданского населения против монастырей-феодалов. Так, в послании новгородского архиепископа Симеона в псковский Снетогорский монастырь 1417 г. говорится о чернцах, которые из «монастыря вышедше вон, да подъимають мирьскыя люди и мирьскыя судья на игумена и на старцев манастыря; и тыя мирьскыя судья и миряне да судят [монахов] мирьским обычаем, яко же лепо есть миряном»[5]. Здесь речь идет по существу об антифеодальных выступлениях с использованием судебных органов.

Я пытался доказать в другой своей работе, что ко времени около 1417 г. относится одна из редакций Псковской Судной грамоты, в которой в связи с обострившимися классовыми противоречиями был поставлен вопрос об укреплении суда[6].

У нас нет данных о классовой борьбе в рассматриваемое время в других частях Руси (кроме Новгорода и Пскова). Но отсутствие источников еще не доказывает, что в других русских землях не

---

[1] ПСРЛ, т. III, стр. 140; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 431; т. XVI, стр. 176.
[2] ПСРЛ, т. III, стр. 110.
[3] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 391.
[4] *Н. А. Казакова* и *Я. С. Лурье*, указ. соч., Приложения, стр. 254.
[5] РИБ, т. VI, стб. 389, № 5.
[6] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 445—446.

было тех же явлений, которые наблюдались в Псковской и Новгородской землях и которые нельзя не учитывать при рассмотрении феодальной войны второй четверти XV в.

§ 11. Феодальная война на Руси во второй четверти XV в. (ее причины и ход до 40-х годов XV в.)

Во второй четверти XV в. в Северо-Восточной Руси разразилась феодальная война, которая продолжалась в течение почти тридцати лет. Путь политического развития Руси, так же как и ряда стран Западной Европы, вел от системы феодальных княжеств к централизованной монархии. Сильная централизованная власть была органом господствующего класса феодалов. Она давала ему возможность осуществлять эксплуатацию трудового народа и предоставляла ему защиту от внешних врагов. Но в то же время усиление центральной власти означало, что феодалы должны были поступиться в ее пользу частью своих материальных благ и политических привилегий, которые им доставляло обладание землей и зависимым крестьянством. На определенном этапе развития феодального общества указанное противоречие в отношениях между отдельными феодалами и группами феодалов и центральной государственной властью, как органом феодального господства над трудящимся большинством населения, перерастает в большую феодальную войну. В этой войне выковывается централизованное государство.

В России, так же как и в странах Западной Европы (Англии, Франции и т. д.), такая война произошла в XV в.[1] Крепнувшей великокняжеской власти, опиравшейся на служилое боярство, формирующееся дворянство, поддерживаемой горожанами, удалось подавить сопротивление удельно-княжеской и боярской оппозиции, шедшей из феодальных центров, которые отстаивали свою независимость.

На ход феодальной войны оказывала влияние классовая борьба. Борющиеся стороны старались использовать каждая в своих интересах классовые противоречия. А обострение последних явилось существенным фактором, заставившим феодалов прекратить внутренние распри и сплотить свои силы перед лицом всех их в одинаковой мере беспокоившей классовой опасности. Так подъем антифеодального движения явился существенным звеном в цепи тех причин, которые определили путь политического развития феодального общества в направлении государственной централизации.

В первой четверти XV в. великокняжеская власть, не обладавшая еще достаточными средствами для организации централизованной системы управления на всей присоединенной к Москве территории, сохраняла в ряде случаев систему уделов и даже уве-

[1] Феодальной войне посвящено специальное (неопубликованное) исследование В. Н. Бочкарева. В нем намечена правильная периодизация войны и сделан ряд верных наблюдений и выводов.

личивала их число, стесняя в то же время политические права удельных князей. Это был шаг на пути дальнейшего государственного объединения. Ко второй четверти XV в. на территории Московского княжества сложилось несколько уделов, в которых правили представители отдельных княжеских линий. Раньше других образовалось удельное Серпуховское княжество, принадлежавшее потомкам двоюродного брата Дмитрия Донского—Владимира Андреевича. После смерти последнего в 1410 г.[1] территория Серпуховского княжества была разделена между его вдовой и пятью сыновьями[2]. Почти все серпуховские князья погибли во время эпидемии чумы в 1426—1427 гг.[3] Единственным представителем серпуховской княжеской линии остался внук Владимира Андреевича—Василий Ярославич. Он владел только частью территории, принадлежавшей его деду,—Серпуховом и Боровском, а также некоторыми другими волостями. Удел сына Дмитрия Донского—Андрея[4] после смерти последнего был поделен между его двумя сыновьями: Иваном (к которому перешел Можайск с волостями) и Михаилом (ставшим владельцем Вереи с волостями). Так образовались два небольших удельных княжества: Можайское и Верейское[5]. Сын Дмитрия Донского—Петр получил в удел от отца Дмитровское и Угличское княжества.

В благоприятных условиях для выделения в особое удельное владение находилась Галицкая земля (с центром в Галиче Мерьском), доставшаяся по духовной грамоте Дмитрия Донского (вместе со Звенигородом) его второму сыну Юрию[6] (имевшему в свою очередь трех сыновей—Василия Косого, Дмитрия Шемяку и Дмитрия Красного). Галицкое княжество в основном было расположено по левым притокам Волги—Унже и Костроме и в бассейне Верхней и Средней Ветлуги. Земли вокруг Галича были плодородны и имели довольно густое население. По Унже и Ветлуге тянулись леса, изобиловавшие пушниной. В хозяйственной жизни края крупную роль играли богатые соляные источники[7]. Экономическая замкнутость Галицкой земли способствовала ее выделению в отдельное княжество. Обладая значительными материальными ресурсами и сохраняя известную обособленность (хозяйственную и политическую), Галицкое княжество проявило во второй четверти XVв. ярко выраженный сепаратизм[8].

Великокняжеская власть, проводя политику объединения Руси, стремилась к стеснению государственных прав удельных князей. Подобная тенденция великокняжеской власти встречала противо-

[1] ПСРЛ, т. XII, СПб., 1901, стр. 214.
[2] ДДГ, стр. 45—51, № 17.
[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 168—169.
[4] ДДГ, стр. 34, № 12.
[5] Там же, стр. 81, № 31; стр. 125, № 43.
[6] Там же, стр. 34, № 12.
[7] *М. К. Любавский*, указ. соч., стр. 62—65.
[8] «Очерки истории СССР. Период феодализма. IX—XV вв.», ч. 2, стр. 248—251.

действие со стороны князей удельных центров. Во второй четверти XV в. попытку выступить против складывавшегося в Московском княжестве политического порядка, содействовавшего централизации государственной власти, сделали галицкие князья—Юрий Дмитриевич с сыновьями.

В 1425 г. умер московский князь Василий Дмитриевич. Великим князем стал его десятилетний сын Василий II Васильевич, фактически же верховная власть перешла к боярскому правительству, в составе которого крупную роль играл митрополит Фотий. Юрий Дмитриевич не признавал своего племянника великим князем и выступил сам в качестве претендента на великокняжеский стол. Так началась длительная изнурительная для Руси феодальная война.

Начало феодальной войны совпало с другими тяжелыми бедствиями для Руси. Летописи говорят о страшной эпидемии («мор бысть велик»), свирепствовавшей в 1425 г. и в следующих годах в Великом Новгороде, Торжке, Твери, Волоколамске, Дмитрове, Москве «и во всех градех русских и селех»[1]. В это время погибло много трудового населения, городского и сельского. И вот на русский народ обрушилась еще одна беда—губительная по своим последствиям княжеская усобица.

Как только умер Василий I, митрополит Фотий в ту же ночь послал своего боярина Акинфа Аслебятева в Звенигород за Юрием Дмитриевичем, который, очевидно, должен был принести в Москве присягу своему племяннику. Но Юрий отказался прибыть в Москву, а отправился в Галич, где начал готовиться к войне с Василием II. Чтобы выиграть время для военной подготовки, Юрий заключил перемирие с Василием II, после чего стал собирать вооруженные силы. По словам летописи, галицкий князь «тое же весны разосла по своей отчине по всех людеи своих и яко снидошася к нему вси из всех градов его, и въсхоте поити на великого князя...»[2] Трудно сказать, из кого состояла собранная Юрием рать. Но судя по выражению летописи—«вси из всех градов его», можно думать, что Юрию удалось привлечь к себе жителей городов своего удела.

Узнав о военных приготовлениях Юрия Дмитриевича, московское правительство постаралось перехватить у него инициативу. Московское войско выступило по направлению к Костроме. Тогда Юрий удалился в Нижний Новгород, где и укрепился «с всеми людьми своими»[3]. Возможно, что он рассчитывал на поддержку тех нижегородских феодалов, которые стремились к восстановлению самостоятельности Нижегородского княжества. Вслед за ним двинулись вооруженные московские силы под предводительством, по одним данным, удельного князя Константина Дмитриевича[4], по другим—

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 168; т. V, стр. 263; т. VI, стр. 143; т. VIII, стр. 93; т. XII, стр. 6—7; т. XX, стр. 233; т. XXIII, стр. 116.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 167.

[3] Там же.

[4] ПСРЛ, т. VIII, стр. 92; т. XII, стр. 2—3; т. XVIII, стр. 167.

Андрея Дмитриевича[1]. Но столкновения между московской и галицкой ратями не произошло,—почему,—об этом летописи говорят по-разному. Те летописные своды, которые приписывают руководство московскими вооруженными силами князю Константину Дмитриевичу, указывают, что Юрий, «убояся» его, бежал со своей ратью за реку Суру, а Константин не смог перейти через реку и, постояв несколько дней на ее берегу, повернул в Москву. В тех сводах, в которых руководителем войска, преследовавшего Юрия Дмитриевича, назван князь Андрей Дмитриевич, говорится в неясной форме, что он «брата князя Юрья не дошед, да воротился»[2]. А в Устюжском летописном своде имеется указание на то, что Андрей, выступая официально на стороне московского великого князя Василия II, тайно действовал в интересах Юрия Дмитриевича («и князь Ондреи, норовя брату своему болшему князю Юрью, не дошед, воротись»)[3]. Допустить наличие тайного сговора братьев покойного Василия I против их племянника вполне возможно.

Так или иначе Юрий на этот раз избежал сражения с московской ратью и вернулся через Нижний Новгород в Галич. Оттуда он направил в Москву предложение о заключении между ним и Василием II перемирия на год. Вопрос этот разбирался в Москве на специальном совещании под номинальным председательством великого князя, с участием его матери Софьи Витовтовны, митрополита Фотия, удельных князей Андрея, Петра и Константина Дмитриевичей и ряда «князей и бояр земли...» На совете было решено добиваться от Юрия согласия на заключение не перемирия, а прочного мира и с этой целью отправить в Галич митрополита Фотия. Решение это было согласовано с великим литовским князем Витовтом, с которым московское правительство стремилось поддерживать союзные отношения.

О дипломатической поездке Фотия в Галич в летописях имеются интересные данные. Желая продемонстрировать перед митрополитом свою мощь, Юрий Дмитриевич вышел к нему навстречу с представителями галицкой феодальной аристократии («с детми своими, и с бояры, и с лучьшими людьми своими»). Кроме того, Юрий собрал большое количество торгово-ремесленного населения городов Галицкого княжества и местных крестьян и велел всем им стать на горе, там, где должен был въехать в город митрополит. «...А чернь всю събрав из градов своих и волостеи и из сел и из деревень, и бысть их многое множество, и постави их по горе от града с приезда митрополича, кажа ему многых людей своих». Очевидно, Юрий хотел наглядно показать Фотию, сколь сильна его опора в широких массах местного населения. Но на митрополита, по рассказу летописи, эта демонстрация не произвела впечатления или он сделал вид, что нисколько не удивлен количеством встретивших его людей.

---

[1] ПСРЛ, т. V, стр. 263; т. VI, стр. 143; т. XX, стр. 233.
[2] ПСРЛ, т. V, стр. 263.
[3] УЛС, стр. 73. См. также диссертацию В. Н. Бочкарева.

Он, судя по летописи, даже с иронией отнесся к попытке Юрия поразить его численностью войска, которое тот может выставить. «Князь бо хотя явитися, яко многы люди имея, святитель в глум сих вмени себе». Поскольку многие из встречавших Фотия были одеты в сермяжьи одежды, митрополит фиксировал внимание на этом обстоятельстве и насмешливо заметил галицкому князю: «сыну, не видах столько народа в овчих шерстех»[1].

Какие выводы можно сделать из приведенного рассказа? Ясно, что, выступая против московского великого князя, князь галицкий рассчитывал на поддержку не только своих бояр, но и широких кругов горожан, наконец, сельского населения. И, вероятно, подобные расчеты имели под собой какую-то реальную почву. Хозяйственная замкнутость Галицкого княжества определяла известную консервативность жителей местных городов, способствовала сохранению элементов патриархальности в отношениях между ними и галицкими князьями. Галицкие посадские люди были в известной мере заинтересованы в том, чтобы помешать проникновению в пределы Галицкого княжества московских феодалов и купцов, которые становились их конкурентами, заводя здесь промыслы, торги. Захваты земель в Галицком уделе московскими боярами сопровождались углублением здесь крепостнических отношений. Поэтому местные крестьяне, недовольные усилением феодального гнета, вероятно, до известной поры поддерживали галицких князей. Хотя те боролись с московской великокняжеской властью за свои собственные политические интересы, в глазах крестьян эта борьба воспринималась как борьба за улучшение их положения, за возвращение порядков, которые существовали до усиления Московского княжества, сопровождавшегося ростом крепостничества. Трудно допустить, что галицкие князья вели войну с великим князем московским в течение почти тридцати лет, действуя в союзе только с теми или иными группами феодалов, не имея более широкой социальной базы, на которую они могли бы опереться.

Как надо оценить отношение митрополита Фотия к демонстративно построенной перед ним князем Юрием «черни»? В словах митрополита, приведенных летописями, чувствуется презрение духовного феодала к людям труда, к людям, просто одетым и пахнущим овечьею шерстью. Но «глум» Фотия прикрывал собою страх, хотя он дипломатично попытался не обнаружить состояние страха перед князем Юрием.

Во время дипломатических переговоров московского митрополита с галицким князем обе стороны не сразу пришли к обоюдному соглашению. Фотий настаивал на том, чтобы Юрий оформил с Василием II мирный договор. Юрий соглашался только на заключение перемирия. Споры приняли настолько острый характер, что митрополит даже покинул Галич, «не благословив» Юрия «и града

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 168; т. VIII, стр. 92—93; т. XII, стр. 2—3; т. XXV, стр. 246.

его», но затем по просьбе галицкого князя возвратился обратно. В конце концов Юрий обещал прислать в Москву своих бояр для мирных переговоров и торжественно отпустил митрополита.

Для оформления договора Юрия с Василием II в Москву явились бояре первого — Борис Галичский и Даниил Чешко. Мир был заключен с условием, что решение вопроса о том, кому быть великим князем (Юрию или Василию), соперники передадут ордынскому хану: «которого царь пожалует тъ и будеть князь великии владимерьскыи и Новугороду Великому и всеи Руси...»[1] Юрий явно хотел вернуться к тем порядкам, при которых любой князь мог рассчитывать получить от хана ярлык на великое княжение. Если московское правительство соглашалось решить вопрос о будущем великом князе подобным путем, то, очевидно, делало это потому, что рассчитывало на дипломатическую победу над Юрием на ханском суде. Добиться такой победы можно было и при помощи денежных средств и посредством политического влияния на отдельные группы ордынских феодалов.

О дальнейших междукняжеских взаимоотношениях до начала 30-х годов XV в. в летописях почти нет данных. Их отчасти восполняет материал княжеских договорных грамот. Так, до нас дошел договор Василия II с Юрием Дмитриевичем, заключенный князьями в 1428 г.[2] Из него мы узнаем, что и после княжеского докончания 1425 г. между Василием II и Юрием Дмитриевичем продолжалась усобица. Договор 1428 г. ликвидирует последствия «нелюбия», «войн» между названными князьями, «грабежей» на территории великого княжения и Галицкого удела, очевидно, имевших место в трехлетие с 1425 по 1428 г. Были выработаны условия об отпуске князьями «нятцев» (полоняников). В докончальной грамоте указано, что до 1428 г. великокняжеские наместники, волостели, посельские, тиуны «ведали ...отчину» Юрия Дмитриевича и боярские села в его «отчине» (т. е. фактически управляли Галицким княжеством от имени Василия II). К 1428 г. накопилось множество спорных дел (прежде всего земельных тяжб), и в этом году князья решили передать их для разбора на суд бояр, выделенных как Василием II, так и Юрием Дмитриевичем.

По договору 1428 г. князь Юрий официально отказался от всяких притязаний на великокняжеские права, признав их за своим племянником. Однако в докончальную грамоту была включена несколько двусмысленная формула: «А жити нам в своеи отчине в Москве и в вуделех по душовнои грамоте... великого князя Дмитрия Ивановича...»[3] Эта статья оставляла Юрию возможность возобновить вопрос о великом княжении путем ссылки на завещательное распоряжение князя Дмитрия Донского, согласно которому великим князем назначался старший сын Донского—Василий I,

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 168.

[2] ДДГ, стр. 63—67, № 24. Анализ этой грамоты см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 100—103.

[3] ДДГ, стр. 64, № 24.

а в случае смерти последнего—следующий за ним по старшинству его брат.

Составленная после смерти бездетного князя Петра Дмитриевича докончальная грамота 1428 г. обошла молчанием вопрос о судьбе его выморочного Дмитровского удела. Но на последний претендовали как Василий II, так и Юрий Дмитриевич[1]. Таким образом, договор 1428 г. не прекратил вражды между Юрием галицким и московским великим князем. Юрий продолжал рассчитывать на занятие великокняжеского стола и на расширение своих владений.

Новое открытое выступление галицкого князя против Василия II произошло в несколько изменившейся международной обстановке. Со второй половины 20-х годов XV в. усилилось наступление литовских феодалов на северо-западные русские земли. В 1428 г. Витовт во главе литовской рати и наемных татар совершил поход на псковские пригороды—Опочку, Воронач, Котелно. Этот поход запечатлелся в памяти псковичей. Не случайно в псковских летописях помещен о нем специальный рассказ. Героически сопротивлялись неприятелю жители Опочки. Литовцы и татары «начаша прилежно к городу лести», а опочане «бьяхоуть их ово каменьем, ово колодьемь, от заборол отсекая, и множество их побиша». Простояв под Опочкой два дня и не будучи в состоянии взять города, воины Витовта отступили. Вокруг Воронача литовцы установили пороки, из которых на город посыпались камни («и исчинивше пороки, шибаху на град камение великое»). Стычки литовских и псковских войск произошли и около Котелно, вблизи Велья, под Вревом. Псковичи обращались к московскому великому князю с просьбой выступить посредником между ними и Витовтом, но Василий II, будучи занят в это время спорами с Юрием Дмитриевичем по вопросу о своих правах на великое княжение и нуждавшийся в поддержке Витовта, не оказал псковичам защиты, хотя и обещал это сделать: «и бяше емоу тогда брань велика с князем Юрьемь, стрыемь своим о великом княжении, нъ обаче о всем том не брег, вречеся». Не помогли Пскову и новгородцы. Витовт потребовал от псковского правительства уплаты ему 1000 рублей и лишь на этом условии заключил с Псковом мир.

В 1427 г. Витовт заключил докончание с великим князем тверским Борисом Александровичем, взяв с последнего обязательство подчинить внешнюю политику Тверского княжества интересам Великого княжества Литовского. «Быти ми [Борису Александровичу] с ним [Витовтом] заодин, при его стороне, и пособляти ми емоу на всякого, никого не вымая»[2],—читаем в вышеупомянутом литовско-тверском соглашении 1427 г.

---

[1] Имеются сведения о том, что кроме дошедшего до нас договора Василия II с Юрием Дмитриевичем, в том же 1428 г. было заключено еще несколько соглашений между этими князьями. (См. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 102).

[2] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 40—42; вып. 1, стр. 35—37.

В 1428 г. Витовт организовал наступление на Новгородскую землю, обязав Василия II не оказывать военной помощи ни Новгороду, ни Пскову. Не откликнулись на призыв новгородцев о помощи и псковичи. Литовские войска подошли к Порхову, обступили его и сняли с города осаду только после того, как жители Порхова обещали уплатить Витовту 5000 рублей. Явившиеся к Порхову для заключения мира с Витовтом новгородские послы во главе с архиепископом Евфимием со своей стороны согласились на уплату литовскому правительству еще 5000 рублей[1]. По данным Тверского сборника, вместе с литовской ратью в осаде Порхова участвовали тверские военные силы[2].

Около 1430 г. «дался в службу» Витовту великий князь рязанский Иван Федорович, взяв на себя обязательство быть «с ним заодин на всякого» и «без князя великого... воли Витовтовы ни с кем не доканчивати, ни пособляти». В случае войны между Витовтом и Василием II или его «дядями» и «братьею» рязанский князь должен был «пособляти великому князю Витовту, своему осподарю, на них без хитрости». На тех же условиях «добил ...челом» и «дался... в службу» Витовту около 1430 г. пронский князь Иван Владимирович[3].

Приведенный выше материал дает право сделать интересные выводы. Во-первых, ясно, что политические взаимоотношения между правителями отдельных русских земель обострялись. Учитывая усиление Литовского княжества, князья тверской, рязанский рассчитывают при помощи последнего добиться ослабления княжества Московского и восстановить в какой то мере свое, к данному времени уже утраченное, политическое положение на Руси. Не менее ясно и другое: все более наглядно обнаруживались отрицательные стороны царившей на Руси феодальной раздробленности, при которой не было, в частности, условий для настоящей организации обороны русских земель от врагов. Достаточно внимательно проанализировать события 1426—1428 гг., чтобы убедиться в этом. Когда войска Витовта громили псковские пригороды, псковичи не могли добиться военной поддержки у Новгорода. А когда литовская рать вступила в новгородские пределы, вместе с ней действовали против новгородцев тверские вооруженные силы, а псковичи держались политики нейтралитета. Наконец, необходимо отметить и еще одно обстоятельство: политика Витовта явно клонилась к тому, чтобы поставить в непосредственную зависимость от себя правителей отдельных русских земель, среди них и великого князя московского. Это означало умаление ведущей политической роли Московского княжества на Руси.

В конце княжения Витовта положение Литовского княжества очень укрепилось. По инициативе императора Сигизмунда, заинтересованного в разрыве польско-литовской унии, в 1429 г. был

[1] НПЛ, стр. 415; «Псковские летописи», вып. 1, стр. 38; вып. 2, стр. 42.
[2] ПСРЛ, т. XV, стр. 489.
[3] ДДГ, стр. 67, № 25; стр. 68—69, № 26.

поставлен вопрос о принятии Витовтом королевского титула, что должно было означать превращение Великого княжества Литовского в самостоятельное королевство. Уже подготавливался акт коронации Витовта, для участия в котором в Литву (сначала в Троки, затем в Вильно) съехались князья московский, рязанский, митрополит Фотий, великий и ливонский магистры, послы византийского императора, татарских ханов. Но в 1430 г. Витовт умер. В Литве началась феодальная война между двумя претендентами на литовский великокняжеский стол: Свидригайло Ольгердовичем (поддерживаемым феодалами русских, белорусских и украинских земель Литовского княжества) и Сигизмундом Кейстутовичем (кандидатом, выдвинутым польской шляхтой и принятым значительной частью литовских феодалов)[1]. В 1432 г. Литовское княжество разделилось на две части: «...Литва ...посадиша великого князя Жигимонта Кесьтоутевичь на великое княжение на Вилни и на Троцех... и князи роуськыи и бояре посадиша князя Швитригаила на великое княжение на Роуское...»[2] Оба князя стремились распространить свою власть на всю Литву.

Начало феодальной войны в Литве не случайно совпало с активизацией враждебных действий князя Юрия Дмитриевича галицкого против московского великого князя Василия II. До 1430 г. между названными князьями поддерживались мирные отношения. Так, когда в 1429 г. на Галич и Кострому напали татары, Василий II послал против них свои полки под предводительством удельных князей Андрея и Константина Дмитриевичей и боярина Ивана Дмитриевича Всеволожского[3]. Под 1430 г. в ряде летописей содержится известие о том, что Юрий Дмитриевич порвал мир с Василием II («того же лета князь Юрий Дмитреевичь разверже мир с великим князем Василием Василиевичем»)[4]. Вероятно, толчок к выступлению Юрия дала смерть Витовта и переход власти в Литве к «побратиму» (свояку) галицкого князя—Свидригайло. В 1431 г. умер митрополит Фотий. И в том же году Василий II и Юрий Дмитриевич отправились в Орду разбирать вопрос о том, кому из них быть великим князем. Совпадение всех указанных событий вполне объяснимо. Почти одновременная смерть Витовта, которому была предъявлена духовная Василия I (назначившего великим князем своего сына Василия II), и Фотия (это завещание подписавшего) давала Юрию основание ставить вопрос о пересмотре названной духовной. При решении вопроса о порядке престолонаследия Юрий стремился вернуться к завещанию Дмитрия Донского о переходе великокняжеского стола к Василию I, а после смерти последнего к его брату (в порядке старшинства).

Но кому же из князей принадлежит инициатива поездки в Орду? По летописям установить это не так легко. В Новгородской первой

[1] «Очерки истории СССР. Период феодализма. IX—XV вв.», ч. 2, стр. 545.
[2] ПСРЛ, т. XVII, стр. 61.
[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 170.
[4] ПСРЛ, т. VIII, стр. 95; т. XII, стр. 9; т. XVIII, стр. 171.

летописи и в летописи Авраамки говорится в очень общей форме, что «ходиша князи рустеи въ-Рду Юрьи Дмитриевич, Василии Васильевич»[1]. Несколько подробнее, но примерно в тех же самых выражениях рассказывают о посещении Орды Василием II и Юрием Софийская первая, Типографская летописи и Устюжский летописный свод: «Того же лета в осенине князь великый Василей Васильевичь да князь Юрьи Дмитриевичь спряся о великом княжении да пошли в Орду к Махметю» (ордынскому хану)[2]. Из этих летописных текстов как будто можно сделать вывод, что оба князя выехали в Орду одновременно. Но другие летописи подчеркивают, что первым туда отправился Василий II. Так, в Тверском сборнике читаем: «поиде в Орду князь великии Василий московскии и выиде из Орды на другое лето, и князь Юрьи»[3]. Летописи Софийская вторая, Львовская, Ермолинская также указывают, что Василий II опередил Юрия галицкого: «того же лета князь велики поиде в Орду и князь Юрьи после его, спершеся о великом княжении»[4]. Аналогичная версия (в более развернутом виде) имеется в Московском своде, в летописях Воскресенской, Симеоновской, Никоновской[5]. Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что на оборотной стороне договорной грамоты Василия II и Юрия Дмитриевича 1428 г. имеется помета: «А сю грамоту князю великому прислал складною вместе князь Юрьи, к Орде ида»[6]. Сопоставляя все приведенные свидетельства источников, можно, думается, прийти к выводу, что инициатива переноса дела о престолонаследии принадлежала галицкому князю, который в знак разрыва мирных отношений с великим князем московским вернул ему свой экземпляр договора 1428 г. Но Василий II постарался предупредить Юрия и раньше его побывать в Орде, чтобы добиться решения дела в его пользу. Если бы Василий II не успел это сделать, то Юрий получил бы возможность привести из Орды на Русь татарский отряд, что вызвало бы ненужные военные осложнения.

По-разному описывают летописи и то, что произошло в Орде. Во многих из них говорится коротко, что в 1432 г. ордынский хан передал великое княжение Василию II, а Юрию Дмитриевичу отдал Дмитров[7]. В некоторых летописях (например, Софийской второй, Львовской) указано, что Василия II «посадил» на великом княжении пришедший на Русь ордынский посол Мансыр-Улан[8]. По данным Псковской первой и Новгородской первой летописей, вопрос о том, кому быть великим князем, в Орде остался нерешенным. В Псков-

---

[1] НПЛ, стр. 416; ПСРЛ, т. XVI, стр. 178.
[2] ПСРЛ, т. V, стр. 264; т. XXIV, стр. 182; УЛС, стр. 74.
[3] ПСРЛ, т. XV, стр. 489.
[4] ПСРЛ, т. XX, стр. 238; т. VI, стр. 148; т. XXIII, стр. 147.
[5] ПСРЛ, т. VIII, стр. 95—96; т. XII, стр. 15; т. XVIII, стр. 171; т. XXV, стр. 249.
[6] ДДГ, стр. 67, № 24.
[7] ПСРЛ, т. V, стр. 264; т. VI, стр. 148; т. XXIII, стр. 147; т. XXIV, стр. 182.
[8] ПСРЛ, т. XX, стр. 238; т. VI, стр. 148.

ской первой летописи написано: «...князь великии Василеи Васильевич приеха из Орды от царя, и с ним приеде стрыи его князь великии Георгии Дмитреевичь, и вси боярове их с ними добры и здравы, *а княжения не взят ни един*»[1]. Короче то же самое говорят Новгородская первая летопись и летопись Авраамки: «выидоша князи рустии из Орды *без великаго княжениа*»[2].

В Симеоновской, Воскресенской, Никоновской летописях содержится подробный рассказ о разбирательстве в Орде дела Василия II и Юрия Дмитриевича. В другой своей работе я уже подверг этот рассказ анализу[3], который не буду сейчас повторять. Остановлюсь лишь на тех моментах, которых в той работе не касался. Каждый из русских князей пытался опереться на те или иные группы ордынских феодалов. Василий II сразу вошел в контакт с московским «дорогой» Минь-Булатом. Князю Юрию покровительствовал «князь великии ординскыи» Тягиня (из фамилии Ширинов), который увел его с собой «в Крым зимовати». Интересы Василия II отстаивал в Орде его боярин Иван Дмитриевич Всеволожский. В отсутствие Тягини он старался уговорить «князей татарских», что если Юрий получит великое княжение на Руси, то он при помощи своего «побратима»—литовского князя Свидригайла поможет возвышению в Орде Тягини и устранению от власти других ордынских князей. Агитация Всеволожского имела успех: ордынские князья настроили хана против Тягини. Поэтому в то время, когда последний явился в Орду из Крыма и когда состоялся ханский суд по делу русских князей, Василий II имел больше сторонников из числа ордынских феодалов, чем Юрий. На суде Василий II мотивировал свои права на великое княжение тем, что оно принадлежало его деду и отцу и должно перейти по прямой линии к нему; Юрий Дмитриевич ссылался на духовное завещание Дмитрия Донского и на летописи, подбирая, по-видимому, исторические примеры о переходе великокняжеского стола к старшему в роде («князь великии по отечеству и по дедству, искаше стола своего, князь же Юрьи летописци, и старыми списки, и духовными отца своего великаго князя Дмитриа»). Боярин И. Д. Всеволожский, отводя на суде аргументы князя Юрия, дипломатично противопоставлял «мертвой грамоте» его отца, как документальному основанию для занятия по праву великокняжеского стола, другую правовую основу—ханское «жалование». Это был ловкий политический ход, рассчитанный на то, чтобы повернуть решение суда в интересах Василия II. И такой ход оказался верным. Хан вынес приговор о передаче великого княжения Василию II. Но затем в Орде началась усобица. Против хана Улуг-Мухаммеда выступил другой претендент на золотоордынский стол, Кичик-Мухаммед, которого поддержал и Тягиня. В такой обстановке хан не захотел ссориться с Тягиней и отпустил русских

---

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 39.
[2] НПЛ, стр. 416; ПСРЛ, т. XVI, стр 178.
[3] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. I, стр. 104—106.

князей «на свои отчины», передав Юрию Дмитров, а вопрос о великом княжении оставив нерешенным[1].

Таким образом, версия Псковской первой и Новгородской первой летописей о том, что в момент возвращения на Русь из Орды ни Василий II, ни Юрий не считались официально великими князьями, оказывается верной. Лишь через три с лишком месяца после прибытия в Русскую землю указанных князей из Орды и, очевидно, после окончания там смуты, явился на Русь ханский посол Мансыр-Улан, утвердивший на великокняжеском столе Василия II.

Между тем на Руси возобновилась феодальная война. Войска Василия II заняли Дмитров. Галицкие наместники были там частично захвачены, частично изгнаны оттуда московской ратью. Готовясь к продолжению войны с галицким князем, Василий II в начале 1433 г. постарался связать с собой цепью договоров (не полностью до нас дошедших) удельных князей—Василия Ярославича боровского, Ивана Андреевича можайского, Михаила Андреевича верейского. От имени Василия II и названных удельных князей было оформлено докончание с рязанским князем Иваном Федоровичем, в 1430 г. отдавшимся под покровительство Витовта литовского, а теперь перешедшим на сторону великого князя московского[2].

Подготовку к продолжению войны вел не только Василий II, но и его противник Юрий, который завязал сношения с некоторыми из московских бояр. К нему примкнул крупный московский боярин И. Д. Всеволожский, так активно поддерживавший в 1432 г. в Орде Василия II. Всеволожский в 1433 г. бежал из Москвы через Углич (где княжил Константин Дмитриевич) и через Тверь в Галич к Юрию Дмитриевичу «и начат подговаривати его на великое княжение»[3]. Изменив Василию II, И. Д. Всеволожский явно стал зондировать почву в ряде феодальных центров Руси, с тем чтобы попытаться сколотить оппозиционный блок против московского великого князя. Чем же объясняется такая резкая смена политического курса видным московским боярином? Для ответа на этот вопрос надо сказать несколько слов об общих настроениях московского боярства изучаемого времени, а затем охарактеризовать И. Д. Всеволожского как одного из крупных представителей боярской среды.

В параграфе, посвященном нашествию на Русь Едигея, я поднимал вопрос о том расколе среди бояр, который нашел отражение в летописных рассказах о названном событии. Говоря о таком расколе, летописи рисуют две политических программы, выдвигаемых одна «старыми», другая—«юными» боярами. Первые придерживались более консервативных взглядов, представляя себе политическую централизацию в форме объединения на началах известного равенства отдельных русских княжеств в составе великого Владимирского княжения. Что касается «юных» бояр, то их

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 172; т. VIII, стр. 95—96; т. XII, стр. 15—16.
[2] ДДГ, стр. 69, № 27; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. I, стр. 107—109.
[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 172.

программа заключалась в подчинении других русских земель Московскому княжеству. В области внешней политики «старые» бояре держались умеренного курса, который должен был обеспечить безопасность русских земель от нападений ордынских и литовских феодалов; «юные» бояре высказывались за наступательные действия против враждебных соседей Руси.

Идеология и политическая линия И. Д. Всеволожского определялись взглядами «старых» бояр. Он занимал видное положение при московском великокняжеском дворе, присутствовал при составлении духовных грамот Василия I[1], играл большую политическую роль в малолетство Василия II. Ряд жалованных грамот, изданных от имени Василия I и Василия II (в первые годы княжения последнего), подписаны И. Д. Всеволожским[2]. О характере внутренней политики И. Д. Всеволожского можно судить по одному акту, с его именем связанному. Имею в виду Судебник великой княгини Софьи Витовтовны, дошедший до нас в составе так называемой Губной записи второй половины XV в. Судебник этот был издан в первые годы княжения Василия II, когда регентшей была его мать Софья Витовтовна, а ее правой рукой являлся И. Д. Всеволожский. Следы названного Судебника сохранились в «Губной записи» в виде следующего текста: «По старине бывало, что вси дворы и дворцовыи великие княгини и удельных князей всех суживал наместник болшеи, судии за ним не бывало; а учинила то княгини великая Софья при Иоанне при Дмитриевиче (Всеволожском.—*Л. Ч.*), кто судья за ними ставится»[3]. Из приведенной цитаты видно, что Софья Витовтовна и И. Д. Всеволожский произвели реформу судопроизводства: если раньше (очевидно, со времен Дмитрия Донского) судьей в Москве был «большой» великокняжеский наместник, то теперь расширялись судебные права удельных князей, которые получили возможность посылать в суд «большого» наместника своих представителей[4]. Подобная реформа соответствовала задачам обеспечения того пути политической централизации, которого придерживались «старые» бояре.

Об умеренном характере внешнеполитической программы И. Д. Всеволожского можно судить по его активному поведению в 1432 г. в Орде, где он действовал в духе Ивана Калиты, стараясь задобрить татарских феодалов и тем самым обеспечить признание ими прав Василия II на великое княжение.

Надо думать, что с утверждением на великокняжеском столе Василия II, московское правительство (в составе которого усилилась роль «юных» бояр) стало проводить более решительно мероприятия по стеснению привилегий удельных князей и боярской аристократии. Это и привело И. Д. Всеволожского к измене московскому

---

[1] ДДГ, стр. 57, № 20; стр. 59, № 21; стр. 62, № 22.

[2] АСЭИ, т. I, стр. 41, № 30; стр. 42, № 31; стр. 48, № 41; стр. 49, № 43 и 44; стр. 51, № 47; стр. 52, № 48 и т. д.

[3] ААЭ, т. I, стр. 87.

[4] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 2, стр. 350—359.

великому князю. И еще одно обстоятельство должно быть упомянуто. Во второй главе монографии я указывал, что примерно с 1433 г. в актовом материале и в летописях начинают систематически употребляться термины «дети боярские» и «дворяне». Это значит, что окреп тот слой господствующего класса (мелкие и средние великокняжеские слуги, держатели земли под условием исполнения военных обязанностей), который являлся опорой проводимой великими князьями политики централизации. Все сказанное дает право утверждать, что рассматриваемая феодальная война действительно явилась решающим этапом в процессе образования Русского централизованного государства, ибо в ее ходе наметились существенные расхождения в среде господствующего класса, неразрешимые без острой борьбы.

Сделанные выводы должны быть еще проверены путем анализа одного интересного рассказа, помещенного в ряде летописных сводов, в которых ставится вопрос о причинах обострения отношений между Василием II и Юрием галицким в 1433 г. Описывается свадьба Василия II и сестры серпуховско-боровского князя Марии Ярославны. На великокняжеской свадьбе присутствовали сыновья князя Юрия Дмитриевича галицкого—Василий и Дмитрий Шемяка. На Василии был надет «пояс золот на чепех с камением». Это обстоятельство, по словам летописца, и послужило причиной дальнейшей княжеской усобицы («се же пишем того ради, понеже много зла от того ся почало»). Один из великокняжеских бояр (в разных летописях указывается имя или Петра Константиновича Добрынского или Захария Ивановича Кошкина) опознал этот пояс как вещь, принадлежавшую якобы к числу великокняжеских регалий. Указанный пояс Дмитрий Донской в свое время получил якобы в приданое от князя Дмитрия Константиновича суздальского, на дочери которого он женился. На свадьбе Дмитрия Донского тысяцкий Василий Вельяминов сумел украсть у великого князя этот пояс, подменив его другим. От тысяцкого Василия Вельяминова украденный пояс попал к его сыну Микуле, затем к И. Д. Всеволожскому, наконец, к князю Василию Юрьевичу, явившемуся в нем на свадьбу к Василию II. Здесь же на свадьбе было установлено, что пояс был похищен из великокняжеской казны, вследствие чего Софья Витовтовна публично сняла его с Василия Юрьевича. После этого последний вместе с братом Дмитрием Шемякой, «раззлобившеся», побежали к отцу в Галич. Юрий же «събрался с всеми людьми своими, хотя ити на великаго князя»[1].

Приведенный рассказ на первый взгляд производит впечатление простой придворной сплетни. Однако в нем скрыт определенный политический смысл. Основная тенденция летописного рассказа сводится к идеологическому обоснованию прав великокняжеской власти в ее борьбе с удельно-княжеской и боярской оппозицией.

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 172—173; т. V, стр. 264—265; т. VIII, стр. 97—98; т. XII, стр. 17—18; т. XX, стр. 238; т. XXIII, стр. 147; т. XXV, стр. 250.

Летописцы, выступавшие с позиций московской великокняжеской власти, доказывали незаконность присвоения удельными князьями не принадлежавших им регалий. Золотой пояс выступает в этом рассказе в той же роли, что и княжеские бармы, «шапка Мономаха» и другие знаки княжеского достоинства, на которых усиленно останавливала свое внимание феодальная политическая литература.

Рассмотренный летописный текст интересен и еще в одном отношении. Он дает возможность вскрыть связи И. Д. Всеволожского и в известной мере проливает свет на его политические взгляды. Показательна близость Всеволожского к Вельяминовым, из среды которых выходили московские тысяцкие. Говоря о борьбе за пост тысяцкого в Москве в княжение Семена Ивановича, я указывал, что В. В. Вельяминов отличался консервативным политическим настроением, что он был против активизации внешней политики Московского княжества, отстаивал линию его подчинения Орде. Сын В. В. Вельяминова — И. В. Вельяминов выступал в союзе с князем Михаилом Александровичем тверским против Дмитрия Донского. Все это помогает понять настроения и действия той боярской среды, к которой принадлежал и И. Д. Всеволожский.

Юрий в короткий срок организовал поход к Москве, причем действовал так, что его приготовления остались неизвестными Василию II. Когда галицкие войска находились уже в Переяславле, великий князь получил весть о их наступлении на Москву от ростовского наместника Петра Константиновича Добрынского. Не сумев должным образом подготовиться к встрече противника, Василий II отправил к нему для мирных переговоров послов Федора Андреевича Лжа и Федора Товаркова. Московские послы встретились с Юрием Дмитриевичем, когда он находился в Троице-Сергиевом монастыре. По словам Симеоновской и некоторых других летописей, Юрий «миру не въсхоте», а находившийся при нем И. Д. Всеволожский «не дал о миру ни слова молвити». Между боярами Юрия и Василия II начались «брань велика и слова неподобные». Мирные переговоры оказались безрезультатными «и тако възвратишася посли великаго князя безделни».

Василию II пришлось наскоро собрать «людеи», «что было тогда около его» (т. е., очевидно, слуг своего московского «двора»). Он привлек также в свое войско московских посадских людей («гостей и прочих...»). С этими незначительными силами Василий II выступил против Юрия. Сражение войск двух противников произошло на реке Клязьме, в 20 верстах от Москвы. Рать Василия II потерпела поражение, и он бежал «в трепете и в тороплении велице» в Москву, а оттуда отправился с женой и матерью сначала в Тверь, а затем в Кострому. Юрий занял Москву и объявил себя великим князем[1].

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 173; т. V, стр. 265; т. VI, стр. 148; т. VIII, стр. 97; т. XII, стр. 18; т. XX, стр. 238; т. XXIII, стр. 147; т. XXIV, стр. 182; УЛС, стр. 75; «Псковские летописи», вып. 1, стр. 40; вып. 2, стр. 44.

Летописи по-разному объясняют поражение Василия II. Наиболее примитивное объяснение сводится к тому, что на стороне Юрия была помощь божия («поможе бог князю Юрью»). Говорится также о том, что у Василия II не было времени для организации отпора противнику («не поспел совокупитися»). Наконец, летописи возлагают ответственность за взятие Москвы галицкой ратью на московское городское ополчение («от москвичь не быть никоея помощи»), упрекая его участников в пьянстве («мнози от них пьяни бяху и с собой мед везяху, что пити еще»)[1].

Такое нарочитое стремление летописцев найти оправдание беспримерному факту—изгнанию из Москвы великого князя одним из его родственников—невольно заставляет насторожиться. Очевидно, современникам было над чем призадуматься. И какие бы оправдания ни приводили летописцы тому, что произошло, нельзя отрицать явной нерасторопности, проявленной Василием II. В первом же военном столкновении, в котором ему пришлось участвовать, он показал себя плохим организатором и воином. С другой стороны, несомненно, что неплохими организаторскими способностями и военным опытом обладал Юрий. Кроме того, в его распоряжении были значительные военные силы, а последнее обстоятельство указывает на то, что он пользовался поддержкой в разных общественных слоях (об этом я говорил выше). Наконец, следует отметить, что московские бояре, перешедшие на сторону Юрия (вроде И. Д. Всеволожского), также накопили за те годы, в которые они стояли у руководства политической жизнью Московского княжества, большой организационный опыт и пользовались авторитетом у различных групп землевладельцев и горожан. Мелкие же великокняжеские слуги, хотя они и принадлежали к тому восходящему разряду господствующего класса, за которым было будущее, не обладали таким экономическим весом, как «старые» бояре, отставали во многом от них в военном отношении и по пути к победе над ними проходили через ряд поражений. Попытка же летописцев свалить всю вину за сдачу Москвы галицким войскам на московских посадских людей явно несостоятельна.

По договоренности с Василием II Юрий передал ему в удел Коломну. Некоторые летописи указывают, что это было сделано галицким князем по совету его любимого боярина Семена Федоровича Морозова: «мир свел Семен Иванович (надо: Федорович.—*Л. Ч.*) Морозов, любовник княж Юрьев»,—читаем в Ермолинской летописи[2]. Более подробно о роли С. Ф. Морозова в качестве посредника между Василием II и Юрием говорит Никоновская летопись: «Семен же Морозов много могий у господина своего у князя Юрья Дмитриевича и испечалова великому князю Василью Васильевичю мир и любовь и удел Коломну»[3].

---

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 490; т. XX, стр. 238; т. VIII, стр. 173.
[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 147.
[3] ПСРЛ, т. XII, стр. 18.

По актовому материалу С. Ф. Морозов выступает как землевладелец и владелец соляных варниц в Галицком уезде[1]. Его политическая связь с Юрием Дмитриевичем вполне понятна. В то же время он, по-видимому, принадлежал к той части боярства, которая недоверчиво относилась к действиям Юрия, предвидя их неблагоприятный в конечном счете исход. Поэтому, сохраняя близость к галицкому князю, С. Ф. Морозов пытается на всякий случай обеспечить благоприятное отношение к себе политического противника Юрия—великого князя Василия II и добивается предоставления последнему Коломенского удела. Судя по Никоновской летописи, такое поведение С. Ф. Морозова вызвало раздражение И. Д. Всеволожского и его сторонников. «Иван же Дмитриевич вознегодова о сем и не любо бысть ему сие зело, что простыню дает ему, еще же и удел хощет дати ему; и не точию един Иван Дмитреевичь, но и инии мнози бояре и слузи разъяришася о сем и не любо им бысть сие всем»[2].

В Коломне Василий II стал копить военные силы для того, чтобы с их помощью вернуть Москву. В Симеоновской летописи и в других летописных сводах рассказывается, что «многые люди начаша отказыватися от князя Юрья за великаго князя и поидоша в Коломну безпрестани»[3]. В ряде летописей (например, в Ермолинской) несколько неопределенный термин «люди» расшифровывается; именно указывается, что «москвичи же вси, князи, и бояре, и воеводы, и дети боярьские, и дворяне, от мала и до велика вси поехали на Коломну к великому князю»[4]. Вряд ли можно безоговорочно и буквально принять приведенную летописную версию о том, что все представители господствующего класса ринулись в Коломну. Но летописи единодушны в том, что наплыв этот был довольно большой. И летописям здесь можно поверить, особенно когда они говорят об отъезде из Москвы в Коломну детей боярских и дворян.

В чем искать причину массового перехода бояр и слуг от Юрия на службу к Василию II? Менее всего, вероятно, в авторитете, которым пользовался последний как правитель. Трудно даже сказать, сколь велика была его инициатива в деле призыва в Коломну московских служилых людей. Правда, Никоновская летопись отмечает, что Василий II, придя в Коломну, «нача звати к себе людей отвсюду». Но дело было, очевидно, не столько в организаторских способностях и энергии Василия II, сколько в том, что, как указывает Ермолинская летопись, московские бояре, дворяне, дети боярские «не повыкли бо служити удельным князем...»[5] Действительно, в Московском княжестве издавна складывалась устойчивая система поземельных отношений между местными боярами и слугами, с одной стороны, и великокняжеской властью—с другой. Приход в Москву удельных князей с их «двором», члены которого

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 27, № 3.
[2] ПСРЛ, т. XII, стр. 18.
[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 174.
[4] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 147.
[5] ПСРЛ, т. XII, стр. 18; т. XXIII, стр. 147.

были в свою очередь заинтересованы в земельных приобретениях, в повышениях по службе, должен был внести дезорганизацию в эту систему, повлечь за собой перераспределение земельных фондов, перебор служилых людей Василия II. Поэтому, когда московским боярам и слугам стало известно, что их князь находится недалеко от Москвы, в Коломне, к нему и двинулся поток бояр, дворян, детей боярских. Не случайно И. Д. Всеволожский возражал против предоставления Василию II Коломенского удела. Это было рискованным шагом со стороны Юрия. И он сам и его сыновья (Василий и Дмитрий Шемяка) поняли это тогда, когда галицкий князь оказался в изоляции, а ряды его соперника, находившегося в Коломне, стали непрерывно увеличиваться. Сыновья Юрия обвинили во всем этом С. Ф. Морозова и убили его как «коромольника» и «лиходея»[1]. Но если С. Ф. Морозов и сыграл роль в качестве одного из лиц, содействовавших переходу ряда московских служилых людей на сторону Василия II, то основную причину подобного перехода надо (как было указано) искать в общих условиях развития феодального землевладения и формирования нового слоя господствующего класса—служилого дворянства.

В ряде летописей говорится, что после убийства С. Ф. Морозова Василий и Дмитрий Юрьевичи покинули своего отца и ушли от него в Кострому. Тогда Юрий, оказавшись в полной изоляции, убедившись, «яко не прочно ему великое княжение, дети от него побежали, а люди все идуть к великому князю», был вынужден уступить своему племяннику Василию II Москву, сам же отправился в Звенигород, а оттуда—в Галич. Несколько иначе рисует дело Тверской сборник, в котором о ссоре Юрия с его сыновьями не говорится, а указывается, что «князь Юрый Дмитриевичь съехал с Москвы в Галичь с своими детми, с Василием, с Шемякою с Дмитрием; а княжениа великого ступился великому князю Василию Василиевичу московскому»[2]. Сопоставляя данные Тверского сборника и других летописных сводов, можно высказать предположение, что отъезд в Кострому Василия и Дмитрия Юрьевичей, приглашение Юрием в Москву Василия II и удаление его самого в Звенигород, а оттуда в Галич были тактическим маневром, заранее продуманным галицким князем и согласованным им со своими детьми. В договоре, заключенном Юрием с Василием II в момент передачи первому последним великого княжения, имеется следующий пункт: «А детеи ми своих болших, князя Василья да князя Дмитрея, не приимати, и до своего живота»[3]. Отказываясь в рассматриваемой договорной грамоте с Василием II от сношений со старшими своими сыновьями, Юрий, вероятно, стремился парализовать этим бдительность великого

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 147; т. V, стр. 265; т. VI, стр. 148; т. VIII, стр. 97—98; т. XII, стр. 18—19; т. XV, стр. 490; т. XVIII, стр. 173—174; т. XX, стр. 238—239.

[2] ПСРЛ, т. XV, стр. 490.

[3] ДДГ, стр. 76, № 30. Анализ этого договора см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 110—112.

князя, а затем начать против него организованное выступление. Анализ дальнейших событий подтверждает правильность предложенной нами трактовки обстоятельств ухода Юрия из Москвы.

Василий II расправился с задержанным им И. Д. Всеволожским[1], ослепив его, и послал к Костроме, где находились Василий и Дмитрий Юрьевичи, войско под предводительством воеводы Юрия Патрикеевича. Говоря о характере этого войска, летописи подчеркивают, что оно состояло из великокняжеских дворян, определяют его как «двор» Василия II. Василий и Дмитрий Юрьевичи в свою очередь успели скопить значительную рать, в составе которой были вооруженные силы из Галича (значит, Юрий вопреки договору с Василием II поддерживал связь со своими сыновьями, действовал с ними заодно). Галицкие князья сумели также привлечь в свои ряды вятчан. Хотя из летописей и неясно, кто были эти вятчане по своему социальному составу, можно думать, что речь идет в первую очередь об отрядах вятских бояр, стремившихся к независимости от московской великокняжеской власти. На реке Куси великокняжеская рать была разбита, Юрий Патрикеевич попал в плен, а князья Василий и Дмитрий Юрьевичи вернулись в Кострому.

Василий II, расценив действия Юрия, приславшего своим сыновьям военную помощь, как «измену» (нарушение недавно заключенного договора), двинулся с военной силой к Галичу, заставил Юрия бежать на Белоозеро, а «город Галичь взя, и съже, а люди в плен поведе, и много зла сътворив земли тои, възвратися к Москве»[2].

Вернувшись с Белоозера в Галич, Юрий стал опять готовиться к походу на Москву «и събра силу многу и вятчан приведе». Бросается в глаза это настойчивое стремление галицких князей опереться на феодальные слои Вятской земли (а может быть, и на вятских горожан или даже на крестьян). Характерно, что именно в отдаленных от центра областях Северо-Восточной Руси черпали новые силы для своей борьбы с великим князем Юрий с сыновьями. Это обстоятельство может быть объяснено двумя моментами. Прежде всего приходится учитывать сепаратизм местных феодалов. Но этот фактор не мог обеспечить слишком широкую социальную базу движению, возглавленному галицкими князьями. Можно предположить также и другое: укрепление централизованного государства было связано с углублением крепостнических отношений и распространением их на окраины. Поэтому движение против централизаторской политики московских князей могло находить сочувственный отклик среди широких слоев населения окраин Северо-Восточной Руси. При этом они, конечно, не могли понять истинных мотивов выступления галицких князей, боровшихся с Василием II за феодальные привилегии, за власть.

---

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 490.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 174; т. V, стр. 265—266; т. VI, стр. 148; т. VIII, стр. 98; т. XII, стр. 19; т. XXIII, стр. 147—148; т. XXIV, стр. 182; УЛС, стр. 175.

В начале 1434 г. князь Юрий и три его сына (Василий, Дмитрий Шемяка, Дмитрий Красный) повели соединенные галицко-вятские силы к Москве. Во главе московского войска, двинувшегося им навстречу, стояли великий князь Василий II и князь можайский Иван Андреевич. Сражение произошло в Ростовской области. Великокняжеская рать была разбита. Василий II бежал в Новгород, Иван можайский—в Тверь.

Из Новгорода Василий II завязал сношения с Иваном можайским, призывая его сохранить с ним союз[1]. Однако Юрию удалось склонить Ивана можайского на свою сторону[2]. Вскоре войска Юрия заняли Москву. В некоторых летописях указано, что москвичи во главе с воеводой Романом Ивановичем Хромым «город ему отворили». Очевидно, сопротивление было бесполезно. Юрий захватил великокняжескую казну. Мать и жену великого князя он отправил, по одним данным, в Звенигород, по другим—в Рузу.

Василий II выехал из Новгорода (очевидно, местное боярство не желало его у себя держать) и переправился через Мологу и Кострому в Нижний Новгород. Юрий же послал в погоню за великим князем своих двух сыновей (Дмитрия Шемяку и Дмитрия Красного) с ратью. Они подошли ко Владимиру. Очутившись в очень тяжелом положении, Василий II уже собирался искать поддержки в Орде. Но в это время Юрий умер[3]. Его смерть изменила многое в соотношении борющихся сторон.

Если окинуть беглым взором первый этап феодальной войны (до смерти в 1434 г. в Москве Юрия Дмитриевича), то может создаться впечатление, что в ее ходе от одного противника к другому переходит счастье. И только пристальнее присматриваясь к тому, как развивались события в изучаемое время, мы убеждаемся, что их движущей силой являлась не переменчивая фортуна, что в истории феодальной войны можно раскрыть определенные закономерности. Очень важно отметить, что войска Юрия галицкого дважды занимали Москву. Это значит, что в окраинных частях Северо-Восточной Руси галицкие князья имели возможность собирать значительные военные силы и бросать их на борьбу против централизаторской политики великокняжеской власти. Но не менее показательно и другое: в Москве галицкие князья удержаться не могут. А это

---

[1] Очевидно, ко времени пребывания Василия II в Новгороде относится его договор с князьями Иваном Андреевичем можайским и Михаилом Андреевичем верейским (ДДГ, стр. 80—82, № 31; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 112).

[2] После вторичного захвата Москвы Юрий заключил договор с князьями Иваном Андреевичем можайским и Михаилом Адреевичем верейским (ДДГ, стр. 82—83, № 32; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 113—114). Тогда же Юрий оформил докончание с рязанским князем Иваном Федоровичем (ДДГ, стр. 83—87, № 33; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 114—117).

[3] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 174—175; т. V, стр. 266; т. VI, стр. 149; т. VIII, стр. 98; т. XII, стр. 19—20; т. XV, стр. 490; т. XVI, стр. 79; т. XX, стр. 239; т. XXIII, стр. 148; т. XXIV, стр. 182; НПЛ, стр. 417; «Псковские летописи», вып. 1, стр. 42; УЛС, стр. 75.

означает, что в Московском княжестве политика централизации уже привела к значительным результатам, что у московских князей была уже значительная опора в лице слуг великокняжеского двора.

* * *

Второй этап феодальной войны (открывающийся событиями, последовавшими за смертью в 1434 г. Юрия галицкого) характеризуется некоторыми новыми чертами. Раньше выступления удельно-княжеской оппозиции против великокняжеской власти облекались в форму борьбы за старинное феодальное право наследования, по которому великокняжеский стол переходил по боковой линии (от старшего брата к следующему по старшинству), а не по нисходящей (от отца к сыну). Теперь борьба сторонников феодальной раздробленности против политики государственной централизации происходит уже в неприкрытом виде. Расширяется арена феодальной войны. Она выходит далеко за пределы московского центра, охватывает Верхнее и Среднее Поволжье. В борьбу с великокняжеской властью удельно-княжеская оппозиция, возглавленная Василием Юрьевичем, пытается втянуть Новгородскую республику, Тверское княжество, окраинные центры (Вологду, Устюг).

После смерти Юрия Дмитриевича среди его сыновей произошел раскол. По летописным данным, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный, узнав во Владимире о кончине их отца и о вокняжении в Москве их старшего брата Василия Юрьевича, не захотели признать последнего великим князем и завели переговоры с Василием II, находившимся в Новгороде. Летописное сообщение не вполне понятно. Ведь судя по летописным же данным, после вторичного занятия Юрием Москвы Василий II, находившийся сначала в Новгороде, затем перебежавший в Нижний Новгород, оказался в очень затруднительном положении, не получая ни от кого помощи, и подумывал даже о том, чтобы пойти в Орду. Почему же Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный предпочли иметь дело со столь обессиленным союзником, а не с собственным братом, который в данное время занимал великокняжеский стол? Очевидно, потому, что им стало известно, что положение Василия Юрьевича в Москве было далеко не прочным. Вероятно, с Василием Юрьевичем произошло то же, что с Юрием Дмитриевичем в 1433 г. Галицким князьям хватало сил, чтобы занять Москву, но когда они добивались этого, то оказывались во враждебной среде, и удержать занятый великокняжеский стол у них уже не было сил.

Итак, между Василием II, с одной стороны, и двумя Дмитриями Юрьевичами—с другой, было достигнуто примирение, и все они двинулись к Москве. Василий II вернул себе великокняжеский стол, а в виде компенсации своим союзникам пожаловал Дмитрию Шемяке Углич и Ржеву, а Дмитрию Красному—Бежецкий

Верх[1]. Из-за порубежных пунктов (Бежецкого Верха, Ржевы) происходили постоянные столкновения между московскими, тверскими, новгородскими правителями. Передача Василием II указанных пунктов галицким князьям (на данном этапе его союзникам) преследовала цель усиления здесь московского влияния. Но к тому же стремилось и новгородское боярство. Как раз в 1435 г. новгородские, порховские, старорусские бояре совершили поход на Ржеву и учинили там настоящий погром («и казниша ржевиць, и села вся пожгоша по Ръжеве, по плесковьскыи рубежь...»). Тогда же состоялись переговоры между новгородским правительством и великим князем Василием II о разделе земель в пределах Бежецкого Верха, Волоколамска, Вологды[2].

Василий Юрьевич бежал (после пребывания в течение месяца на великом княжении) через Ржеву в Новгород. Новгородская летопись говорит, что хотя он пробыл там недолго, но «много зла бысть от него». «Пограбив» селения по реке Мсте, в Бежецком Верхе, в Заволочье[3], Василий Юрьевич отправился в Кострому «и начат събирати воя на великаго князя»[4]. Очевидно, Кострома (так же, как Вятка) служила довольно мощным резервуаром для пополнения людским составом рядов удельно-княжеской оппозиции.

Собрав войско, Василий Юрьевич пошел из Костромы к Москве. В январе 1435 г. в ярославских пределах, на реке Которосли, произошло сражение между великокняжеской ратью и вооруженными силами, приведенными Василием Юрьевичем. Последний потерпел поражение и бежал через Ростов в Кашин. Согласно данным Типографской летописи, в Кашине Василий Юрьевич получил помощь от тверского князя Бориса Александровича, который прислал ему «кони, и порты, и доспех». Сюда же к Василию Юрьевичу прибыли остатки его разбитой дружины (в количестве 300 человек)[5].

Из Кашина Василий Юрьевич перебросил свою дружину к Вологде, очевидно, рассчитывая захватить путь из центральных русских областей на Север. Разбив находившуюся у Вологды великокняжескую заставу, захватив в плен ряд московских воевод (Ф. М. Челядню, А. Ф. Голтяева, В. А. Зворыкина, М. Чепечкина), предупредив тем самым возможное нападение их на Галич, Василий Юрьевич снова вернулся к исходным позициям своего наступления на Москву—в Кострому. Здесь его вооруженные силы опять увеличились в результате нового пополнения, прибывшего из Вятской земли. Но на этот раз военную инициативу перехватил Василий II, выступивший к Костроме. Великокняжеская рать заня-

---

[1] В это время Василий II заключил с Дмитрием Шемякой и Дмитрием Красным договор (ДДГ, стр. 87—89, № 34). Его анализ см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 117—121.

[2] НПЛ, стр. 417—418.

[3] Там же, стр. 417.

[4] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 175.

[5] ПСРЛ, т. XXIV, стр. 183.

ла позицию на мысу, образованном при впадении Костромы в Волгу. Река Кострома разделяла войска Василия II и Василия Юрьевича, так что «нелзя бяше битися им»[1]. Но вряд ли именно по такой причине противники заключили мир. Очевидно, это был просто ловкий маневр со стороны Василия Юрьевича, желавшего выиграть время.

По договоренности с Василием II Василий Юрьевич получил «в вотчину» Дмитров, но пробыл там только месяц, а затем снова отправился в Кострому и послал оттуда «розметные» грамоты великому князю. Дождавшись того времени, когда Кострома покрылась льдом, Василий Юрьевич направился сначала в Галич, а затем перебросил свои войска в Подвинье. Здесь он собирался захватить опорный пункт великокняжеской власти на Северной Двине— Устюг Великий.

Ермолинская летопись, несколько отлично от других летописных сводов излагая события, говорит о двух походах Василия Юрьевича к Устюгу. В первый раз он якобы пришел туда после того, как перебил великокняжескую засаду у Вологды. В Устюге против Василия Юрьевича был организован заговор («и там на Устюзе хотели его убити»). Очевидно, покушались на жизнь князя сторонники Василия II из числа местных бояр и купцов. Василию Юрьевичу стало известно о готовящемся на него покушении, и ему удалось скрыться, «а кто не поспел людеи его за ним, и устюжане тех побили». Великокняжеских бояр, взятых Василием Юрьевичем в плен, устюжане «всех отполонили у него»[2]. Затем Василий Юрьевич отправился к Костроме. Там произошла описанная выше его встреча с великокняжескими войсками и состоялось его примирение с Василием II.

Во второй свой приход к Устюгу Василий Юрьевич простоял под городом девять недель. Очевидно, взять его было не так легко и потому, что Устюг был хорошо укреплен, и потому, что там (как уже говорилось) было много сторонников великого князя (бояр, купцов). По-видимому, Устюг был уже тесно связан с Московским княжеством. Местное купечество было заинтересовано в развитии торговых сношений с центром Северо-Восточной Руси. В числе устюжских землевладельцев были московские бояре. По-видимому, грабежами и насилиями Василий Юрьевич вооружил против себя и широкие круги местного трудового населения. Устюжский летописный свод рассказывает, что галицкий князь здесь «волости и села выпустошил»[3].

После того как войскам Василия Юрьевича после долгой осады удалось захватить Устюг, он убил великокняжеского наместника— Глеба Ивановича Оболенского, повесил «владычня десятинника» Иева Булатова, «а многых устюжан секл и вешал». Какие же слои

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 175.
[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 149.
[3] УЛС, стр. 76.

устюжского населения пострадали главным образом? Ермолинская летопись говорит, что Василий Юрьевич прежде всего перебил «бояр и гостеи», «поминая им ту злобу, что хотели его самого изъимати, а людеи у него много побили, а бояр князя великого отполонили»[1]. Устюжский летописный свод также указывает, что Василий Юрьевич казнил «людеи добрых»[2]. И действительно, можно думать, что репрессии, осуществляемые по приказу Василия Юрьевича, в значительной мере распространялись на представителей местных землевладельцев и богатых горожан. Но в то же время, вероятно, не случайно многие летописи подчеркивают, что пострадали от казней, осуществляемых людьми Василия Юрьевича, и вообще «устюжане», т. е. и рядовые горожане, и, вероятно, крестьяне.

По-видимому, в данное время Василий Юрьевич поддерживал связь со своим братом Дмитрием Шемякой. Великий князь начал относиться к последнему подозрительно. Поэтому когда зимой 1436 г. Дмитрий Шемяка приехал в Москву пригласить Василия II в Углич на свою свадьбу с дочерью князя Дмитрия Заозерского, великий князь приказал арестовать его и отправить в сопровождении своего пристава в Коломну.

Василий Юрьевич от Устюга пошел через Вологду и Кострому к Москве «на великого князя похваляся». В составе его войска был отряд вятчан и «двор» Дмитрия Шемяки в количестве 500 человек под предводительством воеводы Акинфа Волынского. Великокняжеские вооруженные силы под руководством самого Василия II, князей Ивана Андреевича можайского и Дмитрия Юрьевича Красного вышли навстречу Василию Юрьевичу. Сражение произошло у села Скорятина, в Ростовской области. Выступивший вместе с Василием II выезжий из Литвы князь Иван Баба друцкий выстроил свои полки «по литовскы», русские полки построились «по своему обычаю». Василий Юрьевич, желая захватить врасплох великого князя, пустился на хитрость и предложил последнему через чернеца Русана заключить перемирие до утра. Великий князь согласился на это и распустил свою рать. А Василий Юрьевич в тот же день начал наступление, «хотя изгнати великаго князя». Предупрежденный «сторожами» о грозящей ему опасности, Василий II принял встречные меры. Началась битва. Один из великокняжеских воевод, Борис Тоболин, вместе с князем Иваном Бабой настиг Василия Юрьевича и захватил его в плен. Галицкий князь был отправлен в Москву и там по приказанию Василия II ослеплен (отсюда—его прозвище Косой)[3]. Поскольку Дмитрий Шемяка теперь уже не представлял опасности, он был освобожден из за-

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 149.

[2] УЛС, стр. 77. См. также диссертацию В. Н. Бочкарева.

[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 175—176; т. V, стр. 266—267; т. VI, стр. 149—150; т. VII, стр. 98—99; т. XII, стр. 20—22; т. XX, стр. 239—240; т. XXIII, стр. 148—149; т. XXIV, стр. 183; УЛС, стр. 76—77.

ключения и даже получил от великого князя в качестве удела Коломну[1].

Отдельные отряды Василия Юрьевича еще продолжали борьбу с великокняжескими войсками. Об одном из эпизодов этой борьбы красочно рассказывает Устюжский летописный свод. Под Ярославлем находилась специально отправленная сюда Василием II на судах семитысячная рать, состоящая из углицких и ярославских княжеских слуг, во главе с ярославским князем Александром Васильевичем Брюхатым. 40 человек вятчан напали на эту рать рано утром, когда все люди еще спали, захватили спящих в шатре князя и княгиню, посадили их в их же собственные суда и поплыли по Волге. Когда воины на берегу проснулись, схватили «доспех» и вздумали открыть стрельбу по вятчанам, последние, «пловучи вниз по Волзе со князем и со княгинею, и стоячи над князем и над княгинею с копьи и с топоры», закричали: «один на нас стрелу стрелит, мы князя и княгиню погубим». Князь также запретил своим воинам стрелять. Когда вятчане пристали к другому берегу Волги, князь предложил им за себя и за княгиню «окуп» в сумме 400 рублей. В Ярославль был отправлен посол, и княжеский казначей привез оттуда казну. Но вятчане тем не менее не отпустили князя с княгиней и отправились на судах через Казань к Вятке.

Таким образом, видно, что действия осколков разбитого войска Василия II принимали характер простых грабежей.

* * *

Оценивая войну Василия Юрьевича с Василием II на протяжении 1434—1436 гг., следует прежде всего еще раз подчеркнуть, что она охватила очень значительную территорию, что она велась в масштабе почти всей Северо-Восточной Руси. Это—весьма показательный факт. Ясно, что раз усобицы между удельными и великими князьями перерастают узкие рамки отдельных княжеств и втягивают в свою орбиту население целого ряда русских земель, в том числе и очень удаленных от непосредственного центра борьбы, значит, уже сильна была тенденция к преодолению политической раздробленности в стране. Надо отметить и другое: несмотря на сепаратизм, проявленный феодальными кругами отдельных земель (особенно окраинных), нарастали и силы тяготения сравнительно отдаленных от центра районов (например, Подвинья) к Москве и другим центральным городам. Наконец, следует подчеркнуть, что политическая борьба все более перерастала в борьбу социальную, ибо феодальная война слишком затрагивала широкие массы трудового населения (крестьян и горожан). Поэтому нарастало массовое народное движение против феодалов.

---

[1] Сохранился договор Василия II с Дмитрием Шемякой от 13 июня 1436 г. (ДДГ, стр. 89—100, № 35). Анализ договорной грамоты см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 121—122.

Когда после ослепления Василия Юрьевича организатором оппозиционного блока удельных князей и бояр стал Дмитрий Шемяка, враждебный московскому правительству фронт феодальных княжеств расширился. Помимо удельных московских князей, участие в войне приняли Тверское княжество и Новгородская феодальная республика. Феодальная война осложнилась вмешательством в нее татарских князей, усиливших нападения на русские земли. Литовские князья стремились к укреплению своего влияния в пределах Северо-Западной и Западной Руси (в Смоленске, Новгородской земле). Поскольку борющиеся между собой русские феодалы использовали в феодальной войне враждебные русскому народу татарские полчища, классовые выступления русского крестьянства и городского населения приобретали национальный патриотический характер. Эта была борьба против захватчиков Русской земли и их пособников из числа русских феодалов.

* * *

С конца 30-х годов XV в. участились татарские нападения на Русь. Они являлись результатом продолжавшейся в Орде (накануне ее распада) борьбы феодальных группировок, выбрасывавших за делы Орды потерпевших поражение татарских князьков. Лишившийся ханской власти в Сарае Улуг-Мухаммед обосновался на Верхней Оке, в Белеве, на границе московских и литовских владений.

Войско, посланное против Улуг-Мухаммеда московским правительством в 1437 г. под предводительством Дмитрия Шемяки и Дмитрия Красного, потерпело серьезное поражение. Татары перебили много воевод и простых русских воинов. При этом обращает на себя внимание указание летописей, что трудовое население страдало не только от татарских полчищ, но и от своих же русских войск, которые «все пограбиша у своего же православного христианьства, и мучаху людеи из добытка, и животину бьюще, назад себе отсылаху, а и ни с чим же не разоидяхуся, все грабяху...»[1].

Из Белева татары совершали непрерывные нападения на центральные московские области. Летом 1439 г. полчища Улуг-Мухаммеда сделали налет на Москву. Василий II бежал за Волгу, оставив в Москве воеводу Юрия Патрикеевича. Взять город Улуг-Мухаммеду не удалось, и, простояв десять дней под Москвой, он был вынужден отвести свои военные силы. Но это татарское нападение дорого обошлось русскому народу. Отряд Улуг-Мухаммеда «зла много учини земли Русскои», «пожегл» селения на территории от Москвы до Коломны «и людеи множество плени, а иных изсекл»[2].

В дальнейшем Орда Улуг-Мухаммеда перешла в пределы Среднего Поволжья и он «сел» в Нижнем Новгороде. В 1444 г. Улуг-Мухаммед бросил войско на Муром. В то же время один из его

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 188—189.
[2] Там же, стр. 190.

отрядов отправился к Луху. Против Улуг-Мухаммеда выступила великокняжеская рать из Москвы. Ее возглавили Василий II и ряд подвластных ему удельных князей, бояр и воевод. Под натиском русских вооруженных сил Улуг-Мухаммед был вынужден вернуться из Мурома в Нижний Новгород. При этом много татар было перебито под Муромом и Гороховцом.

Почти одновременно с походом Улуг-Мухаммеда на Муром войско ордынского царевича Мустафы вторглось в Рязанскую землю и заняло Рязань. Василий II отправил в Рязанскую землю «двор свой» под предводительством князя Василия Ивановича Оболенского и Андрея Федоровича Голтяева. Когда великокняжеская рать подходила к Рязани, там вспыхнуло антитатарское восстание, Мустафа был вынужден уйти из города. Под рязанскими крепостными стенами произошел бой между русскими и татарскими вооруженными силами. Царевич Мустафа был убит, погибло много татарских князей и рядовых воинов. Из великокняжеских воевод пал в бою Иван Иванович Лыков[1].

О тяжелом международном положении Руси в изучаемое время можно судить по тому, что одновременно с татарами на русские земли нападали литовские отряды. В 1444 г., когда Улуг-Мухаммед пытался завладеть Муромом, литовская рать напала на Калугу, Козельск, Суходров[2].

Весной 1445 г. в Москве была получена весть о том, что Улуг-Мухаммед снова бросил на русские владения вооруженные силы во главе с двумя своими сыновьями Мамутяком и Егупом. Василий II повел навстречу неприятелю рать к Суздалю. По пути к нему присоединились полки ряда удельных князей. Однако подошли не все ожидавшиеся великим князем войска. Князь Дмитрий Шемяка не прислал помощи. 7 июля на поле близ суздальского Спасо-Евфимьева монастыря сразились русская и татарская рати. Татары одержали победу. Василий II и князь Михаил Андреевич верейский попали в плен. Князь Иван Андреевич можайский был ранен, бояре К. Ф. Добрынский и И. Б. Плещеев убиты.

Поражение русского войска под Суздалем в 1445 г. оказало большое влияние на дальнейшее развитие феодальной войны.

Каковы были междукняжеские взаимоотношения в конце 30-х—начале 40-х годов XV в.? Татарская опасность, нависшая над Русью, заставляла Василия II подозревать, что татары постараются использовать усобицы среди русских князей в своих целях. После нашествия на Москву Улуг-Мухаммеда в 1439 г. в московских правительственных кругах, по-видимому, возник проект передачи в удел Василию Юрьевичу Косому (лишенному в 1436 г. ряда своих владений) Дмитрова. При этом Василий Косой должен был дать Василию II запись с обязательством не делать попыток к овладению великим княжением при татарской помощи и не соглашаться на

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 192.
[2] Там же.

получение ярлыка от татарских ханов[1]. О дальнейшей судьбе Василия Косого не сохранилось никаких известий, за исключением краткой летописной заметки о его смерти в 1448 г.[2]

В 30-х годах XV в. довольно обостренными были взаимоотношения Московского и Тверского княжеств. Великий князь тверской Борис Александрович находился в союзе с литовским князем Витовтом (с 1427 г.)[3], а затем—с Сигизмундом. В Твери и в тверских уделах находили приют враждебные Москве элементы: в 1433 г.—И. Д. Всеволожский, в 1434 г.—князь Иван Андреевич можайский (бывший в то время в союзе с князем Юрием Дмитриевичем), в 1435 г.—Василий Косой. В интересном памятнике тверской литературы—так называемом «Слове похвальном о благоверном великом князе Борисе Александровиче», написанном иноком Фомой, находим рассказ о нападении московской рати на зубцовского князя Ивана Юрьевича[4]. Весьма вероятно, что этот эпизод имел место в конце 30-х годов XV в. и был связан с участием князей тверского дома в московской усобице[5].

В 1439 г., после победы над Василием Юрьевичем Косым, Василий II сделал шаги к сближению с Тверью. Был выработан проект договора Василия II с великим тверским князем Борисом Александровичем[6]. Неизвестно, однако, был ли он официально оформлен.

Напряженными в конце 30-х—начале 40-х годов XV в. были взаимоотношения Московского великого княжества и Новгородской феодальной республики. В 1436 г. новгородское правительство отправило специальную комиссию для «отвода» вместе с боярами Василия II великокняжеских земель от новгородских в пределах Волоколамска, Бежецкого Верха, Вологды. Но великий князь тогда своих бояр на земельный «отвод» не прислал, «ни отцини Новгородчкои нигде же новгородцом не отведе, ни исправы не учини». В 1437 г. в Новгород по предписанию Василия II приезжал для взимания «черного бора» князь Юрий Патрикеевич[7]. В 1440—1441 гг. московское правительство официально разорвало мирные отношения с Новгородом. Василий II ввел в Новгородскую землю свои войска, которые вместе с псковичами опустошили «волостеи Новгородчкых много». Новгородские воеводы в свою очередь «с заволочаны по князя великого земли повоеваша много про-

---

[1] ДДГ, стр. 100—105, № 36; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 123—125.

[2] ПСРЛ, т. VIII, стр. 121.

[3] ДДГ, стр. 62—63, № 23.

[4] «Инока Фомы слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче», сообщение Н. П. Лихачева, СПб., 1908, стр. 16 (Памятники древней письменности и искусства, CLXVIII).

[5] *Я. С. Лурье*, Роль Твери в создании Русского централизованного государства, стр. 92—93.

[6] ДДГ, стр. 105—107, № 37; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 124—126.

[7] НПЛ, стр. 418, 419.

тиву того, что князь воевал Новгородчкыя волости». Военные действия закончились миром, заключенным Василием II с новгородским правительством у пригорода Демани. Новгород должен был выплатить великому князю 8000 рублей[1].

В начале 40-х годов XV в. новгородские бояре поддерживали Дмитрия Шемяку в его борьбе с московским великим князем. Не совсем ясны обстоятельства, вызвавшие в это время ссору Василия II с Дмитрием Шемякой. Но, очевидно, последний завел политические связи в Москве, организовав заговор против великого князя. Это видно из сообщений летописей о том, что Василий II в 1441—1442 гг. двинул рать против Шемяки к Угличу, а после этого велел подвергнуть в Москве наказанию Кулудара Ирежского и лишил его должности дьяка. Судя по Ермолинской летописи, Кулудар Ирежский был сообщником Дмитрия Шемяки «и подал ему весть» о том, что Василий II хочет застать его врасплох в Угличе. Дмитрий Шемяка бежал в пограничную с Новгородом территорию—в Бежецкий Верх. Новгородское правительство согласилось дать ему убежище. Но затем в союзе с князем А. В. Чарторыйским Дмитрий Шемяка совершил неожиданно поход к Москве, дошел до Троице-Сергиева монастыря и здесь заключил (при посредничестве игумена Зиновия) мир с Василием II[2].

С Московским княжеством у Новгорода продолжались осложнения. Учитывая литовскую ориентацию части новгородского боярства, Казимир IV в середине 40-х годов XV в. поставил перед новгородским правительством вопрос о переходе Новгорода под власть Литвы. «А из Литвы князь великыи Казимир присла в Новгород, а ркя тако: возмите моих наместников на Городище, а яз вас хочю боронити; а с князем есмь с московьскым миру не взял вас деля»[3]. К этим же годам относится договор Казимира IV с Новгородской феодальной республикой, согласно которому он получил право собирать «черный бор» с некоторых Новгородских волостей и держать своих тиунов в Новгородских пригородах[4].

* * *

С середины 40-х годов XV в. начинается третий этап той решительной феодальной войны, которая предшествовала образованию Русского централизованного государства. В это время война принимает, пожалуй, наиболее острый характер. В третий раз (и теперь на более длительный срок, чем в первые два раза) Москва переходит в руки представителя удельного галицкого княжья. В это время война по-настоящему всколыхнула все общественные

[1] НПЛ, стр. 420—421.

[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 150—151; т. V, стр. 267; т. VI, стр. 170; т. VIII, стр. 111; т. XII, стр. 42; т. XX, стр. 256. Сохранившийся договор Василия II и Дмитрия Шемяки 1441 — 1442 гг. — ДДГ, стр. 107—117, № 38. См. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 125—128.

[3] НПЛ, стр. 424.

[4] ГВНП, стр. 115—116, № 70.

слои, вылилась в ряд острых социальных столкновений. И самое, по-моему, главное заключается в том, что стало намечаться перерастание войны феодальной, внутриклассовой в войну гражданскую. И это обстоятельство послужило существенной причиной, заставившей феодалов прекратить свои внутренние распри, закончить феодальную войну. Это обстоятельство послужило важным фактором, содействовавшим государственной централизации.

§ 12. Народные движения в 40-х годах XV в. Значение классовой борьбы для дальнейшего хода феодальной войны

Наиболее крупными антифеодальными движениями 40-х годов XV в., принявшими народно-освободительный характер, были восстания в Смоленске в 1440 г.[1] и в Москве в 1445 г.

Толчком к восстанию в Смоленске послужило убийство в 1440 г., на вербной неделе, в Литве, в Троках, великого литовского князя Сигизмунда Кейстутьевича. В «Литовской земле» тогда началась «замятня великая» («мятежь велик»)— борьба между различными группами феодалов по вопросу о кандидате на литовский великокняжеский стол. В связи с данными событиями летописи рассказывают, что поставленный в свое время в Смоленск Сигизмундом воевода Андрей Сакович, узнав о гибели этого князя, потребовал, чтобы смоленское население принесло присягу на верность Литовскому государству («и поча приводити ко целованию смолнянь»). Воевода настаивал, чтобы смольняне взяли на себя следующие обязательства: 1) признать того князя, который будет избран литовскими панами («...чтожь князи литовъски и паны, вся земля Литовъская, кого посадять на Вилни на великомь княжени», «а великого князя литовского вам собе за государя имети...»); 2) не выходить из состава Великого княжества Литовского («и вамь от Литовьскои земли не отступати и от великого князя литовьского, а ко иному не приступати...»); 3) подчиняться (до избрания нового литовского князя) власти управлявшего Смоленском воеводы Андрея Саковича («а мене вамь в себе держати воеводою, доколе сядеть на Вилни князь великыи»)[2].

Не совсем ясно, кто был инициатором привода жителей Смоленска к присяге. Великокняжеский стол ведь пока пустовал и «крестоцелование» должно было в силу этого иметь безличный характер. Демонстрировалась верность не определенному князю, а Литовскому государству и, следовательно, всем властям, это государство представляющим. Принимая во внимание, что в Литовском государстве в указанное время происходила «великая замятня»,

[1] Смоленскому восстанию посвящена статья В. Богданова «Смоленское восстание «черных людей» в 1440 году» («Борьба классов», М., 1936, № 2, стр. 51—55).

[2] ПСРЛ, т. XVII, стр. 67, 183, 287—288, 338.

можно думать, что поторопились с организацией присяги населения по собственной инициативе Андрей Сакович и бывшие с ним в Смоленске литовские бояре. Им было необходимо обеспечить повиновение себе смольнян в период начавшегося в Литве междоусобия и ослабления центральной власти. Важно было заставить смоленское население признать выдвинутый Андреем Саковичем довод: он назначен предыдущим князем, и, пока в Литве не выбран новый правитель, это назначение сохраняет силу.

Вряд ли, конечно, можно считать, что присяге придавалось лишь формальное значение. Очевидно, как это и показали ближайшие последовавшие события, население Смоленска было неспокойно. Имелись основания ждать с его стороны движения протеста против литовских властей, причем это движение могло принять характер национальный (стремление освободиться от иноземной зависимости и перейти под власть Руси) и социальный (борьба с феодальным гнетом). Поэтому литовской администрации было важно внести раскол в среду смоленских жителей, привлекши на свою сторону в первую очередь местную феодальную знать. По-видимому, эту задачу удалось разрешить, но тем не менее спокойствие в городе сохранялось недолго.

Церемония принятия смольнянами присяги прошла, если верить летописи, без каких-либо проявлений недовольства со стороны населения. Присягали смоленский епископ Симеон, представители светских феодальных верхов («князи и бояре»), привилегированные городские мещане («местичи»), рядовая масса ремесленного населения города («черные люди»). Все жители Смоленска обязались повиноваться воеводе («присягнули на том и святость целовали—пана Андрея держати в себе воеводою почесно на Смоленску») и не выходить из литовского подданства («Вилни не отступати»)[1]. А не более чем через две недели после того, как было проявлено, согласно летописи, такое единодушие жителей Смоленска в признании литовского господства, в городе вспыхнуло антифеодальное восстание, направленное против литовской администрации и местного, смоленского, боярства! Почему же столь быстро и столь резко изменилось настроение основной массы горожан?

По-видимому, сообщаемым летописью в трафаретных выражениях сведениям о единстве смольнян по вопросу о верности Литовскому государству и воеводе и о том, что они неожиданно «присягу свою переступили», нельзя безусловно доверять. Недовольство литовским господством, надо думать, накапливалось давно. Известие о гибели великого литовского князя и о начавшейся в связи с этим в Литве «замятне» должно было возбудить какие-то надежды на возможность освободиться от иноземного владычества. Но пути и средства к этому были неясны. Горожане не были готовы к выступлению против литовской администрации. С другой стороны, очевидно, соответствующую мобилизацию сил феодалов провел

[1] ПСРЛ, т. XVII, стр. 67, 183, 288, 339.

Андрей Сакович. Большинство русских феодалов, боясь движения враждебных им социальных элементов, приняло его сторону. В таких условиях горожане были вынуждены присягнуть на подданство Литве. И в то же время они, по-видимому, стали готовиться к выступлению против литовской администрации и поддерживавших ее русских бояр.

Летописная версия о смоленском восстании 1440 г. представляет его как акт, внезапно осуществленный черными людьми. В среду на пасхальной неделе «здумали чорныи люди смолняне» (кузнецы, кожемяки, «перешевники» (портные), мясники, котельники)—«раду себе учинили» и решили (в нарушение присяги) изгнать воеводу («пана Андрея согнати силою с города»), «а целование переступили». Ремесленники вооружились («и наредилися во изброи») сулицами. стрелами, косами, секирами и «зазвонили в колокол (другой вариант—«в звон») ратныи» (радный).

Так началось антифеодальное выступление смоленских горожан. Вышеизложенные соображения позволяют думать, что оно все же заранее подготавливалось. Слова «раду себе учинили» указывают на собрание городского населения—вече. Возможно, что организационную подготовку к восстанию вели и отдельные профессиональные объединения ремесленников. на существование которых как будто указывают летописи, говоря о ремесленных специальностях. Мало вероятно, что в среду на пасхальной неделе черными людьми неожиданно было вынесено решение—заставить воеводу покинуть Смоленск. Скорее летописный текст надо понимать в том смысле, что на этот день было назначено вооруженное выступление и горожане предварительно уже (хотя бы в общих чертах) разработали его план. Сигналом к восстанию должен был послужить колокольный звон. Выражение «зазвонили в колокол («в звон») ратныи» можно понимать как «позвонили в колокол, давая тем самым сигнал к выступлению на рать», к началу военных действий против воеводы и его окружения. Но вернее, что вместо «ратный» следует читать «радный» (вечевой) и интерпретировать летописное сообщение в том смысле, что ударом в вечевой колокол черные люди созывались для предъявления смоленскому воеводе ультиматума о выезде из Смоленска и приглашались активно (вплоть до применения оружия) добиваться выполнения этого требования.

Далее летопись рассказывает о том, что смоленский воевода устроил совещание с местными боярами («почал ся рядити со бояри смоленскими»). Очевидно, целью такого совещания являлось желание воеводы выяснить отношение к себе русской землевладельческой знати и вместе с ней наметить линию поведения в отношении восставших горожан. Из летописи не видно, вел ли воевода какие-либо переговоры с черными людьми. Из летописного контекста скорее вытекает, что боярский совет был созван Андреем Саковичем до того, как черные люди выдвинули перед ним свои требования, и решение совета свелось к тому, чтобы подавить восстание вооруженной силой, не вступая ни в какие переговоры с начавшими дви-

жение ремесленниками. Именно так я понимаю слова летописи: «И бояре ему [воеводе] молвили: вели, пане, дворяномь своим убиратися у зброи, а мы и с тобою, чи лепшеи датися имь в руки» (или по другому списку—«чи лепшеи тобе датися в руки черни»). В этих словах чувствуется и недоверие представителей господствующего класса к массе городского ремесленного населения, и желание расправиться с нею при помощи находившегося в распоряжении воеводы военного дворянского отряда. Пусть вооружаются твои дворяне, и мы будем сражаться вместе с ними против горожан; если же не поступить таким образом, то лучше уже прямо отдаться в руки черни, чем пытаться вступать с ней в соглашение,—вот, по-моему, смысл совета, данного боярами воеводе.

Андрей Сакович воспользовался этим советом и выдвинул против восставшего городского ремесленного населения конных ратников (бояр и дворян), вооруженных копьями («и пан Андрей почался з бояры смоленскими и со всем двором своим на них с копьи на конех...»). Произошла битва. Военное преимущество было явно на стороне Андрея Саковича. Много восставших горожан было убито или ранено («...избиша много черных людии копии до смерти, а иныи ранены...»). Оставшиеся в живых были вынуждены отступить («и побегоша черныи люди от пана Ондрея»). Казалось бы, воевода и бояре одержали победу над «чернью», подавили антифеодальное восстание. Но вслед за сообщением о бегстве горожан под натиском конного дворянского отряда летопись совершенно неожиданно отмечает: «И тои нощи выеха пан Андреи из города со женою и бояре смоленскыи с нимь»[1]. Это сочетание двух известий невольно заставляет задуматься: кто же, собственно, бежал? Летописная терминология довольно последовательна: обратилась в бегство «чернь», а воевода с боярами *уехали* из города. Но этот ночной (очевидно, из опасения возможной задержки) выезд Андрея Саковича в окружении других представителей господствующего класса гораздо больше похож на бегство, чем на временный уход с места битвы плохо вооруженных ремесленников, на которых были направлены копья конных воинов-профессионалов. Очевидно, результат сражения был (несмотря на сильные потери, понесенные горожанами) таков, что представители господствующего класса поняли, насколько им опасно дольше оставаться в Смоленске. И то, что летопись называет выездом из города литовских феодалов и местной администрации, было по существу вынужденным выполнением ими приговора черных людей об их изгнании из Смоленска. Победила «чернь», поднявшая антифеодальное восстание.

Но движение смоленских горожан еще не закончилось. Уже после ухода Андрея Саковича с его приспешниками, по выражению летописи, «быс метежь великь («замятна была великая») во Смоленску». Черные люди продолжали расправляться с оставшимися еще в городе лицами из феодального лагеря, с теми, кто занимал

[1] ПСРЛ, т. XVII, стр. 68, 183, 287, 339.

какое-либо видное административное положение, свергали литовских ставленников. Так, народ задержал смоленского маршалка Петрику и утопил его в Днепре. Поскольку движение в Смоленске имело национально-освободительный характер, население стремилось, чтобы воеводой в городе был не литовский ставленник, а лицо, выдвинутое самим городским населением. Летопись глухо сообщает, что смольняне «посадиша собе воеводу в Смоленску» князя Андрея Дмитриевича Дорогобужского. Но в этом сообщении заключается большой политический смысл. Кого имеет в виду летописец, употребляя безличную форму «посадиша»? Бояре из Смоленска были изгнаны. Власть перешла к черным людям. Высшим органом этой власти являлось вече. Очевидно, оно и вынесло решение о призвании в город князя-воеводы, оно и оформило акт его утверждения в этой роли. Но термин «посадиша», по-моему, указывает еще на один существенный момент. Андрей Дорогобужский был свой князь, неподвластный литовскому правительству. Следовательно, официальное признание его власти смоленскими жителями знаменовало выход из литовского подданства, означало формальный, юридический отказ от присяги на верность Литовскому государству и представлявшему его авторитет в Смоленске воеводе Андрею Саковичу. Фактически эта присяга была уже нарушена черными людьми тогда, когда они начали восстание. Теперь фактическое положение дел получало правовое, политическое оформление. Тем самым антифеодальное движение вступало в новую, высшую фазу.

Трудно сказать, какие порядки установились в Смоленске. Только сопоставляя между собой предшествующие и последующие события, можно предположить, что князь-воевода выполнял главным образом военные функции, а основную роль во внутренней жизни города играли черные люди, настроенные антибоярски и стремившиеся не допустить возвращения в Смоленск выброшенных оттуда народом представителей феодальной знати.

Между тем «замятня» в Литве закончилась. Великим литовским князем был избран Казимир—Андрей Ягайлович. В связи с этим бояре, бежавшие в Литву из Смоленска, решили попытаться снова там водвориться. Момент, выбранный для этого, казался им удобным: утверждение на литовском великокняжеском столе (после периода междоусобий) князя расценивалось ими как восстановление литовского владычества в Смоленске. Но черные люди не пустили бояр в город, и они были вынуждены удалиться в свои вотчины («они же розьехалися по своемь селомь»). По-видимому, «чернь» все же крепко держала власть в своих руках и не хотела от нее отказываться. А раз так, то, надо думать, она была достаточно организована и обладала должными навыками для антифеодальной и национальной борьбы, имевшей давние традиции.

Бояре со своей стороны не оставляли попыток сломить сопротивление горожан. Летопись лаконично замечает: «и затымь быс брань велика («была битва великая») межи бояр и черных людеи», «и чор-

ные люди заперлися на городе». Началась настоящая осада местными землевладельцами Смоленска, широкие массы ремесленного населения которого упорно отстаивали свое право на руководящую роль в городе.

Это был уже третий этап смоленского антифеодального восстания. Если на первом этапе черные люди свергли власть литовских ставленников и освободились от гнета местных феодалов, а на втором этапе направили свои усилия на обеспечение независимости города от чужеземного господства и организацию собственной власти, то теперь им приходилось отстаивать свои завоевания от феодальной знати, стремившейся вернуть утраченные позиции.

Классовая борьба под Смоленском принимала все более острый и напряженный характер. Черным людям Смоленска становилось все труднее отражать натиск сил господствующего класса. Сдавленные кольцом осады, они искали выхода и нашли его в обращении к помощи одного из литовских князей—Юрия Лугвениевича. Он недавно вернулся из Новгорода, где был на княжении, и получил от нового литовского великого князя Казимира Ягайловича свои «отчины»—Мстиславль, Кричев и пр. Он стремился укрепиться и в других городах, находившихся в данное время под властью Литвы,—в Смоленске, Полоцке, Витебске—и в целях своего политического усиления охотно использовал классовые, внутриклассовые и национальные противоречия в русских землях, захваченных Литвой. Новгородский летописец дает следующую характеристику Юрия Лугвениевича: «он же възгордився, засяде... (в указанных городах.— *Л. Ч.*) и бяше ему не полезно и людем на мятежь велик и на брань»[1]. Здесь хорошо схвачен отмеченный выше момент, характерный для политики Юрия Лугвениевича: она в значительной мере содействовала обострению социальной и политической борьбы, которая шла в русских землях, попавших под власть Литовского государства, и из которой он стремился извлечь для себя как можно больше выгод.

По летописным данным, смоленские черные люди, «бояся бояр», старавшихся, несмотря на их сопротивление, войти в Смоленск, «призваша к собе осподарем князя Юрья Лигвенивича». Князь Андрей Дорогобужский приглашался в качестве воеводы, князь Юрий Лугвениевич—в качестве «осподаря», т. е. государя. Различные термины отражают разные политические взаимоотношения. Очевидно, Юрию Лугвениевичу предоставлялась горожанами гораздо бóльшая политическая власть, чем Андрею Дорогобужскому, являвшемуся, как мы предположили выше, не более чем военачальником. Не было, по-видимому, и процедуры утверждения Юрия Лугвениевича вечем в роли смоленского князя—процедуры, которая применительно к Андрею Дорогобужскому охарактеризована в летописи словами: смольняне «посадиша собе воеводу в Смоленску...». Время теперь было другое, Смоленск осаждали местные

[1] НПЛ, стр. 420.

феодалы. Угроза их вторжения в город являлась достаточно реальной. В таких условиях было не до политических церемоний. Кроме того, как уже указывалось выше, и объем власти Юрия Лугвениевича, и характер его взаимоотношений с черными людьми были не те, что некоторое время тому назад, когда в город вошел Андрей Дорогобужский. Очевидно, смоленскому вечу пришлось несколько поступиться своими правами, передав часть их новому князю.

Конечно, вполне законно поставить вопрос, сколь единодушным было призвание смоленскими жителями Юрия Лугвениевича. Очень вероятно, что по этому поводу среди горожан имелись расхождения, которые летопись, к сожалению, не раскрывает. Но при всем том летопись ясно указывает, что призвание Юрия Лугвениевича было актом, совершенным черными людьми. Следовательно, основная масса ремесленного городского населения считала этот акт наилучшим выходом из того трудного положения, в котором оказался Смоленск.

Какова же была линия поведения, принятая новым смоленским князем? Перед ним, как можно думать, стояли три ближайших задачи. Во-первых, чтобы укрепить свое положение в Смоленске, он должен был удовлетворить требования черных людей, отвратив угрозу возврата в город изгнанных ими оттуда бояр. В этих целях Юрий Лугвениевич при помощи бывшей при нем военной силы захватил смоленских бояр, наложил на них оковы («поимал бояр смоленских и поковал их») и конфисковал их земельные владения.

Но этот акт Юрий Лугвениевич использовал и для решения второй задачи—создания себе в Смоленской земле достаточно крепкой феодальной базы, стоя на которой он смог бы в дальнейшем более уверенно проводить свою политику в отношении горожан. Ведь социально-политическая ситуация, в которой он оказался, была очень сложна. Он стал смоленским князем в результате антифеодального восстания в Смоленске. И, заключив союз со смоленскими черными людьми, вынужденный провести мероприятия ими подсказанные, он в то же время не мог не понимать непрочность этого союза, невозможность для себя ориентироваться только на горожан и поэтому торопился создать вокруг себя круг поддерживавших его представителей землевладельческого класса. Путь для этого был выбран довольно искусный: вотчины, конфискованные у смоленских землевладельцев, Юрий Лугвениевич роздал своим боярам («имение их подаваше бояремь своимь»).

Наконец, рассматривая Смоленск как свое княжение, Юрий Лугвениевич стремился не допустить захвата его войсками великого князя литовского. И в данном случае он должен был поддерживать национально-освободительное движение смольнян и в то же время готовиться дать ему отпор, ибо это движение являлось одновременно и антифеодальным. Устранение Юрием Лугвениевичем смоленских бояр было актом, удовлетворявшим не только социальные, но и национальные требования черных людей, так как эти

бояре принадлежали к числу сторонников литовского господства. Указанный акт был в интересах и Юрия Лугвениевича, ибо он не только поднимал его авторитет в глазах черных людей, но и уменьшал ряды приверженцев великого литовского князя, которому он не хотел уступить Смоленска. В борьбе с литовским великим князем Юрию Лугвениевичу помогали смоленские черные люди, но его политика была направлена к тому, чтобы своевременно ограничить этого союзника в его социальных требованиях.

Из всего вышеизложенного ясно, что призвание Юрия Лугвениевича смоленскими горожанами (не имевшими достаточных сил для того, чтобы самим отстаивать Смоленск) помогло им продержаться в течение известного срока и в то же время создало новые предпосылки для окончательного подавления поднятого ими антифеодального восстания, носившего национально-освободительный характер.

Последний этап в истории смоленского восстания характеризуется наступлением на город вооруженных сил Великого княжества Литовского. В первый раз литовское войско подошло к Смоленску в ноябре 1440 г. В течение двух недель оно опустошало Смоленскую землю. Были разорены посады, выжжены монастыри и церкви, убито и взято в плен множество местных жителей. Но города на этот раз литовские феодалы взять не смогли и были вынуждены отступить («и много зла сотворися и поидоша прочь»)[1].

Литовское господство в Смоленске было восстановлено только в 1441 г.

* * *

Если антифеодальное восстание в Литве в 1440 г. было связано с народной освободительной борьбой против господства литовских феодалов, то восстание в Москве в 1445 г. приобрело антиордынскую направленность.

О волнениях в Москве в 1445 г. ряд летописей рассказывает более или менее одинаково. Поводом к этим волнениям послужили два обстоятельства. Во-первых, 7 июля в бою под Суздалем русское войско потерпело большое поражение от татар, и ряд русских князей, среди них великий московский князь Василий II, был взят в плен. Татарское войско двинулось к Владимиру и Мурому. Ожидался приход татар под Москву. Во-вторых, 14 июля в Москве вспыхнул страшный пожар, уничтоживший Кремль, и это вызвало большое возбуждение народа.

В некоторых летописях (например, в Ермолинской) о московском пожаре сказано глухо: «а Москва град тогда бяше вся погорела, Кремль»[2]. Но большинство летописей дает более подробное изложение бедствий, им причиненных. Пожар начался ночью и распространился настолько быстро, что сгорели все деревянные

[1] ПСРЛ, т. XVII, стр. 69, 184, 339.
[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 152.

здания («яко ни единому древеси на граде остатися»), каменные же церкви и крепостные стены во многих местах рухнули («церькви каменныя распадошася, и стены градныя каменыя падоша в мнозех местех»). Сгорела княжеская казна, погибло в огне большое количество товара, свезенного владельцами из разных городов в Москву, как наиболее надежный укрепленный пункт, из-за боязни татарского набега. Летописи отмечают гибель во время пожара многих людей, как из числа местного населения, так и пришлых, собравшихся из различных мест, с тем чтобы в Москве выдержать осаду татар: «...от многых бо градов множьство людеи бяху тогда ту в осаде». Летописи говорят, что, когда возник пожар, население оказалось как бы в клетке, потому что в Кремле разгорался огонь, а ворота были закрыты, ибо все время угрожало татарское нападение. Число погибших людей летописи определяют глухо («множество», «многое множество»). Об их социальном составе и возрасте также нет подробных данных. Имеются указания лишь в очень общей форме на «священноиноков, и священников, и иноков, и инокинь, мужеи, и жен, и детеи...»[1]

После пожара начался уход населения из Москвы. Летописи сообщают об этом в очень лаконичных выражениях, из которых, однако, видно, что хотели уйти из выгоревшего города и иногородние и местные жители, причем люди зажиточные (очевидно, феодалы, богатые купцы). Так, в Симеоновской, Софийской второй, Воскресенской, Никоновской летописях указано: «могущеи бо бежаху (в другом списке: «бежати») оставиша (в другом списке «оставивши») град, бежати хотяху...»[2]. Смысл слов «могущеи» покинуть Москву можно понимать двояко: 1) те, кто мог сделать это, имея место жительства в каком-либо ином городе; 2) те, кто обладал средствами для выезда. О мотивах ухода ряда жителей из Москвы некоторые соображения высказывает Львовская летопись: «а тут в граде бояхуся татар жити, а князь великий в полону у татар, открепитися им не о ком»[3]. Следовательно, Москва после пожара в глазах многих в ее пределах находившихся людей уже не представляла ценности в качестве крепости, способной выдержать осаду, а угроза набега татар оставалась вполне реальной. Взятие в плен татарами великого князя Василия II, казалось, особенно делало Москву беззащитной, обрекало ее участи стать татарской добычей.

Подобные настроения, разговоры и вызванное ими бегство многих лиц из Москвы явились причиной волнений среди рядовой массы городского населения («а граждане в велице тузе и волнении бяху»). Эти рядовые горожане (которых летописи называют «чернь», или «чернь, худые люди»), во-первых, проявили стой-

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 194; т. V, стр. 268; т. VI, стр. 171; т. VIII, стр. 113; т. XI, стр. 65; т. XX, стр. 258; т. XXV, стр. 263.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 195; т. VI, стр. 171; т. VIII, стр. 113; т. XI, стр. 65.

[3] ПСРЛ, т. XX, стр. 258.

кость, не поддаваясь на распространяемые слухи о татарской опасности и о том, что с пленением великого князя участь Москвы, как города, который захватят татарские войска, предопределена. Во-вторых, они стали оказывать активное воздействие на тех, кто уходил из города: задерживали их, избивали и налагали на беглецов оковы («а хотящих из града бежати начаша имати, и бити, и ковати»). Наконец, «чернь» приступила к созидательной работе— к реставрации укреплений, уничтоженных вовсе или сильно поврежденных пожаром («чернь же съвъкупишася начаша врата градния преже делати»)[1].

Картина, представленная летописями, при всей беглости зарисовок достаточно выразительна. В 1445 г. в Москве, очевидно, повторилось примерно то же самое, что там было в 1382 г. Город остался без князя. И в 1382 г., и в 1445 г. москвичи и собравшиеся в Москве многочисленные выходцы из других городов и сельских местностей с тревогой ожидали татарских полчищ. Эта угроза была одинаково реальной в обоих случаях, хотя в 1382 г. Тохтамышу удалось захватить Москву, а в 1445 г. татарское нападение не осуществилось. Обстановка, создавшаяся в Москве и в 1382 г., и в 1445 г., повторяю, была одинаково тревожной. Среди представителей господствующего класса и тогда и теперь обнаружились растерянность, страх перед надвигающимися событиями (ожидаемый подступ к городу татарских военных сил), отсутствие воли к сопротивлению врагу, стремление уйти из Москвы, чтобы избежать опасностей.

И в этой тревожной обстановке, и в 1382 г., и в 1445 г., на передовую арену развертывающихся событий выступает народ, который берет в свои руки руководство ими. Но, чтобы получить власть, он должен был применить силу в отношении тех, кто мешал избранной им линии поведения,—в отношении феодалов, богатой посадской верхушки. На основании летописных данных мы имеем право говорить, что и в 1382 г., и в 1445 г. в Москве имело место антифеодальное движение. Классовый характер выступления московских горожан в 1445 г., по летописи, проявляется даже более отчетливо, чем в 1382 г. В событиях 1382 г. город в целом противопоставляет свою позицию (обороны Москвы) феодалам. В 1445 г. среди самих горожан наблюдается различие позиций. Последовательная линия защиты столицы проводится рядовым торгово-ремесленным населением и посадской беднотой, которые в конце концов заставили подчиниться своим требованиям феодалов и экономически состоятельную часть посада.

В любом антифеодальном движении играют роль организационные вопросы. Так было и в 1382 г., и в 1445 г. В эти два ответственных момента в жизни Москвы основная масса горожан действовала организованно, благодаря чему сумела заставить

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 195; т. VI, стр. 171; т. VIII, стр. 113; т. XI, стр. 65; т. XX, стр. 258.

своих классовых врагов принять участие в подготовке столицы к обороне. Арест в 1445 г. тех, кто этому сопротивлялся, нанесение таким людям побоев, наложение на них оков—все эти мероприятия проводились с общего решения городского населения, которое действовало «съвокупишася», т. е. согласованно. Каковы же были организационные формы антифеодального выступления в Москве в 1445 г.? Конкретно летописи об этом не говорят. По аналогии с событиями 1382 г. можно думать, что в тревожные июльские дни 1445 г. известное значение в сплочении горожан и в проведении в жизнь выдвинутых ими лозунгов о быстром восстановлении общими силами разрушенных городских укреплений получило вече. Вероятно, активно действовали имевшиеся в городе профессиональные объединения: ремесленные и торговые. Во всяком случае без предположения о том, что в июле 1445 г. на сцену выступили какие-то, уже ранее имевшиеся в Москве, корпорации горожан с привычными для них методами организационной деятельности, трудно понять, как в сложнейших условиях, в которые была поставлена столица Московского княжества (пожар, чуть ли не дотла уничтоживший Кремль; со дня на день ожидаемое наступление неприятеля; социальные волнения), народ сумел так быстро направить свои усилия на восстановление крепостных сооружений и возвращение города к обычной (в военной обстановке) жизни.

Результатом выступления «черни», активно применившей в отношении бежавших суровые меры воздействия, в городе восстановилось спокойствие, и все население Москвы приступило к строительным работам: «и тако уставися волнение, но вси обще начаша град крепити, а себе пристрои домовной делати»[1]. В этой краткой фразе, как бы подытоживающей ход бурных событий, развернувшихся в городе после пожара, все чрезвычайно показательно. Прежде всего была достигнута «общность» интересов московского населения на основе совместной работы по оборонительным сооружениям в целях общенационального дела. Но совершенно понятно, что столь быстрая (если верить летописи) ликвидация социальной розни (доходившей до вооруженной борьбы между «чернью» и боярской и городской знатью), сменившейся сотрудничеством в общенациональных интересах борющихся сторон, могла произойти лишь в результате победы одной стороны, заставившей другую подчиниться своим требованиям. И действительно, победило (пусть ненадолго) антифеодальное восстание «черни», и она заставила представителей феодального лагеря принять свою программу защиты Москвы.

В этой программе бросается в глаза очень существенный момент, который отметили летописи. В первую очередь должна быть произведена реставрация городовых укреплений («начаша врата градния преже делати»), во вторую—будет вестись постройка жилых домов («пристрои домовной готовити»). На передний план

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 195.

таким образом, выдвинуты общие интересы, а удовлетворение личных потребностей считается важным, но не первоочередным делом.

На основе изучения московских событий 1382 и 1445 гг. напрашивается один важный вывод. Хорошо известно прогрессивное значение великокняжеской власти в средневековой Руси, особенно в период образования Русского централизованного государства. Но, подчеркивая это значение, нельзя забывать о творческой силе народных масс, причем проявляющейся не только в сфере производства материальных благ, в создании культурных ценностей, в борьбе с феодальным гнетом, в национальных движениях, но и в политической жизни. Государственный идеал народа был примитивен и наивен—это идеал монархии с близким и доступным для трудовых масс государем. Но когда эти трудовые массы (я имею в виду прежде всего горожан, ибо большинство сельского населения жило изолированной жизнью, в условиях патриархального быта, будучи оторвано от крупных городских центров) оставались без князя (пусть недолговременно), они не терялись, брали в свои руки власть, довольно верно (с классовой и общенациональной точек зрения) определяли свои ближайшие политические задачи и находили организационные формы и практические средства для их осуществления. Примером этому являются московские события 1382 и 1445 гг., когда «чернь» оказалась более решительной и более дальновидной, чем феодалы. Конечно, Москва—это наиболее крупный политический центр страны, и было бы неправильно наблюдения касательно роли московского городского населения в политической жизни Руси толковать расширительно, распространяя их (без достаточных оснований) на все русские города. Но не следует и недооценивать этих наблюдений и умалять политическое значение средневекового русского города.

Рассматривая городское движение 1445 г., нельзя не остановиться еще на одном моменте, сближающем его с московским движением 1382 г. В обоих случаях в Москве не было князей, но оставались княгини (в 1382 г.—супруга Дмитрия Донского Евдокия Дмитриевна, в 1445 г.—жена Василия II Мария Ярославна и его мать Софья Витовтовна). Конечно, это совпадение явилось случайностью, но не случайным было отношение и в 1382 г., и в 1445 г. к находившимся в осаде княгиням со стороны московских горожан. В 1382 г. они долго не соглашались на отъезд княгини Евдокии из Москвы, требуя, чтобы она оставалась в городе в продолжение всей осады. То же требование было, по-видимому, выдвинуто московским населением перед двумя княгинями в 1445 г. Правда, о судьбе Марии Ярославны и Софьи Витовтовны летописи сообщают разные сведения. По одной версии, они сразу после пожара отправились со своими детьми и с боярами в Ростов: «и якоже погоревшу граду, и княгини великая Софиа и великая княгини Мариа и з детми и з бояры своими идоша к граду Ростову»[1]. Другая версия (пред-

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 195; т. VI, стр. 171; т. VIII, стр. 113; т. XI,стр. 65.

ставленная Львовской летописью) изображает дело так, что княгини перешли из сгоревшего Московского кремля на посад, тут к ним явились «худые люди» из числа московской «черни», обеспокоенные начавшимся разбегом знати из города, и поставили перед ними вплотную вопрос: останутся они в осаде или уйдут из Москвы («...биша челом великой княгине Софьи и Марии и прочим, сидети им с ними, или камо хотять и те бежати»?)[1]. Этот вопрос в изложении летописца звучит скорее как требование оставаться в Москве. И нет оснований сомневаться в том, что такое требование народом было действительно предъявлено. Мария Ярославна и Софья Витовтовна «с прочими княгинями» (по Львовской летописи) согласились (а правильнее думать, вынуждены были согласиться) не покидать города («обещашеся сидети с ними в осаде», «а града не хотяху оставити»).

Почему «худые люди» настаивали на присутствии великих княгинь в Москве до конца осады? Вероятно, потому, что это, во-первых, должно было приостановить от побега других представителей феодального лагеря, а во-вторых, поднять настроение населения, оставшегося без князя. Авторитет княжеской власти был велик, и присутствие в городе семьи князя (попавшего в плен), которая разделяет с москвичами тяжести осадного времени, не могло не быть воспринято положительно разными разрядами населения. С другой стороны, уход княгинь со всем их окружением из Москвы должен был бы произвести весьма неблагоприятное впечатление.

Более рискованно другое предложение, что «худые люди» хотели задержать в Москве княгинь как заложниц до возвращения великого князя (если он вернется).

Львовская летопись приписывает княгиням Марии Ярославне и Софье Витовтовне инициативу возвращения всех тех, кто хотел покинуть Москву («а бежати хотящих повелеша им възвращати...»), но подобное утверждение опровергается большинством летописей, согласно которым действительным инициатором этого явился народ.

* * *

Значительные волнения произошли в 1445—1446 гг. в Новгороде. О них подробно рассказано в Новгородской четвертой летописи.

В 1445 г., когда русское войско было разбито под Суздалем, когда погорела Москва и произошло антифеодальное восстание московских черных людей, неспокойно было и в Новгороде. Тверские войска воевали в Новгородских волостях. В самом Новгороде был голод. Цены на хлеб поднялись, а скоро он вообще исчез с рынка. Народ дошел до полного истощения. Началась повальная смертность от голода. «И бысть скорбь и туга крестьяном велми, толко слышати плачь и рыдание по оулицам и по торгоу; и мнози от глада

[1] ПСРЛ, т. XX, стр. 258.

падающе оумираху, дети пред родители своими и отци и матери пред детми своими». Те, кто избежал голодной смерти, бежали в Литву и в другие страны, многие за хлеб продавались в рабство купцам («...ис хлеба даяхуся гостем»)[1]. Одной из причин такого тяжелого положения, в котором оказалось новгородское население, являлась феодальная война.

Бояре притесняли народ, грабили население. Усилился судебный произвол. «А в то же время,—читаем в Новгородской четвертой летописи,—не бе в Новегороде правде и праваго суда, и восташа ябедници, изнарядиша четы и обеты и целованиа на неправду, и начаша грабити по селам, и по волостем, и по городу»[2]. От чтения летописи остается впечатление, что в условиях феодальной войны начался разгул боярства, боярский произвол не знал границ и удержу. И в результате поднялся народ—крестьяне, горожане, добивавшиеся улучшения своего положения. «И бе по волости изъежа велика, и боры частыя, кричь и рыдание, и вопль, и клятва всими людми на стареишины наша и на град наш, зане не бе в нас милости и суда права»[3].

В другой своей работе я пытался показать, что усиливавшиеся народные волнения заставили боярское правительство провести в Новгороде судебную реформу. В 1446 г. была переработана Новгородская Судная грамота. В нее были внесены постановления, усиливавшие контроль веча над деятельностью судей[4].

В 1446 г. или в начале 1447 г. в Новгороде произошло народное движение, вызванное обесценением монеты в связи с понижением ее веса. Согласно сообщению Новгородской четвертой летописи, «начаша людие денги хоулити серебряныя, дажде и вси новгородци, друг на друга смотря...» Этот летописный текст толкуется различными исследователями по-разному. Наиболее правильным мне представляется толкование Н. Д. Мец, которая считает, что частные денежные мастера, а за ними и обычные жители Новгорода стали портить монету, переливая ее и выпуская неполноценные по весу серебряные деньги[5]. Делалось это, очевидно, потому, что цены на продукты росли, а денег у народа, для того чтобы их приобрести, не хватало. Но обесценение монеты должно было вызвать новый подъем рыночных цен и еще большее обеднение населения. Это привело к народным волнениям, к обострению классовых противоречий между феодалами и богатыми купцами, с одной стороны, и черными людьми—с другой.

Новгородское правительство решило провести денежную реформу. Специально выделенным денежным мастерам было поручено (под контролем посадников, тысяцких, веча) произвести перече-

---

[1] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 440.
[2] Там же, стр. 440—441.
[3] Там же, стр. 441.
[4] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 2, стр. 393—395.
[5] *Н. Д. Мец*, Монеты великого княжества Московского середины XV в. Василий II (1425—1462), М., 1955 (рукопись), стр. 185—188.

канку, монеты, вернувшись к тому весу, который был принят до ее порчи. С населения, приносившего монету для перечеканки, бралась специальная пошлина. Это привело к новым убыткам для горожан и крестьян, которые при перечеканке неполноценной монеты в полноценную получали денежную сумму меньшей номинальной стоимости по сравнению со сдаваемой на монетный двор, а кроме того, платили особую пошлину государству. Поэтому летописец говорит, что в связи с денежной реформой в Новгороде «бысть крестьяном скорбь велика и оубыток в городе и по волостем». Память о народном бедствии, по словам летописца, не забудется вовеки («да и сие не забвено будет и в последних родех»)[1].

В дальнейшем выяснилось, что при перечеканке денег были допущены новые злоупотребления, о которых в Новгородской четвертой летописи сказано следующее: «того же лета новгородци охулиша сребро, рубли старыя и новыя; бе денежникам прибыток, а сребро пределаша на денги, а у денежников поимаша посулы»[2]. Н. Д. Мец считает, что в данном случае речь идет о порче металла, из которого выделывалась монета[3]. Виновниками такой порчи были бояре, под контролем которых работали денежники. Подкупив бояр, денежники получили большую прибыль от перечеканки денег. А народ снова оказался ограбленным. Опять поднялись цены на продукты. Собравшись на вече, народ потребовал ответа за совершенные преступления от посадника Сокиры, а тот в свою очередь решил свалить ответственность на «ливца и весца серебряного» Федора Жеребца. Напоив последнего вином, очевидно, с тем чтобы он давал показания в нужном для посадника направлении, Сокира привел его на вече. Там денежник был подвергнут публичному допросу («...начаша сочити: на кого еси лил рубли?»). Население требовало, чтобы он назвал имена тех, кто вместе с ним обманывал народ или покрывал его злоупотребления. По словам Новгородской четвертой летописи, «ябедники и посулники радовахуся, толко бы на кого выговорили». Федор Жеребец оговорил 18 человек в качестве соучастников своего преступления по порче монеты. Народ казнил их, сбросив с Волховского моста в реку, конфисковал их имущество, как находящееся в их домах, так и спрятанное в церквах. Перепуганные бояре, вместе с Федором замешанные в порче монеты, но пока уцелевшие, стали требовать от него (под угрозой смерти), чтобы он взял вину на себя и других денежников. По-видимому, под воздействием «безправдивых бояр» Федор Жеребец заявил на вече: «на всех есми лил и на вси земли, и весил с своею братьею ливци». Словом, он признал, что порча монеты приняла широкие размеры. Жеребца казнили, поделив в церкви его имущество. Но в Новгороде долго продолжался «мятежь велик». «Тогда бе всь град в сетовании мнози...»[4].

---

[1] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 442—443.
[2] Там же, стр. 443.
[3] *Н. Д. Мец*, указ. соч., стр. 188—190.
[4] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 443—444.

В 1443 г. произошли волнения в Можайске, куда пришло много голодных людей из Твери[1].

§ 13. Завершение и итоги феодальной войны второй четверти XV в.

В условиях обострения классовых противоречий на Руси развертывался третий этап феодальной войны. Большое влияние на ее ход оказало поражение, понесенное Василием II от татарского войска под Суздалем. От Суздаля татары отправились через Владимир и Муром к Нижнему Новгороду. Оттуда Орда Улуг-Мухаммеда отошла в августе 1445 г. к Курмышу. Василия II и князя Михаила Андреевича татары захватили с собой. Поражение и пленение великого князя использовал в своих интересах Дмитрий Шемяка, который завел сношения с Улуг-Мухаммедом. Летописи говорят о том, что последний прислал к Дмитрию Шемяке посла Бегича. Речь шла, очевидно, о признании ханом Шемяки в качестве великого князя всея Руси. По словам Симеоновской и некоторых других летописей, Шемяка «рад быв, и многу честь подав ему [ханскому послу], желаше бо великаго княжениа, и отпусти его с всем лихом на великаго князя...». Львовская летопись прямо говорит, что Шемяка отпустил от себя Бегича, условившись с ним о том, «чтобы великому князю убиену быти, а ему сести на великом княжении»[2]. Вместе с Бегичем Дмитрий Шемяка отправил к Улуг-Мухаммеду своего дьяка Федора Дубенского, который должен был договориться с ханом о том, чтобы «князю великому не выити на великое княжение». Великокняжеский стол рассчитывал занять Шемяка.

Бегич несколько задержался в Муроме, а в Орде Улуг-Мухаммеда прошел слух, что он убит. Между тем Василию II удалось договориться с Улуг-Мухаммедом об отпуске его из плена и о разрешении ему вернуться на великокняжеский стол. Великий князь принял на себя тяжелые обязательства в отношении Улуг-Мухаммеда, обещав ему внести за себя большой денежный выкуп («дати ему с себе окуп сколко можеть») и (как видно из дальнейших событий) передать татарским князьям ряд русских городов в кормление. На таких условиях Улуг-Мухаммед в октябре 1445 г. освободил Василия II, князя Михаила Андреевича «и прочих, колико их с ними было». Вместе с освобожденными русскими князьями хан послал «послов своих, многых князеи с многыми людьми»[3], которые рассчитывали поживиться за счет русского населения.

Во время пребывания Василия II в татарском плену Дмитрий Шемяка, помимо переговоров с Улуг-Мухаммедом, делал и другие шаги к занятию великого княжения. Так, им был заключен договор с князьями Василием и Федором Юрьевичами, внуками суз-

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 151. Подробнее см. стр. 157—158 настоящей книги.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 195; т. XX, стр. 258.
[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 195.

дальского князя Василия Кирдяпы. Основная политическая цель договора сводилась к восстановлению под властью двух названных лиц Нижегородско-Суздальского княжества в старых территориальных пределах времени Дмитрия Константиновича, на правах великого княжения. Принимая во внимание, что Нижний Новгород был пунктом, где в 30—40-х годах XV в. укрепился Улуг-Мухаммед со своей Ордой, можно думать, что проект о реставрации великого Нижегородско-Суздальского княжества был с ним согласован. Характерно, что суздальским князьям, по рассматриваемой докончальной грамоте, было предоставлено право самостоятельных сношений с Ордой: «а Орда нам, господине, знати собою»[1]. Очевидно, в программу Шемяки входило расчленение государственной территории, находившейся под властью московских князей, на самостоятельные княжества.

О возвращении Василия II на Русь в ряде летописных сводов содержатся очень краткие известия: «того же лета выиде князь великыи»; «тое же осени выиде из Орды князь великии Василеи Васильевичь и с ним князь Михаило Андреевич». В Тверском сборнике при всей лаконичности сообщения о выходе Василия II из татарского плена правильно схвачено основное: освобождение великого князя дорого обошлось русскому народу, который должен был доставить средства, необходимые для его выкупа («...приихал из Орды на Москву князь великии Василеи Васильевичь, а с ним татарове, дани имати великиа, с себе окуп давати татаром»)[2].

В ряде московских летописных сводов приход на Русь Василия II изображается подробно и тенденциозно, как радостное событие для всего русского народа. Такая нарочитая трактовка событий, очевидно, объясняется тем, что авторитет Василия II в различных общественных кругах в это время был сильно подорван и его военными неудачами, и его связями с татарскими князьями. Поднимая престиж незадачливого князя, московские летописцы выполняли в интересах тех феодалов, которые были сторонниками государственной централизации, определенную классовую и политическую задачу: они возвеличивали великокняжескую власть и подчеркивали ее якобы общенародный характер.

По-видимому, сам Василий II не был уверен в том, что ему будет оказан доброжелательный прием в Москве, и поэтому предварительно послал в Москву Андрея Плещеева к своей матери, жене, детям, «также и к братьи своеи, и к бояром, и к всем людем» с известием, что его «царь пожаловал, отпустил на его отчину, на великое княжение»[3]. Интересен и еще один факт, свидетельствующий о неуверенности и настороженности Василия II. Один из служивших ему литовских панов—Юрий Драница—хотел «выкрасти князя великаго у татар» и предложил ему переправиться в его «отчину»

[1] ДДГ, стр. 119—121, № 40; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 128—132.

[2] ПСРЛ, т. XXIV, стр. 183; т. V, стр. 268; т. XV, стр. 492.

[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 195.

Окою на судне. Но Василий II отказался и предпочел отправиться посуху, верхом, в сопровождении татар, чувствуя себя под их охраной в бóльшей безопасности[1].

В то время как Василий II ехал в Москву, посол Шемяки дьяк Федор Дубенский вместе с ханским послом Бегичем плыли по Оке, направляясь к Улуг-Мухаммеду. В пути Бегич был захвачен и арестован муромским наместником князем В. И. Оболенским. Летописи по-разному рассказывают, как это произошло. Судя по Ермолинской летописи, о местонахождении Бегича, остановившегося на ночлег, сообщил в Муром Василий II. Посланцы муромского наместника задержали ханского посла сонным «и отведоша его во град, а после утопиша его»[2]. По Львовской и другим летописям, Бегичу и Федору Дубенскому, когда они находились за Муромом в направлении Нижнего Новгорода, стало известно, что Василий II, освобожденный ханом, идет в Москву, чтобы занять великое княжение. Тогда они повернули обратно к Мурому, где князь В. И. Оболенский велел заковать Бегича[3]. Ясно одно, что жители Мурома были недовольны действиями Орды Улуг-Мухаммеда, и жертвой этого недовольства стал ханский посол.

Через Муром и Владимир Василий II прибыл в Переяславль, где его, по данным ряда летописей, торжественно встретили мать, жена, сыновья «и вси князи и бояре его, и дети боярские, и множество двора его от всех градов». Летописи подчеркивают, что в связи с возвращением из плена великого князя «бысть радость велика всем градом русским»[4]. Я уже указывал, что приведенная летописная версия является тенденциозной и верить ей нельзя. Напротив, все говорит за то, что Василий II был встречен населением настороженно, а скоро он утратил точку опоры во всех общественных кругах. Его блок с татарскими феодалами и основанная на этом блоке политика вызывали всеобщее осуждение. Поддерживать великого князя скоро стало некому.

17 ноября 1445 г. Василий II прибыл в Москву, и вскоре уже Дмитрий Шемяка организовал против него новый заговор. Он использовал при этом широкое недовольство населения и тем, что Василий II обещал уплатить в Орду большую денежную сумму (доходившую до 200 тысяч рублей серебром), а теперь этот долг надо было покрыть, и тем, что великий князь привел с собой на Русь много ордынских князей, которых нужно было содержать. Летописи сохранили те призывы, которыми Шемяка привлекал на свою сторону лиц, враждебно настроенных к великому князю. Шемяка, по сообщению Ермолинской летописи, «почя крамолу воздвизати, и всеми людми мясти, глаголюще, яко князь велики

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 152.
[2] Там же.
[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 195.
[4] ПСРЛ, т. V, стр. 268; т. VI, стр. 171—172; т. VIII, стр. 113—114; т. XII, стр. 65—66; т. XX, стр. 258—259.

всю землю свою царю (хану) процеловал и нас, свою братью»[1]. Предлагая своим сообщникам свергнуть Василия II с великокняжеского стола, Дмитрий Шемяка указывал, что после этого можно будет не платить за него денег в Орду. «...Мысль князя Дмитрея Юрьевичя Шемяки» была якобы такова: «...что примати великаго князя, а царю не дати денег...»[2]. Как рассказывают Симеоновская и некоторые другие летописи, захватив в свои руки Василия II, заговорщики заявили ему: «...се сътворихом християнства деля и твоего окупа; видевше бо се татари, пришедшии с тобою, облегчат окуп, что ти царю давати»[3]. По сведениям Новгородской четвертой летописи, сообщники Дмитрия Шемяки, арестовав Василия II, предъявили ему следующие обвинения: «Чему еси татар привел на Рускую землю, и городы дал еси им, и волости подавал еси в кормление? А татар любишь и речь их паче меры, а крестьян томишь паче меры без милости, а злато и сребро и имение даешь татаром»[4].

Во всех приведенных летописных текстах представляют интерес три момента. Во-первых, отчетливо выступают основания, руководствуясь которыми народ осуждал поведение Василия II. Это— его близость к ордынским феодалам, обязательство удовлетворить запросы большой денежной суммой, пожалования им «в кормление» городов и волостей Северо-Восточной Руси. Во-вторых, ясно, что Дмитрий Шемяка и его сообщники, действуя в своих своекорыстных целях, старались изобразить себя борцами за общенародное дело, за интересы «всех людей», всего «христианства». И, в-третьих, надо отметить, что эта тактика заговорщиков, по-видимому, обеспечила им на какое-то время сочувствие не только узких групп феодалов, но и более широких кругов населения.

В Симеоновской и некоторых других летописях указывается также, что, помимо обвинений, предъявленных Василию II, о которых говорилось выше, Дмитрий Шемяка приписывал ему мысль о передаче хану Москвы и других русских городов и земель, за исключением Тверского княжества, якобы предназначенного стать великокняжеской «отчиной» («...царь на том отпустил великого князя, а он к царю целовал, что царю сидети на Москве и на всех градех русскых, и на наших отчинах, а сам хочеть сести на Тфери»)[5]. Невозможно допустить, чтобы в рассматриваемое время действительно существовал подобный проект. Орда была уже в это время слишком слаба для того, чтобы добиваться его реализации, а Русь достаточно сильна, чтобы помешать его осуществлению. Но Дмитрий Шемяка, для того чтобы организовать заговор против Василия II, мог распространять подобные слухи. Причем следует особенно подчеркнуть, что эти слухи должны были волновать не

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 152.
[2] Там же.
[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 198.
[4] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 443.
[5] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 196.

только представителей феодального лагеря, но и рядовых горожан, народ и прежде всего посадское население Москвы. Ведь только что оно приложило все усилия к тому, чтобы в июле 1445 г. отстоять Москву от татарского набега, и вдруг теперь Москве—столице Руси—грозит участь сделаться одним из ханских улусов, причем этому содействует сам великий князь московский! Можно думать, что такого рода настроения общенародного характера облегчили Шемяке его действия: устранение Василия II с великокняжеского стола, занятие им самим великого княжения, а главное—удержание Москвы в своих руках на сравнительно длительный срок (последнего не мог добиться отец Шемяки—князь Юрий Дмитриевич).

Исходя из вышеизложенного, вопрос о социальной основе заговора Дмитрия Шемяки 1446 г. надо расчленить. Во-первых, необходимо обрисовать ту более широкую общественную среду, действуя в которой Дмитрий Шемяка мог осуществить свои намерения. Во-вторых, следует раскрыть социальный состав более узкого круга ближайших единомышленников Дмитрия Шемяки, опираясь на которых он реализовал свой план.

Лаконичные указания летописей на то, что Шемяка «почя всеми людми мястити», что «мнози же и от москвич в думе с ним бяху...», что ему принесла присягу «чернь»[1], являются достаточным показателем сочувственного отношения к Шемяке значительной части населения Москвы. Оно было явно обмануто выдвинутыми им лозунгами национальной борьбы и не смогло разгадать его действительных намерений.

Летописи определяют и состав ближайших единомышленников Дмитрия Шемяки. Это—князь Иван Андреевич можайский, ряд великокняжеских бояр (среди них в летописях названы в первую очередь Никита Константинович Добрынский с братьями и Иван Старков), гостей, старцев Троице-Сергиева монастыря. Дмитрий Шемяка и Иван можайский вошли в контакт с великим князем тверским Борисом Александровичем, который «бысть единомысленик с ними»[2].

Князь Иван Андреевич уже не в первый раз изменял Василию II. Последний весьма настороженно относился к можайскому князю. Не случайно по возвращении из татарского плена 17 ноября 1445 г. московский великий князь оформил докончание как с ним, так и с его братом, князем Михаилом Андреевичем верейским и белозерским[3]. Но, несмотря на заключенный с великим князем договор, Иван Андреевич явился одним из наиболее активных участников сколоченного против него Дмитрием Шемякой оппозиционного блока—лицом, которому была поручена организация ареста и ослепления Василия II.

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 152; т. XVIII, стр. 196.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 196.

[3] ДДГ, стр. 121—126, № 41—43; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 133—137.

Великий князь тверской Борис Александрович был заинтересован в ослаблении московской великокняжеской власти. Такое ослабление позволило бы ему расширить территорию своих владений и укрепить политический престиж Тверского княжества. Зимой 1444—1445 гг., когда московские военные силы вели борьбу с Ордой Улуг-Мухаммеда, тверские войска «повоевали» 50 Новгородских волостей, разграбили земли около Бежецкого Верха и Торжка, захватили Торжок. После того как Василий II в августе 1445 г. был взят татарскими войсками в плен, Борис Александрович, «прислав своих воевод на Торжок, останок людей разгна и пограби, а иныя погуби, а иныя на окуп подая». В это время в Тверь было вывезено из Торжка 40 повозков «животов и товара московьского и новгородчкого и новоторьского», «а иныя павоскы потопиша в реце с товаром». Новгородский летописец подчеркивает, что за два года (1444—1445) военные силы, посланные великим князем Борисом Александровичем, разорили 80 волостей в пределах Бежецкого Верха и Заборовья[1]. Перейдя к активному наступлению на пограничные с Тверским княжеством земли, в которых были заинтересованы не только новгородское правительство, но и великий князь московский, Борис Александрович вступил в связь с противниками последнего.

У нас очень мало данных о том, по какой линии шел раскол московского боярства, часть которого примкнула к Дмитрию Шемяке, часть осталась верной Василию II. Я думаю, что изложенные мною выше (при анализе политической борьбы 30-х годов XV в.) соображения о двух группах бояр, выдвигавших две разных программы внутренней и внешней политики, остаются в силе и при рассмотрении событий 1446 г. Следует, мне кажется, при этом добавить, что теперь число сторонников Василия II должно было уменьшиться, ибо его военные неудачи привели к ослаблению Руси и ухудшению ее внешнеполитического положения.

Связь галицких князей с московскими гостями возникла не впервые при Дмитрии Шемяке. Брат последнего, князь Юрий Дмитриевич, брал у гостей и суконников в долг деньги[2]. Во время борьбы с Василием II старшего брата Шемяки—князя Василия Косого гости и суконники «вскоромолили на... великого князя» (следовательно, поддержали его противника) и в знак протеста ушли из Москвы в Тверь[3]. В 1446 г. гости явились участниками заговора, организованного против Василия II Дмитрием Шемякой. Чем объяснить такую позицию части гостей в отношении московского великого князя? Думаю, что по крайней мере двумя причинами: одной—более общего характера, другой—связанной с конкретной обстановкой 1446 г. Первая причина заключается в том, что, принадлежа к высшим слоям горожан, гости по своему эконо-

---

[1] НПЛ, стр. 426; ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 440, 442.
[2] ДДГ, стр. 77, № 30.
[3] Там же, стр. 104, № 36.

мическому положению и политическим интересам в значительной степени приближались к боярам, приобретали в собственность земли, населенные крестьянами, заражались боярскими интересами, принимали участие в боярских группировках. Политика московских великих князей (начиная с Дмитрия Донского), направленная к установлению непосредственной связи великокняжеской власти с горожанами, упразднение должности тысяцкого, тесно связанного с верхушкой купечества,—все это наносило известный ущерб прерогативам городского патрициата в лице гостей. Отсюда—колеблющаяся политика гостей и выступавших против московских князей, и нуждавшихся в их поддержке, ибо без такой поддержки вообще не могли развиваться города.

Взрыву недовольства гостей политикой Василия II в 1446 г. способствовали конкретные результаты его деятельности или, может быть, вернее, его бездействие как правителя и воина. Гости должны были, по-видимому, участвовать в доставке средств для уплаты выкупа за освобождение Василия II из татарского плена. Наплыв татар на Русь, размещение Орды Улуг-Мухаммеда в районе Среднего Поволжья затрудняли для гостей ведение торговли по Волге с Востоком. Наконец, в памяти у гостей были волнения посадского населения, имевшие место в Москве в 1445 г., в связи с поражением великого князя в бою под Суздалем. Вот конкретные поводы «крамолы» части гостей в 1446 г.

В третьей главе монографии я указывал на связь московских гостей со старцами Троице-Сергиева монастыря, выходившими в значительной своей части из боярской среды. Эта связь проявилась и в участии, принятом и представителями крупного московского купечества и троицкими монахами в заговоре против Василия II. Расположенный на территории Серпуховско-Боровского удельного княжества, Троице-Сергиев монастырь являлся местом пострижения для ряда бояр, часть которых была близка к удельным князьям. Не удивительно, что среди монастырской братьи оказались сторонники Дмитрия Шемяки, а самый монастырь стал ареной, где разыгрался наиболее драматический эпизод «Шемякиной смуты»—захват заговорщиками великого князя, который затем был ослеплен в Москве.

Конкретная картина ареста заговорщиками Василия II дана в летописных сводах в двух редакциях: краткой и пространной. Имеются в летописях и промежуточные между краткой и пространной редакциями рассказы. Краткое описание рассматриваемых событий, происходивших в феврале 1446 г., сводится к тому, что Василий II уехал в Троице-Сергиев монастырь, а в это время Дмитрий Шемяка и Иван можайский подошли ночью с «ратию» к Москве и захватили «изгоном» город. Дмитрий Шемяка объявил себя великим князем. Заговорщики «поимали» великокняжеских бояр, детей боярских, захватили мать и жену Василия II. Затем Шемяка послал князя Ивана Андреевича с вооруженными людьми в Троице-Сергиев монастырь, где он должен был задержать Василия II.

Можайский князь выполнил это поручение, «поимал» великого князя и «нужею» привез его в Москву, где тот был ослеплен. Дети Василия II—Иван и Юрий, бывшие с ним в монастыре, убежали вместе с доброжелателями московского великого князя—боярином Иваном Ивановичем Ряполовским и другими—в Муром. Василия II с женой Дмитрий Шемяка отправил «в заточение» в Углич, а мать его заточил в Чухломе. Все население Москвы (князья, бояре, дети боярские, гости, «чернь») было приведено к присяге Дмитрию Шемяке[1].

Не все в приведенном лаконичном рассказе ясно: почему Василий II уехал из Москвы, как была взята Москва, как реагировало на захват города местное население, все названные вопросы остаются открытыми. Больший материал для ответа на поставленные вопросы дает пространная редакция летописного рассказа, но этот материал весьма тенденциозно подобран и препарирован. Автором пространного рассказа был кто-то из близких к московскому великому князю лиц. Поэтому он изображает Василия II невинным страдальцем, а тех, кто выступал против него,—крамольниками и узурпаторами власти. Однако, освободив изучаемый пространный летописный текст от политической тенденции и литературной риторики, можно постараться воссоздать реальную картину событий и в какой-то мере устранить те неясности, которые возникли при знакомстве с краткой редакцией того же текста.

Заговорщики деятельно готовились к захвату Василия II и, выбрав в качестве своей резиденции Рузу, установили связь со своими единомышленниками в Москве и наблюдение за великим князем. В Симеоновской и других летописях говорится: «...начаша князи [Дмитрий Шемяка и Иван можайский] и с своими съветникы безвестно въоружатися, и искати подобна времени, како бы изгонити великаго князя». Львовская летопись указывает, что заговорщики организовали стражу по дорогам, ведущим к Москве, приказывая задерживать тех, кто направляется в город, и пропускать едущих из города. «Се все творяху, дабы не было вести про них великому князю»[2].

Когда в середине февраля 1446 г. заговорщикам стало известно, что Василий II с сыновьями «и с малыми зело людми» отправился в Троице-Сергиев монастырь, они сразу напали на Москву. В этом сообщении поражает исключительная беспечность и недальновидность Василия II. Вообще все, что нам известно об этом князе, не свидетельствует о его способностях к правительственной деятельности, об умении ориентироваться в сложных обстоятельствах и быстро находить правильное решение. Но в данном случае он ведь прямо шел навстречу планам врага! Возникает, по-моему, правдоподобное предположение, что выезд Василия II из Москвы

---

[1] ПСРЛ, т. V, стр. 268; т. XV, стр. 492; т. XXIII, стр. 152; т. XXIV, стр. 183—184; УЛС, стр. 79—80.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 196; т. XX, стр. 259.

был ловко подготовлен его противниками, действовавшими согласованно в Рузе и в Москве.

Не совсем понятны обстоятельства взятия Москвы ратными людьми, приведенными Дмитрием Шемякой и Иваном можайским. Судя по Львовской летописи, дело произошло совсем просто, даже чересчур просто. Дмитрий Шемяка якобы подошел к городским воротам, толкнул их и на вопрос сторожа, кто стучит, назвал себя. Тогда сторож отворил ворота[1]. Более правдоподобна версия Симеоновской и некоторых других летописей, которые указывают, что заговорщиков впустили в город их «единомышленики». Тогда становится понятным, почему Дмитрий Шемяка и князь Иван можайский не встретили в Москве сопротивления («не бяше... противящагося им...»)[2]. В городе у них было много сторонников, и почва для их вступления в Москву была подготовлена.

Однако летописи отмечают, что первые же действия князей заговорщиков и сопровождавших их ратных людей должны были весьма разочаровать тех, кто возлагал какие-то надежды на их вступление в Москву. В городе начались грабежи, от которых пострадали не только находившиеся в городе мать и жена Василия II, не только бояре, но и рядовые горожане («и иных многых и гражан пограбиша»)[3].

Той же ночью Дмитрий Шемяка послал Ивана Андреевича можайского «с многыми людми своими и его» в Троице-Сергиев монастырь, где он должен был захватить Василия II и доставить его в Москву. Интересно, что в то же время в Троице-Сергиев монастырь выехал один из великокняжеских слуг, Бунко, с тем чтобы предупредить великого князя о грозящей ему опасности. Характерно, что незадолго перед этим Бунко «отъехал» от великого князя на службу к Дмитрию Шемяке. То обстоятельство, что сейчас он снова переметнулся на сторону Василия II, показывает, что среди слуг, принадлежавших «двору» Дмитрия Шемяки, намечались первые признаки разлада.

Обстоятельства захвата Василия II в Троице-Сергиевом монастыре князем Иваном Андреевичем можайским с его сообщниками (в первую очередь с Н. К. Добрынским), изложенные в пространном летописном рассказе[4], представляют собой в бóльшей мере бытовой, чем исторический интерес, поэтому я не стану на них останавливаться.

Сразу по вокняжении Дмитрий Шемяка послал гонцов («поклонщиков»,—как говорит Новгородская летопись) в Новгород, очевидно, с тем, чтобы договориться с новгородским правительством о дальнейших взаимоотношениях. Летопись указывает далее, что новгородское правительство со своей стороны отправило послов

---

[1] ПСРЛ, т. XX, стр. 259.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 197.
[3] Там же.
[4] Там же, стр. 196—198; т. VI, стр. 172—174; т. VIII, стр. 115 — 117; т. XII, стр. 67—69.

в Москву, и великий князь тверской Борис Александрович задержал их в своем княжестве, продержал четыре месяца «на опасе» и только после этого отпустил[1]. Приведенные летописные сведения при всей их лаконичности представляют несомненный интерес. Видно, что с вокняжением Шемяки нарушилась привычная система политических взаимоотношений на Руси. Шемяка обращается с «поклоном» в Новгород, князь Борис тверской опасается установления союзных отношений между Московским княжеством и Новгородской республикой. С другой стороны, сам тверской князь стремится войти в непосредственную связь с Новгородом. Разрабатывается проект новгородско-тверского докончания[2]. Если принять во внимание еще то обстоятельство, что с вокняжением Шемяки было восстановлено Суздальско-Нижегородское княжество, то правомерным явится вывод об усилении в рассматриваемое время тенденций к политическому обособлению от московского центра отдельных русских земель, об укреплении их самостоятельности.

Проявлением тех же центробежных тенденций явился отъезд ряда русских феодалов, враждебных Шемяке, в Литву. Туда ушел удельный князь Василий Ярославич серпуховско-боровский, у которого в Литве были родственные связи по матери—дочери Ольгерда. В пределы Литовского государства отправился князь Семен Иванович Оболенский. Наконец, не захотел служить Дмитрию Шемяке Федор Басенок. Будучи арестован, он подкупил своего пристава, убежал «из желез», пробрался к Коломне, связался там со своими «приателями» «и многых людеи подговорив с собою, пограби уезды Коломенскые», а в конце концов направился в литовские владения. Польский король и великий князь литовский Казимир передал князю Василию Ярославичу «в отчину» Гомель, Стародуб, Мстиславль «и иные многые места». Василий Ярославич в свою очередь уступил Брянск С. И. Оболенскому и Федору Басенку[3]. Вряд ли можно рассматривать все эти побеги как начало борьбы русских феодалов за возвращение Василия II на великокняжеский стол. Напротив, летописи говорят, что отъезд в Литву бояр и детей боярских первоначально не был массовым, и в подавляющем большинстве дети боярские «били челом» на «службу» Дмитрию Шемяке[4]. Поэтому несколько неожиданным и противоречащим всем приведенным выше фактам являются слова летописи: «...все людие негодоваху о княжении его [Дмитрия Шемяки]... и на самого мысляху, хотяше великаго князя Василья на своем государьстве видети»[5]. Здесь явное смещение исторической перспективы.

---

[1] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 443.

[2] ГВНП, стр. 36—38, № 20; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 317—323.

[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 199.

[4] ПСРЛ, т. VI, стр. 174.

[5] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 199.

Центром оппозиции Дмитрию Шемяке был Муром, где после захвата князем Иваном можайским Василия II укрылись сыновья последнего вместе с боярами и детьми боярскими из числа сторонников свергнутого великого князя. Среди таких сторонников летописи называют князя Ивана Ивановича Стародубского-Ряполовского с братьями Семеном и Дмитрием, Василия Михайловича Шею, Юрия Романовича Каменского, Юрия Федоровича Кутузова[1]. Желая ликвидировать очаг оппозиции в Муроме, но сделать это без применения вооруженной силы (чтобы не произвести отрицательное впечатление на население), Дмитрий Шемяка решил прибегнуть к посредничеству церкви. Он послал в Муром рязанского епископа Иону (которого обещал в дальнейшем возвести на митрополичью кафедру), с тем чтобы тот привез в Москву сыновей Василия II, которым будет предоставлена «отчина... доволна». Описывая поездку Ионы в Муром, летописи приводят рассуждения князей Стародубских-Ряполовских по поводу того, как им поступить в связи с требованием Шемяки. Видно, что силы у боярской оппозиции были незначительны, и бояре боялись заявить открыто свое неповиновение князю Дмитрию: «аще мы... не поидем к князю Дмитрию с сими великаго князя детми, и он, пришед ратью, город възмет и сих, поимав, что хощеть, то сотворить им, тако же и отцу их, великому князю, и нам всем... и что будеть крепость наша...?»[2] Ясно, что власть Дмитрия Шемяки была еще достаточно крепка.

Враждебная Дмитрию Шемяке Львовская летопись рассказывает, что он собирался детей Василия II «топити... в реце Волзе, в мех ошивши»[3]; только заступничество митрополита Ионы спасло их от гибели, и они были отправлены к отцу, находившемуся в заточении в Угличе. В других летописных сводах вышеизложенная, мало правдоподобная версия отсутствует и просто указывается, что князь Дмитрий не выполнил своего обещания о предоставлении сыновьям Василия II «отчины» («слово свое изменил в всем...») и выслал их с тем же Ионой в Углич[4]. Только после этих событий (происходивших в мае 1446 г.) можно говорить об известной активизации московских бояр и детей боярских, враждебных Шемяке. Они организовали в июне 1446 г. заговор, поставив перед собой задачу освободить из угличского заточения Василия II. В числе заговорщиков летописи называют князей Стародубских-Ряполовских, Ивана Васильевича Стригу-Оболенского, Ивана Васильевича Ощерю Сорокоумова-Глебова, Дмитрия Васильевича Бобра Сорокоумова-Глебова, Юрия Драницу, Семена Филимонова-Морозова, Михаила Яковлевича Русалку Филимонова-Морозова и др. По летописным сведениям, к заговору оказались причастны «многые дети боярскые двора великаго князя». Очевидно, к середине 1446 г.

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 152.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 199.
[3] ПСРЛ, т. XX, стр. 260.
[4] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 200.

слуги великокняжеского «двора» оказались отстраненными от активной политической жизни боярами и детьми боярскими, прибывшими в Москву вместе с Дмитрием Шемякой. Экономическое и политическое положение московских бояр и детей боярских значительно ухудшилось, и они решили активно действовать, защищая свои права. Но сил у них было пока еще явно недостаточно. Попытка освободить Василия II, сделанная в конце июня 1446 г., окончилась неудачей, и в конечном итоге заговорщики через Новгородскую землю ушли в Литву. Литовская «отчина» князя Василия Ярославича становится центром, куда в дальнейшем стекаются недовольные Дмитрием Шемякой русские феодалы. При дворе Василия Ярославича разрабатываются проекты о том, «как бы выняти великаго князя»[1].

Помимо светских феодалов, Дмитрий Шемяка должен был считаться и с феодалами духовными. Церковь представляла собой крупную социально-экономическую, политическую и идеологическую силу. И не случайно Дмитрий Шемяка постарался опереться на нее в то время, когда против него стало нарастать движение московских бояр и детей боярских. Этим и объясняется созыв Дмитрием Шемякой осенью 1446 г. в Москве совещания из представителей высшего духовенства по вопросу о дальнейшей судьбе великого князя Василия II. В Ермолинской летописи так говорится об этом совещании: «Князь Дмитреи, видя себя отвсюду обидима и от всех наругаема и поносима, зане неправедне вьзем великое княжение и великого осподаря израдив на крестном целовании, и прииде во умиление, созвав епископы и анхимандриты со всее земьли и честныя игумены...»[2]. Приведенный текст весьма тенденциозен и не может рассматриваться как доброкачественный исторический источник. Дмитрий Шемяка рисуется раскаявшимся грешником, оказавшимся в изоляции и переживавшим трагедию одиночества, которая досталась ему в удел как возмездие за все совершенные им преступления. В действительности созыв совещания представителей высшей церковной иерархии был актом политическим. Устраивая это совещание, Дмитрий Шемяка хотел укрепить свое положение на великокняжеском столе, добившись поддержки со стороны влиятельных князей церкви. И это ему удалось сделать.

Выше не раз уже говорилось о том, что феодальная церковь на Руси была силой, активно содействовавшей государственной централизации на основе укрепления крепостнических отношений. И в рассматриваемой сейчас ситуации церковные иерархи стремились сплотить господствующий класс, найдя соответствующую форму политических взаимоотношений между борющимися за власть князьями. Такая форма была найдена. Василия II было решено освободить из заточения. В сентябре 1446 г. Дмитрий Шемяка взял

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 200.
[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 153.

с него присяжную запись («...укрепи великого князя крестными грамотами») и передал ему «в вотчину» Вологду—город, сравнительно удаленный от Москвы. Летописи говорят, что Шемяка устроил в честь Василия II большой пир, на котором присутствовали видные представители высшей церковной иерархии и крупной светской феодальной знати и рядовые служилые люди («бяху же ту и вси епископи земли Русскиа, и бояре мнози и дети боярскые»). Описанное летописями торжество имело политический смысл. Это было нечто вроде феодального съезда. После длительной феодальной войны устанавливался как будто устойчивый политический порядок. «Крестное целование» Василия II Дмитрию Юрьевичу Шемяке было закреплено в присутствии влиятельных князей церкви, бояр, детей боярских «проклятыми грамотами» (т. е. клятвой в верности за поручительством епископов)[1].

* * *

С освобождением Василия II из заключения, т. е. с сентября 1446 г., можно говорить о существенном переломе, происшедшем в положении Дмитрия Шемяки. Он стал лишаться поддержки тех различных общественных слоев, на которые опирался раньше. Резиденция Василия II—Вологда сделалась тем местом, куда съезжались сторонники Василия II, а число их все увеличивалось. В Ермолинской летописи говорится: «...и поидоша к нему [Василию II] множество людеи со всех стран, князи, и бояре, и дети боярьские, и молодые люди, кто ему служывал и пакы кто не служивал, вси иже зряще нань, плакахуся такова велика государя, честна и славна по многим землям, видяше в толице беде суще». В этом летописном сообщении явно идеализируется личность Василия II—человека довольно бесцветного и ничтожного как правитель, не пользовавшегося ни популярностью среди широких масс населения, ни авторитетом в феодальных кругах. Очевидно, не сожаление о плачевной судьбе великого князя привлекало к нему новых сторонников, а что-то другое. Людской же наплыв в Вологду был действительно весьма значителен. Обращаясь от витиеватого рассказа Ермолинской летописи к лаконичным известиям летописи Типографской, мы и из последней узнаем, что к Василию II «бояре его наехавше, и вси людие»[2].

Объяснение тому обстоятельству, что широкие массы феодалов стали покидать Дмитрия Шемяку и переходить на сторону Василия II, надо искать в экономическом положении страны и в социальных взаимоотношениях в ней, сложившихся к рассматриваемому времени.

Длительная междоусобная война и политика галицких князей, содействовавшая государственной децентрализации, привели к хо-

[1] ПСРЛ, т. XX, стр. 260; т. XVIII, стр. 201; т. V, стр. 269.
[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 153; т. XXIV, стр. 184.

зяйственному упадку Северо-Восточной Руси, особенно ее центральных областей, к ухудшению положения широких народных масс, крестьян и горожан. Были расстроены финансы. По взятии Москвы в феврале 1446 г. Шемяка со своими приспешниками растратили государственную казну. В дальнейшем, не имея денежных средств и в то же время испытывая в них нужду, правительство Дмитрия Шемяки стало на путь выпуска серебряной монеты пониженного веса. Н. Д. Мец рассмотрела в своем интересном исследовании о монетной системе Московского княжества в 1425—1462 гг. известия новгородских летописей о социальных волнениях в Новгороде в конце 1446 г., вызванных тем, что стала выпускаться монета пониженного веса и выделанная из неполноценного металла. При этом она пришла к выводу, что подобные же волнения происходили и в Москве[1].

Усиливалось налоговое обложение, вызывавшее побеги крестьян и запустение сел и деревень. Так, в жалованной грамоте Василия II митрополиту Ионе, выданной не ранее 1448 г., говорится, что принадлежащие ему восемь сел в Юрьевском уезде «опустели от татар да от потугов не по силе». Вследствие этого крестьяне указанных сел «разошлись по иным местом, а живущих деи людей осталося мало»[2].

В другой своей работе я пытался показать, что в период феодальной войны усилился массовый расхват феодалами черных крестьянских земель. Это была острая борьба среди представителей господствующего класса за землю и феодальную ренту. В связи с этим обострялись классовые противоречия. Усиливались «разбои» и «татьба» как формы их проявления.

В народе сохранилось воспоминание о тяжелых для населения судебных порядках, установившихся при Шемяке (взяточничество, вымогательство, притеснения судьями населения). Конечно, такие порядки не представляли собой чего-либо характерного для политики, проводившейся именно Шемякой. И при других князьях судьи не отличались особенным нелицеприятием. Но, очевидно, с вокняжением Дмитрия Шемяки в Москве, в условиях общей хозяйственной разрухи и государственной децентрализации, усилился и судебный произвол. До нас дошел интересный литературный памятник—Повесть о Шемякином суде. Судились два брата земледельца—богатый и убогий. Желая задобрить судью, бедняк при допросе по каждому делу показывал судье камень, завернутый в платок, а судья думал, что убогий сулит ему золото, и поэтому постарался решить дело так, чтобы удовлетворить обвиняемого.

Перед нами демократическая сатира на феодальное судопроизводство, причем ряд исследователей считали прототипом судьи Шемяки галицкого князя Дмитрия Юрьевича Шемяку. С пересмотром этой традиционной точки зрения выступил недавно

---

[1] *Н. Д. Мец*, указ. соч., стр. 185—192.
[2] АФЗХ, ч. 1, стр. 129, № 145.

И. П. Лапицкий, который датирует разбираемую повесть 60-ми годами XVII в. и видит в ней сатиру на приказно-воеводский суд этого времени. Что касается имени Шемяки, то И. П. Лапицкий считает, что это одно из имен, весьма распространенных в XVII в., не имеющих никакого отношения к галицкому князю XV в. Дмитрию Юрьевичу[1]. Свою точку зрения И. П. Лапицкий доказывает путем анализа юридических и бытовых терминов, имеющихся в Повести о Шемякином суде, а также выражаемых ими правовых институтов, которые якобы ведут нас к XVII в. Доводы И. П. Лапицкого мало убедительны. В документах XV в. фигурируют упоминаемые в Повести термины, а в судебной практике встречаются соответствующие им понятия. Это можно утверждать в отношении анализируемых И. П. Лапицким слов: «земледелец»[2], «пристав», «езд»[3], «приказ»[4], «истец», «ответчик»[5], письменная «челобитная» («жалобница»)[6] и т. д.

Значительный налоговый гнет, хозяйственное разорение, судебный произвол—все это тяжело отражалось на положении крестьян и вызывало среди них недовольство политикой господствующего класса. К этому надо еще прибавить, что оставался невыплаченным долг Василия II Улуг-Мухаммеду, а пришедшие на Русь вместе с названным князем татарские князьки и феодалы по-прежнему притесняли население. В послании духовенства, направленном Дмитрию Шемяке в декабре 1447 г., говорится, что Шемяка, «злохитръствуя на своего брата стареишего на великого князя» (Василия II), упрекал последнего, что благодаря ему «татарове изневолили нашу отчину Москву». В то же время, по мысли послания, сам Шемяка виноват в том, что «татарове во християньстве живут». «...И те слезы християнские вси на тобе же»,—демагогически заявляют церковные иерархи, обращаясь к Шемяке[7].

Феодальная война привела к расстройству товарного обращения в стране, что, естественно, не могло не отразиться на положении горожан, купечества. Из грамоты Василия II Кириллову-Белозерскому монастырю середины XV в. узнаем, что во время

---

[1] *И. П. Лапицкий*, Повесть о суде Шемяки и судебная практика XVII в. (Труды ОДРЛ, вып. VI, М.—Л., 1948, стр. 60—99).

[2] См., например, в сборнике XV в. Троице-Сергиева монастыря, № 762, л. 145 рукописного собрания Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина: «И не токмо окрест обители живоуще и кацеми недоугы съдръжими исцеление получают и от земледелець получивше мнозе работають на монастырь потребнаа».

[3] См. в Судебнике 1497 г. «Указ о езду» (ст. 30). О приставах говорится в ст. 32 и других того же памятника.

[4] См. в ст. 2 Судебника 1497 г.: «А которого жалобника а не пригоже управити, и то сказати великому князю, или к тому его послати, которому которые люди приказаны ведати».

[5] См. АСЭИ, т. I, № 540, 583—592, 594, 595, 604, 607, 607а, 615, 635, 639, 651, 658.

[6] См. АСЭИ, т. II, № 296: «И судьи возрили в жалобнице, и в жалобнице пишет...».

[7] АИ, т. I, стр. 79, № 40.

феодальной войны прервались торговые связи между Устюгом и Вологдой («...коли не тихо в земле, ино и Кирилова монастыря лодья с Вологды на Устюг и на Двину не ходила же с товаром»[1]). В жалованной грамоте Великого Новгорода Троице-Сергиеву монастырю (выданной не ранее 1448 г.) на беспошлинный провоз товаров по Двине содержится указание двинским боярам, житьим людям, купцам «боронить» монастырского «купчину и его людей, как своих», особенно в том случае, «коли будет Новъгород Великии с которыми сторонами немирен»[2] (т. е. в случае феодальных усобиц).

Все вышеизложенное дает основание говорить, что к осени 1446 г. социально-экономическая обстановка на Руси была чрезвычайно неблагоприятной для господствующего класса. Перенапряжение народных сил и разорение Руси в условиях двадцатилетней феодальной войны вели страну к упадку. Хозяйственный и политический кризис, который переживала Русь на более поздней стадии развития феодализма—на рубеже XVI и XVII вв., привел к первой широкой крестьянской войне. В середине XV в., когда еще слишком сильна была хозяйственная и политическая изолированность отдельных районов, условия для такой крестьянской войны в масштабе всей страны отсутствовали. Но обострение социальных противоречий объективно побудило господствующий класс к решительным действиям по преодолению внутренних феодальных междоусобий, дальнейшей государственной централизации и укреплению единовластия. Для этой цели сплотились все феодальные силы: церковь, боярство, широкие слои служилых людей. Движению, направленному против Дмитрия Шемяки, был придан характер общенационального дела. В качестве стимула борьбы был выдвинут лозунг восстановления на великокняжеском столе Василия II как законного правителя.

Феодальная церковь взяла на себя задачу идеологического обоснования начал наследственной монархии. В цитированном уже выше послании духовенства к Дмитрию Шемяке 1447 г. выступления галицких князей против Василия II приравниваются по своей преступности к согрешению первого человека Адама, которому дьявол вложил в сердце идею «равнобожества». Когда князь Юрий Дмитриевич галицкий проявил «тщание... на начальство великого княжения», то он уподобился Адаму с его «самомнетельством обожения». Экскурсы в область библейских преданий сочетаются в послании духовенства Дмитрию Шемяке с рассуждениями, приравнивающими поведение его и его отца к действиям современных нарушителей общественных порядков—«разбойников», «татей». По словам послания, дьявол «вооружил» Шемяку на великого князя Василия II «желанием самоначалства, разбоинически нощетатством изгонити его, на крестном целованьи».

---

[1] ДАИ, т. I, № 186.
[2] ГВНП, стр. 151, № 95.

лия II на великое княжение, послание объясняет заботу о свергнутом князе заботой о народе, так как от галицких князей «всему православному христьяньству... въначяле истома и великие убытки почали быть»[1].

Поддержка церкви очень помогла Василию II в его борьбе за великокняжеский стол. Из Вологды Василий II отправился на Белоозеро, побывал в Кирилловом и Ферапонтовом монастырях, заручившись поддержкой монастырской братьи. Речь, вероятно, должна идти не только о том, что духовенство взяло на себя идейную подготовку похода Василия II против Шемяки, но и о том, что оно в какой-то мере финансировало этот поход.

С Белоозера Василий II уже не вернулся в Вологду, а направился по приглашению тверского князя Бориса Александровича в Тверь. Там Василий II и Борис Александрович договорились о союзе, скрепленном браком сына первого, Ивана, и дочери второго, Марии. Очевидно, в данных условиях, когда число сторонников Шемяки резко сократилось и значительная часть русских феодалов приняла сторону Василия II, Борис Александрович решил извлечь пользу из сложившейся ситуации, взяв на себя инициативу восстановления Василия II на великокняжеском столе и предоставив ему Тверь как пункт, откуда должно было начаться его наступление на Москву. Тем самым Борис Александрович мог контролировать действия Василия II. Тверь стала местом сбора ратных сил, стекавшихся к московскому князю.

В это время началась агитация за возвращение на Русь и среди тех русских князей и бояр-эмигрантов, которые несколько ранее бежали в Литву. Еще не зная о предоставлении Дмитрием Шемякой Василию II в качестве удела Вологды, русские эмигранты во главе с князем Василием Ярославичем решили освободить его из Углича. Местом сбора для русских князей и бояр, которые хотели совершить эту операцию, была выбрана Литовская волость Пацин. Из летописей видно, что находившиеся в Литовской земле русские эмигранты активно поддерживали связи с Русью и получали оттуда соответствующую информацию. Когда в Литве стало известно, что Василий II находится в Вологде, а затем, что он отправился оттуда в Тверь, князь Василий Ярославич и другие русские эмигранты двинулись на Русь. В Ельне к ним присоединился татарский отряд, предводительствуемый союзниками Василия II—царевичами Касымом и Ягупом. Последние когда-то служили Василию II и теперь решили идти ему на выручку «за преднее его добро и за его хлеб»[2].

Дмитрий Шемяка и Иван можайский, желая сохранить за собой Москву, выступили с военной силой к Волоколамску, ожидая там противников. Но авторитет Дмитрия Шемяки все более падал. Многие слуги убежали от него из-под Волоколамска в Тверь.

---

[1] АИ, т. I, стр. 76—77, № 40.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 202.

Между тем Василий II послал к Москве отряд под предводительством боярина Михаила Борисовича Плещеева, который в декабре 1446 г. взял столицу. Наместник Дмитрия Шемяки бежал, а наместник Ивана можайского был задержан при попытке к бегству и арестован. Слуги Дмитрия Шемяки и Ивана можайского были заключены в оковы, а московские «гражане» приведены к присяге на имя Василия II. Так быстро захватить Москву великокняжескому отряду удалось, по-видимому, только потому, что ее население было на данном этапе весьма враждебно настроено по отношению к Дмитрию Шемяке.

Узнав о взятии Москвы войсками Василия II, Шемяка и Иван можайский бежали в Галич, затем в Чухлому, а оттуда (захватив с собой в качестве заложницы находившуюся в Чухломе мать Василия II Софью Витовтовну)—в Каргополь.

Василий II, направивший войско против Дмитрия Шемяки и Ивана можайского, соединился под Угличем с войском князя Василия Ярославича, а под Ярославлем—с отрядом царевичей Касыма и Ягупа. Послав к Дмитрию Шемяке посла с требованием отпустить Софью Витовтовну (на что тот вынужден был согласиться), Василий II в феврале 1447 г. вступил в Москву.

Вернув великое княжение, Василий II в целях политической изоляции Дмитрия Шемяки попытался связать с собой сетью союзных договоров удельных князей, которых великий князь привлекал на свою сторону земельными пожалованиями. Так, в середине 1447 г. Василий II заключил соглашения с верейским и белозерским князем Михаилом Андреевичем и с князем серпуховским и боровским Василием Ярославичем. Тогда же были оформлены докончания Василия II с великим князем рязанским Иваном Федоровичем[1].

Через князей Михаила Андреевича и Василия Ярославича Василий II завел переговоры с Дмитрием Шемякой и Иваном Андреевичем можайским и в июле 1447 г. добился заключения с ними перемирия, а в сентябре того же года—оформления мирных договоров[2].

Перемирие с Василием II было для Шемяки лишь ловким тактическим ходом. Он не прекращал враждебных действий против Василия II. Готовясь к продолжению борьбы с ним, Шемяка опять завел сношения с князем Иваном Андреевичем можайским, посылал послов в Новгород и в Вятку с просьбой о военной помощи, подговаривал к выступлению против московского великого князя казанского царевича Мамотяка. Не выполняя условий договора с Василием II, Шемяка не возвращал ему захваченных им великокняжеской казны и княжеского и боярского имущества. В Москве у тиуна Дмитрия Шемяки были найдены присланные последним

[1] ДДГ, стр. 126—128, № 44; стр. 129—140, № 45; стр. 142—145, № 47.

[2] Там же, стр. 140—142, № 46; стр. 146—148, № 48. Разбор перечисленных докончальных грамот см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 138—144.

грамоты с предписанием перезывать к нему на службу великокняжеских слуг. Обвиняя Василия II в покровительстве татарам, Дмитрий Шемяка отказывался по предписанию великого князя платить дань в Большую орду[1] хану Седи-Ахмеду. Задержав у себя посла казанского хана, Шемяка внес разлад в московско-казанские отношения.

Василий II передал дело о нарушении Шемякой договорной грамоты на суд высшего духовенства. От имени последнего в декабре 1447 г. было составлено обращение к Шемяке с предложением подчиниться великому князю[2]. Великий князь хотел использовать против своего противника влияние церкви как крупной политической и идеологической силы феодального общества. В борьбе Василия II и Дмитрия Шемяки церковь явно приняла сторону последнего.

Враждебную Василию II деятельность развивал и князь Иван можайский. В начале 1448 г. через своего тестя, князя Федора Львовича Воротынского, он завел сношения с Казимиром IV. Иван Андреевич обещал последнему, если тот его «посадить на великом княженьи на московском», признать себя его вассалом («писатися» в докончальных грамотах его «братом молодшым»), уступить ему Ржеву и Медынь и оказывать военную помощь против его «неприятелей»[3].

В начале 1448 г. московский великий князь открыл военные действия против Шемяки и выступил в поход по направлению к Галичу. Из Костромы Василий II начал с Шемякой переговоры. По летописному рассказу, Шемяка, «убоявся, начат миру прошати», «целовал крест» великому князю и выдал на себя «проклятые грамоты» (т. е. поклялся не нарушать мирного договора с Василием II под угрозой божьей кары)[4]. Такие же «проклятые грамоты» выдал Василию II Иван можайский[5]. Итак, желая принудить своих противников к прекращению военных действий, Василий II опять апеллировал к авторитету церкви.

Новая вспышка борьбы между Василием II, с одной стороны, и Дмитрием Шемякой и Иваном можайским—с другой, относится к началу 1449 г. Шемяка, «преступив крестное целование и проклятые на себя грамоты», подступил «с многою силою» к Костроме. Взять город Шемяке не удалось, ибо там находилась сильная «застава»—«многие дети боярские, двор великого князя». Вскоре в поход против Шемяки выступил сам великий князь, взявший с собою «епископов, и братию свою, и [татарских] царевичев с всеми силами». Когда великокняжеские полки подошли к селу Рудину,

---

[1] В это время Золотая орда уже распадалась на ряд отдельных политических образований.

[2] АИ, т. I, стр. 75—83, стр. 40.

[3] ДДГ, стр. 149—150, № 50.

[4] ПСРЛ, т. VI, стр. 178; т. VIII, стр. 121; т. XI, стр. 73—74; т. XVIII, стр. 23; т. XXIII, стр. 153.

[5] ДДГ, стр. 150—155, № 51.

близ Ярославля, Шемяка переправился на ту же сторону Волги. Но дело до сражения не дошло, и, по глухому указанию летописи, противники «тако смиришася»[1]. По лаконичному летописному изложению трудно судить, что́ повлияло на мирный исход столкновения. По-видимому, Василий II применил тот метод борьбы, которым пользовался и раньше: постарался разъединить своих противников. Ермолинская летопись говорит, что у Ивана можайского были колебания: поддерживать ли Дмитрия Шемяку («князь бо Иван не крепко стояше по Шемяке»). Через брата Ивана—князя Михаила Андреевича Василий II привлек его на свою сторону («отведе его от князя Дмитриа»). Иван Андреевич получил от великого князя Бежецкий Верх, который был ему пожалован еще в сентябре 1447 г., а затем отнят у него за выступления против Василия Темного на стороне Шемяки[2].

В 1450 г. московский великий князь повел свои войска на Галич. Некоторые летописи рассказывают об этом событии очень лаконично, отмечая только, что московская рать одержала победу над военными силами галицкого князя, обратив их в бегство. Так, в Тверском сборнике (под неверной датой—1449 г.) читаем: «...был бои великому князю Василию Василиевичу московскому с княземь Дмитрием Шемякою у Галича; поможе бог великому князю Василию московскому, людеи много побил, а бояр поимал; а князь Дмитрей побежал»[3]. Несколько подробнее рассказывает о сражении под Галичем Ермолинская летопись. Судя по ее данным, Шемяка сосредоточил под Галичем значительные ратные силы. Галицкий князь получил военную помощь и из Новгорода. Сражение под Галичем было жестокое. Великокняжеские войска понесли большие потери. Тем не менее победа досталась московской рати. Галич был ею взят. Дмитрию Шемяке удалось бежать, хотя он чуть было не попал в плен[4].

Наиболее подробно битва под Галичем, происшедшая в 1450 г., описана в летописях Симеоновской, Софийской второй, Воскресенской, Никоновской. Здесь говорится, что, задумав поход против Дмитрия Шемяки, Василий II первоначально двинулся (через Иледар и Обнору) к Вологде, где, по полученным в Москве вестям, находился галицкий князь. На реке Обноре Василий II, узнав, что Дмитрий Шемяка вернулся в Галич, направился вслед за ним. Когда Василий II пришел на Железный Борок, ему донесли, что Дмитрий Шемяка готовится к решительному отпору великокняжеским войскам: «город крепит, и пушкы готовит, и рать

---

[1] ПСРЛ, т. VIII, стр. 122; т. XII, стр. 74—75; т. XX, стр. 261.

[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 154. По-видимому, к этому времени относится договор Василия II с суздальским князем Иваном Васильевичем Горбатым (ДДГ, стр. 155—160, № 52). Заключая этот договор, Василий II рассчитывал ослабить позиции Шемяки среди суздальских князей (*Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 147—149).

[3] ПСРЛ, т XV, стр. 494; т. XX, стр. 261; т. XXIV, стр. 184.

[4] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 154; т. V, стр. 270.

пешая у него, а сам перед городом стоит с всею силою». Василий II в свою очередь бросил под Галич большое войско. Его возглавлял воевода князь Василий Иванович Оболенский, а с ним было «прочих князеи и воевод многое множество». Участвовали в сражении и татарские царевичи. Кровопролитная битва («сеча зла») закончилась победой московской рати, несмотря на то, что защитники Галича применяли против своих противников пушки, тюфяки, пищали, самострелы. «Пешая рать» Шемяки, выставленная им на горе, после того как эту гору взяли московские полки, была почти вся перебита. Но войти в Галич оказалось не так легко. Его население укрылось за крепостными стенами и не пускало противника («а город затворился»). Галичане сдались лишь тогда, когда к городу подошел сам Василий II со свежими силами. Летопись лаконично замечает: «пришедшу же ему [великому князю] в Галичь, гражане же предашася ему, он же град омирив, и наместникы своя посажав по всеи отчине тои...»[1] Из этой краткой заметки ясно, что сопротивление галичан было подавлено военной силой и что, следовательно, в Галицком княжестве у Дмитрия Шемяки в момент его решительной схватки с Василием II была еще значительная социальная опора.

Интересная версия о событиях 1450 г. содержится в летописи Авраамки. Здесь говорится, что до решительного наступления на Галич Василий II послал туда «изгонную рать» под предводительством князя Василия Ярославича. Тогда Дмитрий Шемяка выехал с семьей из Галича и, доехав до реки Вишера, послал в Новгород посла с просьбой предоставить убежище его жене и сыну. Получив на это согласие, Шемяка отправил семью в Новгород, а сам вернулся в Галич. Возможно предположить, что во время этой поездки Шемяка договорился с новгородцами и о военной помощи. Ведь некоторые летописи указывают на участие новгородцев в сражении под Галичем. Другое интересное указание летописи Авраамки сводится к тому, что покорение Галича было осуществлено Василием II по договоренности с тверским князем Борисом Александровичем и при его поддержке[2].

После взятия Галича московскими войсками Шемяка бежал в Новгород. Он пытался снова сделать ареной своей борьбы с великокняжеской властью северные русские области. В этих целях Шемяка стремился овладеть Устюгом. Согласно версии Устюжского летописного свода, поход Шемяки на Устюг относится к 1450 г., ко времени непосредственно вслед за его бегством из Галича в Новгород. К Устюгу Шемяка подошел по Двине в насадах. Устюжане

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 205; т. VI, стр. 178—179; т. VIII, стр. 122—123; т. XII, стр. 75.

[2] ПСРЛ, т. XVI, стр. 192. По взятии Галича Василий II, желая получить подтверждение верности ему со стороны князей Михаила Андреевича белозерско-верейского и Василия Ярославича серпуховско-боровского, заключил с ними новые договоры (ДДГ, стр. 104—175, № 56—57). Анализ этих договоров см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 150—155.

не оказали ему сопротивления («против его щита не держали»). Шемяка «город Устюг засел, а земли не воивал, а людеи добрых привел к целованию». Часть «добрых людей» не хотела «изменити» великому князю Василию и подверглась за это от Дмитрия Шемяки казни. Он ряд «добрых людей» «метал» в реку Сухону, «вяжучи камение великое на шею им». Картина интересная! Сопротивление Шемяке оказывает местная знать: феодалы, богатые купцы. Рядовая масса горожан выступает за него. Очевидно, она рассчитывает при его помощи освободиться от засилия «добрых людей».

Из Устюга Шемяка, по данным Устюжского летописного свода, отправился к Вологде, «повоевал» вологодские земли, а затем вернулся в Устюг, где прожил два года.

В 1453 г., по Устюжскому летописному своду, в Устюг направилась великокняжеская рать. Оставив в Устюге своего воеводу Ивана Киселева, Шемяка бежал в Новгород. В погоне за Шемякой великокняжеское войско прошло по Сухоне, Селенге, Кокшенге. Этот поход сопровождался массовыми казнями местного населения. Жители этих областей пострадали теперь больше, чем в то время, когда здесь действовал Шемяка[1].

Симеоновская, Воскресенская, Никоновская и другие летописи поход к Устюгу Шемяки и поход против Шемяки московских войск описывают под одним, 1452 годом. Здесь также подчеркивается, что московская рать сурово расправлялась с населением: «...землю ту всю плениша, и в полон поведоша... и... возвратишася назад все здрави с многым пленом и корыстью»[2].

В 1453 г. Шемяка скончался в Новгороде, где и был похоронен. Многие летописи указывают, что эта смерть была насильственная, что Шемяка был отравлен («умре с отравы», «умре напрасно», «даша ему лютаго зелия и испусти нужно душу»)[3]. Наиболее подробные версии о смерти Шемяки дают летописи Ермолинская и Львовская. Ссылаясь на «людскую молву», Ермолинская летопись указывает, что «зелие» для отравы Дмитрия Шемяки привез из Москвы в Новгород великокняжеский дьяк Степан Бородатый. Подкупленный повар Шемяки по имени Поганка дал ему это «зелие» «в куряти», отчего князь и умер[4]. Следовательно, инициатива отравления Шемяки принадлежала Василию II, который таким образом разделался со своим давним противником.

* * *

Феодальная война явилась серьезным этапом в процессе образования Русского централизованного государства. В результате феодальной войны произошли важные изменения в политике великокняжеской власти, в социальных отношениях.

---

[1] УЛС, стр. 82—83. См. также ПСРЛ, т. XVI, стр. 192—193.

[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 208; т. VI, стр. 179—180; т. VIII, стр. 125; т. XII, стр. 87.

[3] ПСРЛ, т. V, стр. 271, 208; УЛС, стр. 83.

[4] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 155; т. XX, стр. 262.

По окончании феодальной войны правительство Василия II провело ряд мероприятий по реорганизации податного и судебного иммунитета. Эти мероприятия рассмотрены мною в специальной работе[1]. Здесь я повторю только свои основные выводы.

У правительства Василия II не было обдуманного и последовательно проводимого плана политики в области иммунитета. Оно часто отступало от первоначального решения вопроса и заменяло его другим, в корне противоположным. И это понятно. Конец «смуты», продолжавшейся почти четверть века, поставил ряд серьезных задач перед великокняжеской властью. Решить их было не так легко. Надо было восстановить платежеспособность феодально зависимого населения, потрясенного феодальной войной и усилением эксплуатации («потугами»). Отсюда—выдача землевладельцам грамот с податными льготами. Отсюда и использование в качестве формы судебного иммунитета несудимости без всяких ограничений. Судебные и податные привилегии светским и особенно духовным феодалам в качестве метода великокняжеской политики (в частности, экономической политики) должны были способствовать восстановлению производительных сил, заселению пустующих мест и укреплению зависимости непосредственных производителей от феодалов. С другой стороны, окончание длительной феодальной войны, мешавшей политическому единству, способствовавшей росту центробежных сил, заставляло великокняжескую власть проводить политику централизации. Отсюда—лишение (полное или частичное) землевладельцев прав в пользу наместников и волостелей.

Со второй половины 50-х годов XV в. московское правительство начинает уже систематически выдавать землевладельцам жалованные грамоты с ограниченными судебными правами (несудимость с изъятием дел о «душегубстве», а в ряде случаев и дел о «разбое» и «татьбе с поличным»).

Во время феодальной войны впервые появляются жалованные грамоты, говорящие о праве истцов вызывать частновладельческих крестьян по всем судебным делам дважды или трижды в году через пристава на великокняжеский суд. Нарушение приставами установленных сроков давало крестьянам право не ездить к ответу. С середины XV в. статья о двух или трех сроках вызова приставами частновладельческих крестьян на великокняжеский суд получает распространение в жалованных грамотах. Это была одна из форм судебной централизации, связанная с усилением классовой борьбы.

После окончания феодальной войны Василий Темный и его преемник Иван III должны были увеличить земельные фонды тех групп феодалов, которые их поддерживали в борьбе за централизацию. Земли передаются великими князьями не только в вотчину, но и в держание своим слугам. Для последней цели используются

---

[1] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 2, стр. 150—159.

и земельные владения митрополичьей кафедры. Развивается условное землевладение.

Феодальная война—важный этап в развитии крепостнических отношений. После окончания феодальной войны московское правительство организовало перепись крестьянского населения в целях податного обложения. Освобождались от переписи лишь те феодально зависимые крестьяне, которые пользовались временной податной льготой. После феодальной войны московские удельные князья стали выдавать землевладельцам жалованные грамоты, которыми им или разрешалось вообще не отпускать от себя крестьян или предоставлялось право «отказывать» своих крестьян только в твердо установленный срок (Юрьев день осенний)[1]. Так отразилась феодальная война на положении основных классов феодального общества.

* * *

Время с конца XIV в. до середины XV в.—период напряженной и острой борьбы между отдельными русскими землями, сопровождавшей процесс образования единого государства. В этой борьбе отчетливо обнаруживается возросшая сила великого княжества Московского. В этой же борьбе теряет свою независимость княжество Нижегородское. Формирование единого государства происходило в сложной внешнеполитической обстановке. На Русь обрушивались один за другим удары со стороны Тохтамыша, Тимура, Едигея. Северо-западные русские земли являлись объектом литовской агрессии.

Ко второй четверти XV в. на Руси обострились классовые противоречия. Это обстоятельство заставило господствующий класс искать новых форм государственной организации для удержания народа в подчинении. Начавшаяся во второй четверти XV в. феодальная война постепенно стала переходить в войну гражданскую, втягивавшую в себя все общественные слои. Это заставило господствующий класс прекратить внутренние распри и консолидировать свои силы. С окончанием феодальной войны последовала перестройка некоторых сторон общественно-политического строя.

---

[1] *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 2, стр. 155—159.

Глава VI

ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV ВЕКА

§ 1. Политические взаимоотношения русских земель в 50—60-х годах XV в.

После окончания феодальной войны правительство Василия II уничтожило некоторые уделы в Московском княжестве. В 1454 г. Василий II организовал карательный поход на владения удельного князя Ивана Андреевича можайского «за его неисправление». Иван Андреевич с семьей бежал в Литву «к королю служити». О взятии Можайска московскими войсками в летописях говорится глухо: «а князь велики, пришед к Можайску, взят его...»; «а град изнеможе и предашася князю великому». Очевидно, серьезного сопротивления великокняжеским вооруженным силам жители Можайска не оказали. Не ясно, как вела себя московская рать в захваченном городе. Судя по Львовской или Софийской второй летописям, можно думать, что к жителям были применены какие-то репрессии (Василий II «град плени и наместников посади в нем и возвратися»). В то же время Воскресенская и некоторые другие летописи говорят, что войска Василия II не тронули населения Можайска и великий князь ограничился тем, что подчинил его своему наместнику («...и умилосердився на вся сущаа в граде том, пожалова их, и наместники своя посадив...»)[1]. Принимая во внимание тенденциозность позднейших московских летописных сводов, нарочито опускавших все известия, которые могли бы набросить тень на политику великокняжеской власти, закономерно думать, что ликвидация Можайского удела произошла уже не столь мирным путем, как это хотят представить Воскресенская и близкие к ней летописи.

Теперь в пределах Московского княжества осталось только два удела: Серпуховско-Боровский (где княжил Василий Ярославич) и Верейско-Белозерский (находившийся во владении Михаила Андреевича).

---

[1] ПСРЛ, т. V, стр. 271; т. VI, стр. 180; т. VIII, стр. 144; т. XII, стр. 109; т. XVIII, стр. 209; т. XX, стр. 262; т. XXIII, стр. 155; т. XXV, стр. 273.

В 1454 г., после взятия Можайска, Василий II заключил с князем Василием Ярославичем договор, по которому последний признал принадлежность великому князю наряду с прочими его владениями и «вотчины» Ивана Андреевича можайского[1]. Для того чтобы закрепить свой союз с серпуховско-боровским князем, Василий II передал ему Бежецкий Верх и Звенигород. Но, проводя политику подчинения удельных князей своей власти, московский великий князь через некоторое время отобрал у Василия Ярославича названные города, а в 1456 г. последний был арестован, сослан в заточение в Углич, и его удел ликвидирован. Сын серпуховско-боровского князя от первой жены Иван и вторая жена Василия Ярославича убежали в Литву. Арест серпуховско-боровского князя был произведен в Москве, куда его, по-видимому, специально вызвал великий князь[2]. Можно думать, что решение о ссылке Василия Ярославича в заточение было принято московским правительством в связи с организованным в 1456 г. походом на Новгород, когда оно стремилось предотвратить возможность открытого проявления оппозиции в уделах.

В 1462 г., уже незадолго до смерти Василия II, серпуховские дети боярские и дворяне сделали попытку освободить Василия Ярославича из Углича. Летописи называют трех лиц, стоявших во главе заговора: Владимира Давыдова, Парфена Бреина, Луку Посевьева. Заговорщики предполагали неожиданно («изгоном») напасть на Углич, «выняти... ис поиманиа» заточенного там удельного князя и бежать вместе с ним в Литву. Владимир Давыдов поддерживал связь с находившимися в Литве князьями Иваном Андреевичем можайским и Иваном Васильевичем—сыном Василия Ярославича. В марте 1462 г. Владимир Давыдов привез на Русь из Литвы список договора князей Ивана Андреевича и Ивана Васильевича, в котором говорилось о том, что они будут стремиться вернуть свои «вотчины» в пределах Русской земли и оказывать друг другу в этом деле помощь[3]. Отсюда можно сделать вывод, что Василий Ярославич со своими сообщниками должны были соединиться в Литве с русскими князьями-эмигрантами и затем совместно с ними выступить против Василия II.

Летописи подчеркивают, что число заговорщиков было значительно. На основании летописи Авраамки можно заключить, что выступление серпуховского дворянства было связано с московско-новгородскими осложнениями. Уже с середины XV в. повелось, что оппозиция московскому великому князю, шедшая из Новгорода, находила сочувственные отклики в других частях Руси. О намерении серпуховских служилых людей стало известно московскому правительству. Они были захвачены и подвергнуты

---

[1] ДДГ, стр. 179—186, № 58; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 152—153.

[2] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 455, 464; т. V, стр. 272; т. VI, стр. 181; т. VIII, стр. 147; т. XII, стр. 112; т. XVIII, стр. 147; т. XX, стр. 263; т. XXIII, стр. 155.

[3] ДДГ, стр. 199—201, № 62.

публичной мучительной казни, подробно описанной в летописных сводах. Заговорщиков били кнутом, волочили по льду, привязав к конским хвостам, отсекали им руки и ноги, отрезали носы. Некоторым отрубили головы, некоторых повесили.

Детальность летописного изображения сцены казней говорит о том, что они произвели большое впечатление на население. Ермолинская летопись указывает, что очевидцы расправы с заговорщиками были в ужасе. «Множество же народа видяще сиа, от боляр и от купець великих, и от священников, и от простых людеи, во мнозе быша ужасе и удивлении...» Подчеркивая, что подобных казней раньше на Руси не бывало («яко николиже таковая ни слышаша, ниже видеша в русских князех бываемо»), Ермолинская летопись осуждает великого князя Василия II за применение таких суровых мер воздействия к населению («...недостойно бяше православному великому оспадарю, по всеи подсолнечнои сущю, и такими казньми казнити и кровь проливати во святыи великии пост»)[1]. Если принять во внимание, что Ермолинская летопись вышла из кругов крупного московского купечества, то станет ясно, что в вышеприведенных словах слышится голос горожан, осуждающих репрессии великокняжеской власти. Становление крепостнического государства было связано с укреплением централизованного аппарата власти, с усилением карательных мер, и это вызывало протест представителей городского населения.

Участь серпуховских служилых людей вызывала сочувствие и у тех бояр северо-западных и западных русских областей, которые враждебно относились к централизаторской политике великокняжеской власти. Настроения этой части боярства нашли отражение в летописи Авраамки. В ней в весьма благожелательных к Василию Ярославичу тонах рассказывается, как он, преследуемый Василием II, страдал «в узех злех в темници», и находился «в велице беде... и в печали», и как его решили спасти «друголюбная съеветникы», которые «крови своя излияша за друголюбие...»[2]

К концу жизни Василия II в пределах Московского княжества оставался лишь один удел—Верейско-Белозерский, в котором правил князь Михаил Андреевич, покорный великому князю московскому. После смерти Василия II его сын и преемник Иван III заключил с Михаилом Андреевичем подряд один за другим два договора[3]. По первому договору Иван III утвердил за Михаилом Андреевичем его «вотчину»—Верею и Белоозеро—и дополнительно к этим владениям передал ему Вышгород. По второму докончанию число удельных владений верейско-белозерского князя было сокращено: Вышгорода великий князь его лишил.

По разделу территории Русского государства, произведенному Василием II перед смертью между его сыновьями, образовались

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 157.
[2] ПСРЛ, т. XVI, стр. 207—208.
[3] ДДГ, стр. 207—214, № 64—65.

новые уделы князей: Юрия Васильевича (Дмитров, Можайск, Медынь, Серпухов и пр.); Андрея Большого Васильевича (Углич, Бежецкий Верх, Звенигород и пр.); Бориса Васильевича (Ржева, Волоколамск, Руза и пр.); Андрея Меньшого (Вологда с Кубеной и Заозерьем и пр.)[1]. Снова завязывается борьба великокняжеской власти с удельно-княжескими притязаниями, но ее разгар приходится на 70—80-е годы XV в.

* * *

Помимо перестройки удельной системы внутри Московского княжества, великокняжеская власть стремилась к подчинению себе тех княжеств, которые еще сохраняли самостоятельность. В значительной мере великокняжеской власти удалось это в отношении Рязанского княжества. В 1456 г. умер великий рязанский князь Иван Федорович. Летописи говорят, что перед смертью он «княжение... свое рязанское и сына своего Василия приказал» великому князю Василию II. Эта формула, очевидно, означала, что Рязанское княжество по существу переходило на положение, близкое к тому, в котором находились московские уделы. Иван III взял восьмилетнего рязанского князя и его сестру в Москву, а в рязанские города и волости послал своих наместников[2]. Московские наместники управляли Рязанским княжеством в течение восьми лет. А в 1464 г., по свидетельству летописей, московский великий князь Иван III отправил подросшего рязанского князя Василия Ивановича «на Рязань на его отчину, на великое княжение». Василий Иванович рязанский женился на сестре Ивана III — Анне[3].

К сожалению, летописные известия о рязанских событиях за 50—60-е годы XV в. слишком скупы, чтобы на их основании делать выводы о том, как происходил в это время процесс включения Рязанского княжества в состав единого формирующегося Русского централизованного государства. Неизвестно, сопровождался ли указанный процесс какими-либо социальными движениями в рязанских городах и селах. Нет сведений о том, как реагировали представители разных слоев рязанского общества на приезд московских наместников. Может быть, восстановление в Рязани в 1464 г., после того как в течение 8 лет там правили наместники московских князей, местного князя-вотчича было уступкой со стороны московской великокняжеской власти рязанскому боярству или даже более широким кругам местных феодалов. Во всяком случае было бы поспешно и неосторожно на основании молчания

[1] ДДГ, стр. 193—199, № 61.

[2] ПСРЛ, т. VI, стр. 181; т. VIII, стр. 147; т. XII, стр. 111—112; т. XVIII, стр. 212; т. XX, стр. 263; т. XXIII, стр. 155.

[3] ПСРЛ, т. VIII, стр. 150; т. V, стр. 274; т. VI, стр. 185—186; т. XII, стр. 116; т. XVIII, стр. 216; т. XX, стр. 277; т. XXIII, стр. 158; т. XXIV, стр. 185; т. XXV, стр. 278.

источников заключать, что присоединение Рязанского княжества к Московскому происходило мирно и безболезненно.

Не лишено интереса, по-моему, одно наблюдение. Русские княжества и республики утрачивают свою независимость в определенной последовательности: княжества Суздальско-Нижегородское и Рязанское раньше Тверского и северо-западных республик (Новгородской и Псковской). Вероятно, это объясняется тем, что Суздальско-Нижегородское и Рязанское княжества лежали в непосредственной зоне татаро-монгольской опасности, для борьбы с которой требовалась концентрация политических сил. Такая концентрация была нужна также и в целях обеспечения для Руси возможности вести торговлю с Востоком и Югом.

Тверское княжество в 50—60-х годах XV в. сохраняло независимость. Около 1456 г. между великим князем московским Василием II и великим князем тверским Борисом Александровичем было оформлено соглашение о совместных действиях в области внешней политики: «А быти нам, брате, на татар, и на ляхи, и на литву, и на немци и заодин, и на всякого нашего недруга». В числе «недругов» указаны Иван Андреевич можайский и сын Шемяки Иван Дмитриевич. В то же время ни Василий II, ни Борис Александрович не порвали своих соглашений с Казимиром IV, заключенных в 1449 г. Перекрестными договорами друг с другом и с Литвой Московское и Тверское княжества стремились добиться политического равновесия. Борис Александрович обеспечил себе по договору 1456 г. также право самостоятельных сношений с Ордой: «А к Орде ти, брате, и ко царю путь чист, и твоим детем, и внучятом, и твоим людем»[1]. Условия московско-тверского договора 1456 г. были повторены почти без изменений в докончании, заключенном в 1462—1464 гг. между Иваном III и великим князем тверским Михаилом Борисовичем[2].

С середины XV в. московское правительство повело довольно решительное наступление на Новгородскую землю. В 1456 г. состоялся большой поход московских войск на Новгород. Во многих летописях (Софийских первой и второй, Новгородской четвертой, Тверской, Львовской) об этом походе рассказано очень коротко. Василий II во главе московских вооруженных сил остановился в местечке Яжелбицах, в 150 верстах от Новгорода. В то же время рать под предводительством великокняжеских воевод Ивана Васильевича Стриги-Оболенского с братьями и Федора Васильевича Басенка (по данным списка Дубровского, также Ивана Ильина и Михаила Иевлевича Морозова, а по данным летописи Авраамки, Семена Карамышева) действовала под Русою, где одержала победу над новгородским войском. После того как новгородцы потерпели поражение, из Новгорода к Василию II явилась с «челобитьем» о мире депутация во главе с архиепископом и посадниками. Мир

[1] ДДГ, стр. 186—192, № 59; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 154—155.

[2] Там же, стр. 201—207, № 63.

был заключен на условии уплаты Новгородом великому князю контрибуции, сумму которой разные летописи определяют в пределах от 9 до 10 тысяч рублей[1].

Весьма лаконичен рассказ о походе 1456 г., содержащийся в Ермолинской летописи. В этом рассказе представляет интерес оценка похода, которая дается летописцем с позиций, благожелательных к московской великокняжеской власти и враждебных к Новгороду. В летописи говорится, что московские «удалыи воевода новогородцев смердов били, а иных поимали и к великому князю привели и посадника их лучшаго Михаила Тучю»[2]. Слово «смерд», очевидно, употреблено здесь не в прямом его значении (крестьянин), а в качестве презрительной клички, которой летописец называет новгородцев, не желающих подчиняться московской великокняжеской власти.

Подробно события 1456 г. описаны в летописях Симеоновской, Воскресенской, Никоновской (дающих их официальную трактовку, отвечающую интересам московского правительства) и в летописи Авраамки (оценивающей те же события с позиций, враждебных великокняжеской власти).

Официальные летописные своды объясняют поход Ивана III против Новгорода желанием наказать новгородцев «за неисправление». Очевидно, имеется в виду связь новгородского боярства с Дмитрием Шемякой. Местом сбора московских ратных сил был назначен Волоколамск, куда к Ивану III явились его братья, удельные князья, «и вси князи и воеводы его со множеством воиньства». По сведениям летописи Авраамки, в походе на Новгород принял участие и полк служилых татар во главе с царевичем Мамотяком.

Симеоновская и другие летописи указывают, что в Волоколамск к Василию II явился новгородский посадник Василий Степанов «с челобитием, чтобы князь великии пожаловал, на Новъгород не шел и гнев свои отложил»[3]. Но челобитье это великим князем принято не было.

На Русу Василий II отправил «изгонную рать», численность которой летопись Авраамки определяет в 5 тысяч человек. Заняв Русу, московская рать начала грабить население. Об этом говорят летописные своды, и антимосковские, и промосковские по своей идеологии. По словам летописи Авраамки, московские воины в Русе «много зла учиниша, сребра, и злата, и порт, и всякого товара много пограбиша, а рушан почаша имати и бити и животов у них сочити»[4]. Эти сведения находят подтверждение и в Симеоновской и сходных с ней летописях. Только в них подчеркивается, что грабежи совершались без ведома великого князя.

---

[1] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 455, 464, 491; т. V, стр. 271, 272; т. VI, стр. 181; т. XV, стр. 495—496; т. XX, стр. 263.

[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 155.

[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 210.

[4] ПСРЛ, т. XVI, стр. 194.

О событиях в Русе стало известно в Новгороде. Как рассказывает летопись Авраамки, оттуда выступили в Русу «не в мнози силе бояре», житьи люди, «молодых людей немного». Во главе новгородских вооруженных сил стояли князь Василий Васильевич Шуйский, посадник Иван Лукинич Щока, тысяцкий Василий Пантелеевич, боярин Есиф Васильевич Носов. Несколько позднее вышел в поход князь Александр Васильевич Чарторыйский со «своим двором». В. В. Шуйский «и бояре новгородчкыи, которей с ним выехаша», переночевав в урочище Взвад у устья реки Ловати, сразу направились к Русе, а А. В. Чарторыйский со своей «силою» задержался в местечке Липне.

Когда новгородское войско под предводительством В. В. Шуйского подошло к Русе, по летописи Авраамки, навстречу ему вышли московские воины с татарами. У церкви Ильи святого, «на огородах», начался бой, во время которого пало 50 человек москвичей. Остальные скрылись в городе. Новгородцы кинулись за ними. На улицах и дворах города продолжалось сражение, во время которого новгородцы не заметили, как «ис поля» к городу подошел свежий московский полк. Татары стали стрелять в коней, на которых сражались новгородские всадники. Новгородцы были окружены со всех сторон противником. Были убиты Е. В. Носов, сын посадника Афанасий Богданович и др. Тысяцкий Василий Александрович Казимир был сбит с коня и бежал. Убежал в Новгород и В. В. Шуйский. Обратились в бегство новгородские дворяне, «кои куды поспел, а иных уязвиша оружьи». Посадник Михаил Туча, бояре Труфан, Никита Фаустов попали в плен и их отвели к великому князю.

А. В. Чарторыйский со своим «двором», узнав о поражении новгородцев под Русой, повернул к Новгороду[1].

Несколько иначе описывают сражение под Русой Симеоновская и близкие к ней летописи (Воскресенская, Никоновская). Согласно данным этих летописей, значительная часть московских вооруженных сил, ограбив Русу, ушла из города до прихода туда новгородцев. Там осталось всего человек 200 воинов («...сами главами своими воеводы, и дети боярские с малыми людми, без коих нелзе быти им...»). В это время к Русе подошла новгородская рать «велми велика» (численностью до 5 тысяч человек). Московские воеводы, несмотря на малочисленность своих вооруженных сил, решили сражаться, боясь, что если они уклонятся от битвы, то им придется отвечать перед великим князем за то, что они отпустили от себя с награбленным имуществом основную воинскую массу. Начался бой. Московские воины стали пускать стрелы в коней, на которых сражались новгородские всадники. Раненые лошади, «яко възбеснеша», стали метаться и сбивать с себя седоков. Новгородцы, «не знающе того боя», вели себя как омертвелые, не могли пользоваться копьями, не поднимали их кверху, «якоже есть

[1] ПСРЛ, т. XVI, стр. 194—195.

обычаи ратным», а опускали книзу, падали под туши своих лошадей[1].

Сравнивая различные летописные версии, можно прийти к одному бесспорному выводу: во время сражения под Русой обнаружилось преимущество воинского искусства московских вооруженных сил перед новгородскими. Новгородцы не владели в такой мере ратным делом, как московские воины.

В Новгороде, куда прибежали разбитые под Русой ратники, было собрано вече. Симеоновская летопись так описывает вечевое собрание: «По обычаю своему начаша звонити в вечный колокол, и снидеся весь град на вече то, посадникы, и тысячскые, и прочие вси людие, и не умеюще что млъвити, но смутишася и въсколебашася, яко пьяны, ин иная глаголаше»[2]. Летописный текст дает право на два вывода. Во-первых, ясно, что вече было многолюдным и пестрым по своему социальному составу. В нем слышался голос не только представителей господствующего класса, но и народных масс. Во-вторых, видно, что население находилось в состоянии растерянности. Делались разные предложения. Хотя Симеоновская, Воскресенская, Никоновская летописи и говорят, что на вече было единодушно принято решение отправить к Василию II архиепископа Евфимия с просьбой о «помиловании» Новгорода, в действительности часть новгородцев, по-видимому, держалась точки зрения о том, что надо продолжать войну. Поэтому (как видно из летописи Авраамки и псковских летописей) вечевое решение было двойственное: с одной стороны, послали подвойского (пристава) к Василию II просить «опаса» для новгородских послов, а с другой стороны, второй подвойский поехал в Псков за военной помощью против Василия II[3]. Трудно, за неимением прямых данных, сказать, как разделились на вече голоса по социальному признаку: каковы были требования народных масс и каковы—господствующего класса, и было ли вообще в то время четкое размежевание классовых сил. Есть одно (и то слишком случайное) указание летописи Авраамки, что пострадали под Русой и бежали в Новгород главным образом «молодые люди», которые, возможно, и были против продолжения войны[4].

Между тем московские войска захватили городки Молвотищи и Стержь. В такой обстановке находившаяся в Новгороде жена князя Дмитрия Шемяки, «убояся князя великого», покинула город и убежала в Литву. Очевидно, отход ее явился вынужденным: новгородские бояре не рисковали больше держать ее у себя, ибо это означало бы прямой вызов московскому великому князю. К последнему было направлено посольство, в состав которого

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 210—211.

[2] Там же, стр. 211.

[3] ПСРЛ, т. XVI, стр. 195; «Псковские летописи», вып. 1, стр. 53; вып. 2, стр. 49, 141—142.

[4] ПСРЛ, т. XVI, стр. 194—196; т. VIII, стр. 145—147; т. XII, стр. 110—111; т. XVIII, стр. 210—211.

входили архиепископ, посадники, тысяцкие, житьи люди. Псковские военные силы явились на помощь Новгороду с запозданием. В результате переговоров новгородских послов с московским правительством был оформлен московско-новгородский, так называемый Яжелбицкий, договор. Новгородцы, как указывалось, были обязаны уплатить московскому правительству большую контрибуцию.

В другой своей работе я подверг довольно детальному анализу текст Яжелбицкой договорной грамоты[1]. Мир, заключенный в Яжелбицах, стал поворотным моментом в развитии московско-новгородских отношений. В Яжелбицкую грамоту были включены условия, ограничивавшие и изменявшие новгородскую «старину» в интересах великокняжеской власти в области как внутреннего управления, так и внешней политики. Новгородское правительство обещало не принимать великокняжеских «лиходеев» (т. е. противников Василия II). Отмена вечевых грамот («а вечным грамотам не быти») по существу означала лишение Новгородской боярской республики законодательных прав и права самостоятельного ведения внешней политики. Выражением политической зависимости Новгорода от Московского княжества явилась замена для новгородских документов новгородской печати печатью великокняжеской.

Яжелбицкое соглашение не могло надолго урегулировать отношения между Московским княжеством и Великим Новгородом. Отношения эти оставались напряженными. Новгородское правительство заводит связи с Литовским государством. В 1458 г. новгородский посадник Иван Лукинич Щока отправился в Литву просить у короля Казимира IV «князя на пригороде». В ноябре 1459 г. в Новгород явился из Литвы князь Юрий Семенович, а вместе с ним прибыл королевский посол пан Андрей Исакович. Послу был оказан почетный прием и затем он вернулся в Литву, а князю Юрию Семеновичу новгородское правительство передало пригороды Новгорода: Русу, Ладогу, Орешек, Корелу, Ям, половину Копорья.

Но, поддерживая сношения с Литвой, новгородские правители не порывают связей и с московской великокняжеской властью. В январе 1459 г. новгородский архиепископ Иона поехал в Москву к митрополиту для утверждения в сане и вместе с ним к Василию II отправились новгородские послы. Летопись Авраамки указывает, что и архиепископ и послы были приняты в Москве «с честию».

Очевидно, в Москве новгородцы достигли какого-то соглашения с Василием II. Это соглашение меняло их отношения с литовским князем. Вероятно, поэтому в августе 1459 г. Юрий Семенович и уехал из Новгорода в Литовское государство[2]. А в январе 1460 г.

---

[1] ГВНП, стр. 39—43, № 22—23; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 356—363.

[2] ПСРЛ, т. XVI стр. 198—200.

в Новгород приехал московский великий князь Василий II с сыновьями Юрием и Андреем. Об этой поездке сохранились сведения в разных летописных сводах, причем все они особенно подчеркивают, что поездка имела мирные цели («князь великии Василеи Васильевичь был в Новгороде в Великом миром»)[1]. Летопись Авраамки указывает, что официально в качестве цели посещения Василием II и его сыновьями Новгорода выставлялось желание князей поклониться новгородским «святыням»; «якоже ему [московскому великому князю] возлюбилося к святей Софии премудрости божия на поклон, и к честным гробом, иже святых в святеи Софии лежащеи...», и т. д.[2] Демонстративно подчеркивая свой пиетет к новгородским церковным памятникам, к предметам религиозного культа, московский великий князь и его сыновья тем самым как бы демонстрировали и свое уважение к старинному политическому укладу Новгородской республики. Далее мы увидим, что эта нарочитая политическая демонстрация была вызвана необходимостью успокоить начавшиеся в Новгороде (очевидно, на почве недовольства Яжелбицким договором) волнения.

Посещение московскими князьями Новгорода освещается в ряде летописных сводов под углом зрения тех дружественных отношений между московской великокняжеской властью и новгородским правительством, которые якобы проявились в 1460 г. Так, летопись Авраамки говорит о «чести», оказанной новгородскими властями Василию II с сыновьями, и о том, что Василий II, уезжая обратно в Москву, «поклонивъся у всех седми соборов, а Новугороду отчине своеи мужемь волным такоже поклонивъся...»[3] В ряде летописных сводов в связи с описанием пребывания в 1460 г. в Новгороде Василия II с сыновьями помещается рассказ о чудесах от гроба Варлаама Хутынского. Совершенно очевидно, что материал о поездке Василия II и князей Юрия и Андрея в Новгород подвергся тенденциозной обработке, задачей которой являлось преподнесение новгородско-московских отношений в идеализированном виде. Великокняжеская власть якобы признает политическую самостоятельность Новгородской республики, относится с уважением к памятникам местного религиозного культа, освещающим самобытность новгородского политического уклада; новгородское правительство со своей стороны воздает знаки «чести», подобающей великокняжеской власти.

Как же обстояло дело в действительности? Случайные реплики, а часто просто даже намеки, имеющиеся в отдельных летописях, дают возможность говорить о том, что Василий II с сыновьями и своим боярским окружением оказался в Новгороде в довольно враждебной обстановке.

---

[1] ПСРЛ, т. V, стр. 272; т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 445, 455, 493; т. XXIII, стр. 156.

[2] ПСРЛ, т. XVI, стр. 200.

[3] Там же, стр. 201.

Князья пробыли в Новгороде 5 недель, прожив все это время на Городище. По словам Строевского списка Новгородской четвертой летописи, новгородцы тогда «на стороже жили»[1]. Эта лаконичная заметка дает право утверждать, что условия пребывания в Новгороде московских князей были не мирные, а военные. Новгородцы (неясно, правда, из приведенного текста, какая их часть в социальном отношении имеется в виду) относились к московским князьям неприязненно.

В Софийской первой летописи говорится, что «шильники» хотели убить Федора Васильевича Басенка[2], бывшего воеводой над ратью, сражавшейся в 1456 г. с новгородцами под Русой. Подробности покушения на Федора Басенка приводит Ермолинская летопись. Он «пил у посадника» и ночью возвращался от последнего на Городище. В это время «удариша на него шилники» и убили его слугу, «а сам едва утече на Городище и с товарищи». Тогда новгородцы, «слышавше гонку, и возмятошася и приидоша всем Новымгородом на великого князя к Городищу; чаяли, что князя великого сын пришел ратью на них...» Дело чуть-чуть не дошло до кровавого побоища («и едва утолишася, мало упасе бог от кровопролития»)[3].

Из вышеизложенного текста Ермолинской летописи ясно, что пребывание московского воеводы в доме новгородского посадника вызвало подозрение у ряда новгородцев, которые усмотрели в этом что-то неладное для Новгорода, испугались возможности сговора новгородских властей с московскими в ущерб интересам новгородского населения. Прошел слух о том, что сын Василия II (очевидно, Иван Васильевич, которого не было в это время в Новгороде) ведет на Новгородскую землю войско. Все это вызвало возмущение. Кто были его инициаторы и участники? Трудно сказать. Возможно, первыми подняли голос какие-то представители новгородского боярства, враждебные московской великокняжеской власти. Но затем движение приняло уже всенародный характер. Поднялся «весь Новгород».

Сделанный вывод подтверждается и данными Львовской и Софийской летописей. В них «голка» и «мятеж» в Новгороде в 1460 г. описываются следующим образом. Новгородцы «удариша в вечье и събрашися к святеи Софеи: свечашася все великого князя убити и сь его детьми». Убийство Василия II с сыновьями, судя по Львовской и Софийской летописям, было предотвращено архиепископом Ионой, который обратился к присутствующим на вече с речью: «О безумнии людие! Аще вы великого князя убиете, что вы приобрящете? Но убо большую язву Новугороду доспеете; сын бо его большей князь Иван се послышит ваше злотворение, а се часа того рать испросивши у царя, и поидет на вы, а вывоюеть землю

[1] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 1, стр. 445, 455, 493.
[2] ПСРЛ, т. V, стр. 272.
[3] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 156.

вашу всю». Выступление архиепископа якобы остановило восставших, «они же оканнии възвратишася от злыя мысли своея»[1]. Перед нами примерно такая же версия, какую дает и Ермолинская летопись. Пребывание в Новгороде Василия II вызывает недоверие новгородского населения. Носятся слухи о возможном приводе в Новгородскую землю войска князем Иваном Васильевичем. Собирается широкое вече, на котором выступает народ. Только вмешательство архиепископа приостанавливает народное движение. Расстановка социальных сил более или менее ясная: на стороне московской великокняжеской власти—представители господствующего класса (посадник, архиепископ); народ волнуется.

Во время пребывания Василия II в Новгороде в 1460 г. им был использован один метод воздействия на Новгородскую республику в целях ее подчинения своей власти—игра на новгородско-псковских противоречиях и разжигание этих противоречий. В это время начались московско-псковские переговоры, которые будут подробно освещены в специальном параграфе. Летопись Авраамки с недоброжелательством в отношении Пскова рассказывает, что «възбуяшася пьсковици в нестройне уме, наша братиа мнимая, по нашим грехом, задашася за великого князя Василья Васильевича и за его сынове, утаився своего брата старейшаго Великого Новагорода». Несмотря на волнения в Новгороде, происходившие в 1460 г. Василию II удалось добиться от новгородского правительства уплаты в 1461 г. черного бора[2].

В начале 1462 г. в Новгород приезжали великокняжеские послы, принятые по всем правилам дипломатического ритуала. Но в то же время в Новгороде опять проявилось недовольство великокняжеской политикой. Летопись Авраамки рассказывает, что «от много замышьления княжа возмущахуся новгородци и сътворше съвет...» Было решено, что для переговоров в Москву поедет архиепископ Иона, который должен был «утолити княжий съвет и гнев»[3]. Вероятно, продолжалось недовольство населения и условиями Яжелбицкого мира. Возможно, что волнения были связаны и с недавней выплатой новгородцами великому князю черного бора.

Иона не поехал в Москву, занятый сбором десятины, а Василий II воспринял это обстоятельство как прямой вызов и «нача... возмущатися от гнева на архиепископа Иону и на Великыи Новгород, что к нему не поехал...»

Лишь в конце 1462 г. новгородское правительство направило в Москву послов во главе с митрополитом Ионой для мирных переговоров с великим князем («о смирении мира»). Но из краткой реплики летописи Авраамки видно, что эти переговоры не были доведены до конца («а о блазнемь миру не успеша ничто же, далече бо от грешник спасение...»).

---

[1] ПСРЛ, т. XX, стр. 264; т. VI, стр. 181—182.
[2] ПСРЛ, т. XVI, стр. 202, 204.
[3] Там же, стр. 206—207, 211, 218—219.

Так в московско-новгородских отношениях 60-х годов XV в. уже наметились предпосылки для решительного наступления на независимость Новгородской республики, которое московское правительство повело с начала 70-х годов того же столетия.

Классовые противоречия в Новгороде в указанное время, по-видимому, не уменьшались. Правда, о них нет прямых сведений в летописях. Но косвенные данные имеются. Это—известия о многочисленных пожарах, во время которых горят дворы посадника, тысяцкого, монастырские житницы и т. д. Рассказы о пожарах летописец сопровождает высказываниями о людских «грехах» и «неправдах», о том, что «господь повержаеть гордыне», что люди должны «смириться в безаконии своем» и т. д.[1] Видно, что летописные записи отражают атмосферу острых классовых столкновений.

К 50-м годам XV в. относится подчинение московской великокняжеской власти Вятской земли. Летописи дают об этом довольно путаные сведения. Из сопоставления различных летописных текстов вытекает, что было организовано два похода московских войск в Вятскую землю: один—в 1458 г., другой—в 1459 г. Во главе первого похода стояли князья Ряполовские (большинство летописей называют Семена Ивановича Ряполовского, некоторые—Дмитрия и Ивана Ивановичей). Среди других воевод в летописях фигурируют имена князя Ивана Васильевича Горбатого и Григория Михайловича Перфушкова. Поход окончился неудачей, потому что московский воевода Г. М. Перфушков «у вятчан посулы поимал да им норовил». По краткому восклицанию Ермолинской летописи—«и то дал бог, что сами по здорову пришли»,—можно сделать вывод, что местное население оказало московской рати сильное сопротивление.

По данным Ермолинской летописи, Г. М. Перфушков был по приказанию великого князя арестован, заключен «в железа» и сослан в Муром. А в Вятскую землю в 1459 г. отправилась новая московская рать (основу которой составлял великокняжеский «двор») во главе с князем И. Ю. Патрикеевым и теми же Ряполовскими. Участвовали в этом походе и устюжане. Сравнительно быстро пали под натиском московского войска Котельнич и Орлов, долго сопротивлялся Хлынов. В конце концов вятчане «добиша челом» великому князю Ивану III «на всеи его воли»[2]. Следовательно, сопротивление вятчан было подавлено силой.

§ 2. Падение политической самостоятельности Ярославского и Ростовского княжеств

В исторической литературе существует представление, что в 1463 г. ярославский князь Александр Федорович с сыном Дании-

[1] ПСРЛ, т. XVI, стр. 205—207.

[2] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 455, 492; т. V, стр. 272; т. VI, стр. 181, т. VIII, стр. 147—148; т. XII, стр. 112; т. XVIII, стр. 212; т. XX, стр. 263; т. XXIII, стр. 156; т. XXV, стр. 276.

лом, «при посредничестве великокняжеского дьяка Алексея Полуектова, уступил свои отчины, вероятно, за соответствующее вознаграждение, великому князю»[1]. Однако в имеющихся в нашем распоряжении источниках нет данных, которые позволили бы сделать такой вывод. В договорных княжеских грамотах Ярославль начинает упоминаться в составе великого княжения не ранее 1473 г.[2]

Мнение о том, что Ярославское княжество было присоединено к княжеству Московскому в 1463 г., основывается на летописных известиях этого года, которые и следует поэтому подвергнуть анализу. При ближайшем рассмотрении того, что говорится в разных летописях под 1463 г. о Ярославле, можно прийти скорее к противоположному выводу. Ярославские князья сделали в 1463 г. попытку несколько поднять политический престиж Ярославского княжества. Осуществлена эта попытка была при помощи архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Христофора в своеобразной форме организации культа местных князей, якобы оказавшихся «чудотворцами». Под 1463 г. в разных летописных сводах содержится рассказ об открытии в Ярославле «мощей» князя Федора Ростиславича смоленского и ярославского и его сыновей Константина и Давыда. Их останки были торжественно перенесены в Спасский собор. Симеоновская и Никоновская летописи говорят об этом в протокольном стиле, заканчивая свое сообщение следующими словами: «и бяху от них многа чюдеса и различная исцеления приходящим к ним с верою и до сего дне»[3].

Подробный рассказ о перенесении «мощей» Федора Ростиславича в «церковь святого Спаса» содержится в летописях Софийской второй и Львовской. Здесь прежде всего подчеркивается активная роль в этом деле ярославского князя Александра Федоровича, который называется «старейшиной града». Затем под 1467 г. в тех же летописях рассказывается о своеобразной экспертизе «мощей», проведенной ростовским протопопом Константином по распоряжению ростовского архиепископа Трифона. Константин должен был «дозрети... чюдотворцев, како будет в теле ли лежат, како исцеления много сотворяют, не неприязньство ли действуют на прелщение человеком». Из летописного текста ясно, что миссия Константина в Ярославль была вызвана двумя обстоятельствами. Во-первых, появление в Ярославле новых «чудотворцев» подымало его церковный (а следовательно, и политический) престиж по сравнению с Ростовом, а это было нежелательно ростовским церковным властям. Поэтому, прибыв в Ярославль, ростовский протопоп прежде всего потребовал от архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Христофора, чтобы тот воздал ему «честь» как «послу владычню». Во-вторых, ростовский архиепископ, конечно, претен-

---

[1] *М. К. Любавский*, указ. соч., стр. 111.
[2] ДДГ, стр. 234, № 70.
[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 215; т. XII, стр. 116.

довал на долю тех доходов, которую Спасо-Ярославский монастырь получит с населения, приходящего на поклонение новым «чудотворцам». Константин очень беспокоился, что монастырь «сим чудотворением много богатество приобрете». Своеобразная распря ростовского архиепископа и ярославского архимандрита по вопросу о политическом влиянии и экономическом преобладании закончилась, согласно летописной версии, в пользу последнего. Когда Константин захотел «обнажить» для осмотра тела князей, он якобы потерял способность говорить и двигаться и поправился только после того, как покаялся в своем грехе. Ростовский же архиепископ, узнав о случившемся в Ярославле, также заболел, вынужден был оставить Ростов и «повеле себе везти» в Спасо-Ярославский монастырь, где и прожил до самой смерти[1].

Несомненно, что рассмотренный рассказ ставит своей задачей пропаганду роли Ярославля как церковного центра, а под религиозной оболочкой такая пропаганда была направлена к тому, чтобы возвысить Ярославское княжество политически.

Запоздалая для второй половины XV в. (когда шел процесс образования Русского централизованного государства) попытка (исходящая из среды сепаратистски настроенных кругов светских и духовных) выдвинуть на передовую арену политической жизни Ярославское княжество встретила ироническое к себе отношение на страницах Ермолинской летописи. Ирония заключается в том, что, по мысли составителя рассказа, имеющегося в указанном памятнике, культ новых «чудотворцев» привел не к тем последствиям, на которые рассчитывали его организаторы. Искусственное культивирование памяти старых ярославских князей не помогло подъему политического значения князей современных. Они скоро потеряли свои владения, перешедшие к московскому великому князю. Такая мысль выражена в крылатой фразе Ермолинской летописи: «сии бо чюдотворци явишися не на добро всем князем ярославским,—простилися со всеми своими отчинами на век, подавали их великому князю Ивану Васильевичу, а князь велики противу их отчины подавал им волости и села...»[2]

Приведенный текст интересен с двух точек зрения: 1) с точки зрения своего идейного содержания, отражающего настроения определенной социальной группы; 2) в плане значения его как источника для изучения процесса включения Ярославского княжества в состав Русского централизованного государства.

Что касается первого вопроса, то я уже указывал в главе третьей, что изучаемое место Ермолинской летописи выражает настроения московских горожан, заинтересованных в ликвидации удельной системы, уверенных в победе великокняжеской власти над сепаратистами различных феодальных центров и поэтому воспринимающих потуги последних отсрочить время своего падения

---

[1] ПСРЛ, т. VI, стр. 185—186, 187; т. XX, стр. 276—278.
[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 157—158.

как попытку с негодными средствами. Отсюда сатирический оттенок в изображении Ермолинской летописью появления в Ярославле князей-«чудотворцев».

Отвечая на второй поставленный вопрос, следует отметить, что Ермолинская летопись не дает права говорить о переходе владений ярославских князей в руки великого князя московского в 1463 г. Последняя дата фигурирует лишь в связи с рассказом об установлении в Ярославле культа князя Федора Ростиславича с детьми. А потерю ярославскими князьями их вотчин Ермолинская летопись относит явно к более позднему времени. Эта летопись указывает, что в присоединении Ярославского княжества к Московскому большую роль сыграл дьяк великого князя Алексей Полуектов. Но из летописного текста никак нельзя вывести заключения, что передача ярославскими князьями своих владений Ивану III произошла в 1463 г.: «а из старины печаловался о них [ярославских князьях] князю великому старому [т. е. Василию II] Алексей Полуектовичь, дьяк великого князя, чтобы отчина та не за ними была»[1].

Если коснуться самой формы включения Ярославского княжества в состав формирующегося единого Русского государства, то на основании материала Ермолинской летописи можно заключить, что дело свелось не только к лишению местных князей их власти, но и к замене их земельных владений другими, пожалованными им великим князем. По-видимому, с этих пожалованных вотчин они должны были нести «службу» Ивану III. Их же собственные вотчины переходили к землевладельцам, переселявшимся сюда из московского центра. Подобная земельная перетасовка в Ярославском княжестве, приведшая к внедрению в его пределы московских вотчинников, должна была укрепить там политические позиции великокняжеской власти.

Проводником великокняжеской политики в Ярославской земле явился князь Иван Васильевич Стрига-Оболенский, выступающий в Ермолинской летописи под псевдонимом «Иоанн Агафонович Сущеи». Продолжая свой рассказ в плане политической сатиры, Ермолинская летопись называет его «новый чудотворец» и «созиратаи Ярославьской земли». Этим еще раз подчеркивается комизм предпринятой в 1463 г. ярославскими светскими и духовными феодалами попытки создать культ местных «святых» князей-«чудотворцев» и тем самым сохранить политическую независимость Ярославского княжества. «Новый чудотворец», прибывший из Москвы, оказался сильнее местных князей аборигенов, как бы хочет сказать автор.

Самые чудеса «Иоанна Агафоновича Сущего» Ермолинская летопись передает следующим образом: «у кого село добро, ин отнял, а у кого деревня добра, ин отнял да отписал на великого

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 158. В более сокращенной форме текст Ермолинской летописи дан в летописи Новгородской четвертой (ПСРЛ, т. IV, стр. 148).

князя ю; а кто будет сам добр, боарин или сын боярьскои, ин его самого записал, а иных его чюдес множество не мощно исписати, ни исчести...». И далее, допуская несомненное вольнодумие в религиозных вопросах, автор рассматриваемого текста, только что наименовавший ярославского наместника «новым чудотворцем», подчеркивает, что он «во плоти» был настоящий дьявол[1].

Таким образом, и в данном случае Ермолинская летопись видит главное в политических мероприятиях московской великокняжеской власти в пределах Ярославского княжества в отписке вотчин у местных землевладельцев в целях подрыва их политической мощи. Слышится некоторая нотка осуждения действий И. В. Стриги-Оболенского как акта произвола, но эта нотка заглушается другим мотивом, в котором звучит насмешка над неудачными ярославскими князьями.

Как же реально произошло включение Ярославского княжества в состав единого формирующегося Русского централизованного государства? По-видимому, еще при Василии II там стали появляться московские землевладельцы. Одним из них был дьяк Алексей Полуектов, очевидно, являвшийся посредником между Василием II и ярославскими князьями и содействовавший тому, чтобы последние перешли на положение служебных князей в отношении великого князя московского.

После смерти Василия II ярославский князь Александр Федорович вместе с местными боярами и церковными феодалами сделал попытку несколько поднять политическое значение своего княжества. Но эта попытка вызвала ответные действия со стороны правительства Ивана III, постаравшегося укрепить свои позиции в Ярославской земле. В Ярославль был послан московский наместник князь Иван Васильевич Стрига-Оболенский. Скорее всего это произошло в пределах между 1463 и 1468 гг., так как только в 1462 г. И. В. Оболенский ушел с поста псковского наместника, а в 1468 г. мы его видим на посту воеводы в казанском походе[2].

И после появления в Ярославле московского наместника там оставался местный князь Александр Федорович, умерший в 1471 г. и похороненный в Спасо-Ярославском монастыре[3]. Таким образом, до 1471 г. мы наблюдаем в Ярославском княжестве своеобразное двоевластие, с явным, по-видимому, преобладанием роли московского наместника. Деятельность последнего способствовала укреплению в Ярославской земле крепостнических порядков. В этом отношении показателен один документ—грамота Ивана III в Ярославль И. В. Оболенскому с предписанием не разрешать никому «отказывать» крестьян Троице-Сергиева монастыря в неурочное время, кроме установленного в году срока—за неделю до Юрьева дня

---

[1] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 158. Слово «дьявол» написано тайнописью (по способу «простой литореи») как «цьяшос».

[2] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 52; ПСРЛ, т. XVIII, стр. 217.

[3] ПСРЛ, т. XXIV, стр. 188.

осеннего и в течение недели после этого праздника. В указанной грамоте Иван III называет Ярославль своей «отчиной»[1].

После смерти в 1471 г. князя Александра Федоровича Ярославль, очевидно, окончательно подчинился великокняжеской власти и с 1473 г. фигурирует в договорных грамотах великого московского князя в качестве его владения.

Вскоре произошло и включение в состав единого Русского государства Ростовского княжества. Значительная часть его уже принадлежала московским князьям и ранее. Василий II передает в 1461—1462 гг. по своему духовному завещанию «Ростов и со всем, что к нему потягло, и с селы своими» в пожизненное владение своей жене Марии Ярославне. Но частью Ростовского княжества еще владели местные князья. О них в духовной Василия II имеется следующее упоминание: «А князи ростовские то ведали при мне, при великом князи, и ин по тому и деръжат и при моеи княгине, а княгини моя оу них в то не вступается»[2].

В 1474 г., согласно летописным данным, ростовские князья Владимир Андреевич и Иван Иванович продали Ивану III «свою отчину»—«половину Ростова», остававшуюся в их владении. Московский же князь отдал эту куплю во владение своей матери Марии Ярославне, которой, как сказано, часть Ростовского княжества уже была передана по духовной ее мужа[3]. По-видимому, сосредоточение в руках московских князей разрозненных частей Ростовской земли обошлось без каких-либо волнений местного населения.

§ 3. Политические взаимоотношения московской великокняжеской власти и Псковской феодальной республики в конце 50—начале 60-х годов XV в. Восстание в Пскове в 1462 г.

В 1456 г., во время похода московских войск под предводительством великого князя Василия II на Новгород, псковские военные силы оказали помощь новгородцам в их борьбе с московской ратью. Победу в этой борьбе одержала московская великокняжеская власть. Новгородские архиепископы, посадники, тысяцкие вместе со псковскими посадниками принесли «челобитье» Василию II. С Новгорода была взята в московскую казну большая контрибуция. По московско-новгородскому договору, оформленному в местечке Яжелбицах, политическая самостоятельность Новгородской республики была значительно стеснена.

Что касается псковско-московских отношений с 1456 г., то они характеризуются усилением стремления псковского правительства

---

[1] АСЭИ, т. I, стр. 245, № 338.
[2] ДДГ, стр. 195.
[3] ПСРЛ, т. XI, стр. 157; т. XXIV, стр. 194.

к независимости от Москвы. В 1456 г. в Псков приехал из Новгорода в качестве князя Александр Васильевич Чарторыйский. Инициатива его приглашения на княжение в Псков исходила от псковских правящих кругов («а по псковскому челобитью»). Новому князю была оказана торжественная встреча: «и приаша его честию», «и выидоша противу его игумены, и попы, и дияконы с честными кресты...», «оустретоша его посадники псковския, и бояря, и вси мужи псковичи прияша его с великою честию» В Троицком соборе была совершена имевшая большой политический смысл церемония утверждения А. В. Чарторыйского на княжении на основе заключения с ним договора от лица псковских выборных властей, А. В. Чарторыйский получал те права, которыми, согласно исконному обычаю, пользовались князья, правившие в Пскове («и даша ему княжю пошлину всю»). Он со своей стороны принес присягу в том, что будет соблюдать старинные постановления Псковской феодальной республики[1].

Из рассказа псковских летописей создается впечатление, что призыв в Псков А. В. Чарторыйского и весь ритуал его оформления в качестве псковского князя преследовали определенную цель: реставрировать тот государственный строй времен независимости феодальных республик (Новгородской и Псковской) от московской великокняжеской власти, который в значительной степени был подорван в результате шедшего на Руси процесса образования централизованного государства. Чьим интересам отвечала подобная политическая линия? Прежде всего, конечно, интересам правящих феодальных кругов. Но как можно судить по формулам, употребляемым в летописях при характеристике взаимоотношений А. В. Чарторыйского и Псковской республики («оустретоша его... боляря и *вси мужи псковичи*...», «...приаша его *псковичи*...»), действия псковского боярства, совершаемые якобы от лица всего населения Пскова, не вызывали сопротивления со стороны широких масс горожан («мужей»). Возрождение псковской «пошлины», казалось, сулило им какие-то блага.

В княжение А. В. Чарторыйского в Пскове были проведены мероприятия по улучшению городских укреплений. Была надстроена стена в системе кремлевских крепостных сооружений. 1458—1460 годы наполнены военными столкновениями псковичей (при участии новгородцев) с отрядами ливонских немцев и шведов, из которых русские большей частью выходили победителями.

Те же годы отмечены какими-то социальными столкновениями в Пскове, о которых туманно говорят летописные памятники. Они возникли по вопросу о хлебных мерах, употреблявшихся при продаже зерна, взимании оброка и т. д. Псковская первая летопись под 1458 г. глухо указывает, что «псковичи прибавиша зобниць», т. е. увеличили объем единицы измерения сыпучих тел, применяемой при взвешивании зерна, что должно было, естественно, несколько

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 53—54; вып. 2, стр. 49, 141—143.

снизить хлебные цены. В столь же лаконичной форме содержится приведенное известие и в Псковской второй летописи. Более развернуто оно изложено в Псковской третьей летописи: «Того же лета прибавиша псковичи зобници и палицю привишили к позобенью при посадниче степеннем Алексее Васильевиче, а старых посадников избив на вечи». Здесь интересно прежде всего упоминание о том, что при посредстве специально устроенной «палицы» можно было контролировать правильность употребления вновь утвержденной меры сыпучих тел. Очевидно, этот контроль должен был осуществляться выборными представителями Псковского посада. Я понимаю разбираемый текст Псковской третьей летописи в том смысле, что как в Новгороде при церкви Иоанна Предтечи на Опоках—патрональном храме купеческой корпорации, объединявшей торговцев воском, имелись контрольные меры веса, так и в Пскове посадские люди взяли под надзор меры, установленные для измерения зерновых товаров, продававшихся на псковском рынке. Реформа мер, произведенная в 1458 г., конечно, отвечала интересам широких слоев населения—крестьян, городских черных людей. Ведь речь шла о ценах на предметы первой необходимости. Но проведению этой реформы оказывали сопротивление «старые посадники»—представители господствующего класса феодалов. Они были заинтересованы в извлечении большей прибыли при продаже хлеба из своих вотчин и поэтому держались за старые единицы измерения. В связи с этим очень важно сообщение Псковской третьей летописи о том, что реформа 1458 г. была проведена после открытого выступления в Пскове народных масс, которые добились устранения «старых посадников» и их казни по вечевому суду. Словом, в рассматриваемом известии можно видеть указание на акт серьезной классовой борьбы.

Нельзя ли думать, что в какой-то связи с этой классовой борьбой находятся и пожары, случившиеся в Пскове в 1458 и 1459 гг.? В первый раз «погоре все Запсковие», причем начался пожар «от Якова от Железова из Мощоной улицы». Таким образом, от пожара пострадал прежде всего дом ремесленника, занимавшегося (как можно судить по фамилии) металлообрабатывающим промыслом. Во второй раз жертвой огня сначала стал двор мясника Феодоса Габолы, затем пожар захватил торг и уничтожил три городских конца. Пострадал и княжеский двор. Весьма вероятно, что описанные пожары не были следствием несчастных случайностей, а явились результатом намеренных поджогов. Пострадало больше всего ремесленное население, выступавшее против боярства и ставшее жертвой классовой мести[1].

Выступление ремесленников имело место и в 1456 г. «Мастера», возводившие мост через реку Пскову, получили от псковских властей за свою работу 60 рублей, но остались недовольны этой

---

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 55—56; вып. 2, стр. 50, 143—144.

суммой и подали челобитье псковскому вечу («мастери биша челом на вичи псковичем...»). В результате им доплатили еще 20 рублей[1]. В данном случае интересно, что спор между ремесленниками и городской администрацией доходит до веча, которое и выносит решение по этому делу. Мы вправе поэтому расценивать обращение мастеров в вечевой суд с заявлением как акт социального конфликта между ними и феодальным правительством Пскова. Этот конфликт разрешается в пользу мастеров, так как на вече их поддерживают более широкие массы горожан.

Активизация городского ремесленного населения заставила псковское боярское правительство сделать некоторые политические выводы. Это произошло в 1460 г. 20 января этого года в Новгород приехал из Москвы великий князь Василий II с сыновьями Юрием и Андреем для разбора ряда политических конфликтов («о всех своих оуправах»), возникших между великокняжеской властью и Новгородской феодальной республикой после Яжелбицкого докончания 1456 г. Когда весть о прибытии Василия II дошла до Пскова, оттуда в Новгород было направлено к нему посольство в составе двух посадников и «бояр изо всех концов». Послы должны были преподнести великому князю «дар» в сумме 50 рублей и «бити челом... о жаловании и о печаловании своея отчины, мужеи псковичь добровольных людеи...». Целью «челобитья» являлось получение из Москвы военной помощи для борьбы с немецкой и шведской агрессией и утверждение в Пскове князя А. В. Чарторыйского в качестве великокняжеского наместника. Псковские послы обратились к великому князю со словами: «...приобижени есмя от поганых немець водою и землею и головами, и церкви божии пожжени быша на миру и на крестном целовании». Затем послы поставили вопрос о князе А. В. Чарторыйском, «чтобы ему быти от тебе наместником, а во Пскове князем»[2].

Указанные факты нуждаются в интерпретации с нескольких точек зрения. Во-первых, совершенно ясно, что псковское правительство проявляет инициативу установления союзных отношений с Московским княжеством. Значит, оно заинтересовано в этом. Московско-псковские взаимоотношения, по предложению псковских властей, должны строиться на основе несколько противоречивой формулы: Псков—великокняжеская «отчина» и в то же время псковичи—«добровольные люди». Казалось бы, два составных элемента данной формулы противоречат друг другу. Признание Псковской земли московской «отчиной» означает включение ее в состав Московского княжества в качестве одной из его частей. Наименование псковичей «добровольными людьми» говорит о добровольно-договорных отношениях Псковской республики с московским правительством. Но эта противоречивость отражает сложность

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 54; вып. 2, стр. 49, 143.

[2] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 57—58; вып. 2, стр. 50—51, 145—146.

самого процесса складывания централизованного государства, на разных этапах которого различные русские земли в разных формах и с неодинаковой степенью подчинения великокняжеской власти включались в его состав.

Псковские послы в 1460 г. понимали под политическим принципом, изложенным в словах «жалование» и «печалование» «своея отчины мужеи псковичь добровольных людеи», признание со стороны великого князя (по предложению Пскова) своим наместником князя, выбранного псковскими властями и утвержденного в Пскове на вече. При подобном характере московско-псковских отношений сохранялась самостоятельность Псковской республики, однако ее государственный аппарат оказывался под известным контролем московского правительства. Реальное соотношение сил должно было определить степень действенности этого контроля.

Почему псковское боярство, в 1456 г. самостоятельно выбравшее себе князя и при его утверждении в Пскове по старинному ритуалу демонстративно подчеркивавшее, что избрание и смещение князей—это дело псковского веча (правомочного поступать по собственному усмотрению и не нуждающегося в указаниях из Москвы), вдруг изменило свою позицию? Один ответ на этот вопрос напрашивается сам собой. Московское правительство все более стесняло государственную самостоятельность Великого Новгорода. Целью приезда туда в 1460 г. Василия II с сыновьями и, конечно, с военной силой было укрепление там позиций московской великокняжеской власти. За Новгородом могла прийти очередь и Пскова. Ограничение политической независимости Псковской республики московскими властями являлось вопросом времени. При такой ситуации псковскому боярскому правительству казалось более дальновидным самому поставить вопрос о политических отношениях с Московским княжеством.

Вторая причина псковского посольства к Василию II в Великий Новгород указана в псковских летописях. Это—нужда в военной поддержке со стороны московских вооруженных сил в борьбе псковичей с Ливонским орденом и шведскими феодалами.

О третьем мотиве источники не говорят, но о нем можно догадываться. Обострение социальных противоречий, о котором шла речь выше, побуждало господствующий класс к укреплению государственного аппарата. Одним из путей к этому, казалось, было выдвижение князя—вечевого избранника (при сохранении за ним этой роли) одновременно в ранг великокняжеского наместника.

Псковское посольство к московскому великому князю в 1460 г. отражало прежде всего боярские интересы. В то же время такой вопрос, поднятый послами, как потребность в военной помощи со стороны Москвы псковичам против внешних врагов, затрагивал нужды более широких масс населения. А авторитет великокняжеского имени среди горожан и крестьян был достаточно силен, чтобы сделать популярной идею о признании Василием II псковского князя своим представителем в Псковской земле.

Московский великий князь согласился с предложениями псковского правительства. Согласно летописи, он ответил послам: «аз вас, свою отчину, хощу жаловати и боронити от поганых...» В настоящее время московское правительство не могло еще рассчитывать на ограничение самостоятельности Псковской республики в пределах бóльших, чем те, которые были намечены во время переговоров с псковским посольством. Принятие псковского политического проекта должно было открыть московской великокняжеской власти путь к дальнейшему усилению своего влияния в Пскове. Условием утверждения А. В. Чарторыйского в качестве московского наместника в Псковской земле Василий II поставил принесение им клятвы верности на свое имя и на имя своих сыновей. «А что ми глаголете о князи Александре Черторизком, и о том вас, своих людеи, и свою отчину, жалую: отпущу вам князя Александра, аже токо поцелует животворящии крест ко мне, князю великому, и к моим детям, к великим князем, что ему зла на мене и на моих детеи не мыслити, ино вам буди князь, а от мене наместник».

Проект о назначении в Псков А. В. Чарторыйского, согласованный между псковским правительством и московской великокняжеской властью, встретил решительное препятствие в лице самого А. В. Чарторыйского. Он отказался категорически от дачи присяги Василию II с детьми. Роль администратора, присланного из Москвы и стесненного в своих действиях, его не устраивала. Он хотел занимать в Пскове положение князя, не зависимого от контроля со стороны московских властей. «И оуслышав князь Александр ответ князя великого, и не восхоте целовати креста ко князю великому и к его детям».

Псковская первая летопись сообщает, что А. В. Чарторыйский произнес на вече довольно яркую речь с выпадами против московской великокняжеской власти и недвусмысленными намеками на то, что московско-псковское соглашение 1460 г.—это начало полного подчинения Псковской республики московскому правительству. «И молвил: не слуга де яз великому князю, и не боуди целование ваше на мне и мое на вас; коли не учнуть псковичи соколом вороны имать, ино тогда де и мене, Чернорииского, воспомянете; и попрощався на вече: яз де вам не князь»[1].

Какие цели преследовал А. В. Чарторыйский в своем обращении к псковскому вечу? Прежде всего, являясь сторонником порядков политической «старины», при которых договорные отношения между правительствами аристократических республик и князьями заключались на вече, он до конца остался верен этим порядкам и на вечевом собрании расторг свое докончание с Псковом. Но, думаю, что дело было не только в соблюдении старинных правовых норм периода феодальной раздробленности. Можно полагать, что речь Чарторыйского (политически достаточно целеустремленная), по его замыслу, должна была завоевать ему сторонников

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 58; вып. 2, стр. 50—51, 146.

на вече. И тогда обстановка могла бы сложиться так, что ему не пришлось бы ни уезжать из Пскова, ни клясться в верности Василию II. Однако эти предположения А. В. Чарторыйского не оправдались. Правда, судя по летописным сведениям, «псковичи ему много биша челом, чтобы осталъся», но условий, при которых теперь мыслилось возможным его дальнейшее пребывание в Пскове, они не изменили. Этим еще раз подтверждается сделанный выше вывод, что договоренность псковских послов с Василием II в 1460 г. была произведена не только в соответствии с интересами боярства, но получила одобрение и более широких слоев городского населения.

А. В. Чарторыйский покинул Псков и уехал в Литву вместе со своими слугами и зависимыми людьми, число которых достигало весьма внушительной цифры: «а двора его кованои рати боевых людей 300 человек, опричь кошовых». Как только о выезде князя стало известно в Новгороде, Василий II отправил в Псков своего сына Юрия с боярами. После соглашения московского великого князя с псковскими послами это был первый с его стороны шаг на пути дальнейшего усиления своего политического влияния в Пскове. В указанных целях использовался удобный момент, когда Псковская земля осталась без князя и когда вмешательство московских властей в дела Псковской феодальной республики казалось наиболее своевременным и уместным. Однако посещению Пскова князем Юрием был придан характер дипломатического визита. Так же старалось отнестись к нему и псковское правительство, соблюдавшее в отношениях с Юрием все правила дипломатического этикета. Князя Юрия Васильевича с почетом встретили на границе Псковской земли псковские посадники и бояре, в сопровождении которых он явился в город, и там после торжественной церемонии в Троицком соборе псковичи «посадиша его на столе отца своего великого князя Василия Васильевича». Тем самым великий московский князь официально был признан верховным главой Псковского государства. В то же время псковские власти договорились с Юрием Васильевичем об утверждении (от имени его отца Василия II) в Пскове в качестве московского наместника нового, выдвинутого ими, кандидата И. В. Стриги-Оболенского. С согласия Юрия Васильевича состоялся акт возведения И. В. Стриги-Оболенского на княжение в Пскове на основе традиционного двустороннего соглашения нового князя с Псковской феодальной республикой: он «целова крест ко Пъскову по всеи пъсковскои пошлине»; псковичи «даша ему всю княжю пошлину»[1].

Итак, была найдена приемлемая на данном этапе и для московского великого князя, и для псковского правительства политическая система. Верховным главой Псковской земли являлся великий князь московский. Представителем его в Пскове был князь—наместник, выдвигавшийся псковскими властями и заключавший с

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 58—59; вып. 2, стр. 51, 146—147.

ними договор о соблюдении законов и обычного права Псковской республики. Утверждаемый вечем, псковский князь одновременно получал назначение в Псков от великого князя в качестве московского наместника. Конечно, подобная система не могла быть устойчива. В зависимости от соотношения политических сил она неизбежно должна была привести или к возрождению политической независимости Псковской республики, или к включению Пскова в состав единого Русского государства с центром в Москве.

После шестинедельного пребывания в Новгороде Василий II выехал в Москву. За ним отправился и князь Юрий Васильевич, проведший в Пскове свыше трех недель. Проводы ему были устроены столь же почетные, что и встреча. Пребывание этого князя недешево обошлось псковичам. Помимо содержания его со свитой в течение довольно длительного срока, псковичам пришлось еще уплатить ему на вече 100 рублей при его отъезде. Известное значение посещение Юрием Васильевичем Пскова имело для урегулирования взаимоотношений Псковской земли с Ливонским орденом. Немецкие послы приходили в Псков и вели с Юрием Васильевичем переговоры. Вскоре между Псковской республикой и «Немецкой землей» было заключено перемирие на пять лет[1]. На оформление перемирия потребовалась санкция великого московского князя Василия II. Значит внешняя политика Псковской республики берется под контроль московским правительством.

И. В. Стрига-Оболенский княжил в Пскове около года, а затем, в 1461 г., уехал в Москву. Причины относительно недолговременного его пребывания на псковском княжеском столе летописи не раскрывают. О дальнейших событиях в Пскове летописные памятники говорят противоречиво. Они сходятся в том, что вместе с И. В. Стригой-Оболенским в Москву отправились псковские послы (посадник и бояре) к великому князю с «даром» в сумме 150 рублей и с просьбой, чтобы он «печаловалъся своею отчиною мужьми псковичи», «и дал бы князя» для Псковской земли. Вернувшись в Псков, послы доложили на вече о своих переговорах с Василием II («правиша посольство на вечи»). По словам послов: «князь великии свою отчину жалует, мужии псковичи добровольных людеи, врекается стояти и боронити за дом святыя Троица и за мужии псковичь». Через некоторое время в Псков приехал новый великокняжеский наместник, князь Владимир Андреевич, встреченный, судя по Псковской первой летописи, «с великою честию»; судя по Псковской второй летописи, «с честию». Таким образом, приведенные летописные данные как будто говорят о том, что назначение великим князем князя Владимира Андреевича наместником в Псков было согласовано с псковскими послами. Но, судя по Псковской теретьей летописи, новый наместник был прислан из Москвы не в соответствии с пожеланиями псковичей: «того же лета прислаше князь великои Василеи Васильевичь наместника

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 59—60; вып. 2, стр. 51, 147—148.

своего во Псков на княжение князя Володимера Андреевича, а не по псковскому прошению, ни по старине». Тем не менее «псковичи приаша его с честью и посадиша его на княжение во Пскове»[1]. Как примирить эти разноречивые показания?

Судя по тому, как развивались в Пскове дальнейшие события, имеются основания думать, что в данное время вопрос о желательном характере московско-псковских отношений различно решался разными общественными слоями. Первоначальное относительное и временное единство по этому вопросу среди псковского населения кончилось. Часть господствующего класса Псковской земли, стремившаяся укрепить свои позиции при поддержке московской великокняжеской власти, по-видимому, уже соглашалась с новой политической линией, принятой Василием II применительно к Псковской республике: посылать туда наместников по собственному выбору. Послы, ездившие в Москву в 1461 г., очевидно, держались именно таких взглядов. Но указанная политическая линия, которую стала проводить великокняжеская власть, вызывала протест со стороны широких масс черных людей. Вероятно, ей не сочувствовала и часть феодалов. Подробное изложение в летописных сводах отчета послов, прибывших из Москвы, на псковском вече, говорит о том, насколько злободневной и острой была для псковичей тема о дальнейшем порядке выбора на месте или назначения из Москвы псковских князей. Эта тема возбуждала широкий и глубокий общественный интерес. Можно предположить, что послы не совсем точно информировали вече о том, о чем они договорились в Москве с Василием II, о мере уступок, которые они сделали московскому правительству касательно его права посылать в Псков по своему усмотрению князей. Могло быть и так, что Василий II обманул псковских послов, обещав им посчитаться с их мнением относительно кандидатуры на пост нового наместника в Псков, но не выполнив своего обещания и отправив через некоторое время на этот пост того, кого он счел нужным.

Бесспорны два факта. Во-первых, приезд в Псков князя Владимира Андреевича, назначенного из Москвы наместником, означал серьезный перелом в политической истории Псковской республики. Рушились старые политические порядки, в соответствии с которыми князья были выборными. Московское правительство теперь считает себя правомочным посылать в Псков своих представителей. Во-вторых, партия сторонников подчинения московской великокняжеской власти из среды псковского боярства была достаточно сильна. И в числе псковских горожан имелось много таких, кто считал отвечающим собственным интересам выполнение условий, поставленных московским правительством. Поэтому приехавший из Москвы наместник был принят с соблюдением всех соответствующих его положению церемоний. Но в летописях уже ничего не говорится об оформлении властями Псковской феодальной респуб-

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 61; вып. 2, стр. 52, 119.

лики докончания с новым князем, о том, что с него взяли обязательство соблюдать псковскую «пошлину». А псковские летописи обычно очень последовательны в своих сообщениях о форме присяги, приносимой князьями Пскову и псковичами князьям. Очевидно, в данном случае такой двусторонней присяги и не было. Псковская третья летопись лишь указывает, что Владимира Андреевича «посадиша на княжении во Пскове».

Около полутора лет пробыл князь Владимир Андреевич в Пскове. Осенью 1462 г. он был оттуда изгнан. Псковская первая летопись сообщает об этом в таких выражениях: «...псковичи выгнаша из Пскова князя Володимера Андреевича; а иныя невегласы псковичи, злыя люди, сопхнувше его степени». Несколько короче, но примерно в тех же тонах, имеется сообщение об изгнании Владимира Андреевича из Пскова во второй Псковской летописи: «Выгнаша псковичи князя Володимира Ондреевича изо Пскова, а иныя люди на вечи с степени съпхнули его...». Псковская третья летопись говорит не только о том, что псковичи прогнали своего князя-наместника, но и пытается объяснить их поступок: «... а он приеха не по псковскои старины, псковичи не зван, а на народ не благ»[1].

Приведенные летописные сведения требуют более глубокого анализа. Удаление из Пскова Владимира Андреевича нельзя рассматривать как простой разрыв псковскими властями договорных с ним отношений. Он не был князем, избранным Псковом, взявшим перед ним определенные обязательства и получившим соответствующие права. Владимир Андреевич являлся великокняжеским наместником, признанным местными псковскими властями. Поэтому выступление против него можно расценивать только как восстание. И смещен со своей должности он был не какой-то группой боярства, а восставшим народом. В пользу этого вывода говорит летописная терминология. Участников движения, в результате которого был изгнан великокняжеский наместник, летописи называют, как уже указывалось, «люди», «злыя люди, невегласы», а причину изгнания видят в том, что он «на народ не благ». Очевидно, правление Владимира Андреевича было тяжелым для народных масс. Из летописного рассказа можно вывести заключение, что над князем Владимиром Андреевичем устроили вечевой суд, принявший народный характер. По вечевому суду он был приговорен к лишению должности, в знак чего его свели (в летописном изображении—столкнули) с вечевого помоста и выгнали из города. Под давлением народа тут же, на вече, очевидно, был поставлен вопрос о гарантиях на будущее, в силу которых назначение таких наместников, как Владимир Андреевич, стало бы невозможным.

Как понимать слова Псковской третьей летописи о том, что князь Владимир Андреевич в свое время прибыл в Псков «не по

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 62; вып. 2, стр. 52, 150.

псковской старины, псковичи не зван...»? Может быть, это—выпад против великого московского князя или даже вызов ему? Я думаю, что нет. Псковичи не собирались вести борьбу ни с московской великокняжеской властью, ни с Василием II персонально. Напротив, сразу после того, как Владимир Андреевич был смещен, в Москву отправились из Пскова посадник и бояре для урегулирования отношений псковского правительства с великим князем. Очевидно, поскольку народное восстание в Пскове было направлено против московского наместника, но не против центрального московского правительства, его жертвой могли сделаться и стоявшие у власти в Псковской республике бояре, в какой-то мере ответственные за политику князя Владимира Андреевича. Чтобы отвести от себя народный гнев, они и выдвинули объяснение (можно думать, заявленное на вече), согласно которому снимали с себя ответственность за действия князя-наместника, ибо он не был ими приглашен в Псков и его назначение из Москвы без согласия псковичей противоречило старинным правовым нормам Псковской земли. Та же аргументация с присоединением указания на притеснение князем Владимиром Андреевичем псковского населения должна была помочь псковским боярам убедить в Москве великого князя согласиться на замену князя Владимира Андреевича в Пскове в качестве наместника другим кандидатом. Взрыв народного недовольства был слишком серьезным и не считаться с ним не могли ни боярское правительство в Пскове, ни московская великокняжеская власть.

В другой своей работе я пытался доказать, что в связи с восстанием 1462 г. в Пскове была произведена кодификация феодального права (как актов княжеского законодательства, так и записей юридических норм Псковской республики). Созданный в результате этой кодификации судебник Псковской земли—«Псковская Судная грамота»—был утвержден на вече. Толчком к составлению и принятию в качестве основного закона Псковской республики Псковской Судной грамоты было массовое народное движение. В тексте этого законодательного памятника, в целом отражающего интересы господствующего класса, феодальное правительство Пскова было вынуждено закрепить некоторые постановления, являвшиеся результатом уступок феодалов широким массам горожан и отчасти крестьянства. Эти уступки были вырваны народом в результате классовой борьбы. В Псковской Судной грамоте подробно также развиты положения, определяющие взаимоотношения князя и псковских властей,—вопрос, получивший в 60-х годах XV в. особую политическую остроту.

Изгнанный из Пскова «со многим бесчестием», князь Владимир Андреевич поехал «на Москву к великому князю жаловатися на псковичь». Следом за ним в Москву направились псковские послы объясняться с великим князем по поводу обвинений, выдвинутых против псковичей бывшим наместником, «и просити князя во Псков, по псковскои старине, которои князь Псковоу люб». В это время

Василий II уже умер, и великим московским князем стал его сын Иван III. В течение трех дней он отказывался принять псковское посольство, подчеркивая тем самым, что изгнание князя Владимира Андреевича он оценивает как выступление псковичей против великокняжеской власти («и не пусти их собе на очи 3 дни, гнев держа про своего наместника князя Володимера...»). Через три дня, однако, послы добились (с большим трудом—«много троудившеся», как говорит Псковская вторая летопись) аудиенции у великого князя. В результате переговоров последний согласился «жаловать» «отчину свою... Пскова добровольных людии по старине: которого князя хощете, и яз вам того дам». Псковским послам было предложено выяснить в Пскове, какой князь является желательным кандидатом в наместники, и затем сообщить об этом в Москву посредством грамоты, отправленной со специальным гонцом[1].

Примирение Ивана III с псковскими властями и его решение вернуться к принятой Василием II в 1460 г. системе утверждать наместниками в Пскове князей, избираемых местным правительством, явились следствием трезвой оценки создавшейся обстановки. Настаивать сейчас на возвращении в Псков изгнанного оттуда князя Владимира Андреевича значило быть готовым к новому там восстанию. Московскому правительству приходилось идти на некоторые уступки, чтобы сохранить уже завоеванные позиции в Псковской земле.

Вернувшись в Псков, послы изложили на вече результаты своих переговоров с великим князем («... и повествоваша посольство на вечи пъсковичем...»). Можно предполагать, что это вечевое собрание было широким и активным, что на нем достаточно громко звучали голоса черных людей. Ведь речь шла о том, какой отзвук в Москве нашло недавнее псковское восстание, какой ответ принесли от великого князя послы по вопросу о смещении московского наместника и порядке его замещения новым.

Было решено просить Ивана III утвердить псковским князем И. А. Звенигородского. Следует думать, что это была кандидатура не только боярская; очевидно, с ней согласились и более широкие круги горожан. В Москву из Пскова послали гонца с грамотой, в которой фигурировало имя И. А. Звенигородского как лица, намеченного для утверждения в качестве псковского князя.

Постепенно псковские бояре, испуганные недавним народным восстанием, снова начинают наступление на народные массы. По данным Псковской третьей летописи, в 1463 г. «посадник псковкыи степенный Федор Никифорович отнял оу ползобенья палицу», т. е. лишил горожан возможности контроля над хлебными мерами. Это было стеснение прав посадских людей. О том, как они реагировали на подобное мероприятие, данных, к сожалению, нет.

В марте 1463 г. псковский гонец приехал из Москвы обратно в Псков с сообщением, что «князь великий жаловал псковичь,

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 62—63; вып. 2, стр. 52, 150—151.

дал князя во Пъсков Ивана Звенигородцкаго». А в апреле того же года в Псков явился и сам И. А. Звенигородский. Псковское боярство старалось обеспечить себе руководящую роль в государственном управлении и в то же время создать популярность в широких массах населения политикой защиты старинных законов, обеспечивающих права выборных городских властей. Поэтому при утверждении И. А. Звенигородского на княжение в Пскове вернулись к порядкам, существовавшим там до 1462 г. Князю И. А. Звенигородскому предоставили «всю княжую пошлину», а он принес присягу («целова крест») «по псковскои пошлине и по их воли»[1]. Документом, определявшим права князя и местных выборных властей в области выполнения различных государственных функций в Псковской феодальной республике, была теперь Псковская Судная грамота.

Взаимоотношения Пскова с московским правительством попрежнему строились на признании им верховной власти великого князя. Московское правительство со своей стороны оказывало Пскову военную помощь и контролировало внешнюю политику Псковской республики. В первой половине 1463 г. ливонские немцы напали на Псковскую землю и в июне этого года «по псковскому челобитию» из Москвы было прислано в поддержку псковичам войско во главе с воеводой Ф. Ю. Шуйским. После ряда военных действий между Псковом и Орденом был заключен мир на 9 лет. А в сентябре 1463 г. Ф. Ю. Шуйский покинул Псков. При отъезде он заявил на вече: «Мужи псковичи, отчина князя великаго, доброволнии люди, бог жаловал, святая живоначалная Троица, князя великаго здравием с Немцы оуправы взяли, а по своеи воли, а нынече на вашеи чьти вам кланяюся»[2]. Из этих слов видно, что московский воевода (в соответствии с полученными из Москвы инструкциями) признает самостоятельность Псковской республики в рамках ее добровольного подчинения великокняжеской власти, как верховному органу, соблюдающему и контролирующему политические порядки Псковской земли. Весьма шаткая и неопределенная правовая основа для псковско-московских политических отношений, которые в действительности обусловливались более глубокими социально-экономическими условиями, определявшими процесс государственной централизации!

§ 4. Политические взаимоотношения московской великокняжеской власти и Псковской феодальной республики в 60—первой половине 70-х годов XV в.

К середине 60-х годов наметилось обострение политических взаимоотношений между Новгородской и Псковской республиками.

---

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 63—65; вып. 2, стр. 53, 151—153.
[2] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 65—68; вып. 2, стр. 53, 154—156.

Летопись Авраамки рассказывает об этом в очень недоброжелательном тоне по отношению к псковскому правительству: «... и начаша псковичи луковать своим братом старшим Великим Новымгородом...», «а злей свой нрав исполниша», «а свой злый наров обнажиша, ослепи бо злоба их». В псковских летописях, напротив, содержатся обвинения в отношении новгородцев.

В чем заключались причины нарушения новгородско-псковских мирных отношений? Таких причин было несколько. Новгородцы не оказали Пскову помощи во время его войны с Орденом. В псковских летописях говорится: «а новогородцы тогда не помогоша псковичем ни словом, ни делом противу Немець, а псковичи много им биша челом, они же челобития псковскаго не прияша». Враждебная псковичам летопись Авраамки, не отрицая того факта, что новгородцы не приняли участия в военных действиях псковичей против Ордена, объясняет это тем, что новгородское правительство заботилось, «како бы кровь крестьянскаа не излилася»[1]. Очевидно, новгородское боярство желало, чтобы псковские власти подчиняли его контролю свою внешнюю политику; псковское же правительство стремилось к самостоятельным внешнеполитическим действиям.

В 1464 или в 1465 г. между Новгородской и Псковской республиками произошел конфликт. Летопись Авраамки рассказывает, что псковичи «с новгородци жиша не братолюбно и хлеб отьяша домовныи святей Софеи и отца своего архиепископа владыкы Ионы...» Речь идет о землях новгородского дома св. Софии, которые были насильственно захвачены псковичами. Но кем именно был произведен этот захват? Псковским крестьянством, или феодалами, или, наконец, псковским правительством? Надо думать, что вернее всего последнее, так как споры с новгородскими властями о софийских землях ведутся официальными представителями Псковской феодальной республики. Псковские летописи в качестве причины завладения Псковом новгородскими землями выдвигают отказ новгородского правительства помочь псковичам в войне с ливонскими немцами[2].

Наконец, третьей причиной осложнения новгородско-псковских политических взаимоотношений явилось стремление Пскова добиться церковной независимости от Новгорода. Псковское правительство стало добиваться от великого московского князя, чтобы он предписал митрополиту направить в Псков особого епископа из числа псковичей.

Находясь во враждебных отношениях с Новгородом, псковские правители стремятся заручиться поддержкой московской великокняжеской власти. В конце 1463 г. в Москву был направлен из Пскова гонец с грамотой к великому князю. В ней выражалась

---

[1] ПСРЛ, т. XVI, стр. 213; «Псковские летописи», вып. 1, стр. 68; вып. 2, стр. 157.

[2] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 71; вып. 2, стр. 160.

благодарность Ивану III за присылку воеводы Ф. Ю. Шуйского «на оборону противу Немець». Такая благодарность имела определенный дипломатический смысл. Ею подчеркивалось, что московское правительство поддержало псковичей в трудных условиях войны, новгородские же власти не сделали этого. Далее, в грамоте, отправленной к Ивану III, псковские власти жаловались на новгородских правителей, которые не пропускают через Новгородскую землю псковских послов. В силу этого не удалось направить из Пскова в Москву официальное посольство из «людеи честных посадников псковских». В другой грамоте, посланной в Москву, ставился вопрос о назначении в Псков епископа из местных жителей («а нашего же честнаго коего попа или игумена человека псковитина»).

Московский великий князь занял осторожную позицию в дипломатической переписке с Псковом. Стараясь использовать в своих интересах новгородско-псковский конфликт, он в то же время стремился сохранить политический нейтралитет, не поддерживая открыто ни одну из столкнувшихся между собой сторон, не связывая себя прямыми обещаниями, данными кому-либо из них. По поводу жалобы на то, что новгородские власти не пропускают через территорию Новгородской республики псковских послов в Москву, Иван III выразил недоумение («и князь великий тому подивился»), как это могло случиться, раз Новгород связан с Московским великим княжеством союзными договорными отношениями: «како им не пропустити ваших послов ко мне, а будучи оу мене в крестном целовании». Решение вопроса о назначении в Псков епископа Иван III отложил до того момента, когда в Москву явятся из Пскова «послы честныя люди».

В январе 1464 г. из Пскова было направлено в Москву специальное посольство из трех посадников, вручившее великому князю «дар» в сумме 30 рублей. Но и на сей раз Иван III уклонился от решения поставленного псковичами вопроса о предоставлении Пскову церковно-политической самостоятельности, дав по этому поводу довольно неопределенный ответ псковским послам: по указанному делу надо предварительно посоветоваться с новгородским правительством.

До псковского посольства в Москве побывали новгородские послы, просившие у великого князя военной помощи против Пскова. По-видимому, великий князь не хотел в данный момент разжигания псковско-новгородской войны, которая могла бы привести и к внутренним осложнениям для Русского государства и к ослаблению безопасности северо-западных границ Руси. Поэтому он отказал новгородским послам в их просьбе. Псковским послам Иван III так объяснил свою позицию: «и яз, князь великои, хотячи межи вами миру и тишине, воеводы есми своего [новгородцам] не дал, им [новгородцам] есми ходити на вас не велел». В то же время московский великий князь потребовал от новгород-

ских правителей, чтобы они предоставили «путь чист» псковичам для поездок в Москву[1].

Псковская третья летопись глухо говорит еще об одном псковском посольстве, побывавшем в Москве в 1464 г., но не раскрывает его целей и результатов.

Не добившись военной помощи от Ивана III, новгородские правители начали переговоры с Орденом о совместных действиях против Псковской республики. «И новогородцы же биша челом немцем, чтобы им пособили противу псковичь; и немцы ркошася пособити». Это обстоятельство заставило псковское правительство пойти на мирные переговоры с новгородскими властями. В 1465 г. в Новгород отправились два псковских посадника и ряд бояр. Псковские правители соглашались отдать Новгороду земли св. Софии, отказавшись только возместить стоимость собранного за два года с этих земель хлеба и вернуть доходы, полученные с эксплуатации имевшихся там рыбных промыслов[2].

Псковско-новгородские мирные переговоры были длительными и бурными («и много бысть о том истомы»), но в конце концов мир был заключен. Псковичи согласились также по-прежнему подчиняться в церковном отношении новгородскому архиепископу. В 1466 г. новгородские послы прибыли в Псков и в их присутствии на псковском вече было торжественно подтверждено новгородско-псковское мирное докончание. Затем в Псков приехал новгородский архиепископ, которому в знак признания его власти была устроена торжественная встреча.

Середина и вторая половина 60-х годов XV в.—время большого строительства в Пскове. Возводились церкви и укрепления. В строительстве большое участие принимали посадские люди. Видно, что возросла активность посадского населения.

Со второй половины 60-х годов XV в. московский великий князь стремится к усилению своих политических позиций в Пскове. В 1466 г. князь Иван Александрович Звенигородский покинул пост великокняжеского наместника в Пскове. Его отъезд из Пскова, судя по летописям, не был вызван политическим конфликтом с псковским населением. В летописи говорится: «Того же лета на осень князь псковский Иван Александровичь псковичем оудари челом на вечи за все добро псковское, и поеха изо Пскова». Псковичи якобы били челом И. А. Звенигородскому, «дабы ся остал», но он «не восхоте и поеха изо Пскова на Москву, а псковичи проводиша его с великою честию»[3]. После этого в Москву отправились из Пскова в качестве послов посадник и ряд псковских бояр для того, чтобы договориться с великим князем о новом наместнике. В качестве такового в Псков был назначен князь Ф. Ю. Шуйский. Сопоставляя между собой все эти данные, можно прийти к выводу, что смена посадников в Пскове была произведена по инициативе

[1] «Псковские летописи», вып. 1, стр. 69—70; вып. 2, стр. 53, 157—159.
[2] Там же, вып. 1, стр. 71—72; вып. 2, стр. 160—161.
[3] Там же, вып. 1, стр. 72; вып. 2, стр. 162.

московской великокняжеской власти. А вызвана такая смена была, по-видимому, тем, что Ф. Ю. Шуйский казался московскому правительству администратором, в большей степени, чем И. А. Звенигородский, подходящим для проведения линии подчинения Псковской республики аппарату централизованного Русского государства.

Ф. Ю. Шуйский добился значительно бóльших полномочий в Пскове, чем его предшественники. Он получил право посылать наместников (обладавших судебными функциями) во все 12 псковских пригородов, в то время как до этого княжеские наместники назначались только в 7 пригородов Пскова. Псковская третья летопись отмечает это нововведение как существенное нарушение псковской «пошлины»: «и из веков княжии наместники не бывали, колко ни есть княжеи бывало во Пскове на столоу, а наместники княжии были только на 7 пригородах псковскых»[1]. В то же время Ф. Ю. Шуйскому удалось достигнуть соглашения с псковским правительством по вопросу о разделе административных и судебных функций в пределах псковских пригородов. Если в пригороды посылались княжеские наместники, то в то же время за их деятельностью осуществляли контроль старосты отдельных концов города Пскова. В 1468 г. при участии Ф. Ю. Шуйского был произведен раздел территории пригородов между псковскими концами.

В конце 1468 г. в Пскове была проведена церковная реформа. Псковское духовенство поставило вопрос на вече об организации выборных органов верховного управления местными церковными делами. Реформа ставила своей целью прежде всего получение Псковом известной независимости в церковной области от власти новгородского архиепископа. Псковские церковники заявили на вече: «...здесь правителя всеи земли над нами нетоуть, а нам о себе тоя крепости оудержати не мощно попремежи себе о каковых ни боуди церковных вещех». Когда несколько позднее в Псков приехал из Новгорода архиепископ Иона, представители псковского белого и черного духовенства указали ему, что, поскольку он бывает в Пскове лишь наездами, в городе необходимо создать постоянный местный верховный орган церковного управления.

Второе, к чему стремилось псковское духовенство,—это укрепление авторитета церкви. На вече церковники говорили, что они хотят «во всем священьстве крепость поддержати». Новгородскому архиепископу Ионе священники и монахи докладывали: «не мощно нам тобе всего и сказати», насколько «при сем последнем времени о церквах божиих смоущенно силно в церковных вещех в священниках», «тии сами ведають тако творяще все бестоужество». Как надо понимать все эти заявления псковских церковников? Конечно, здесь могут иметься в виду такие явления, как падение нравственности служителей культа, нерадивое исполнение ими своих обязанностей, мздоимство и т. д. Но думаю, что главное не это, а религиоз-

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 164.

ное вольнодумие отдельных духовных лиц, критика ими православной церкви, распространение ересей. Дополнительные аргументы в пользу высказанного предположения я приведу ниже.

Наконец, псковское духовенство, ставя вопрос о создании местного органа церковного управления, мотивировало свое предложение тем, что при отсутствии такого органа миряне вмешиваются в церковные дела. На вече церковники упрекали мирян: «а вы ся в то иное и миром встоупаете, а чрес святых апостол и святых отець правила»[1]. Текст этот лаконичен и допускает возможность разного понимания и толкования. Возможно, что духовенство возражает против привлечения его представителей к светскому суду. Можно думать, что речь идет о захватах церковных земель как проявлениях классовой и внутриклассовой борьбы. Наконец, весьма вероятно, что вмешательство мирян в дела церкви выражалось в критике религиозных догматов и церковных порядков, в избрании духовных лиц из среды мирян и т. д., т. е. во всем том, что с точки зрения православной ортодоксии квалифицировалось как ересь.

О том, что в конце XV в. вольнодумие в религиозных вопросах было довольно распространено среди псковских горожан, свидетельствует один интересный литературный памятник—«Житие» Евфросина. Рассказывая о религиозных спорах между Евфросином и священником Иевом Столпом, названное «Житие» говорит, что последний «не токмо убо бяше по вечищем их велегласно вопия и глаголя и проповедуя всему градскому народу,.. но и проходя паче торжища и сонмища, таже и позорища, купно же и по беседам седалищным и по пировным вечерям возмущая и колебая всего града все множество безчислено народа...»[2] Итак, на вечевых собраниях, на торгах, во всех публичных местах, где собирался народ, на пирах и братчинах, на мирских беседах происходило обсуждение тем, связанных с религией и церковью. Тем самым подрывались основы православной ортодоксии, культивировавшей веру в авторитет церкви и не признававшей за человеческим разумом права на ниспровержение этого авторитета. В свете приведенных сообщений «Жития» становится понятным стремление псковских церковников принять меры борьбы против религиозного вольнодумия.

Из «Жития» Евфросина можно извлечь материал, касающийся социального состава кругов, оппозиционных в отношении официальной церкви; кругов, в которых появлялись еретические настроения. Так, в числе идейных противников Евфросина было «мало чяди от священник, и нецыи клеветари,.. таже и от диакон не мнози суще, сице же и от народа мало возсташа людий на святаго...» Рядовое духовенство, городские ремесленники, посадские люди—это как раз та среда, где рождались и распространялись еретические течения, на борьбу с которыми была направлена церковная реформа, проведенная в Пскове в 1468 г. Очень интересно, что «Житие»

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 165—166.
[2] «Памятники старинной русской литературы», вып. 4, стр. 92.

Евфросина уподобляет идейную борьбу, которую вели с официальной церковью религиозные вольнодумцы, действиям разбойников: «яко нецыи разбоиницы ко стареишине срыскахуся, и строяще речи, и рать народа движуще»[1]. Объективно это означает сопоставление двух форм проявления классовой борьбы: 1) в сфере идеологической; 2) в области социальной.

Итак, «Житие» Евфросина помогает раскрытию классовой сущности псковской церковной реформы 1468 г. В какие же формы она вылилась? Во-первых, была сделана выписка из Кормчей книги (Номоканона), которая должна была служить уставом при решении вопросов в области церковного суда и управления. Утвержденная на собрании духовенства пяти псковских соборов грамота с текстом, взятым из Кормчей книги, была водворена на хранение в государственный архив (в «ларь»). Во-вторых, из среды духовенства были выбраны и утверждены на вече в качестве правителей церковными делами два попа: Андрей Коза и Харитон. Последний, правда, недолго занимал предоставленный ему пост и скоро сбежал в Новгород к архиепископу[2].

Имевшая целью укрепление позиций господствующей церкви, реформа 1468 г. отличалась охранительным характером. В то же время ей присущи и некоторые прогрессивные черты. Во-первых, известный демократический оттенок имела форма ее проведения: новые церковные порядки были приняты на вече с участием мирян, зафиксированы в «мирудокончанной грамоте». Во-вторых, и система церковного управления после 1468 г. стала более демократичной: судебные и административные функции по церковным делам сосредоточились в руках городского духовенства. Наличие демократических моментов в мероприятиях по реорганизации в 1468 г. церковного управления в Пскове (при ее общей консервативно-охранительной направленности) объясняется, очевидно, довольно значительной ролью, принадлежавшей городскому населению в обсуждении религиозных вопросов. Это наложило свой отпечаток и на ход реформы и на ее результаты.

Приехавший в Псков новгородский архиепископ Иона прежде всего признал незаконной утвержденную на вече грамоту, потребовал от посадников и духовенства ее уничтожения и отмены введенных на вече новых порядков. Архиепископ настаивал на том, что ему должна принадлежать полнота церковной власти в Пскове: «...А яз тоа сам хочю соудити здесь, а вы бы есте тоую выняли грамотоу подрали». Однако посадники и священники настаивали на целесообразности сохранения принятых ими нововведений. Иона обещал перенести этот вопрос на рассмотрение митрополита. Летопись приписывает новгородскому архиепископу следующие слова: «...и сам, сынове, от вас слышю, что сиа вещь велика силно, и христианствоу развратно, а божиим церквам, мятно, а иноверным радостно, христиан видяще в таковеи живооуще слабости, и от них оукорен

[1] «Памятники старинной русской литературы», вып. 4, стр. 83.
[2] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 165—166.

за небрежение наше»[1]. Видно, что, хотя архиепископ стремился к удержанию в Пскове власти в своих руках, падение авторитета церкви, как феодальной организации, как политического института, как идеологической силы, вызвало у него тревогу.

В октябре 1469 г. в Псков прибыли из Москвы посланцы от Ивана III и митрополита Филиппа. В митрополичьей грамоте указывалось, что должна быть восстановлена власть новгородского архиепископа над псковской церковью, «зане же тое дело искони предано святителю оуправляти...»[2] Великий князь и митрополит боялись предоставления церковной автономии Пскову, ибо это могло бы повести и к усилению политической самостоятельности Псковской республики. Псковские же бояре и духовенство не желали ссориться с московскими властями. Поэтому злополучная грамота с выписками из Номоканона в начале 1470 г. была извлечена из «ларя» и публично уничтожена на вече.

В 1470 г. в Новгород было отправлено из Пскова посольство из бояр во главе с посадником Яковом Ивановичем Кротовым для того, чтобы сообщить архиепископу о решении церковного вопроса («тех на владыце святительскых покладати вещеи»), а также договориться по ряду спорных дел (о захваченных в Новгороде и посаженных в поруб псковских гостях и «людях» псковского посла и т. д.). Из Новгорода посольство, возглавленное Я. И. Кротовым, должно было поехать в Москву. О результатах поездки Я. И. Кротова и других бояр в Новгород и Москву летопись сообщает очень глухо, но видно, что не все спорные между новгородцами и псковичами вопросы были урегулированы. Псковских гостей новгородское правительство выдало только «головами», а их товары, очевидно, были задержаны в Новгороде.

Между тем новгородский архиепископ Иона, воспользовавшись решением митрополита об уничтожении грамоты 1468 г., стеснявшей его власть в Пскове, стал допускать беззакония в области церковного управления. Иону обвиняли в симонии. Он за «мзду» давал грамоты на право производства церковной службы вдовым священникам и дьяконам. Псковский летописец—современник говорит, что архиепископ поступал так «по своемоу обычаю злому, неуздержянномоу нравоу, сребролюбиа ради...»[3] В Пскове нарастало недовольство действиями новгородского архиепископа, а значит, росла оппозиция новгородскому боярскому правительству. Она шла, по-видимому, из среды посадских людей, но захватывала и псковских бояр.

* * *

Тем временем подготавливалась московско-новгородская война. В декабре 1470 г. в Псков приехал великокняжеский боярин «под-

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 166—167.
[2] Там же, стр. 168.
[3] Там же, стр. 170.

нимати псковичь на Великои Новъгород». Начиная наступление на Новгородскую республику, московское правительство желало обеспечить себе поддержку псковского населения. Идеологически предполагаемый поход на Новгородскую землю московская великокняжеская власть обосновывала как начало борьбы за восстановление «старины» в отношениях между Москвой и Новгородом. «Старина» же эта усматривалась в признании Новгородской земли великокняжеской «вотчиной». Псковичам московский посол предложил на вече от имени великого князя оказать ему помощь в укреплении его политической власти в Новгородской земле.

Псковское правительство действовало осмотрительно и осторожно. Оно отправило послов в Новгород с предложением своего посредничества в московско-новгородских отношениях. В этих целях псковичи просили предоставить им «путь» через Новгородскую землю в Москву.

Новгородские власти отказались от псковского посредничества в урегулировании мирным путем своих взаимоотношений с московским великим князем, потребовав от псковичей военной помощи против Москвы: «а вы бы есте за нас против великого князя на конь оуссегли по своемоу с нами миродокончанью...»[1] На псковском вече, где выступал новгородский посол, выявилось враждебное отношение части псковского населения (бояр, купцов) к Новгороду. Пострадавшие в свое время псковские гонцы («обиднии люди»), в течение полугода просидевшие в Новгороде в заключении («в порубах приобижени», «измоучени в железах от биричов»), лишившиеся товаров и денег, заставили людей, сопровождавших новгородского посла, возместить им «серебром» их убытки. По главному вопросу—о военной поддержке Псковом Новгорода в случае его войны с Москвой—новгородскому послу был дан весьма уклончивый ответ: «как вам князь великои отслет взметноую грамотоу, тогда нам явите, а мы о том отгадав вам отвечаем». В то же время псковское правительство обещало верность Ивану III («а по князе великом нямася псковичи на Великои Новгород послоу князя великого»)[2].

Внешнеполитическая обстановка для Псковской земли в рассматриваемое время была неблагоприятной. В 1469 г. на Псковскую землю напали шведы. В 1470 г. псковские послы вместе с польским королем и великим князем литовским Казимиром IV разбирали в Полоцке пограничные конфликты (споры «о земли и воде, о пороубежных местех и о обидных делех»), причем король «оуправы не оучинил никакове обидным делом...» В том же году состоялся съезд литовских и псковских послов в Березничах, также не приведший ни к каким результатам. В марте 1471 г. в Псков приезжал посол рижского магистра, предъявивший претензии на часть псковской территории[3]. Тогда же псковские послы ездили в Вильно,

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 173.
[2] Там же, стр. 174.
[3] Там же, стр. 169, 171—172, 174—175.

но опять не смогли там добиться от Казимира IV урегулирования порубежных недоразумений.

Находясь в таких сложных внешнеполитических условиях, Псковская республика, естественно, стремилась к сохранению союза с московской великокняжеской властью.

Напряженной была и внутренняя обстановка в Пскове. Обострился земельный вопрос. В 1470 г. сгорела церковь в псковской волости Усиставе. Вместо нее стали строить две другие церкви. И тут, по словам летописца, началась «крамола». Произошла она от «невежь и от простых», т. е. от рядовых масс псковского населения: горожан, а может быть, и окрестных сельских жителей. Они предъявили права на землю, принадлежавшую старой (сгоревшей) церкви (стали «бестоудством и злобою отнимати даное богови в наследье тъи божии церкви»). Но в действия «препростой чади» вмешались посадники, выделившие на вече приставов, которые должны были судебным порядком оспаривать у монастыря его владения. Каков социальный смысл того, что произошло в Усиставе? В борьбе за церковную земельную собственность можно, по-видимому, заметить две линии. Во-первых, выступают черные люди, живущие на государственной земле, часть которой отошла к церкви, а они хотят ее вернуть. Летописец чрезвычайно неблагожелательно относится к тем, кто посягает на церковные имения. Это—«невегласи, злии человеци, мздоиматели», «ни храмов устрашающеся божиих, мятоущи святыми божии церквами»[1]. Но движением «препростой чади» стараются овладеть представители господствующего класса, посадники. Им важно, во-первых, ввести это движение в легальное русло, повести разбор дела о церковной земле судебным порядком. Во-вторых, посадники, вероятно, стремятся предупредить самовольный раздел земли черными людьми, хотят сохранить ее как землю государственную, черную, тяглую.

Еще одна «крамола», описанная летописцем, произошла в связи с тем, что «другии человеци», «отрекшеся мира и яже в мире» (т. е. как монахи, так и миряне), «начаша воздвизатися и препростую чядь въздниматн по миру на самую соборноую апостольскоую церковь, на дом святыя Троица, истязуя от нея воды и земля, даноя в наследье божиа в дом святыа Троица...» По всей видимости, старцы какого-то монастыря и связанные с ними светские лица стали подговаривать рядовых черных людей помочь им овладеть землей, принадлежавшей Троицкому собору. В данном случае, по-моему, самое интересное—это то, что черные люди, «мир», начинают рассматривать себя в качестве распорядителей земельных фондов. Чтобы получить землю, принадлежавшую Троицкому собору (речь идет о земельном участке, переданном ему дедом боярина Матуты Дионисиевича—старым посадником Нежатой), монахи обращаются к содействию «мира», «мир облеская лживыми словесы». И роль «мира» является решающей: вече выносит приговор о пере-

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 175—176.

даче земельного вклада Нежаты из Троицкого собора в монастырь, не названный летописцем по имени.

Летописец помещает в связи с рассказом о двух изложенных им случаях «крамолы» по земельным делам длинное витиеватое рассуждение, в котором обличает «обидевшаа святыя церкви»[1]. Обличение это вызвано обострением в рассматриваемое время в Псковской земле борьбы за землю между светскими и духовными феодалами, а главное — антифеодальными движениями, одним из видов которых были захваты церковных владений черными людьми. В обстановке внутренних социальных противоречий, так же как и внешнеполитических осложнений, господствующий класс Псковской земли нуждался в поддержке московской великокняжеской власти.

В середине июня 1471 г. в Псков прибыл из Москвы великокняжеский дьяк с приказанием псковскому правительству объявить войну Новгороду («положити розметнии грамоти»). Псковичи отправили в Новгород с «разметными грамотами» подвойского, а великокняжескому дьяку обещали выступить в поход в Новгородскую землю тотчас вслед за выступлением московских войск. В конце июня в Псков приехал московский боярин Василий Зиновьев, назначенный воеводой над псковским войском, которое должно было быть послано в Новгородскую землю. 10 июля псковская рать вышла в поход, а 12 июля начала войну в пределах Новгородских волостей. Псковские военные силы действовали на новгородской территории до середины августа. После заключения московско-новгородского Коростынского докончания, псковская рать 15 августа 1471 г. вернулась домой.

В декабре 1471 г. в Пскове побывали послы из Великого Новгорода и подтвердили мирное докончание. В связи с этим летопись сообщает, что псковские посадник и бояре «тогды же и лняноую грамотоу подраша, вынемше из ларя; и бысть всем християном радость велие, с 8 бо год она была в лари, да много христианом истомы и оубытков в тоя времяна было»[2]. Не совсем ясно, какая же грамота была уничтожена? Летописное известие о «льняной грамоте» можно понимать двояко: или в смысле определения материала, на котором написан текст, или же в смысле указания на содержание текста. Вернее последнее, так как в русских источниках XV в. обычно отсутствуют специальные упоминания о льняной бумаге. Содержание упомянутой грамоты могло быть посвящено определению повинностей крестьян по поставке землевладельцам или государству льна или изделий из него. Но возможно, что речь в грамоте шла об условиях вывоза льна из Псковской области (обложение пошлинами и т. д.). Я думаю, что правильнее будет принять второе предположение, так как известие об уничтожении льняной грамоты помещено в летописи в связи с рассказом о заключении мира между

---

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 176—177.

[2] Там же, стр. 186.

Псковом и Новгородом, а политические осложнения между ними были связаны и с затруднениями в развитии торговых отношений. Итак, ликвидация льняной грамоты означала облегчение условий вывоза товаров из Псковской земли. Значит, новгородско-псковское мирное соглашение 1471 г. должно было благоприятно отразиться на дальнейшем экономическом развитии северо-западных русских земель.

После победы, одержанной московскими войсками над новгородскими в 1471 г., и стеснения самостоятельности Новгородской республики московское правительство делает постепенно шаги к ущемлению политических прав Пскова. Князь Ф. Ю. Шуйский, очевидно, не без ведома Ивана III, которого он ставил в известность о своих поступках, начал действовать авторитарно, не считаясь с псковскими порядками («...нача на Псков к великомоу князю засилати грамоти, а сам надо Псковом творячи силно...»).

В начале 1472 г. из Пскова в Москву отправились послы договариваться с великим князем «о своих старинах». Летопись довольно четко определяет позицию, занятую в это время в отношении Псковской республики Иваном III. Он признавал за Псковом право присылать в Москву на утверждение своих кандидатов в псковские наместники, но требовал от населения подчинения власти назначенного наместника, который, с его точки зрения, подлежал контролю лишь великого князя. «...Кои боудеть вам наместник от мене вам князь надобе, я вам не стою; а того бы есте не беществовали, котореи оу вас боудеть начнет творити силно, то яз ведаю, а вас свою вотчиноу жалоую».

Недовольные поведением Ф. Ю. Шуйского, псковские послы просили Ивана III прислать в качестве наместника в Псков князя И. В. Стригу-Оболенского. Но, предоставляя в принципе Пскову право выдвигать кандидатов в наместники, Иван III практически и в этом вопросе решил проявить свою власть. Он отказался назначить псковским наместником И. В. Оболенского, заявив, что он ему «здесе оу себе надобе». Под тем же предлогом отклонил он и кандидатуру в псковские наместники князя И. В. Бабича. Лишь третий кандидат в наместники, выдвинутый от имени Псковской республики, князь Я. В. Оболенский, получил утверждение Ивана III.

Соблюдая полную лояльность в отношении московской великокняжеской власти, псковское правительство устроило торжественные проводы Ф. Ю. Шуйскому, покинувшему псковское наместничество. Его провожали до рубежа посадник, дети боярские, сотские, подвойские. Но Ф. Ю. Шуйский, по словам летописи, «забыв добра псковского и хрестьного целованиа», переехав границу Псковской земли, ограбил посадника, сотских, подвойских, отнял у них коней и отпустил их к Пскову «мало не нагих»[1]. Московский наместник, чувствуя за собой поддержку великого князя, демонстри-

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 186—188.

ровал свою силу и безнаказанность. Однако утверждение в Пскове на своем посту в феврале 1473 г. нового наместника—Я. В. Оболенского произошло в традиционных формах взаимоотношений Псковской республики с князьями. Посадники, духовенство и «всь Псков», т. е. собравшиеся на вече горожане, «посадиша» Я. В. Оболенского «на княжении» в Троицком соборе. Я. В. Оболенский со своей стороны «крест поцелова на вече к Псковоу на соуду и на пошлинных грамотах и на всех старинах псковскых»[1].

Формально московское правительство признавало самостоятельность Псковской республики, в государственном аппарате которой великокняжескому наместнику отводилось законом определенное, весьма ограниченное место. Фактически же наместник в своей повседневной деятельности все более и более выходил из этих законных рамок. Великий князь его молчаливо поддерживал. А псковское правительство часто было лишено возможности протестовать, поскольку нуждалось в военной помощи Москвы для борьбы с внешней опасностью.

В это время у Псковской республики обострились отношения с Ливонским орденом. Намечавшийся на сентябрь 1472 г. съезд псковских и ливонских послов по урегулированию земельных и других споров был сорван по вине магистра. Летом 1473 г. съезд состоялся (на реке Нарове), но не привел ни к каким результатам. Псковское правительство стало готовиться к войне и обратилось за военной помощью к Ивану III. В конце 1473 г. в Псков прибыло московское войско во главе с князем Д. Д. Холмским. Это обстоятельство заставило ливонских рыцарей быть более уступчивыми. В начале 1474 г. были оформлены мирные соглашения Пскова с ливонским магистром и с Юрьевом[2].

За поддержку вооруженными силами, полученную из Москвы, Пскову пришлось расплачиваться постепенной утратой своей самостоятельности. Правда, падение независимости Псковской республики растянулось на длительное время. Но в 1474 г. Иван III уже открыто заявил о своем желании пересмотреть те начала, на которых строились взаимоотношения московского правительства с Псковом. Великий князь стал особенно придирчиво относиться к ритуалу, согласно которому вели с ним сношения псковские власти. Он выразил «нелюбовь» и «гнев» «до своеи вотчины до всего Пскова» в связи с тем, что к нему вместо псковских «больших послов» прибыл гонец. Он не принял одно псковское посольство и «спровадил» его «с подворья». Согласившись принять вторично отряженных к нему из Пскова послов, Иван III высказал им намерение ознакомиться с теми княжескими грамотами, в которых говорилось бы о привилегиях Псковской республики, с тем чтобы выяснить, каковы же в действительности были эти старинные привилегии. «Рад есми отчиноу свою оустроене держати, аже ми положите прежних князеи

---

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 192.
[2] Там же, стр. 55—56, 193—199.

великих грамоты послинныя». Ясно, что московское правительство задумало ревизию политического строя Пскова. С мая по ноябрь 1474 г. в Москве находился псковский наместник Я. В. Оболенский. Очевидно, при его участии московским правительством была разработана программа дальнейшего наступления на порядки Псковской республики[1].

§ 5. Классовая борьба в Новгороде в 1471 г. и поход на Новгород московских войск

Вопрос о походе московских войск на Новгород в 1471 г. уже достаточно изучен советскими учеными. Поэтому я не буду останавливаться на нем подробно, а сосредоточу свое внимание главным образом на одном моменте: на расстановке классовых сил в Новгороде в это время и на влиянии происходившей там классовой борьбы на исход столкновения московских военных сил с новгородскими[2].

Обострение отношений между Новгородом и Московским княжеством намечалось с конца 60-х годов XV в. Большая повесть о походе Ивана III на Новгород в 1471 г., составленная в Москве и отражавшая интересы московской великокняжеской власти, намечает причины такого обострения. Новгородцы не уплачивали в великокняжескую казну пошлин и не исполняли других своих повинностей; они захватили земли, в свое время уступленные новгородским правительством великому князю; присылали от имени веча людей на двор великого князя на Городище и чинили «бесчестие» великокняжескому наместнику; незаконно арестовали на Городище от имени великого князя и подвергли пытке бывших там князей и их людей; нападали из пограничных Новгородских волостей на владения великого князя и его братьев и т. д.

Вопрос о новгородско-московских отношениях изучаемая повесть рассматривает односторонне. Она касается лишь тех нарушений старинных договорных отношений между Новгородом и великокняжеской властью, которые допускали новгородцы, и ничего не говорит о попытках стеснения независимости Новгородской республики московским правительством.

Окончательный разлад московско-новгородских отношений летописи связывают со смертью новгородского архиепископа Ионы и с приездом в Новгород из Литвы князя Михаила Олельковича. Иона умер 5 ноября 1470 г. Михаил Олелькович приехал в Новго-

---

[1] О событиях в Пскове в конце 70-х—80-х годах XV в. см. мою статью в журн. «История СССР», 1958, № 3, стр. 145—171.

[2] О событиях в Новгороде в 1471 г. см. ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 449—450, 456, 465, 499—513; т. IV, ч. 1, вып. 3, стр. 609; т. V, стр. 275; т. VI, стр. 7—15, 191—194; т. XII, стр. 125—141; т. XVIII, стр. 224—233; т. XX стр. 280—296; т. XXIV, стр 188—191; т. XXV, стр. 284—290; «Иоасафовская летопись», стр. 62—71; «Псковские летописи», вып. 2, стр. 54—55, 172—185; УЛС, стр. 88—89.

род 8 ноября 1470 г. Летописи указывают, что Михаил Олелькович был прислан в Новгород по просьбе новгородцев польским королем и великим князем литовским Казимиром IV («ис королевы роукы новогородци испросен...»)[1].

Московские летописи (Львовская и другие) расценивают призыв новгородцами Михаила Олельковича как выражение их намерения выйти из подчинения московской великокняжеской власти и перейти в подданство к Литовскому государству («... не покаряющимся новугородцом великому князю и в воли его быти не хотящим»). Тайно от Ивана III из Новгорода было послано посольство к Казимиру IV, заключившее с ним договор. Признав своим князем Михаила, новгородцы согласились и на церковное подчинение Литве, решив утверждать своего архиепископа в Киеве[2]. Узнав о поведении новгородцев, московский великий князь и митрополит прислали в Новгород своих представителей уговорить их отказаться от таких намерений. Но это не привело к положительному результату. Тогда великий князь решил начать против Новгорода войну.

Симеоновская и другие летописи указывают, что обращению в Литву предшествовало посольство из Новгорода в Москву к великому князю с просьбой утвердить в качестве архиепископа на место умершего Ионы намеченного в Новгороде кандидата—Феофила. В своем разговоре с новгородскими послами Иван III применил к Новгороду термин «отчина моя». Это было воспринято в Новгороде как покушение на новгородскую независимость, что и побудило новгородцев разорвать мирные отношения с московским великим князем и послать послов (Панфила Селифонтова и Кирилла Иванова сына Макарьина) в Литву для переговоров с Казимиром IV. Переход под протекторат последнего был обусловлен сохранением политических порядков Новгородского государства. Это было подчеркнуто в обращении новгородских послов к королю: «волныи есмы люди, Великии Новгород».

В каких же кругах новгородского общества созрело и кем было принято решение о переходе под власть Литвы? Все летописи подчеркивают, что вопрос этот обсуждался и был принят на вече по инициативе новгородских бояр. Так, в Типографской летописи читаем: «и сняшяся посадници на вечь и новогородцькие бояре вечници и крамолници и соуровии человеци и вси новогородци и послаша к оканномоу ляху и латынину королю». «Крамольниками» и «вечниками» здесь названы бояре. Это они, следовательно, выдвигают проект о союзе с Литвой, но характерно, что проводят они этот проект через вече, его принимают (хотя бы формально) «вси новогородци». Следовательно, бояре не решаются действовать

---

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 172. К. В. Базилевич сомневается в достоверности этого известия и считает, что Михаил Олелькович был приглашен новгородцами независимо от Казимира (*К. В. Базилевич*, Внешняя политика Русского централизованного государства, стр. 94). Однако доказательства Базилевича недостаточны.

[2] ПСРЛ, т. XX, стр. 282, 285.

сепаратно, они хотят придать своему решению характер общенародного приговора. Правда, тут же Типографская летопись (в некотором противоречии с предшествующим изложением) заявляет, что боярский проект встретил (очевидно, на вече) и оппозицию: «земстии же людие того не хотяху...»[1]

Более детально останавливаются на обсуждении в Новгороде проекта о союзе с Литвой летописи Симеоновская и другие. Прежде всего они указывают, что вопрос о переходе в подданство к Литовскому государству вызвал большие волнения в Новгороде. Разные социальные группы склонны были решать этот вопрос по-разному. «И так възмятеся весь град их, и въсколебашася яко пьяны», с укором пишет московский летописец, «овии же хотяху за великаго князя по старине к Москве, а друзии за короля к Литве». К заключению договора с Казимиром IV склонялась боярская партия во главе со вдовой посадника Исаака Борецкого Марфой и ее детьми. Часть боярства (старые посадники, тысяцкие, лучшие люди, житьи люди) настаивала на сохранении союза с великим князем Иваном III. Но самое интересное в летописном изложении—это указание не на расхождения между боярскими партиями, а на то, что активно действующей силой на вече выступал народ. Правда, летописец, сторонник московской великокняжеской власти, рассказывает об этом предвзято, тенденциозно. Он говорит, что «изменники» (т. е. сторонники партии Борецких) специально платили деньги черным людям за то, чтобы они поддерживали их предложения на вече: «...начаша наимовати худых мужиков вечников, на то за все готови суть по их обычаю». Подкупленная «чернь» якобы звонила на вече в колокола, кричала: «за короля хотим!»—и забрасывала камнями тех, кто поддерживал великого князя московского. Конечно, можно допустить, что в Новгороде были люди, оказавшиеся вне существовавших в это время социальных групп, лица без определенных занятий и лишенные средств к существованию. Они могли продавать свои голоса. Но попытка летописца представить дело так, что продажными были все те черные люди, которые стали на путь разрыва с великокняжеской властью, явно не заслуживает доверия. Очевидно, летописный рассказ об участии худых «мужиков вечников» в обсуждении проекта о приеме в Новгород независимого от Москвы князя надо понимать в том смысле, что среди части посадских новгородских людей этот проект нашел соответствующий отклик, и отстаивали они его с оружием в руках. Вечевые собрания превращались в острые классовые столкновения: «и велико неустроение бяше в них, и межи себе ратяхуся, сами на ся въстающе»[2]. Конечно, не могло быть общности социальных интересов у бояр и черных людей. Одни защищали интересы феодальной аристократии, другие—утопическую идею вечевой демократии, охраняемой «добрым» князем.

---

[1] ПСРЛ, т. XXIV, стр. 188—189.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 225—226.

В Софийской первой и других летописях содержатся подробные указания на планы Марфы Борецкой. Она якобы хотела выйти замуж за одного литовского пана, который стал бы в качестве королевского наместника во главе всей Новгородской земли. Сообщником Марфы Борецкой был владычный ключник Пимен, мечтавший о том, чтобы сделаться новгородским архиепископом по назначению из Киева. По словам летописца, Марфа Борецкая широко раздавала деньги народу, завоевывая этим популярность. «... И того ради многи людие на сонмище к ней схожахуся и многи послушаху прелестных и богоотметных словес ея...»[1] Трудно сказать, сколь достоверны приведенные летописные сообщения о проектах Марфы Борецкой и Пимена. Но в этих сообщениях интересны опять-таки указания на настроения части «людей» (т. е. горожан), выступавших против московской великокняжеской власти.

Конечно, не боярская идея о переходе Новгорода в подданство Литве встретила сочувствие в некоторых кругах посадского населения. Нет, их привлекала идея иметь независимого от московского правительства князя. Учитывая экономические интересы новгородцев, ведших торговлю с русскими, украинскими, белорусскими землями Литовского государства, можно понять, почему для них казалась приемлемой кандидатура в князья сохранившего православие Михаила Олельковича, связанного с населением Киевщины. Многим казалось, вероятно, что призыв Михаила Олельковича в большей мере облегчит возможность сохранения вечевых порядков, а вече как никак было органом, через который черные люди пытались добиваться удовлетворения своих нужд. Для черных людей характерна наивная вера в то, что близкий народу князь защитит его интересы.

Михаил Олелькович пробыл в Новгороде недолго. В марте он уехал оттуда в Киев. Его отъезд еще больше обострил социальные противоречия в Новгороде. Борецкие и их сообщники активизировали свою деятельность. Летописи снова обвиняют их в широком применении системы подкупов. Они якобы «наименовали злых тех смердов, убииць, шилников и прочих безъименитых мужиков». Летописец относится с презрением к той «черни», которую старались привлечь на свою сторону бояре, принадлежавшие к партии Борецких. Он сравнивает черных людей со «скотами», которые лишены разума и способны только кричать. Но и «безсловесные животные» не кричали так, как «новогородстии людие, невегласи», именовавшие себя «Великим Новымгородом». Приходя на вече, они били в колокола и «кричаху и лааху, яко пси, нелепаа глаголаху: за короля хотим!»[2] Перед нами сатира (а вернее, даже пасквиль), принадлежащая перу озлобленного противника новгородских вечевых порядков, идеолога централизованного государства. Из злостных реплик летописца видно, что «злые смерды» и «безъименитые

[1] ПСРЛ, т. VI, стр. 5—6.
[2] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 227.

мужики» представляли силу, которую сумели использовать в своих интересах Борецкие и их сообщники. Еще раз повторяю, что «безъименитых мужиков» прельщал не переход под власть Литвы, а возможность получить своего местного князя.

В Москве, очевидно, уже давно велась подготовка к войне с Новгородом. Походу на Новгород был придан характер большого политического акта. Подчеркивалось, что это поход, вызванный отпадением новгородцев из православия в «латинство». В марте 1471 г. Иван III созвал в Москву своих братьев (удельных князей), епископов, князей, бояр, воевод, «воев» (т. е. простых воинов) и известил их о намечающемся военном выступлении. В Новгород были посланы «разметные грамоты». В Тверь и Псков Иван III послал послов с просьбой о военной помощи. В конце мая 1471 г. из Москвы отправилось войско (под предводительством Бориса Матвеевича Слепца Тютчева) к Вятке, откуда оно должно было двинуться в Двинскую землю. На помощь этому войску, по великокняжескому предписанию, должна была прийти рать с Устюга. В начале июня 1471 г. из Москвы выступила по направлению к Русе рать во главе с князьями Даниилом Дмитриевичем Холмским и Федором Давыдовичем Пестрым-Стародубским. Туда же должны были двинуться отряды детей боярских князей Юрия и Бориса Васильевичей. В середине июня 1471 г. вышли по направлению к Волочку и на Мсту полк под руководством князя Ивана Васильевича Стриги-Оболенского и отряд татарского царевича Даньяра. 20 июня 1471 г. выступили основные военные силы во главе с Иваном III, направившись через Волоколамск в Торжок. Братья Ивана III—князья Юрий, Андрей, Борис Васильевичи и князь Михаил Андреевич верейско-белозерский, отправились в поход прямо из своих «отчин».

В Торжке московские вооруженные силы пополнились тверским военным отрядом. Сюда же явились к великому князю послы из Пскова с известием, что псковичи готовы выступить ему на помощь.

«Разными дорогами» Иван III и его братья двигались к Новгороду, уничтожая все на своем пути: «пленующе и жгуще и люди в плен ведуще». Столь же жестоко поступали с населением и воеводы, действовавшие около Русы. Они «распустиша воя своя на многые места жещи, и пленити, и в полон вести, и казнити без милости за их неисправление к своему государю великому князю».

От Русы воеводы Д. Д. Холмский и Ф. Д. Пестрый-Стародубский пошли со своими «воями» к Новгороду. У местечка Коростыни на них напала новгородская рать, подплывшая на судах по озеру Ильменю. Нападение было отбито, многие новгородцы были убиты, часть их взята в плен. Московские воеводы поступили с ними необычайно жестоко: подвергали их истязаниям, уничтожили их доспехи и безоружных и изуродованных отправили в Новгород, а сами ушли в Русу, где нанесли поражение другой новгородской рати. От Русы воеводы пошли к городку Деману, а оттуда—за реку Шелонь для соединения с псковичами.

Основная московская рать под предводительством Ивана III стала на реке Шелони. Под городком Деманом были сосредоточены военные силы под предводительством князя Михаила Андреевича верейско-белозерского.

На реке Шелони произошло решительное сражение между московской и новгородской ратями. Московские летописцы подчеркивают, что новгородские военные силы (40 тысяч человек) численно значительно превышали великокняжеское войско (5 тысяч воинов). Но вряд ли можно доверять летописным данным о количественном соотношении вооруженных сил обоих противников. Летописцам важно было подчеркнуть, что великокняжеская московская рать победила, несмотря на то что она была во много раз меньше новгородской. Социальный состав новгородского войска, судя по летописям, был пестрый. Это—посадники, тысяцкие, купцы, житьи люди, ремесленники («мастери всякие, спроста рещи, плотници, и горнчары, и прочии»). Летописцы подчеркивают, что новгородские ремесленники были небоеспособны, непривычны к военному делу («...родився, на лощади не бывали»). Подчеркивается в летописях и то обстоятельство, что новгородская рать, выступившая на реке Шелони против великокняжеского войска, была собрана насильно, что к тем, кто не хотел воевать, бояре-изменники применяли репрессии. Большинство же новгородского населения не желало идти на войну с Московским княжеством. Всех тех, читаем в Симеоновской летописи, у кого «и на мысли не бывало, что рукы подняти противу великаго князя, всех тех изменници они силою выгнаша, а которым бо не хотети поити к бою тому, и они сами тех всех разграбяху и избиваху, а иных в реку в Волхов метаху»[1]. Все эти объяснения очень тенденциозны. Могла ли действительно кучка бояр, принадлежавших к партии Борецких, насильно заставить воевать 40 тысяч человек? Очевидно, все же антимосковские настроения в Новгороде были значительно сильнее, чем это хотят представить летописцы, и вовсе не все новгородцы (в том числе и не все черные люди) выступали на войну из страха перед новгородскими боярами—сторонниками Борецких.

На Шелони новгородское войско потерпело поражение от перешедших на другой берег реки великокняжеских полков. Бросается в глаза неудовлетворительное руководство военными силами со стороны новгородских бояр. К Русе была послана новгородская «судовая рать», которая, как указывалось, была разбита московскими воинами. «Коневая рать» не двинулась ей на помощь потому, что новгородский архиепископ (ведший, очевидно, двойственную политику) запретил своему полку, бывшему в составе этой рати, сражаться против полков великого князя.

Строевский список Новгородской четвертой летописи сообщает интересные данные о тех противоречиях, которые вскрылись на Шелони между «большими» и «молодшими» людьми. «И начаша нов-

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 227—228, 230—231.

городци вопити на больших людеи, которыи приехали ратью на Шелонь: «Оударимся ныне», кождо глаголюще: «Яз человек молодыи, испротеряхся конем и доспехом»[1]. Обычно это место летописи понимается так, что бояре настаивали на немедленной атаке московских военных сил, а черные люди, будучи сторонниками союза с Москвой, не хотели их поддержать[2]. Но ведь источник говорит совсем иное: как раз «молодшие люди» побуждают бояр начать атаку противника, а те проявляют медлительность и нерасторопность. «Молодшие люди» были недовольны тем, что бояре, толкнув их на сопротивление московскому правительству, в самую решительную минуту не действовали активно.

Согласно летописным данным, на Шелони было убито до 12 тысяч новгородцев. Более 2 тысяч новгородцев (среди них ряд посадников, бояр, житьих людей) попали в плен[3]. На поле битвы в «кошевных вьюцех» были найдены списки договора Новгорода с польским королем и великим литовским князем Казимиром IV[4]. По летописи известно, что новгородцы, после того как Иван III выступил против них в поход, просили у Казимира IV военной помощи, но он ее не прислал.

Уже после победы на Шелони московские войска продолжали «воевать» окрестности Новгорода. К Ивану III, находившемуся в Яжелбицах, был послан гонец с известием о победе. Иван III двинулся в Русу. В Новгороде опять начались волнения («и бысть в Новегороди молва велика, и мятежь мног, и много лжа неприязнена»). Снова вскрылась рознь между боярами—сторонниками великого московского князя, с одной стороны, великого князя, литовского—с другой. «И разделишася людие: инеи хотяху за князя а инии за короля за литовьского». Можно думать, что Новгород готовился к сопротивлению московским войскам. Была выделена «сторожа многа по граду и по каменным кострам на переменах день и нощь». Новгородцы выжгли посады около Новгорода. Волнения в Новгороде имели характер не только внутрипартийной политической борьбы в среде боярства. Борьба носила и характер социальный. «И бысть на лутьшии люди молва, яко те приведоша великого князя на Новгород»[5]. Как понимать это место летописи? Может быть, в том смысле, что союз части бояр с Литвой побудил великого князя совершить поход на Новгород, за что, следовательно, несет ответственность боярская партия Борецких. Но летописный текст можно понимать и иначе: виновны те новгородские бояре, которые были союзниками Ивана III и содействовали его наступлению на Новгород. Если последнее толкование верно, то перед нами новое

---

[1] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 446.

[2] «Очерки истории СССР. Период феодализма. IX—XV вв.», ч. 2, стр. 276—277.

[3] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 231.

[4] ГВНП, стр. 129—132; № 77. Об этом договоре см. *Л. В. Черепнин*, указ соч., ч. 1, стр. 343—344, 363—369.

[5] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 447; УЛС, стр. 89.

доказательство, что далеко не все черное население Новгорода сочувственно относилось к московской великокняжеской власти, победа которой означала бы разрушение вечевых порядков. Социальная рознь между боярами и черными людьми, проявившаяся наружу, показала, что нет основ для их политического союза.

Подавив сопротивление Великого Новгорода и находясь в Русе, Иван III велел казнить наиболее видных представителей новгородского боярства—сторонников новгородско-литовского союза. Некоторых бояр он отправил в Москву или в Коломну «да велел их вметати в тюрму», а «мелких людей» приказал отпустить в Новгород.

Одновременно с победой московского войска над новгородским на Шелони московская и устюжская рати «повоевали» Двинскую землю.

По инициативе новгородских архиепископа Феофила, посадников, тысяцких, представителей новгородских концов начались мирные переговоры с Иваном III, закончившиеся подписанием в местечке Коростыни московско-новгородского договора. Новгородское правительство заплатило великому князю большую контрибуцию. Самостоятельность Новгородской феодальной республики была значительно стеснена[1]. Близилось время окончательного политического падения Новгорода.

§ 6. Политические взаимоотношения московской великокняжеской власти и Новгородской феодальной республики в 1471—1477 гг.

У нас нет летописных данных, позволяющих говорить о том, как развивались московско-новгородские отношения в ближайшие годы после 1471 г. Нет в нашем распоряжении и материала, который дал бы возможность осветить социальные взаимоотношения в Новгородской земле в указанное время. Зато некоторые летописи дают довольно подробное описание поездки Ивана III в Новгород в конце 1475—начале 1476 г. На основании летописных рассказов об этой поездке можно судить и о том, что происходило в Новгороде в 1471—1475 гг. и каков был характер новгородско-московских связей в данные годы.

Мне кажется, можно говорить о трех летописных версиях по вопросу о походе Ивана III в Новгород в 1475—1476 гг. Первая из них, отражающая точку зрения московской великокняжеской власти, коротко сформулирована в Типографской летописи. Она сводится к тому, что московский великий князь ездил в Новгород, чтобы навести суд и управу, расправиться с враждебными ему боярами, подвергнуть их заточению, лишить имущества и тем самым добиться покорности Великого Новгорода («...дасть оуправу Вели-

[1] Анализ Коростынского договора см. *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 369—373.

комоу Новугородоу, приведе их во всю свою волю, лоутчих посадников поимав, оковавши их, на Москву посла, много поимав богатьства...»)[1]. По-видимому, после заключения Коростынского договора оппозиция новгородского боярства московской великокняжеской власти усилилась или во всяком случае не ослабла.

Другую версию дает Строевский список Новгородской четвертой летописи. Здесь проводится мысль, что Иван III совершил в 1475—1476 гг. военное нападение на Новгородскую землю, несмотря на то что в это время между Московским княжеством и Новгородом были мирные отношения. Великий князь «в силе велице, на миру», двинулся на Новгород, захватил своими войсками все монастыри «и дворьци манастырьскии около Новаграда», велел арестовать шесть бояр (в том числе посадников) и сослал их в Москву. По мысли данной летописи, в 1475—1476 гг. произошло военное вторжение московских войск в Новгородскую землю, в результате чего ей было причинено «оубытка много с кровью»[2].

Согласно третьей версии, представленной Псковской третьей летописью, Иван III ездил в Новгород, будучи призван туда «житьими» и «молодшими» людьми для производства суда и управы над посадниками и «великими боярами», которые чинили им «насилье»[3].

Сопоставляя между собой три изложенных версии, можно прийти к выводу, что за время после Коростынского договора классовые противоречия в Новгороде обострились. Черные люди терпели притеснения от бояр. За социальными взаимоотношениями в Новгороде внимательно следила московская великокняжеская власть, которая стремилась использовать недовольство новгородских черных людей политикой местных феодалов. Очевидно, московское правительство учло опыт 1471 г., когда новгородскому боярству удалось увлечь за собой на путь борьбы против великокняжеской власти часть черных людей. Теперь московское правительство стремится, напротив, само завоевать симпатии рядовых новгородских горожан.

Ритуал посещения Иваном III Новгорода в 1475—1476 гг. был заранее подготовлен в Москве. По словам Львовской летописи, у Ивана III была договоренность с новгородским правительством, представители которого действовали во время его пребывания в Новгороде так, «яко же повеле им сам князь великии»[4]. Хотя Иван III отправился в Новгород в сопровождении большой военной силы, его поездке был придан характер мирного акта («пошел... миром»). Выражение «пошел... миром»—это переделка московскими летописцами слов новгородских летописей: «приехал... на миру». В результате такой переделки смысл текста в корне изменился. В первом случае речь шла о нарушении московским правитель-

---

[1] ПСРЛ, т. XXIV, стр. 195.
[2] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 449.
[3] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 200.
[4] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 251.

ством мира с Новгородом. Во втором—о мирном правительственном визите в Новгород.

Московские войска кольцом окружили Новгород. По свидетельству Устюжского летописного свода, московский великий князь «иззанял дворы, и манастыри, и Юрьев [монастырь], и Городище; негде ни выступить, и по селом, и по деревням»[1]. Это было настоящее кольцо блокады.

Из Москвы Иван III выехал 22 октября 1475 г., 1 ноября он прибыл в Торжок, 5 ноября—в Вышний Волочок. Сюда, навстречу великому князю, пришел посланец новгородского архиепископа с «поминки». Здесь же князя встретили новгородцы Кузьма Яковль с товарищами «з жалобою на свою же братию на новугородцев»[2]. И в дальнейшем, в ряде населенных пунктов на пути к Великому Новгороду, новгородские светские и духовные власти оказывают Ивану III почести, а представители различных слоев местного населения приходят к нему с разного рода жалобами. Естественно возникает вопрос: имел ли место стихийный приток к Ивану III челобитчиков, узнавших о приезде великого князя и искавших у него суда и управы, или же подача великому князю жалоб производилась по сигналу, данному заранее из Москвы? Прямых известий для ответа на поставленный вопрос у нас нет. Но все летописное изложение наводит на мысль, что, отправляясь в Новгород, Иван III желал продемонстрировать перед населением правосудие великокняжеской власти и поэтому заранее принял меры к тому, чтобы жители Новгородской земли обращались к нему как к верховному судье. Состав жалобщиков был довольно пестрый. Челобитья были и коллективные, и индивидуальные. На пути в Новгород Ивану III не раз «ударяли челом» и приносили дары новгородские бояре, житьи люди, уличанские, купеческие старосты.

За сто верст от Новгорода великого князя встретили архиепископ Феофил, игумены крупнейших новгородских монастырей, посадники, тысяцкие, бояре. 21 ноября великий князь въехал в Новгород и остановился на Городище. Великий князь вел себя довольно властно, подчеркивая, что он приехал не в самостоятельную боярскую республику, а в свою «отчину». Он «озлобился» на архиепископа Феофила и только после специального «челобитья» последнего «отложил» от него «нелюбье».

22 ноября великий князь дал на Городище обед в честь архиепископа, посадников, тысяцких, бояр. И в тот же день он принимал новые челобитья от жителей Новгорода, новгородских пригородов и волостей. «И того же дни многые новугородцкыи жалобники, и всякые люди житьи, и рушане, и манастырскии, и прочии, иже в пределех ближних Новагорода, приидоша бити челом великому князю». Некоторые просили у Ивана III приставов для защиты от великокняжеских воинов («да быша от вои его непограблени»).

---

[1] УЛС, стр. 91; ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 449.
[2] ПСРЛ, т. XX, стр. 314.

Другие жаловались «на свою же братью на ноугородцев», ибо тогда в Новгородской земле «много зла бе,... межи себе убииства, и грабежи и домом разорениа от них напрасно, кои с которого сможаше». Из летописного рассказа ясно, что в Новгороде обострилась борьба между разными боярскими партиями. Усилился боярский произвол, от которого страдало население. Расширялась арена антифеодальных выступлений черных людей, выливавшихся в разные формы.

Политика Ивана III в Новгороде была продуманной. Он поддерживает союз с местными боярами, опирается на них. Но в то же время он хочет завоевать симпатии широких слоев новгородского населения, выдавая себя за его защитника от боярского произвола. Подобная позиция давала возможность Ивану III под видом заступничества черных людей и нелицеприятного разбора боярских ссор расправиться с неугодными ему боярами. Наконец, Иван III стремится показать, что только великокняжеская власть может обеспечить порядок в Новгородской земле. Эту мысль проводит московское летописание, в котором подчеркивается, что все раздоры в новгородском обществе произошли от того, что «земля она от многа лет в своей воле живяху, а о великых князех отчине свои не брежаху и не послушаху их...»[1]

Указанной политики Иван III придерживается и дальше. 23 ноября после торжественной службы в Софийском соборе великий князь обедал у архиепископа, который преподнес ему «многие дары». 24 ноября и в последующие дни к Ивану III стали приходить посадники, тысяцкие, бояре, житьи люди, «и всякие монастыри, и изо всех властей новугородцкых старосты и лутчие люди». Одни приносили «поминки», другие шли с жалобами.

25 ноября великий князь устроил суд по жалобам жителей двух новгородских улиц (Никитиной и Славковой) над новгородскими боярами, степенным посадником Василием Ананьиным, Богданом Есиповым и др. Это были крупнейшие новгородские землевладельцы. Их обвиняли в том, что, «наехав... со многими людьми на те две улицы, «они многих людей» перебили и переграбили», захватили у ряда жителей на тысячу рублей имущества, а «многих до смерти перебили». Аналогичную жалобу на Богдана Есипова и других подали бояре Лука и Василий Исаковы дети Полинарьина.

Судебное разбирательство Иван III производил в присутствии архиепископа, посадников Захарья Овинова и других бояр, житьих людей, по всем правилам судопроизводства Новгородской республики. Суд признал обоснованными обвинения, выдвинутые против Василия Ананьина, Богдана Есипова и др. Четыре человека были арестованы, остальных взял на поруки архиепископ.

Затем Иван III велел арестовать бояр Ивана Афанасова с сыном, которые являлись активными сторонниками союза Новгорода с Литвой («... мыслили Великому Новугороду датися за короля»).

[1] ПСРЛ, т. XX, стр. 315.

Челобитье архиепископа и посадника об освобождении «изниманных бояр» Иван III отклонил и отправил их с приставами скованных в Москву. Лиц, взятых на поруку архиепископом, Иван III согласился освободить от наказания с условием, что они уплатят денежный штраф и «исцевы убытки»[1].

Великий князь пробыл в Новгороде до 26 января, когда уехал обратно в Москву. Рассказывая о пребывании Ивана III в Новгороде до этой даты, летописи говорят о пирах, которые в честь его устраивали представители местного боярства; о дарах, которые ему приносили бояре, купцы, житьи люди; об ответных пирах, которые «чинил» великий князь, и о его «пожалованиях» посадникам, боярам, тысяцким, купцам, житьим людям. Но в отношении отправленных в Москву бояр великий князь остался тверд. Он не согласился на их помилование и в марте 1476 г., когда его просил об этом специально приехавший в Москву Феофил («а тех поиманных не отпустил князь великыи ни единого»)[2].

Итак, во время пребывания в 1475—1476 гг. в Новгороде Иван III ослабил боярскую оппозицию. Обвинительные судебные приговоры были им вынесены в отношении враждебных ему бояр, среди которых были прямые сторонники новгородско-литовского сближения. Великий князь подчеркнул это в своем разговоре с архиепископом: «...Отчине нашеи колико от тех бояр и наперед сего лихо чинилося а и нынеча что ни есть лиха в нашеи отчине, то все от них чинится...»[3] В то же время, по-видимому, Иван III привел новгородское боярство к присяге[4].

В результате посещения Иваном III Новгорода значительно вырос престиж московской великокняжеской власти среди черных людей, наивно веривших, что великий князь поможет им изжить боярский произвол. Московские летописи намеренно подчеркивают, что политика Ивана III в Новгороде в 1475—1476 гг. имела определенную социальную направленность. Он якобы защищал народ от обид, причиняемых ему боярами. По словам Симеоновской летописи, Иван III «всех людеи обидных судил с бояры и с ябедники и управлял их». Еще более четко ту же мысль проводит Воскресенская летопись, в которой указывается, что «жалобники»— это «земские люди», «чернь»; жалуются они на бояр. «И князь велики... земских людей и чернь с посадники и з бояры в Новегороде

---

[1] ПСРЛ, т. XX, стр. 316—317.

[2] Там же, стр. 319. См. также т. VI, стр. 200—205; т. XII, стр. 157—167; «Иоасафовская летопись», стр. 90—95.

[3] ПСРЛ, т. VI, стр. 203.

[4] О присяжной грамоте новгородских бояр Иван III вспоминал в 1478 г.: «на которой грамоте великим князем крест целовали есте, по тои бы грамоте государем своим и правили есте по тому же крестному целованью. А что услышит кто у брата своего у новгородца о великих князех о добре и о лихе, и вам то сказати своим государем великим князем. А что учнут великие князи с вами говорити которое свое дело, или бояре великого князя кое с кем от вас имут которое дело великих князеи говорити, и того вам государьского дела не проносити по тому крестному целованию». (ПСРЛ, т. VI, стр. 219).

судил да и управу им с черными людми учинил...»[1] Конечно, реальная действительность и ее преломление в зеркале летописного изображения не всегда совпадают. Но если на основе приведенных выше выдержек из летописей нельзя делать выводов о действительной социальной сущности политики Ивана III в Новгороде, то можно говорить о том, какой характер сам он хотел придать своим мероприятиям в глазах населения. Он действовал совместно с боярами, карая лишь тех из них, кто выступал против него. Но одновременно он добивался популярности в народе[2].

Разбор жалоб новгородского населения на местных властей и бояр Иван III продолжал в феврале 1477 г. в Москве. Этим он нарушал старинную конституцию Новгородской республики, по которой великий князь не мог никого вызывать из Новгорода для суда «на Низ», т. е. в пределы Северо-Восточной Руси. Княжескому судопроизводству в Москве был придан тот же аспект, что и в Новгороде. Иван III рядился в тогу блюстителя верховного правосудия, гарантирующего народу управу на бояр. В Типографской летописи читаем: «Тое же зимы приехаша новогородци на Москву к великому князю Иваноу Васильевичю многыи жалобники на посадников и на бояр. Князь же великыи посла по них своих приставов и начат их соудити на Москве»[3]. Несколько подробнее пишет об этом Симеоновская летопись, указывая, что в числе приехавших из Новгорода в Москву на суд были посадники, бояре, житьи люди, «и поселяне... и черници, и вдовы»[4]. С приставом в Москву был доставлен новгородский посадник Захарий Овинов. Летописи расценивают подобные вызовы великим князем в Москву новгородских властей как явление небывалое: «а того не бывало от начала, как и земля их стала, и как великие князи учали быти от Рюрика на Киеве и на Володимере, и до сего великаго князя Ивана Васильевича...»[5].

Разбирая жалобы на бояр со стороны горожан и даже «поселян», Иван III, однако, не отказывается от той политической линии, которая была им принята еще в Новгороде: от линии союза с основной частью новгородского боярства. Вероятно, в Москве был подготовлен политический акт, осуществленный от имени новгородского правительства в марте 1477 г. В Москву прибыли новгородские послы—подвойский Назар и вечевой дьяк Захарий «бити челом» Ивану III и его сыну Ивану Ивановичу «и называти себе их государи». Это посольство демонстрировало, очевидно, признание Новгородом верховной власти московского великого князя при сохранении

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 251; т. VIII, стр. 181.

[2] Несколько сомнительны данные Софийской первой и Новгородской четвертой летописей о конфискации Иваном III в 1476 г. у новгородских монастырей земель. По-видимому, это произошло уже в 1478 г.

[3] ПСРЛ, т. XXIV, стр. 195.

[4] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 253. См. также, т. VI, стр. 18, 205—206; т. VIII, стр. 183; т. XII, стр. 169.

[5] ПСРЛ, т. XX, стр. 319.

существующего новгородского политического строя. Великий же князь пожелал истолковать обращение к нему новгородских послов, употребивших титул «государь», как знак полного ему подчинения. «А наперед того не бывало: никоторого великого князя государем не зывали, но господином»,—комментируют летописи рассказ о новгородском посольстве. В апреле из Москвы были отправлены в Новгород послы, которые должны были, по предписанию Ивана III, выяснить, какой смысл был вложен новгородским правительством в термин «государь». Московским послам было указано в переговорах с новгородскими архиепископом и светскими властями «покрепити того, какова хотят государьства их отчина их Великии Новъгород»[1].

В Новгороде поняли, что претензии московского правительства зашли далеко, что им ребром поставлен вопрос о том, будет ли дальше существовать и в каком виде Новгородская республика. Официально новгородское правительство отказалось признать факт употребления новгородскими послами применительно к Ивану III нового титула. «И они того закрепися, рекуще: «с тем есмя не присылывали. И назвали то ложью».

В то же время в связи с московским посольством в Новгороде вылились опять наружу внутриклассовые и классовые противоречия. «И бысть мятежь в новогородцех»,—говорит летопись. Собралось вече, на котором был убит Василий Никифоров. Он ранее ездил в Москву, а теперь его обвинил Захарий Овинов (также побывавший в Москве) в том, что он якобы принес Ивану III присягу о подданстве от имени Новгорода. На вече Василию Никифорову бросали упреки: «Переветнике, был ты у великого князя, а целовал еси ему крест на нас». После вечевого собрания во дворе архиепископа был убит Захарий Овинов, в результате оговора которого погиб Василий Никифоров. Убит был также брат Захария Козьма Овинов[2].

Что же происходило в Новгороде? Были ли все эти политические убийства результатом борьбы между собой боярских партий? Или же шла борьба классовая? Ответить на этот вопрос не так легко. Несомненно, на вече и вне веча имело место столкновение между представителями разных боярских партий—сторонников и противников сближения Новгорода с Московским великим княжеством. Но несомненно и то, что на вече активно действовали также черные люди. Об этом свидетельствует Устюжский летописный свод. В нем рассказывается, что, когда московский представитель выступил на вече от имени Ивана III с вопросом к новгородцам, зачем они посылали послов в Москву, «чернь» заявила: «мы с тем не посылывали, то посылали бояря, а народ того не ведает». После этого «народ» начал на бояр «злобу имети». «В брани» и в «возмущенье» убили

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 254.

[2] Там же, стр. 254; т. VI, стр. 205—206; т. VIII, стр. 184; т. XII, стр. 170—171; т. XX, стр. 319.

Василия Никифорова, Захария и Козьму Овиновых и других. Некоторых бояр, «изымавше», посадили «за сторожи»[1].

Почему возмутилась «чернь»? Ведь авторитет великокняжеского имени в ее среде был силен, особенно после того, как Иван III в бытность в Новгороде в 1475—1476 гг., а затем в 1477 г. в Москве вынес по ее требованию несколько обвинительных приговоров боярам. Вероятно, причиной волнений была та двойственная политика, которую вел московский великий князь, отстраняя бояр, ему неугодных, и в то же время поддерживая боярство в целом. Боялись черные люди и уничтожения вечевых порядков, которые при всем засилии на вече боярства все же давали возможность рядовым горожанам отстаивать свои интересы.

Классовая и внутриклассовая борьба в Новгороде усилилась. Снова подняли голову новгородские бояре, сторонники сближения Новгорода с Литвой. Летописец говорит про новгородцев, что они «възбесиеша яко пьянии...» Посадники—доброжелатели Ивана III («которые приатны ему») убежали в Москву. «Злое влънение» в Новгороде напомнило летописцу социально-политическую обстановку, сложившуюся там накануне Шелонского сражения. В такой обстановке в конце 1477 г. Иван III совершил новый поход на Новгород, закончившийся падением новгородской независимости[2].

§ 7. Ликвидация независимости Новгородской феодальной республики в 1478 г.

В предыдущих параграфах были рассмотрены политические взаимоотношения между Новгородской феодальной республикой и московской великокняжеской властью, подготовившие условия, в которых произошло падение независимости Великого Новгорода. Решающий поход московских вооруженных сил на Новгородскую землю в конце 1477 г. был организован Иваном III в соответствии с постановлением боярской Думы («... братии своее думою, и боар своих, и князеи, и воевод») и с санкции представителей высшей церковной иерархии (митрополита Геронтия, «архиепископ и епископ и всего священничьскаго чина...»). Тем самым поход на Новгород получал характер мероприятия особой политической важности, осуществляемого в интересах формирующегося единого государства и поэтому одобренного всеми светскими и церковными властями.

---

[1] УЛС, стр. 92.

[2] *См. И. В. Лепко*, Поход Ивана III «миром» в 1476 г. («Ученые записки Ленинградского Государственного педагогического института имени А. И. Герцена», т. 18, Кафедра истории СССР, Л., 1948, стр. 133—165). О событиях 1475—1477 гг. в Новгороде сохранились данные в следующих летописных текстах: ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 446—449, 457, 514—515; т. IV, ч. 1, вып. 3, стр. 609; т. VI, стр. 16—18, 200—206; т. XII, стр. 158—171; т. XVIII, стр. 250—255; т. XX, стр. 313—320; т. XXIV, стр. 795; т. XXV, стр. 304—310; «Иоасафовская летопись», стр. 90—98; «Псковские летописи», вып. 2, стр. 200, 209; УЛС, стр. 91—92.

В качестве причины начала войны с Новгородом московское правительство указывало на нарушение новгородцами присяги («преступление крестнаго целованиа»), на их отказ от признания Ивана III государем, признания, сделанного в свое время по собственной инициативе. Особенно подчеркивалось, что новгородцы сначала по доброй воле вошли в состав единого Русского государства, а затем взяли назад свое обещание подданства московской великокняжеской власти. «И с чем присылали сами, чего и не хотел у них государьства, и они того запрелися, а на нас лжу положили»,—так передают московские летописи слова Ивана III, сказанные им якобы митрополиту Геронтию. За клятвопреступление новгородцев московский великий князь решил «казнити их войною»[1]—такова версия московского летописания по вопросу о причинах нападения московских войск на Новгородскую землю в конце 1477 г.

Начиная войну с Новгородом, Иван III обратился за военной помощью к тверскому великому князю Михаилу Борисовичу. Тот выставил против Новгорода рать во главе с князем М. Ф. Микулинским.

30 сентября Иван III послал в Новгород «складную грамоту» (объявление войны), а 9 октября выступил из Москвы вместе со своим братом Андреем Меньшим во главе вооруженных сил, собранных для посылки в Новгородскую землю. Несколько раньше Ивана III из Москвы отправился через Клин и Тверь в Торжок царевич Даньяр. Иван III шел к Торжку через Волоколамск и Микулин; князь Андрей Васильевич Меньшой—через Старицу.

Новгородское правительство посылало к Ивану III гонцов с просьбой «о опасе», т. е. о выдаче охранной грамоты новгородским послам, которые должны были приехать к Ивану III для переговоров. Но эта просьба была пока оставлена Иваном III без внимания. Гонцы были задержаны в Торжке.

19 октября Иван III прибыл в Торжок. Туда явились к нему новгородские бояре Лука и Иван Климентьевы и «били челом в службу». Из Торжка Иван III направился к Новгороду. Туда же разными дорогами пошли царевич Даньяр и другие московские воеводы, возглавлявшие отдельные полки. В походе на Новгород участвовали рати, прибывшие из разных городов (Москвы, Радонежа, Коломны, Звенигорода, Можайска, Волоколамска, Дмитрова, Рузы, Серпухова, Хотуни, Калуги, Алексина, Переяславля, Углича, Ярославля, Ростова, Владимира, Суздаля, Юрьева, Костромы, Кашина, Бежецкого Верха, Торжка и пр.).

У Волочка Словенского 26 или 27 октября московского великого князя встретил новгородский посадник Григорий Михайлович Тучин, который «бил челом» ему «в службу». 28 октября с таким же челобитьем обратился к Ивану III житий человек Андриан Савельев.

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 255; т. XXV, стр. 310.

4 ноября к великокняжеской рати присоединились тверские полки. 8—11 ноября Иван III вел переговоры с новгородскими гонцами (двумя, взятыми им с собою из Торжка, и третьим, прибывшим из Новгорода), после чего выдал опасную грамоту новгородскому архиепископу Феофилу. Великий князь назначил также специального пристава, который должен был охранять новгородских послов. 19 ноября Иван III, подступая к Новгороду, произвел наряд полкам, указав каждому полку и каждому воеводе их место. Тогда же великий князь велел специально выделенным воеводам с военными силами занять монастыри и городища, с тем чтобы новгородское население их не сожгло.

23 ноября, когда Иван III находился в погосте Сытино, к нему прибыли новгородские послы: архиепископ Феофил, посадники, бояре, житьи люди, один купец. Начались переговоры. Послы упрекали великого князя в том, что его «мечь» и «огнь ходит по Новгородцкои земли», в результате чего «кровь христианская льется». Послы просили Ивана III прекратить войну. Ставили они вопрос и о возврате в Новгород бояр, отправленных великим князем в заточение в 1476 г. В обращении к великому князю послы употребляли выражение «отчина твоя, мужи волныи». Эта формула, отличающаяся двойственным и противоречивым характером, должна была означать, что признавая верховную власть московского правительства, Новгородская республика не хотела отказываться от присущих ей издавна политических прав. Об этих правах ставил вопрос посадник Лука Федоров. Он считал нормальным, чтобы суд в Новгороде производился посадником вместе с великокняжеским наместником, а сам великий князь приезжал бы в Новгород для судопроизводства только раз в четыре года («а чего не возмогут управити наместник да и посадник, ино бы тому государь князь великии сам управу учинил, приехав на четвертои год»). Послы настаивали на том, чтобы княжеские наместники не вмешивались в судебную компетенцию посадника и архиепископа и чтобы великий князь не вызывал жителей Новгородской земли для суда в Москву[1].

Иван III соблюдал в обращении с новгородскими послами все формы дипломатического ритуала. Послы были на приеме у самого великого князя и у его бояр. В честь послов Иван III дал обед. Но ни к каким реальным результатам московско-новгородские переговоры не привели. 25 ноября великий князь велел своему приставу проводить новгородских послов, а 27 ноября московские войска подвинулись к городу. Новгород был окружен со всех сторон и оказался в крепких тисках блокады. К Новгороду подходили все новые и новые полки. Так, к Ивану III пришла военная помощь из Пскова.

С 4 декабря в великокняжеский стан стали непрерывно приходить послы из Новгорода. Иван III поставил перед послами ребром

[1] «Иоасафовская летопись», стр. 103; ПСРЛ, т. XXV, стр. 311—314.

вопрос о том, что в Новгороде должно быть введено такое же административное устройство, как и во всех других городах, входящих в состав Московского княжества («...мы, великии князи, хотим государьства своего, как есмы на Москве, так хотим быти на отчине своеи, Великом Новегороде»)[1].

7 декабря к великому князю явилось посольство в расширенном составе: не только архиепископ, посадники, житьи люди, но и 5 человек черных людей—представителей новгородских концов. Послы старались добиться сохранения в Новгородской земле старинных порядков. Особенно настаивали они на том, чтобы великокняжеский наместник судил вместе с посадником, чтобы великий князь не вызывал жителей Новгорода «в Низовскую землю» для суда и на службу, не переселял их в другие области Русского государства, не подвергал конфискации вотчины новгородских бояр.

Иван III в переговорах с послами принимал все более директивный тон. Еще раз подчеркнув, что он настаивает на полноте власти в пределах Новгородской земли («...хотим государьства на своеи отчине Великом Новегороде такова, как нашо государьство в Низовскои земли на Москве»), великий князь протестовал против того, что новгородцы ставят ему свои условия. «И вы нынеча сами указываете мне, а чините урок нашему государьству быти: ино то которое мое государьство?» Новгородские послы дипломатично ответили: «Мы своим государем великим князем урока не чиним их государьству». Но они просили Ивана III уточнить характер той «низовской пошлины», которая должна отныне распространяться на Новгород. Тогда Иван III уже открыто сказал послам, что вопрос идет о ликвидации политической независимости Новгородской республики, об упразднении существовавших там доселе органов верховной власти: «вечю колоколу в отчине нашеи и в Новегороде не быти, посаднику не быти, а государьство свое нам дръжати; ино на чем великим князем быти в своеи отчине, волостем быти, селом быти, как у нас в Низовской земли; а которые земли наши великих князеи за вами, а то бы было наше»[2]. Иван III соглашался лишь не устраивать «вывода» жителей Новгородской земли в Низовскую землю и «не вступаться» в боярские вотчины.

Московско-новгородские переговоры продолжались, но участь Новгорода уже была решена.

28 декабря «сложил целование» Новгороду и принес присягу Ивану III князь Василий Васильевич Шуйский.

29 декабря Иван III потребовал от новгородских послов передачи ему ряда «волостей» и «сел» из числа земель архиепископа, монастырских, боярских. Начались переговоры о количестве передаваемых в великокняжеское ведение земель, состав которых был определен к началу января. Иван III договорился с послами о норме обложения земельных владений данью. Великий князь согла-

---

[1] ПСРЛ, т. XVIII, стр. 260; т. XXV, стр. 314—316.

[2] «Иоасафовская летопись», стр. 109; ПСРЛ, т. XXV, стр. 317—318.

сился не посылать в отведенные ему волости писцов и данщиков и собирать дань в соответствии с теми сведениями, которые он получит в Новгороде.

10 января великий князь потребовал от послов, чтобы ему «очистили» в Новгороде Ярославов двор и послал в Новгород для предъявления на вече список тех условий, на которых он согласен принять присягу новгородцев. 13 января великий князь, находившийся в селе Паозерье, близ Новгорода, вызвал к себе новгородского архиепископа, бояр, житьих людей, купцов. Архиепископ подписал и заверил своею печатью крестоцеловальную запись. К ней были приложены также печати пяти новгородских концов. А затем состоялась процедура крестоцелования.

15 января Иван III послал в Новгород своих бояр и детей боярских для привода к присяге новгородцев. Так совершилось падение независимости Великого Новгорода. 22 января в Новгороде появились великокняжеские наместники[1].

Имеются ли данные о каких-либо волнениях в Новгороде в связи со включением его в состав Русского централизованного государства или же присоединение было добровольным? Из источников ясно, что новгородскому населению было очень трудно сопротивляться крупным московским военным силам. Часть их сконцентрировалась под самым Новгородом, часть рассредоточилась по всей Новгородской земле. В Псковской летописи указано, что Иван III «распусти многыя своя силы по всемь Новгородскым волостем». Московские войска «плениша и пожгоша вся страны от Заволочья от въсточныя страны и до литовского и до псковского рубежа, и в Немецькую землю за Норову реку шедше, много повоеваша». Псковский летописец говорит, что Новгородской земле «велми тогда притужно бяше». Великий князь решил добиться от Новгорода покорности, взяв его в кольцо блокады и не отступая от него до тех пор, пока население не сдастся: «князь же великои под Новым городом такы стал статьем на выстояние»[2]. В Ермолинской и Типографской летописях имеются указания, что по приказу Ивана III Новгород обстреливали из пушек. Скоро в городе начались эпидемия и голод («мор и глад силен»)[3].

Как вело себя новгородское население в осаде? В Псковской третьей летописи говорится, что сначала ожидали, что Иван III или снимет осаду или согласится заключить договор с новгородским правительством «по... старинам по прежним». Поэтому новгородцы решили терпеть все тягости осады, но не сдаваться. Когда осажденным стало ясно, что великий князь желает «над ными всю свою волю ужати», среди них начались раздоры: одни хотели вступить в бой с великокняжеской ратью, другие—сдаться. Последних оказалось больше, чем первых. «А людем мятущимся в осаде городе,

---

[1] ПСРЛ, т. XXV, стр. 319—322.
[2] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 57, стр. 214.
[3] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 178; т. XXIV, стр. 195.

иныа хотящи битися с князем великим, а инии за великого князя хотяще задати, а тех болши, котори задатися хотять за князя великого».

Из Псковской второй летописи ясно, что борьба в Новгороде во время осады имела социальные основы. Новгородцы, читаем в летописи, «въсколебашася аки пьяни, и бяше в них непословича и многыа брани, мнози бо велможи и бояре перевет имеаху князю великому, и того ради не изволиша в единомыслии быти, и въсташа чернь на бояр и бояри на чернь»[1]. Совершенно очевидно, что политика бояр, склонявшихся к мысли о передаче Новгорода Ивану III и заведших с ним по этому поводу сношения, вызвала народное волнение. А народное волнение побудило бояр скорее спешить с передачей города. Новгородский князь Василий Васильевич Шуйский, «видев неустроение их [новгородцев] и великои мятежь», «сложил» присягу Новгороду, «выеде вонь из града» и «челом бил и крест целовал» Ивану III.

Пожалуй, ни в одной из русских земель в момент их включения в состав единого Русского государства не было такой острой социальной борьбы, как в Новгороде; нигде не волновалось так «черное» население. Это объясняется, вероятно, остротой классовых противоречий, вообще присущей Новгороду, и тем, что там были наиболее развитые формы вечевого строя. А вече, несмотря на все засилие на нем боярской аристократии, являлось органом, через который хоть в какой-то мере проявлялось участие демократических элементов в политической жизни города[2].

§ 8. Освобождение Руси от ордынского ига

В 1480 г. Русь освободилась от татаро-монгольского ига. Событие это достаточно хорошо и подробно разобрано в исторической литературе. К. В. Базилевич в своей монографии «Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая половина XV века» ярко осветил международную обстановку, в которой произошло нашествие в 1480 г. на Русскую землю хана Большой орды Ахмеда. Я не буду останавливаться на всех деталях, касающихся международного положения Руси в рассматриваемое время и военных дей-

---

[1] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 209—214.

[2] О событиях 1478 г. в Новгороде см.: ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 467, 465, 515; т. IV, ч. 1, вып. 3, стр. 609; т. VI, стр. 18—19, 207—221; т. VIII, стр. 185—200; т. XII, стр. 171—190; т. XVIII, стр. 255—266; т. XX, стр. 319—335; т. XXIII, стр. 178; т. XXIV, стр. 195—196; т. XXV, стр. 311—323; «Иоасафовская летопись», стр. 98—115; «Псковские летописи», вып. 1, стр. 175; вып. 2, стр. 57—58, 213—217. См. также *В. Н. Бернадский*, Политика Ивана III в Новгороде («Ученые записки Ленинградского Государственного педагогического института имени А. И. Герцена», т. 61, 1947, стр. 99—120); *И. В. Лепко*, Социально-политическая борьба в Великом Новгороде в 1477—1478 гг. (По летописям)— «Ученые записки Вологодского Государственного педагогического института», т. 9, 1951, стр. 3—57).

ствий русских и татарских отрядов. Я сосредоточу свое внимание лишь на одном важном вопросе: на роли народных масс в событиях 1480 г. Этот вопрос поставлен в печати М. Н. Тихомировым[1].

1480 г.—это год больших осложнений для Руси внутриполитического и внешнеполитического характера. В конце 1479 г. был раскрыт заговор против московского правительства Ивана III в Новгороде. Судя по данным, приведенным В. Н. Татищевым, новгородские бояре завязали опять сношения с польским королем и великим князем литовским Казимиром IV. Последний побуждал совершить поход на Русь хана Большой орды. Новгородские заговорщики были разгромлены в результате похода Ивана III в Новгород в октябре 1479 г. В начале 1480 г. был арестован, отправлен в Москву и заточен в Чудове монастыре новгородский архиепископ Феофил. Говоря о его вине, летописи подчеркивают, что он хотел, чтобы Новгород был не «за великим князем», но «за королем» или за иным государем.

В то же время усилилась агрессия на Русь со стороны Ливонского ордена. В августе 1479 г. Орден стал готовиться к нападению на Псковскую землю, а в начале 1480 г. открыл военные действия[2].

В начале февраля 1480 г., когда Иван III находился в Новгороде, ему стало известно, что против него подняли мятеж его братья Андрей угличский и Борис волоцкий. Начиналась новая феодальная война. Удельные князья Андрей и Борис Васильевичи были недовольны усилением власти великого князя, стеснявшего политическую самостоятельность московских уделов. Они считали, что все великокняжеские территориальные приобретения должны подлежать разделу между великим и удельными князьями. Поэтому Андрей и Борис Васильевичи протестовали против того, что Иван III завладел Дмитровским уделом их умершего брата Юрия и не выделил им доли из присоединенной к Московскому княжеству Новгородской земли. Наконец, Андрей и Борис отстаивали старинное право удельных князей и бояр на «отъезд» от неугодного им князя-сюзерена[3]. Такой «отъезд» они и решили осуществить в знак протеста против действий Ивана III.

Встретившись в Угличе, Андрей и Борис (после возвращения Ивана III в Москву) отправились через Тверское княжество в пограничный город Ржеву (куда заранее переправили свои семьи), а оттуда с семьями, боярами и детьми боярскими двинулись в Новгородскую землю. Очевидно, князья предполагали войти в связь с мятежными новгородскими боярами. Узнав о разгроме Иваном III новгородских заговорщиков, Андрей и Борис Васильевичи изменили свой маршрут и повернули к литовскому рубежу, к Великим Лукам. Оттуда они обратились к Казимиру IV с просьбой о помощи

---

[1] *М. Н. Тихомиров*, Средневековая Москва в XIV—XV веках, стр. 231—237.

[2] *К. В. Базилевич*, Внешняя политика Русского централизованного государства, стр. 125—130.

[3] ПСРЛ, т. VI, стр. 222.

против Ивана III. Но польский король активной поддержки братьям не оказал, хотя и дал их семьям город Витебск.

13 февраля 1480 г. Иван III прибыл из Новгорода в Москву. Настроение там было очень тревожное. Новая феодальная война, начатая князьями Андреем и Борисом, всколыхнула различные круги русского общества. Города Московского княжества готовились к защите от возможного нападения на них удельно-княжеских войск. Многие жители бежали из городов. «...Вси людие быша... в страсе велице от братии его [Ивана III], все грады быша во осадах, и по лесом бегаючи мнози мерли от студена без великого князя»[1]. Иван III неоднократно посылал к своим братьям послов для переговоров, но эти переговоры не привели к благоприятным результатам. Удельные князья не шли на примирение.

Между тем Ахмед-хан, учитывая неблагоприятную для Руси внешнеполитическую и внутриполитическую обстановку, стал готовиться к походу на русские земли. Весной 1480 г. один татарский отряд вторгся в пределы Руси и произвел разведку по правому берегу Оки.

Москва укреплялась. Туда пришло из Пскова (по-видимому, по вызову Ивана III) московское войско, участвовавшее ранее в сражении с ливонскими немцами. Очевидно, к середине 1480 г. положение великого князя несколько упрочилось, и это дало ему возможность отклонить челобитье его братьев о примирении, присланное в Москву (на этот раз по их собственной инициативе) с их дьяками.

В августе 1480 г. Орден возобновил агрессию на Псковскую землю. А несколько позже начал свое наступление на Русскую землю Ахмед-хан. К. В. Базилевич замечает, что «осенью 1480 г. Иван III стоял перед оформленной или неоформленной коалицией врагов: Ордена, действовавшего в союзе с немецкими городами в Лифляндии и Эстляндии (Рига, Ревель, Дерпт), Казимира, имевшего возможность располагать польско-литовскими силами, и Ахмед-хана, поднявшегося со всей Большой ордой. Тяжесть положения усугублялась мятежом двух братьев, т. е. опасностью внутренней феодальной войны, которая должна была великому князю напоминать кровавую смуту, поднятую в годы его детства галицкими князьями»[2].

Весть о походе Ахмед-хана пришла в Москву в июне 1480 г. Иван III отправил навстречу ему к реке Оке своих воевод с военной силой. В Тарусу был послан брат Ивана III Андрей Васильевич Меньшой вологодский, в Серпухов—сын московского великого князя Иван Иванович Молодой. 23 июня сам Иван III направился в Коломну. В дальнейшем все московские вооруженные силы были передвинуты и сосредоточены у реки Угры, так как Ахмед-хан,

---

[1] ПСРЛ, т. XXIV, стр. 198; т. XXIII, стр. 179.

[2] *К. В. Базилевич*, Внешняя политика Русского централизованного государства, стр. 134.

шедший с Дона на соединение с войсками Казимира IV, решил обойти Оку.

30 сентября Иван III прибыл из Коломны в Москву на совещание («на совет и думу») с представителями высшего духовенства (митрополитом Геронтием, ростовским архиепископом Вассианом), своим дядей князем Михаилом Андреевичем белозерским и боярами. Целью совещания, очевидно, было выработать план дальнейших военных действий. Во время пребывания в Москве Иван III согласился на примирение с братьями, послы которых (судя по некоторым летописям) прибыли в Москву. Были разработаны условия мирного соглашения. Кроме того, Иван III организовал оборону Москвы. В ожидании осады города в Москве собралось «много множество народа от многих градов». Руководил обороной города, кроме князя Михаила Андреевича, московский наместник князь Иван Юрьевич Патрикеев. В городе оставалась мать Ивана III, княгиня Мария (Марфа) Ярославна («а мати же его великая княгини не захоте бежати, но изволи в осаде сидети»). Что касается жены великого князя Софьи Палеолог, то ее он отправил через Дмитров на Белоозеро в сопровождении В. Б. Тучкова, А. М. Плещеева, дьяка Василия Долматова. С Софьей Палеолог была послана и великокняжеская казна. Выезд Софьи Палеолог вызвал, очевидно, недовольство среди московского посадского населения. Выезд этот расценивался как бегство. В летописях содержатся в связи с описанием возвращения Софьи Палеолог в Москву (после поражения Ахмед-хана) резкие слова по ее адресу: «...бегала от татар на Белоозеро, а не гонял никто же». Говорится также о бесчинствах ее холопов[1]. Согласно данным Вологодско-Пермской летописи, первоначально из города вместе с Софьей ушла и Мария Ярославна, но церковные сановники уговорили ее вернуться.

Можно думать, что настроение московских горожан в 1480 г. было примерно такое же, как и в 1382 г., когда московские посадские люди не хотели выпускать из осажденного Тохтамышем города жену Дмитрия Донского, считая, что она должна вместе с народом выдерживать все тягости осады. Только учитывая начинающиеся волнения среди московских черных людей, можно понять, почему все летописи так подчеркивают, что и мать Ивана III, и его дядя Михаил Андреевич, и Геронтий и Вассиан «молиша его великымь молением, чтобы стоял крепко за православное християнство против бесерменству»[2]. Народ требовал, чтобы Ахмед-хану был дан отпор, а высшие светские и духовные сановники возглавили руководство делом защиты Руси.

Иван III, пробыв три дня в Москве, отправился в Кременец. Сюда (судя по ряду летописей) на помощь к нему пришли позднее мятежные братья Андрей и Борис Васильевичи со «своими силами».

---

[1] ПСРЛ, т. VI, стр. 223; т. XVIII, стр. 268; т. XX, стр. 338; т. XXIII, стр. 181—182; т. XXIV, стр. 199; т. XXV, стр. 327.

[2] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 181.

Ахмед-хан, обойдя Мценск, Любутск, Одоев, подошел к Воротынску, где стал дожидаться помощи от Казимира. Эта помощь так и не пришла. Казимиру помешали выступить нападение на Литовскую землю крымского хана Менгли-Гирея и восстание православного населения в Литве, возглавленное русскими князьями[1].

Попытка Ахмед-хана перейти в начале октября Угру окончилась неудачей. Татары были отбиты московскими войсками. Начались морозы. Река стала замерзать. Ожидая, что татары переправятся через Угру, Иван III созвал все свои силы в Кременец, а затем передвинул их к Боровску. Обе стороны (и русская, и татарская) испытывали опасения, не зная о намерениях друг друга («бысть же тогда страх на обоих, едини других боахуся»). Ахмед-хану казалось, что русские, отступив, намеренно уступили ему свой берег Угры с тем, чтобы татары перешли реку и вынужденно приняли бой. Русские предполагали, что татары, совершив переправу, гонятся за ними. И тут якобы произошло чудо. На Ахмед-хана напал страх, и 11 ноября он обратился в бегство, хотя никто его к этому не побуждал («и побеже, никым же гоним от Угры»). Проходя по Литовской земле, он «воевал» ее, «мстя» Казимиру за его «измену». В Орде Ахмед был убит одним ногайским мурзой[2].

Подобную летописную версию нельзя принять. Данное подобного типа летописями объяснение бегства Ахмед-хана нельзя признать убедительным. Важно другое. Во всех летописных сводах говорится о пораженческих настроениях части бояр, отговаривавших Ивана III от сражения с Ахмед-ханом. Летописец сравнивает речи этих бояр с советами дьявола и указывает, что именно доводы бояр, не желавших сражаться с Ахмед-ханом, заставили Ивана III отступить. Наконец, по летописям можно установить, что настроения бояр в русском лагере на Угре стали известны в Москве и вызвали там волнения. Народ боялся, что поведение бояр приведет к тому, что татары захватят Москву: «в граде же Москве всем в страсе пребывающим...»[3]

Особую редакцию рассказа о событиях на Угре находим в летописях Софийской третьей и Львовской[4]. Здесь, во-первых, названы имена некоторых бояр, которые не хотели «против татар за хрестиянство стояти и битися», а собирались «бежати прочь, а хрестьянство выдати». Это, прежде всего И. В. Ощера и Г. А. Мамон. Во-вторых, указано, что бояре вселили в Ивана III «ужас», и он во второй раз отправился в Москву, хотя Вассиан ростовский прислал ему на Угру специальное послание, уговаривая стойко держаться против татар. Вместе с Иваном III выехал в Москву Ф. Палецкий.

---

[1] *К. В. Базилевич*, Внешняя политика Русского централизованного государства, стр. 147—154.

[2] ПСРЛ, т. XXV, стр. 328; т. XXIII, стр. 181—182.

[3] ПСРЛ, т. XXIII, стр. 181.

[4] Разбору отдельных версий летописного рассказа о «стоянии» на Угре посвящена статья А. Е. Преснякова: «Иван III на Угре» («Сборник статей, посвященных С. Ф. Платонову», СПб., 1911, стр. 280—298).

Руководство военными силами Иван III передал своему сыну Ивану Ивановичу, помощником которого был князь Д. Холмский.

Вологодско-Пермская летопись также говорит о вторичном приезде Ивана III в Москву, причем указывает, что это произошло после сделанной им попытки договориться с Ахмед-ханом о мире. Иван III посылал к хану посла боярина И. Ф. Товаркова с «тешью великой» (т. е. с дарами). Хан отверг эту «тешь» и потребовал, чтобы Иван III сам явился к нему и был «у царева стремени». Иван III не пошел на это и отправился в Москву. По Софийской и Львовской летописям (хронология которых в данном случае менее верна), переговоры Ивана III с Ахмед-ханом (через Никифора Басенкова, затем через И. Ф. Товаркова) происходили уже после вторичного его приезда к войскам из Москвы.

Чем же были вызваны отступление русских войск и отъезд Ивана III в Москву?[1] Очевидно, следует указать на три причины. Во-первых, была очень сложной международная обстановка. Иван III опасался соединения войск Ахмед-хана и Казимира IV. Решительное наступление на татарскую рать казалось опасным. По этому вопросу надо было посоветоваться с церковно-боярским руководством, находившимся в Москве. Во-вторых, хотя Иван III и договорился с послами своих братьев, Андрея углицкого и Бориса волоцкого, о примирении с ними, но они еще не явились к нему на помощь. Следовательно, феодальная война продолжалась. В связи с этим подняла голову боярская оппозиция. Бояре разлагающе действовали на войска разговорами о невозможности сопротивляться татарам и соответствующей агитацией, и по этому поводу Ивану III нужно было поговорить со своими советниками в Москве. И, наконец, самое главное, в Москве, по-видимому, назревало антифеодальное восстание. Об этом сохранились некоторые подробности в Софийской второй и Львовской летописях. Настроение московского посадского населения было неспокойное. Имеются основания говорить, что Москва была накануне волнений, аналогичных тем, которые произошли там в 1382 и в 1445 гг. На это имеются прямые намеки в летописи. Ряд бояр, указывая великому князю на то, что неблагоразумно вступать в бой с Ахмед-ханом, ссылались на опыт прошлого: на взятие Тохтамышем Москвы в 1382 г. и на пленение татарами Василия II в 1445 г. «Те же бояре глаголаху великому князю ужасы накладываючи и, вспоминаючи еже под Суздалем бои отца его с татары, како его поимаша татарове и биша; такоже егда Тахтамышь приходил, а князь велики Дмитреи Ивановичь бежал на Кострому, а не бился с царем».

---

[1] К. В. Базилевич считает, что в Софийской летописи слиты два рассказа об одном посещении Иваном III Москвы, куда он прибыл еще с Угры. (*К. В. Базилевич*, Внешняя политика Русского централизованного государства, стр. 134—137). М. Н. Тихомиров принимает летописные версии о двух посещениях Иваном III столицы (*М. Н. Тихомиров*, Средневековая Москва в XIV—XV веках, стр. 231—237).

И действительно, народ был раздражен пораженческими настроениями ряда бояр, настаивавших на бесполезности сражения с военными силами Ахмед-хана. Летопись осуждает «злых человек сребролюбець, богатых и брюхатых, и предателеи хрестьяньскых, а норовников бесерменьскых», которые отговаривали Ивана III от активной внешней политики в отношении татар: «не мози с ними стати на бой». Весьма недоволен был народ поведением жены Ивана III Софьи Палеолог, которая уехала на Белоозеро (не желая переносить тяжесть осады) и захватила с собою казну. Летописи указывают, что княжеские и боярские холопы, сопровождавшие Софью Палеолог, причиняли населению больше вреда, чем татары. «И по которым странам ходили, тем пущи татар от боярьских холопов, от кровопийцев христианских».

Когда в сентябре 1480 г. Иван III появился «на посаде у града Москвы», посадские люди обступили его и стали требовать от него решительных действий по организации сопротивления Ахмед-хану. «Начаша князю великому обестужився глаголати и изветы класти, ркуще: «Егда ты, государь князь велики, над нами княжишь в кротости и в тихости, тогды нас много в безлепице продаешь; а нынеча разгневив царя сам, выхода ему не платив, нас выдаешь царю и татаром»». Летописи указывают, что ввиду неспокойного настроения московских посадских людей, ввиду того, что «граждане роптаху на великого князя», последний во время пребывания в Москве жил не на своем дворе внутри города, а в Красном сельце. Опасаясь «гражан мысли злыя поимания», Иван III принимал меры предосторожности.

Накаленность атмосферы в Москве, по-видимому, хорошо учитывал находившийся там ростовский архиепископ Вассиан. Он занял позицию, совершенно отличную той, которую избрал в 1382 г. во время нашествия на Москву Тохтамыша митрополит Киприан. Вассиан не только не бежал из Москвы, подобно Киприану, но стал требовать от Ивана III, чтобы он вернулся к войску и активизировал военные действия против Ахмед-хана: «нача же владыка Вассиан зде глаголати князю великому, бегуном его называя, еще глаголаше: вся кровь на тебе падет хрестиянская, что ты, выдав их, бежишь прочь, а бою не поставя с татары и не бився с ними». Ясно, что Вассиан говорил так потому, что он не мог не считаться с народными требованиями.

Интересны данные, имеющиеся в Софийской второй и Львовской летописях, относительно пересылки грамотами между Иваном III (из Москвы) и его сыном Иваном Ивановичем Молодым, оставшимся во главе войска. Уезжая в Москву и предвидя сложность той обстановки, в которой он может оказаться, Иван III велел князю Даниилу Холмскому и своему сыну Ивану по его первому требованию также ехать в Москву. Почувствовав в Москве, насколько возбужден народ, Иван III, ощущая реальную для себя опасность, отправил из Красного сельца грамоты к Ивану Ивановичу и князю Даниилу Холмскому, настаивая, чтобы те немедленно прибыли в Москву.

Князь Холмский должен был насильно привезти Ивана Молодого в том случае, если бы тот не захотел ехать. Но Иван Иванович категорически отказался выполнить отцовский приказ, заявив: «леть ми зде умрети, нежели ко отцу ехати». Вряд ли это было проявлением личного мужества самого молодого князя. Скорее можно думать, что он лишь выразил настроения значительной части русского войска, требовавшего борьбы с Ахмед-ханом. Значит, враждебной этому делу боярской агитации был противопоставлен как в Москве, так и на фронте патриотизм широких народных масс.

В Москве считали вполне возможным приход татар к столице. «А татарове искаху дороги, куды бы таино перешед, да изгоном ити к Москве»[1]. К встрече татар готовились. По приказу Ивана III жители Дмитрова были переведены в осаду в Переяславль, из Москвы были направлены «строи» в Дмитров. Иван III велел князю И. Ю. Патрикееву поджечь Московский посад.

После двухнедельного пребывания в Красном сельце Иван III вернулся к войску. Туда, в Кременец, к нему явились и его мятежные братья, добившиеся удовлетворения ряда своих требований («князь же велики во всю волю их даяся»).

Теперь общая политическая ситуация изменилась явно не в пользу Ахмед-хана. Прекращение феодальной войны на Руси, активное выступление Московского посада, потребовавшего наступления на татар, отсутствие обещанной помощи со стороны Казимира IV, начавшиеся морозы—вот комплекс причин, вызвавших отступление Ахмед-хана. Казанский летописец приводит еще одну причину: тайная посылка Иваном III в Большую орду войска под предводительством князя Василия Ноздреватого[2] заставила Ахмед-хана уйти с Угры на защиту своих владений.

Итак, черные люди Москвы в 1480 г. дважды заявили свои требования. Под воздействием этих требований во время первого приезда Ивана III в Москву там были оставлены митрополит Геронтий, московский наместник князь Иван Юрьевич Патрикеев, удельный князь Михаил Андреевич верейский и белозерский, мать Ивана III инокиня Марфа. Народ должен был знать, что церковные и светские власти, представители княжеского дома не оставят Москву в момент опасности. Ведь в 1382 г. восстание в Москве вспыхнуло в значительной мере потому, что оттуда уехали и князья и митрополит, бросившие город на произвол судьбы в тот момент, когда к нему приступал враг. И в 1445 г., когда ожидался приход татар под Москву, московские посадские люди настаивали, чтобы в Москве оставались жена и мать попавшего в плен к татарам великого князя Василия II.

Во второй приезд в Москву Ивана III черные люди потребовали продолжения борьбы с татарами.

---

[1] ПСРЛ, т. VI, стр. 224, 230—232.
[2] ПСРЛ, т. XIX, СПб., 1903, стр. 202—203.

В этой связи приобретает особое значение и выступление Вассиана Ростовского с его посланием на Угру. Не буду останавливаться на разборе этого памятника публицистической мысли, неоднократно изучавшегося и историками, и историками литературы. Я скажу лишь, что это письмо нельзя расценивать ни как отражение взглядов лишь самого Вассиана, ни как выражение настроений церковных кругов. Находясь в Москве, готовящейся к осаде, прекрасно ощущавший пожелания посадских людей, Вассиан выразил их в своем послании.

* * *

С событиями 1480 г., как мне кажется, связан один интересный литературный памятник—повесть («История») о взятии в 1453 г. турками Царьграда. Этот памятник, как известно, сохранился в двух основных редакциях. Одна из них представлена списком Троице-Сергиевой лавры начала XVI в., опубликованным архимандритом Леонидом[1]. Другая дошла до нас в большом количестве списков XVI—XIX вв. Первая редакция—наиболее полная. Она начинается с рассказа об основании Царьграда и о пророчестве об его дальнейшей судьбе. В ряде списков второй редакции этот рассказ выделен в особое произведение. Только в первой редакции имеется краткое послесловие, в котором говорится о Несторе Искандере (турецком пленнике, участвовавшем в осаде Царьграда) как авторе разбираемой повести. Первая редакция является более ранней и относится, как это признает большинство исследователей, ко второй половине XV в.

По вопросу о происхождении этой старшей редакции в исторической литературе высказаны две основных точки зрения. Согласно первой из них (в последнее время ее защищает Н. А. Смирнов), основу повести о взятии турками Царьграда составили записки Нестора Искандера об осаде города турецкими войсками и завладении им. В дальнейшем эти записки были дополнены рассказом об основании Царьграда, предсказаниями об его судьбе, молитвами, произносившимися греками в дни осады, сообщениями о различных видениях и т. д.[2] Другую точку зрения наиболее полно обосновал М. О. Скрипиль. Он считает, что «История» в том составе, в которой мы ее знаем по списку Троице-Сергиевой лавры XVI в. является произведением одного автора—Нестора Искандера, писавшего по-русски. Его «История» отличается цельностью и единством, которые обнаруживаются в «историософии, строе идей, композиции, художественно-образной системе, фразеологии, языке».

---

[1] «Повесть о Царьграде (его основании и взятии турками в 1453 году) Нестора Искандера XV века», сообщил архимандрит Леонид, СПб., 1886 («Памятники древней письменности и искусства»).

[2] *Н. А. Смирнов*, Историческое значение русской «Повести» Нестора Искандера о взятии турками Константинополя в 1453 г. («Византийский временник», 1953, вып. VII, стр. 55—56).

В задачу автора входило «так написать историю Царьграда—историю его прошлого, настоящего и будущего,—чтобы была очевидна предопределенность его исторического бытия, так как только при ней сохранялась надежда на его возрождение»[1]. На вопрос, как, где и когда Нестор Искандер написал «Историю» о Царьграде, М. О. Скрипиль ответить отказывается, замечая, что «здесь начинается зыбкая почва гипотез, на которую сейчас преждевременно вступать»[2]. Между тем нельзя и уйти от ответа на поставленный вопрос. Ведь повесть, приписываемая Нестору Искандеру, бытовала на Руси, и интерес к ней со стороны русских читателей вряд ли имел характер чисто отвлеченный. Он связывался с теми злободневными вопросами международной жизни и внутренней истории Руси, которые волновали современников. Поэтому, хотя бы в гипотетической форме, совершенно необходимо высказаться на тему о том, как, в каких условиях, с какими целями была написана изучаемая «История», в каких общественных кругах она вращалась, каково ее идейное назначение.

Мне думается, что исследователи, отмечавшие сложный состав «Истории», стояли на более правильном пути, чем М. О. Скрипиль. При анализе текста памятника в нем, по-моему, ясно выделяются по крайней мере два пласта: 1) общие размышления о судьбах Царьграда в плане исторической концепции, видящей причину перемен на всемирно-исторической арене в борьбе «христианства» и «бусурманства»; 2) конкретные картины (полные патриотизма) защиты населением Царьграда своего города от захватчиков.

Разберем сначала первый комплекс идей. Уже в начале «Истории», где говорится об основании Царьграда и описывается сопутствовавшее этому факту «знамение» (борьба орла со змием, причем первоначально змий победил орла, затем люди убили змия и освободили орла), проводится одна главная мысль: будущее Царьграда определится в зависимости от хода соревнования (имеющего всемирно-историческое значение) «христиан» с «бусурманами». Орел—«знамение крестьянское»; змий—«знамение бесерменское». Раз змий сначала взял верх над орлом, значит, в какой-то момент «бесерменство одолеет хрестьяньство». Но поскольку «христиане» убили змия, «а орла изымаша», постольку, следовательно, «напоследок» «хрестьянство одолеет бесерменства» и «седмохолмаго [название Константинополя] приимуть, и в нем въцарятся»[3]. Последнее предсказание о воцарении в Царьграде победителей над «бусурманами»

---

[1] *М. О. Скрипиль*, «История о взятии Царьграда турками» Нестора Искандера (Труды ОДРЛ, т. X, М.—Л., 1954, стр. 180, 182). В статье М. О. Скрипиля дана и историография вопроса о повести Нестора Искандера. Здесь же напечатана статья М. Н. Сперанского «Повести и сказания о взятии Царьграда турками (1453) в русской письменности XVI—XVII веков» (стр. 136—165).

[2] *М. О. Скрипиль*, «История о взятии Царьграда турками» Нестора Искандера, стр. 183.

[3] «Повесть о Царьграде...», стр. 3.

надо понимать, по-видимому, не буквально, а иносказательно: во всемирно-историческом поединке «бусурман» и «христиан» в конечном итоге возьмут верх последние.

Та же идея, но с некоторыми новыми мыслями проводится и в конце «Истории». Царьград завоеван турками. Исполнилась первая часть пророчества. Турецкий султан, «беззаконный Магумет», «седе на престоле царствиа благороднейша суща всех иже под солнцем». Но должна совершиться и вторая часть предзнаменования, имевшего место при закладке Константинополя: конечная победа в борьбе с «бусурманством» должна принадлежать «христианству». Эта мысль выражена в «Истории» в следующих словах: «Русии же род с прежде создательными всего Измаилта победят и седмохолмаго приимуть с прежде законными его, и в нем въцарятся и судрьжат седмохолмаго Русы...»[1] В данном случае речь идет о восстановлении всемирно-исторической роли «христианства», но уже на почве Русского государства, которое сделается его центром.

В церковном преломлении, под религиозной оболочкой, здесь высказаны идеи о том, что Русь становится центром борьбы с «бусурманством». Турецкая агрессия в это время еще не грозила Руси непосредственно. Но свержение татаро-монгольского ига в третьей четверти XV в. было для Русского государства очередной задачей. И нет ничего невероятного в предположении, что и создана-то «История» была на Руси тогда, когда происходила ее последняя схватка с Большой ордой, во время нашествия Ахмед-хана в 1480 г. Не вышла ли эта «История» из тех же церковных кругов, из которых вышло «Послание» к Ивану III ростовского архиепископа Вассиана? Ведь в обоих памятниках излагаются одинаковые идеи. Когда Вассиан называет Ивана III «во царях пресветлейшим», он логически продолжает мысль «Истории». Троном византийских императоров, престолом «царствиа благороднейша суща всех иже под солнцем», завладел «беззаконный» турецкий султан. Теперь лишь московский великий князь является «боголюбивым и вседержавным царем», защитником «хрестьянства» от «бесерменства»[2].

И другие высказывания составителя «Истории» вполне гармонируют с теми советами, которые дает Ивану III Вассиан. Почему погиб Царьград, что привело его к падению? В «Истории» названо несколько причин, и среди них—«междусобныи брани», повлекшие за собой «оскудение» «силних» и «обнищание» простых «людей». «...И преуничижися град, и смирися до зела, и бысть яко сень в винограде и яко овощное хранилище в вертограде»[3]. И Вассиан призывает Ивана III укреплять великокняжескую власть, действовать самостоятельно и не слушать бояр—«духов льстивых», «развра-

---

[1] «Повесть о Царьграде ...», стр. 40—41.

[2] *И. М. Кудрявцев*, «Послание на Угру» Вассиана Рыло как памятник публицистики XV в. (Труды ОДРЛ, т. VIII, 1951, стр. 167, 176, 170, 172).

[3] «Повесть о Царьграде...», стр. 6.

ников», вносящих в государство смуту и настаивавших на том, чтобы великий князь уклонился от битвы с войсками Ахмед-хана[1].

Можно провести и более близкие аналогии между «Историей» и «Посланием» Вассиана Ивану III. Вассиан, как указывалось уже, уговаривал московского великого князя не поддаваться увещаниям бояр, дававших ему советы («шепчущих в ухо») воздержаться от сражения с Ахмед-ханом и тем самым предать народ («... предати хрестьянство»). И некоторые летописи осуждают Ивана III за то, что он прислушивался к боярам, внимал предложениям «злых человек сребролюбець богатых и брюхатых и предателей хрестьянских, а норовников бесерменьских», которые советовали ему «побежати»: «сам бо диавол их усты глаголаше»,—замечает летописец[2]. А составитель «Истории» как бы ставит в пример Ивану III образ византийского царя, который в дни смертельной опасности не захотел покинуть (несмотря на неоднократные уговоры патриарха и бояр) Царьграда. «Патриарх же паки начат крепко увещевати цесаря, да изыдет из града, такоже и боляре все... Он же, не уклонися на то, но отвещаваше им... колико цесарей преже мене бывшеи, велицы и славны, тако пострадаша и за свое отечество помроша; аз ли паки последней сего не сотворю»[3].

Я обращаю внимание на следующие моменты, идейно сближающие «Историю» с «Посланием» Вассиана. Во-первых, византийский царь, по «Истории», не хочет покидать осажденный город, он хочет «пострадать» и умереть за свое «отечество». Вассиан убеждал Ивана III не «предавать» «свое отечьство» и не «скитатися по иным странам» «бегуном»[4]. По-моему, весьма правдоподобно, что образ стойкого византийского «цесаря» был использован русской публицистикой в тех же целях, что и «Послание» Вассиана,—в целях воздействия на Ивана III, с тем чтобы заставить его выступить против Ахмеда.

Интересно и второе: византийский царь, не желая уйти из Царьграда, подчеркивает, что он хочет следовать примеру своих предков, доблестно боровшихся с захватчиками. На пример «прежебывших прародителей» Ивана III (особенно на действия Дмитрия Донского) ссылается епископ Вассиан, призывая Ивана III возглавить русские войска и двинуть их против Ахмед-хана.

Итак, мне кажется, можно сделать вывод, что в 1480 г., в тот решительный момент, когда на Русь двинулись татарские военные силы, предводительствуемые Ахмед-ханом, и когда ряд представителей московского боярства считал нецелесообразной борьбу с ними, Иван III в этом отношении колебался, а московское посадское население решительно настаивало на активных действиях против татар в церковных кругах, близких к архиепископу Вассиану, была составлена повесть о взятии турками Царьграда в 1453 г. События турец-

[1] *И. М. Кудрявцев*, указ. соч., стр. 172.
[2] ПСРЛ, т. VI, стр. 224.
[3] «Повесть о Царьграде...», стр. 25.
[4] ПСРЛ, т. VI, стр. 173.

кой осады и завоевания Константинополя рассматривались в этой повести как один из важных этапов в сопротивлении Византии и славянских стран наступлению восточных завоевателей, в вековой борьбе «христианства» с «бусурманством». Проводилась идея о том, что с падением Византии руководство этой борьбой переходит к Руси. И между строк можно было прочитать: хотя Византия и пала, но пример ее сопротивления врагу следует использовать.

Несмотря на свою церковно-религиозную историософию, повесть о Царьграде имела прогрессивное значение, ибо под религиозной оболочкой содержала призыв к национально-освободительной борьбе. И это ее прогрессивное значение становится еще яснее, если проанализировать второй из двух (намеченных в ней) идейных пластов, именно конкретное описание действий константинопольского населения, выступавшего против турецких завоевателей. Имеются все основания предполагать, что этот второй пласт заимствован составителем из дневниковых записей Нестора Искандера, когда-то взятого в плен турками и обращенного из христианства в мусульманство, участвовавшего в 1453 г. в осаде Константинополя на стороне турок, но сочувствовавшего осажденным грекам. Эти записи проникли как-то на Русь и вошли в состав «Истории», составленной в 1480 г.

Основное, что бросается в глаза в описании защиты Царьграда в 1453 г.,—это подчеркивание роли всего населения, всех горожан. Действуют против захватчиков не только «вельможи», но «вси людие града». «Градцкие люди» являются подлинными героями сопротивления турецкой агрессии. Взбираясь на крепостные стены, «градцкие люди», «от мала и до велика», мужчины и женщины, до конца оказывали отпор неприятелю, «бьяхуся крепце»[1]. Они стреляли из пушек и из пищалей «елико можаху». Когда турки уже ворвались в Константинополь, народ продолжал неравную с ними борьбу[2]. Совершенно очевидно, что запечатленные на страницах «Истории» сцены мужественного поведения константинопольских горожан, до конца не сдававшихся врагу, были особенно близки сознанию и воображению русского посадского населения, в 1480 г. потребовавшего от Ивана III решительной схватки с Ахмедом. Эти требования были настолько категоричны, что московский великий князь боялся сделаться жертвой гнева московских посадских людей («бояся гражан мысли злыя поимания») и уехал из Москвы в Красное «сельцо»[3]. Можно думать, что и составитель «Истории» должен был считаться с такими настроениями московских горожан. Поэтому под покровом своей религиозной историософии он отразил и подлинно народный патриотизм. А за его книжной схемой о борьбе «христианства» и «басурманства», как ведущей линии исторического процесса, звучит народный призыв к защите своего «отечества».

---

[1] «Повесть о Царьграде...», стр. 6, 13.
[2] Там же, стр. 9, 34.
[3] ПСРЛ, т. VI, стр. 230.

Это—тот же призыв, который содержится и в летописных сводах при изложении борьбы Руси с татаро-монгольским игом в 1480 г.: «О храбрии, мужествении сынове рустии! Потщитеся съхранити свое отчьство, Рускую землю от поганых! Не пощадите своих глав, да не узрят очи ваши разпленениа и разграбленига домом ваших...» А далее в летописных сводах говорится о тех «землях», которые не смогли сохранить свою независимость, были завоеваны неприятелем, о людях, которые «погубили» свое «отечество»[1]. Пример одной из таких «земель»—одного из когда-то могущественных государств был показан на страницах повести о Царьграде, созданной на Руси в это время.

§ 9. Падение политической независимости Тверского княжества

О падении политической независимости Тверского княжества в летописных сводах сохранились различные известия, иногда противоречивые, а в большинстве случаев освещающие разные стороны одного и того же события и тем самым дополняющие друг друга.

Согласно данным Тверского сборника, в 70-х—начале 80-х годов XV в. Тверское княжество находилось в союзе с Московским, признавая его политическое верховенство. Тверские войска участвовали вместе с московскими в походах на Новгород в 1471 и в 1478 гг., входили в состав русских вооруженных сил, направлявшихся к реке Угре против Ахмед-хана в 1480 г. В начале 1480 г., по случаю брака сына Ивана III—Ивана Ивановича Молодого, московский великий князь отправил в Тверь своего посланца Петра Григорьевича Заболотского с подарками тверскому князю Михаилу Борисовичу и его матери княгине Анастасии.

Но к концу 1483 г., как можно судить по тому же Тверскому сборнику, в отношениях между Михаилом Борисовичем и Иваном III произошло какое-то осложнение. Тверской князь был недоволен политикой великого князя московского и поэтому, когда в Тверь прибыл из Москвы Владимир Елизарович Гусев «с поклоном» и с известием о рождении у князя Ивана Ивановича сына Дмитрия, Михаил Борисович «поклона не приаль», посла «выслал...вон из избы» и «к матери ему ити не велель к великой княгины Настасии»[2].

Что явилось причиной разрыва между Москвой и Тверью? На этот вопрос отчасти отвечают Софийская вторая и Львовская летописи. Московские землевладельцы систематически, при поддержке великого московского князя, нарушая московско-тверскую границу, захватывали земли тверских вотчинников. Последние, как указывают летописи, терпели «многы от великого князя и от бояр обиды и от его детей боярских о землях...» Согласно летописным сведе-

[1] ПСРЛ, т. VIII, стр. 207.
[2] ПСРЛ, т. XV, стр. 497—499.

ниям, «где межи сошлися с межами, где не изобидят московские дети боярские, то пропало, а где тферичи изобидят, а то князь велики с поношением посылает, и с грозами к тверскому, а ответом его веры не имет, а суда не даст»[1].

Картина, по-моему, ясная. Летописный рассказ как нельзя лучше иллюстрирует то положение, которое было раскрыто во второй главе монографии: одной из важных предпосылок образования Русского централизованного государства было распространение из пределов Московского княжества в разных направлениях феодального землевладения. Земельные владения московских вотчинников вклинивались в глубь Тверского княжества. При этом московский великий князь нарушал старинную правовую норму, содержащуюся в договорных грамотах московских и тверских князей, о том, что порубежные споры по земельным делам должны решаться «опчим судом» из «людей старейших» обоих княжеств[2]. Из приведенного выше летописного текста видно, что великий московский князь присвоил себе функции «опчего суда», односторонне вынося решения по земельным спорам московских бояр и детей боярских с тверскими в пользу первых. В то же время Иван III старался привлечь тверских землевладельцев на свою службу. Судя по данным Никоновской и других летописей, в 1476 г. из Твери «приехаша... служыти» московскому князю «мнози бояре и дети боярские»[3].

Трудно сказать, как отражался переход имений от тверских вотчинников к московским на положении крестьянства и вызывало ли это обстоятельство какие-либо волнения в их среде. Материала, который позволил бы дать ответ на этот вопрос, в нашем распоряжении нет. Но можно думать, что перераспределение земельной собственности среди феодалов, сопровождавшееся острой борьбой между московскими и тверскими землевладельцами, не могло не затронуть крестьян. Вероятно, классовые противоречия в деревне обострились. Так, Псковская вторая летопись упоминает под 1485 г. о тверских «разбойниках»[4], а нам уже не раз приходилось упоминать, что в разбойничестве, как социальном движении, наблюдались в какой-то мере и антифеодальные черты.

То обстоятельство, что московский великий князь проводил при посредстве своих бояр и детей боярских открытое наступление на Тверь (пока не военным путем, а путем укрепления в Тверском княжестве земельного фонда московского боярства), вызвало политическую ориентацию князя Михаила Борисовича на Литву. Он заключил договор о союзе с польским королем и великим литовским князем Казимиром IV. Договор относится к 1483 г.[5]

---

[1] ПСРЛ, т. VI, стр. 237; т. XX, стр. 352.
[2] ДДГ, стр. 204, № 63.
[3] ПСРЛ, т. XII, стр. 168; т. XXV, стр. 308.
[4] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 68.
[5] ПСРЛ, т. VI, стр. 236; т. XX, стр. 351; *Л. В. Черепнин*, указ. соч., ч. 1, стр. 198. Договор напечатан в АЗР, стр. 99—100, № 79. См. также «Сборник Муханова», стр. 12—13, № 10.

По-видимому, Михаил Борисович вошел также в сношения с находившимися в Литве русскими князьями-эмигрантами: с сыновьями Ивана Дмитриевича Шемячича галицкого, Василия Ярославича боровского, с князем Василием Михайловичем верейским. Об этом можно судить по тому, что в договоре Ивана III с Михаилом Борисовичем, заключенном вскоре после их разрыва (в 1484—1485 гг.), имеется такой пункт: «Так же вам и с нашими лиходеи со княжими с-Ывановыми детми можаиского, и со княжими с-Ывановыми детми Шемячича, и сь Ярославича сыном, и со княжим Михаиловым сыном Андреевича, со князем с Васильем, ни ссылатися с ними никоторою хитростью, ни к собе их не приимати»[1].

Характерно, что Василий Михайлович верейский бежал в Литву незадолго до того, как Михаил Борисович тверской оформил свой политический союз с Казимиром, в конце 1483 г. По поводу побега Василия верейского Софийская вторая и Львовская летописи рассказывают следующий эпизод. В связи с рождением сына у Ивана Ивановича Молодого отец последнего Иван III захотел подарить своей снохе, Елене Стефановне Волошанке, драгоценности («саженье»), принадлежавшие его первой жене, Марии Борисовне тверской. Однако выяснилось, что вторая жена Ивана III, Софья Палеолог, уже завладела этими драгоценностями (как и вообще многими предметами великокняжеской казны). «Саженье», которое потребовал Иван III, было передано Софией Палеолог Василию Михайловичу верейскому в качестве приданого за женой последнего, племянницей Софьи. Тогда Иван III послал к Василию Михайловичу за вещами, которые ранее входили в состав великокняжеской казны, и решил «поимати» его вместе с женой. Но Василию с женой удалось бежать в Литву, несмотря на организованную за ними погоню во главе с князем Борисом Михайловичем Туреней-Оболенским[2].

К. В. Базилевич считает, что летописный рассказ о «саженье» тверской княжны «носит характер придворной сплетни, проникнутой недоброжелательством к Софье—«римлянке»[3]. Это верно. Но сама сплетня отражала и реальные взаимоотношения политических сил. Во-первых, намечался блок с Литвой Твери и московских удельных князей. Во-вторых, эти оппозиционные элементы завязали какие-то отношения с Софьей Палеолог. Недаром после побега Василия Михайловича верейского Иван III велел арестовать каких-то иноземцев, возможно, близких к Софье Палеолог («князь великий повеле фряз поимати и мастеров серебреных»)[4]. Возможно, что предполагаемая передача Иваном III «саженья» своей первой жены, урожденной тверской княжны, снохе (жене Ивана Ивановича Молодого) означало признание прав последнего на Тверское княжение (впоследствии, после включения в 1485 г. Тверского

---

[1] ДДГ, стр. 296, № 79.

[2] ПСРЛ, т. VI, стр. 335; т. XX, стр. 350.

[3] *К. В. Базилевич*, Внешняя политика Русского централизованного государства, стр. 231.

[4] ПСРЛ, т. VI, стр. 335.

княжества в состав единого Русского государства, Иван Иванович был действительно сделан князем тверским). Проект о передаче Тверского княжества Ивану Ивановичу Молодому должен был вызвать протест князя Михаила Борисовича тверского, а также Софьи Палеолог. Вступление последней в оппозиционный по отношению к Ивану III блок объясняется и тем, что в связи с рождением в 1483 г. у Ивана Ивановича Молодого сына Дмитрия, Иван III мог закрепить за этими князьями великое княжение, лишив прав на него своего сына от Софьи—Василия Ивановича.

Таков был комплекс условий, приведших к переходу Михаила Борисовича тверского на сторону Литвы. Михаил был женат на дочери мелкого литовского князя Семена Олельковича, княжившего в Киеве, а после ее смерти в 1483 г.[1] завел переговоры с Казимиром относительно возможности вступления в брак с его внучкой[2]. Может быть, в какой-то связи с подготовкой союза с Казимиром находится посещение в 1483 г. Михаилом Борисовичем с матерью Кашина. Вероятно, тверской князь хотел склонить князя кашинского действовать с ним совместно. Известно, что кашинские князья часто изменяли князьям тверским, выступая в союзе с московскими правителями.

О внутреннем положении Тверского княжества в это время мы почти ничего не знаем. Известно, что в 1483 —1484 гг. в Твери произошли большие пожары[3], но были ли они связаны в какой-либо мере с социальными волнениями, по летописям судить невозможно. Однако в нашем распоряжении имеются дополнительные источники, свидетельствующие о том, что в Твери в конце 70-х —начале 80-х годов XV в. имели место какие-то выступления еретиков. Так, в послании Иосифа Волоцкого архимандриту тверского Отроча монастыря Вассиану (до 1477 г.) говорится о том, что не называемые автором «Послания» по имени «еретики» отрицают троичность божества. Они «превращают на свой разум, хотяща троицю утаити, не хотяща бо видети, ни слышати отца и духа святаго, равна отцу и сыну»[4]. Борясь с антицерковными выступлениями, Вассиан в 1483 г. устроил в Твери культ епископа XIV в. Арсения, заслугу которого он видел в борьбе с ересями: «...еретик же от церкви яко волки отгна, правоверие же учением своим возрастив»[5]. Итак, можно говорить о том, что накануне падения независимости Тверского княжества там происходило брожение в среде городского населения.

Измена Михаила Борисовича тверского Ивану III вызвала зимой 1484—1485 г. поход московских вооруженных сил на Тверскую землю. Псковская вторая летопись описывает этот поход следую-

---

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 497—498.

[2] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 66.

[3] ПСРЛ, т. XV, стр. 498—499.

[4] «Послания Иосифа Волоцкого», стр. 142. См. также *А. И. Клибанов*, Свободомыслие в Твери в XIV—XV вв., стр. 250—251.

[5] *А. И. Клибанов*, Свободомыслие в Твери в XIV—XV вв., стр. 251.

щим образом: «тоя же зимы князь великии Иван Васильевич разгневися на князя тферского Михаила Борисовича, что начат дружбу держати с литовскымь королемь Андреемь и съветы с ним творити о всем, и испроси в короля за себе внукоу. И того ради князь великии посла на него воеводы своя с множеством вои. И плениша всю землю их, и взяша 2 города и сожгоша. И тако владыка тферскии з бояры добиша чолом и смиришася»[1]. Если верить приведенному тексту, то следует сделать вывод, что Иван III бросил на Тверь крупное войско, которое нанесло большое разорение Тверской земле. Михаил Борисович, по версии Псковской второй летописи, был принужден согласиться на повиновение великому князю московскому перед лицом солидной военной силы.

Несколько иная картина московско-тверской войны вырисовывается из материала Софийской второй и Львовской летописей: «Тое же зимы разверже мир князь велики с тферьским великим князем Михаилом Борисовичем о том, что женитися ему у короля, и целова ему. И посла князь великий, сложи целование, и посла рать порубежную и повеле воевати. Князь великии Михаило Борисович тферьскыи присла владыку и доби ему челом на всей воли его...»[2] Данная летописная версия утверждает, что достаточно было московскому войску перейти тверскую границу и открыть военные действия, чтобы уже побудить Михаила Борисовича принять все условия Ивана III. Для этого не потребовалось разорять Тверскую землю.

Какому же летописному рассказу имеется больше оснований доверять? Думаю, что версии Софийской второй и Львовской летописей[3]. Псковский летописец сам говорит, что излагает московско-тверские отношения по слухам («токмо нечто мало слышах от етера мужа»)[4].

Итак, самый факт вступления в пределы Тверской земли зимой 1484—1485 г. московских вооруженных сил заставил князя Михаила Борисовича отправить своих послов (тверского епископа и бояр) к Ивану III для заключения мирного договора. Тверской сборник, умалчивая о московско-тверской войне, происшедшей зимой, называет имена тверских послов в Москву: «владыка» Вассиан, князь Михаил Дмитриевич Холмский, Василий Данилович, Дмитрий Никитич Черед[5].

В конце 1484 или в начале 1485 г. между Иваном III и Михаилом Борисовичем было оформлено докончание. Софийская вторая и Львовская летописи так излагают его содержание: «не зватися ему [князю Михаилу] братом, но молодший брат; а что назовет князь велики земль своими землями и новоторжскыми, а те земли князю великому; а куда поидет князь великии ратью, и ему с ним же ити

[1] ПСРЛ, т. XV, стр. 66.
[2] ПСРЛ, т. VI, стр. 236; т. XX, стр. 351.
[3] Так думает и К. В. Базилевич (указ. монография, стр. 228).
[4] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 67.
[5] ПСРЛ, т. XV, стр. 499.

заодин»[1]. Если сравнить этот краткий пересказ договора 1484—1485 гг. с сохранившимся его подлинным текстом, то можно, мне кажется, сделать вывод, что летописи фиксируют внимание на тех вопросах, которые в свое время послужили причиной московско-тверского конфликта, а теперь были урегулированы в соответствии с требованиями московского великого князя («на всеи воли его»). Летописи подчеркивают три момента: 1) тверской князь переходит на подчиненное положение по отношению к князю московскому; 2) тверской князь признает право великого князя московского на те пограничные между Московским и Тверским княжествами земли, которые последний объявил своими владениями; 3) тверской князь должен по требованию великого князя московского посылать свои войска вместе с московскими войсками против великокняжеских врагов.

В другой своей работе я подверг подробному анализу текст московско-тверского договора 1484—1485 гг. и здесь не буду этот анализ повторять. Скажу только, что в изучаемом документе в решительной форме провозглашено обязательство Михаила Борисовича, состоявшего доселе «в любви, и в докончанье, и в крестном целованье» с Казимиром IV, разорвать с ним союзные отношения и дальнейшие свои действия внешнеполитического характера подчинить интересам великого московского князя[2]. Что касается пограничных земельных конфликтов между Московским и Тверским княжествами, то договорная грамота 1484—1485 гг. предлагает решать их в соответствии с тем, где проходила в разное время тверская граница (начиная со времен князей Ивана Даниловича московского и Михаила Ярославича тверского и вплоть до княжения Ивана III и Михаила Борисовича). Очевидно, что такая правовая норма, зафиксированная в разбираемом докончании 1484—1485 гг., была столь эластична и могла быть истолкована столь разноречиво (ведь граница на протяжении XIV—XV вв. менялась и не раз), что в земельных делах должно было действовать право сильного. И не случайно Софийская вторая и Львовская летописи видели смысл договорной грамоты Ивана III и Михаила Борисовича по земельному вопросу в том, что она санкционировала захваты великого князя московского.

Судя по Софийской второй и Львовской летописям, после оформления московско-тверского докончания на «службу» к великому московскому князю приехали из Твери князья Андрей Микулинский и Осип Дорогобужский. Иван III дал в кормление первому из них Дмитров, второму—Ярославль. «Тогда же,—читаем далее в названных летописях,—бояре вси приехаша тверьскии служити к великому князю на Москву, не терпяще обиды от великого князя...»[3]. Приведенный текст, во-первых, показывает, что представители

---

[1] ПСРЛ, т. VI, стр. 236; т. XX, стр. 351.
[2] ДДГ, стр. 296, № 79.
[3] ПСРЛ, т. VI, стр. 237; т. XX, стр. 352.

тверского боярства (конечно, не все, как утверждается в летописных сводах) переходили в ряды служилых московских бояр. Далее видно, что этот переход был вынужденным. Выше приводился летописный рассказ, из которого ясно, что захваты, с санкции великого московского князя, его боярами и детьми боярскими вотчин у тверских землевладельцев заставляли последних менять «службу» Михаилу тверскому на служебную зависимость от Ивана III.

Можно думать, что, принимая вопреки условиям докончания 1484—1485 гг. тверских князей и бояр к себе на «службу», московский великий князь подготавливал решительное наступление на Тверское княжество с целью ликвидации его независимости. Поводом к новому походу московских войск на Тверь послужило то обстоятельство, что был перехвачен гонец, посланный князем Михаилом Борисовичем с грамотами в Литву. Об этом говорят летописи Софийская вторая, Львовская и Псковская вторая: «...выняли у гонца у тферьского грамоты, что посылал [Михаил Борисович] в Литву к королю...», «и с таковыми листы поимаша послов его [тверского князя] люди князя великого, и изведа [Иван III] вся льстивая съветования их на себе...»[1] Итак, были обнаружены новые сношения Михаила тверского с Казимиром IV. Иван III расценил эти действия как нарушение договора 1484—1485 гг. и стал собирать войско для выступления в поход против Михаила Борисовича. Попытки последнего вступить в новые переговоры с московским правительством не имели успеха. Иван III не пустил к себе «на очи» послов, приехавших из Твери.

Московский поход на Тверь 1485 г. описан подробно в летописях Воскресенской, Новгородской четвертой, Софийской первой, Симеоновской, Типографской, Никоновской; коротко—в Новгородской второй, Псковской второй, Устюжском летописном своде, Тверском сборнике и др. Общая картина похода может быть нарисована (по указанным источникам) довольно детально.

Во главе московских войск стояли сам Иван III и его сын Иван Иванович. Со своими полками выступили и удельные князья Андрей Васильевич углицкий и Борис Васильевич волоцкий. Приняла участие в походе новгородская рать во главе с воеводой Яковом Захариничем, и 8 сентября все эти вооруженные силы подступили к Твери и обложили город. 10 сентября были подожжены тверские посады. 11 сентября к Ивану III стали прибывать тверские князья и бояре (называемые в некоторых сводах «коромольниками») и бить ему «челом в службу». Конечно, страдает сильным преувеличением версия Устюжского летописного свода о том, что от Михаила Борисовича «отъехали» «все князи и бояре к великому князю служити». Ряд бояр оставались в Твери. Но Михаил Борисович чувствовал бесполезность сопротивления превосходящим силам про-

[1] ПСРЛ, т. VI, стр. 237; т. XX, стр. 352; «Псковские летописи» вып. 2, стр. 67.

тивника. В ночь на 12 сентября, «видя свое изнеможение», он бежал в Литву, захватив с собою свою казну.

12 сентября к Ивану III явилась официальная депутация из Твери в лице тверского епископа Вассиана, князя Михаила холмского «с братьей» и с сыном, ряда других князей, бояр, земских людей. Они отворили перед московскими войсками городские ворота.

После этого Иван III послал в Тверь своих бояр Юрия Шестака, Константина Малечкина и дьяков Василия Долматова, Романа Алексеева и Леонтия Алексеева «и велел гражан всех к целованию привести, да и от своеи силы беречь, чтобы их не грабили».

15 сентября Иван III с сыном Иваном Ивановичем приехали сами в Тверь. После торжественной церковной службы в Спасском соборе Иван III утвердил на тверском княжении, которое рассматривалось теперь московским великим князем в качестве своего удела (правда, занимавшего особое положение), Ивана Ивановича Молодого. Одновременно в Тверь был назначен московский наместник Василий Федорович Образец Добрынский[1].

Бросается в глаза три момента: во-первых, Иван III не торопился сам въезжать в Тверь, стремясь, очевидно, выяснить, какое он может там встретить к себе отношение со стороны местного населения; во-вторых, московский великий князь старался завоевать симпатии горожан, оберегая их от возможных обид со стороны своих ратников. И можно думать, что утверждение московского великого князя в Твери произошло без сопротивления со стороны горожан. Великому князю «целовали крест» и «бояре, и купцы, и вси мужи мал и велик»[2]. Конечно, приведенная фраза является просто формулой, за которой неправильно было бы обязательно искать указания на реальное соотношение социальных сил в Твери. Но, по-видимому, падение независимости Тверского княжества произошло без каких-либо волнений местных горожан, очевидно, слишком страдавших от засилья тверского боярства и поэтому не сопротивлявшихся великокняжеским боярам, присланным для приведения их к присяге. Третий момент, который заслуживает быть отмеченным, это торжественное вступление Ивана III в Спасский собор, носившее демонстративно политический характер. Спасский собор был эмблемой независимости феодальной Твери. И именно в Спасском соборе Иван III объявил Тверскую землю своей «отчиной», передав ее в держание своему сыну. Тверской сборник отмечает, что многие тверские князья и бояре были сведены великим князем в Москву. Этот «вывод» имел целью предупредить могущее вспыхнуть в Тверской земле движение местных феодалов, направленное к восстановлению ее политической независимости. Такая политика Ивана III в отношении тверских бояр могла

---

[1] ПСРЛ, т. VIII, стр. 216; т. III, стр. 143; т. IV, стр. 156; т. VI, стр. 22, 236; т. XII, стр. 217—218; т. XV, стр. 500; т. XVIII, стр. 271; т. XXIV, стр. 204—205; т. XXV, стр. 330; УЛС, стр. 95; «Псковские летописи», вып. 2, стр. 67—68.

[2] «Псковские летописи», вып. 2, стр. 63.

обеспечить ему на какое-то время симпатии тверских черных людей».

В этой же связи интерес представляет следующее обстоятельство. Среди памятников письменности внимание исследователей уже давно привлек Еллинский летописец. Один из его списков относится к июлю 1485 г. Д. С. Лихачев указывает, что появление этого списка «стояло, очевидно, в связи с повышенным интересом именно того времени ко всемирно-исторической роли Москвы»[1]. Я думаю, что, учитывая дату списка, можно предположить, что его составление было связано с политическими мероприятиями московского правительства, направленными к присоединению Тверского княжества. Переписывал в 1485 г. текст Еллинского летописца клирошанин Иван Черный, участник еретического движения. Не случайна попытка Ивана III использовать в своих интересах еретиков. Их реформационные настроения интересовали его в той мере, в какой он предполагал провести некоторые секуляризационные мероприятия в отношении монастырских земель. Может быть, в этом плане Иван III делал попытки приблизить к себе и тверских еретиков?

* * *

К 80-м годам XV в., после присоединения Твери, Новгорода, в основном заканчивается процесс образования территории Русского централизованного государства. Формально самостоятельность еще сохраняли Рязань и Псков, включенные в состав Русского государства в начале XVI в. Но фактически Псков и Рязанское княжество со второй половины XV в. находились в зависимости от Москвы. С Литовским княжеством шла борьба за Смоленск.

Образование единого Русского государства сопровождалось кодификацией феодального права в масштабе всего государства. В 70—80-х годах XV в. московским правительством была проведена большая работа по пересмотру законодательных памятников, сложившихся в отдельных феодальных центрах (Новгородской и Псковской судных грамот и др.). Затем начались подготовительные работы к изданию Судебника 1497—1498 гг. как памятника классовой юстиции, в котором зафиксированы нормы феодального права, охраняющего привилегии господствующих классов. В 80-х годах XV в. подвергся пересмотру и перестройке формуляр договорных актов, определявших отношения удельных князей к великому князю московскому.

Удельные князья после попытки возобновить в 1480 г. феодальную войну перешли на положение князей «служебных». Боярский вассалитет перешел в отношения подданства. Наконец, был изменен характер иммунитетных привилегий феодального землевладе-

[1] *Д. С. Лихачев*, Еллинский летописец второго вида и правительственные круги Москвы конца XV в. (Труды ОДРЛ, т. VI, М.—Л., 1948, стр. 110).

ния в сторону централизации суда и управления. Реорганизация центрального аппарата власти, ограничение прав бояр-наместников (кормленщиков), первые опыты введения на местах дворянских органов управления типа губных учреждений подготовили последующие реформы XVI в. Образование Русского централизованного государства привело к существенным изменениям в вооруженных силах страны. После феодальной войны начало особенно развиваться в середине XV в. условное землевладение, а с 80-х годов XV в. постепенно складывается поместная система, обеспечившая экономическое положение дворянства[1].

---

[1] Все эти вопросы рассмотрены в моем двухтомном исследовании: «Русские феодальные архивы XIV—XV веков», ч. 1—2, М., 1948—1951.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 5

Глава I

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА

§ 1. Феодальная историография конца XV—XVII в.. 15
§ 2. Дворянская историография XVIII—начала XIX в. Исторические взгляды дворянских революционеров 25
§ 3. Дворянская и буржуазная историография периода кризиса крепостнической системы (до 60-х годов XIX в. включительно) . . 38
§ 4. Труды революционных демократов 55
§ 5. Буржуазная историография второй половины XIX в. 72
§ 6. Основоположники марксизма-ленинизма об образовании централизованных государств 81
§ 7. Кризис буржуазной историографии в период империализма.. . 87
§ 8. Взгляды Г. В. Плеханова 95
§ 9. Труды Н. А. Рожкова и М. Н. Покровского 98
§ 10. Советская историография 106
§ 11. Современная буржуазная зарубежная историография 139

Глава II

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

§ 1. Феодальная раздробленность на Руси в XIV—XV вв.—тормоз развития сельского хозяйства 149
§ 2. Расширение площади пашенного земледелия. «Старые» села и деревни—устойчивые очаги земледелия 160
§ 3. Заселение пустошей и расчистка лесных участков под пашню 166
§ 4. Феодальная собственность на землю. Общие тенденции развития вотчинного землевладения 178
§ 5. Феодальная собственность на землю. Условное землевладение 195
§ 6. Феодальная собственность на землю. Условное владение вотчинами 205
§ 7. Крестьяне. Старожильцы. Люди «пришлые» и «окупленые» . . 210
§ 8. Формы эксплуатации крестьян. Половники. Серебреники 227
§ 9. Процесс юридического оформления крестьянского закрепощения 245

§ 10. Холопство 253
§ 11. Идеология крестьянства 263
§ 12. Классовая борьба в деревне 275

Глава III

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ГОРОДОВ, ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЩЕНИЯ

§ 1. Образование промысловых поселков и сельских торжков . . . 297
§ 2. Характер связи крестьянского хозяйства с рынком 312
§ 3. Характер связи феодального хозяйства с рынком 320
§ 4. Общие данные о развитии городов. Превращение сел в города. Приток туда сельского населения. Строительство крепостей 329
§ 5. Княжеские дворцовые слуги и тяглые люди в городах («делюи», «ордынцы», «числяки») 346
§ 6. Монастырское и церковное дворовладение в городах 355
§ 7. Характер городского ремесла 363
§ 8. Города как торговые центры. Межобластные торговые связи. Борьба за торговые пути на Север 373
§ 9. Борьба за Волжский торговый путь. Ушкуйничество. 390
§ 10. Торговля Руси с Крымом 398
§ 11. Торговля Руси с Литвой и городами Прибалтики. 402
§ 12. Горожане как особый разряд феодального общества. Гости. Суконники 412
§ 13. Политическая идеология горожан 423
§ 14. Классовая борьба в городах 444

Глава IV

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ ДО 80-х годов XIV в. НАЧАЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

§ 1. Расширение Московского княжества в первой четверти XIV в. Политическая борьба между Московским и Тверским княжествами 455
§ 2. Народное восстание в Твери в 1327 г. 475
§ 3. Политические взаимоотношения русских земель в княжение Ивана Калиты 497
§ 4. Внутренняя политика Ивана Калиты 513
§ 5. Классовая борьба на Руси в 40-х годах XIV в. 519
§ 6. Политические взаимоотношения русских земель в 40—50-х годах XIV в. (при ближайших преемниках Калиты). 530
§ 7. Социальные движения в Московском княжестве в 40—50-х годах XIV в. Борьба между Московским и Нижегородским княжествами в конце 50—начале 60-х годов XIV в. 545
§ 8. Борьба между Московским и Тверским княжествами в 60—70-х годах XIV в. 557
§ 9. Борьба русского народа с Ордой в конце 60 и в начале 70-х годов XIV в. 582
§ 10. Активизация борьбы Руси с Ордой. Битвы на реках Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г.) 587
§ 11. Куликовская битва 596

Глава V

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ И ПРОЦЕСС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В ПЕРИОД С 80-х годов XIV в. ДО СЕРЕДИНЫ XV в.

§ 1. Русь после Куликовской битвы 627
§ 2. Нашествие на Русь Тохтамыша и народное восстание в Москве в 1382 г. 629
§ 3. Политические взаимоотношения между русскими землями после нашествия на Москву Тохтамыша. Итоги княжения Дмитрия Донского 647
§ 4. Падение политической независимости Нижегородского княжества 663
§ 5. Нашествие на Русь войск Тимура и отражение этого события в памятниках общественной мысли 673
§ 6. Классовая борьба в Новгороде в конце XIV в. Восстание в Двинской земле в 1397 г. и ее временное присоединение к Московскому княжеству 682
§ 7. Классовая борьба в Твери в конце XIV—начале XV в. и московско-тверские взаимоотношения. Московско-нижегородские и московско-рязанские взаимоотношения в это время 702
§ 8. Русско-литовские и русско-ордынские взаимоотношения в конце XIV—начале XV в. 708
§ 9. Нашествие на Русь татарских войск под предводительством Едигея 715
§ 10. Обострение классовой борьбы в конце первой четверти XV в. Предпосылки феодальной войны второй четверти XV в. 734
§ 11. Феодальная война на Руси во второй четверти XV в. (ее причины и ход до 40-х годов XV в.) 743
§ 12. Народные движения в 40-х годах XV в. Значение классовой борьбы для дальнейшего хода феодальной войны 772
§ 13. Завершение и итоги феодальной войны второй четверти XV в. 787

Глава VI

ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV в.

§ 1. Политические взаимоотношения русских земель в 50—60-х годах XV в. 813
§ 2. Падение политической самостоятельности Ярославского и Ростовского княжеств 825
§ 3. Политические взаимоотношения московской великокняжеской власти и Псковской феодальной республики в конце 50—начале 60-х годов XV в. Восстание в Пскове в 1462 г. 830
§ 4. Политические взаимоотношения московской великокняжеской власти и Псковской феодальной республики в 60—первой половине 70-х годов XV в. 842
§ 5. Классовая борьба в Новгороде в 1471 г. и поход на Новгород московских войск 855
§ 6. Политические взаимоотношения московской великокняжеской власти и Новгородской феодальной республики в 1471—1477 гг. 862
§ 7. Ликвидация независимости Новгородской феодальной республики в 1478 г. 869
§ 8. Освобождение Руси от ордынского ига 874
§ 9. Падение политической независимости Тверского княжества. . . 887

Черепнин Лев Владимирович

ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА
В XIV—XV ВЕКАХ

☆

Редактор *Ю. Тихонов*
Младший редактор *М. Толокнова*
Оформление художника *В. Кузякова*
Художественный редактор *В. Журавский*
Технический редактор *Г. Смирнов*
Корректор *Е. Обросова* и *Д. Пречистенская*

☆

Сдано в набор 29 октября 1959 г. Подписано в печать 25 февраля 1960 г. Формат бумаги 60×92¹/₁₆. Бумажных листов 28,125. Печатных листов 56,25. Учетно-издат. листов 61,62. Тираж 10000 экз. А00134
Цена 26 р. 65 к.

Издательство социально-экономической литературы
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15

Московская типография № 5 Мосгорсовнархоза.
Москва, Трехпрудный пер., 9.
Зак. 1347

ПОПРАВКИ

к книге Л. В. Черепнина «Образование русского централизованного государства в XIV—XV веках»

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
140	12 снизу	dministrative	administrative
143	4 снизу	harly	Early
144	25 сверху	Shurches	Churches
614	4 снизу	Василий	Владимир
749	14 сверху	В 1428 г.	В 1426 г.

Л. ЧЕРЕПНИН

ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА